Николай ОДИНЦОВ

ТАЙМЫР СТУДЕНЫЙ

НИКОЛАЙ ОДИНЦОВ

ТАЙМЫР СТУДЕНЫЙ

Красноярск
2010

ББК 84
О-43

Одинцов Николай Алексеевич.
Таймыр студеный. / Н.А. Одинцов.
– Красноярск: «ИПЦ КАСС», 2010. – 792 с.

Николай Алексеевич Одинцов, автор книги «Таймыр студеный», родился 30 ноября 1923 года в деревне Зиновка Ивановской области. Деревушка была захудалая, всего 14 дворов. Крестьяне бедствовали и при малейшей возможности перебирались в рабочие поселки и города. В 1931 году восьмилетний Коля вместе с родителями переехал в город Краснозаводск Московской области. 1 мая 1941 года его арестовали за антисоветскую деятельность, не дав закончить десятый класс. Сначала была Лубянка, затем Таганская тюрьма. С началом войны отправили в Омск. В июле 1946 году с этапом заключенных привезли в Дудинку. Освободился в 1949 году, но до конца августа 1954 года оставался здесь на положении ссыльного. Два года обучался в Дудинской школе рабочей монодеилии. В 1956-1962 годах учился заочно в Ленинградском лесотехническом институте.

С первых же дней появления в Дудинке трудился в бригаде заключенных, после освобождения – на разных работах. После окончания института и до последнего времени работал на руководящих должностях, в том числе несколько десятилетий директором лесозавода Дудинского порта. Под его руководством коллектив лесозавода ежегодно добивался великолепных результатов и был всегда в числе лучших.

Сейчас Николай Алексеевич по-прежнему живет в Дудинке, уже свыше 60 лет, и только последние два года не является директором лесозавода, потому что его уничтожил пожар. Главная его цель сегодня – довести до широкого круга читателей Таймыра и всего края написанные им в последние годы, начиная с конца 1994 года, очерки и стихи, в которых он талантливо и убедительно рассказывает об истории, событиях и людях, свидетелем и участником которых он сам был. Это очень поучительная книга, которая будет полезна и интересна не только людям старших поколений, но и сегодняшней молодежи.

ББК 84

Издание осуществлено
в рамках
государственной программы
Красноярского края
«Книжное Красноярье»

ISBN 978-5-98576-029-3 © Н.А. Одинцов

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Я знаю Н. А. Одинцова с 1972 года, когда приехал работать на Таймыр. Будучи редактором окружной газеты «Советский Таймыр», я сначала по материалам корреспондентов газеты, а затем и сам лично познакомился с трудовым коллективом лесозавода Дудинского порта, а затем и его руководителем. Он произвел на меня прекрасное впечатление: спокойный, рассудительный, деловой, доступный людям независимо от их служебного и общественного положения. Казалось, у него нет ни одного не то что яростного врага, но даже привычного недоброжелателя. Он был любимцем всех, кто его знал. Таким он и оставался в моей памяти и после того, как я покинул Таймыр и переехал жить и работать в Красноярск.

И каково же было мое удивление и настоящая радость, когда я, как редактор и издатель, прочитал его неповторимые, искренние и волнующие до глубины души очерки и подборки стихов. А когда я узнал из серии очерков «Святые берега», что юношеские и молодые годы Николая Алексеевича прошли в дудинских лагерях для заключенных, где он просто чудом остался жив, мое удивление и восторг были просто бескрайними. Это просто удивительно, что человек в юные свои годы прошел все круги заполярного ада, устоял, не сломался и только сам, своей стойкостью, самоотверженным трудом, высоким профессионализмом добился признания простых людей, своих товарищей, и руководства, которое увидело в нем настоящего человека и буквально сразу возвысило до высокого служебного поста, директора лесозавода Дудинского порта, обязанности которого он достойно выполнял несколько десятков лет.

И совсем не случайно уже на склоне лет у него обнаружился и раскрылся удивительный и прекрасный талант писателя и

поэта. Он во всю свою мощь проявился в его волнующих очерках и стихах, неповторимой летописи событий, непосредственным участником и свидетелем которых стал сам автор. За свою долгую редакторскую и издательскую деятельность я выпустил в свет немало книг самых различных авторов. Но подобную, «Таймыр студеный», не приходилось.

Уверен, что эту книгу охотно и с благодарностью прочтут люди разных возрастов, взглядов и убеждений. Потому, что она поможет увидеть незнакомый им мир и события, поразмышлять над прочитанным и сделать соответствующие выводы. Она поможет им прожить свою жизнь достойно.

А.П. Паращук, редактор и издатель

СВЯТЫЕ БЕРЕГА

КНИГА ПЕРВАЯ

СВЯТЫЕ БЕРЕГА

Давно это было. Так давно, что порой кажется, будто все происходило в иной жизни или с кем-то другим.

В начале июля первого послевоенного года пассажирский речной пароход «Серго Орджоникидзе» медленно и осторожно пришвартовался к нагроможденным на берегу ледяным полям, поверх которых была сооружена площадка из деревянных щитов. Она заменяла причал для высадки пассажиров. Сразу от нее шли узкие трапы, и по ним перебирались люди на твердую землю. В те годы не было ледоколов, что сейчас легко разваливают ледовые горы, навороченные ледоходом, ни бульдозеров для разбивки и сталкивания занесенных на берега весенним паводком ледяных глыб. Оттого и лежал тогда лед до начала июня, а иногда и дольше, пока не растопит его незаходящее полярное солнце.

Легко вскинув на плечо свой немудреный скарб, я вышел вместе со всеми из трюма парохода и, вздохнув после долгой дороги полной грудью, огляделся окрест. Енисейский берег круто поднимался вверх. По его зеленому склону рассыпались ранние белые ромашки, кое-где пробивались желтые лепестки лютика, в отдалении по береговой отмели неторопливо расхаживали чайки и, взлетая криками кружились над пароходом, возле воды вились тучи комаров.

Утро было солнечное и совсем безветренное. Стояла удивительно тихая погода. Безоблачное голубое небо уходило куда-то в бездонную высь, а Енисей сверкал такой синевой, что, вглядываясь в его безбрежную даль, невозможно было различить, где обрывается небесный купол и начинается водная гладь.

Северная суровая красота замерла в причудливом, неповторимом, каком-то божественном великолепии.

В природе везде все прекрасно. А если и есть что-то обезображенное и изуродованное, то это сделали люди.

Берег был неровным. Недалеко от пристани его разрывал глубокий овраг, на дне которого журчал ручей. К нему прижималась неширокая натоптанная проселочная дорога. Вся верхняя береговая часть была застроена ветхими жилыми избушками. Их убогость была поразительной. Они скорее походили на курятники или коровьи стайки. Может быть, среди них сохранились и те несколько полуразвалившихся лачуг из далекого царского прошлого, что упоминал в своих записках шведский полярный исследователь Эдуард Толль еще в конце XIX века.

Беспорядочно раскинувшись, неказистые и низкие, они, казалось, вырастали из земли какой-то бесформенной вытянувшейся чередой. Одна ее половина, перевалившись за овраг, исчезала за поворотом реки, другая, прилепившись к самому краю косогора, уходила в северную сторону. Потом я узнал, что каждая имела свое название. Застройки от оврага до устья реки Дудинки именовались «крышами Парижа», по другую сторону оврага — «Шанхаем».

Откуда, из каких глубин восходит их происхождение, я достоверно ни от кого не слышал. Да и не очень старался разузнать их историю. Говорили по-разному. Одни — что завезли их заезжие моряки, другие — торговый люд. Может быть, в какую-то годину бывалые «морские волки», объездив полсвета, проплывая в поисках мягкой рухляди или по другому промыслу мимо дудинских берегов, завернули в село и, задержавшись в неуютных, но гостеприимных домишках, нагрузившись богатой добычей, в знак «благодарности» при расставании подарили им эти названия. (Старателей «пожалеть» и тут же обобрать доверчивый и беззащитный народ и в те времена хватало в достатке.) И, отплывая осенним вечером, в опустившихся сумерках смотрели из теплой каюты парохода на жалкий фасад заброшенного села с одиноко терявшимися огоньками, переговаривались, насмешливо иронизируя: «Вот и здесь расстаемся с «Шанхаем» и «Крышами Парижа».

А возможно, потому, что в эти трущобы легко можно было войти, но не так просто выйти, хорошо «погулявшие» торгашишки после «удачной сделки», запутавшись в многочисленных проходах и закутках, в сердцах окрестили их так. Кто знает?

Теперь уже не осталось ни одного строения, и лишь по кое-где догнивающим столбикам да остаткам заросших печных оснований можно с трудом догадаться, что здесь стояли жилища и в них ютились люди. А вот названия этих мест еще долго употреблялись в разговорах после того, как их покинули последние жители.

Поднявшись вдоль ручья к большой дороге, что проходила по береговой улице (она до сих пор называется Советской), мы перешли по деревянному мосту на другую сторону оврага и поднялись на пригорок. С него была видна вся панорама пугающего холодными легендами далекою северного поселения. Даже неопытным взглядом можно было определить, что застройка домов на протяжении всех времен выполнялась без всякого плана. Не видно было четко разграниченных улиц, не просматривались переулки, а уж о каком-либо архитектурном оформлении и говорить нечего.

Большинство балков, сгрудившись в кучки по несколько штук, стояли под общей крышей. Некоторые, прицепившись на мало-мальском возвышении, выделялись особняком и стояли друг от друга на довольно большом расстоянии. Были и такие, что выползали совсем близко к дороге, мешая проезду не только на лошадях (автомашин тогда я не видел), но и создавая неудобства для пешеходов. Только на главной дороге по улице Советской с поворота на улицу Островского и затем на Ленина не имелось никаких помех.

Наиболее густо были застроены оба берега по оврагу. Видимо, жителей привлекала близость воды в ручье. В ту пору вода в нем отличалась чистотой и годилась не только на хозяйственные нужды, но и для питья. Вся кавалькада разномастных и разнокалиберных жилых и хозяйственных построек, будто пригнутых к земле зимними холодными ветрами, убегала вверх до подножия гряды довольно высоких, изрезанных холмами гор.

Общий вид старинного села был уж очень захудалым. Столице Таймыра в ту пору нечем было особо гордиться. Правда, на общем фоне дере-

венской нищеты кое-где выделялись добротные двухэтажные здания. Но их было совсем мало. Недалеко от моста размещался большой больничный корпус, чуть левее стояли два административных учреждения (жаль, что одно из них недавно сгорело). Чуть повыше, на пригорке, величаво выделялся над окружавшими его избушками только что построенный клуб порта. Пожалуй, это было самое красивое здание в то время.

На улицах было безлюдно. Изредка одинокие прохожие неспеша шли в сторону реки. Все выглядело совсем по-деревенски и производило умиротворяющее впечатление, веяло необъяснимой успокаивающей теплотой. Сами по себе отодвинулись страхи, сковывающая душу тревога вдруг, обессилев, отступила.

В Красноярске в ожидании парохода, да и в пути, пока плыли по Енисею, столько наслушался про дикую таймырскую суровость, что все увиденное как-то не воспринималось. Против воли вкралось ледяное сомнение: «Что-то не так. Дудинка ли это? Возможно, еще ТАМ что-то изменили и совсем в другое место завезли. Мало ли какие повороты бывают в жизни». Но смятение длилось недолго: «А не все ли равно! Самое страшное давно позади. Стоит ли кручиниться, когда тебе только перевалило за 20. Да и скитаться по чужбинам остается меньше трех лет. Как-нибудь, а там и домой...»

Ох! Как иногда мы путаем желаемое с действительностью, как человеку хочется отвернуться от превратностей судьбы и обмануть самого себя. Но человек может видеть только в прожитой жизни, и никому не дано знать, что сталось бы с ним, сверни он, вольно или невольно, на другую жизненную стезю...

Так произошли моя встреча и знакомство с невзрачной деревянной Дудинкой, приютившейся на суровом берегу Енисея в необъятных таймырских просторах...

Каждый раз после долгой полярной зимы, когда согретая ласковым солнцем оттаивает земля, а тундра покрывается многоцветием трав, словно сказочным ковром, мне вспоминается далекий, потерявшийся в непрерывном потоке времени мой первый таймырский день.

И встают перед глазами безмолвные енисейские берега, заваленные громадой искристого, переливающегося радужными красками кристально чистого льда, прозрачный воздух, утонувшие в серебряном зеркале реки опрокинутые навзничь небеса и растянувшаяся колонна устало идущих по пыльной дороге, которой, казалось, нет конца, разноликих людей. Людей, чье терпение, долголетний беспримерный труд на заполярных стройках можно приравнять к подвигу.

Сложное и тяжелое было время. Трудно было всем. И не только здесь, на Таймыре. Разве легче было жителям блокадного Ленинграда? Или крестьянам, впрягшимся в плуг вместо лошадей, пахать землю по 15-16 часов в сутки? И так ведь было не один год уже после изгнания фашистов: опустошительные войны, навязанные «миролюбивыми демократами империализма», несгибаемая прямолинейность политики наших верховных повелителей и бессмысленные перегибы на низах дорого обошлись народу. С

неимоверными трудностями восстанавливалось разрушенное войной хозяйство, еще тяжелее возводилось новое, да еще в таких суровых краях, как таймырская тундра.

В те времена работали все. Жить хотелось каждому. Мне тоже пришлось проколесить через города и веси тернистыми дорогами от московской Лубянки до Полярного круга больше 13 лет, разделить сполна тяжелую чашу испытаний, выпавших на нашу общую долю. Все повидал, все претерпел. И тяготы житейские, и несправедливость людскую. Встречал и таких людей, перед душевной святостью которых, словно перед алтарем, всегда готов опуститься на колени.

Уже давно все кануло в вечность, а противоречивые чувства не дают покоя, бередят и будоражат душу. На одной стороне стоят непостижимые уму свершения, на другой — несмываемые пятна. Отторгаю все плохое, но умалять великие победы нашего народа не могу, не имею права, да и совесть не позволяет. Размышляя над событиями минувшего, величием и трагедией тех лет, невольно задаюсь вопросом: «Чего было тогда больше — хорошего или плохого?» Какой мерой взвесить? С чем сравнивать? С преступно-криминальным сегодня или ничего не обещающим завтра? Нет у меня ответа. Пусть скажут другие. Я же принимаю прошлое, каким оно было, не кляну, никого не виню и не осуждаю.

С тех пор прошло много времени. Сколько воды утекло в Енисее? Не измерить. Сколько и каких людей прошло по дудинским дорогам? Не сосчитать. Все изменилось. На месте старых глинобитных лачуг и засыпных балков появились широкие жилые кварталы, поднялись вверх каменные многоэтажные корпуса. Уже давно жители Дудинки переехали в благоустроенные светлые, просторные квартиры. У каждой семьи есть телевизор, у некоторых – два. При желании всегда и в любое время можно переговорить с самым далеким российским городом. Раздвинулись улицы, асфальтом покрылись главные дороги города, нескончаемым потоком движется автотранспорт. Дудинку с Норильском соединила широкая автомобильная трасса. Регулярно выполняются маршруты Дудинка—Алыкель—Норильск—Дудинка. Не надо ломать голову, как добраться до аэропорта и не опоздать на самолет. А как много построено за эти незаметно промчавшиеся годы новых лечебных учреждений, детских яслей, садов. И всем все казалось мало, мало. Спешили сделать еще больше. Теперь одна забота: как сохранить, что сделано.

Совсем другим стал Дудинский порт. Вместо короткой стенки низких бревенчатых причалов многокилометровая бетонная стена причальных сооружений. Забетонированы сотни тысяч квадратных метров складских площадей, к каждому причалу подведены автотранспортные подъезды и железнодорожные пути. Мощные морские корабли приходят в Дудинку в нестерпимо лютые морозы, десятки портальных кранов склоняются над судами. Электрифицирована самая северная железная дорога Дудинка — Норильск.

Наиболее интенсивное развитие Дудинского порта и города началось с 50-х годов. К началу горбачевской «перестройки», принесшей развал и

разруху, Дудинка успела стать современным цивилизованным городом и удивительным портом на могучей сибирской реке, сравнимым с самыми лучшими и большими портами как по грузообороту, так и механовооруженности. Сейчас даже трудно представить, как бы выросли город и порт, если бы их развитие шло прежними так называемыми темпами «застоя», какие бы могли возникнуть и образоваться новые отрасли народного хозяйства. «Перестройка» и последовавшие за ней реформы застопорили рост промышленности, сельского хозяйства, строительства, легли тяжким бременем на духовную и нравственную жизнь округа. Что тут поделаешь? Идем вместе со всей страной в ногу. Как будет дальше? Да никто не знает. Можно только безошибочно утверждать, что если замрет жизнь в Дудинском порту, все остановится на Таймыре, пропадут все достижения, созданные в прежние времена.

Перебирая в памяти веху за вехой, год за годом, я вспоминаю простых людей, руками которых возводились стройка за стройкой, осваивался и покорялся Север. Тогда каждый день был ударным. Каждый ушедший год вселял уверенность и спокойствие за будущее. Какую надо было иметь волю, энергию, чтобы сотворить это неимоверное заполярное чудо!

Сквозь частокол ушедших лет встают имена первых руководителей порта, Дудинки и всего Таймырского округа. Ксинтарис Василий Николаевич, Стифеев Тимофей Гаврилович, Афанасьев Александр Александрович, Всесвятский Владимир Николаевич, Лазарев Михаил Иванович, Колониченко Алексей Федорович, Михайлов Христофор Семенович, Росляков Александр Панфилович, Тихонов Сергей Федорович... Разве упомнишь всех. С их именами возникают словно наяву торжественные митинги, рабочие собрания, профсоюзные конференции, где передовики и организаторы производств с рабочей гордостью рапортовали об одержанных трудовых победах.

Тяжелое было время. Всем было трудно, но особенно тяжело руководителям первого звена. Сейчас от всех только и слышно: жить становится все невыносимее. И они во многом правы. Но никто почему-то не хочет осознать, что происходит это оттого, что все больше и больше людей отчуждается от полезного труда, уходит на «легкие прииски», а остальные, неудачники, со злобой оглядываясь на стремительно богатеющих предприимчивых бизнес¬менов, опускают руки, работают все хуже и хуже, при возможности растаскивают государственный амбар, а что не под силу утащить, разрушают, ломают и, разрушая, озлобляются еще больше. Вновь почти ничего не создается, а созданное ранее разваливается на глазах. Оттого и смятение в душах, пустота.

Людям же до нас было намного труднее. Но в этом и было их счастье. Они гордились результатами своего труда, в труде обретали удовлетворение, у них была цель. Цель единая и общая, а теперь ее ни у кого нет, никто не может сказать, какие же государство и общество мы строим, и в этой сумятице мечемся, отыскивая выход. А его нет. В исступлении ставим диагноз — безысходность. Слабый огонек в конце туннеля, о котором твердили господа демократы, и тот пропал в беспросветной мгле.

Сейчас уже почти никто, может за малым исключением, не вспоминает

имена тех, кто сделал неизмеримо много в строительстве и развитии порта, города, всего Таймырского округа. (И пусть это звучит банально — делалось все на благо народа.) Они по праву принадлежат к той когорте первопроходцев и созидателей земли таймырской, что своим подвижническим трудом заложили фундаменты главных строек комбината и Заполярья. Каждый из них заслуживает доброй памяти, и, возможно, когда-нибудь их труды будут оценены по заслугам и записаны в народную книгу памяти. Создание музея истории порта, которая прослеживает основные вехи его развития и дела главных руководителей, — неоценимая заслуга нынешнего руководства порта. Дай Бог, чтобы было доведено до конца это доброе дело.

Я знал многих этих людей, встречался с некоторыми. О каждом из них остались самые хорошие воспоминания. Они все разные, но отличительными чертами их характера были огромное трудолюбие, терпение, высочайшая ответственность за выполнение стоящих перед ними задач без претензий на привилегии за их титанический труд.

О привилегиях. Может, у каких-то московских или екатеринбургских вельмож и были царские привилегии, и кутили они по-боярски (что в свое время яростно критиковали демократы из бывших членов КПСС), то мне неведомо. А вот что у дудинских руководителей порта и города ничего подобного не было, это я точно знаю. Приходилось бывать у некоторых на квартирах, видывал их «излишества».

Они с достоинством выполнили свой гражданский и человеческий долг, оставив наследникам в качестве дивидендов чистоту совести, порядочность и досаду за незавершенность дел. Об одном из этих людей с уважением и благодарностью хочу рассказать, осветить некоторые эпизоды из его трудовой жизни, в которых сам был участником или молчаливым свидетелем.

Заранее признаюсь, что, возможно, взялся за непосильную работу. Но делаю это затем, чтобы удержать в этом водовороте безумных перемен в памяти людей имена ушедших и уходящих пионеров и покорителей Таймырского Севера.

Этот человек долго был руководителем многотысячного коллектива, в котором я проработал всю жизнь. Звали его Владимир Николаевич Всесвятский. О том, что живет такой человек на Таймыре, работает где-то на стройках комбината, я слышал от разных людей еще в 40-е годы. Впервые свел меня с ним случай, причем довольно курьезный, когда я уже работал диспетчером лесного хозяйства. Это было в первой половине 50-х годов. В то время много возили леса в Норильск по железной дороге. Отправляли его маршрутами из 17—20 вагонов. Придерживались этого правила строго. Никаких отступлений не было. Поставят 18 вагонов, и через 1 час 15 минут весь маршрут должен быть загружен. Если возникал какой-то сбой хотя бы на одном вагоне, задерживался весь состав, а на сортировочной станции из-за этого простаивал другой, подготовленный к погрузке порожняк. Оперативная служба железной дороги работала очень четко. Диспетчеры и начальники всех рангов получали в любое время самую точную информацию о движении поездов, знали с точностью до минуты время простоя вагонов под обработкой.

В те годы иным был порядок ответственности за погрузочно-разгрузочные работы. В первую очередь спрос начинался с диспетчеров цеха, то есть с нас. Больше всего донимали диспетчеры порта. Никакого спасу не было от них. За каждую минуту простоя трясли до умопомрачения. Когда же простой переваливал норму на 10 минут, подключали начальника цеха и начальника железнодорожного узла, а уж если больше, то в разбирательство вступали начальник порта, диспетчер комбината - и пошла писать губерния. Шум поднимался невероятный. Спрашивали и ругали нас все, кто находился выше по административной лестнице. А спрашивать и ругать тогда умели.

Однажды не заладилась погрузка леса на вагоны у женских бригад. Работали они в отгороженном объекте, отдельно от мужчин. Погрузка леса на вагоны выполнялась в ручную. Веревками по слегам затаскивали на платформу бревна, сзади поддерживая рогачами. Надо сказать, что в тот период, вскоре после амнистии, женщин осталось намного меньше, но еще несколько бригад было. Они и раньше работали неважно, но все же как-то умудрялись укладываться в норму. Но вот после того, как прошла амнистия, женщины в ожидании грядущих перемен стали работать совсем плохо.

Диспетчер порта уже дважды спрашивал у меня об окончании погрузки, но я почему-то не прореагировал на это. (Были и раньше случаи, когда женщины на несколько минут не укладывались в норму.) Когда уже весовщик железной дороги сказал, что вагоны у женщин загружены только наполовину, меня прошиб пот. Бросив все, с тревогой побежал на место погрузки. Пройдя через проходную на женский участок, уже издалека определил, что там неладно. Женщины стояли кучкой. Уж не бревном ли какую пришибло? Тогда беды не оберешься – такая заварится канитель. В те времена за технику безопасности взыскивали круто. Но, подбежав поближе, увидел, что женщины разговаривают с каким-то высоким мужиком. Я его раньше не видел.

К женщинам в их зону часто пробирались заключенные мужчины, видел и узнавал их сразу. Те вели себя тихо и примерно. А этот! Собрал вокруг себя целое звено женщин, не обращает ни на кого никакого внимания, преспокойно беседует с ними. Видит, что подхожу, - и ноль внимания. Одет просто, но чисто. Подумал, может, лагерный «придурок» или «пахан». Но нет. Эти найдут другие возможности для свиданий. Тревога прошла, появилась злость. Я подошел и спросил строго: «Ты что мешаешь работать?. Он повернулся ко мне. В его взгляде, добродушно насмешливом, я прочитал: «Тоже мне, блюститель порядка отыскался».

Женщины примолкли и посматривали как-то с ухмылкой. Это меня подзадорило, и уже было собрался сказать, чтобы убирался подобру-поздорову, а не то найду управу. Но тут же раздумал. «Если этот тип пришел выбирать себе «маруху» и не побоялся пролезть под колючей проволокой, то раздумывать не станет. Такой верзила огреет кулачищем по башке, шапка не поможет, скоро не очухаешься».

Совсем недавно пробрался «ухажер» на «женскую половину», тоже днем, а за ним увязался охранник. Так он так двинул этого надзирателя в

скулу, что насилу отходили в медпункте. Потом всех женщин «перетрясли». Все допытывались, кто такой был, как фамилия. А те уперлись и твердят одно: «Знать не знаем его, отстаньте от нас». Так ничего и не добились. Разговоров об этом было много. Вспомнив этот случай, я тут же убавил свой воинственный пыл. Обратился к нему совсем миролюбиво: «Ты отойди пока в сторонку ненадолго. Пусть они догрузят вагон, потом и познакомишься с любой. А то с меня за простой вагонов диспетчер порта с маневровым всю шкуру сдерут». Мужичище захохотал и сквозь смех властно сказал: «Так прямо всю и сдерут. Ты, наверное, перебарщиваешь. Не такие уж они страшные».

Что-то в нем было особенное, отличало от других. Ведет себя смело, даже о диспетчерах порта говорит без страха, как о равных себе. Тогда я в откровении, подчеркивая превосходство «верховных» диспетчеров, но и с некоторой на них обидой воскликнул: «Что ты! Ты не знаешь их! Это такие янычары, не приведи Бог! Только звонить начинают их телефоны, как сразу дрожь всего пробирает». Он, продолжая улыбаться, теперь вроде бы пожалев, сказал: «Ну что уж ты такой робкий? Не поддавайся».

Я все больше и больше проникался к нему симпатией (сам же в этом котле варился, а этого «голубя» наверное, недавно заарканили, да и в женскую зону он пролез впервые, повадки не те — бестолков очень). И мне захотелось уберечь этого неопытного кавалера от неприятностей. Совсем по-дружески сказал ему: «Давай идем, а то чего доброго появится мое начальство или вынырнут надзиратели, тогда в «бур» попадешь, да и мне за тебя холку наломают». Я взял его за рукав, как бы приглашая за собой, обернулся и с ужасом увидел, что в нашу сторону торопливо двигались начальник лесного хозяйства Дудинский Иван Иванович и его заместитель Гедеванишвили Арчил Васильевич. Меня как молнией пронзило. «Ну, все! — подумал я. — Теперь пиши пропало. Видимо, за простой вагонов им уже такой нагоняй из управления влетит, что сюда чуть ли не бегом идут. Все зло сейчас сорвут на мне. И надо же, так некстати и не вовремя появился этот долговязый. И ведь какой! Они к нам спешат, а он стоит и даже не собирается исчезнуть!».

Голова пошла кругом. Но, подойдя совсем близко, запыхавшиеся Иван Иванович с Арчилом Васильевичем дружно наперебой поздоровались: «Здравствуйте, Владимир Николаевич!» Мой собеседник, здороваясь с ними, спросил: «Ну где вы пропадаете? Я уже все штабели облазил да и с вашими помощниками успел побеседовать. Плохо у вас. Плохо очень! Не придумаешь хуже. Ну ладно! Идемте к вам, переговорить надо». Глядя на меня, сказал: «Бывай здоров. Ступай работай. А диспетчерам скажи, что в простое вагонов виноват Всесвятский».

О том, что вновь назначенным начальником порта стал Всесвятский, я уже слышал, а вот увидел его впервые. Ошарашенный, я долго и оторопело смотрел им вслед.

На следующий день рано утром я взял сводку о проделанной работе за прошлые сутки и направился к руководству. В приемной секретарша предупредила: «Там он и еще много начальников». Потоптавшись немно-

го, после некоторого раздумья я несмело открыл дверь и вошел. На меня не обратили внимания. Среди присутствующих я увидел главного инженера порта Лазарева Михаила Ивановича, начальника дудинских лагерей Липатова (имя и отчество я за ненадобностью забыл, но ничего плохого о нем сказать не могу). Они сидели за одним столом с начальником лесного хозяйства Дудинским Иваном Ивановичем.

Разговор был серьезный, это я понял сразу. Говорили в основном двое, Лазарев и Липатов. Владимир Николаевич стоял и смотрел в окно, участия в разговоре не принимал.

С самого начала я понял, что речь идет о наших «лесничках». Прийти к какому-то согласию они не могли, и поэтому Михаил Иванович очень «кипятился». Он выдвигал самые разумные аргументы, против которых трудно было что-либо возразить: погрузка вагонов ведется с простоями, раскатка бревен в штабеля производится без всяких правил и норм (а раскатка тогда производилась подбором бревна к бревну), но самое страшное — это высокий травматизм среди женщин. Дудинский, бывший фронтовик, всего повидавший, стоял горой за Лазарева.

Михаила Ивановича Лазарева я знал уже давненько и понимал, что он сейчас просто так, без боя не отступит. Характер у него был крутой, напористый. Он легко возбуждался, со всеми вел себя независимо. Был очень трудолюбив, имел неплохие организаторские способности. За малейшие промахи в работе строго взыскивал с любого работника, независимо от занимаемой должности, особенно когда усматривал элементы лености или бездельничества. По отзывам близко знавших его людей, в обиходе был прост и бескорыстен. Эти качества скрашивали резкость и непредсказуемость действий в его поведении. Но в данный момент, хоть и горячился, за рамки приличия не выходил, понимая важность и сложность вопроса. Начальник лагерей Липатов твердил: пусть женщины работают где угодно, но при одном условии — в отдельной от мужчин зоне. Эту инструкцию еще не отменили. Спор разгорался.

Всесвятский отвернулся от окна, подошел к столу: «У вас жены и дочери есть? — Все примолкли. — Ну а матери? Так вот, вообразите, что это они грузят бревна на вагоны. И у каждой в голове одна мысль: успеть бы отскочить, когда бревно сорвется и будет падать на них. Я вчера насмотрелся на их погрузку. А Липатов, наверное, не видел этого. — Чуть помолчав, продолжил: — С завтрашнею утра женщин на лесных работах не должно быть. И никаких зон на производстве между мужиками и бабами не городите. Они, кроме обузы, никому ничего не дают». Я про себя прошептал: «Вот дает! Ну зато и нам будет меньше неприятностей». Начальник лагеря (мне показалось, что он тоже был доволен), как будто боясь, что Всесвятский передумает, спросил: «А мне как доложить на свой «верх»?! — «Так и доложите», - распорядился Всесвятский».

Чтобы принимать такие решения в то время, хотя и «потеплевшее», надо было быть смелым человеком, с крепкими нервами и иметь большую душевную щедрость и сострадание к людям. Всякое случалось за подобные самовольства и с более «высокими» людьми. Но тут все обошлось. Женщин

на лесной бирже больше не было. Работа пошла много лучше. Мы, диспетчеры, это сразу оценили. Со стороны может показаться: что тут особенного, и не такое слыхали! Но нет! Сколько женщин освободил от совсем неженского труда своим решением один человек, не задумываясь о возможных неприятностях. И оценить это по-настоящему могли только те женщины, что работали на лесных работах. Жаль, что очень немногие из них узнали, что сделал Владимир Николаевич. В те времена такие дела не афишировались.

Когда в затянувшемся споре Всесвятский поставил точку, все вздохнули облегченно и разговор оживился. Владимир Николаевич продолжал: «Такая пещерная технология не только женщинам, но и мужикам не под силу. Надо все механизировать, начиная с плота и кончая отгрузкой леса. Особенно погрузку бревен на вагоны».

В те далекие 40—50-е годы почти все погрузочно-разгрузочные работы на лесе выполнялись ручным способом. В последующие годы при непосредственном участии Всесвятского и по его предложению был разработан проект расширения и реконструкции элеваторной стенки. Этот участок стал основным грузовым объектом круглого леса в лесном хозяйстве. На нем в период всей навигации бревна грузились из воды сразу на железнодорожные вагоны без промежуточных операций. Сразу поднялась производительность труда, значительно облегчился труд, а главное, обеспечивалась почти полная безопасность грузчиков. В наиболее напряженные дни только на этом участке отгружалось в Норильск более 40 вагонов в сутки. Теперь мы грузим столько в месяц: шахты закрылись, строительство сократилось, да и дерево во многом заменили другие материалы. С самого начала пребывания в должности начальника порта Всесвятский постоянно вращался в коллективах рабочих бригад. Структура порта в те годы была громоздкой. В ее систему входили все вспомогательные подразделения, взаимосвязанные с производственно-хозяйственной деятельностью порта: железнодорожный цех, ППТ (теперь это ТОРО), ЖКО, энергоцех, телефонная связь, строительная контора «Портстрой», даже конебаза. Все лагеря заключенных в определенней степени находились в подчинении руководства порта. У городских властей оставались только школы, больницы, органы правопорядка, да и то все они работали в тесном контакте с портовиками.

Всесвятский в любое время суток мог находиться на причалах, строительстве, у железнодорожников. В первые навигационные недели он почти не покидал производство.

Задерганный круговертью работ, тем не менее находил время для бесед с рабочими и по мере возможности разрешал их проблемы с присущей ему человеческой гуманностью.

Однажды в начале навигации, когда все речные причалы находились еще под водой и обработка судов производилась на ледяном и ряжевых причалах, находящихся на территории лесобиржи, подошла к помещению нашей славной конторы большая группа людей. Впереди был Всесвятский. Они прошли мимо нас и направились к складу металлопродукции. Этот склад в зимний период загружали медными листами, чтобы весной по вы-

сокой воде транспортерами через ледяной причал, намороженный зимой, отгрузить в баржи. Технология погрузки меди была несравнима с теперешней. Тем не менее такой вариант обеспечивал начало обработки судов много раньше, чем открывались основные причалы. Наморозка причала и обработка судов по этому варианту производились уже много лет. Создателем этого был Стифеев Тимофей Гаврилович.

Владимир Николаевич вошел в помещение склада. С ним были главный инженер М.И. Лазарев, начальник речного участка Ю.Г. Стамболи, кто-то из диспетчерской порта и еще несколько норильчан, которых я не знал. Я тоже вошел за ними, хотя, откровенно говоря, меня туда никто не звал, да и делать мне там было нечего.

В складе женщины вереницей от штабеля до транспортера переносили медные листы. Большинство из них таскали носилками, некоторые на специальных устройствах на спине. Кто-то из присутствующих похвалился: «Видите, как налажено дело!» Всесвятский не обратил на это никакого внимания и продолжал смотреть. Мне показалось, что он чем-то недоволен. Взгляд его был прикован к одной паре невысоких женщин. Дождался, когда они прошли с носилками от штабеля до приемного стола перед транспортером, с трудом их подняли и опрокинули лист. Стоявшей рядом с ним бригадирше велел подозвать их.

Они подошли, не выпуская носилок из рук. По виду это были довольно молодые девчата. Сначала мне подумалось, что он хочет сделать им какие-то замечания: девчата работали явно хуже других.

«Опустите, — сказал Владимир Николаевич. Сам взялся за ручку носилок, приподнял одну сторону. Разглядывая, спросил: «А как же вы работаете?». Ручки носилок были какого-то прямоугольного сечения, края не обструганы. Присутствующие пододвинулись. Он взял за плечо одну из женщин и велел ей показать руки. Замешкавшись или не поняв сразу, она протянула ему обе руки прямо в рукавицах. Он сам стянул рукавицу с одной руки, сказал: «Разожми кулак». (Кулак был чуть больше воробьиной лапы). Когда женщина распрямила пальцы, то все увидели, что ее ладонь покрыта сплошной лилово-красной мозолью, а из пальцев просачивалась кровь. Всесвятский взял ее руку в свою большую ладонь, немного подержал, будто хотел удостовериться, что все это в действительности так. Потом, опустив ее руку, сказал: «Ладно. Иди уж! — обратился к другой: — У тебя тоже так?». Та покорно опустила голову. Спросил бригадиршу: «А как остальные?». Та бойко отрапортовала, что у всех все хорошо, вот только у этих двух «доходяг» такие болячки. Мол, не знаю, что делать с неженками. «Я вот сниму тебя сейчас с бригадирш и поставлю вместо них таскать эти носилки, тогда быстро сообразишь, что делать», — в голосе Всесвятского зазвучали металлические нотки (Владимир Николаевич умел не только жалеть, он мог очень строго спрашивать). «Да у меня же задание», – в оправдание притихшим голосом сказала бригадирша. Помолчав немного, Владимир Николаевич приказал: «Сейчас же отправьте их обеих в зону и, пока не заживут руки, ни на какую работу не посылать. И нарядчикам скажите, что я освободил их от работы. А то ведь чего доброго в карцер засадят. Знаю эту публику. Я проверю».

При этих словах у меня почему-то защекотало в носу. Хотя я человек не очень сентиментальный. Повернувшись к умолкнувшим помощникам, он сказал: «Так чего же вы мне всю дорогу хвастались? А вы ведь, Михаил Иванович, тоже вроде бы поддакивали». Лазарев завертел головой, отчего очки у него засверкали. С досадой отреагировал – придется «вправлять» мозги Стамболи». Как «вправлял» мозги Михаил Иванович, об этом знали многие. Ю. Г. Стамболи вжал голову в плечи.

После небольшой паузы Всесвятский сказал: «Сейчас мы ничего не сможем изменить. Но надо поставить на эту работу мужчин. Ведь раньше здесь не работали женщины. Почему мне все время приходится вытаскивать их то из-под бревен, то из-под медных листов?». Сейчас, когда все операции на погрузке металлопродукции полностью механизированы, этот эпизод из далекого прошлого ярко встает в памяти.

Вспоминается еще один, казалось бы, на первый взгляд совсем обыденный случай. Было это в одну из навигаций середины 60-х годов. Шел завершающий этап этой тяжелой страды. Я не знаю легких навигаций. Трудных было много. А в этот год она была особенно напряженной. С развитием талнахских месторождений резко возросла потребность в строительных материалах, материалах технического и промышленного назначения, автотехнике и прочих товарах народного потребления. Увеличился грузооборот в порту. Всесвятский уже давно работал начальником Норильсксnаба, но всегда приезжал в Дудинский порт, когда возникали трудности. И, как правило, всегда к концу навигации, в ее завершающий период. В этот раз он приехал много раньше.

Прогноз погоды на первую декаду октября был неутешительным, а объем работ на оставшееся время был большим. Плохо, очень плохо складывались дела у лесников. Уже были заложены круглым лесом все складские площади, большая часть территорий занята в затопляемой зоне, а плоты все шли и шли. Очень тогда нужен был лес для строек комбината. В последних числах сентября был принят 14-й по счету плотокараван. Спешно разводили его по гаваням бревнотасок, причаливали секции к берегам, поднимали их вверх против течения, чтобы освободить плотовый рейд для приема последнего каравана. Подход в этот день почему-то задерживался.

Приближался вечер. Октябрьские сумерки незаметно опустились на землю. Еще утром было тепло, а с середины дня потянул холодный северный ветер. Во второй половине дня он усилился, вечером повалил снег. Сведений о приближении буксировщиков не поступало. Напрасно выходил я на балкон сплавной конторы и вглядывался в белесую темноту. Ничего утешительного не сообщали ни диспетчеры порта, ни служба ЕнУРПА. Шел девятый час вечера. Плот как пропал. Обычно в такую погоду речники плоты не водят. Но в этот раз, невзирая на шторм и темноту ночи, тащили его. Близки были морозы.

Наконец затрещал телефон, и диспетчер ЕнУРПА сообщил, что плот уже на подходе, только из-за густого снега его плохо видно. Я начал собираться. Катер давно стоял в гавани бревнотаски. В это время услышал тяжелые шаги на лестнице. Кто-то подошел к двери, но в темноте не мог

отыскать дверную ручку. Я подошел, толкнул дверь и увидел Всесвятского. Согнувшись в дверном проеме, Владимир Николаевич незлобно пробурчал: «Метет, словно сдурела». Отряхиваясь от снега, поздоровался. Прищурившись, сказал: «А у тебя тепло». «Дров не жалеем», — ответил я. «Далеко собрался?» — «Плот уже заходит, сейчас поеду посмотрю, что в нем уцелело при таком шторме».

Лесники всегда встречали каждый плот за два часа до его прихода в порт. Такой порядок. Но тогда при разыгравшемся шторме никакой катер на Енисей выйти не мог. Поэтаму осматривать состояние плота можно было только после заводки его в устье Дудинки. «Поедем вместе», — сказал Владимир Николаевич.

В том, что Всесвятский решил отправиться со мной навстречу плоту, ничего удивительного не было. Он и раньше так часто поступал. Возьмет начальника сплава, а если его не окажется поблизости, мастера, а то и просто один. Чаще всего он так поступал, когда надвигались морозы. Знал Владимир Николаевич, как тяжел труд лесников на выгрузке бревен из воды, особенно когда она начинает замерзать. А как выкайливают бревна изо льда, он видел своими глазами. Вспоминал, правда, нечасто про зимы 47–48го и 52–53 годов, когда в затопляемой зоне было много леса - особенно 53-й год. Тогда на затопляемых территориях было около 250 тысяч кубометров древесины. Причем из этих объемов добрая половина, по образному выражению Арчила Гедеванишвили — тогдашнего главного лесника, – была «полуобсушена». Под «полуобсушкой» понималось, что весь низ леса заморожен и только поверхность бревна чуть выступает надо льдом. Я тоже все видел. И не только видел, но и самому пришлось выкайливать вместе со всеми.

Картина впечатляющая. Тысячи людей разных профессий – учители, медработники, служащие райкома, окружкома, исполкомов и прочих городских служб — шли на помощь рабочим порта. Выполняли тяжелую работу. Привлекались не только работники городских организаций, были и норильчане. Спасением народного добра занимались всем миром. В те зимы вывозка леса из затопляемой зоны была главной задачей руководства порта. Большую помощь оказывало руководство комбината. Вспоминать просто. А вот организовывать людей было неимоверно трудно. Требовалось огромное количество инструмента – ломов, кирок, лопат. Нужно было обеспечить рабочих обогревалками, питанием, водой, транспортом. Разве все перечислишь! Через реку Дудинку был проложен железнодорожный путь, и с февраля месяца в 1953 году по нему железнодорожными составами вывозили лес с левого берега. И ведь вывезли — все 250 тысяч кубометров! Вспоминать трудовые будни тех лет нельзя без удивления.

Плот осмотрели быстро. Несмотря на шторм, он был невредим. (Немного времени трепал его ветер, да и учаливали плоты тогда лесники по всем правилам.) На обратном пути возле причала Всесвятский спросил: «Сколько выгружаете за сутки?» – «5,5 тысячи» (или 6 тысяч кубометров, сейчас уже плохо помню), — ответил я. Подумав немного, видимо, прикидывая в голове, он сказал: «Нужно не меньше девяти тысяч кубометров, иначе за-

морозите. Завтра с утра берите портальный кран, крайний на речном причале, и закладывайте всю территорию в сторону морского участка». Тогда еще речные причалы с морскими не были соединены единой причальной стенкой.

Когда сошли с катера, спросил: «А что ты все время чихаешь?» Я признался, что еще позавчера переходил по пучкам плота, оступился и упал в воду. Вот, наверное, и простыл. «Сейчас подойдем к моей машине — она где-то здесь рядом, — и поезжай домой. Лекарства-то есть?» – «Есть», — говорю. И вспомнил, как много лет назад заболел начальник коммерческой службы М. Харитонов. Нужных лекарств не нашлось в Дудинке. Всесвятский где-то раздобыл их в Норильске, пакет вручили нарочному и отправили первым товарным поездом. Я под утро бегал за ним (а тогда я работал диспетчером порта) на нашу железнодорожную станцию, а оттуда в больницу. Когда пришел дежурный врач, сказал, что уже три раза звонили, спрашивали, принесли ли лекарства. Когда вернулся в диспетчерскую, позвонил в снаб. Мне сказали, что Всесвятский знает, и не надо его тревожить, утро уже. Все это мгновенно пронеслось в голове, и я сразу же добавил: «У меня такое лекарство — как приму, так сплю, словно молодой бог. Все как рукой снимает».

Когда я садился в машину, он сказал шоферу: «Отвезешь его, а там приезжай сюда обратно». Я спросил: «А вы разве не поедете? Полночь уже». — «Нет, я еще схожу на причалы, видишь, что-то краны очень плохо ворочаются. При такой работе яблоки заморозят».

Машина отъехала, я посмотрел в окно. Сквозь снежную круговерть высокая фигура Всесвятского двигалась в сторону причалов.

Утром из кабинета я позвонил диспетчеру порта. В трубке услышал голос Всесвятского. Он кого-то отчитывал за плохую работу в ночную смену. Спал ли он в эту ночь? Вряд ли. Впрочем, таких бессонных ночей у него было много. Диспетчер предупредил меня, чтобы я доложил Всесвятскому, как только начнем выгружать лес на причалы.

Через шесть дней лесные гавани в реке Дудинке заковало крепким льдом. Но лес уже был выгружен.

В последнее время Всесвятский работал в московской конторе. Когда мне доводилось бывать в тех краях, я всегда находил время, чтобы навестить его. К нему северян пропускали без задержки: «Проходите, он всегда вам рад».

Однажды весной я зашел к нему. Он был в приемной и что-то говорил секретарше. Увидев меня, сдвинул очки и тут же сказал: «Давай заходи, что-то тебя давно не было видно». Я никогда не слышал от него про какие-то личные невзгоды. Может, это оттого, что не так был близок к нему, но мне кажется, что это было в его характере.

В тот раз, когда я спросил у него, как здоровье, он с каким-то непривычным, несвойственным ему голосом сказал: «Да у меня-то, Коля, ничего. Вот супруга что-то начала сдаваться, — и тут же, как бы спохватившись, добавил: — Ничего, беру отпуск, поедем на курорт, все будет хорошо». Больше я его не видел.

Все люди уходят в небытие одинаково, только каждый человек по-разному оставляет свой след на земле. Всесвятского знал почти каждый житель Дудинки и Норильска. Но вряд ли найдется (а как бы хотелось!) такой человек, который смог бы сполна рассказать о его долгом пребывании на Крайнем Севере, обо всем, что он сделал и в Дудинском порту, и на комбинате, о его большом вкладе в развитие всего северного района. Он принимал участие в строительстве железной дороги, широкой колеи Дудинка—Норильск, в строительстве портовых сооружений, при¬нимал на себя решение многочисленных серьезных задач как в строительстве, так и эксплуатации важнейших производственных объектов, водоводов и сантехнических ком¬муникаций. Он очень многое сделал в развитии системы материально-технического снабжения комбината, в усовершенствовании контейнерных перевозок, круглогодичной арктической линии Мурманск—Архангельск—Дудинка, разработке внешней транспортной схемы Норильского промышленного района.

50 лет Всесвятский служил северянам и Северу. Это был единственный человек на Таймыре, удостоенный высокого звания почетного гражданина городов Норильска и Дудинки. Всесвятский вырастил целое поколение руководителей и специалистов, которые сейчас успешно решают не менее сложные задачи. Те, кому довелось жить и работать вместе с ним, знали его как неутомимого труженика, обладающего удивительной работоспособностью.

Всю его кипучую деятельность можно сравнить с огромным маховиком, который раскрутила какая-то невероятная сила, и он работал без перебоев и устали до самого конца. Теперь уже все меньше и меньше остается людей, начинавших работать вместе с ним. Но чем дальше уходит время, тем сильнее осознаешь, какую огромную «глыбу» пронес этот человек по жизни. И тяжесть ее не в длинных полярных ночах, лютых морозах и пургах — это и сейчас есть все в той же мере. Тяжесть в том, что работать, организовывать труд и производство приходилось в иные времена, в иных условиях, с людьми, чей диапазон мышления и действий замыкался забором колючей проволоки да деревянными бараками. На этих людей возлагались работы большой ответственности и важности. А множество инструкций запрещало общаться с ними как с равными.

Душа и человеческие качества Всесвятского противились и бунтовали против этого. Он придерживался собственных взглядов, отстаивал свое мнение, не страшась за собственную судьбу в самых сложных ситуациях. Борьбу противоречий выдержать было непросто. Всесвятский с достоинством прошел через все, не запятнав своего имени, не ступил на легкую и спокойную дорогу бездушного бюрократа.

Этот большой, добрый, сострадающий человек заслуживает доброй памяти. Пройдут годы, уйдут последние ветераны комбината и Дудинского порта, на суровую трудовую ниву заступят новые поколения. Но имя Всесвятского должно напоминать всегда о тех огромных трудностях, что выпали на долю первых строителей в суровом Заполярье.

Дудинскому порту – 50 лет. В его развитие Владимир Николаевич

Всесвятский вложил много сил. Я обращаюсь с предложением к общественности и руководству порта ходатайствовать перед администрацией города о присвоении одной из дудинских улиц его имени. Это надо уже не ему, а нам. А он? Честное слово, он это заслужил.

Из глубины ушедших лет
(Северная быль)

Неумолимо быстро уходит время. Уходит по неотвратимым, неведомо когда и кем установленным законам. Уносит за собой печали, горести, минутные радости, хаос неустроенности жизни и житейскую повседневную суету. Остаются только грусть несбывшихся надежд да ностальгия по прошлому, порой невыносимо тяжелому.

Мыслями уносясь в глубину прожитых лет, проникая в самые сокровенные уголки памяти, иногда с нескрываемым удивлением, а чаще как-то даже не веря, вопрошаешь себя: а было ли это наяву в жизни? А может, все приснилось в давным-давно забытом сне.

Из дальних далей выплывают дела давно прошедших дней, видения пережитых разочарований, непродуманных ошибок и недостигнутых целей. Теснясь и обгоняя, мелькают они перед мысленным взором, встают одно за другим совсем рядом. И часто кажется, что это было удивительно недавно, как будто вчера. А разум трезво охлаждает — посмотри, мол, как все вокруг стало иным, как мало встречаешь средь шумной, спешащей толпы знакомых лиц. Да и тех порой с трудом узнаешь, смотришь им вслед с сомнением: да он ли когда-то гонял мяч по песчаному полю, а вот сейчас идет, опираясь на палочку? И как изменился сам, как побелела голова, как мало хочется и как скромны стали желания...

Течет, течет река времени. Нет для нее полустанков, станций, вокзалов. Не остановится, не передохнет. Чем дальше вглядываешься в умчавшиеся годы, тем яснее понимаешь быстротечность времени. И особенно остро, когда его остается мало. Каждое утро перекидываю листки календаря, и все чаще вползает непрошеной гостьей мысль – а сколько их осталось до того, последнего, который перевернет другая рука, а тебе уже ничего не будет нужно?..

Год сменяет год, за ними скрываются десятилетия. Память стареет и устает. Затухает боль жизненных невзгод, растворяются мимолетные радости, многое забывается напрочь. Только не меркнут в памяти величие и трагизм событий, что выпали на долю многих поколений. Великая, священная война, безбрежное море человеческих страданий. Все прошел, все претерпел и осилил наш народ. А выстраданное сердцем не забывается никогда...

Не так давно мир отметил полувековой юбилей Победы советского народа над фашистской Германией. Праздновали его и в Дудинке. Уличное шествие было многолюдным. Участников же событий той далекой военной поры — немного. В нашем городе их всего-то осталось меньше шестидеся-

ти, да и собрались в этот раз на торжество не все. Мне знаком почти каждый из них. Со многими начинал работать, помню совсем молодыми. Теперь же состарились, давно стали пенсионерами. Они шли первыми, как и подобает самым почетным людям.

Я был в людском потоке и вспоминал давние времена. Память волнами накатывала из глубины ушедших лет помнились прежние демонстрации, парады, манифестации, праздники, бесчисленные встречи с людьми, из которых многих уже нет. Все это прошло здесь, на этой же площади, где стоим сейчас.

Где все это? Куда ушли те люди? Небольшая группа ветеранов войны, окруживших памятник Победы, наводила на грустные думы: «Как же их мало осталось. Все ли придут они в следующий раз?». Глядя на их радостные, утомленные трудами и временем лица, мысленно желал им только одного: покоя, достатка и мира.

Пытался вспомнить (но не смог): когда состоялся первый парад в Дудинке? Много их было. Все слились вместе. Но отчетливо помню, что отличались они от теперешнего большей организованностью, более красочным оформлением городских улиц. На весь город гремела музыка, из репродукторов неслись призывы и поздравления. Впрочем, такими были не только парады. Все советские праздники отличались большей торжественностью. И как это сейчас называют – помпезностью. Так ли? Не знаю...

В первые послевоенные годы в Дудинку собралось много фронтовиков. Возвратились все, кто уходил из этого села и уцелел в огне сражений. Приехали из других мест, большинство – сибиряки из городов и деревень Енисейского региона.

Строительство Дудинки разворачивалось бурно — людей требовалось много. В каждый праздник фронтовики собирались и шли одной большой колонной. Ордена, медали и прочие регалии украшали грудь. В кумачовом убранстве утопало людское море.

К участникам войны все жители относились с великим уважением. Они всегда были желанными гостями. Люди знали и понимали: это они отстояли Родину, спасли не только нашу державу, но и все человечество. Общаясь с ними, я скоро понял, что отличительными чертами их характеров были простота, доступность и человечность, что в те годы было мне особенно дорого. Я завидовал им светлой завистью. Уважение порой переходило в обожание.

За несколько лет до Дудинки, когда я замерзал в лагерном изоляторе, когда не оставалось никакой надежды и угасал чуть теплившийся остаток жизни, меня освободил и спас (в буквальном смысле) фронтовик, из-за ранения оказавшийся в глубокой Сибири. И стал он начальником лагеря заключенных. Это ему обязан я жизнью и помню об этом с благоговением.

Уже после мне довелось слышать от самых беззащитных людей, забитых лагерным режимом, об удивительных по гуманности и благородству его поступках, которые он совершал без колебаний и тут же забывал, считая это обычным делом. (Чуть позже я подробнее опишу эпизод нашей встречи.) Благородные и возвышенные чувства сохраняю о фронтовиках с первых дней военной поры. Да разве только я!

Но время вносит свои коррективы. Прошли годы, многое изменилось, появились новые люди, с другими нравами. Великий народный подвиг стал бледнеть, рассматриваться в ином свете. Часть людей совсем по-иному начала относиться к тем, кто заслужил уважение на многие века. Горько становится, когда слышишь, как подошедшему в затрапезной телогрейке к прилавку вперед очереди полуослепшему фронтовику упитанная, с ухоженной физиономией гражданка, как бы обращаясь в пустоту, вроде бы и не человек перед ней, выговаривает: «И когда перемрут эти грязные «недобитки»? Лезут и лезут без очереди. По дому ничего не успеваю, мужа не вижу, всю домашнюю работу оставила». Где отыскать «изысканные» выражения, чтобы урезонить эту брезгливую домохозяйку?

Иногда не только в толчее людской, но и в печати проскальзывают суждения: вот победили бы немцы, и ели бы мы сейчас сосиски да запивали бы баварским пивом. Как на это ответить? Только убогие умом да самые отъявленные ненавистники нашего Отечества могут желать подобного. Неужели фашисты приходили к нам в 1941 году с такой всепожирающей войной, чтобы после победы над нами посадить нас, побежденных, на лавочки под Божьи образа, кормить, поить, да еще мух отгонять, когда задремлем от сытости?!

Посмотрите лучше еще раз документальные фильмы, как огромные рвы заполнялись скелетами изможденных в фашистской неволе людей, и тогда, может, отрезвитесь от своего безумия. Знайте и помните! Фашисты (впрочем, и от иных иноземных захватчиков не ждите другого) всех бы заставили работать, и старого и малого, до седьмого пота с кровью — они умели это делать. Ну а насчет пива с колбасой — может, и видели бы. Только в снах…

А вот в те далекие годы подобных мыслей у действительно голодных людей не было. Жили много беднее, но не проклинали ближнего, делились последним. Знали, что эти трудности порождены войной, и боролись с ними все сообща. И фронтовики, и работники тыла испытали все тяготы войны и душой понимали ее страшную людоедскую суть.

Все меньше и меньше остается участников Великой Отечественной и ветеранов военного времени. Но чем дальше уходят те огненные годы, тем яснее встают в памяти имена пришедших со всех фронтов священной войны совсем тогда еще молодых фронтовиков в Дудинку, в Дудинский порт — на трудовой подвиг.

О, это магическое слово «фронтовик»! Оно объединяло и уравнивало тогда всех: и рядового, и генерала. Я напомню имена лишь нескольких фронтовиков, о которых в праздничной суете перед 9 Мая забыли.

Леонид Афанасьевич САБЕЕВ. Лучший механик порта. Под его руководством монтировались первые портальные краны были изготовлены десять металлических железнодорожных элеваторов для загрузки вагонов лесом, полностью исключивших ручную погрузку бревен. Четко и слаженно в сложнейших условиях работала возглавляемая им механослужба. Сам же он, когда этого требовали обстоятельства, находился на производстве сутками. Ушел из жизни в расцвете сил, задолго до славного юбилея. Когда

провожали его в последний путь в калининскую землю, ту, что пришлось ему защищать, людская лавина заполнила улицы от клуба порта почти до железнодорожного вокзала.

Станислав Антонович ГУМЕНЮК. Сполна испив чашу военного лихолетья, с первых мирных дней восстанавливал разрушенную войной страну. Все лучшие годы отдал строительству и преобразованию Дудинского порта. До последнего дня был неразрывно связан с портовиками Дудинки. Ушел с работы вечером, а наутро в порту уже не появился...

Нет их, но бороздят и бороздят в Дудинском порту енисейские воды теплоходы с их именами. Несут трудовую вахту.

А как не вспомнить Иннокентия Ивановича МИХАЙЛОВА — главного диспетчера порта? Кешу, как величали мы его с первых лет и с которым проработали почти три десятилетия. Вместе. Отслужив честно в армии (впрочем, недобросовестно в те военные, да и в последующие за ними годы служить не позволяли), он по приезду в Дудинку влился в трудовой коллектив порта. Как он работал? Как все в те годы — самоотверженно и бескорыстно. Некоторые портовики еще помнят его. Я же сохранил об Иннокентии Ивановиче самые светлые воспоминания. Любил он Дудинку, Дудинский порт. И, может, еще долго бы работал. Но что-то не заладилось у него в последнее время. Засобирался уезжать. Сколько ни отговаривал, ни убеждал я: «Все пройдет, все уладится» – не уговорил. Я даже рассердился: «Жалеть будешь, всю жизнь ведь в Дудинке прожил!»

Остался Иннокентий Иванович при своем. Зашел перед отъездом ко мне и, как бы стесняясь, спросил: «У тебя, наверное, есть черенки для лопат?». Отобрали, насадили и наточили лопаты. «Ну вот, теперь есть чем в огороде землю копать», — сказал Кеша. И уехал. Уехал в далекую киргизскую землю, теперь с благословения горе-реформатора М. С. Горбачева да небольшой кучки демократических дельцов с партийными билетами КПСС, ставшую для нас ближним зарубежьем.

Упокоился в той земле Иннокентий Иванович. Может, и закопали его теми же лопатами, что вместе насаживали... Пусть земля будет ему пухом! Узнал от его супруги: «Мочи жить не стало. Соседи стали смотреть как на чужих. Сыновья разъехались. А я как уеду от могилы близкого человека? Вот так и живу». В Дудинском порту были фронтовики, кому довелось присутствовать на первом параде Победы в Москве на Красной площади.

Это Алексей Алексеевич ЧЛЕНОВ. В порту работал долго и ушел на пенсию из нашего лесного хозяйства. С 50-х годов на лесозаводе трудилось больше сотни фронтовиков. Теперь не осталось никого...

Последнего участника Великой Отечественной войны – Ивана Максимовича ПАРШУТКИНА — проводили на заслуженный отдых несколько лет назад.

Уходят и уходят фронтовики. Люди, спасшие от захватчиков Отечество, поднявшие разрушенную страну из руин, превратив ее в более мощную, чем до войны, державу. Сколько потребовалось энергии и труда! Как измерить? Теперь уходят последние. Уходят молча, без упреков. Многие незаслуженно забыты. Исчерпали до конца свои жизненные силы, укоряя

себя и даже сомневаясь в исполненном долге: «Может, не все удалось и не так получилось как хотели?» Да что тут поделаешь — люди ведь, могли в чем-то и ошибиться... Но как бы ни было, главное отстояли и сохранили державу, не запятнав своего имени. Не будет стыдно потомкам за дедов и отцов. Да не будет!

Все меньше и меньше остается людей легендарного подвига. Грустно, но что поделаешь... Так уж определено природой. Все мы идем в одном направлении. Только у каждого своя дорога, у каждого своя судьба... Но как избрать счастливый путь и судьбу без терний и лишений? Все это хотят, да не у каждого получается. На жизненных перепутьях не единожды доводилось встречаться с людьми суровой поры, прошедшими самые тяжелые испытания, но сохранившими во всех жизненных ситуациях человеческое достоинство и благородство души. Были и такие, что людьми-то вряд ли можно назвать. Чтобы рассказать о них, придется возвращаться в далекое прошлое и сделать некоторые отступления.

Когда-то давным-давно, ничего не видавший, кроме нашей маленькой деревушки, я думал, что весь мир заключен в ней. А церквушка, что на пригорке, недалеко от нас, – это и есть та самая Божья обитель, в которой где-то наверху живет Бог, с которым часто и таинственно разговаривает бабушка. Я всегда прислушивался, держась за ее длинную юбку, к тому, о чем и с кем она говорит, но ничего не мог разобрать, кроме: «...Спаси и помилуй, Господи!».

Однажды в зимний день, набегавшись и измерзнув до зубной тряски, я забрался на теплую печь, прихватив с собой книжку с картинками, что привезла приехавшая из города навестить нас тетка. На одной из страниц я увидел островерхий шалаш, рядом с которым бегали люди и ловили невиданных каких-то странных коров с большущими рогами. Я спросил: «Что это?». Тетка поведала: «Далеко-далеко, на самом краю земли, у студеного моря есть люди. Живут они в шалашах из шкур, ловят оленей (вот они — с рогами), едят сырое мясо, пьют кровь и спят не раздеваясь. Всю же зиму там темная ночь, трескучие морозы, а летом никогда не заходит солнце. Комаров там так много, что могут закусать до смерти». Я поеживался и прикладывал ноги к кирпичам, где потеплее. Тетка сказала: «Вот вырастешь и поедешь туда». Я запротивился: «Нет уж, никуда не поеду. Мне и здесь хорошо». «Как знать, — сказала тетка, — в жизни всякое случается».

Слова ее оказались пророческими. Только довелось мне приехать в эти места не зверей и оленей ловить, а совсем по другому промыслу. Уже полвека, как живу здесь. Но прежде чем оказаться на этой земле, мне суждено было пройти много трудных и длинных дорог.

...Было раннее утро 1 Мая. Последний предвоенный, мирный праздник. Большой, черного цвета легковой автомобиль, мягко шурша шинами, быстро мчался из Загорска в Москву.

Первый раз в жизни я ехал с таким комфортом. Правда, сидеть было не совсем удобно. С боков теснили два дюжих сопровождающих. Я хорошо знал, что это за люди, и потому сидел смирно, стараясь не двигаться. Так, из предусмотрительности.

Мелькали поселки, городки. На улицах пестрели флаги, транспаранты, лозунги. Все утопало в красном цвете. Собирался народ на демонстрацию. И чем ближе к Москве, тем людей на улицах становилось больше.

Машина ускорила ход. Ее не задерживали. Вскоре въехали в Москву и, попетляв немного по переулкам, остановились перед воротами. Они тут же открылись, и машина въехала во двор.

Это была Лубянка. На других машинах из нашего городка, кроме меня, привезли еще трех человек. Всех разместили по разным камерам. В то время народу сидело немного и камеры были полупустыми. Потом, когда начнется война, их забьют до предела.

Наверное, самое неприятное время у арестованных — это период неясности, ожиданий, следствия с доп¬росами, очными ставками, ночными бдениями в ожидании вызова, бесчисленными подписями за каждый ответ на вопросы следователей. Особенно муторно, когда между следователем и арестованным возникают несогласия. Од¬ному нужно добиться признания, другой же от всего отказывается.

Со мной им (следователям), да и мне с ними, было просто. Написанная моей рукой листовка с обвинением сталинского режима в искажении ленинского учения, в уничтожении Сталиным ленинских сподвижников, да еще с утверждением, что «другая партия должна вернуть страну на ленинский путь», облегчала следователям задачу. А мне? Что написано, от того не отречешься...

Впрочем, отречься можно, а вот отказаться — никак. Упираться не было смысла. Следствие шло без пристрастия, угроз и побоев. Правда, на допросах двигаться не разрешали. Когда вставал с табуретки, то под ногами оставались влажные следы от пота.

...В начале войны наше дело было закончено. Вскоре перевели в Таганскую тюрьму, потом разными этапами всех отправили в Сибирь. Меня — в Омск. Поместили в тюрьму и забыли. Почти на целый год.

В камерах теснота была невероятная. Некоторые спали сидя, не хватало места, чтобы выпрямить ноги. Очень хотелось выбраться хоть куданибудь, в любой лагерь, только бы дышать свежим воздухом. И это время подошло.

Сибирь. Первое крещение

Ненастным апрельским днем небольшая группа людей двигалась по городским улицам. Омск — город большой. С одного конца в другой его быстро не пройдешь, тем более когда идти приходится по установленному маршруту, минуя центральные площади, проспекты, главные улицы и другие многолюдные места.

Народ был пожилой, молодых почти никого. По воле судьбы в нашей группе оказались люди многих национальностей, со всех краев земли русской. Каждый говорил на своем языке, но друг друга понимали хорошо. Никто ни у кого не спрашивал: «Чей ты? Какого роду-племени?» Все были

одинаковы: и русский, и татарин, и черкес... Уравнивала всех одна особенность — осужден по политическим мотивам.

В кромешной тесноте тюремной камеры я быстро уверовал: нет на земле разных народов, народностей, рас, национальностей и тому подобное, есть две разных категории людей: добрые и порядочные — одна, а подлецы и мерзавцн — другая. И здесь Творец вселенной, создавая мироздание со множеством противоположностей и противоречий, не отступил от своего убеждения при сотворении паствы на нашей планете.

Несколько дней назад объявили приговоры и сроки наказания. Вернули из тюремной каптерки личные вещи, выдали дневной паек и вывели за тюремную ограду.

В начале пути шли бойко, потом стали сдавать. Некоторые несли довольно увесистые узлы с пожитками, у других были потертые чемоданы. У меня — совсем легкий мешочек. Какие может иметь «богатства» недоучившийся десятиклассник?..

Шедший со мной рядом сосед совсем выбился из сил: старый был да еще, видимо, и больной. Я взял у него довольно тугой баул. Он вздохнул облегченно и, поблагодарив, сказал: «Зачем тащу?! Все равно все пропадет...»

За долгое пребывание в тюремных камерах люди заметно утратили свои привычные манеры: движения были скованны, действия нерешительны. Вид жалкий. На бледных лицах — глубоко впавшие глаза. Многие в камерах отпустили бороды (теплее, да и хлопот меньше).

По прибытии в лагерь всех тут же обрили — нечего заразу разводить. У меня не было ни бороды, ни усов, а так себе — какое-то пушистое недоразумение.

Стояли теплые дни. Моросил весенний дождичек. На дороге — лужи воды. Их не обходили, конвой не разрешал ломать строй, а тем более разбредаться по сторонам. Шли медленно. Разговаривали мало, хотя конвоиры не запрещали. Каждый был погружен в свои тяжелые думы. Думал и я. Вернее, мечтал: по приходу в лагерь обменяю часть своих вещей. Хоть и маловато их у меня, на хлебушек, может, да кашу... В тюрьме ведь кормили впроголодь, и есть хотелось всегда. Эти приятные мысли радовали сердце, подбадривали.

Шедший со мной рядом пожилой сибиряк заметил мое томительно-блаженное выражение лица, спросил: «Что-то ты вроде бы резвишься в своих мечтаниях?». Я ему рассказал о своих заботах. Он помолчал и, не поворачиваясь, сказал: «Не думай. Все равно будет не так, как хочется».

Когда подошли к воротам лагеря, дождь прекратился, тучи рассеялись, выглянуло солнце. На вахте работники УРЧ (учетно-распорядительная часть) быстро сверили документы (поднаторели в этих делах) и пропустили всех в зону. Завели в большой барак, совсем недалеко от вахты. Назывался он «транзитным».

Спустя немного времени пришел работник КВЧ (культурно-воспитательная часть). Их называли культработниками, иногда культурниками, а проще «культы». Он провел беседу: рассказал про обстановку на фронтах, призвал всех работать честно на благо Родины и народа, а глав-

ное — на защиту Отечества. В завершение добавил: «За героический труд могут освободить досрочно». Это меня насторожило. Но в этот раз не стал вдаваться в подробности. В первую очередь спросил: «А на фронт берут?» (В тюрьме научили.) «Культ» ответил: «Берут, только по усмотрению». Как понимать «усмотрение», объяснять не стал.

Затем пришел комендант. Объяснил правила поведения, сказал, что на этой «транзитке» пробудем мы двое суток (для «акклиматизации»). Раньше давали трое суток, но теперь время военное, некогда прохлаждаться. «Потом вас переведут в колонну № 5 (их в лагере было несколько). А там распределят по бригадам. Вот и все. Сейчас же изберите старшего группы, дневальных и получите ужин».

Вечером подкрепились. После отбоя разлеглись, как «бояре». Барак был большой. Мест хватило бы еще на пять таких партий. Я облюбовал себе местечко на втором ярусе. Хорошо. Не то что в тюремной камере, где лежали как селедки, переворачивались с боку на бок по команде.

Первая ночь прошла без происшествий. Начался день, полный хлопот и забот. Все куда-то ходили, спешили, суетились, о чем-то разузнавали. К концу дня появилось много разной информации. Узнали, что в этот лагерь заключенных начали свозить с прошлого года. Первыми этапами привезли украинцев, белорусов и других западников. Были этапы из Москвы и Ленинграда. Людей накопилось около двадцати тысяч. Водили на строительство нескольких объектов: авиационный завод, шинный, аэродром с взлетно-посадочной полосой. В лагере десять колонн, несколько «буров» — бараков усиленного режима. Один сизо, карцер. Но самым страшным местом была штрафная колонна. Рассказывали всякое. Там дня не проходило без поножовщины или драк. Отправить человека на тот свет считалось обычным делом (как сейчас в наших столицах и больших городах). Жуткие казни учинялись за доносы и предательство. Душераздирающие крики разносились по всей зоне...

Когда дрались группировка с группировкой или правили суд над «отступниками», дежурные надзиратели из штрафной зоны убегали. Потом уж целой ватагой врывались туда и наводили порядок. Колонна штрафников в общей лагерной зоне была огорожена двойным забором и имела только одну вахту, через которую выводили на работу или запускали проштрафившихся. По углам возвышались вышки с охранниками. Попасть туда было просто, но выходили оттуда не все. Самых отъявленных головорезов держали там постоянно. Описать их у меня нет способностей. Знаю только: они не просили пощады, сами тоже никогда ни от кого не ожидали никаких снисхождений.

Днем я и несколько человек со мной отправились в пятую колонну, где нас должны были разместить. Она находилась на другом краю лагеря. В ней было три построенных рядом жилых помещения (землянки — глубиной около двух метров, шириной пять, а длиной примерно 50 метров). Крыты шалашом. Окон не было. Вход с торцевой стороны. Один. Нары — в три яруса. Отапливались эти помещения-землянки металлическими печками. Здесь же несколько электрических лампочек, которые тускло освещали проход. Углы скрадывала темнота.

Бараки были пустыми. Заключенные ушли на работу. Остались только дневальные. Стали расспрашивать. От них узнали, что контингент в основном из политических и бытовиков. Но есть и уголовники, хотя немного. Начальник колонны — Веревкин. А прозвище в лагере — Бездомный. Нарядчиком у него — Федулыч, по имени Ермил, но зовут его все только по отчеству. Любит такое обращение нарядчик Федулыч. Оба не в меру строги. Как понимать эту строгость, объяснять не стали.

Потом я узнал, что Бездомный (бывший вор в законе) переметнулся к начальству. Федулыч же из «бытовиков», колхозный ворюга. Тоже по первости примыкал к блатной ораве, потом отстал от них и схлестнулся с Бездомным. Вместе и правят сейчас в колонне.

Судьба заключенных во многом зависела от этих людей. Они могли сажать в «бур» или карцер до десяти суток (по своему усмотрению).

По лагерным законам на всякое административное взыскание должен быть письменный приказ начальника лагеря. Но такая форма зачастую не соблюдалась. Особенно же если начальник лагеря и его заместители сторонились этих «грязных» дел. И фактически «правление» оказывалось в руках их подручных. А от них (подобных Бездомному да Федулычу) горя и беды не перечерпать.

В самом конце нашей беседы дневальный сказал, что у них строго выполняются лагерные законы: пайки воровать у своих собратьев ни-ни, упаси Бог; отдыхать по ночам нужно тихо; если пойдешь на «оправку», руками за нары не держись, можешь схватить за ногу спящего; не можешь спать — не ворочайся и не разговаривай, другим не мешай — все заняты на тяжелых работах. А если нарушишь эти нехитрые правила, применяется «добрая взбучка».

Вот с такими не очень приятными сведениями мы возвратились в свой «перелетный» пункт. Вечером, забравшись на свой ярус, я прилег на нары и стал раздумывать. Как поступить? Еще днем я выменял на вязаные кальсоны пайку хлеба, граммов 800. Хотя пообедал и недавно поужинал, но сытости не чувствовал. Съесть или оставить на утро? А вдруг украдут? Раздумывая, как поступить, я отламывал по кусочку и блаженно пожевывал. Пока не доконал всю пайку. Начало размаривать. Хотелось раздеться, но было лень. Подложил под голову свой еще более потонышевший мешочек и тут же безмятежно заснул. Какие заботы могут тревожить в восемнадцать лет?

Да. «Молодому хорошо и с колодкой на шее» — так когда-то в незапамятные времена обронил одряхлевший Чингисхан, глядя на резвившегося внука Бату. Действительно ли говорил так Хан Чанкоз — как узнать? А то, что сказано, справедливо, с этим нельзя не согласиться.

...Утих барак. Сон одолел всех.

Утром начался переполох. Почти у каждого что-то украли. У меня под головой тоже оказалось пусто. «Уплыли и хлебушко с кашей», — горько подумал я. И, обозлившись на себя, мысленно выругался: «Не надо рот варежкой раскрывать!» А еще хотел раздеться, понежиться, как благородный... Кто-то сбегал за надзирателем. Они всегда находились в комендатуре. Тот пришел, походил. Стал расспрашивать, у кого что утащили. Потом утвер-

дительно сказал: «Искать бесполезно. Это работа «ночных шакалов». Теперь все ваше барахлишко давно проиграно или пропито». Посоветовал: «Ночью надо не дрыхнуть всем, а назначать сторожей — вот вам мой совет. А теперь готовьтесь, вечером вас переведут на колонну». Кто-то возразил: «А ведь два дня обещали...» «Некогда волынить, — сказал надзиратель. Надо работать!» Повернулся и тут же ушел.

Следом за ним появился нарядчик и повел всех нас в колонну № 5. И началась самая лихая пора в моей жизни...

Землекоп

В тот же вечер нас распределили по бригадам. Меня зачислили (как не имеющего никакой специальности) в бригаду землекопов.

Бригадиром прислали пожилого, сурового на вид украинца родом из Харькова. Петро Мовчун. Сидел он в лагере уже почти десять лет.

Утром отправились всей бригадой на строительство аэродрома. Подготавливали площадку для взлетно-посадочной полосы. Людей и на этом объекте было великое множество. Все выполняли земляные работы. Срезали бугры, засыпали ямы.

Инструмент самый простой: штыковая лопата и тачка. За каждой бригадой закреплен отдельный участок. Объемы работ учитывались с завидной четкостью. Как умудрялись выполнять нормы, знали немногие. Не выполнившим задание выдавали минимальный паек. Потому работали все, не жалея сил.

Мое внимание сразу же привлек огромный лозунг над входными воротами, на котором огромными буквами значилось: «За добросовестный труд — досрочное освобождение!» Такие же и подобные плакаты красовались по всей стройке. Правда, меньших размеров. На карнизе нашей бригадной обогревалки тоже было прибито панно, где крепкий, кудрявый парень со сжатым кулаком призывал к героическому труду в помощь фронту. Эти призывы к досрочному освобождению через добросовестный труд, кричащие со всех сторон, заворожили меня.

В голову «костылем» засела мысль: «Значит, можно освободиться раньше, только работать нужно хорошо». С первого дня я потерял покой. Прямо от вахты раньше всех прибегал на площадку, не медля ни минуты, наполнял тачку землей, не передыхая, отвозил на место отвала бегом назад. Целый день возил, возил, возил. Чтобы больше нагружать земли в тачку, прибил поверху с боков и передка по дощечке. Наваливал столько, что под колесом прогибались мостки. Как только заканчивал свое задание, бежал, спешил на помощь другим. Порой подкашивались ноги, в глазах темнело, но, пересиливая немоготу, продолжал свой темп. Думал: увидят, оценят, освободят. В свободные (редкие) минуты подбегал к обогревалке посмотреть, не сняли ли лозунг. Вдруг еще передумают. Но нет. Висит. И другие тоже на своих местах... Тревога сменялась успокоением, возвращался снова на работу. Откуда только бралась сила? Еще с большей энергией таскал я тачку за тачкой.

Сначала на меня подозрительно посматривали, потом начали посмеиваться. Однажды во время перекура я засобирался сбегать к транспарантам, чтобы убедиться в том, что их не сняли. Сидевший рядом со мной бригадир сказал: «Никуда они не денутся, отдохни лучше!». Как-то бригадир спросил: «Что тебя так подстегивает работать?». Я показал ему на лозунг: «Так ведь досрочно хочу вырваться!» Он почесал затылок и, помедлив, сказал: «Трудно это, — и посоветовал: — Напиши заявление с просьбой отправить на фронт. А я тебе сварганю хорошую характеристику. Хоть и паршивая у тебя статья, но, случается, что и таких берут».

Я написал. Время потекло. А ответа нет и нет. Написал еще. Все бесполезно. Какой-то холодной змейкой вкралось сомнение: «Может, это все зря?» И работу мою никто не замечает, никому-то, наверное, я не нужен?

Сколько же наивности порой бывает в людях (гляжу на тогдашнего себя с высоты теперешних лет и с горечью думаю: как поздно мы прозреваем...).

Бригадники давно уж перестали надо мной подсмеиваться, стали жалеть.

Лето уже давно перевалило за половину. На пороге стояла осень. К этому времени были выполнены земляные и подготовительные работы. Предстояло залить многокилометровую полосу бетоном и закончить работу до наступления морозов.

По бригадам ходили разные уполномоченные, «культы», начальники строительных объектов разных рангов. Проводили воспитательную работу, агитировали на досрочную сдачу объекта. Обещали много. Подкупали всех самым желанным — досрочно освободить отличившихся. Организовывать работу и сплотить всех на ее выполнение тогда умели: посулами, призывами и всеми возможными способами.

Все вокруг закипело с новой силой. В меня опять вселилась надежда: может, в этот раз выпадет счастье. И хотя силы были уже не те и желание как-то поубавилось, работал по-прежнему, но отставал от первых. Тянул лямку. Но с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. А смены длинней и длинней.

Возить тачку с бетоном не то, что с землей. Чуть не удержал — опрокинется. Потому и держаться всегда приходилось в напряжении. Правда, за выполнение задания кормили хорошо. Одного хлеба выдавали больше килограмма. Но такая работа многим была не под силу. Почувствовал это и я. С неимоверными усилиями выполнял норму. Может, и дотянул бы до окончания стройки, но случилось непредвиденное обстоятельство.

Было это в первой половине октября. Дружил я с одним парнишкой. Чуть постарше меня. Гришей звали. Был он воришкой небольшого масштаба. И срок имел небольшой. Но невтерпеж ему стала лагерная жизнь. Задумал убежать. Сколько я ему ни советовал: «Все равно поймают, да еще срок добавят», уперся, словно баран, и ни в какую. Выпросил он у меня шапку (теплая была). А мне отдал похуже. Под вечер в конце смены спрятался где-то под досками в надежде, что, когда все уйдут, конвой снимется, а он ночью и скроется. Да где уж там... Только продержали несколько часов весь

народ за вахтой, пока Гришу с собаками искали. Нашли. Накостыляли, а наутро ему дали 30 суток карцера, а мне десять — за то, что не донес (проговорился Гриша, что я ему помогал, шапка-то на нем моя была).

А в карцере — 300 граммов хлеба и кружка воды. Вот и весь суточный рацион. Но худшее было не в этом. Уголовная «шпана» (сколько же я из-за нее натерпелся!) отобрала всю одежду. Взамен бросили несколько раз отслужившее срок тряпье. На ноги — худые ватные чуни, вместо рубахи — рогожный мешок с отверстиями для головы и рук, рваную телогрейку и ватные с оторванной штаниной брюки. Со «шпаной» драться не будешь. Их хоть немного, но они дружны и организованны. Жаловаться начальству? Скажут, что проиграл. А ночью такую устроят взбучку, что свету Божьему не рад будешь. Вышел оттуда бледнее тени. В это время на дворе начались дожди, по ночам приморaживало. Снова пошел с бригадой выполнять ту же самую работу.

...Строительство аэродромной полосы шло к завершению. Начальство спешило. Все работали до изнеможения, на пределе сил. Я же теперь еле-еле вытягивал полнормы. Бригадники мне сочувствовали. Помогли. Кто-то дал шапку, рукавицы. От этого на душе становилось теплее, но сам же я мерз постоянно. И на работе, и в бараке.

Однажды ночью проснулся от удушающего кашля. Проснулись и соседи, заворчали. Кому приятно: наработавшись до упаду, забылись, а тут спать не дают. Только к утру удушье как-то уменьшилось. Немного задремал. Когда стали собираться на развод, бригадир посоветовал: «Может, тебе к «лепиле» (медработник) сходить?» «Ладно, схожу», — сказал я, но пошел вместе со всеми на работу.

В тот день смену недоработал. После обеденного перерыва, толкая тачку с бетоном, почувствовал невероятную усталость. У меня уже давно было какое-то давящее недомогание, но терпел и кое-как дотягивал до конца смены.

И вот наконец наступила расплата за трудовое «рвение», с которым с самых первых лагерных дней я стремился добиться досрочного освобождения.

Пустая тачка и та вырывалась из рук. Работавшие рядом бригадники помогали затаскивать ее на трапы, когда непослушное колесо соскакивало, потому что затащить ее обратно на мостки у меня уже не было сил. Более пожилые советовали: «Брось все, иди в лекпункт, дошел ведь совсем, одни кости торчат...»

Я ничего не хотел и ничего не слушал. Охватила мрачная депрессия. Отключившись от всяких мыслей, продолжал гонять тачку от бетономешалки до бетонируемой площадки. Уже два раза тачка вырывалась у меня из рук, я падал вместе с ней, обливая себя бетоном.

Когда после очередного падения подъехал к бетономешалке, ко мне подошел бетонщик, оттащил тачку в сторону с мостков и сказал: «Дожидайся бригадира».

Я отошел, сел прямо на облитые бетоном доски. Что тут оберегаться, все равно весь промок до нитки.

Наступило полное безразличие. А бригадники рядом спешили. Работу оставлять незаконченной нельзя. Подошел бригадир и сказал: «Иди в обогревалку и там дожидайся конца смены». «А задание?» — спросил я. — «Ладно, сделаем за тебя сообща». (Я когда-то тоже помогал другим.)

С трудом добрался до нашего домика. В помещении было тепло. Чтобы не запачкать бетоном сиденье лавки, забрался под нее и лег. Клонило в сон. По всему телу прокатывалась «изморозь», снова навалило удушье и стало вдруг нестерпимо жарко. Я вышел на улицу.

Снежный дождь прекратился. Холодный ветер разогнал облака. Вечерело. На небе появились первые звездочки. На заборе из колючей проволоки загорелись электрические лампочки. Вдали над угловыми вышками вспыхнули прожекторы.

На главной вахте ударили болванкой по рельсу, и сразу же послышался многоголосый гул в разных местах огромной строительной площадки.

Рабочая смена закончилась. Откуда-то из глубины стройки кучками и поодиночке потянулись к месту сбора люди.

Начали подходить и наши бригадники. Уставшие, мокрые, поеживаясь, молча усаживались. Одни — на валявшиеся бревна, другие — прямо на деревянные трапы. Не было разговоров. Так себе, редко-редко кто обронит слово.

Некоторые скрутили цигарки, прикуривая их друг от друга.

Обогревалка наша была недалеко от пропускной вахты. Можно было немного подольше посидеть, пока соберутся бригады из первых колонн. Минут через пятнадцать бригадир объявил подъем. Пришло время становиться в строй. Пошли гурьбой.

Я сразу же отстал. Двое бригадников, не сговариваясь, взяли меня под руки и повели. Так по установившимся неписаным законам поступали везде, если обессилевший человек не мог поспевать за бригадой. Как это понимать? Товарищеская помощь? Возможно. Но и не делать этого тоже было нельзя, Вахтеры все равно не выпустят бригаду, если не хватает человека. Надо ждать до тех пор, пока не отыщется отставший.

Могли продержать долго. Горе тому, кто по своей вине не приходил вовремя к моменту выхода через вахту.

Бригадники сами наказывали их. Но самое худшее было для всех, если случались побеги (как с Гришкой). В таких случаях бригаду не выпускали из промзоны сутки, а то и больше, пока не найдут человека или убедятся в том, что сбежал. Потому и старались собраться все без каких-либо проволочек.

Чем ближе мы подходили к вахте, тем больше впереди было сутолоки. Кто-то отстал, кто-то затерялся, тот втиснулся не в свою бригаду. Наконец, разобрались. Угомонились. Построились по пять человек в ряд и пошли через вахту.

Конвой строго по счету принимал людей. Этапирование заключенных из лагеря на стройплощадку и обратно — самая изнурительная процедура. Изматывает порой больше, чем сама работа.

Не всегда все успевали вовремя прийти к месту сбора. Уставшие, отра-

ботавшие целую смену люди — что с них спросишь, как обвинишь? Но это во внимание не принималось.

Огромная, растянувшаяся на многие сотни метров людская река тронулась. Я шел в середине пятерки, еле передвигая ноги. Меня поддерживали с обеих сторон. Знал, у всех бригадников была одна мысль: только бы я не умер в пути. Мертвого тащить намного тяжелее, а измученным людям это просто не под силу. Бросить же мертвеца на дороге не разрешит конвой. Я, никогда не веривший в Бога, мысленно просил у него помочь мне дойти как-нибудь до лагерной вахты.

Путь был тяжелым. Тысячи ног разломали тонкую, схваченную морозом верхнюю корку земли, измесив ее в непролазную грязь. Чуни мои промокли насквозь до самых колен. Растрескавшиеся ступни саднило. Голову сжало железным обручем. Тело потеряло всякое ощущение. Казалось, что дорога никогда не закончится. Но вот передние подошли к лагерю. Все остановились. Тяжелый вздох облегчения взметнулся над головами.

Где-то послышались голоса. Откуда-то донесся лай собак. Стали пропускать. Бригады быстро, одна за другой, колоннами исчезали в ненасытном лагерном чреве. Подошли и мы. Но что это? Нас остановили. Не оказалось нашего начальника колонны...

Его уже несколько дней как сняли с этой должности за какие-то махинации. До этого вечера пропускали без него. А вот сегодня начальник охраны заупрямился. Может, был не в настроении. Может, побоялся нового начальника лагеря (недавно назначенного): как тот еще посмотрит на такое самоуправство? По установленному порядку все начальники колонн должны быть вместе с вахтерами на приеме и проверке возвращающихся с работ бригад (на утренней раскомплектовке тоже). А в этот раз почему-то наш «трудяга» Федулыч не пришел.

После кратких переговоров конвоиров с начальником охраны последовал приказ начальника конвоя: «Бригаде пятой колонны выйти из строя в сторону!» Промокшие, уставшие люди не тронулись с места. Все заволновались. Послышались возмущенные голоса. Шум нарастал. Мы были перед вахтой в первом ряду. Я хорошо слышал, как среди вахтеров шли какие-то пререкания: «Надо пропустить», — говорили одни. Другие же, наоборот, поддерживали начальника охраны. Сам же он был непреклонен. И тысячи людей продолжали стоять в мучительном ожидании.

Уже давно стемнело. Надвигалась ночь. Казалось, этому не будет конца. Чтобы хоть как-то согреться, переступали с ноги на ногу. Чавкала под ногами перемешанная полузамерзшая жижа. Морозить стало сильнее. Изнуряющий холод сковывал душу и тело. Промокшие на мне отрепья одежды схватило колом.

Время остановилось. Все замерло в каком-то заколдованном оцепенении. Я поднял голову вверх. На темном небесном куполе густо рассыпались звезды. И там, в далеком божественном мироздании, где не существует ни времени, ни пространства, разлилось и застыло чудотворное очарование. О, как хотелось раствориться и исчезнуть в бездушном царстве небытия! Измученная душа, не спрашиваясь разума, молила: «Господи, Ты всемо-

гущ! Тысячи лет проходят перед взором Твоим будто один вечерний закат. Ну сделай же так, чтобы поскорее все закончилось и можно было бы хоть втиснуться под нары в душном и прокуренном, провонявшем потом и грязью бараке, чтобы не клацали зубы от тошнотворного холода».

А из колонны все чаще и настойчивей раздавались выкрики: «Пропускай! Не задерживай! Замерзаем!» Опять раздался приказ начальника конвоя: «Прекратить разговоры. Колонна — в сторону!» Люди не трогались с места и еще больше шумели. Совсем рядом защелкали затворы винтовок. В морозном воздухе прозвучал предупредительный выстрел.

Сразу все утихли. Знали: конвой шутить не станет. Неожиданно на ярко освещенную площадку прямо к вахте из глубины лагеря подошли несколько человек в военной форме. Остановились чуть в стороне. Чей-то громкий властный голос спросил: «Почему не пропускаете людей в зону?» Подскочивший начальник охраны стал объяснять причину. Последовал еще более категоричный приказ: «Пропустить немедленно! Исполняйте. Вам пять суток наряда за неорганизованность и беспорядок!» Стоящий рядом со мной бригадник негромко сказал: «Этот какой-то не похожий на других». Мне же было не до разговоров. Наконец-то с помощью тех же бригадников дошел до барака. Заполз на нары, не раздеваясь. Впрочем, и снимать-то было нечего. Лег. Было только одно желание: уснуть и не просыпаться...

Как обычно, рано утром опять ударили в рельс. О, как противен этот звон! Все пришло в движение. Загремели ведра, надо вовремя получить баланду, принести утренние пайки хлеба. В таком огромном лагере, где много тысяч человек, у раздаточных быстро собирается очередь. Люди стали одеваться. Слышались возгласы: «Исчезла шапка...», «Где мои штаны?». Кто-то не может найти обувь и мечется от одних нар к другим, другой кручинится: «Выгребли табак, еще вечером был в кармане, сейчас пусто». Шакальная ночная шпана не брезговала ничем и досаждала работягам больше всего. Стояли шум и неразбериха.

После раздачи пищи все быстро стали выходить на развод. Я остался. Когда все вышли, ко мне подошли бригадир, дневальный и нарядчик Федулыч.

— Ну, а ты что торчишь здесь? — спросил нарядчик.

— Не могу ступить на ноги, Федулыч, на развод не пойду, — сказал я.

— Так что, значит, отказчик? — Федулыч начинал входить в раж.

— Не могу, — снова ответил я.

Для начальника колонны и нарядчика (их еще называли «трудягами») отказчики — самый позорный показатель в их деятельности. Федулыч заорал:

— Или сейчас пойдешь с нами, или в «буре» сгною!

Дневальный вступился:

— У него и гнить-то нечему, одни кости остались...

Бригадир тоже попытался урезонить нарядчика:

— Я его оставлю. И ты, Федулыч, не трожь. Он все равно не дойдет до вахты.

Мне же сказал:

— Как рассветет, сразу мотай в лекпункт.

— Здесь я хозяин! — куражился Федулыч (он теперь полновластно распоряжался сам. Бездомного, его покровителя, причем более жестокого, чем Федулыч, загнали на штрафную). — И поступлю как нужно. У нас с Тарасом (это имя Бездомного) отказчиков в колонне не было!

Он уже направился ко мне, чтобы сдернуть за ноги с нар, но бригадир его отрезвил:

— Ты же знаешь, где твой начальничек Веревкин (бригадир почему-то называл Бездомного по фамилии), так что лучше отстань! Да и на развод опаздываем. Надо идти поскорее.

А вот этого и нарядчик боялся: за опоздание на развод могут скинуть с должности. Видимо, опомнившись, он выругался и ушел вслед за бригадиром.

Я остался один. Заполз подальше от края.

Непросохшая одежда на мне, чуть пригревая, прилипала к телу. Я незаметно забылся, не заметил, как возвратился нарядчик. Подошел ко мне. Дернул за ногу.

— Так ты еще здесь?

— Здесь, Федулыч, — ответил я. — Ни в какой лекпункт не пойду. Все равно не дойду. Сил нет...

— Ах, вот как, — взъярился нарядчик, — тогда собирайся в «бур», он здесь недалеко.

Дневальный опять заступился:

— Его же бригадир оставил.

Но тот цыкнул:

— Что? Хочешь завтра с бригадой пойти мантулить?

Дневальный отошел. С Федулычем не поспоришь. Нахрапист и здоров. Особенно любил лютовать над слабыми. Я сполз с нар. «Бур» был совсем недалеко. Но дойти до него оказалось настоящей пыткой. Ступать растрескавшимися ногами невыносимо больно. Когда же замешкивался, Федулыч давал тычка.

Страшен лагерь, в котором правят бал уголовники, да еще из таких, что переметнулись из блатной элиты. У них нет ни капли человеческого.

Наказание

Подошли к «буру». Это было деревянное здание, наспех сколоченное из двух рядов толстых необрезанных досок, покрытое внахлест горбылем. Нарядчик тронул дверь. Она оказалась запертой. Постучал кулаком один раз, потом еще. Никаких отзвуков. Стал колотить ногами, закричал: «Открывай, Сыч!» На шум отворилось вделанное в дверь окошечко. Заспанная голова недовольно спросила: «Пошто орешь?» — «Ты что, Сыч, меня не признаешь?!» Дверь быстро раскрылась, и на пороге предстал небритый, взлохмаченный смотритель «бура!» (в лагере тоже привилегированная должность).

«Настоящий сыч», — подумал я.

Смотритель «бура» недовольно спросил: «Кого привел-то?» «Да так, ме-

люзга, отказчик. Давай сажай! — сказал нарядчик и тут же зачем-то спросил: — У тебя их много набралось?» «Да никого еще нет. Ты первый привел, — сказал Сыч и, глядя на меня, промямлил: — Вползай, шушера».

Я с трудом перешагнул порожек и очутился в небольшой комнатушке. Около окна стоял топчан, покрытый какими-то лохмотьями. Рядом железная печь. На противоположной глухой стене посредине была встроенная из толстых металлических прутьев решетчатая дверь. Она закрывала вход в «каземат». Смотритель снял замок, отворил дверь и скомандовал: «Залазь в свою малину». Я, стараясь не задерживаться, вошел без всяких возмущений. Скажи поперек слово — отлупят.

Дверь захлопнулась. Было темновато. Единственное окно, заделанное металлической решеткой, слабо пропускало утренний свет сквозь грязные стекла. Осмотревшись, увидел с одной стороны сплошные дощатые нары, между ними и стеной широкий проход.

Присел на край нар. Было холодно. Может, чуть теплее, чем на улице. «Ну, ладно! Все! — сказал Сычу нарядчик. — Я пошел». Сквозь решетчатую дверь мне хорошо был слышен их разговор. Смотритель заискивающе предложил: «Может, дербанешь, Федулыч?» – «А есть? — быстро среагировал тот. — Откуда у тебя с утра-то?». Сыч мягким голосом глаголил: «Да вот ночью «ханыга» должок принес. А я с вечера был уже подзаряжен. Вот и уцелело, — ощерился смотритель. — Сыкономил на утро». «Какой же ты молоток, Сыч. Вот и хорошо, — сказал подобревшим голосом Федулыч. — А то я на разводе что-то сильно промерз, сейчас это очень под стать!».

Покуда Сыч доставал бутылку, кружки, какую-то закуску, Федулыч изливал ему свои тревоги: «Уже скоро неделя, как «задвинули» моего шефа в штрафняк. И за какие промашки гребанул его туда Грек, сообразить не могу. От прежних начальников за свои старания «трудяги» имели только похвалы, а этот за то же самое швыряет в самое пекло (под пеклом понималась штрафная). Вроде бы не грешил шибко Тарас и пил в меру, и порядок у нас был наисправнейший из всего лагеря. Ни одного отказчика на колонне. Этот, что привел, первый за месяц. Да можно было и не сажать его. «Лепила» (медработник) освободил бы. И бригадир Петро упрашивал. Но для меня они не указ. Я хозяин. А этой стервоте только дай поблажку — половина «зафилонит». За мое старание Бездомный меня уважал и ценил. Кого теперь Грек назначит? Не говорят в штабе. Самого-то Грека я два раза видел. Однажды утром, на разводе, а второй — на кухне, в раздаточной. Раздрай он там поварской команде устроил. Совсем обнаглели, сволочи. Заворовались сверх меры. Вместо баланды одну воду, чуть подсоленную, дают. А продукты пропивают». Мне подумалось: с чего бы это он так? Сам такой же ворюга. А Федулыч продолжал:

— Раз я посыльного направил, чтобы принес что-нибудь с кухни «похряпать», так они и для меня вонючей бурды налили, а я ведь «трудяга», а не какое-нибудь быдло. Хорошо, что кое-что с воли достаю, а то бы протянул копыта.

Федулыч умолк. Сыч удовлетворенно хихикнул.

«Так вот от чего ты так взъярился на них, тебя свои же обидели», —

про себя сообразил я. Среди бригадников велись разговоры (я слышал), что вновь прибывший начальник лагеря — бывший фронтовик. Сюда попал по ранению. Фамилия Греков, оттого и кличку прилепили Грек. Начальствует совсем недавно, но перетрубацию в лагере устроил сверху донизу. Не щадит никого, ни вольнонаемную охрану, ни заключенных. Отличается какой-то особой, непонятной всем суровостью. Вспомнив эти разговоры, с какой-то облегченностью подумал: «Ну теперь-то уж наверняка мне конец, «эти» всю злость на мне выместят».

Не мог знать я тогда, что в штрафные бригады и на штрафные работы по его распоряжению отправляли, главным образом, начальников колонн, нарядчиков, бригадиров и прочих лагерных «придурков» за чинимый ими произвол над простыми работягами. Тут уж правду говорил Федулыч: Грек во многом отличался от прежнего начальника.

Сыч расставил свое наскоро приготовленное угощение, разлил по кружкам «согревающий напиток», произнес с подобострастием: «Гребай, Федулыч, на здоровье». Чокнулись кружками, как порядочные, послышалось бульканье. Федулыч первым опрокинул содержимое, поставил кружку на стол, крякнул от удовольствия: «Ох, хорошо! Продирает до нутра!» Сыч поперхнулся, закашлялся. Запинаясь, выговорил:

— Едрит ее, после вчерашнего всю глотку сперло.

Умолкли. Что-то пожевали. Потом закурили. Федулыч поднялся. Обрел свой начальственный вид, надзирательно произнес:

— Давай выйдем на улицу. Пусть тебя немного протрезвит. А то заскочит кто из надзирателей да и засекет, что ты «косой». Тогда — прощай твое тепленькое местечко! И на штрафняк загонят. А уж там тебе, Сыч, все припомнят, да и за службу «буровскую» не дождешься милости. Скажу уж тебе: Бездомного воровским судом определили «примочить». От верного кирюхи прознал! Может, и кокнули уже.

От таких известий Сыч вроде бы протрезвел и хоть негромко, но четко напомнил нарядчику:

— За тобой перед ними тоже ой какие грешки, так что ты, Федулыч, тоже поопасись!

«Заботятся друг о дружке», — подумал я.

Федулыч, на мгновение опешивший, вдруг цыкнул на Сыча:

— Я чист перед ними, что тебе взбрело в башку...

К этому времени я уже понимал, что больше всего такие прохиндеи боятся воров в законе. После некоторого молчания смотритель «бура» спросил у нарядчика:

— Федулыч, а этого шпыня будем привязывать к нарам?

— Нет, зачем? — ответил нарядчик. — Он и ходить-то не может. Да и Бездомного нет. Ох, как любил тот приходить сюда и смотреть на привязанных к нарам отказчиков, Уж очень был доволен. Понимал толк, как надо «править»! Все просили у него помилования и на работу шли, как в рай, строг был. Настоящий «господин император». Порядок у него был железный. Никто поперек слова не произносил. И я при нем пользовался уважением. Все «придурки» шли ко мне с поклоном да за советом. За то и любил я его, как родного.

Вот уж прав был Н. А. Некрасов, когда писал: «Люди холопского звания — сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа». Хотя в годы войны, да и после, господ не было, это их наплодилось как грибов после дождя в наше «демократическое время», а вот холуи с прислужниками и тогда были.

— Эх, Тарас, Тарас! Где ты, жизнь наша разнесчастная, — то впадая в сентиментальность, то вдруг твердея, выговаривался немного захмелевший Федулыч перед Сычом (меня они не признавали за живую «тварь»).

— Ну, все, пошли, хватит слюни распускать, на холодок, Сыч, — изрек Федулыч. — Да и здесь нетепло, если не подтопить печку, твой мазурик быстро даст дуба.

— Ну и черт с ним, — взъярился нарядчик. — Я бы этих доходяг всех передушил, чтобы кровь людям не портили. (Под людьми он понимал себя и себе подобных.)

Вышли, дверь захлопнулась, брякнул снаружи запор.

Как много сейчас вопят демократические страдальцы за народ, его права, особенно из коммунистических перевертышей, о несправедливости тех времен: «В тюрьмы и лагеря сажали тогда всех людей ни за что, ни про что!» А ведь многие из них такое делали собственными руками. Те же, что были непричастны непосредственно, рукоплескали в поддержку «экзекуций» так, что потом неделями болели ладони. Теперь же выставляют себя поборниками народного счастья, только уж в обратную сторону.

Да! Были в тюрьмах и лагерях невинно осужденные. Этого никто не может отрицать. Да и сама советская власть в свое время с предельной откровенностью раскрыла противочеловеческие преступления. Но только вот таких бездомных, федулычей, сычей и им подобных, «шакальную шпану» (а их было много, сам убедился), будь на то моя воля, до конца их жизни держал бы на цепи, как бешеных псов.

После ухода моих «воспитателей» наступила тишина. Я пододвинулся к стене. Чуть привалился. Ноги в разбитых онучах совсем закоченели. Растрескавшиеся после многодневной ходьбы по воде и грязи ступни дергало, как электротоком. Мыслей не было никаких. Сильно захотелось спать. В полумрачной тишине послышался какой-то шорох. Что-то легко толкнулось в мою свесившуюся ногу. Сквозь наваливающееся забытье увидел несколько больших крыс, сгрудившихся возле свисающих ступней. Собрав все силы, подтянул ноги на нары. Зверьки разбежались. Сон отодвинулся. Мысль, что они будут меня грызть живого, вселила страх. Я поднял руку, чтобы застучать по доскам, но сил не было даже на такие движения. Кое-как отодвинулся от стены и лег.

Все больше и больше наваливался туман, чувство облегчения разливалось по всему телу, исчезло желание к сопротивлению и наступило забытье. Откуда-то из потустороннего мира возникло бескрайнее поле с невиданными цветами. Полная победа.

Я шел по нему босиком, только наступать было больно. Но и это неприятное ощущение исчезло. Наступила необыкновенная легкость. Я иду все дальше и дальше, и не видно конца этому зеленому полю.

Внезапно все пропало. И поле, и цветы — все закружилось в какой-то пляске. Меня что-то мощно трясло, тискало. Откуда-то, как из-под земли, пробивались звуки. Сознание медленно, с провалами возвращалось ко мне. Я понял, что кто-то настойчиво и упорно тормошит, с силой приподнимает и опускает меня, наклоняет голову, трет уши. Яснее стал различать голоса: женский и мужской. Смысла не понимал. Было только одно желание — освободиться из этих железных тисков. И вдруг тысячи, миллионы иголок впились в лицо, глаза, руки и забегали по всему телу.

Я вскрикнул и открыл глаза. Меня держал высокий, в военной форме человек. На нем была шинель с погонами, на голове военная фуражка. Отвернувшись от меня в сторону, он заговорил:

— Ну вот, а вы, Елена (имя женщины, возможно, было другим, мог запамятовать, ведь прошло более полувека, но кажется, что не ошибаюсь), говорили, что напрасно я стараюсь. Я, голубушка, в таких делах профессионал, опыт имею. Прошлой зимой, в самые лютые морозы, под Москвой проползем с политруком ночью на передовую, а солдаты, совсем еще сорванцы, закопаются в снег и спят замерзая. Пока каждого приведем в надлежащий вид, уже и утро. А как чуть посветлеет, немец такую пальбу откроет, что всем жарко становится! Поднаторел в этих делах, могу к вам в помощники санитаром наняться.

Женщина улыбнулась, но промолчала. Я же вдруг люто возненавидел ее молодое миловидное лицо: это он из показного бахвальства перед ней так тряс меня, воскрешая, похвастаться, на что способен! Принесло чертей. Сейчас мне ничего не нужно было. А теперь снова мученья? Приученный за годы стоять перед начальством я хотел подняться (велика в человеке привычка послушания), но не было сил.

Контраст между нами был разительный: блестящий офицер в военной форме и скорчившийся на нарах, скорее, не человек, а мутант, облаченный в рубище (правда, тогда у меня таких мыслей еще не появлялось).

Военный положил мне руку на плечо:

— Сиди! Сейчас разберусь. – Отвернулся от меня, и я увидел за ним нашего нарядчика Федулыча.

Негромко спросил у него:

— За что он здесь и кто посадил?

— Я посадил, гражданин начальник, — ответил тихо нарядчик.

У меня мелькнуло: вот он, новый начальник Грек, о ком сейчас так много говорят в лагере. Это он вчера вечером приказал запустить в лагерь людей без всяких выяснений и проволочек, отменив приказ начальника охраны.

А нарядчик продолжал скороговоркой:

— Прежний начальник колонны Веревкин, а по-лагерному Бездомный, которого несколько дней назад сняли с должности и где он сейчас, невдомек мне, приказывал всех отказчиков от работы к нарам привязывать, особенно буйных (врал Федулыч, знал, что Тараса Веревкина заперли на штрафную, утром же изливал свои горести перед Сычом). Хорошо помогало. Тут же все «вылечивались» и шли на работу. Никаких отказов на колонне не было, и числилась наша колонна передовой. А этого я привязывать

не стал. Еле-еле на себе притащил (и тут врал, хоть и костылял я, но сам дошел). Да и мирный он.

В голосе нарядчика Федулыча чувствовалось самодовольство. Не учел только в этот раз Федулыч, что он и Бездомный для Грека оба были бандюгами. И сходило им раньше с рук всякое самодурство и издевательство, потому что прежний начальник лагеря все пустил на самотек, а может, и устраивал его, такой порядок. А этот?

Грек, прихрамывая, медленно, как бы готовясь к прыжку, стал двигаться в сторону нарядчика. Тот начал пятиться, за что-то зацепился и упал. Стало совсем тихо, только на Федулыча напала икота. И вдруг прогремел голос, от которого и лошади приседают на задние ноги:

— Встать, фашистская зверюга!

Нарядчика словно пружиной подбросило. Вскочив с пола, выпалил, как рапорт:

— Слушаю, гражданин начальник!

Я чуть повернул голову. Увидел, что лицо женщины расплылось в улыбке, она как бы одобрительно качнула головой. Подумал: «Неужели Грек так орет на Федулыча за то, что тот не привязал меня к нарам? Тогда что же со мной сейчас сотворят?!».

Сделав еще шаг вперед, чуть ли не в упор (нарядчику некуда было отступать — мешала стена) начальник четко, как будто вырубая каждое слово, произнес:

— Я тебя, сволочь бандитскую, здесь на месте пристрелил бы как самую поганую мразь. Таких мерзавцев и среди фашистов не приходилось встречать. Только вот сидеть за тебя да еще с такими, как ты, душа не позволяет. Ну, ничего. Работу и место получишь по заслугам. А теперь быстро отправь его в стационар.

Федулыч поспешно подошел ко мне. Потянул за руку. Я, пытаясь подняться, упал. В это время женщина сказала: «Вот вам и настоящая средневековая темница». Греков досадливо проговорил: «Давно собирался все «буры» и карцеры проверить, на все времени не хватает, да и нога, черт побери, болит. Теперь сам во всем убедился, кто и как тут правит. Ну, ничего, до всех доберусь!» Федулыч, не испытывая судьбу, сгреб меня, словно выпотрошенный сноп, и с удивительной поспешностью выволок за дверь. Здоровенный, гладкий был мужичище. Последнее, что я увидел, — притаившегося за дверью Сыча.

Протащив меня немного, нарядчик завернул за угол ближнего барака. Бросил на землю. Сказал:

— Ну, а теперь шагай вместе со мной, шпынь дохлая.

Я начал подниматься, но не смог. Нарядчик пнул меня в бок, заорал:

— Поднимайся, падла вонючая!

Я, задыхаясь от его удара, даже не пошевелился. Он потянулся ко мне. Обезумевшее отчаяние, не подчиняясь разуму и воле, с какой-то лютой злостью подавило даже всесокрушающий страх. И я плюнул в его наклонившуюся харю.

— А-а-а! — взвыл нарядчик.

Не знаю, чем бы это закончилось, но совсем рядом раздались чьи-то голоса. Мучитель, словно встрепенувшись, подхватил меня и нес, не передыхая, до самого стационара, кляня всех и все на свете. Больше всего сокрушался, что может «загреметь» на «штрафняк» («Ведь у этого Грека нет никакого сочувствия, ни с какими «заслугами» не считается», — причитал он). И главное, что его удручало: из-за кого свалились эти неприятности?! Из-за меня, трупа, доходяги поганого, контрика недобитого. Сколько же проклятий он вылил на мою голову!

Шествие длилось недолго. Все происходившее так взбудоражило, что приходить в себя и соображать начал только в приемной больничного барака. Швырнув меня на лавку, нарядчик спросил у подходившей к нам по коридору женщины:

— Где санитары?

— Я санитарка. Не признал, что ли? — ответила женщина.

— Ну раз ты, — ощерившись, сказал нарядчик, — то и принимай.

Та, бегло оглядев меня, скороговоркой произнесла:

— А чего ты его к нам? Таких надо прямо в морг. Хороших поставляешь «жмуриков», лучших в лагере не бывает. Старательно обрабатываете (видимо, знала этого Федулыча).

Тот, вытирая со лба пот шапкой, огрызнулся:

— Да замолкни, дешевка! Не трави душу, шалава! Стал бы я с ним возиться, если бы не проклятый Грек. Да поторапливайся (заговорила в Федулыче начальственная жилка). Ишь, барыней заделалась. Расхаживает. Думаешь, он до вас не доберется. Повылетаете, птахи. Не таким головы обрывает.

Санитарка ни в чем не была виновата. Ему просто хотелось на ком-то еще, кроме меня, сорвать злость. Она собралась уже уходить, но, видимо, передумала, остановилась и выпалила:

— Не пугай! Этот Грек уже у нас побывал и кого надо выгнал. И еще обещал прийти. Он совсем не такой, как вы, стервятники. Было бы хоть чуть побольше таких Греков, не было бы у вас раздолья людоедского. Издеваетесь над «доходягами». Да не смотри на меня зверем! Тебя-то я не больно боюсь. До меня не дотянешься. Не твоя здесь власть, — высказала и ушла.

Нарядчик, постояв немного (не ожидал, видимо, такого «привета»), хлопнул дверью.

В лазарете

Чтобы не свалиться на пол, я взялся за поручень лавки. Вскоре санитарка возвратилась. С ней пришел мужик. Вид у него был угрюмый. На голове торчала овчинная шапка, одет в поношенную фуфайку, засаленные ватные штаны. На ногах большие чувалы из прорезиненной ткани. Такую обувь в лагере называли ЧТЗ. Похож он был на захудалого крестьянина, собравшегося по ранней весне вывозить на поля навоз.

Здесь, при стационаре, как потом я узнал, он работал истопником и

вместе с тем молча и безропотно выполнял все работы, которые ему поручали. Остановившись возле меня, покачал головой, взял за руку, чуть приподняв, буркнул санитарке:

— Пособляй!

Санитарка заупрямилась:

— Ну что ты, Акимыч, один с таким не управишься? Он легче самого худого собачонка!

Акимыч глянул на нее и, не повышая голоса, скомандовал:

— Ты не суперечь, а сполняй, что велено, видишь, у него руки только на коже держатся, чуть перетянешь — и выдернутся из плечей. Да помягше поднимай, не злобствуй!

Поддерживая с обеих сторон, они завели меня в какую-то полутемную комнатушку. В лицо и голые руки пахнуло паром. Прислонив на встроенный в стенке примосток, стали раздевать. Стаскивая мой рогожный мешок через голову, санитарка наставляла:

— Ты уж, Акимыч, всю одежду сожги, наверное, вшей полно.

Медленно и как бы нехотя тот пробурчал:

— Небоись, в такой одеже вша жить не могет.

Раздетого посадил меня Акимыч в какое-то деревянное корыто. Сказал санитарке:

— Иди уж, Клавдия, без тебя управлюсь, неча тебе на скелетные мочи глазеть.

Мыл он меня долго. А может, так показалось. Я засыпал, валился на стороны. И тогда Акимыч встряхивал чуть-чуть, продолжая тереть голову, спину, руки. Из стоящей рядом кадушки прямо руками черпал какое-то странное, черного цвета мыло. Санитарка принесла белье. Совсем обессилевшего, облачили в застиранную, но чистую рубаху, натянули кольсоны, довели до палаты, положили на койку. Проваливаясь в липкую, тошнотворную темень, я услышал, как Акимыч промолвил:

— Ну, покойся с Богом!

Спал я тогда или находился в каком-то бесчувственном забытье — не знаю. Когда пришел в себя, долго не мог понять, где я и как тут очутился. Все тело горело. Ночная лампочка обжигала глаза, словно раскаленное солнце. До невозможности хотелось пить, но не было сил что-то сказать или даже застонать.

В палате было тихо. Где-то поблизости негромко разговаривали. Слышны были мужские голоса. Один — хриплый, отрывистый, другой — мягче и протяжней.

Чтобы хоть как-то привлечь их внимание, я стал вращать глазами. Но было нестерпимо больно. Зажмурился. Пересиливая боль, снова открывал веки, и сквозь застилавшую глаза пелену мне виделись люди в белых халатах. Тени от них на стене двигались, переплетаясь, и я никак не мог понять, сколько же их. Двое, трое... Откуда-то пробилась мысль, что это вечерний обход врачей. Медленно и тихо передвигались они от койки до койки. Когда подошли ко мне совсем близко, не мог сдержаться от боли и снова закрыл глаза. Каким-то чутьем ощущал, что врачи

стоят рядом. Но не вижу. Хочу дотронуться рукой, крикнуть. Ничего не могу, нет сил. Появятся на миг в глазах и уплывают какими-то большими белыми глыбами. Все бесполезно. Будто из-под земли слышу, как один спрашивает другого:

— Ну, а с ним, что делать?

Наступает тишина, никаких звуков. Я кричу: «Ну дайте хоть каплю воды!» И не слышу своего голоса. Туман становится все плотнее, и сквозь него пробивается грубый, как приговор, голос:

— Ничего не надо делать, что зря тревожить, худ до невероятности. Не доводилось видеть таких. Вряд ли до утра дотянет.

— А укол делать? — опять спросил первый. После недолгого молчания тот же хриплый голос ответил:

— Ладно. Давай, сделай. Каких чудес на свете не бывает?! Да и перед совестью...

Больше я ничего не слышал. На меня опять навалилась вязкая болотная темнота.

У чужого огня

Болел я долго. Но как бы ни было, выкарабкался. Молодость живуча! Правда, та давнишняя болезнь напоминает о себе постоянно, стоит только чуть простыть. Но с годами и к этому привык, да и смирился.

Первые дни я ничего не понимал. Со мной что-то делали, приподнимали, вливали в рот, поворачивали с боку на бок. У меня же было только одно желание — спать и спать. Когда будили для каких-то процедур, то сразу же после них засыпал.

Однажды ночью проснулся, хотел снова заснуть, закрыл глаза, но в этот раз сон почему-то не шел. Я повернулся, попытался встать, не получилось. Повторил. Упершись в спинку кровати, сел. Держась за металлические прутья, поднялся и начал чуть-чуть двигаться. Голова кружилась, в глазах плыли круги, ноги дрожали. Я хотел повернуть назад, но кто-то легко взял меня под локоть. Тихий женский голос спросил:

— Куды ты, родимый?

— Да вот, по нужде, — еще тише ответил я.

— Дык, я тебе пособлю, — ласково произнесла женщина.

Придерживаясь за спинки кроватей, потом за стену, мы побрели. Нужник был в самом конце барака, пока ходили, несколько раз присаживались — не хватало сил. За это время женщина успела рассказать, что работает она здесь, в стационаре, уборщицей. Имя ее Таисья, а попросту кличут — баба Таша. И статья у нее безвредная — за халатность. Сарай колхозный сгорел. Не усмотрела. И срок малый, всего 1,5 года. И отсидела уже почта половину. Говорят, что вот-вот грянет амнистия и всех таких выпустят. Спросила:

— А тебя-то за что посадили?

Мне не хотелось откровенничать и я сказал:

— Да так, по глупости...

— То-то я вижу, что совсем еще глупый, в такую даль без силов пошел. Сказал бы. Чай, здесь тоже люди — поймут.

Потом рассказала, что у нее три сына. И все при деле. В армии. Старший — на корабле, на Дальнем Востоке, средний — где-то на китайской границе, а вот младший Ванюшка — в самом пекле.

— Как взяли его в конце осени в 41-м, так с первых дней все на войне да на войне. Но Бог милует. Вот только со мной беда приключилась. Надо же греху быть! Сторожила колхозные сараи, ночью отлучилась ненадолго, внучонка Сережу проведать. Настенька-то, моя невестка, Ванина жена, зачем-то в город по колхозным делам уехала, а он один остался. Побежала, а тут и стряслось. Ваня часто Настюшке письма с фронта пишет и мне всегда поклоны посылает. А Настюшка ему ответы: и от себя, и как бы от меня. Скрывала, что я здесь-то. Не хотела расстраивать его. Да все равно, правду разве утаишь?

Так, с разговорами, мы и зашли в палату. Уже возле койки сказала:

— Ну вот! А теперь отдохни, устал ты шибко. Спи.

И ушла. Рядом на койке зашевелился сосед. Проговорил тихо:

— Рассказывала про сыновей?

— Да, — сказал я. — А что?

Сосед продолжал:

— Каждому рассказывает, лишь бы только слушал, — еще совсем тихо, боясь потревожить спавших, сосед добавил: — Переживает она за них, особенно за младшего. Недавно приезжал он к ней сюда, на свиданку.

— Как? — засомневался я. — Сюда приезжал-то?

— А так, — ответил тот. — Приезжал. И весь тут сказ. Ну, она тебе об этом еще расскажет.

Через несколько дней как-то вечером, после ужина, баба Таша зашла делать уборку в комнате. Мне было уже получше и, когда она поравнялась с моей койкой, попросил ее:

— А ты мне доскажи про Ванюшу-то, как он там?

— Ладно. Вот только управлюсь, — ответила она. Ей, видимо, льстило, что я заинтересовался ее

Иваном. Вскоре она подошла и, присев, спросила:

— А на чем я остановилась-то? (Многим рассказывала, поэтому и не помнила.)

Я обсказал.

— Ну так вот, — начала она свое повествование. — Совсем недавно, чай, чуть немногим больше месяца, произошел такой случай. Получил Ванюшка со службы отпуск на две недели для побывки домой. За какое-то военное радение дало ему начальство эту поблажку. (Это уж все с его рассказов.) Прикатил он в деревню, забежал домой. Настюшка в слезы, Сережка, их сын, а мне внучок, кричит от радости, бегает вокруг отца. Голова у Вани закружилась от счастья. В радостях да суматохе сразу-то не спросил про меня. Живем мы в разных избах, хоть и недалеко друг от друга. А потом, как угар схлынул, под вечер и спрашивает:

— А где же мама-то?

Тут ему Настюшка и повинилась во всем. Вскочил, засобирался. На-

стюшка упрашивала: «Ну хоть ночку отдохни». Только и отвечал: «Нет и нет! У меня еще впереди 10 дней! Успею, отдохну». И помчался. А утром уже был здесь. Деревня-то наша недалеко от Омска. Так вот...

Но в этот раз она тоже недосказала. Появились врачи с обходом. Баба Таша встала. Немного протерла тряпкой спинку кровати (так, машинально, по привычке) и тут же, с несвойственной для ее лет поспешностью, вышла. Ей было без малого 60.

Я за эти несколько дней успел приглядеться к ней. Высокая, согнутая от прожитых лет, с морщинистым лицом и приветливым взглядом, обыкновенная крестьянка, каких много на нашей русской земле, испытавшая и перенесшая все тяготы деревенской жизни, не растерявшая ни капли бесценного душевного богатства. Она незаметно, с первого же разговора, расположила меня к себе своей ненавязчивой, согревающей теплотой. В редкие свободные минуты, когда все больные после отбоя отойдут ко сну, она присаживалась на чьей-нибудь кровати и вела тихий душевный разговор. Рассказывала о новостях лагерной жизни, о сведениях с фронта, о том, что узнавала из разговоров, о семейных делах и разных разностях. Ее любили. Я — очень. И, когда наступал вечер, всегда ждал ее прихода. Мне хотелось, чтобы она чаще бывала у нас. Но работы у нее была «прорва» и подолгу задерживаться она не могла. Однажды сама подошла ко мне. Села, как обычно, на краешек кровати, посмотрела и сказала:

— Ну вот! Понемногу отходишь, по обличию вижу.

Настроение у меня было приподнятое. С утра по случаю победы наших войск всем нам выдали двойной паек (при больших победах так бывало всегда). Я благодушно мотнул головой и тут же напомнил ей про недосказанный рассказ об Иване. Она, как-то горестно вздохнув, сказала:

— Опять шибкие бои начались. На самой Волге. Прогонять наши стали немцев.

Я спросил:

— Ну, а Ванюшка где?

Больше всего меня интересовал он.

— Где же ему быть, все время там, — сказала и еще горестнее вздохнула.

Я тоже вздохнул. Ну что я мог посоветовать? Чтобы отвлечь ее от горьких раздумий, напомнил:

— А как дальше-то было, как он приехал сюда?

Немного взбодрившись, начала:

— Так вот! Примчал он к лагерю утром (председатель последнюю лошадь отдал). Приходит на вахту, а его не пускают. И надо же такому случиться. Это уж сам Бог помог. Подъезжает в то самое время наш главнейший начальник лагеря, что Греком зовут. Обратился к нему Ваня. Обсказал, что прямо с фронта. Тот даже рта ему не дал больше раскрыть. Распорядился тем, что на вахте сидят: «Пропустить!» Прошел Иван вместе с ним в его контору. Ваня-то все подробно рассказывал, только мало что запомнила. Я как раз в то утро домывала коридор. Гляжу, бежит к нам рассыльный из штаба (так называлось административное управление лагеря). Подходит

прямо ко мне и говорит: «Требует тебя к себе начальник». Испуг нашел: «Господи Исусе! — думаю. — Царица небесная! Чем провинилась, кому не потрафила?». Крестное знамение на себя наложила. А тот теребит: «Идем скорее, начальник строгий, за задержку могу нагоняй от него получить. Не бойся, баба Таша (знал меня рассыльный, много раз прибегал в больницу по каким-то надобностям), я тебе сейчас такую радость скажу, вприсядку запляшешь. Сын твой приехал!».

Как только он это промолвил, я и обмерла, грудь сдавило, слова сказать не могу, в голове все перепуталось: «Боже милостивый, который?». А рассыльный знай, тянет за руку: «Идем скорее, попадет нам за задержку. Вчера вон трех поваров на штрафную турнули. Хочешь, чтобы и меня туда же?» А у меня ноги подкосились, не идут. Сердце трепещется. Вот-вот упаду. Пошла за ним через силу. А как стала подходить ближе да увидела Ваню на крыльце, остановилась. Хоть и одет весь по-военному, ремни через плечо, сумка какая-то, сапоги кожаные, а сразу узнала. Сын ведь. Спиной стоял. А как повернулся, глянул в мою сторону, перемахнул с крыльца через перила и бегом навстречу. Потом уж совсем плохо все помню. Подбежал, обнял, целует. У самого слезы на глазах: «Мама, мама!». А я стою как вкопанная и ничего не соображаю. Только одно и твержу: «Ваня, Ванюша! Сынок!». Как маленько опомнилась, он и говорит: «Ну, а теперь пойдем к начальству, нам целые сутки разрешили для свидания». А я засовестилась: «Куда в такой одежде с тобой, да к начальству». Нахмурился Ваня, а потом рассмеялся: «Вот так-то и лучше даже».

А начальник встретил приветливо: «Вот, Таисья Спиридоновна, и сын к тебе пожаловал. Оказывается, мы с ним на одном фронте были. Только в разных местах. Могли бы и встретиться. Но не довелось. Война хоть и одна, но уж очень длинна, всех раскидала». Посмотрела я на него. Нестарый. Может, тридцать с небольшим будет, постарше Вани. На вид строгий, а глаза добрые-добрые. Немного поговорили, потом начальник засобирался: «Ну вот, Иван Кузьмич (это уж моему-то Ване), комнатку я вам определил. Можете идти и обо всем переговорить. А вашему заявлению я ход дам. Об этом не беспокойтесь». Вышел из-за стола. Видно было, что сильно прихрамывал (я это тоже заметил, когда он в «буре» на нарядчика шел).

Ушли и мы с Ваней. Комнатка небольшая, столик, скамейки. Но что нам-то! Ванюша развязал узелок, достал пряников, чай, сахар, еще что-то. Угощает. Я осерчала: «Ну что ты? Зачем это? Увези назад. Сережке отдай. Ведь с ним Настюшка ой как мается! Голодно у них. А здесь все же три раза в день кормят». Посуровел Ваня: «Все, мама, сейчас маются». Все старалась выведать у него про войну: как там? что? А он только шутил: «Видишь, пряников тебе привез, считай, что там как будто на базаре». Так и не сказал ничего. А Акимыч, истопник наш, рассказывал, что слышал от какого-то сурьезного человека — там так бомбами бахают, что из-за дыма неба не видно! А Ивана-то моего куда ни пошли — не откажется. Все сполнял. И по деревне первым трактористом был. В кузнице любую лошадь подкует, на пашню и покос раньше других вставал, а по дому работал — одно загляденье. Вот и там-то, наверное, все с первыми. А таких-то первыми пуля и

метит. Оттого и болит, и болит у меня за него душа, гложет сердце тоска неуемная. О чем мы еще говорили с ним, больше ничего не помню. Только как стали прощаться, сказал, что отдал он начальнику лагеря заявление для моего освобождения. Вот и все.

Умолкла и загорюнилась баба Таша. Прошла с тех пор вечность, а не уходит из памяти небогатая Иванова передача, которую привез заключенной матери с фронта, да еще с передовой, честный защитник Отечества. А ведь и тогда, в том же лагере заключенных, приходилось видеть, как столовалась уголовная братва. И вино, и мед, и окорока свиные — всего случалось в достатке. Как умудрялись доставать это в то военное лихолетье? Нет у меня ответа. Только от тягостных воспоминаний выплескивается горечь: где она, справедливость-то? Хоть людская, хоть Божья.

Впрочем, к чему этот наивный вопрос, да еще сейчас, в наше «демократическое» время. Посмотрели бы баба Таша с сыновьями на наших «новых русских», для увеселения разбрызгивающих шампанское прямо из фонтанов, то-то подивились бы, как умеет гулять широкая русская душа. Однако не будем обращать внимание на «невинные шалости» молодых баловней. Творятся дела куда похлеще.

После затянувшегося молчания (я не тревожил ее: пусть помыслит) баба Таша вдруг как бы оживилась и дальше, как мне показалось, с досадой заговорила бойко:

— Силен ведь он у меня. Очень. Еще двадцати не было, с мужиками на медведей ходил. Матерого на рогатину добыл. А на людях вроде трусоват, ой как трусоват. Бывало, подойдут девчонки (холостым еще был) к нашему дому и горланят песни. А Настюшка — больше всех. Парни, что побойчее, все давно возле них крутятся, а Ваня спрячется куда-нибудь и сидит, притаившись. Настюшка не вытерпит, заскочит в избу: «Ваня-то где?» Я ей и укажу на чулан. Там она его и найдет. Меня дома нет — все равно отыщет. И сама-то не очень видная, а поди ты, завлекла Ванюшку. Он-то ростом под потолок, она ему рукой и до кудрей еле-еле дотягивалась. А с первых дней верховодит в доме она. Что она ни скажет, он поперек ни слова. Смышленая и боевая. И мне как-то сразу к сердцу прикипела. Люблю больше других невесток. Старшие-то женились на городских, а это наша, деревенская, — умолкла опять баба Таша. Собравшись с мыслями, продолжала: — Как провожали на войну Ваню с мужиками, все семейные были, холостых-то забрали раньше, то, почитай, вся деревня шла с ними. Вышли по проселочной дороге из лесу, дошли до большака, а там уж машины были. Распрощались, и, как скрылись машины из виду, грохнулась Настюшка на дорогу и забилась в лихоманке. Так, в беспамятстве, и довели до деревни. Два дня не в себе была. Хоть и за «старшего» она в доме, всем верховодит, а я вижу, жалеет Ваню, жалеет по-нашему, по-божески. Что уж тут поделать. Такой уж он у меня. Трусоват, с самого детства трусоват.

Я не утерпел:

— Ну что ты, баба Таша, заладила одно: трус да трус. Никакой он не трус, а самый настоящий герой. Только скромный и застенчивый. А есть такие девки, что десятерых самых храбрых парней одна забьет.

Она глянула на меня с какой-то лукавой придирчивостью и промолвила:

— Да тебе-то откуда знать, какие они, девки-то? И тут же засобиралась. — Дела, надо идти, а ты спи.

Я, разгорячась, хотел рассказать, что была в нашем классе такая «заноза», ее боялись больше огня все мальчишки. Бывало, подсядет незаметно к кому-нибудь из парней да ткнет иголкой в бок. И тут же сама заорет, будто ее ущемляют. Парень-то не жалуется. А его учитель сразу же, как бы за нарушение, к доске вызывает. И давай спрашивать с пристрастием, что усвоил из программы. Редко какой возвращался без двойки. А если парень от неожи¬данности вскрикнет от ее укола, застыдит:

— Ну какой же ты чапаевец, если от комариного укуса орешь на весь класс (это так она именовала свой иголочный укол).

И тут же Павку Корчагина вспомнит. И пошла расписывать дела геройские из книжек. Когда шла по коридору, мальчишки старались обходить ее стороной. А как было поступать? Тогдашние мальчишки тех девчонок не колотили. Терпеливо и молча переносили их причуды и капризы. Обид не таили, при необходимости заступались за них. Добровольно уступали первенство.

Пока собирал все это в памяти, чтобы рассказать бабе Таше, ее и след простыл! Несколько дней баба Таша ни к кому не подходила. Ожидали какое-то высокое лагерное начальство. Весь больничный персонал чистил и драил полы, стены, окна. Даже врачи и те принимали участие. Всех больных перемыли, выдали свежее белье. Некоторым заменили рваные одеяла. Но вся суета оказалась напрасной — не приехали.

Когда вся эта «колготня» улеглась, пришла баба Таша к нам в палату, перекинулась кое с кем малозначащими словами и, посмотрев на меня, сказала:

— Ну, дай-то Бог, вижу совсем на поправку пошел.

Присела. Как всегда, на краешек койки. Помолчала, потом сокрушенно, как бы соболезнуя, тихо сказала:

— Вчера перед самой ночью Федулыча принесли, избитый весь.

Я спросил:

— Уж не тот ли нарядчик, что меня притащил из «бура» сюда?

— Тот самый, тот. Я-то ведь его ой как хорошо знаю. Наш он, деревенский, — сказала вдруг как-то уж очень показавшаяся мне пожилой баба Таша. И поведала такую историю: — Весь род его из нашей деревни. Дед их, Филипп, всю войну с белыми был. Здоровенный старичище. В наших краях много всем досаждал. Потом отхлынула война и на затишье все пошло. Ушел, видно, и он с беляками. Мой Кузьма домой вернулся. Почитай, года три с партизанами скрывался. Стали мы хозяйство налаживать. Утром рано ушел Кузьма на поля посмотреть, как и что уродилось. Часто так делал. А тут нет и нет его. Уже за полдень перевалило. «Что-то не ладно», — думаю. И вижу бежит соседка наша через два двора от нас жила. Сама не своя. Разлохматило ее, и кричит не своим голосом. Народ стал сбегаться. Мужики подошли. Только и узнали от нее, что застрелил Филипп моего Кузьму. С тех пор так и жила все время одна. Ванятке, младшему, было всего

5 лет. Да и старшим немногим больше. Теперь уж выросли. Тяжело было. Но Бог не оставил, да и люди помогали. А Филипп с тех пор сгинул – и ни слуху ни духу.

И понесла тяжелый крест одинокой бабьей доли Таисья Спиридоновна. Несла без упреков, укора и ропота. Всю жизнь.

Подвиг есть и в сражении,
Подвиг есть и в борьбе.
Выевши подвиг в терпении,
Любви и мольбе. (Хомяков А. С.)

Помолчав немного, продолжила:

— Сын-то его, Федул, быстро стал подниматься в гору, как разрешение от властей пришло «нэпом» заниматься. Говорили знающие люди, что много добра нахапал Филипп, как у беляков служил, и все сынку Федулу досталось. Ну, а Федул широко размахнулся. Работников нанимал, бывало, в страдную пору больше десяти человек. Богато стал жить. Нас, деревенских, голытьбой звал. А жаден — не обскажешь. Попа за грош убьет. Ну недолго пановал. Тут вскорости в колхозы собирать всех стали. Добрались и до Федула. Стали его прижимать: вступай и вступай. Отца его, Филиппа, ему припомнили:

— Я от отца давно отказался, не признаю за родителя, и отстаньте от меня, — стоял на своем Федул.

— Ну, смотри, — построжал его видный мужчина из города (видимо, уполномоченный), — как бы потом тужить не стал.

Федул ни в какую. Заперся дома и целую неделю пил беспробудно. (Может, не совсем так было: в те времена с подобными Федулу людьми не очень церемонились. Да по простоте своей баба Таша всего могла и не понять.) А как очухался (что уж ему в голову припало), сам пришел в правление. Пригнал лошадей, а потом коров. Диву все подивились. С чего бы это? А ночью сторожа припер в приделке и поджег скотный двор. Видел конюх, хотели ловить, да ведь тушить надо. А уж под утро, когда кое-как затушили (да что там, почти все сгорело вместе со сторожем), узнали, что повесился Федул у себя на воротах. Никто из деревенских слезинки не пролил. И похоронили как-то словно крадучись. Бедным плохо, а богатым еще хуже, — сказала и замолчала.

Осмысливая ее простоватое суждение, вспоминаю где-то вычитанные слова: «Нет страшнее хищника на земле, чем собственник-скопидом, в алчном угаре потерявший человеческий разум». Жадность не имеет краев. И тот беспредел и разгул преступности в наше время на почве разграбления богатств — лучшее тому подтверждение. Да! Эти люди не остановятся ни перед каким преступлением ради своих интересов и наживы. Детей и стариков подавят. Им всегда мало. Не насытится ум богатством, как око зрением.

Между тем баба Таша, передохнув, продолжала:

— Так вот, этот-то Федулыч (нарядчик) сыном ему приходится. А имя его Ермил. Какой-то у них в стародавние времена прародитель был. Также величался Ермилом. Во славу того и нарекли его так по настоянию Филиппа. Это я уж от деревенских старух слышала. Сама я «коренного» не за-

стала. Так вот, Ермил Федулыч вместе с моим старшим в армии служил. Мои оба в городе остались, а он возвернулся. Помню, на гимнастерке все время носил какие-то бляхи. Смирно себя вел. Грамоту разумел. Счетоводом в колхозе пристроился, но ворюга несусветный, весь в папашу. И уж больно хитер был. Чтобы показать свое старание и похвалу заслужить, писал доносы районным начальникам на колхозников. Как только чьи ребятишки заберутся в колхозные огороды, так тут же и пошла писулька. Вот, мол, такие-сякие, не только не следят за своими хулиганами, но еще сами научают их воровать. Хоть и знали все, что он целыми возами ворует да в город отправляет, а как докажешь? Умел все укрывать. И запугал всех своими наветами, писать-то был больно мастак. И здесь-то, в лагере, из-за грамоты в нарядчики выбился. Сколько бы бедовать нам? Да только Господь не стерпел. Нашла и на него беда. Свою-то жену он мордовал до лютости, особо когда был во хмелю. Не вытерпела. Сбежала в район, там про его дела и рассказала. И все тут открылось. На много годов его засудили. А вместе с ним и завсклада, лабазника, продавца. Ну, тем поменьше дали. Уж он года три как тут, но изворотлив. Потому и пристроился по писарской части. Только вот с новым-то начальником у него промашка вышла. Выпер тот его из писарей да сразу на штрафную.

Меня так и подмывало рассказать, что он вытворял на нашей колонне. Но, боясь перебить бабу Ташу, сдерживался.

— А там! Ох-хо. Такие собраны ухари, что не приведи Господь встречаться с ними.

Я про себя подумал: «Да тебя-то, баба Таша, никто не тронет».

Загорюнившись продолжала:

— И припомнили ему, видно, какой-то грех. Не знаю, выдюжит ли? Говорила мне Манька, там она на операциях работает, вся голова разбита, глаз нет и сам весь в беспамятстве. Жалко, как-никак человек.

Я все помнил об этом «человеке», но совсем тихо сказал бабе Таше:

— Этот Федулыч и затискал меня в «бур», а потом тащил из него в больницу: начальник его заставил.

А баба Таша мне в ответ:

— Да здесь я была тогда, видела, как он тебя принес. Значит, Бог тебя еще бережет. Много лютости приходится на долю смирных людей. И без того обижены, а тут еще такие ироды. (Кого она имела в виду, я не стал расспрашивать.) Поприутихли сразу, как появился теперешний начальник. И не так давно правит, а какое всем облегчение. До него проходу по зоне не было. Чего только не утворяли? А с бабенками — срамота, что делали. Видно, везде одинаково: хороший председатель в колхозе — хорошо людям. Так и здесь. Все санитарки только и говорят: молодец Грек. От Ванюшки на свиданке слышала, что они где-то рядом Москву отбивали, только не запомнила я, как места-то он называл. Ванюшка тогда в тех боях чин получил. Летенан. И партейцем стал. А Грек-то ой как храбр! Ночами по лагерю один ходит, в штрафную заходит без всякой охраны. Акимыч-истопник говорит, что его даже самые лихие главари бандитские и те уважают. А уж если сказал Акимыч, то тут правда. Да что сумлеваться? Матушку Москву какому

лиходею не отдали. И еще Ванюшка говорил, что Грек-то большим войском управлял.

Я сказал ей:

— Он не грек, он наш, русский.

— Да мне как попроще выговаривать, так и лучше. А человек всегда остается человеком, не имя его красит, — сказала баба Таша. И продолжила: — Недолго пробудет он здесь. Говорил он Ване, что, как поджив нога, «упрощусь обратно воевать».

Напророчила баба Таша: вскоре начальник лагеря майор Греков уехал на фронт. Что с ним сталось — мне неведомо. Может, сложил он свою голову на полях сражений, а может, минула лихая судьбина, но как бы то ни было, в Великой Святой Победе есть и его немалая доля.

— А позавчера, — продолжала баба Таша, — второй раз вызывало меня начальство. Какой-то в очках, неприветливый, расспрашивал про пожар сарая. Все по порядку рассказала. Потом вспомнила, как мне говорил председатель колхоза: «Я бы тебя, Таисья Спиридоновна, вовсе защитил, укрыл. Да ведь народ-то у нас всякий есть. Приплетут и меня к тебе, обоих врагами объявят, тогда из тюрьмы не выберешься. Хорошо хоть Федулыча нет здесь, а то скольких бы своими поклепами еще очернил». Пересилила я робость и спросила: «А хуже не будет мне?» Снял очки и говорит: «Тебя посадили почитай что зря. Скоро разберемся». Вот и не выходит у меня из головы думка: «А вдруг раньше выпустят». Ванюша еще тогда говорил про заявление с хлопотами обо мне.

Помолчала и продолжила:

— Быстро пролетели его десять деньков, и уж почитай месяц как уехал... Когда кончилась свиданка, спросила: «Ваня, а побольше побыть тебе дома нельзя?» Ответил: «Нет, мама, там много таких, как я. Если каждый будет увиливать, кто же землю нашу оборонит да и вас, стариков, защитит?» Я всполохнулась: «Ну что ты все про меня, обо мне не тужи. Я не пропаду. А вот Настюшке с Сережкой-то как? Он-то ведь у вас еще совсем несмышленыш...» Затуманилось у него в душе, а я вижу, что крепится. «Ничего, — говорит, — мама. Настюшка боевая, в обиду себя не даст и Сережку защитит. Да и в работе спорая. (Улыбнулся.) А я скоро вернусь, ждите!» И ушел.

Вдумываясь в последние слова, сказанные Иваном матери на прощание, не могу отделаться от назойливой мысли: а ведь, может, и совсем скоро какой-нибудь из западных или восточных держав станет тесно в своих границах и вновь объявившийся «вождь» двинет свои полчища в нашу сторону. Кто соберет народы под боевые знамена? Кто объединит «разноголосый хор» демократических, патриотических, социалистических и прочих «ических» голосов в единое победное течение? Это уж покажет время...

После отбоя я уже начал задремывать, когда опять появилась баба Таша. Села. Оглянулась по сторонам. Вытащила из фартука пряник и сказала:

— На-ка вот, гостинчик от Вани. Последний.

Я категорически отказался.

Она, глядя на меня своими ласковыми глазами, тихо произнесла:

— Ну, уж если не меня, то уважь Ванюшу.

— Баба Таша! Да я твоего Ванюшку люблю больше себя. Был бы я хоть чуть на него похожим, давно бы посворачивал шеи сычам, бездомным да прочей сволочи.

— Ну ладно. Не серчай. Бери, — сказала и положила мне засохший от времени пряник.

Не мог ее обидеть. Вспоминая протянутую морщинистую старушечью руку, держащую ссохшийся пряник, хочется воскликнуть: «Люди! Сделайте каждый по своим возможностям хотя бы только по одному доброму поступку! А если уж нет такой возможности, то улыбнитесь с человеческой сердечностью. И сразу на земле станет светлее».

На другой день я вышел в коридор походить. Так делали все выздоравливающие. Подошел к окну. Увидел, как из подъезда хирургического барака (что был напротив) вышла баба Таша. Зайдя в прихожую, она как-то быстро прошмыгнула по коридору и ушла в другой конец больницы. Появилась часа через два с ведром и тряпкой. Молча стала заниматься уборкой. Вид у нее был грустный. На лице не было обычной приветливой улыбки. Закончив свою работу, сказала:

— Умер Федулыч. Сходила, попрощалась. Как-никак из одной деревни. Хоть и не без грехов, но Бог простит. У меня на него нет обиды. Уж больно мученический конец он принял. Манька рассказала, что убили его за донос начальству в охрану. Будто бы побег готовили жулики. Федулыч-то сначала был сам связан с шайкой главарей, а потом отлепился от них и стал отираться поближе к начальству. Тут-то и сообщил о беглецах. Подстерегли всех, кто убечь собирался. Одних словили, других постреляли. Там разговор короток. Потом кто-то прознал, что это по его навету произошло. Разве утаишь что в лагере? Давно за ним охотились. Да все уворачивался. А как заперли его в штрафную, там и нашел он свою смертушку. В беспамятстве пролежал больше суток и отошел.

Я подумал: «Вроде не дурак был Федулыч, а пошел на такое безумие. Ведь все знали, что блатная братва отступников и доносчиков не прощает».

Доносчику первый кнут — этот неписаный закон пришел к нам из далекого прошлого. Из поры дикого правления, когда господа выменивали крепостных на собак, лошадей, прочую живность и недвижимость. Об этом писать жутко. А ведь отдельные «демократы» какой-то особой окраски, выползшие из-под гнета КПСС, в ностальгической тоске исходят только по монархическому самодержавию! Порой кажется, что в мире что-то сместилось, шарахаемся из одной крайности в другую. Может, так и нужно иногда? Только давно уже отвергли прямолинейность кнутов и нагаек. Стали применять более изощренные формы вправления мозгов.

И сам Федулыч был изобретателен в подобных операциях. Почему же он так оплошал? Да все, пожалуй, просто. Себя не мог пересилить. Видимо, в крови у него уже была болезнь к доносительству еще с колхозной поры. А может, передалась страсть к уничижению людей по наследству.

Баба Таша продолжала:

— Вот и Матрена теперь с двумя осталась вдовой. Хоть нам в деревне

он насолил много, а жалко. Хорошо, что я Ванюшке наказала, чтобы выбрал время да сходил к Матрене, дровишек поколол, может, какую мужицкую работу справил. Мужиков-то в деревне никого нет. Ваня сперва хотел отказаться: «Что ты, их дед нашего папаню убил, а я дрова пойду им колоть?». Не стала настаивать, а сказала: «Ребятишки ведь это... Да и Матрена-то ни в чем не виновата». Знать, вразумил его Господь. Опомнился: «Ладно, мама, сделаю». Наставила его — только с добром все сделай, без добра никому пользы нет. Ответил он тогда: «Ну что ты, мама. Исполню как надо»

Замолчала.

Господь милосердный! Были ли когда-нибудь в Твоем царстве небесном ангелы святее этой крестьянской женщины!

Немного помолчав, я высказал-таки сомнение:

— А вдруг возьмет Иван да и не пойдет дрова колоть Матрене?

Баба Таша, не задумываясь, отреагировала:

— Как же так, разве суперечь матери можно? Да еще когда согласие дал?..

Вспоминаю ее высказывания и думаю: в те времена сыновья слушались родителей. Как-то теперь станет? Не хотелось вступать в пререкания с бабой Ташей, да и косточки мертвого Федулыча что «перемывать»... Но не утерпел:

— Я уже говорил тебе, баба Таша, как они с Сычом меня, почти раздетого, в холодную каталажку засадили. Если бы не зашел в тот день начальник с врачихой, то мне бы уже давно была крышка, замерз бы. Федулыч людей не очень жаловал. А такой же заключенный.

Посмотрела на меня баба Таша долгим взглядом и промолвила:

— Бог знает, что делать. В одну дверь впускает, а из другой выпускает. Федулыч неправедную дорогу выбрал — и муки за то принял, да и впереди еще суд строгий Божий. А Матрена с ребятишками неповинны, — уверенно сказала и тут же ушла.

А я? Если бы я был папой римским, ну пусть, на худой конец, каким-нибудь патриархом, то причислил бы бабу Ташу при жизни к лику святых. Впрочем, она и без их соблаговоления достойна этого сана.

А время двигалось. Зима давно ушла со своими морозами. Днем стало сильнее пригревать, с крыш звонче застучала капель. Весна перешагнула порог. В больнице произошло заметное оживление. С крыш скидывали снег, шире расчищались дорожки, начали выставлять зимние рамы. Убирали накопившуюся грязь.

В палатах одни больные уходили, на их место укладывали других. Я уже давно чувствовал себя сносно. Но почему-то врачи не выписывали. Придут, посмотрят, послушают, что-то запишут и отойдут, ничего не говоря.

Баба Таша не появлялась уже два дня. Как-то раз заглянула. Я хотел с ней поговорить, но она, не сказав ни слова, ушла. Подумал: может, обидел? Чем? Перебрал все в памяти и отверг свои сомнения.

На следующий вечер она пришла делать уборку. Но у нее ничего не ладилось: обопрется на палку с намотанной тряпкой, постоит, вперив в пустоту отрешенный взгляд, и уйдет. Я догадался, что у нее что-то неладно.

Закралось сомнение: может, отказали в пересмотре дела? Видел ее еще несколько раз в коридоре, но расспросить не решился. Так ничего и не выяснил. А тут нахлынули тягостные заботы.

На дневном обходе главврач долго вертела меня, слушала, стучала по спине и груди пальцами, потом чуть отодвинулась и, глядя в сторону, сказала:

— Надо было бы еще подержать, да уж больно много на очереди хуже тебя. А ты деньков десять походишь в ОПП (оздоровительно-профилактический пункт), справку я тебе туда напишу, воздухом свежим подышишь, а если уж хуже будет, то придешь в санчасть.

Умолкла, отошла к другим. Насколько мне запомнилось — врачи и медсестры тогда относились ко всем заключенным с большой гуманностью. Заключенные платили им такой же любовью. Не случайно медперсонал зоны в ту пору находился как бы под незримой охраной лагерных воровских законов.

Слова врача о моей выписке дохнули холодом. Я и раньше подумывал об этом, но все откладывал на потом. А теперь... Во что же я оденусь? Ведь та одежонка, в которой меня притащил Федулыч, если и сохранилась, то сопрела. Да и какая она: чуни, рогожный мешок, заскорузлые штаны с одной штаниной. Мурашки от этих мыслей пошли по коже. Хоть и пригревает на улице по-весеннему, но еще кругом снег.

С такими невеселыми думами под вечер уселся я в конце коридора на скамеечку и откровенно загрустил. Горько задумавшись, не услышал, как кто-то подошел и встал возле меня. Повернувшись, увидел Акимыча-истопника. От многих слышал что Акимыч почти всю жизнь просидел в заключении, был на царской каторге, а потом «пошагал» по советским тюрьмам и лагерям. Слыл он человеком честным, справедливым. Законов воровских не на¬рушал, никому дорогу не «переходил». Пользовался у многих, даже больших «авторитетов» (как сейчас величают самых почитаемых воров в законе), уважением. Принадлежал ли он к их когорте, об этом ни от кого не слышал. Чуть тронув меня за плечо, спросил:

— О чем запечалился?

Я все рассказал начистоту.

— Да, твою одежду я выкинул. Никудышная она. Да про тебя и думали, что не «выцарапаешься». Ну да ладно! Что-нибудь придумаем, — сказал и, немного помедлив, спросил: — Говоришь на пятой колонне числился?

Я кивнул головой.

— Придумаем, — как-то утвердительно повторил он, — а теперь иди, вон уже кормежку разносят.

Утром я проснулся раньше всех, на душе было тревожно. Вспомнив про обещание Акимыча, подумал: мало ли что пообещает добрый человек, чтобы успокоить другого. Тихонько открылась дверь. На пороге стоял Акимыч. Спросил негромко:

— Где у вас тут пацан с пятой колонны?

Я подскочил:

— Может, про меня?

Акимыч, ничего не объясняя, буркнул:

— Идем.

Синей птицей пронеслась радужная мысль: может, ботиночки какие подбросит, пусть старые-престарые, только не худые и чтобы на ноги налезли. (Уж больно страшно ходить босиком.) Пронеслась мысль и тут же угасла: ну откуда он возьмет? Сам ходит в «чэтэзэвских» баулах.

Пошел за ним. Сердце колотилось быстро-быстро. Чудес на свете не бывает — так говорят многие. А я не соглашусь.

Мы подошли с Акимычем к его каморке. Он открыл свою сокровищницу и стал доставать то, о чем я и подумать не мог себе позволить. Ватные фуфайка и брюки, шапка, рубаха с кальсонами, брезентовые рукавицы, портянки и ботинки с какими-то толстыми подошвами. Все это было поношенное, в заплатках, но крепкое и чистое. Я смотрел и не верил своим глазам. Захлебываясь от счастья, не мог сказать ни слова. Я готов был упасть на колени, обнять его ноги, целовать.

— Ну, бери-бери, чего ты глаза-то вытаращил? — подбодрил меня Акимыч.

Собравшись с духом, спросил у него:

— Как же тебя звать-то?

— Акимыч, чего тебе еще? — ответил он.

— А имя? — спросил я.

— Да Федором нарекли, — как-то нехотя сказал.

— Федор Акимыч, — я взял его руку, прижал к себе и только сумел проговорить: — Имя твое перед Богом буду славить, век тебя буду помнить, на всю жизнь. Мне ведь нечем тебя отблагодарить, ничего у меня нет.

— Ладно, ладно! Забирай все да иди, а то скоро завтракать скликать будут, да и дела у меня, — совсем тихо, каким-то подобревшим голосом проговорил Акимыч.

Недавно слышал по радио, что один наш красноярский миллиардер (и как их много развелось за такой короткий после советской власти срок) организовал на Северном полюсе игру в футбол. Для чего-то пригласил «мисс красоты» Курочкину. Может, для большего блеска? (Нет чтобы какую-нибудь Марфу с молочной фермы!) Для футбольных баталий на холодной макушке Земли потратил многие миллионы. И наверняка осталось еще в кубышке немало! Кто знает? Он, да Господь Бог. Ну да ладно. От щедрот своих малоимущим в своей округе хлеб за полцены продает. Вроде бы благородно. Только, видимо, куда порядочнее было бы отдать все, что истратил на этот «туризм», бедствующим да нищим. Скольких бы облагодетельствовал. И как-то сразу подумалось: а окажись этот богач на месте Акимыча, как поступил бы? Акимыч-то отдал все, что у него было. Последнее. Ну, это уж так, для размышлений.

Я ушел, захватив эти бесценные, поистине «царские дары», принес их в палату, положил на койку. Разглядывал их, гладил, переворачивал и не верил. Меня распирали какое-то нечеловеческое счастье, безмерная радость, такое неземное чувство, чего никогда больше не испытывал в жизни. Ближе к середине дня, когда обычно начиналась выписка вылечившихся больных,

в палату зашла баба Таша. Вид у нее был измученный, она, как мне показалось, совсем стала старухой. Но у меня было такое ликующее состояние, такая волна навалившегося блаженства, что перестроиться на другой душевный лад я просто не мог. И не смог я тогда заметить, какая тяжелая печаль терзала ее душу, какая грусть затуманила глаза. Торопясь поделиться своей радостью, я сказал, какие вещи дал мне Федор Акимыч, и тут же засобирался показать ей их. Но она как-то безразлично отнеслась к этому и сказала, что все мои вещички вчера видела вечером. Вместе с Акимычем приводили их в порядок. Тут же добавила:

— А меня завтра освобождают. Бумага пришла. Сейчас надо опять идти в контору, прибегал посыльный.

— Вот видишь, баба Таша, — сказал я, радуясь еще больше, не зря Ванюша заявление писал.

Когда я говорил ей это, она стояла в полоборота ко мне. Потом повернулась, и я увидел, как тяжелая слеза скатилась по ее старческой щеке. Мне же подумалось: счастье тоже любит плакать. И, не задумываясь, весело сказал:

— Что же плачешь, теперь у тебя все будет хорошо!

Как иногда, сами того не замечая, мы бываем так жестоки к людям. Она склонила голову и, повернувшись, ушла.

После обеда, облачившись в обмундирование, я вышел за больничный барак. Весенний воздух пьянил, дышалось легко, душа просилась петь. Что тут еще можно сказать? Так уж устроен человек: он одинаково быстро привыкает и к хорошему, и к плохому.

Сначала я дошел до ОПП. Отдал справку. Меня поставили на учет, объяснили порядок пользования: питаться буду у них, а спать у себя в бараке — мест сейчас нет. После окончания курса лечения прийти на медкомиссию — для трудоустройства.

У меня много раз возникало потом сомнение: была ли в лагерях политика геноцида, о чем часто можно слышать в средствах массовой информации? Что судили не по заслугам, а другие попадали совсем ни за что (обычно по клевете доносчиков) — это было, было. Но утверждение о том, что увозили в лагеря за многие тысячи километров людей только затем, чтобы они там умирали, это неправда. Уж если кого и надо было «прихлопнуть» верховным правителям, так это делалось просто в тюремных подвалах. Заключенные же в лагерях представляли необходимую рабочую силу. И эту рабочую силу по возможности поддерживали — какой толк от «доходяг»? Работать заставляли много. Впрочем, трудно сказать, кто работал больше в те годы — заключенные или вольнонаемные. Вся страна была сплошным трудовым лагерем. Для восстановления такой послевоенной разрухи требовался необозримо превеликий труд. Глядя теперь на развалившуюся великую державу, горько задумываюсь: «Во имя чего были принесены такие жертвы и титанический труд, труд многих миллионов людей нескольких поколений?»

Управившись со своим простым делом, направился к постоянному местожительству — в бригаду. Дневальный, разглядывая меня, не мог при-

знать. И только когда я напомнил ему, как меня уводил Федулыч в «бур», он недоверчиво сказал:

— Что-то ты вроде не такой!

Помня напутствие Акимыча: быть пособразительнее, а то ведь всякая «шпана» куражиться будет (дневальный, правда, никак не принадлежал к этой категории), я с петушиным задором сказал ему:

— Такой не такой, а место отводи.

— Ишь ты, боевитый стал, отъелся на больничных харчах. Вон, занимай на втором этаже любое. Сейчас свободных мест достаточно. Многих на фронт взяли, — проговорил и тут же спросил у меня: — Ну, а ты как?

— Не берут, три раза писал заявление, статьи не те, — сказал я и сразу же забрался на нары, чтобы прекратить с ним разговор. Это было самым больным местом для меня.

Поздно вечером бригадники пришли с работы. На мое возвращение никто не обратил внимание — не велика радость от моего появления. Только бригадир спросил:

— Совсем или еще за больницей будешь пока числиться?

Сказал, что на 10 дней еще в ОПП направили. Он больше ни о чем не расспрашивал и ушел в свою бригадирскую кабину. Я, обмотав ботинки веревками, чтобы не сразу стянули с ног, уснул не раздеваясь. Утром проснулся вместе со всеми. Вскочил. Первым делом схватился за ботинки. Слава Богу, целы. Теперь можно и поваляться. Все равно завтрак в ОПП начинается после развода.

Жизнь началась по размеренному, но уже другому распорядку. Во второй половине дня сразу же после обеда я подошел к вахте, через которую выпускают освобождающихся. Там никого еще не было. Чтобы не мельтешить, решил немного походить по зоне. Как-то, сам того не замечая, подошел к административному зданию. Глянув на высокое крыльцо, сразу вспомнил из рассказа бабы Таши, как спрыгнул с него Иван и бежал к ней навстречу, а она, растерявшись от нахлынувших на нее волнений, стояла, не веря самой себе. И от этого воспоминания тепло и радостно стало на душе: «Все ж таки есть справедливость — не все сволочи!» И тут же подумал, как завтра баба Таша заявится домой, как рады будут все родные. Сбегутся соседи. Сколько разных пересудов, надежд у всех появится. Размечтавшись, подумал: «А там, глядь, и Иван прибудет, и чин у него будет выше». А дальше захотелось еще больше: и остальные сыновья приедут, и будет у бабы Таши полное веселье. Но главное, чего мне больше всего хотелось, так это, чтобы ее Иван скорее вернулся домой. Наслушавшись от бабы Таши в долгие зимние вечера про ее Ванюшку, я, не замечая того сам, полюбил человека и желал ему только хорошего. Мне так хотелось быть похожим на него хоть чуточку.

Пребывая в блаженных мечтаниях, я обошел несколько раз вокруг здания и повернул назад. Издали увидел: возле пропускной вахты уже собирался народ. Подошел поближе. Небольшая кучка пестро одетых людей стояла почти рядом с главными воротами. Ожидали начальника УРЧ (учетно-распределительная часть). На всех лицах угадывалось какое-то томительно-

напряженное ожидание: скоро ли? не вернули бы назад... Бывали и такие случаи.

Я сразу заметил бабу Ташу. Она стояла чуть в стороне. Подошел, окликнул. Она не обернулась. В это время появился урчист, и все пришло в движение.

Я совсем близко подошел к бабе Таше и остановился. Она глядела куда-то вдаль каким-то безумным взглядом. Не стал тревожить, пусть побудет со своими мыслями: вот она, свобода, совсем рядом, а там дом, внучата, родственники, с которыми прожила всю жизнь.

Каким-то внутренним чутьем догадывался, что она видит меня, хочет что-то сказать, но не решается. Уже выкрикнули несколько фамилий, и я, как-то вдруг испугавшись, что могут вызвать и ее, а я даже слова не успею промолвить, дотронулся до ее плеча. Она повернулась, и слова радости, что хотел на прощанье сказать о досрочном ее освобождении, вдруг застряли в горле. Я увидел так сильно изменившееся лицо, какого не видывал за все время. По окаменевшим щекам из обоих глаз катились горючие струйки слез. Она положила узелок на землю и обеими ладонями стала стирать не слушавшиеся ее слезы, смахивала их, а они бежали, бежали.

— Баба Таша, ну что ты, ведь на волю идешь, да еще досрочно, — пытался как-то урезонить ее, не понимая, что с ней происходит.

Тогда, видимо, собрав остаток сил, она прерывисто не то чтобы сказала, а как бы вытолкнула из себя всего несколько слов:

— Убили Ванюшу, убили в самое Крещенье. Неделю, как деревенские письмо прислали с похоронкой. Вот приеду, а он никогда...

Я не сразу понял смысл ее слов. А когда дошло до моего сознания, то какой-то нестерпимой жгучей болью полоснуло по сердцу, весеннее мартовское солнце померкло в глазах, а в голове тяжелым молотом стучали ее слова:

— Убили Ванюшу, убили в самое Крещенье.

И она знала об этом уже целую неделю и никому не говорила. Одна носила в себе печаль, чтобы не доставлять огорчения другим. Господи! Царь небесный. Во искупление чьих грехов возложил нечеловеческие страдания на эту безвинную душу? Разве сын Твой духовный больше мучился на кресте?

Я понимал, что ничем не могу ей помочь, но желание облегчить страдания было так велико, что слова сами собой лились и лились. Я видел, что они не доходят до нее, но говорил, сам не понимая, что. Она продолжала стоять рядом. Слезы уже не катились. Видимо, и им есть предел. Морщинистыми руками, никогда не знавшими покоя, машинально перекладывала из одной руки в другую поднятый с земли небольшой узелок с деревенскими пожитками. Мне казалось, что еще миг — и сердце у меня разорвется от боли и жалости, но в это время стоящая рядом женщина дернула ее за рукав:

— Иди, твою фамилию кличут.

Баба Таша встрепенулась, засуетилась и, повернувшись, засеменила на проходную вахту. Бездумно пошел за ней, опустив голову, ничего не замечая, подошел к выходу, как вдруг совсем рядом над головой остановил меня хриплый, грубый голос:

— Пошто прешь! Повергай назад!

Я опомнился, поднял голову, глянул. Баба Таша (Таисья Спиридоновна) переступила порог и, не оглянувшись, скрылась за дверями. Все.

Я вышел. Сквозь сплошной высокий забор ничего не видно. Постоял немного. Начальник УРЧ продолжал вызывать поочередно освобождающихся. Их оставалось совсем мало, и, когда последний зашел на вахту, я повернулся и побрел в барак. На душе было пусто и безнадежно, как будто на свете уже никого не осталось. Закончился еще один день. А впереди таких дней была целая вечность.

Я лежал на нарах и ни о чем не думал. Только в глазах неотступно стояла фигура бабы Таши, сжавшаяся от непомерных душевных терзаний, в стареньком заношенном пальтишке.

Господь наш всемилостивый! Ты сотворил человека — великое нерукотворное совершенство. Зачем же допустил возможность изуродовать его внутреннее духовное содержание? Ничто не проходит мимо Твоего взора, и без воли Твоей ничего не совершается. Ведь видел Ты со своего алтаря небесного, как растекалась паства к разным берегам. Людям с сатанинской жестокостью достались все блага земные и власть безграничная, остальным — доброта беззащитная и безбрежное море страданий. Почему Твоя божественная длань не остановила это безумство? Разве это справедливо? И как можно, взирая на дела дьявольские, неправедность безмерную, уверовать в Тебя? Как быть простолюдину? Заказано мне: на Творца не ропщут, у Него просят, Его восхваляют. Он всегда прав, Он всеблагий и каждому одинаково хочет добра. Но как разуметь, что с первого дня сотворения мира повсюду на земле — «глад, мор, содом и гоморра».

Так ли будет и дальше, Господи, или когда-то придет исцеление от «вселенского недуга»? Вознесенные вверх на земле не приемлют обиженных, обездоленных, сирот. Нет меры их корысти и властолюбию, не страшатся Суда Твоего Праведного. Да и есть ли он? Как обретут утешение страждущие, если не осталось у них веры и надежды в «царствие небесное и светлое будущее»? Впереди никакого просвета не видно. Осталось только упование, да самообман, да горькое забвение:

Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет -
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой. (Беранже)

Больше полувека минуло с той поры. Многое изменилось за эти годы, в преобладающем большинстве отнюдь не в лучшую сторону. Изменилась и моя жизнь. Исколесив полстраны в этапных вагонах, обосновался в далеком краю — «краю непуганых птиц и зверей». Волею судеб прирос к этой вечномерзлой земле на суровом берегу могучего Енисея. А что удивительного? Живут люди и здесь, обретают счастье и покой. Не кляну и не жалуюсь на свою судьбу и я.

Случается, что бываю на «большой земле», иногда в столице. И тогда доводится колесить по краям подмосковным. Летит электричка по ленинградской дороге в город славы, где доживают с блокадных дней оставшиеся

родственники, или на Калугу — к месту моего постоянного жительства, что избрал на старость.

Проносится поезд по бранным полям великих сражений, огненных боев. Сейчас здесь тихо, только легкий ветерок колышет листву деревьев. Стоят по обеим сторонам железной дороги застывшие в скорбном молчании памятники, монументы, обелиски, воздвигнутые в первые послевоенные годы советской властью, как память о священной войне, отгремевших здесь жесточайших баталиях, погибших воинах и захороненных в братских могилах.

Я смотрю на каменное изваяние солдатской матери, печально склонившей голову над сыновней могилой. И озаряет, как молния: да это же баба Таша в неутешном горе застыла здесь с того далекого дня, что принес ей скорбную весть.

И вспоминается ее Иван. Ванюшка, так ласково называла она своего сына. Его кулек с гостинцами, привезенный ей в лагерь. И пряник, что дала она мне. К горлу подкатывает комок, хочется крикнуть, но кругом безмятежно беседуют люди о своих житейских делах, и нет им никакого дела до тех далеких пожарищ, в которых горела эта земля.

А там, на изрытом окопами, теперь уже заросшем травой и кустарником пригорке, где возвышается обелиск с именами павших бойцов, сквозь туманную дымку памяти поднимается во весь исполинский рост благородный образ бесстрашного майора Грекова. И представляю, как, израненный, истекая кровью, с оставшейся от батальона горсткой солдат, не уходил он с огненного рубежа, пока не была отбита последняя яростная атака фашистских танков. Вспоминаю «бур», где офицер жестко, но умело приводил меня в чувство. Его простой, как бы между прочим, рассказ молодой врачихе о ночных вылазках с политруком в жесточайшие морозы на передовую линию фронта, к замерзающим солдатам. И становится простым и ясным, почему эти безусые еще вчерашние школьники шли за такими командирами в смертельные схватки, может быть, решающие бои за столицу, на фашистских захватчиков без страха и сомнения. Вот почему победила наша страна, а не гитлеровская Германия.

А доля империалистических государств, особенно Америки, в этой победе по сравнению с вкладом россиян мизерная. Наш народ и без них бы управился. У американского империализма была тогда одна цель: уничтожить фашизм нашими руками, а потом нас же превратить в колонию, что и делается сейчас с классической изощренностью всеми службами империалистических акул. И свербящая дума гложет душу: неужели они погибли напрасно?

А электричка катит и катит все дальше от Москвы. Все больше памятников и братских могил. Спят вечным сном советские солдаты, честно исполнившие свой священный долг перед Родиной, перед народом.

Пройдут века, все позарастет травой забвения, многое исчезнет и забудется, но память народная сохранит имена ваши и подвиги, доблестные в чистоте и святости.

Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные,

Вечную память поет вам народ,
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет. (Автор неизвестен)

На перепутьях тернистых дорог

Отгремели победные салюты в городах-героях Советского Союза. После долгого военного лихолетья жизнь начала входить в мирные берега, оживленнее и веселее становилось на городских площадях, улицах, в деревенских домах чаще стали раздаваться звуки гармони и задушевные, порой залихватские песни неслись далеко за околицу.

Светлее становились улыбки на лицах людей. Наконец-то свершилось, снова настал мир на земле. Ох! С каким нетерпением ожидали окончания войны заключенные. Каких только надежд не рождалось у них! Иногда мне доводилось читать, да и по радио слышать, особенно в годы реформ, что многие, не только заключенные, но и свободные граждане ждали и желали, чтобы нас победили немцы. Вранье это. Если и попадались такие, то их было немного. Было бы много, не было бы нашей Победы.

Сразу после победного дня режим в омских лагерях начал меняться в лучшую сторону. Особенно это было заметно с наступлением зимы 1946 года. К этому времени строительство стратегически важных объектов, начатое в первые военные годы, шло к завершению. Работы свертывались. Мы знали, что из соседних лагерей сначала понемногу, потом все больше и больше увозили заключенных в другие регионы: восстанавливать разрушенные города и возводить новые стройки. Требовалось очень много рабочих рук.

В самом большом омском лагере, где я отбывал срок наказания, с началом весны поползли упорные слухи о его расформировании. Когда начнут отправлять, в какие края, какие лагеря? Никто толком не знал, говорили по-разному. Одни уверяли, что всех отправят на Колыму, другие утверждали, что на Украину — там больше разрушено сел и городов (причем слышал это из достоверных источников), третьи — на лесоповал, четвертые... Домыслов и предположений было много. Наша бригада ходила на уборку территорий строящихся или уже построенных объектов. Работа была нетяжелая, ходи да подбирай мусор, да и то работали спустя рукава. Больше сидели. Никто почему-то нас не подгонял. Мы хорошо понимали, что так долго продолжаться не может, чувствовали приближение перемен. Оттого у каждого была в душе томительная тревога: уезжать неведомо куда никому не хотелось, привыкли друг к другу, да и условия стали много лучше, чем в прошлые годы.

Время шло, а с ним и срок. Правда, часто перегоняли с одного объекта на другой. Только немного на одном обвыкнешь, как завтра уже ведут на другой. А было и так. Приведут бригаду, только разойдемся да рассядемся перекурить, бежит какой-нибудь рассыльный, ткнет начальнику конвоя предписание, и кричит уже тот с неохотой и недовольством (тоже не было

желания «шастать» в полном обмундировании по нескольку километров): «Собирайтесь в строй! Подходи! Разберись пятерками». И вот идем снова не спеша. А когда придем, то оказывается, что и там работы нет никакой.

Однажды теплым мартовским днем во время перехода нашей бригады с одной стройки на другую конвоир застрелил выскочившего из строя совсем молодого парня. Никто потом так и не узнал, зачем ему понадобилось выбегать. Этого парня совсем недавно привезли из какой-то деревушки, осудили, и к порядкам лагерного режима он еще не привык. Падая, он успел обернуться, на лице были растерянность и недоумение. Случай сам по себе обыкновенный. Не один заключенный был убит во время побега или просто при малейших попытках к бегству. Оформляли просто: убит при попытке к бегству. Но в этот раз все выглядело по-иному. Конвоир стрелял без предупреждения. Обычно перед выходом начальник конвоя, как отче наш, выговаривал заключенным: «Шаг вправо, шаг влево считается побег. Стреляем без предупреждения».

А тут, как на грех, даже и этого не было сказано никем из конвоя. Вообще большинство конвоиров в таких случаях поступали просто: сначала убьют, а потом палят вверх, попрубуй докажи, да и кто будет докапываться. Наш конвоир, что застрелил, был совсем еще молокосос, от растерянности при виде содеянного бросил винтовку и бросился от страха бежать, куда уж там заметать следы, хорошо, успел старший конвоя схватить убившего за руку, а то бы скрылся.

Заключенные зароптали. Бригаду возвратили в лагерь. Убитого принесли. Конвоира посадили на гауптвахту. В чем была его вина? То ли что винтовку бросил от испуга и стал убегать, то ли что застрелил не по правилам? Откуда нам знать? И все же... В последнее время отношение к таким фактам и им подобным со стороны высших властей во многом изменилось. Теперь уже не сходило с рук «за здорово живешь».

Началось расследование. Всех по одному расспрашивал оперуполномоченный. Чем кончилось это дело, мы так и не узнали. Бригаду на работу долгое время не выводили, потом стали заставлять выполнять кое-что в лагере. А слухи об этапах разрастались все сильнее и сильнее. Да и трагический случай с парнишкой, видимо, подтолкнул вышестоящее лагерное начальство к быстрейшему расформированию этого лагеря. Как-никак, а кому нравится, когда заключенные в зоне бузят? Ожидать пришлось недолго. Наступил и наш черед.

Через несколько дней после майских праздников (в том году впервые в лагере 1 и 2 Мая не работали), вечером, в наш барак зашли двое нарядчиков. По списку зачитали фамилии. В нем был и я. Велели собрать вещи и не расходиться. Предупредили: через час они возвратятся, и тогда мы с ними пойдем в отдельные бараки для оформления на этап. Пригорюнился я. Но что делать? Одно утешение: наших бригадников было в списках больше десяти человек. Не пропаду. Не в первый раз такое. Аккуратно собрал вещички, покрепче завязал котомку и стал ожидать. Чего ждал? Ничего. Совсем стемнело, когда отобранных заключенных повели на формировочный пункт. В тех бараках было свободно. Людей совсем немного. Быстро облю-

бовали места для ночлега. Каждый разместился где хотел. Взгромоздился и я на самый верх. Не раздеваясь, тут же уснул. Не слышал, как приводили все новые и новые партии заключенных, не слышал шараханья, споров, матерщины. В первую ночь на новом месте, несмотря на тревожные ожидания, спал безмятежно. Когда утром проснулся и огляделся, то увидел, что все полати нар заняты, а рядом со мной расположился пожилой мужик. Когда я открыл глаза, он сказал:

— Ну спишь ты крепко. Даже ни разу не повернулся. А я вот всю ночь проворочался и только под утро немного забылся.

— Хорошего в этом мало, — ответил я, — ворье только и ждет, когда крепко уснешь. Сразу упрут последнюю одежонку и не услышишь как.

Я говорил, подозрительно глядя на него, а сам в это время прощупал под головой котомку — цела ли?

— Это ты прав, ухо надо держать востро, — так же спокойно поддержал меня сосед. — Ну ладно! Давай познакомимся. Может, еще долго придется вместе время коротать. Как зовут-то тебя? — спросил он.

Мне не очень нравилось так, с ходу, знакомиться с первым встречным. Но, немного подумав, назвал себя.

— Ну вот! Хорошо. Не за горами и Никола, — сказал он.

— Мой Никола — зимний, в лютые морозы, оттого и не везет, — ответил ему тут же я и подумал: «Может, отвяжется?».

Он, чуть усмехнувшись, проговорил:

— А я Петр Фомич! Стукнуло за пятьдесят. Второй срок коротаю, правда, с перерывом.

«Пружина моей предосторожности» чуть дрогнула, немного отпустила, но тут же снова сжалась: я в такие разговоры с незнакомыми не вступал. И чтобы как-то избавиться от него, стал копаться в котомке. Достал завернутый в кисетик табачок и стал крутить цигарку. Он поглядел на меня и застенчиво попросил:

— А меня не угостишь?

«Вот черт! — подумал я. — Как же не сообразил, что и он может быть курящим». Делать нечего. Отсыпал на закрутку, дал клочок бумаги. Подумал: «Очень навязчив. Не к добру это!». Пока он приготовлял закрутку, я лихорадочно думал, как же избавиться от него. Сразу надо было уйти... А куда теперь? Может, и места все заняты. А уйдешь отсюда и это потеряешь. Затянувшись, Петр Фомич сказал:

— Ах, хорош табачок, пахучий. Душу так и обволакивает.

Я же тоскливо подумал: «За этот табачок я штаны променял, что в посылке прислали». Ему же ответил:

— Да уж кончается. (Это чтоб впредь знал, что выпрашивать у меня больше нечего.)

— Ну, ничего, — так же миролюбиво ответил он. — Курение — это ведь большой вред. Меньше покуришь — здоровее будешь.

«Ишь ты, успокоил, — подумалось. — Взял бы да и бросил, — рассуждал про себя я. А сам горевал: — Сколько раз пытался отвязаться от этой противной привычки и никак не мог одолеть этого пристрастия». И, как

бы утешая себя, решил: вот выкурю весь, тогда и брошу. На душе от таких мыслей стало спокойнее.

А Петр Фомич не унимался. Спросит то про одно, про другое. Когда же спросил у меня, за что посадили, ответил, что не люблю про это рассказывать. «Кому же приятно о таком говорить», — сказал он и замолчал. После моего не совсем приятного ответа он затеял разговор с пожилым и мрачным мужиком, что был от него на противоположной стороне нар. Но тот, недолго утруждая себя его пространными рассуждениями, попросил «отвязаться своими байками».

Петр Фомич был очень любезный и общительный человек. Он с каждым легко и просто вступал в разговоры, но, будучи чересчур велеречивым, быстро надоедал. Немного помолчав, он снова заговорил со мной. Своими изысканно-вежливыми обращениями вызвал у меня озлобление. Я не утерпел:

— Ты говори со мной проще, у меня уши привыкли к грубым словам.

Тем не менее он не вызывал впечатления «ушибленного пыльным мешком», хотя в его рассуждениях не всегда можно было разобраться. Порой, видя, что его никто не слушает, особенно перед сном, начинал рассуждать сам с собой. День прошел в постоянных хлопотах. То сначала начали собирать всех, чтобы увести в другой барак и там накормить, затем разбили на группы и из каждой отобрали людей, которых отправили за хлебом и баландой. Никак не могли сорганизоваться и потому только к вечеру закончили раздачу уже остывших щей с пайками хлеба.

В этой кутерьме многим ничего не досталось, и оттого в бараке стоял гвалт невыносимый. Я, как помоложе и проворнее, быстро притащил себе и хлеб, и обед, потом сбегал и для Петра Фомича (пусть сидит, за котомкой смотрит). Вечером, когда стемнело, Петр Фомич, немного посопев носом (видимо, и его сморило, прошлую ночь совсем не спал), заворочался и спросил:

— Отбой-то был уже?

— Отбоя еще не было, — ответил я. — Слышишь, в том углу еще дерутся из-за портянки два ученых...

Петр Фомич после некоторого молчания, как бы для себя, начал рассуждать:

— Говоришь, ученые из-за портянок разодрались? Ничего не поделаешь, тоже люди. Не тот пошел брат заключенный. Какие-то все плюгавенькие. Статьи у многих страшные. Одни за террор сидят, других за диверсию посадили, третьих — за измену. А на деле многие курицам головы боялись отвернуть, а уж людям никому никакого вреда не принесли. В первый срок со мной более солидные сидели. Уважение к ним было иное и от простых смертных, да и крупные «блатари» относились почтительно. А настоящих революционеров видеть довелось еще до революции в Вологде. Оттуда я сам. Много тогда их было в наших краях.

Петр Фомич глубоко вздохнул, поворочался немного, засопел носом. Я отвернулся и тоже заснул. Утром, как только раскрыл глаза, Петр Фомич уже с вопросом:

— Отдохнул немножко или еще продолжишь?

Я чувствовал, что он подсмеивается надо мной (спал я часов десять, не меньше), и потому отвечал ему:

— Дрыхнуть без конца плохо, навидишься всяких снов и мучайся потом в раздумьях: а вдруг такое случится наяву?

— А ты вроде бы суеверный? — снова мучает вопросом Петр Фомич.

— Суеверный не суеверный, а когда видишь плохие сны, то на душе всегда муторно, — отпарировал я.

Мне он очень надоел (я больше люблю тишину и покой), но от него не так просто было отвязаться. И я стал приспосабливаться. Как только у него появляется небольшой перерыв в разглагольствованиях, я тут же закрывал глаза и начинал притворно сопеть носом: пусть думает, что уснул. Он замолкал. Но стоило чуть приоткрыть глаза, он тут как тут с каким-нибудь вопросом. И так длилось постоянно изо дня в день. Особенно активен и многословен Петр Фомич становился перед сном. Его очень часто донимала бессонница.

Опасная философия

Оставаться с назойливыми мыслями одному не хотелось. Однажды, видя, что я еще не заснул, Фомич, как бы между прочим, скорее сам для себя, начал ворошить дела, давно прошедшие. Рассуждал о меньшевиках с Плехановым, об эсерах с Савенковым, затронул Ленина. Из его разговоров я понял, что знал он много. Много наслышан я был о них за долгие годы и от других политзаключенных. Говорили развязно, по-разному, и оттого непонятно было, кто врет, а кто говорит правду. Чего было бояться? Никого из них уже не было в живых, судачили и о других. Никто никогда не упоминал в своих разговорах только Сталина. При упоминании его имени в душу каждого непроизвольно вползал леденящий страх. И в такие разговоры, а тем более споры с Петром Фомичом, да еще в присутствии других заключенных, не вступал, лишь иногда, как бы сомневаясь в чем-то, покачивал головой. В душе-то мне хотелось быть с ним пооткровеннее, даже поспорить. Его смелые речи вызывали у многих симпатию, но где-то в глубине «чуткий червячок» как бы предостерегал меня: не лезь со своими мнениями да суждениями. Напоролся уже один раз. Мало ли таких «доброхотов»! Начни им поддакивать да разглагольствовать, а потом вызовет «опер» и тихонечко спросит: «Опять недоволен советской властью?» Были такие случаи с некоторыми людьми, слышал я про это. Правда, сроков не добавляли. Но ведь как знать? На кого нарвешься.

Наговорившись вдоволь и убедившись, что из меня собеседник в политике неважный, Петр Фомич умолкал. Я из любопытства спросил у него однажды:

— А ты кого-нибудь из этих революционеров видел? Ленина, Плеханова, Савенкова?

Он ответил коротко:

— Нет, не видел. А вот в обеих партиях — и у меньшевиков, и у эсеров — состоял. За то и расплачиваюсь перед советской властью.

Я заметил:

— Некоторых эсеров и меньшевиков советская власть вообще не преследовала. (Слышал еще на Лубянке. Сидели там ему подобные.)

— Ну, у меня особая «заслуга», я участвовал в Ярославском восстании, — сказал Петр Фомич.

Настороженность к нему стала таять. Спросил:

— В Вологде-то ты долго прожил? Я слышал, что царское правительство ссылало в те края Савенкова?

— До двадцати лет прожил там, правда, выезжал часто, но ненадолго. А перед самой революцией переехал в Петроград совсем. Жаль, конечно, что не довелось встретиться с Борисом Викторовичем. Незаурядный был человек — как мне показалось, — с тихой грустью сказал Петр Фомич.

Мне захотелось его немного подбодрить:

— Ну, не тужи, а то бы больше дали.

— Да уж и так под самую завязку влепили, — сказал он и умолк.

Мне от этого сразу стало не по себе. Я же знал, что Петру Фомичу во второй раз присудили 15 лет. После некоторого молчания Петр Фомич спросил:

— Что-то ты уж больно молчалив, ни слова о себе, ни вздоха о политике. Или ты ничего не смыслишь (что не очень похоже), или все вылетело у тебя из головы?

Я коротко рассказал о своем и добавил:

— Вот потому и молчу, что уж больно крепко засело в голове, за что посадили и срок дали.

Немного посмеявшись, он больше к разговорам на политические темы не возвращался. Время шло. Дни мелькали один за другим. Люди успокоились и совсем мало стали судачить о предстоящем этапе. Некоторые начали выдавать свои сокровенные чаяния:

— А может, никуда и не повезут? Возьмут да и возвратят на прежние места.

— Ну куда там, — говорили другие. — Так вам и будет, как хочется. НКВД пустяками не занимается. Раз собрали такую громаду людей, значит, ждут где-то нас «большие дела».

Как-то раз, когда уж и говорить-то было не о чем, после обеда, развалившись на нарах, я сказал Петру Фомичу:

— Ну чем не жизнь? Спим и едим. Хоть неважнецки, но с голоду не умираем. И главное, на работу не тревожат, который день бездельничаем. Так можно и до конца срока сидеть.

Петр Фомич долго молчал. Я уж подумал: «Не заснул ли?» Как вдруг он, не поворачиваясь, сказал:

— А вот такие мысли у людей — самое страшное зло. Труд — это величайшее благо, которое дано человеку Всевышним Провидением. Без этого не нужна жизнь.

С этим я никак не мог согласиться и запальчиво сказал:

— Я чуть копыта не отбросил и в ящик не сыграл от такого блага че-

тыре года назад на стройке аэродрома. По 12 часов, полураздетый, возил в конце октября тачку с раствором бетона, глаза на лоб вылезали, а в ногах сплошной огонь, а ты мне благо, да еще величайшее! Нет уж, не принимаю твои философские разглагольствования.

Петру Фомичу, видимо, понравилась моя запальчивость. Нисколько не рассердившись, ровным голосом продолжал свои размышления:

— Так ведь это подневольная, каторжная, непосильная работа. Оттого она, кроме отвращения и страха, ничего не дает. Вот ты сейчас съел пайку хлеба и ничего. А если заставить тебя сейчас съесть три каравая? Ведь не сможешь. А если через силу затолкаешь, то как себя почувствуешь?

— Съем, — сказал я, — и сразу же спать завалюсь.

Засмеялся он и опять наступает на меня:

— А пять? Во всем должна быть мера, и только тогда человек обретает удовольствие физическое и удовлетворение моральное. Жизнь для нормального человека немыслима без труда, даже самое короткое время.

Я не был с ним тогда согласен, может, уже из упрямства, но спорить не стал: пусть будет по его. Зачем попусту тратить силы и нервы, впереди всех нас ждет много трудностей.

Путь на Красноярск

В конце мая, в самый разгар весны, тихим теплым вечером собрали колонну заключенных около 1000 человек. С ними попали и мы с Петром Фомичом. Вывели за город, на пустырь, где на отдельном железнодорожном пути стоял состав товарных вагонов. Надо отдать должное: порядок, согласованность и дисциплина в таких операциях у конвойной службы были отработаны отменно.

Как только подвели нас близко к составу, трое конвоиров подошли к головной части, отсчитали несколько пятерок и тут же повели эту группу к первому вагону. Еще не дошла она к месту посадки, сразу отсчитали такое же количество людей и повели (уже другая тройка конвоиров) вслед за ней к другому вагону. Вся колонна была разделена очень быстро.

Немного застопорилась посадка в вагоны: некоторым заключенным было трудно подниматься по приставным лестницам, да еще с вещами. Но и это ненадолго сбило темп операции: забравшиеся в вагон помогали залезавшим. Я заскочил почти первым и сразу же занял два места на нижних нарах. Для себя и Петра Фомича. На верхний ряд я не полез. Эти места по неписаным законам предназначались для «привилегированной» блатной элиты. Займешь, а потом появятся эти ухари и сгонят на пол к «параше». На самом же полу, под нарами или посередине вагона, места доставались наиболее тихим, слабым и последним. Впрочем, многие из них были довольны этим: не надо тратить силы для вскарабкивания на нары, да и к «параше» поближе.

Вскоре забрался в вагон Петр Фомич, и мы стали укладываться. С другой стороны от меня, у самой стенки вагона, угнездился молодой парень.

По обличию уроженец Средней Азии. Но какой нации, так у него мы и не узнали. То ли казах, то ли калмык, он и сам-то не знал. Назвался Кирсаном. Пока шла посадка, он у каждого залезавшего выспрашивал, не видал ли тот Абдулу. Одни отмахивались: до него ли теперь, другие посылали к хорошо всем знакомым «предметам постоянного пользования». Когда закрылись за последним заключенным двери, Кирсан растянулся на своем месте и тут же захрапел, прямо мне в лицо. Я-то уж разлегся раньше, чем он. Тут же, не раздумывая, разбудил его и предупредил, что если он будет фырчать мне в ухо, то я ему ноздри заткну. Он не обиделся, только проговорил:

— Что же, в ширинка хырчать, что ли?

Отвернулся к стенке вагона и тут же заснул снова. Гомон понемногу утих, остальные тоже разлеглись. Кто подложил под голову мешок, котомку. Другие — верхнюю одежду. Я разлегся на телогрейке. Котомку положил под голову. Бояться, что украдут, не надо было, в вагоне не сбудешь.

Наступила тишина. Только кое-где снаружи вагонов перекликались конвойные, да иногда слышались короткие разговоры. Но вот далеко впереди состава протяжно прозвучал паровозный гудок, натянулись сцепки, громыхнули буфера. Поезд тронулся. Мерно застучали колеса на стыках рельсов. Вагон начал вздрагивать и покачиваться.

Поехали. Поезд шел все больше набирая скорость. Ночь. Темнота. Хоть глаз коли. Тишина. Одни спят, другие перебирают в мыслях то, что давно уже прожито, и думают о том, что будет дальше.

Проснулся от звяканья мисок, поварешек и громкого разговора. Поезд стоял. Двери вагона были раскрыты, возле них толпились заключенные. Снаружи слышались окрики:

— Что застрял, как привязанный, а ты, дохляк, отваливай быстрее. Вам только жрать да дрыхнуть, а нам вон какую ораву накормить надо, пока весь состав пройдем. Давай живее, погань несчастная.

Весь разговор пересыпался такой заковыристой матерщиной, что захочешь повторить, а выговорить не сумеешь. Это «бытовички» с малыми сроками разносили по вагонам обед (завтрак выдали еще вчера сухим пайком в лагере перед отправкой).

Рядом со мной никого не было. Я встрепенулся: черт побери, чуть не проспал. И Петр Фомич что-то не разбудил. Схватил котелок и тут же пристроился позади сгрудившейся толпы.

После обеда снова решили поспать, но сон уже не шел. Петр Фомич спросил:

— Что-то и тебе не спится? Ну, это не беда. Еще хватит нам для этого времени. На восток едем, путь предстоит неближний. Долго будем ползти в нашу тмутаракань.

— Куда? — спросил я.

— А кто знает? — ответил он.

Иногда поезд останавливался не только для кормления. Его загоняли, как правило, ранним утром, на какие-то отдельные тупики. В таких случаях нас выводили поочередно из вагонов, чтобы проветрить их. Ненадолго, минут на 15. Один раз в неделю люди в белых халатах забирались внутрь и

делали дезинфекцию. Посыпали в углы и вдоль стен какой-то порошок, отчего потом все долго чихали.

В самом конце состава в двух вагонах везли женщин. Их выводили чаще и всегда дольше держали на улице, чем нас. Мы отваживались спрашивать у конвоиров, куда же нас везут. Те отвечали однозначно: не велено разговаривать. Может, они и сами толком не знали. Такое однообразие начинало надоедать, исчезли всякие интересы.

Петр Фомич на второй день заметно сник. Да и говорить-то уже было не о чем. Как-то раз, ближе к вечеру, когда дневное томление отступило, а для сна еще время не подошло, Петр Фомич спросил у меня:

— А ты в Бога веришь?

Я даже поперхнулся:

— Ты что? Сейчас старуха и то не каждая крестится, — ответил ему, а сам подумал: «С чего это ему взбрело? Уж лучше про политику затеял бы снова».

Он, видимо, уловил мое смущение, миролюбиво, чтобы успокоить меня, сказал:

— Не бойся! Тебя, как я понимаю, из комсомола выперли сразу же, как НКВД взяло под свою «опеку». Так что критиковать за молитвы и богоугодные разговоры тебя сейчас некому. А энкавэдэшникам нет заботы: веришь ты в Господа или нет. Им до этого все равно. Так что на эту тему можешь беседовать со мной побойчее (видимо, он догадывался, что я его, а скорее всего подобных суждений, остерегаюсь).

Мне же вдруг показалось, что он меня за труса принимает (хотя так и было на самом деле, душа-то тряслась, давно уже шла вторая половина срока). Тогда, чтобы не уронить себя окончательно в его глазах, я решил вступить с ним в полемику и с пристрастием спросил:

— А откуда ты знаешь, что Бог есть? Чем докажешь?

До этого я сам никогда не задумывался, говорят, нет Бога, значит, так и надо. Петру Фомичу нравилось спорить, и, не дав выговорить ни слова, он снова заговорил:

— Так что, по-твоему, все на земле и на небесах крутится и вертится само по себе? Утром всходит солнце, вечером заходит. По ночам появляется луна, загораются звезды. Да разве все перечислишь?

Это было не для моего разума (на какой черт буду ломать себе голову, я и в школе с уроков естествознания и астрономии убегал при первой возможности). Но тем не менее, чтобы не показаться ему совсем неучем, ответил:

— Природа все и творит.

— А в природе, — снова спросил он, — тоже все без осмысления свершается?

Я явно не мог ему противостоять. Не зная, как вывернуться, огрызнулся:

— А сам-то ты в Бога веришь?

Чуть помолчав, видимо, не хотел совсем загонять меня в тупик, ответил:

— Конечно нет, не верю я в Бога.

Я облегченно вздохнул:

— Что же ты мне голову-то морочишь? Тут и без этих головоломок все мысли в сплошной суматохе, а ты пустяковые вопросы задаешь?

Он усмехнулся. Мне его усмешка показалась обидной: что он меня совсем за несмышленыша принимает? Слава Богу, тоже шестой год по лагерям мотаюсь. Повидал умных людей. Кое с чем научился разбираться, хотелось сказать что-нибудь поострее. Но он опередил меня:

— Нет, дорогой! Это и есть самый серьезный вопрос, из-за чего все беды людские на земле. Ты прав! Такого Бога, что рисуют на иконах, не существует. Это придумали люди от своего бессилия и безысходности. Но то, что в необъятных космических пространствах, бесконечном звездном мире действует и все определяет неведомый для нас вселенский разум, — этого нельзя отрицать, так же как и нельзя утверждать (ибо не дано нам постичь помыслы его), узнать, в каких он является формах, где витает и какими мерилами управляет.

На такие темы я никогда ни с кем не беседовал, подобных измышлений ни от кого не слышал. Меня это заинтересовало. Видя, что я умолк и прислушался, Петр Фомич продолжал:

— Ему подвластны все земные и небесные законы. Он их определяет, устанавливает, совершенствует и изменяет по своему усмотрению (хотению). Сила этого разума беспредельна, и мыслит Он совсем другими категориями, чем мы. Для Него нет ни времени, ни пространства. У Него не было ни начала и не будет и конца. Он вечен и вездесущ. В мудрости Его творений наши познания настолько ничтожны, что нельзя их сравнивать даже с бесконечно малыми величинами. Тайны самых близких явлений нам так же недоступны, как тайны самых далеких миров, и никогда не разгадаем мудрость, для чего появились мы на этой земле, для чего живем, зачем живем. Над этим таинством самые умные люди многие века ломают головы, но ничего не разгадали. Сотворив людей, Он наделил их разумом, но ограничил круг познаний. И сколько бы люди ни стремились разорвать этот круг, за грани дозволенного им никогда не переступить. Прав был Сократ, сказав: «Я знаю, что ничего не знаю».

Вероятно, Петр Фомич говорил это не столько мне, сколько рассуждал сам с собой. Я, выбравшись из тенет его суждений, с сомнением спросил:

— По-твоему, выходит, что если Ему (тому разуму) вздумается нас прихлопнуть, то для Него это сделать легче, чем мне придавить комара?

— Не знаю. Но думаю, что да, — ответил он на мое замечание. — Но ты над этим не ломай голову и не тревожься зря. Пока мы (люди) нужны Ему в Его неразрывных цепях мирозданья, будем жить. И может, еще много тысяч лет, — закончил он и замолчал.

Я тоже замолчал, а сам опять подумал: «Лучше бы говорил о чем-нибудь житейском. А то в голове один сумбур от его философий».

Пастыри и бараны

Кирсан у стенки заворочался. Оказалось, он тоже прислушивался к высказываниям Петра Фомича. И хотя толком ничего, видимо, не понял, так же как и я, захотелось ему вступить в беседу. Не поворачивая головы, глядя вверх, заговорил: «Наш святой молла Абдулы едит этапу вместе с нами, только другая вагону. Со мной одна камеру Казан турма сидела. Каждая утро и перед ночи голым коленка ставал. Головой полу молил, молил, тихатиха шаптала, все просила, просила. Абдулы никого ничего не вуровал! Со равно полный катушек получал. Мой ночам совхозный баран таскал, мясу кушил, шкуры прятал, никому не молил, никому не просил, только три года давали. Нету облакам святой алах, есть по всему земли только Нукавиды». Петр Фомич рассмеялся и похвалил:

— Молодец, Кирсан, хорошо сказал, аксакалом будешь.

Кирсан удовлетворенно осклабился. Я разозлился. Этот Кирсан нажрался впрок совхозной баранины, оттого до сих пор дрыхнет по ночам, как зарезанный. Позавчера так надоел своим храпом, что какой-то урка с другой стороны вагона с верхних нар запустил ботинком. Метил в него, а попал мне в плечо. Хорошо, что вскользь угодил, а если бы напрямую по башке? Я спросонья вскочил, да еще затылком о верхние нары стукнулся, да так, что доски зашевелились. Наверху надо мной жулик дремавший промычал:

— Что ты все ворочаешь, спущусь, сусалы поправлю.

А я и сказать-то не могу ни слова. От удара головой о доски круги пошли в глазах. А Кирсану хоть бы хны. Знай, храпит. Одни неприятности от этого «аксакала». Петр Фомич рассмеялся еще больше, а Кирсан, довольный, улыбается во весь рот. Сказал только:

— Твоя тоже крепкий спит.

В таких разговорах проходило время. Ничто так не сближает людей, как длительная поездка в поезде, да еще когда у всех одинаковые горести и заботы. А поезд уходил все дальше на восток, увозя в вагонах многие сотни людей. Мелькали полустанки, станции, вокзалы, а между ними деревушки, поселки, поля, леса, перелески. Все оставалось позади.

К этому времени я с Петром Фомичом разговаривал уже довольно дружелюбно и доверчиво. Покуривали вместе — табачок у меня еще был. В тот-то раз я слукавил, сказав, что заканчивается. Теперь же делились по-дружески. Как бы между прочим давали друг другу советы, обещания. Советовал больше он, как более опытный. Договорились, что в новом лагере надо держаться ближе друг к другу. Так спокойнее. Мало ли какой люд впереди встретится. Приглашали в нашу компанию и Кирсана. Тот отказался: «Абдул буду находить».

Через несколько дней остановились в Красноярске. Состав загнали куда-то в отдельный тупик. Высадили всех и прямо оттуда увезли в злобинский пересыльный пункт. Женщин запустили в зону первыми. За ними начали пропускать и нас.

Здоровенные мордовороты-нарядчики орудовали быстро. Ловко отде-

ляли небольшие группы, отмечали в списках и разводили по баракам (видимо, во всех лагерях одни повадки). С одной из таких групп увели и Петра Фомича. Как ни старался я попасть вместе с ним, ничего не получилось. Лез нахально за ним. Ну куда там! Оттеснили с матом:

— Хватит, не лезь, по скуле захотел? Пойдешь с другими.

Упрашивал. Бесполезно. Разговаривали мало. Больше матерились. Ни на какие просьбы внимания не обращали. Уже глубокой ночью завели всех.

На следующий день я пошел разыскивать Петра Фомича по зоне. Бараки были большие, просторные. Но к нашему прибытию их почти полностью заселили заключенными из других лагерей и колоний. Долго искал. Наконец нашел. Он оказался от меня в третьем ряду бараков. Когда увидел его, очень обрадовался: хоть один знакомый среди такой массы людей. Он тоже был доволен.

Закурили. Я стал присматриваться: может, отыщется местечко. Ну где там! Все было занято. Потужили немного. Договорились, что днями я буду приходить к нему, а ночью-то все равно где спать. Так и поступили.

Режим в злобинском лагере был как и во всех. Отбой и подъем в те же часы. Завтраки, обеды, ужины в то же время. Кормили регулярно. Женщины от своего отгороженного барака ходили свободно по всей мужской зоне, пробирались к знакомым мужикам. Правда, это запрещалось, но надзор не обращал на них никакого внимания. Когда-то женские бараки были обнесены низким дощатым забором с вахтой. Но со временем забор мужики разобрали, и теперь торчали столбы с прибитыми к ним поперечинами, и то несколько изломанными. Вахту тоже общипали. Это сделали сами вахтеры, чтобы топить печку, когда дров не оказывалось. По-прежнему сидели вахтерши (из заключенных женщин). Но все это носило чисто показной вид. Так, ради заведенного ранее порядка. Выходить и входить можно было в любое время, так что в мужской зоне было полно женщин, а в женской половине — мужиков.

Стычка

Одним было плохо. Ворье одолело. Неимоверно много собралось его с разных этапов. Какой только шпаны не было! Донимали простых работяг до невозможности. Не брезговали ничем, тащили все, что только можно было перепродать на волю. Если не украдут ночью, отнимут днем. У меня ничего ценного не было, кроме казенной одежды. И спал я в ней, не раздеваясь. Потому без всякой тревоги уходил со своего места: котомку через плечо и пошагал куда вздумается.

Петр Фомич тоже был «нищ и наг». Мы собирались утром и свободно разгуливали по всей лагерной зоне. А она была довольно большой. Места — незастроенного — было еще много.

Как-то раз, направляясь к выходу из барака, Петр Фомич указал на нары,

где, безмятежно раскинувшись, в расстегнутой военной гимнастерке лежал рослый, могучего сложения молодой мужчина.

— Староста наш, — ласково проговорил Петр Фомич. — Андреем зовут. Фронтовик. Молодой, а серьезный. У него много не забалуешь. Утихомирил весь барак, шпана боится его пуще огня.

Мы вышли, а мне почему-то еще долго виделся спокойно отдыхающий добрый молодец.

Как-то раз зашел к Петру Фомичу. Он что-то прихворнул, и разговор не клеился. Я собрался уходить (чтобы не докучать больному) и уже стал прощаться, как вдруг услышал на верхних нарах какую-то возню.

— Опять «шакалы» нагрянули из других бараков. Старик посылочку получил, вот и тискают его, на «шарап» берут. Шпана, настоящая шпана. Серьезные воры такими делами не занимаются, — сказал Петр Фомич и закашлялся.

Шум нарастал. «Шакалье» стало одолевать старика, и тот заорал:

— Я в ваш «котел» половину отдал, вы не по закону поступаете.

Крики растревожили Андрея. Он поднялся. Не очень громко, но так, что хорошо было слышно, приказал:

— А ну, шпана, оставьте старика в покое...

Может, лиходеи не расслышали, увлекшись грабежом, или просто не прореагировали на его слова и продолжали свое дело. Старик еще отбивался (видимо, крепкий был) и кричал все сильнее. С других нар тоже закричали:

— Сволочи пришлые, уходите в свои бараки.

Андрей не спеша подошел к сгрудившимся «чужеземцам». Схватил первого, что был поближе к нему, одной рукой за штанину, другой за шиворот и швырнул, словно куль с тряпьем, в проход к двери. За ним тут же полетел второй. Двое оставшихся, словно мыши, перепрыгивая через сидящих и лежащих заключенных, разбежались по разным сторонам. «Шарап» не удался.

Андрей отошел к своему месту, оперся спиной о полати верхних нар, голова его намного возвышалась над ними, и, обернувшись в сторону барахтающихся на полу и матерящихся грабителей, сказал:

— Еще раз приползете и станете так же хулиганить — башки поотрываю.

Я смотрел на него с уважением. Подумал: «Ну и здоров! Таков во гневе весь барак разнесет. Повышвыривает всех вместе с нарами. Настоящий «Самсон!».

Кряхтя и стоня, разбросанные «шакалы» стали подниматься. Один, более «заблатненный», выпрямившись, со злостью выговорил:

— Ну, гад власовский, привык с немцами наших душить так и здесь думаешь по-своему править! Попадешься еще нам!

Этого Андрей не стерпел. Быстро пошел в сторону говорившего. Тот решил показать характер: достал нож. Но это не остановило Андрея, и он еще решительнее стал надвигаться на «представителя семейства кошачьих». Кто-то из подельников закричал:

— Фиксатый, рви когти, пока живой!

Тот и сам уже успел сообразить, что этот богатырь не остановится перед угрозой, начал проворно пятиться, развернулся и хотел шмыгнуть за дверь, но было поздно. Андрей подскочил и с такой силой двинул Фиксатого ногой ниже спины, что тот вылетел через проем двери и растянулся на приступках. Андрей подошел, взял его за воротник, с презрением и угрозой сказал:

— Ну что? Примолк? Я не таким фашистам глотки рвал, а тебя ткну сейчас по «кумполу» и сразу с ними на небесах встретишься.

— Отпусти, — взмолился Фиксатый. — Мы больше не придем.

Как правило, подобные «шарапщики» трусливы. В одиночку не нападают. Когда же их много и перед ними слабый человек, ведут себя нагло и жестоко. Перед силой сами исчезают незамедлительно.

— Иди! В следующий раз попадешь, тресну по башке, мозги разлетятся, никакая молитва не спасет! — пригрозил Андрей.

Хромая на обе ноги, под смех и улюлюканье заключенных, посрамленный Фиксатый побрел прочь в свои «апартаменты».

Андрей поднял нож, засунул лезвие в щель между дверью и косяком. Надавил на излом. Сталь хрустнула. Поднял упавший обломок и вместе с рукояткой бросил в «парашу». Петр Фомич, наблюдая за этой сценой, сказал:

— Как все разумно предопределено в мире: умные и сильные рождены, чтобы указать путь и защитить слабых. Только плохо, немногие так поступают. Большинство избранных делают совсем наоборот!

На следующий день я не пошел к Петру Фомичу. Не хотелось тревожить больного. Пусть отлежится.

Утром следующего дня проснулся рано. На душе было как-то тревожно. Еще с вечера запало раздумье: «Надо было бы сходить, болеет ведь человек, поговорили бы хоть немного, глядишь и полегчало бы ему».

Не мешкая, сразу после завтрака отправился.

Погода выдалась на редкость приятной. Солнце ослепительно сияло, небо без единого облачка, кое-где проплывут небольшие одиночные и тут же растворятся в небесной синеве... Еле заметный ветерок чуть обдувал лицо.

Зайдя в барак, не увидел Петра Фомича на своем месте. Спросил у соседа. Тот сказал, что еще позавчера вечером увезли в больницу с большой температурой, совсем был плох. Больница была где-то за зоной, в каком-то другом лагере. Потужил, поохал. Что тут поделаешь? Покорил себя в душе и вышел на улицу.

Петля

Начала подступать хандра: длительное безделье угнетает. Немного походив по зоне, направился к главной вахте. Там в дневное время всегда собирались люди. Одни — чтобы просто полюбопытствовать, другие ожидали своих родственников или знакомых. К вахте было пристроено небольшое помещение для свиданий. Я ходил туда часто, чтобы разузнать хоть какие-то новости?

Внезапно вывернулся из-за угла барака Кирсан:

— Твой еще тута? — спросил он.

— Как видишь, здесь, — сказал я.

— А мой, наверное, никуда етапу не увезут, срок маленька, — радостно проговорил он.

Я опять подумал: «Счастливый, черт!»

— А наша святая молла, — опять затараторил он, — бабий уборна ночам вешался. Молоденький бабенок утречки раненько пошел уборна своим делам. Дверь открывал, входил, потом как скачит назад шумом. Кричал, кричал громко: вешал, вешал. Охраны скоро-скоро прибежал, смотрел, а Абдулы уже все глазы лоб катила.

Я еще вчера из разговоров слышал, что кто-то из заключенных повесился. Теперь из сумбурного и сбивчивого рассказа Кирсана понял, что это был его друг — мулла Абдула. Спросил у него:

— Что же он так?

Неунывающий Кирсан охотно рассказал:

— Как только Абдулы узнала, что его холодную сторону гонять будут, сделалась сразу очень грустна-грустна. Два дня углы в углы ходила печальна-печальна, все думала, думала. Тиха-тиха говорила сама себе, свой носу. Потом искала веревку. Крутила веревка, тихонь темноты ночи пошла уборна. Ставал ногами бабий сиденья, одна конец веревки крепил досками потолок, другой конца голову сунул...

Кирсан рассказывал так, будто сам стоял рядом с муллой.

— Потом, — вдруг стрельнул глазами по сторонам, попытался состроить страшное лицо, шумно выдохнул: — Рык! Прыгал Абдула и сразу стала готовенька. Вышла дух Абдулы, нет теперь Абдулы, улетел облакам.

Закончив, посмотрел на меня вопросительно: хорошо ли рассказал, понял ли? Я посмотрел на него, и мне показалось, что у него такое же выражение лица, словно он вспоминал про баранов, что воровал в совхозе, ни один мускул не дрогнул.

Любовь — и за «колючкой» любовь

У вахты уже стояла довольно плотная толпа заключенных. Я протиснулся сквозь нее и стал рассматривать, что на «воле, за бортом творится».

Сквозь железные решетчатые ворота все просматривалось очень хорошо. Мое внимание привлекла молодая женщина, неспешно прохаживающаяся по противоположной стороне дороги, что проходила рядом с вахтой и тянулась вдоль всего забора. Сделав немного шагов в одну сторону, она поворачивалась и шла обратно. При каждом повороте задерживалась на какое-то мгновение и всматривалась через головы заключенных, стоящих возле вахты, вглубь лагеря. Ровная походка, плавность движений, невозмутимое спокойствие к окружающей ее обстановке как бы подчеркивали в ней твердую уверенность и независимость.

Своим поведением и манерами она значительно отличалась от сидящих

на обочине дороги других женщин, ожидавших свидания со своими родными или близкими. Некоторых из них я уже приметил. Они приходили и раньше, а я каждый день торчал у вахты из-за простого любопытства. Ждать мне было некого. Эти женщины, вероятно, жили в самом Красноярске или где-то поблизости. Оттого и наведывались почаще. Эту же я видел впервые.

На ней были простое платье, легкий летний пиджачок, ноги плотно обтягивали мягкие сапоги. После войны так одевались многие женщины. Видно было, что незнакомка очень недурна собой. Густые, каштанового цвета волосы тяжелыми волнами ниспадали на спину и плечи. Она была выше среднего роста, стройная, с грациозной осанкой и фигурой под стать балерине. Римский профиль как бы подчеркивал ее строгую недоступность.

Мне показалось, что она из какого-то не нашего, неведомого мне мира. Словно чужестранка. «Наверное, ожидает кого-то из лагерного начальства, может, самого «опера», — почему-то подумалось мне. И интерес как-то сразу поник и к ней, и ко всему, что было вокруг.

Я уже собрался выбраться из толпы праздноглазеющих заключенных, как вдруг заметил, что женщина резко остановилась, круто повернулась, легкими быстрыми шагами, чуть ли не бегом, подошла вплотную к воротам (у меня закралась тревога: сейчас отгонит ее вахтер, уж больно близко подошла). Сквозь большие решетчатые просветы она была хорошо видна.

Мраморное, с чуть заметным румянцем лицо, правильной формы тонкий нос, маленький подбородок — все это делало ее неотразимо обворожительной. Расплывшаяся радостная улыбка обнажила ровный ряд белоснежных зубов, верхняя губа немного приподнялась, отчего кончик носа чуть вздернулся и делал ее похожей на большого ребенка, который от нахлынувшего счастья захлебывается от восторга.

Большие, широко расставленные, темно-синего цвета глаза излучали очарование и казались такими бездонными, будто в них утонул весь мир. Задорно, по-мальчишески вскинув руку, она громко закричала:

— Андрюша, эгей, я здесь!

Стоявшая со мной рядом пожилая, с приятными манерами женщина удивленно, с восхищением произнесла:

— Господи! До чего хороша! Бывают же такие!

Чуть поодаль сзади меня раздался ровный мужской голос:

— Вижу, Оля, вижу тебя! Как вышел из барака, сразу заметил...

Я обернулся на голос. Сквозь расступавшуюся толпу людей пробирался Андрей. Тот самый «Самсон», что защитил недавно старика. Ни на кого не обращая внимания, он продолжал:

— Вчера в комендатуре сказали, что ты придешь сегодня. Я уже два раза был здесь. И все равно опоздал. Все как всегда: дожидаться меня приходится тебе.

— Андрюша! — заговорила Ольга. — Ты иди на проходную, а я сейчас захвачу сумку, тут совсем рядом, и туда же к тебе приду.

Она заторопилась к стоявшим за дорогой женщинам, а Андрей пошел к вахте в комнату для свиданий. Толпа любовно смотрела на них. Я еще не-

много постоял, выбрался из толчеи и побрел вглубь лагеря. Немного побродил, потом выбрал местечко подальше от бараков (в злобинской пересылке удивительно много было незастроенных площадей), положил под голову телогрейку и разлегся на траве.

По небу медленно плыли редкие облака. Я считал их зачем-то и думал: «Доплывут они до далекого Подмосковья или растают где-то за Красноярском?». Так, в раздумьях и забытьи лежал, пока не натянуло тучи. Начал накрапывать дождь. Идти было не к кому. Страшно чувствовать и сознавать себя одиноким в огромном людском море. Пошел к себе в барак.

Поздно вечером нарядчики с надзирателями начали собирать заключенных на этап.

Во мраке полуночных стран

На долю каждого человека в жизни выпадает много разных дорог. И всякий раз на новом витке невольно закрадывается тревога: какие трудности ожидают его на неведомом пути и хватит ли сил одолеть их? Собственную судьбу не обойдешь стороной.

В этот раз этап на Север формировали долго. Никому из заключенных не хотелось ехать в далекий, пугающий лютыми морозами и пургами северный край. Рассказы, а еще больше домыслы, иные порой на грани фантастики, коими был полон злобинский пересыльный лагерь, сжимали и без того угнетенные страхом души. Всем казалось, что у этой дороги только одно направление — туда.

Чтобы избежать отправки в этот суровый и беспощадный Норильлаг, многие использовали различные способы и методы, не останавливались и перед преступлениями. Особенно упорствовали уголовники. Они забирались в подполья бараков, закрывались на чердаках в надежде отсидеться, пока их отыщут, а этап уйдет. Более настырные применяли самые изощренные виды членовредительства: разрезали себе кожу на животе до самых внутренностей, засыпали глаза чернильным порошком.

Но это не помогало. Кожу зашивали, глаза промывали фельдшеры из таких же заключенных и затем, наскоро обработанных, под конвоем доставляли на сборный пункт. Более серьезно искалечившихся запирали в больничные изоляторы. Подлечивали. И затем со следующим этапом отправляли по назначению.

Этапов из злобинской пересылки уходило много. И не только на Север. Вот в такие этапы, лишь бы не в Заполярье, стремились попасть большинство уголовников. Нам же от их «выкрутасов» были только одни неприятности. Уже третьи сутки сидели мы в духоте тесного барака в ожидании, пока надзиратели с нарядчиками, подгоняемые начальством, проклиная всех и вся на свете, рыскали по всем углам и закоулкам зоны, отыскивали последних, так искусно упрятавшихся от этапа «блатарей». Наконец нашли и их. Переодетые в женскую одежду, несколько человек укрывались в бараке у женщин. Как только последнего «подпольщика» затолкали в сборный

барак, несмотря на позднее ночное время, всем приказали собрать вещи и быть готовыми к этапу.

Ранним утром, после длительных сборов и утомительного перехода, началась посадка в трюм парохода. Продолжалась все утро и закончилась только к середине дня. Следом за нами затолкали «членовредителей»: некоторые были с завязанными глазами, у других толстые повязки на животах. Напрасными оказались их ухищрения и симуляция: от этапа к «полярной Пальмире» отбиться не удалось. В трюме парохода было тесно. Но постепенно все утряслось, и каждый устроился. Правда, без всяких излишеств. Слава Богу, что можно было вытянуть ноги и выпрямиться во весь рост. Но тут начали донимать искалеченные уголовники: требовали больше места и оттесняли других заключенных. Приходилось уступать их требованиям: хоть и нахалы великие, но искалеченные. А скорее всего делали потому, чтобы не связываться с ними. Когда посадка была закончена, пароход отчалил от места стоянки и через некоторое время пришвартовался к другому причалу. Здесь он тоже простоял почти сутки. Во второй половине ночи совсем незаметно отплыли в «страну белого безмолвия».

Первые дни люди мало говорили между собой. Больше спали. Потом постепенно стали заводить знакомства. Я, по своему обыкновению, в разговоры не вступал ни с кем. Про себя считал, сколько мне осталось до конца срока. Сначала месяцы считал, потом недели и так дошел до дней. Хотел высчитать часы, но не смог. Запутался в цифрах. Делал это для того, чтобы скоротать время и не думать о предстоящих тяготах. Но от этого трудно было избавиться. В душу все больше и больше вкрадывалась тревога: что ждет там, за далеким Полярным кругом?

После длительного молчания спросил у соседа, хотя и не надеялся получить от него ответ (тот тоже все больше молчал):

— Почему уголовники боятся норильских и дудинских лагерей? Что там, очень люто? Ведь не останавливаются ни перед чем. Одного я видел еще на пересылке с отрубленными пальцами. Сам себе отхватил. Что это? Может, ненормальные?

Сосед, не меняя своего положения, пробурчал:

— Там работать заставляют, а они не хотят. Вот и стремятся всеми способами отбиться от этапа.

— А что, разве в других лагерях поблажки есть? — возразил я.

— Там не то. Как завернет мороз градусов под 40, да еще ветер чуть с ног не сшибает, а работать надо в открытом месте, так сразу родную мать вспомнишь. Я уже второй раз туда еду, первый-то еще до войны был, так что знаком с этими местами, — проговорил сосед и умолк.

На мои вопросы больше не отвечал. Я же проникся к нему уважением (бывалый «волк»), решил переждать немного и отложил разговор на потом. Под вечер после ужина (кормили два раза в сутки — рано утром и поздно вечером), когда все угомонились и многие уже спали, сосед сам вступил со мной в разговор.

— Дня через два приплывем в Дудинку. Не знаю, какая она сейчас, а

тогда убогонькой была. Домишки паршивые, лагерные бараки и те много лучше. Как прибудем, так сразу на пересылку. А уж с нее одних отправят в Норильск, других оставят работать в порту. Сейчас там железная дорога, а тогда мы шли до Норильска пешими.

— А где лучше? — спросил я.

— Везде хорошо, — мрачно ответил сосед. – Потому и режутся блатные, чтобы избежать этого «милого Севера». А кого привезут туда, все остаются там: одни надолго, другие навсегда.

Мне очень не понравились его настроение и суждения. В мыслях я выстроил для себя более легкую жизнь (как будто что захочется, то и сбудется). И, внутренне не соглашаясь с ним, спросил:

— Но ты-то ведь выбрался оттуда?

— Мне всего только год там тогда пришлось пробыть. Да и к морозам привыкший, из Енисейска я, — сказал сосед.

Разговор оборвался. Ему не хотелось разглагольствовать, в меня же вселилась тревога. Молчали все. В трюме было душно. Совсем рядом, за бортом, плескались енисейские волны. В голове застыла безысходная пустота. И только тонкой струйкой билась мысль: «Енисей, Енисей... Сколько же тайн схоронил ты?». Чтобы хоть немного отвлечься, спросил у соседа:

— Как величают тебя?

— Тебе-то не все ли равно? — буркнул он. — Ну, Егор я. А сижу за душегубство, жене башку отрубил, — сказал и добавил: — Не приставай больше, мешаешь думать.

Я тут же про себя прикинул: не только не буду разговаривать, а как приедем, при первой возможности подальше уберусь. Если он жене голову отхватил, то что я для него? И тут же про себя немного облегченно как бы вздохнул: вот таких-то туда надо загонять навсегда.

В суете нахлынувших новых забот как-то сразу отодвинулись воспоминания об омских лагерях, этапах, злобинской пересылке. Реже вспоминались совсем недавние случайные знакомые: Петр Фомич, «Самсон», Кирсан и прочие обитатели лагерных бараков последнего пристанища. Теплым июльским утром пароход пришвартовался к дудинскому причалу на енисейском берегу. Началась высадка.

Впоследствии много лет спустя мне довелось читать воспоминания бывших лагерников. Они отмечают большую смертность заключенных при их длительном этапировании из одного лагеря в другой. Нам-де повезло! А может, еще какие на то причины были: в нашем этапе в пути никто не умер. Правда, некоторые из этапируемых к концу пути были настолько слабы, что после высадки самостоятельно передвигаться не могли. Их усадили на телеги (насколько помню, в ту пору в Дудинке автомашин, приспособленных для перевозки людей, и тем более автобусов не было) и позади колонны везли до лагпункта. Кроме них было несколько человек из уголовной братвы, изуродовавших себя еще в Красноярске перед отправкой в этап.

К ним дважды в день, а к некоторым иногда и чаще, спускались в трюм медработники в сопровождении конвоиров (всего можно ожидать от «членовредителей»), делали перевязки, промывали глаза... К концу пути у боль-

шинства раны затянулись, несмотря на антисанитарные условия. Эта категория людей подобные «операции» исполняла с таким расчетом, чтобы видимость была, а опасности для здоровья никакой. Случалось, что некоторые «ухари», переусердствовав, разрезали брюшину до самых кишок, а в тюрьме разрывали швы с целью растравить еще не зажившие раны. Они имели довольно жалкий вид. Сразу из трюма их выносили санитары и укладывали на телеги. От них исходил тлетворный запах, и смотреть было муторно.

После окончания формальностей старший охраны сделал некоторые перестановки среди конвоиров, и вся кавалькада двинулась медленно и тяжело. От причального сооружения, если можно так назвать ледяное пристанище, где пришвартовался наш пароход, до лагпункта было примерно 2—2,5 км. На просторных обочинах дороги кучками стояли местные жители. Хотя такие шествия заключенных были для них уже обычным явлением, всякий раз толпы зевак с любопытством, некоторые — с жалостью провожали взглядами арестантские колонны. Спустя несколько лет мне тоже довелось топтаться в толчее многочисленной толпы праздношатающейся публики и быть свидетелем самых последних этапов.

Лагерь, куда нас вели, размещался в восточной части селения Дудинки. От берега Енисея мы прошли несколько улиц. Последняя, улица Ленина, обрывалась (в ту пору она только начинала застраиваться) метрах в 100 перед железнодорожной станцией. В этом месте колонна свернула немного влево, а затем по довольно широкой проселочной дороге двинулась прямо на восток. С левой стороны был пустырь (теперь там стадион, в годы реформ пришедший в запустение), справа тянулось большое озеро, вокруг которого кое-где виднелись немудренные жилые избушки. Один его берег почти вплотную подходил к железнодорожным коммуникациям и станционным постройкам, а другой обрывался совсем недалеко от лагерной зоны.

Теперь железнодорожная станция, после многих перестроек и реконструкций, имеет совсем другой вид. Все деревянные строения давно сломаны, еще до начала реформ. Одно только бревенчатое здание вокзала долго стояло заколоченным. Несколько лет назад сломали и его. А жаль! Пусть бы оставалось как памятник первым железнодорожникам самой северной в мире железной дороги. Мне не изменяет память: последним начальником Дудинского желдорцеха, что покинул старый дудинский вокзал, заколотив окна и двери своего кабинета, был Константин Тимофеевич Болдырев. Долго, с самых первых лет образования комбината, работал на железной дороге, многие годы был начальником дудинских железнодорожников, повсюду одинаково добросовестно и безупречно работал на других, не менее ответственных постах в Дудинском порту. Много труда и сил вложил в развитие северного комбината, гиганта советской металлургии. Ушел на пенсию, проработав около 50 лет. Хороший был работник, а в общении простой, никогда и ни при каких обстоятельствах не теряющий чувства юмора, порядочный, отличный человек.

Привокзальное же озеро (Станционное) теперь тоже почти все засыпали и застроили.

Не дойдя метров 30 до лагеря, колонна остановилась. Перед нами вытянулся довольно длинный забор из колючей проволоки, посередине которого стояли широкие ворота с проходной вахтой. За долгие годы много людей прошло через них. Весь лагерь хорошо просматривался. Его территория широким прямоугольником уходила вверх по отлогому склону в сторону виднеющихся вдали довольно высоких горных холмов и оканчивалась немного не доходя до их основания. Вверху, сразу за зоной, проходил узкоколейный железнодорожный путь от сортировки на 19-м пикете до угольного участка, развалины которого уцелели и до сих пор.

Иногда мне приходится бывать в тех местах. Теперь там пустынно и тихо, особенно в безветренную погоду. Гляжу на длинные траншеи, выкопанные в земле (копали тогда вручную). В них сохранились деревянные эстакады для транспортеров. Время мало тронуло их — так прочно они были сделаны.

Храмы

И, не спрашиваясь, вползает раздумье: так крепко раньше строили церкви. Что же заставляло выполнять работы так добротно? Страх или совесть?

С эстакадами понятно — страх. А церкви? Тут, наверное, и то и другое. И все-таки кажется, что больше действовал страх. Попробуй подхалтурить при постройке Божьего храма. Как за это взыщут на небесах, если здесь, на земле, церковники (Божьи наместники) сжигали на кострах тысячи людей только за инакомыслие? И думать не могли об этом (куда там большевикам тягаться со святыми инквизиторами по изощренности вправления мозгов). И ничего. Никто не корит теперешних Божьих проповедников за грехи их далеких предшественников. Как будто так и должно быть. Во искупление чужих «грехов» возводят разрушенный в Москве храм Христа Спасителя. Всем «миром» копошатся, торопятся. Даже последние кирпичи положили верховные правители. Вероятно, для прочности. Как-никак, а государевы длани прикасались к стенам.

Только зачем с такой поспешностью? Неужели затем, чтобы миллионы измученных, мечущихся людских сердец, изуродованных и истерзанных перестройкой да рыночными реформами, в нем нашли себе духовное успокоение? Может, лучше бы построить для не имеющих ни кола ни двора пусть убогие комнатушки, где смогли бы отогреть они свои заледеневшие души. Ну хоть немногим на первой поре. Господь-то, наверное, по-другому оценил бы и воздал по заслугам. Неужели никто не догадался?

А храм строят и спешат. Для чего и зачем? Может, недомыслю, нужен он, чтобы смогли вновь обрести люди утраченные страх и совесть? Много ли найдется сейчас счастливцев, не расстративших эти бесценные качества? Не могу знать. Но зато хорошо понимаю, что, если у кого и остался страх, так только перед рэкетирами, а совесть... ее у всех давно хватил паралич. Может, звон колоколов храма укажет путь к истине и повернет паству на

исполнение добрых и богоугодных дел (а то ведь и разбойник крестится, когда вытаскивает нож для грабежа). Тогда пусть скорее зазвучит призывный набат, чтобы прозрели люди и своими деяниями приблизили светлое будущее. Только вряд ли. Ведь служители церкви обещают царствие Божие на небесах.

Ушли и рассеялись по всей земле, словно растворились в вечернем тумане, первые «старатели» с самых тяжелых северных строек. Никого не осталось из них, да и лагерные строения тоже разрушили. Остался только железнодорожный путь. Он действует и поныне. Проходит той же трассой, что и прежде, только вагоны и рельсы заменили на широкую колею. В те времена по нему возили уголь, и довольно много, к берегу Енисея для погрузки на пароходы. Теперь вывозят нефтепродукты в Норильский комбинат с нефтебазы. Ее построили много позже ниже по течению, за угольным участком, на самом высоком берегу Енисея.

Колонну в транзитный лагерь запускали долго. Сверяли списки с формулярами. К самому утру закончилась эта нудная процедура.

Впрочем, мало кто заметил, когда наступило утро: в это время над Дудинкой стоял полярный день. На транзитном лагпункте (его называли повсякому — расформировочный, пересыльный, но больше транзиткой) нас продержали недолго. На третьи сутки всех распределили. Большую часть людей, в основном политических заключенных, направили в центральный дудинский лагерь — 4-е лаготделение. В порту разворачивалась навигация, людей требовалось много. «Бытовиков» и уголовников, за малым исключением, отправили в норильские лагеря. Начальником транзитного лагпункта в те далекие времена был Павел Петрович Самошин. Он немного поработал в этой должности и перешел в порт. Сначала был начальником лесопиления (в нашем же лесном хозяйстве), а потом долгое время начальником морских причалов.

Мне посчастливилось остаться в Дудинке и попасть в 4-е лаготделение. Кроме него было еще несколько лагпунктов: один на 19-м пикете, другой на судоверфи, и где-то еще, небольшой, для расконвоированных, но тот я уже не помню. 4-е лаготделение размещалось в самом центре селения Дудинки и имело форму квадрата довольно внушительных размеров, огражденного в один ряд тремя нитями колючей проволоки. Охранялся лагерь слабо, но побегов не было. В моей памяти был один случай, но окончился он неудачно. Все жители в поселках и деревушках по берегам Енисея были строго предупреждены, и беглецам не оказывали никакой помощи. Наоборот, их выдавали властям. Такие случаи в первые годы образования лагерей имели место.

На каждом углу лагерной зоны стояли караульные вышки: две параллельно берегу реки Дудинки и две со стороны дудинского села. Размещались в такой последовательности: одна на месте теперешнего здания станции перекачки, другая — там, где торговый центр. Соединены забором из колючей проволоки, в середине которого была большая контрольно-пропускная вахта, они как бы замыкали лицевую сторону (фасад) лагеря. Вторая пара стояла от береговой примерно метров на 700—750. Одна из них была на правом берегу Ароматного ручья, другая — с внутренней сто-

роны теперешнего магазина «Енисей». Все четыре стороны были обтянуты колючей проволокой в три нити (убежать было легко, но никто не пытался — куда?), сквозь которые было хорошо видно, что происходит на воле, а дудинские жители видели жизнь заключенных. Иногда переговаривались между собой.

Фасад лагеря был обращен в сторону устья реки Дудинки, где на правом ее берегу виднелись бревенчатые причалы. Они и сейчас там же, только стали много выше и растянулись далеко по береговой линии вверх и вниз, оделись в прочный бетон.

Уже много лет с наступлением навигации на причалы спускают такое большое количество кранов, что они закрывают собой величие енисейского раздолья.

Параллельно лицевому забору, а он начинался чуть дальше вышки почти от самого управления порта (теперь в этом здании после многократных перестроек магазин «Долгун»), пролегал железнодорожный путь, идущий на морские причалы. Между ним и забором была неширокая пешеходная дорога (теперь объездная трасса для автотранспорта), по которой расходились бригады заключенных грузчиков на морские и речные участки для обработки барж и вагонов. Они выходили из лагеря через контрольно-пропускную вахту (на этом месте сейчас здание АБК 3-го района) и сразу же расходились без всякого конвоя (производственные объекты порта со стороны селения тоже были огорожены) по своим рабочим местам.

В лагере кроме главной было еще две вахты. Одна стояла на южной стороне, где сейчас разместился магазин «Орфей», другая — перед поликлиникой, на месте Дома геологов, как раз посередине. Через южную зону выпускали заключенных для работы на лесозаводах и лесобирже. Через нее же принимали и отправляли этапы заключенных, которых перед началом навигации привозили с «большой земли», а после ее завершения лишних рабочих увозили в норильские лагеря. И так повторялось из года в год.

На Норильлаг

Для перевозки заключенных от Дудинки до Норильлага были оборудованы специальные составы из теплушек с нарами и встроенными печками-буржуйками.

Вагоны были рассчитаны на узкоколейку со многими неудобствами. Главное — теснота. А ехать от Дудинки до Норильска приходилось по многу суток. Особенно долго ползли последние этапы глубокой осенью. Снежная пурга наносила такие сугробы, что поезда останавливались и стояли, пока не расчистят рельсы. Расчисткой же путей занимались заключенные. Их лагеря находились в непосредственной близости от станционных вокзальчиков, которых было довольно много на протяжении всей железнодорожной трассы.

В «ГУЛАГе» Солженицына есть эпизод, когда из Дудинки в Норильск везли заключенных на открытых платформах в полярный мороз. При этом «блатари» садились в середину вагона, чтобы их обогревала «скотина» (т.е.

простые заключенные). О таких случаях ни от кого не слышал и ничего подобного не видел сам. Опровергать не берусь: уж больно велик писатель. Но сомнение одолевает: при таком способе транспортировки в лютые морозы, да еще с ветерком (а он обязательно возникает при движении поезда, даже если вокруг полный штиль), больше двух-трех часов вряд ли кто вытерпит (превратятся все в ледышки).

Причалы

В зимний период на причалах в порту работала небольшая бригада грузчиков: техматериалов и прочих грузов оставалось очень немного.

Весь объем работ был на лесозаводах и лесобирже. Здесь всегда работать было тяжело. Через вторую (северную) вахту выводили заключенных работать на угольный участок и строящиеся объекты в Дудинке. Кроме них пропускали всех работников управленческого персонала (в то время в отделах и службах управления количество заключенных доходило до 90 процентов). Все они были расконвоированными и имели свободный вход и выход из лагеря. Через нее же выпускали и освобождающихся.

Северная и южная вахты соединяла натоптанная проселочная дорога, трасса от которой сохранилась и до сих пор. Сейчас по обеим ее сторонам стоят дома улицы Горького. Кроме них на бывшей территории лагеря разместились жилые корпуса: улицы Бегичева, 40 лет Победы, Андреевой, часть улицы Островского, школа-интернат. Все эти здания поднялись после ликвидации лагерной системы. Особенно бурно в 60-е и 70-е годы. Ну, об этом знают многие. А тогда вдоль этой дороги стояли здания лечебно-профилактического и бытового назначения: поликлиника со стоматологическим кабинетом, хирургическое отделение, парикмахерская, клуб, комендатура, кухня, много бараков. Дальше, вглубь зоны, с восточной стороны, были терапевтическая больница, здание штаба лагеря (администрации), большой барак КВЧ, бухгалтерия, хлеборезка и жилые бараки. На другой стороне дороги, ближе к речке, стояло банно-прачечное заведение с отделением почты (потом его долго использовали как дом техники безопасности порта), склады и ближе к самой вахте двухэтажные жилые бараки. Женщины жили в двухэтажном кирпичном доме. В нем потом было управление торговли.

В самом центре лагеря, недалеко от административного здания, стояла деревянная эстрада, на которой участники художественной самодеятельности из заключенных довольно часто выступали вечерами с концертами или спектаклями. В зимнее время эти мероприятия проводились в закрытом клубе.

Кроме того, эти помещения использовали и для проведения производственно-хозяйственных мероприятий. Случалось, что кружок художественной самодеятельности выступал в клубе порта перед вольнонаемными гражданами. Надо отдать должное: все лагерные здания и строения были более благоустроены, чем дудинские жилые домишки. А поликлиника с больницей не уступали по обслуживанию и лечению городским лечебным учреждениям, а в некоторых были намного лучше.

Главной отличительной чертой всего медперсонала (а это замечалось и в омских лагерях) было человеческое отношение к больным. Через несколько месяцев по прибытии в Дудинку мне довелось опять проваляться в лагерной больнице около трех месяцев. Поэтому знаю все не понаслышке, а испытал на себе. Я и сейчас храню самую добрую память о многих лечащих врачах. Главный врач терапевтической больницы Алексей Владимирович Орлов, главный хирург Василий Ионович Петухов. Оба из бывших заключенных, были осуждены по политическим мотивам, проходили по «процессу Кирова». Вряд ли они имели хоть малейшее отношение к этому делу. И тот и другой отличались суровой справедливостью. Не отступали, не нарушали своих медицинских постулатов и заповедей. Свято соблюдали клятву Гиппократа. Милосердие и сострадание исходили от них до каждого больного, независимо от того, за какие преступления он осужден.

Боюсь, что эти понятия через 2—3 года «перестройки» исчезнут совсем из нашего лексикона. Сохрани, Всевышний, теперешних эскулапов (медицинских работников), чтобы в этом реформаторском беспределе их не затянул «рыночный живоглот».

Четвертое лаготделение

Из всех лагпунктов, лагерей и прочих мест заключения, где мне довелось отбывать свой срок, 4-е лаготделение в Дудинке было самым сносным.

Это понял быстро, вопреки всем страхам, которых наслышался на злобинской пересылке и в трюме парохода, пока плыли по Енисею. Освоившись, уже через несколько дней я имел первые и довольно успокоительные представления. Все бригады в бараках размещались отдельно. Каждая имела свое помещение. Кормили неплохо. Во всяком случае, голодных не было, несмотря на то что 1946 год был неурожайным. Почти не было воровства, грабежей, бандитизма. Порядок был строгий. Нарушителей находили быстро и с первыми же этапами отправляли в норильские лагеря. Говорили, в них было много хуже (не был, не знаю).

Много лет спустя, когда заключенных в Дудинке уже не было, я понял, отчего такой режим сложился в общей системе дудинских лагерей. Это исходило из нескольких обстоятельств. Первое — основной контингент заключенных состоял из числа политических или «бытовиков», осужденных за хозяйственные промахи. Во-вторых (и, пожалуй, это было главным), администрация лагеря в определенной степени подчинялась руководству порта. Взаимоотношения у них были деловыми. Лагерное начальство выполняло все распоряжения, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности, иногда в ущерб режимным инструкциям.

Руководители порта Василий Николаевич Ксинтарис, Тимофей Гаврилович Стифеев, Владимир Николаевич Всесвятский, Михаил Иванович Лазарев, М. С. Штерк со своими заместителями и многие другие начальники подразделений держали самую тесную связь с производственниками из заключенных, находились очень часто не только на рабочих местах

(особенно когда складывались трудные ситуации, а их бывало в те годы немало), но и посещали лагерную зону. Особенно частыми их визиты были в преднавигационные месяцы и навигационную пору.

Для проведения собраний или просто бесед использовалась летняя сцена. На ней размещалось руководство порта, а вокруг эстрады собиралась большая толпа заключенных. Организацией таких мероприятий занимались нарядчики и бригадиры. Заключенными и руководителями порта обсуждались самые различные вопросы, происходил обмен мнениями по всем насущным проблемам. Бывали такие сходки и в зимний период, но реже. Тогда собрания проводились в клубном зале. Он, правда, был небольшой и вмещал около 100 человек.

Приглашались, в первую очередь, бригадиры, звеньевые, мастера, прорабы. Большинство из них были расконвоированные, но жили в лагерной зоне. (Расконвоирование мастеров, прорабов, начальников отделов и участков исполнялось лагерной администрацией по представлению руководителей порта и предусматривало возможность свободно выходить и возвращаться заключенным через вахту в любое время. Иногда они задерживались на работе долго).

С руководителями порта, как правило, приходили начальники крупных подразделений: морского, речного, лесного. Я тоже частенько, особенно летом, присутствовал и до сего дня многого не забыл. Характерной особенностью собраний было то обстоятельство, что сами руководители говорили очень мало. Расскажут о главных навигационных проблемах или трудностях на более важных строящихся объектах, которые нужны «позарез» (чем скорее их отстроят, тем легче и производительнее будут выполняться работы на том или другом участке), и сразу же разрешали говорить заключенным. А те говорили обо всем и долго. Затрагивались вопросы о питании, спецодежде, бытовых условиях на производстве. Ничего не оставалось без внимания. Конечно, не все удовлетворялось. Но уж если что обещали, то выполняли безоговорочно.

Собрание

Однажды я присутствовал на очень большом лагерном собрании. Приезжали руководители комбината А. А. Панюков и В. С. Зверев. Вместе с ними, кроме начальников порта и подразделений, были руководители городских организаций.

Вопрос был один: как спасти замороженную древесину осенью в навигацию 1948 года? Замораживали лес во льду в те времена почти каждый год. Потому и прикатило руководство комбината из Норильска для обсуждения сложившейся обстановки.

Всех заключенных сначала собрали в лагере, а потом проводили такие собрания на лесобирже. Присутствовали руководители городских организаций. Через партийные органы и исполком мобилизовали почти всех работников. Даже секретари райкомов со своими службами приходили помогать. Брались за лом и лопату. Да не просто держались за

ручки, а старались не отставать от других (им ведь тоже устанавливали задание). У всех была одна гнетущая забота: надо было спасти всю древесину, успеть выкайлить изо льда до весны. Время было крутое и суровое (кончилась легкая «оттепель» 1945-1948 годов). Спрашивали с самого «верха» до последнего сторожа за любые упущения со всей строгостью. Лес спасли. Все обошлось. Но через несколько лет произошла такая же история, только в еще больших размерах. И опять повторилась такая же «суматоха».

В навигацию 1952 года приплавили около 30 плотов — 537,0 т. м.куб. Из этого объема около 290,0 т. м.куб. выгрузили на лесобиржу, а остальное осталось в затопляемой зоне, причем больше 100,0 т. м.куб. оказались замороженными во льду.

Для координации работ по спасению древесины сразу после ледостава был создан штаб. В него вошли руководители порта и Норильскснаба. Возглавил его Тимофей Гаврилович Стифеев (в это время он работал начальником Норильскснаба). Тимофей Гаврилович имел уже довольно большой опыт. Ведь в зиму 1948—1949 годов он, будучи начальником Дудинского порта, вплотную занимался подобными «лесными делами». Он редко в эту зиму отлучался из Дудинки. Только уж когда назревала острая необходимость в решении снабженческих вопросов в комбинате.

Начальником Дудинского порта в то время был А. А. Афанасьев. Прибывший на эту должность совсем недавно, он не смог взять сразу все руководство таким большим и ответственным мероприятием. Очень большая, пожалуй, тяжесть пришлась тогда на долю Михаила Ивановича Лазарева, главного инженера порта. Всю зиму он редко уходил с лесного «побоища» раньше глубокой ночи. Имея очень неуравновешенный характер, требовательный к себе и подчиненным, он нередко вступал в конфликты с «верхами», чем вызывал недовольство вышестоящих руководителей. Но за трудолюбие и довольно убедительные успехи ему многое прощали. Лес и в этот раз весь вырубили изо льда и вывезли. Только работать приходилось всем очень много и напряженно. Ответственность у людей была на высоком уровне.

Ссыльный поселенец

Осенью 1950 года, после закрытия навигации (я в то время уже второй год был на свободе, правда, на положении ссыльного поселенца), довелось присутствовать на довольно большом собрании в клубе порта. Зал был полон. Некоторым даже пришлось стоять в проходах. За столом президиума все места заняты. С самого края рядом с трибуной сидел начальник комбината Владимир Степанович Зверев (тогда еще не было должности директора). Докладывал Василий Николаевич Ксинтарис о выполнении задания, порученного ему лично В. С. Зверевым по доставке огнеупоров. Лето уже кончалось, когда ему было дано это поручение.

Василий Николаевич просто и доходчиво, будто в порядке вещей, рассказал, как ему приходилось «выколачивать» из диспетчеров железных дорог «зеленый свет» для вагонов с грузом (а гнать их пришлось чуть ли не через всю страну), потом перегружать на баржу в Красноярске и доставлять в Дудинку по замерзшему Енисею. В. С. Зверев поблагодарил всех участников (большинство их присутствовало в зале, а часть находилась в президиуме) этого ледового рейса и зачитал приказ о премировании.

Великими трудами строился комбинат. Пройдет совсем не много времени, и В. Н. Ксинтарис с большой группой руководящих работников уволится из комбината и отбудет за пределы Таймыра. Вскоре уйдет со своего поста начальник комбината В. С. Зверев. Истинных причин их ухода из комбината я не знаю. А пользоваться слухами, коими были тогда полны коридоры многих учреждений, не могу.

В решении всех навигационных задач всегда самое непосредственное участие принимали норильскснабовцы. С самых первых дней после ледохода, когда уровень воды в Енисее позволял на причалах производить разгрузку барж (причалы открывались на отметке 6 метров), все руководители отделов Норильскснаба приезжали в Дудинский порт. Без промедления норильскснабовцы и портовики приступали к оприходыванию, оформлению грузов.

Распределяли товарно-материальные ценности по предприятиям Норильского комбината. Одни отправляли вне всякой очереди, другие оставляли на складах порта. А вагоны? Их было очень много (ведь тогда была узкоколейная железная дорога), и на каждый вагон выписывался отдельный документ. Все операции выполнялись вручную, в большинстве прямо на причалах. Помещений не было. Работали по 12 часов в две смены. Некоторые из норильскснабовцев приспосабливались работать в бригадных балках, и даже стрелочных будках.

Меня в первую же навигацию, как приехал, взяли в группу учета (считать и писать умел, десятилетку почти окончил), и я работал вместе с ними. Хорошие и дружные были ребята. Никто из них в те времена ни на что не жаловался. Видимо, эта положительная черта передавалась из поколения в поколение. Они и сейчас такие же. У самих же снабженцев в Норильске условия для работы в те годы тоже были далеки от совершенства. Их контора, где мне довелось побывать, помещалась в одноэтажном бараке. О каких-либо отдельных кабинетах никому и не мечталось. Это уж потом, много лет спустя, выстроят большое кирпичное здание, в котором разместится весь снабженческий аппарат. И потянутся оттуда служебные и хозяйственные связи во все регионы страны.

Чем можно измерить всю энергию и силу, что вложили многие поколения портовиков и снабженцев в приобретение, завоз не только из всех республик страны, но и из многих стран мира, перегрузку и отгрузку в портах и на железнодорожных станциях оборудования, механизмов, товаров, изделий? Нет такого закоулка в стране, где бы ни побывал норильскснабовец или снабженец порта – все дороги исхожены и изъезжены ими вдоль и поперек. Разве можно перечислить все, что ушло на строительство таких

огромных городов на самом краю земли и создание условий для нормального проживания? А заводы? Эти гиганты на вечной мерзлоте? Нет им равных в мире. Трудно было всем.

Впрочем, сейчас работникам порта и снаба тоже нелегко. Появились другие сложности, на решение которых требуется нисколько не меньше напряжения и изворотливости ума.

Вольные и осужденные

Огромное, а может быть, решающее влияние оказывали на всю хозяйственную, производственную деятельность порта личные взаимоотношения между заключенными и вольнонаемными работниками, особенно высшими должностными лицами порта: здесь не было панибратства, но и не было отчужденности. Со стороны вольнонаемных руководителей не допускалось оскорбительных выпадов, они не выпячивали своего превосходства ни в работе, ни в общении с подчиненными. Вели себя с заключенными, как с равными, несмотря на то, что такие отношения не поощрялись некоторыми властными структурами.

Бывали случаи, когда заключенный «бытовик» или уголовник обзывали политзаключенного «контриком» или «фашистом». Никогда ничего подобного я не слышал от вольнонаемных людей, будь то большой руководитель или простой служащий. С большинства руководителей можно было брать пример мужества и трудолюбия. Их спокойная уверенность, простота, смелость и непринужденность в обращении в одинаковой мере как с низшим по должности, так и с руководством, оперативное принятие решений при обсуждении хозяйственных задач сразу же при обсуждении их на собраниях произвели на меня незабываемое впечатление. Эти люди, сменяя один другого, как по эстафете передавали свои лучшие человеческие качества, производственные традиции, каждый по-своему дополняя и совершенствуя их.

Они оставались такими же (а если и изменились, то только в лучшую сторону) и после полного расформирования и ликвидации всей лагерной системы в Дудинке. Мне всегда хотелось быть хоть немного похожим на них, приходили такие мысли, но они мне самому казались настолько дерзкими, что я тут же изгонял их из головы: куда уж тебе тянуться за ними? По своему положению в ту пору я был от них как бы на противоположной стороне. Но и тогда и тем более теперь (за многие годы жизни сумел многое осмыслить) сохраняю самое глубокое к ним уважение.

Почти все руководители порта, начиная с А. А. Панюкова, который стал начальником комбината, а далее В.Н. Ксинтарис, Т. Г. Стифеев, В. Н. Всесвятский были переведены на более высокие должности. Сначала начальниками управления снаба, потом на другие ответственные посты. Но при всем этом связь с Дудинским портом, да и городом Дудинкой (в 1953 году она получила статус города) сохраняли.

Были и досадные исключения. В период последнего разгула бериев-

ских притеснений (1948-1952 гг.) в Дудинский порт на должность начальника был назначен некто Н. До этой должности он работал начальником 1-го отдела НКВД. Оставаясь по духу службистом самой могущественной силовой структуры, он и в должности начальника порта проводил политику укрепления лагерного режима. Совместно с руководством лагеря это ему удалось в значительной степени. При его коротком правлении в идеале были выполнены инструкции по содержанию заключенных в ИТЛ: осуществлено полное изолирование женщин от мужчин как в быту, так и на производстве.

Для этого в общей производственной зоне порта была полностью выгорожена лесобиржа, на которой работали только женщины, выполняя самые тяжелые операции труда: отгрузка бревен в вагоны, раскатка их в штабеля и так далее. Все делалось вручную. Это был для женщин очень тяжелый труд (сейчас ни одного мужика не заставишь выполнять эту работу!). Во время войны нашим женщинам по всему Советскому Союзу приходилось нисколько не легче. Но тогда шла война, велась беспримерная битва всего человечества с охватившим полмира злом, и только безысходность принуждала их к каторжному труду. У них не было выбора, все мужики были на фронте.

Конечно, могут возникнуть сомнения, потому что Н. действовал по инструкциям сверху (были указания о содержании женщин отдельно от мужчин). Да, были. Но такой инструкции, где бы указывалось, что они (женщины) должны грузить бревна, да еще вручную, наверняка не было... И тем более, когда прошло уже больше пяти лет после окончания войны, не было совершенно никакой необходимости направлять их на такой тяжелый труд.

И первое, что сделал В. Н. Всесвятский, став руководителем порта, — сломал эту систему.

Я ни в коей мере не утверждаю, что в НКВД были только жестокие и бессердечные надсмотрщики. Одно время начальником 4-го лаготделения был Василий Серов. Я его совсем не знал. После нашего прибытия он очень недолго работал в дудинских лагерях и был переведен в Восточную Сибирь, тоже начальником, но только еще более крупного лагеря. Там у одной из заключенных женщин умерла на Украине мать. Он, нарушив все инструкции, отпустил эту заключенную на похороны, за что был снят с работы. Об этом мне рассказал, много лет спустя, один из его знакомых, живший тогда в Дудинке.

Всякие люди были в НКВД. Конечно, покопавшись в памяти, можно отыскать (да если еще к этому будет подталкивать озлобленность) много мрачных эпизодов. Но в нашей прессе достаточно уже написано о сталинско-бериевском ГУЛАГе, причем некоторые авторы не избежали в своем рвении и кое-каких издержек. Поэтому я ограничусь только одним фактом.

В большой плеяде руководителей порта той далекой поры удивительно замечательным по своим человеческим качествам, высокоэрудированным и образованным был Александр Александрович Афанасьев. Он прибыл на

должность начальника порта во второй половине 1952 года. Это был очень тяжелый период в Дудинском порту. Незнакомая специфика работ, многоукладность хозяйственной деятельности, непривычная обстановка, очень разнообразный контингент работающих, а самое главное — он еще не был реабилитирован после освобождения из заключения и потому не восстановлен в партии — все это очень мешало ему сориентироваться и вписаться в своеобразный и очень сложный коллектив.

Он не мог присутствовать на партийных собраниях (в то время они были в основном закрытыми), где решались производственно-хозяйственные задачи, обсуждались важные проблемы строительства, а потому зачастую многие его решения расходились с постановлениями партийных органов.

Тяжелый межнавигационный период 1952-1953 годов. Затянувшийся весенний паводок (в тот год подъем воды был более 18 метров, а спад очень медленным, что сдерживало подготовку причалов к началу навигационных работ) наложил негативный отпечаток на стиль его работы. Руководство комбината сделало выводы... Поспешные или нет? Не могу судить. В первый навигационный месяц 1953 года он был понижен в должности и переведен начальником водного участка в порту. Откуда вскоре уехал в Москву, где и занял по праву высокий пост.

Что можно сказать? Судьба у каждого своя. Иногда делает крутые виражи. После ликвидации лагерной системы в развитии Норильского комбината, Норильскснаба, Дудинского порта, многое изменится. Пройдет немного лет, и на фундаментах, заложенных первопроходцами, поднимутся благоустроенные города, и жить в них будут совсем уже другие люди. А тогда? Передо мной лежала длинная дорога, и где-то далеко в беспросветном тумане скрывался долгожданный день освобождения.

Тяготы людские непомерные

Ледоход на Енисее в 1948 году пришел в Дудинку поздно. Последние его ледовые поля проплыли мимо дудинских берегов 13 июня. Вслед за ними из-за поворота реки появился пассажирский пароход. Собравшиеся на берегу жители сперва увидели вдали на горизонте столб дыма, затем трубы, и уж потом над водой поднялся весь его белый корпус.

Прошло не менее двух часов, прежде чем пароход пришвартовался к месту высадки пассажиров. Погода была теплой, и народу встречать его пришло много. По всему берегу стояли одетые в разноцветные одежды люди: соскучились по теплу и долгожданным встречам.

Весь берег, насколько хватало глаз, был загроможден огромными горами льда, по их островерхим выступам карабкались и лазили ребятишки (это делают они и сейчас). Правда, таких «небоскребов», что были раньше, теперь ледоход не наворачивает.

В порту, в устье реки Дудинки, кипела работа. Надо было прорыть сквозь ледовые нагромождения туннели до самой земли для укладки железнодорожных путей.

Тысячи людей с кайлами, кирками ломали и крошили ледяные глыбы по всей невидимой еще железнодорожной трассе. В ту пору к началу каждого ледохода развинчивали и убирали все железнодорожные пути, до которых могли во время паводка «доползти» ледяные поля. Берегли рельсы и особенно стрелочные переводы.

Сразу же, после ледового натиска приступали к восстановлению без малейших задержек. Установка была предельно проста: от воды не отставать (то есть укладка рельсов и строительство железнодорожных путей должны идти без всяких срывов за спадом воды).

Вскоре подошли первые баржи. И хотя все причалы были еще глубоко под водой, некоторые суда начали разгружать через намороженную на береговом откосе в районе лесобиржи ледяную дамбу. Через нее же загружали в разгруженные суда металлопродукцию комбината. «Ну, вот! — с тихой радостью думал я. — Это моя третья и последняя навигация в Дудинском порту».

Лето в этот год выдалось теплым. Навигация прошла без каких-либо непредвиденных случайностей. Ушли последние караваны судов. На причалах работы остановились, только на лесобирже еще долго выгружали бревна. Их так и не успеют выгрузить полностью до ледостава, хотя первая половина октября тоже была теплой. Уже были отправлены в Норильск последние этапы заключенных из 4-го лаготделения. Осталось только несколько бригад грузчиков для отправки грузов с причалов, но их вскоре переведут в строительную контору «Портстрой».

Дни становились все короче и короче, подступала завершающая лагерная зима. За эти годы я успел привыкнуть к лютым северным морозам с неистовыми пургами (особенно было холодно в зиму 1946—1947 годов), к полярным ночам с северными сияниями, неистребимым тучам комаров в летнюю пору, сумел приспособиться ко всем лагерным неудобствам и превратностям. Оттого приближение холодов меня не тревожило.

Началась размеренная, тихая жизнь, как и всегда после окончания навигации. Работы оставшимся хватало на всех, но через силу никого не заставляли работать. Я отсчитывал оставшиеся дни, на душе становилось спокойно.

Правда, иногда возникало сомнение: ведь ТАМ тоже нужно работать, а у меня никакой специальности. Но откуда-то приходило успокоение: землю копать умеешь, мешки с мукой, сахаром и прочими продуктами потаскал и наловчился – о чем же печалиться?!

Да и годов не много. Проживу – не пропаду. И сразу становилось весело. Но! Вдруг в начинавший дремать перед зимней спячкой поселок грохнулся «огромный валун», всколыхнувший не только заключенных лагеря, но и многих жителей Дудинки.

Стало известно, что в администрацию лагеря пришло указание об отправке всех заключенных, отбывающих сроки за политические преступления, в спецлагеря. О том, что в Норильске, в системе Норильлага , «сортировка» заключенных по политическим признакам производится давно и уже часть заключенных переведена в такие лагеря, знали и говорили много

раньше и в дудинском лагере. Но у нас пока все ограничивалось только разговорами, и никаких действий не проводилось. Даже не было предпосылок. Когда же были отправлены, как обычно, заключенные из «бытовиков», уголовников и так далее, вся лишняя после навигационной страды рабочая сила, совсем все успокоилось.

Но затишье было недолгим. Работники УРЧ и, в первую очередь, нарядчики все откровеннее стали говорить, что в самые ближайшие дни будет отправлен большой этап. И ни для кого не было тайной, что его будут отправлять в спецлагеря. Дело только за оформлением документов. Вскоре у многих расконвоированных отобрали пропуска свободного выхода и входа через лагерную зону.

Когда же узнали, что многие бывшие политзаключенные, проживающие после освобождения в Дудинке, были вызваны в МГБ, и там по решению суда «Особого совещания» определили каждому пожизненную ссылку на Таймыре, последние сомнения у всех рассеялись.

Многие из политзаключенных стали готовиться. Впрочем, это слово «готовиться» мало подходит. Собрать вещи — дело 15 минут, а вот подготовить себя морально — совсем не так просто.

Через несколько дней уже многие знали, кого пометили в «черных списках». В основном это были заключенные, осужденные за террор, измену, предательство, диверсии... Их считали самыми серьезными преступниками, хотя большинство к подобным делам не имели никакого отношения. Отбывали наказание из-за черной людской подлости, оговора и клеветы. Уезжать не хотел никто (впрочем, такое наблюдал во всех лагерях). Эти люди уже по многу лет сидели в дудинских лагерях, обжились довольно основательно, многие работали на привилегированных должностях: работники управления порта, начальники участков, мастера и другие специалисты. Они составляли высококвалифицированный костяк коллектива, были самыми ценными работниками в порту.

Снова Фомич

По всем своим статьям я не подлежал отправке в спецлагерь. Но тревожное сомнение не покидало: надо же, осталось полгода, а надежды на спокойное освобождение остается все меньше и меньше. События развивались быстро. По баракам забегали нарядчики, и тем, кто подлежал отправке в спецлагеря (их быстро сами заключенные переименовали в «каторжные»), объявляли: на работу не выходить и ждать сбора на этап.

Такие дни ожиданий всегда можно приравнять к вечности. Хорошо, что ожидать пришлось недолго. Во второй половине погожего солнечного дня к проходной вахте (сейчас на этом месте магазин «Орфей», я уже писал об этом) стали подходить с вещами люди.

Надзиратели, нарядчики со списками ходили вновь по баракам, теперь уже объявляя: «С вещами на выход». Возглавлял эту операцию начальник УРЧ (учетно-распределительная часть). В то время начальником УРЧ был

Иван Федорович Дергачев, а старшим нарядчиком — Иван Михайлович Чобитько. Это им довелось по распоряжению высшего лагерного начальства отправлять в спецлагеря первый и единственный этап заключенных из дудинских лагерей. После ликвидации лагерей оба долго работали в Дудинском порту.

Из других лагерей (19-й пикет, судоверфь) привели несколько партий заключенных. Толпа увеличивалась и росла на глазах.

Из окон второго этажа барака, в котором я жил, мне хорошо были видны вахта и дорога, куда все подходили и подходили заключенные. Выходить не хотелось.

Болела рука. Я неосторожно оступился два дня назад, упал и вывернул ее из сустава. В поликлинике освободили от работы, думал, отлежусь – и боль утихнет. Но рука болела все больше, пока дневальный не подсказал: «Подвяжи через шею и легче станет». Я послушался его совета, и действительно боль притупилась. Может, от этого или уж пришло время переболеть, но облегчение пришло сразу. В толпе все больше и больше стал различать знакомые лица. Собрался и вышел на улицу. Какое-то чувство скованности не покидало меня. Здесь были знакомые по работе и просто так. За два с лишним года многих перевидал. Тех же, что привезли из других лагерей, не знал совсем. Немного освоившись, заметил, что на меня смотрит довольно пристально немолодой, по-лагерному одетый человек (большинство заключенных в этой толпе одеты были в гражданскую одежду).

Я пригляделся. Вроде бы где-то видел его, но вспомнить не могу. Тот чуть улыбнулся — нет, не знаю. «Так, показалось», — подумал я. В это время ко мне подошел знакомый — главный бухгалтер базы ТМиО Михаил Дмитриевич Разин, у которого я когда-то работал в бухгалтерии фактуровщиком, и отвлек мое внимание от незнакомца:

— Ты что, тоже, что ли, с нами идешь?

— Да нет, Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — пока не тревожат.

Немного поговорили. Потом его кто-то отозвал.

Я обернулся. На меня снова смотрел тот самый незнакомец. «Ну где я его видел?» — думалось мне. Неожиданно он поднял свой узел и пошел в мою сторону. Я сразу же узнал его по рюкзаку. Да это же Петр Фомич, с которым мы протирали бока на омских и красноярских пересылках и ехали в одном вагоне на одних нарах. Он подошел.

— Петр Фомич, а я ведь тебя сразу-то и не признал, — сказал ему, как поздоровались.

— Да ведь немудрено. То болел, то на лесоповале работал. Недавно попал в Дудинку, на 19-м пикете в лагере был. И вот снова на этап. Ну, это уж наверняка последний, — проговорил он.

Мы отошли в сторону. Разговорились. Ведь как-никак вместе горе мыкали. Глядя на увеличивающуюся толпу людей, я поинтересовался у стоящих невдалеке мужиков:

— А что так долго не выпускают, вон уже сколько накопилось?

— А кто знает, почему? — ответил один. Другой же сказал более утвер-

дительно: — Руководство порта и Норильскснаба, Стифеев с Ксинтарисом, начальника комбината уже второй день просят отменить отправку этих людей, работать-то кто будет, если их отправят? Только и сам начальник комбината вряд ли что сделает: указание-то с самого верха, — чертыхнулся и отошел. Вероятно, это так и было.

Но! Примерно через час объявили, чтобы расходились по своим баракам до завтрашнего утра, а кто из других лагерей — определят в свободный барак.

Я предложил Петру Фомичу:

— Пойдем к нам в барак. Народу у нас сейчас мало, свободных мест сколько хочешь, отдохнешь и поспишь. А в том бараке, куда вас поведут, холодно. Он пустой совсем. Я знаю. А завтра утром, если будут собирать (мне хотелось, чтобы этап отменили совсем), и уйдешь. Какая тебе разница? Зато в тепле будешь. Насчет кормежки сейчас разузнаем. А пока попьем чайку да перекурим.

Толпа быстро стала расходиться, оставались только заключенные из других лагерей. Разузнав от нарядчиков, где получать прибывшим из других лагерей обеды и ужины, мы пошли в наш барак. Здесь было тепло и пусто. Несколько человек, которые ушли на работу, еще не возвратились.

— Ну вот, видишь, Петр Фомич, сколько свободных мест, — говорил я ему, показывая на голые нары. — Раздевайся и ложись. А я пойду к дневальному в «кубовую» и принесу кипятку.

Это было совсем рядом, и я через несколько минут с полным чайником возвратился. Достал сахарок, заварку. Выпили по кружке и закурили. При электрическом свете (с начала осени его почти никогда не выключали) Петр Фомич показался мне совсем стариком: как-то еще больше похудел, согнулся, на голове все волосы поседели. Мне стало его жалко.

В бараке мы были только вдвоем, и я, ничего не опасаясь, с озлоблением сказал:

— Опять нашему «отцу отцов», «вождю народов» захотелось поиздеваться над людьми, всех перебудоражил. Кому нужны эти спецлагеря?

Мне думалось, что Петр Фомич меня не только поддержит, а выразит еще большее возмущение. Но он после некоторого молчания начал как-то совсем странно:

— Сталин здесь мало в чем виноват (совсем другого наслышался я здесь в эти несколько дней). Всему виной оголтелый империализм, особенно американский. Чтобы сохранить свое владычество, он не остановится ни перед чем. Надо взорвать половину земли — сделают не моргнув глазом. А наш социализм им поперек горла. Вот и лезут к нам со всех сторон. Вербуют всех мало-мальски недовольных как за страной, так и внутри. Вот он, Сталин-то, и не верит никому, даже самым близким. А те, что пониже рангом, в угоду ему сажают без разбору в тюрьмы и лагеря.

Я же про себя подумал: «Не посадили же Катьку Астафьеву, мою одноклассницу, которая всегда первой кричала: «Да здравствует Сталин!», а заперли меня, кто листовки клеил на телеграфные столбы, — значит, разбираются». Хотел ему возразить, но не стал: зачем старика расстраивать, ему и без этого тяжко?

Он продолжал:

— Оттого и сидят тысячи ни в чем не виновных, то оговоренных, то проговорившихся. Оттого у всех страх. И спецлагеря создают для устрашения, чтобы и в мыслях не допускали возможность измены или прочего вредительства.

Капитал победит

Его рассуждения мне очень не понравились. Срок на исходе, а тут возьмут да и добавят еще столько же для устрашения. Я миролюбиво, стараясь не обидеть его, заметил:

— Почему же ты тогда в других партиях был, а не в ВКП(б)?

Он помолчал и сказал:

— Ты Пушкина читал? Так вот, там отец своему сыну перед отправкой на службу говорил: «Кому, сынок, присягнул, тому и служи!». Так вот и я делаю. Не мотаюсь от одних к другим. Пусть хоть и плохо сейчас мне, зато душа свободна и чиста. А кроме того, знаешь ли ты, что наши программы мало чем отличались от большевистской? И если бы мы взяли власть, то тоже бы стали строить социализм. Лучшей идеологии для работников труда, чем идеология социализма, не было и не будет. Только мы бы начали строить несколько по-иному. Но при любом методе строительства социализма империалистические воротилы мешали бы и нам также, как они это делают сейчас. И нам пришлось бы также применять методы подавления. Здесь середины нет. Или социализм, где для всех равенство, или царство богатых, где одни повелевают, другие в рабстве. Но строить социализм нужно чистыми и честными руками... Которых очень, очень мало! Поэтому в этой беспощадной борьбе победит капитал.

— Ну что вы говорите, Петр Фомич? — воскликнул я. — Сейчас почти вся Европа под нашим правлением, а вы говорите такое!

— Я уже тебе говорил, что буржуазных королей ничто не остановит: для устрашения народов они дотла разбили немецкие города (Гитлер тот тоже был им, как кость в горле), сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, когда войны уже, по существу, не было. Сейчас все их помыслы: вернуть в наше государство прежний строй. Я не хотел, чтобы у нас повсюду были лагеря заключенных, но и совсем уж не желал бы возврата изгнанных капиталистических дельцов и прочих кровососов.

Я воспротивился:

— Но ведь у них там демократия!

— Никакой демократии там нет. И правят всем жестокий закон капитала, безраздельная власть денег, закон волчьей стаи.

Петр Фомич немного, как мне показалось, рассердился.

Понимая, что Петра Фомича не так просто переслушать, а, не дай Бог, если с этим разговором дождаться ночи (его, как я помню, допекает бессонница)...Я стал принимать меры, чтобы перевести нашу беседу на другие темы.

— Расскажи лучше, как ты здесь оказался и где до этого был?

— Что тут особенного? Все очень просто, — сказал Петр Фомич и продолжил: — Привезли меня сюда два месяца назад. И был я в лагере 19-го пикета. Пристроился там неплохо, дневалил в бараке. Но вот, видишь, опять не повезло. Снова на этап.

Я посмотрел на его согнутую стариковскую спину и подумал: «Ну какой же из него камнелом? (Слышал, что в тех клятых спецлагерях будут они кирками долбить каменные скалы. Было ли так или все это преувеличенные домыслы – не знаю). Надолго ли его хватит?».

Спросил опять (лишь бы только от политических разговоров отвернуть):

— А как ты провел эти два года?

— На лесоповале, — ответил он, — в небольшом лесопункте. Ну, там мне просто посчастливилось. Я был в бригаде лесорубов учетчиком и дневальным. Бригадир пристроил. Наш был. Вместе одним этапом из Красноярска приехали. Да ты его, может, помнишь? Андреем звали. Здоровенный мужичище.

— Уж не тот ли, что раскидал «шарапщиков», которые отнимали у старика мешок с передачей? — спросил я.

— Он самый, — ответил Петр Фомич и улыбнулся светлой улыбкой.

Мне очень захотелось узнать их историю, да и Петра Фомича отвлечь от политики. Я попросил: «Расскажи, Петр Фомич!». Налил ему еще кружку горячего чая (пусть душа подобреет). Подал ему. Он отхлебнул и сказал:

— Хорошо! Сразу как-то веселее становится.

Вдруг я вспомнил, что давно уже пришло время обеда, взял свой котелок и котелок Петра Фомича. «Сейчас быстро схожу, — думаю, — и мы подкрепимся, а то уже больше трех часов. Обеденное время закончилось. Попрошу, чтобы заодно и ужин дали». Хотя уверенности твердой, что «отоварят», не было. Сказал Петру Фомичу:

— Давай твои талоны.

Он их получил по списку у нарядчика перед уходом всех по баракам.

На кухне уже никого не было. Я постучал в раздаточное окно. Недовольный повар пробурчал: «Не можешь, что ли, прийти вовремя?». Но взял оба котелка. В один налил супу, а в другой каши. Повар меня знал и поэтому «набухал» оба котелка до краев. Я забежал по пути в хлеборезку. И сразу же обратно к себе, в барак. Петр Фомич разулся и лежал на свободных нарах, рядом с моим местом.

— Быстро же ты, — сказал он.

Мы уселись. Когда закончили обедать, Петр Фомич сказал:

— Хорошо кормят. Теперь до утра ничего не захочется.

— Кормят сносно, — ответил я. — Всем хватает. Многие кое-что промышляют на базе продуктов, так те совсем на кухню не ходят.

— Все ничего, только вот душа от этих потрясений места не находит, — сказал я и предложил: — Давай приляжем, а потом ты уж расскажи, что знаешь об Андрее.

После перекура Петр Фомич рассказал мне горькую историю, каких

тогда было много. К великому сожалению, теперь, в наше «время не военное», подобных тоже по немало, а некоторые по зверству, изощренности еще страшнее. Затерялись в памяти, затушевались детали, забылись некоторые имена, но смысл и содержание запомнились мне.

Такое, как страшный сон, не забывается. А история такова: Петр Фомич в больнице злобинской пересылки пролежал около двух месяцев. Когда вернулся назад, то на Север больше этапы не отправляли (лето закончилось), стали формировать этап на лесозаготовки в Тайшетлаг. Через несколько недель многих из их этапа увезли на небольшой лесоучасток. Люди в основном попали туда хорошие, большинство политзаключенных и проштрафившихся хозяйственников. Наглых «бытовиков» и уголовщины не было. Вместе с Петром Фомичом приехал и Андрей. Тут же распределили по бригадам, а через несколько дней Андрея назначили бригадиром.

— Я в этой бригаде, — сказал Петр Фомич, – стал учетчиком и дневальным. Бригады были крупные, до 50 человек. Работы на лесоповале тяжелые, нормы большие. Некоторые бригады часто не справлялись с заданием. В нашей почти не было срывов. Люди подобрались крепкие и дружные. Я не в счет, занимался бумажными делами да по хозяйству. Если же назревали по каким-то причинам срывы, Андрей вставал в первые ряды. Так же, как на фронте. Подбирал самых крепких трех мужиков и валил с ними деревья. Он без передыха один, они по очереди, сменяя друг друга.

Могуч был, не знал устали. А глядя на него, работалось веселее. Так и дотягивали до задания. Тут вскорости к нему приехала жена. Ольгой звали.

— Постой, — перебил я. — Красивая такая?

— А тебе откуда знать? — спросил Петр Фомич.

Я рассказал Петру Фомичу, что видел их возле ворот пропускной вахты в Злобино в последний день, перед отправкой в Дудинку.

— Ты-то тогда в больнице лежал.

— Вот ведь как, — удивился Петр Фомич и добавил: — Что хороша, то хороша. С таких женщин большие художники только иконы пишут. Красоты удивительной, так и льется из глаз какое-то небесное свечение. И душою, словно ангел. Андрей как-то на свидании сказал ей: «Может, Оля, тебе уж отступиться от меня? С фронта ждала, а теперь опять приходиться ждать лагерника».

Посмотрела на него Ольга своими большими чистыми глазами, и понял Андрей, что обидел ее своей необдуманной глупостью. Она же вскорости устроилась работать на нашем же лесопункте врачом по своей специальности.

Обычно в лагерной системе не рекомендуется совместная работа мужа с женой, когда кто-то из них осужден (хотя утверждать не могу). Но нет правил без исключений, тем более, что в такую глухомань никто добровольно не ехал. И лагпункт уже около года был без каких-либо медработников, кроме заключенных санитаров. Освободился Андрей за отличную работу досрочно. Тогда еще применялись зачеты. Да и статья у него была слабенькая. И срок только 3 года.

Уходил он вместе с Ольгой. Многие желали им добра, а я даже не смог удержаться от слез. Вскорости и наш лагпункт весь расформировали. Многих отправили на другие лесоучастки, а вот меня и еще нескольких человек, от которых толку мало на лесоповалах, опять в Злобино (я же подумал: «И в спецлагерях от тебя тоже не будет пользы»). А остальное тебе уже все известно.

Задумавшись, я спросил, как бы между прочим:

— Где они сейчас, и пустят ли их в Ленинград?

Петр Фомич сказал утвердительно:

— Пустят! И квартира у них там их прежняя цела, мать Андреева живет с их сынишкой.

Мы долго молчали. За окнами уже стемнело. На улице повсюду горели огни. Вахту освещали прожекторы. Народу возле нее не было никого, только вахтеры чаще выходили. Понял, скоро начнут возвращаться бригады с работы. Мне хотелось узнать об Андрее с Ольгой побольше. Но тревожить Петра Фомича не стал. Он задремал.

Чтобы не валяться по-пустому (что зря опухать?), вышел из барака походить среди людей, может, что-нибудь разузнаю. В бараке, где собрались заключенные из других лагерей, дым стоял коромыслом.

Я подходил к одним, к другим, иногда вступал в разговор. Ничего толкового не узнал: каждый говорил, что ему хотелось. Я возвратился. Бригадники уже пришли. Их было немного. Один спросил у меня, указывая на спящего Петра Фомича:

— Это что, новенький?

Ответил, что этапируемый в спецлагеря. Бригадник сказал:

— Наверное, не будет этапа. Все начальство хлопочет, чтобы оставили. Некому будет работать в порту, если их отправят.

— А ты откуда знаешь? — спросил я. Хотя уже и от других слышал об этом.

— Прораб говорил с бригадиром, вот мы и узнали, — ответил тот.

«Дай-то бог, — подумал я, — уж больно много хороших людей собрали».

Судьба фронтовика

Утром, когда бригадники ушли на работу, после завтрака я спросил у Петра Фомича:

— А за что Андрея посадили? Весь фронт прошел. И на тебе!

Этот вопрос с самой встречи с Петром Фомичом не давал мне покоя, но задать его как-то не хватало смелости: вдруг окажется, что Андрей совершил какое-то грязное преступление, а мне не хотелось развеивать сложившееся у меня о нем хорошее мнение.

Петр Фомич помолчал и сказал:

— Долго рассказывать. Натерпелся Андрей за годы войны не меньше нас с тобой. Да и тех, кому довелось с ним горе и беды мыкать, тоже не обойдешь. Так что времени на это уйдет уйма, не успею. Много он о себе мне рассказывал. Как-никак, а я ведь тоже ленинградец.

— Ну, а что сейчас делать? Идти некуда и делать тоже, — сказал я и попросил: — Давай, начинай! Может, и этапа не будет вовсе.

— Ну, ладно! — согласился Петр Фомич, — а если не успею, сам домыслишь.

Андрей Бушуев — коренной ленинградец. Его мать Дарья Савеловна тоже ленинградка. Рано лишилась родителей. Родных в этом большом городе у нее не было. Была двоюродная сестра, но жила она где-то на Волге. Несмотря на трудности и свалившееся горе, Даша не растерялась. Перебивалась случайными заработками, научилась шить, вечерами училась на медицинских курсах и стала сестрой милосердия. Нанялась в больницу санитаркой, но вскоре за прилежность в работе, добросовестность и знания перевели ее на должность дежурной медсестры в палату.

Понемногу успокоилась. Как-то раз в больницу пришел часовых дел мастер. Его, по просьбе главного врача, прислали из мастерской отремонтировать какой-то уж очень сложный прибор. Главврач, глядя на него, спросил:

— Сумеешь ли? Уж не первый ты берешься за это дело. По твоей выправке тебе бы лучше коней ковать, а приборчик-то уж очень хрупкий. Как звать-то тебя?

— Степаном, — ответил мастеровой и тут же прибавил: — Действительно, приходилось мне ковать лошадей в деревне, не обижались сельчане на мою работу. А теперь уже три года, как работаю в мастерской. Один раз мастер дал починить английские часы. Хозяин по пьяному делу изуродовал. Половину деталей пришлось вновь изготовить. И пошли часики не хуже прежнего. Так что не беспокойтесь, управлюсь с вашим прибором, — успокоил Степан главврача и принялся осматривать прибор, который ему указали.

— Ты, Даша, помоги ему, если что понадобится, — сказал главврач и ушел.

Степан раскрыл чемоданчик, разобрал весь прибор, взял с собой изломанную деталь и сказал Даше:

— Дня через два приду снова. Изготовлю заново поломанную часть, и ваш прибор будет работать.

Через три дня Степан вернулся, собрал механизм воедино, и к великой радости главврача прибор снова стал исправно служить людям. С этого дня он стал частым гостем в этой больнице, бескорыстно выполнял кое-какие заказы, особенно, если о том просила Даша. Через несколько месяцев Степан и Даша поженились. За два года до войны у них родился сын. Назвали его Андреем. Жили в мире и согласии. На германскую войну Степана не призвали, уж больно хорош был специалист, а когда пришли большевики, то взяли его на ремонт воинского вооружения, да так и остался он до самого конца революционных бурь на военном заводе. А как подрос Андрейка, отдали в ученье в школу.

Там же, по Лиговке, недалеко от их дома жила еще одна семья. Глава семьи Аркадий Поликарпович происходил из богатого рода. Но, будучи «вольнодумцем», со студенческих лет связал свою судьбу с революционным движением. Его с первых курсов из университете два раза исключали. И

только благодаря заступничеству отца, богатого промышленника, дело закрывали.

Несмотря на многие неприятности Аркадий Поликарпович окончил обучение с успехом. Мог свободно разговаривать на двух иностранных языках.

Революционный пыл к этому времени укротил, но связи с революционно настроенной молодежью не прекращал. Сразу же после университета был принят на работу в департамент иностранных дел. Вот тогда-то его отец, видя, что сын остепенился и отошел от революционной «кутерьмы» (а Аркадий в это время навсегда связал свою жизнь с большевиками), купил для него довольно приличную квартиру на Лиговке, совсем недалеко от дома, в котором жила Даша.

Вскоре Аркадий Поликарпович взял в жены Клавдию Петровну, девицу образованную, прекрасного воспитания, но набожную и суеверную. Вскоре у них родился сын в тот же год и почти в том же месяце, что и Андрей. Назвали Владимиром.

По стечению обстоятельств Андрей с Владимиром пришли в школу в один и тот же день. Они сразу же подружились и до последних дней были неразлучными друзьями. Сначала учителя называли одного Андрюшей, другого Володей. Когда подросли, то к ним обращались:

— Андрей Бушуев, пожалуйста, к доске, расскажите, как выучили урок.

А если к Володе, то — Владимир Батурин...

Андрея интересовала механика, Владимира гуманитарные науки. Имея неугомонный характер, Владимир всегда был в гуще молодежной жизни. К концу учебы его избрали секретарем комсомольской организации.

Андрей в общественную жизнь не лез, но после уговоров Володи в комсомол вступил. Оба поступили в один институт, только на разные факультеты. На втором курсе Владимир вступил в партию. А впоследствии его избрали секретарем парторганизации. Все шло хорошо. Но судьба всегда дает перекосы.

В начале 30-х годов отца Андрея, Степана Матвеевича, направили в составе группы механизаторов в далекие кубанские степи на подъем сельского хозяйства. Им предстояло доставить три трактора и наладить работу по весенней поре на вспашке.

Не довелось. Все вместе со Степаном Матвеевичем погибли от кулацких пуль. Трактора сожгли и изломали. После гибели отца Андрей заметно повзрослел. Стал во всем помогать матери. Ходил на подработку. Дарья Савеловна, хотя осталась еще довольно молодой вдовой, но второй раз замуж не вышла. Тяжело переносила утрату. Чтобы заполнить душевную пустоту, пошла на курсы повышения квалификации. Так между горем и делом сделалась лечащим врачом в той же больнице, в которой работала с первых лет и где познакомилась со Степаном.

Всю себя отдала воспитанию сына. Как стал он входить в годы, так все больше и больше тревожилась: «Ты, Андрюша, всей статью похож на отца, а лицом вроде бы в меня. Поопасись, поберегись, сынок, не к добру такое». А Андрей давно обошел силушкой своего папашу. Бывало на первых кур-

сах студентом возьмет лом да и согнет через шею. Скажет парням:

— Выпрямляйте!

Ухватятся те по двое за каждый конец, а сделать ничего не могут. Усмехнется Андрей на материны тревоги и, чтобы успокоить, скажет:

— Я ведь и по вечерам-то никуда не хожу.

Хотя в те годы не надо было бояться ночной темноты. Это сейчас в наше «демократическое» время на каждом углу или в подъезде то бомж, а то хулиган поджидает.

Вроде бы становилось спокойнее на душе у Дарьи Савеловны, но не надолго. «Господи! Пошли ты ему жену добрую», — про себя молила она. Помогал Андрею и Володя. Он хорошо понимал, как тяжело его другу. Прибежит, растормошит, заговорит и уведет его с собой то на какие-нибудь соревнования, то в поход. Активист был отменный. Окончили оба институт в один год. Андрею сперва дали направление в Сибирь, но потом оставили в Ленинграде на заводе мастером, а Владимир остался при институте. Но там долго не задержался: взяли в райком инструктором. После 1934 года требовалось большое число грамотных работников, чтобы восполнить партийные органы. Владимир не упирался, да и отец, Аркадий Поликарпович, не советовал отказываться. Он хоть и не во всем был согласен с проводимой политикой, но в оппозицию не становился:

— Куда же мне старому?

Да и понимал бесполезность. Пару годков после института друзья походили холостяками, а потом враз женились на сестрах: обе были пригожи, под стать парням. Владимир взял в жены Надежду, а Андрей — Ольгу. Те тоже совсем недавно окончили институты. Надежда работала второй год в школе, а Ольга в поликлинике врачом первый год. Перед тем как жениться, привел Андрей Ольгу показать матери. Охнула Дарья Савеловна, увидев будущую сноху.

По всем статьям хороша, настоящая «княгиня», только уж больно красива. Когда же узнала, что у них с сестрой нет родителей, оба умерли в голодный год, и воспитал их дядя, теперь уже тоже покойник, совсем умилилась и успокоилась:

— От таких не уходят, с такими не расстаются.

Чтобы не мешать молодым (квартира-то была небольшой), Дарья Савеловна решила уехать к двоюродной сестре на Волгу.

Родственница давно звала ее навестить, да пожить у нее. Стара стала, а близких и родных тоже никого. До глубины души тронули Дарью Савеловну слова Ольги, когда она перед отъездом подошла к ней и со слезами на глазах сказала:

— Дарья Савеловна, вы не надолго уезжайте, а то нам без вас будет плохо.

С тем и уехала:

— Пусть помилуются, а мне и там хорошо будет!

В жизни многое повторяется. У Надежды с Владимиром родился сын, назвали Васей. А у Ольги с Андреем чуть позже появился Максимка. Все было, как должно быть. Но не бывает на земле бесконечно счастливых людей. Так уж устроена жизнь.

Умер в одночасье Аркадий Поликарпович. Не перенес треволнений

и бед, что свалились на долю многих его друзей в 1937 ходу. Клавдия Петровна сникла, как опахнутый ледяным холодом садовый цветок. Будучи набожной, не корила, не кляла судьбу. Всю заботу и любовь перенесла на внука Васятку.

Хорош рос парнишка. Тихо про себя поклялась, что наставит его на истинный путь, внушит ему веру и любовь к Богу. Не могла смириться, что муж и сын ее самые отъявленные безбожники. Так пусть хоть Васятка станет другим, а Господь за это зачтет и отцу, и деду. Да и самой от этого станет легче.

В мольбе и тревогах (а вдруг и этот отступится по примеру отца) заполняла свою роковую пустоту. Как-то раз Надежда пожаловалась сестре:

— Не знаю, что и придумать, как предотвратить... Не испортила бы Клавдия Петровна Васятку. Уж больно набожна, и усердно внушает ему свою веру в Господа, и делает это тайком. И он ей подражает.

Ольга рассмеялась и сказала:

— Да он же еще совсем глупыш, ему три годика недавно исполнилось. Пойдет в школу, все забудется, не расстраивайся, все будет хорошо.

Ненадолго пережила своего супруга Клавдия Петровна. Зимой, незадолго до войны, проболев немного, умерла она тихо и незаметно. Сильно переживали все. А Надежда больше всех. Не уходила из души укоризна к себе, что таила неприязнь к Клавдии Петровне за Васятку. Тайком от Владимира заказала панихиду, знала, что не согласится. А жизнь шла. Владимир быстро продвигался по служебной лестнице. В 41-м стал секретарем райкома. Андрея тоже все агитировал вступить в партию, тот отвечал однозначно:

— Не подготовлен.

На работе давили:

— Становись начальником цеха!

И здесь отказался. Не вилял, не врал: хлопотно очень. Видел, что приходилось его непосредственному начальнику работать сутками, без ночей и выходных. С тем и отступилось заводское начальство, а потом и партийные органы.

Так и текла у него жизнь без больших забот и треволнений. Молодые семьи зачастую собирались вместе, чаще у Владимира. Там квартира была больше. Приходили и соседи, что жили в одном подъезде. Особенно в праздники было многолюдно. В свободное время ездили по Неве. Много бывало народу в первые весенние дни на невских берегах и пляжах. И потому никто не думал, какая надвигается военная угроза. И она началась.

Великая Отечественная. Перевернулись людские судьбы. В первые дни поняли советские люди, какую разруху, а может, и гибель несет из немецкого логова коричневая чума.

Забылись распри, утихли раздоры. Встала огромная держава на свою защиту. В первые же дни Андрей и Владимир отнесли заявления, чтобы пойти добровольцами на фронт. Долго отказывали обоим. Когда же немцы подошли к Ленинграду совсем близко, партийный комитет направил Владимира в самое пекло. Через несколько дней взяли и Андрея. Судьба и здесь

не разлучила их. Они попали в одну часть, защищавшую город.

Владимир сразу стал политруком в полку, а Андрей сначала простым солдатом, а потом его перевели в полковую разведку.

Виделись редко, хотя были рядом. Иногда получали весточки из дома. От Оли и Нади. Знали, как тяжело в городе, а когда Владимиру довелось бывать в Ленинграде по воинским делам и удавалось заскочить на несколько минут к своим, возвращался всегда с тяжелым настроением. С каждым днем немцы все сильнее зажимали, и казалось, что только чудо удерживает город от его полного истребления.

Вскоре Ольга уехала с санитарным поездом, увозя раненых. Захватила с собой и Максима. Надя с Васильком остались. Сколько ни уговаривала ее Ольга, хотя бы отпустить с ней Васю, не согласилась. Как будто дурманом затуманило ей голову.

— Будем дожидаться Володю, тогда уж и решим. Да и война не бесконечна.

...Видела Ольга, что исхудали до невозможности сестрица с Васяткой. Но как помочь, когда все такие? Так и расстались.

А война становилась все жестче и жестче. Тысячи людей погибали в сражениях, еще больше умирали в городе, зажатом в «железные тиски». Почти два года судьба берегла Владимира и Андрея. Из самых жарких боев выходили целыми и невредимыми. Но не прошла военная кручина и мимо них. Однажды при авианалете немецкая бомба прямым попаданием угодила в бункер штаба полка. Почти все, находившиеся там вместе с командиром, были убиты.

Владимира ранило смертельно. В землянку разведчиков эта страшная весть донеслась сразу же. Еще немецкие самолеты сбрасывали последние бомбы, а Андрей уже бежал в полевой госпиталь, куда увезли Владимира. Его сначала не пускали. Но дежурный врач, спешащий по коридору, вдруг остановился, подошел к Андрею и спросил:

— Вы к кому?

Когда узнал, сказал, не глядя на Андрея, санитарам: «Пропустите, — и добавил, уже не обращаясь ни к кому. – Он тоже просил.

Андрей не сразу узнал Владимира. Опустился на рядом стоящую табуретку и, глядя на него, подумал: «Может, не он, совсем не похож». Когда же Владимир открыл глаза, сомнение исчезло: «Он...». Превозмогая боль, Владимир повернул голову в сторону Андрея. Измученная улыбка передернула губы. У Андрея мелькнуло: «И тут не хочет показать себя поверженным». И вспомнилось, как приходилось Володьке отбиваться в школе сразу от нескольких сверстников, и когда прибегал Андрей на выручку, он выговаривал: «Ну, чего ты примчался, я бы и сам управился!». А у самого в кровь разбиты и губы, и нос. И от этого воспоминания какая-то нестерпимая боль полоснула в груди, стало горько-горько. Защемило сердце. Понял, что последние минуты доживает его самый лучший друг. А Владимир чуть слышно, с перерывами, говорил:

— Все, Андрюша... Жизнь кончилась... Упрекать себя не в чем... Прошу тебя, расскажи Надюше все как есть... Только сделай это не сразу и как-

нибудь поаккуратней... – Он замолчал. Потом, собрав последние силы, сказал:

— Жаль только...

Что хотел сказать Владимир, Андрей уже не услышал. Смерть опередила. Скупая слезинка скатилась из угла глаза по щеке и растеклась на закрытых губах...

Доблестно жили советские люди, когда пришла беда, все поднялись в роковую годину на защиту Отечества, мужественно и достойно умирали. Хоронили по-фронтовому. Сказаны скупые солдатские слова, прогремели залпы — закончился похоронный ритуал. И снова жесточайшие бои.

Тяжелым камнем навалилась на Андрея смерть Владимира. Нигде не находил себе места. Хорошо, что часто посылали в разведку. Там, среди смертельной опасности, порой в рукопашных схватках, на время забывалось горе. А когда возвращался в свою землянку, одолевала тоска. А мысль о том, что предстоит рассказать про смерть Владимира Надежде, доводила до изнеможения.

Однажды в завязавшейся с немцами перестрелке Андрея ранило. Рана была несерьезной, но с хромой ногой в тыл не пойдешь. И коротал он дни и ночи в печали и терзаниях. Когда рана стала подживать и он уже мог свободно ходить без всякой помощи, вызвали его в штаб полка. Командир части из бывших комбатов хорошо знал Андрея. Разговор состоялся короткий.

— Нужно доставить из Ленинграда особый, очень нужный груз.

Какой? Не сказал.

— Возьмешь шесть солдат, четыре грузовика. Где его получить и от кого, узнаешь в штабе армии. Все необходимые указания получишь завтра утром перед выездом. Задание серьезное. Кроме тебя никто ни о чем не должен знать. Солдатам объяснишь: едете за спецобмундированием.

Немного помолчав, спросил:

— Как нога?

— Все в порядке, — коротко ответил Андрей.

— Тогда свободен — можешь идти.

Он посмотрел на Андрея, что-то хотел сказать, но, видимо, передумал и добавил:

— Все.

Когда вернулся в свою землянку и начал собираться, ребята спросили: «Далеко?» Ответил:

— В Ленинград на недельку подлечиться. Врачи что-то еще нашли в ноге. Завтра утром обещали подвезти на попутке.

Совсем скоро притащили разведчики целый мешок продуктов. У них все было. Знали, что голодно живут ленинградцы. Потому ничего не жалели. Стал отказываться. Но как? Сам поступал так же в подобных случаях. Утром выехали. Фронт от Ленинграда был недалеко, но добрались туда только ночью. В штабе долго проверяли доку¬менты, куда-то звонили, переспрашивали. Потом приказали:

— Машины поставьте во двор, в них и переспите. Мест нет. Ваше дело будет завтра решаться.

На следующий день не скоро дошла до них очередь. Только во второй половине дня Андрея допустили к полковнику. Тот сказал, что ждать придется несколько дней. Андрей обратился к полковнику с просьбой навестить родных.

— Вот как? Так ты ленинградец? — спросил полковник. — А где живут?

Андрей сказал.

— Далековато, но ничего! Бери машину, доедешь, сам останься, а машину отправь назад. Накажешь, чтобы завтра за тобой пришла. Впрочем... — Он немного подумав, добавил: — Можешь еще день побыть. Все равно груз не будет готов. Уж очень ленинградцы слабы стали. Работают и падают.

Когда ехали по городу, сердце Андрея не находило покоя. До боли знакомые места. Только все казалось умершим. Вот и дом, где он прожил всю жизнь. Поднял голову и скорее представил, чем увидел дом, в котором жил Владимир и где сейчас ждет своего мужа Надежда. Что он ей скажет? Как передать эту черную весть?

Кровь прилила к голове. Лучше в любой бой, под самую страшную бомбежку. Казалось, что разорвется его могучая грудь, задохнется он от нахлынувших чувств. Подавив в себе тревогу, сказал шоферу:

— Поезжай, Федор, назад, а утром с рассветом вернешься.

Немного подумав, добавил:

— Не надо утром, приезжай к середине дня и жди меня здесь.

Направляясь к подъезду, немного задержался и указал Федору на окна своей квартиры. Поднялся на площадку своего этажа и подошел к двери. В подъезде сквозь выбитые стекла пробивался тусклый свет луны. Тронул дверь. Она оказалась запертой. Пошарил рукой за обналичником (иногда Ольга оставляла ключ, тогда воровства было мало, не то что теперь), но и там его не было. Дверь ломать не хотелось. Пошел поискать хоть кого-нибудь из соседей: может, топор или стамеску дадут. Обошел все квартиры на втором этаже, спустился на первый. Нигде никого. Неужели все пусто? Уже начал подниматься вверх, может, на 4-м или на 5-м кто-нибудь остался, как вдруг услышал мужской голос из угловой квартиры:

— Вы кого ищите?

Андрей подошел поближе и стал объяснять. Дверь сразу же отворилась, и знакомый еще с давних времен мастер с завода, где работал Андрей, с добродушным укором проговорил:

— Ну, что же ты, милый, так долго разглагольствуешь, сказал бы, что Андрей. Да заходи, заходи скорее, а то все тепло выйдет. Ключ-то Оля, как уезжала, оставила мне.

Андрей был несказанно рад этой встрече. Надо же! Степан Афанасьевич, милейший человек, любимец всего дома. И вот он стоит прямо перед ним. А тот меж тем ворковал своим простуженным баском:

— Как хорошо ты потрафил, а то я уж собирался на завод. По суткам работаем. Ушел бы и только послезавтра вернулся. Ну, ладно! Не буду тебя

задерживать. Расскажешь, как вернусь. Надеюсь, что не уедешь до моего прихода? — спросил Степан Афанасьевич.

— Может быть, но времени у меня очень мало, — ответил Андрей и стал уходить.

— Может, ты у меня останешься, в вашей квартире холодина ужасная, — опять предложил Степан Афанасьевич.

— Нет, Степан Афанасьевич, у меня еще дела! – отказался Андрей.

— Ну, как знаешь,— мирно согласился Степан Афанасьевич.

Андрей взял ключ, поблагодарил и поднялся в свою квартиру. Холод могильный. Он обошел, все осмотрел. Раскрыл зачем-то шкаф, выдвинул из комода ящики. Они были пусты. Видимо, Ольга, что смогла, выменяла на продукты, остатки увезла с собой. Понял, что делает это, чтобы оттянуть время: уж очень страшился идти к Надежде. Сел. Задумался. И вдруг осенило: что же он ничего не дал Степану Афанасьевичу? Вскочил. Неужели уже ушел? — подумалось. Схватил мешок, суетливо стал отбирать часть продуктов. В это время дверь отворилась и появился Степан Афанасьевич.

— Андрюша, — начал он сразу с порога, — у тебя, наверное и свечки-то нет. На вот небольшой огарочек. Разберешься при свете, а как буржуйку растопишь, то дверку чуть открой, и все посветлее будет. Тогда и затуши его. Сейчас все так делают, кто остался. Эх-хе! Когда-то еще придет электричество! А уж топить придется мебелью. Оля все променяла, а мебель берегла: вот придет Андрюша, разломаем комод и натопим жарко-жарко. Все время в холоде жила. Ну давай, обустраивайся. А как уезжать будешь, ключи снова могу взять. Хоть у вас и брать-то нечего, а присмотр все равно нужен!

Андрей достал из мешка две банки консервов, каравай хлеба, две пачки папирос (помнил, что мастер покуривал) и протянул стоявшему перед ним Степану Афанасьевичу. Тот сразу не сообразил, а когда понял, то стал отказываться:

— Нет, нет! Что ты, Андрюша, это такое богатство, не могу принять!

— Степан Афанасьевич, — Андрей мягко, но напористо давил, – бери, сейчас все люди друг другу помогают.

— Что ты, Андрюша, мне такое счастье и во сне не снилось! Да и как это, ведь ты же с фронта, — упорствовал Степан Афанасьевич.

— На фронте плохо, страшно, но такого голода, как здесь, там нет нигде. И все это я привез оттуда, — сказал Андрей и положил снедь в задрожавшие руки Степана Афанасьевича.

Тот, немного помолчав, сказал:

— Одну банку и половинку каравая возьму на завод, то-то радость будет товарищам. Здесь-то не с кем поделиться. Кроме меня — никого. Одни уехали, другие умерли.

Посмотрел на Андрея повлажневшими глазами и, попрощавшись, тут же ушел. Андрей чиркнул зажигалкой. Хотел зажечь свечу и не стал: от зажигалки светло, да и фонарь еще трофейный есть. «А свечку в целости верну Степану Афанасьевичу», — подумал Андрей. Осветил комнату и увидел на столе придавленный чернильным прибором листок бумаги. Вытащил. Сразу узнал почерк Оли. В глазах зарябило. Не сразу вник в суть, слова не-

которые расплывались, видимо, когда она писала, не замечала капающих слез.

«Андрюша, милый! Спешу написать. Нас отправляют сопровождать раненых. Сколько ни просилась, не оставляют. Все ждала, ждала тебя, а от вас, ни от тебя, ни от Володи, нет даже весточки».

Андрей после гибели Владимира совсем перестал писать. Он и раньше писал редко, этим больше занимался Владимир.

«Нас перевозят в какой-то волжский городок. Но не говорят куда. Как приедем, сразу напишу. Максимка тоже будет со мной, а при возможности переправлю к твоей маме Дарье Савеловне. Она уж очень просила. У них не так плохо. А у нас хлеба давали по 200 граммов. Да и то не каждый день. Максим совсем исхудал. Андрюша, родной. Ну ради нас останьтесь с Володей живыми, ну пусть хоть какими. Мы ждем, очень ждем вас. Целуем тысячи раз. Оля и Максимка. P.S. А Надя ни в какую не хочет уезжать, говорит: буду ждать Володьку, без него никуда. Да и война небесконечна, должна же закончиться. Я бы тоже осталась. Но со мной об этом и разговаривать не стали. Просила Надю: отпустить со мной хоть Васятку. Тоже не отдала. Еще раз целую. Твоя Ольга».

Письмо было написано больше трех месяцев назад. Оно и обрадовало, и еще больше растревожило. Что сказать, как объяснить Надежде, где найти такие слова?

Душа не находила места. Надо идти! Превозмогая навалившуюся усталость, поднял мешок с продуктами и пошел по так хорошо знакомой дороге. Прохожих не было. Зимний день в Ленинграде короток, темнота наступила давно. В домах нигде не было ни огонька. Только из-за горизонта вырисовывался двурогий серп луны. Небо было чистым. Кое-где виднелись звезды. Андрей подумал: «Хорошая погода для налетов авиации». И заспешил, хотя в последнее время немцы много меньше налетали.

Вот и знакомый дом. Прошел через парадный вход. Поднялся на второй этаж. Было совсем темно, ощупью пробираясь, подошел к знакомой двери. Вот она, та же самая, через которую с шумом и смехом входили с Ольгой много раз. Усмирив биение сердца, постучал тихо, потом погромче. Никакого ответа. Взялся за ручку. Дверь открылась легко. Перешагнул порог, прошел в прихожую. Холодно, мрачно и оттого жутко. Никаких звуков. Спросил негромко: «Есть кто-нибудь?». Чиркнув зажигалкой (фонарь лежал в мешке, не хотелось доставать), прошел в комнаты, потом в спальню. Там было чуть теплее. Приглядевшись, увидел: на кровати кто-то лежал, закрывшись одеялом. Подошел совсем близко. Отвернул край одеяла. В ужасе отшатнулся. Обняв друг друга, прижавшись, лежали Надежда и Василек. Андрей нагнулся совсем близко. Страшная догадка прожгла сознание: неужели? Может, ошибся? Может, это не так? Но, вглядевшись в лицо Василька, потом Надежды, понял, что они мертвы. В правой руке Василька, обнявшей шею матери, Андрей заметил какую-то дощечку.

Не сразу понял что это. Но чуть отогнув ручонку, увидел маленькую иконку. Вспомнил: ту самую, из-за которой у Владимира с матерью часто разгорались размолвки. Если конфликты возникали в его присутствии, Андрей

всегда принимал сторону Клавдии Петровны и делал это так деликатно, что спор разрешался миром и воцарялось спокойствие. Владимир часто говорил Андрею: «Когда отец был жив, то ему досаждала за безбожие, а теперь меня корит без конца. Ну как ей доказать, что нет, нет бога». Андрей советовал:

— А ты не убеждай. Пусть себе верит.

— Да ладно бы меня! — возмущался Владимир. – А то ведь все это она внушает парнишке.

— А ты не расстраивайся, — говорил Андрей, — вот пойдет в школу, и все изменится, он же ведь еще ни в чем не разбирается (повторял он Ольчины слова. Приходилось и им беседовать между собой на эту тему).

Умерла Клавдия Петровна со своей неугасимой верой в святую церковь, так и не убедив ни мужа, ни сына в праведности своей небесной.

Андрей снова прикоснулся рукой к Васе, потом к Надежде. Они были холодны, как лед. Ему много приходилось видеть на фронте смертей и своих, и чужих. Хоть и тяжело, но что поделать. Война! Свыкся с этим неизбежным злом. Только гибель Владимира не отступала ни на минуту, а тут еще Надя с Васильком лежат мертвые. Сердце сначала заколотилось, будто молот о наковальню, потом оборвалось и словно остановилось. Он уцепился за спинку кровати, чтобы не упасть, и стоял так, пока не пришел в себя. Наклонился. Оттянул немного ручонку с шеи матери. Положил ребенка рядом с ней. Ладошку с зажатой иконкой не стал разжимать. Решил про себя: похороню вместе с ней. Андрей хоть и не верил в бога, но ничего не видел в религии плохого.

Зажигалка потухла. Видимо, кончился бензин. Заправлять ее снова бензином или же доставать из мешка фонарь не было сил. Наступила апатия. Ему было страшно в темноте, но казалось, что еще страшнее будет, когда при свете снова увидит самых родных ему людей, умерших такой ужасной смертью. Сидел на самом краю кровати, мысли текли вяло, только изредка подталкивали: «Надо все равно что-то делать».

Сколько прошло времени, он не замечал. Не обратил внимания, как кто-то отворил дверь и зашел, тяжело шаркая ногами. В темноте вошедший зацепился за что-то ногами, ойкнул. Андрей, вздрогнув, спросил: «Кто там?». Сразу не ответили. Подумал: может, померещилось? Простуженный глухой голос заговорил:

— Соседка я. А вы кто и как здесь очутились? Темно. Хоть глаз выколи. Ничего не вижу.

Ответил скупо:

— Родственник я. Подождите, зажгу огонь.

На ощупь заправил зажигалку, пламя слабо осветило темные утлы. Присмотревшись, увидел закутанную в старую истрепанную шаль старуху.

На ней была телогрейка и подшитые валенки. Ему показалось, что он видел когда-то эту женщину. Но кто она? Понимал, что кто-то из этого дома. Случалось, что они с Ольгой оставались у Владимира ночевать, а по праздникам гуляли по несколько дней, и потому знал всех соседей. Но сейчас он не мог признать никого из знакомых в этом «привидении».

Старуха спросила:

— Никак, видимо, не признал?

Андрей не ответил. Она продолжала говорить:

— Прасковья я, Филимонова... Этажом ниже живу. Тебя-то я узнала сразу. Часто вы с женой бывали у них. Прямо с фронта, что ли?

Андрей утвердительно качнул головой. Прасковья догадалась и тихо спросила:

— Не успел? — Андрей ничего не сказал. Старуха продолжила: — Сегодня утром, чуть рассвело, заходила к ним. Еще живы были. Надя уже не вставала с кровати, а Васятка стоял перед ней босой.

Прасковья замолчала. Видимо, не хватало сил говорить. Потом заговорила снова:

— Одной ручонкой держится за ее голову, а в другой зажал иконку. Стоит, голыми ножонками переступает, холодно. Плачет. Прижмет иконку к губам, поцелует и приговаривает:

— Батюшка Бог, добренький, оставь маму. Ты и так забрал всех из нашего дома, у меня совсем никого нет кроме нее, только она, а папка где-то воюет.

Подняла его через силу, хоть и совсем худой, а мочи-то у меня нет, сама еле держусь на ногах. Положила рядом, хотела взять у него иконку. Не отдал. «Мне, — говорит, — баба наказывала: как будет плохо, проси у Бога, он поможет».

И вспомнилось Андрею, как позвал их с Ольгой Владимир к себе перед смертью Клавдии Петровны. Ей совсем было худо. Подозвала всех и тихо проговорила:

— С миром живите, а меня простите, ухожу к Богу.

Василек стоял рядом. Совсем тогда маленький. Почему-то обратился не к отцу или к матери, а к Андрею:

— Дядя Андрей, давай не пустим бабу на небо. Пусть еще побудет с нами!

Ушла Клавдия Петровна. А наставления ее запечатлелись в детской головенке Васютки. Как же давно это было, и сколько прошло за эти страшные годы.

Перенесся в мыслях через них, и вспомнились времена счастливой поры со всеми радостями, тревогами, мимолетными разочарованиями. Даже слезы закипели на глазах.

А Прасковья говорит:

— Собрала последние чурочки, да еще кое-какие книжки, растопила буржуйку, согрела водички, напоила их. Я и раньше к ним ходила. Надежда уже не пила, а Васятка хлебнул глоток горяченького да и говорит:

— Остальное оставь маме.

Пошла я к себе. Думала, может, докторша на счастье зайдет, что-то давно ее уже не было. Раньше-то, когда в подъезде много жило людей, часто заходила. Хоть немного, но помогала. А уж когда люди разъехались, кто куда, а больше умерли, совсем редко стала посещать. Сейчас до самого верха в доме остались только я одна да кочегар Илья. Теперь уж, наверное, врачиха

совсем не придет. Помню, что твоя Оля приходила к Надежде, уговаривала ее уехать. Отказалась.

А как пришла я от них к себе, взяла корочку хлеба, думала отнести, хоть и знала, что ничто уж им не поможет, да хоть на душе будет легче, только шаг ступила и тут же свалилась на кровать. Не могла подняться. Весь день провалялась. Немного полегчало, поднялась их проведать, а тут и тебя повстречала.

Андрей плохо понимал, что говорила Прасковья. За все время ее рассказа не пошевелился. Он оцепенел. Глядя в застывшие родные лица, не мог верить страшной действительности. Для него время остановилось...

Меня уже много, много лет терзает горькая дума: сколько тягот и страданий выпало на долю нашего народа! Со всех сторон ползли железные орды. И больше всего с Запада, с немецкой стороны. Все муки ада испытал советский народ в Великую Отечественную войну. И оттого не укладываются в моей голове необъяснимые поступки наших верховных правителей и служителей церкви. Не могу уразуметь я, чадо убогое: во имя чего наш московский патриарх Алексий II совсем недавно приносил покаяние в Германии «за грехи и злодеяния» (причем от всего народа нашего), что совершили наши войска на германской земле при разгроме фашистских полчищ. Разве наши люди первыми пошли на них? Разве есть в чем-то вина Владимира, Надежды с их сыном Васей, тех миллионов погибших под снарядами и танками при защите Родины, или тех, что умерли от голода и болезней в тылу? Может, виноваты те, которых сожгли немцы в своих тюремных печах? Неприемлемо такое покаяние. У меня у самого брат погиб, защищая страну, другой остался инвалидом. Не вижу в делах церковных связи, поиному поступали истинные святые угодники на земле христианской.

Издревле знаем, как благославлял преподобный старец Сергий Радонежский князя Дмитрия Ивановича на беспощадную битву с наглыми захватчиками. Отправил в его войско для укрепления мощи духовной и физической двух иноков, Ослябю и Пересвета, дабы молитвою и мечом вселяли непоколебимость и крепость в души воинов русских. Достойно исполнили свой долг послушники святые.

Одержал князь Дмитрий Иванович Донской великую победу. И не было пощады захватчикам иноземным, надругателям над землей русской. В великой сече рубили, рубили и кололи (сколько можно терпеть тиранию и надругательства!), пока хоть один нечестивец оставался на нашей земле. И за это причислили князя Дмитрия Ивановича к лику святых.

А у Сергия Радонежского и в помыслах не было приносить ханам далекой орды покаяние за излишне (может быть) порубанных разорителей. Так что же сейчас переменилось? За что мы стали хуже и недостойнее?

...Слова Прасковьи пригнули Андрея. Не хватало даже сил повернуть голову. Мысли остановились совсем. И вдруг показалось, что поднимаются Надежда с Васяткой и как-то с укором смотрят на него: что же ты, Андрюша, как же так вы, мужики, допустили такое?

Андрей вздрогнул: «Надо что-то делать, иначе сойду с ума». Поднялся. С силой расправил затекшее тело, так что в суставах затрещало. Спросил у

Прасковьи:

— Где кочегар-то живет? И как его величают?

— В самой угловой комнате, батюшка, на последнем этаже, ответила Прасковья. — А зовут Илья Ефимович.

— Ты побудь здесь, а я схожу за ним, — попросил Андрей Прасковью.

— В темноте-то не найдешь! — посочувствовала ему она.

— Ничего, сейчас достану фонарь, — сказал Андрей, порылся в мешке и ушел.

Когда вернулся, Прасковья зажгла свечку. Она знала, что где лежит у Надежды: часто бывала у нее.

Кочегар долго не приходил. Старый был, пока собрался, потом перепутал этажи. И когда уже Андрей собрался снова идти за ним, тот, ворча, открыл дверь:

— Все по-старости перепутал!

— Илья Ефимович, — попросил Андрей, — помоги разобрать шкафы да два гроба сделать. Досок-то сейчас все равно нигде не достанем. А я схожу, скоро должны солдаты подъехать (хотя до утра было еще далеко), с ними могилу выкопаю.

— Струмент от у меня никудышный, но это бы ничего. Сил-то совсем нет, — отвечал Илья Ефимович. — Ну, да ладно. Что-нибудь пособлю, пока живы надо помогать, — досказал кочегар.

Андрей унес мешок в другую комнату. Достал там хлеба, банку консервов. Остальное спрятал, зная, что голодные люди теряют разум при виде обилия пищи и, потеряв всякое соображение, едят до тех пор, пока не случается беды.

— Нате, вот, съешьте. Да только не сразу, а то как бы плохо не стало. А я еще, как вернусь, дам.

Каким-то неестественным светом загорелись у них глаза.

Я видел сам такое выражение, вероятно, и у самого подобное бывало. Но рассказать словами о таком состоянии человека не смогу, да и вряд ли кто сможет. Это надо видеть. Голод и жажда — самые лютые истязатели.

На дворе была ночь. Андрей подошел к своей квартире. Надо было ждать грузовик с шофером. Облокотился на стол и впал в забытье. Очнулся от чьего-то легкого прикосновения к плечу. Это был тот же шофер, с которым приехал вчера. Федор был в годах, предусмотрительный, достал флягу, отвинтил крышку, налил и сказал:

— Попей, горячий и крепкий.

Андрей отпил и только тут понял, что не ел уж больше суток. Рассказал Федору, как встретил его родной Ленинград. Тот покачал головой и сказал:

— Надо бы похоронить по-человечески, только где взять досок?

— У них в квартире шкафы сохранились, — сказал Андрей. – Разберем их.

— Тогда давай поедем, я сам столяр. К вечеру сколотим. А уж хоронить придется завтра. Могилы-то сейчас копать нелегко, земля промерзла.

— Спасибо, Федор, – Андрей ничего не смог сказать больше.

Уже давно рассвело, когда они с шофером зашли в квартиру Батуриных. Кочегар успел разобрать один шкаф. Второй не стал: досок хватало на два гроба. Надежда с Васильком были настолько исхудавшими и сделались такими тонкими, что казались какими-то мумиями.

Прасковья вытащила откуда-то чудом уцелевшее голубое платье, чтобы в него одеть покойницу. Оно было самым любимым платьем у Нади. Владимир всегда говорил ей: «Ты в нем, Надюша, похожа на весеннюю бабочку».

Холодом и ужасом повеяло на Андрея от этих воспоминаний.

А Прасковья между тем говорила:

— Берегла это платье Надя (все отдавала на обмен, а его откладывала). Говорила: «Как вернется Володя, тогда и надену».

«Вот теперь они там и встретятся все вместе», — скорбно подумал Андрей и отвернулся от Прасковьи, чтобы смахнуть набежавшую слезу. На следующий день похоронили Надежду с Васей на Пискаревском кладбище. Могилу выкопали солдаты. Тот же полковник, что отпускал Андрея на побывку к родным, без колебания разрешил взять солдат («спецгруз» для доставки на фронт все равно не был еще подготовлен) с напутствием:

— Исполняйте свой человеческий долг и знайте: у каждого ленинградца сейчас такое горе. Помните о неимоверных человеческих страданиях до конца жизни!

Через трое суток загруженные автомашины ушли в сторону фронта. Но ехать пришлось много дальше. За эти несколько дней советские солдаты разорвали фашистское кольцо, и воинская часть, в которой служил Андрей, продвинулась далеко вперед. Пришел в свой полк к прежним друзьям. Встретили радушно. Только закостенели у Андрея и сердце и душа...

Петр Фомич долго молчал. Искурил одну цигарку, стал заворачивать другую. Я сказал:

— Что ты все смолишь, выпей лучше кружечку кипятку.

— И то верно, — согласился Петр Фомич и отложил закрутку.

Чайник уже остыл. Я быстро подхватил его и сбегал за кипятком. Напротив, в другой комнате, всегда на печи стоял бачок с горячей водой.

— На-ко вот, горяченького, — сказал я, возвратившись.

Петр Фомич налил себе полную кружку и стал отхлебывать мелкими глотками. На улице темнело. Я не торопил Петра Фомича: пусть горло как следует промочит, почти целый час говорил.

После некоторого перерыва Петр Фомич продолжал:

— Долго еще носила Андрея военная кручина. Много раз оказывались разведчики, казалось бы, в безвыходном положении, попадали в железное окружение, но прорывались с боями сквозь вражеские заслоны.

Война уже близилась к завершению, когда группа разведчиков, в которой был Андрей, на своей территории подорвалась на мине. Двоих убило сразу, а Андрея отбросило взрывной волной под откос дороги. В прифронтовом госпитале пролежал всего несколько дней, а когда пришел в сознание, отправили в глубокий тыл. Врачи недолго осматривали:

— Ничего страшного нет, немного полежишь у нас и выпишем.

— А сколько это — немного? — полюбопытствовал Андрей.

— Может, месячишко, может, чуть больше, — спокойно ответил врач.

— А как же война? — спросил Андрей.

Медицинская сестра чуть улыбнулась, а врач как будто о давно решенном добавил:

— А вот войну закончат без тебя. Теперь уже недолго осталось.

Через три недели, выписавшись из госпиталя и демобилизовавшись, ехал Андрей Бушуев в Ленинград. На земле был мир. Напряжение отпустило его, а на душе была сплошная сумятица. Радость предстоящей встречи с Ольгой и Максимкой омрачали горькие спазмы при воспоминании о гибели Владимира и смерти Нади с Васяткой.

Какая же это тяжелая ноша — передавать скорбные вести самым близким, родным. Как воспримет Ольга это страшное известие? Ведь она еще ни о чем не знает.

Сколько раз он собирался написать обо всем в Саратов и все время откладывал. А теперь? «И отчего сразу из госпиталя не поехал к ним в Саратов, а взял направление в Ленинград? — сетовал Андрей. — Ну, ладно! Что сделано, того не переделаешь. Может, так лучше», — думал он, подходя к своему дому. Только бы Степан Афанасьевич был на месте. Глянув вверх, увидел в окнах своей квартиры свет. «Наверное, Степан Афанасьевич что-нибудь проверяет», — радостно мелькнуло у него. Он поспешно взбежал на свой этаж, открыл дверь и... обомлел. За столом Ольга с Максимкой что-то перебирали, а Дарья Савеловна копошилась в комоде.

Были выплаканы все слезы, сказаны самые сокровенные слова радости и умиления. Дарья Савеловна с Максимкой убрались в другую комнату. Одна на диване, другой на раскладушке досматривали третьи сны, когда Андрей, немного поворочавшись и глубоко вздохнув, сказал:

— Оля! Я...

— Не надо, Андрюша, — Ольга положила руку на его губы. – Я все знаю, была там, видела Прасковью.

Андрей поцеловал ее ладонь, проглотил благодарные слезы и уснул глубоким сном тяжело уставшего человека. Немного деньков удалось отдохнуть Андрею. Как-то утром постучался в дверь и зашел Степан Афанасьевич. (Сильно сдал старик за последний год, и хоть совсем был слаб, но еще работал).

Передал Андрею записку от начальника завода. Всего три слова было в ней: «Приходи для переговоров». И закорючистая подпись: «Павлов».

Не надо было ломать голову, для чего понадобился Андрей Бурлаку двужильному (так называли за глаза, причем доброжелательно, начальника завода за его тяжелый и неблагодарный труд в течение многих-многих лет). На следующий день состоялся у них разговор.

— Вот что, Бушуев, — сказал начальник завода, — людей нет, война многих подобрала, а кто уцелел, те еле ноги передвигают. А впереди еще труднее будет. Но все равно жить-то ведь как-то надо. Если не надумал от коллектива отрываться, то давай приходи работать. От прежних «стариков»

почти никого не осталось. Принимай хоть прежнюю должность, а лучше, если пойдешь начальником цеха, — сказал Павлов. Андрей согласился.

— Вот хорошо! Приказ о твоем назначении подписываю с сегодняшнего дня. – Чуть помедлив, Бурлак попросту заговорил: — И вот что, Андрюша! Цеха как такового нет. Все разбил немец. Так что с первого дня возьмешься за восстановление разрушенных корпусов. Правда, кое-что уже сделали. Но это только начало. Строительными материалами будешь снабжаться по первому разряду. Сам знаешь, завод у нас важный, — так закончил свой разговор Бурлак и похлопал Андрея по плечу.

И началась для Бушуева новая «страда». С утра и до позднего вечера. Ольга тоже много и подолгу работала. Всем приходилось разбирать завалы и залатывать послевоенные прорехи.

В трудовой суете шло время. Но не затягивались душевные раны, не утихала боль невосполнимой утраты у Ольги. Не могла простить себе, что не уговорила тогда старшую сестру уехать из Ленинграда. Или самой бы остаться, хотя и знала, что ей не разрешили бы этого сделать.

В первый раз, когда пришли они всей семьей на кладбище, упала Ольга на могилу сестры, вцепилась руками в землю и лежала, пока Андрей не поднял. С тех пор не находила она себе места. На все увещевания и уговоры отвечала:

— Моя вина!

А в чем, и сама сказать не могла. Убеждать, что нет ее вины, было бесполезно. Не слушала никого.

Однажды вечером, когда вся семья собралась в одной комнате, каждый был занят своим делом, сидела Ольга, укрывшись шалью, и смотрела безучастно в окно. Максимка подошел, обнял мать за шею и тихо сказал:

— Не печалься, мама, это я во всем виноват. Я тебя уговорил уехать. Не уехали бы, тоже умерли, как тетя Надя с Васей?

Что-то прорвалось в груди Ольги. Хлынули неудержимые ручьем слезы. Максимка еще крепче прижался к матери и только твердил:

— Не надо, мама, а то и я заплачу...

Как после теплого весеннего дождя появляется на полях зеленая травка и распускаются листочки на деревьях, так и у Ольги потеплело на душе, отпустила боль сердце.

Завод восстанавливался быстро: строительных материалов хватало в достатке. Да и рабочих рук тоже — солдаты работали круглые сутки.

Все складывалось хорошо. Одно тревожило руководство завода и цеха. Растаскивали рабочие на ремонт своих квартир все, что только годилось в строительстве: гвозди, краску, стекла. Где в те годы можно было хоть что-то купить или достать? Что было делать? И тогда разрешил начальник завода (Бурлак двужильный) Андрею выписывать по государственным ценам, хотя и не было у него на такие действия достаточно прав, особо нуждающимся работникам стройматериалы.

Но как всем угодить? Нашлись «доброжелатели», стоящие на страже государственного закона «блюстители», что написали в соответствующие органы о «хищениях и разбазаривании» народного добра.

Реакция последовала незамедлительно. Нагрянула ревизия. Чего-то оказалось в излишках, другого — не хватило. Андрея арестовали. Вроде бы и не виноват ни в чем, а срок все равно дали — 3 года. Начальник завода Павлов к моменту ареста Андрея уже два месяца как умер от сердечного приступа (и таких двужильных смерть быстро прибирает). Так что за Бушуева и заступиться тогда было некому. А может быть, и к лучшему. Могли и самого начальника завода прихватить.

Ведь и он не имел законного права на продажу лимитированных стройматериалов. Разрешение на продажу он взял на свою власть. А в те годы законы работали безотказно и неотвратимо.

— Вот, собственно говоря, и весь сказ! — закончил свой рассказ Петр Фомич.

Я облегченно вздохнул. Такие поступки, за что был посажен Андрей, никто в лагере не считал за преступление. Заключенные хорошо понимали благородство действий.

— И сколько же он пробыл всего-то? — спросил я.

— Вместе с тюрьмами и пересылками около двух лет, — ответил Петр Фомич.

«Слава богу, не так много», — подумал я и глянул в окно. Темнота уже давно опустилась на землю. В лагере не было видно никакого движения. Бригады возвратились с работы.

И опять, уже в который раз, я сказал Петру Фомичу:

— Может, ни в какие спецлагеря не повезут? Руководство порта со Стифеевым и Ксинтарисом в Норильскснабе хлопочут, чтобы не отправлять этот этап. Где наберут таких первоклассных специалистов? Некоторые по 10 лет в управлении порта служили, без них все работы могут остановиться (это я уже философствовал, чтобы поддержать Петра Фомича, мне самому этого хотелось).

Но все надежды рухнули враз. К вахте бегом подбежал нарядчик и тут же выскочил назад. Вскоре за ним пришли два надзирателя. Через несколько минут они вместе с вахтерами вышли наружу.

Над вахтой загорелись все прожекторы. Стало совсем светло. Откуда-то из дальних бараков сначала по одному, потом кучками потянулись люди к вахте. Каждый нес свои пожитки, у одних были мешки, другие несли деревянные чемоданы.

Мы смотрели в окно с Петром Фомичом. Чувство тревоги притупилось и ушло куда-то вглубь. Все стало понятно без слов. Петр Фомич стал собираться.

— Пора! Надо идти! Все равно от этого никуда не денешься.

Я открыл свою тумбочку. Там было у меня припрятано две пачки табака «Звездочка». Крепкий табак. Взял одну, потом подумал и протянул обе Петру Фомичу. У него задрожал голос.

— Что ты все отдаешь, себе-то оставь...

— Бери, бери, сказал я, — где ты там что добудешь?.. А я здесь и на окурках перебьюсь, да и бросить решил (наверное, в десятый раз).

А из окна было видно, как через вахту уже пропускали людей. Мы выш-

ли на улицу. Во всех бараках горели огни. От самой вахты вверх по дороге метров на 100 растянулась колонна людей. Отовсюду приходили последние заключенные. Это нарядчики поторапливали задержавшихся, хотя этого можно было и не делать. Никто не прятался, не сопротивлялся. Это был совсем иной контингент заключенных — политические. Кое-кто улыбался, большинство, насупившись, молчали.

У каждого на душе была тяжесть: покидать обжитые годами места, пусть даже в заключении, всегда плохо. Все понимали: там лучше не будет. Мы стояли с Петром Фомичом у дороги. Говорить было не о чем. Начался снегопад. Сначала шел мелкими снежинками, потом целыми хлопьями. Заметно потемнело, хотя кругом горели прожекторы. Сквозь снежную пелену пробивался бледный свет луны. Петр Фомич нагнулся, стряхнул снег с видавшего виды рюкзака, перекинул через плечо. Протянул руку:

— Прощай. Теперь больше не увидимся. Тебя не отправят туда, по статье не подходишь, да и срок почти кончился, а нас не вернут назад. Видимо, на такую «сортировку» нашего брата указание идет с очень «большого верха», раз никто не может его отменить (так оно и было на самом деле). Спасибо за чай, а еще больше — за табачок, теперь есть чем душу побаловать. — Поглядел, улыбнулся и пошел к пропускной вахте. Незаметно растворился в толчее людской.

У меня уже неотступно стояло в голове: уходит этот пожилой, много повидавший на своем веку человек, простой и совсем обыкновенный, как и все мы, русский мужик. Уходит в неведомые спецлагеря без всяких жалоб и упреков. Что ждет его там? Дождется ли он своего светлого дня? А все остальные? Они такие же старые, и каждому отбывать еще сроки наказания не менее 5—8 лет. И оттого, что мне всего 24 года, а остается до освобождения чуть больше шести месяцев, не прибавилось радости, а стало как-то тоскливо и неуютно.

Я попытался в толпе разглядеть ссутулившуюся фигуру Петра Фомича, но мне так и не удалось его высмотреть.

Была ночь. Снег продолжал падать и падать. Начало сильно морозить. Погода, как будто спохватившись, наверстывала упущенное. Налетел порыв ветра, подхватил с земли снежную пыль, завертел, перемешал с падающими хлопьями и бросил снежное крошево на головы, спины стоящих людей, засвистел в темноте.

Людям неведомо грядущее. Не мог знать и я, что совсем скоро навалятся на меня еще большие испытания и тягостные переживания заполнят мою душу.

Золото

Много лет подряд, каждый день утром и вечером прохожу я по одной и той же улице. Ее хорошо знает каждый дудинский житель. Она давно уже носит имя Горького, а до этого была просто безымянной.

В те далекие времена по ней проходила широкая натоптанная дорога с небольшими колдобинами от тележных колес, грязная в дождь и пыльная в засушливую погоду. С одной стороны к ней прижимался хлипкий тротуар

ар. По ее обочинам в летнюю пору росли сочные ромашки. Их было много. Повсюду. Особенно густо они пробивались вдоль жилых бараков из-под завалинок в местах, где не ходили люди. Немного поодаль, на пригорке, как раз там, где сейчас установлен памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, был сквер, в котором благообразные и аккуратненькие старички старательно высеивали разные травы и цветы. Центр лагерной зоны был ухожен.

Начальники лагеря менялись, а заведенный кем-то порядок чистоты и благоустройства не нарушался. И тогда любили люди цветы. Может быть больше, чем теперь.

Однажды утром, выкапывая ямку для посадки саженца, заключенный «садовник», сняв верхний тонкий слой земли, увидел небольшой ящик. Он ударил лопатой. Полусгнившие верхние доски легко переломились. Нагнувшись и приподняв за переломанный конец одну из дощечек, старик увидел множество блестящих металлических кружочков. Он разобрал верхний ряд досок и увидел, что в ящике лежали монеты царской чеканки. Рядом никого не было. Лишь после некоторого раздумья заключенный пошел в барак КВЧ (культурно-воспитательная часть), находившийся совсем недалеко, и сообщил начальнику о находке. Как потом определили, в нем оказалось около пяти килограммов золотых червонцев. По этому случаю был проведен (небольшой, всего было человек 50) митинг о честности советских людей, даже заключенных. Самого же «садовника», нашедшего клад, поблагодарили прямо с трибуны и обещали, что будут просить вышестоящие власти о снижении ему срока наказания. Но! Кажется, все осталось без изменения. А золотые червонцы? Их все сдали в банк. Так говорили. И я этому верю. Никто бы не позарился на это золото: знали, что расплата будет куда дороже. А вот клад с червонцами лучше всяких слов подтверждает, что много раньше в этих местах проживали довольно богатые торговые люди.

В дневное время, когда лагерь становился безлюдным, опускалась сонная тишина, деревенская. Редко-редко пройдет надзиратель или кто-то из дневальных по своим хозяйственным заботам. Все изменилось, стала иной и жизнь. Исчезли последние избенки старинного русского поселения. Новые люди построили новый город, светлый, благоустроенный, теплый.

А вот дорога... Она и сейчас проходит там же, где была раньше. От старожилов слышал, что ездили по ней еще до советской власти. Теперь ее расширили, покрыли асфальтом. Одно не изменилось: в дождь такая же грязная, в сухую погоду — пыльная. В какую бы сторону ни шел по ней, всегда мысленно возвращаюсь в прошлое.

В разорванной цепи памяти отдельными звеньями выплывают эпизоды иной жизни, иногда путаясь и опережая один другой. Когда же прохожу магазин «Орфей», на месте которого стояла пропускная вахта, будто наяву вижу колонну стоящих в тревожном ожидании людей. Воспринимаю это не разумом, а каким-то неосознанным внутренним чувством. Знакомые и незнакомые лица. Их много. И кажется, что снова вижу их глаза, из которых через напускное безразличие проглядывают тревога, печаль, а еще глубже прячется трепетная тень надежды. Сильные были люди.

Сколько раз заказывал себе не вспоминать про это. Но неподвластные разуму силы не признают моего «хотения». Видимо, уж с этим ничего не поделать. «Память сердца сильней печальной памяти рассудка» (Батюшков).

В долгие полярные ночи, когда неотступная бессонница изнуряет до изнеможения, а сполохи мыслей, спутавшись в сплошной сумбур, порождают страх и наваждения, я, чтобы хоть как-то обмануть себя, с робкой надеждой смиренно обращаюсь ко Всевышнему: ведомо ли Тебе то, Господи, что натворили? (Люди почти никогда не понимают, что творят). И черный призрак, словно из преисподней: «Ты не доволен прошлым, не нравится?» — подкатывает со всеми «прелестями» беспощадную действительность: вереницы нищих и убогих, бомжей, выброшенных из своих собственных квартир, морги, заваленные тру¬пами, которые некому хоронить, а других не предают земле, потому что нет возможности, постоянные убийства, грабежи, изнасилования (скоро этот вид «спорта» станет правилом «хорошего тона»), межнациональные гражданс¬кие войны, гибель десятков тысяч людей, миллионы беженцев (куда равняться Афгану по масштабам с кавказской войной!), обман властями всех уровней, и самое страшное — нарастающая колонизация страны державами империализма. Страшна тирания «собственного царя», но еще страшнее тирания и угнетение иностранное. Все это встает в один ряд сплошной стеной с немым укором: посмотри и оцени сам.

И я, проживший уже долгую жизнь, повидавший многое, невольно задумываюсь: в какое время жизнь была лучше? Сейчас, когда всем все дозволено, или во времена сплошных запретов? Не надо ломать голову, ответ приходит сам: всегда было плохо, только теперь много хуже. Ибо нет у сегодняшнего дня будущего завтра. Впереди тупик. Для всех!

Узкий мостик, перекинутый через пропасть для немногих «избранных», все равно ведет в никуда: «Там хуже». Развал и разруха, сотворенные небольшой кучкой проходимцев из ЦК КПСС и Политбюро под председательством почетного гражданина Германии, неприличного и непорядочного М.С.Горбачева (ведь надо же иметь такое нахальство, снова лезет в президенты), а затем непродуманная политика реформ породили агонию огромной державы.

Великая Россия формировалась веками. Воссоединить разрушенное возможно при бескорыстном стремлении (которого пока ни у кого нет, кроме пустых слов) всех самых чистых сердец и светлых голов России.

Кому предстоит повторить подвиг библейского Моисея – сплотить и вывести из трясины российские народы, ввергнутые в нее горбачевской перестройкой?! Повсюду ложь, клевета, доходящие до абсурда. И я, не уверовавший в Бога, вопреки себе снова и снова вопрошаю: ну, где же твоя правда, Господи?

Пройдет еще немало времени, прежде чем «тернистая дорога» приведет меня к светлой жизненной ниве, наступит время воскрешения надежд и ожиданий. На моем пути встретится много замечательных людей (мне в жизни просто везло на них), при поддержке которых я обрету уверенность, моральное удовлетворение. Наступит жизнь, полная тревог, беспокойства и

бесконечных забот. Это самый длительный период в моей жизни. Он не менее сложен и труден, хотя в значительной мере отличается от первых лет. Я попытаюсь когда-нибудь рассказать о наиболее важных событиях, что удержала память, отдать должное людям, с которыми был долгие годы вместе. Я обязательно постараюсь, если хватит сил и терпения. Всегда тяжело писать о том, что непосредственно связано с собственной судьбой, особенно, когда многого не хочется ворошить.

Последние ступени

Над Таймыром в непроглядной темноте кружила метель. Повсюду. От края до края. Под завывание вьюги давно уснули жители заполярного села Дудинки. Не мелькали одинокие огоньки. На небе ни одной звездочки. Все утонуло в сплошном снегопаде.

В самом большом лагере заключенных, расположенном в середине селения, по всему периметру зоны ярко горели прожекторы и электрические лампочки. Особенно светло было на пропускной вахте. Около нее царило оживление: одного за другим выводили за зону политических.

Толпа людей редела. Разбрелись по баракам любопытные, ушли и те, кто простился и проводил своих знакомых (их уже оформили на этап и вывели на вахту). Только несколько наиболее терпеливых еще стояли со своими знакомыми, давая последние советы и напутствия.

Не слышалось разговоров. Давно стихли перебранки. От треволнений и долгого ожидания, когда наступит их черед, люди устали, сделались безразличными ко всему. Даже снег, так обильно сыпавшийся, перестали стряхивать. Редко раздавались гулкие, простуженные голоса (на возмущение не хватало сил): «Ну, скорей бы уж! Чего так копаются и тянут?».

Незаметно в сопровождении надзирателей подошла группа женщин. Небольшая. Человек 30-35. Остановились в нескольких шагах от примолкнувшей толпы мужчин. Кто-то недоверчиво воскликнул: «И этих с нами?». Хотя многие знали, что женщин тоже будут отправлять в спецлагерь. «И чего им там делать?», — закончил говоривший. Как будто сам знал, какие «дела» ожидают их в тех неведомых лагерях. Большинство женщин были молоды и довольно миловидны, они были осуждены в последний год войны за связь с немцами на длительные сроки. На этап их оформят последними и уведут отдельной колонной, чтобы не соединять с мужчинами (непонятно, чего так опасались лагерные власти?). Было холодно. Валил снег.

Мороз с ветром усиливались. Петр Фомич давно был за зоной. Не виделось никого из моих знакомых. С ними тоже были выполнены все формальности, и стояли они по ту сторону вахты.

Я сильно замерз и, не дождавшись конца этих изнурительных процедур, побрел в свою «обитель». Барак, где я жил, был совсем рядом с вахтой, только на другой стороне дороги.

Время давно перевалило за полночь, когда я негромко постучался в дверь. Несмотря на поздний час дневальный молча впустил меня. По ин-

струкции лагерного режима каждый дневальный обязан сообщать в комендатуру о каждом случае нарушенного порядка: после 10 часов вечера (время отбоя ко сну) хождение по территории лагеря не разрешалось.

В случае укрывательства (если такое становилось известным надзору) дневальных наказывали. Иногда довольно строго.

Но в этот раз он не сказал мне ни слова упрека, и по его виду я понял, что доносить не станет. В помещении над дверью тускло горела лампочка. Бригадники давно уже спали. Им хотелось только одного — покоя.

При моем приходе никто не поднял головы, даже не пошевелился. Я как можно тише прошел к своим нарам. Присел на краешек. Тихо разделся и лег. Но сон не приходил. Я ворочался с боку на бок, закрывал голову подушкой, начинал считать про себя. Все было бесполезно. Чуть приподнялся. Мои нары стояли рядом с окном. Сквозь незамерзшую часть стекол мне хорошо была видна вахта. Возле нее стояли только женщины. Их оставалось совсем немного. Охранники с работниками УРЧ по-прежнему придирчиво (несмотря на холод) сверяли формуляры со списками. Я с досадой подумал: «Ну чего они так долго мурыжат женщин. Ведь перемерзнут все на таком ветру». Хотелось, чтобы их скорее увели. Перевел взгляд на вахту. На той стороне вдоль дороги людей было много больше, но определить, хотя бы ориентировочно, сколько их, не смог: мешала белесая снежная круговерть.

Присмотревшись увидел, как из этой толпы отделили небольшую часть и сразу же повели.

Понял: уводят в транзитный (пересыльный) лагпункт небольшими партиями. Вроде бы стало легче: тех, кто вышли первыми, увели давно.

Наверное, и Петр Фомич с ними где-то на пересыльном в бараке сидит пригорюнившись и, может быть, покуривает. Вряд ли он сейчас станет разговаривать. Да и кто его будет слушать: не такое для балагурства время. Я снова лег. И опять не мог заснуть. Снежная пурга зарядами била по стеклам, над кровлей неслись протяжные стоны все больше и больше набиравшей силу бури. Где-то, подгоняемая ветром, постукивала по стене оторвавшаяся от карниза доска. Казалось, что этой ночи никогда не наступит конец. Разные мысли лезли в голову. Больше всего тревожило, что никто толком не знал ничего о спецлагерях: какой там режим, какой порядок, какие предстоит выполнять работы, будут ли еще отправлять туда и кого?

Действительно ли они созданы по типу царской каторги? Какую-то жгучую тревогу рождала мысль, что, возможно, будет еще этап и я обязательно попаду в эти списки. Только под утро навалился тяжелый сон. Но и он не принес облегчения. Мучили кошмары: снился пересылочный лагпункт, куда ночью увели спецзаключенных для отправки в Норильск. Уже подготовлены вагоны, но никого не сажают, потому что не полностью укомплектован этап. Не хватает нескольких человек. Какие-то люди в военной форме со стороны указывают на меня. Мне становится невыносимо страшно. Я убегаю. И неожиданно оказываюсь на старом заброшенном кладбище, где промеж покосившихся крестов медленно пробирается знакомый мне священник, с которым вместе работали в одной бригаде в омских лагерях. Он негромко напевает: «Вы, отцы, протяните нам руки, вы, отцы, приумножь-

те нам сил». Он всегда напевал эту песню (или молитву). Она была длинной. Мне же запомнились только эти слова. Я смотрю на него и не верю: ведь этого священника убил топором на глазах у целой толпы заключенных пьяный хулиган только за то, что тот не очень почтительно обратился со словами увещевания к распоясавшемуся ухарю. За что убил? Да просто, покуражиться захотелось. И после свершенного злодейства продолжал куролесить и ерничать: «Кому еще свободу дать? Подходи!» — выкрикивал расхрабрившийся убийца. Никто не решился вразумлять бандита (кому хочется подставлять свою голову). Только кто-то успел добежать до комендатуры. Мигом прибежали надзиратели. Сшибли с ног вместе с топором, что и вскрикнуть не успел. Били ногами. Недолго, но сильно. Умели вышибать дурь. Вскоре подъехала телега. Обоих погрузили вместе. Одного увезли в морг, другого в карцер. Кошмар не отступал: теперь мне снилось, что из-за священника выскочил тот самый злодей, что убил его. Размахивая окровавленным топором, он движется на меня. И чей-то голос со стороны говорит, что не убить меня он хочет, а загнать в спецлагерь. Каким-то внутренним подсознанием я убеждаю себя, что это сон: не может мертвец ходить по земле (после побоев бандит недолго жил, может, еще и в карцере добавили). Заставляю себя проснуться, чтобы избавиться от наваждения, и не могу. Наконец, просыпаюсь в холодном, липком поту. С тревогой и страхом взмолился: только бы не сбылось! Господи, отведи беду! И ведь не верую, а прошу. Как бы успокаивая себя, подумал: наверное, от простуды, вчера долго стоял на пронизывающем ветру.

«А может, этот сон к хорошему? — с благим уверением подумалось. — Ведь священник-то был добрый».

Я и сейчас нет-нет да и вспоминаю порой этого священнослужителя. Даже завидую ему. Он фанатично верил в Бога, вел смиренный образ жизни. Зачастую отделял от своего скудного пайка частицу хлеба обессилевшему товарищу. Работал наравне со всеми несмотря на пожилой возраст. Постоянно утром и вечером коленопреклонно сотворял молитвы. Откуда он только черпал силы? Мне за свою жизнь доводилось встречать таких истинно верующих. И понял я: люди, уверовавшие в потусторонний мир, счастливы и их счастье — светлое и безоблачное. В своем самообмане они способны на любые самопожертвования и подвиги. И уходят от земной юдоли с радостным ожиданием предстоящей встречи с небесным божеством. Вот оттого у меня к ним белая зависть. На что тут сетовать? Господь не сподобил меня своей благостью. Чтобы разогнать остаток ночных видений, встал и приблизился к окну. Было темно и пустынно. Одиноко горели вдоль дороги уличные фонари. Лагерь еще спал. Только кое-где из бараков спешили дневальные с ведрами за баландой: скоро подъем. Близилось утро, но до рассвета было еще далеко. Облегченно подумал: слава Богу, мне еще два дня можно не ходить на работу. Снова лег и словно провалился.

Проснулся почти в середине дня. В бараке было светло. Метель утихла. Я вышел на улицу. Верховой ветер разорвал тучи и гнал, и гнал их в сторону Енисея. По дороге и промеж бараков перекатывалась мелкая поземка, заравнивая колдобины, рытвины, следы полозьев от только что проехавших

саней, закрывала все мелкие огрехи, что не успела засыпать ночная пурга. Вся земля была под снежным покрывалом, сверкавшим от лучей солнца. Еще недавно журчащий рядом с зоной ручей замерз, и только на одном перекате пробивалась слабая струйка воды.

Возле вахты не осталось никаких следов, напоминавших, что совсем недавно на этом месте было так многолюдно. Я долго и бесцельно ходил по лагерю. Ветер сник. В воздухе разлилась морозная тишина. Небо, совсем очистившись от облаков, было каким-то светло-голубым, прозрачным и таким чистым, будто его только что вымыли родниковой водой. Огромное холодное солнце, обрамленное радужными столбами, невысоко поднявшись над горизонтом, посылало негреющие лучи на землю, как бы прощаясь со всем живым перед скорым уходом на долгий зимний покой.

Удивительно устроен мир: чтобы ни творили на земле люди, небеса взирают равнодушно. Кругом, насколько хватало глаз, все было облито ледяной голубизной, только над Енисеем поднимались сплошной стеной клубы пара. И чудилось, будто сквозь их непроницаемую толщу где-то вдали пробиваются огненные сполохи бушующего в недоступной глубине большого пожара, зажженного лучами опускавшегося солнца. Угасающий богатырь отдавал накопленное полярным летом тепло. Совсем скоро закуют его морозы в тяжелый ледяной панцирь и закроется вся его бескрайняя ширь белым саваном. Осень в тот год на Таймыре держалась долго.

Зима пришла в одну ночь. Дневальные с самого утра отгребали от дверей нанесенные сугробы снега, расчищали дорожки, тротуары, чертыхаясь и проклиная судьбу: вроде бы от этого становилось легче. Ночная метель занесла плотным слоем снега железнодорожные пути. Застопорилось движение поездов (правда, ненадолго).

Может быть, по этой причине, а скорее всего что-то другое помешало: этап со спецзаключенными был отправлен транзитом только на третьи сутки. Эшелон долго плелся до Норильска. Часто останавливался. То за тем, чтобы разъехаться со встречными поездами (в ту пору их ходило больше, чем теперь; железная дорога была узкоколейная, вагонов было много), или же пропустить вперед товарные составы со сверхнужным грузом. Особенно много везли пиломатериалов и круглого леса: комбинат строился в основном из дерева. Остановки были недолгими, но очень частыми. Диспетчеры железнодорожного цеха (а они все были в Дудинке заключенными, и от них исходили все сведения) имели достоверную информацию о движении каждого поезда. Самой длительной была задержка на Каларгоне. В этом эшелоне, кроме политических заключенных, в одном вагоне (отдельно от всех) везли несколько самых отпетых головорезов, бандитов, насильников. Эти люди были опасны и беспощадны. Могли совершить самые жестокие преступления, и потому лагерное начальство при первой возможности старалось избавиться от них и упрятать подальше от себя в более надежное место.

Оно находилось в Каларгоне. Там был строгорежимный лагерь с внутренней тюрьмой. Лагерь на Каларгоне размещался совсем не далеко от железнодорожного полустанка. Когда охранники подошли к вагону, чтобы

вывести из него уголовников, то оказалось, что двери крепко заперты изнутри. Разбойный люд каким-то способом заблокировался и выходить отказался. Их и из транзитного лагпункта тащили волоком и силой заталкивали в вагон. Охранники прикладами высадили вагонные двери, всем пассажирам наломали бока, а самых упрямых связали друг с другом и в таком виде довели до каларгоновского лагеря. (Чего выкаблучивались: сила солому ломит). Печальной славой был покрыт Каларгон. По рассказам (самому мне, слава Богу, не пришлось побывать в этом учреждении) более сведущих заключенных довелось слышать, что оттуда почти никто не выходил на свободу. Все «обитатели» этого «дома» имели до десятка судимостей, а сроков наказания каждому хватало на несколько жизней. Одни находили там свою кончину от рук таких же сотоварищей, другие совершали новые бандитские преступления, за что получали дополнительные сроки самого строгого режима, да так и оставались там до тех пор, пока какой-нибудь вновь прибывший уркаган в завязавшейся разборке не пырнет ножом кого-нибудь из этих незадачливых громил. Очень немногим посчастливилось возвратиться в лагеря с обычными условиями (менее строгим режимом).

Года через полтора после этих событий (я уже был на положении ссыльного поселенца и работал диспетчером лесного хозяйства в Дудинском порту) мне пришлось встречаться с одним из таких счастливцев, даже в некоторой степени пообщаться.

Фамилия его была Рассказов. А вот имя и отчество забыл: то ли Егор, то ли Прохор. Впрочем, это не имеет значения. У таких людей имен и фамилий может быть до десятка, а какие были первыми, они порой и сами не помнят. Его редко кто называл по имени. Все звали дедом. Рассказов был уже пожилым, роста огромного и довольно сильным. Умел усмирять свой нрав, потому достойно отбыл положенный срок на Каларгоне и был переведен в дудинские лагеря. Он возглавлял довольно большую бригаду грузчиков, которые занимались погрузкой леса на вагоны. Ходили они на лесобиржу до тех пор, пока на их места не поставили женщин.

Сам Рассказов не работал и никого не подгонял. Но его бригадники «волынку» не тянули и задания выполняли впереди других. В ночную смену (бригадники менялись по графику через две недели) он часто приходил к нам в диспетчерскую. Всегда садился на пол. Иногда просил включить приемник. Любил песни. Приемник у нас был хороший, и мы сами, когда не было начальства (обычно в позднее время), пользовались им. По воскресеньям слушали заграницу. О себе Рассказов говорил мало: сокрушался о загубленной своей (о чужих не тужил) жизни.

Родился где-то в деревенской глуши. Как дошел до жизни такой не рассказывал. Как правило, «высшая воровская элита» формируется в большинстве из городских выходцев. Но уж если там объявлялся кто из деревни, то троих стоил.

Однажды у одной из наших рубщиц украли шаль. Только купила. Совсем загорюнилась девчонка. Дед Рассказов узнал об этом. Отругал ее незлобиво: «Ворон-то не лови с раскрытым ртом. Не плачь! И утри свою «мокреть»! Пообещал коротко: «Принесут». И надо же. Возвратили шаль.

Через несколько дней он зашел к нам под утро в диспетчерскую. Я, не дожидаясь, когда он попросит, сам включил приемник. Отыскал волну, на которой передавали песни. И после некоторого молчания, как бы исподволь, восхваляя его, сказал: «Слушаются тебя твои ребята, на другой день принесли Танькину шаль».

Он, не торопясь, с ухмылкой проговорил:

— Да, так уж и слушаются! Пришлось кол «моченый» в ход пустить, да ребра кой-кому пересчитать. Чтоб не забывали, у кого не надо воровать.

То, что он верховодил и направлял все воровские дела, было известно из разговоров заключенных, да и многие вольнонаемные тоже говорили про это. Обычно совершались набеги на проходящие по лесобирже поезда, перевозившие в вагонах товары, продукты, загруженные на речных причалах порта и торговой базы. По договоренности с машинистом движение состава затормаживалось на подъеме, и тут же несколько человек с изумительной быстротой разгружали почти целиком вагон (неплохо бы кое-кому поучиться у них так работать). В каком вагоне и что брать, знали заранее от фактуровщиков (и у них тогда была мафия, правда, по масштабам далеко не такая, как сейчас). Все награбленное также быстро растаскивалось по закоулкам и штабелям лесобиржи. Редко «вохровцы» с надзирателями что находили. Да и то только по «наводке». На доносительство мало кто решался. Однажды под вечер откуда-то из глубины штабелей бревен донеслись истерические крики. Если кто и слышал, то не придал значения: «Мало ли кого бьют?». Немного погодя на железнодорожный путь выполз человек, криками призывая на помощь. Подошедшие рабочие увидели, что за ползущим стелется кровавый след. Разобрались быстро. У него были отпилены ступни. В лагерном больничном стационаре на вопросы хирурга и следователя: «Кто тебя так изуродовал?», — он отвечал твердо: «Никто, это сделал я сам».

Заключенные между собой говорили: «Отходил легавый к куму. Теперь не будет «стучать».

У деда я про этот случай не стал спрашивать: все равно не скажет. Однажды я поинтересовался у него: «Может, приходилось тебе слышать, как в октябре позапрошлого года на Каларгон в одном этапе с политическими отправили ваших ребят?».

Я говорил, стараясь смягчить выражения. Специально назвал головорезов ребятами, чтобы вызвать его на откровенность, а вдруг знает, куда отправили спецзаключенных. Там много было моих знакомых. Он хмыкнул и, глядя куда-то мимо меня, сказал как бы между прочим:

«Как же не помню? Я в то время раньше их угодил в эту каталажку (Каларгон). Ту братву тогда так изуродовали, что многие и до сего дня не опомнились. И все из-за Павки Корявого. Сам-то он, дылда поганая, козел безрогий, и взбаламутил всех в вагоне. Одних уговорил, другим, таким же козлам, пригрозил. Закрылись изнутри и не пускают конвоиров. Всех их тогда здорово «измочалили», а ему, кобелю прыщавому, — дед понемногу распалился, видимо, из-за чего-то был сердит на своего побратима, — скулы повыворачивали и костыли (ноги) переломали. Упрямился до самого после-

да. На Каларгоне валялся в лазаретишке. Был там маленький, койки на две при лекпоме. Только через два месяца выполз. Да и то ненадолго. Заигрался в карты. Ну и «пришили по закону».

«Кто «пришил?», — хотелось спросить, но не стал: разве скажет дед! Может, сам же его и ухайдакал.

— А уж куда поезд ушел дальше и что сталось с вашими хлюпиками – не знаю. Да и не разузнавал. Ни к чему мне это, — закончил дед.

На этом прекратились мои попытки узнать про судьбу загадочного для меня этапа. Вероятно, кто-то знает и помнит о нем больше. От других много раньше знал, что пришел этап на нулевой пикет. Там первыми вывели женшин. А уж потом за ними всех мужиков. Распределили по лагерям. Видимо, спецзон было несколько. Так слышал. В то время было много разговоров про отправленных «каторжан». Но они были так противоречивы, что нет смысла их осмысливать.

— Что ты так? — спросил я его. — Они в большинстве очень хорошие люди, да и сидят многие понапрасну.

— Вот потому и хлюпики. И ты такой же. Но ничего! Ты еще молодой, может, судьба повернется к тебе, — закончил дед.

Я тут же подумал: ничего хорошего не видится, ссылка определена пожизненно. Но горевать не стал. Как-то враз мысли повернулись, я вспомнил, что завтра выходной, а меня еще вчера пригласили на вечеринку, и сделалось от того беззаботно и даже радостно.

И вот теперь, когда прошло с той поры много лет, все вокруг изменилось, я грущу о том времени: как прекрасен (даже несмотря на превратности судьбы) этот мир, когда только начинаешь жить и бесконечной кажется жизнь. Я забежал немного вперед. А как же все-таки было тогда? В первые дни после этапа? Весь лагерь затих, затаился в ожидании: а что будет дальше? Прекратились разборы, склоки. Не стало даже самых незначительных преступлений. Их и раньше в зоне 4-го лаготделения было немного. А после отправки самых оголтелых архаровцев в одном этапе с политзаключенными стало совсем тихо. И не от того, что некому стало грабить и воровать.

Уголовников, шарапщиков, воришек мелких было предостаточно. Они как были, так и остались (большие воры мелкими делишками никогда не занимались). Такое спокойствие наступило потому, что мелкая сошка замирает, даже дохнуть не смеет, когда видит, как у них на глазах рушатся «дубы». И всех охватил страх: а вдруг и их повезут в эти каторжные лагеря. Страх вселился и в меня. Он стал постоянным, как неизлечимая болезнь. С того дня не покидал меня. И чем меньше оставалось времени до моего освобождения, тем сильнее он давил, как тяжелый бесчувственный пресс. И днем и ночью.

Днем на работе с людьми было не так тягостно. Но когда заканчивался рабочий день и все расходились – вселялось глухое отчаяние.

В голову вползали самые страшные мысли (откуда только брались?): задержат или отпустят? А если задержат, то надолго ли? Я знал всех политических заключенных, которые освобождались в этот период. Почти каждого оставляли на поселение (освобождали без ограничений очень не-

многих). Чем страшнее их я? Пусть бы и мне определили ссылку — я мысленно мирился с этим исходом. Но мое болезненное воображение рисовало более мрачные картины: а если новый срок? (В виде исключения). И тогда не миновать спецлагерей. Хотя подобных случаев в те годы не было, я думал именно так.

В тревогах и сомнениях отбывал последние дни заключения. Но! Какой бы трудной и длинной ни была дорога, у нее все равно есть конец. Наступил час моего освобождения. Незадолго до этого я зашел к начальнику УРЧ Ивану Федоровичу Дергачеву. Спросил у него. Как мне быть, когда приходить? Ведь мой срок кончается 1 мая.

Тот ответил: «В такие праздники никто не работает, да и документы на освобождающихся в мае придут из Норильска не раньше 4-5 числа. Так бывает каждый месяц».

— Ну, как же так, Иван Федорович? Документы на освобождающихся в апреле пришли 31 марта, — сказал ему.

Я знал об этом от нашего бригадника. Его освободили 2 апреля. Правда, сидел он всего один год. Кладовщиком работал на железной дороге. Гайки воровал и продавал рыбакам на грузила.

Иван Федорович, немного помолчав, ответил:

— Ну, еще 2 дня до 1 мая, может, и придут.

Ушел я от него в сомнении.

В тот далекий майский праздник я знал, что никого не будет в штабе лагеря, но все равно пришел. Дежурный пробурчал недовольно: «Вам всем отдых, а начальство должно торчать здесь на работе? Иди и валяйся на нарах!».

Неохотно возвращаясь в барак, я сетовал на свою немилосердную судьбу: какая же несправедливость! Ведь арестовали вечером 30 апреля и было еще не так поздно, а начало срока поставили 1 мая. Видимо, тем тогда предпраздничное настроение замутило разум. Теперь не было бы никаких неясностей, а главное, тревог. Может, и был бы уже на свободе. Возможность такого исхода совсем взволновала, и теперь уж я стал корить себя: надо же быть таким бараном!

Не возмутился тогда (как будто кто-то на моем месте стал спорить из-за нескольких часов) и не потребовал, чтобы поставили точную дату ареста (словно 8 лет назад можно было предугадать такую ситуацию). Теперь уж ничто не изменишь: таков мой удел, предназначенный судьбой. Хотел этим успокоить себя, но разум не признавал оправдания. Когда пришел в барак, никто не спросил у меня: как дела? По моему виду все поняли, что ничего хорошего нет. Я залез на нары и отрешился.

Ко мне подошел мой знакомый Андрей Иванович Карев. Вместе работали на базе ТМиО. Негромко заговорил:

— Ты не переживай, пройдут праздники — и придет твое освобождение.

— Хорошо тебе так рассуждать! Успокаиваешь, — начал я. — Они там (где-то в Норильске) гуляют праздники, не до меня им будет (как будто я

для них только и есть один). Да не дай Бог, затеряют (ведь перепутали дату ареста) какую-нибудь справку во время веселья (чего только не втемяшивалось в голову от раздражения) — и ожидай, пока разберутся. Тебе что! Сидишь по бытовой статье и сроку остается еще не один год, а тут словно на горячей сковороде ворочаюсь. Сколько ночей уже не сплю, а как засыпаю, сразу же снится всякая чертовщина. Просыпаюсь в страхе, весь мокрый от пота, — высказался я сердито.

— Так давай поменяемся, — шутливо сказал он. — Я тебе свой срок, а ты мне свою долю, — предложил он.

Это меня встряхнуло, и гнетущее чувство ушло.

— Нет уж (как будто это было возможно поменяться местами), будь что будет, останусь со своим горем, — ответил ему. После праздников рано утром снова пошел в УРЧ. Пока шел, дорогой «согласительно» думал: ну, пусть через три месяца, даже два выпустят. Сказали бы так (только чтобы это было правдой), и я никого не стал бы тревожить.

Дергачев был на месте. Ответил отказом: «Нет документов. Не пришли еще. И что ты шарахаешься... Много таких... Но они даже не появляются. Не одного тебя надо освобождать».

Я облегченно вздохнул. Но как только вышел от него, стал опять в душе проклинать всех работников УРО Норильлага: «Подлецы бесчувственные, им бы только водку хлестать по праздникам, а тут ходи из-за них, словно чумовой.» Не знал я всех сложностей оформления документов на освобождение (думал, так же легко это делается, как и арестовывать). Не знал и того, что мое арестантское дело ушло на пересмотр в «Особое совещание». Под вечер прибежал нарядчик и приказал:

— Иди! Дергачев зовет!

Сначала в грудь ворвалась волна радости, и теплом обволокло душу: наконец-то! И тут же словно декабрьским морозом опахнуло:

— А вдруг? И сколько!

Я не любил этого нарядчика. Хам был, да еще и алкаш несусветный, любил задаваться подвыпивши перед забитыми заключенными (узнал их всех за три года). Но, переборов себя, медовым голосом спросил:

— А вещи брать?

— Не знаю. Там скажут, — буркнул он и тут же ушел.

Я мигом прибежал в УРЧ. Зашел. Иван Федорович был в веселом расположении духа. Рядом с ним сидел старший нарядчик Иван Михайлович Чобитько. Видимо, они успели опохмелиться после праздников. Совместная выпивка вольнонаемных (даже и после работы) с заключенными (Иван Михайлович в то время отбывал срок наказания) запрещалась.

Но Иван Федорович был доброжелательный, даже добрый мужик и, как всякий порядочный и уважительный человек, никогда не брезговал опрокинуть с друзьями чарочку.

— Ну, вот что! — начал он улыбаясь. — Сейчас тебе выдам справку. Иван Михайлович ее уже подготовил. Михно (начальник лагеря) подпишет. Собирай пожитки и выходи за зону. Есть где пристроиться и пожить несколько дней, пока подойдут документы?

Я не успел ответить, как он продолжил:

— А уж если не к кому податься, то придется дожидаться в лагере. На работу можешь не ходить, ты теперь человек, считай, вольный. Скоро можешь ехать на все стороны.

Чем тогда руководствовался Дергачев, сказав эти слова, я не знаю. Вероятнее всего, Иван Федорович был простым, доверчивым и добрым.

У меня был знакомый Иван Иванович Баженов. Старшим бухгалтером работал в управлении торговли. Освободился недавно. Адрес мне дал и звал, как освобожусь, приходить к нему. Я сказал об этом Дергачеву.

— Ну, иди за вещами, — сказал Иван Федорович.

Я тут же убежал. Быстро собрал весь немудреный скарб (что тогда было укладывать?). Через полчаса вернулся, Иван Федорович видел мою радостную растерянность и, понимая, что делает доброе дело, «мягчел» еще больше. Совсем по-доброму сказал:

— Держи бумагу и иди. Время близится к вечеру. Мне тоже пора домой. Праздник-то ведь еще у многих продолжается.

Я взял у него документ, поднял свой деревянный чемодан (обзавелся им уже в дудинском лагере) и двинулся на пропускную вахту. Вместе со мной пошел и он.

Старший охранник посмотрел справку и сказал:

— Что-то, Иван (к Дергачеву), я такой документ впервые вижу.

— А ты читай лучше! Видишь, подпись начальника лагеря Михно! И печать! Что тебе еще нужно? — сердито проговорил Иван Федорович.

— Ну, ладно! Давай проходи! — сказал мне «страж», махнув рукой.

И я вышел на волю.

Только лучше было бы, если бы меня вахтеры не выпустили, а завернули обратно.

Недолго пришлось побыть мне на свободе. Дня через три после праздника Победы пришел с работы Иван Иванович и сказал: «Дергачев звонил. Велел тебе возвращаться в лагерь». Я захватил свою справку и пошел, плохо соображая, что делаю. Через вахту прошел беспрепятственно: им сообщили, чтобы впустили меня. «Придется быть в зоне, пока придет освобождение, — сказал Дергачев, — из УРО Норильлага сообщили, что твое дело отправлено на пересмотр», — добавил он с каким-то недовольным выражением лица (видимо, получил нагоняй, что выпустил меня без достаточных оснований, а вернее, без всяких оснований).

В потрясенном состоянии пришел в барак, с которым совсем недавно так радостно распрощался. На другой день вместе со всеми отправился на работу в лесное хозяйство. Хотя мне и говорил Дергачев, что я могу не работать до решения по моему делу, оставаться в бараке одному со своими раздумьями не было сил.

В то время в руководстве лесного хозяйства было много заключенных, еще больше тех, что освободились и остались работать на своих должностях. Были среди них и ссыльные. Начальник всего объединения (лесобиржи и лесозаводов) Захар Исаакович Равдель отбывал срок наказания с 1937 года по 1943 год, давно уже был вольнонаемным и не имел никаких ограни-

чений. С первого дня моего появления он направил меня в плановый отдел экономистов, хотя я и не имел никакого представления об этой работе. Я понимал, что жалеет, но такая жалость только растравляла боль. Начался самый мучительный период в моей жизни, о котором всегда вспоминаю с горечью.

Иногда казалось, что это затянувшийся долгий сон, он кончится, и все будет по-иному. Но как себя обманешь? Куда спрятаться от нахлынувших тревог? Все опять накатилось, только в еще большей степени. Перебирал в мыслях всевозможные исходы: если дадут повторный срок, то, когда отбуду его, мне будет 33 года. А хватит ли сил? А почему ты (то есть я) внушаешь себе, что дадут только 8 лет (сколько было в первый раз), а не 10 или 15? Кто там будет вникать в суть, и кому до тебя какое дело? Вот уж тогда наверняка спецлагеря обеспечены. А в них будто бы каторга похлеще царской. Иногда пробивалась успокоительная мысль: «Да ведь никому не дают повторных сроков. Даже Петру Фомичу, уж на что махровый бунтовщик, и то второй срок дали после окончания первого через несколько лет: освободили в 30-м году, а вновь посадили в 39-м году. Да и время сейчас другое. И опять. Но ведь были же такие факты в 30-х годах. Почему не повторить и не начать именно с меня?

И опять успокаивал себя: «Но сам-то ты таких людей не видел. Слышать — слышал, а встречаться не приходилось. Тех же, кого задержали до окончания войны, давно всех выпустили».

С кем бы ни доводилось разговаривать все убеждали, что больше ссылки ничего не будет. Я слушал, молча кивал головой в знак согласия, но думал по-своему. В каком-то болезненном упрямстве делал самое трагическое исключение, выбирал самый худший исход. И от этих навязчивых дум так все смешалось в голове, что порой казалось: вот так и сходят с ума. Ожидание неведомого самое тяжкое испытание.

А ведь встречал людей (да их было немало), которым выпадала более тяжкая доля. Как-то раз (а это было еще в омских лагерях) на производственной площадке я спешил, подгоняемый бригадиром, на закрепленный за нами рабочий объект. Нечаянно подтолкнул шедшего впереди пожилого мужика. Он неуклюже повернулся, посмотрел на меня безжизненным взглядом и чуть посторонился. Молча, без единого слова.

Я обошел его. Идущий со мной наш бригадник сказал: «Это Матвей, из бригады Колодного. Червонец отмотал, и вот уже третий год сидит сверх срока с первого дня войны. Таково решение высших властей: не выпускать, пока война не закончится». По прошествии некоторого времени как-то уж так получилось, мы с Матвеем часто встречались. Я с ним всегда старался первым поздороваться, чтобы хоть немного расположить к себе. Но он всегда был угрюмым и редко замечал меня.

Однажды, переборов свою застенчивость, обратился к нему:

— Дядя Матвей, а что ты постоянно такой хмурый? Никогда ни с кем не разговариваешь. Я все время думаю, что тебя тоска изъела по свободе.

Мне казалось, что он не захочет со мной разговаривать. Но все получилось иначе. Лицо у него чуть подобрело и он промолвил:

— Эх, сынок, сынок! Зачем мне свобода, да и сама жизнь. Всех родных и близких война у меня отняла, да и самого держит в цепях. Что мне сейчас там?

Поговорил. Снова посуровел. И замкнулся в своем безразличии. Но были люди и другого склада.

Они так же, как и Матвей, ожидали окончания войны, отбыв сроки наказания. У них были семьи. Жены, дети, дожидавшиеся их по 10 и более лет. Сами они находились в неволе, а их души и мысли были там, на свободе. Но никогда никто не видел за их непроницаемостью растерянности или переживаний. Даже в разговорах не было заметно ни тоски, ни горечи. И только самые близкие им люди знали, какой ценой удается им сохранить невозмутимость и спокойствие. Это были люди большого мужества. Я не принадлежал к этой категории людей. Подвешенность и неясность своего положения переживал, не скрывая ни от кого своих чувств.

Чем можно объяснить мое состояние и мои действия? Малодушием? Возможно. Только мне тогда очень не хотелось повторить то, на что у меня уже не хватило бы сил.

В то далекое время самую теплую поддержку, бескорыстную помощь оказывала мне медсестра Шура, мой, самый верный и добрый друг. Она всегда оказывалась рядом. И в горе, и в печали. Помогала во всем. Даже когда казалось, что это невозможно. Теперь она давно Александра Афанасьевна, моя жена. Постоянная спутница на всем моем пути. Я благодарен ей на всю жизнь.

Каждый вечер после работы приходил я в штаб лагеря (административный центр). К моим посещениям привыкли. И стоило мне появиться в дверях, сразу же (кто бы только первым не подвернулся) отвечали: «Рано еще. Не пришли документы. Меньше двух месяцев никогда не было, чтоб обернулось «дело», а у тебя еще только две недели прошло». И так каждый раз. Я очень надоел всем своими посещениями.

Однажды Дергачев вышел из своего кабинета. Позвал к себе:

— Ты больше не ходи, — сказал он. — Мы сами позовем. Вон, видишь, какая куча формуляров лежит. На них тоже нет решений. И они ожидают, как и ты. Только не мучают себя. И статьи их пострашнее: они отбывали за измену Родине, террор, диверсию. А у тебя самая слабенькая статейка, может, еще и ссылку не дадут, а освободят по «чистой». Верь мне! Иди и жди!

Тревога притупилась. Наступило мрачное спокойствие, похожее на спокойствие безбрежной ледяной пустыни Северного океана.

Больше я не ходил в УРЧ. Пришел, когда позвали. Было это 13 июля 1949 года.

Ранним утром перед разводом нарядчик предупредил:

— На работу не ходи. Иди к Дергачеву.

Администрация лагеря начинала работу в 9 часов утра. Я же пошел туда сразу с вахты. Дожидаться пришлось недолго. Дергачев пришел много раньше. Увидев меня, коротко сказал:

— Ты уже здесь? Заходи!

Покопался немного в бумагах. Вид у него был серьезный.

— Ну, вот, — начал он. — Пришло тебе освобождение. Только с огра-

ничениями. Ну, ничего, — как бы успокаивая, продолжил он, — так выходит теперь всем, у кого политические статьи.

Мне показалось, что он вроде бы смущается: не забыл, видимо, свою опрометчивость, когда утверждал, что освободят по «чистой». А тут пожизненная ссылка.

— Здесь, в Дудинке, со всех краев люди. Сами приезжают. Надолго остаются, да еще рады-радешеньки, — успокоительно сказал он.

Я про себя думал: «Столько каждому выпадает благодати, что порой от радости захлебнуться не грех в угоду любимому Северу».

Взял дрожащими руками (слава богу, не страшнее), прочитал и спросил у него:

— А теперь что?

— А теперь, — Иван Федорович посмотрел на меня и сказал: — Надо ехать в Норильск, в управление МГБ, и там у них получить разрешение на постоянное местожительство. Они разрешают самим выбирать любой район проживания на Таймыре: хочешь поехать на Диксон, пожалуйста, в Хатангу или Норильск, тоже не будут препятствовать. Могут послать в колхоз, совхоз, только дай согласие. Ну, и Дудинка тоже...

Знал Иван Федорович порядки: не первому мне говорил такие слова.

— Поезда ходят сейчас регулярно, — подвел он итог разговору.

Все. Я вышел от него. Угнетения и горечи не было: таков уж, видно, удел. Задумался: «Сколько придется мне (да и всем таким же) прозябать вдали от родных мест? Наверно, долго. Что ж! «Привезенных издалека (словно на приятную экскурсию), чтоб счастья дар не расплескать, Таймырский милый полуостров не любит быстро отпускать».

Через несколько суток я приехал в Норильск. Сдал свою справку в управление МГБ. Посмотрели. Спросили: «Где желаешь жить?. – Ответил, что в Дудинке. Предупредили: — Приходи завтра к 11 часам дня».

Не поинтересовались, где и как перебьюсь эту ночь или что-то в этом роде.

Таких, как я, видимо, было много. Ожидать надо было долго, и я пошел на станцию «нулевого» пикета. Начало вечереть (хотя какой может быть вечер в июле в Заполярье?), когда пришел на вокзал. На станционной «ожидаловке» не было никого, кроме дежурных. Это были расконвоированные заключенные.

Хотели меня выгнать, но когда узнали, зачем я здесь, смилостивились:

— Ладно! Сиди до утра!

Июльское солнце ходило по кругу, время тянулось медленно и, чтобы хоть как-то скоротать свое одиночество, решил посмотреть поселок (тогда Норильск еще не был городом). Причем из конца в конец. Теперь уж я не помню, каким он был. Только помнится, что все дома были деревянными, кроме гостиницы, да еще одного здания в конце поселка. Кажется, это было учебное заведение. Оба эти здания были оштукатурены.

Дальше расстилался пустырь и виднелось большое озеро. Сейчас оно называется Долгое, вероятно, так называлось и тогда. Да еще сохранились в памяти высокие кирпичные трубы. Их хорошо было видно с железнодорожной станции.

По всей дороге людей почти не встречалось. Тихо и пустынно. Ни о чем не думалось. Только ветреной гостьей мелькнула мысль: «Где-то здесь, в этом затихшем поселке, спят в спецлагерях заключенные, несколько месяцев назад привезенные из Дудинки». Мелькнула и улетела: чего попусту ломать голову? У кого узнаешь, кто расскажет тебе, незнакомому?

На следующий день получил документы пожизненного спецпоселенца на Таймыре и вечером тем же поездом, что привез меня в Норильск, уехал обратно в Дудинку.

Завершен изнурительный и трудный день. Начиналась другая жизнь. Радости и ликования не было. Но не было нисколько никакой озлобленности ни к властям, ни к людям. За эти годы обо всем передумал, повидал всякое. Много было плохого, несправедливого, но не все. Правильного и хорошего было больше.

В Дудинском отделении госбезопасности комендант взял мои документы. Посмотрел, спросил:

— Почему опоздал?

— Как это опоздал? — возразил я. — Вчера днем только приехал, а сегодня чуть свет сразу же пошел к вам.

— Надо было приходить вчера, мы работаем допоздна! — сказал он очень спокойно и добавил: — Зайди сейчас к Ломаченко (я забыл его имя и отчество, фамилия же не вымышленная), на втором этаже вторая дверь.

В это время все отделы МГБ помещались в одном здании с милицией. Оно недавно сгорело. Жаль! Здание историческое. Спросил у коменданта:

— А кто такой Ломаченко?

— Начальник службы по надзору за ссыльнопоселенцами на Таймыре, — не глядя на меня, ответил комендант.

— О! Большой человек! — вымолвил я.

— Иди! Иди! — в голосе коменданта чувствовалось легкое раздражение.

Перед дверью задумался: «А как к нему обращаться? Назвать товарищем? А вдруг он ответит: брянский волк тебе товарищ!»

Случалось подобное. И с «гражданином начальником» тоже бы вроде унижаться ни к чему. Теперь я не заключенный. Раздумывать долго не стал: невелика беда, если назовет волком.

Зашел. Ломаченко был молодым мужчиной приятной наружности. Лет тридцати. Кажется, в чине майора.

Вежливо попросил сесть.

«Культурный», — подумалось.

Через несколько дней узнал от таких же ссыльных, что Ломаченко в органы МГБ призвали с третьего курса института. И что мужик он с понятием. Как потом сам убедился, это было сущей правдой.

Беседа была недолгой, но обстоятельной. Говорил больше он. Познакомил меня с положением о ссыльных. Предупредил, что уходить от Дудинки дальше, чем на 1 километр, нельзя.

— Если захочется где-то подальше порыбачить или зверей с пташками в тундре половить — это можно. Но для этого необходимо взять у нас разрешение.

Названные мне в комендатуре нарушения расцениваются как побег с вытекающими последствиями. В определенные дни два раза в месяц необходимо приходить в комендатуру, на отметку. За перечисленные формальности предложил (не заставляя, видимо, здесь не перечили) расписаться.

Все было вежливо, даже деликатно, чувствовалось, что дело свое здесь знают. Я сразу от него ушел на работу.

В те, теперь уже далекие, времена лесное хозяйство было самым большим подразделением в Дудинском порту. Не только по объемам поступления и перевозки грузов, переработке древесины на пиломатериалы, числу работающих людей, но и по величине производственных и складских площадей. Его территория простиралась от совхоза «Полярный» до складов портснаба (некоторые стоят сейчас с той поры) и зданий овощехранилищ, построенных в более позднее время.

На месте причалов спецгрузов и причалов высокой воды (теперь это 5-й производственно-перегрузочный комплекс) тогда обсушивались плоты леса по большой воде сразу же после ледохода. Весь тот участок назывался совхозным логом. Ежедневно методом обсушки на нем выгружали один плот. Зачастую два. Но были навигации, когда успевали (если подъем воды в реках Енисей и Дудинка был высоким и держался долго) обсушить три плотокаравана леса.

В этом случае для последнего плота занимали территорию старого отвала (ближе к устьевой части реки Дудинки на ее правом берегу).

В самые первые годы много привозили пиломатериалов. В целях сохранности и удобства транспортировки доски и брусья укладывали в штабеля высотой около двух метров габаритами 6х6 или 5х5 метров (в зависимости от длины материалов), прочно скрепляли и за ледоходом по высокой воде доставляли в устье р. Дудинки. Выталкивали на берег и по мере спада воды обсушивали так же, как и караваны леса. Пиломатериалы в таких штабелях укладывали сплошными рядами крест-накрест без всяких прокладок и просветов (вглухую). Оттого, вероятно, они и назывались «глухарями». Пиломатериалы в «глухарях» поступали из Игарки.

Но после ввода в действие одного лесоцеха в Норильске и четырех в Дудинке от закупа игарской пилопродукции отказались из-за низкого качества. Все высшие сорта пиломатериалов Игарка отправляла за границу на экспорт.

Большую часть поступающей в навигационный период древесины выгружали бревнотасками. Стационарных бревнотасок на лесобирже было три. Четвертую бревнотаску (она почему-то была под номером 5) длиной почти в километр построили в конце 1949 года. Проработали на ней только одну навигацию. Очень сложно было ее обслуживать. Кроме этого, каждую навигацию строились временные (на один сезон) бревнотаски. Особенно много их было летом 1952 года. Тогда на завершающей стадии навигационных работ в конце сентября было задействовано одиннадцать лесотасок, устанавливали их на судоверфи и в районе угольного участка по обе стороны угольного транспортера (пирса).

При наступлении холодов, когда возникала угроза замораживания леса во льду, создавали дополнительные объекты, где бревна вытаскивали лошадьми. Около 20 голов работало с дудинской конбазы и столько же привозили из Норильска. Небольшие объемы выгружали таким способом. Но что поделать, если не было ни тракторов, ни бульдозеров, а о кранах тогда и не мечтали. Распиловка бревен производилась четырьмя лесопилками. Они были малопроизводительны. Но тем не менее на них изготовляли большое количество различных сортиментов пиломатериалов: от изоляционных реек до шпал и мостовых брусьев. На всех работах, кроме распиловки бревен лесо-рамами и выгрузки леса бревнотасками, применяли ручной труд.

Работы велись круглосуточно как в навигационный период, так и в межнавигационный период. Прерывались два раза в месяц: на выходные с пересменами. Развитие промышленной базы Норильского комбината и строительство социально-культурных и бытовых объектов набирали силу. Чтобы обеспечить потребности растущего гиганта, требовалось все больше и больше техматериалов, машин, оборудования и особенно лесоматериалов. На лесобирже и в лесоцехах работало много людей. Не одна тысяча человек трудилась в каждую смену.

Десятки бригад заключенных приходили на лесное хозяйство из всех дудинских лагерей. Вместе с заключенными работали и вольнонаемные рабочие. Но их было немного. Кажется, бригады три или четыре. Остановок производства не допускалось: ни по погодным условиям, ни из-за аварий и поломок (их устраняли очень быстро). Актировок, насколько мне не изменяет память, не было даже для школьников. Только в самые лютые морозы и шквальные ветры останавливались работы на открытых объектах. Никаких простоев из-за неорганизованности или беспорядка также не было. Работников высокого профессионализма и организаторского мастерства хватало с избытком, а на производстве и в лагерной зоне действовал один призыв: «Даешь перевыполнение плана!». Этому девизу было подчинено все.

Отказы от работы даже отдельных заключенных были исключением (за это строго наказывали во всех лагерях). Одновременно с принудительными мерами действовали и поощрительные. За перевыполнение норм и заданий выдавались дополнительные пайки, применялись зачеты по сокращению сроков (правда, в преобладающем большинстве для малосрочников). Было организовано соревнование между бригадами. Имена лучших передовиков писали на досках почета. Особо отличившиеся бригады перед входной вахтой в лагерь при возвращении с работы встречали духовым оркестром.

С первых дней своего освобождения я стал работать диспетчером. В то время круг обязанностей этой службы был довольно большим и разнообразным: учет работников по количеству и категориям (вольнонаемные, заключенные, мужчины, женщины, сколько из каждого лагеря и т.п.), распределение бригад по объектам, контроль за лесопилением, хозяйственные вопросы. Даже приготовление пищи для заключенных (тогда на производстве варили суп и кашу) в какой-то мере контролировалось диспетчерской службой: не повезут же из лагеря дрова на лесобиржу топить печи, чтобы обед варить. Самой серьезной задачей

было своевременное и качественное выполнение грузоперевалочных работ: леса приходилось грузить 1200-1500 куб.м в сутки, вагонов ставили много (они были малой грузоподъемности — 10-12 т). Загрузку производили строго по сортиментам. Простоев железнодорожных вагонов не допускалось. Я с трудом постигал «лесные премудрости». Часто допускал ошибки сам, да и мастера еще обманывали... За все, даже малейшие промахи спрашивали строго. За смену столько выпадало критики, что зачастую забывал, от кого же больше досталось. «Дремать» не давали.

Иногда казалось, что не смогу пробиться через эти «дремучие нагромождения». Чем больше вникал в производственную суть, тем яснее понимал, что ничего не знаю. Чтобы хоть как-то заполнить пробелы, каждый раз перед началом смены и после ее окончания, невзирая на погоду, на время (будь то раннее утро или поздний вечер), обходил все лесное хозяйство до самого совхозного лога. И то, что мне представлялось из диспетчерской, было совсем не так на местах. Опыт перенимал у «коренных» лесников, много лет проработавших на этом поприще. В ту пору их работало много. Наиболее же часто обращался за советами и разъяснениями к Пшеничникову Михаилу Антиповичу (да будет ему светлая память). Он работал на лесобирже с 1940 года, почти с первого года ее образования, довольно уверенно разбирался в лесных производственных делах и делился со мной своими познаниями с желанием и удовольствием.

Краткая справка. Лесобиржа (Дудинского порта) была организована в 1939 году на сильно заболоченной и местами пересеченной оврагами местности. Даже через 10 лет, когда я стал работать вольнонаемным, было еще столько незасыпанных водоемов, что при неосторожности легко можно было окунуться в воду по самую шею. Но это не означает, что до 1939 года в село Дудинку не поступало лесоматериалов: их доставляли и выгружали за много лет до начала строительства Норильского комбината. Правда, в очень малых объемах.

Михаил Антипович знал много трагичных происшествий, что случались у него на глазах. О некоторых иногда рассказывал мне.

Однажды мы шли с ним по железнодорожному пути, что проходил по всей территории лесобиржи под эстакадами бревнотасок. Они были довольно большой высоты. Такими их строили с целью формирования высоких штабелей, чтобы за счет высоты уложить как можно больше леса (тогда штабеля бревен формировались вручную). Кроме этого для свободного проезда железнодорожного транспорта под эстакадами необходимы были определенные габариты. Не менее 8-9 метров. Когда мы подошли к самой высокой бревнотаске, я, не раздумывая, забрался по лестнице на самый верх и взошел на дощатый настил, он был узким и в одном месте разобран. Через проем был уложен трап. Где-то в конце бревнотаски рабочие сбрасывали бревна. Я хотел подойти к срывщикам бревен и ступил на трап. Он закачался. Попробовал переступить на другую сторону бревнотаски и не смог: по рабочей цепи сплошным потоком двигались бревна. Мне казалось, что

еще одно неверное движение и я полечу вниз. Очень осторожно подался назад. Михаил Антипович видел мое замешательство и, когда я спустился, спросил:

— Чего дальше не полез, страшно?

— Надо быть циркачом. Как они там только ходят? — ответил я (в то время на бревнотасках еще не обустраивались проволочные ограждения, и рабочие довольно часто падали, иногда вместе с бревнами).

— Приспосабливаются, — сказал Пшеничников, размышляя о чем-то другом. Немного помолчав, добавил: — На этих бревнотасках не один заключенный поплатился жизнью.

Сказал и умолк. Михаил Антипович был немногословен. Я знал об этом и потому сразу же задал ему вопрос: «Как это случилось»?

— А так! Уголовники свои счеты сводили. Убьют человека на виду у всех, и никто из начальства про такое не дознается, — высказал он и опять задумался, видимо, соображая, нужно ли мне до конца рассказывать. Поняв, что в его повествовании нет ничего предосудительного (за давностью лет), продолжал спокойно, с более подробными разъяснениями: — В первые годы войны здесь был настоящий беспредел, правил закон тундры: над всеми главенствовали уголовники и бандиты. Что хотели, то и творили. Настоящие помещики-крепостники. И действовали по их же закону: «Мои рабы. Одних казню, других милую» (Михаил Антипович знал кое-что из истории).

Страшных сюда привозили людей: бандитов, дезертиров, укрывавшихся от фронта, убийц, в лютости своей не знавших меры. Перед ними все трепетали, словно кролики перед удавами. То кто-то «заиграется» в карты, а то что-нибудь не поделят по воровским законам, «ершистый» мужичок не угодит в чем-то какому-либо главарю, бывает, по упрямству, а то и глупости. Его приговорят своим бандитским судом, и расправа следовала незамедлительно. Сначала оглушат по башке чем-то тяжелым, чтобы не сопротивлялся и не орал, тут же подтащут к основанию эстакады, уложат на бревна и прикажут срывщикам сбросить на лежащего «осужденного» бревно, да чтобы было потяжелее. А над некоторыми, особо «проштрафившимися», сначала издеваются, да так, что иной бедолага сам смерти просит. Как было поступать простым работягам? Отказываться и не сбрасывать бревна? Самих прихлопнут. Жаловаться идти? Еще страшнее расправлялись за доносительство. Очень многие противились. А те, кто, испугавшись угроз, исполняли «повеления» бандитов, сами становились преступниками. И никто, одни из страха, другие за содеянные ими «невольные грехи», не оказывал сопротивления и не помышлял о жалобах или доносах лагерному начальству. Когда появлялись работники отдела техники безопасности (расследования проводились в каждом случае) на месте происшествия, все рабочие заявляли: «Сам попал под бревно». На этом и заканчивалось дознание: несчастный случай на производстве. И только между собой работяги говорили шепотом о происшедшем, — этими горькими словами закончил свой рассказ Михаил Антипович.

— И что? Долго все сходило им? — спросил я.

— Иногда дознавались. И тогда палачам доставалось тоже, — произ-

неся эти слова, Михаил Антипович даже распрямился. — Их воспитывали изощренными приемами: в валенок закладывали металлический шар весом 5—10 килограммов. Отобьют все внутренности, «мозги набекрень свернут» – и никаких синяков. Немногие после таких «нравоучений» годились на что-нибудь.

Пшеничников замолчал, мне же у него больше не о чем было спрашивать. Я и до его рассказа знал, что подобным «ремеслом» хорошо владели «старатели» из лагерной комендатуры. Они орудовали повсюду: и в лагерной зоне, и на производстве, где работали заключенные. Формировалась эта «дружина» в основном из бывших заключенных (уголовников, бытовиков), брали в нее и «отступников» от блатного мира, случалось, что зачисляли в нее и заключенных (за особые заслуги перед властями порядка). Были в ней и проштрафившиеся работники (вольнонаемные) из правоохранительных органов. У многих служителей этой «когорты» были свои счеты с уголовным миром. И если попадал им в лапы хоть в какой-то мере повязанный с блатным кланом, то отыгрывались они на нем с превеликим усердием. Да еще и считали, что такими методами можно навести порядок. Трудились по совести, стараясь угодить начальству.

После затянувшегося молчания я спросил:

— Михаил Антипович, может, ты преувеличиваешь? Ведь сейчас совсем тихо, никаких происшествий, никаких преступлений. Что же помогло?

Пшеничников болезненно воспринимал недоверие и на мое замечание даже как-то встрепенулся:

— Ничего я не преувеличиваю! А порядок навели повсюду не «коменданты», а сами заключенные. Выведенные из терпения невыносимыми притеснениями уголовников и «сучьей сворой» (так назывались перебежчики из кланов воров), они (простые заключенные, работяги), не сговариваясь, как-то вдруг налетели группой – и никому не было пощады.

Многих насильников, грабителей и прочих головорезов, измывавшихся над безобидными и забитыми заключенными, после этого «возмущения» недосчитались на проверке. Вот с тех пор и тишина в лагере и на производстве, — закончил свой рассказ Пшеничников.

Здесь нет ничего удивительного, все закономерно: самыми беспощадными становятся добрые люди, доведенные до безрассудства бесчеловечным угнетением.

Мне не довелось в дудинских лагерях испытать или увидеть что-либо подобное. Наш этап прибыл много позже происходивших событий. К этому времени лагерные власти полностью контролировали дисциплину и порядок в лагерной зоне и на производственных объектах.

Вспоминая печальные истории тех далеких лет, горько усмехаюсь. Разве можно теперешнюю криминальную обстановку по всей нашей стране (слава Создателю, в Дудинке много тише и спокойнее) среди гражданского населения по масштабу и размаху сопоставить с теми преступлениями, что довелось мне слышать или видеть в тогдашних лагерях для заключенных. О таком бандитизме, что сейчас, тогда никто и не слышал.

Пройдя несколько шагов по железнодорожному пути, Михаил Антипович вдруг что-то вспомнил и повернул назад. Я последовал за ним. Мне показалось, что ему хочется выговориться (нечасто с ним случалось такое, видимо, мое сомнение в правдивости его воспоминаний затронуло «болезненную струну»).

Остановившись под самой эстакадой бревнотаски, он указал на перекладину, соединявшую две крайние опоры: «Вот с нее мне самому приходилось снимать несколько повесившихся «западников», — сказал он.

— Как это? — спросил я, не поняв его.

— А так! Очень просто! Как снимают висельников? Перережут веревку, тот летит вниз. И вся работа, — пояснил он.

— Их вешали? И за что? — опять спросил я, подразумевая, что и это дело рук какой-то банды изуверов.

— Нет! Они сами вешались, — теперь уже более доходчиво сказал он.

Хотя мне и до этого приходилось слышать о подобных происшествиях, спросил его:

— Из-за чего и почему они вешались, причем на самом видном месте, ведь тут почти постоянно ходят люди?

— А вот уж про это не могу ответить, лучше спросим у них, когда встретимся с ними там, — полушутливо и снисходительно (вроде бы зачем задавать глупые вопросы?) ответил Пшеничников. Мне показалось, что такие воспоминания его уже мало волновали: насмотрелся на разного рода происшествия за многие годы. Что поделать? Человеческую натуру не переделаешь: люди ко всему привыкают. У меня тогда тоже недолго держались в памяти эти печальные истории. Разговоров на эту тему в коллективе не велось (к чему заниматься пустозвонством), и вскоре я обо всем забыл вовсе. Снова об этих событиях пришлось вспоминать через много лет.

Осенью 1988 года приехала в Игарку литовская делегация в поисках могил и захоронений своих соотечественников, умерших в 30-е и 40-е годы в лагерях и ссылке. Не знаю, удалось ли посланцам далекой страны найти чьи-либо захоронения: в те годы не ставили ни крестов, ни памятников. Единственной приметой была фанерная бирка с номером формуляра, привязанная покойнику на большой палец ноги. На ней также писались фамилия, имя и отчество (так должно было быть).

Но! Все процедуры выполняли заключенные-бытовики (обычно — малосрочники, воришки и прочие плуты), а им на все было наплевать. Они не только иной раз ничего не писали, а могли запросто привязать бирку одного покойника к ноге другого. Вот и попробуй разобраться в этой путанице. Впрочем, за долгие годы вряд ли что сохранилось от ритуальных предметов тех горемык, нашедших последний приют в этой земле. Так что установить, где чья могила и кто в ней похоронен, делегатам Литвы вряд ли удалось. Скорее всего, они только погоревали на суровой игарской земле. Плохо обошлись с живыми, а мертвые не пожалуются и не упрекнут. Да и некого, слишком много времени прошло с тех пор. Еще горше становится оттого, что сейчас (совсем иное время) зачастую хоронят безродных бедо-

лаг в безымянных могилах. И напрасно ищут порой на погостах родственники потерявшегося родного им человека.

В тот период средства массовой информации подробно освещали действия литовской делегации. Вот тогда-то и всплыл в моей памяти рассказ Михаила Антиповича о латышах и литовцах, так печально закончивших свою жизнь на деревянной перекладине бревнотаски у железнодорожного пути. И вновь навязчиво стучала мысль: «Что толкало «западников» в петлю, и почему они вешались на самом видном месте?». Прав был Михаил Антипович, заявляя что истину узнаем при встрече с ними. Ну, а все же?

Наиболее вероятной причиной самоубийств была утрата веры у этих людей в возможность хоть когда-нибудь возвратиться на Родину. Завезенные в холодные бескрайние дали, они растеряли надежду увидеть близких. Душевные терзания усугублялись физическими: невыносимые условия от уголовного беспредела — все это в совокупности обрекало на безысходность и толкало на крайние меры, они не могли устоять перед непреодолимыми трудностями.

А вешались на самых людных местах, чтобы их поскорее обнаружили. В укромных-то закоулках снегом задует, не сразу отыщут. Пока найдут, души перетрясут у всех бригадников, допытываясь: не в побеге ли? И, может, кто-то был в сговоре? Да и песцы могут обглодать, тогда их по лесобирже в зимнее время бегало немало. Скорее всего, с такими мыслями уходили они в жизнь вечную, спрочем, это мои предположения. Сейчас в наше демократическое время подобных драматических происшествий стало так много, что на них уже перестали реагировать (твоя жизнь, ты и распоряжайся ею), свыклись и не стали мечтать. И все же, когда с экранов телевизоров ухоженные дамочки без всяких эмоций и смущения вещают о акте самоубийства матери, выбросившейся с детьми из окна высотного здания или сгоревшей (облив себя бензином) перед окнами чиновничьих апартаментов, то поступки упавших духом и обессилевших заключенных в том далеком прошлом выглядят лишь слабой тенью.

До какого же беспредела дошел чиновничий разбой? Все, как прежде, только в иной форме и масштабах. Как можно допускать такое в нашем правовом государстве? Что сказать? Как осмыслить? Творец заложил в человека непоборимую силу к жизни. Даже в самых тяжелых мучениях все его существо противится смерти. А как же оправдать трагедии этих людей? Видимо, их страдания были настолько велики, что противостоять им небесных сил оказалось недостаточно.

Многое перестроилось и изменилось. Не осталось лесных балков-обогревалок, «куриных» конторок, другой стала технология на всем лесном хозяйстве. А вот бревнотаска, где не один литовец отдал богу душу, уцелела. Теперь она много ниже (перестроили после внедрения портальных кранов). Да остался железнодорожный путь. Только уже много лет идет он широкой колеей и заканчивается возле той самой бревнотаски. А в ту пору он проходил через все лесное хозяйство до станции Сортировочная 19-го пикета.

С первых дней общения в среде вольнонаемных работников я сразу ощутил какое-то непонятное отчуждение со стороны некоторых людей,

какую-то натянутость. Вроде бы и нет причин, а сторонятся. Такого не наблюдалось в лагере. Там все равны были между собой (уравнивались одним определением: заключенные). Там не имело значения, кто какой нации (впрочем, тогда так было и среди вольных граждан), за что посадили, какой выпал срок. Если и спрашивали друг у друга, то только про то, чтобы узнать, сколько кому осталось сидеть. А теперь (в иной «атмосфере») подход к нам, ссыльным, был другой: хоть и свободные, а не в полной мере, надзор был гласный и негласный.

Со многими вольнонаемными работниками проводились определенные беседы в отношении категории ссыльнопоселенцев. И после определенных наставлений каждый во избежание неприятностей (даже безобидное приглашение в учреждение МГБ — невесть какая благость) под различными предлогами старались (некоторые незаметно, другие открыто) избегать даже поверхностного общения со мной и мне подобными. Правда, таких людей было немного. А все равно на душе горчило.

Но! Жизнь всегда, в любых условиях пробивает себе русло. Дни мелькали один за другим, шли месяцы, годы. Появились друзья, приятели. Народ тогда был (за малым исключением) душевный и простой. Почти никто не помышлял о наживе, тем более нечестной. Это сейчас прибыль и чистоган помутили разум живущим.

Сколько в последние несколько лет устояло людей от этого соблазна в разбушевавшемся вихре стяжательства и скопидомства? (Здесь необходимо сделать поправку: кроме тех 90 процентов людей, что думают о том, как бы получить зарплату. Им мечтать о прибылях не приходится). Причем понятия чистоган и прибыль стали главными «движителями» человеческого бытия не только в РФ, а во всех «княжествах» бывшей (разрушенной теперь) советской державы.

Можно ли поступать иначе, когда вся идеология определяется законами собственности, а из всех средств массовой информации постоянно раздаются призывы к самостоятельному (без всякой помощи, не надейтесь, никто не поможет) выживанию? Что сказать? Приходится жить по закону джунглей. Отринем ли его? А в те послевоенные годы, пережив страшную беду (борьба с фашизмом велась всеми сообща), каждый, как мог, помогал другому. И делалось такое без корысти, а по божьему закону: твори добро, добром воздастся.

Прошло не так много лет после войны, а люди уже не думали о том, что кушать и сколько съесть. В любом ветхом дудинском домишке, куда мне приходилось заходить по каким-либо надобностям, даже малознакомые люди, в первую очередь, старались приветливо угостить.

Как правило, на столе появлялась бутылка с закуской. Правда, не имелось тогда заграничных разносолов (впрочем, и сейчас изысканные деликатесы только у «избранных») да полусопревших залежных «сникерсов», «марсов»... Но рыбы, квашеной капусты, картошки (этими продуктами запасались с осени на все зиму) и прочей крестьянской снеди было в достатке. Не скупились. Почти каждый держал на подворье корову или поросят. В те годы многие любили выпить. Но до сплошных запоев, что наблюдаются сейчас, не доходило.

Когда демократ Борис Ельцин заявил во всеуслышание, что антиалкогольная компания, проводимая Горбачевым (генсеком ЦК КПСС), есть не что иное, как антинародное преступление, он во многом был прав: Горбачев, этот «утробный» трус, в угоду западному капиталу не только развалил варшавский «щит», весь лагерь социалистического содружества, предал своих сподвижников... Он принялся под видом борьбы с пьянством разрушать народное хозяйство Советского Союза (уничтожалась торговля спиртными напитками, разрушались заводы и фабрики, виноградники, все, что хоть в какой-то мере работало на выпуск винно-водочных изделий и продуктов).

А что из этого вышло? Ничего. Нанесен был огромный материальный ущерб. А «постулат» (антиалкогольная компания — антинародное преступление) нашего теперешнего правителя Б. Н. Ельцина простой народ рассудил по-своему: «Пей, ребята, досыта, пока сверху дозволено пити беспробудно». Вот и «действует» люд наш российский. И вся тут идеология. Да и как не пить, если водка стала сейчас по цене не так уж дороже хлеба? Оттого и спиваются люди на радость американским империалистам да нашим «махровым» поборникам «западных» реформ.

Многие представители демократического толка из бывших членов КПСС через СМИ, захлебываясь от злобы, поливают грязью социалистический (теперь рухнувший) образ жизни. Иногда перевирая и приумножая (что только идет на пользу поверженному режиму) и его негативные стороны. В то же время всеми доступными способами затушевываются отчетливо видные недостатки пришедшей на смену социализму системы демократического правления. Зачем? Это только озлобляет людей. Мало того, что зарплату не выдают, так еще и врут!

Теперь уже для большинства людей стало очевидным, что фактическое различие между режимом советской власти и теперешним демократическим строем определяется тем, что тогдашняя социалистическая политика (со всеми перегибами, упущениями, извращениями, которые скрывались правящими кругами), охватывая все слои населения снизу доверху, предусматривала всеобщее улучшение жизни всего народа, сейчас же происходит безудержное (открытое, под звон фанфар всех СМИ) обогащение небольшой кучки людей (зачастую не приносящее им удовлетворения) за счет обнищавшего народа, который все больше и больше обрекается на безысходность.

И это становится нормой, правилом. Привыкаем. Как быть?

Пусть будут богатые и бедные, пусть будут разные религии и веры (не скоро прозреет человечество и отринет эти «одурманивающие недуги»). Только пусть богатые не притесняют бедных, не попирают их человеческого достоинства, и мера владения богатством не разделяет людей на избранных и отверженных. Будет ли так?

В канувшие в лету царские времена все низшие сословия были подмяты бояро-дворянской элитой, работали на нее, удовлетворяли все ее прихоти. И тысячелетиями несли этот крест на Руси. Да разве так только на одной нашей земле было? Повсюду стоял стон.

Неужели это «оголтелое барство без чувств и без закона» (а ведь это сло-

ва помещика Н. А. Некрасова) повторится у нас снова? Не исключено. Но если такое случится, горькая участь постигнет бедных. Не будет счастливых и среди богатых: счастье не в хоромах и дворцах, а в душах собственных.

Только как уживется счастье в душе, которая мрачнее исчадья ада? Показывая теневые стороны ушедших времен, я не желаю порочить (это давно уже сделали другие) систему советской власти (хотя в период сталинского правления перенес довольно суровое наказание).

Не смею давать оценку теперешнему, демократическому строю, сейчас ни для кого не секрет, что половина (а сколько еще прибавится наших соотечественников) оказалась за чертой нищеты и голода, правда, некоторые СМИ утверждают, что в этом повинна советская власть. Пусть это сделают другие. Потерпеть надо. Может, все еще образуется и каждый человек вздохнет с облегчением.

Но как бы то ни было, какие бы учения общественного развития ни рождались вновь — идеология социализма (при всех имевших место преступлениях в период его строительства, бандит тоже крестится перед грабежом, не винить же в этом религию) была и останется самым светлым и гуманным учением (пусть для многих сейчас утопическое понятие) в развитии человеческого общества.

Конечно, социализм невозможно воплотить насилием, равно как безбожника заставить искренне поклоняться божеству. Он сам наступит, когда нравственную убогость человеческого бытия заменят святые идеалы добра и всеобщей любви.

Сейчас все силы империализма подвергают самой жесткой критике прошлые преступления коммунистических вождей, причем главную вину возлагая на идеологию. Я со многим согласен. Только причем здесь социализм? Ведь не осуждаются религиозные постулаты, и даже отцы церкви (вот это непонятно) не несут крест покаяния за прегрешения своих предшественников, отправивших на костры инквизиции десятки тысяч людей за инакомыслие и безбожие. Инквизиторы, подобно коммунистическим вождям, насилием утверждавшие свою систему, были такими же несгибаемыми проповедниками в укреплении христианства.

После длительного забвения и притеснения христианская вера (в нашей республике) вновь проникает во все слои населения. И льется восхваление всех церковных деяний со времен седой старины. Колесо истории повернулось. Определенным силам выгодно такое развитие. А результат? Снова противостояние. Что поделать? Идеология социализма и религии несовместимы. Хотя мало чем отличаются одна от другой.

Разница в небольшом. Социализм зовет в светлое будущее. Это хорошо. Только никто не определил, когда оно наступит. Через 100 или 10 000 лет. Поэтому те, что посмекалистее, расценивают его как утопическое заблуждение. Наподобие Берендеева царства. Религия, не осуждая страдания (Христос страдал и нам вроде бы положено), обещает в загробной жизни рай в царствии небесном. А тут что?

Сначала фанатичный самообман самих себя (апостолы), а уж затем обман всей верующей паствы. Хорошо когда обман святой, а не исходит от корысти. А такого очень немало встречается. А люди терпят, ожидая. Чего?

Попробуй разберись и докажи. А народу простому, страждущему, нужно только светлое и сегодня.

И все же социализм в чистых руках — это много лучше, надежнее, чем все прочие общественные устройства. Не Сталин с Лениным и даже не Энгельс с Марксом придумали социализм. Он до них возник за сотни лет в пору наивысшего угнетения, несправедливости и неравенства между людьми.

Его идеи выражали надежду на лучшее устройство общества и расходились по земле в противовес духу рабства, обмана и нечестной наживы. И от него уже невозможно избавиться.

Разве можно похоронить идеалы социализма только потому, что его опошлили такие вероотступники, как Горбачев, Шеварднадзе, Гайдар, Бурбулис и прочие, больше всех восхваляющие успехи социалистического строительства в годы наиболее устойчивого равновесия советской власти?

Наступившее «потепление» после окончания Великой Отечественной войны держалось недолго. С начала 1948 года режим в лагерях, да и среди гражданского населения стал заметно ужесточаться и очень скоро достиг наивысшего предела. В тот период (как мне припоминается, хотя утверждать не берусь) вся страна была подведена к военному положению. На предприятиях и производствах руководителям высшего и среднего звена присваивались воинские звания, на ответственные посты назначались военные.

Такое наблюдалось и в Дудинке. Так, начальником Дудинского порта был назначен Д. С. Николаевский, ранее работавший крупным начальником в органах НКВД.

Главному инженеру порта М. И. Лазареву присвоили (возможно, имел бы раньше) воинское звание то ли капитана, то ли лейтенанта (теперь уж не помню). Очень многие руководители такого уровня в одночасье становились военными и щеголяли в военной форме.

Однажды мне довелось присутствовать на хозяйственном активе при подведении итогов работы за навигацию (ссыльные тоже участвовали в обсуждении хозяйственных задач), и тогда я увидел, что большинство руководителей в военной форме. Зал походил на офицерское собрание. Зачем это проводилось, была ли в том необхоимость? Не мне судить. Международная обстановка в ту пору была накаленной. «Холодная война», зачинателями которой были господа империалисты (а не СССР), усиливалась все больше. И это неоспоримый факт: враждебное выступление Черчилля, создание различных военных блоков, развязывание локальных войн, организация экономических блокад вокруг стран социалистического содружества и прочие деяния господ американских воротил в содружестве с английскими и прочими магнатами капитала не требует каких-либо подтверждений.

Впрочем, зачем переворачивать запыленные страницы истории? Не лучше ли взглянуть на сегодняшний день: уже давно нет Варшавского (советского) блока, разрушен вдребезги и весь СССР, «обкарнанная» Российская Федерация разрывается внутренними дрязгами, ее военная и экономическая мощь почти развалены. Зачем, чего и кого боятся теперь? Ан, нет! Господа империалисты (конечно, во главе с американскими) крепят свою

оборонную, а вернее, наступательную мощь, расширяют сферы действия НАТО, вплотную подвигаются к российским границам. Хотя какие у нас сейчас границы? Так, одна туманная видимость.

А тогда? Могли ли американские миссионеры со своими партнерами проводить политику диктата, устанавливать условия всем народам мира? Конечно, нет.

Все было иначе чем теперь. И потому судить о международной политике вождей тоталитаризма надо объективно, а н кому как захочется. Вероятно, у руководителей советской державы имелись довольно веские основания, чтобы проводить собственную военную доктрину. Вот потому я делать какие-либо собственные выводы не стану.

В эти же годы в лагерях заключенным режим «заворачивали» все круче. Уже в 1950 году почти всех заключенных, имевших свободный выход из лагерной зоны, законвоировали (отобрали пропуска), на всех производственных объектах и строительных площадках мужчин отделили от женщин. Зачем принималось такое решение? Объяснить вразумительно вряд ли смогли бы даже те люди, кто это совершал. И вот в это время лесная биржа была отделена от общей портовской зоны (Дудинского порта) в отдельный объект и огорожена двойным забором из колючей проволоки с пропускными вахтами, сторожевыми вышками (по всем правилам лагерной охраны).

На этом объекте (слышал от женщин, что называли они лесобиржу «лесной страдаловкой») все лесные работы — погрузка бревен в вагоны, раскатка по штабелям — выполнялись женщинами вручную...

И такая система держалась несколько лет, пока ее не разрушил В. Н. Всесвятский в первые дни своего назначения на должность начальника порта. Много тягот выпало на женскую долю. Что сказать им в утешение? Вся страна с первого дня Великой Отечественной войны (нужно добавить, справедливой) и много лет после окончания держалась на женских плечах. Об их подвижническом труде, страданиях и терпении написаны сотни книг. Мне добавить нечего, да если бы и пытался, то не смогу: не имею такого таланта.

В женскую зону (лесобиржу) можно было пройти только через вахту. Вольнонаемным выдавали пропуска, заключенных мужчин не пускали. Но жизнь шла по своим законам. Никакие заборы, никакой режим не могли удержать парней, у которых на лесной бирже были знакомые или близкие девчата. Ребята пробирались к ним, проделав лазейки в проволочных заграждениях. Эти прорехи никто не заделывал, к ним натаптывались тропки, а охранники на вышках, да и вахтеры с вахт спокойно наблюдали, как пролезают мужики в «женский монастырь». Никаких мер не принимали: знали, что возвратятся назад. Но не всегда такие «экскурсии» завершались благополучно. Случались трагедии. Их было немного, но были, были... И я сам это видел.

Однажды вечером, часов в десять (был мороз, тихо, полная луна поднялась на самую высоту, поливая светом подлунный мир), трое парней подошли к проволочным заграждениям и стали пролезать в давно ими же или

такими же ухажерами проделанный лаз. Такой «вояж» они, по-видимому, проделывали не впервые и поэтому не опасались. Береглись только одного: как бы не зацепиться за колючки и не разорвать одежду (мужики в меру своих возможностей старались одеваться получше — какое-никакое, а все же свидание). Потому пробирались медленно.

Они одновременно все втроем оказались на запретной полосе между проволочными заборами. Когда один из них стал пролезать через ограждение в женскую зону, прогремел выстрел, уложив его наповал. Двое оставшихся, сразу не поняв, что происходит, оцепенели, не предпринимая никаких попыток, чтобы убежать. Стрелок загнал другой патрон и застрелил второго. Через несколько секунд повис на проволоке и третий (он уже понял, в чем дело, и пытался проскочить обратно, но...). Охранник действовал хладнокровно и стрелял метко, без промаха. После совершенного убийства (как можно по-другому назвать это злодейство?) он выстрелил несколько раз вверх.

Все продумал и рассчитал, очевидно, готовился к этому заранее. В тот злополучный вечер я был на работе. Мне о случившейся трагедии сообщил мастер. Я позвонил в лагерь ответственному по надзору (хотя мог и не делать этого: сообщать о подобных случаях не входило в мои обязанности). После этого пошел на место происшествия. Оно было совсем недалеко. Там уже находились начальник охраны и вахтер с ближней вахты. Вскоре подъехали на разъездных кошевках начальник лагеря и работник из НКВД. Случай был довольно редкий. Убитых вытащили и положили на дороге. Это были совсем молодые ребята. Все молчали. Только начальник охраны, стоя рядом с убитыми и глядя куда-то вдаль, проговорил:

— Дорвался, Митроха, давно поганые мысли вынашивал, уж очень хотел выпятиться.

Немного погодя начальник лагеря с какой-то досадой, как бы самому себе, сказал:

— Словно зайцев уложил, сколько теперь писанины будет и хлопот не оберешься.

Я же про себя подумал: «Ну, какие там хлопоты, по инструкции действовал подлец. Как доказать, что «стервятник» нарушил закон? Да и кому это нужно?».

Подъехала лошадь. Убитых погрузили на сани. Все разошлись. Начальство уехало. Я тоже ушел. Когда я глядел на убитых парней, мне припомнился аналогичный случай, очень схожий с этим, но только совсем с иным исходом.

Это было в годы войны в городе Омске. Работала наша бригада на строительном объекте. Стройка была закончена (строителей уже не было), и мы убирали территорию.

Во время строительства работали на ней в основном заключенные. Много их тогда было. Так же, как и везде, по установленным правилам вся стройплощадка (а она была довольно большой) была огорожена заборами из колючей проволоки (на сплошные заборы досок не было).

Нас приводили, конвоиры расходились по вышкам (причем не на каждую, их не хватало на такой большой объект), а мы приступали к уборке.

Народ в бригаде был дисциплинированный и законопослушный. Об

этом конвоиры знали и потому не очень пристально за нами присматривали.

Но было среди нас несколько бузотеров. Особенно выделялся своими выходками один разбитной молодец. Прозвище имел Селезень, за походку: качался из стороны в сторону. Дел за ним особых не числилось, а выглядеть героем среди нас ему очень хотелось (есть такая категория людей). То задержится где-нибудь в закутке, чтобы его поискали (когда рабочий день кончался), то во время перехода строй нарушит, чтобы раззадорить конвоиров. За такие выходки бригадники ругались, а конвоиры грозили: смотри, доиграешься, утенок.

Но все проходило. О нем тут же забывали. А ему очень хотелось хоть какой-нибудь номер выкинуть. Однажды во время перекура бригадники отдыхали – одни покуривали, другие разлеглись (день был теплый) на бревнах, оставшихся от стройки. Он взял лопату, подошел к забору, ударил острием по натянутой проволоке, отвернул оборванные концы и полез в образовавшуюся дыру.

— Вот дуролом, прямо на глазах у охранника хулиганит, — сказал кто-то из увидевших бригадников. Некоторые на замечание товарища повернулись в сторону Селезня. «Ну какой же идиот безмозглый, чего только не выдумает, ведь за такое всю бригаду станут прижимать», — промелькнуло у меня в голове. В это время с вышки раздался выстрел. Селезень уже приблизился ко второму ряду заграждения и стал раздвигать проволоку (лопату он не захватил, то ли забыл, а скорее всего не стал брать, ведь, как потом дознались, он убегать не собирался, а хотел только почудить).

Конвоир выстрелил второй раз. Опять стрелял вверх. Селезень продолжал свое занятие и уже просунул ногу между проволоками. Снова выстрел. Пуля сорвала с Селезня шапку. Он пригнулся. Видимо, почувствовал страх. Следующая пуля рассекла телогрейку поперек спины. После этого Селезень очень поспешно вылез назад и заковылял, покачиваясь с боку на бок, в нашу сторону. Прибежавший на звуки выстрелов бригадир (выпивали с прорабом в «тайнике»), узнав в чем дело, схватил Селезня за шиворот и дал ему «трепака» (понял, что и ему теперь не миновать наказания за недосмотр. А если еще дознаются, что выпивал в это время, то десятью сутками «бура» не отделаться). В сердцах хотел еще добавить, но уже подоспели охранники, откуда-то появился надзиратель. Селезня скрутили (у него уже весь пыл вышел) и вместе с бригадиром увели в лагерь. На разбор. Через некоторое время наступил конец рабочего дня. Нас увели тоже... Прошел месяц. Бригадир с Селезнем вернулись. Селезень совсем присмирел: вправили мозги. Понял, что легко отделался, могли и срок добавить. На насмешки бригадников совсем не реагировал.

По прошествии нескольких дней я разговорился с бригадиром. Ему тоже посчастливилось: оставили бригадирить. Некого было поставить из нашей бригады на его место.

Бригадир от природы был молчун. В разговор обычно не вступал, но со мной разговаривал часто: как-никак, а у бригадира я был подручным, наряды закрывал. Сам-то бригадир был неграмотным, умел только расписы-

ваться. Беседуя про разные дела, я как бы между прочим заговорил про случай с Селезнем: везет этому криворотому (у Селезня в детстве был разорван рот до уха, лошадь ногой лягнула), с такого близкого расстояния стрелял в него охранник и оба раза промахнулся. Пулями даже не поцарапало. Бригадир не сразу прореагировал на мои рассуждения. Видимо, упоминание о том происшествии вызывало у него горечь: ведь из-за этого дурака отхватил тридцать суток «бура».

Помолчав, сказал:

— Этот охранник, Прохором зовут, всю жизнь прожил в тайге. Охотой промышлял. Белку и соболя стрелял только в глаз. Если бы он захотел ухлопать этого... (он замолчал, видимо, подбирая поострее название) Подворотня (другого слова не подвернулось), одной пули хватило бы, чтобы мозги его утиные разлетелись по сторонам. Не мог Прохор взять грех на душу. Не стал он убивать человека, если бы Селезень совсем вылез за забор.

Откуда знал бригадир про Прохора, я не стал спрашивать. Зачем? У меня у самого проскальзывали такие мысли.

— Вот так-то, — закончил он.

«Вот так-то», — подумал я, уходя с места нелепой (бесчеловечной) трагедии в дудинских лагерях.

Где могилы этих парней? Никто не скажет. Разные люди и среди нашего низшего сословия: одни творят зло, другие – добро. И делают все по велению души и разума. Только души у одних светлые, у других — темнее ночи. Оттого на земле и не бывает радости без печали.

А чего больше? Как определить? Давно минул тоталитарный режим. После выступления Н. С. Хрущева (наиболее ревностного сторонника сталинских творений и при этом первым осудившего культ личности вождя) кто только ни клеймил сталинскую эру...

Одни это делали по существу, другие по злобе, многие по принципу, а мы-то почему должны отставать, может, и нам зачтется?

Только зачем под один гребень всех равняли? Хороших-то людей да добрых дел было тогда много больше.

Заклеймили и отреклись. А что изменилось? Всем дали очень много свободы, только от этого очень немногим стало лучше.

Развалилась государственность, народы возмутились и пошли один на другой. Свои стали убивать своих. Сколько десятков тысяч полегло в Чечне и Таджикистане? Да что Чечня с Таджикистаном, когда по всем российским городам идут кровавые разборки между группировками всех мастей за собственность и власть (упаси Бог от такой напасти Дудинку и Норильск, им и так немало выпало испытаний в недалеком прошлом).

Сколько сотен тысяч превратились в беженцев? Когда телевидение показывает толпы уныло бредущих людей, невольно думается, будто это «некрасовские мужики» отошли от «Парадного подъезда» и бредут в надежде отыскать пристанище. Где эти люди (а они ведь наши) обретут приют и успокоение?

Сколько их станет на дорогах? Кто заступится? И во имя чего они несут свой крест?

Подобные столпотворения были во времена Великой Отечественной

войны. Тогда народ уходил от немцев. А теперь от кого? И вроде бы все в порядке вещей. Никому нет никакого дела и никакой печали.

Только матери, жены, сестры, дочери проливают слезы о погибших в братоубийственной войне сыновьях, мужьях, братьях, отцах. И многие не находят могил своих родных.

А сколько крови льется по всей земле? Доколе так будет? Всегда? Пока собственность (не дача, не автомашина, не дом и квартира, а собственность, с помощью которой ее владельцы эксплуатируют других неимущих) будет главным «мерилом» в человеческих отношениях. Впрочем, зачем повторять чужие слова? Об этом очень доходчиво сказали и другие, и много раньше.

Все проходит и изменяется на земле. Не менялась только моя жизнь. Постоянно, изо дня в день, на протяжении многих лет ходил я по одним и тем же дорогам: на работу и домой. Каждый месяц два раза посещал ставшую для меня привычной комендатуру МГБ, отметиться, что я цел и никуда не сгинул.

Казалось, что этому царству не будет конца и нет сил вырваться из каменного плена. Но! Что невозможно человеку, возможно Богу. В первых числах марта рано утром сообщили, что серьезно заболел Иосиф Виссарионович Сталин. Я не придал этому значения: человек с Кавказа, здоровьем должен быть крепким, да и лечить будут на высшем уровне. Не то что меня или кого-нибудь из простого люда. Правда, в те годы нашего брата лечили бесплатно и лекарства в больницах были бесплатные.

Это теперь все перевернулось: хочешь лечь на операцию — неси с собой простынь, бинты, вату. И все становится хуже и хуже с течением времени. Придется изучить медицинский минимум на предмет вырезания самому себе аппендицита или грыжи. Смешно. А как быть?

Таких, как Б. Ельцин, которого лечил весь капиталистический мир, у нас немного. Всех остальных стали лечить по остаточному принципу. Ну это так, в качестве отступления.

Между тем сведения о состоянии здоровья нашего «отца» поступали все мрачнее и тревожнее.

Вскоре средства массовой информации сообщили о его смерти. Всех людей охватила скорбь. И это правда.

Даже среди заключенных очень многие были в печали. Ликующих не было. Я не тужил, но и не радовался. После траурных дней люди постепенно стали успокаиваться. И теперь уже все: и вольные, и заключенные — стали ждать: как повернутся события, и что будет дальше.

Разговоров, ожиданий, предположений и разных прогнозов было много. Вскоре последовала амнистия для заключенных-малосрочников. Она прошла без больших восторгов, ожидали большего. Лагерный быт и режим после этой амнистии совсем не изменились. Да и среди вольных граждан тоже все оставалось по-прежнему, кроме пересудов да фантазерства.

На мои обращения в Московскую прокуратуру, судебные инстанции с просьбой пересмотра «дела» ответы поступали одинаковые и короткие: осужден-де правильно, оснований для отмены приговора нет.

Разуверившись и разочаровавшись во всех переменах, прекратил всякую писанину.

А тут начали ходить слухи, что часть ссыльных поселенцев будут посылать в колхозы рыбу ловить. Совсем присмирел: «Подожду, пока станет яснее. Чего соваться в пекло, надоешь москвичам в погонах, что им стоит приказать местным «контролерам», чтобы «приутишили» ходатая. И полетишь на вольные озера рыбачить...».

Нам всем было известно, что «наверху» намечается «заваруха». И мы успокоились. Слетел со всех демократический пыл, а то сперва очень раздухарились.

А тем временем в лагерях все больше и больше нарастал антагонизм (усилилась неприязнь к лицам кавказской национальности, как теперь стало принято выражаться. Особенно к грузинам). Наибольшей остроты он достиг после ареста Лаврентия Берии. Крутых действий ждать пришлось недолго.

В одну из теплых летних ночей началась на лесо-бирже потасовка, вернее, избиение русскими грузинов и всех схожих с ними обличьем. Вымещали злобу за деяния усопшего вождя. Грузинов и их сторонников было немного. Но отбивались они упорно и ловко. В ход пошли дреколья, и «меньший числом противник» обратился в бегство. Драка обошлась без большого ущерба. Только трех или четырех человек отправили с различными переломами в лагерный стационар.

Лагерные надзиратели порядок восстановили быстро: дисциплина была еще на высоком уровне.

Через несколько дней «победители с побежденными» распивали «мировую». За что дрались? Не знали. С горькой иронией, под чоканье стаканов (In vino Veritas) прозрели: «Сосо» повелевал сурово наказывать без скидок на национальность и невзирая на былые заслуги.

Спустя немного времени в ряде лагерей произошли заметные волнения: заключенные отказались работать. Чего добивались и требовали заключенные Норильлага и какие меры принимала лагерная администрация для решения конфликта, тогда в Дудинке не знали. Теми слухами, что доходили, пользоваться не имело смысла, они были противоречивы. Через много лет о норильлаговых возмущениях поступили более достоверные сведения, делились воспоминаниями бывшие заключенные. Но исчерпывающего ответа я не имею. Знаю только, что одним из главных требований заключенных было предоставление всеобщей амнистии. Забастовочная волна из Норильлага докатилась и до дудинских лагерей. Однажды летним утром пришедшие рабочие (заключенные) на объекты порта из всех лагерей (а к тому времени их осталось еще три) к работе не приступили.

У них не было никаких требований. Они поддерживали своих норильских товарищей. Работы во всех подразделениях порта остановились. У некоторых заключенных, с которыми мы в какой-то степени соприкасались (бригадиры, учетчики и т. п.), спрашивали: «Чего вы добиваетесь?». У всех был один ответ: «Ничего. Нас из Норильска предупредили: если начнете

работать, всех отправим к праотцам». Такие ответы я слышал сам. Во время забастовки дудинские заключенные никаких агрессивных действий не проявляли. К ним также со стороны властей не применялось никаких мер, кроме убеждений, разъяснений и просьб. Слышал, что в норильских лагерях при усмирении бунта произошли убийства. Но утверждать этого не могу.

Неповиновение в дудинских лагерях продолжалось двое суток. Все разрешилось само собой: работы возобновились без применения силы. Был ли от норильских руководителей стачки такой приказ или же заключенным дудинских лагерей надоело противостояние, никто об этом не говорил, да и никого это не интересовало. Через несколько дней из Норильска подошел к Дудинскому вокзалу поезд, в котором было несколько товарных вагонов. Из них высадили группу заключенных, провели под усиленным конвоем по городу и на судне отправили в Красноярск. Дудинские жители знали, что это были зачинщики норильского бунта.

Кто они? Никто не знал, да и никому не было до них никакого дела: почти за два десятилетия по дудинским дорогам прошло много разных этапов заключенных.

Новая волна воспоминаний о норильском восстании поднялась в период триумфального шествия демократических свобод по просторам нашей великой державы и совпало по времени, когда демократ Б. Ельцин в успешной борьбе с тоталитаризмом и коррупцией (М. Горбачев уже совсем поник, как раздавленный одуванчик) произнес историческое откровение: «Так жить нельзя». (Правда, эти слова относятся совсем не к норильским лагерям, их уже ко времени перестройки не было).

В отдельных материалах имели место высказывания, что это был политический бунт, возникший на почве тяжелых лагерных условий.

Отвергать такое утверждение нет оснований. Толь¬ко вряд ли это послужило главной причиной выступления заключенных. И тем более, что руководителями выступлений являлись политические заключенные.

Я весь срок наказания общался с политзаключенными. И у меня сложилось мнение, что они не были способны на подобные действия. Таких людей, что смогли организовать и возглавить проведение акций неповиновения (протеста), почти не встречалось.

Кроме того, в Дудинку к этому времени уже просочились довольно убедительные сведения, что в самом ближайшем будущем (что впоследствии и подтвердилось) всех политзаключенных будут освобождать.

Оттого очень сомнительным кажется утверждение, что норильский бунт возглавили политические заключенные.

А вот уголовники?.. О! Эти могли. Особенно те (а таких много), кому терять было нечего.

С десятками судимостей, убийцы, грабители, террористы и им подобные, хорошо понимавшие, что ни при каком правительстве им помилования не будет, могли подбить инертные массы, включая и политзаключенных, на возмущение и бунт.

Главным требованием у них была всеобщая амнистия (может, в этой государственной заварухе, после падения Берии, и им что-нибудь выпадет).

А политзаключенным-то чего было требовать, когда в то время только и разговоров было об их роспуске.

И второе, что вызывает сильное сомнение: поступившие из Норильлага приказы дудинским лагерникам — не приступать к работам во время стачки, иначе неисполнение будет стоить жизни.

Подобных требований от руководителей стачки (если бы они были политическими) не могло быть. К таким методам устрашения прибегали представители уголовного мира. Да и они не столько угрожали, сколько действовали.

Впрочем, это мои предположения.

Неповиновение дудинских заключенных прошло незаметно. Никто из заключенных не подвергался никаким репрессиям, никого не арестовывали ни во время забастовки, ни после.

Мне кажется, что власти умышленно не шли на обострение конфликта.

Счастливый билет

Вскоре заглохли эти разговоры. Их заменили другие: поступили сведения о расформировании всей лагерной системы в Дудинке. И исходили они уже от официальных властей.

У очень многих людей (как заключенных, так и ссыльных) воскресли надежды. У меня — тоже.

Только в тот год крутого перелома я уже не спешил напоминать о себе правоохранительным органам.

И обратился в последний раз не с просьбами, а с претензиями и протестом.

Снова у меня начался отсчет недель, месяцев, только в этот раз без прежних переживаний.

Прошло довольно много времени с того дня, как я обратился в самую высшую инстанцию прокурорского надзора на предмет пересмотра моего дела.

Уже давно не стало Берии, вслед за ним отправили с постов многих его сподвижников, а ответа все не было и не было. Впрочем, не только мне. Многим ссыльным, что обращались с подобными заявлениями и просьбами в различные судебные и прокурорские органы, также не поступало никаких ответов.

Иногда кое-кто извещал: «Ваше дело рассматривается». Казалось, ничего не изменилось, несмотря на то что все руководство силовых министерств было обвинено во всех смертных грехах и заменено совсем другими людьми.

Однажды теплым августовским днем, когда солнце далеко перевалило за середину неба, как-то незаметно, будто выросла из земли, появилась в дверях почтальонша. Порывшись в сумке, протянула письмо и листок бумаги. Сказала, чтобы расписался. Я уже хотел поставить свой автограф (подпись). Молоденькая разносчица, стараясь изобразить серьезный вид (тогда

всех заставляли серьезно относиться к своим обязанностям, добросовестно), предупредила: «Поразборчивей, пожалуйста».

Сказала и засмущалась (видимо, своей непривычной еще серьезности). Я повиновался. Взял после этого со стола конверт. Он был весь в штампах.

Хотел спросить — откуда? (хотя уже сам прочитал обратный московский адрес).

Но девушка успела упорхнуть так же незаметно, как и пришла. Я повертел конверт в руках. Стал распечатывать. Но какой-то подспудный голос остановил: «Ну что хорошего будет, когда прочтешь ледяной отказ?! Пусть полежит, а сам ты с надеждой будешь думать, что там, внутри, находится твое освобождение».

Я положил конверт на стол. Повернул лицевой стороной вниз, чтобы не смущал.

Задумался. Мне всегда присылали отказы, ничего иного не ожидал и сейчас. Но! В душу вкрадывалось тревожное сомнение: «А может, открыть? Нет! Пусть полежит».

Но искушение усиливалось и стало так велико, что пересилить его не хватило сил. Распечатал. Посмотрел на текст. Он был коротким. Начал читать, но смысл его дошел не сразу. Мысли разбежались. Почему-то взгляд упорно был прикован к верхнему штампу на левой стороне титульного листа: «Прокуратура СССР, Пушкинская, 15 «а». Москва». Медленно, все еще не до конца осознавая, вчитался:

«Одинцову Николаю Алексеевичу. На Вашу жалобу сообщаю, что ссылка в отношении Вас отменена, и от нее Вы будете освобождены по получении соответствующих документов спецкомендатурой.

Зам. начальника отдела по спецделам, Государственный советник юстиции 3-го класса Сучков. Авг. 1954 год».

Прочитал еще. Но странно: долгожданное освобождение в первые минуты не принесло ощутимой радости, только сделалось как-то легко и пусто.

Так же, как у человека, после долгой и трудной дороги сбросившего тяжелый груз. Вместе с тем возникло ощущение растерянности.

А что дальше? И правда ли?..

Посмотрел еще раз на штамп. Уверовав в действительность свершившегося, непроизвольно воскликнул:

— Наконец-то!

Сделалось жарко и душно. Я положил документ в карман, вышел на улицу. В растерянности и нерешительности постоял возле завалинки. Чтобы развеяться и обрести спокойствие, я обошел вокруг дома и бездумно побрел в тундру. Мне почему-то захотелось в полном уединении прочитать еще раз скупые строчки, в которых была моя судьба.

Я медленно шел по чуть протоптанным тропкам, прижимая в кармане «счастливый билет». Наконец, подошел к небольшому озерку, возле которого часто по весенней поре в первые годы ссылки таился под кустами в надежде подстрелить (причем без всякого разрешения) перелетную утку. В ту пору их много гнездилось совсем близко от крайних домой дудинского селения. Охотников-то тогда было мало. Правда, мне за все время промысла

удалось добыть 3 или 4 штуки. Добытчик был неважный.

Места здесь были очень красивыми.

Природа тундры удивительна во все времена года.

Но особенно прекрасна в осеннюю пору, когда ее сказочный наряд нетронутой красоты начинает блекнуть и в густоте непролазной чащи появляются первые расцветки осенней желтизны.

В золотой бахроме стоят низкорослые лиственницы, зеленеют редкие елочки, одиноко белеют хрупкие карликовые березы, по косогорам то тут, то там горят махрово-красные гроздья рябины.

Куда ни кинь взгляд, простираются во все стороны, уходя за горизонт в бескрайние дали, густые заросли кустарников, сливаются в огромный зеленый ковер, украшенный серебристыми зеркалами бесчисленных озер, по причудливым берегам которых стелется густая сочная трава, а чуть поодаль от них все пригорки усыпаны пурпурно-розовыми цветами иван-чая.

Тихо-тихо.

Разлилось повсюду невозмутимое безмолвие. И нет конца божественному величию.

А как только к закату склонится дневное светило, замрет суровая целомудренная неподступность в крадущихся тенях вечернего сумрака.

Невыразимая чарующая панорама!

Я стоял на берегу совсем недалеко от воды. Было тепло. Ветерок чуть-чуть рябил поверхность озера, волны лениво накатывались на берег, обнимая и лаская его, откатывались назад, снова и снова бесшумно набегая.

Я смотрел на игру плескавшейся воды, колыхнувшуюся от ее волнения у берегов озерную осоку и думал: «Сколько тысяч лет так повторяется из года в год. И чего только не произошло за это время?!».

А вокруг прозрачная тишина, только еле слышно шелестели листья тальника, в которых изредка порхали какие-то пичужки да невысоко пролетели стаи уток: скоро им предстоит расставание с обетованными землями; наверное, птицы тоже любят покой и уединение, иначе зачем бы они прилетали сюда за тысячи верст из теплых краев.

Мне же хотелось раствориться в бесконечном просторе и невидимо полететь за ними в поднебесные дали.

Возвращаясь обратно, встретил мою Шуру. Она шла навстречу. Я не удивился этому, так как часто уходил в свободное от работы время в тундру и ей были известны места, где мы бродили с ней, собирая морошку или грибы.

Когда подошел совсем близко, увидел ее восторженное и радостное лицо. Совсем тихо проговорила: «Рассыльный из комендатуры приходил, сказал, чтобы ты пришел к ним. Поступило из Москвы освобождение на тебя».

По щеке у нее скатилась слезинка. У меня к горлу подступил комок. Хотелось (очень) заплакать. Ведь радоваться и плакать от счастья людям приходится редко.

Но не получилось. За тринадцать (13!) с лишним лет я разучился плакать.

Была среда, 25 августа 1954 года. В тот день я перешагнул последние ступени подневольной жизни.

Раздолье наше, енисейское

Был месяц май. В Подмосковье бушевала весна. Стояла та благословенная пора, когда буйно расцветает сирень, распускаются гроздья акации, в белой кипени утопают сады. Сквозь зеленый бархат травы пробиваются цветы, птичье пение и щебет не смолкают ни на мгновение. Воздух напоен ароматом меда и трав, и такое повсюду благоухание, что пьянеешь крепче, чем от терпкого вина. Жгучее солнце, напоив землю благодатным теплом, после утомительного небесного пути скроется ненадолго в разомлевшей темноте ночи и, немного отдохнув, снова поднимется на радость людям.

А едва солнечные лучи сгонят утреннюю росу, поднимаются люди и спешат на свои садово-огородные участки. Копошатся в земле. Работают с усердием и любовью. Не спешат. Потом таскают воду из общественных колодцев. Делают это про запас, заполняют все имеющиеся емкости. В жаркие дни вычерпывают колодцы до самого дна, так что припозднившимся огородникам приходится долго ждать, пока из водоносных слоев набежит живительная влага. Зачастую случаются перебранки. Особенно корят хозяев, имеющих собственные колодцы и свою воду в избытке. Но ругаются незлобливо, видимо, каждый свыкся с правилом: не зевай, лишнее никому не мешает. Работают одни старики. Молодежи нет. Все разъехались по местам работы. Одни в близлежащие города, другие в Москву. Нерадостное занятие мотаться в битком набитых людьми электричках, потом в метро, а некоторым приходится ездить еще и на автотранспорте (троллейбусах, автобусах). Уезжают рано. За две, а то и три часа до начала смены. Есть молодежь и неработающая. Но это такой контингент, что трудиться нигде не будет. У них иные желания и совсем другой промысел. Они еще долго будут почивать на своих «малинах» и только к вечеру соберутся на тусовку.

Я в это утро проснулся рано. Делать мне было нечего. Еще два дня назад разделался со своими огородными делами (много ли нужно времени обработать несколько грядок) и теперь беззаботно сидел на лавочке, подставив лицо солнечным лучам, ни о чем не думая. За несколько недель, как приехал в отпуск из холодного Заполярья, успел привыкнуть к резким климатическим переменам. Какая-то нега, блаженство обхватили все тело, не хотелось даже шевелиться. Хорошо! Но почему-то не было той упоительной душевной радости, благодатного покоя, что умиротворяют разум и сердце. Чего-то не хватало. Словно неодолимая сила притягивала меня к далеким енисейским берегам. Подумалось: «Скоро там ледоход. Тихо, плавно тронутся огромные ледовые поля, покрытые плотным слоем снега, навалятся на берега всей своей мощью, поползут неудержимые лавины и, споткнувшись о косогор, начнут громоздить льдину на льдину, до небес вырастут сверкающие бирюзовым цветом разных оттенков ледяные пирамиды. А паводок все ширится, становится многоводнее. Растекаются по всем сторо-

нам вешние воды, заливая прибрежные равнины на многие сотни верст, и под солнечными лучами сверкает, блещет серебристыми бликами безбрежная водная гладь. Боже мой! С чем еще можно сравнить необозримые енисейские разливы, их неукротимую, могучую стихию, что ломает и крушит причальные сооружения, свивает в кольца стальные рельсы, выворачивая их вместе с бетонными креплениями».

Много-много лет назад мне впервые удалось увидеть это поразительное явление природы, созданное божественной силой, и с тех пор всегда с приходом весны я нетерпеливо ожидаю наступления ледохода. И чем меньше остается дней, тем томительнее ожидание.

Эх-ма! Раздолье наше, енисейское, родное, я сердцем прикипел к тебе. Николай Васильевич! Ну почему ты не побывал в здешних краях? Ведь описать такое чудо подвластно только твоему перу.

Я старался отогнать навязчивые видения, подстроиться к весеннему ликованию, но сквозь благодатный перезвон подмосковных садов в моем воображении стояло заполярное лето. Мне виделись: далекая таймырская тундра, ее небогатое простое убранство с неброскими, но такими невинными и нежными цветами, что растут только на щедрой и ласковой земле; тысяча больших и малых озер, рек и речушек; затерявшиеся в бескрайних полярных просторах убогие поселки, с проживающими в них неприхотливыми, искренними, приветливыми, такими беззащитными в своей наивной доверчивости малыми народами. Как им удастся выжить в налетевшем вихре беспощадных реформ? И тоскливо стало на душе, словно темные тучи закрыли солнце. Томительно потянулось время. Безделье всегда меня тяготит. Оно как болезнь, чем больше ему предаешься, тем сильнее затягивает. Стряхнув оцепенение, подошел к калитке. На противоположной стороне проулка ковырялся в своей машине сосед, видимо, готовился к поездке. Я давно знал его и его семью. Звали Виктором. Он был моложе меня, но одряхлел раньше срока. Работая на длинных рейсах, не раз попадал в аварии. В зимнюю стужу приходилось ждать ему в замерзшей машине, пока подвернувшийся попутчик не дотащит до ближайшего жилого пункта, и оттого, наверное, имел Виктор все видимые и невидимые болезни. Много раз собирался бросить работу,но как жить на одну пенсию?

Подойдя к нему, поздоровался. Тот буркнул в ответ и продолжал занятия. Я видел, что он чем-то недоволен. Спросил: «Что ты, Витя, такой хмурый?». «Ехать надо скорее, опаздываю. А тут ночью кто-то колесо проколол», — ответил он. Я посочувствовал: «Какого только хулиганья не развелось, и делают людям всякие пакости. У нас вроде бы таких разгильдяев поблизости нет, может, пришлые со стороны блудили?». Он не ответил. Я, немного помолчав, продолжил: «А может, ты сам вчера наскочил на гвоздь, когда переезжал мост? На нем вчера весь день меняли верхние плахи. Пока ехал до дому, не заметил. (Мост был совсем недалеко от нас). А уж к утру из камеры весь «дух» и вышел». «Может и так, — сказал Виктор, — как приехал, сразу пошел спать». «А куда ты намереваешься ехать?», — спросил я. «Недалеко. В Сергиев Посад (до реформы назывался Загорск) за удобрением», — неохотно ответил он. Видимо, я ему докучал.

Мне с самого начала отпуска хотелось побывать в Троице-Сергиевской лавре, побродить по святым местам. Но как-то не получалось, то недосуг, то погода мешала (первые весенние дни были дождливыми). Раньше я много раз бывал там. Впервые, еще до войны посещали всем классом. Лавра тогда была музеем. В школах часто организовывали разные экскурсии. И после школьных лет и лет «пропащих» при любой возможности, пусть ненадолго, приезжал в эту обитель. С годами там многое изменилось, другими стали порядки. Но интерес к ней у меня только возрастал: что поделаешь, люблю старину. И вот, будто Всевышний внял моим желаниям: представляется случай прямо от дома до монастырских стен добраться без хлопот и толкотни (по утрам в весеннюю пору электропоезда забиты столичными садоводами и огородниками). Недолго раздумывая, спросил у Виктора: «Возьми меня с собой, хочу давно в лавру съездить, святым мощам поклониться». Не отрываясь от дел, тот ответил: «Давай собирайся, да побыстрее. Я уже почти управился, вдвоем веселее будет». Я тут же побежал в дом одеваться, кое-что захватить. Пока бежал, все радовался: «Как хорошо, доеду с ним до Посада, там часик, другой поброжу по церквям и храмам, отведу душу, погляжу на люд православный, позавидую им. Я человек неверующий, но всегда преклоняюсь перед народными традициями, дивлюсь великим, поистине нерукотворным творениям, созданным людьми с верой и правдой в Бога. А после «паломничества» с вечерней электричкой укачу в Москву к родственникам: давно у них не был».

В самом радужном настроении подбежал к машине, забрался в кабину, Виктор уже сидел за рулем. Выехали на центральную дорогу. Машин в обе стороны ехало много (время двигалось к полудню). Наш грузовик, мягко подпрыгивая на неровностях, ехал легко. Виктор, хоть и попивал временами, но машину содержал в исправности. Он спешил. Безошибочно обгонял впереди идущий транспорт (шофер был первоклассный). Я предупредил: «Ну куда ты мчишься? Так ведь и беда может случиться». – «А если не спешить, так без удобрения останусь», — сказал он, давая понять, чтобы е такими советами больше не обращался. Я умолк и стал смотреть по сторонам. Мелькали беседки, садовые домики, какие-то панно (оставшиеся еще со времен советской власти) с указателями проезда в санатории, дома отдыха (теперь уже не существующие, большинство из них «приватизировали почубайсовски», или перестроили на новый лад). Ближе к Сергиеву Посаду стали попадаться двух – трехэтажные кирпичные особняки, выстроенные в самые последние годы (в период расцвета демократической вседозволенности). Такие же дома встречались повсюду на многих дорогах, где мне приходилось ездить. Они росли быстро, словно грибы в теплое дождливое лето. Собственники спешили: а вдруг там вверху что стрясется или перевернется. Я не утерпел: «Смотри, Виктор, сколько понастроили «новые русские!».

Виктор повернулся в мою сторону: «Где ты видишь?». «Да вон, целый поселок кирпичных строений», — указал я. Виктор помолчал. Потом, чуть скривившись, усмехнулся: «Но какие же тут «новые русские»? Это хапуги небольшого масштаба. Тащат все с фабрик, заводов, строек. Я сам возил сюда таким «старателям» доски, кирпич, стекло, гвозди и прочие стройма-

териалы. Платят за подвоз хорошо. Не торгуются. А дома им строят их же работяги. И все у них по закону: не придерешься. Только здесь ни одного из «новых русских»: те, совсем другой сорт людей. Они грабастают на самых престижных столичных проспектах и улицах старинные особняки (при советской власти в них были детские садики, музеи и заведения соцкультбыта) бывших царских дворян, а имения у них — не сравнишь с «халупами» здешних воришек. У наших-то «хозяйчиков» землицы 6—10 соток, а у тех поместья меряются гектарами. И про их неземные блаженства и удовольствия нам и мечтать заказано. К ним запросто не подойдешь и не подъедешь, там и охрана и обслуга». И как бы закрепляя свою речь, повторил: «Это, братец, совсем другой сорт людей, с другими повадками и манерами».

Он замолчал, а я не стал больше разговаривать. Подумал: «В стародавние времена цари-самодержцы награждали своих причиндалов землями, лесными угодьями, имениями и деревнями с крепостными людишками и прочей живностью. Но вершили такие деяния, как правило, за великие заслуги в бранном деле, труды праведные большие, пользу принесенную державе. Было это, было! Непонятно, за какие «доблести» и во имя чего появились в одночасье на «клочках» нашей расхристанной державы «князья влиятельные», владельцы неизмеримых богатств, банкиры-миллионеры, фабриканты, промышленники и прочие мыслимые и немыслимые хозяева и хозяйчики (распорядители) народного труда. Развалив все до основания, торопятся жить, повторяя все поступки дворян-крепостников, на какие только те были способны», — с такими мыслями въехал я в «святой город». Виктор свернул машину в небольшой проулок, подъехал совсем близко к монастырским воротам. Когда я открыл дверку кабины, он попросил: «Поставь свечку за упокой души матери. Я бы и сам сделал, но совсем нет ни минуты времени. Да и машину здесь ставить нельзя». – «Непременно, Витя, сделаю, — пообещал я. — А ты спеши, день-то уже перевалил за половину». На том и расстались.

Я хорошо знал его мать, Матрену Фроловну. Знал давно, еще с первого приезда из Дудинки. Это была удивительно добрая женщина. Истово верила в Бога. В каждый большой церковный праздник ранним утром, повязанная аккуратненько дешевым платком, спешила она в святые места. Иногда целыми днями, а порой и ночами отстаивала службы в церкви, вознося с такими же верующими славу Господу. Уставшая, с умиротворенной улыбкой, возвращалась домой. А если встречался кто у калитки, говорила: «Слава Всевышнему, сердце успокоила, душу согрела». Немного отдохнув в своей убогонькой комнатушке, перекрестившись на образа, славила всех святых угодников. В переднем углу, возле иконы Божьей Матери, хранила церковную книгу – святцы, в которую заглядывала каждое утро: не приведи Бог по старости пропустить какой праздник, да не забыть кого помянуть из божьих праведников. Бывало зайдешь к ней за какой-нибудь надобностью (старушка всегда бывала рада), да и засидишься, заслушавшись ее повествованиями про дела добрые, свершенные божьими людьми. В своем несокрушимом веровании она так увлекалась, что под конец какого-нибудь трогательного рассказа обильно катились у нее из глаз счастливые слезы.

Я смотрел на нее и думал: «Неужели счастье приходит с верой в Бога?». Особенно умилялась она рассказывая про блудного сына, что разделял трапезу со свиньями из одного корыта. Я плохо знаю эту библейскую притчу, но зато сполна испытал голод в зиму 1942—1943 годов. Если бы довелось мне попасть тогда в какой-нибудь свинарник, то чавкать хрюшкам было бы нечего: отнял бы у них корыто и на едином дыхании выхлебал все, не моргнув глазом. И тут же вспомнилось, как после тяжелой и долгой рабочей смены прибегал в лагерную кухню выпросить любую работенку (авось что-нибудь за нее и подкинут на пропитание). Иногда заставляли дровишек поколоть или с только что выгруженных машин в поленницу уложить. А то мешки с мукой или комбикормом перетаскать из-под навеса в кладовку, или что-то другое. Не всякому доверяли. Чуть заподозрят в воровстве шею сразу «наломают» и тут же выгонят. Многие со мной промышляли. Местом кухни дорожили: никто не думал о легкой наживе, да и не было проку. Много ли проглотишь муки из мешка на ходу? А с окончанием работ давали по черпаку супа или куску хлеба. Принимали, затаив дыхание. А потом? Спрячешься в самом укромном местечке лагерной зоны (чаще за отхожим местом), вгрызешься по-волчьи в прожаренную горбушку, поднимешь глаза к звездному небу и взмолишься: «Господи! Да разве есть на свете человек счастливее меня?» Кто разберется? И как? Не величина счастья, а сладость его одурманивает людей. Только каждый человек платит за него разную цену. У всех заключенных было одно жгучее, неистребимое желание: скорей бы кончилась война. Тогда уж наедимся. От старых лагерников слыхали, что до войны о хлебе не думали. Ох! Уж этот проклятый голод! Неужели снова идем к этому?

Матрена Фроловна считала меня по своей улице самым верующим (видимо, за то, что слушал ее притчи и псалмы терпеливо, иногда поддакивал, вставляя какое-нибудь божественное слово, и всегда соглашался с ее убеждениями: что противоречить, все равно не переубедишь) и доверительно говорила: «Ты уж, Николай Ляксеич, наставь Катерину (мою мать) на путь праведный. А то ведь она совсем, даже в праздники перестала креститься. А это большой грех. Господь-то призовет к ответу». Хотелось немного возразить Матрене Фроловне и сказать: «Если есть Бог, да еще справедливый, то судить людей он будет не за то, веруют в него или нет, а за дела и поступки, свершенные ими на этой грешной земле». Но как можно было обидеть этого святого человека, и я отвечал уклончиво: «Вроде бы начала почаще вспоминать Бога. Вчера несколько раз слышал, как просила у Господа, чтобы послал дождичка». Матрена Фроловна светлела лицом и приговаривала: «Помоги ты ей, Матерь Божья, ведь соседи мы и прожили друг с другом век целый». Давно уже нет обеих старушек. А когда возникнут в памяти, то печально скажешь: «Царство вам небесное, со святыми упокой их души, Господи!». Да, пораздумав, посетуешь: «Творец Вселенной! Мудрость твоя не знает границ. Зачем допустил, что из прожитой жизни нет назад никому ни пути, ни дороги?».

Все приходит и уходит. Так и мое благодушное настроение развеялось за монастырскими стенами: поразило огромное скопище нищих, каких-то

кликуш. Их и в других местах: на московских вокзалах, в подземных переходах, метро, возле магазинов было немало, но столько я еще не встречал. Некоторые сидели на паперти церквей, другие стояли на обочинах дорог с протянутыми руками, что-то шепча про себя, то ли молитвы, то ли заклинания. Вид у всех был убогий. На них мало кто обращал внимание. Так, изредка богомольные старушки совали в руки первым подвернувшимся просителям скомканные бумажки или монеты и сразу отходили, крестясь. Я делал то же самое, подавая милостыню (выработалась привычка, отправляясь в богоугодные места запасаться разменной монетой для нищей братии). И делаю это не для того, чтобы Господь узрел мои богоугодные дела, (я-то неверующий), а затем, что может, хоть кто-то из них на мои пожертвования кусок хлеба купит. И от этого на душе становится легче. Впрочем, такие подарочки редко идут на пользу: видел, как некоторые просители, успев похмелиться в укромных от солнца местах, почивали прямо возле монастырских стен в тени на травке.

По церковным дорогам тянулись смиренные прихожане, между ними, поспешая, сновали церковнослужители в черных одеяниях до самых пят (может, монахи, может, священники). Почему-то вспомнилось, что в самые первые посещения этих святых мест не видывал нищих. Возможно, по молодости лет не обращал внимания на такие явления. Впрочем, и в других местах ничего подобного не было. Слышал, что всякого рода бродяг отлавливали и определяли в какие-то заведения социального типа. И там заставляли всех работать: и слепых, и безногих. Может, так, может, по-иному. В годы советской власти многое делалось насильно. Хорошо это или плохо? Не знаю. Об этом могут сказать те, что стоят с протянутыми руками. Впрочем, и от опустившихся доходяг не всегда дознаешься, чего они хотят и чего для них лучше.

Мне приходилось (в лагере) наблюдать, как завшивленного тифозника силой (сам добровольно не шел) тащили работники санбыта в баню на обработку и дезинфекцию. Потом (из-за него) три дня подряд санитары-дезинфекторы гоняли всех заключенных для прохождения тех же процедур: всю одежду прожаривали в вошебойках. Сам вместе со всеми вымещал бессильную злобу на заразном больном: кому приятно тащиться со всеми вещами (и постель принуждали захватывать) в банно-прачечный комбинат, отстоящий на 600 метров от барака. При желании можно и здесь усмотреть ущемление свободы (хотя какая она у заключенных) и притеснение прав человека (есть сейчас такие «радетели»).

Я протиснулся в храм, купил несколько свечек. Поставил за упокой души рабы Матрены и своих близких родных, недавно упокоившихся от земной юдоли. В храме было полутемно. Чадно от горевших свечей и лампад. Шло богослужение. Я много раз видел такое, и мне вскоре все наскучило. В подавленном настроении ушел из лавры. На привокзальной площади вдоль всех подходов к станционному зданию громоздились ларьки, палатки, магазинчики, заставленные всевозможными заморскими винами с разноцветными этикетками, и различными сладостями, и прочими заграничными товарами. Шла бойкая торговля. Возле палаток на земле, под ногами покупателей валялись окурки, фантики от конфет, стаканчики от мороже-

ного, битое стекло. О чистоте и санитарии никто не заботился. Все думали о наживе. Казалось, что по всей стране одна половина народа торгует, другая побирается. Господи! Зачем ты помутил разум людям? На железнодорожной платформе бло пусто: поезд отправлялся на Москву только через час. Я сел на близлежащую лавочку. Воспоминания пришли сами: довоенный Загорск. Мальчишками ездили из поселка играть в футбол (футбольное поле и до сего времени сохранилось) с местными футболистами, такими же школьниками. Мы всегда им проигрывали. Но как-то раз нам посчастливилось забить лишний мяч в их ворота. Всю обратную дорогу пели песни, восторгам не было предела. Вспомнил, что в январе 1941 года со всеми десятиклассниками (ни с кем не довелось встретиться после стольких лет) приезжали на призывную комиссию. Меня определили во флот. Но!.. На всю жизнь остался рядовым необученным, не прослужил ни одного дня... Много позже, в начале ноября 1954 года, на красноярском поезде ехал после ссылки: осень тогда выдалась удивительная. Проезжал знакомые места и никак не мог поверить: за столько лет ничего не изменилось, все было как прежде, и в какой-то сладостной тревоге заколотилось сердце.

Электричка подошла с опозданием. Народу высыпало видимо-невидимо. Это была ее конечная остановка, а в весеннюю пору по пятницам особенно много приезжает огородников да садоводов. Все спешат на приусадебные участки: некоторые отдохнуть, большинство закончить садово-огородные дела. Я прошел по нескольким вагонам. Выбрал где было почище. Устроился возле окна. Кроме меня в вагоне не было никого. Уже перед самой отправкой с трудом забралась (видимо, усердно намолилась) пожилая женщина. Поезд тронулся в обратный путь. На Москву. На остановках никто не входил, а выходить было некому. В Софрино зашли двое. Один был старик, другой в самом расцвете сил. Острижен коротко, по-современному. В одной руке держал объемный кожаный портфель, другой поддерживал накинутый на плечи модный пиджак. «Настоящий спортсмен», — подумал я, глядя на крепкие мускулистые руки, до локтей закрытые закатанными рукавами рубашки. Оба сели от меня по другую сторону вагона. Друг против друга. Старик безучастно смотрел в окно, часто поворачиваясь на сиденье: видимо, уставали его старые мощи. «Спортсмен» углубился в газету. Через некоторое время, оторвавшись от чтения (наскучило), обратился к старику (надо как-то время коротать) с вопросом: «В Москву едешь, старина?». После некоторого молчания старик ответил: «Нет, чуть поближе». «А что, по делам или к родным, если не секрет?» — опять спросил «спортсмен» (ему очень хотелось поговорить). Старик еще с большей неохотой ответил: «Нет у меня нигде родных, а еду на прежнее место работы, пенсию третий месяц не переводят. Дожился. Четыре дня хлеб не покупаю».

Я хорошо слышал их беседу, но в разговор не вступал, не было интереса: насмотрелся с утра на немощных и нищих. «Спортсмен» не унимался: «Время теперь не сравнишь с прошлым: всем дана свобода, только разворачивайся, торгуй, приватизируй, успевай за реформами. Я с первых дней, как только волю-волюшку объявили, бросил свою слесарку и занялся бизнесом. Кто посмышленнее, да побойчее заводятся собственным промыслом,

наиболее удачливые попадают в «струю» и живут припеваючи. Ох, хорошо живут! Может, и тебе, старина, на старости лет хоть небольшой торговлишкой заняться? Например, сигаретами или пуговицами». Мне сначала показалось, что бизнесмен спортивного вида подтрунивает над стариком. Присмотрелся повнимательнее. Нет, вид у того был серьезный, напыщенный и очень самодовольный. «Вот наглец», — подумалось. Захотелось вступить в разговор, но старик опередил: «Куда уж мне, скоро 80 стукнет, за пенсией еле дохожу, а тут еще хлопот добавилось, еду на завод. Непорядки какие-то с моим пенсионным делом произошли». Старик говорил, тяжело дыша. Я все больше проникался симпатией к старику-пенсионеру (сам тоже из этого племени) и одновременно жалел: старик одинок, не имеет денег даже хлеба купить. И усиливалась неприязнь к упитанному бизнесмену.

Не удержавшись, обратился к нему: «Простите, не знаю вашего имени-отчества, но позвольте спросить вас. Из вашего разговора мне ясно, что вы занимаетесь предпринимательством и как показалось, довольно успешно, а разъезжаете вроде нас с ним (я указал на старика) на общественном транспорте, как простой обыватель». Бизнесмен с удовольствием рассмеялся: «Ловко подметил, — отпарировал он. — Вчера с приятелем «дербанули» усердно. (Я с самого начала заметил, спортсмен-бизнесмен был под приличным «градусом», может, оттого-то и вел себя развязно). Ну и закатил я свой «мерседес» в кювет. А с помятыми крыльями, как поедешь? Сразу гаишники сгребут. Ездить же на такси не в наших правилах». «Нахал и хвастун. До «больших русских» (хоть и очень хочется) тебе далеко. У них по десятку машин. Да и шоферов столько же. А тут один «мерседесишко» расклепал и уже ухарем-купцом себя выставляет», — подумалось, и от этого я разозлился еще больше. Не скрывая злости спросил: «В чем ваш бизнес, велик ли капиталец, может, заводишко есть, каков оборот, велика ли прибыль, нажива, землицы прикупил ли и много ли работников в вашем повиновении?». Бизнесмен не ожидал такого натиска. Посмотрел на меня с подозрением: одет по-будничному, ничего особенного не видится во мне, да и повадки как у самого заурядного простолюдина (они-то свой своего видят и определяют каким-то особым, только им одним присущим чутьем), ответил с явным презрением: «А вот это уж, милейший, коммерческая тайна». Отвернулся от меня, видом своим показав: «Что с голодранью разговаривать».

Электричка остановилась. Старик поспешил к выходу. Мне нужно было ехать дальше, но я тоже вышел за ним. Когда вагоны тронулись, я догнал старика и протянул ему десять тысяч (не велика сумма, больше трех буханок хлеба не купишь, по старым ценам чуть больше полтинника). Старик посмотрел с укоризной: «Вот уж не думал, что на нищего буду походить. Ведь без малого 50 лет проработал токарем 6-го разряда». – «Да, я слышал, как ты говорил этому счастливчику, что несколько дней хлеба не ел, вот и решился, – сказал я, а самому стало совестно. — Возьми, что они сейчас стоят эти деньги». «Не надо. У меня здесь хорошие друзья. Обойдусь. А тебе спасибо, что Жору-счастливчика немного урезонил. Знаю я его. Наш он, софринский. Спекулянтом стал. Водкой и спиртом торгует. А при советской власти самым захудалым слесаришкой был. Лодырь несусветный.

Гоняли его отовсюду, как пса паршивого. Потому и разговаривать не хотелось», — старик с трудом договорил, улыбнулся доброй улыбкой и спустился с платформы. Я же подумал: «Как не по заслугам и делам разделились люди. Отвернулся Всевышний, и разнесло всех по разным берегам. Не многие ухватят счастье. Остальные (подобно старику) загинут в нищете». Через несколько минут подошел следующий электропоезд. Я зашел и вскоре был в Москве. В этот теплый весенний вечер холодным равнодушием веяло от ее каменных громад. Впрочем, она никогда не одаряла меня своими щедротами.

Не дождавшись конца отпуска, я купил билет на Таймыр. Домой. До Дудинки. И сразу стало легко и радостно на душе. Совсем не так, когда везли в первый раз в 1946 году из Красноярска в трюме парохода, набитом заключенными.

Во Внуковском аэропорту народу было много, отменили несколько рейсов. Наш тоже, по техническим причинам. Может, и правда были какие неполадки в самолете, а скорее всего это была обычная коммерческая хитрость, к которой прибегают работники Аэрофлота, когда не загружен рейс (весенние месяцы май-июнь, в сторону Норильска самолеты летят полупустыми). Пришлось ожидать. Обратно ехать не имело смысла: рейс задерживали на 4 часа. Походил немного по верхнему этажу в зале ожидания, мне посчастливилось найти свободное местечко. «Ну вот, здесь и скоротаю время», — подумал с облегчением. Недалеко от меня весело балагурила довольно большая группа молодых девчат и парней: возвращались с сессии. Это я быстро понял из их разговора. Студенты были радостные: экзамены прошли успешно. Кто-то из ребят сбегал за бутылкой (и здесь повсюду стояли ларьки с бодрящими напитками): веселья и смеха прибавилось. Какая же это счастливая пора. Когда-то давно улыбнулась она и мне. Правда, встретил я ее уже не таким молодым, как они. Не было их легкомысленной ребячьей беззаботности. Но все же! Но все же!

Свобода. Мне 30 лет. Молодость уже ушла, но старость еще не наступила (хоть голову мороз посеребрил изрядно). Нет никакой специальности, кроме чернорабочего, образования тоже. Десятилетку не закончил — два месяца недоучился. Никаких документов и справок из школы нет, комсомольский билет и тот отобрали при аресте. Но все равно что-то делать надо. Виктор Павлович Чаплин (брат Николая Чаплина, секретаря ЦК ВЛКСМ, расстрелянного в сталинские годы в НКВД), такой же ссыльный, с которым был в дружеских отношениях, советовал: «Только не захлебнись, не растеряйся от радости. Будет трудно, много придется начинать сначала. Учись, если сможешь, хоть и годы немолодые. Многим старше приходится перестраиваться. Главное теперь для нас: что было, того больше не повторится». Я последовал его доброму совету. В ШРМ меня встретили и зачислили с нескрываемым удовлетворением, будто им делают одолжение, а не они меня будут учить. Потом понял. Уже тогда было принято правительством мудрое решение: каждый гражданин СССР должен иметь среднее образование. К выполнению этого мероприятия привлекались партийные и государственные органы. Со стороны общественных организаций, руководства пред-

приятий оказывалась учащимся и непосредственно школам всесторонняя помощь. Денег на это не жалели. В решении этой проблемы достигли многого: к началу перестройки мы были самой грамотной страной в мире. Это сейчас, при демократах, все упростили: зачем дворнику или доярке среднее образование? Конечно, подметать улицы или доить коров можно совсем не умея ни читать, ни писать. А вот разбираться, чего хотят американцы или японцы, не отстать от быстрого бега технического развития... и, наконец, правильно воспитывать, помогать в учебе детям (собственным), когда те пойдут в школу, могут только грамотные родители. Разве это не разумно? Нет, не все было плохо при советской власти. Товарищеская атмосфера и полное понимание царили в те годы между учениками и учителями школы работающей молодежи. К обучению относились серьезно. Все ученики были зрелого возраста. Они не сумели получить среднего образования в обычной школе по разным причинам. Одних оторвала война, другим помешала болезнь, третьим — серьезные семейные неурядицы. Малолеток, выдворенных из обычных школ или же самовольно бросивших школу (такое — сейчас довольно частое явление), тогда не было. Исключение из школы (за проступки) являлось чрезвычайным происшествием. Если такое случалось, то вмешивались все общественные организации.

С первых же дней учебы я попал в какой-то новый, необыкновенный мир. Учился я истово. Просиживал за учебниками зачастую до утра. Когда наступало время идти на работу, удивленно спрашивал: «Неужели ночь кончилась?». Желание поступить в институт или хотя бы в техникум было безмерным. Иногда думаю: «Вот если бы учился так же в школьные годы!». А то ведь редкий погожий день не убегали с уроков гонять мяч по школьному двору. Зима прошла незаметно. С мальчишеской дрожью сдавал экзамены: только на пятерки. Перед последним экзаменом по литературе пригласили в учительскую к директору. Разговор был недолгим: «Постарайся. Может, хоть один будешь с золотой медалью». Я очень старался, но не получилось. За сочинение поставили — четверку. Что поделаешь? Писать на «отлично» умеют немногие.

В первые годы после сталинского режима еще сохранились некоторые формы ограничения прав граждан. Инакомыслящих и несогласных с идеологией власти притесняли и преследовали, хотя в значительно меньшей степени, чем было раньше. Не было исключений и для молодежи: ограничивался прием в престижные высшие учебные заведения, а принятых по недосмотру с пятнами в биографии, отчисляли. Все это вроде бы относилось к прошлым временам, но я очень волновался: хоть освобожден от наказания, но судимость-то не сняли. Как посмотрят на это «жрецы науки»? Чтобы не подвергать себя томительным переживаниям, перед вступительными экзаменами в институт, изложил в биографической справке все с мельчайшими подробностями. В наиболее сомнительных местах жизненного пути специально сгущал краски: уж если не суждено (по моим биографическим данным) в институте «грызть гранит», так пусть сразу не допустят, чем выгонят потом по выявившимся обстоятельствам. Все прошло хорошо. Все 6 лет обучения вопрос о моей идеологической неполноценности (как-никак, а

судили за политические разногласия) не возникал ни разу. Нигде. Всем (подобным мне) повсюду оказывали помощь. И вообще, я ни от одного сокурсника не слышал, чтобы кому-нибудь на работе вышестоящие чиновники чинили препятствия в учебе. Политика верховной власти была одинакова для всех. Когда мне стало невмоготу совмещать учебу с ежедневной работой, начальник порта Лазарев М. И. перевел меня с лесного хозяйства диспетчером в порт. В Ленинградском лесотехническом институте (где я учился студентом-заочником) преподавали (независимо от времени) и помогали со всей добросовестностью. И делали это бесплатно. Никто не помышлял о мздоимстве. Студенты (а таковых было большинство) относились к учебе очень серьезно: защита диплома было нелегким делом. Это сейчас его можно купить на толкучке. А тогда было все всерьез: и жизнь, и учеба. Трудное было время, но неповторимое и захватывающее.

Конец июля 1962 года. Закончив учебу в институте, с дипломом инженера-экономиста я вернулся в Дудинку. Почти полгода ушло на преддипломную работу. А когда приехал, то показалось, будто бы и не уезжал никуда. Все как было. И так много вокруг замечательных людей: друзей, приятелей, знакомых. Через несколько дней состоялся разговор с начальником порта Владимиром Николаевичем Ли. К этому времени он проработал в этой должности чуть больше года, но успел зарекомендовать себя как волевой и высокопрофессиональный работник. За весь период его работы не было кадровой «чехарды». Замена или перестановка руководящих работников производилась с учетом их личных качеств, желания и производственной целесообразности. Он умел подбирать и привлекать к работе молодых и энергичных, не боящихся трудностей людей к решению сложных и ответственных задач. Таких было немало: Сабеев Л. А., Соловьев П. А., Мордухович М. А, Кизим А. Г., Проскуряков В. М., Захарчук В. В. Совместно с ними многие годы работал заместителем Платыгин Н. Е. Это эрудированный, грамотный хорошо знающий работу инженер. Не случайно после ухода В. Н. Ли руководство комбината не раз предлагало ему занять должность начальника порта. Отказался. Хотя из всех претендентов на этот пост был самым достойным кандидатом. В решении хозяйственных и производственных вопросов Владимир Николаевич Ли ответственность брал на себя, проводил самостоятельную линию, редко считаясь с мнением партийных работников (горкома, окружкома), за что впоследствии (за такую независимость и неосмотрительность) расплатился довольно большой ценой.

Владимир Николаевич встретил меня приветливо. Расспросил подробно о студенческих делах, посмотрел диплом, искренне похвалил и неожиданно предложил занять должность заместителя (в порту она была свободной). Я подобного не ожидал. С жаром начал отказываться, ссылаясь на всевозможные причины: «Владимир Николаевич! Я не член партии, судимость не снята, ну как идти на такую работу?». Мои отговорки Ли во внимание не принял. Согласился после моих настоятельных убеждений, что это не по моей специальности и с такой обузой я не справлюсь. «Ладно! Пусть будет по-твоему! — сказал Ли и тут же добавил: — Пойдешь на лесное хозяйство. Там ты нужнее, чем в диспетчерской. Не зря учили столько лет».

Во времена перестройки, а особенно реформ, наиболее активные демократы (в основном из бывших партийных работников) во всю мочь кричали, что ответственные посты в любых отраслях могли занимать только члены КПСС. Да, такой подход существовал. Членам партии доверяли больше. Но чтобы стать членом КПСС, каждый человек в течение года подвергался всесторонней проверке на предмет морали, преданности, наличию знаний и профессионализма (всем критериям порядочности и образованности). Это было основанием для назначения на ответственные посты. Но были и исключения. Я не состоял в рядах партии, когда меня назначили директором довольно крупного предприятия объединения — лесозавода с лесобиржей. Предлагали занять должность главного инженера порта (от этой должности, как и от должности заместителя порта, отказался).

В наиболее мрачные годы, еще при сталинском правлении, начальником порта работал беспартийный Афанасьев Александр Александрович. Можно привести целый ряд примеров, когда начальниками отделов управления порта или производственных подразделений работали заключенные, осужденные по политическим мотивам на большие сроки наказания. Власть предержащие всегда руководствовались правилом: как можно больше пользы получить от человека. Среди хозяйственных руководителей немного было недостойных, зато в партийных органах (горкомы, обкомы, насквозь прогнившем политбюро с ген. секретарем Горбачевым М. С.) особенно в последнее время корыстолюбцев и хамелеонов хватало с избытком. Многих не только нельзя было принимать в партию, но и пускать на порог колхозной конюшни. Оттого так легко демократы перетряхнули все основы советской власти.

Когда разговор с Владимиром Николаевичем закончили, я спросил: «На работу когда выходить? Ведь отпуск у меня закончится через месяц». Ли, весело сверкнув глазами, ответил: «Ну погуляй денек, другой, отдохни и начинай трудиться на новом поприще». Немного погуляв и отдохнув, на следующий день я пришел к лесникам и с той поры связал свою судьбу с этим удивительным трудовым коллективом на всю жизнь.

Много неистовых вьюг прошумело над таймырской тундрой, много тяжелых навигаций отгремело в порту на причалах, и уже, кажется, не счесть полярных ночей с непроглядной теменью и трескучими морозами, что опускались над заснеженной Дудинкой. Сколько и каких людей прошло через наши лесные тяготы за долгие годы моей работы. Когда сквозь туманную пыль пролетевшего времени подступаю памятью к далекому началу, видятся миллионы распиленных бревен, неумолкающий шорох лесопильных рам, тысячи вагонов с пиломатериалами, исчезнувших в ненасытном жерле заполярного гиганта. Сотни плотов с лесом, многие из которых приходилось протаскивать сквозь ледовый панцирь замерзающей реки Дудинки, неимоверные усилия буксировщиков, разрывающих стальные буксирные тросы. И задубевшие от мороза мозолистые руки, расчалившие в ледяной воде тросовую ошлаговку для разводки плотолент. А за всем этим люди, люди, все преодолевшие, все отдавшие, неприхотливые и ничего не требующие. С нескрываемым удивлением сам себе задаю вопрос: «В каких еще

странах есть народы, способные на такие тяготы?». И мыслю: «Только в нашей». Но отработав 30, 40, а иные и более лет, многие лишены возможности оставить Север: негде жить — не заработали на убогую хрущевку на «материке». И доживают здесь последние годы на пенсии, перебиваясь с хлеба на воду. И меркнет гордость, утопая в горькой кручине. Редко-редко среди воспоминаний всплывают из нескончаемого потока рабочих буден приятные и незабываемые картины неповторимого прошлого.

Как-то раз воскресным вечером я возвращался с работы. Меня совсем недавно назначили начальником «лесного», и я, стараясь оправдать доверие руководства, работал с усердием, не признавая выходных дней. Эту привычку с тех далеких пор сохранил и доныне: иногда по воскресеньям прихожу на «лесной» и сейчас.

Был теплый весенний день. Кругом бежали ручьи. На перекрестке больших дорог, где сейчас стоит здание 300-летия Дудинки, мне встретились Станислав Антонович Гуменюк и Иннокентий Иванович Михайлов. Гуменюк работал профсоюзным лидером, а Кеша Михайлов — главным диспетчером в порту. Это были мои хорошие друзья. Поздоровавшись, спросил: «Что бродите? Приключений ищите?». Оба рассмеялись и наперебой начали говорить. Я предложил: «Ладно! Кончай базарить! Пошли ко мне. Жаркое сварганим. Поросенка недавно зарезал». В то время каждый домовладелец (если считать балки домами) держал в пристроенных к домам сараях корову или поросят, а некоторые – и тех, и других. Я тоже занимался крестьянским промыслом и в качестве «подспорья» откормил «животину».

Домой дошли быстро. Но здесь нас поджидало разочарование: домишко залило вешними водами. Я знал, что нас заливало каждую весну, но в этот раз не предполагал, что это начнется так рано и причем в большей мере. Супруга ведрами отчерпывала воду, но справиться никак не могла. Мы все подключились в борьбу с наводнением. Таскать вчетвером было неудобно, домишко наш был тесный, а проход совсем узкий. Я сказал супруге: «Поставь ведро, мы и без тебя управимся, а сама займись по хозяйству. Возьми самую большую сковороду. Они сейчас промнутся, таскавши воду». Работа спорилась, вода начала убывать. Печка гудела, на сковороде шкворчало и стреляло, по избе поплыл запах жареной свинины. Станислав Антонович зашмыгал носом (очень жаловал это кушанье) и от предвкушения трапезы даже постучал пальцем по носу (имел такую привычку). Затем с удвоенной энергией стал вытаскивать ведра с водой. Я взял лом и вышел на улицу, пробил (много ли надо силы чтобы проломить прогнившие доски) стену в самом низу: вода схлынула в один момент. Наводнение отступило. Мы просидели долго, говорили обо всем, но больше всего о работе. Особенно много выступал Иннокентий Иванович. Надо отдать должное, он очень добросовестно относился к производственным делам, не признавая никаких подделок или очковтирательства. И даже в разговорах не соглашался на компромиссы. Ушли они поздно вечером, довольные беседой и в приподнятом расположении духа. Правда, Станислав Антонович немного кособочился (перенапрягся, вычерпывая воду), но виду не показывал, держался бодро.

Неделя началась плохо. В понедельник утром комиссия по охране природы забраковала состояние складских площадей в затопляемой зоне. Установили самые жесткие сроки по наведению порядка. В тот же день железнодорожники при маневрах разбили целый состав вагонов с лесом и свалили всю вину на наших грузчиков: плохо увяли проволокой, бывшей в употреблении, стойки, прокладки не по стандарту. Как ни доказывал, ни убеждал, что врут они, — все было бесполезно: их не переспоришь. Во вторник, проходящий по лесобирже паровоз поджег вылетевшими из трубы искрами эстакаду бревнотаски сразу в нескольких местах. Все бы ничего. Таких происшествий было немало. Но случилось это как раз в обеденный перерыв, когда все ушли в столовую, и пожар разгорелся довольно сильно. Шум поднялся по всему порту, дело дошло до горкома. При тушении пожара какой-то пожарник подвернул ногу (опять нас обвинили). Хорошо, хоть травма оказалась несерьезной, а все равно — неприятность. И весь спрос сходился на мне. На планерке подвергали жесточайшей критике и ругали на чем свет стоит. Я оправдывался как мог, но всегда оставался виноватым. Уметь отбиваться от критиков, выходить сухим из воды или пускать пыль в глаза — это тоже искусство. Не каждому дано. Нравоучениями и наставлениями так забивали голову, что казалось, будто во всем сам виноват. Настраивал и убеждал себя, что нужно еще больше работать, все держать на контроле, и потому с работы уходил заполночь, а утром появлялся раньше всех.

Понемногу шквал неудач схлынул, и все вошло в спокойную рабочую колею. В середине недели, около 10 часов утра, оператор отыскала меня и передала, чтобы немедленно пришел в управление к начальству. Черной птицей мелькнуло: не к добру, наверняка спросят за все, в прошлые дни накопившиеся упущения. Стало не по себе. Только вроде бы все наладилось, а тут иди в эту «кочегарку». А там «пару» напустят без жалости, припомнят и давние грехи. Об этом я хорошо знал: не один раз бывал на «прочистке мозгов». Но что делать? Не прятаться же? Пока шел, все время думал: «За что предстоит разнос и от чего придется отбиваться?». Вроде бы за все уже получил сполна. Вспомнил, что недавно не очень любезно разговаривал с диспетчером комбината. И может, он нажаловался? Но тут же отверг: Владимир Николаевич строго спрашивал за промахи в работе, но вышестоящему начальству в обиду никого не давал. Со смешанным чувством тревоги вошел в приемную. Секретарша бойко протараторила: «Заходи! Ждет!». Недовольно подумал: «И эта отдышаться не дает. Да еще и рада. Чему?». Зашел. Ли был один и разговаривал по телефону с диспетчером Заботиным Николаем Степановичем, человеком удивительного спокойствия. Когда я еще работал вместе с ним в диспетчерской порта, мне довелось присутствовать при разговоре его с Михаилом Ивановичем Лазаревым. Был конец навигации. Работа повсюду шла с перебоями. Лазарев задавал один вопрос за другим. Заботин отвечал с невозмутимым хладнокровием о самых досадных промахах и недоделках. Наконец Лазарев вскипел: «Я тебя почти час допрашиваю, ты сообщаешь самые неутешительные данные и хоть бы раз вышел из себя». Заботин невозмутимо ответил: «После вчерашнего разговора с вами, Михаил Иванович, я как

вышел из себя, с тех пор никак не могу войти обратно». Лазарев юмор любил, рассмеялся и повесил трубку.

Владимир Николаевич прекратил разговор. Весело посмотрел на меня, поздоровался и уперся взглядом в пол. «Может, ничего плохого не будет?», — подумал я и тут же спросил: «Зачем вызывали?». Чуть помедлив, Ли начал говорить как-то исподволь, не сразу приступил к существу (такое у него появлялось часто): «Я знаю тебя много лет и работаем почти все время вместе». С Владимиром Николаевичем был знаком с тех пор, когда он работал еще заместителем начальника пристани ЕнУРПА Лютницкого М. И. И с того времени у меня с ним были довольно хорошие отношения, о чем всегда вспоминаю с чувством удовлетворения и благодарности.

«Ты живешь как князь», — сказал он. «К чему бы это?», — подумалось. Меня действительно прозвали «князем» с легкой руки Шуры. Покупая домик, в котором прожили уже больше 10 лет, она сказала: «Ну вот, теперь у нас отдельные хоромы и ты будешь жить как настоящий князь». Так и прилепился ко мне «княжеский» титул. «Подтрунивает», — совсем успокоился я. Об этих особенностях Владимира Николаевича мы хорошо знали. «Ты бы хоть раз пригласил в свой особняк», — лукаво сказал он. Я представил Гуменюка с Михайловым, таскавших ведра с водой, и, не подумавши выпалил: «Что и тебе захотелось воду потаскать?». Сказал и умолк: нельзя было так дерзить. «Сейчас отчитает», — подумал я с досадой, кляня себя за опрометчивость. Но после моих слов вместо отповеди Владимир Николаевич откинулся на спинку стула и неудержимо захохотал. Он пытался что-то сказать, но смех захлестывал его и не давал произнести ни слова. Наконец, совладав с собой и немного успокоившись, сказал: «Мало одного Гуменюка, ухлопал его, отправил на «больничный», и со мной захотелось проделать такое же? Он только сегодня утром как крючок дополз до работы». И снова рассмеялся. Я понял, что Станислав Антонович рассказал ему про наши «трудовые деяния» в прошлый воскресный вечер. Характер у Владимира Николаевича был неуравновешенный, мог легко вспылить, но был отходчив и незлопамятен, а уж если смеялся, то зачастую до слез. Помолчав немного сказал: «Потерпите еще месячишко, пусть помоет вас в эту весну, а там дадим сначала однокомнатную квартиру, а как построим дом по улице Горького, получите двухкомнатную». Я такого оборота не ожидал и оттого совсем растерялся: что сказать? Ведь ни разу даже не заикался о благоустроенной квартире и ни у кого не просил. Владимир Николаевич ничего не забыл (надо отдать ему должное, что если он что обещал, то выполнял всегда). Во второй квартире я живу уже больше 30 лет. Всем хорошо... Только на первом этаже ресторан. До глубокой ночи в нем так бухают барабаны, что звуки словно из преисподней со «страшного судилища» проходят сквозь все перекрытия до пятого этажа. Что уж говорить про третий. По молодости не замечал (правда тогда и музыка была более щадящей), а к старости стал более привередлив. Совсем недавно в нашем подъезде трое пенсионеров «убрались» на тот свет, как теперь принято говорить, на последний заслуженный отдых. Старые были. Но злые языки судачат, что ресторанные громобои сыграли немалую роль в их кончине. Правда ли? Как проверишь? Мало ли

что говорят? Да и кто станет разбираться. Невелика беда: молодежь не дает спать пенсионерам. Так они все равно бодрствуют, не получая мизерных пенсий по три месяца, не очень уснешь: голод не тетка. Мелочи какие-то. Разве такие творятся вольности в нашем демократическом государстве. И все же! Все же!

Дудинка (ставшая цивилизованным городом) пока значительно отличается от многих российских городов во всех отношениях в лучшую сторону. Надолго ли? Первое упоминание о Дудинском зимовье в «письменах» оставил в 1667 году пятидесятник Сорокин. Каким оно было? Никто не скажет. Записей нет, а память «инструмент» ненадежный, даже на малые сроки.

30 лет назад жители Дудинки отмечали ее 300-летие. Много ли людей помнят (да и сколько их осталось?), как проходил тот юбилей и каким был в те годы наш административный центр. Я тоже почти все позабыл. Помнится митинг на стадионе и выступающие ораторы. Все призывали сделать столицу Таймыра еще краше. Послевоенное старинное русское село. Все строения деревянные. Первый кирпичный двухэтажный дом построен в 1951 году. Строительство и развитие Дудинского морского порта, а вместе с этим и города Дудинки началось в середине 50-х годов и шло бурными темпами до горбачевской перестройки. Окончательно замерло в годы демократии. Город и порт были построены, в сущности, за 35 лет. Десять из них с 1961 по 1970 год Владимиру Николаевичу Ли пришлось работать в самом напряженном режиме. При нем был выполнен проект перепланировки порта (1965—1966 гг.) с учетом реконструкции действующих причалов, механизации трудоемких работ. В это десятилетие наметилось значительное увеличение объемов грузооборота и особенно быстрыми темпами велось строительство жилого сектора. Всем руководителям порта до Ли В. Н. и после не было легкой жизни. Но самая неблагодарная и тяжелая миссия пришлась на долю последнего, нынешнего руководителя порта Хана Лонгина Андреевича. Ему предстоит не наращивать производственные мощности и потенциал порта, а сокращать их по всем направлениям. Его можно сравнить с человеком, идущим вверх по стремительно уходящему вниз эскалатору. Было бы неверным приписать все трудовые успехи 60-х годов в Дудинском порту одному Владимиру Николаевичу Ли. Не умаляя его заслуг, необходимо отметить огромную роль руководителей Норильскснаба Всесвятского Владимира Николаевича и Полищука Владимира Ивановича.

В статье «Святые берега» я пытался рассказать о большом трудовом вкладе Всесвятского В. Н. в развитие и совершенствование Дудинского порта и Норильского комбината. Но мне не удалось сделать этого даже в малой степени. У меня также нет возможности рассказать обо всем объеме неимоверно большой работы, проделанной Владимиром Ивановичем Полищуком на великих стройках Заполярья, ибо не располагаю материалами о его деятельности не только в НГМК, но даже в Дудинском порту. Но я надеюсь, что работавшие с ним люди расскажут о его заслугах в развитии всего Таймыра.

В. И. Полищук был учеником и продолжателем дела Всесвятского

В. Н. Они длительное время работали вместе. Владимир Иванович перенял все положительные качества Всесвятского. Но! Те же самые задачи решал с иным подходом и другими способами. Что ж! Все закономерно. Хороший ученик никогда не копирует своих учителей. Спокойный в общении с людьми, постоянно оказывающий помощь в трудных ситуациях, ровного и уравновешенного характера, он с неукротимой энергией находил пути к решению самых трудных проблем. Это был мотор, двигатель в огромной системе МТС комбината, непосредственный организатор и руководитель строительства и расширения складского хозяйства Норильскснаба, Дудинского порта и города Дудинки. Без него почти никогда не решался ни один серьезный вопрос в коллективах подведомственных ему предприятий. Он неодобрительно смотрел на людей нерешительных и бездеятельных. Я об этом знал и потому старался держаться бодро. Правда, не всегда это удавалось. Полищук очень часто приезжал в Дудинский порт. Не было такого случая, чтобы он не пришел на лесозавод. К нему у него было особое отношение. Его интересовали не только объемы лесопиления и качество выпускаемых пиломатериалов. Он детально вникал в существо технологии. Хорошо знал производственные возможности лесоцеха, что позволяло ему в случае необходимости увеличивать план, вместе с тем никогда не устанавливая непосильных задач. Он обладал удивительной оперативностью. В 1981 году 31 июля сгорел в Норильске лесоцех. Дотла. О его восстановлении не могло быть и речи. Еще дымилось пожарище, а Владимир Иванович 1 августа собрал всех работников, имевших непосредственное отношение к снабжению предприятий комбината лесоматериалами. Вопрос был коротким, ясным, но не простым: необходимо сделать все, чтобы объемы сгоревшего лесоцеха освоить на Дудинском лесозаводе. Все поняли сложность и ответственность так неожиданно возникшей проблемы. Совещание прошло без торговли, разногласий и пререканий. Когда все разошлись Владимир Иванович остановил меня и сказал: «Звони мне в любое время и по любому вопросу. Помогать буду во всем». Мне звонить ему не пришлось. Он всегда опережал и звонил мне сам. Уже на другой день после совещания прибыли из Норильска рабочие лесопильщики. Стали поступать необходимые запчасти, материалы, оборудование. Введено было дополнительное материальное стимулирование. Люди работали с удвоенной энергией. Задача была выполнена. В тот год было напилено 153 400 куб. м пиломатериалов. Самый большой объем продукции за все годы.

Сейчас часто можно слышать от многих демократов, что тот период был временем застоя. Так и хочется сказать: «Для чего вы врете? Попробуйте теперь хоть один день поработать по-застойному».

Осенью того же года тяжелая обстановка сложилась на выгрузке круглого леса. Похолодание началось ранней осенью. Даже для заполярных мест резкие заморозки в сентябре довольно редкое явление. Положение усугублялось тем, что в оставшийся навигационный период предстояло принять и выгрузить несколько плотов с лесом. От Игарки плоты буксировали в штормовую погоду. Вода захлестывала борта, сверху сыпалась снеж-

ная крупа. Бревна леденели, весь плот превращался в сплошной ледяной массив. Их заводили в реку Дудинку, покрытую сплошным льдом, толщина которого достигала десяти и более сантиметров. Под тяжестью ледяного покрова плоты опускались, и на мелководьях нижние ряды бревен цеплялись за дно реки (особенно с береговой стороны), при этом вся бортовая ошлаговка перепутывалась, замки креплений опускались под днище и расчленять плот на части обычным способом не было никакой возможности. Приходилось тридцатимиллиметровые мм стальные тросы разрубать или разрезать сваркой. После чего отсоединенные секции подводили катерами к плавкранам и грейферами, выбрасывали связанные пучки и одинокие бревна на береговые отмели. О потерях древесины не беспокоились: из зажатых льдом плотов бревна не уплывали. Особенно тяжело пришлось рабочим сплава: каждый пучок бревен отсоединяли голыми руками, зачастую отыскивая замок в ледяной воде. Работали по 12 часов (все световое время). Нужно было обеспечить работу кранов на всю ночную смену.

Бывают же совпадения: аналогичная ситуация повторилась и в следующую навигацию 1982 года. С нескрываемым удовлетворением вспоминается бригадир сплавщиков Шилов Виктор Алексеевич. Это ему со старшим мастером сплава Умновым Владимиром Васильевичем и начальником лесобиржи Бабиковым Виктором Александровичем выпала доля спасать древесину из замерзшей реки в осеннюю пору навигаций 1981—1982 годов. И в те годы не оставили во льду ни одного замороженного плота. Многие подразделения порта (портфлот, ВПМ) принимали непосредственное участие в трудовом (но совсем не «кричащем») напряжении. Тогда подобные трудности считались трудовыми буднями. И во всех этих случаях самую неоценимую помощь оказывал начальник Норильскснаба Полищук Владимир Иванович. Он подолгу в эти периоды находился в Дудинке. Мы постоянно чувствовали его моральную поддержку. Все тяготы он разделял поровну с лесниками. Его рабочий день начинался в 6 часов утра и заканчивался поздним вечером. Первые и последние вопросы у него были о лесных делах. В отдельные дни приходилось докладывать ему пять и более раз. В самые сложные моменты он говорил: «Вам всем тяжело, но и мне нисколько не легче, будем вместе одолевать трудности, пока не спасем лес. Он так нужен сейчас комбинату». Мне часто хотелось спросить у него: «У вас что, кроме лесных проблем и дел никаких нет?». Хотя я прекрасно знал, как велик объем его работы (не единожды приходилось бывать на совещаниях, планерках в порту Норильскснаба). За многие годы моего пребывания в системе Норильскснаба (Дудинский порт его подразделение) у меня сложилась убежденность, что в работу Владимир Иванович вкладывал все способности и силы, на остальное у него просто не оставалось времени. Может, так, может, не совсем (я-то ведь не очень был тесно связан с ним по службе). Неведомо мне, как складывались его отношения с парторгами, профоргами, но уверен, что независимо от ситуации он отстаивал интересы рабочих и производства. Тут я должен сделать поправку: в годы социализма не было разногласий между парторгами и хозяйственными руководителями. Только одни ставили задачи, а другие их решали.

Время отодвигает годы. Наступают новые события. Тускнеет позолота великих народных свершений, но все равно! Когда приходится бывать в городе Норильске, смотреть на большой современный город, воздвигнутый за какие-то 35-40 лет в забытом богом краю на болотах и вечной мерзлоте, сравнивать сегодняшнюю Дудинку и Дудинский порт с теми, что я видел в первые послевоенные годы, даже мне, на глазах которого все построено, это кажется невероятным. Неужели это свершили люди? Обыкновенные простые советские люди. И в том безмерном трудовом подвиге есть огромная заслуга Владимира Ивановича Полищука, скромного, я бы даже сказал, застенчивого человека. И многих-многих людей, с которыми вместе работали и вместе жили. И все они работали для людей, порой забывая про себя.

Более 50 лет я работаю на Норильском комбинате. Слава Богу! Хором и палат белокаменных не имею, а все заработанные накопления (не только у меня, а у всего трудового народа) «проглотил» демократ-реформатор Гайдар со товарищи (и ведь надо же — утверждает, что это самый разумный «государственный» шаг). Так что чувствую себя легко и свободно.

И тем не менее! Несмотря на все невзгоды прошлого и настоящего Дудинка остается в моей памяти самым дорогим воспоминанием, ее ветхие домишки, разбросанные по косогорам и берегам оврагов, кривые улочки без начала и конца, неимоверно грязные и непроходимые дороги, нежные ромашки, а главное, гостеприимные и добрые в те лихие годины люди. Как забыть все это? Невозможно! Все равно, что предать свою молодость.

Смутные и тяжелые времена переживает наша Российская Республика. Республика — все, что осталось от великой державы. Трудно людям и, главное, непонятно во имя чего несут они непомерные тяготы. Не обошла «черная туча» и наш Таймыр. И стоит Дудинка, заполярная столица, горько задумавшись: неужели и ей уготована участь северных городов — Диксона, Игарки и многих других? А что станет с малыми поселками, в забвении угасающими на лютых просторах тундры? Кто скажет? Кто ответит? И что дальше?

В будущем видится все, кроме покоя и умиротворения. А Дудинка? Совсем недалеко ее 330-летие. Может, за этим юбилеем повторится новый ее расцвет? Или придет еще больший упадок, как в иных городах России? Этого пока знать не дано. Можно только гадать.

И от безысходной неизвестности гнетет уныние: неужели титанический труд многих тысяч людей (где есть и моя малая доля), вложенный в освоение суровых полярных пустынь, был грубой ошибкой несгибаемых повелителей коммунистической олигархии?

А может, это неразумные «деяния» волею случая оказавшихся на вершине власти убогих наследников, бесшабашных разорителей несметных богатств, нажитых нашими предками? Нет ответа. Только время расставит истинную сущность событий и явлений на беспристрастных полках истории.

СТАРАЯ ДУДИНКА

Железнодорожная станция «Дудинка-сортировочная» на 19 пикете

Впереди угольная эстакада Сентябрь 1966

Погрузка угля в Северпуть

Первый балок раскоммандировка

Лесная гавань, вид бревнотаски. Такими бревнотасками поднимали весь лес, приходивший в плотокараванах в порт

Морские пригоны в 40-х годах

Первые баржи, доставлявшие грузы для строительства

Первые буксирные пароходы привели в Дудинку баржи с грузом

Колесный пароход «Спартак». 1 июля 1935 года прибыл в Дудинку. Первые 200 человек-строителей приехали строить порт и комбинат

Погрузка пиломатериалов

Дудинка. 1920-1925 гг.

Первомайская демонстрация 40-х годов

Руководители округа на демонстрации

Старый Дом техники. Он располагался в здании лагерного отделения

Окраины Дудинки 40-е годов

Дом купца Сотникова

Мост через овраг. Построен в 30-е годы.
Существует и поныне.
Через него прошли все этапы заключенных.

Ни минуты потери времени летней навигации. Еще идет ледоход, еще на берегах, на причалах лежит лед, а порт уже обрабатывает баржи с грузом. Сюда пристают прямо к припаю льда, и начинается их выгрузка

Погрузка угля при помощи транспортеров на баржу «Северпуть»

Обработка морских судов на пирсовых причалах

Как спасали караваны судов, замерзших во льдах Енисея

Нагромождение льда во время ледохода

Дети 40-х годов

ЛЕСОЗАВОД

Руководство лесозавода

Одинцов Николай Алексеевич,
директор лесозавода, ветеран порта

Умнов Владимир Васильевич, начальник лесобиржи, старейший работник

Семенюк Виктор Мефодиевич, начальник цеха лесопиления, старейший работник

Старейшие работники лесного хозяйства: Умнов В.В., Мишке А.В., Иващенко М.М

Мишке Александр Владимирович, главный энергетик лесозавода, старейший работник

Мишке Александр Владимирович, главный энергетик лесозавода, старейший работник

Хайновская Любовь Альгирдасовна, оператор лесозавода

Яхин Ильгис Маснавиевич, мастер лесобиржи

Шиганов Якуб Исмагилевич, начальник участка пилопродукции и круглого леса

Одинцова Александра Афанасьевна

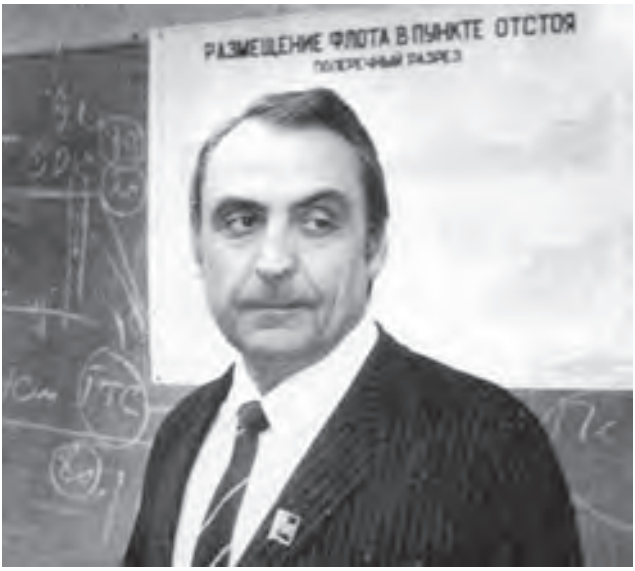
Супруги Одинцовы в молодости.

Стефеев Тимофей Гаврилович, начальник ДМП, 1948-1950 гг.

Афанасьев Александр Александрович, начальник ДМП, 1952-1953 гг.

Всесвятский Владимир Николаевич, начальник ДМП, 1953-1956 гг.

Кизим Александр Григорьевич, начальник ДМП, 1971-1987 гг.



Ветераны Норильского комбината Владимир Иванович Полищук (слева) и Павел Александрович Соловьев

Поздняков Александр Константинович, зам. начальника порта, 1973-1983 гг.

Сабеев Леонид Афанасьевич, главный механик ДМП, 1956-1976 гг.

Хан Лонгвин Андреевич,
начальник ДМП

Захарчук Валерий Васильевич,
начальник производственного отдела ДМП

НА ТАЙМЫРСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

КНИГА ВТОРАЯ

Благодарю тебя, доктор

Здоровый нищий
счастливее больного короля

Суровая таймырская зима перевалила за середину. Ушел декабрь с морозами и пургами, скрылся за склонами окрестных холмов, растворился в бескрайней тундре. В суматохе новогодних и рождественских празднеств потянулись сплошной неразрывной чередой неделя за неделей. Незаметно расступилась тьма полярной ночи, длиннее и светлее стали дни, движение в обеденные часы становилось оживленнее. Я вышел из дома, не без труда пробрался по заснеженной улице, ее не расчищали с тех пор как провалился коллектор, дошел до объездной дороги и неторопливо зашагал по натоптанной обочине. Уже больше недели стояла теплая, безветренная погода, а этот воскресный день был особенно погожим. Мороз приятно обжигал лицо. Студеный воздух чист и прозрачен. Слабый северный ветерок слегка пригибал поднимавшийся из труб дымок. Солнечный диск, в ореоле морозных столбов невысоко поднявшись над горизонтом, бледно-розовым цветом окрасил небосклон. Яркие лучи оторвались от тяжелого светила, шаловливо и радостно разбежались по небесному куполу и, пронизав причудливо растянувшуюся гряду легких перистых облаков, засветились, заиграли в их серебряной бахроме перламутровыми переливами. Мне казалось, будто солнечный шар разгорается ярче, становится больше и, переполненный радостью возвращения, хочет крикнуть на всю округу: «Смотрите, люди! Смотрите! Я снова пришел к вам! И опять принес тепло!» Какое-то невесомое состояние охватывает тело, становится легко, душа наполняется очарованием. Завороженный поразительным видением, я останавливаюсь, замирая: «Невероятно! Такое великолепие могут сотворить только божественные силы!» Я долго не мог оторвать глаз от чарующей панорамы, пока приплывшее облако не заслонило лучезарный свет. Яркость красок потускнела, моя восторженность сникла. Налетевший ветерок забрался за воротник. Стало зябко. Стряхнув оцепенение, подумал: «Такие перемены случаются и в жизни людей, человеческий разум работает постоянно и действует так, что события прошлого любой величины память воспроизводит мгновенно, и видятся они одинаково близкими независимо от их дальности». Воображение сжало время. Против воли в голове понеслись совсем невеселые воспоминания. Наступало лето. Плескались енисейские волны о бетонные причалы, катера сновали, рассекая водную гладь, большие теплоходы призывно извещали гудками о своем прибытии. После долгого зимнего гнета в природе все ликовало и торжествовало. Только тогда я не замечал весеннего расцвета, было не до этого. Нестерпимые боли не давали возможности пошевелиться.

Поздно вечером медицинская «неотложка» увезла в больницу. Идти самому не было сил. Свою болезнь я знал давно. Она то наваливалась безжалостно, то тихо отступала. Не действовали советы разумных людей. Я

все расценивал по-своему. Убеждал и обманывал себя: «Обойдется, еще не настало время. Успею к хирургу». Когда же наступало облегчение, радостно утешался: «Вот как хорошо! Прошло же! И никакой канители!». Но в этот раз все было иначе. Болезнь люто прогрессировала, с каждым днем становилась все хуже и невыносимее. Я не думал об исходе, но знал, что так долго продолжаться не может. И даже в этот тяжелейший период надеялся, что все обойдется без хирургического вмешательства. Не хотел, хотя понимал, что без этого не обойтись. Почему так поступал? А вот этого и сам объяснить не могу. Боялся – и все. Впрочем, подобных процедур страшатся многие, если не все. И это в какой-то мере закономерно. Даже неразумных тварей природа наделила величайшим благом – чувством страха. При малейшей опасности у всех возникает потребность скрыться или приготовиться к защите. Возможно, и я находился под воздействием подсознательного инстинкта самосохранения? Только разумными в данном случае были бы мои действия совсем наоборот.

У меня нет намерения рассказать или пожаловаться о переживаниях, страданиях, что выпадают на долю тяжелобольных. Каждый переносит их по-своему, но они одинаково мучительны всем. Об этом знают все. И потому незачем тревожить людям никогда не заживающие язвы тех ран. Сколько человек перебывало на больничных койках, сколько выздоровело, а сколько в мучениях оставили юдоль земную.

Я долго прожил. И за эти годы должен был умереть много раз! Но странно! Когда оказывался у самого края, какая-то неведомая сила уберегала меня от падения. Видимо, так уж было угодно судьбе! Надолго ли теперь? Все люди знают, что не вечны, но почти никто и никогда не задумывается об этом. Если же вдруг к кому-то приходят подобные мысли, он тут же отмахивается: «О, это еще не скоро! Я еще поживу!». Когда же леденящее дыхание потустороннего мира коснется изголовья, всякий просит: «Ну, погоди! Ну, хоть еще немного!». Любая жизнь желанна всегда и в любых условиях. Когда становится очень тяжело, посмотри вокруг, и ты увидишь, что есть люди, которым еще хуже. Никогда не тянись за счастливчиками, ибо кроме зависти для себя ничего не обретешь. Иногда же за кажущейся завесой благополучия скрываются невыносимые страдания, которые почти невозможно распознать. А скрывать такое — это более худшие мучения. Так рассуждал примерно я в один из томительно тянущихся дней. И мне кажется, так думает большинство людей в подобных ситуациях. Прошло около двух недель моего нерадостного пребывания в больнице. Было воскресенье. В выходные дни только дежурный персонал. Никаких процедур кроме неотложных не проводится. Мне понравились эти дни: никто не тревожит.

Но он пришел. Мой лечащий врач, Сергей Германович Парфильев. Я не был с ним знаком. Но хорошо знал его родителей, долго проработавших в нашей же дудинской больнице. Его отец, Герман Михайлович, работал хирургом и слыл прекрасным профессионалом, а мать, Бэлла Федоровна, — терапевтом, также пользовалась уважением у больных.

Но кроме доброй оценки по работе оба были гуманны и сострадательны.

С первых дней я проникся к нему доверительно: у таких родителей плохих детей не бывает. Постояв немного возле меня, присел на краешек койки, помолчал, видимо, раздумывал, с чего начать разговор. Спросил о моем самочувствии. Мне ничего не хотелось. Все было безразлично. Чтобы поскорее остаться одному со своими мыслями, ответил не задумываясь: «Все хорошо!». После некоторой заминки он сказал: «Давай спустимся вниз, не могу до конца понять, что же у тебя, надо еще посмотреть.» Как же мне этого не хотелось. Превозмогая боль, встал. С трудом сошел по лестнице. В лаборатории долго ворочали меня, осматривая с помощью аппарата со странным названием «УЗИ». По завершении процедуры сказал: «Как бы не пришлось делать операцию». Сейчас мне кажется, что он умышленно говорил так, посмотреть, как я прореагирую, наверное, догадывался, а может, знал, что я очень боюсь этого. Его ненавязчивый разговор как будто подтолкнул меня: «Раз надо, то делайте!» Еще несколько часов назад у меня подобного желания и в мыслях не было. И опять он неторопливо произнес: «Что-то ты так быстро соглашаешься?» Его спокойствие окончательно укрепили мою решительность и я заспешил: «А сколько можно тянуть?».

Словно я уже неоднократно просил об этом и давал согласие. Теперь я хорошо осознал, что против своей воли уверовал в него. И, раздумывая о прошедшем, убеждаюсь: одного профессионализма хирургу (или врачу) для успешного исцеления больных недостаточно. Необходим какой-то особый человеческий подход к больным, чтобы добиться от них доверия. И ему это удалось со мной в полной мере. Пусть будет Всевышний ему в помощь! Был бы верующим, твердо стоял на своем: Бог вразумил меня! Несмотря на выходной день, группа врачей и медсестер собралась быстро. Не прошло и двух часов после нашего разговора, как я уже находился в операционной. Много позже узнал: операция оказалась сложной и длилась около четырех часов. Я несколько раз приходил в себя от нестерпимой боли. В моменты просветления, а может быть, сознание вообще полностью не отключалось, меня неотступно преследовал один и тот же черный призрак. Виделось, что нахожусь в собственной квартире. Сквозь окно смотрю на герб республики, установленный наверху фасада здания бывшего исполкома. Вид двуглавого орла вызывает страх, какое-то подспудное чувство неосознанной боязни. Вижу, как это страшилище начинает ворочать головами, расправляет крылья, стремительно сорвавшись со стены, набрасывается на меня и кровавыми лапами разрывает живот. Я пытаюсь отогнать хищника, но не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Становится невыносимо больно. Я кричу, зову на помощь. Очнувшись, выталкиваю из себя: «Не могу, нет мочи терпеть. Надо мной склоняется человек. Лицо закрыто белой повязкой, видны только глаза. Слышу его торопливый, приглушенный голос: «Дыши! Глубже дыши!» Сознание обретает явь. Понимаю, где нахожусь. Наступает спокойствие. Я послушно исполняю его требование, стараюсь как можно больше вдохнуть воздуха, и тут же приятно расплываются контуры окружающих людей и предметов, исчезает хищная птица. Напоследок мелькает: ведь сбросили тебя, уродину, в начале века всем миром, так нет, опять прилетел из преисподней терзать, ненасытный упырь. Такое повторялось

не единожды. Но с каждым разом безобразная птица становилась все пугливее, а человек желаннее, и при малейших проблесках сознания неотрывно твердил при себя: «Спасибо вам, люди в белых халатах».

За время болезни я увидел тяжелый, самоотверженный труд людей, возвращающих одним здоровье, а многим жизнь. Каких видов операций, различных процедур ни приходится им выполнять в любое время суток, будь то глубокая ночь или раннее утро. А сколько выпадает на долю среднего или младшего медперсонала такой работы, на которую не всякий сможет смотреть без брезгливости? Сколько несправедливых упреков приходится им выслушивать от больных, особенно если попадет такой из сословия капризных и привередливых, и все это за 300–400 тысяч рублей, которых мало на что хватает. Глядя на их молчаливые старания, про себя молил: «Господь небесный! Дай хоть чуточку сил, чтобы все делать самому без их помощи. – И горько усмехался: – А как это мне удастся проделать, когда на обоих боках натыканы внутрь живота множество резиновых трубочек, в плечо подключена капельница, и чтобы не выдернул их во время сна или сильной боли, руки привязаны к боковинам кровати». И ведь такое положение у очень многих.

На земле горя и радости Небесным Повелителем предопределено поровну для всех. Только люди совсем по-другому рассудили: радость и счастье одним, горе и неприятности остальным. И чем тяжелее отверженным, тем веселее поют «избранные». Странно! Но это так! Когда с телевизионных экранов смотрят тысячи измученных глаз врачей, медсестер, санитарок с молящим укором: «Отдайте наши заработанные деньги», щемящая горечь, не спрашиваясь, рисует мрачную картину: «О чем думает в операционной хирург, оставивший дома голодных детей, задавших ему перед уходом на работу раздирающий душу вопрос: «Папа, может, тебе сегодня дадут денег?». Господь милосердный! Не верую и все же возношу тебе хвалу, что уберег хоть в малой степени нашу дудинскую медицину (надолго ли?) от вселенской беды, обрушившейся на «лечащую братию» нашей страны. Эгоистично это. Постоянно думаю: «Окажись в подобном состоянии хирург Сергей Германович, приступая к моему исцелению, отвлекись хоть немного в мыслях о тяготах оставленной семьи, и как знать, может, не довелось бы мне писать эти строки. От таких тяжелейших недугов избавляют нас эти порой совсем незаметные люди. Когда уже нет нисколько физической мощи, а духовные силы уходят и, кажется, нет заслона удержать их, а в голове все чаще проскальзывает мысль: зачем противиться, пусть будет как судьбе угодно, по первому зову или слабому стону больных появляются они. Они такие нужные и искусные исцелители. Разве найдутся в энциклопедиях слова, чтобы отблагодарить медсестру Таню Хоменко, робкую застенчивую женщину, которая сама страдая неизлечимой болезнью, совсем незадолго до своей кончины оказывала бесценную помощь больным и в меру своих возможностей успокаивала их.

А Николай Кузьмич Антипов? Этот уже довольно пожилой человек одним своим появлением вливал эликсир бодрости и в самые кризисные моменты давал необходимые советы.

А Свидрицкая Ольга Николаевна? Не столько лекарствами, сколько щедростью своей души, чутким и внимательным отношением настраивала на выздоровление.

Ну как не сказать им спасибо! Да разве такое внимание трогает только меня? Очень многие больные благодарны медицинским работникам дудинской больницы. Мне не раз приходилось бывать в больничных лазаретах, но этот последний был самым тяжелым.

Когда закончилась операция, Сергей Германович на стандартный вопрос ответил супруге: «Ничего не могу обещать кроме одного: примем все возможные меры. Уж очень запущена болезнь. Почти три недели длилось мое «заточение» в реанимационном отделении. Когда привезли на старой коляске в ту же самую палату, и я увидел повеселевшие глаза выздоравливающих, невольно подумалось: «Я вновь живой среди живых!» Неторопливое хождение больных из палаты в палату, негромкий разговор их засидевшихся родственников, порой смех, шутливые перебранки постоянно снующих санитарок — все это резко отличалось от той пугающей тишины, где время кажется чугунным. Сделалось удивительно легко и спокойно. Впервые за много недель я заснул безмятежно. Порой мысленно упрекаю себя: почему так неразумно поступал столько времени? Ведь все могло обернуться совсем по-другому? Успокоительно смиряюсь: а разве мало было подобных поступков в прожитой жизни кроме этого? Да разве я такой один? Что поделать? Умным нельзя стать, умным, так же как счастливым, можно только родиться. Чем дальше уходят годы в неведомую тьму, тем чаще возвращает память в мельчайших подробностях события, явления, действия, порой непродуманные или совершенные под влиянием страха, неосмотрительности, просчета, становится тяжко, и горькое раздумье гложет душу: зачем так делал? Хочется все изменить, поправить. Но, увы! Время ушло! Казалось бы, зачем ворошить прошлое? Для чего вспоминать пережитые тяготы? Ведь все ушло в забвение. Ан нет! Память протестует. Не спрашиваясь, вытаскивает самые далекие поступки свои, чужие, каждый раз все безжалостнее освещая их суть. Отчего становится иногда неприятно за других и облегченно вздыхаешь, что не сделал этого сам. Как часто в действиях людей мы неожиданно для себя раскрываем великую силу добра, и от сознания исполненного ими человеческого долга волны теплоты переполняют душу, и так хочется выразить нахлынувшее чувство благодарности. И становится очень неприятно, когда понимаешь, что не сделал тогда, а теперь уже поздно.

Доводилось слышать, что в нашем неразгаданном мире все повторяется бесчисленное множество раз. Ну что ж! Если вдруг, когда-нибудь, через многие тысячелетия, мы снова вернемся на эту землю и вновь соберемся вместе, тогда нужно постараться недопустить повторения ошибок, греха, сделанных нами в давным-давно прожитой жизни. Слабое, но все же утешение! А как же теперь? Какой выход?

Я твердо уверовал, что медицинские работники (врачи, сестры, санитарки) так же, как и учителя, не столько профессия, сколько категория людей высокой нравственности. Если служители медицины и просвещения, доведенные до крайности, утратят сердце и душу — общество погибнет в

«пещерах каменного века». Мало кому доведется выбраться из страшного катаклизма, ввергнувшего в него все народы совсем небольшой группой людей, обезумевших от алчности и стяжательства. И в этом мировом беспределе лавры первенства принадлежат американскому воинствующему империализму. Почему же так стало? Не знаю, но думаю: люди сами виноваты.

За долгие века они навыдумывали слишком много богов, которым стало тесно на небе. Вот они и вымещают свой гнев на людях за их вольнодумство. Из таких невеселых размышлений вывел меня промчавшийся вихрем автомобиль. Снежная пыль, поднявшаяся из-под колес, легко кружась, медленно оседала на дорогу. В ее серебристой дымке редкие снежинки в солнечных просветах искрились, мерцали и тут же гасли, недолетев до земли. Солнце подошло к самому горизонту. Его лучи невесомо скользили по снежным равнинам. Налетевшее облако рассеялось, край неба еще больше окрасился в золотистый цвет. Тихо. Безлюдно. И удивительно красиво. А воздух пьянил и дурманил голову. Дышать хотелось все больше, никак не мог упиться этой целебной прохладой. Как хорошо не чувствовать самого себя. Никакие горы золота, алмазов не стоят одного глотка чистого воздуха. Прав мудрец, изрекший: «Здоровый нищий счастливее больного короля». Вот так то!

В мире все взаимосвязано и закономерно. В унисон природе пришло хорошее настроение. Я зашагал быстрее. Под ногами морозно поскрипывал снег. Хорошо вспоминать пережитые тяготы, когда они имеют благоуханное завершение. Благодарю тебя, доктор! Спасибо вам, все дудинские эскулапы, за божественный, бесценный дар. Земной поклон вам!

28 января 1998 года

Случайные встречи

В середине июля 1946 года из раскомандировочного лагпункта (тогда называли его «транзиткой») группу заключенных, где был и я, перевели в 4-е лаготделение. Это был самый большой и благоустроенный лагерь в Дудинке. Лагерные бараки и прочие хозяйственные здания, построенные заключенными в 1940-45 гг., были много добротнее неказистых халуп, рассеянных по берегам рек Енисея и Дудинки, в которых проживали местные жители (об этом я писал в книге «Святые берега»). К вечеру нарядчики разделили нас по бригадам. Ранним утром следующего дня всех направили работать на лесное хозяйство. В то время это был самый большой объект в порту по занимаемой территории, грузообороту и разнообразию работ. В него входили сплавной рейд, лесобиржа с тремя бревнотасками, несколько лесопилен в холодных сараях и цех углежжения, где из дровяника и прочих отходов в больших кучах выжигали древесный уголь. После непродолжительных разъяснений «распределитель рабочей силы» (была тогда такая должность) всех отправил на раскатку бревен, а меня с тремя бригадника-

ми послал на «углежжение». Но долго мне там работать не довелось. Месяца через два, осенним хмурым утром, позвали меня к заместителю начальника по производству Арчилу Гедеванишвили. Когда пришел к нему, тот, немного помолчав, сказал: «Хватит тебе, сынок, дым нюхать. Пойдешь работать в диспетчерскую, помогать диспетчерам. Сейчас у них работы прибавится, видишь, погода совсем плохая. Пока будешь как связной. Куда пошлют, туда и сбегаешь. Молодой. Тебе это на пользу. И заодно привыкай к диспетчерским мудростям». Поднялся со стула (тяжелый был грузин) и велел идти за ним.

В небольшой комнатушке, куда мы пришли, спиной к нам сидел человек и громко разговаривал по телефону. Комната была полна табачного дыма. Арчил подошел к говорившему, постучал того по голове и сказал: «Когда, черт тебя подери, ты накуришься?» (Сам он никогда не курил и дым табачный не мог терпеть.) Диспетчер быстро потушил цигарку и в оправдание проговорил: «Только сейчас закурил, первый раз со вчерашнего вечера!». Арчил, не вступая в полемику, что зря время тратить попусту (понимал, что тот и дальше будет врать), размахивая дым руками, проговорил: «Вот тебе, Василий, помощник. Грамотный и на ноги быстрый. Учи его делу». Меня же напутствовал: «Слушайся Василия. Исполняй все, что скажет. Только не кочегарь, как он, и самое главное, не зашибай спиртное». Не попрощавшись, ушел. Василий, когда за Арчилом захлопнулась дверь, сердито пробурчал: «Ишь, наставляет. Сам другой раз так «натрескается», что шестеро здоровых мужиков насилу до дома дотащат». И тут же ко мне: «Что уставился? Садись! Как звать?». И, не дожидаясь, отрапортовал: «Василий я, фамилия Карюкин». Чуть огорошенный таким вступлением, я назвал себя. Хотел еще что-то сказать, но подумал: зачем перед ним буду извиняться, он такой же зек, как и я. Сказал ему: «Давай задание».

С того дня началась для меня новая работа. Случалось, что часть грамотных работников, в том числе и меня, переводили учетчиками на другие участки. Но такое случалось не часто. И ненадолго. Основным моим местом работы оставалось лесное хозяйство. Диспетчера ходили по сменам, я же каждый день с 8-00 утра до 8-00 вечера. Бегать, куда бы ни посылали, я любил. Когда же они уходили по своим делам и оставляли меня вместо себя, было для меня сущим наказанием. Если же приходилось работать за коммутатором целую смену (случалось подменять дежурного диспетчера), казалось, что конца рабочему дню не будет. Вся смена проходила в ругани, скандалах и непрекращающихся телефонных разговорах со многими работниками порта, лесниками, нередко совсем незнакомыми людьми. Доводилось так наговориться, что не узнавал не только тех, кто находился далеко на другом конце провода, но не замечал, кто заходил в диспетчерскую. За долгие 12 изнурительных часов неудач и досадных неожиданностей случалось много. Но самым неприятным был конец смены, когда предстояло отчитываться перед начальством о проделанной работе, выполненных, а чаще невыполненных заданиях. За все неурядицы диспетчер всегда первым выслушивал нравоучения, а порой настоящие нахлобучки, хотя вины в том его не было. Особенно доставалось за срыв погрузки вагонов, а такое

было довольно частым явлением. Ругаться же с начальством все равно, что плевать против ветра. Надо было изловчаться и приспосабливаться. Вскоре я усвоил, что чем четче и увереннее говоришь, а если еще и голос повышаешь (тогда такое поощрялось, не зря же бригадирам выплачивались горловые), то непосредственные исполнители рангом ниже внимательнее прислушиваются и, как бы воодушевившись, охотнее выполняют распоряжения, тем более если пригрозишь, что данное указание исходит сверху. А начальство за подобное усердие относится много уважительнее. Наша диспетчерская находилась на втором этаже сплавной конторы, внизу располагались работники приема древесины из плотов. Помещение диспетчерской было очень небольшим, чуть шире коридора теперешней «хрущевки». Посредине стоял коммутатор и несколько телефонов на истертом, ветхом столе. Напротив было широкое окно, через которое виднелась речка Дудинка и разводимые по ней с плотового рейда секции леса в гавани бревнотасок. За спиной дверь. Она почти не закрывалась. В нее входили кому только хотелось. По надобности и просто так. Очень мешали в работе. Однажды я заперся на крючок. Но кроме неприятности ничего не получилось. Зачем-то понадобилось зайти Арчилу. В шуме разговоров я не расслышал его стук. Он рассердился, сорвал запор, и мне пришлось выслушать «горькие поучения». С тех пор дверь больше не запиралась.

Как-то раз, чуть позже обеда, дверь открылась и вошел человек. Я даже не обернулся. Разговаривал сразу по телефонам с мастером и бригадиром. Был очень раздосадован за плохую погрузку леса на вагоны и кричал на них что было мочи. Те орали еще сильнее, и скандал разгорелся не на шутку. Я не обращал никакого внимания на вошедшего, пока тот не дотронулся до моего плеча. Я, разгоряченный до самого предела, чуть обернувшись, хотел послать его к чертовой матери, но, увидев мерлушковую шапку со звездой, успел проговорить в запале несколько слов: «Что тебе надо?». Сознание быстро умерило раздражение: видимо, подумал я, кто-то из большого начальства. Быстро встал. Что поделать? Такова уж сила послушничества. Постояв в нерешительности несколько секунд, хотел сказать: «Здравствуйте, гражданин начальник!» Но вошедший опередил меня. «Ну зачем же так недружелюбно, — сказал он и, протянув руку для приветствия, добавил: — Добрый день! Я Панюков!». На меня навалился столбняк. Мне приходилось два раза видеть Панюкова А.А., когда он поздно вечером проходил по лагерной зоне с большой свитой руководящих работников комбината и порта, но близко в лицо — никогда. От более осведомленных заключенных уже знал, что Александр Алексеевич Панюков является руководителем Норильского комбината, тогда должности директора еще не было, ему подчинены лагеря заключенных Норильска и Дудинки, а вот видеть так рядом, причем совершенно одного, не доводилось никогда – ни раньше, ни потом. Вначале подумалось: может, врет? Но тут же погасил эту дерзкую мысль: а зачем ему нужно мне морочить голову? В растерянности поспешно пробормотал: «Здравствуйте, здравствуйте!». Панюков убрал руку и, чуть улыбнувшись, сказал: «Что-то ты со мной очень тихо говоришь, совсем не так, как я слышал твой бас, когда зашел». Я не знал, что ему отвечать, мысли скакали с

электрической скоростью и, продолжая стоять с протянутой рукой, через силу выдавил: «Работа такая». Панюков, глядя на меня, сказал: «Работать ты, как мне показалось, стараешься, только кричишь очень громко. Разговаривай потише, тогда совсем будет хорошо». Чуть осмелев, ответил ему: «К вечеру совсем тихо буду говорить». Сейчас я плохо помню, о чем расспрашивал меня Панюков, в памяти осталось очень немногое. «Сколько вас здесь работает, и есть ли женщины?» – спросил он. Я ответил, что нас четверо: все заключенные с разными сроками. А женщин нет и, сколько знаю, никогда здесь не было». – «Значит, не знаешь. Работали в вашей диспетчерской когда-то и женщины», — словно бы для себя промолвил Панюков. Когда я сказал ему, что сижу как «политический», он поглядел на меня както по-доброму и проговорил: «Как это тебя угораздило?». Добавил, немного помолчав: «В жизни всякое бывает». Потом спросил: «И давно ты уже здесь работаешь?» – «Совсем недавно, к работе не привык, и наверное, никогда не научусь», — выпалил я в отчаянии. И словно угадал: через неделю меня перевели опять на углежжение, как не справившегося с «диспетчерскими мудростями». – «Ну что ты! Все у тебя будет хорошо», — сказал Панюков, потом сделал несколько шагов по диспетчерской, окинул взглядом стены, совсем близко подошел к столу, поглядел в окно, отошел, зачем-то поднял руку вверх, немного не дотянувшись до потолка. Потом проговорил, обращаясь как бы к самому себе: «Ничего не изменилось! Диспетчерская такая же обшарпанная. Ручку так и не прибили к дверке стола». Я не знаю, какие воспоминания всплыли в его памяти, но думаю, что много раньше он заходил в это помещение, будучи начальником порта. Ведь сплавная контора (об этом я знал) была построена из домика, приплавленного на самом первом плотокараване еще в 1939 году. Я стоял в полной растерянности, не зная, как отвечать на его рассуждения. Он немного постоял и, видимо поняв, что я ему очень плохой собеседник, подал руку и произнес: «Ну что ж! Не буду больше отвлекать! До свидания!». Когда он выходил, я про себя подумал: «Обыкновенный, простой и доступный человек. И чего я так робею перед людьми с большими «погонами».

Через минуту, чуть приоткрыв дверь, я видел, как довольно большая группа работников комбината вместе с руководителями порта и лесного хозяйства направилась к проходной вахте. На них с любопытством смотрели заключенные, некоторые подходили совсем близко. Вскоре все скрылись за штабелями бревен. На следующий день я рассказал Арчилу о разговоре с Панюковым и поинтересовался: «Почему же никто с ним не зашел в диспетчерскую?» Арчил меня внимательно слушал, даже в отдельных моментах переспрашивал, а на мой вопрос ответил просто: «Не знаю! Сказал всем, чтобы ждали его внизу, один хочет зайти». И тут же добавил: «Что же ты ничего не сказал, когда он говорил тебе про диспетчерскую и неприбитую ручку». Можно было уклониться от ответа: Арчила боялись многие и я тоже. Но в этот раз не утерпел: «Белить стены и прибивать ручки мне никто не поручал. А ничего не ответил, потому что от неожиданного появления Панюкова чуть не помер». Арчил расхохотался и отошел, придерживая брюхо. Оно у него всегда тряслось, когда он смеялся. Было ли у Панюкова

что-то затаенное из прошедшего времени, или просто ему захотелось хоть на несколько минут побыть одному — теперь уже никто не узнает. Панюкова нет, а ветхий домик сплавной конторы сломали давно. Сейчас я часто задумываюсь: почему Панюков А.А. ходил свободно и без всякой охраны по лесобирже, где работали тысячи заключенных, среди которых находились сотни отъявленных головорезов. Впрочем, и по лагерной зоне, сколько мне доводилось видеть, его также никто не сопровождал из охранников. Ответ прост. В стране был железный порядок и нарушать его мало кто решался. Об этом знали все. От последнего заключенного до самых больших начальников. Сам по себе случай мало что значащий, в стране были люди важнее Панюкова. Но когда демократическая пресса в великом усердии стремится показать руководителей малого или большого ранга советского времени в черном цвете, я одному удивляюсь: почему же мне-то не попадалось ни одного подлеца — будь то хозяйственник или партийный работник. А ведь за долгую жизнь при советской власти только в тюрьмах, лагерях и ссылке провел почти 14 лет. Видимо — это только мое личное мнение — система удерживала от вседозволенности.

В 1964 году (я уже два года работал начальником лесобиржи) навигация на Енисее в Дудинском порту закончилась в середине октября. Лесники хорошо справились в этот год с выкаткой бревен, ничего не «заморозили», и потому у меня на душе было спокойно. В третьей декаде октября, в воскресенье, я несколько позже обычного, примерно в 10 часов утра, пришел к себе в кабинет. В те годы всегда приходил в выходные дни, чтобы наметить на предстоящую неделю первостепенные задачи. Около полудня зазвонил телефон начальника порта. Я поднял трубку и услышал голос Тишечкина Николая Ивановича. Он был заместителем начальника порта, и так как Ли Владимир Николаевич после навигации находился в отпуске, сейчас он исполнял его обязанности. Николай Иванович встревоженным голосом сказал: «Быстро собирайся и приходи в управление. Приехал Долгих Владимир Иванович и хочет познакомиться с лесозаводом». Это меня обескуражило, и я отпарировал: «Николай Иванович! Я никакого отношения к лесозаводу не имею, там начальником Кицул. Зачем меня-то?» – «Я не нашел Кицула, — сказал Тишечкин и еще строже приказал: — Приходи не мешкая». Можно было упереться – лесопиление в то время было самостоятельным подразделением. Но я делать этого не стал и быстро прибежал в приемную управления. Там уже находились некоторые руководители подразделений в ожидании высокого начальства. Через небольшое время из кабинета начальника порта вышли несколько человек. Впереди был Долгих. Он поочередно подходил и с каждым здоровался за руку. Когда он подошел ко мне, в голове была одна мысль: «Только бы не спросил про лесозавод. Что я ему отвечу?» Но все обошлось благополучно. После коротких приветствий все направились за Долгих к автобусу, что ожидал у крыльца. Вместе с Долгих приехали начальник Норильскснаба Всесвятский Владимир Николаевич и заместитель по торговле Трушкин Юрий Александрович. Других я не помню.

Автобус был небольшим и холодным. Мороз крепчал, и вскоре все это почувствовали. Стараясь быть подальше от Владимира Ивановича, я залез

в автобус последним, в надежде забиться куда-нибудь в угол. Но, к сожалению, все случилось наоборот. Единственное свободное место оказалось напротив Долгих. Усаживаясь, я думал: «Как раз самая удобная ситуация, чтобы расспросить меня про лесопиление (иначе зачем ехать-то на лесозавод), о котором я ничего не знал». Автобус тронулся. Проклиная в душе Тишечкина и вместе с ним все на свете, я опустил глаза и стал смотреть в пол. Мой взгляд уперся в ноги директора. Они были обуты в простые ботинки. Тогда их называли «прощай, молодость» — весь верх из черного сукна, а низ обрезиненный. Может, Долгих промерз (как-никак, а мороз был много за 20 градусов), а возможно его насторожили мои глаза, что я не отводил от его ботинок, только через некоторое время он вдруг громко сказал: «Вот с нами в автобусе едет мой заместитель по торговле Трушкин». Все насторожились и повернули головы в сторону начальника торговли. Долгих продолжил, теперь уже обращаясь непосредственно к Трушкину: «Юрий Александрович! Неужели в твоем большом хозяйстве не найдется потеплее ботинок для директора комбината, чтобы он мог думать о работе, а не про замерзшие ноги». Юрий Александрович быстро произнес целую речь в свое оправдание и тут же заверил, что все будет исправлено по первому разряду. Наверное, он сделал это здесь же в Дудинке. Торговля Норильска и Дудинки подчинялась комбинату. Я же в душе был благодарен Трушкину, что тот не сделал этого раньше, иначе Владимир Иванович непременно задал бы мне не один вопрос, на который пришлось бы отвечать «не знаю». А такие ответы тогда очень не поощрялись.

Когда подъехали к ближнему лесоцеху, Долгих вопросительно посмотрел на Тишечкина и спросил: «Это, что ли, лесозавод?». Николай Иванович подтвердил и добавил, что за ним еще есть один. Когда закончили обход обоих лесоцехов, Долгих сказал: «И это вы называете лесозаводами? Да их с добротными сараями нельзя сравнить». После его посещения ударными темпами началась реконструкция всего лесного хозяйства и строительство нового лесоцеха.

Мне много раз позже доводилось встречаться с Долгих на собраниях, конференциях и прочих общественных мероприятиях. Но еще одна наиболее запоминающаяся встреча произошла в г. Красноярске, когда он уже работал секретарем крайкома КПСС. В середине сентября месяца 197... года меня откомандировали в Красноярск, затем в поселок Стрелка на Ангаре для получения двух дополнительных плотов с круглым лесом. Задача для меня непосильная. И решить ее самостоятельно не мог. Но руководство комбината через Долгих быстро нашло общий язык с лесосплавной организацией, и мне оставалось выполнить только некоторые формальности да проследить, в какие сроки плоты выдадут пароходству для транспортировки вниз по Енисею. На это ушло несколько суток, и как только плоты вывели из Ангары, я выехал из Стрелки в Красноярск, чтобы оттуда улететь в Дудинку. Но билетов на ближайшие три дня не было. Пришлось поселиться в гостинице «Север». Дел никаких не было, и, чтобы скоротать время, целыми днями и вечерами разгуливал по Красноярску. Гостиница «Север» расположена в центре. Вечерами я ходил по улице Мира, мимо

здания крайкома или же посещал парк. В один из таких вечеров я увидел возле здания крайкома КПСС довольно большую группу людей. Погода была плохой, и у меня сразу мелькнула мысль: вероятно, что-то необычное случилось. Подойдя к стоящим чуть в стороне пожилым людям, спросил: «Зачем народ собрался?». Мне ответили, что сейчас должен подъехать Леонид Ильич Брежнев. Он прилетел в Красноярск, чтобы изучить обстановку в сельских районах и принять необходимые меры по спасению урожая. Сейчас находится на секретном заводе и вот-вот должен появиться. Погода в ту осень с первых дней сентября во многих регионах была дождливая с ранними заморозками. В некоторых местах выпал снег. Зерновые полегли на землю. Нужны были решительные действия — это понимал Брежнев, потому и прилетел сам. Ждать пришлось долго. Уже начало темнеть, повсюду зажглись огни. Все продрогли, но не уходили. Но вот в конце улицы показался эскорт автомашин. Точно не помню, но кажется были одни «Волги». Остановились напротив здания крайкома. Вышла небольшая группа людей. Впереди Брежнев, рядом с ним Долгих. Оба подняли вверх руки, как бы приветствуя собравшихся.

Я был в первом ряду и хорошо видел проходивших. Все стоящие со мной рядом криками приветствовали руководство страны и крайкома. Я не удержался и, когда они проходили мимо, изо всей силы крикнул: «Владимир Иванович!». Он обернулся, посмотрел на меня. Я еще сильнее закричал: «Здравствуйте!». Он улыбнулся и тут же заспешил за Брежневым. Узнал ли он меня? Конечно, нет. У него столько было встреч с тысячами тысяч людей. Но все равно мне всегда очень приятно вспоминать этот вечер. Уже у самого входа в здание Брежнев поднял голову и посмотрел на небо. Оно было темным. Сплошные тучи застилали весь небосвод. В последней передаче по радио сообщили, что Леонид Ильич и Владимир Иванович улетели в самый неблагополучный район по уборке урожая. Дождь стучал по стеклам, ветер гнул ветки деревьев, зарядами бил снег. В эту ночь я не позавидовал им. Ну что тут особенного? Разве до Брежнева и после него не разъезжают высокие руководители по районам бедствий или просто по какой-либо необходимости? Меня поражает другое: я никогда не видел у директоров комбината, высоких партийных работников в советское время никакой охраны. Никакой! Даже у Брежнева в тот раз в его свите были только пожилые люди. Какие из них охранники? Может, они остались в какой-то машине? Вот этого не знаю. Знаю только, что сейчас нет ни одного маломальского предпринимателя, капиталиста, не говоря об олигархах, чтобы каждое их движение не охраняла целая группа «битюгов». Видимо, по-иному нельзя. Частная собственность — это «предмет» постоянной грызни и войн между ее владельцами. Оттого и катятся волны бандитизма по всей нашей матушке России. А об остальных странах мира и говорить нечего: там подобные явления идут испокон веков, и чем больше проходит время, тем ярче они разгораются, все больше и больше перекидываясь на нашу землю. И только одному Богу ведомо, какие еще катаклизмы преподнесет нам заграничный империалистический «рай».

В теплый августовский вечер я не спеша шел домой. Торопиться мне

было некуда. Супруга находилась в отъезде, а сидеть одному дома в такую хорошую погоду не хотелось. На улице было тихо. На кустарниках, за обочиной дороги, порхали одинокие птички, да раздавался чуть слышный комариный писк. На небе ни облачка, легкий ветерок чуть освежал лицо. Я люблю эту пору. Здесь на севере она прекрасна. Лето еще не ушло, а осень подает слабые признаки своего приближения, появляются проблески желтизны на низкорослых лиственницах и понемногу начинают увядать опахнутые ночными заморозками отдельные листочки на некоторых кустиках тальника, да все чаще и чаще быстрокрылые утки стайками перелетают с одних мест на другие.

Дорога была пустынна. Редко, редко проедет груженая машина или прошуршит легковой автомобиль. В первые годы реформ автотранспорта было немного. Все грузы из Дудинки и Норильска перевозились по железной дороге. Подойдя к развилке дорог, из которых одна поворачивала на торговые базы, откуда чаще всего выезжали контейнеровозы, я обернулся. Увидел, как на довольно большой скорости меня догонял небольшой автобус. Захотелось остановить его и доехать до площади портовиков. Я знал многих шоферов, они меня тоже. Когда автобус поравнялся, поднял руку. Автобус проскочил, но проехав дальше меня метров двадцать, вдруг остановился. Заскочив в переднюю дверку, наклонился в открытое окно водительской кабины поблагодарить шофера. Тот оказался мне незнаком (и я ему тоже), и разговора не получилось. Промелькнуло: «С чего бы это, не знает меня, а остановился». Повернувшись в сторону сидящих пассажиров, не сразу сообразил, в какую компанию попал, и растерялся. Людей в автобусе было много. Но каких? В первом кресле восседал начальник Норильскснаба Пронников В.В., рядом с ним исполняющий обязанности начальника Дудинского порта Кавалец В. И. (Хан Л.А. в то время находился в отпуске), на другом ряду глава администрации Таймыра Неделин Г.П. (вскоре его изберут губернатором), а напротив его депутат Совета Федерации первого созыва президент РАО «Норильский никель» Анатолий Васильевич Филатов — довольно заметный представитель верховной власти, и к этому времени быстро начинавший богатеть предприимчивый магнат. Дальше сидели совсем незнакомые мне люди. Только на заднем ряду увидел Персиянова В.В., начальника торговой конторы Дудинского порта.

На другой день узнал, что в этой среде были два министра республиканского уровня. Публика была представительной. Освоившись, поздоровался. Анатолий Васильевич, протянув руку (лесозавод в ту пору был на виду, и меня он знал), сказал: «Как хорошо, что встретились! (Я подумал: «Это он велел шоферу остановить автобус и посадить меня») Поработай еще с годик, а потом пойдешь на мебельную фабрику. Ваш лесозавод закроем. А на Кайеркан (место строительства к этому времени уже всем «набившей оскомину» мебельной фабрики) переведем работать часть рабочих и с ними тебя», — утвердительно произнес Филатов. Кем? Не сказал. А я не стал спрашивать, потому что совсем недавно, возвращаясь из Норильска, заезжал на эту стройку и видел, что она еще не скоро завершится. И потому, не подумав, ответил ему как мне предста-

вилось виденное.

Здесь придется сделать небольшое отступление. С первых дней образования Норильского комбината лесопиление производилось в двух пунктах: Дудинском порту и Норильске. Переработка пиленых материалов на деревоизделия велась отдельно от лесозаводов на ДОЗе. Такая схема снабжения строек и предприятий комбината была дорогой и громоздкой. Руководство комбината неоднократно поднимало вопрос о разработке наиболее дешевого варианта по транспортировке и обеспечению лесоматериалами предприятий комбината и всех взаимосвязанных с ним населенных пунктов Таймыра. Как показали расчеты (их производил Ленинградский институт Гипролестранс совместно со Свердловским отделением), самым дешевым и удобным будет дудинский лесозавод, реконструированный на новую технологию и расширенный лесоперевалочной базой. Казалось, что решение найдено. Но все получилось совсем не так. В конце восьмидесятых годов институт Норильскпроект выдал новый вариант деревоперерабатывающего предприятия с размещением его в районе Кайеркана, приблизительно в 30 км от Норильска. Главным промышленным звеном в этом комплексе предусматривалась мебельная фабрика с безотходной переработкой всей древесины, включая и кору. Все технологические линии размещались в грандиозном крытом здании размером 90 х 300 м. И с тех пор за этим объектом намертво закрепилось название – мебельная фабрика. Строительство этого гиганта началось бурными темпами. Вместе с нашими рабочими работало много иностранцев: югославов, турок и т.п. Денег «угрохали» много. Но завершение стройки все больше и больше отставало от намеченных сроков. Даты ее окончания переносились несколько раз.

Строители мебельной фабрики все чаще стали приезжать на дудинский лесозавод изучать технологию оттаивания и рассортировки бревен в бассейне, где вода в зимние месяцы подогревалась паром, оттого над поверхностью воды всегда стоял густой туман. В ноябре месяце приехали турки. Их было 6 человек во главе с ведущим специалистом. Он же был и переводчик. Когда разошлись по сортировочным подмосткам, потерялся один турок. Кричит где-то, а в тумане не видно. Сначала подумали, что свалился в воду. Через некоторое время нашли его в приводной станции. Забрел он туда, думая отогреться, а обратно выходить забоялся. По цепи бревнотаски двигались сплошным потоком бревна, плюхались в воду, летели брызги, привод громыхал. Очень обрадовался, когда мы подошли к нему. Мороз в тот вечер был небольшим, всего -16 градусов. Но турки так замерзли, что целый час в теплом помещении не могли произнести ни слова, только зубами клацали. Я спросил главного турка: «А как же вы строить будете, если мороз прижмет на -50 градусов?» Турок ответил: «Через полчаса замерзнем, потому до тепла уедем домой». Из этого разговора я убедился, что взлелеянные мечты «мебельщиков» все больше и больше затягивает беспросветная мгла «долгостроя».

Когда Анатолий Васильевич сказал, что через годик переведет меня работать на мебельную фабрику, я представил тысячи вбитых бетонных свай и единственное еще не достроенное здание АБК, как-то сразу резво

возразил: «Этой стройке, Анатолий Васильевич, не видно конца. Я туда заезжал на прошлой неделе и потому считаю, еще много-много лет пройдет, пока хоть что-то будет сделано». Филатов нахмурился, и по его выражению лица понял, что совершил ошибку. Лучше бы мне сказать: «Готов выполнить любое задание партии», как говорили раньше. Но Господь не наградил меня сообразительностью. Все притихли и подозрительно посмотрели на меня. Оказывается (об этом я узнал позже), Анатолий Васильевич, проезжая из Норильска вместе с московскими гостями, завернул на это грандиозное строительство и рассказал, какое огромное влияние окажет оно на развитие всего Таймыра после ввода в эксплуатацию. Будут трудоустроены все неработающие женщины Кайеркана, жители всех городов и поселков заимеют добротную мебель, полностью исключится загрязнение главных водных артерий Таймыра, а технологические линии лесопиления и деревопереработки автоматизированы. Он говорил правду. Все было предусмотрено в проекте строительства. Тем не менее тогда я оказался прав. Теперь уже всем ясно, что мебельную фабрику никогда не построят. Развивающиеся реформы «демократического толка» перевернули все вверх тормашками, а экономическая политика северных районов нацелена на свертывание вспомогательных производств и отселение людей из Норильска и Дудинки. Много лет стоит огромная площадка с забитыми в нее бетонными сваями, возведенный наполовину производственный каркас и здание АБК, откуда давно растащили импортную сантехнику, двери, оконные переплеты и т.п.

После этой «злополучной» встречи я неоднократно виделся с Анатолием Васильевичем. Но он никогда не напоминал мне об этом «неудачном» разговоре про мебельную фабрику. Правда, в последний год перед выборами в Государственную Думу, куда он баллотировался, в своих высказываниях на встречах с избирателями сожалел, что ему не удалось достроить эту фабрику. И все же! Нужна ли была вообще эта «мебельная фабрика»? Ответа однозначного я не имею. Если рассматривать данную проблему с позиций советской политики, когда «во главу угла» ставили задачи по развитию северных окраин (или как сейчас модно стали говорить «северов»), то нужна. При теперешнем же капиталистическом развитии общества ответ ясен: «Нет. Не нужна. Прибылей не будет». Только как быть с этим огромным «недостроем»? Затраченных на эту «затею» миллиардов наших рублей и в иностранной валюте хватило бы на переселение всех пенсионеров с «дикого» Таймыра в теплые края. Кто ответит? Однако не стоит сокрушаться и ломать голову. В нашей России за последние 15 лет народные деньги транжирятся без смысла и разворовываются в открытую без всякой ответственности и тем более совести. Оттого, наверное, и живем все хуже и беднее. Впрочем, не все: некоторые «особи» живут и барствуют.

Капитоныч

Октябрь на Таймыре месяц зимний. И хотя по календарю это середина осени, порой там приходят такие морозы с пургами, каких не бывает

в средних областях России в самые суровые зимы. Но северяне давно свыклись с природными «несправедливостями». Не пугает их надвигающаяся темнота полярной ночи, шквальные бури, срывающие кровли домов, пронизывающий насквозь ветер. Наиболее отчаянным жителям наступление этой поры доставляет удовлетворение: можно из-подо льда ловить рыбу, стрелять куропаток или на прочую живность поохотиться. Когда же морозная «лютость» становится совсем нестерпимой, не грех поваляться на диване в теплой комнате да почитать книгу. Хорошо! Одним плох октябрь. Этот месяц в Дудинском порту самый напряженный: идет завершение навигационной страды. Нет для портовиков более трудного времени. Правда, в последние годы, когда круглогодичная навигация стала обычным явлением, да и грузооборот снизился, осложнений серьезных не возникает. И проходят октябрьские дни совсем не так, как было в те далекие годы, когда порт только накапливал производственные силы. В суматохе промчавшегося времени многое перепуталось в памяти. Но отдельные эпизоды помнятся довольно ясно. Об одном из них хочется рассказать.

Октябрь. Вторая половина пятидесятых годов. Последние навигационные сутки. Как обычно я пришел на смену за час до начала работ. Поднимаясь вверх по лестнице в диспетчерскую порта, я увидел склонившегося в проеме лестничной клетки диспетчера дневной смены Юру Золотухина. У него было необыкновенно серьезное выражение лица. Я еще не успел ступить на последнюю ступеньку, как он мне сказал: «Скорее иди к Лазареву, тебя дожидается. Всех собирает. Уже несколько раз спрашивал тебя!». Несмотря на его торопливое предупреждение, я все же зашел наверх. Надо было раздеться. Пока шел из дома, промок: на улице валил густой, мокрый снег. Дождливая погода стояла несколько суток, но сегодняшний день выдался особенно плохим. Начальник порта Лазарев Михаил Иванович не вызывал к себе диспетчеров без необходимости. Но когда такое случалось, то надо было быть подготовленным ко всяким неожиданностям. Я спросил у Юры: «Зачем я-то ему понадобился?». Но тот замахал руками и с досадой проговорил: «Да иди же скорее! Они уже все давно там – из-за тебя и мне попало!». Юра явно был не в духе и больше разговаривать не стал. Видимо, ему за смену немало досталось. Когда зашел в кабинет, увидел Лазарева, протирающего очки, — верный признак возбужденного состояния (эту примету мы хорошо изучили). Вдоль стены на стульях рядом друг с другом сидели начальник смены Лавров Алексей Федорович и капитан рейда Хан Андрей Капитонович. Все молчали. Я скромненько присел рядом. Видно было, что Лазарев устал. Последние дни вконец измотали его. Мы знали, что в некоторые сутки он спал не больше 2-3 часов. Наконец он сказал, обращаясь ко мне: «Ты всегда приходишь самым последним». «Еще час до смены», — оправдался я. «Ну вот что. Сегодня мы должны были отправить последние баржи. Но из-за шторма на нижних причалах выгрузка невозможна. Остались неразгруженными две баржи, их нужно поднять выше на первые причалы, где меньше волны, и там разгрузить. Груза совсем немного. Возле одной стоит «Силач», у другой «Таежный» — прикрывают. Переставить днем не смогли, потому что на «Силаче» неисправно управление.

Как только отремонтируют, сразу же переставляйте. Это задание тебе, Хан. Ну, а ты, — глядя на меня, сказал Лазарев, — проследи , чтобы были вагоны, Лаврову обеспечить разгрузку. Там на обеих баржах не больше 50 тонн. К утру, а если раньше, то еще лучше, баржи должны быть разгружены. На рассвете «енурповцы» поведут последний караван. Ясно вам? Можете идти, время дорого», — тихо и, как мне показалось, миролюбиво закончил свое напутствие Михаил Иванович. Первым завозражал Капитоныч: «Михаил Иванович, если сейчас на баржах нельзя работать из-за качки, то как их переставишь? Ветер навальный». Но с Лазаревым разговаривать было не просто. «Я зачем вас сюда позвал, полюбоваться на ваши лица? — в голосе Лазарева зазвенел металл. — Повторять не буду. Баржи нельзя отправить в таком виде, на них консервированные фрукты в стеклянной посуде. Все перемерзнет в пути, даже если бы нам разрешили отправить их неразгруженными. Идите и работайте. Ну, а ты, — обращаясь ко мне, — будешь через каждый час докладывать мне обстановку. Только без вранья!» – «Михаил Иванович! Ну вы же знаете, что мы всегда вам только правду говорим, — ответил я ему и добавил: — Докладывать буду с мельчайшими подробностями». О! Как я потом корил себя за непредусмотрительность. Когда выходили, Лазарев сказал вдогонку: «А ты, Лавров, смотри не забреди, как тогда на «Советской Сибири».

Об этом случае мы знали все. В 1949 году рефрижератор «Советская Сибирь», груженный мясом, замерз во льдах, не дойдя до Дудинки несколько десятков километров. На его выручку были направлены шесть бригад заключенных по 25 человек в каждой и несколько взрывников. Работали в три смены круглосуточно. Впереди взрывали лед, а сзади буксиртолкач продвигал рефрижератор. Взрывчатку подвозили на лошадях. Одной из смен руководил Лавров Алексей Федорович. Когда до причалов Дудинского порта оставалось совсем немного, заключенных уводили на ночлег в лагерь. Вместе с ними уходили и начальники смен. Но однажды Лавров А.Ф. задержался на рефрижераторе: с капитаном «отмечали» удачную работу. Подвозивший на «Советскую Сибирь» взрывчатку возчик спросил у конвоиров, что шли с заключенными: «А где же Лавров?». Те ничего не ответили. А кто-то из заключенных крикнул: «Булькнул под лед твой Лешка». Возчик чертыхнулся и поехал. Никто в это не поверил. Так бы и закончился этот пустой разговор, если бы не имел продолжения. Возвратившийся возчик на конюшне с таким же «забулдыгой» хорошо «зашвырнули». И когда «шофер коня» пришел домой, супруга сделала ему хорошую головомойку. Тот, не придумав ничего в свое оправдание, буркнул: «Совести у тебя нет, Леша Лавров утонул. Вот мы его и поминали». Бабенка отступилась от своего «непутевого» супруга, но тут же убежала и поделилась новостью с соседкой. И разнесся на следующий день слух по всей Дудинке, словно пожар в сухом лесу: «Утоп Алеша Лавров, даже шапку не поймали». Много было и других подробностей.

Когда же подвели «Советскую Сибирь» к причалу, все возвратились на свои места. Через день после дежурства, выходя из дома столкнулся с Лавровым нос к носу (жили недалеко друг от друга). «Алексей Федорович. Да

как же так! Все только и говорят, что ты утонул!» — воскликнул я. Лавров широко заулыбался, но почему пошел такой слух, объяснять не стал. Я узнал от других. Мы еще о чем-то поговорили. Под конец я сказал: «Ну Федорович! Знать долго будешь жить!». (В этот раз сбылись мои предсказания: Лавров прожил без малого 90 лет). В коридоре, глядя в его широкую спину, хотел подковырнуть Лаврова, но было не до шуток. «Звоните мне чаще», — сказал обоим в коридоре. На том и разошлись. Передавая смену, Юрий Алексеевич первым делом сказал, что никакой связи нет. Кабель где-то пробило, а может, вообще все водой залило. Работают на коммутаторе только лазаревские прямые телефоны из кабинета и квартиры. Меня это настолько огорчило, что я лишился дара речи. Опомнившись, сказал ему: «Что же ты мне раньше ничего не сказал, а вытолкал чуть не взашей к Лазареву, ведь теперь я пропал, он меня одними вопросами загоняет. «Не бойся, — успокоил Золотухин, — он всех нас так гонял сегодня весь день, что на большее у него не хватит сил». – «Ишь чем утешил», — ответил ему.

Раздосадованный, вышел на балкон. Снег, дождь, ветер. Все перемешалось в кромешной темноте. Ничего не видно, никакого огонька. Не раздумывая, тут же оделся и побежал на причалы. Снегом занесло пути, на дорогах в узких местах нанесло сугробы. Дошел до балка рабочих. Вместе с ними был мастер. «Где Капитоныч, или Лавров?» — спросил у него. «Сказали, что баржи переставлять пошли», — ответил тот. Побежал к баржам, к самому устью Дудинки, думая захватить их там. Баржи стояли. Волны раскачивали их. За ними со стороны реки виднелись сигнальные огни кораблей. Подойти близко к баржам не было возможным: причал залило. На Енисее раздавались глухие стоны. Стал кричать, что было сил. Все напрасно. В реве ветра плохо слышался свой собственный голос. Разве докричишься до них, да может, их тут и нет, как они смогли забраться на качающиеся баржи? Как перешли через воду? — подумал я и тут же поспешил в диспетчерскую. Поднявшись, увидел, что лампочка лазаревского телефона мигает часто-часто. «Ну что ты мне скажешь?» — спросил сразу Лазарев. «Пока ничего, Михаил Иванович, — ответил я. — Ни один телефон, кроме ваших, не работает. Принимаю все меры, бегал на причалы, там баржи штормом раскачивает. Хан с Лавровым залезли, видимо, туда. Не мог до них сквозь бурю докричаться». К удивлению, Лазарев спокойно повесил трубку. Вдруг, словно спохватившись, снова включился: «А связистов ты вызывал?» «Нет», — ответил ему. «Что-нибудь ты можешь самостоятельно решать, а еще говоришь, меры принимаю», — уже громко спросил Лазарев. «Как же вызову их, если ни один телефон не работает», — крикнул ему, но Лазарев уже отключился.

Через полчаса Иван Викторович Ромашевский с двумя связистами зашел в диспетчерскую. «Знает, что целый день занимались устранением аварии, чуть с крыши ветер не сдул Бальцерака (связиста). Разве можно что-то сделать в такую погоду? Так снова вызвал!» — недовольно сказал Ромашевский. Их приход меня в какой-то мере обрадовал. Сразу же договорился, что они тут побудут, а я опять пробегу по причалам. «Беги, беги — все равно отвечать некому, связь не скоро наладится». Никакой работы в порту в

эту ночь не было, кроме лесников, там никогда не прекращалась загрузка вагонов бревнами. Элеваторы работали при любых морозах и ветрах. Железнодорожники (наша диспетчерская была рядом с маневровым диспетчером) расставляли уже вторую партию вагонов на лесобирже. Об этом я знал и потому со спокойным сердцем (хоть об этом утром доложу) побежал снова на причалы. Но все было напрасно. Нигде никаких сдвигов, только ветер усилился и чуть было порывом не сбил меня с ног. Возвратился. Время шло. Ни Лавров, ни Хан не подавали голосов. Я опять стал собираться идти к баржам (хоть что-то надо делать), как вдруг загорелась лампочка лазаревского телефона: «Какие-нибудь сдвиги есть?» – «Работаем, Михаил Иванович», — ответил я. «Я и без тебя знаю, что работаете, ты мне скажи, что сделано?» — Лазарев говорил очень тихо, видимо, на большее не хватало сил. Я ему начал говорить про погрузку леса. «Не надо про это. Мне нужно знать, что на баржах?» — с недовольством перебил меня Михаил Иванович. «Ничего утешительного не могу сказать», — ответил я, приготовившись выслушать любой неприятный выговор. Лазарев замолчал. «Что «енурповцы» говорят?» — зачем-то неожиданно спросил он. «Баржу у них на рейде сорвало, им сейчас не до разговоров», — ответил ему. Меня тоже начинала разбирать злость. «Придется мне, наверное, прийти помочь вам», — сказал Михаил Иванович и, не выслушав, отключился. Меня он так допек этим, что я в сердцах сказал Ромашевскому: «Уж если ничего не можете исправить, так хоть поломайте его последний номер. Может уснет тогда».

Не знал я, что Лазарев со своего квартирного телефона уже несколько раз обзвонил всех, кто только был причастен к обработке барж в эту последнюю навигационную ночь.

Во второй половине ночи Ромашевский со связистами ушли. Лампочки на коммутаторе загорались и снова гасли: видимо, они «ковырялись» на пульте. Ветер буйствовал по-прежнему, только изменил направление, снег валил еще гуще. Около двух часов ночи внизу хлопнула дверь и кто-то грузно стал подниматься по ступенькам лестницы. «Неужели Лазарев?» — подумал я с каким-то даже облегчением: пусть видит сам, можно ли что сделать при такой погоде? Приободрился. Стал ждать. Сначала показалась шапка, вся покрытая обледенелым снегом. Потом через несколько секунд появился Капитоныч. Я хотел высказать ему накопившуюся горечь, но... не произнес ни слова. Капитоныч был мокрый с головы до ног, с плаща ручьями стекала вода, в сапогах, когда он переступал, булькало. Он не разговаривал. Молча снял плащ, сел на табуретку и стянул сапоги. Прямо на пол вылил из них воду. Не ожидая, что он скажет, я уже прикидывал, как завтра докладывать Лазареву. Он ведь с меня начнет. Тешить себя надеждами, что может хоть что-то сделаем до утра, мне казалось напрасным: погода разбушевалась еще сильнее. Глядя на Капитоныча, у которого пиджак и брюки тоже были мокрыми, я сочувственно спросил: «Ты что, Капитоныч, в реку, что ли, нырял?» Капитоныч, разматывая портянки, ответил: «Немного не угодил, волна перехлестнула через борт, когда забирался еще вечером на баржу, всего накрыло водой. Хорошо, что уцепился за поручень, а то бы поминай как звали». «Значит он всю ночь так и был мокрым»,

— мелькнуло у меня. Осторожно спросил: «Что будем утром докладывать Лазареву?». – «Доложим, что баржи разгрузили», — ответил он. «Ты, что Капитоныч, может тебе волной ум повредило, ветер усилился еще больше, а ты шутишь! Их же надо еще переставить», — недовольно проговорил я. «Вот ветер нам и помог, повернулся и дует со стороны причалов, волна стала отбойной. Мы с Лавровым, да еще из команды помогли, застропили баржи и обе одну за другой тут же и переставили. Много ли на это надо времени? Теперь уже разгружают. Да и груза там самые пустяки, один нижний ряд оставался, весь груз должны выкидать за пару часов. Лешка (это так он называл Лаврова) остался с работягами», — уверенно сказал Капитоныч. От такого радостного оборота я растерялся. Когда же осознал, то только и смог сказать: «Ну даете! Молодцы! Лазарев и тот похвалит». А сам подумал: «Ведь не звонит когда дело наладилось!». Раздевшись, Капитоныч подсел к батарее. Я предложил: «Если понадобится куда идти, то одевай мой плащ». «Теперь мне там делать нечего, я у тебя немного подсушусь, да отдохну. В школу надо сегодня сходить», — сокрушенно сказал он. «Ты, что, тоже в вечернюю школу записался? — (сам я ее недавно окончил) — спросил его. — В каком классе учишься?» – «Да нет, вызывает директор! Сын опять с кем-то подрался – никакого сладу нет», — сокрушался Капитоныч. «Да ты об этом даже не думай (настроение у меня было ликующее), мальчишки все дерутся, только, наверное, на твоего жалуются, что другим от него больше достается. Не расстраивайся», — подбодрил я его. «Может быть, — согласно кивнул Капитоныч. — Схожу разберусь, только вот после смены идти не хочется, кости болят, натаскался с буксиром». – «Ладно уж, Капитоныч, терпи, навигация закончилась», — утешал я его, а самому почему-то вспомнилось, как несколько лет назад, работая в диспетчерской лесного, приходилось видеть, как целая ватага ребятишек 8–10 лет прибегала на лесобиржу (по весенней поре после ледохода) и на берегу реки Дудинки, возле бревнотаски, удили рыбу. А для обогрева разжигали костры, как раз на том месте, где когда-то разгружали серу. Огонь быстро разгорался, и это им доставляло радость. Арчил Гедеванишвили (начальник производства), увидев с балкона сплавной конторы огонь, сразу же крикнул мне: «Беги скорее, разгони эту ораву, а то все сгорим вместе с лесобиржей». Я мчался сломя голову, но они ускользали, словно вьюны. Затушив костры, уходил. Они снова появлялись, и первым среди них черноволосый корейчонок. Я снова бежал и кричал им вслед: «Поймаю, уши надеру и вахтеру отдам. Тогда узнаете кузькину мать». Вспомнив это, рассказал Капитонычу и спросил: «Может твой?» Капитоныч буркнул: «Да это ерунда, он куда хочешь залезет! Не такие номера откалывает. Хоть бы скорей подрос, да в армию пошел, там на путь истинный наставят».

Я, продолжая разглагольствовать, рассуждал: «И как только они пробирались? Кругом охрана, вахты, колючая проволока». Капитоныч поднял голову и улыбнувшись сказал: «Их вахтеры пропускали». – «Так вот почему ребятня не пугалась моих угроз, когда грозился отвести их вахтерам, да еще и языки мне показывали, дразнясь», — огорченно подумал я. Но вспомнив застреленных несколько лег назад заключенных парней в запретной зоне,

пробиравшихся в отделенный женский объект, облегченно подумал: «Правильно поступали вахтеры. Не стрелять же по ребятишкам, когда полезут под колючей проволокой».

Прежде чем закончить статью о Капитоныче, я сделаю некоторое отступление, заострю внимание читателей на словах Капитоныча: «Скорей бы подрос, да в армию пошел, там на путь истинный наставят». Мало слов, но сколько ими сказано. Какая великая любовь у народа (советского) была к Советской армии! Каждая мать, отправляя сына на службу, знала, что отдает его в надежные руки. Если призывник не имел законченной десятилетки, среднее образование получал там. Обучали любым специальностям. Ни о какой «дедовщине» понятия не было. Командир для солдата был отец, брат, наставник. После службы в армии каждый солдат возвращался в родные места, подготовленным к труду работником. Никто не уклонялся от воинской повинности: ни сын кухарки, ни сын вождя. В Великую Отечественную войну сыновья Сталина, Ворошилова и других руководителей страны разделяли наравне со всеми военные тяготы. Вот почему у каждой матери было твердое убеждение: «Это надо всем!» Изменился политический строй в стране, одни формы правления уступили другим, резкие преобразования свершились и в армии, и, как мне кажется, не в лучшую сторону. Таково мое мнение. Впрочем, кому как! В этом вопросе каждому вольно иметь свое суждение.

Немного отдохнув и отогревшись, Капитоныч ушел сдавать вахту. Я же, воодушевленный выполненным заданием, с каким-то нетерпением ожидал звонка Лазарева: ведь должен же он быть довольным проделанной работой. В половине седьмого пришел Иннокентий Михайлов — главный диспетчер. Поздоровавшись, ска¬зал: «Ну, наконец-то разделались!» Я спросил: «А ты, Кеша, откуда знаешь?» «Так я уже был на причале, Лавров людей отпустил. Загруженные вагоны паровоз уже забирает», — сказал Михайлов. (Маневровый диспетчер держал возле вагонов паровоз с пяти часов утра. Об этом я знал). «После смены «енурповцы» уведут баржи, я заходил к ним, когда шел из дома. И ветер заметно стих», — добавил и вдруг спросил Иннокентий: «А «очкарик» (это про Лазарева) звонил?» – «Последний раз звонил около часу ночи», — ответил я. «Значит знает, что баржи разгружены, если бы хоть в чем-то сомневался, давно бы уже был здесь в кабинете», — утвердительно сказал Иннокентий. Кеша говорил правду, он досконально изучил характер Лазарева. После некоторого молчания сказал: «Завтра выходной, приходи ко мне сегодня вечером, отметить надо завершение навигации».

Я в те годы учился в заочном институте, время было дорого, но от предложения не отказался: «Ладно, Кеша, приду, только отосплюсь немного». Не могли тогда предполагать ни я, ни Кеша, ни Андрей Капитоныч, что через несколько десятков лет порт станет совсем другим, по всей длине причалов встанут мощные портальные краны, причалы поднимут, по бетонным покрытиям свободно будут передвигаться погрузчики и другая перегрузочная техника, появятся более мощные теплоходы и не потребуются героические усилия на перестановку барж. Никакие дожди с моро-

зами не нарушат связь между диспетчерской и самым удаленным уголком причальных сооружений, так же с кораблями на разбушевавшейся реке. А руководить сложным портовским хозяйством станет сын Капитоныча Лонгин, может быть тот самый черноволосый корейчонок, что досаждал мне с ватагой таких же сорванцов разведением костров среди бревен на лесобирже, а отцу (много больше, чем мне) — своими непредсказуемыми поступками. Было. Все было. И ушло, а людей тех давно нет.

Удивительно загадочно устроен мир. Ни одному человеку не дано знать, каким будет грядущий день.

12 марта 2000 года

Тени былого

Велик и многолюден древний город Москва. Много палат, дворцов на его «семи холмах». Необозримо раздвинул он свои границы и вознесся ввысь с тех пор, когда восторженно и с любовью воспел его великий русский поэт.

Денно и нощно приходят и уходят с его вокзалов поезда. Тысячи тысяч людей приезжают и уезжают. Бегут по улицам, спешат, суетятся в надежде что-то найти, порой теряя последнее. Сколько горьких разлук, радостных встреч, иногда неожиданных, до нелепости случайных свершаются ежеминутно. Бывают такие, когда мимолетный взгляд совсем незнакомого человека воскрешает давным-давно прошедшие события, и захлестывает поток нахлынувших воспоминаний.

Однажды в июле месяце мне довелось по причине отмены электропоездов провести несколько часов на Киевском вокзале. Народу скопилось много. День был жаркий, и потому большинство людей столпилось на перроне под крытым навесом. Были первые годы горбачевской перестройки (вернее, начало разрухи), и народ в надежде что-то ухватить, приобрести, может, своровать (большое воровство началось с самого Горбачева М.С.) куда-то ехал, спешил, толпился в перегруженных вокзалах, электричках, метро. Чтобы не торчать на солнцепеке, я зашел в зал ожидания для пассажиров дальнего следования. В те годы еще не было пропускных вахт. Это сейчас все «закупорили» и без наличия билета не пропустят.

Кое-где были свободные места. Достал из сумки газету и, пристроившись на краю скамейки, углубился в чтение... Вскоре мне это надоело. Пробежав взглядом по залу, обратил внимание на двух сидящих напротив меня интеллигентного вида пожилых людей. Мужчину с женщиной. Они, видимо, давно уже сидели здесь в ожидании своего поезда. Возле них стояли два больших чемодана и несколько сумок. С такими поклажами (если доводится) москвичи за город на свои приусадебные участки выезжают на машинах. Нетрудно было догадаться, что едут они куда-то за пределы Московской области. Мужчина поднялся, выпрямился. Он был высок и сутул. Годы, а может тяжесть жизни, согнули его. «Посиди, Вася, еще не скоро», — сказала женщина. Мужчина нехотя возразил: «Надоело! Как медленно

тянется время, когда что-то ждешь. И каким коротким видится, когда оно ушло. Знаешь, чего мне сейчас захотелось? — вдруг спросил Василий. — Ни за что не угадаешь, лапушка». Женщина, теперь я уже понял, что это была его жена, немного недоуменно ответила: «Может, холодного кваса, так тут недалеко ларек. Сходи попей». Мужчина улыбнулся. Он стоял чуть в стороне от меня, и я увидел на его щеке еле заметный шрам. Наверняка фронтовик. Так мне подумалось, а скорее захотелось. Эти люди становились мне по мере разговора все симпатичнее. «Нет! Совсем другого. Проехать бы сейчас в этот жаркий июль на пароходе от самого Красноярска до нашего маленького городка на Севере», — сказал грустно Василий и замолк. «Вася! Столько лет прошло, там никого из наших знакомых не осталось, а тебя все еще тянет», — сочувственно сказала жена и добавила: «Вот приедем домой, и плавай по Днепру сколько захочется».

Меня очень заинтересовал их разговор про Енисей и север (ведь я там живу, а сейчас здесь только в отпуске), что после некоторого колебания задумал подойти и спросить, какой северный город они имеют в виду, кто они сами. Но в это время репродуктор оповестил, что началась посадка на электропоезд до Калуги. Надо было спешить, иначе при малейшей задержке останешься без места и придется стоять до конца пути. В электричке народу оказалось еще не так много и, облюбовав место возле окна, я сел и углубился в раздумья. Мне не давала покоя встреча с этими пожилыми (а вернее, старыми) людьми и оброненная Василием фраза про Енисей и какой-то северный город. Я передумал обо всем, перебрал всех знакомых и незнакомых в памяти и вдруг как-то неожиданно промелькнуло: да это же был начальник 4-го лаготделения (головного) в Дудинке Серов Василий со своей женой. На такую мысль меня натолкнул увиденный на его лице шрам. В самый первый год пребывания в Дудинских лагерях я видел Серова всего несколько раз и то издалека. Только однажды, проходя мимо штаба лагеря (так именовалась тогда администрация, она же канцелярия) столкнулся с ним в упор. Он был задумчив, и меня не заметил. Я же разглядел его большие глаза и чуть заметный на щеке шрам. Высокий, крепкого телосложения, медлительный в движениях, он производил необъяснимое уважение.

В дудинских лагерях (об этом я писал в книге «Святые берега») была строгая, но справедливая дисциплина. Серов очень серьезно спрашивал за упущения в работе с подчиненного персонала, не оставляя без наказания ни один случай нарушений лагерного режима, но никакого произвола недопускал. От заключенных, прибывших в Дудинку много раньше меня, слышал, как однажды несколько человек пьяных уголовников затащили в полупустой барак молодую девчонку. Хотя женщины и мужчины проживали в отдельных (отгороженных) зонах, тем не менее их выпускали в мужское отделение по различного рода надобностям: за баландой, хлебом, в поликлинику, вещсклад и т.п. Эти объекты находились в мужской зоне. Женщин было значительно меньше заключенных мужиков, и потому отдельно для них объекты соцкульт и хозбыта не создавались. Когда же ее напарница каким-то способом вырвавшаяся от распоясавшихся хулиганов

забежала в комендатуру с криком «убивают», находившийся в том же здании начальник лагеря Серов с несколькими надзирателями, вбежав в самый конец барака, увидели жуткую картину: девчонка лежала между нар в порванном платье, а из порезанных ножами грудей текла ручьем кровь. А трое пьяных садистов дрались словно звери между собой, видимо не поделив «добычу». Работники правопорядка были беспощадны, сбрасывая с нар и избивая их ногами. Серов криком пробовал прекратить избиение, но видя, что слова не помогают, стал оттаскивать надзирателей. В этой разборке кто-то из уголовников и полоснул его ножом по щеке. Несмотря на отчаянное сопротивление, обнаглевших нелюдей быстро угомонили: связали их же ремнями и за ноги уволокли в карцер. Подоспевшие медработники оказали Серову помощь, а женщину в полубессознательном состоянии унесли в лагерный стационар. Незавидная участь постигла «архаровцев». Как только их перевели из карцера в СИЗО, там их удавили такие же подследственные арестанты: категория насильников в те времена была самой презираемой. Зло наказывалось по неписаным законам лагерного толка. Может, оттого в дудинских лагерях подобных происшествий не повторялось за весь период моего заключения. Чувство страха за жизнь, которым природа наделила все живое, удерживает людей от поступков, расплатой за которые бывает только смерть. Финал «маленькой» трагедии, которых в наше «демократическое» время не счесть, был мало для кого заметен. Бандюг похоронили, кого-то «потаскали» на допросы и все стихло. Только вот как сложилась дальнейшая жизнь той девчонки? Вряд ли кто скажет. Впрочем, наверное, о ней никто и не подумал.

Мысли о случайной встрече, вызвавшей целую бурю воспоминаний, так увлекли меня, что я чуть было не проехал свою остановку. Как только перешагнул порог квартиры, сразу же обратился к супруге: «Ты знаешь, Саша, кого сейчас я встретил на Киевском вокзале?» Она посмотрела на меня с любопытством, ожидая, что назову кого-нибудь из знакомых нам северян. Я умышленно молчал, испытывая ее терпение. «Ну говори же», — наконец не выдержала она. «Так вот (теперь уже совсем уверовав в свою правоту), мне встретились на Киевском вокзале бывший начальник дудинских лагерей заключенных, работавший в середине 40-х годов, Серов с женой», — сказал я и посмотрел, какое произведу на нее впечатление (в те годы она уже жила в Дудинке и работала в больнице). Каково же было мое разочарование, когда она, немного помолчав, ответила: «Эх, ты, Серов Василий умер давным-давно». – «Откуда ты знаешь (все еще не веря в такой оборот)», — спросил я. «Орлов Алексей Владимирович сказал, — ответила она и тут же добавила: — А было это в Ленинграде, когда ты еще учился в институте. Мы заезжали к ним и пробыли там целый день и только поздним вечером уехали от них». – «Почему же я-то не помню этого», — опять не сдавался я, думая, что может она что-то перепутала. «А ты тогда на радостях, что закончил сессию, хорошо «переборщил», вот и не помнишь, наверное», — завершила она разговор. Ей он становился в тягость. Я это почувствовал и как бы для своего успокоения сказал: «Может, ошибся Алексей Владимирович». «Вряд ли», — сказала Шура и ушла на кухню. Я же удалился в другую комнату. В

уединении стал перебирать все встречи с Орловым. Но как ни напрягал память, ничего вспомнить не мог. Упомянутые Шурой события никак не поддавались воспоминаниям. Зато с поразительной отчетливостью вспомнился дол¬гий разговор с Алексеем Владимировичем на поминках его отца Владимира Ивановича в первых числах августа 1953 года. Прошло уже много больше 30 лет, но в памяти всплывали мельчайшие детали. Здесь нет ничего удивительного — этот год для многих остался в памяти на всю жизнь.

1953 год был полон событиями. Весной в марте умер Иосиф Виссарионович Сталин. Летом арестовали Берию. И покатились по всей стране волны арестов, а за ними расстрелов тех самых людей, что совсем недавно проделывали то же самое. Бурлили страсти народные. Каких пересудов, небылиц, новостей, известий не появилось в тот год. Одни предрекали конец света, другие пророчили войну, многие, взбудораженные шквалом обрушившихся ужасов, со страхом ожидали повторения 37-го года. Всего хватало. А жизнь, не замирая, шла своим чередом. Одни рождались, другие умирали. В одном из дудинских деревянных домов (в те годы считавшимся привилегированным) на втором этаже несколько человек ссыльнопоселенцев, только что вернувшихся с кладбища, молча с тихой скорбью рассаживались за стол, чтобы помянуть умершего товарища. Народ был пожилой. Все прошли через тюрьмы, лагеря, ссылки. Говорили мало. Никаких речей не произносили. Кладбище, где схоронили покойника, было далеко, августовский день выдался жарким, и оттого все устали. Когда расселись, сын покойного Алексей Владимирович Орлов, сорокадевятилетний мужчина, врач по профессии, сказал всего несколько слов и, обратившись к присутствующим, попросил помянуть усопшего.

Его отец, Владимир Иванович, прожил довольно долгую жизнь и умер на 84-м году жизни 1 августа 1953 года. Доцент, филолог по образованию, он до революции преподавал в одной из петербургских гимназий. Как большинство представителей интеллигенции, активно участвовал в революционном движении. С начала 20-х годов был членом совета по реорганизации системы высшего образования. Несколько раз встречался с Луначарским А.В. Он не принадлежал ни к какой оппозиции и ничего не имел предосудительного против советской власти. В жизни его семьи все складывалось благополучно. Но в начале 1935 года его сына Алексея арестовали по обвинению в содействии убийства Кирова СМ. Осудили на 8 лет и отправили после долгого пребывания в ленинградской тюрьме в Норильлаг. А Владимира Ивановича и жену Алексея Владимировича — Марию Евдокимовну – сослали в Казахстан на пожизненную ссылку. Их жизнь в этой «трижды проклятой» богом республике была сущим адом (из рассказов Марии Евдокимовны), и как им удалось там прожить несколько лет — она до конца жизни считала необъяснимым чудом.

У Алексея Владимировича в норильских лагерях жизнь в сравнении с другими заключенными сложилась более благополучно. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он был хорошим специалистом (врачом), имел опыт в работе, и с первых дней пребывания в лагере его направили работать в поликлинику. Через некоторое время перевели из Норильска в Ду-

динский лагерь на должность главного врача терапевтической больницы. Он быстро подобрал хороших специалистов (благо, выбор был довольно большим), навел образцовый порядок и поставил медицинскую службу на должную высоту. Услугами этой больницы зачастую пользовались не только администрация лагеря, но и руководство порта. Бывал и Панюков А.А., в то время работавший начальником порта. Алексея Владимировича освободили в 43-м году без каких-либо ограничений, кроме запрета на проживание в столичных городах (большинство политзаключенных, окончивших срок наказания, не выпускали из лагерей до конца войны). Получив довольно хорошую по тем временам квартиру, Орлов с помощью Панюкова А.А. (тот в то время уже несколько лет работал начальником Норильского комбината и Норильлага) сумел добиться изменения места ссылки для отца и своей жены Марии Евдокимовны из Казахстана на Таймыр в село Дудинка. С тех пор до последних дней они втроем (а после смерти Владимира Ивановича вдвоем) жили в этой двухкомнатной квартире до самого отъезда в Ленинград. Поминки продолжались недолго. Всем хотелось поскорее уйти и отдохнуть от изнурительного (до кладбища ходьбы не меньше трех км) скорбного ритуала. Алексей Владимирович быстро захмелел. Когда присутствующие стали расходиться, он попросил меня остаться и побыть с ним. Видимо, он боялся одиночества (его жена Мария Евдокимовна в это время находилась в Норильской больнице на излечении у в то время знаменитого хирурга Кузнецова С. В., тоже бывшего политзаключенного, их семейного друга). Мы выпили с ним еще по одной рюмке, и Алексей Владимирович, еще больше опьяневший, не удержавшись, заплакал. Сквозь прерывающиеся всхлипывания он пытался с интеллигентской вежливостью отблагодарить меня, что я оказал ему помощь в похоронах отца. Алексей Владимирович, профессионал в своей работе, был очень непрактичен в хозяйственных делах. Зная эти недостатки (несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, мы с ним поддерживали дружеские отношения.

Еще осенью 46-го года, сразу по прибытии в Дудинский лагерь, я заболел, и меня положили в его больницу, которой он заведовал и одновременно работал терапевтом. Там я пролежал около 5 месяцев с брюшным тифом и очень долго долечивался под его наблюдением), все хлопоты по похоронам взял на себя. Нудный и тягостный это процесс. Но в жизни каждого человека он неотделим, и потому люди добросовестно помогают друг другу, наперед зная, что такое произойдет с каждым. Наконец Орлов успокоился, и я встал, чтобы попрощаться и уйти. «Нет, нет! Не уходи, — запротестовал Алексей Владимирович. — Я сейчас позвоню твоему начальнику Гедеванишвили, чтобы дал тебе завтра выходной». С этими словами он ушел в другую комнату. Через некоторое время вернулся и передал слова Арчила Гедеванишвили, что я могу быть столько время у Орлова, сколько понадоблюсь.

Алексея Владимировича знали многие в Дудинке. Арчил Васильевич, мой непосредственный начальник, был знаком с ним много лет. Алексей Владимирович расслабился, и по его щеке снова покатилась слеза. «Знаешь, отчего я так переживаю?» — спросил он меня. Пока я раздумывал, что ему

ответить, он сказал: «Горько не оттого, что умер отец, все равно рано или поздно каждый уйдет на тот свет, а потому что пришлось хоронить его так далеко от родимых мест. Весь наш род с давних времен проживал в Ленинграде. Как теперь перевезти его прах, ведь ему так хотелось упокоиться и лежать в одной земле вместе с родными. Хватит ли у меня терпения до того дня, когда смогу выполнить его желание», — скорбно закончил говорить Алексей Владимирович. Я вообще не представлял тогда, как такое можно сделать, даже не слышал в те времена, чтобы перевозили из Дудинки покойников, тем более из ссыльнопоселенцев. Но из жалости к нему сказал: «Может, время станет другим и тогда уж все образуется». «Был бы Вася, может, что-нибудь и помог бы. Сколько доброго он сделал людям обиженным и несчастным. А с папой они были большими друзьями», — сказал он и, обхватив голову обеими руками, замолк. Наступила тягостная тишина. Алексей Владимирович потянулся к графину, но я запротестовал: «Не надо! Это еще больше усилит печаль и станет совсем невыносимо (к тому времени я уже понимал, что вино пить хорошо когда на душе весело)». После его высказываний меня все время подстегивало желание узнать, что за человек был таким хорошим другом их семьи, и я спросил: «А кто такой этот Вася?» Алексей Владимирович удивленным взглядом посмотрел и сказал: «Да ты же его хорошо знаешь, это начальник (теперь уже бывший) дудинских лагерей. Жил он вместе с нами в этом доме на одной площадке, дверь в дверь. Напротив. Жаль! Очень! Его несколько лет назад повысили в должности и перевели в Сибирь, тоже в систему лагерей. И там он оставался таким же порядочным, только вот, сволочи, съели».

Я про себя подумал: «Такого «знакомого» у меня не было, хотя доводилось видеть несколько раз в лагерной зоне, когда он с группой других руководителей производил обход бараков и прочих объектов. Доводилось слышать от многих заключенных, знавших его ранее, что начальник строг, но произвола не допускает, любит порядок. «Так вот, Коля (Орлов всегда называл меня так на правах старшего), благодаря этому человеку все политзаключенные (за небольшим исключением) были расконвоированы и имели свободное хождение по всей Дудинке, правда, только до 48-го года. Но в это время Васи уже не было», — сокрушенно закончил Алексей Владимирович. О том, что в 48-м году всех политзаключенных, имевших разрешение на свободный выход из лагеря, законвоировали и большую часть отправили в спецлагеря, — я знал. У меня при упоминании Серова сразу всплыл в памяти случай с изнасилованием девчонки (рассказанный бригадниками), и я начал про него говорить, но Алексей Владимирович не дал мне докончить: «Это тот самый случай, когда медработники из нашей больницы оказали Серову помощь. Когда мы на следующий день пришли с папой к нему домой, я спросил у него: «Зачем ты ввязался в эту потасовку с хулиганьем и раскидал охранников, запретив им расправляться с этими подонками, ведь могли бы тебя и убить, хорошо что нож скользнул по щеке». Вася ответил: «Плохо быть убитым, но еще хуже быть убийцей, заставлять одних убивать других и после этого жить, сознавая кто ты». Орлов рассла¬бился и все больше становился разговорчивым. Ему, видимо, очень хотелось вы-

говориться. «А знаешь, за что он пострадал в тех лагерях?» — спросил он у меня. Я ничего не слышал и потому ответил уклончиво: «Ну откуда такие вести до меня дойдут, ведь я и Серовато только по фамилии знал. Возможно, опять ввязался в какую-нибудь драку». – «Все ж таки есть хорошие люди среди коммунистов и энкаведешников», — как-то задумчиво и задушевно сказал он, уклонившись сразу от ответа на мое замечание.

Помедлив немного, рассказал мне довольно трогательную историю: «Нет! В этот раз совсем не то. Я уже говорил тебе, что Серова в срочном порядке перевели в лагеря Восточной Сибири. Это произошло так скороспешно, что я даже не успел попрощаться. Чуть позже уехала и его жена, пообещав написать нам письмо, как приедет и обустроится на новом месте. Но шли месяцы, а никаких писем ни от кого не приходило. Ни от самого Серова, ни его жены. Вскоре (это был 48-й год) начались новые репрессии, и у меня как бывшего политзаключенного по решению «особого совещания» отобрали паспорт. Объявили новое наказание: пожизненную ссылку на Таймыре. Эта экзекуция началась с самого начала года, но до нас дошла с опозданием. Я успел летом съездить в Ленинград и защитить в Военно-медицинской академии диссертацию кандидата медицинских наук. Если бы приговор пришел чуть раньше, то все мои намерения разбились бы в прах. В МТБ вызвали для объявления приговора на второй день после возвращения. С тех пор и я стал ссыльнопоселенцем, как и все мои домочадцы, полноценным членом «племени ссыльных дудинчан». Я обо всех судьбоносных перипетиях знал очень даже хорошо, и чтобы отвлечь его от этих воспоминаний, сказал: «Ну, не расстраивайся, главного бандюгу Берию посадили, не может быть, чтобы ничего не изменилось, все будет хорошо, и тогда прах Владимира Ивановича переправите в Ленинград». Орлов немного встрепенулся и стал снова рассказывать про Серова: «Ну вот. А теперь про самое главное. Три года назад, в последней декаде сентября месяца, поздним вечером – мы уже легли спать — зазвенел дверной звонок. Сначала робко, потом настойчивее. Погода тогда была противной. Уже несколько дней подряд шел дождь, а в этот вечер с мокрым снегом. Кого это еще принесло? В соседней комнате завозился папа, а я, стараясь не разбудить супругу, быстро вышел в коридор и, открыв дверь, обомлел: передо мной стоял Вася Серов. С одежды стекала вода, в руках был небольшой чемоданчик. «Господи! Какими судьбами», — произнес я, впуская его в квартиру. Я помог ему раздеться, а появившаяся супруга унесла на кухню, где была натоплена печь, его промокший плащ. «Ты уж извини, что я прямо к тебе. Мог бы и у других переночевать, но уж очень захотелось встретиться с вами, не один год прожили рядом. Да и, говоря откровенно, другие-то не очень будут рады опальному работнику НКВД», — сказал Серов.

В это время поднялся папа, радостно обнял Васю, а Мария Евдокимовна, успев кое-что приготовить, позвала всех к столу. «Какими судьбами, за какой надобностью ты опять в наших краях?» — спросил у него папа. «Надумал уходить на пенсию. Чтобы быстрее решить этот вопрос, не дожидаясь, когда соберут необходимые справки и пришлют их в мою «тьмутаракань» (назвал он небольшой лагерь заключенных в глухой тайге, где-то в

Иркутской области), еду в управление Норильлага. Нахожусь сейчас в отпуске. Жена уехала немного раньше и ждет меня в Москве у своей сестры. А я здесь проверну дела, повидаюсь с друзьями в Норильске и сразу же к ней. Ну, а первым прямо с парохода заскочил к вам, ведь столько лет прожили вместе с вами в одном доме. Просто не верится, что вижу вас всех снова. Надеюсь, не прогоните? — сказал, улыбнувшись, Серов. «Ну, что ты такое говоришь?» — в один голос воскликнули все трое. «Давай опрокинем за встречу по стаканчику, да расскажи нам про свои «хождения». Ведь я слышал, что тебя из Дудинки перевели на более высокую должность, а оказался по твоему местожительству вроде нас, чуть ли не в ссылке?» — спросил Орлов.

Серов помолчал немного. Потом начал рассказывать историю о жизни своих последних лет. Еще здесь, в Норильлаге, он получил из Москвы указание сдать все дела и выехать в главное управление лагерями Восточной Сибири. Ехать ему очень не хотелось, и он тянул время, сославшись на различного рода причины. Надеялся, что может все «перемелется» и оставят на прежней работе. Но получил приказ: «Выехать без всякого промедления. В управлении давно уже был заготовлен приказ о назначении его на должность довольно большого лагерного объединения, и он, не задержавшись ни дня, уехал к новому месту работы. Система такая же, что и в Дудинке, только лагерей было больше и раскиданы друг от друга на значительные расстояния. Работа знакомая, освоился быстро, побывал на каждом лагерном пункте. Все складывалось хорошо до определенного дня. Однажды утром, после просмотра неотложных бумаг, уже собрался (по заведенной привычке) пройти по кабинетам канцелярии и побеседовать с сотрудниками администрации. Большинство из них были заключенные, осуждены по политическим статьям. Знал каждого работника, подбирал на работу сам и относился к ним доброжелательно. Но в этот раз пришлось изменить избранную привычку. В папке особых документов, которую ежедневно до начала рабочего дня приносила заведующая канцелярией, находился циркуляр, содержание которого очень насторожило. В нем была установка по усилению мер содержания лиц, осужденных за различного рода политические преступления. Подобное указание ожидалось давно. Тем не менее директивы для действий в нем превзошли все предположения: это был четкий и ясный приказ на переформирование всей лагерной системы. В соответствие ему предстояло убрать с ответственных должностей всех политзаключенных. А таковых в канцелярии работал каждый второй, а на производстве и того более. Такое сделать было непросто: из уголовников и бытовиков подобрать добросовестных и знающих дело работников не представлялось возможным. Кроме того, предписывалось отделить политзаключенных от бытовиков и уголовников не только в зонах проживания, но и на производстве. Осмысливая свалившиеся трудности и ничего не решив конкретно, чтобы хоть на время отвлечься, вышел в приемную, где уже ожидала заведующая канцелярией. Вместе с ней (она была исполнительным и знающим специалистом по толкованию существа любой бюрократической казуистики) пошел по кабинетам. Несмотря на крайнюю озабоченность, с каж-

дым здоровался, иногда шутил, делал замечания порой довольно строгие, но по-человечески справедливые. К этому давно привыкли и старались не допускать ошибок. Зайдя в кабинет, где были одни женщины, заведующая канцелярией легко дотронулась до его руки. На вопросительный взгляд тихо сказала, кивком указав на склонившую голову молодую женщину, сидевшую в самом углу: «Не надо спрашивать больше. У Ирины большое горе. Я вам сейчас все расскажу». Заведующая канцелярией была женщиной властной, порой суровой (многие прохиндеи боялись ее больше самого начальника, кроме исполнения служебных обязанностей была секретарем партийной организации), но на удивление гуманной и сострадательной (в этом они находили общее понимание и, потому он всегда к ней прислушивался). Она принадлежала к партийцам с дореволюционным стажем. Еще совсем молодой девчонкой сражалась против Колчака в партизанском отряде. Смелости ее поражались даже бывалые вояки. В революционные идеи верила до фанатизма. За смелость и отвагу была награждена именным оружием. Однажды возвращалась поздним вечером со службы, на нее набросилась группа подвыпивших хулиганов. Пытались изнасиловать. Двоих она застрелила, а третьего сдала в милицию. С той поры (а в те годы она была довольно привлекательной) всякое ухаживание даже со стороны сослуживцев прекратилось навсегда. Сама же она знакомств не искала. Самые близкие ее товарищи знали, что в партизанской молодости любила своего односельчанина. Но когда этого парень¬ка изрубили колчаковцы, завяло в ней все не успев расцвести. После ее слов Серов, поприветствовав остальных работников, сославшись на срочность телефонного звонка, возвратился в кабинет. За ним вошла и заведующая канцелярией. Не садясь, Василий спросил: «Что-нибудь случилось, Мария?» — думая, что есть еще какие-то дополнительные разъяснения к уже прочитанному им циркуляру. «Садитесь, пожалуйста, товарищ Серов», — обратилась к нему Мария. Немного помедлив, села напротив начальника лагеря и добавила: «Разговор у меня к вам серьезный». Обычно Серова (у них сложились довольно дружеские отношения) называла по имени. В присутствии посторонних по имени и отчеству. Обращение «товарищ» применяла на партийных собраниях или при решении очень серьезных вопросов.

Серов это уловил. Понял, что случилось что-то необычное. Немного помолчав, заговорила: «Ирине пришла телеграмма. У нее на Украине умерла мать». – «Ну что поделать, такое горе никого не обходит. У меня тоже отец с матерью умерли и всем нам когда-то придет черед», — сказал с облегчением Серов. Он ожидал какую-то дополнительную каверзу со стороны вышестоящих инстанций. «Я обращаюсь к тебе как партиец к партийцу. И если сможешь, то не перебивай. В этих лагерях я работаю больше 20 лет, насмотрелась на всякого рода людей. Ты же второй год и всего можешь не знать», — сказала Мария. «А что, по-твоему, в других лагерях по-иному построена жизнь и сидят в них другие люди?» — поморщившись, проговорил Серов. «Я же просила тебя не перебивать. Сделай такое ради женщины, тем более что я старше тебя, ну, наконец, по партийной логике» (дала понять Мария что она секретарь партийной организации). «Это надолго», — подумал Се-

ров и, понимая что придется выслушивать свою помощницу до конца, набравшись терпения, решил не вступать с ней ни в какие пререкания.

«Дело здесь не только в одной Ирине. Знаю я ее с самого детства, а с отцом ее сражалась против бандитов и колчаковцев два года. После окончания гражданской войны он женился, несколько лет проработал в нашем районе в органах ЧК и уехал с женой и девочкой Ирой. Той самой теперешней Ириной, что работает в нашей канцелярии. На Украине, куда переехала эта семья, отец Иры работал тоже в ЧК, но в 33-м году был убит националистами или кулаками — Ирина не могла тогда разобраться. Ей еще не было десяти лет. Впрочем, какое это имеет значение. И те, и другие — враги советской власти. С той поры Ира жила с матерью. Во время войны оказалась в оккупации. После освобождения Украины в 44-м году вышла замуж за военного летчика, находившегося в их городе на излечении. Прошло несколько месяцев. Летчик вылечился и снова ушел на фронт. В апреле 45-го погиб. Через несколько месяцев родился мальчонка. До 1947 года они жили втроем. Вскоре Ирину арестовали и приговорили к пяти годам. За что арестовали, рассказывать тебе не стану. Сам читал ее дело, когда определял на работу. Могу только добавить, что она, как очень многие, сидят ни за что, ни про что. Одних оклеветали, другие сами на себя наговорили, вот собственно и весь разговор», — закончила Мария. «Ну, это уж ты перебарщиваешь, — возразил Серов (хоть и всецело доверял ей, но все же, все же... сколько таких людей смелость погубила) и добавил: — Понапрасну НКВД никого не сажает». «Вася! Мы хоть и не так давно с тобой работаем, но достаточно для того, чтобы понять, что ни на кого никогда я доносов не писала и подлостей не делала. Да и ты на подобное не способен. Потому и разговариваю с тобой так откровенно», — запальчиво сказала Мария. «Так что же ты предлагаешь делать?» — спросил Серов. «Оформить соответствующие документы, отпустить Ирину, чтобы она определила своего парнишку. Она мне говорила, что где-то есть родственники ее мужа. И возвращается назад», — ответила Мария. – «А если не найдется никого, привезет мальчика ко мне. Я все равно живу одна», — добавила она.

От такого предложения Серов растерялся, даже мурашки пробежали по спине. Отпустить? Политическую заключенную? Да это же верная тюрьма. И мне, чекисту, участвовавшему в разгроме не одной банды головорезов, сидеть вместе с ними? Да там меня на куски изрежут», — промелькнуло в его голове. Поборов чувство страха (а оно среди революционеров и истинных партийцев первых лет советской власти считалось самым большим позором), сказал: «Значит я должен нарушить служебный долг? Партийную совесть?» «Вася! Ты не прав! Кроме всего этого еще есть человеческая порядочность и справедливая помощь. Доводилось тебе слышать, как поступил В.И. Ленин, когда над Мартовым (а ведь в последние годы тот был врагом советской власти, не то что наша Ирина) нависла смертельная угроза», — высказала Мария. «То Ленин! Сравнила тоже», — утомленно отреагировал Серов. «И Ленин, и мы с тобой, товарищ Серов, члены одной самой человечной выстраданной партии, так что подумай, чтобы не полетели потом неуклюжие понятия «служебный долг», «пар-

тийная совесть» перед человеческой добротой и людским состраданием», — закончила Мария.

Домой Василий пришел поздно. Жена уже спала. Будить ее он не стал. Тихо разделся и лег на диван в другой комнате. Сон не шел. В раздумьях он так взбудоражил себя, что не принесли облегчения успокоительные капли, которые выпил перед тем как лечь спать. В памяти не один раз пронеслась вся прожитая жизнь: детство в глухой деревушке, потом школа, армия, борьба с басмачами в Средней Азии и длинная дорога в системе тюрем и лагерей. Перед утром подошла супруга и тихо спросила: «Что-нибудь случилось, Вася? Я слышала, что ты всю ночь ворочался и не спал». «Ничего особенного не произошло, иди отдыхай. Я просто сильно переутомился за вчерашний день», — ответил Василий. «Нет, Вася! Я же знаю тебя. Что-то произошло серьезное, и ты не можешь найти правильного решения, — еще тише сказала жена и добавила: — Расскажи, может что-нибудь присоветую и я». И он рассказал ей обо всем, ничего не утаив. После некоторого молчания жена сказала: «Если поступать по-человечески, то надо делать как советует Мария, но как супруга я не могу согласиться, чтобы ты совершал опрометчивые шаги. Решать, конечно, тебе самому. Но надо очень хорошо подумать. Последствия могут быть самыми тяжелыми, — сказала она и еще раз повторила: – Хорошо подумай! Надо иметь на случай осложнений хоть какие-то возможности для оправданий такого поступка. Самое лучшее — заручиться поддержкой «сверху».

У Серова в Москве в Гулаге работал очень хороший друг. Старинный. Чуть ли не со школьной скамьи дружили. Занимая высокую должность и имея высокий чин, он имел такие права. Но теперь, в это суровое время, мог и отказать. Тогда как быть? Василий, передумав все, решил поступить просто: отпустить! Подобные поступки имели место в лагерной системе (правда, очень редко). Знал о них Василий. Но отпускали заключенных, имевших очень малые сроки наказания и осужденных по бытовым статьям. Причем, не больше 3–7 дней. И как правило, в пределах района, области, где находился лагерь. Ирине же надо было ехать далеко, да и статья была у нее политическая. Не уснув до утра, Серов много раньше ушел на работу. Зайдя в кабинет, увидел сидевшую у него за столом Марию. «Ты уже здесь?» — спросил он. «Как видишь», — ответила она. После короткого молчания сказал: «Готовь документы на отлучку на 20 дней. И постарайся, чтобы как можно поменьше людей знало об этом. Скажешь в нашей канцелярии, что перевели ее на другой лагпункт. Хорошо чтобы сегодня же и уехала. Постарайся выхлопотать ей билет, накажи строго: не задерживаться нигде ни по какому поводу». – «Я знала, что ты так поступишь, все необходимые справки я подготовила и печать поставила. Нужна только подпись. Если согласишься, то подпишу я сама», — сказала заведующая канцелярией. «Ты думаешь, что я способен прятаться за женскими спинами? Да и в любом разе отвечать если придется, то мне», — сказал Серов подписывая документы.

Что испытала Ирина, когда заведующая канцелярией, пригласив ее к себе, выдала документы и деньги? Хотя вчера у них был на эту тему предварительный разговор, Ирина долго не верила в свершившееся чудо. Зали-

ваясь слезами, не могла произнести ни одного слова, чтобы отблагодарить свою спасительницу. И только проехав более двух часов в поезде, поняла, что через несколько дней придет в свой поселок, зайдет в домишко, где прожила с родителями всю жизнь, недолгие, но счастливые дни с мужем и, самое главное, найдет сына. Какой он теперь? Ведь ему уже четыре года. Что было на душе у Ирины, пока добралась до своего места, спрашивать у Орлова не имело смысла. У него самого потекли слезы. Только я думаю, что даже сама Ирина не смогла бы высказать, как трепетало ее сердце, когда она проходила по родным местам. Чтобы понять такое, нужно воплотиться в ее душу.

Алексей Владимирович был очень сентиментален. Чтобы он не расплакался, я налил стакан холодной воды и подал ему. Когда он успокоился, я спросил: «Ну, а чем же все это кончилось?». Мне очень хотелось доброго завершения. Немного помолчав, Орлов продолжил рассказ: «Ирине очень повезло. Ей на удивление быстро удалось уладить все дела. Она знала, что у отца ее мужа был брат. Правда, ни разу не встречалась с ним. Тот проживал в соседней области, но как только узнал о случившейся с Ириной бедой, сразу же приехал к ее матери. И до последнего дня не порывал связь, довольно часто приезжая к ней. Когда же мать Ирины умерла, он после похорон увез мальчонку к себе. Соседям он оставил свой адрес. Ирина, сходив на кладбище и выплакав на могиле матери накопившиеся слезы, на другой день была у доброго дядьки. Переговорив, она утром уехала с радостной надеждой, что сын ее в добрых и надежных руках. Еще не закончился срок ее отлучки, когда она, предварительно сообщив о своем приезде заведующей канцелярией, пришла на прежнее место работы. Сотрудницы (такие же заключенные) с удивлением спросили: «Тебя же в другой лагерь отправили?» Ирина спокойно ответила: «Не нужна я оказалась там. Закрывают тот лагерь». На дальнейшие разглагольствования подруг «что ведут разговоры о переформировании лагерей, изменении режима, может что слышала в том лагере?» сказала: «Мало ли что говорят. Я же ничего не знаю». На том и прекратились пересуды и домыслы. Для Ирины мучительная нервотрепка закончилась благополучно. Но счастливые концы бывают только в детских сказках. Отсутствие Ирины в течение почти трех недель не осталось незамеченным. Некоторые высокопоставленные работники лагерной администрации знали об этом с первых дней ее отлучки. И колесо доносов, клеветы закрутилось с беспощадной жестокостью. Одни доносили по долгу, другие из-за страха: а вдруг дознаются, что знал о случившемся, а не сообщил. Чтобы никого не впутывать в эти «грехи» (если так можно назвать благородный поступок), Серов все взял на себя. Его сняли с занимаемой должности и отправили на какой-то очень небольшой лагпункт в самый глухой район страны (как жаль, что я не вел в те годы никаких записей и забыл его название. А хорошо помню, что Орлов мне называл это место). Так вот, Коля! Когда Вася рассказывал нам о своих неприятностях, то он не удержался от слез. Чего мы раньше никогда не видывали, даже в тех случаях, когда он бывал в хорошем подпитии. А прослезился от радости, что не привлекли к уголовной ответственности, чего он боялся больше всего, и вот теперь едет

собрать необходимые документы и уйти из этой системы. Мария же, его верная и добрая помощница, получила выговор «за отсутствие партийной бдительности» и освобождена от руководства партийной организацией», — закончил свое повествование Алексей Владимирович. Заинтересованный до крайности этой историей, я спросил: «А после этой встречи у вас были какие-нибудь известия о Серове?» Орлов, покачав головой, ответил: «Никаких. Как в воду канул. Прошло около трех лет. Что с ним сталось? Не знаю. И на обратном пути из Норильска он к нам не заезжал. Видимо, что-то помешало».

Я посидел еще немного, поговорил о чем-то незначительном (к этому времени весь хмель из Орлова вышел), попрощался и ушел. Через три года после смерти Владимира Ивановича Алексея Владимировича и его жену Марию Евдокимовну восстановили во всех правах. Их реабилитировали. Ему возвратили воинское звание (подполковника медицинской службы). Вскоре они уехали в Ленинград, где он снова поступил на прежнее место работы в Военно-медицинскую академию. Летом этого же года меня приняли на первый курс заочного лесотехнического института. На протяжении всего периода учебы каждый раз, приезжая на сессию, навещал их. Иногда один, а чаще вдвоем с Шурой.

С тех пор прошло много времени. Я сидел уединившись и мысленно перебирая все встречи, пытался вспомнить, когда же Орлов сказал про кончину Серова. Как это случилось? При каких обстоятельствах? Я напрягал всю волю, но было бесполезно. Память отказала напрочь! Желание докопаться до истины наоборот возрастало. Встреча на вокзале со столь похожим на Серова проезжим пассажиром не давала покоя, мне так не хотелось расстаться со своей иллюзией. Тогда я снова позвал Шуру: «Может ты что-то недопоняла? В каком году это было? Расскажи подробнее».

«Точно не помню. Кажется в 60-м или 61-м году. В тот день у Орловых было много гостей. Чаплин Виктор Павлович с женой, Розановы, еще кто-то из дудинчан. Возможно, кто-нибудь из них сказал? Только мне кажется, что он знал об этом раньше. Если бы такой разговор возник на той встрече, ему не было бы конца. Алексей Владимирович выразил сожаление, что до сих пор не перевез прах своего отца. И упомянул про Серова: был бы жив, то наверняка бы помог. А теперь сам покоится где-то в глухом захолустье лагерного лесоповала. Вот почти слово в слово передаю его высказывания», — сказала Шура. «Но я даже и этого не слышал», — завозражал опять я. «Ты в этот момент так увлекся в споре с племянницей Орлова по философии, что ни на кого не обращал внимания», — ответила Шура. А вот об этом я помнил. Пришлось с ней мысленно согласиться. И на эту тему полемику прекратить. «Не ломай больше голову, что тебе от этого. Иди лучше посмотри и послушай телевизор, там что-то Горбачев М.С говорит про свой «процесс мышления». Кажется, ругаются с Ельциным», — проговорила и ушла. Этих представителей рабоче-крестьянской «интеллигенции» я не любил с первых дней появления их на ведущих ролях руководства страной. И заранее зная, что в этой болтовне ничего кроме вранья не услышу, переключил телевизор на другой канал. Хотел отвлечься, но горькие раздумья не

отступали. Один голос говорил: «А как похож этот незнакомец на Василия Серова!» Другой опровергал: «Это ты сам себе внушил и никак не хочешь избавиться от этих мыслей. Ведь видел-то ты его всего несколько раз и то на расстоянии. Немного успокоившись, пришел к умиротворяющему выводу: «А какое это теперь имеет значение? Пусть этот человек не только не Серов, но никогда не соприкасался с ним. Главное, своей схожестью с Серовым случайный транзитный пассажир воскресил в моей памяти давно забытые события, растревожил ушедшие годы молодости, встряхнул задремавшую душу». Плохо только, что Серова, по выражению Орлова схоронили где-то «в глухом захолустье лагерного лесоповала». Значит, он по каким-то причинам не вырвался оттуда. Жаль, что теперь ни у кого не узнаешь про это. Не довелось Алексею Владимировичу перевезти останки своего отца на ленинградское кладбище, где покоятся его родные. Да и сам Орлов с супругой много лет назад нашли там последнее пристанище. Умерли Чаплины, Розановы. Вряд ли кто остался в живых от «толпы» заключенных 30-х годов. В Дудинке, наверное, и вспомнить о тех людях некому.

Еще стоит уже всеми позабытая могила. Покосилась оградка, покривился памятник, осело надгробье. Кое-какие буквы стерлись на памятнике, и уже с трудом можно разобрать, что в оном месте упокоился 1 августа 1953 года Владимир Иванович Орлов. Доктор филологических наук. В первые годы после его смерти приходили какие-то люди из его знакомых, обихаживали его могилу, выщипывали траву, кое-что подправляли. Бывал и я. Завозил на кладбище, когда еще можно было заехать, цемент, заделывал образовавшиеся щели, заливал раствором провалившееся основание оградки. Прошло больше 20 лет как закрыли это кладбище. И с того времени на нем не хоронят. Перестал туда народ ходить и лишь редко, редко можно увидеть одинокого человека. Вокруг могилы Владимира Ивановича выросла чаща тальников и низкорослых деревьев. Без усилий не продерешься. Но все равно. Как только сойдут снега и появится первая зелень, обязательно приду проведать старика. Может, в последний раз. Испокон веков поступают так люди. И делают такое не потому, что их влекут родственные связи, а по велению неподвластной нам силы. Ибо они (могильные холмики) воскрешают у живых воспоминания промелькнувших времен и спасительное душевное успокоение. Сколько таких могил тоскует на Таймыре, Чукотке, Магадане, Сахалине, Колыме и т. д. И растет их все больше и больше. Только в одной Дудинке «заселяют» уже третье кладбище. Умирает много. Особенно в пору демократической вседозволенности. Многих убивают, еще больше сами расстаются с земной юдолью, потеряв последнюю надежду на просвет в жизни. Ну и что! Печаль для живых. А мертвым-то все равно где быть. Хоронят, правда, везде по-разному. Одних торжественно с музыкой, других просто бросают как обрубки в землю, чтоб под ногами не мешали. Впрочем, лежать-то в земле всем придется одинаково долго. Только живым, у кого есть совесть, большой укор от такой несправедливости. Однако стоит ли сетовать за покойников. Сейчас и живые-то живут по демократическому закону: спасается в силу своих возможностей каждый.

В истории нашего государства много было мрачных «полос». Сплош-

ным черным полотном накрыли жизнь потерявшие рассудок (оборзевшие от данной воли) новоявленные «демократы» из бывших коммунистов, испохабив и без того страшное прошлое. В нашем веке свершились «великие потрясения», пролились реки крови, сгинули в изгнании миллионы людей, исчезло не одно сословие. Большие испытания выпали на долю народа. Но такого разгула преступности, захлестнувшей Российскую Республику и оторвавшей от великой державы удельные княжества во главе с бывшими секретарями КПСС, беспардонного ограбления народов, попрания человеческих прав, бед и несчастий, междоусобных войн, унесших неисчислимое число жизней в последнее десятилетие уходящего столетия, не было со времен татаро-монгольского ига. Да было ли и тогда такое? Мрачными эпизодами устлана дорога жизни. Поднимай любой и готова картина «Исчадье ада». Только память вопреки всему, продираясь сквозь мрачные тени былого, вытаскивает из самых затаенных глубин богоугодные дела и имена народных заступников, что вершили их. Ибо они, и только они, пробуждают в человеческих душах доброту и сострадание. Назойливая мысль не дает покоя: много ли найдется в наше время людей, способных на подобные поступки, что свершил начальник лагеря заключенных Василий Серов? Почему в те страшные годы сталинизма одни ради спасения других преступали железные законы тогдашнего порядка, расплачиваясь по самому большому счету, зачастую ценой жизни. А что же в нашем «сегодня»? Неужели обрушившаяся на многострадальный народ безграничная вседозволенность вытеснила из людей все человеческое, вселив звериную озлобленность, победить которую нет сил? Обрекла нашу нацию на физическое и духовное вымирание?

Твори, Господи, волю свою! Только искорени сатанизм, останови безумство, верни людям разум. Обрати на путь истинный!

7 декабря 2000 года

Новогодние трагедии

В небольшом городке на самой его окраине возвышается многоэтажный дом. Рядом с ним, за дорогой, построили невысокую деревянную церквушку. И с той поры каждое утро под звон колоколов собирается народ поклониться Господу да освободить душу от греховных уз. Большие грешники сюда не заглядывают: зачем им размениваться по мелочам. Каяться — так уж в настоящем храме.

Вокруг дома густо растут деревья и кустарники. Их когда-то посадили первые новоселы, приехавшие из далекого, холодного Заполярья. С годами деревья разрослись. Вершины берез и серебристых тополей поднялись до самой крыши, заслонив окна верхних этажей. В знойную летнюю пору прячутся в тень, под раскинувшиеся кроны, свободные от работы люди.

С ранней весны и до поздней осени здесь очень много детворы. Внуков привозят к старикам их дети, оставшиеся в Заполярье. Шум и гам раздаются до глубокой ночи. Словно в большом детском саду бегают ребятишки

стайками по дорожкам и тропинкам, протоптанным между деревьями. Тут им привольно, всегда тепло и солнечно. Но с наступлением осени детвору увозят назад, туда, где живут их родители. В ту далекую, северную сторону, где зима с лютыми морозами и шквальными ветрами кажется бесконечной, а мрак полярной ночи долго не пускает рассвет.

Ребятня очень нелегко расстается с этим местом, где никто не ограничивает свободу. Деды, хоть и надоедают им за лето сорванцы, отпускают внуков с неохотой: привыкли, да и жалко... Но что поделать? Немощные пенсионеры сами с трудом сводят концы с концами, живя на скудные пенсии, которые порой не выплачивают по несколько месяцев. Беспощадные реформы разорили их окончательно: кое-какие сбережения, скопленные на Севере, пропали. Где уж тут прокормить лишний рот? Да и детям присмотр родительский нужен.

С приходом осени здесь воцаряется тоскливая тишина. Особенно тягостно становится в зимнюю пору: дожди с мокрым снегом, слякоть, по дорогам переливаются холодные потоки воды, выбоины заполнены мутными лужами. По ночам северные ветры приносят холод. К утру на пешеходных дорожках и тротуарах появляется наледь — сплошное наказание. В такую погоду только крайняя нужда заставляет выходить из дому. Старики сидят у окошек и смотрят на грустные поля до самой темноты. И тянется неделя за неделей в беспросветном однообразии. Кажется, что застывший покой никогда не нарушится. Но все чаще раздается заупокойный звон церковных колоколов. Северяне умирают один за другим. Ушедших в мир иной провожают, у кого хватает сил, до самого кладбища. Нельзя по-иному: каждого усопшего все жители дома знали не один десяток лет. Безмолвно шествуют немноголюдные процессии. После похорон поминают. Скромно и бедно. Вздыхают печально: всех Господь приберет! Такова его воля! Ежедневно по несколько раз подъезжает к дому машина «скорой помощи». Одним помогают на месте, других увозят в больницу. И поползла лихая слава. Вместо «дома северян» стали называть многоэтажку «домом смертников». Прилепилось клеймо намертво...

Однажды, в канун Нового года, вечерняя тьма плотно накрыла землю. Погода совсем залютовала. Сильный ветер, крутя густо падавший мокрый снег, бил в окна, двери, засыпая проходы возле беседок, лавочек. За углами домов наносило сугробы. Улицы были пустынны. Ни одной живой души. Даже самая отчаянная молодежь укрылась в теплых закутках: разве станет кто стоять под мокрыми деревьями да смотреть на гонимые ветром темные тучи, низвергающие каскады воды и мокрого снега? И все же, несмотря на «свето¬преставление», жители дома готовились к празднику и нетерпеливо ожидали Новый год.

Но вот, незадолго до полуночи, словно привидение, из-за поворота дороги вышел человек. Вся одежда на нем была облеплена снегом. Возле угла дома остановился, немного постоял. Затем медленно, прихрамывая, пошел вдоль фасада, старательно обходя полузамерзшие лужи. Было заметно, что мужчина очень устал. Он часто останавливался, поднимал голову и смотрел на светящиеся окна. В этом доме он знал многих жителей, и его знали

все. Знали давно, еще по совместной работе в далеком Заполярье, где он был на виду, занимая высокие партийные и хозяйственные посты в большом коллективе портовиков. Он по заслугам имел большой авторитет. К нему и здесь относились так же уважительно, и только очень близкие люди называли просто Алексей.

С трудом дошел Алексей до своей квартиры. Дома никого не было. Супруга уехала к детям. Обещала возвратиться к Новому году, но помешала погода. Он зажег свет в прихожей. Неторопливо скинул промокшую насквозь одежду. Надел теплое белье, стянул с кровати одеяло, сел в глубокое кресло и, закутавшись, вжался в мягкую спинку. Стало теплее.

В комнате стоял полумрак. Только узкий луч света пробивался из коридора сквозь неплотно прикрытую дверь. Временами из разорванной ветром мглы пробивалась луна, и тогда ее бледный свет пробегал по полу, скользил по предметам и тут же исчезал. В комнате становилось еще темнее.

У Алексея болело сердце. Давно. С годами он к этому привык. Но сейчас оно болело по-особенному сильно. Пересиливая немого-ту, встал. Отыскал капли. Выпил двойную дозу. Снова сел. Постепенно боль утихла. Мысли потекли, перескакивая с сегодняшнего дня в далекое прошлое.

Вся его жизнь прошла в далеком Заполярье. Перебравшись в этот тихий, провинциальный городок, сразу же устроился на службу в большой научно-технический институт, где с первых дней нашел единомышленников и вскоре заимел друзей. Работал увлеченно, с удовлетворением, пока вихри безумных реформ не разрушили большой коллектив. И теперь второй год Алексей был безработным пенсионером. Когда становилось очень тоскливо — уходил в институт. Поговорить, поделиться новостями с прежними сослуживцами. Но у тех всегда было полно проблем, и душевных бесед не получалось. Он понимал их. Приходить стал все реже, потом прекратил совсем. Что тут поделать? Таков уж удел стариков. Пришлось смириться. Понемногу стал привыкать, и потекли в бесконечных раздумьях тоскливые будни.

Но сегодня, в последний декабрьский день, с самого утра задавила скука. Потянуло Алексея посмотреть на украшенные городские улицы, полюбоваться на елку на площади да заодно зайти поздравить бывших сослуживцев с Новым годом. Чтобы не докучать, он пришел в институт, когда день склонился к вечеру. Увиденное разочаровало его. В институте было полное запустение. Часть работников уволилась и перешла на другие предприятия, некоторые, более изворотливые, устроились в соседнюю мастерскую, где изготовляли гробы. С развитием реформ «домовин» требовалось все больше, и все больше становилось доходов у пронырливых предпринимателей.

Пройдя по длинным коридорам и не встретив знакомых, Алексей ушел. До позднего вечера бродил по городу. Возвращаться домой не хотелось: что делать одному в пустой квартире? Но погода становилась все хуже, и он поневоле отправился восвояси. Он уже подходил к повороту дороги, что вела прямо к дому, как вдруг увидел полулежащего на скамье человека. Тот, ухватившись руками за спинку скамейки, пытался подняться. Алексей

видел этого мужчину, когда шел из дому. Тогда он казался беззаботно отдыхающим. «Что с ним?» — подумал Алексей. Когда он поравнялся, мужчина рывком выпрямился и негромко застонал. Сначала Алексею показалось, что перед ним пьяный. Но внутренний голос подтолкнул: ну что предосудительного, если человек немного переборщил в предновогодний день? Надо как-то помочь ему, ведь замерзнет. Повернулся и, сделав несколько шагов, спросил: «Что с тобой?» Мужчина поднял голову и чуть слышно выговорил: «Сердце схватило!». Алексей подошел вплотную, достал таблетку валидола (всегда носил с собой). Видя, что у того нет сил даже руку поднять, сам затолкал лекарство в рот. «Что же ты раньше-то никого не позвал, ведь ты уже здесь давно? Я видел тебя еще днем, когда шел в город, — спросил Алексей и добавил: — Ложись на скамейку, а я позвоню в «скорую». Тут телефон недалеко, в проходной пекарни». – «Просил я, многих просил, только никто не подошел», — сказал мужчина и повалился на скамейку. Хотел поднять ноги, но не смог. Алексей приподнял ноги, но, чтобы развернуть больного на спину, не хватило сил. Как раз в это время мимо них проходила ватага подвыпивших парней. Алексей попросил: «Помогите, ребята, уложить человека. Плохо ему». Кто-то в ответ сбалагурил: «А бутылка будет, дед? Тогда не только перевернем, а на голову поставим». Все дружно засмеялись. «Да нет у меня бутылки», — ответил Алексей. «Ну, тогда катись, старина, к своей бабушке», — выкрикнул кто-то, и вся компания двинулась дальше, смеясь, перебивая друг друга, пересыпая каждое слово похабщиной. Алексей остолбенело смотрел им вслед. Через некоторое время подошла молодая пара. Алексей обратился к ним с той же просьбой. Кавалер надменно посмотрел на Алексея и брезгливо бросил: «Не хватало мне мараться о всякую мразь». Девица хихикнула, Алексей подошел к больному, собрав все силы, повернул его на спину и пошел звонить. Сообщив о месте нахождения больного, возвратился назад. Ветер пронизывал насквозь. Он промерз и чувствовал себя совсем плохо. Хотелось в тепло, но совесть удерживала: может, еще что потребуется? Как можно оставить умирающего? Да и найдет ли его «неотложка», когда приедет? Мужчина немного зашевелился и чуть слышно сказал: «Спасибо! Сейчас не многие так поступают, – И еще тише добавил: – Прости, что из-за меня у тебя столько хлопот». – «Ну что ты! Люди ведь мы!» — воскликнул Алексей, а у самого сердце сжимало все сильнее. Он присел на краешек скамейки. Не было сил даже говорить. А рядом, по дороге, спешили пешеходы. Многие оборачивались в сторону занесенных снегом стариков, один из которых лежал на скамейке, и, отвернувшись, уходили еще быстрее. Алексей мучительно думал: неужели никто не подойдет? Ведь видят, что нам плохо! Что произошло с народом? Куда пропали человеческое взаимопонимание, взаимопомощь? Какой недуг поразил сердце и разум людей? В смятении не находил ответа. И вдруг ему вспомнилось, давно было. И тоже шел последний день уходящего года.

...В далеком заполярном селении над занесенными снегом домами курились дымки. Печки топились с самого утра: холод стоял нестерпимый. Рассвет пробился мутный, серый. Торопливо пробегали редкие прохожие. Когда время перевалило на вторую половину дня, из небольшого балка (так

назывались домишки) вышел паренек лет тринадцати, Колька. Одет по-северному. Шубенка подпоясана кушаком, за него был заткнут небольшой топорик. Из-под нахлобученной на лоб шапки собачьего меха поблескивали озорные глаза. Осмотрелся вокруг, глянул на небо. Вскинул на плечо лыжи и пошел в сторону тундры. Он позавчера обещал принести в школу елочку, но из-за сильных морозов мать не пускала: «Далась тебе эта елочка! Кроме тебя принести, что ли, некому?». Сегодня, занятая приготовлениями к празднику, она не устояла перед просьбами сына и, махнув рукой, наказала: «Далеко не ходи да вертайся засветло». – «Ну что ты! Первый раз мне, что ли? Я и домой принесу маленькую», — сказал Колька и тут же, не разговаривая больше (а вдруг мать передумает), выскользнул за дверь. Выбравшись за околицу, надел лыжи и размашисто заскользил по снегу. Совсем недалеко от крайних балков стали попадаться торчащие из-под снега верхушки низкорослых елок. Но все они были малы и не пушисты. Хорошие поблизости не попадались. Видно, вырубили. Кольке хотелось отыскать самую лучшую. Ведь хвалился перед друзьями, да и учитель слышал его обещания: как можно не сделать? И весело, с какой-то залихватской удалью, летел он все дальше и дальше. Незаметно опустилась темнота. В конце декабря в этих краях светлого времени совсем мало. Остановился Колька на крутом берегу большого озера. Он бывал здесь и раньше, в летнюю пору, прибегал с ребятишками за ягодами. Это место было довольно далеко от дома. Елок вокруг росло много. Он каждую придирчиво осматривал. Наконец, выбрал. Сразу две. Они стояли рядышком. Колька разгреб снег и по-хозяйски (так учил отец) срубил их под корень. Связал бечевой. И, чуть передохнув, бодро поехал назад.

Мороз все больше и больше усиливался. Колька начал мерзнуть и, чтобы согреться, стал двигаться быстрее. Но мешали елочки. Из-за них он часто останавливался, поправлял и снова ехал. Ему уже виднелись на темном небосклоне далекие отсветы дудинских огней. Стало радостно и спокойно: теперь уже недолго. Но беда пришла нежданно. Спускаясь с крутого холма, Колька неосторожно развернулся и упал. Сломалась лыжа. Но самое плохое было не в этом. У него подвернулась нога. Резкая боль не давала возможности стоять. Он ползком выбрался из ложбины. Вытащил елочки и уцелевшую лыжу. Воткнул лыжу в снег и снова пополз. Елочки тащил за собой. У него и в мыслях не было их бросить. Он все еще надеялся доставить ребятам радость. Сколько времени так продолжалось? Трудно ответить. В какое-то время силы совсем оставили его. Колька от многих, а больше от отца, слышал, что заблудившийся в зимнюю пору в тундре человек выкапывает яму и зарывается в снегу. Тогда не страшны ему ни мороз, ни пурга. Он поступил так же. Забрался в приготовленное ложе, нагреб на себя немного снега. На большее не хватило сил. Свернулся калачиком и затих.

На всей земле раскинулась непроглядная ночь, черное небо осыпали звезды, и в недоступной высоте плескалось, переливаясь всеми цветами, холодное полярное сияние. Стояла звенящая тишина. Лишь изредка со стороны поселка раздавались паровозные гудки. Кольку охватил страх. Нестерпимо болела нога. Мороз пробирался по всему телу. Он попробовал

нагрести еще снега, протянул руку к снежному бугорку, но большего сделать не смог. Тело налилось свинцовой тяжестью, все сильнее охватывала дрема, боль в ноге начала стихать, пришел сон. Что же снилось Кольке? Возможно, переполненный школьный класс с такими же вихрастыми парнишками и сам он в их окружении? А в руках у него пушистая, только что срубленная, в снежном убранстве елочка. Сверкают на ней белоснежные узоры, и нет сил оторвать глаз от ее первозданной, чарующей красоты. Все радуются, а Колька больше всех. А может, снился их низенький домик и мать с блюдом испеченных к празднику пирогов? Может. Все может. Только он никому не расскажет, и никто не узнает. Время двигалось. Луна давно поднялась на самую высоту. И под ее бледным светом снежные бисеринки, чуть искрясь, плавно опускались на землю и на потертый Колькин кожушок. Дохнул северный ветер, столкнул со снежной кучи на Колькину шапку горсть сыпучего снега. И все. Кругом безмолвие и темнота.

А что же дома? Колькина мать забеспокоилась с наступлением вечера. Она часто выходила на улицу посмотреть, не видно ли где сорванца. Может, заигрался с кем? Очень тревожилась: на таком морозе долго не пробудешь. И всякий раз, выйдя за дверь и вглядываясь в темноту, корила себя, что отпустила сына в тундру. Наконец, не выдержала, пошла к соседке, у которой был сын — ровесник Кольки. Потом в другой дом, третий... Обошла всех соседей — Кольки нигде не было... Отец, Виктор, пришел с работы уже поздно. Узнав о случившемся, не раздеваясь, ушел в тундру на поиски сына. Возвратился глубокой ночью. Поглядел на собравшихся соседей и без слов опустился на скамейку. Все молчали. Кому-то пришла мысль: надо узнать в школе. Может, он там? Ведь за елкой он пошел для своего класса. Телефон был недалеко, в сторожевой будке магазина. Дозвонились быстро. Праздник в школе еще продолжался. Весть о случившемся встревожила всех. Директор после короткого раздумья позвонил в райком комсомола. Решение приняли сразу. Хлопали двери во многих дудинских домах. Бегали комсомольцы от одного к другому, оповещая о случившемся: ушел парнишка в тундру за елкой и до сих пор не вернулся. Нужно искать. Никто не приказывал, никого не уговаривали. Ближе к утру собралось около ста человек. Растянувшись цепью с интервалом в несколько шагов один от другого, двинулись от околицы в глубь тундры. Осматривали каждый кустик, спускались в ложбины, овраги. Ничего не пропускали. У некоторых были фонарики. Лучи от них проникали в заросли, убегали вдаль, порой взметались вверх. Разговоров не было, праздничное настроение развеялось в начале сборов. Все были строги, сосредоточены. Не много потребовалось времени, чтобы найти Кольку. Несколько комсомольцев одновременно увидели торчащую лыжу, от которой шел свежий след. Пройдя по следу, увидели связанные елочки и возле них чуть припорошенного снежной пылью Кольку. Его мало занесло. Ночь была тихой, безоблачной. Легкий ветерок поземкой чуть накрыл валенки да присыпал Кольку с боков. Комсомольцы сгрудились. Виновато переглянулись. Только ничьей вины тут не было. Колька замерз еще до того, как спохватились о нем люди. Немного постояли. Потом бережно подняли, осторожно положили и торопливо пошли в сторону селения. Только спешить уже было незачем.

...Все это высветилось в памяти Алексея с такой ясностью, что он забыл о своих недомоганиях. В голове проносились десятки подобных случаев, когда сообща оказывали помощь попавшим в беду людям, и делалось все бескорыстно, по велению долга и сердечной доброты. А что же стало сейчас-то? ЧТО? Почему люди сделались другими? Из навалившегося раздумья его вывел хрип больного. Тот уже был в бессознательном состоянии. «Хоть бы поскорее приезжала «неотложка», — подумал Алексей. Встал. И в это время увидел в конце дороги автомашину с сигнальными огнями. Превозмогая боль, подошел к обочине дороги и поднял руку. Машина остановилась. Из кабины вышла женщина: «Я врач! Вы вызывали нас? Где больной?». Алексей указал на лежащего человека. «Может, пьян?» — подозрительно и как-то сердито посмотрела она на Алексея. «Да нет же! С сердцем плохо», — ответил Алексей. Женщина подошла, присмотрелась и тут же озабоченно, с тревогой воскликнула: «О! Так это же наш давнишний знакомый, Степаныч. Два месяца лежал у нас, недавно выписали». Алексей про себя огорчился: «И чего пошел бродить с таким хилым здоровьем?». И тут же урезонил себя: «А сам что бродишь в такую непогодь?».

Женщина проворно возвратилась к машине и крикнула: «Мужики! Выходи!». Фельдшер с шофером принесли носилки. С трудом положили на них больного и затащили внутрь машины. Алексей спросил: «Ну, как он?» «Вряд ли в этот раз выживет. Несколько инфарктов перенес. Всю жизнь, как мы знаем его, работал в исполкоме. Много людям сделал доброго. Всем помогал. Только вот самого удача обошла. В Афганистане сына убили, в Чечне внук пропал, совсем недавно жена умерла. Вот он и ходит каждый день к ней на могилу», — сказала и отвернулась. Потом посмотрела на Алексея и спросила: «А вы-то кто?». «Да так, посторонний, — ответил он. «Может, подвезти, у вас вид тоже уж очень неважный?» — спросила врач. «Нет, не надо, — отказался Алексей. — Мне тут недалеко, всего несколько шагов, везите его скорее». Женщина ушла. Машина отъехала. Алексей побрел домой. Но осилить совсем короткую дорогу ему было не просто. Прошло уже много времени, как он пришел домой. Новый год давно вступил в свои права. Ветер стих. Народ понемногу угомонился. Из соседней квартиры неслась тихая, задушевная музыка. Она усыпляла, действовала умиротворяюще. Алексею хотелось отвлечься от пережитых волнений. Но горькое раздумье не отпускало его. Как могло случиться — думал он — что после безумного «демократического» переворота всего за несколько лет люди растеряли человеческий облик. Какой ржавчиной разъел их души демократический произвол? Почему идеология звериного капитализма с такой легкостью разрушила, казалось бы, несокрушимые социалистические бастионы, в создание которых вложено столько сил и человеческих жизней? И он, как многие, бескорыстно проработав не один десяток лет на высоких партийных постах, не сразу уразумел простую истину: идеологи коммунизма недопустимо долго вели все поколения в светлое завтра, чрезмерно много растрачивая народных средств на борьбу с непрекращающимся давлением внешнего бандитского американского империализма, и оттого слишком мало оставалось людям за их непомерный, подвижниче-

ский труд. Под влиянием разложившегося гнилого Запада в определенных кругах росло недовольство, чем и воспользовалась кучка политических и государственных извращенцев, ловко увлекла группу праздно болтающихся московских бездельников обещаниями в сытое и свободное от всяких моральных условностей «сегодня». Увела и тут же обманула. Почему же так легко поверило им большинство людей? И пошло за ними? Да все очень просто. Советская власть отгородила свои народы от всего мира «сплошным занавесом», сквозь который не видны были капиталистические мерзости. И вот теперь — мысленно подытоживал Алексей — это проклятое «сегодня», ввергнув все трудовые народы во вселенский апокалипсис, растянулось на долгие годы, убивая и растлевая души людей, все больше и больше раскручиваясь по нисходящей спирали. Кто остановит это падение? Чья рука укажет обманутым людям путь истины, добра и человеколюбия? Все настойчивее толкала мысль: выходит, что все мы шли не по той дороге и я свою жизнь прожил напрасно?

Что ж, Алексей! На твой вопрос ответит время! Но жизнь свою ты прожил достойно: сохранить чистоту души, высокую нравственность — это большой человеческий подвиг.

Где-то открывались двери, подгулявшие жители ходили по соседям, обнимались, поздравляли с наступившим Новым годом. Всем хотелось в эту новогоднюю ночь забыть тяготы постоянных житейских невзгод.

Эта история не придуманная. Я сам знал замерзшего Кольку, многих комсомольцев, принимавших участие в его поисках. Боже! Как же не похожа на них теперешняя молодежь! Знал Колькиных родителей. Они жили от меня через несколько домов. А с Алексеем вместе долго работал в Дудинском порту. Немного дружил. Приезжая в отпуск, всегда навещал его. Он с интересом расспрашивал о далекой и родной ему заполярной Дудинке. Сам делился новостями. В одну из встреч он с горечью рассказал про случай со Степанычем (как выяснилось, тот умер в ту же ночь на пороге больницы): ведь сколько людей проходило мимо, оказали бы помощь раньше, может и остался бы жив. Я молча слушал его и думал: у тебя самого-то в чем душа держится, а сокрушаешься за других. Не каждому дано такое: чтобы сострадать людям, переживать за них, надо самому много страдать. Несколько лет он тяжело болел. Постоянные мучительные боли надломили его духовную крепость, превратили в глубокого старца. Он понимал свое состояние, где-то в глубине его глаз проскальзывали печаль и смятение. Но я никогда не видел, чтобы он впадал в уныние. Последний раз, прощаясь с ним, я знал, что больше не увижу его. Хотелось пожелать что-нибудь доброе, утешительное. Пересилив себя, сказал: «Живи Алексей долго, долго, бесконечно! В следующий приезд вместе пойдем в баню (он раньше любил париться)». Немного помолчав, собравшись с силами он ответил: «Нет! Не хочу! Самое страшное наказание для человека — это бессмертие. Ведь рано или поздно он останется один, и тогда жизнь его потянется в бесконечном томительном одиночестве». Чуть улыбнувшись, добавил: «А баня? Что ж! Это хорошо!» Я понял, что ему невыносимо тяжело, и он очень устал. Вечного на Земле нет ничего. Все проходит. Остается только ПАМЯТЬ.

Память — самый бесценный дар богов, венец человеческого разума, связующая нить времен. Она беспристрастно ведет по подземельям давно ушедших лет, сохраняя и воспроизводя в сознании людей канувшие в лету события и явления. Уходят столетия, уходят люди, но память цепко держит деяния добрые и еще крепче богопротивные поступки. Она не только хранит, но и учит. Сквозь века переходят чудотворные иконы с ликами Христа и Богоматери, призывая к всепрощению, любви, оказанию помощи бедствующим, послушанию и уверованию в жизнь вечную, полную радости и ликования, врата в которую раскрыты праведным людям. Память никогда не отпустит поступок Иуды Искариота. Нет большего преступления, чем предательство сына Божьего. Казалось бы, лучше забыть его. Но нет! Поступок Иуды память хранит не столько для того, чтобы на его примере люди смогли изобличать ему подобных, а чтобы самим не стать такими. К сожалению, в наше время духовную нравственность все больше и больше поражает самая страшная болезнь — равнодушие. И парадокс: молящихся увеличивается, но истинно верующих, «живота не пожалевших за други своя», становится меньше. Потому дела достойные, без корысти сотворенные, обретают высокий духовный смысл и свет их разгорается ярче во тьме мирской. Надо верить, что расступится темнота. И пусть нескоро, но обретут люди умиротворение — это надо всем. Ведь счастье не в том, чтобы безмерно разбогатеть, а в том, чтобы как можно больше отдать своего душевного тепла. Большое благо собирается малыми крупицами. Как хорошо вспоминать, что в жизни твоей были люди, творящие добро, не ведая об этом!

Пусть будет благословенна память твоя, Алексей, и людям, тебе подобным!

Эти драматические события всплыли в моей памяти на торжественном собрании, организованном в честь 80-летнего юбилея комсомола. Его вместе со всей страной отмечала дудинская городская общественность. В окружном Доме культуры народ заполнил весь зал. Тут были представители всех поколений и возрастов. Съехались бывшие партийные и комсомольские работники из городов и поселков Таймыра. Словно в прежние советские времена, 10–12-летние ребятишки бегали между рядами и раздавали участникам форума газеты, какие-то брошюры, листки со стихами и прочую литературу. Звучала музыка и песни прошлых лет. Артисты художественной самодеятельности не сходили со сцены. В небольших промежутках между представлениями выступали заслуженные ветераны комсомола: делились воспоминаниями о делах таймырских комсомольцев, а также всей страны. Активными помощниками конферансье данного мероприятия были бывшие секретари комсомольской организации Дудинского порта: Федюшин Василий Яковлевич и Дельхман Василий Васильевич. Прошло около 20 лет с их комсомольской поры. Они уже много лет возглавляют большие и ответственные отделы в структуре Дудинского порта. Как и преж¬де, это самые уважаемые люди не только среди портовиков и дудинчан. Они известны далеко за пределами Таймыра во многих местах Красноярского края. Их трудолюбию можно только поражаться. Во время беседы кто-то поинтересовался: «Что вам помогает в жизни и работе?» Оба ответили оди-

наково: «Комсомольская закалка». И это была правда. Они всегда были на виду у всех. По их инициативе собирались комсомольцы в нерабочие дни на субботники и воскресники заниматься уборкой причалов и складских площадей в начале навигационной страды. Вечерами, облачившись в рабочую спецодежду, встречали на железнодорожной станции комсомольские «десанты», направленные из Норильска на помощь портовикам. В самые напряженные дни, когда дорог был каждый час, они не только занимались организацией комсомольских починов, а вместе со всеми работали на самых тяжелых работах.

Однажды, в самом начале восьмидесятых годов, комсомольский «десант» норильчан во главе с Федюшиным Василием работал на лесобирже. Дружно и весело трудились молодые парни с девчатами, разбирая завалы из обломков бревен, нанесенных вешними водами, раздалбливали неоттаявшие кучи корья. Что говорить? Тяжело. У лесников нет легкого труда. Видно было, что устали ребята. Я про себя подумал: «Корчагинцы!». Глубокой ночью после окончания трудовой вахты комсомольцы пошли на железнодорожную станцию, чтобы уехать в Норильск.

Вместе с ними шел и Василий Яковлевич. Когда он поравнялся со мной, я остановил его и сказал: «Уже два часа ночи, а ты с восьми вечера вместе со всеми таскал то бревна, то носилки с грязью. И первым после перекуров начинал работать. Зачем так?» Вася ответил просто: «Я же первый секретарь самой большой в Дудинке комсомольской организации. Что скажут обо мне, если буду отлынивать? А к тому же еще очень молод. А молодость должна работать на предстоящую старость. Так то» Я посмотрел в его чистые глаза и сказал: «Юноша ты! А уже умный!» И с тех пор так и повелось, обращаюсь к нему в одной форме: «Привет, юноша! Как здоровье?».

В самые тяжелые времена такие люди поднимали целину, строили Днепрогэс, Магнитку, БАМ, Норильский комбинат. Хотя самые трудные годы заполярного гиганта пришлись на долю заключенных, но первые дороги вглубь тундры к ее богатствам проложили коммунисты и комсомольцы. Сейчас зачастую можно услышать насмешки в адрес бывших передовиков за их труд, энтузиазм, одержимость. Хочется пожалеть юмористов: вы никогда не станете такими и не познаете переполняющего душу счастья, что приходит к людям только в благородной борьбе и честном труде.

В годы перестройки трусливый болтолог, лидер КПСС Мишакомбайнер, на встрече с норильчанами (приезжал в наши края вместе со своей супругой, и на Кайеркане весь эскорт автомашин был задержан перекрывшей дорогу толпой рабочих, отчего с леди Раисой стало дурно) обратился к рабочим с призывом: «Вы давите на руководителей и директоров снизу, а мы (т.е. он со своим окружением) будем прижимать их сверху (что может быть абсурднее?). Какой поток грязи хлынул после горбачевского обращения со стороны злопыхателей, клеветников, озлобленных тунеядцев на руководителей всех рангов. Травили людей честных и справедливых. Попал под это «колесо» и Василий Яковлевич Федюшин, в то время работавший начальником района. Сколько комиссий из партийных, вышестоящих служебных органов перебывало в его хозяйстве с ревизиями, про-

верками, обследованиями. Причем «сыскные дела» велись с обвинительным уклоном против Василия Федюшина (надо же угодить вышестоящим начальникам, коль сам Горбачев М. толкает к «решительным действиям»). Ничего не смогли отыскать: не было нарушений. Но только один Василий Федюшин знает, какое терпение потребовалось, чтобы с достоинством отвести все наветы (написанные в доносах только одним человеком). Сколько нервов, здоровья ушло на эти глумления. Все перенес. И здесь проявилась комсомольская стойкость.

В разгаре торжества меня тоже пригласили на сцену. Как-то узнали что я в 40–41 гг. был комсомольцем. Пришлось поделиться воспоминаниями. Закончив говорить, отошел и встал рядом с Василием Яковлевичем. Глядя в переполненный зал, все время думал: зачем этот юбилей? Может, всего-навсего только реквием по уничтоженному указом Ельцина молодежному движению? Тогда нужно ли тратить столько сил и средств на его тризну? Если данное мероприятие государственного замысла направлено на объединение молодежи, сплочение на борьбу с надвигающимися пороками так называемого «цивилизованного» мира, то помоги, Господь, зачинате¬лям этой затеи в их благородном порыве. Но в голове была горькая смута: ничего никто не сделает. Режим, установленный Ельциным, не допустит возрождения прежних традиций. С грустью смотрел на украшенных орденами, поседевших, несгибаемых и никогда не стареющих комсомольцев. И вдруг осенило: они не нуждаются в жалости! Это самые счастливые люди. Они испытали в жизни ни с чем не сравнимое удовлетворение: они всегда были первыми в огне боевых и трудовых побед.

Несколько дней после всеми забытого юбилея тоскливое чувство не покидало меня за теперешнюю молодежь, в дискотеках, пьянке, наркомании прожигающей свои лучшие годы. Неужели на смену придет поколение бездельников, корыстолюбцев, бессердечных людей. Ну, какая тогда станет жизнь? Слава богу, меня, наверное, в это время не будет. Безрадостное будущее ожидает всех. Никого не выделяю, ни богатых, ни бедных. Ибо одни будут постоянно дрожать от страха за награбленные у народа богатства, другие с неизбывной думой как бы выжить. В нашем мире все перевернулось. Господь помутил разум людям. У всех один бог: деньги. И как верх самодовольства (голубая мечта) – американские доллары. Все покупается, все продается. Дружба, любовь, работа отброшены на задворки. Честь, совесть, патриотизм стали понятием для слабоумных. Странные и необъяснимые катаклизмы. Народ, отдавший тысячи лучших человеческих жизней для свержения самодержавия, одержавший победы над империалистами всего мира, превративший за три десятилетия неграмотную лапотную страну в самую образованную державу мира, победивший фашизм, восстановивший послевоенное разрушенное хозяйство в небывало короткий срок, первым покоривший космос, теперь унижен и повержен.

Как объяснить, что самая гуманная и справедливая идеология социализма стала мишенью для насмешек и оскорблений? Есть ли для этого причины, и кто виновен? Причин нет. А виноваты во всем руководители коммунистической партии. Главный виновник развала содружества социалистических

стран, предавший коммунистическую партию, — Горбачев Михаил Сергеевич и ближайшее его окружение. Чего только о них не говорят в народе (правда сейчас меньше). И что же! Бывший генеральный секретарь КПСС Горбачев М.С. становится почетным гражданином Германии. Страны, которая в течение четырех лет зверски уничтожала наш народ, грабила и разоряла советские города. За его дела содеянные империалистические воротилы почетного гражданина Германии награждают Нобелевской премией: «За большой вклад в дело укрепления, мирного сосуществования». Надо же! То-то с первых дней развала СССР и стран социалистического содружества громыхают войны на всей планете. А «миротворец», у которого, словно у трусливого дитяти игрушку, отобрал власть Ельцин для окончательного разорения народа и полного закабаления России иностранным капиталом, радостно разъезжает по всему миру и на пирушках демократического толка он желанный гость. Вот это непонятно: предателей никогда не уважали даже в стане врагов. Только однажды, в период президентских выборов, нашелся истинный патриот и треснул кулаком Михаила Сергеевича по шее. И за этот поступок герою рукоплескал весь трудовой народ. И только?! Разве такого наказания заслуживает этот проигравшийся болтолог и бессовестный предатель? «Деяния» этого подонка не подлежат сравнению с поступком Иуды, ибо тот предал только одного человека (Христа), а наш «Мишка Меченый» народы огромной державы изменой и предательством выдал на растерзание американо-израильскому сионизму. А что же 20-миллионная партия коммунистов не оказала никакого сопротивления надвигающейся западной заразе? Этот вопрос будет долго мучить политиков и идеологов, пока умные и смелые дадут правильный ответ и соответствующую оценку. А пока? Коммунистическая элита доедает самих себя. А те, что «перевернулись и прыгнули на демократическую площадку», стали самыми ненасытными собственниками, и награбленное без боя не вернут.

Не просто так Чубайс А.Б. угрожал, да и Немцов тоже, что если власть снова станет советской, то начнется гражданская война. Может, этого и боятся лидеры коммунистов. Была уже такая война, когда большевики взяли власть и национализировали собственность российских буржуев. Почти четыре года лилась кровь: никак не хотели расстаться с награбленным у народа добром наши дворяне и помещики. На помощь позва¬ли весь империалистический мир. Не получилось. И не могло получиться: коммунисты в те годы были едины с народом. По-другому поступают нынешние «коммунисты». У них нет истинного желания оправдать собственную историю, защитить историю советского народа от клеветнических извращений, несправедливых нападок всеми службами «демократического» режима. Все охаяли и охамили сторонники «демократии». Особенно усердствуют перевернувшиеся члены КПСС, в прошлом наиболее активные проповедники социалистической идеологии. Потому не надо насквозь проамериканизированному Чубайсу А.Б. беспокоиться, равно как и Березовскому Б.А. пыжиться по закрытию коммунистической партии: теперешняя КПРФ уже не стоит на коммунистическом фундаменте и никакой гражданской войны между богатыми и бедными не будет. Война с первых дней «демокра-

тизации» идет между ожиревшими воротилами за раздел собственности. Большинство же лидеров КПРФ окапитализировались много больше, чем умеренные демократы. Они совсем не похожи на большевиков 17-го года, у которых кроме худых ботинок да потертых костюмов ничего не было. Те не шли ни на какие компромиссы с идеологическими противниками. Подругому поступают нынешние «коммунисты»: как объяснить тот факт, когда во время мучительного импичмента президенту Ельцину второй по значимости «вождь» КПРФ Селезнев подобострастно наклоняет голову, чтобы на его шею сам Борис Николаевич повесил орден за заслуги. Какие? Перед кем? Главным громилой, постоянно пьяным хулиганом. Ведь даже один из самых ревностных разрушителей социализма Солженицын А.И. постеснялся принять такой же орден из рук этого антинародного правительства. Или Аман Тулеев. Обиделся, что не приняли в первую тройку лидеров КПРФ и переметнулся на сторону идеологических противников. Можно обижаться на подобные неудачи, но при чем же социализм? Значит, в душе-то не было коммунистических идеалов. А Бабурин Сергей. Такой же карьерист.

Подобные фамилии можно перечислять без конца. Так и напрашивается желание посоветовать коммунисту Зюганову Г.А. и К* принять справедливое решение: переименовать КПРФ в партию демократического, а лучше либерального толка наподобие блока Жириновского, или же отойти от руководства, может, найдутся более решительные единомышленники истинно коммунистической идеологии. А пока ничего утешительного: комсомол вместе с коммунизмом надолго канул во времени. Ибо самостоятельно комсомольское движение не поднимется, а организовать уже некому. Так что восьмидесятая годовщина комсомола, скорее, достойные поминки, чем юбилей торжества идей добра и справедливости. А народ? Молчит. Иногда, доведенный голодом до крайности, взбунтуется. И то ненадолго. Почему же так? Да потому что за 70 с лишним лет с такой силой уверовал в силу коммунистической системы, ее непогрешимости, что по-другому и действовать не может. Все ждет, что КПРФ поставит страну на прежний путь. А коммунисты давно пристраиваются к капиталистическим устоям жизни, иногда критикуют кое-какие перегибы, но на большее не идут. Продолжительность ельцинского правления объясняется не тем, что Ельцин мудр и сильный правитель (совсем наоборот: он трусливый самодур, недалекий политик, непросыхающий пьяница, больной властолюбец), а тем, что все оппоненты и противники, в первую очередь коммунисты, слабы и трусливы. От социализма неразграбленной осталась всего-навсего земля. Как только продадут ее в частное пользование, крепостное право вернется в своем первозданном виде, с той лишь разницей, что оно будет не наше, русское, а американо-израильское. А вот уж от этого ига разговоров о жалости никому не дождаться. В этой «бескровной- контрреволюции, свершенной членами КПСС с партийными билетами коммунистов, которая и по сей день не может закончиться, победителей нет. И не будет. Трудовой народ не только России, а во всех бывших республиках СССР, ограбили и в одночасье превратили в нищих. На память приходят стихи НА. Некрасова:

ВОЛГА! ВОЛГА! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.

А номенклатурные коммунистические воротилы, незаконно обогатившиеся, ничего кроме страха не приобрели: если из своей волчьей стаи друг друга не прибьют, то из ограбленного класса найдутся обозленные и учинят либо погром, либо имение сожгут. При советской же «диктатуре» у них всего хватало с избытком и бояться им не было необходимости: обанкротиться их «заведениям» система не позволяла, а если что-то подобное и происходило, так для номенклатурщиков и партийных боссов подыскивалась «работенка», порой более привлекательная. А баснословные прибыли от распродажи богатств, накопленных советским народом, в сегодняшней реформаторской «страде» гребут американские и израильские магнаты и иже к ним прилепившиеся все те же бывшие «коммунисты». Все глубже вгрызаются в землю российскую. Нет предела ненасытности. И ничто их не остановит. Таких сил нет. Может, олигархи и миллиардеры всех мастей перебьют друг друга? Ведь в озверелой грызне пощады между ними не бывает? Вряд ли. Не все же они душевнобольные... Каких чудес не знает история. Но такого переворота, что произошел с социалистической системой в России, еще ни в одной стране не бывало.

Что ж! «Лавры» изменников Родины и разрушителей когда-то могущественной державы принадлежат безоговорочно и навечно не поделившим власть закоренелым «коммунистам» Горбачеву М.С. и Ельцину Б.Н.

25 октября 1999 года

Круг безысходности

Зима в последнем году уходящего тысячелетия выдалась на Таймыре суровой. Морозы начались с осени, а в декабре достигли нетерпимой лютости. В редкие дни ртутный столбик поднимался выше 40 градусов. Случалось, целыми неделями, особенно в ночную пору, опускался за 50 градусов, а то и больше. Тяжело в такую погоду людям. Холод обжигает лицо, перехватывает дыхание, а вокруг только стужа, да непроглядная темень. Еще терпимо, когда нет ветра. А если задует с севера или востока, пусть небольшой ветерок, то жизни не рад, очутись ненароком в пути или даже небольшом переходе. Трудно непривычному человеку работать в таких условиях на открытых местах. Но жизнь не прекращается ни в какое время. На причалах Дудинского порта работы ведутся непрерывно. По-иному нельзя: надо постоянно отгружать грузы, товары в Норильск. Заводы, где выплавляют металлы, работают без всяких перерывов: такова технология. Потому никаких срывов в обеспечении нужными материалами металлургических производств недопускается. Приходится докерам приспосабливаться. Во время работы в таких холодах рабочие следят друг за другом, при малей-

шем обморожении оттирают прихваченные места. Через каждые полчаса идут в теплые курилки для обогрева. Больше всех хлопот и неприятностей в такое время выпадает на долю начальников грузовых подразделений и участков. Им приходиться всегда находится на местах погрузки: не приведи бог, если кто обморозится, да еще серьезно. Весь спрос начинается с них. Вот и торчат они на погрузочных площадках возле рабочих, свои же служебные да бумажные дела решают по вечерам, иногда допоздна. Однажды начальник лесобиржи задержался в своем рабочем кабинете задолго после окончания рабочего дня. Впрочем, никакого дня (светлого времени) в третьей декаде декабря на Таймыре не бывает. Так, проклюнется в середине смены короткий серый рассвет с растворившейся снежной пылью в могильном холоде и тут же все затянется беспросветной темнотой. Контора давно опустела. Служащие разошлись по домам. Управившись с делами, начальник участка тоже собрался уходить. Но в это время услышал, как кто-то прошел по коридору в соседнюю с его кабинетом бытовую комнату. «Кто бы это мог быть?» — подумал он и, немного помешкав, пошел узнать. В открытую дверь он увидел: склонившись к водопроводному крану, стоял человек и пил воду. Подошел поближе. Но рассмотреть лицо человека не смог. Оно было закрыто башлыком. «Ты зачем здесь?» — спросил начальник. Незнакомец выпрямился, чуть повернувшись. Сквозь прорези были видны глаза и губы. «Попить зашел. Можно?» — спросил незнакомец. «Пей сколько хочешь», — сказал начальник. Когда тот снова наклонился к крану, начальник обратил внимание на небольшой рюкзак, закрепленный на спине. Так обычно делали рыбаки, возвращаясь с рыбалки. Подумал: «Неужели в такую погоду этот смельчак отважился сходить на Енисей проверить рыболовные сети?» От этих мыслей изморозь прошла по коже. Он хорошо знал, что ловилась рыба далеко от причалов. Поблизости рыбалка не удавалась: рыбы не было, ее отпугивали шум пароходных винтов да треск ломаемых льдин ледоколами.

Своих он знал всех. А этого, тем более с закрытым лицом, опознать не мог. Когда незнакомец утолил жажду и повернулся, начальник спросил его: «Неужели ты ходил сети проверять в такую пору? Ведь замерзнуть недолго». Незнакомец отстегнул пуговицу на башлыке и отвел от лица отворот. Стало заметно, что у него приморожен конец носа. «Да нет. Не рыбачил я. А иду от Потапово. Там мы с напарником, Иваном звать, в местечке Никифорове вдвоем живем. Он остался, а я вот пошел проведать свой дом, да брата навестить», — сказал незнакомец. «Так ты что, пешком прошел больше 90 км?» — спросил начальник. Он бывал в Потапово и знал, где оно находится. «Не пешком, а на лыжах», — ответил незнакомец и кивнул головой в сторону. Начальник увидел, что к стене были приставлены короткие, приспособленные для хождения по снегу лыжи. Услыхав от незнакомца о его «безумном марафоне» (иного определения трудно подобрать) начальник был просто обескуражен. «Возможно ли такое? — подумал он — пройти от Потапово, а тем более Никифорова, которое где-то еще в стороне (про него начальник вообще не слыхал), до Дудинки в такой мороз?» И он решил более подробно расспросить пришельца. «Как тебя зовут, расскажи

про свое «хождение» да житье-бытье в вашем Никифорове? — спросил начальник. — Да заодно и обогреешься». «Зовут меня Андрей, а по фамилии Григорьев. Иду я сейчас в Норильск на «пятнашку» (так в простонародье прозвали исправительно-трудовую колонию № 15 в Норильске). Там мой брат в заключении. День рождения у него, несу подарок — несколько рыбок — плохо там их кормят», — сказал Андрей и замолк. Начальник много видел самоотверженных поступков, но такого... пройти по лютому морозу в сплошной темноте такую даль, как-то не укладывалось в голове. «Руки, ноги ты не обморозил?» — первое что мелькнуло в голове начальника. «Да вроде бы нет, устал только», — ответил Андрей. «Снимай быстро унты», — сказал начальник и тут же подумал: — Придется вызывать «скорую помощь». Не верилось, что, пройдя столько верст по такому холоду, можно отделаться только обмороженным носом. Андрей разулся. К великому удовлетворению обоих ноги оказались целы. Только во время раздевания начальник увидел на мизинце левой руки большой волдырь. От навалившейся усталости Андрей заметно обмяк. «Ну, куда ты сейчас пойдешь?» — сочувственно спросил начальник. «Мне бы до Кайеркана добраться, там мое постоянное место жительства, гостинка есть», — ответил Андрей. «Ты хоть что-нибудь ел сегодня?» — спросил начальник. «Утром уху похлебал», — сказал Андрей и проглотил слюну. Видно было, что он очень проголодался. После небольшого раздумья начальник сказал: «Вот что, Андрей! Ты сегодня никуда не ходи. Замерзнешь в дороге. Сейчас раздевайся и до утра пережди здесь в нашей конторе. А утром будешь добираться до Кайеркана. Мешочек с рыбой положи между рамами. При таком морозе она не растает», — сказавши это, ушел к себе в кабинет и, позвав дежурного мастера, попросил: «Вот что, дорогой. Сбегай в магазин, тут он недалеко, знаешь где, купи булку хлеба, да какую-нибудь банку консервов. Человек совсем голодный и обмороженный. Надо покормить. Бери вот деньги и беги. Молодой. Быстро обернешься. А я пока за тебя поруковожу». Когда Андрею принесли снедь, от удивления его глаза заблестели и он произнес: «Хлебушко, как давно я не ел хлебушка».

История Андрея до глубины души заинтересовала начальника, и он решил прийти на следующий день пораньше, чтобы до прихода рабочих и служащих расспросить его в спокойной обстановке. Рано утром, когда в конторе еще никого не было, начальник сразу же зашел в комнату где ночевал Андрей. Тот уже сидел на стуле и доедал остатки хлеба. «Как поспал?» — спросил Андрея. «Спасибо, хорошо выспался», — ответил тот. «Заходи ко мне как поешь», — сказал начальник. Когда Андрей на негнущихся ногах (пройти почти сто километров на лыжах по такому «звериному» морозу это не фунт изюма съесть) еле зашел, первое что подумал и тут же спросил начальник: «Как же ты пойдешь, ведь еле ноги передвигаешь?» «Ничего, мне только немного поразмяться и все будет в норме», — ответил Андрей. «Далеко тебе до нормы», — подумал начальник и обратился к Андрею: «Расскажи хоть вкратце, как вы туда попали, как живете и почему решил отправиться в такой путь, ведь на это может толкнуть только безысходность?» Чтобы как-то вызвать Андрея на откровен-

ность добавил: «Зовут меня Алексей Николаевич! Можешь разговаривать со мной по-простому».

Горькая история жизни Андрея была не длинной. «Живём мы, — начал повествование Андрей, — в местечке Никифорове, 10 км в стороне от Потапово вдвоем с Иваном скоро два года. Как только он освободился из заключения из «пятнашки», пришел ко мне — некуда ему было податься. В «общагу» не пускают. На работу нигде не берут. Мы с ним много лет были раньше знакомы. В коммуналке на Кайеркане работали». «А за что его на «пятнашку» загнали?» — спросил Алексей Николаевич. Насмотрелся он в подобных «пятнашках» на разного рода «посидельцев». И спросил об Иване ради любопытства. «По пьяной лавочке, — ответил Андрей, — в забегаловке к нему трое «ухморей» пристали, ну он и двинул одного по морде. Всю скулу разворотил, да еще голову повредил. Силища у Ивана непомерная. Тот пролежал три месяца в больнице, а Ивану два с половиной года вкатили. А как подошла пора ему выходить на свободу, моего брата засадила жена на целый пятерик. И сидит мой Никола уже третий год. Иван как ко мне пришел, обо всем рассказал по порядку. Я тоже к этому времени оказался безработным. Сократили. И работы нет нигде. Много нас таких. Посоветовались мы с ним и решили податься куда-нибудь в тундру, чтобы обосноваться где-то возле озера или самого Енисея. Заняться рыбалкой или охотой. Время было теплое. Приобрели пилы, топоры, еще кое-какие инструменты, и не раздумывая, двинулись. Доехали до Дудинки, а оттуда подались к Потапову. Недалеко от поселка нашли заброшенную заимку, а потом из плавника срубили избушку, а рядом баньку. И хоть неважно, но жить стало можно. Рыба ловилась хорошо. Сдавали ее в потаповский магазин на хлеб, соль, спички и т.п. Через полгода я съездил в Кайеркан, договорился со скупщиками и дело совсем наладилось. Они нам продукты, кое-какие товары. Мы им рыбу. Скучная жизнь. Но зато никто не тревожил, да и голода не чувствовали. Только вот последний раз нас здорово обманули. Месяца четыре назад приехали знакомые (много раз у нас бывали) перекупщики, забрали все что было, а нам ничего не дали. Ска¬зали, что через три дня рассчитаются. Да так до сих пор ни слуху ни духу. А у нас ни хлеба, ни спичек. Я терпел, терпел, мочи не стало. А тут еще вспомнил, что брату Николе день рождения подоспел и решил пойти. Уговаривал Ивана. Отказался он. Буду, говорит, тебя дожидаться, только возвращайся скорее. Вот и весь сказ мой», — закончил Андрей. Наступила тишина. Нарушил её Алексей Николаевич: «Ну, а дальше что будешь делать?». Андрей ответил: «Побуду денек в Кайеркане, а там пойду к брату на «пятнашку». Гостинчик передам – плохо там». Алексей Николаевич был хорошо знаком с подобными «пятнашками» и потому переспрашивать об этом не стал.

Поинтересовался только: «Ну, а как твоя гостинка в Кайеркане? Ведь из-за долгого отсутствия и неуплаты могут заселить?» – «Не должны отобрать. Там живет в ней племянник, сын моего брата. От матери ушел. Пьет она беспробудно. И брату жизнь сломала. Из-за нее, стервы, попал он в тюрьму», — ответил Андрей. Спрашивать дальше было не о чем. И этого было достаточно понять, что Андрей один из тех миллионов горемык, ко-

торых выбросила из жизни волна «демократического» разгула. «Тяжелая жизнь, — подумал Алексей Николаевич, — но есть люди, которым еще хуже. Знал он об этом очень хорошо: на городской свалке, недалеко от Дудинки, нашла свой «приют» целая группа «бомжей». Распределили свалку на участки каждому и никаких новых пришельцев не принимают. Стоят и дерутся за свою «собственность» намертво. Порой возникают скандалы и промеж них, обычно при дележе отбросов. Но быстро стихают: «свой же». Настроили лачуг от ветра и, пока летняя пора, обитают там. Когда же наступают холода, перебираются в город, в коллекторы или на крыши домов. Не долго тянется такая жизнь. Многие умирают. И хоронят их как бездомных бродяг, разоряя и без того небогатый городской бюджет (хотя Дудинка и Норильск являются наиболее благополучными городами нашей разорившейся республики). А сколько таких бедолаг по всей нашей стране: беспризорников, бездомных стариков, потерявших собственные квартиры за неуплату или по другим причинам. И никому до них нет никакого дела, тем более заботы.

Алексей Николаевич, испытавший в давние годы много неприятностей и похлебавший немало лагерной баланды, хорошо понимал представителей этой категории. Сам бывал таким. Выбрался. В те времена бродяг и тунеядцев «отлавливали» (хлопотное это дело) и предоставляли им хоть какую-то работу, ну а кто уж совсем не хотел работать, заставляли и принудительно. Как рассудить? Хорошо это или плохо? Только с голоду и на морозе не умирали. Сейчас прежнюю постановку дел «демократическая» пресса с правозащитниками типа Ковалевых и т.п. считают грубейшим «нарушением прав человека»: «пусть каждый живет как хочет (а те, что роются в помойках или побираются), это их законное право. И не мешайте им». Впрочем, что бы кто ни написал о реальной жизни, она все равно будет страшнее. Глядя в лицо умолкшего Андрея, Алексей Николаевич думал: «Не вырваться тебе из этого круга безысходности, потому что помогать никто не будет. Никаким властям ты не нужен. Пока есть силенки, днями будете с Иваном рыбачить, а ночи коротать в своей избушке при свечах или лучине, а уж как смерть придет — и хоронить-то некому будет. Звери сожрут».

После некоторого молчания Андрей робко попросил: «Алексей Николаевич. Может, у вас найдется местечко куда лыжи положить. По дороге до Кайеркана все равно придется идти пешком. Тащить же их на себе тяжело, да и нет надобности. А на обратном пути я их заберу». «Ладно, — сказал Алексей Николаевич, — лыжи твои мы сохраним. Отдашь их кладовщице, она скоро придёт. А когда вернешься, возьмешь их в любое время. Только дойдешь ли ты до Кайеркана? Ведь это 70 км. Ты сейчас здесь-то по полу еле ноги передвигаешь. Может, тебе на автобусе доехать? Деньги на билет у тебя найдутся?» – «Нет у меня ни копейки, пойду пешком», — сказал Андрей. «И чего зря спрашивал, ведь так видно, что у Андрея гроша ломаного не было», — укорил себя Алексей Николаевич. «Ну, вот что? Не пропадать же тебе», — сказал Алексей Николаевич и, достав из кармана сторублевую купюру, протянул Андрею со словами: «До автобусной остановки тебя довезут на Кразе (я сейчас скажу, ребята наши тебя подбросят), а оттуда на ав-

тобусе доберешься до Кайеркана. На билет этих денег хватит, а дальше уж как судьба тебе обернется. Ступай себе с Богом», — закончил Алексей Николаевич. Ему до невозможности стало жалко этого совсем еще нестарого бедолагу. Так уж создан человек: чужая боль сильнее ранит душу. Андрей взял деньги и, немного оправившись от неожиданности, тихо произнес: «Я отдам долг как вернусь. А если что, то возьми лыжи». Алексей Николаевич усмехнулся. Он 40 лет, а может, и больше никаким видом спорта не занимался. Сказал Андрею: «Не надо! Не возвращай долг. И лыжи, как вернешься, забирай без всякою выкупа». В конторских кабинетах на втором этаже и бытовке внизу становилось все шумнее. Работники приходили на работу. Андрей вышел в коридор. К нему подошел звеньевой грузчиков и подал сверток с едой. Еще с вечера рабочие узнали про Андрея, голодного и обмороженного, его почти стокилометровый переход по безлюдной тундре, и утром принесли один хлеба, другой кусок мяса, еще что-то (лесники народ душевный). Андрей не находил слов как поблагодарить и только прослезился. Через полчаса на грузовике его увезли к автобусной остановке.

Прошло больше четырех месяцев, но Андрей так и не появился. Стоят его лыжи. Широкие, короткие изготовленные для хождения по снегу, дожидаются хозяина. Вернется ли только? Как сложилась у него жизнь, добрался ли он до брата, что отбывает срок на «пятнашке». Жив ли в затерянной избушке его приятель Иван, оставшийся в одиночестве без всякого пропитания? Можно только мысленно догадываться, да пожалеть. А таких несчастных людей не убывает, хоть и умирают они во множестве и без времени. На их место приходят все больше и больше новых. Тоска неизбывная. Только ведь над каждым крестом не наплачешься. А как и кто разорвет этот круг да изменит жизнь к лучшему, Бог только знает. Немного времени спустя после отъезда Андрея Алексей Николаевич, одевшись в полушубок, вышел на улицу. Мороз был крепким, погода стояла безветренная, повсюду разлилась звенящая тишина. Над горизонтом, словно раскаленный бронзовый таз, повисла луна, небосвод был усыпан звездами. Алексей Николаевич смотрел на холодное, бесчувственное великолепие и восхищенно думал: «Какая же это красотища!». Долго не мог оторваться от этого видения, пока непроизвольно не пришло на память когда-то давным-давно вычитанное у Достоевского изречение: «Мир спасет красота!». Знал его еще со школьных лет, не раз слышал из уст представителей изысканной элиты, высказываемое обычно в качестве приложения через средства массовой информации, никогда не понимал, зачем они жонглируют им, да и не хотел понимать, а вдумался в существо только теперь, как-то вдруг и совсем неожиданно. Какой мир будет спа¬сать красота? От кого?

В голове была неразбериха и сплошной сумбур. Ему хотелось избавиться от навязчивого наваждения, выкинуть его из головы, но вид забитого, отверженного всеми мужика не отпускал: «Ну хоть одного, вот этого голодного, обмороженного человечка пусть спасет (ну не спасет, а только поможет в дороге) эта чарующая своей неподступностью, великолепием и безупречностью форм, своим неразгаданным содержанием божественная красота, хоть немного осчастливит его горемычную долю. Понимал: напрасно и бес-

полезно просить не зная кого. И тем не менее снова подумал: «Так как же все ж таки понимать — «мир спасет красота», как и от чего и что такое мир, что надо понимать под красотой?» Загадки, сплошные загадки. Впрочем, и сам Федор Михайлович тоже признавал, что красота — это загадка, и нам должно с ним согласиться. А мир? Конечно же, не Вселенная, не планета, где мы обитаем, а наше человеческое общество с множеством пороков и недостатков. От чего спасать «мир», классик достоверно знал: не мог же он не видеть, как крепостники-помещики, выросшие в окружавшей их красоте, тепле и холе пороли на конюшнях (зачастую собственноручно) своих кабальных парней и мужиков только за недобрый взгляд в их сторону. А по ночам их повзрослевшим юнцам барские прислужницы (по проторенной дорожке отцами) приводили в спальни для любовных утех крестьянских девок из дворцовой челяди. Когда же доведенный до отчаяния взбунтовавшийся народ сажал на вилы оборзевших кровососов, вопили в истерике: «Какая несправедливость! Какая жестокость!» Кто уж тут думал и рассуждал о «красоте». Но такое было давно.

Что же мы видим сейчас? Как «красота» Достоевского хоть чуть изменила (а не спасла) «мир» в лучшую сторону? А ведь прошло больше ста лет, как написал эти три загадочных слова великий классик, и красота по всей Вселенной и нашей планете не претерпела никаких изменений. Ровным счетом ничего. Прежние беды людские к теперешним лишь слабая тень, а истязатели стали более изощренными. Умудрились при любом случае выставлять себя «радетелями народными». Горбачев М., Ельцин Б., Чубайс А., Гайдар Е., да разве можно перечислить «демократических» дельцов из закоренелых членов КПСС и «верных ленинцев» (а ведь с малых лет росли среди цветов, благоуханий, в красоте и полной чаше удовольствий), пустили в один миг великую державу под «откос», а сотни миллионов в бездну нищенства и беспредела. Так как же быть, «товарищ» Достоевский, как спасать мир, когда он сейчас весь повержен в кровавые разборки? Какая «красота» удержит американо-израильских стервятников от вселенского разбоя, сохранит беззащитные народы от беспощадного истребления, как она обустроит мир, изъеденный мафиозно-клановыми структурами? Не понять и не разобраться мне в этом словесном хитросплетении. Да и спорить то с Ф.М. Достоевским незачем. Он ведь изречение «мир спасет красота» вложил в уста «больному» человеку, которого с самого начала появления его на страницах романа окрестили идиотом, и до конца действий он с ним не разлучался. Что же тогда? Может, Федор Михайлович ошибался? Может, время было другим, как многие любят сейчас изъясняться? Люди тогда были другими? Нет и нет. Время не меняется и общество осталось таким же. Были и есть кланы богатых и массы обездоленных. Только с течением времени одна часть (богатые) все больше наглеет, а другая (беднота) ускоренным шагом возвращается на исходный круг в беспросветную кабалу. С Достоевским не поспоришь. Но все же, думаю, толкование «мир спасет красота» многих ввело в заблуждение. Не знаю, как другие, я же твердо убежден, что «мир» (человеческое общество) спасут только справедливый, высоконравственный, железный порядок, образцовая взаимоуважительная

дисциплина, выработанные и установленные большинством народа. Исполняться они должны с такой же неотвратимостью, как действуют законы природы.

Вот только когда будет такое? Пробовали уже однажды.

3 апреля 2001 года

Последний плот

Много, очень много плотов леса проплыли по Енисею до Дудинки с той поры, как начали строить в таймырской тундре Норильский комбинат. Сколько их приплавили? Такой счет не вели, а теперь уже сосчитать невозможно. Да и нужно ли? Сначала плоты были небольшими, по 12–15,0 тыс. куб. метров, затем, к середине пятидесятых годов по 18–22,0 тыс. куб. метров. А затем стали приплавлять в них по 30,0 тыс. куб. метров и более в каждом плотокараване.

Работа трудная и ответственная. Особенно тяжело приходилось плотогонам, когда настигали их штормы на широком енисейском плесе между Игаркой и Дудинкой. Вдребезги разбивало учаленные бревна, разбрасывая по берегам, мелям, небольшим островам. А на другой год половодье собирало разбросанную древесину и уносило в Карское море или надолго укладывало в бесформенные штабеля в низовьях Енисея около захолустного рыбацкого поселка Воронцово. Еще и сейчас повсюду можно видеть ошкуренные временем бревна, обломки чурок и остовы разбитых плотоединиц. Они «намертво» приросли к земле, присыпанные песчаной пылью. И догнивают многие годы. В годы горбачевской перестройки и ельцинских реформ находились любители «собрать» этот лес и обеспечить жителей Таймыра новыми квартирами, жилыми домами, благоустроенными поселками. Немногим удавались эксперименты по сбору древесины и кое-что из нее изготовить. Из этих бревен мало что получалось: древесина давно утратила свое первоначальное каче¬ство. В основном все ограничивалось только разговорами да хвастливыми заверениями. В последние годы сплав плотов по Енисею заметно уменьшился. Игарка из мощного лесопильного комбината превратилась в небольшую лесопилку, а Норильский комбинат построили еще до начала ельцинской разрухи.

Давно разрослась на крутом берегу Дудинка. Далеко видны высотные здания, не стало убогих замшелых халуп. Живут люди. Радуются в темные полярные ночи теплу и свету. И мало кто задумывается над тем, сколько труда затрачивается на переработку бревен, приплавленных с далекой Ангары, пока доски уложат в пол, оконные рамы и двери установят в проемы, создавая уют и благополучие. Что поделать? Так устроен человек: беспокоиться начинает, когда возникают трудности. А они не заставляют себя долго ждать. Нарастающая волна демократических реформ все больше и больше вносила в хозяйственную деятельность элементы безалаберности и анархии. Очень скоро почувствовали на себе этот гнет предприятия лесной

промышленности: много лет стабильно и эффективно работавший в Дудинском порту дружный коллектив лесников уже в 1992 году, первом году ельцинского правления, встретился с неодолимыми трудностями.

В этом году навигация в Дудинке на Енисее началась как и в прежние годы без особых осложнений. Ледоход прошел в первой декаде июня месяца на невысоком уровне воды и стал равномерно снижаться. Лесники своевременно подготовили бревнотаски. Им предстояло принять 6 плотов и выгрузить из них 160,0 т м^3. Имевшие дело в предыдущие годы со значительно большими объемами, доходившими до 400,0 т м^3, считали, что эта навигация будет для них «легкой прогулкой». Первый плот, прибывший 15 июля, уже через сутки развели по гаваням бревнотасок и приступили к выкатке бревен. Работая в таком ритме, надеялись, что последний плот смогут принять в конце августа и завершить все навигационные дела в первой декаде сентября. Но все получилось не так. Сразу же нача¬лись сбои в работе. Второй по счету плот пришел в Дудинку с опозданием на три недели, а следующие за ним вышли из Ангары только в августе. Крики руководства Дудинского порта «SOS» — «срывается поставка леса, прибывшие плоты могут замерзнуть во льду» — не возымели действия. Договорная плановая система между «поставщиками» – Енисейским пароходством и Норильским комбинатом – рухнула под напором реформ, как карточный домик, а новую выработать не сумели. Споры — кому, когда, сколько платить денег — разгорались с неудержимой силой. Новое руководство края, не имея никакой власти, не могло воздействовать ни на одну из противоборствующих сторон. В дополнение к этому оно само было заинтересовано плоты Норильского комбината отдать Игарскому лесокомбинату, у которого совсем не было леса (не закупили из-за отсутствия денег), и ему грозила в зиму полная безработица. Плоты подошли к Игарке. И остановились в мучительном ожидании. Наступил сентябрь, а с ним холода. Трудно сказать, под воздействием каких сил плоты как-то вдруг неожиданно «сорвались» и буквально один за другим «понеслись» в Дудинку. Три плота, прибывшие в сентябре, успели выгрузить до больших холодов. Выкидывали плавучими кранами по берегам, нагромождая огромные штабеля, которые потом зимой разбирались с помощью грейферов и вывозились автомашинами. Только последний, самый большой по объему и размерам, вышедший из Игарки уже две недели (хотя самое большее проплыть ему это расстояние можно было за трое суток), находился в пути. Ясно было, что его изрядно потрепало ветрами, и оттого речники завели в Ситковскую протоку (Глушицу) на отстой для ремонта.

Было первое октября, а речку Дудинка, где лесники выгружали лес, уже несколько дней заковало прочным льдом. Начальник порта Лонгин Андреевич Хан без колебаний решил послать к месту отстоя плота катер и комиссионно осмотреть его состояние. После этого определить, какими силами и средствами спасти оставшуюся древесину. Именно спасти. О нормальной работе на выгрузке бревен теперь нельзя было и думать.

Утром 2 октября, когда ветер, свирепствовавший несколько дней подряд, заметно стих, я с начальником склада Логвиновичем Иваном Филип-

повичем собрался съездить в Ситковскую протоку (или, как еще называют, Глушица) осмотреть плот. Нужно было пригласить еще кого-нибудь из «незаинтересованных» представителей. Но в такую погоду никто не согласился. Ситковская протока была излюбленным местом плотоводов для отстоя плотов с лесом при штормовой погоде и находилась примерно в 30 км от Дудинского порта. Необходимо было заранее иметь представление, что уцелело в плоту после шторма, который захватил его во время движения по открытому плесу Енисея. И, главное, успели ли его отремонтировать плотогоны и матросы из команды буксировщиков «Анучин» и «Котлин». Плот там стоял уже несколько дней. Не имея своих транспортных средств, я обратился с просьбой о выделении катера к диспетчеру порта. Тот категорически отказал, объясняя, что на Енисее очень большие волны и судно может выбросить на мель или вообще перевернуть. Но после переговоров с начальником порта Ханом Л.А. в наше распоряжение выделили прогулочный теплоход «Пайлот», наиболее устойчивый и надежный в штормовую погоду. Как только «Пайлот» вышел из устья Дудинки и завернул за насыпную «защитную дамбу», носившую название «Кизимовой», мы почувствовали силу разъяренного Енисея. Огромные волны накатывали на корабль, перехлестывали через ограждение, заливали палубу, обдавая с ног до головы брызгами. Я забрался в рубку управления и сказал капитану: «Может, вернемся назад? Ведь чего доброго и утонуть можно?» Капитан, немного помолчав, заверил: «Ничего не случится! Да и ветер заметно стих». «Ну да! — подумал я, — так и будет по-твоему, пока Енисей успокоится, можно не один раз захлебнуться». Но ничего не сказал. Молча согласился. Нам эта поездка ничего хорошего не сулила, и мне очень хотелось, чтобы капитан развернул свое суденышко назад. Но все складывалось против нас. Между тем корабль, изменив немного курс, повернул навстречу набегавшим волнам к середине Енисея. Чтобы не мешать работать рулевому, я присел на свободное место и погрузился в размышления. Положение складывалось катастрофическое.

Сколько и каких трудов придется приложить, пока обработаем плот и выгрузим лес. И не только лесникам, но и портовикам. Речку Дудинку, где производилась выгрузка, заковало уже несколько дней прочным слоем льда. Случалось лесникам и раньше принимать плоты в конце сентября и даже в первых числах октября, выгружать бревна из ледяной шуги, но таких холодов, что наступили в этом году в третьей декаде сентября, еще не бывало. (Морозы в дальнейшем будут только усиливаться и в ноябре достигнут более -40ºС). Досаду усиливало то обстоятельство, что в первые два летних месяца июль и август было приплавлено всего два плота, когда стояла хорошая погода. Оставшиеся четыре пришлись на сентябрь и один из них, последний, – на октябрь, к которому мы держали путь в Ситковскую протоку, где он отстаивался уже несколько дней совсем недалеко от Дудинского порта. Когда теперь его приплавят? Как заведут по сплошному льду? Какими средствами можно будет выгружать древесину? Да и, вообще, возможно ли?» — оставалось неясным и оттого страшным. «Сколько от него осталось? Сколько переломаем бревен при выгрузке грейферами изо

льда?» — голова шла кругом. И без того «горек хлеб» лесников, а тут еще неодолимые тяготы, причем по вине нарождающихся на гребне ельцинских реформ «хозяев и хозяйчиков», ни за что не отвечающих и рвущихся в угаре наживы ухватить от «пирога» кусок побольше. Спорили, ругались и дотянули до сентября, так и не решив, как платить и кому. Этот месяц стал для лесников Дудинского порта самым напряженным. Люди работали по двенадцать часов в сутки без выходных и пересмен, успели выгрузить три плота. А этот? Самый большой по размеру и объемом 34000 кубометров и длиной около полутора километров, с подчаленной к нему плотолентой. Ничего не мог придумать.

Немного выбравшись из нахлынувших размышлений, я осмотрелся и, не увидев в рубке Логвиновича, выглянул сначала в один иллюминатор, потом в другой. Не видать. «Не смыло ли его?» — подумалось. Я в страхе открыл дверку и увидел Логвиновича, прижавшегося к стенке рубки и державшегося обеими руками за поручень... Изо всех сил закричал: «Забирайся внутрь». В это время катер нырнул носом и нахлынувшей волной окатило Логвиновича с головы до ног. Перебираясь руками по поручню, он сделал несколько шагов в мою сторону. Я подал руку, и он, кряхтя, хватаясь то за дверку, то за меня, забрался в рубку. Проклиная весь свет, он со злостью проговорил: «Все! Это последний плот! Хватит! Буду уходить на пенсию. И так лишнего проработал почти 10 лет». Когда Иван стряхнул с плаща воду и немного успокоился, я спросил его: «А чего ты торчал там? Захлестнуло бы волной и тут же пошел на дно. От проблем, что ли, захотелось избавиться? Так это не лучший вариант. А у меня за тебя всю душу бы вытрясли». Иван Филиппович характером был вспыльчив и упрям. Мне думалось, что сейчас он выскажет какую-нибудь дерзость. Но, повернув в мою сторону посиневшее лицо, тихо проговорил: «Я там лес считал». И подойдя к иллюминатору, воскликнул: «Смотри! Вон еще пучок плывет!» Так вот он там чем занимался, подумал про себя я и спросил, в душе усмехаясь над ним: «И сколько же ты насчитал?» – «Вот с этим, что плывет, будет тридцать девять пучков», — ответил он с каким-то удовлетворением. «А что, у тебя на душе от этого легче становится?» — теперь уже совсем серьезно обратился к нему. «Легче не легче, зато енурповцам предъявлю претензию», — прореагировал Иван Фи¬липпович. И тут я понял. Он ведь еще не имел никаких дел с «архаровцами» (работниками пароходства) — случилось так, что много лет плотоводы доставляли плоты в целости и сохранности, и потому все взаимоотношения осуществлялись только с поставщиками леса (Енисейской сплавной конторой) — и предполагал, что сведения о потерях древесины по его наблюдению и подсчетам из этого злосчастного плота будут приняты «енурповцами» как исчерпывающий материал. От такой наивности я даже опешил. За многие годы работы мне доводилось участвовать в разрешении сложных конфликтов с работниками Енурпа (пароходства) из-за разбитых при сплаве плотов.

Бывали случаи, когда речники-плотоводы целиком «сажали» плоты на мелководьях, затем стаскивали их с помощью различной техники, разрывая тросовые крепления, перегружали на баржи плавучими кранами, до-

ставляли в Дудинский порт отдельными кошелями и по завершении аварий «насмерть» стояли, не брезгуя никакими средствами и приемами, что плот доставлен в лесную гавань дудинских лесников целым и невредимым. И не единожды отбивались, прицепившись порой к неудачно поставленной запятой работниками лесного района, замучив их разбирательством на разных инстанциях вплоть до арбитражного суда.

Немного поразмыслив, сказал ему: «И ты предъявишь «енурповцам» в качестве потерь тридцать девять пучков?» «Конечно, если не насчитаю больше», — ответил Иван Филиппович. Подтрунивая над ним, посоветовал: «Чтобы не терять с ними понапрасну время (тридцать девять — это очень длинное произношение), скажи им, что видел сто уплывших пучков. Или один. Коротко. Меньше разговоров будет. Все равно не поверят. И скажут, что врешь. И прекращаем разглагольствования. Видишь, показались буксировщики и самоходки вдоль плота». Когда работники пароходства заводили плоты в тихие заводи для защиты от штормов, то всегда подгоняли к нему все имевшиеся в их распоряжении самоходные суда, груженые и даже порожние. Расставляли их со стороны Енисея по всей длине плота. Сейчас мы их хорошо видели. Было уже недалеко. Перед нами открылась грустная картина. Рабочие из команды плотогонов и члены экипажей буксировщиков заделывали порванные тросовые крепления бортовых ошлаговок, соединяли между собой секции леса, затаскивали внутрь сквозь разорванные «бреши» связанные пучки и отдельные бревна. Руководил всей операцией заместитель начальника дудинской пристани Енурп, хорошо нам известный Николай Григорьевич Мыльников. Он находился на ликвидации аварии уже несколько суток. После небольших маневров наше суденышко (по сравнению с буксировщиками и самоходками, охранявшими плот, казавшееся таким непредставительным) обледеневшим носом уткнулось в плот, а находившийся поблизости рабочий закрепил его за ошлагованный трос сброшенным матросами чалочным буксиром.

Николай Григорьевич стоял от нашего катера совсем недалеко. Вся одежда на нем была мокрой. Видимо, не раз проваливался в воду между пучков, помогая рабочим. Он, как только завидел подплывающее суденышко, сразу сообразил, что на нем портовская «делегация», и перебрался с дальнего края, чтобы встретить нас. Ветра сейчас почти не было, и я без всякого усердия мог вести с ним переговоры. Уже много лет мы принимали от него каждый плот на нашем лесном рейде и сумели хорошо изучить друг друга. Не раздумывая, спросил его: «Сколько же кубометров вынесло из плота во время шторма, пока вы спрятали его в этом укромном месте?» – «Ты что, Николай Алексеевич! Ни одного бревна не потеряли. Вон видишь несколько пучков леса возле плота. И те сейчас затолкаем внутрь», — спокойно ответил Мыльников, указывая рукой на привязанные пучки леса и болтающиеся между ними бревна. «А проплывшие мимо нас целые пучки и молевые бревна – это, что, с неба свалились?! — закричал на него Иван Филиппович. — Я насчитал тридцать девять пучков, кроме бревен». Николай Григорьевич, нисколько не смущаясь, ответил Логвиновичу: «То что вам попались навстречу бревна и пучки, так это лес приплыл из Игарки, а

мы будем сдавать из нашего плота все до единого бревна в ваших гаванях на звездочках бревнотасок по всем правилам. Так что если возникнут какие претензии — удовлетворим».

Разговаривать было больше не о чем: Мыльников никаких документов подписывать здесь не будет. Это было ясно. Речка Дудинка, где стояли наши бревнотаски, была подо льдом и выгружать на них не было никакой возможности, Мыльников знал не хуже нас, хорошо что до ледостава успели выгрузить ранее прибывшие плоты, а то бы наверняка Николай Григорьевич настоял принимать плот в Ситково из-за занятости нашего лесного рейда, — подумалось вдруг. Даже изморозь прокатилась по груди. Но такого «козыря» у него не было, и я, гадая, какую еще он может выкинуть «каверзу», спросил: «Когда поведете плот?» – «Все ремонтные работы закончены. Через час, другой поведем, — ответил Мыльников и добавил: — Уберите все препятствия по фарватеру Дудинки». «Не беспокойся об этом, Николай Григорьевич. Кроме льда в реке Дудинке нет ничего. А вот с ним бороться придется вам», — сказал я и тут же подумал: «Значит, приведут плот ночью». Этот излюбленный прием плотоводов сдавать аварийные плоты в темноте мне был известен. Правда, в последние годы приводили плоты днем. Не было разбитых. Первый год ельцинских реформ внес коррективы. «Ну что ж! Николай Григорьевич! Удачи вам, будем ожидать подхода плота», прокричал я ему. Ветер к этому времени совсем стих, волны заметно уменьшились. Катер отчалил. Мы для порядка (все равно из-за сгрудившихся самоходок плот не был виден) проплыли вдоль его борта и развернулись на Дудинку. Над Енисеем сгущалась темнота. Шум волн заметно стих. Повисли звезды. Становилось холоднее. Я посмотрел еще раз на плот, постарался увидеть оставшихся там ремонтников и помахал им рукой. Катер, набирая скорость, пошел в обратный путь. Иван Филиппович долго молчал. Молчал и рулевой. Всем хотелось поскорее добраться до дома.

Когда явственно показались огни в дудинских домах, Иван Филиппович заговорил: «Вот до чего довела демократия, все говорят кому что хочется и все время врут». «Это ты что про Мыльникова, что ли, вспоминаешь?» — спросил я его. «Ну, конечно! Ведь авария была, потери налицо, а он врет не стесняясь, — ответил он. – Вот что значит свобода слова», — добавил он. «Так ты думаешь, что свобода слова — это право говорить что хочешь? — спросил я. И не дожидаясь его ответа, сказал: – Нет, дорогой! Совсем не то. Свобода слова — это право говорить правду. И обязанность. Причем в равной мере для всех. И президента, и уборщицы. А когда наш президент Ельцин за каждым словом врет (сразу почему-то припомнился случай, когда он пьяным свалился с моста в реку, а сказал будто его в мешке сбросили), то ты хочешь чтобы Мыльников говорил тебе правду. И как только мы подплыли, он протянул бы тебе написанный им акт на аварию, да еще указал в нем потери древесины тысчонки на две, три кубометров? Да? Так ты этого захотел? Да его за такой акт свои же «волки» сожрут вместе с мокрыми штанами. Как приедем, пиши свой акт. И включай в него капитана

катера». Такой документ не имел юридической силы, но надо было хоть на что-то ссылаться. «Ладно!» — буркнул Логвинович. Я же мысленно вообразил, сколько предстоит труда многим тысячам людей и волокиты из-за безответственности, может быть, двух-трех человек. Только они были где-то на «большом верху». Кто они? Откровенно говоря, я до сих пор никого из них не знаю.

Вечером доложили начальнику порта: «Плот изрядно потрепало штормом, сколько утеряно древесины — визуально определить невозможно. Плотогоны с командами буксировщиков «Анучин» и «Котлин» к нашему прибытию уже заделали «бреши» в бортах. По заявлению Мыльникова плот должен был уже выйти».

«Скоро подойдет, — сказал Лонгин Андреевич Хан, — готовьтесь принимать. И переговорите до этого с Федюшиным». Василий Яковлевич Федюшин, старейший работник порта, был начальником коммерческой службы. Прошедший все ступени иерархической лестницы, был самым профессиональным работником в сложном портовском хозяйстве. На наш звонок ответил коротко: «Плот аварийный. При оформлении документов не мудрите. Пишите все как есть на самом деле. Обязательно укажите дату и время прибытия плота и день, когда он должен быть по утвержденному графику. Разбираться придется долго». «Ну что! Пойдем перекусим. Подкрепись и приходи встречать плот», — сказал я Логвиновичу. «А ты?» — спросил Иван Филиппович. «Спать буду», — сказал я, злорадствуя в душе, что увидел Ивана Филипповича опечалившимся. Помолчав, он сказал: «А я что-то заболел». Зная, что это он уже придумывает (хотя чего может не случиться под 70 лет), сказал ему: «Иди ешь! Я раньше тебя приду». – «Хорошо! Но это мой последний плот», — воскликнул Логвинович. На том и разошлись.

Плот приплавили в Дудинский порт в середине ночи. Разбитый в пути штормовыми ветрами, в «истерзанном» виде, после длительной передержки в Ситковской Глушице (протоке) подвели к устью замерзшей реки Дудинки и стали заводить против течения двумя мощными буксировщиками «Анучин» и «Котлин» при помощи нескольких самоходных теплоходов, находившихся в это время в распоряжении дудинского Енурпа. Богатырской силой плот был протащен сквозь ледяной панцирь речки Дудинки более чем на 1,5 км по судовому ходу и остановлен среди сплошного льда, загородив все проходы. Такую махину леса не смогли поджать к берегу из-за большого скопления ледяной шуги. Во время заводки плота под ним из-за нагромождения льдин, загнанных винтами буксировщиков, некоторые пучки поднялись на «попа» и стояли стеной, возвышаясь над ледяной Дудинкой. Буксировщики, идущие впереди плота, не смогли выбраться из этого «плена». Остановились все судоманевровые работы на причалах речки Дудинки. Никто не знал что делать дальше. Казалось, придется вытаскивать плот обратно.

Только на такой «подвиг» вряд ли кто бы решился. Нужен был высокий повелитель. А мороз все больше и больше усиливался, превращая огромное поле в сплошной нерушимый монолит. Но иногда природа

приходит на помощь людям. К концу ночи начался сильный ветер, нагоняя воду. Через сутки вода залила береговые отмели и, устремляясь вверх против течения, унесла ледовые поля. Плот, освобожденный ото льда, сумели поджать к берегу, разгородив проходы для судов. Ветер продолжал усиливаться, нагоняя еще больше воду. Это было если не спасением, то, по крайней мере, огромным облегчением. Отсоединив причаленную к плоту ленту, в которой было около 9,0 тысячи кубометров леса, легко и быстро затолкали на залитую водой береговую отмель и закрепили для «обсушки». (Метод выгрузки леса: ставить плоты по «высокой» воде на залитые площади, а затем после ее спада развозить на переработку.) Этим же способом успели еще вычалить и «обсушить» несколько секций. Ко всем плавучим кранам подвели плотоединицы для выгрузки леса на берега.

Повсюду закипела работа, кроме бревнотасок. При таких морозах цепи обмерзали, соскакивали со звездочек и рвались. Многие вздохнули с облегчением: может, успеем выгрузить весь плот. Но удачи не бывают бесконечными. Ветер развернулся и вода схлынула так же стремительно, как и пришла. Речка Дудинка сразу же снова замерзла. Невыгруженной оставалась еще половина плота. Началась изнурительная, тяжелая, поистине неблагодарная работа. Плавучие краны, которыми можно было хоть что-то выгрузить, работали плохо. За смену выгружали все вместе (а их было два) не больше двухсот-трехсот кубометров. Грейферы смерзались, и пока их отогревали, на площадках работы совсем не производились. Весь октябрь морозы были не менее -20°С, а в последних числах понизились до -30°С. Но работы на выгрузке леса все равно продолжались. О трудностях, доставшихся на долю рабочих по расчалке секций плота, высвобождающих пучки для выгрузки, снятия тросовой ошлаговки, разбиравших в замерзающей воде гаечные крепления, порой проваливающихся в мокрую снежную кашу, не берусь рассказывать. Это надо видеть, а лучше испробовать. Сколько проклятий выплеснули работяги, занятые спасением древесины, в адрес высших руководителей («мудрых перестройщиков»), задержавших плоты!

Целый месяц продолжалась эта эпопея. Оставались еще невыгруженными около 9000 м^3, намертво вмороженных в лед. Работы прекратились без всяких указаний. За это время успели переломать все грейферы, у плавучих кранов оказались пробитыми днища.

В первых числах ноября температура опустилась до -40°С. В таких условиях выгрузка стала невозможной. Природа и здесь подсказала выход. Оставили до весны. Решили: «За зиму что-нибудь придумаем». В мае месяце, когда вода снова поднялась, солнце пригрело, обломали ледоколом «А. Завенягин» лед вокруг «замороженного» еще с осени леса и всю массу вытолкали на залитые водой берега. Выгрузили таким же способом «обсушки».

На этом можно было бы и закончить историю с плотом. Уж больно незаметной выглядела она на фоне тех изменений и разрушений, проис-

ходящих в то время в Красноярском крае, не говоря уж обо всей стране.

Осталось только добавить, что всю долгую зиму продолжалась тяжба между службами пароходства и Дудинского порта. Все складывалось против речников Енурпа: в аварии плота они были явно виновны. Но устояли и на этот раз. Уж больно неубедительным выглядел «акт» на потерю древесины, составленный Логвиновичем И.Ф., без подписей лицами «незаинтересованной стороны». За что Иван Филиппович получил выговор, правда, в устной форме. Под мощным натиском представителей пароходства «высшая инстанция» постановила все «неудачи» с плотом отнести на непредвиденные обстоятельства. Или как их еще модно называют «форс-мажор».

Ничего не попишешь: уметь туманить мозги людям — до сих пор неразгаданная тайна.

В тот год Енисейское пароходство, Норильский комбинат и прочие предприятия принадлежали еще государству и такие «миролюбивые» решения принимались довольно часто. А люди? Иван Филиппович на пенсии. Проработав еще несколько навигаций после того проклятого им «последнего» плота (не сдержал-таки свое слово), мирно ушел на заслуженный отдых, многие уволились, кое-кто дорабатывает свое время.

Может, кто-то, прочитав этот рассказ, вспомнит про ушедшие времена. Вздохнет украдкой: жалко все ж таки прожитые годы. Хочется добавить. А сколько подобных событий произошло за многие годы? Только они были еще более трудными и вырубали изо льда лес не с помощью грейферов и ледоколов, а кирками и ломами. Десятки тысяч людей побывали на «ледовых побоищах». Неизмеримо много выдолбили вручную мерзлой таймырской земли, проживая в холодных палатках, пока построили первые кирпичные здания фабрик и жилых домов в таймырской «пустыне». И, не спрашиваясь, выплескивается просьба к людям нового поколения: «Не разрушайте ничего в этих краях, что возвели деды и отцы. Хотя бы из уважения к их страданиям и терпению. Им так трудно пришлось на стройках Норильского комбината, Дудинки с Дудинским портом, обустройстве безлюдных просторов Таймыра». Очень хочется, чтобы кто-нибудь написал правдивую повесть о таймырских «старателях», ничего не упустив о тяготах лесников. Как-никак, а первым инженерным сооружением было бревно, переброшенное через безымянный ручей, соединив его берега.

3 января 2002 года

ТАЙМЫРСКАЯ ОСЕНЬ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Побег

От сумы и тюрьмы уберечься возможно –
Убежать от себя никому не дано.

В начале Великой Отечественной войны, когда немцы, прорвав заградительные укрепления и разрушив оборону страны, безудержно покатились по нашим землям, захватывая десятки городов, сотни сел и деревень, началось невиданное переселение народов, скорее похожее на бегство.

Тысячи поездов вывозили оборудование, станки с фабрик и заводов. Уезжали строители. Колхозники угоняли скот. Что не успевали спасти от фашистов, уничтожали, сжигали, взрывали.

В этом столпотворении трудно было все правильно спланировать, что увозить в первую очередь, чем можно было и пожертвовать. В одном только никто не сомневался: вне очереди вывозились заключенные из тюрем, исправительных лагерей и колоний. Впрочем, в этом не испытывалось особых затруднений. Были бы вагоны. А как только подавали составы для этого контингента людей, их собирали быстро: «Подъем! На выход с вещами!». Затем: «Быстро по вагонам!». Загружались без промедления и соблюдения всяких норм. Как только втискивали всю массу заключенных в вагоны, эшелон тут же отправляли. Лишь бы подальше от фронта. Совсем скоро многие из этих заключенных поедут в обратном направлении: на фронт, защищать Родину. Но такое будет потом, когда немного «утрясется вселенская кутерьма». А пока! Составы с заключенными один за другим уходили из Украины, Белоруссии, Кавказа и других западных районов вглубь страны. За ними вскоре повезут заключенных туда же на восток из средней полосы России. Везли, чтобы на необжитых местах строить новые заводы, новые фабрики, возводить стройки, поднимать разрушенную на западе страны промышленность, зачастую совершенно на «голых» территориях.

Много лиха выпало на долю этапируемых заключенных, пока везли их в товарных вагонах. Но еще больше страданий довелось испытать на местах прибытия. Многие не дожили до своего срока. Одним из главных пунктов назначения в Сибири, куда везли в большом количестве заключенных, был город Омск. На его территории и близлежащих районах разворачивалось невиданное по масштабу строительство заводов оборонного значения. Сколько на эти стройки привезли заключенных и какие были организованы лагеря вряд ли кто теперь знает. Может, где-нибудь в архивах хранятся материалы о тяготах того военного времени. Доберется ли кто-нибудь до них и покажет истинную суть неизмеримо великих подвигов великого многонационального народа. Будет ли кто разбираться в них по справедливости, в нашу смутную перевернутую с ног на голову демократическую пору? А тогда? Строительство разворачивалось с невиданным размахом, не прекращаясь ни днем ни ночью. Поезда привозили все больше и больше заключенных. Голод и болезни косили людей. Многим заключенным работа на стройках была непосильна, а легкого труда не было.

Не знаю, кому пришла мысль организовать в ближайшем расположении от Омска на землях опустевших и обезлюдивших колхозов и совхозов сельскохозяйственные колонии, в которых работали бы обессилевшие заключенные. Может хоть какой толк будет? Себе на прокорм заработают. И начали отбирать таких людей во всех лагерях. Надо отдать должное: кое-что удалось сделать. Правда, по истечению определенного времени.

Недалеко от Омска в Кагановический район местечко N (по прошествии многих лет не помню его название, да и было ли оно) доставили около трехсот заключенных. Привезли на автомашинах только самых больных. Кто ногами не мог переступать. А тех, у кого было хоть немного силенок, повели этапом (пешком). Вещи везли на нескольких лошадях. Думали, что осилят этот 40-километровый путь за светлую пору (в апреле день уже довольно большой), а добрались, к месту назначения только на вторые сутки к вечеру. Много было остановок по разным причинам. К концу дороги почти половину людей подвозили на телегах: посадят по 10 человек, провезут с полкилометра высадят и возвращаются за другой партией. Совсем выбились из сил. Но добрались. Вздохнули. А радости не было ни у кого. Еще больше огорчились, встретившись с теми, что прибыли днем раньше. В этом местечке N от прежнего колхоза осталось несколько скотных дворов, где держали коров, два сарая для хранения сена, какие-то небольшие хибарки с разбитыми окнами и колодезь. Вокруг этих построек тянулась изгородь из длинных жердей, привязанных к столбам. На одной стороне изгородь была разобрана и там проходила широкая, местами заросшая дорога. На этой поскотине уже больше года никого не было. Мужиков и парней из близлежащей деревни, что находилась в трех км от местечка N (поскотины) забрали на войну, а те, что были непригодны, переселили в другие более надежные колхозы, где ещё сажали и что-то сеяли.

В эти полуразвалившиеся строения и стали размещать прибывших заключенных. В этой партии в основном были люди, осужденные по бытовым статьям, и очень немного как политические (т.е. болтуны с небольшими сроками). Охрана не беспокоилась, что кто-нибудь совершит побег или правонарушение, таковых почти не было. Кроме того, все были истощены и обессилены, куда уж тут бежать? В помещениях (скотных дворах) был не убран навоз, коровий помет, стоял специфический запах перепрелого сена. Сухой паёк, выданный в дороге, съели, не доходя до лагерной стоянки. Спать легли в сараях, не раздеваясь. Подобрали высохшую подстилку, кому-то удалось раздобыть сохранившуюся в сараях солому, с потолка сгребли остатки сена. Устроили лежбище и, подстелив под головы мешки с вещами (у кого таковые имелись), улеглись спать. Было тесно. Но не холодно. Ночь выдалась теплой, да и народу было много. Своим теплом обогрели помещения. Поднялись все рано утром, не дожидаясь подъема. Начальник колонии с комендантами и работниками УРЧ (учетно-распределительная часть) выбрали «старших» и временно назначили руководителями на каждые 30 человек, назначили нарядчиков и после завтрака (ночью успели сварить в большом котле баланду) каждой группе дали задание на работу.

Одних поставили убирать территорию, других расчищать («авгиевы конюшни») скотные дворы. Две группы послали обустраивать зону (строить заставили по-настоящему, с вышками и ограждением колючей проволокой). На эту работу попали в одну группу несколько человек уголовников, не признающих лагерные правила (наподобие воров в законе). Больших воров среди этих «шарапщиков» не было. «Паханов», «дедов» (они были на виду у лагерной администрации) не отправляли в сельхозколонию. Но поиграть воришкам из этой уголовной братвы в законников хотелось, и они категорически отказались работать на строительстве зоны. Чтобы не обострять обстановку с первых дней (ничего ещё не было отлажено) начальник колонии распорядился отправить этих «архаровцев» разбирать полусгнивший дощатый настил. Но они и там ничего не сделали. От них отступились. Временно. Потом и их заставят работать. Но такое наступит через несколько дней. А пока все заключенные работали вяло. Да и откуда бы взялась прыть у больных, изможденных людей. Кормили плохо. Варили два раза в день баланду в больших котлах, выдавали по 600 гр. хлеба. Случилось, что хлеб не подвезли (пекарни своей ещё не было) и два дня жили совсем голодно. Особенно страдала от голода молодежь. У них была только одна мысль: где бы раздобыть хоть что-нибудь съестное. Для приготовления пищи большую группу заключенных выводили за пределы колонии в небольшой перелесок, на заготовки дров. Там они собирали сучья, короткие бревнышки, оставшиеся от давнего лесоповала, разные обрубки и заносили в зону к кухне, а истопники рубили, кололи и таким образом создавали необходимый запас дров и в котлах варили скудный лагерный суп. С одной стороны колонии рос довольно густой лес, на небольшом от него расстоянии стоял перелесок, в котором собирали дрова, а промеж них и за ними сколько видел глаз пролегли большие, уже давно не паханные поля. Когда заключенные входили в перелесок и приступали к работе, конвоиры усаживались на пеньки и мирно покуривали, ожидая, когда «старшой» из группы доложит, что дров уже насобирали и можно идти в зону. Так как никто не подгонял «доходяг», они умышленно тянули «волынку», пока из колонии не прибегал кто-то из поварят и кричал, чтобы несли скорее дрова, иначе не сварят вовремя обед. Тогда все быстро суетились, набирали хворост, обрезки бревен и строились в колонну. Шли вразброд. Конвоиры иногда покрикивали, когда кто-то из доходяг увидев за обочиной дороги съедобное травяное растение выходил далеко. Иногда щелкали затворами, но мер не принимали. Хотя перед началом шествия предупреждали: «Шаг вправо, шаг влево... Стреляем без предупреждения.»

Однажды изголодавшиеся парнишки Петька с Ванькой подошли на самый край перелеска и на простиравшемся поле увидели на самом его конце какие-то копны, а много левее их крыши деревенских домов. Ванька более сообразительней Петьки, сказал: «Ты знаешь, что это за бурты?» – «Солома может», - ответил Петька. «Это кучи прошлогодней картошки, собрать собрали, а увезти не успели. Где сейчас в деревнях найдутся лошади?» -рассуждал Ванька. «Пусть она вся морожена-переморожена, но на еду сгодится», - твердо уверял Ванька. Он помнил, как в довоенные годы

всех старшеклассников посылали на крестьянские поля помогать убирать урожай. И больше всего на картошку. Правда тогда не оставляли её, а сразу грузили в мешках на телеги или машины. Только уж самую плохую не подбирали. Не сообразил Ванька, что на этом поле сначала войны никаких работ не велось, а если где и оставалась картошка на других полях, так её на своих плечах бабы перетаскали. Но голод! На какие фантазии не толкал. И Ванька с Петькой твердо уверовали, что там лежит картошка. Только нужно добраться и уж тогда наедятся они этой сырой, полусгнившей, мороженой картошки досыта. Глаза у них светились, а изо рта текли слюни. Окриком вывели их из оцепенения: «Пора в зону! А вы тут торчите», - заорал на них подбежавший «старшой». Петька с Ванькой подхватили собранные кучи хвороста, и пошли к поджидавшей их группе. День для них прошел в каком-то томлении. Они сходились, о чём-то шептались и вечером, похлебав баланды, долго не могли уснуть. «Ванька! А вдруг охранник завидит, когда побежим и пальнет?» - спросил настороженно Петька. «Так они же старики», - успокоил Ванька. «А пуля-то летит одинаково быстро, хоть кто нажмет курок старик или кто-то другой», - засомневался Петька. «Ты что, струсил?» - напал на Петьку Ванька. «Ну что ты, вместе же будем!» - успокоившись, сказал Петька, твердо решившись после этого разговора добраться до картошки. С тем и уснули. Но Петьке плохо спалось. Он разбудил посреди ночи Ваньку. Ему вдруг пришла в голову мысль, в темную пору сбегать к этой куче, съесть сколько влезет в живот этого манящего овоща, потом набрать за пазуху (как это он делал, когда забирался в сад воровать яблоки) и вернуться пока темно. Они знали, что конвоиры спят по ночам (а «зекам» разрешалось в любое время если «приспичит» выходить за зону по большой нужде, туалета ещё не было) видели не раз дремлющих охранников, сидящих на углах недостроенной зоны.

«Ванька, - прошептал Петька, - давай побежим за картошкой, а то вдруг кто-нибудь додумается и увезёт её». Ванька, ещё не проспавшийся, немного поразмыслив, сказал: «Нет! Не успеем! Давай на завтра!» Ванька был для Петьки авторитет - на том и порешили: сбегаем завтра ночью.

День выдался теплым, погожим. И начался удачно. Выдали хлеб по 600гр. (правда за те дни, что не выдавали хлеб, промолчали) и суп густой (не то, что в те дни «редкий, редкий, крупина крупину догоняет»). И работа спорилась. Весна наступала ласковой, теплой. Петьке к вечеру расхотелось бежать за картошкой. Но! Ванька! «Ты что? Струсил? Как стемнеет, так и пойдём!- грозно проговорил Ванька. - И вернемся ещё затемно». Ему тоже не очень хотелось идти на этот «побег», но отступить (он и в школе был всегда вожаком) Ванька позволить себе не мог.

В двенадцатом часу ночи двое парнишек легко пролезли между слег (в этом месте их ещё не разобрали) и углубились в перелесок. Темнота быстро скрыла их. Выбравшись на край поля, они быстро направились в сторону запомнившейся им кучи. Ночью её не было видно. Но, ориентируясь по стоявшему в стороне лесу, шли в правильном направлении. Пройдя больше половины поля, Петька крикнул: «Ванька! Видишь! Вон она, кучато!». Ванька и сам различил тёмный бугор совсем недалеко от стоящих

особняком березок (в дневное время они видели их) и подбодрил Петьку: «Ну, всё! Дошли! Не спеши. Отдышаться надо. А вон, видишь, не так далеко и деревня!» Петька повернулся и радостно произнес: «И правда!». Но когда они подошли совсем близко к куче, их разочарованию (а скорее горю) не было конца. Это была куча старого навоза, уже перепревшего и сверху высохшего. Петька от расстройства чуть не заплакал. Он сел на эту кучу, обхватил голову руками и тоскливо проговорил: « Я назад не пойду. Сил нет. Думал картошкой подкреплюсь. А тут на вот тебе». – «Утром на проверке спохватятся, приведут собак и сожрут тебя», - утвердительно сказал Ванька. «Ну и пусть», - отрешенно ответил Петька. «Петька, деревня совсем рядом, давай сходим, может что-нибудь там раздобудем», - посоветовал Ванька. «Пойдем, все равно теперь пропадать», -согласился Петька. И они пошли в сторону деревни по протоптанной до них давным-давно, кем-то узкой тропинке.

Чем ближе они подходили к деревне, тем мрачнее у них становилось на душе. Нигде ни огонька, ни собачьего лая, ни петушиного крика не слышалось. «Вань! А Вань! Может, там совсем никого нет?» - чуть слышно произнес Петька. Ванька молчал. Он и сам в душе проклинал эту затею, уже раздумывал повернуться, но какая-то сумасбродная мысль ещё удерживала его от этого разумного решения. Когда подошли к первому дому и увидели раскрытые ворота, Ванька понял, что в этой деревне они также ничего не добудут, и уже набрался «духу» объявить Петьке, что надо поворачивать назад и возвращаться в колонию, но в это время раздался негромкий женский голос: «Вы откуда взялись такие?». Ванька побежал. Но женщина легко догнала его и схватила за воротник. Петька не сделал никаких попыток, чтобы скрыться , и женщина не выпуская Ваньку из рук (хотя он и не пытался сопротивляться) сказала, кивая головой Петьке: «Иди ко мне!». Петька подошел и робко встал рядом с Ванькой. Увидев в глазах пацанов испуг и смятение, спросила миролюбиво: «Зачем сбежали из колонии?». Она знала, что в их районе будет создана колония из заключенных для сельскохозяйственных работ и потому безошибочно определила, откуда они взялись. «Тетенька, отпусти нас. Мы не убежали, а только пошли на край поля, там видели кучу, думали картошка, хотели набрать и вернуться. Уж больно голодно. Терпенья нет», - сказал ободрившийся Петька. Глядя в их исхудалые лица, безропотное подчинение, она с сочувствием сказала: «В нашей деревне вчера последний комбикорм съели, ничего ни у кого нет. Собаки и те передохли. Постойте здесь немного, я хоть по картофелине вам принесу», - сказала и тут же ушла. Через несколько минут вернулась. Дала каждому по две картофелины и напутствовала: «А сейчас бегите скорее в свою колонию, уже небо начинает сереть, близится рассвет. Хватятся вас, будут искать. Сразу же найдут. Ребят таких по всему району ни одного не осталось. У меня двое таких же с отцом воюют. Кто увидит вас, сразу доложит вашему начальству». «Тетенька, - сказали враз Петька с Ванькой -спасибо вам. Мы как поправимся, - продолжил Ванька, - нас тоже в армию пошлют. Вот честное слово обещаем больше ничего не воровать (хотя они кроме яблок, ничего в жизни не успели своровать). Нас уже

вызывали на комиссию, но из-за худобы не взяли. Сказали «потолстеть» надо, тогда и возьмут. А как на одной баланде поправишься». – «Ну, бегите, бегите, - сказала женщина, - а то не успеете». (Всех живущих в районе очень хорошо проинструктировали, как поступать в таких случаях). Ей до невозможности стало жаль этих парнишек. У самой муж и двое сыновей, таких же как эти парни, с первых дней войны были в армии. И вот уже третий месяц ни от кого не было никаких известий. Когда отошли от деревни на некоторое расстояние, Петька спросил у Ваньки: «Ты хорошо помнишь дорогу?» – «Да вроде бы правильно идем, как увидишь стог сена, а там недалеко и куча навозная, и от неё через поле прямо в колонию», - ответил Ванька. Но чем дальше они шли тем больше понимали, что идут не туда. Зашли в лесок, думая, что это тот самый перелесок, где они собирали сучья. Но, походив немного, убедились окончательно, что заблудились. Петька, оказавшийся слабее Ваньки, сел на обомшелый пенек и грустно сказал: «Ты, Ваня, иди, может, выберешься, а у меня нет сил, все равно собаками затравят». Ванюшка встал возле Петьки и, растерявшись, не говорил ни слова. Вокруг были березы , мелкий кустарник. Тихо. Начинало заметно светать. «Петь! Может, пойдем», - сказал Ванька. «А куда?», - ответил совсем растерявшийся Петька. Они оба поняли, что не найти дорогу. Но вот! Их чуткое ухо расслышало легкий треск переломившегося сучка, потом что-то затрещало еще. И вдруг, как из под земли выросла перед ними та самая «тетенька», что дала им по две картофелины. Она долго смотрела им вслед и когда увидела, что пошли они совсем не в ту сторону, тут же побежала за ними, чтобы вывести на правильную дорогу. «Поднимайтесь, парни, и идите за мной. В лагере уже, наверное, давно спохватились и ищут вас», - сказала женщина и тут же пошла в обратную сторону. Пройдя шагов сто, она повернула, и через некоторое время, вышла на проселочную дорогу. Прошла с ними минут десять, потом на развилке дорог свернула на чуть заметную тропинку и через некоторое время указала рукой в сторону видневшихся крыш скотных дворов: «Вон ваш лагерь, видите?». Парнишки давно уже высмотрели верхушки зданий, но шли за ней не говоря ни слова. Уж очень было спокойно шагать с этой доброй и полюбившейся им женщиной. «Ну, дальше мне нельзя. Идите!» — сказала совсем тихо их спасительница. Петька, глядя на неё мокрыми глазами, промолвил: «Тетенька, мы никому ничего не скажем» (знали они, что за всякое потакательство с «зеками» вольных людей тоже могли наказать). «Идите с богом!» -напутствовала «тетенька»(она же председатель колхоза и единственный член партии в этой деревне) и заспешила восвояси. Впереди её ждала неизмеримая прорва работ. Петька с Ванькой без осложнений добрались до месторасположения колонии, но когда стали пролезать обратно между слег, дремавший охранник вдруг заорал: «Откуда лезете?». И защелкал затвором. Ванька более сообразительный ответил: «Не видишь, что ли? По нужде ходили, в зоне ступить уже невозможно стало, а что будет, когда каждый будет такое справлять возле себя. Мы же кричали тебе (соврал Ванька), а ты махнул рукой». Опомнившийся охранник, поняв, что проспал (как же он не видел, когда они вылезли?), а за недосмотр можно

хорошую получить нахлобучку, бодро проговорил: «Ах! Так это вы? Ну, давай! Пролазь быстро!».

В бараке пробравшись через плотные ряды спящих бригадников Петька с Ванькой «вклинились» на свои места и уже засыпали, когда проснувшийся рядом сосед, знавший о их затее, тихо спросил: «Может достали что пошамкать?» (он подслушал их разговор о готовящемся побеге).«Ничего нет. В деревне были. Пусто. Там даже собак съели, такой голод, пуще нашего», — ответил Ванька. Картофелины они проглотили не очищенными, как только отошли от деревни. «Хорошо хоть не «завалились», - вставил Петька блатное словечко, - погоня была (это уже приврал для геройства)». И тут же захрапел. За ним захрапел и Ванька. Походить на «голодных» ногах около десяти километров, это не прогулка по парку. «Ишь, нажрались и сразу захрапели, - подумал про себя сосед. - Напрасно ждал». Но, чуть погоревав, заснул тут же.

Потом по прошествии времени они (Ванька с Петькой) не один раз расскажут своим товарищам, таким же лагерникам, про эту добрую «тетеньку», у которой сыновья с мужем были на фронте,(а Петька всегда добавлял (от собственной фантазии), что все они были героями и награждены орденами), отдавшей им последние картофелины и выведшей их на дорогу к колонии. У многих теплела душа, а у Петьки (ведь могли озлившиеся охранники при «побеге» собаками затравить) на глазах проступали слезы. Он стыдился, но ничего поделать с собой не мог. Всего через несколько месяцев с наступлением осени, Петьку с Ванькой и других окрепших заключенных, определит медицинская комиссия пригодными для воинской службы и отправят их в Омск, а оттуда прямой дорогой на фронт. Как сложится их судьба – никто не скажет. Когда же память, как бы невзначай высветит этих перепуганных по своей оплошности парнишек, мысли невольно уносятся к небу с мольбой: «Господи! Ты всемогущ! Отведи от них беды!»

С тех времен прошло много лет. Но не забывается поступок простой , русской женщины, отдавшей «беглым» заключенным последние картофелины, которая в неизбывной тоске по сыновьям и мужу, перегруженная заботами о колхозных делах, одарила человеческой добротой запутавшихся в жизненных перипетиях, совсем недавно не знавших ни забот, ни горя, двоих парнишек, убежавших из колонии в ночную пору на поиски хоть чего-нибудь съестного на давно не паханных полях к кучам навоза, показавшихся им буртами забытой картошки. Соблазн наесться досыта прошлогодней перемороженной картошкой был так велик, что не хватило у них сил побороть его (лютый голод невозможно описать, его можно только прочувствовать). И ушли они из колонии, нарушив самый строгий лагерный закон. Не оказалось в буртах ни картошки, ни свеклы. Их разочарованию не было предела. Но сама судьба смилостивилась и послала им человека святой души, при воспоминаниях о нём, эти мальчишки, да и те кому довелось слышать из их уст рассказ об этой женщине, много добрели сердцем.

И какими безобидными кажутся «проступки» тех мальчишек, забрав-

шихся в ларек с яблоками (из простого ребячьего озорства), а пытавшегося задержать сторожа «огрели» по шее, за что получили совсем незадолго до войны по 5 лет исправительно-трудовых лагерей, с теперешним бандитизмом, разбоем, рэкетом свободно разгуливающих насильников, безнаказанно убивающих, ни в чем не повинных людей и залихватски разъезжающих на «мерседесах» налетчиков.

Дни шли за днями. Работали с каждым днем все хуже. И хотя кормить стали немного лучше – хлеб выдавали сполна (правда, долг так и не вернули), «зеки» все больше и больше тянули «волынку»: начальник колонии не предъявлял к подчиненным больших требований, а те так же не подгоняли заключенных. Установили вышки, достраивали зону. Уже собрались закрыть наглухо, но, вовремя спохватились. А куда же по нужде бегать людям: туалет не начинали ещё строить. Понемногу привыкали, некоторые повеселели. Стали более разговорчивыми. Кое-кто шутил. Но спать было также плохо. Особенно тем, у кого не было никаких принадлежностей.

Прошло около недели. Как то весенним вечером (дело происходило во второй половине апреля) в лагерь заключенных вошли несколько человек. Среди них был начальник колонии с целой группой надзирателей. Заключенные к их приходу успели отужинать, угомонились и укладывались на сон грядущий (хотя отбоя еще не было), Комиссия зашла сначала в один скотный двор, потом во второй, и ... И чем больше они обходили построек, тем громче в их компании раздавались голоса. Когда обошли все помещения среди этой группы был слышен один сплошной гул.

Сквозь него пробивались отдельные грозные возгласы. Особенно возмущался высокий, средних лет, но уже заметно поседевший мужчина. «Бездельники! Уже 10 дней триста человек прибыли сюда, а ничего не сделали!» - упрекал он лагерное начальство. Начальник колонии попытался оправдаться: «Отсюда коров недавно угнали». «По-твоему полтора года, как здесь не стало ни одной коровы, это небольшой срок. Вы то уже, сколько дней, а дух коровий, как был, так и стоит с той поры. Туалета нет, стойки коровьи не убраны, навоз не вычищен, люди валяются на сыром полу. Это как понимать? Да они перемрут у вас все до единого в таких условиях», -теперь уже орал рассвирипевший чиновник. Это был (как потом выяснилось) один из руководящих работников администрации омских лагерей. «Где медпункт?» - второй раз спросил он. «Телятник стали переоборудовать для него», - ответил начальник колонии. «А баня? Вы что так думали жить все время? Да вас за такую расхлябанность на фронте к стенке давно бы поставили!» - в голосе приезжего чиновника звучал металл. Все присутствующие молчали. После некоторого затишья, начальник колонии сказал: «Люди еле передвигаются, ослаблены до невероятности». « Так ты думаешь, что я этого не знаю», - сказал руководитель приехавшей комиссии и, не дав больше никому сказать ни одного слова, приказал: «Всех заключенных вывести на работу, собрать все имеющиеся лопаты, грабли, носилки и к утру все скотные дворы очистить от навоза и вымыть. Сараи, где хранилось сено разобрать, ни одной доски не поломать. Из них постройте нары. Все! Не мешкая, приступайте к уборке, и работать до полной темно-

ты». «Сейчас уже темнеет, а в помещениях почти ничего не видно», - кто-то заметил из присутствующих. «Я же сказал, работать до полной темноты, меньше надо разговаривать. Неужели непонятно, что жить в таких условиях невозможно. У коров и то было чище», - сказал начальник и, чуть помолчав, добавил: «Работать станем все. Надзиратели и коменданты вместе со всеми, как только рассветает после завтрака снова за работу».

Некоторые из заключенных давно поднялись с приготовленных к «отдыху лежбищ» и наблюдали за группой вольных людей, ходивших из помещения в помещение, затыкая носы платками. Старшие по «отсекам» (они же и временно назначенные бригадирами) расталкивали задремавших бригадников. Те поднимались и, поворчав (а мы думали, что всегда так будет), принимались за очистку и уборку. Одеваться не надо было: спать ложились одетыми. Во всех помещениях копошились люди, вытаскивая навозные подстилки, выгребая слежавшиеся комья и прочий мусор.

Заупорствовали уголовники. Они с первого дня прибытия выбрали себе самый чистый уголок в одном из сараев. Заставили других («послушных») заключенных натаскать сена, что оставалось в некоторых помещениях ещё с прошлых лет, и обустроили себе более комфортабельное ложе. Несмотря на приказ начальника колонии и распоряжавшихся комендантов, никто из них не поднялся. «У нас свои законы (хотя в их группе ни одного «законного авторитета» не было) и мы ни на какие работы не пойдём», - сказал наиболее «заблатненный» уголовник. Видимо, он у них проходил за главаря. Возле них в замешательстве толпилось несколько комендантов и надзирателей, вместе с начальником колонии. Рабочий день был давно закончен, и казалось, что уголовники правы. Кто-то из комендантов пригрозил: «Вставайте на работу! Вон идет полковник(к этому времени уже все знали, что руководитель комиссии был полковником, и работал в главном управлении омских лагерей), он не будет с вами церемониться!». – «А это что за партия?» - спросил подошедший со своей группой полковник. «Да вот, - как бы оправдываясь, пояснил начальник колонии, - «законники». «Что за «законники»? - чуть усмехнувшись, иронизируя (уж он-то насмотрелся на всякого рода уголовников), спросил полковник и, не дожидаясь ответа, приказал: «Всем встать и приступить к работе вместе со всеми!» – «Ничего ты с нами не сделаешь и никуда мы не пойдём», - отвечал за всех «главарь».

Наступила тишина. После недолгого молчания полковник, чуть обернувшись к надзирателям, приказал: «Сажайте каждого отказчика в карцер!» – « Не пугай! Карцера то ещё нет!» -заорали уголовники. Не раздумывая, полковник спокойно сказал: «Сейчас будет!» Указывая пальцем на того «блатаря», что больше других противился , полковник приказал надзирателям: «Привяжите его к дереву, а за ним каждого, кто будет устанавливать свои порядки». В лагерной зоне деревьев (берез и осин было много) хватило бы на всех. «Это произвол! Такого закона нет!» - заорал, что было мочи «главарь», когда к нему стали приближаться надзиратели. «Здесь я закон!» - и к надзирателям: «Пока сами не попросятся, не отвязывать», - совсем хладнокровно проговорил полковник. Поняв, что тут церемониться

не будут «блатарь» уже тише крикнул: «Вставай, братва, пошли работать!» Кряхтя, проклиная и матерясь, уголовники стали подниматься и двинулись все на выход, к работающим заключенным. Отказчиков не стало. Но в этот вечер сделали немного. Густая темнота накрыла постройки, лагерную зону и людей. Электричества здесь давно не было. Ещё не поднялось солнце, а только чуть забрезжил рассвет, полковник появился в зоне. Не прошло и часа, как все заключенные уже работали. К середине дня часть построек была очищена.

Из колодца непрерывно черпали воду и замывали полы. К двум часам дня многие не выдержали и увалились спать. Одни разлеглись на только что вымытый настил, другие привалились к стене и уснули сидя. К этому времени полковника не было. Он уехал утром, вместе с начальником колонии. Куда? Никто не знал. «Может совсем уехал?» - разговаривали между собой. Но не прошло и часа, как несколько колясок подкатили к воротам колонии. «Вот он, появился, — сказал один из группы «блатных» — откуда на нашу голову принесло этого козла?» – «Заткни хлебало, Шарабура! - ответил ему такой же уголовник. - Ты ведь болтаешь больше других, чтобы тебя здесь «законным» признали. Не дождешься. Заслуг маловато». Может, между ними и разгорелся бы спор, но вдруг словно молния пронесся слух, что начинают раздавать обед, и даже будут отдавать долги хлеба за прошлые дни, когда выдавали только по 300 гр. «О! -воскликнул Шарабура. - Этот полковник не только нас гоняет, но и гадам лагерным (это относилось к администрации колонии) тоже спуску не дает. После такого известия настроение заключенных резко изменилось в положительную сторону: все стали не в меру деятельными. Сразу стало шумно. Выходили на улицу с котелками, ложками. Сбивались кучами. Мало кто знал в какой группе числится. Объединялись по «местожительству» или просто «посарайно», кто где проживал и имел свое местечко для спанья. Четкого разделения не было, пытались распределить заключенных по бригадам, но не знали, каким руководствоваться принципом: то ли объединять по срокам, статьям или состоянию здоровья.

В главном лагере установки такой не дали, оттого у начальства колонии и блуждал в головах настоящий сумбур. По причине элементарной неорганизованности творилась неразбериха при раздаче пищи и, хотя имелись «старшие» бараков, избежать скандалов и даже потасовок не удалось. Пока шла раздача баланды и хлеба, полковник с работниками администрации колонии стоял возле недостроенного здания кухни и наблюдая за творившейся неразберихой, давал короткие советы и распоряжения: «Самое главное - подберите деловых и справедливых (как понимать «справедливых» каждый воспринимал по-своему) бригадиров. Сформируйте бригады по 25 – 30 человек. Не более. Никаких статей, никаких сроков во внимание не принимайте. Среди этих людей нет ни отъявленных бандитов, ни злостных врагов (он сам принимал участие в их отборе). Как немного подкрепятся, наиболее годных комиссионно будем отбирать для фронта. Но об этом пока не распространяйтесь. Уже сейчас многие просятся отправить на «передовую». Всё!» Мало кто знал, что главная задача выступавшего в

роли полковника НКВД (армейского офицера), распоряжавшегося лагерными чиновниками заключалась в подготовке и отборе заключенных для формирования воинских подразделений. «Ну, а сейчас все за работу. Ты, - обратился полковник к начальнику колонии, - со своими помощниками будете находиться неотступно вместе с заключенными и руководить. Ко мне прикрепите двух надзирателей и четырех заключенных. Покрепче. Я и надзиратели будем копать яму под уборную (так он назвал туалет), а заключенные относить на носилках землю». «Товарищ полковник, - с каким то страхом и удивлением обратился к нему начальник колонии, - вы будете для заключенных копать яму для уборной? Ведь они же все будут видеть? Как расценят?». В словах начальника колонии слышался неподдельный испуг. «Вот этого я и хочу, чтобы видели, - произнес полковник. - Найдите мне какие-нибудь солдатские кирзовые сапоги. А то от моих хромовых останутся одни ошметки. И как можно побыстрее». Начальник колонии, что-то сказал своему помощнику. Тот побежал. Полковник, как бы обращаясь в пространство, добавил: «Может случиться через некоторое время, мне со многими из них придется идти в атаку на фашистов. И потому здесь хочу заслужить их доверие и знать, что они не подведут». Как только запыхавшийся чиновник притащил сапоги (взял из лагерной каптерки) полковник переобулся, снял китель с помощью надзирателей вбил в углы предполагаемой ямы колья, взял лопату и сразу же приступил к копке. Тут же за ним присоединились и надзиратели.

Работали споро. С такой быстротой копают только окопы и траншеи перед наступающим противником. Пласты земли, описав дугу, падали далеко за краем котлована. Носильщики едва успевали относить её. Работавший поблизости с группой «доходяг» на зачистке территории Шарабура (он всегда пристраивался к тем, где полегче) вытаращил глаза и с неподдельным удивлением сказал: «Смотрите! Сам главный «опер» землю копает?!». Работавший вместе с ним изможденный мужичонка, у которого остались только кости да кожа, насмешливо вымолвил: «Яму под нужник копает, чтоб ты туда по нужде ходил, а не под себя. Он же не «пахан в законе». Если ты «шарам-бурам» будешь для своей братвы так «работать» тебя сразу в «деды» произведут. А то только «пыжишься» по мелочам, героя из себя корчишь, а на самом деле только выносить «парашу» годишься». Шарабура замолчал и начал сгребать вокруг себя разбросанный мусор. В колонии кипела работа. Раздавался стук молотков, треск отдираемых досок. Ранее сложенный навоз возле скотных дворов выносили за пределы зоны. Через несколько дней его увезут на поля. Люди устали до такой степени, что на разговоры не хватало сил.

Ближе к вечеру, когда из котлована торчали только головы землекопов, полковник уперся руками на край ямы, пружинисто выскочил из неё, затем помог выбраться из неё надзирателям. Чуть усмехнувшись, сказал: « Надеюсь надолго её (ямы) хватит. Ну, а теперь пусть приступают к обустройству плотники. Завтра к вечеру, чтобы туалет имел приличный вид». Подошедшему начальнику колонии сказал: «Работу прекратите(хотя уже больше половины заключенных ничего не могли делать). Людей соберите.

Я разговаривать с ними буду!». После этого направился к колодцу. Взял из рук «черпальщика» ведро, сам зачерпнул воды, перелил в пустую, стоящую рядом деревянную шайку. Сказал подбежавшим к нему лагерным работникам: «Полейте! Я умоюсь!». Отставшие от него надзиратели вели между собой разговор: «Он, наверное, умом рехнулся, - говорил один другому, - я разогнуться не могу, а он собирает всех заключенных, чтобы беседовать с ними. Да они, хорошо, если добредут до сараев, чтоб в них лечь. А скорее всего прямо на земле растянутся». – «Может, и свихнулся он умом, - сказал другой, — только видишь сам, сколько сделали, какую чистоту навели. В двух помещениях настелили нары, так что почти все «зеки», как «баре», спать будут, а не в навозных кучах ворочаться».

Вскоре на самую широкую площадку потащились со всех сторон люди. Одни садились, другие ложились на землю. Собрались не все. Пришло немногим больше половины. Многие от усталости остались лежать в коровниках. Особенно те, кто уже захватил себе нары. Потом при формировании бригад их всех перераспределят и многим придется переселяться в другие помещения. Когда собравшиеся немного угомонились, полковник, стоя в окружении лагерного начальства поднял руку, призывая к ещё большей тишине и, не называя никого ни товарищами, ни гражданами, обратился совсем просто: «Все здесь вольнонаёмные и заключенные люди одной великой страны. Мы понимаем, как вам тяжело. Но многим ещё труднее. Идет беспощадная война. Враг силен, и никто не знает, что он ещё может предпринять. Время военное и всякое промедление в работе, срывы даже в малом идут только на пользу наших противников. В эту колонию собрали самых ослабленных людей, изнуренных голодом и непосильной работой, чтобы здесь на свежем воздухе, на крестьянских полях сажать картошку, капусту, огурцы, сеять рожь и прочие овощи и тем самым смогли прокормить себя, может, помочь какими-то продуктами таким же заключенным из других лагерей, а главное, поправить свое здоровье. Я в эту ночь ездил в центральный лагерь. Привез весь хлеб, что был недодан вам за несколько дней. Пришлось у других урезать пайки, частично у вольнонаемных. Мы будем принимать все меры, чтобы поддержать вас. Но так плохо как вы работаете и еще хуже живете - нельзя. Уже 10 дней как вы здесь, а ничего не сделали для самих себя. Вы до сегодняшнего дня валялись в коровьем навозе. Мы не смогли обустроить вам нормальные условия до вашего приезда, потому что в городах и деревнях остались только женщины и дети, которые давно уже не знают вкус хлеба! (У Петьки в глазах сразу возникла «тетенька», отдавшая им последние картофелины, и у него сразу запершило в горле). Осталось совсем немного времени до начала полевых работ, за эти дни вы должны полностью отремонтировать помещения, вставить рамы, двери, построить для всех нары. Приступить к строительству бани, вошебойки. Иначе, все погибнете от заразы. Закончить обустройство медпункта и начать строительство больницы. В колонию будем и дальше присылать таких же обессиленных заключенных и вместе с ними женщин. Надо расширить зону, где будут они проживать. Я сегодня уеду. Мы создаем несколько таких колоний. Им тоже надо помогать.

Повсюду плохо, но такой неорганизованности, как здесь, там нет. В этом повинно руководство. В первую очередь, сами наведите порядок в своих бригадах. Сегодня при раздаче пищи из-за неразберихи произошли скандалы и драки (это относилось к руководству колонии и вся администрация молча выслушивала упреки)». «Половина заключенных в первые дни без посторонней помощи ходить не могли, - оправдываясь, сказал начальник колонии, - никаких спальных принадлежностей нет». – «Спальные принадлежности пришлём в самое ближайшее время. Но, знайте! В дальнейшем будем посылать, только таких, может, ещё хуже, - совсем тихо ответил ему полковник, - на стройках люди по 12 часов возят раствор бетона тачками, а другие кувалдами разбивают камни на щебень. Понятно я сказал. Война еще не скоро кончится». И, обернувшись к примолкшим заключенным, громко сказал: «Твердо знайте все! Мы победим, какие бы трудности перед нами ни были!».

Полковник говорил еще долго. Громко. Иногда прохаживался по площадке: два шага в одну сторону, два шага обратно. Несмотря, что он не спал двое суток, в нем чувствовалась физическая и духовная сила. Чем руководствовались органы НКВД и высокое лагерное начальство, засылая изможденных, доведенных изнурительным трудом, болезнями, систематическим недоеданием заключенных в создаваемые сельскохозяйственные колонии, вряд ли кто сумеет ответить. Может, надеялись, что на более легких работах (хотя копать землю лопатой на пашне, сажать картошку, другие овощи тоже не весть какая благость) и свежем воздухе люди начнут поправляться и смогут снова вернуться на тяжелые военные стройки, а более окрепших можно будет послать на фронт. Или же отправляли с глаз долой, чтобы не отвлекаться от больших дел на их похороны? Кто скажет правду? Что было, то было. Полковник и вся комиссия, уехали поздно вечером. Вместе с ними уехал и начальник колонии.

Вместо него остался пожилой, с изуродованной рукой и выбитым глазом на фронте, угрюмый майор. Он был немногословен, но видел и знал о лагерных делах все. За это его быстро окрестили «Вездесущим Старцем». Откуда бралась сила у него? До 6 часов утра он уже приходил в лагерную зону. К подъему (а в рельс ударяли колотушкой в 6 часов) он успевал обойти все лагерные закоулки, и намечал план работ на целый день. В первый же день после отъезда комиссии Старец с начальником УРЧ распределили заключенных по бригадам и назначили бригадиров. Создали небольшую группу механизаторов из числа малосрочников (со сроками не более четырех лет), расконвоировали и отправили в близлежащий колхоз. Там им предстояло отремонтировать три стоящих без дела трактора и вспахать колхозную землю (механизаторов в колхозе не было ни одного – всех забрали на фронт). Из наиболее слабых, еле передвигающих ноги, сформировали две бригады. Одна продолжала заниматься обустройством бараков, сараев, перестраивая их под жилье и прочие бытовые помещения, а вторую, пополнив ещё «доходягами», оставили на сборе сучьев, разделке упавших деревьев в той же лесосеке на заготовке дров.

Несколько бригад, где были собраны более крепкие мужики, под кон-

воем отправили на копку земли, которую два года назад обрабатывали колхозники. Работа была для истощенных людей неподсильна, и поэтому первые дни работали только по 6 часов в смену. Через три дня после отъезда комиссии пришли две машины с постельными «принадлежностями» (это были пустые мешки, их давали по два каждому заключенному). Третья машина с прицепом привезла бочки с горючим, для дизельной подстанции, вырабатывать электроэнергию. Но оборудования не было. И нескоро появится свет в лагерных казармах. Только в августе месяце вспыхнет первая «лампочка Ильича». К этому времени колония станет походить на человеческое жилье. Появятся новые помещения соцкультбыта: баня на 15 человек, прачечная, медпункт, несколько новых небольших помещений барачного типа.

«Посевная» кампания, несмотря на принимаемые меры (копальщиков земли стали подкармливать, выдавая дополнительное питание, под названием «премблюдо»), шла медленно и со значительным отставанием. Однажды, ранним утром, еще до развода, многие заключенные услышали какое-то тарахтение мотора. «Наверное, опять кто-то из начальства катит», - подумали некоторые. Больше всех волновался Старец. «Неужели, не может быть так скоро, но что же тогда такое?» - ходил он, тихо повторяя одни и те же слова. Когда же на повороте дороги, грохоча и урча показался трактор Старец от радости закричал ура! И прослезился. Все всматривались в приближающийся старенький, много поработавший трактор. Даже развод прекратился на время. Когда трактор подошел совсем близко и тракторист слез с него, Старец подошел и обнял его. Всем стало понятно: колхозные поля трактористы вспахали. И вот этот первый тракторишко пришел помогать обрабатывать заключенным «лагерную» землю. Через несколько часов его отправят на поля, и будет работать он круглосуточно, благо ночи почти не было, облегчив непосильный труд заключенных-землепашцев. А когда придет второй, то Старец вообще снимет всех заключенных с земляных работ и переведет на строительство. Главная задача, которую перед ним поставили, заключалась не в достижении рекордных урожаев (хотя и она имела немаловажное значение), а в быстрейшем восстановлении сил, направленных в колонию заключенных, истощенных до последней крайности. А этого можно было добиться, улучшив им условия жизни. Они нужны были на более важных объектах. Война требовала снарядов, пушек, солдат, а в сельхозколонии могли только выращивать картошку, турнепс и прочие овощи. Ими стрелять не будешь, но они были не менее важны. В бригаду «лесников», где считался более легкий труд, подбирали в основном молодых парнишек. Лагерное начальство возлагало надежды, что эти ребята быстрее поправятся на таких работах. Они нужны были для фронта. Остались в этой бригаде и Петька с Ванькой. К ним добавили таких же молодых ребят: Серегу Тихонова (по прозвищу Тишайший). Он по заслугам получил эту кличку: при любом разговоре на любые темы всегда молчал и если возникала необходимость вступить в разговор, то, прежде чем его начать, всегда оглядывался по сторонам. Получив срок 7 лет за антисоветскую агитацию, крепко усвоил, что молчание - это больше, чем золото.

Зачислили в эту бригаду такого же молодого парня, чуть больше ростом, чем Серега, по фамилии Жеребцов с кличкой Грызун за два выступающих в верхней челюсти зуба. Они оттопыривали вверх губу, что создавало вид постоянно улыбающегося. А когда грыз палки (это было его любимым занятием) всегда поворачивал подборок в сторону, а голова оставалась неподвижной точь в точь, как это делает теперешний комментатор Сванидзе, когда задает лукавый вопрос.

Над ним подшучивали. Он с достоинством отбивался: «Я своими зубами любую палку перекушу». Когда же просили перекусить хоть самое тонкое полено уклонялся: «Зачем буду пустяками заниматься. Мне зубы понадобятся для защиты. Полезет кто – руку напрочь сразу откушу». Особенно не донимали: чем черт не шутит, по дурости «отхамкает» что попадет в его пасть. Ещё был один маленький, юркий, вихрастый мальчишка. За своих двадцать лет он успел уже не раз побывать в лагерях и числился рецидивистом. Этим он гордился, и называл себя старым лагерником. По фамилии Грязнов, по прозвищу Сверчок. Были и пожилые до 40 – 50 лет. Несколько человек, в качестве «наставников» для молодежи. Всего в бригаде было около 30 человек. Бригадиром назначили Федора Сметанина. Это был крикливый, дергающийся мужичек средних лет. Ходил он вечно с мокрым носом. Когда нервничал и ругался, то жидкость из носа и рта вылетала у него как из разъяренного верблюда. Старались в такие моменты отходить от него подальше. За эти особенности его быстро окрестили Сопливый. Вот эта бригада только уже в переформированном составе снова стала ходить в тот же лесок на сбор хвороста и разделку лесин, срубленных ранее. Когда-то на этом месте деревенские мужики валили деревья. Те, что были получше они разделали и вывезли, а остальные так и остались валяться. Война забрала всех мужиков и с этого лесоповала. И вот теперь на сборке неубранных сучьев и распиловке спиленных деревьев стала работать укомплектованная бригада заключенных. В самом начале, это были самые слабые работяги. Их даже свои (такие же обессилевшие зеки из других бригад) называли «доходягами». Они были так слабы, что на работу и с работы шли по 5 человек в ряд взявшись друг за друга руками. Как только заходили в лесную полосу, то сразу же разбредались и начинали рвать траву и листья с кустов. Рвали и жевали до тех пор, пока бригадир криками и руганью заставлял их работать.

Конвоировали эту бригаду два охранника, которым было далеко за 50, и они мало чем отличались от изнуренных лагерников. Собирать сучки и хворост, складывать в кучи было не так трудно, а обрезать на деревьях сучья, распиливать бревна на чурки, укладывать в штабеля было не каждому под силу. Таких подобралось на первой поре четверо. На две пилы. Первым заявил во всеуслышание приступить к этой работе сам бригадир. Он понимал, что немногие смогут выполнять такую работу. Был он здоровее других, да и пример подать бригадникам тоже, видимо, хотелось. После некоторых колебаний (захотелось попробовать) на работу пильщиков напросились Сверчок, Грызун и Серега Тишайший. Вот эта четверка во главе с бригадиром, приступили к раскряжевке деревьев. В основном были

осины и березы. Деревьев было много, а работа шла медленно. Работали на две пилы. Бригадир с Грызуном, а Сверчок с Серегой Тишайшим. Можно было бы подобрать ещё несколько человек, но пил всего было две. На «перекур», (хотя табака ни у кого не было) присаживались через каждые полчаса. Иногда им помогали конвоиры (так поразмяться), да показать былую сноровку в работе. Как только начинался «перекур» все заключенные, кто, сидя, кто лежа, принимались щипать траву. Работали хоть медленно, но штабелей бревен на дрова становилось все больше. Бригадир при раздаче баланды добавлял пильщикам и себе тоже по лишнему черпаку. Это приманивало, и кое-кто начал проситься на распиловку. Но привезли еще сразу десять штук пил, и «приманка» кончилась. Пилить стали многие, и добавки баланды прекратились: на всех не хватало, а отдельным выделять — были бы только раздоры.

Чем теплее наступало время, тем больше появлялось травы и других травянистых растений. Кому-то выпадало счастье: находили ранние грибы (сморчки, строчки). Их тоже съедали сырыми. Но многие приспособились варить в котелках. Конвоиры не запрещали разжигать «зекам» небольшие костерки и варить грибы. Они сами проделывали такое же. Когда конвоирам удавалось насобирать побольше грибов («зеки» иногда им в знак уважения выделяли понемногу своей добычи, за что те разрешали разбредаться им далеко от обозначенного объекта работ), старики конвоиры уносили грибы домой. В их семьях тоже царила голодуха. Самыми дорогими вещами для заключенных были котелок и ложка. С ними они не расставались никогда. Если терялись какие-то предметы (белье, ботинки, шапка) — считалось неприятностью. Когда пропадал котелок – было настоящее горе. Без котелка жизнь становилась невыносимой. Во что нальют баланду? В шапке или пригоршнях немного удержится. Занимали у других. Но! Если кто и давал такому горемыке в аренду свою посуду, то обязательно за какую-то цену. Да и наливали неудачникам баланду в последнюю очередь, когда в кадушке (баланду привозили в деревянных бочках) оставалась одна мутная вода.

Дни замелькали один за другим. Многие, что были помоложе, окрепли и проходили от лагерной вахты до лесных разработок без всяких передышек. Пожилые заключенные, которым далеко перевалило за 50, не выходили из зоны на работу. Они были настолько слабы, что иногда целыми днями лежали на нарах Их заставляли работать на территории зоны (строительных работ было много). Но толку от них было мало. И тем не менее, как только приступили к строительству помещения для больницы и медпункта, они первыми изъявили желание работать на этой стройке, и относились к работе самым добросовестным образом. К сожалению, многим не удалось увидеть построенными эти объекты. Тихо и совсем незаметно, когда все спали умерло сразу два старика . В эту ночь была гроза сверкали молнии, дождь лил как из ведра, ветер гнул верхушки деревьев. К утру все утихло. Взошло солнце и наступил светлый, безоблачный день. Когда бригады ушли на работу, умерших увезли. Где похоронили? Никто из бригадников не знал, да и не расспрашивал.

Под вечер вернувшиеся в барак бригадники увидели их нары пустыми. В первые дни образования колонии, умерших хоронили работники хоздвора. Потом эта печальная участь будет возложена на бригадников в чьей бригаде умер заключенный.

В первой декаде мая привезли на трех машинах семенную картошку. Почти всех заключенных направили на ее посадку, кроме «лесорубов» (дров на зиму надо было заготовлять много) и обессилевших стариков. Они так и не выходили за зону.

Каждой бригаде отвели участок, закрепили ответственных из вольнонаемных работников лагерной обслуги. К этому времени уже был агроном. Злой и беспощадный. Требовал от всех самого добросовестного исполнения правил к укладке и закапыванию клубней. И посевная началась. Люди работали с вдохновением. Только под вечер многие маялись животами. Тайком, чтобы не заметили наблюдатели, да не приведи бог сам агроном, тогда карцера не миновать, поедали сырую картошку. Ели второпях, неочищенную, зачастую с землей. Чуть-чуть потрут рукавом картофелину и тут же в рот. А ночью было невообразимое столпотворение: «зеки» бегали в уборную быстрее любого скорохода. Когда же она была занята до отказа, и не было возможности «пристроиться», «нужду» справляли возле стен туалета. Наутро многие говорили: «Хорошо, что полковник выкопал такую ямину, а то бы все угорели от невыносимого запаха».

В эту весну посадили только картошку. Никаких других овощей не сажали, а пшеницу, рожь и не собирались сеять. Как только разделались с картошкой, сразу же все снова приступили к строительству. А строить надо было много. Совсем недалеко от лагерной зоны начали строить молочную ферму и парники. Доски и брусья выпиливали продольными пилами в ручную, из бревен заготавливаемых все той же бригадой Сметанина Федора. К этому времени его бригада занималась лесоповалом всерьез. Бригадники посвежели, окрепли, выглядели более бодрыми. Да и сам бригадир заметно оправился и смотрелся значительно солиднее.

Осенью в колонии всех заключенных медицинская комиссия подвергнет самой тщательной проверке, отберет несколько десятков человек, в число которых попадут и Ванька с Петькой, и отправят всех в центральный омский лагерь. Оттуда одни пойдут на тяжелые работы на стройках объектов военного назначения, другие на фронт. На их место в конце сентября прибудет этап таких же (какими были привезенные ранее заключенные) «доходяг», и ощущаться недостатка в людях в колонии не будет. Такая система, когда поправившихся «зеков» увозили из колонии в центральный лагерь, а на их место, привозили ослабленных, станет устойчивой и понятной как для самих заключенных, так и вольнонаемных лагерной обслуги. Сложнее было с подбором пильщиков для продольной распиловки. Таких специалистов среди этапируемых «доходяг» не было. Поэтому работников данной категории собирали по всем лагерям и в колонии они не подвергались медицинскому обследованию на предмет отправки в другие места. Они принадлежали к касте привилегированных, к ним относились более уважительно и выглядели среди «выздоравливающих» отощавших больных заключенных настоящими богатырями.

Когда территорию колонии расширят и построят на ней жилые помещения, привезут партию женщин в преобладающем большинстве осужденных на малые сроки, их почти всех расконвоируют. Как только женщины обживутся и обустроятся (на что немного потребуется времени), мужики станут заводить знакомства. Некоторые создавали семьи (хотя подобное запрещалось лагерными законами), и по освобождении один дожидался другого. Но у большинства были мимолетные знакомства. Так, помилуются немного и расходятся. Прибывших женщин в преобладающем большинстве определят работать на вспомогательных производствах: молочной ферме, парниках, пекарне (хотя к их приезду эти объекты еще не были полностью построены). И только небольшая часть будет вместе с бригадой Сметанина в лесу подбирать сучья. Но при необходимости их переводили на другие объекты, обычно при сопровождении одного вольнонаемного работника. Бригадиром (она же исполняла и роль нарядчика) над всеми женщинами поставили молодую, довольно красивую женщину – Арину Малинину. В основном она работала с бесконвойными женщинами, но нередко приходила и на объект Сметанина. Ловкая, сильная, она сразу же принималась за работу и увлекала за собой бригадниц. Мужики завистливо поглядывали на неё, но уже успели признать, что Арина ни с кем не заводит никаких знакомств.

По истечении некоторого времени в колонии (а теперь заключенные ее называли лагерным санаторием) стали появляться бывшие пленные, граждане оказавшиеся в оккупации и чем-то связанных (в тот период) с немцами. Настоящих предателей и изменников, активно помогавших немцам в борьбе с Советским Союзом, предававших советских и партийных работников, оказавшихся в оккупации ни в одном этапе в сельскохозяйственную колонию не поступало. Да и не могло быть. Таких партизаны уничтожали на местах, а оказавшихся в руках органов НКВД расстреливали. Очень немногим оставляли жизнь, приговаривая к самым большим срокам наказания по 20-25 лет строгого режима. Военнопленных по мере их освобождения из немецких лагерей советскими войсками со всей тщательностью проверяли органы НКВД. При отсутствии связей с немцами их освобождали, и они становились равноправными гражданами Советского Союза (хотя в первые годы оставалась на них «неотмытая отметина»). Но таких, как правило, в сельхозколонию не посылали. Страдали иногда и совсем невинные, причем по-настоящему преданные Родине люди. (Работа на немецких заводах, фабриках и других объектах, связанных с военной промышленностью в период их пленения при определенных обстоятельствах расценивалась как оказание помощи фашистскому государству. Зачастую не принималось во внимание, что работать их заставляли насильно и под усиленным конвоем). Таких в сельхозколонии было очень немного и через несколько месяцев после окончания войны их всех освободили.

В начале 1945 года в сельскохозяйственную колонию прибыл небольшой этап заключенных. Основную часть зачислили в бригаду Сметанина Ф.(Сопливого) так как часть его бригадников («поправившихся») отправили в другие лагеря, а некоторых как Петьку с Ванькой, еще раньше на

фронт. Среди прибывших оказался один интеллигентного вида довольно молодой мужик, в возрасте около 30 лет по имени Семен. Его и еще двух мужичков-сибиряков бригадир послал в звено Сереги Тихони (или как его еще называли Тишайший). У Сергея к этому времени в звене оставался один только Грызун. И в качестве звеньевого ему работы не было. Он оказался «командиром без команды». Правда Серега кроме обязанностей звеньевого, а они заключались в получении задания от бригадира на предстоящий день, контроль за членами звена, их нахождение после отбоя на своих нарах(это правило подлежало неуклонному исполнению), своевременный подъем, вел бумажные дела, за что бригадир иногда наливал Сергею лишний черпачок баланды, чем Серега очень дорожил. С приходом новых людей в его звено работы прибавилось, но он легко справлялся со всеми обязанностями. Однажды бригадир отозвав Серегу в сторонку сказал: «Ты за Семеном пригляди! Узнал я, что он работал на каком то секретном заводе. Хоть срок и небольшой, но вызывает сомнение и подозрение. Очень замкнут и неразговорчив. Ни с кем ни одного слова. Как бы чего не начудил. А то ведь ты первым как звеньевой отвечать будешь». – «Как я за ним буду присматривать, когда мое звено в одном конце барака спит, а Семена ты загнал на другой край? Надо их поменять с Шарабурой. Этот не в моем звене», - возразил Сергей. «Ладно! - согласился бригадир - это я сделаю». « В чем же будет заключаться моя слежка?» - Сергей был явно озадачен. «Я и сам не знаю, задание получил от меня, вот и смотри за ним, может, он тебе что-нибудь скажет», - отпарировал бригадир. Он всегда «тушевался», когда перед ним ставили вопросы, на которые у него не имелось ответов. И тут же уходил от подобных разговоров.

Серега задумался: «А чем Семен отличается от других? То, что тот работал на секретном заводе» — это его заинтересовало. Он к таким людям испытывал уважение. По стечению обстоятельств Семен попал в сельхозколонию вместе с двумя мужичками сибиряками из омского лагеря, где он вместе с ними работал на стройке. Одного звали Петр, другого Павел. Посадили друзей по одному делу (за антисемитизм) сроком на 5 лет каждого. Своего начальника склада Наума (это потом всем станет известно) обозвали «жидом порхатым». За анисемитизм в сталинское время преследовали жестоко. И пять лет лагерей за такое преступление считалось наказанием из легких. Они уже отсидели по два с лишним года и на тяжелых работах, да лагерной баланде успели дойти до кондиции «доходяг». Мужички были тихие, работящие, исполняли любые наказы Сергея (звеньевого) и бригадира. Незаметно слились с бригадой. Через несколько дней бригадники добродушно и миролюбиво окрестили их: одного Петруха, другого Павлуха. Даже Грызун со Сверчком, хотя и не ладили, друг с другом, ласково называли их трудягами. Семену же долго не могли присвоить лагерную кличку. Но однажды Шарабура, что-то выспрашивая у Семена и ничего не добившись, уходя в сердцах выпалил: «У этого Угрюм-тайги, слова не вытянешь!». Так и прилипло к Семену это прозвище Угрюм-тайга. Как-то все сразу позабыли, что он Семен и стали обращаться к нему в такой форме. По надобности и просто так. Семену не нравилось. Он поправлял: «У

меня имя есть». Но никто не реагировал. Что тут поделаешь?! «Глас народа, глас божий!» Так и работала бригада (Сопливого) Сметанина Федора на лесозаготовительных работах уже не первый год. Одни поправившись, как Петька с Ванькой, уходили, другие на их место приходили. И вертелось это «колесо» не останавливаясь.

Серега Тихонов теперь уже значился в числе «заслуженных» звеньевых. Были случаи, когда бригадникам его звена выдавали даже «премблюдо». Как поощрение за хороший труд. Это были небольшие булочки, или же пол-литра молока. Сельхозколония уже заимела несколько десятков коров, где на молочной ферме работали заключенные женщины, и молоком обеспечивались вольнонаемные работники, охрана. Перепадало и заключенным. В первую очередь выдавали бригадам на самых тяжелых работах, передовикам производства (в виде «премблюда»), лагерной больнице. Выдача молока лагерным «придуркам» (в основном работникам не физического труда: бухгалтера, учетчики, нарядчики и т.п.) не полагалось. Но они умудрялись приворовывать. Шли дни, недели. Закончилась война. Значительно улучшилось питание. Заключенные быстро пошли на поправку и стали походить на настоящих людей.

У Сергея Тихони стал вырабатываться более вальяжный тон при разговоре с бригадниками и бригадиром. Смелее стал разговаривать с начальством. Однажды довелось во время собрания переговорить с самим начальником колонии (хотя Старец был доступен для каждого, днем и ночью «отирался» среди заключенных), отчего Серега в душе даже возгордился. Просыпаясь по ночам, Серега успокоительно думал: «Теперь не пропаду. Срок наказания перевалил на вторую половину. Отступили болезни, самочувствие стало лучше. Но вместе с этим подкатывало чувство страха: только бы не отправили из сельхозколонии как поправившегося обратно в лагерь. Там было хуже. Об этом Серега знал хорошо. Придирчиво ощупывал все части своего тела и тоскливо соглашался: «Крепче становятся, здоровее». Вздыхал глубоко и тут же засыпал. Спал крепко, как могут спать только молодые боги. Звено у него подобралось хорошее. Грызун по фамилии Жеребцов Сашка, хоть и имел некоторые отклонения – постоянно грыз какие-нибудь древесные палки передними зубами, – но работал добросовестно. Два «однополчанина» - сибиряки Петруха с Павлухой, безотказные работники, постоянно шептавшиеся между собой (о чем, никто не знал) и Семен. Этот хоть и довел себя постоянным молчанием и непонятными никому терзаниями до истощения, но силу имел и работал честно. Все они были в одном месте и «пригляд» (хотя и ненужное никому мероприятие) за ними у Сереги был. Правда, Семен был на другом краю барака. Это немного затрудняло контроль, но бригадир обещал поменять местами с Шарабурой, который самостоятельно занял нары Петьки, когда того с Ванькой отправили из колонии, и с тех пор так и проживал. Серега грозился, что выкинет его вещи к дверям, но кроме угроз на большее не решался. Боялся: а вдруг того в «законники» изберут. Хвастается постоянно этим Шарабура. Многие заверяли Сергея: «У него в камере место было только возле параши, это здесь он среди «доходяг» шибко духарится». Но Сереге хотелось решить этот вопрос мирно.

Жизнь катилась по «накатанной» дороге. Но однажды спокойствие в колонии нарушил непредвиденный случай. Самые трудолюбивые работяги, пожилые (а им уже было около 50) Петруха с Павлухой избили из другой бригады вроде бы ни за что ни про что такого же заключенного трудягу. Пока сидели эти друзья в карцере (а им пришлось там пробыть на воде и хлебе по 15 суток) в бригаде судачили по-всякому. Только после их возвращения прояснились кое-какие подробности. Избили они этого «ханыгу» (как они его называли) за старые его грехи. Этот «ханыга» по имени Наум Моисеевич был заведующим склада, а они (Петруха и Павлуха) работали грузчиками на его складе, взяли (а попросту своровали) кое-какую мелочь из продуктов. Прознав про это, Наум Моисеевич при всем честном народе начал их костерить нещадно, обзывая жуликами и ворами. Они не стерпели и обозвали его «жидом порхатым», при этом приговаривали: «Сам ты воруешь по-крупному, а нас позоришь за всякую мелочь». Да еще побить грозили. Наум Моисеевич, уже в годах и совсем не дурак, стерпел бы от них неприятное оскорбление (немного убытку), но ведь они кроме этого в присутствии нескольких человек кричали, что и он вор, и ворует не в пример им по большому счету. Тут в голове Наума Моисеевича быстро созрел план: надо опередить, пока кто-то из присутствующих не донес в соответствующие органы про скандал и не нагрянула комиссия с тщательной проверкой (что и произошло спустя год). И он пожаловался прямо в суд на антисемитов. И полетели Петруха с Павлухой в края не столь отдаленные.

И вот теперь со сроком 8 лет (за расхищение государственного имущества) Наум Моисеевич уже год как мотался по лагерям. За это время на лагерной баланде он очень похудел, успел побывать в больничном стационаре, после тюремных мытарств его с небольшой партией заключенных привезли в сельхозколонию, где он и встретился с Петрухой и Павлухой. Они его заприметили с первых дней, как он прибыл и в тайне шепотом готовили против него «заговор». Подстерегли. Били они его не сильно. Мужички еще далеко были не в «норме». Но кричал Наум Моисеевич громко. Сбежались надзиратели. Но первым подскочил проходивший мимо Семен. Он оттащил обоих драчунов за шиворот и, когда вгляделся в лицо пострадавшего ахнул: «Наум Моисеевич! Так это вы?». Тот поглядел на него и, не признав, а может, просто сделал вид, что не имеет чести быть знакомым, вежливо сказал: «Спасибо милый человек! Если бы не вы, то эти разбойники заколотили бы меня насмерть!» Хотел ли что сказать Науму Моисеевичу озадаченный такой неожиданной встречей, а скорее пораженный ответом, были ли они знакомы ранее, или на какой то мимолетной встрече Семен запомнил его имя и отчество, в тот момент невозможно было определить, так как надзиратели уже успели схватить обоих «бузотеров» и вместе с Наумом Моисеевичем увели в штаб (контору) колонии, а через полчаса Петруха с Павлухой отправились оттуда прямо в карцер на 15 суток, а Наум Моисеевич к себе в барак. Справедливость восторжествовала (Старец очень любил порядок и дисциплину и за малейшие нарушения строго взыскивал). Вместе с ними «выпало на орехи» и бригадиру Сопливому со

звеньевым Тихоней. Вызвал их тут же к себе начальник колонии и сделав строгий выговор предупредил, что если в дальнейшем дисциплина будет в бригаде такой же разболтанной обоих посадит в карцер, как Петруху с Павлухой. И пригрозил: «А вдобавок сниму с должности бригадира и вместе со звеньевым пошлю копать колодцы на огороды». В сельхозколонии это была самая тяжелая работа. После таких наставлений бригадир «потускнел», а Серега огорченно задумался: «За какие грехи на меня такие напасти сваливаются, и откуда их можно еще поджидать?»

После случившегося «побоища» Наум Моисеевич не на шутку засуетился. Он сразу смекнул, что эти «прохвосты» Петруха с Павлухой как только вылезут из карцера, с первых же дней начнут поливать его «честную голову» всевозможной грязью. А не дай бог, чего доброго снова подстерегут и отлупят по-настоящему. В этот раз Наум Моисеевич отделался только испугом. На следующий день, утром, согнувшись в три погибели и охая на каждом шагу, он пришел в медпункт. Там его уже знали, так как Наум Моисеевич обращался с различными заболеваниями, вымаливая освобождения от работы неоднократно. Рассказав фельдшеру, что вчера его жестоко побили и, наверное, поломали ребра заявил, что работать физически больше не сможет (за все время пребывания в колонии он только дважды выходил на огородные работы, остальное время под разными предлогами добивался освобождения от работы, или его оставлял «дневалить» и караулить вещи в бараке бригадир) и просил отправить в центральный лагерь на лечение. При прощупывании фельдшером бока, на который жаловался Наум Моисеевич, он так вскрикивал, что лагерный «эскулап», изучивший Наума Моисеевича во время его прежних посещений, понял: отделаться от этого пациента теперь вообще не удастся. Оставшись наедине до прихода врача, тот появлялся на работе после развода, стал готовить соответствующую справку и направление. Самостоятельно фельдшер принять подобное решение не мог. А он (врач) пусть уж своей властью определит, как поступить (как никак, врач был вольнонаемным работником, из бывших заключенных). Фельдшеру Наум Моисеевич надоел до невозможности. Во второй половине дня Наум Моисеевич «пробился» к начальнику лагеря (Старцу) и рассказывая про свои невзгоды, болезни, а главное боязнь быть убитым этими разбойниками Петрухой и Павлухой, стал просить Старца отправить его из колонии от «греха подальше». Да и лечение нужно: какой из меня теперь работник с переломанными костями, да и возраст под 60. Начальник колонии знал Наума Моисеевича. Тот уже около месяца как прибыл на «поправку», успел побывать у него на приеме с различными просьбами, жалобами и предложениями, несколько раз. «Хорошо, я разберусь с вашей просьбой», — ответил начальник колонии, про себя решив отправить его с первым этапом (все равно никакого толку не будет от этого «старикашки»). Наум Моисеевич поблагодарил и, вставая со стула для пущей убедительности вскрикнул как бы от невыносимой боли в «переломанных» ребрах. И, окрыленный надеждой, ушел к себе.

Семен, размышляя над поведением Наума Моисеевича (почему тот не признал его) решил сходить к нему и рассеять свои сомнения. Не может

быть, чтобы это был кто-то другой , убеждал Семен сам себя, направляясь в барак к Науму Моисеевичу. Подойдя к нарам, где обитал Наум Моисеевич, Семен поздоровался и, немного помедлив, спросил: «Наум Моисеевич! Меня зовут Семен, по фамилии Мацак. Жил я в Бобруйске, недалеко от вас. Знаю вашу супругу Екатерину Михайловну и дочь Розу. Я учился с ней в одном классе. Почти каждый день приходил в ваш дом. Вы должны меня помнить. Хотя и уехали много-много лет, но я-то вас не забыл». Огорошенный такой речью, Наум Моисеевич заметался в мыслях (Семена он уже узнал). Не зная как поступить, решил потянуть время: «Что-то я тебя не пойму». – «Ну, как же Наум Моисеевич! Мы с Розой вашей дружили и уроки учили вместе. Вы еще любили приговаривать: «Учитесь, учитесь, теперь без науки дорогу не пробьешь». А перед тем, как уехать, занимали деньги у моей мамы. Теперь то вспомнили?». Наум Моисеевич хотел отделаться простой отговоркой и сказать этому парню, что знать его не знает и ни в каком Бобруйске никогда не проживал, но как человек, умудренный опытом, решил, что скрывать ему свое прошлое незачем, все, что «полагается», от власти уже получил сполна, но просто так не хотел сдаваться: «Что-то я тебя парень не припомню». Но тут же, не дав Семену открыть рта, как-то вдруг будто бы обрадовавшись, воскликнул: «Ох! Ох! Ох! Как же время бежит быстро! И каким ты богатырем вымахал. Сеня! Сеня! - и продолжил: – А я как в Сибирь уехал, так и не смог больше вернуться на родную сторонку, уж очень печально сложились обстоятельства. И даже долг не смог вернуть вашей матушке Марии Ивановне. Так кажется ее звали?». Долг по теперешним ценам был «мизерный», и потому Наум Моисеевич подумал, что если Семен узнал его и пришел за долгом матери, то он тут же и расплатится. Деньжонки у него водились, хоть и небольшие. «Нет уж моей мамы на этом свете. Умерла,- сказал Семен и добавил: «Некому возвращать долги». «Так я тебе отдам», - ответил Наум Моисеевич и зашарил по карманам. «Не надо, Наум Моисеевич, не возьму я»,- твердо сказал Семен.

Он пришел к Науму Моисеевичу совсем по другому вопросу. Ему хотелось узнать известно ли тому о судьбе Екатерины Михайловны, а главное, может быть что-нибудь знает про свою дочь Розу, на свое письмо из лагеря он не получил от нее ответа. Отсутствие всяких известий тяготило его безмерно. Когда этот вопрос он задал Науму Моисеевичу, тот, немного взгрустнув, сказал, что ничего сообщить ему не может и тут же спросил Семена: «И давно ты оттуда? Каким образом Сеня, ты такой преданный и неискушенный оказался здесь». « О! Наум Моисеевич! Долго рассказывать. За это время много воды утекло, в один день не расскажешь». Поняв, что у Наума Моисеевича, никаких связей с прежней семьей нет, Семен счел более удобным не рассказывать о себе, распрощался и ушел в барак. Встреча с Наумом Моисеевичем растревожила его душу, и терзаемый тайной печалью, перемешанной с неугасимой страстью, мыслями унесся в далекие ушедшие годы. Лежа на нарах, вспоминал: «После отъезда Наума Моисеевича (кое-кто поговаривал, что он просто сбежал от суда, напроказив что-то на торговых складах, где он работал заведующим базой) у Семена

ничего в жизни не изменилось. Он также продолжал ходить к Розе, а она к нему, да и потом, когда учился в машиностроительном институте, приезжая в родной город первым делом спешил навестить дом, где продолжала жить Екатерина Михайловна с Розой. Роза! Она как магнит притягивала Семена. Проживая с ней на одной улице, он дня не мог прожить, не увидев её. Уехала Роза, поступив в медицинский институт. Но Семён до своего отъезда каждый день приходил к Екатерине Михайловне и в чем-то помогал по хозяйству. Розу и Семена с самых далеких детских лет привыкли считать «женихом и невестой». Когда же Семена, еще в младших классах дразнили этим мальчишки, он дрался с ними, скорее, для приличия. А у самого сердце замирало в груди от радости, что Роза самый дорогой для него человек и дружит только с ним. И он многие годы, подрастая и взрослея, все время думал, что будет с ней неразлучен на весь век. Но! В жизни многое происходит совсем не так, как хочется. Первые годы они переписывались, иногда отправляя по несколько писем в день, уверяли и заклинали каждый в любви и преданности, а время шло, и многое менялось. В летние каникулы они встречались, также радовались встречам, но того ликующего чувства, когда кружится голова и все вокруг поет и кажется весь мир создан только для них двоих, уже не приходило.

Семен догадывался, что Роза становится какой-то другой, как бы отдаляющейся от него, но спросить её, или даже намекнуть он не решался. А вдруг скажет, что у нее есть кто-то другой, или она разлюбила его. Понимая, что просто не переживет этого, и, затаив сомнение, прятал его как можно глубже. Семен на год закончил институт раньше Розы и был направлен на секретный завод в один из уральских городов. По пути к месту назначения он завернул в свой родной город, побыв немного с матерью и пообещав ей, что он в скорости приедет к ней со своего места назначения или заберет её туда, сразу же побежал к Екатерине Михайловне. Тревога переполняла его сердце. От Розы он давно не получал писем. Екатерина Михайловна встретила его приветливо, но как показалось Семену чуточку настороженно. На вопросы Семена, как у Розы дела, как дипломная работа, как её здоровье, Екатерина Михайловна поняла, что Семен действительно ничего не знает о ее дочери и отвечала уклончиво: «Я тоже давно от нее никакой не имею весточки, закрутилась, видимо, с дипломной работой, может, скоро узнаем, как у неё складываются дела, недолго остается ей учиться».

Екатерина Михайловна очень любила Семена и ничего не хотела для дочери, кроме одного: только чтобы они поженились и были вместе. Семен посидел некоторое время, рассказал о себе, выпил два стакана чая (от водки и вина, что предлагала Екатерина Михайловна, отказался). Чтобы немного заполнить пустоту (разговор явно не клеился), спросил про Наума Моисеевича. Екатерина Михайловна оживилась и рассказала все, что знала. А знала она совсем немного: «Живет в Сибири, женился. Просил у меня развод. Я с удовольствием это сделала. Через полгода после развода получила от него последнее письмо с благодарностью, за доброе к нему отношение. Вот и все, что я о нем знаю». Поговорив о разных малозначащих вещах,

Семен ушел домой в глубоком раздумье. На следующий день он уехал. На работе его приняли с распростертыми объятиями, работников повсюду не хватало и назначили инженером в конструкторское бюро. Определили в общежитие, а по истечении некоторого времени дали комнату. За несколько дней он успел отправить Розе несколько писем, в каждом повторял одно и то же. Прошел месяц, два. Жизнь его протекала в постоянном ожидании ответа, сочинении писем и работе. Порой он засиживался до позднего вечера. Его пугал пустой почтовый ящик, куда он заглядывал по несколько раз в день. И уже потеряв всякую надежду, придя вечером с работы, он по выработавшейся привычке заглянул в почтовый ящик. И обомлел. Сквозь прорезанные кружки поблескивал белый конверт. Он с дрожью во всем теле открыл ящик и сразу же увидел на конверте адрес, написанный почерком Розы. Он не сразу распечатал письмо. Открыл дверь и, сгорая от неведомого предчувствия, открыл его. Скупые безжалостные строчки, холодные и ясные. «Сеня! Милый! Я получила от тебя кучу писем. И только сейчас, пересилив себя, написала ответ. Я недостойная женщина. И потому не жалей меня. Я поступила подло. Мне встретился человек, и я стала его женой. Прости. Я ничего не смогла сделать. Роза Наумовна».

Какое чувство испытывает бык, когда того перед тем, как перерезать горло оглушат тяжелым молотком по голове? Тоже самое испытал и Семен, прочитав письмо Розы. Жизнь для него потеряла смысл. Он искал хоть какого-то утешения, малейшего покоя. Однажды сходил в театр, но при виде счастливых лиц только больше расстроился. Немного сглаживала неутихающую боль работа. Приходил домой только чтобы поспать. Но это редко ему удавалось. О своей жизненной драме он никому не рассказывал, но товарищи видели и догадывались, что у него какое-то на душе огромное горе. Прошел год. Из писем матери он знал, что Роза с мужем приехали недавно и оба работают в поликлинике. «Муж представительный такой, и говорят, что добрый. Но так ли это - я не знаю. И видела их только один раз, проходя мимо поликлиники». Мать знала про его ранние увлечения, но значения им не придавала. Когда же ей старшая дочь Нина рассказала, что из-за Розы Семен жизнь свою губит, перестала в письмах упоминать про это. Письма матери ранили сердце Семена больнее ножа. В терзаниях и тоске прошло два года. Поколебавшись, Семен решил навестить мать и старшую сестру Нину, которая давно обзавелась семьей и жила в полном покое, совсем недалеко от матери. Но тянуло его другое. Тоска по Розе давила сердце, не оставляла ни на минуту. Иногда казалось, что все неправда, что это долгий сон и наяву все будет по-другому. Он понимал, что уже ничего нельзя изменить и хотел только одного: увидеть ее хотя бы издали.

Так совпало, что он приехал за два дня до смерти матери. У нее уже давно болело сердце, но старушка крепилась. Иногда ходила к врачам. Совсем недавно побывала в поликлинике, где работала Роза Наумовна. Они давно не виделись, но когда к Марии Ивановне подошла докторша в белом халате, она обомлела. Перед ней была женщина небесной красоты. Мария Ивановна не стала много рассказывать про свои болячки. Нахлынувшее чувство заслонило перед ней всё. Она поняла, почему так долго не женится

ее сын, Семен, и кем занято его сердце. Постаралась сразу же после коротких наставлений докторши уйти домой. Роза Наумовна также не задерживала ее (у нее самой скребло сердце, ведь перед ней была мать того человека, который с самого раннего детства много-много лет был ее неразлучной тенью). Через несколько дней, занимаясь простыми хозяйственными делами, Мария Ивановна почувствовала себя совсем плохо и позвала дочь Нину (та жила недалеко от нее) побыть с ней: «Пока поправлюсь». Но с каждым часом ей становилось все хуже и хуже. Нина решила послать телеграмму брату. Когда она собралась идти на телеграф, неожиданно заявился Семен. Как бы предчувствуя что-то неладное, он тихо и робко прошел в домик и, повстречав Нину, понял: с матерью плохо. Через два дня ночью Мария Ивановна умерла. Семен до ее смерти все время не отходил от нее ни на одну минутку. Он гладил ее исхудавшие руки и только изредка отворачивался смахнуть с глаз набежавшие слезы. Мать лежала с закрытыми глазами, но понимала состояние сына, угадывала все его движения и только иногда говорила: «Не расстраивайся, сынок, я уже старая, пожила. Да и отец зовет, скучно ему там без меня». И только перед самой кончиной, видимо предчувствуя, что скоро не станет сил сказать последнюю мучившую ее думу, произнесла: «А ты, Сеня, женись. Пора. Сколько хороших женщин на свете. И заживешь счастливо. Дай-то бог тебе». Семен же про себя думал, прижимая ее руку к своему сердцу: «Мать, милая. Ты во всем права. Много на свете красивых, добрых, умных женщин. Только Роза одна. И ничего я не могу с собой поделать!». Мать каким -то непонятным чутьем угадала страдания сына и совсем тихо сказала: «Это Сеня проходит. Только время надо. А теперь иди, сынок, отдохни немного. Да и я посплю». Семен встал. В голове кружилось. Пол уходил из под ног. Он дошел до скамейки, не успев еще прилечь, услышал, что мать как-то неестественно задышала. Он подбежал, увидел открытые глаза матери и понял, что она умирает. Нина подошедшая чуть раньше, всхлипнула. Руки матери дернулись. Из уголка глаза стекла слеза.

Марию Ивановну похоронили на третий день в одной могиле с ее мужем, умершим в годы страшного голода. Народу было немного: Нина с мужем, 'и дочерью Ирой, несколько человек из соседних домиков, да Екатерина Михайловна. Когда Семен встретился взглядом с ней, та всхлипнула и наклонила голову. Семен поблагодарил, что пришла разделить с ними горе, и не зная как прекратить тягостный разговор, сказал: «Что поделать? С каждым такое будет!». Ни на что другое у него просто не было мыслей. По христиански отметили девять дней. Семен, хотя отпуск еще не закончился, стал собираться в обратную дорогу. К себе на работу. На Урал. «Может, там будет легче», - думал он, глядя на посеревшее лицо сестры. Та знала о неизлечимой «болезни» Семена и, проклиная самыми страшными проклятиями Розу Наумовну и весь ее род, до невозможности жалела брата. Не зная, как и чем помочь, хотела одного: чтобы Семен не пошел туда. К ней. (Она не знала тогда, а Семен тем более, что Роза Наумовна несколько дней назад уехала по служебным делам в Москву). Женским чутьем угадывала, что такая встреча ничего хорошего ему не принесет. Толь-

ко растравит рану. Чтобы не оставлять его одного в доме матери, они с мужем позвали пожить с ними несколько дней до отъезда. После некоторых колебаний Семен согласился: поликлиника, где работала Роза, от них была совсем недалеко. Ему хотелось ее увидеть, но никакого свидания, хотя бы мимолетной встречи у Семена не получилось. Началась Великая война, а с ней вселенское переселение народов. Рассуждать было некогда. И Семен на другой же день уехал, так и не повидав Розу.

В первый по приезду день, он как офицер запаса сразу же пошел в военкомат. Но ему ответили коротко: «Когда надо – позовем. И, пожалуйста, идите работайте. Видите, сколько людей стоит у наших окон. Все рвутся на фронт». На заводе проходили собрания. Начальник в своём заключительном слове сказал коротко: «На наш завод наложена бронь. Ни один работник без нашего ведома, никуда не будет отпущен. Многие просятся на фронт. Но, поймите, прежде всего, что здесь сейчас вы нужнее». Семен погрузился в работу. Он пробовал еще несколько раз писать заявления в военкомат, обращался к своему начальству, но всюду получал только отказ, а иногда совсем не отвечали. Война, как огромная океанская лавина залила города и земли, разметала миллионы человеческих жизней и, отхлынув уходила, оставляя после себя хаос, разрушение и переломанные человеческие судьбы. Семен жил один, он ни от кого не получал никаких писем, никаких известий. Знал: не от кого. Только когда Белоруссию, Украину и другие области освободили советские войска, встрепенулся: «Может объявится сестра?» Хотя мало был уверен в благополучном исходе, но тем не менее... а вдруг? О Розе и Екатерине Михайловне старался не думать, а если, когда память вытаскивала из глубины эпизоды давно прошедших, счастливых времен, то тут же гасил: «Пусть живут люди и будут счастливы». Для Розы и Екатерины Михайловны он мысленно желал только хорошего. Он вспоминал часто слова матери, сказанные перед смертью: «Это Сеня, проходит, только время надо» и думал: «Время проходит и боль... тоже. Только с одной разницей - первую, режущую сердце, заменила какая то давящая, словно камень на груди. И душа оттого стала чужой». Вынимая как-то из почтового ящика газеты, он не заметил, как вместе с ними вытащил конверт, который выпал на пол. Не обратив внимания, он поднялся в свою комнату, в которой жил с первых дней своего приезда. Ему, как ведущему инженеру, уже год получившему повышение, неоднократно предлагали квартиру. Но! Он отказывался. И не потому, что был одинок (на что он всегда ссылался), а оттого, что где-то в самой глубине надеялся, что вдруг напишет сестра, а может... Роза (хотя понимал, что такое невозможно, пять лет как Роза была замужем), а у него изменится адрес и письмо может потеряться.

Он разделся. Перелистал газеты. Сводки были утешительные, наши войска изгоняли фашистских захватчиков с нашей Родины и наносили беспощадные удары по их отступающим войскам. Неожиданно раздался звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» - подумал Семен и пошел открывать. Выйдя в коридор, увидел девочку лет десяти, одиннадцати. Он часто встречал ее в подъезде, но никогда не задумывался, в какой квартире она живет

и чья это дочь. Семен вел замкнутый образ жизни и соседей почти не знал никого. Девочка подняла на него глаза и сказала, как бы упрекая: «Что же вы, дядя Семен, бросаете письма. Оно валялось возле вашего ящика. Я принесла его домой, а мама сказала: « Отнеси его быстрее». С этими словами девочка протянула конверт. Семен, потерявший надежду получить от кого-либо хоть какую-то весточку, подумал: «Может из военкомата ответ с отказом (он написал последнее заявление около трех месяцев назад). Только почему так поздно. Война то уже идет на чужой земле – и скоро конец. Он поблагодарил девочку, сказал, чтобы она немного подождала, сходил к себе в комнату, взял пачку печенья (на заводе выдали как спецпаек) и, вернувшись, протянул девчушке. Она чем-то напоминала ему дочку его сестры, когда та была такой же маленькой. Та немного застеснялась и хотела отказаться (советские дети того времени не были избалованы). Но Семен сказал: « А теперь беги к маме». Девчушка подняла на него глаза, полные благодарности, хотела что-то сказать, но, ничего не придумав, убежала.

Семен, даже не глядя на адрес, положил письмо на стол снова взялся за газету. Просмотрев до конца, вспомнил о конверте и, продолжая думать, что это ответ из военкомата, взял со стола. Почерк на конверте показался очень знакомым, но обратный адрес несколько обескуражил его. «Казахстан, проездом» и ни слова больше. Он быстро раскрыл его и обомлел. Письмо было от Розы. Семен прочитал. Потом еще и еще. Она писала ему как старому другу, потому что некому больше излить горе и боль. Она растеряла всех родных. О своем отце, Науме Моисеевиче, с давних пор не имеет никаких известий, а мама (Екатерина Михайловна) и ее муж пропали без вести в первые дни войны. «Я прожила почти три года в Казахстане написала огромное количество писем, но не получила ни одного утешительного ответа. Как только началось освобождение наших мест, я тут же решила возвратиться в родной город и, не раздумывая, поехала. Пишу тебе уже с дороги. Не знаю, получишь ли ты это письмо, но, опустив его в почтовый ящик, почувствовала облегчение. Еду с огромной надеждой разыскать маму и мужа, или уж на худой конец разузнать об их судьбе. Боюсь, что они могут оказаться в Германии, в лагерях. Не суди меня Семен, но даже написав тебе это письмо, у меня воскресли надежды, что я их отыщу. Ты мне всегда служил талисманом». Семен, не получавший от своей сестры Нины уже больше трех лет ни одного письма, вдруг подумал, что и Нина также может внезапно появиться.

Городишко, где все они проживали уже несколько недель, был освобожден, и Роза, вероятно, приехала. С того момента, как она отправила письмо, прошло больше месяца. И Семен, работавший все эти годы без отпуска, выходных дней, порой по 20 часов в сутки, решил обратиться к администрации за отпуском, хотя бы на несколько дней. Когда он пришел с такой просьбой к своему начальнику, тот долго стоял перед ним с выпученными глазами и раскрытым ртом. Наконец, немного оправившись, ответил: «Ты что с ума сошел? Сейчас идет разработка самых важных комплектующих частей к новому виду оружия, а ты! Отпуск?!» Семен очень подробно рассказал о своей горькой доле, неизвестной судьбе родных и

еще раз попросил по возможности рассмотреть его просьбу. «Ну вот что Семен! – сказал ему начальник, – как закончишь свою часть работы, так постараюсь добиться разрешения на твой отпуск. Но, ненадолго». Ответ такой Семена вдохновил. Он приступил к работе, забыв про отдых, думая только, как бы скорее вырваться в свои места. Он работал сутками, не уходил из кабинета, спал на стульях по 3-4 часа. Через несколько месяцев, после выполнения своей части работы, он получил двухнедельный отпуск.

Была уже осень. С бьющимся сердцем подходил Семен к родному дому. Какой он? Живет ли кто в нем? Может подселили? В этом не было ничего удивительного. Во время военной оккупации были разрушены сотни тысяч домов. Оставшиеся без крова жители искали любое прибежище, где можно было приютиться. Многих подселили власти, некоторые самовольно занимали пустующее жилье. И обвинять их было нельзя. Мелькнула мысль: «Может, прямо к Розе?» Но он тут же отогнал ее: «Нет, нет. Ни в коем случае. Вдруг и ей за это время кого-то подселили? Да и цел ли ее домик. И живет, она возможно, в другом месте? Да и приехала ли она? Может ее нет совсем в этом городе? После того письма прошло около трех месяцев. Да и кто я для нее? Старый, школьный друг. Причем забытый в свое время и отвергнутый. Что из того, что она сейчас одинока. Она ведь в письме не приглашала?». Каких только мыслей не промелькнуло в его голове, пока он шел к своему дому. У самой ограды он остановился. На калитке висел старый почерневший замок. Семен обошел вокруг забора.

В некоторых местах доски оторвались. Легко отодвинув несколько штук, сделал небольшой лаз, проник во внутреннюю часть двора. Втащил за собой чемодан. Увидев, что дверь в дом также заперта замком, подошел к крыльцу и сел на ступеньку. Крыльцо было вымытым. «Значит кто-то живет», – подумал Семен. Он знал, куда мать в давние годы прятала ключ, уходя из дома. Уже встал, чтобы пошарить в тайничке рукой, но тут же передумал: «А какое у него сейчас право заходить в дом, если там живут чужие люди (на сестру он не надеялся т.к. понимал, что если бы она была в городе, то написала бы ему не одно письмо). Но, подумав, решился: «Только проверю, есть ключ на прежнем месте и буду дожидаться хозяев. Ведь должен же кто то подойти?» Просунул руку в щель. Тщательно обшарил. Ключа не оказалось. Возвратился к крыльцу и задумался: «может никто не живет. Закрыт дом и никого нет». Но, обратив еще раз внимание на чисто вымытые ступеньки, отверг сомнение: «Кто-то живет, надо ожидать. До темноты еще было далеко. Осенний день выдался погожим. Солнце пригревало, воздух был чист, небо прозрачным. Было тихо и покойно. Даже не верилось, что здесь совсем недавно громыхала война. Вспомнились далекие детские годы, счастливая и беззаботная пора, прозрачные вечера, весенний шум вишневых садов, белоснежные кущи сирени и такие же теплые, как сегодня, подступающие закаты. Оглядываясь вокруг, видел сплошное запустение.

В некоторых домах окна были заколочены, чуть в стороне в целом квартале торчали только одни обгоревшие столбики. Война, война! Что ты натворила. Во что превратила когда-то цветущий городишко. Сколько погубила и переломила судеб? По улице спешили одинокие прохожие. Ино-

гда поворачивали взоры в его сторону, мельком взглянув, уходили молча. Бои в этом районе закончились около четырех месяцев, но восстановление разрушенных домов, строений только начиналось: война не отпускала мужские руки, державшие автоматы и винтовки в далекой чужой стороне, а женских хватало только на копку земли, да выращивание картошки. Не зная, как скоротать время, Семен походил по ограде и снова сел на крыльцо. И здесь в родном доме, где все было знакомо до последней ниточки (еще на окнах висели старые занавески) в удивительно умиротворяющей тишине блаженство разлилось по всему телу, хотелось только бесконечного покоя. В эту ночь в вагоне он почти не спал и незаметно для себя задремал. Очнулся он от легкого постукивания по плечу чьей то руки и женского голоса: «Эй! Мужик! Проснись! Ты как сюда забрел?». Семен открыл глаза. Встал. В светлом вечернем сумраке он увидел стоящую перед ним высокую молодую девушку, а чуть поодаль от нее парня с перевязанной рукой. Что-то до боли знакомое показалось в лице девчушки, и пока он раздумывал (кто же она?), та радостно ахнула и со слезами на глазах кинулась ему на шею. «Дядя Семен! Откуда вы? Где были так долго? Почему ничего не писали?» - сыпала она словами, смеясь и плача. Только опомнившись, узнал он свою племянницу Ирину, дочь сестры Нины. За годы разлук она выросла и повзрослела. «Ну что же мы стоим? Пойдем в дом», - сказала Ирина, открывая дверь. Парень, не двигаясь с места, спросил громко: «Ира! Заходить за тобой!». Ирина, не задумываясь, ответила: «Ну конечно, Володя! Обязательно. Ты же знаешь, какая я трусиха». – «Ладно, - сказал Володя - буду ждать возле дома». Радость Семена (хоть одного родного человека встретил) была безмерна. Он совсем забыл про чемодан, в котором привез подарки. Впрочем, какие дары возили в войну труженики тыла, кроме раздобытых правдой и неправдой продуктов. И уже переступив порог дома, спохватился. Вернулся и подняв чемодан, занес его в дом. Несколько минут они не знали с чего начать разговор. Семену не терпелось узнать про родителей Иры, его сестру Нину, знакомых, близких соседей. Но главное, что хотелось узнать у Иры, - это про Розу. Он знал, что Иринка еще девчонкой много раз видела Розу, когда та заходила с подругами к Семену. А он при ее появлении забывал про всех. Иринка сердилась, надувала щеки, хмурилась и, обиженная, уходила из дома, чтобы не видеть «разлучницу». Но это было давно. Ему не терпелось спросить про Розу, но какое-то чувство страха сдерживало его. Он очень боялся какого-нибудь неприятного ответа. Вдруг Ирина скажет: «Не помню и не знаю никакую Розу». Он очень хорошо помнил, что Ира не любила ее. После получения письма от Розы, зарубцевавшиеся раны вновь закровоточили, а воскресшие необъяснимые надежды только усугубляли боль. Поэтому в разговоре с Ириной он избегал называть ее имя и ее родителей.

И вдруг его осенила мысль: «А что Ирина, скажи, цела ли наша поликлиника?» – «Одно из немногих зданий, что уцелели после немецкого нашествия», – сказала Ирина и тут же замкнулась. Хотела еще что-то добавить, но промолчала. Они проговорили уже больше часа, но он, предчувствуя неладное, не задавал вопросы про ее родителей, а она очень тонко

их обходила. Наконец Семен не выдержал и спросил: «Ну, а где же твои отец с матерью, ты говоришь все о себе, да про жизнь городскую?». Ирина грустно опустила голову и надолго замолчала. В это время раздался чуть слышный стук в окно. «О! Это меня. Мне пора! Я, дядя Семен, завтра расскажу тебе обо всем. Долго придется говорить. А сейчас мне надо на работу бежать. Я ночами работаю, а днем учусь на курсах. Открылись недавно. А ты сейчас поешь. Правда у меня кроме картошки, да яблок ничего нет. Яблок в этом году уродилось много. А завтра я забегу к подруге возьму у нее огурцов, недавно ей из деревни прислали. Да пайку хлеба получу. Загуляем», - как-то весело проговорила Ирина, а потом, помрачнев, горько сказала: «Плохо пока приходится жить». Семен вспомнил про свои запасы и мысленно похвалил друзей, что помогли ему заполнить продуктами чемодан. «Там голодно, зачем ты повезешь какое-то тряпье. Забирай консервы, сухари, галеты. А тряпье обменяй на продукты. Это здесь мы не голодаем, хоть и не шикуем, но живем», - в один голос уверяли его товарищи, побывавшие в своих краях. «Ира, ты бери все, что приглянется в чемодане, захвати на работу, а к подруге не ходи завтра. Отложи на другой раз. Когда все съедим, тогда и пойдешь», - говорил Семен племяннице, открывая чемодан. Ирина, увидев содержимое чемодана, охнула и сразу не могла вымолвить ни слова, потом воскликнула: «Дядя Семен! Откуда это? - помолчав, грустно добавила: - А наши девчонки на курсах даже жмыху рады». Глядя в изумленные глаза племянницы, понял, как же трудно живется нашему народу. Его завод («закрытый») снабжался по первому разряду, и рабочие .не испытывали такого голода. Ирина убежала. Обняв на прощанье дядю и пожелав доброй ночи, она не меньше Семена испытывала радость встречи. Только черным пятном лежал на душе предстоящий разговор о судьбе ее родителей. Она уже стала свыкаться с их потерей, но бередить душу воспоминаниями было всегда нестерпимо больно. Семен, не имевший никаких сведений про сестру в течение многих лет и ничего не узнавший при встрече с Ириной, которая уклонилась и отложила разговор про своих родителей на завтра, терзался в догадках. Он понимал, что с ними что-то произошло. «Но что?» - это не давало покоя и, укоряя себя за легкомысленное отношение: «Надо же не сумел с первых минут расспросить Ирину о самых близких им обоим родных людях, в мыслях была только Роза» - ходил из угла в угол по дому.

Ночь была светлой. Луна заглядывала в окна, и от ее мрачного света тоска только усиливалась. Домик, в котором он родился и прожил все детство, был небольшим. В одной комнате спали мать с сестрой Ниной, а в другой он. Там был стол, сохранившийся с самых первых дней жизни. На нем Семен учил уроки, иногда обедал. Правда, такое случалось редко. А после того, как Нина вышла замуж, он на этом столе занимался только учебой. Зайдя в кухонку, где мать постоянно гремела горшками, кастрюлями, какими-то металлическими предметами с заставленными посудой полками, а теперь была только одна кастрюля, да несколько вилок с ложками, он углубился в воспоминания. Господи! Было ли это? И домик когда-то, такой милый и теплый, теперь казался посеревшим от тоски и грусти по

ушедшему времени. Семен зашел в свою комнату. Подложил под голову пальто (подушки на кровати не оказалось) разделся и, укрывшись старым во многих местах порванным одеялом, лег. Какая-то глухая печаль придавила грудь и, не спрашиваясь, покатились слезы. Он не замечал их. Потом повернулся на бок, вздохнул глубоко и заснул. Бессонная ночь в вагоне дала о себе знать.

Когда он проснулся, в домике было светло. Не спеша оделся и вышел на улицу. Походил по огороду, обошел вокруг и, вернувшись, стал дожидаться Ирину. Посмотрев на часы, подумал: «Сколько же часов работает Ира?». Уже шел одиннадцатый час, а ее все не было. Наконец, появилась и она. Усталая от бессонной ночи и продолжительной работы, она казалась вялой и неразговорчивой. Семен, увидев такое усталое лицо племянницы, решил, что лучше не начинать разговор: «Пусть поспит». Немного помолчав, сказал Ире, что хочет сходить на базар, да посмотреть в магазинах, может что-нибудь приглянется, и купить. Ирина ненадолго оживилась и сказала: «Дядя Семен! В магазинах продают только по карточкам, а на базаре очень дорого». «А на каком месте сейчас базар? Все там же или, может, перенесли на другое место?» - спросил Семен. «Там же», - ответила Ирина. А у самой голова клонилась на грудь. «Ладно! Ты отдыхай, а я пройдусь», - сказал Семен и, не теряя времени, вышел из дома. Городишко он знал хорошо. Можно было идти по прямой дороге, но он завернул на другую улицу, чтобы пройти мимо поликлиники, где когда-то работала Роза. «А вдруг увижу», - подумал он с дрожью в сердце. Он уверил себя, что Роза, если приехала в родной город, то обязательно будет работать на своей прежней работе. Проходя мимо поликлиники, не увидел Семен ни одного человека. Только за забором с наружной стороны, в дальнем конце какой-то мужичонка сгребал упавшую листву. Семен подошел и, поздоровавшись, спросил: «Не знаешь ли ты кого-нибудь из медицинских работников здешней поликлиники?». Старичок внимательно посмотрел на Семена и вместо ответа сам спросил: «А кого бы вам надо было? Сейчас здесь не только поликлиника, но и больных держат при лазарете. Я же при этом заведении состою в должности сторожа и уборщика». Ясно было, что человек он знающий. «Здесь когда-то работала еще до войны Роза Наумовна с мужем, хотела вернуться снова, но не знаю, приехала ли?» - спросил Семен, глядя на согнувшегося и опиравшегося на грабли старичка. Был тот маленького роста, обут в валенки с большими галошами, в нахлобученной теплой шапке (хотя день был теплым, но, видимо, старикашка мерз), что делало его похожим на старый сморщенный гриб. Распрямившись, старичок сказал: «Мил человек, да эту красавицу весь наш городишко знает. Сегодня ночью она дежурила и здесь при заведении отдыхает. Как примет дежурство, так обязательно выходит посидеть вечерком на свежем воздухе». Семен дважды переспросил у сторожа про одно и то же. Ему не верилось, что вот так легко и неожиданно отыскалось его заветное счастье. Он ничего не хотел. Только встретить, увидеть Розу и поговорить. «А вы кто ей доводитесь? К ней приходят многие». «Знакомый я ее», - ответил Семен, а сердце, немного успокоившееся при разговоре со стариком, снова защe-

мило и заколотилось не в меру. «Так, так, - проговорил старикашка и добавил: – Приходите вечером, она снова будет дежурить. А сейчас она спит. Устает очень», - зачем-то добавил и заскреб граблями.

Семен вышел по переулку на прямую дорогу и направился к базару. От прежнего рынка осталось только название. Торговали картошкой, капустой, другими овощами. Много было семечек. Кто-то принес старую одежонку, поношенную обувь и настойчиво предлагал проходившим покупателям. Семену хотелось найти что-нибудь повкуснее. Вид уставшей, измученной племянницы, жившей, как он успел определить, впроголодь, вызывало какое-то жалостливое чувство. И он, уже в третий раз обходя пустые ряды, увидел копошившуюся в самом краю полную пожилую женщину, что-то выкладывавшую из мешка. Семен повернулся и еще не доходя, услышал голос этой женщины: «Подходите, курочки свежие. Лучших не бывает. Сама откармливала!». К ней подошли две женщины, видимо, узнав цену, отошли. Семен подошел к торговке и спросил, по какой цене она продает. « Если одну купите, то за такую цену продам, а если две, то скидку сделаю». Семену приходилось покупать и там в уральских деревушках кур (надоедала столовая), при возможности выбирался за заводские стены и закупал у колхозников кое-какие продукты. Торговка запросила много дороже, чем продавались куры в сибирских деревнях. Но, помолчав немного, сбавила цену, и Семен купил две курицы. «Пусть Иринка похлебает куриного супа, - подумал он с какой-то тоскливой радостью, – а то ведь на жмыхе живут люди». «А с чем же я пойду к Розе? Просто так неудобно». Но сколько бы он ни ходил, ничего подходящего не было. « До какой же нищеты довела война, что даже коробку конфет или флакон духов невозможно найти», - терзался Семен. Он расспрашивал у продавцов и торговок, но те, изумленно подняв брови, отвечали одинаково: «И, милый! Да где ж ты такого добра сейчас найдешь? Может быть, только у спекулянтов? Так их ведь еще отыскать надо. Они от милиции прячутся». Так и не добившись ничего путного, решил сегодня никуда не ходить, а весь остаток времени посвятить разговору с Ириной. День давно перевалил за половину, когда он, выходя с базара, увидел средних лет мужчину. Тот поманил Семена пальцем и спросил: «Вы что-нибудь ищете?». Семен рассказал. «Сейчас у меня ничего этого нет. А если вы подойдете завтра, то я вам постараюсь что-то достать», - ответил незнакомец. Договорившись о цене, незнакомец предложил: «А сейчас если желаете, могу продать вам сахару. Это большой дефицит и вряд ли вы где найдете».

Семен опять вспомнил Иринку, «жмых», которому рады девчонки и она вместе с ними, купил два килограмма и направился к дому. Когда Семен возвратился с базара, Ирина еще спала. Он тихо открыл дверь, прошел в комнату, положил покупки, принес из колодца воды, потом дров (у Иринки имелся небольшой запас) и стал готовить обед. Начистил картошки, изрубил курицу на части, все вымыл и разжег печь. Холостяцкая жизнь сначала в институте, потом на заводе приучила его ко всему. Дрова весело потрескивали, вода в большой кастрюле закипела. По комнате поплыл ароматный запах вареного куриного мяса. Уже приближался вечер,

когда Ирина, повернувшись на кровати на другой бок, насторожилась, потянула воздух носом и каким-то блаженным, радостным голосом проговорила: «Как же вкусно пахнет!». И, видимо окончательно проснувшись, добавила: «Дядя Семен! Это вы кулинарите? Такого запаха я не чувствовала уже много лет. Что у вас варится?». Семен, обрадовавшись Иринкиному голосу, ответил: «Сейчас куриного супа похлебаем. На базаре двух куриц купил, только вот не знаю, куда вторую положить?» – «Дядя Семен! Ты меня все такой же несмышленой считаешь, как видел последний раз. А я уже давно все делаю сама. И погреб бабушкин в полной сохранности, там всегда холодно. Недавно Володя полки прибил. Я ему помогала. Туда и уберем курицу», - сказала Ирина и, быстро одевшись, убежала на улицу умыться. Ей не терпелось увидеть своего верного друга Володю. Она знала, что он уже поджидает ее. Хоть и говорила, чтобы не приходил. Да разве он послушает. Когда Ирина вернулась отдохнувшая и умывшаяся после сна, Семен невольно загляделся и сказал: « Как же ты похожа на мать!». Вспомнил про Нину, и защемило сердце от предстоящего разговора. Он много думал, пока не было Иринки, и ему казалось, что они с мужем где-то в плену (сколько миллионов советских людей находилось в немецких концлагерях?). Истомившись в ожидании, он не выдержал и спросил: «Ну, а теперь расскажи про родителей».

Все оказалось не так, как ему думалось. « Я, дядя Семен, умышленно оттягивала время, чтобы не начинать про них разговор, но все равно от этого никуда не уйдешь и ничего не изменишь» - сказала Ирина, и Семен увидел, как крупная слеза покатилась по ее щеке. «Мама с папой погибли», - сказала сквозь слезы Ира. До этого Семен передумал обо всем, но ни разу не мог представить, что его сестры Нины с мужем нет в живых. Это были два скромных, простых человека и как-то не увязывалось в его сознании, что их может самым беспощадным образом опалить огонь войны. Ира плакала. Семен молчал. Ему подумалось: « Наверное, при бомбежке убило. И их дом сгорел. Оттого Ира и живет здесь». Он хотел спросить: «Как это случилось?». Но Ира опередила: «Немцы убили». Сказала и опять замолчала, не сдержав всхлипывания. У Семена в голове все кружилось и вертелось: «У меня теперь никого нет, кроме одной Иринки». Он знал, сколько людей уничтожили немцы на захваченных территориях, иногда сгоняя целыми деревнями, загоняли в сараи сжигали живьем, зачастую недобитых сбрасывали в общую яму, но все равно спросил Иру: «За что? И когда?». Ира, успокоившись, рассказала: «Папа с первых дней оккупации ушел к партизанам, а мама у немцев работала в столовой уборщицей и передавала в отряд обо всем, что удавалось ей разузнать. А я была, как бы связной между ними. Бегала и рассказывала партизанам, что мне мама накажет. Иногда приходил папа, но сразу же и уходил. Однажды он пришел рано утром и сказал, что уйдет только ночью. Хочет побыть дома, да и безопаснее в темноте пробираться по городу, где немцы на каждом шагу заслоны устроили. Вскоре пришла мама. О чем-то поговорили. Потом мне папа говорит, чтобы я как можно скорее бежала в отряд и сообщила: карательные отряды в самое ближайшее время начнут облаву по всему району. Возможно сегодня или завтра.

Мне такое выполнить было нетрудно. Нас, 14-15 - летних девчонок, в городе бегало много. В Германию из нашего городка еще никого не увозили, а некоторые по вечерам даже с немецкими солдатами заводили дружбу и гуляли. Правда, потом многих допрашивали в наших спецорганах. Я ушла. Благополучно добралась только на второй день, хотя мне этот путь был хорошо известен. Но я очень опасалась. Командиру рассказала обо всем, что мне наказал папа. Тот сразу же распорядился усилить дозоры и в спешном порядке готовиться к переходу в другой район. В лагере началось движение. Ох! Если бы ты знал, как это хлопотно и тревожно. Одно надо захватить, другое, уничтожить. Что не могли унести, сжигали или топили в озере. Спешили. Но уйти вовремя не удалось. Где-то рядом раздались выстрелы, потом началась настоящая пальба. Командир приказал в первую очередь уводить женщин и раненых, следом за ними должны были отступать с боями остальные. Некоторых раненых пришлось уносить на носилках. Папу не дождались. Он не пришел. С того дня я больше ни его, ни маму не видела. В отряде много позже узнали, как они погибли. Но мне не говорили, узнала я все от Володи. Он мне сказал, что их расстреляли немцы возле здания горсовета. А перед тем как убить, долго мучили. Донес на них кто-то из соседей».

Семен, не проронивший ни слова, стряхнув оцепенение, спросил: «А кто такой Володя?», Ирина немного оживилась и тихо произнесла: «Это тот самый парень, что вчера провожал меня. Он и сейчас где-нибудь меня дожидается, возле нашего дома». Сказала и закраснелась. Потом добавила: «Он такой же влюбчивый, как вы дядя Семен. Ты «присох» к Розе, а он ко мне». Сказав это, Иринка очень смутилась и, склонив голову, добавила: «Ни с кем больше не дружит. После ранения живет сейчас у матери. Ему пулей пробило левую руку, второй месяц уже лечится. Мы с ним вместе партизанили. Когда маму с папой убили, мне приказали в городе не показываться, а его вместо меня сделали связным. Но ненадолго. Немцы за парнишками охотились. Однажды он чуть не попал им в лапы. А как только наши войска выгнали фашистов из нашей страны, партизанский отряд распустили, одни ушли вместе с армией и Володя тоже, кое-кто начал работать». «Так ты позови его, что держишь на холоде? - сказал Семен. - Да и суп уже давно сварился. Поедим вместе». Когда Ира произнесла имя Розы, он хотел спросить про нее, но тут же передумал: «Сейчас не время». Мысли о Розе отступили ненадолго. Пока Ирина бегала за Владимиром, Семен взял большую американскую банку с ветчиной, раскрыл, положил на стол одну пачку сахара, вытащил из печки кастрюлю с супом и направился за посудой. Комната наполнилась аппетитным запахом.

Вошедшая вместе с Володей Ира воскликнула: «Дядя Семен! Такой запах бывает только в раю». Подойдя к столу и увидев разложенную снедь, сказала: « А у меня целая буханка хлеба, за два дня отоварила карточки. Я и не помню, когда такой пир был». Володя, немного застеснявшись, напомнил: «Наш партизанский отряд так пировал два года назад, когда пустили под откос поезд, подвозивший на фронт продукты фашистам. Сколько подвод с ящиками увезли тогда в лес – помнишь?» Ирина все помнила,

но ничего не сказала: только с благодарностью посмотрела на Володю. Помнила она и то, когда в отряде узнали, что мать и отец Ирины, расстрелянные, лежат возле здания городского совета, а налетевшие птицы, расклевывают им лица, Володя с двумя партизанами, пробравшись к убитым глухой ночью, утащили трупы на кладбище и вместе с могильщиком закопали, предупредив его, что вернутся и похоронят по-человечески в гробах. «Только ты могилы пометь, и никому ни слова. Если донесешь немцам, то тебя рядом положим». Не скоро пришли партизаны. Но пришли! Скорбно склонив головы, перезахоронили своих товарищей, установив скромный памятник на их могиле. Потом покажут Ирине эту могилу и памятник с небольшой железной звездой. Перезахоронение проводили без Ирины, слишком страшно было смотреть на изуродованные тела ее отца и матери.

Дознаются партизаны, по чьему доносу были схвачены ее родители, и Володька, нарушив воинскую (партизанскую) присягу, без разрешения командира проберется к дому предателя темной ночью, дождется, когда тот выйдет справить нужду, тихо, словно тень, прокрадется сзади и, выждав, когда он повернется к нему дважды в упор выстрелит в лицо. Потом робко подойдет к Ирине и тихо скажет: «Не переживай сильно! Я наказал предателя». Смел был Володька. В школе многим от него доставалось. Учился так себе, с двойки на тройку. Порой хулиганил. Но землю русскую любил и жизнь свою мог отдать не задумываясь. Только перед Иринкой робел и слушался ее беспрекословно, будто она партизанский батько. Ну что тут поделаешь: такова сила девичьего притяжения. Во время обеда за разговорами Семен более подробно узнал о жизни племянницы. Работает она в госпитале санитаркой, учится на курсах медсестер и вся мечта у нее поступить в институт (хотя еще и не поступала, но говорит, что уже студентка). Хочет стать врачом, уж больно много навиделась она людских страданий за эти страшные годы – рассказывала она своему дяде, иногда радуясь непонятно чему, иногда печально вздыхая. Семен увлеченный ее рассказом не замечал, что, поев суп, Ирина с Володей больше ни к чему не прикасались. Обратив на это внимание, спросил: «Вы что не хотите американской ветчины?» Иринка, более боевая, сказала: «Стесняемся, дядя Семен, от такой снеди у нас с Володей головы кружатся, да и как-то неудобно перед тобой. Как-никак, а ты ведь если по-человечески разбираться мой гость. И я тебя должна угощать, а у меня кроме хлеба нет ничего. И сам ты ничего не ешь». Услышав такое, внутри у Семена, что-то передернуло, и он, как только мог, стал убеждать их, что здесь нет ни гостей, ни хозяев, а только одни родные. После этого Володя с Ириной как-то встрепенулись и стали ловко управляться с нарезанными ломтиками мяса. Володя, разговорившись, высказал свои заветные желания: «Скоро подживет рука и поеду на фронт. Жалко только что война скоро закончится. Но все равно успею еще фашистам отомстить. Боюсь одного: военком говорит, что здесь много работы. В лесах скрываются предатели, их надо вылавливать, а то жизни спокойной не будет. Потому многих станут направлять в милицию. И мне тоже советовал». Семен знал, какую тщательную проверку проводят у них

на заводе и не вступая в обсуждения сказал: «И это тоже надо». Посидев еще немного, Володя стал собираться: «Ира! Я побежал домой. Вечером приходить?» -спросил ее. «Ну, что спрашиваешь? - ответила Ира. - Мне без тебя всегда страшно». Володя ушел. Оставшись вдвоем, Семен сказал Ирине: «Хороший парень у тебя Володька. Женитесь. И оба будете счастливы». Говорил Семен эти слова Ирине, а сам с какой-то грустью думал о себе и Розе. Как все сложится завтра, он не мог представить. «Дядя Семен! Ну, что вы говорите. Мне еще только восемнадцать, а Володе девятнадцать. Ни у кого из нас нет специальностей. Где жить будем? У его матери совсем маленькая комнатушка. Дом наш, когда расстреляли маму с папой, фашисты сожгли. И война еще не кончилась», - сказала Ирина и сразу погрустнела. «Так что, тебе разве плохо в этом доме?» - спросил Семен «Дядя Семен! Этот дом принадлежит бабушке Маше, твоей матери. Я к нему не имею отношения. Теперь он твой. Так мне сказали в горсовете. Да и домовой книги нет. Я прописана при госпитале. Здесь, ничего не трогала и где эта книга не знаю», - ответила Ира на вопрос Семена. «Ира! Дом этот возьмешь себе. Сходим вместе в горсовет и перепишем на тебя. Теперь ты уже совершеннолетняя и живи в нем, как тебе заблагорассудится», – Семен говорил, стараясь убедить и успокоить Иру. «А ты?» - спросила Ира. «Ну что ты обо мне беспокоишься, - ответил Семен, - у меня есть где жить. Большая комната. Давали квартиру. Сам отказался. Если попрошу, сразу дадут». Семен говорил и как-то сразу против воли вспомнил про Розу. Легкая тень пробежала по его лицу. Ирина поняла, что его волнует и, вспомнив разговор матери с отцом, случайно ею подслушанный о «злодейке-присухе», загубившей жизнь Семену, который до сих пор не женится из-за нее и мотается бобылем, сама же «злодейка» давно вышла замуж, а он где-то на Урале мучается вдали от родных. Пристально глядя ему в лицо, тихо спросила: «Дядя Семен, ты когда пойдешь в поликлинику к Розе Наумовне? Ты ведь к ней приехал?». Она знала, что Роза возвратилась, а ее мать вместе с мужем Розы погибли и сейчас она свободна. Семен, не ожидавший от племянницы такого вопроса, спросил: «А почему ты так думаешь и откуда ты знаешь ее?» – « Я видела Розу Наумовну, когда вы учились еще в школе. Она к тебе приходила в этот дом, а я часто бывала здесь у бабушки Маши. Тогда была я еще маленькой. А потом папа с мамой часто говорили про нее», - сказала Ира и опустила глаза. «Все помнит», - подумал Семен и сказал: «Правда твоя, Иринка! Откуда про все только знаешь?» - ответил Семен, а про себя подумал: «Рассуждает, как взрослая, хотя годами совсем девченка». Что ж поделать: дети войны рано взрослели. Ирина совсем недавно вместе с Володей ходили в поликлинику (там ему делали перевязку) и встретили Розу Наумовну, которая провожала из своего кабинета высокого улыбающегося мужчину. И, вспомнив про тот случай, сказала: «Дядя Семен, мне очень хочется, чтобы у тебя все сложилось хорошо. Только уж очень она красива, и к тому же заносчива (приходилось Иринке такое слышать от многих, городок-то небольшой) и оттого ухажеров, наверное, много. Девчонки говорят, что мужчины очень любят таких женщин». Помолчав, добавила: «И жизнь из-за этого они свою губят». Ей сильно жалко было

своего дядю. Доброе сердце Ирины болезненно воспринимало его душевные переживания и жизненные неудачи. «А теперь мне пора на работу. Вечер уже. Отдежурю сутки. Приду только завтра к вечеру. А потом двое суток буду отдыхать. Ты ложись и хорошо выспись». Иринка улыбнулась и вышла. Володя давно уже поджидал ее на улице. Оставшись один, Семен погрузился в раздумья. Рассказ Ирины потряс его до глубины души. В жизни много случается не так как хочется. Его непроходимая любовь к Розе в буквальном смысле отняла у него все человеческие стремления. Когда он «рассказывал про себя самым верным друзьям в институте, потом на работе своим сотрудникам, некоторые сочувственно вздыхали, другие сожалели, а большинство в душе подсмеивались. Некоторые девчонки сердились: «Надо же так! Ни на кого и смотреть не хочет». Семен хоть и не был красавцем, но сложен был по-мужски неплохо. Высокого роста, довольно сильный, успешно закончивший институт, он производил неплохое впечатление не только на женщин, но и среди своих сверстников. Он старался не думать о предстоящей встрече с Розой, но это ему плохо удавалось. Наконец, рассердившись на себя, выругался: «Раскис, как кисейная барышня», - вспомнил слова однокурсницы, которая добивалась его внимания и, убедившись в бесполезности своих стремлений, в запале высказала ему в лицо. Давно это было, а в памяти осталось. Усилием воли задавил мысли о своих горьких неудачах и стал думать о погибших Нине с мужем, о Иринке в трудностях и горе прожившей эти страшные годы. И как-то вдруг стало нестерпимо совестно: «Ведь, по существу, это были дети, когда началась война. И не дрогнули, не испугались, а встали на защиту Родины. И теперь, когда война отодвинулась, у них есть стремления, цели. Ничего, - продолжал он рассуждать, - завтра встречусь с ней и все решится». Но что будет завтра, как поступить, что сказать ей он не представлял. И опять прогнав навязчивые треволнения стал укорять себя: «Они подростки, воюют за страну, народ, а я все время занимался бумажными делами, чертежами, не испытывая голода, свободные минуты тратил в беседах о войне, победах, не представляя, какой ценой они достаются. Его воображение рисовало картины партизанской жизни, Иринку, Володю, идущих по снегам, болотам, неделями не видевших куска хлеба, падающих от бессилия, но знавших, что они делают великое дело и что с этого пути они не свернут. Оправдывался, утешал себя: «Но я же писал много раз заявления об отправке на фронт. Отказывали. Убеждали: «Ты застрелишь одного фашиста, а здесь участвуешь в создании оружия, которым уничтожают десятки тысяч. Так, что важнее?» – «Правильно. Все так. Но ведь дети шли на смерть, а она от тебя была далеко», - терзал себя Семен горькими размышлениями. И, не придумав ничего в оправдание, твердо решил по приезду на завод снова попроситься на фронт. « И пусть направят в самое пекло. А откажут - напишу Сталину». И вдруг: «А как же тогда Роза? Ведь это единственная возможность быть с ней». Семену стало даже страшно. «Но ведь еще ничего не известно, что она скажет», - горько подумал Семен и разные мысли, одна, обгоняя другую, текли в его затуманенном сознании. Сон не приходил. Ночь казалась бесконечной. Наконец далеко за полночь он заснул и про-

снулся, когда на дворе было светло. Начинался солнечный, ясный октябрьский день. Когда он пришел на базар, торговля была в полном разгаре. Опять те же бабы и немощные старики, восседая рядами, зазывали покупателей. Семен обошел весь базар, но вчерашнего продавца, с кем договорился о покупке духов, нигде не увидел. Обойдя еще раз и убедившись, что его нет, остановился в растерянности. Кто-то легко дотронулся сзади до его плеча: «Вы меня, наверное, ждете?» - спросил его вчерашний торговец. Семен, несказанно обрадовавшись, воскликнул: «Ну, конечно же! Мне показалось, что вы не придете». – «Отойдемте немного в сторону», - предложил мужичок и пошел к обочине дороги. – Вот все что я могу предложить вам, - доставая из под полы коробку французских духов, - говорил старичок, - я не обманываю. Раскройте, посмотрите. Эту коробку я покупал до войны, хотел подарить супруге на день ее рождения, но... - помолчав немного, произнес: - Она за день до торжества умерла. Все, что у меня было я, продал. И теперь отдаю вам последнее, что осталось. Жизнь невыносимая». Отдав деньги, Семен немного побродил по базару. Купил для Иринки понравившуюся ему вязаную шапочку, два десятка яиц и направился к дому.

Время потянулось. Ближе к вечеру, надев новую рубашку, Семен пошел в поликлинику. Сделав несколько шагов, он почувствовал, как кровь мощной струей хлынула в голову, сердце заколотилось быстро, быстро, а ноги понесли не разбирая дорог. Подойдя к дверям поликлиники, он остановился. Не зная, что же дальше делать, стоял в нерешительности. Сколько бы он так простоял, трудно ответить. Но появившаяся в дверях женщина в белом халате спросила: «Кого вам нужно?» – «Будьте любезны, позовите Розу Наумовну», - попросил Семен. Незнакомка посмотрела на Семена, нахмурилась и ответила: «Подождите немного». Время остановилось.

Семен, никогда не поцеловавший в жизни ни одной женщины, не выкуривший даже в баловстве ни одной папиросы, не знавший вкус вина, с детских лет друживший только с Розой, в смятении думал, что ей сказать (обычно про таких говорят: «А для чего ты живешь?» Слышал такое Семен и про себя, но переделать ничего не мог). Наконец дверь отворилась и Роза вышла. Немного посмотрев на Семена, она спросила: «Вы ко мне?». Она была еще прекрасней, чем видел ее Семен в последний раз. Перед ним стояла настоящая богиня в расцвете всех женских прелестей. Увидев ее, Семен окончательно растерялся и как-то внутренне пожалел, что приехал. Он привык и смирился к терзающей неизлечимой «болезни» поселившейся давным-давно в его сердце. «Здравствуй, Роза! Это я, Семен, - сказал он, с трудом подбирая слова, - ты не узнала меня?» – «Господи, Сеня! Ты такой стал большой, что, конечно, я сразу не догадалась, что это ты», – радостно сказала Роза. Они просидели долго. Розу несколько раз вызывали к больным, но она тут же возвращалась. Ночь становилась прохладней. Роза, накинув пальто и прижавшись к Семену, говорила и говорила о своей неудачной жизни. Она рассказала, что за несколько дней до начала войны уехала на курсы переподготовки в Москву. Когда началась эта бойня все у всех перевернулось. Не обошла она и ее. «Я собиралась возвратиться домой, но мой муж на второй день войны позвонил мне и сообщил, что в самые бли-

жайшие дни он с мамой будет выезжать. Конкретно он ничего не сказал, но посоветовал дожидаться их и никуда не выезжать из Москвы. Я прождала долго. Немцы захватили Белоруссию и стали продвигаться к Москве. Вскоре оставшихся «курсантов» стали отправлять в разные города. Большинство отправляли в Сибирь или Среднюю Азию. Я попала в Казахстан и прожила в нем почти три года. Там было много эвакуированных. Меня перебрасывали с места на место, из города в город. Я обращалась в разные инстанции, написала сотни писем, стремясь узнать о судьбе моих родных, но все было напрасно. Как только немцев стали изгонять и наши войска приблизились к Белоруссии, я упросила (хотя никто не задерживал), чтобы меня отпустили с работы. Никаких препятствий мне никто не чинил. И как только оформила необходимые документы сразу же уехала. Перед самым отъездом я, просматривая записную книжку, нашла твой уральский адрес и написала письмо, мало надеясь, что оно найдет тебя. Добираться пришлось долго и трудно. Но я, очень спешила, мне не терпелось скорее приехать в наш белорусский городок и разузнать о судьбе моих родных. В июле я была уже в нашем городе. Это было ужасно. Весь город находился в развалинах. На месте нашего дома и вокруг была одна обожженная земля. Я стояла в растерянности и не знала, что же делать дальше. Сколько бы я пробыла возле пожарища со своим деревянным чемоданом бог только знает. Неожиданно против меня на дороге остановилась грузовая автомашина, в кузове которой сидело несколько человек в солдатских шинелях. Из кабины вылез мужчина в военной форме. Он подошел, постоял немного возле меня и, видя мою полную растерянность, предложил: «Может, вас куда подвезти?». Я вкратце путанно рассказала ему свою историю и, когда сказала, что работала в этой поликлинике, он с какой-то радостью воскликнул: «Вы для меня настоящая находка!» Оказалось, что он врач, работает в райздраве и сейчас везет несколько человек раненых солдат в ту самую поликлинику (в ней теперь еще и больница), где мы работали с мужем до войны. Какое счастье - наша поликлиника уцелела. И то только потому, что в ней немцы оборудовали лазарет для своих раненых и содержали его до последних дней. Даже не всех своих раненых успели вывезти. Их захватили наши войска. Много в городе разбомбили и сожгли зданий и домишек. Даже от школы, где мы с тобой учились, ничего не осталось. Меня сразу оформили в эту больницу на должность врача. И с той поры (уже несколько месяцев) я здесь работаю».

После этого Роза долго молчала. Потом продолжила: «Самое страшное поджидало меня впереди. Как-то раз на прием пришел ко мне старичок. Оказалось, что он жил еще до войны недалеко от нас и был знаком с моими родителями. Он рассказал мне, что они втроем, с вещами, просидев сутки на вокзале, дождались наконец последний эшелон. Людей было много. Но они все успели сесть в вагоны, только моя мама и муж забрались в один вагон, а он в другой. Их долго гоняли из тупика на тупик, наконец тронулись. Налетели немецкие самолеты и разбомбили весь состав. Сосед успел выбраться из вагона, а маму с мужем разорвало бомбой на куски. Погибло много народу. Дальше поезд не пошел. Впереди оказались нем-

цы. Больше я ничего не могла узнать о своих родителях. Стучалась во все инстанции, но все было напрасно. Даже не знаю их места захоронения. А дом наш и вместе с ним много других сожгли немцы при отступлении, я уже тебе говорила. И вот я теперь совершенно одна. Никого из родных не осталось. Сам бог послал мне тебя».

Семен рассказал ей обо всем, как прожил эти годы. В конце разговора Роза совсем тихо сказала: «Я знаю, что бесконечно виновата перед тобой, но если ты простишь меня я согласна стать твоей женой». Слова Розы смутно доходили до Семена. От ее близости у него кружилась голова, словно электрический ток пульсировала в жилах кровь. Не ожидавший такого исхода, он прерывающимся от волнения голосом сказал, что как только вернется к себе на Урал сразу же попросит квартиру (сейчас у него только комната, правда большая) и тут же пошлет телеграмму, чтобы она приезжала. Уже ночь давно перешла половину, когда они расстались. На прощанье Роза обняла голову Семена своими нежными ладонями и страстно поцеловала. Возвратившись домой, Семен, в первую очередь, подумал, как отыскать документы о принадлежности дома. Он перерыл все, где надеялся отыскать их. Но ничего похожего даже близко не было. Вспомнил, что мать самые сокровенные вещи складывала за икону, что стояла в чулане. Икона стояла на прежнем месте, только очень запыленная. Он пошарил за ней и вытащил целый ворох каких то бумаг. Среди них оказались и документы на дом. После пережитых волнений Семен долго не мог уснуть. Когда же наконец уснул, то в сновидении возникшие образы знакомых, близких, родных, матери, Нины, Иринки заслоняла Роза, появляющаяся, безмолвная и тут же исчезающая в каком-то беспросветном тумане. Он искал ее, звал, куда-то бежал на ее голос. И вот среди густых зарослей появилось ее белое платье, он хотел дотронуться рукой, но в этот миг его разбудила прибежавшая с работы Ирина. Радостная и возбужденная, она говорила, что по радио передали о разгроме целой фашисткой группировки и до конца войны остается немного. « Ты выспался?» - спросила Ирина. Глядя в улыбающееся лицо Семена поняла, что у него, видимо, с Розой отношения наладились. «Иринка, ты если не очень устала, пойдем в горсовет. Документы я нашел. Надеюсь что по-быстрому все и провернем», - предложил Семен. Иринка застеснялась и стала отговариваться: «Может, дядя Семен, дом тебе самому понадобится». – «Ну, уж если когда и приеду, ты меня погостить пустишь», - сказал Семен и, не теряя времени, пошел с Ириной. В исполкоме было много народу. Но случай! Он всегда приходит. Иногда к счастью. На этот раз Семену повезло. Минут через двадцать после их прихода по коридору проходил, прихрамывая, молодой человек. Задержавшись немного напротив Семена, стал разговаривать с пожилой женщиной. Что-то знакомое послышалось Семену в голосе незнакомца. Когда тот, закончив разговаривать с женщиной, повернулся в сторону Семена и стал кого-то высматривать, Семен узнал в нем одноклассника, с которым учился в школе. «Степан!» - обратился к нему Семен. Тот посмотрел на Семена, воскликнул: «Вот это чудо! Семен! Ты ли это? Какими судьбами?». Семен вкратце рассказал, что приехал проведать родной го-

род, а когда сказал, зачем пришел в это учреждение, то Степан воскликнул: «Так это же ко мне!». И, взяв Семена за руку, провел к себе в кабинет. «Я здесь работаю уже полгода, а до того был на лечении. Ранило в ногу. Полстопы отхватили. Вот и хожу прихрамываю», - сказал Степан. Затем позвал из другого кабинета сотрудницу и, пояснив в чем дело, отдал документы для оформления. Через час они уже знали друг о друге все. «Так все ж таки ты вернулся за Розой? Знаю, знаю, что она здесь и помню, как ты мне тогда по глазу заехал, что дразнил тебя. Давно было. Кажется, во втором классе учились, - сказал Степан с грустью и вздохнул, - хорошее было время». «Кажется, что все происходило в другой жизни», - ответил на слова Степана Семен. «И долго ты пробудешь здесь?» - спросил Семена Степан. «Нет, Степа! Через день уеду», - ответил Семен. «Ну, как знаешь, - ответил Степан и добавил: - А то бы вечерок посидели». «Ничего, - бодро сказал Семен - война скоро кончится, тогда и посидим». «Ну, скоро не скоро, а крови прольется еще много», - сказал Степан и умолк. У него тоже погибла вся семья. Вскоре пришла сотрудница с готовыми документами. «Осталось только расписаться в некоторых справках, да заполнить соответствующие бланки», - сказала она и протянула папку Степану. «Ну вот и все! У нас все ведомства и отделы в одном здании, негде больше размещаться. Так что вам и ходить больше никуда не надо. Забирай свою «домовую паспортину» и пусть теперь в ней живет новая хозяйка», - в завершение сказал Степан и, похлопав Семена по плечу, распрощался. В самом радужном настроении возвращался Семен на свой завод. Обещание, данное ему Розой стать его женой, заслоняло все сомнения и неурядицы. Даже высказанные Ириной в виде неприязни слова: «За ней полгорода ухаживает», - только усилили желание приблизить радостное мгновение и, мысленно прижимая нежные руки Розы к своей груди, бросало его в жар. Длительная разлука, ее замужество как-то враз отступили перед силой слепой любви. И он считал часы, минуты, приближавшие его к заветной мечте. Поезд пришел в уральский городок рано утром. Он на попутной машине добрался до своего общежития. Попросил ключ у дежурной. Та, что-то долго искала, потом пошла в другую комнату и вернулась минут через пять. Семен зашел к себе. Он сразу понял, что в его отсутствие кто-то был. Некоторые предметы стояли не на своих местах. Он хотел спуститься вниз к дежурной, но, просмотрев в шкафу, комоде и убедившись, что все вещи в целости, передумал: «Зачем пойду? Спрошу, когда управлюсь со своими делами. Может, здесь уборку делали, капитальную, или что-то ремонтировали». С этими мыслями он начал все расставлять по порядку. Перед тем как идти на завод, решил соснуть несколько часов. Первым делом он будет просить квартиру (Роза жила при больнице). Но! В жизни бывают такие моменты, о которых и подумать порой не приходится.

В дверь раздался короткий стук. Семен подошел и открыл дверь. Перед ним стояли два человека в штатской одежде. «Разрешите!» - спросил один, как показалось Семену много моложе второго. «Да! Конечно! - сказал Семен, - я вот только приехал и еле успел прибраться». «Знаем! Знаем!» - ответили оба одновременно. «Извините! Но вам необходимо сейчас с

нами проехать в МГБ, -сказал один, разворачивая удостоверение, - нужно выяснить некоторые недоразумения». «Зачем я понадобился?» - спросил в недоумении Семен. «Там скажут», - ответил мужчина, что был помоложе. Семен не спеша оделся и проследовал вместе с ним к выходу.

Рядом стояла большая черная машина. «Садитесь, пожалуйста!» - предложил работник НКВД (теперь уже Семен понял, что случилось что-то серьезное.) Но, не придавая этому особого значения, сел на заднее сиденье. Работники правоохранительных органов разместились по бокам. Машина тронулась с места и легко покатила по знакомым Семену улицам. Он знал, где размещаются эти «ведомства». Не раз бывал там, давая подписку о неразглашении секретности работы их завода. Тогда его приглашали. В некоторых случаях повесткой, а то просто звонком по телефону. «Странно» - подумал он, подъезжая к довольно безобидному на вид зданию. Как только зашли внутрь помещения, какая-то тревога зловеще стала закрадываться в душу и усилилась, когда один из сопровождавших сказал дежурному: «Доложи, что привезли!»

Дежурный позвонил по внутреннему телефону, сказал всего несколько слов и положив трубку обратился к оперативникам: «Ведите!» «Ничего себе «ведите», - подумал Семен и зашагал за сопровождавшими его конвоирами.

Поднявшись на второй этаж, молодой парень, он, видимо, был за старшего, постучал в дверь. Услышав разрешающий ответ, повернулся к Семену, чуть приоткрыв дверь, сказал: «Заходи».

За большим столом сидел пожилой мужчина в чине майора. Тот оторвался от бумаг, посмотрел на Семена и сказал: «Проходите и садитесь. Разговор будет долгим».

Семен подумал: «Может, что-то случилось там на самом верху у руководства?». Он знал о приездах московских комиссий и довольно серьезных выводах, последовавших за их проверкой.

После некоторых формальностей майор задал Семену вопрос: «Вы расписывались за неразглашение секретности работы завода?» – «Ну, а как же! И не один раз!» - воскликнул Семен. «Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему вы, уехав на целую неделю, оставили у себя в общежитии папку с секретными документами? - спросил следователь. - Ее в вашей комнате обнаружила уборщица. И как честная советская женщина отнесла руководству, а оттуда они доложили нам».

Вспомнил Семен. Чтобы скорее выполнить заданную ему работу брал некоторые документы к себе в общежитие и работал с ними по ночам. Утром уносил и запирал в сейф. Перед самым отъездом, когда до отхода поезда оставалось совсем немного он, упаковав чемодан, приготовившись ехать на вокзал, с ужасом увидел на окне папку с секретным грифом. И хотя в ней не было ничего тайного, кроме грифа «секретно», все равно понимал, что ее , надо сдать. Но это значило не успеть на поезд и не приехать в свой городишко, где может быть уже много дней живет Роза. «Ну, чего ты дергаешься? В ней нет секретных документов, никому она не нужна. Засунь за диван и по приезду сдашь», - успокаивал он себя. «Лучше бы сдать»,

- подумал Семен. На вопрос следователя - почему не сдали документы с папкой? - ответил: «В ней не было никаких секретов». «Когда сдавали эту папку, совершенно пустую, ваши руководители также заявляли, что никаких секретных документов в ней не было. Тогда зачем же они заявили нам о случившемся? - снова спросил следователь. – Взяли бы и спокойно положили ее в сейф или же уничтожили за ненадобностью», - продолжил он. «Сделали такое чтоб подстраховать себя,» - подумал Семен, но говорить не стал. Он поступил так же бы окажись на их месте. Сделай по-другому, скрой этот факт и тогда в случае его раскрытия все расценивалось бы по самому страшному сценарию: «Шпион, работа на врага и приговор, не признающий пощады». И он, неоднократно проинструктированный, дававший не одну подписку о неразглашении секретов завода, понял: это конец. Майор, неоднократно беседовавший с руководством завода, был убежден, что это чистая случайность, понимал, что у Семена не было никаких дурных помыслов и потому разговаривал с ним доверительно, в самом дружелюбном тоне: «Пусть в этой папке, кроме грифа «секретно» не было ничего секретного, ну а как же тогда быть с халатностью, безответственностью и т.п. Хорошо, что ваша уборщица, производя капитальную уборку, отодвинув диван (по ее словам), подобрала эту папку и передала ее по инстанции. А ведь могла бы просто выбросить за ненадобностью. А кто-то бы подобрал, и тогда! Ведь вы знаете, что даже ваша личная переписка должна быть засекречена». Следователь замолчал. Семен, ничего не скрывая, рассказал о своей поездке и почему так получилось с папкой. Следователь, поглядев на Семена, сказал, «Мы знаем каждый шаг всех сотрудников завода, и если бы сомневались в чем-либо о происшедшем факте с оставленной вами секретной папкой, то разговор с вами вели сейчас совсем другие люди. К сожалению, ничего не могу изменить. Дело вынужден передать в суд, а до суда арестовать».

После проведенного допроса на той же машине в сопровождении тех же людей Семена привезли в общежитие. Он взял самое необходимое из белья, кружку, ложку, миску (как посоветовал следователь). Ключ отдал администратору, который неотступно ходил вместе с Семеном и работниками опергруппы. После завершения пустых формальностей его увезли в СИЗО. Оказавшись в тюремной обстановке, Семен долго не мог сообразить что же с ним происходит. В каком-то беспросветном тумане, проплывали воспоминания совсем близкого времени: племянница Ира, ее друг Володька, а главное, Роза. Ему казалось, что это какой-то страшный сон, он хотел его сбросить, но металлические решетки на окнах указывали без слов о страшной беде, что свалилась на него.

Он не замечал, что в камере были люди. Очнулся от наваждения, когда к его плечу прикоснулась чья-то рука: Семен долго не понимал, что у него спрашивал такой же арестованный. И только когда тот сказал, что знает его, Семен повернулся к нему и узнал вахтера завода. За несколько дней до отъезда Семена того арестовали за мелкие хищения: что-то своровал на заводе для своего огорода. Семен обрадовался и рассказал Никандру (так звали вахтера), что с ним случилось. Никандр помолчал и, глубоко

вздохнув, не осуждая никого в том числе и поступок уборщицы, вымолвил: «Усердие без смысла, никогда не приносило добра». Семена еще несколько раз вызывали на допрос в следственный отдел, для порядка спрашивали об одном и том же и, несмотря на ходатайства администрации завода, дело Семена передали в суд.

Уверения администрации, что Семен добросовестный работник, в его оплошности нет преступления, он не виновен, разбивались следствием одним аргументом: «Зачем же тогда материалы направили в наши органы. Дело заведено, и обратного хода ему нет».

Суд закончился быстро. Страшных статей как «шпионаж, пособничество врагу и т.п.» ему не предъявляли, но «халатная безответственность» с могущими произойти последствиями ему была предъявлена. А вместе с этим и срок наказания - четыре года исправительно-трудовых работ лагерей общего режима. Невелик срок четыре года. Но для Семена это был смертный приговор. Рушились все его планы, созданные радужным воображением после встречи с Розой.

Какое нужно было иметь сердце, чтобы оно не разорвалось при объявлении приговора.

Глянув в бесстрастные лица судей, он увидел перед собой пропасть, у которой не было дна. Со страхом понял, что обещание Розы стать его женой придется возвращать.

Еще несколько дней его продержали в тюрьме, а затем этапом отправили в омские лагеря для заключенных. Во время нахождения в тюрьме написал заявление о пересмотре приговора и отправил по тюремной почте. От нервного потрясения и истощения в омских лагерях он попал в лагерную больницу, пролежал больше двух месяцев, потом немного поработал на стройках военного значения и с первыми этапами его отправили за несколько месяцев до окончания войны, как неподдающегося излечению в сельхозколонию. Перед отправкой в сельхозколонию из омских лагерей он написал два письма. Одно Розе, где в самых коротких объяснениях изложил о своем горьком положении и заверил ее, что какие бы она ни приняла решения, в его глазах всегда будет права. Второе – племяннице Ире. О том, что произошло с ним, уверяя ее, что никакой вины за ним нет, это только стечение обстоятельств и ей не следует переживать. Все будет хорошо. У него Ирина была единственным родным человеком и расстраивать ее ему очень не хотелось.

Об этом всем мог Семен рассказать Науму Моисеевичу, и уже хотел снова вернуться к нему, но какая то сила удержала его, и он до отбоя пролежал на нарах, не пошевелившись, отложив такой разговор до подходящего случая. О своей жизненной трагедии Семен много раз расскажет Сереге. Изольет всю боль и горечь своей судьбы. Но это произойдет чуть позже.

После злосчастного происшествия с Наумом Моисеевичем, над которым «злоумышленники» Петруха с Павлухой чуть было не свершили «смертоубийство», и только благодаря Семену он отделался «переломанным ребром» со страшным избиением (по утверждению Наума Моисеевича), бригадир Сметанин Федор изменил к «интеллигенту» Семену (как

он его именовал) свое мнение и стал относиться с уважением. «Что было бы мне, если Петруха с Павлухой добили этого старикашку, не подскочи вовремя Семен, - пугливо думал бригадир, - ну теперь как выйдут из каталажки загоню на самую тяжелую работу». Сметанин Федор очень боялся неприятностей и старался всегда их предусмотреть. И неприятностей подобных этой у него не случалось. «А тут! На тебе! Такой бой сотворили, что все начальство колонии всколыхнулось, - сетовал он, - после такой драки и репрессии применить могут ко всей бригаде». Вскоре на «лесоподбираловку» собрали почти всех расконвоированных женщин и вместе с Ариной (она была бригадиршей над всеми женщинами) водили в одной колонне с бригадой Сметанина на его объект под общим конвоем. Конвоиров увеличили, и эту меру Сметанин расценил как усиление режима. Но это было сделано для того, что бы увеличить заготовку дров. Их на зиму требовалось много. «Теперь дыхнуть свободно не дадут, а при случае еще за малейшее нарушение в карцер загонят. Утратил я из-за них доверие властей». С некоторыми из заключенных он иногда вел подобные разговоры. И те, усмотрев в его подозрительности откровенную трусость, подсмеивались над ним. При разводе бригад мужики позубастее подшучивали над Федором Сметаниным: «Зачухался! Бабы тебе нос подотрут. Распустил своих «разбойников» чуть человека не «пришили». Куда смотришь. Скинут с бригадирской должности, сам хворост на гриве таскать будешь». Федор Сметанин очень сердился: страх за свою бригадирскую должность толкал его порой на неразумные действия. «Подойду, съезжу по сусалам, сразу замолчите», - огрызался он без особого зла.

Мужики знали, что Федор никогда не решится на такой шаг и потому распалялись пуще. И.так продолжалось каждое утро до самого окончания развода бригад. Однажды какому-то весельчаку снова захотелось подтрунить над бригадиром Сметаниным. И только тот успел сказать несколько насмешливых слов, как к нему подошла Арина и громко что всем было хорошо слышно сказала: «Чему ржешь, жеребец? Который день одно и то же плетешь, ума то ни на что другое нет, так вот рядом стоят бабы, займи у них. Поумнее тебя вислоухого каждая. Еще раз начнешь зубоскалить, бабам скажу, чтобы портки с твоего зада содрали при всем народе. Понял?».

С того дня над бригадой Сметанина уже никто больше не подшучивал. Семен после встречи с Наумом Моисеевичем стал еще больше замкнут, сильнее наваливалась хандра, чаще впадал в уныние.

В это время он подружился с Серегой. Тому сближению послужил случай. Как-то вечером незадолго до отбоя Серега, проверяя своих бригадников из звена «все ли на местах», увидел нары Семена пустыми. Он обошел еще раз всех и, убедившись, что того нет, вышел в пристройку барака. В полутьме он увидел прижавшегося к стене Семена. Сергей подошел к Семену и спросил: «Ты что, Семен, не идешь спать?». Тот не повернулся. Только после его вопроса Серега увидел, что у Семена стали вздрагивать плечи. «Зачем плачешь, Семен?» - спросил Серега. В голосе его была жалость и тревога. «Пойдем в барак, а то скоро охранники будут ходить и проверять все ли на местах, чего доброго в карцер могут посадить за нарушение ре-

жима. Пойдем, Семен», - настоятельно просил Серега. Семен, повернувшись к Сереге, дрожащим голосом ответил: «Сейчас все пройдет, подожди немного».

В бараке они разошлись каждый по своим местам. Вскоре послышались голоса надзирателей. Они зашли, просчитали всех заключенных и ушли. Сергей, успокоившись, заснул сразу, а Семен только под утро. О чем плачут женщины, по ночам уткнувшись лицом в подушку, стараясь чтоб никто не видел, знают многие, если не все. Рано или поздно расскажут подругам. Отчего плачут мужики – мало кто знает. Может, никто и не узнал бы про горе Семена, не подвернись вездесущий Серега. С того момента Серега с Семеном каждую свободную от работы минуту, уединившись, говорили и говорили. Иногда такое случалось и после работы в бараке. Уже через неделю Серега знал многое о Семеновой жизни. А когда тот рассказал Сереге, что работал над созданием секретного оружия, то Серега совсем проникся к нему уважением и все чаще и чаще затеивал с ним разговоры на эту тему. Но Семен уклонялся от подобных разговоров, и не потому, что боялся о каком-то рассекречивании, а потому что ему не терпелось высказать о своей непроходящей боли. Накопившаяся горечь после встречи с Наумом Моисеевичем искала выхода и выплескивалась в доверительных разговорах с Сергеем. Больше всего Семен говорил о Розе, восхваляя ее во всех отношениях. Не упрекал ее и за то, что она вышла в разлуке с ним замуж. Серега невольно хмурился, молчал. А про себя думал: «Предательница она. Чего ее жалеть. Нашел бы другую – и всему горю конец. Может еще бы лучше была». Но этого он не говорил Семену, потому что видел, как зачастила к ним в бригаду Арина, бригадирша женщин. «Не дай Бог свяжется с ней Семен, и потеряю я своего собеседника», - думал Серега и чинил всяческие препятствия их разговорам. Арина была красивая, смелая и умная женщина. Она понимала Серегу, но на его протесты: «Что ты зачастила к нам, только от работы его отвлекаешь, да и меня бригадир постоянно ругает за посторонних на моем объекте», – только отмахивалась, а когда уж он очень надоел ей, нахлобучила ему на глаза козырек фуражки и пригрозила: «Будешь мне препятствовать – схожу к начальнику колонии Старцу и нажалуюсь, что ты мне проходу не даешь своим ухаживанием». От такой угрозы Серега потерял дар речи. Подумал: «А вдруг ей поверят? И чего доброго прилепят этот «грех». Сам он, начитавшись любовных романов в школьные годы, иногда в томлении задумывался (какой в этом может быть «грех») и мог бы подыскать себе подружку (в колонии молодых девчат было много), но, будучи не искушенным в этих делах, только мысленно отмахивался: «Ну их! Только одно горе с ними. На днях повара скинули с должности за связь с Танькой, что на молочной ферме работала, да кроме того обоим по трое суток карцера вкатили». И Серега, поразмыслив, отступился. Пусть разговаривает с Семеном, а мне и в бараке хватит время с ним наговориться. Только когда их разговоры затягивались после перекуров, Серега подходил и настоятельно требовал: «Хватит базарить. Бригадир ругается». Арина, недовольная, уходила к своим женщинам, а Семен с Серегой принимались за работу. Однажды к Семену с Ариной,

когда те о чем-то говорили, вместе с Серегой подошел сам бригадир. Поздоровавшись с Ариной, осмелев сказал: «Арина, ты чересчур много торчишь на нашем участке. Ведь могут заподозрить неладное».

«А ты испугался, а может, тоже ревнуешь, как твой Серега, а?» - спросила Арина. Оскорбленный таким ответом Сопливый хотел что-то выкрикнуть, но вместо этого только высморкался на Арину. Та успела увернуться и громко выкрикнула: «Верблюд дохлый, тоже мне, в ухажеры набивается». И тут же ушла. Рассерженная. У нее ничего не получалось с Семеном. Тот с Ариной в откровенные разговоры не вступал.

Убедившись, что ей не удастся покорить Семена, она решила разузнать о нем через Серегу. Этот «малец», наверное, много знает о нем. Не зря же с ним неразлучен и без конца ведет беседы.

Однажды на работе Арина не увидела Сергея. Спросила у бригадника: «А что то не видно вашего Тихоню Сергея?» – «Заболел он, с температурой лекарь оставил в бараке, - ответил тот бойко. - А зачем он тебе, ты же Семена обгуливаешь?» - спросил рядом с ним другой бригадник. «Молчал бы уж «Фома дремучий»! - в ответ сказала Арина и после некоторого раздумья решила, что самый раз навестить Серегу. Другого случая может не быть. Подойдя к старшему конвоя, сказала ему: «Мне сегодня нужно сходить на ферму, кое-что бригадницам сказать (ее девчата там тоже работали).»Такое случалось у Арины часто. Старший охраны, зная о том, что Арина расконвоированная и имеет право свободно ходить по колонии и вне ее, отпустил, наказав только чтоб к концу смены пришла. Конвойных и безконвойных (расконвоированных) на вахте надо было сдавать всех. Арина прибежала на молочную ферму, взяла у своих девчат два литра молока (баловались этим девчата) и, высказав свою тайную печаль: «Сил нет как люблю. Во всем он напоминает мне моего Мишу, только какой-то незащищенный и оттого еще дороже. Сердцем прикипела. Думала, что после Миши никого не полюблю. А теперь не выходит из головы Семен. Я к нему по-всякому, а он как каменный. Жалость какая-то непомерная к нему. Вижу, чем-то мучается. Так и хочется вымолить: отдай мне, Сеня, свою боль и страдания». Постояла немного, наказала им что-то по работе и побежала в лагерную зону.

На вахте полусонный вахтер не задержал ее: «Иди иди». Он знал Арину и проверять не стал. (Терроризма в те годы не было, и никто о нем не думал). Зайдя в барак, увидела Серегу. Тот сидел к ней спиной и о чем-то разговаривал с дневальным. Подойдя к ним и поздоровавшись, сочувственно промолвила: «Ты что, Сереженька, заболел? А я вот тебе молочка принесла, чтоб поправился». От появления Арины, да еще с крынкой молока Серега растерялся и вместо приветствия ответил: «Ты зачем сюда, ведь, Семена здесь нет?» – «Так ты ж заболел, вот я и пришла к тебе. Ты не бойся, я к тебе с чистой душой», - сказала Арина, поставив крынку на тумбочку. А к Семену я схожу только после обеда, люблю его, куда ж мне от этого деться», - сказала и загрустила. Сереге почему-то стало жалко Арину, и он высказал свою затаенную мысль: «Не завладеть тебе Семеном, «заноза» у него осталась на свободе». Умная Арина незаметно выпытала у Сергея

про Семенову тоску. Узнала в подробностях про жизнь его горемычную, подливая молочко из крынки: «Пей, Сереженька, пей. Тебе это на пользу», - расположила Серегу к полной откровенности.

«Значит он, по Розе - еврейке сохнет и убивает себя, - размышляла про себя Арина, уходя от Сереги. «Что это за красавица такая, - думала Арина, - что даже измену простил». Окончательно рассердившись, решила во что бы то ни стало добиться внимания Семена.

Возвратившись на «лесособираловку», Арина не пошла сразу к Семену. Надо было обдумать, как же быть ей дальше. В таких размышлениях день прошел незаметно. Наступил вечер, и бригады, закончив работу направились в зону.

Через несколько дней Сергей поправился, снова стал работать. Все шло по заведенным правилам. Подъем, работа, отбой. Арина опять начала навещать Семена, с каждым разом уходила от него все мрачнее. Серега, знавший о страсти Арины, жалел ее, даже пытался заговорить об этом с Семеном, но, будучи не сведущим в этих делах, отстал. Тем более, когда Семен высказал: «Вот если тебе ногу отрубить – больно будет? А ты мне рубишь по сердцу. Не начинай больше такой разговор».

В этот раз Серега с болью пожалел Семена и еще больше захотелось ему, чтобы разлюбил он далекую «изменницу» Розу, а повернулся душой к Арине. Его доброе сердце очень быстро отзывалось на чужие страдания.

Как-то раз уже перед самым окончанием работы, когда все заключенные кучковались в ожидании конца рабочего дня, Серега подошел к большой куче хвороста и присел на пенек. Он не сразу разобрал голоса говорящих, но вскоре понял, что это были Арина и Семен. Они находились совсем рядом и, повернувшись, Серега увидел, что Арина стоит перед Семеном, который, опустив голову, сидел на куче бревен. Арина, теперь все знавшая (от Сереги) про Семена и его неугасимую страсть, будучи душевной женщиной, понимала, как трудно бывает порой задавить боль сердечную (когда получила похоронку на мужа, два дня ходила помешанной, хотела утопиться, соседи помешали), глядя на склоненную голову Семена говорила: «Семен! Ну что ты так долго мучаешся. Для кого себя бережешь!» И, унижая свое женское достоинство, помолчав, добавила: «Бабы все одинаковы, души у них только разные». Арина была ладной женщиной. Не один молодой парень из заключенных заглядывался на нее, но характер у нее был самостоятельный, и она умела давать очень убедительные ответы. Меж тем настойчиво продолжила: «Давай поженимся. Я одинокая, мужа убили в начале войны на фронте, никто мне после него не был нужен. Ты приглянулся, а я тебе буду верным другом. Ждать стану. Срок у меня на исходе. А может, еще какая амнистия будет, война-то закончилась, совсем скоро стану свободной, к тебе приезжать буду или здесь же при ферме дояркой устроюсь, чтобы быть поближе к тебе. Я тебя готова ждать век. Может, и полюбишь со временем». Семен поднял на нее глаза, полные слез, и тихотихо проговорил: «Не могу Арина! Я разговариваю с тобой, а она стоит рядом. Не пересилить мне себя. Не могу. Прости!». После его слов Арина выпрямилась и, дотронувшись до плеча Семена рукой, сказала: «Теперь,

Сеня, я по тебе сохнуть стану». Вскоре прозвучал сбор, и бригады – одна мужская, другая женская – направились в лагерь. Когда прошли через проходные ворота внутрь колонии, Семен вдруг надумал сходить к Науму Моисеевичу. Теперь он и все бригадники знали, за что колотили Петруха с Павлухой (рассказали, вернувшись из карцера) этого «зловредного старикашку». Но каким бы ни был Наум Моисеевич пройдохой, он все равно отец Розы. Чем чаще вспоминал Семен о встрече с Наумом Моисеевичем, тем больше находил в нем черты Розы. И в этот раз пройдя вахту, минуя свой барак, сразу же пошел к нему.

Зайдя в барак, где проживал Наум Моисеевич, дневальный Трифон сказал, что тот после драки, через несколько дней попал в больничный стационар. «Наверное, скоро выпишут, притворяется «придурок», - добавил Трифон. В этой колонии Наум Моисеевич ни на какой «вспомогательной» работенке (вроде кладовщика, учетчика и т.п.), не работал, и Семен как бы в защиту Наума Моисеевича отреагировал на разговор дневального: «Ну какой же он «придурок», на общих работах вместе со всеми работал».

«Так уж и работал, один день только вышел картошку копать, так его оттуда «придурочного» на руках бригадники принесли», - высказал свою неприязнь Трифон (Наум Моисеевич имел неосторожность попросить как-то бригадира поставить его вместо Трифона дневальным. И этого Трифон не мог ему простить).

Семен ушел. В больницу пускали навещать больных, но Семену хотелось поговорить с Наумом Моисеевичем наедине, откровенно: ведь какникак, а вместе жили на одной земле, в одном городе. И хотя у него не было ничего секретного, тем не менее не хотелось чтобы посторонние люди слышали их разговор. Все равно не обойдется без упоминания имени Розы.

Семен возвратился в свой барак, поужинал и с тяжкими думами лег на нары. Он давно ждал ответ на письма, написанные Розе, племяннице Ирине и в судебные органы на пересмотр дела. Многие из заключенных знали, за что посадили Семена. Некоторые высказывали промеж себя сожаление о его поступке: «За такие дела могут добавить». Семена это не затрагивало. Два года, или двадцать. Все равно казалось ему самым страшным - потеря Розы. Но надежда, загнанная вглубь еще теплилась, а вдруг освобожусь и... Дальше он старался не думать. Уж больно заманчивыми рисовались картины, и оттого голова шла кругом. Временами он забывался тяжким сном, а когда просыпался, то мысли одна тяжелее другой сменялись чередой. А ответов на его письма ниоткуда не было.

Тревожной жизнью жил и Наум Моисеевич. Днем еще было терпимо. Кругом люди, медсестра, лекпом. Иногда приходил врач. А вот ночи, причем каждая, после того как он узнал, что выпустили «бандитов», Павлуху с Петрухой, были невыносимыми. Лежа на койке, он рассуждал: надо же так случиться, какое стечение обстоятельств. Все собрались враз, в одном месте. Работники, с которыми он совместно понемногу приворовывал, Петруха с Павлухой. И к ним еще Семен прибавился. И мало того в одном звене оказались. Твердо и бесповоротно решивший после «побоев» выбраться из этого лагеря, находясь в больнице настраивал весь медперсонал, чтобы его

как можно скорее отправили в центральный лагерь. Страх перед «вампирами» не давал ему покоя. Он считал себя одиноким и никому не нужным. Он никогда не узнает, что Семен, такой же одинокий, шел в тот вечер к нему с самыми добрыми намерениями. Хотел рассказать про гибель Екатерины Михайловны с мужем Розы, про скитания Розы во время войны.

В эту ночь Наум Моисеевич очень плохо себя чувствовал. Почти не уснул до утра. Ворочался с боку на бок, кряхтел, сопел, не замечая как в крайнем волнении, разговаривал с самим собой.

Сосед по койке уже в третий раз предупреждал его чтобы он прекратил возню. «Не могу никак управиться, все болит до невероятности после жестоких побоев», - плачущим голосом говорил Наум Моисеевич, зная что утром на обходе, сосед нажалуется лекпому и медсестре на невыносимое соседство с этим притворщиком.

Но после четвертого предупреждения: «Еще раз разбудишь, я твою «сковородку» так разделаю, что тебя и в аду не примут», - притаился и умолк. «Мало что те «мучили страшным боем» (Наум Моисеевич и себя убедил, что это именно так и было), еще не хватало, чтобы и этот по скуле заехал», - горько посетовал Наум Моисеевич. Дни шли за днями. Осень удалась погожей. В сельхозколонии управились с уборкой зерновых, овощей. Много уродилось в этом году картошки. Из городских лагерей присылали машины. Их загружали из куч, которые находились на открытых .площадках. Для нее не хватало овощехранилищ.

Требовалось много рабочих рук на загрузку, уборку, рассортировку картошки, лука, свеклы. И потому никого из заключенных не отправляли в центральный лагерь. Хотя медицинская комиссия из городских лагерей наметила около 100 человек годных для тяжелых работ. Обычно с такими этапами отправляли и заключенных с неизлечимыми болезнями. С ними и наметили отправить Наума Моисеевича.

Сколько бы пришлось терпеть Науму Моисеевичу страха и переживаний, если бы не случай. Возникла необходимость одному из охранников съездить в город. Там у него при смерти был отец. С первой же прибывшей машиной за картошкой его отпустили на неделю в город. Старец (начальник колонии) поручил начальнику УРЧ подготовить необходимые документы (сопроводительные) Наума Моисеевича и еще одного туберкулезника и отправить вместе с этим охранником на одной машине.

Уже вечерело, когда груженная картошкой машина подошла к лагерной вахте, из нее вышел охранник. «Где этапируемые?» -спросил у вахтера. «У меня сидят, - ответил вахтер, - вместе с начальником УРЧ». Охранник, немного поколебавшись (мог бы и отказаться), но увидев двух дряхлых стариков, из которых один постоянно кашлял, согласился.

Одновременно к вахте с «лесоповала» подошел «отряд лесорубов»: бригада мужиков Сметанина Федора и небольшая группа женщин из бригады Арины. Пока шла передача документов и вместе с ними этапируемых, бригады стояли перед вахтой (машина мешала, находилась у самых ворот) В первом ряду был Семен. Он увидел Наума Моисеевича, и у него сразу что-то в груди опустилось: «Теперь и его больше не увижу». Негром-

ко крикнул: «Наум Моисеевич! Прощай!». Наум Моисеевич, кряхтя, с помощью шофера и охранника забиравшийся в кузов машины, посмотрел и, разглядев стоящего Семена, сказал: «Эх, Сеня! Сеня! Прощай!». Не видел Семен, как у него покатилась слеза.

После того как Наум Моисеевич устроился поудобнее возле переднего борта, переложив с помощью охранника несколько мешков картошки, шофер залез в машину. Охранник постучал по кабине кулаком, и когда шофер высунул из окна дверки голову, сказал ему: «Второго возьмешь с собой, здесь некуда».

Через несколько минут машина тронулась, Семен проводил взглядом прижавшегося к борту Наума Моисеевича и отвернулся. Он знал, что никогда больше его не увидит.

И с того момента у него окончательно надломилась душа. Все померкло. Ему хотелось умереть. Для этого нужен был только толчок.

Однажды утром нарядчик на разводе выкрикнул фамилию Семена и сказал ему, что бы тот после работы зашел в УРЧ. Семен заинтересовался и спросил у него: «Зачем я понадобился? Может, здесь скажете?». Тот ответил: «Ничего особенного, подписать кое-какие документы, – и тут же добавил: – Остальное узнаете от начальника УРЧ». Весь день Семен с Серегой гадали, зачем и для чего. После долгих размышлений уже вечером, Серега сказал: «Ну к чему ломать голову, теперь уж недолго. А вдруг освобождение?». Эта мысль впала Семену в голову и не покидала до конца. Когда переступили ворота вахты, он шел уверенный, что это так и должно быть. Ведь он сразу же после суда написал заявление на пересмотр.

В помещении УРЧ ему сказали немного подождать. Сейчас начальник УРЧ занят со Старцем готовят списки на отправку «зеков» в центральный лагерь. Ждать пришлось около часа. Наконец Старец вышел и, увидев Семена, поздоровался. Он знал, за что Семена посадили. Так же знал его работу до заключения. Он все знал этот Старец, а если где и нужно было домыслить, то почти никогда не ошибался. Семена он уважал. Постояв немного, сказал: «Ну заходи!» А сам направился к выходу. Семен зашел в кабинет к начальнику УРЧ, поздоровался. «Вы меня вызывали?» - спросил он начальника УРЧ, в упор глядевшего на него. «Да, - ответил тот. – Вы Мацак? Семен Павлович? Должен вас огорчить. На ваше заявление о пересмотре вашего дела пришел ответ. Вам отказано. Но вы не огорчайтесь. Дело ваше рассматривалось еще до окончания войны. Тогда обстановка была другой. Я знаком с вашим делом. И, думаю, что в следующий раз, если напишите заявление, решение будет положительным. А сейчас, пожалуйста, распишитесь. Вот здесь». С момента пересмотра приговора прошло много месяцев. Семен задержал взгляд на дате, хотел спросить, почему так долго не объявляли, но передумал: «Зачем мне это? И какое имеет теперь значение - вчера отказали или много времени назад?». Он поблагодарил начальника УРЧ и вышел.

До барака шел с одной мыслью: «Жить больше незачем». У входа в барак его поджидали бригадники: всякое приглашение в контору лагеря всех интересовало. Он на вопросы бригадников не стал отвечать. Сказал только

одно слово: «Плохо». И пошел к своим нарам. К нему подошел Серега. Немного помолчав, сказал: «Можно было догадаться, что ничего хорошего не будет. Когда приходит освобождение, сразу с вахты уводят и на работу не посылают. Напрасно себя весь день терзали радостью». Больше ничего не говорил. Посидел немного возле Семена и ушел в свой «куток». В уединении погоревал за Семена и уснул.

На следующий день еще до развода нарядчики ходили по баракам, выкрикивая фамилии заключенных, подлежащих отправке на этап. Из бригады Сметанина попали в список этапируемых тоже несколько человек. Правда, этих заключенных совсем недавно (когда женщин не стали посылать на «лесособираловку») перевели в его бригаду, для усиления «лесных работ». Они уже давно отбывали срок в других бригадах колонии и числились как «поправившиеся». А когда подошел черед, то вместе с другими забрали и их. Им не хотелось уезжать, несколько человек спрятались. Но куда можно спрятаться в небольшой колонии. И тем не менее развод ненадолго задержался.

С того дня как Семен высказал Арине свои сокровенные чувства, она больше не приходила. Он совсем перестал с кем-либо общаться и замкнул окончательно свою душу. Время шло. Октябрь тихо и незаметно ушел. Погода становилась холоднее, иногда выпадал снежок. На дорогах он таял, а где не было движения, лежал тонким слоем, словно белое покрывало. Особенно оно было заметно в запретной полосе между двумя рядами заборов из колючей проволоки.

В тот самый день, когда нарядчики оставили часть заключенных для отправки в этап, бригады с рабочих объектов пришли много позже обычного: пришлось выполнять объем работ за отправленных «зеков». На дворе было совсем темно. В бараке бригады Сметанина Федора горели две лампочки, третья перегорела, а заменить было нечем. Некоторым пришлось ужинать в темноте.

Возвратившийся из конторы администрации, куда бригадиры ходили по вечерам заполнять наряды, Федор Сметанин подошел к Семену и весело сказал: «Пляши! Письмо из дому». Семен от неожиданности чуть не подпрыгнул. С трепетом распечатал его. Вышел из своего полутемного угла поближе к лампочке, прочитал несколько раз и, не отвечая на вопросы бригадников: «Как там на воле, что нового?», молча ушел и без единого слова, не раздеваясь, лег на нары.

На следующий день по заведенному распорядку, только в поредевшем составе, бригады ушли на работу. Семен молча таскал обрубленные сучья, рубил их на короткие части, складывал, не отвечая ни на какие вопросы напарника. Серега уже несколько раз подходил к нему с расспросами, о чем ему в письме пишут, но уходил ни с чем. После обеда подошел к Сереге сам Семен и завел с ним разговор: «Серега! Тебе недавно прислали в посылке рубашку. Продай ее мне. Я тебе за нее, что хочешь дам. Хоть хлеб, хоть деньги (у Семена была какая-то небольшая сумма). Серега ошалело смотрел на Семена. Он действительно получил совсем новую рубашку.

Мать давным давно, еще до войны сшила ему и собственноручно вышила воротник и рукава шелковыми нитками. На выпускной вечер. Но не пришлось пофорсить Сереге в новой рубашке. В ту пору она оказалась ему немного большой. А на выпускном вечере Сереге не удалось побыть: посадили за несколько месяцев до него. А вскоре началась война.

Надел он ее уже после войны в лагере. Мать прислала с наказом: «Носи, а то вырастешь и не налезет она на тебя. Отец-то был рослым». Рубашка подошла в пору. И когда Серега одел, то бригадники заговорили враз: «Ну, Серега, теперь любая девка к тебе прильнет». Серега покраснел. Тут же снял ее. И убрал в тумбочку. А утром наказал дневальному: «Смотри, рубашку чтоб не уперли». Дневальный любил Серегу. Когда все уходили на работу, брал Серегину рубашку и запирал у себя. А перед приходом бригадников клал обратно в его тумбочку.

Опомнившись от такого предложения, Серега ответил: «Нет, Семен! Не могу! Это же последний подарок матери». Семен отошел, понурив голову. Сереге стало жалко Семена. Подумал: «Может, в письме Роза (он уверовал, что письмо от нее) пишет, что приехать собирается, а он нарядным перед ней хочет быть». Но был злой на эту женщину. Он догнал Семена и ласково спросил: «Если рубашка тебе нужна для свидания, так я дам поносить. Письмо - то от Розы?» Лицо у Семена передернулось, стало каким-то чужим, не своим голосом сказал: «Нет, Серега. Совсем не то». Серега, стараясь всеми силами помочь Семену, заговорил: «Ну, что ты! Вон Шарабура продает совсем новую, лучше чем моя! И почти даром. Спроси у него». – «Да я знаю! Но у него она или ворованная или в карты выиграл, а мне бы хотелось чистую. Вот если бы ему также из дома прислали, купил бы. А так нет, не надо».

После этого разговора они разошлись: Семен на свои нары, Серега к себе. Прошло больше часа, как Серега, измучившись своим отказом продать Семену рубашку, подошел к его нарам и промолвил: «Сеня! Не обижайся. Я вижу, что рубашка тебе очень нравится. Задаром бы отдал (повторял он те же слова). Но это материн подарок на окончание десятилетки. Не могу. Мать обидеть нельзя». Еще многое говорил Сергей в оправдание своего отказа и думая, что рубашка Семену нужна для встречи с Розой, добавил: «Но уж если тебе так надо, то дам тебе поносить ее на целый месяц (он продолжал верить, что письмо Семену было от Розы и она захотела с ним встретиться)».

Пока Сергей говорил, на лице Семена блуждала какая-то добрая и печальная улыбка. Когда Серега умолк, Семен сказал: «Ну что ты! Я ведь пошутил. Я тоже когда-то заканчивал десятилетку и знаю, какие это радостные времена. А ты береги эту рубашку. Пусть она тебе хоть в малом восполнит, что не пришлось повеселиться на выпускном вечере. Как добрая и светлая память на всю жизнь». После этого Семен отвернулся и стал ложиться спать. Не спокойно было на душе у Сереги. Лежа на нарах, уговаривал себя: «Не пошутил Семен, нужна ему рубашка. Завтра отдам, вот принесу и подарю. А до утра пусть полежит в моей тумбочке. Чего я колебался? Решил отдать, и сразу на душе стало легко». Успокоенный таким «откровением», уснул безмятежным сном.

Была холодная ноябрьская ночь. Ветер с севера гнал темные тучи, временами дождь, перемешанный со снежной крупой, поливал землю, стучал по крышам и окнам лагерных бараков. Вокруг была непроглядная темень. Тяжелым сном забылись заключенные.

Наступил серый, грязный рассвет. Дневальный давно уже принес баланду с раздаточной. Бригадники кончали завтракать, когда дневальный прокричал: «А где Семен? Он один не получал завтрак и его пайка лежит. Скричите его поскорее. Сегодня мне лишку дали баланды. Буду добавки давать, кому бригадир укажет. Зовите скорее Семена». Бригадир Сметанин, уже схлебавший свою порцию поглядел, на бригадников и, увидев Серегу, прикрикнул: «Находи скорее своего интеллигента, буду остатки делить лучшим работягам (обычно такое производилось только после того, как все бригадники получат свое тюремное довольствие)». Кто-то крикнул дневальному: «Налейте Семену в его чашку баланду, а остальное делите, кому бригадир прикажет». – «Подождем немного, звеньевой быстро найдет», - сказал бригадир, надеясь, что Серега отыщет Семена где-нибудь в туалете. Прошло минут пятнадцать. Возвратившийся Серега, запыхавшись, доложил: «Почти весь лагерь обежал, во всех бараках был, нигде не нашел, спрашивал у женщин, что несли баланду в свою зону, может, как-то к ним зашел, ответили нет». «Как нигде нет?» - уже громко спросил бригадир. «Иди снова ищи!». Он начинал волноваться. Закончивший завтракать Сверчок, поборов робость, сказал, что, проснувшись ночью, не увидел на нарах спавшего рядом с ним Семена. Бригадира такое известие передернуло от страха. Ему вдруг пришла в голову мысль, что этот «любвестрадалец» (о странностях Семена уже многие знали, в том числе и бригадир) совершил побег. Не залез же ведь он под землю. И этот страх вогнал его в растерянность. «Не приведи Господь, если случится такое», - думал перепуганный бригадир, оглядываясь по сторонам. «Тут и лагерное начальство, НКВД, оперупономоченный затаскают на допросы. А уж в буре за недосмотр насидишься до одури. И с бригадиров снимут. Могут послать на самую тяжелую работу - копать колодцы на полях для полива овощей» -проносились такие мысли у Федора Сметанина, и он, потеряв благоразумие и сдержанность, вдруг накинулся на Сверчка: «Как же ты, гнида дохлая, сволочь поганая, не разбудил меня и не сказал, что этого недоделанного молчуна не было на своем месте?». Бригадир Федор Сметанин был трусоват и подозрителен. Ему тут же показалось, что Сверчок специально не сказал, чтобы навредить ему. И закричал на Сверчка во всю мощь своей нездоровой носоглотки: «Отвечай! Или насмерть забью!» - все больше распаляясь, орал Сопливый и пошел на Сверчка с поднятыми вверх кулаками. Тот успел только проговорить: «Я думал, что он в туалет пошел», - и тут же проворно юркнул под нары. Бригадир зашел в проход между нарами, где несколько секунд назад стоял Сверчок, посмотрел вниз в одну, потом в другую сторону, и не увидев нигде уползшего Сверчка (тот успел уже пробраться к самому дальнему проходу и выскочить в дверь) выругался и вытер рукавом нос. В это время вбежал Сергей и, подойдя к бригадиру доложил, что нигде нет Семена. Дрожащий Сергей, не меньше бригадира

испугавшийся исчезновения Семена, успел передумать во время его поисков по лагерю обо всех могущих быть неприятностях: вдруг его как звеньевого заподозрят в пособничестве, да к 58-й статье прибавят еще и заведут уголовщину, припишут укрывательство, о Господи! Чего только может не быть. Он стоял, как столб, недалеко от бригадира, не решаясь подойти к нему ближе.

Убедившись, что Сверчка он уже не достанет, бригадир напал на Сергея: «Так как же ты проверял своих членов звена? Дрых без задних ног? Зачем я поставил тебя на ответственную должность? Ты за четырьмя человеками уследить не смог? Говори, куда делся Семен? Ты с ним зачастую шушукался, да еще заступался. Может, сговорился с ним о побеге? Отвечай!» - кричал разъяренный бригадир. Теперь уже сам себя убедивший (хотя оснований твердых не было), что Семен убежал из лагеря, разбрызгивая из носа и рта обильно жидкость.

Сергей уже приготовился юркнуть вслед за Сверчком под нары, но бригадир успел подойти к нему близко и путь к отступлению был отрезан. «Что молчишь?», - опять заорал Сопливый. В этот момент он действительно оправдывал свое прозвище (вся грудь и рукава у него были мокрыми). «Так ведь я просил поменять местами Семена с Шарабурой. Тот не из нашего звена, а мои нары от Семена через десять рядов. Может быть, я и уследил бы. А теперь что я могу сказать? Спал всю ночь. Ты вчера заставил таскать мешки с картошкой. Я с ними ухайдакался, что как лег после ужина спать, так будто умер», - отвечал скороговоркой Сергей.

«Так ты еще и оправдываешься? - теперь уже с каким-то шипом, захлебываясь слюной, выкрикивал бригадир. – Я тебе оказал доверие и назначил звеньевым, а ты проворонил своего подчиненного». Не зная что ответить, тем более, не соображая в чем же его вина, Сергей вымолвил: «Скоро на развод. Мы почти целый час по-пустому ведем разговоры и в комендатуру не сообщили, что Семена нет. За промедление могут всех в сообщники зачислить. Надо поспешить».

Как только Сергей об этом закончил говорить, у бригадира раскрылся рот до ушей, челюсти свело судорогой, из ноздрей побежала струей зеленоватая жидкость и он неестественно зафыркал. Одной ладонью он уперся в подбородок, видимо, стараясь захлопнуть рот, а пальцами другой защемил нос. И в таком виде уставился на Сергея, одновременно кивая головой, как бы подтверждая, чтобы тот быстрее побежал в комендатуру. Сергей не раздумывая, тут же помчался к выходу. Следом за ним увязался Грызун. Забежав в комендатуру, где мирно покуривали надзиратели, оба одновременно вскрикнули: «Побег!» «Где?» -наперебой закричали работники надзора. «В нашей бригаде Сметанина пропал Семен», - опять же, как сговорившись вымолвили, Сергей и Грызун. Всех надзирателей подняло как ветром. Толкая и опережая один другого, они кинулись в барак. Последний из охранников побежал на вахту доложить начальству. Было раннее утро, и руководство колонии еще не пришло.

Вскоре подошли начальник колонии Старец и начальник УРЧ. Они, не задерживаясь, пришли в бригаду Сметанина.

Когда Сергей возвратился в барак (а он умышленно замешкался, мало ли до какой истерики дойдет бригадир, пусть уж лучше на ком-нибудь сорвет свою злость), там стоял настоящий «водоворот». Работники администрации и охраны невпопад спрашивали, бригадники невразумительно отвечали. Прибежавший старший нарядчик стал докладывать о Семене все данные. «Не надо! Я лучше тебя о нем знаю!» - ответил Старец. Гвалт понемногу стих. Старец, обращаясь ко всем, спросил: «А кто сказал, что Семен убежал?» – «Так нигде нет! Весь лагерь обыскали», - ответил бригадир. «Вы уверены в этом?» – спросил снова Старец Бригадир, стараясь подтвердить свои опасения, указывая на звеньевого Серегу, сказал: «Два часа утром искали по всей зоне, а рядом спящий Грязнов утверждает, будто, проснувшись ночью, увидел, что Семена на нарах не было». Стоящие рядом бригадники притихли: знали, теперь канитель заварится крутая. Одними допросами сведут с ума. А если еще «серьезное» начальство из главного лагеря возьмется за это дело, то многим немало достанется. В колонии за весь период ее существования это был первый побег. А шум и суматоха нарастали все больше. Охранники бегали с наружной стороны зоны с собаками, внутри по периметру забора ходили коменданты, осматривая каждую пядь земли. Нигде никаких следов. Бригады стояли перед воротами вахты. Заключенных никого из зоны не выводили. Одни курили, другие ругались. Наконец Старец распорядился: «Все бригады отправить на работу, кроме той из которой пропал человек».

Через полчаса зона опустела. Остались только бригадники «злосчастной» бригады Сметанина. Одни разошлись, кто-то уселся недалеко от здания администрации, благо погода разгулялась, несмотря что зима уже подступила, другие ушли в барак. Но у всех было одно желание: пойти работать. На работе легче, чем томиться в ожидании допросов. Даже Шарабура спросил у проходившего мимо надзирателя: «А нас что не выводите на работу, что зря время тяните?» – «Ишь ты, каким стал ретивым, захотелось на работу. А сколько раз сидел в карцере, как отказчик, забыл? Что тогда-то не просился. Сиди и дожидайся. Сначала всех в «бур» загонят, а оттуда по одному на допросы будут водить», - зло ответил надзиратель. Им уже досталось за упущения, а сколько еще будет. Возвратившийся из барака (пить ходил). Сверчок стал рассказывать про услышанный им разговор между надзирателями: «Говорили, что по всей зоне между рядами колючей проволоки не нашлось никаких следов, где пролез Семен. Видимо, лез вперед ногами, а руками загребал следы, может даже веником, а снежком ночью покрыло». – «Не может такого быть, все равно бы следы остались. Он что по воздуху летел, что ли. Может, прошел через вахту?» - высказал свое предположение Грызун. У него часто проявлялись довольно убедительные мысли. Он в пересказ Сверчка не поверил.

«Не знаю. Это не мое дело», - отмахнулся Сверчок. Он уже не раз сидел в лагерях, кое-что повидал. И усвоил, что лучше не вмешиваться ни в какие дела. Услышат надзиратели, что он участвовал в разговоре, будто Семен через вахту прошел, так на допросах «нутро» вытащат, а потом

вахтеры найдут случай, как проучить за вранье. Отошел, успокаивая себя: «Кому надо, пусть разберутся»

Время тянулось. Охранники, коменданты, надзиратели уже несколько раз обошли всю территорию колонии, внутри, снаружи. Осмотрели все бараки, лазили под нары, смотрели на чердаках, освечивая их фонариками. Один из охранников, забравшись на чердак барака, в котором жила бригада Сметанина, хотел пройти до самого конца. Но, забравшись по лестнице и выпрямившись, наткнулся головой на торчащий из крыши гвоздь, чертыхнулся и слез обратно. На вопрос своего товарища отмахнулся: «Никого там нет, только гвозди торчат, голову проколол».

Поиски оказались напрасными. Семен не находился. Еще не наступило время обеда, когда несколько групп охранников с собаками отправились по всем дорогам искать беглеца. Досада на сбежавшего Семена среди бригадников утихла. Раздались возгласы: «Пропал Семен! Охрана рассвирипела. Как где поймают, там и ухлопают. Как волки по всей колонии все утро носились. Видимо, от начальства здорово досталось. Видимое ли дело. Побег! Такого никогда не было», - уже который раз говорили промеж себя и заключенные и вольнонаемные работники.

Совсем понурившийся бригадир с печалью в голосе сказал: «Уж хоть скорей бы начинали нас допрашивать, а то вся душа изболелась». Все понимали, что бригадиру за недогляд будет много неприятностей.

В это время через вахту быстро прошли несколько человек. Впереди шел оперуполномоченный, за ним остальные. Кто они? Бригадники не знали. Через некоторое время из конторы вышел надзиратель и громким голосом приказал: «Бригадира к оперуполномоченному! Остальным оставаться на месте, не расходиться!». У Сереги, что-то забулькало в груди и животе. Он представил, что за бригадиром позовут его и тут же в голове, нарисовал картину собственного допроса: «В твоем звене был Семен?» - спросит опер. Как тут отопрешься. «Да», - придется отвечать. «Почему не усмотрел?» - опять спросит опер. «Спал. Что еще скажешь», - думал Сергей. А как тут не уснешь, когда за день перетаскал 100 мешков с картошкой от сарая и погрузил на машины. Только пришел с работы кое-как поел и, не раздеваясь, упал на нары и тут же захрапел. Попробуй уследить за Семеном, когда он спит через десять рядов нар от меня. И тут же проклятая мыслишка пробивается из самого дальнего уголка: «Ты спишь, а враг пробирается через границу, чтобы навредить». Такое слышал Сергей в школе на уроках, когда проводили занятия «Готов к труду и обороне».

«Он ведь и такое может спросить, - со страхом подумал Сергей, - что отвечать?» И тут же облегченно проговорил: «Ну какой Семен враг, он же секретное оружие против немцев изобретал». – «Что ты все шепчешь про себя, - толкнул Серегу в бок и злобно проговорил стоящий рядом с ним Грызун, - может, какую клевету готовишь. Не открутишься, ты звеньевой». Серега от неожиданности вздрогнул и тут же послал Грызуна к черту. Такое с ним случалось редко. Возможно, между ними завязался бы спор. Грызун был задиристым. Но в это время появившийся на крыльце надзиратель громко крикнул: «Кто такой Грязнов?» Все молчали. Надзиратель

выкрикнул второй раз. Чуть приподнявшись Сверчок произнес: «Я!» Этого маленького, вертлявого парнишку все называли только Сверчок, оттого он и сам не сразу сообразил, что это его фамилия.

«Быстро за мной!» - приказал надзиратель. Сверчок засеменил.

Грызун, готовившийся перед этим вступить в схватку с Серегой, сказал: «А бригадира не видно, наверное, прямым ходом в карцер погнали. Круто заворачивают». Сереге хотелось съездить Грызуну по длинному носу. Его слова как серпом ранили душу. Он истомился в ожидании предстоящего допроса, и разглагольствования Грызуна с пугающим настроем, кидали то в жар, то в холод.

Серега, испытавший множество различного рода допросов, прямых, перекрестных, когда следователь задает один вопрос и, не дождавшись ответа, тут же спрашивает совсем о другом, а на противоположной стороне от него второй следователь, торопит с ответом на первый вопрос, голова перестает работать и страх как-то сам по себе пропадает.

А вот ожидание допросов - очень тяжкое испытание. Он знал это чувство и стараясь хоть как то побороть его, настраивал себя: «Ничего, скоро кончится, и пойду отвечать». Но успокоение приходило совсем ненадолго и снова подкатывало волнение. Меж тем день перевалил на вторую половину. Уже провезли на лошадях обеды для работающих за зоной бригад, а бригадники «злосчастной» бригады находились возле конторы в ожидании, бегая по очереди, кто обогреваться, кто попить воды в барак.

Наконец отворилась дверь и вышел бригадир. Чуть позже за ним появился Сверчок. Прекратились все шушуканья. «Ну! Теперь наверное подошла моя очередь», - подумал Сергей с душевным трепетом. «Слава Богу!» - воскликнули враз несколько человек. «Вам «слава Богу», а мне сейчас идти к оперу». У Сергея от таких мыслей тошнота подступила к горлу. Но! Подойдя совсем близко к бригадникам, Сопливый произнес только одно слово: «Все!». После чего замолчал. У него из-за пережитого волнения изо рта потекли слюни, а из носа струилась мутноватая, с зеленым отсветом жидкость. Он принялся вытирать нижнюю часть лица рукавом, который из-за частого повторения подобных операций, задубел и блестел, словно отполированная панель. Закончив эту процедуру, бригадир продолжил: «Сейчас идем обедать и сразу же на работу. Сегодня не будут больше спрашивать». От такого неожиданного оборота все растерялись. Обычно такие перепады настроений у слабых людей вызывают сердечные приступы. Но ничего подобного с заключенными бригады Сметанина не произошло. Все заговорили, радуясь непонятно чему. Только Сергей загрустил еще больше и подойдя к бригадиру спросил: «А почему меня не вызывали?». Бригадир, успевший до этого высморкаться глянул на Серегу со злобой и сказал: «До тебя еще доберутся за потакание Семену. Ты с ним больше всех вел переговоры».

Сергея такой ответ сильно взволновал, и он как бы в оправдание (хоть ни сном ни духом не знал и не гадал об исчезновении Семена) выпалил: «Зачем ты загнал Семена на самые крайние нары, а не переменил местами с Шарабурой, он ведь не из моего звена. Может быть, я бы и доглядел за Семе-

ном и побега не было никакого. А из-за этого получилось, что все звено вместе со мной спит в одном краю барака, а Семен, совсем вдали от нас? А?».

Бригадир зашмыгал носом (верный признак надвигающегося расстройства), но вовремя спохватился и совсем миролюбиво обратился к Сергею: «Ну, ладно! Пойдем обедать». Для перестраховки ерзанул рукавом под носом. Сергей догадался, что его высказывание отрезвило бригадира и тут же подумал: «Наверняка будет подучивать меня ничего не говорить про неправильное расселение бригадников в его звене. Ведь опер такой метод может расценить в любую сторону. От них всякое случается». И тут же, злорадствуя, продолжил думать: «Не дождешься Сопливый, скажу как было. Ишь какой ласковый стал. Даже нос успел подтереть».

Вечером при возвращении с работы, когда бригада Сметанина проходила через вахту, стоящий вместе с вахтерами надзиратель, крикнул: «Тихонов! Подойди ко мне!». Сергей подошел. «Что случилось?» - спросил надзирателя спокойно, хотя сердце стучало, словно паровой молот (догадался сразу зачем позвали). «А ты не спрашивай! И двигай за мной! Натворил дел, вот и расхлебывай. Идем! Уполномоченный из центрального лагеря приехал, будет тебя допрашивать», - с какой то озлобленностью говорил надзиратель, идя с Сергеем к конторе. Пока шли, Сергей все время думал: «Ну при чем тут я?». Но вдруг словно молния, прошибла мысль: «А вдруг кто-нибудь слышал, как Семен просил продать новую рубашку, это же верный признак подготовки к побегу, А я никому про это не сказал». Мысль застопорилась, будто ее заклинило чем.

И об этом знает следователь. Ему донесли, может, сам Сопливый сказал, что бы отвести от себя свои промахи. Он мог сказать, что я был с Семеном в сговоре и знал о его готовящемся побеге? Что тогда? Сколько людей сидит по оговору и клевете?» Эти мысли так взволновали Сергея, что он мгновенно покрылся испариной и когда по ступенькам крыльца поднимался в контору, с его лица ручьем текла вода.

Рассыльный, дожидавшийся надзирателя с Сергеем, глядя в лицо, спросил у него: «Ты что? Искупался что ли? Или водой тебя окатили? Как тебя такого вести к следователю?». Серега смахнул пот с лица. «Заболел, наверное, я» - ответил не задумываясь. «Шагай за мной! Там тебя сейчас вылечат», - проговорил рассыльный и двинулся внутрь конторы. Сергей молча следовал за ним. В полутемной комнате, куда завели Сергея, находилось несколько человек. Они сидели и вели про меж себя разговоры. Только один, средних лет, в штатской одежде, расхаживал по кабинету. Увидев вошедшего Сергея, он остановился и мельком взглянув на него сказал: «Так это ты и есть звеньевой? Фамилия у тебя Тихонов. Благозвучная фамилия. И прозвище Тихоня, а еще Тишайший. Правильно я говорю?».

«Все правильно, гражданин начальник», - ответил Серега. Следователь, повернувшись к сидящим, сказал: «Вы мне больше не нужны. Можете идти». И к Сергею: «Садись! Поговорить надо основательно».

Когда Сергей робко присел на краешек стула, следователь, стоя напротив стола спросил: «Ну, давай выкладывай, как вы договорились с Семеном о побеге, как и в чем ты ему помогал, почему не донес начальству. Расскажи и я тебя отпущу».

Сергей понял: оговорил его Сопливый, или Сверчок. Кто-то из них двоих, а может быть, и оба наклепали. «Никогда, ни о чем не говорил с Семеном о побеге, даже не заикались об этом», – сказал обреченно Сергей и подумал: «Разве поверит следователь». Каких только вопросов ни задавал ему «опер», Сергей твердил одно: «Не было, не знаю, ни в чем не виноват гражданин начальник».

«Так ведь я же знаю, что ты постоянно с ним о чем-то беседовал, от этого ты не будешь отказываться?» - допытывал Сергея следователь.

«Говорили, как жить будем когда освободимся, и работать советовали друг другу по-стахановски, чтобы досрочно освободиться. Еще я ему советовал больше есть щавеля. Это растение убережет от цинги, многие нарвут, а потом сушат, только надо не зевать и скорее рвать, как подрастет, потому что все этим занимаются». – «А причем сейчас щавель. Уже и листьев то на деревьях нет, трава под снегом, а ты про щавель», – подняв глаза на Серегу, спросил следователь. «Так это я ему говорил еще летом», – пересиливая себя, сказал Серега. О многом говорил Серега, всячески избегая разговора про рубашку и Розу. Очень боялся этих вопросов. Если начнет допытывать об этом следователь, то доконает и обвинит в мыслимых и немыслимых грехах.

Долго, очень долго допрашивал «гражданин начальник» Сергея, стараясь вытянуть из него хоть малейшие детали о побеге Семена. Но Сергей стоял на упорном отрицании. Порой у него мутилось в голове, он чуть не падал со стула, хотелось грохнуться на пол. Но вид спокойно сидящего перед ним следователя вызывал какой-то необъяснимый страх и удерживал от неразумных поступков: «Упадешь, а надзиратель вскочит из-за двери и обольет из ведра водой или пнет ногой в бок, чтобы не придуривался. Нет! Буду держаться! Не свалюсь!». Наконец следователь поднялся: «Ну смотри! Если что скрыл или соврал, плохо будет. А сейчас иди в бригаду!». Сергей поднялся и, качаясь, дошел до двери. Держась за стены, а потом за перила крыльца, сошел на землю и побрел в барак. Несмотря на позднее время, кое-кто из бригадников не спал. Когда Сергей повалился на нары к нему подошел бригадир: «Я Шарабуре сказал, чтобы он перебирался завтра же на место Семена» - сказал он. «Поздно! Семена уже нет! Надо было раньше это делать, а теперь, что прикажешь за Петром с Павлухой или Грызуном смотреть?» - зло сказал Сергей. Ему был до невозможности противен этот трусливый, жалкий человечишко, и он добавил: «Отказываюсь я больше быть звеньевым, с тобой пропадешь. Следователь сказал, если не найдут Семена, то меня, а в первую очередь, тебя (хотя следователь и не говорил этого) в тюрьму загонят». Хоть этими словами он хотел досадить бригадиру. Тот сразу как-то сник и, не сказав ни слова, ушел на свои нары.

Сергей в раздражении долго не мог уснуть. А когда заснул мертвецким сном незадолго до подъема к нему подошел надзиратель. Разбудил его и сказал, чтобы шел с ним к следователю. Когда Сергей, спотыкаясь, зашел в кабинет, то увидел совсем другого человека. Это был довольно молодой и в военной форме.

«Ну, что же ты нас все время обманывал и не говорил правду, знал куда и когда собирался убежать Семен. Ведь мы его поймали и он нам все

рассказал, как ты ему оказывал помощь», – такими словами встретил его новый следователь. «Все! Пропал! Заклеветали!» - пронеслось в голове Сергея и остатки сна вышибло, словно окатили ледяной водой. «Ну, говори! Отвечай! Пакостить, устраивать заговоры ты способен, а как дело до расплаты, так сразу онемел», - наступал молодой «энкаведист». Но он, видимо, переборщил. У Сергея действительно отнялся язык и пропало всякое соображение.

«Ну! Так что ты? Будешь говорить?!» - все больше и больше ярился следователь. Ему так хотелось выбить из Сергея хоть какие-то признания и угодить своему начальству. Но Серега словно остолбенел и произносил всего несколько слов: «Нет! Не знаю! Не видел! Не помню!». Так продолжалось довольно долго. Наконец следователь «энкаведист», выбившись из сил, рявкнул: «Ну ничего! Мы с тобой еще поговорим. У нас хватит время. Иди работать».

Развод уже начался, и Сергей, не успев позавтракать, пристроился к своим бригадникам. Целый день Серега был в каком-то тумане, приходили в голову разные мысли: «Может, правду говорил следователь, что Семена поймали и где-то, а скорее всего в центральном лагере, так «прищучили», что он оговорил всех и его (Серегу), о чем никогда и ни с кем думать не смел. Бывало такое с другими. Знал об этом Серега. И оттого в каком-то страшном смятении бродили мысли и не двигалось время. «Ну, зачем я с Семеном так много и долго говорил. Видели, донесли, а теперь я маюсь. Ну и что из того (успокаивал себя Серега), ведь о побеге и в мыслях у нас не было», - терзал он себя.

«Очень хотел что бы не вызывали на допрос при заходе через вахту. Поужинать хоть бы дали. Утром без завтрака остался. Все в животе перевернулось», - думал Серега. Так же думали многие. Сбор по окончании работы был недолгим. Женщин не было, да и кое-кого отправили как поправившихся в центральный лагерь. В бригаде Сметанина оставалось немногим более двадцати человек. Перед вахтой у всех была одна тревожная мысль: «Кого вызовут и что будут спрашивать?».

Главное, что тревожило больше всего: никто, ничего не знал, а «опера» поочередно сменяли один другого и допрашивали, допрашивали без конца.

Когда стали пропускать в лагерную зону, у Сереги в горле что-то забурлило и заклокотало. Он увидел стоящих перед воротами, каких-то незнакомых, в военной форме. «Пропали! Сейчас потащат прямо на допрос. Господи! Ну хоть бы кончилось это скорее», - промелькнуло у Сереги. Но все обошлось. Бригады зашли в зону, и бригадники разбрелись по своим баракам. Начался ужин. Кое-кто улыбался и шутил. Но не успели закончить ужин, как дверь отворилась и надзиратель быстро направился к бригадирской «каморке» (знал, где нары бригадира). «Быстро, за мной», - приказал грубо надзиратель. К этому времени все, и надзиратели, охранники, комендanты ожесточились до последней крайности за совершенный Семеном побег. Особенно всех нервировало отсутствие результатов. Шли уже вторые сутки, как исчез Семен. С приходом надзирателя все притих-

ли. Когда дверь захлопнулась за надзирателем и бригадиром, Шарабура торжественно произнес: «Началось! Для меня их приемы известны. Целую ночь мозги вправлять будут», -говорил он с таким пафосом, будто его только что короновали на сходняке и зачислили в круг «паханов» (ему такое очень хотелось).

Но в этот раз все прошло по иному сценарию. Бригадир возвратился с допроса совсем быстро. Не вступая ни с кем в разговоры, он торопливо прошмыгнул в свой закуток. Задернул занавеску, долго возился, что-то переставляя, фыркал и много сморкался. Несмотря что бригадир прошмыгнул мимо укладывавшихся на сон бригадников, стараясь быть незамеченным, кое-кто усмотрел в его поведении неладное.

Серега услышав, что бригадир вернулся, сразу не поверил: «Бывает же так! Вот счастливчик! Всего полчаса продержали и отпустили. А меня два раза по полдня держали и допрашивали. Я чуть было с табуретки не свалился, так голова кружилась. И сейчас в глазах какие-то зигзаги». А Шарабура, находясь недалеко от Сереги, встретившийся лицом к лицу с бригадиром, как только Серега закончил говорить, тут же произнес: «По носу ему надавали, весь распух и красный». Как он мог рассмотреть в темноте лицо бригадира, прошмыгнувшего, как мышь, это уже останется на совести «блатаря» (он никому не желал добра, и любые неприятности у других его радовали). Услышав от Шарабуры такое высказывание, Серега запротестовал: «Не может быть! Меня допрашивали до умопомрачения, но ни разу не ударили. А тут через пятнадцать минут выпустили, ни о чем не расспросив и успели отлупить. Так не бывает!» - уверенно закончил Серега.

Разрешил сомнение «Грызун»: «Да ничего вы не смыслите! Как только начали бригадира допрашивать, он разнервничался и обфыркал следователю весь стол, а может, лицо соплями окатил. Вот тут-то ему и влупили надзиратели».

Серега с Шарабурой глаза выпятили. «А ведь верно, - подумал Серега, - говорит Грызун. Дурак дураком, а смикитил. За такое могут и башку проломить». Понемногу спор начинал затихать, и Серега уже засопел носом (прошлую ночь почти не спал), в барак вошли двое надзирателей. «За кем?» - мелькнуло у многих. Надзиратели подошли к бригадирской кабинке (там он в это время о чем-то шептался с дневальным) и один, видимо, старший по чину, громко сказал: «Вылазь, слюнявый черт. Успел умыться. Следуй за нами!». Из закутка вышел бригадир вместе с дневальным. Бригадир впереди, дневальный отстал. Когда надзиратели с бригадиром ушли, Шарабура спросил у дневального: «Лупили?»

«Нет! Упал, говорит с крыльца!» - ответил дневальный. «Врет! Признаться не хочет, что опрыскал следователя слюной, за что и огреб по носу. Не стали бы надзиратели называть его «слюнявым» - высказался Шарабура. Сергей уснул. Вскоре уснули и все остальные. Свет потух, горела только одинокая над входом лампочка. Утих барак. Бригадир тихо-тихо прокрался между спящими уже во второй половине ночи, еще тише, не раздеваясь, лег на нары. Ворочался. Долго вздыхал. И только под утро задремал, чтобы

через несколько часов, снова начать тяжелый лагерный день.

Глубокой ночью возвратились группы охранников, посланные проверить все дороги и близлежащие деревни. Пришли ни с чем. Старший следователь, опросив всех, «причастных» к побегу Семена заключенных, в задумчивости расхаживал по кабинету. Несмотря на очень позднее время, приказал собрать к нему всех надзирателей и комендантов, которые производили осмотр территории зоны, чердаков и прочих помещений. Когда все собрались, он задал только один вопрос: «Вы хорошо обследовали зону и охранное ограждение. И уверены ли, что Семен Мацак сбежал? (следователь впервые назвал Семена по фамилии)». Все наперебой заговорили. Следователь движением руки остановил разговоры.

Начал производить опрос по одиночке. Когда дошла очередь до надзирателя с забинтованной головой, следователь задержав на нем взгляд, спросил: «А что у вас с головой?» Тот, стараясь заслужить поощрение, стал подробно рассказывать: «Я залез на чердак, в темноте наткнулся на торчащий из крыши незагнутый гвоздь. Успел до этого осветить все чердачное помещение светом фонаря! Ничего не заметил. Когда почувствовал, как потекла по лицу кровь, слез, и в медпункте мне сделали повязку». «Все у вас?» - спросил надзирателя следователь. «Все!» - ответил тот. «Сейчас уже поздно и очень темно. А завтра, чуть рассветает необходимо самым тщательным образом произвести осмотр всех помещений, чердаков, подвалов и прочих «закутков». Проверить завалинки. Если обнаружите не прибитые на них доски, откройте и проверьте, что внутри. Только прошу отнестись к этому очень серьезно. Возможно, на поверхности территории обнаружите (хотя тонкий слой снега уже лежал на нетронутых площадках) свежевскопанную землю, тщательно проверьте это место». У него возникло сомнение, убежал ли Семен? Может где-то в зоне спрятался или убитый лежит. «Эти мордовороты могут только лупцевать», - рассуждал следователь, вспоминая, как они схватили голову бригадира, когда тот начал чихать и брызгать слюной в начале допроса. «А сейчас идите отдыхать», - закончил следователь. Он уже вторые сутки не спал и ему хотелось вздремнуть хотя бы несколько часов. Надзиратели и коменданты ушли. Оставшись вдвоем, Старец (начальник колонии) спросил у следователя: «Неужели вы думаете, что совершено убийство? В нашей колонии ни одного заключенного на такие «подвиги» не найдется. Да и за что. Он ни в каких преступных делах не замечен. Может, самоубийство? Только зачем? У него срок маленький. Собирались расконвоировать. Меньше трех лет оставалось», - закончил грустно Старец. «Жизнь подкатывает непредсказуемые явления. Всякое может быть», - ответил следователь и добавил: «Степан Егорович (так звали Старца), надо так распределить надзирателей и комендантов, чтобы каждый осматривал другие объекты, а не те, что проверял в прошлый раз. Так будет лучше». На том и разошлись. Ранним утром осмотр повторился. Не прошло и часа, когда запыхавшийся надзиратель прибежал в контору и, заскочив в кабинет к начальнику, крикнул: «Нашел! Убитый лежит на чердаке!». Начальник колонии со следователем и двумя надзирателями взошли по шаткой лестнице на чердак. Освещая фонариками себе доро-

гу, согнувшись чтобы не зацепить головой за торчащие из крышных досок гвозди, подошли в дальний край к торцевой стене, за поперечной балкой увидели лежащего Семена.

«Вот вам и вся разгадка! Только теперь нужно определить, убили его или он сам себя порешил. Пошлите за врачом и приведите несколько человек, чтобы снять его труп», - распорядился следователь. В чердачном полумраке Семен был плохо различим. Начальник колонии распорядился отбить с торцевой стенки чердака несколько досок. В образовавшийся проем пролился свет и все увидели, что Семен лежал на спине. Рукава одежды были в крови. Поверх балки, к которой он прижимался рукой, расплылись кровяные пятна. Одна рука была откинута, другую Семен прижимал к груди. Один из надзирателей хотел приложить откинутую руку к телу. Но не смог. Тело Семена закостенело. Стоявший чуть поодаль следователь негромко приказал: «Не трогайте ничего». Видимо, он соображал, как поступить дальше. Подошел врач. Он с трудом забрался по лестнице и, остановившись, тяжело дышал. Через несколько минут нагнулся, посмотрел внимательно в глаза, потом руки и утвердительно сказал, что смерть наступила несколько суток назад. Установил диагноз: «Семен умер от потери крови». Впрочем, и без этого можно было догадаться: обе руки Семена выше запястья были перерезаны в нескольких местах. Рядом валялся осколок стекла. На пальцах и ладони виднелись глубокие порезы. Видимо, при разрезании вен он поранил их. «Скорее всего, самоубийство. Только уж очень все примитивно и мучительно», - сказал врач. Все молчали. Можно ли установить, что испытывает человек, свершая над собой насилие? Никто не ответит. Ведь каждый, наверное, переносит это по-своему. Одно можно предполагать, физической боли самоубийца не ощущает, а если и чувствует их во время свершения акта, то только как облегчение от душевных страданий.

Бытует мистическое поверье, что в момент расставания души с телом в человеческой памяти пролетает вся его жизнь с первого дня до последнего вздоха. Не буду утверждать и опровергать, потому что не знаю. Но думаю, что пока у Семена источалась кровь из вен, перед его глазами неотступно стояла Роза и в последнем проблеске сознания запечатлелся ее единственный поцелуй.

Была полная тишина. Все стояли, ожидая дальнейших распоряжений. После некоторого раздумья следователь сказал подошедшему начальнику УРЧ: «После обследования места происшествия составьте протокол и вместе с актом медицинского освидетельствования представьте мне. А покойного снимайте». Посмотрел еще раз в лицо мертвеца и направился к выходу.

Когда были выполнены необходимые процедуры по осмотру трупа и места, тело Семена сняли с чердака, положили на носилки и унесли в «мертвецкую». Заключенные прозвали ее «могилевской». Для формальностей (требовалось такое или это просто была выдумка уполномоченного), несколько человек из бригады пригласили на опознание. Вечером, возвратившись с работы, первым позвали бригадира. Тот пробыл недолго. Посмо-

трев, тут же сказал: «Он». Дальше не смог выговорить ни слова. Надышавшись хлорки («могилевская» была пропитана ею насквозь), он так громко начал чихать и заходиться в кашле, что находящийся рядом комендант тут же приказал ему выйти («Не хватало, чтоб и этот сдох у всех на виду», - подумал комендант). Бригадир, выскочив за дверку мертвецкой, с такой громкостью начал фыркать, похожим на рычанье, что стоящий у дальнего конца барака Шарабура радостно проговорил: «Значит, опять начали лупцевать нашего «бугра». Федор Сметанин, страдающий каким-то легочным заболеванием, а может аллергией (кто в лагере разбирался с такими «незначительными» заболеваниями), не отвечая ни на один вопрос бригадников, лег на нары, чтобы отдышаться. Полежав минут пятнадцать, он чуть приподнявшись, сказал сидящим с ним рядом дневальному с Серегой: «Из лагерей и тюрем многие убегают, только от себя убежать, никому не дано. Так и с Семеном. Чувствовала моя душа, что в нем было что-то неладное».

Следующим позвали Сергея. Когда он зашел в мертвецкую, там был только врач и начальник УРЧ. Остальные вышли. Плотный запах хлорки немногие могут долго вытерпеть. Семен не изменился, хотя заканчивались третьи сутки, как наступила смерть. Он лежал на большом, голом столе, руки вытянуты вдоль туловища, ладонями вверх. Ниже локтей виднелись глубокие порезы (в лагере уже все знали, что Семен перерезал вены стеклом). На нем были старая рубашка с оторванными рукавами и разрезанная на груди (все это Семен проделал, чтобы не сняли когда хоронить будут. Похоронщики не брезговали и раздевали умерших, если на них была мало-мальски подходящая одежда, лишь бы годилась для носки).

Глядя на Семена, Сергей так задумался, что забыл, зачем его позвали. И только когда урчист второй раз громко сказал: «Ну что ты уставился, сколько можно спрашивать, Семен это или нет? Он же в твоем звене был?». Сергей вздрогнул. «Он! Семен это!» -все еще не веря, сказал Сергей и вышел из мертвецкой. В глазах его неотступно виделся лежащий Семен в застиранной и порванной рубашке. «Наверное, он просил у меня продать ему мою новую рубашку, чтобы в ней уйти на тот свет, предлагал за нее и хлеб, и деньги», - вспомнил Сергей. И оттого тоскливее и грустнее становилось у него на душе.

У Сереги от воспоминаний голова шла кругом. Он не находил оправдания своему необдуманному отказу. Он уже уверовал, что Семен просил рубашку на свои похороны. И, рассуждая, укорял себя: «Надо было продать». И тут же. «Ну, а если бы знал, что Семен готовится к смерти, то разве отдал бы на такое дело? Конечно, нет», - отвечал сам себе. «А вдруг! Если бы отдал рубашку, и Семен, глядя на нее передумал, отговорил сам себя от самоубийства», - приходили и такие мысли, и от того становилось нестерпимо тяжело.

Серега так извел себя переживаниями, что в пору хоть самому головой в омут.

«Господи! Ну, как же мне быть?» - вырвалось у него мучительно. И вспомнилось, как давным-давно в далекой деревушке с горькой обидой на отца и мать, отругавших его за разбитое стекло в сарае, где ютились овцы (а мать ремешком стеганула по мягкому месту), пришел он к бабушке и,

всхлипывая, приговаривал: «Я, бабушка, хочу умереть». – «Господь с тобой! Бог-то ведь за мысли твои всех нас накажет», - причитала старушка, снимая с внука шапку, валенки, развязывая кушак. «Да что случилось-то, Сереженька? - допытывалась. - Что ты натворил?» Сережка молчал и вместо объяснения своего поступка, говорил: «Мамка ремнем отхлестала. Посмотри, может, кожа слезла? Жгет что-то очень!» – расстегнув пуговицу и чуть приспустив штаны, притрагивался пальцем к месту, по которому «пришелся» ремень.

Бабка смотрела, сочувственно что-то приговаривала и потом весело молвила: «Ничего! Сейчас маслицем помажем и сразу все пройдет! – После проделанной процедуры наставительно говорила: – Ты, наверное, что-то напроказничал? Забирайся на печку, там полушубок, да полежи, родимый».

«Ничего я не проказил, камнем кинул по вороне, а попал в стекло» - говорил Сережка, заскакивая на теплую печь. Растянувшись на овчинном полушубке, тут же засыпал, набегавшись за целый день по улице.

«К чему пришли эти воспоминания? Чтобы больнее растравить душу? Тогда-то все было просто. А как быть сейчас? Как изменить свои собственные ошибки? Время ушло. И Семена нет. Я теперь бы все сделал подругому», - горевал и укорял себя Сергей. А теперь ничего не вернешь и не изменишь. И вдруг как будто кто подтолкнул: «Добро людям надо спешить сделать вчера, а не откладывать на завтра, потому что завтрашний день может не настать для кого-то никогда».

Утром бригадир сказал Сергею: «Возьмешь с собой еще два человека и отвезите гроб на кладбище, похороните Семена».

Когда Сергей с Грызуном и еще одним бригадником Лешкой подошли к «мертвецкой», из дверей вышла Арина. Обычно покойников держали по несколько дней, но в этот раз решили захоронить как можно быстрее. Так распорядился начальник колонии. Уж очень много было любопытных и разных пересудов по колонии. Вид у нее был строгий и печальный. Подняв глаза на Сергея, попросила: «Похороните по-божески. Могилу выкопайте глубокой. Не халтурьте, человек это. На нем все новое, только рубашка лагерная. Ну, ничего. За его мучения и переживания Господь сам укажет ему дорогу в рай». Когда Арина проговорила про рубашку, у Сергея железным обручем стянуло сердце. Он побледнел и вымолвил: «Арина, У меня есть новая, мать недавно прислала, сейчас принесу и мы его переоденем».

Арина посмотрела в глаза Сергею. На ее лице застыла боль сострадания. Ей хотелось сказать: «Мальчишка ты еще, только бы Господь сохранил твою душу, не испоганил бы тебя лагерь», - но передумала и негромко промолвила: «Ну иди! Я помогу вам его переодеть». Когда рубашку на Семена одели и вышитые разноцветными шелковыми нитками крестики, квадратики засверкали, переливаясь, Арина нагнулась и приложилась лицом к его никогда и никого не целовавшим губам. Поднялась и обращаясь к «могильщику» (эту роль выполнял санитар), предупредила: «Не вздумайте раздеть (знала, что такие случаи бывали), чтобы самим потом не остаться голым». Арина за смелость и справедливую строгость, пользовалась авто-

ритетом в колонии и принадлежала к кругу уважаемых людей. За что многие любили и боялись ее.

Сергей, не поворачиваясь к Арине (стеснялся из-за слез на глазах), сказал: «Хоронить будем мы. Я и еще двое из нашей бригады. Сейчас лошадь должна подъехать, а конвоир сидит на вахте. Мы увезем его. Могилу выкопаем глубокую. Никто не достанет». Кладбище находилось недалеко от колонии. Немногим больше одного километра. Оно располагалось на небольшом пригорке, окруженном редкими березками и кустарником. Как только приехали к месту захоронения, гроб с телом Семена сняли и поставили на поперечные обрубки бревен. Лошадь отправили обратно. Серега пошел выбирать место. Могил было немного. Их заметно было по холмикам, да торчащим колышкам с прибитыми в верхней части бирками. Некоторые успели покоситься. Несмотря на то, что заключенные в сельхозколонии имели множество болезней и привозили их в крайне истощенном состоянии, многие «выбирались». А те, что не подлежали исцелению, их возвращали обратно в центральный лагерь, и там они находили свою кончину. Большинство надписей на бирках, написанные чернильным карандашом, расплылись и определить, кто похоронен в могилах не было возможности. Подбирая место для захоронения Семена, Серега увидел на двух бирках фамилии и прочие атрибуты двух стариков из их бригады, умерших больше года назад. Постояв немного возле их могил, он усмотрел чуть подальше на бугорке подходящее место и крикнул своим помощникам Грызуну и Алешке, недавно зачисленному в его звено, после переформировки бригад, чтобы несли лопаты. Могилу выкопали быстро. Земля не успела промерзнуть. Опускать гроб в могилу втроем было тяжело и неудобно. Охранник, видя, что им такое не под силу, подошел и стал помогать. Закапывали лениво и медленно, несмотря, что охранник настойчиво поторапливал. Не хотелось идти в лагерь. Осенний день выдался погожим. Пожелтевшая листва, тихо кружась, падала на землю, засыпала кое-где не растаявший снег, некоторые листочки долетали до могилы и медленно опускались в заваливаемую рыхлой землей яму. Солнце, склонившееся на вторую половину неба тепло пригрело, а ветерок приятно освежал лицо и тело. Грызун мечтательно заговорил: «Хорошо бы сейчас, после трудов сходить в баньку, попариться и потом полежать на полке. Тихо люди живут в нашей деревне. По ночам она мне все время снится. Война закончилась. Солдаты стали приходить домой. А нас что-то еще держат?».

«Амнистия должна быть», - сказал Алешка, его напарник. «Она уже была, только немногих отпустили», - ответил Серега. Кто из них ведал, была ли амнистия и кого отпустили? Совсем недавно американцы бахнули по японским городам атомными бомбами и все сразу замирились. Что после этого будет? Могли ли они знать про дела «далекие» в глуши, где не было ни радио, ни газет.

«Заканчиваем базарить, закругляемся – и в лагерь», - сказал Серега, и ребята, забросав оставшуюся землю и обустроив могильный бугорок, поставили вешку с биркой. «Все! Перекурим – и в дорогу!» - подытожил Серега.

Уже под вечер, возвратившись с кладбища, Серега тайком от своих бригадников плакал. Больше всего мучило его сознание, что не уступил Семену рубашку. Успокаивал себя: «Отдал же потом». Но тут же терзался: «Но отдал мертвому. А что чувствовала душа Семена, когда я ему отказал живому?». Сердце Сереги от этого разрывалось и хотелось закричать на весь барак, но все уже спали, и у каждого своего горя хватало с избытком.

«Эх, Семен! Семен! Все считали тебя в побеге, а ты вот где нашел себе успокоение. Доконала тебя тоска». Серега осуждал всякие нарушения законов, тем более побег (жить по-волчьи, скрываться постоянно еще хуже). Сочувствуя всем сердцем Семену (уж лучше б он убежал), тут же горько посетовал: «От сумы и тюрьмы избавиться можно, от себя убежать, никому не дано», – перефразировал сказанные бригадиром слова. Он лежал, а мысли вились лениво, словно дым забытого костра в безветренную погоду.

На другой день Серега проснулся рано. Рассвет только начинался. Он вышел в пристройку барака, поглядел на то место, вспомнил, как когда-то нашел плачущего Семена, и нестерпимая боль навалилась на него: «Ну что же ты Семен натворил? Ведь большой уж, можно было бы и потерпеть (когда-то так в далеком детстве мать уговаривала Серегу, когда он из-за чего-то начинал плакать).

И лютая ненависть швыряла проклятья где-то далеко живущей Розе и властям, ни за что осудившим Семена.

К тому времени Серега перестал думать о себе, за что и про что самого осудили, смирился и даже прекратил терзаться из-за несправедливости судьбы, опалившей его молодость.

За прошедшие день и ночь, он заметно повзрослел. Когда Серега вернулся в барак, его подозвал бригадир и сказал: «Приболел я! Сегодня поручаю тебе руководство бригадой». Серега не стал упрямиться. Только спросил: «Нового в задании ничего не будет?» – «Как работали вчера, так будешь и сегодня», - сказал бригадир, закрывая нос и рот тряпкой. Он сильно простудился.

В середине дня на порубке (лесособираловке) к Сергею подошла Арина. Женщин давно уже не было. Их перевели на другие объекты. Но Арина, будучи расконвоированной, свободно зашла, без прежней, задиристой улыбки спросила: «Не прогонишь?». В прежние времена Серега под разными предлогами старался спровадить Арину из своего звена. Боялся. Нахождение женщин в обществе мужчин запрещалось лагерными правилами. Могли донести, тогда обязательно пригласят на «беседу». Хотя на такие «нарушения» начальство смотрело сквозь пальцы. И тем не менее... Серега, как законопослушный заключенный старался следовать «тюремным канонам». Сегодня же с какой-то сердечной теплотой сказал: «Арина! Ну, что ты! Проходи. И будь хоть до конца смены!». Присела на пенек. Посмотрела на Сергея и спросила: «Я не вижу вашего бригадира. Где он?» – «Заболел. Я сегодня за него», - коротко ответил Серега. «Растешь, значит, в начальство выбиваешься», - сказала Арина и, помолчав немного, попросила: «Сережа, если тебе попадется дуб или сосна, скажи ребятам, пусть отпилят бревно длиной два метра. А я с пильщиками договорюсь, чтобы распилили на бру-

ски. Хочу крест на могилу Семена поставить».

«Арина! Мне нигде не попадалось ничего такого, о чем ты просишь. Но если вдруг что-нибудь попадется, то обязательно сделаю, - ему хотелось угодить Арине, чтобы немного облегчить ей душу. Осмелившись, спросил: – А почему так заботишься об умершем Семене, ведь у вас с ним ничего не было, и как он мне рассказывал про... - Серега немного замялся, но тут же взбодрился -какую то «заморскую» Розу, околдовавшую его сердце, вряд ли что и получилось». Сказал и умолк. Арина долго молчала. Потом тихо, скорее для самой себя, вымолвила: «Его нельзя было не любить. Так подло по отношению к нему могла поступить только бесчувственная женщина. Он душой был чист, будто ангел. Я всю жизнь мечтала и просила бога послать мне такого человека, как Семен. И вот встретила. А приголубить и удержать не смогла. Бог, видимо, не одобрил мои поступки. Если бы Семен позвал меня за собой, пошла бы за ним на самые страшные муки. В жизни, Серега, необъяснимые бывают моменты. Тебе пока не дано понять». Помолчали оба. Арина поднялась с пенька и спросила: «Могилу-то выкопали глубокую?».

Серега встрепенулся и успокоительно ответил: «Что ты! Я насилу вылез из нее. За руки вытаскивали.

«Спасибо! Я тебе верю». И еще раз попросила: «Не забудь, Сережа, про мою просьбу, если попадется, какое -то из таких деревьев, то отпили на крест».

Посмотрела ему в глаза и ушла. Серега никогда, не испытывавший в своей короткой жизни ничего подобного, глядя в спину уходящей Арины, думал: «И эта тоже так же мучается по Семену, как Семен страдал по Розе. Необъяснимо».

И он, уже превратившийся в довольно статного парня, старался избегать взглядов девчат, что заглядывались на него, не вступал с ними в разговоры, давая понять, чтобы не тратили попусту время. Ему удавалось тушить все настойчивее пробуждающийся зов жизни. Но с этим можно было справиться в дневное время. А вот по ночам. В часы крепкого сна к нему являлись небесные создания, манили, звали, ласкали, навевая сладкие грезы. Он ничего не мог поделать с собой и, проснувшись, долго не разумел что же с ним происходит, и что нужно сделать, чтобы избавиться от наваждения. Но в этом он был бессилен. Многое выпадет в жизни Сереге. Но это будет потом. А пока?

После смерти Семена Серега целую неделю был не в «своем уме». Днем на работе среди бригадников как-то понемногу забывался и не чувствовал той нестерпимой боли, что приходила по ночам, мучила кошмарами, не давала спать, доводила до изнеможения. Он ворочался, иногда заговаривал, вздыхал.

Однажды к нему подошел бригадник. Звали его Еремей. Обратился к нему сочувственно: «Ты, Сережа, по ночам спать стал плохо. Я часто слышу, как ты вздыхаешь. Сам то я всегда плохо сплю. Ну, у меня ведь забот полно о доме, жене, детях. А тебе-то с чего не спится».

Серега признался и чистосердечно рассказал. «А ты, Сережа, когда на-

падет такая «лихомань», с Богом говори, помолись. Душе-то легче станет и уснешь». От неожиданного предложения Серега даже оцепенел. Он никогда об этом не задумывался. Вспомнил: как то раз бабушка (еще в первом классе учился) увела его в церковь к священнику на исповедь (Серега повадился в чужом саду малину собирать), грех замаливать. Так его потом мальчишки два года дразнили, обзывая «святым».

Немного помолчав, сказал Еремею: «Зачем шутишь? Ведь я тебе рассказал откровенно». – «Я тебе дело говорю, попробуй», - сказал Еремей и отошел. День был серым, холодным. Бригада с работы пришла раньше времени, все вымокли под мелким, осенним дождем. После ужина Серега лег на нары. Очень хотелось уснуть. Прошлые ночи спал плохо, думал, что отоспится сейчас. Но сон не шел. Так наваливается какое-то забытье и снова пропадет. Серега вспомнил про наставления Еремы, но тут же подумал: «Ерунда это, от доброты посоветовал Ерема». Но против своей воли, как бы между прочим, про себя вымолвил: «Господи! Ну зачем ты забрал Семена, ведь он еще молодой!». И тут же себе возразил: «А как он (Бог) может усмотреть за каждым?». Задумался. Вспомнил, когда уносили двух умерших стариков, пожилые бригадники говорили: «И нам скоро очередь подойдет. Только когда? Бог один знает». «Ну, как же так, - рассуждал Сергей, - раз он знает и очередь установлена, когда кто-то умрет, то, значит, знал и про Семена». В таких рассуждениях незаметно уснул. Проснулся ближе к утру. И снова навалились мысли: «Зачем, Господи, вселил ты в него безумную страсть к Розе (будь она проклята), а сил усмирять ее не дал. За что ты его наказал (Серега великое, светлое чувство любви считал в этом случае за наказание). Он, может, чем-то был грешен?» Но тут же отверг эту мысль. Семен даже мальчишкой (по его рассказам) никому ничего плохого не сделал. И снова пришел сон, не давая завершить рассуждения.

Рано утром, по установленному правилу, всех разбудил «подъем» (удар болванкой по рельсу). После завтрака на работу не повели. Лил очень сильный дождь со снегом. И такая погода продолжалась до середины дня. Во второй половине подул ветерок, разогнал тучи, выглянуло солнышко. Но начальник колонии (Старец), понимая, что толку от заключенных на работе уже не будет (кругом были лужи воды, земля набухла), распорядился дать выходной.

Бригадники разделись и занялись своими делами. Кое-кто пошел навестить приятелей в другие бригады, некоторые завалились спать. Серега пошел к бригадиру попросить Семенову тумбочку. У него совсем развалилась. Бригадир, почему-то без возражений согласился. Серега, не раздумывая стал вытаскивать тумбочку и когда вытащил ее в проход барака увидел на гвозде, выступающем на задней стенке, зацепившийся конверт. Он вдруг подумал, что это то самое письмо, что получил Семен за день до своего самоубийства. И, незаметно засовывая его в карман, думал: «Это письмо от Розы. Сердце колотилось сильно. Ему очень хотелось прочитать письмо, что же там написано, но он не хотел привлекать ничьего внимания. Переставив тумбочку, вышел на улицу и, чтобы никто не увидел, зашел в туалет. Но его ожидало разочарование. Письмо было написано другим че-

ловеком. Писала тоже женщина, но по имени Ирина. Сергей прочитал его несколько раз. Письмо было искренним, теплым и беспощадным. «Здравствуй, дядя Семен! Со слезами на глазах и болью в душе пишу это письмо. Сразу ответить не смогла. Потому как получила от тебя эту весть, то целую неделю плакала, а потом ходила как угорелая. Ты ведь у меня единственный, родной человек. Хорошо, что Володя постоянно со мной, а то бы пропала. Он сейчас работает в милиции. В армию не взяли, сказали, что война скоро закончится, а здесь он нужнее. Сейчас учится на двухгодичных курсах при городской милиции, а я уже заканчиваю курсы медсестер и буду поступать в институт. Для партизан, а меня тоже к ним приравняли, есть некоторые льготы при поступлении в вузы. Но я поступаю без них. (Как-то совестно между девчонками пользоваться этим). Мы с Володей много говорим о тебе. Жалеем. Володя говорит, что все твои беды из-за Розы. Не писала бы она к тебе письмо после стольких лет, ты бы, ничего о ней не знал и не приехал, и никаких потерь документов не случилось. А я тоже так думаю. Еще мама как-то говорили с папой, что из-за нее ты свою жизнь никак не можешь устроить. Это было много раньше. Тогда, я ее не любила, а теперь ненавижу. Она после твоего отъезда всего несколько месяцев пожила одна и неожиданно уехала со своим новым возлюбленным. Ты ее не жалей. Красота - это еще не счастье. С лица воды не пить. От нее одни расстройства, да переживания.

P.S. А еще... Я сказала Володе: «Как только закончу курсы, тут же поженимся.» Он обрадовался и долго молчал, а потом сказал: «Наконец-то кончила мучить.» Он очень хороший. Вчера привез досок. Будем ремонтировать забор и крышу. Дядя Семен! Мы ждем тебя, очень ждем. Приезжай. Твоя племянница Ира».

Письмо было написано в апреле 1945 года, совсем незадолго до окончания войны. Оно долго блуждало по тюремным дорогам и пришло к Семену в самый трудный для него момент жизни.

Иринка! Иринка! Ты от чистого сердца желала своему дяде добра, а письмо твое оказалось непосильным грузом для «хрупкой» Семеновой души.

Оставим ненадолго наших героев и поразмышляем над словами Иринки: «Красота - это еще не счастье. От нее одни расстройства и переживания».

Что это? Как понимать? Девятнадцатилетняя девчушка, сама того не сознавая, вступает в полемику с великим Федором Михайловичем Достоевским, провозгласившим, что «мир спасет красота». За тот промежуток времени, когда было написано это изречение, как только его не перефразировали: «Красотою мир спасется», «Красота спасет мир» и т.п., а сдвигов в улучшении бытия человеческого общества не наблюдалось. Наоборот, все шло в обратную сторону.

Оставим в покое на время Розу Наумовну. Не так уж велик ее грех, не оказалось в ней сил стать на путь декабристок, отдавших свою жизнь на заклание. Посмотрим на сегодняшний день, читатель. Обратим взор на молодых девиц, исполняющих роль ночных бабочек, путан, напоказ

выставляющих свои обнаженные прелести, нескончаемой вереницей выстроившихся с одного конца Москвы до другого для завлечения хотя бы на пару часов загулявших любителей острых развлечений. «Новый русский» или покрупнее предприниматель не пойдут на эти «смотрины». У них свои «гаремы» с саунами. И возможно, при удобном случае, где-то в «загуле поцивилизованному» осудят уличных проституток, с добродушной улыбкой, не задумываясь, что сами много хуже и порождают это разврат.

Разве не права не искушенная еще в жизни, но много повидавшая трудностей, совсем юная девчушка написавшая в письме, как бы между прочим, о красоте и ее пагубном влиянии.

А как же тогда быть с Ф.М.Достоевским и его утверждением, что «мир спасет красота». Ничего не могу ответить. Не хватит разумения. К тому же в то время он писал правду. Тогда об исцелении общества еще можно было мечтать, ибо среди изысканных классов нравственная чистота была на высоком уровне: «Считалось аморальным дотронуться пальцем до обнаженного тела женщины во время танцев», а жизненные пороки (о чем знал Ф.М.Достоевский и которые «красотою» разумел устранить) имели место, но даже самые развращенные господа их не афишировали. Подобные поступки сейчас принимаются за доблесть. Великий классик полагал, что женские прелести «Настасьи Филипповны», прошедшей через круги порока и не растратившей душевные качества (пачку денег бросила, не раздумывая, в печь, как бы этим выражая протест против алчности и стяжательства), и наивно детская простота великовозрастного князя Мышкина, есть то «золотое зерно», которое впитав, лучшие качества Настасьи Филипповны и князя Мышкина (в романе «Идиот»), станет прародительницей, будущему расцвету справедливости, добропорядочности и человеколюбия, в растленном обществе, спасет мир от пошлости и разврата. К сожалению, «красота» со своими соблазнительными качествами пошла не той дорогой. Не только себя испоганила, а увлекла за собой неисчислимые миллионы людей в пропасть бед, скорби и печали.

Есть ли какой-нибудь выход? Пока не указал никто. Повторит ли Христос новый подвиг во имя спасения заблудших душ? Никто не обещает, потому что не знает.

Оставим рассуждения о «красоте» Достоевского Ф.М., «спасающей мир». Пусть разбираются более умные. Вернемся к своим заботам.

Когда Иринка писала письмо Семену, у нее не было намерения вступать в спор с Ф.М. Достоевским. Ее толкало жгучее желание спасти своего дядю от нелюбимой ей «присухи» и скорейшего ему возвращения». Ничего другого она не хотела. Но, к сожалению, ее добрые стремления оказались для Семена роковыми. Серега почти наизусть выучил письмо Ирины. Его жалость к Семену, Арине усилилась жалостью к неведомой, далекой Иринке.

Как она бедная девчушка переживет горе, узнав о смерти последнего, родного человека. В первые мгновения Серега решил сразу же написать ей ответ, но, поразмыслив, отложил: «Пусть считает, что ее дядя жив. А там как поженятся с Володей, легче перенесет такое известие. «Господи! Благосло-

ви их судьбу. И пусть несут их грезы любви в светлые и сказочные дали без потрясений, горя и бед», - Серега любил иногда выражаться высокопарно, вычитанными из книжек мыслями (особенно про себя).

Ночью Серега снова не спал. Все перевернулось в его голове. Особенно жалко ему было Арину. «За что ей такая напасть, Господи! - разговаривал с собой Серега. - Она-то хотела Семену светлого добра, а он не перенес переживаний и покончил с собой. Да самое обидное - из-за кого? Изменницы Розы. Оставил свое горе Арине. И мучается теперь за свои чувства добрый и сердечный человек».

«Почему ты, Господи, не сделал так, чтоб пропало Иринкино письмо где-нибудь по дороге. Ведь полгода как написала, терялось - терялось в пути и пришло ему на погибель. Почему ты, Господи, не испепелил письмо. Может бы, Семен перетерпел, повернулся душой к Арине и наладилась бы у них жизнь. Или трудно было тебе наставить судей на путь справедливости и понудить их освободить Семена. Ведь ты и такое можешь. Ты все можешь. Но почему-то не делаешь». Но какой то внутренний голос подсказывал: «И чтобы из этого вышло? Семена освободили, а Роза (горе его неизбывное) замужем второй раз. Сколь бы тогда ему еще мучиться довелось?» И как-то неожиданно, не весть из какой прочитанной им книги, вспомнилось уничтожающее утверждение: «О! Женщины. Ничтожество вам имя!». Но воскресшее в памяти строгое и печальное лицо Арины, припавшее к лицу Семена, и письмо Иринки опровергали: «Но не все!». Запутавшись окончательно в раздумьях, Серега наконец заснул.

Арина пришла к Сереге на участок, через несколько дней. Хотя женщин на «лесособираловке» уже не было, она, обходя своих расконвоированных женщин, работавших на других объектах, иногда забегала и на этот участок.

Колония за несколько лет значительно расстроилась. Кроме общей «зоны», где проживали заключенные, имелись большие посевные площади под картофель, рожь, пшеницу, вспомогательное производство, в котором были кузница, сушилка, станок для изготовления финской стружки, которую кроме прямого назначения, использовали вместо бумаги для писания нарядов на выполненные работы бригадами, станок для распиловки березовых бревен на чурки для газогенераторных машин. Стояли специальные устройства, на которых распиливались бревна на доски и брусья. Был сооружен большой крытый навес, под которым стоял движок, вырабатывающий электроэнергию, мукомольное оборудование (мельница) для размола ржи и пшеницы. В самом конце имелось небольшое помещение, где несколько человек, совсем немощных доходяг, плели корзинки из ивовых прутьев. На картофельных полях их требовалось много.

На другой стороне, примерно в километре от зоны, были построены парники для выращивания помидор, огурцов и других овощей, выкопаны овощехранилища. Рядом стояла молочная ферма и пекарня. Все было построено руками заключенных за короткий срок. Так что в тяжелые годы войны заключенные этой колонии в основном обеспечивались собственными продуктами и какую-то часть отправляли в другие лагеря.

Когда Арина подошла к Сергею, тот немного застеснялся: он не смог выполнить ее просьбу, не росли на этих делянах ни сосны, ни дубы. Серега как можно убедительнее стал рассказывать, что усердно искал дерево на крест Семену, но ничего не попадалось. Арина успокоила его: «Я трактористов попросила. Они видели сосны где-то возле старых «столыпинских» хуторов. Обещали привезти. Но ты все равно не успокаивайся. Вдруг попадется тебе». После этого Арина подошла к бригадиру Сметанину. Поздоровалась. Потом, чуть смутившись, попросила: «Ты, Федор Кузьмич, прости меня уж за мой грех. Мне показалось, что ты тогда специально в меня плюнул, а я с дуру и обозвала тебя. Я не знала про твою болезнь, а когда мне сказали, то долго себя корила. Прости еще раз. Специально забежала к тебе на работу».

«Да что ты, Аришка! Я на тебя никакого зла и не помнил, -теперь уже пришла очередь смущаться Федору, - а что случается со мной такая «оказия» так куда от нее деться или избавиться. Так что и ты меня прости. А за все остальное тебе спасибо. Мы мужики ведь очень чувствительны, понимаем доброту, а тебя за то уважаем», -закончил как-то уж очень ласково Федор Кузьмич и добавил: – «За все, простоту твою и порядочность». После этого Арина заспешила. Серега хотел снова подойти к Арине, воткнул топор в пенек, но она была уже далеко.

Сосновое бревно для изготовления креста на могилу Семена притащили на форкопе трактора из соседнего района, куда заключенным колонии дорога была закрыта. Но расконвоированные трактористы, по заданию руководства колонии бывали во многих местах, изъездили все близлежащие дороги.

Когда-то в начале строительства пекарни их посылали разбирать кирпичную печь на давно разрушенном хуторе, от которого уцелел только остов. Там они видели растущие несколько сосен, и как только Арина обратилась к ним за помощью, не раздумывая, договорившись с механиком (тоже из заключенных), поехали к тому «угасшему» жилью.

Выбрали небольшую сосенку, спилили, отрубили вершину и сучья и волоком к вечеру привезли на хозяйственный двор (так именовалось вспомогательное производство) сельскохозяйственной колонии.

Пильщики распилили его на бруски, неделю они посушились в сушилке. Столяр построгал и смастерил крест с двумя перекладинами, вырезав старинной вязью церковный орнамент с единственным словом: «Семен» на большой поперечине. Так просила Арина: «Его биография никому не нужна, а помнить буду только одна я». Крест был сделан добротно (столяр тоже из заключенных, делал его на совесть). Когда покрасили, то многие позавидовали. Арина принесла столяру булку хлеба. Но тот отказался: «Негоже за святые дела брать тюремный хлеб. Был бы молодым, заставил бы тебя, Арина поцеловать, а теперь и этого не нужно. Отломи маленький кусочек, помяну его душу. И с Богом!».

«Бери, бери, Кирилл, - настаивала Арина, - это мне девчата с пекарни дали. За добро добром надо платить». Кирилл разломил булку на четыре части, одну взял себе, а три остальные раздал товарищам, наставляя: «Помяните душу Семена, пусть земля ему будет пухом». С той поры Серега

больше не разговаривал с Ариной. Женщин из ее бригады на лесные дела перестали давно посылать, и дел там, у Арины не было. Видел ее Серега в лагерной зоне несколько раз. Ходила задумчивая и печальная. Узнал Серега, что трактористы установили крест на могиле Семена. Для крепости нижний конец залили бетоном. Постояли немного и ушли. Арина, оставшись одна, наковыряла земли с могильного холмика, завязала в платок. Потом достала небольшой кусок хлеба, раскрошила и посыпая на могилу крошки, приговаривала: «Пусть птички прилетают, чтобы не было тебе грустно».

Время шло. Зима с морозами и метелями катилась все дальше и дальше. Как-то раз в холодный день, Серега разжег для обогрева костер и, подтаскивая охапку сучьев, споткнулся. К нему подошел «Грызун». Помог подняться и собрать разлетевшиеся обломки. «Ну, чего ты? Что я без тебя не справился бы?» - высказал ему Серега. «Не ворчи! Я тебе новость хочу сказать. Бабы говорят, что Арина ни с кем не разговаривает и каждую ночь ходит на могилу к Семену, плачет и молится, понял», - таинственно закончил Грызун. Серега посмотрел на испуганное лицо Грызуна и сказал: «Ну, это выдумка. Не верь в это. Ночью из зоны никого не выпускают, даже расконвоированных». – «А кто же тогда по-твоему, ранним утром коров доить выходит? - вопросительно проговорил Грызун и тут же добавил: – Наши же бабы ходят из зоны. А до кладбища далеко ли добежать?» – «Все равно не верь», - сказал Серега. Ему очень не хотелось, чтобы Арина помешалась умом.

Приходилось вычитывать ему из любовных романов случаи трагедий, происшедших от великой любви, когда оставшиеся в одиночестве супруг или супруга, или безумно любившие друг друга молодые люди, теряли рассудок и совершали безумные поступки.

А сам между тем подумал: «Может эта «чародейка» Роза вселила в душу Семена неизлечимую болезнь, и та, не находя успокоения перекинулась на Арину, а самого Семена довела до самоубийства».

Даже изморозь пошла по Серегиной спине. Но Серега был слишком молод и, отмахнувшись от нахлынувших раздумий, тут же перестроился на деловой лад. И, глядя на стоявшего перед ним Грызуна с раскрытым ртом и палкой в руке, приказал: «Брось палку в костер, хоть какая-то польза, чем ты ее сгрызешь».

Прошло несколько месяцев, с ними незримо ушла зима. В стране был давно мир и жизнь стала налаживаться. Не сбылись ожидания заключенных о всеобщей амнистии. Многие освободились по окончании срока (в колонии было большинство малосрочников), несколько человек умерли. Один из бригады Сметанина. Это был тот самый Еремей, что давал Сереге советы, как избавиться от тоски и крепко спать по ночам. Его с двумя такими же «доходягами» определили в бригаду «лесособиралыциков» (Сметанина) после того, как часть заключенных сразу же после окончания уборочных работ были отправлены в центральный омский лагерь. Еремей не смог себя избавить от переживаний за свою далекую семью, еще хуже стал спать, простудился и мирно почил в лагерном стационаре (лазарете). Он

немного времени проработал в бригаде Сметанина. Еремей был в другом звене, но Серега упросил бригадира послать его копать могилу. Взял в помощники Грызуна (как уже бывшего могилокопальщика), да еще двух человек помоложе. Бригадир не давал четвертого человека, но Серега убедил: «Мерзлую землю долбить тяжело». На кладбище пошли сразу после развода. Шли бодро. Сопровождавший их старичок-конвоир отставал от них, покрикивал, чтоб не спешили. Когда показались вешки с прибитыми бирками и крест, выделявшийся промеж них, конвоир сказал: «Идите, выбирайте место, а я не спеша подойду». (Пишу и задумываюсь. Допустимо ли сейчас такое? В теперешнее время четверо молодых парней, сразу бы разоружили старика и пошли с его винтовкой по деревням грабить.) Отчего так стало и почему подобного не случалось в ту пору?»

Все знали, в то время скрываться было невозможно. Спрятаться в стране было негде: все были на виду. Находили повсюду. А убежать за «кордон» и не помышляли. Границы были закрыты наглухо. Сейчас побеги из тюрем, из-под конвоя свершаются с легкостью, причем иногда с помощью работников правоохранительных органов.

Кладбище было занесено снегом. Серега подошел к кресту и увидел глубокие следы, запорошенные снегом. «Неужели ходит?» - подумал Серега, и глухая тоска сжала душу. «Только бы не сошла с ума», - он очень жалел Арину.

Чтобы скорее отвлечься, сказал ребятам: «Вон видите новый холмик, недавно хоронили. Давайте рядом разгребайте снег и начнем работать, надо до темноты выкопать могилу».

Пришла весна. Однажды утром перед разводом нарядчик в доверительном разговоре хорошо знакомому бригадиру сообщил, что в ближайшее время на колонии произойдут большие перемены. Какие? Не стал говорить. Только посоветовал готовиться. К вечеру колония была взбудоражена. Каких только предположений не высказывалось. Их нет смысла пересказывать и обсуждать, ибо в них все равно не было правды. Одни выдумки, противоречили другим. Но! События не заставили долго ждать.

В воскресенье мартовским теплым днем изо всех бригад стали вызывать целыми группами заключенных в администрацию лагеря. Это были малосрочники или же заключенные, которым заканчивался срок. Там им выдавали удостоверения расконвоированных. Таких набралось около ста человек.

На следующее утро на работу выпустили только расконвоированных. Остальным сказали: «Готовьтесь в этап, собирайте вещи, сдавайте в каптерку все предметы, полученные для пользования».

Этап! Это самое неприятное событие в лагерях. Оно у каждого вызывает горечь и досаду. При этом слове у всех рушатся все устои сложившейся лагерной жизни. Как бы ни было плохо, но уже свыклись с нелегкой долей, обзавелись знакомыми, с кем-то подружились, заимели кое-какие вещички скромного обихода.

А этап все разрушает. Надо где-то в неведомом месте с другими людьми начинать все с начала, пристраиваться к совсем новой жизни. Плохо. Очень плохо. Впрочем, не то слово.

Через два дня колонна заключенных около ста пятидесяти человек, ранним утром тронулась из сельскохозяйственной колонии в центральный омский лагерь. Некоторые из заключенных пробыли здесь долго, и им, особенно не хотелось расставаться с обжитым местом. Шли пешком. Немудреный скарб, принадлежащий заключенным, везли сзади колонны на лошадях. Некоторых, совсем слабых сажали на телеги. Но с каждым пройденным километром их становилось больше, для всех телег не хватало, потому везли их по очереди. Уже к самому вечеру в одной из деревенек сделали причал. Это была последняя остановка. Отсюда на кузовных машинах, присланных из Омска, перевезут всех в центральный лагерь. С этим этапом уйдет и Серега. Вместе с ним из бригады «лесособиральщиков» пойдут еще пять человек. Сам бригадир Сметанин с небольшим числом расконвоированных заключенных останется в колонии. Но ненадолго. Вскоре после этих событий многих освободят по истечении сроков наказания. И только небольшая часть до полного закрытия колонии будет использоваться на разных работах без охраны и конвоя.

Смотровые вышки, вахту разберут, колючую проволоку снимут, чтобы не пугать прохожих, а земли и все имущество, возвратят близлежащим колхозам. В середине лета, одной из последних женщин уйдет и Арина. Унесет с собой печаль неизбывную, нежданно, негаданно поразившую ее душу.

Отстанет ли от нее тоска, и обретет ли она свое бабье счастье? Бог только знает.

А Сереге еще несколько лет придется мотаться по разным лагерям, в отдаленных местах огромной страны.

Задует степной ветер и пометет пыль, заравнивая колдобины дорог, пригнет на полянах нетронутые травы, погуляет меж заброшенных построек, умчится в ближайший перелесок. И ничто не будет напоминать, как много лет назад на этом лесостепном пустыре работали, жили, страдали сотни отверженных людей.

Останется безымянное кладбище с повалившимися ритуальными вешками, да крест на могиле Семена. Уцелело ли что до сегодняшнего дня? Никто не скажет. Скорее всего, все порушилось. Время сглаживало и не такие «сооружения».

Послесловие

Автору рассказа «Побег» немало довелось исколесить тернистых дорог с этапами заключенных, провести долгие годы в казематах Лубянки, Таганки, омских тюрьмах, испытать непосильный труд, непомерные страдания в лагерях и колониях в отдаленных, холодных краях нашей (тогда) огромной державы.

Эпизоды светлых, бескорыстных поступков людей, сохранивших в тяжелейших условиях жизни (особенно в период Великой Отечественной войны) чистоту душ, сострадающих к людским бедам и мрачные картины

беспросветной тюремной «страды» (описанных в рассказе «Побег») - это лишь небольшая часть, что выпала на долю российского народа в период двадцатого века.

Если бы собрать все русские слезы и пролитые реки крови в единую чашу, то этого хватило бы залить все земли нашей планеты. Вместе с народом тяготы лихолетья разделял и пережил автор за долгие годы своей жизни в бескрайней омской степи, когда бураны поднимали огромные тучи пыли, закрывая солнце, а вокруг наступало затмение и на расстоянии десяти-пятнадцати метров люди плохо различали друг друга, мелкой пылью забивались уши, глаза, во рту хрустел песок, а заключенные, не прерывая заданный темп работы, возили на строящемся аэродроме, тачками землю. И думали лишь об одном: скорей бы закатилось солнце.

В холодной тундре Заполярья кайлили кирками мерзлый грунт под фундамент жилых и производственных зданий, разгружали из деревянных барж тяжелые мешки с мукой и солью и переносили их на плечах по хлипким трапам на убогий деревянный причал.

В лютые полярные морозы в бадьях таскали бетон на строящихся фабриках и заводах, прокладывали железнодорожные пути по непроходным землям.

И возвращались после долгой, изнурительной, рабочей смены, держась от усталости за руки своих товарищей, чувствуя как застывает в жилах кровь от пронизывающего ветра, перехватывающего дыхание, и всем казалось нет спасения в этом зверином вое черной пурги, заглушавшей человеческий голос.

И наконец. Заползали в дверь, брезентом крытого барака, где день и ночь топились железные печки, сквозь дым и угар добирались до нар, и, проглотив черпак, уже остывшей тюремной баланды, не раздеваясь (были случаи, когда шквальный ветер срывал брезенты с крыш домов и мало кто успевал одеться не обморозив руки или ноги), валились на дощатые нары чтобы забыться в кошмарном сне. Страшно и жутко вспоминать об этом.

Но такая жизнь в те уже далекие годы была во всей нашей стране, а в некоторых местах нашему народу было еще хуже: блокадный Ленинград, горящий Сталинград, оккупированные территории фашистскими захватчиками, концлагеря в Германии, набитые до невозможной тесноты нашими соотечественниками, из которых миллионы остались зарытыми в немецкой земле и т.п. -разве можно такое сравнить даже с самой тяжелейшей жизнью заключенных в нашей стране. У нас повсюду были свои. Трудности, беды и горе переживали вместе. Там же наши люди умирали в окружении чужих. Люди разных национальностей, разговаривающие на разных языках, но понимающие друг друга сердцем, объединенные идеями социализма и всеобщей бедностью в единую трудовую общину, в великом напряжении сил построили сотни новых городов, возвели огромные комбинаты, равных которым нет на свете в безлюдных и суровых краях, победив царство ночи, в самых недоступных местах исследовали недра земли и первыми вышли в космос, подняли страну к невиданным высотам, долгое время не получая за свой подвижнический труд ничего, движимые

великой верой в светлое будущее, созидаемое ими для своих потомков, обустраивали цветущий остров, когда то в мечтах нарисованный великим мыслителем Томасом Мором.

Многое, очень многое сделали советские люди. Но не устояли в непрекращающейся борьбе с внешним империалистическим врагом, во главе которого стоит американо-израильский сионизм, засылавший и засылающий извне врагов социализма, вербовавших внутри страны сторонников капиталистического устройства (Горбачева М.С., Ельцина Б.Н. и им подобных) не брезгуя никакими средствами, спекулируя и используя малые и большие ошибки устроителей социалистического общества. А признаться надо: ошибок было сделано немало. Но когда обнаглевшие демократы из бывших членов КПСС вещают беззастенчиво, что советские власти увозили в самые отдаленные лагеря заключенных, чтобы они там умирали (утверждая тем, что в СССР была политика геноцида), я, отсидевший в сталинских лагерях почти 14 лет, категорически отвергаю это вранье. И вольнонаемных, и вместе с ними заключенных отправляли в самые суровые места, чтобы там они строили и создавали. Правда, условия жизни и труд были неимоверно тяжелыми. Было много плохого. Но грешно этим спекулировать. Из прошлого надо брать только хорошее, чтоб самим стать лучше, а не выискивать в нем темные пятна и ими прикрывать собственную мразь.

Рухнул город «Утопия», придавив обломками и тех, кто его строил, и тех, кто его разрушал. И что теперь? А ничего.

Все, что было создано народом, все богатства страны разграбила (по выражению одного из «хищников», что берут они в свои надежные руки «ничейные богатства») небольшая кучка «истинных ленинцев», превратившихся в одночасье в «новых русских». Но не побрезговали они и народными личными накоплениями. Сэкономленные за долгие годы мизерные сбережения у беднейшего населения, посредством либерализации цен (одна из ельцинских грабительских реформ) обесценили самым бессовестным способом. А народ? Иногда возмущается, но в большинстве тихо умирает, потеряв всякую надежду получить отобранное. Все как прежде. Только с небольшой разницей: в революцию 1917 года отобрали у кровососов веками награбленное ими у народа добро, в ельцинский разбой грабили народ и отобрали у людей заработанное ими потом и кровью. И парадокс: кровососы с боями, пролив реки крови, стремились вернуть «экспроприированные» у них богатства, а простой народ всего навсего тихо возмутился.

А жизнь с каждым днем все хуже и хуже. Растет число безработных, обездоленных, беспризорных, голодных. Повсюду воровство, криминал, убийства. Народа не стало. Он разделился на небольшую кучку богатых и массу нищих. Власть имущие прилагают все усилия на разделение людей по национальностям, вероисповеданию, расовым признакам. И происходит это в угоду определенной группы людей, обезумевших и обнаглевших от алчности, все больше и больше вселяя страх в души людей.

Зачем такое творится? Я не знаю. Но знаю, что правды не скажет никто. Вернее всего действуют по принципу «Разделяй и властвуй». Одни, а таких большинство, утверждают, что их действия направлены для улучше-

ния жизни народа. Эти люди, нагло и нахально врут. Некоторые говорят, что заботятся и готовят беспечную жизнь для своих потомков. Скапливая порой баснословные богатства. Такие, либо ошибаются, либо тоже врут, прикрывая свое воровство. Скорее всего, последнее.

Хочется посоветовать: воспитайте (на это не надобно непомерных богатств) достойного отрока, чтобы он с радостью сам добывал себе хлеб насущный и в этом обретете великую заслугу перед ним, людьми и Богом.

Хочется предостеречь: существует и действует в неразгаданном мире неподвластный нашей воле и разумению закон, по которому зло совершенное вами возвращается сторицей и проклятьем ложится на ваших потомков. Как уцелеть и выжить прострму человеку в мире бандитизма, рэкета, терроризма, проституции, убийств, войн гражданских, где свои убивают своих, в постоянной угрозе новых мировых войн, разжигаемых американо-израильским империализмом, когда кажется, что нет выхода?

Где искать хотя бы просвет? Снова строить социализм? Получится ли теперь? Не на что надеяться.

Остается в безысходности уповать: может, Всевышний, услышав мольбу миллионов людей, избавит их от злобы, вдохнет в сердце каждого человека святое чувство любви, милосердия, сострадания (что ему стоит проделать такое при его безграничной мудрости и могуществе) тогда только наступит всеобщее человеческое благоденствие, спасется мир от безумия.

А пока? Впереди беспросветная мгла.

Суровым было прошлое, еще хуже стало настоящее.

Ледовая переправа

Дорогу осилит идущий

Все навигации на реке Енисей в далеком заполярном Дудинском порту мало чем отличаются одна от другой. Разве что продолжительностью да сроками начала и окончания. А такое зависит от ледохода и ледостава. Ранний ледоход бывает в последних числах мая, более поздний во второй декаде июня.

Ранний ледостав на реке Енисей обычно во второй декаде октября, более поздний – в третьей. С этого момента заканчивается летняя навигация и начинается «зимняя», в это время на основных причалах порта обрабатываются только морские пароходы. Эта транспортная схема образовалась в 1978 году и с тех пор бесперебойно работает до сегодняшнего дня. Большие грузовые транспорты (суда) в сопровождении мощных ледоколов проходят безаварийно весь путь по Ледовитому океану и далее по реке Енисей от его устья до рейда Дудинского порта. За 60 лет существования многое, даже очень, изменилось в Дудинском порту.

В далекие сороковые годы разгрузка судов начиналась в июле месяце, значительно позже чем в теперешнее время и заканчивалась много раньше. Это происходило от того, что в тот период причалы были шестиме-

тровой высоты (много ниже существующих) и открывались от паводковых вод в более позднее время. В очень редких случаях разгрузку судов с необходимыми для комбината грузами начинали производить раньше в июне, устанавливая опоры на залитые водой причалы, строили дощатые настилы и по ним перетаскивали на плечах ящики и прочие предметы. Но это была очень трудоемкая и малоэффективная работа.

Чтобы продлить навигационные сроки с начала 50-х годов приступили к строительству причалов «высокой воды» (14-метровой отметки) и одновременно стали наращивать ранее построенные причалы. Это позволило (в дальнейшем) из года в год увеличивать грузооборот по тоннажу и объемам.

В 1977 году (а это был последний год только летней навигации) общий грузооборот достиг почти 5 млн. тонн, а точнее 4,8 млн. тонн. Навигация 1977 года была одной из самых напряженных.

С 1978 года интенсивность работ в летний период несколько уменьшится, хотя грузооборот будет расти за счет увеличения продолжительности навигации в зимние месяцы. Норильскому комбинату для развития и строительства требовалось все больше и больше различного рода товаров, материалов и прочих грузов. Освоение Северного морского пути и осуществление круглогодичной морской навигации по трассе Мурманск - Дудинка - это одно из блестящих достижений советского народа, науки, инженерной мысли.

Когда началась демократизация, либерализация, перетрубация и прочая реорганизация всей советской системы и народного хозяйства страны, перестройщики с реформаторами в один голос кричали, что все это было вызвано необходимостью вывести промышленность, сельское хозяйство, из стадии «застоя», в которую вверг «тоталитарный» режим последнего усопшего правителя Советского государства Брежнева Л.И.

Я пережил несколько руководителей (вождей): при Ленине родился, при Сталине учился в школе и сидел в тюрьме, при Хрущеве работал и снова учился, при Брежневе работал без выходных дней, хотя по трудовому кодексу их в неделе было два (в выходные работал добровольно, по личной заинтересованности). Клейменного Горбачева и вечно пьяного Ельцина признавать за правителей нельзя. Это настоящее исчадье ада. Вероятно, Всевышний предназначал их на другие «вершения», но по ошибке какого-то «святого» их ниспослали на горе нашему народу.

Случается и в небесах такое. За мою жизнь свершилось много событий: индустриализация страны, великая война, после которой за 5 лет были восстановлены страшные разрушения всего нашего хозяйства, построены тысячи новых городов, десятки железных дорог, народ победил космос и создал для обороны водородную бомбу. Впрочем, все не перечислить, да и всего я не знаю. Но главное, был сформирован новый народ - советский. Для которого везде было бесплатное обучение и бесплатное медицинское обслуживание. Советский народ не боялся за свое будущее, и каждый человек был заинтересован в собственных успехах и успехах всей страны.

Я приведу из своей памяти один небольшой эпизод о строительстве ле-

довой дороги для вывоза с другого берега реки Дудинки необходимо важных для Норильского комбината пиленых материалов. В 1977 году в общем объеме доставленных для нужд комбината технологических грузов были приплавлены в плотах почти 400,0 т. м^3 круглого леса и привезено в судах около 50,0 т м^3 пиленых материалов. Из-за недостатка складских площадей около 100,0 т м круглого леса были выгружены на берегах речки Дудинки в затопляемой зоне и «регулирующем» острове, лежащем посреди реки Дудинки. Все привезенные в судах пиленые материалы разгрузили и заскладировали по берегам «отстойного» канала. О его строительстве и значении следует остановиться особо. Его акватория находится примерно в 1 км от устья реки Дудинки, считая по судовому ходу в непосредственной близости от левого берега реки Дудинка и соединена с ее водами широкой прорезью. Это довольно большой водоем, куда в период подъема весенних вод в реках Енисей и Дудинка все суда заводят для сохранности от ледохода и после прохождения льда выводят на чистую воду.

В изначально далекие времена такого сооружения не было. На месте отстойного канала было озеро, из которого вытекал в реку Дудинку небольшой ручеек. В 40-е и 50-е годы в порту на зимний отстой стали оставаться деревянные баржи, для их спасения от ледовых разрушений в период ледохода приступили к рытью канала по длине всего ручья. В зимние морозы вода в нем и озере промерзали до дна. Землю раздалбливали вручную кирками и ломами, предварительно взрыхлив взрывами. Надолбленный грунт грузили вручную на думпкары и по узкой колее вывозили на противоположный (правый берег) реки Дудинки, сваливая чуть выше уреза берега. И эта территория стала называться «отвалом».

С началом строительства причалов «высокой воды», грунт из «канала», а его продолжали расширять и углублять постоянно в зимние месяцы каждого года, стали сваливать в «тело» строящихся причальных сооружений. Но зачастую на этих объектах происходили сбои в разгрузке думпкаров и тогда поступали команды выгружать их на прежнем месте. По причине подобных «переадресовок» появилось для прежнего «отвала» новое название. Его стали именовать «старый отвал» и до сегодняшнего дня эта территория так и осталась с этим названием.

В 50-е годы по урезу берега «старого отвала» по распоряжению Всесвятского Владимира Николаевича были построены ряжевые причалы, на которые в летний период устанавливали по 10 элеваторов для выгрузки леса. И с той поры эта местность получила еще одно название - «Элеваторная стенка». Старые лесники, да и жители Дудинки знают об этом, но вновь поступающие работники не имеют представления, так как эти названия звучат все реже и реже. В настоящее время эта территория пустует. Зимой над ней гуляют свирепые метели, а в летнее время бурно растут ромашки и иван-чай.

Работами по сооружению «отстойного канала» на протяжении многих лет руководил в те годы заключенный Тишечкин Николай Иванович, исполняющий обязанности начальника 1-го участка (речного), а после освобождения некоторое время начальником лесного хозяйства. Последние годы был заместителем начальника Дудинского порта у Ли Владимира

Николаевича.

Построенный в давние годы заключенными «отстойный канал» обеспечивал полную надежность сохранности самоходного и несамоходного флота, имеющегося у Дудинского порта в период самых бурных ледоходов. Возможно, в таком виде просуществовал бы он и до настоящего времени, если бы не чрезвычайный случай, преподнесенный капризами природы. В 1973 году холода в Дудинку пришли очень рано. По этой причине не успели покинуть Дудинский порт и вмерзли в лед очень большое количество судов. Попытки вырвать их из ледового плена и отбуксировать к местам постоянного отстоя в зимний период в южных портах Красноярья не увенчались успехом, а постоянно увеличивающиеся морозы погасили остатки надежды на их спасение по этому варианту.

В связи с этим было принято решение, которое обсуждалось в самых верхних эшелонах руководства края, ЕНУРПа, Норильского комбината и Дудинского порта, расширить размеры – «отстойного канала» с расчетом размещения всего замерзшего флота. Одну из трудноразрешимых проблем представляла вывозка грунта к месту его свалки. По прежней «дедовской» схеме вывозить грунт через речку Дудинку на «старый отвал» не представлялось возможным, так как по всему правому берегу были штабеля круглого леса, уложенные кранами в прошедшую навигацию. Кроме того, такое большое количество земли не возможно было разместить на данной территории. Было принято решение вывозить весь грунт по левому берегу к устью реки Дудинки и сваливать его в «тело» льдозащитной дамбы. Попытки создать такое сооружение для защиты причалов от разрушения в период ледохода принимались и раньше. Начальник Норильска Всесвятский Владимир Николаевич давал указание производить намораживание ледовой дамбы в устье реки Дудинки по ее левому берегу с помощью насосов и протянутых труб с рассеивающими устройствами. Но ничего из этого не получилось. Трубы перемерзли в сильные морозы (скорее всего по халатности обслуживающих работников) и от этого мероприятия со скандалом отступились. Возможно что дамба никогда бы так и небыла воздвигнута, так бы и остался в мечтах этот проект, если бы не назрела необходимость расширения «Отстойного канала» для спасения судов.

На выполнение этой задачи Норильский комбинат выделил большое количество тяжелых землеройных и автотранспортных машин. Работы проводились круглосуточно без выходных дней. В социалистическом соревновании были задействованы не только рабочие смены, но каждый экипаж транспортных средств принимал на себя повышенные обязательства. Простой в работе, пусть даже самый небольшой, считался «чрезвычайным происшествием». Сотни тысяч кубометров грунта были вывезены из «отстойного канала» и вложено в «тело» дамбы. Одновременно с вывозкой грунта с декабря месяца на объект строительства дамбы стали вывозить все древесные отходы лесопиления. Перемешиваясь с землей, они придавали прочность укладываемому материалу. К началу ледохода в 1974 году «отстойный канал» мог вместить все зазимовавшие суда и сохранить их от разрушения. Вместе с этим была сооружена дамба длиной около 600

метров, высотой 15 метров, шириной 60 метров, которая играла и играет существенную роль в защите портовых сооружений от разрушительных действий ледохода в период паводка. В решении задач по строительству «отстойного канала» и дамбы принимало участие большое количество людей, организаций, различного ранга руководителей. Но главную организующую роль выполняло руководство порта во главе с начальником Кизимом Александром Григорьевичем. Не случайно дамба носит название «Кизимовой». Колоссальную работу в этом большом мероприятии проделали начальник Портстроя Ноздрачев Анатолий Георгиевич, руководивший на расширении «отстойного канала» строительными работами и главный механик Сабеев Леонид Афанасьевич, ответственный за техническое состояние землеройных и автотракторных машин. Это были высокоэрудированные и энергичные руководители. К сожалению, их давно уже нет с нами.

С тех пор «отстойный канал» и «дамба» в значительной степени облегчают работу портовиков с первых дней навигационной «страды». Как я уже упоминал ранее, в 1977 году в самый первый навигационный месяц было привезено на судах около 50,0 тысячи кубометров различных пиленых материалов. Все они были выгружены на берегах «отстойного канала». Образовался большой склад легковоспламеняемых материалов.

Для предотвращения от возможных загораний вдоль всех штабелей был смонтирован пожарный водовод с гидрантами через каждые 25 метров. Воду с помощью мотопомпы подавали непосредственно из речки. Когда включали в действие, то из брандспойтов вылетали рассеивающиеся струйки воды, накрывая сразу все штабеля. При необходимости можно было включать только те гидранты, против которых происходило «предполагаемое» загорание. Весь склад огородили забором из колючей проволоки. Организовали пост круглосуточного дежурства. Все было выполнено по всем правилам и законам пожарного ведомства.

Когда уровень воды в реках Енисея и Дудинки опустился до нормального пришли плоты с лесом и лесники все усилия направили на их обработку. У лесников не было легких навигаций. Но эта была одной из самых трудных. С 24 сентября резко похолодало, и в верхнем течении реки Дудинки (за причалами «высокой воды») замерзла. В устьевой части началась шуга. Лес в эти дни выгружали из сплошной ледяной «каши». 3 октября река Дудинка замерзла полностью. Но лес успели выгрузить. Холода усиливались, и к 15 октября замерз Енисей. Навигация в порту закончилась. Наступило время работы в зимних условиях. Можно было бы не продолжать дальнейшее повествование, а может, и вовсе не начинать этот рассказ, если бы не один заслуживающий внимания случай.

Через несколько дней когда все воды на Таймыре были скованы прочным льдом, а на дворе стоял трескучий мороз, вечером, примерно в 8 часов, позвонил мне в кабинет начальник порта Кизим Александр Григорьевич. В те годы начальники всех подразделений работали до позднего вечера. Я уходил всегда после 9 часов, предварительно позвонив ему. Докладывал о проделанной работе, но больше обращался с непредвиденными трудно-

стями, с которыми не мог управиться сам. Так было заведено. И потому его звонок (более ранний) насторожил меня. И, как оказалось, не напрасно. «Скажи, в каком месте у нас половые доски?» - спросил Александр Григорьевич. Не разобравшись в существе вопроса, я тут же ответил совсем невпопад: «Сегодня три вагона отгрузили с лесозавода, Александр Григорьевич, после этого еще ничего не напилили». Меня этот вопрос немного затронул. Мне показалось, что он в чем-то проверяет меня. Когда и сколько напиливали и отгружали половых заготовок с лесозавода знали хорошо все, вплоть до директора комбината. Строительство жилья и объектов соцкультбыта в Норильске и Дудинке было под самым пристальным вниманием руководства комбината, руководства порта и партийных органов всех «рангов». «Не то, Николай Алексеевич. Я спрашиваю про половые доски, что привезли в навигацию из Предивинского?» -сказал Александр Григорьевич и снова замолчал. И опять мне показалось, что он хочет спросить о чем-то другом, но от прямого вопроса воздерживается. Ведь хорошо знает, что 400 м^3 половых досок выгружены на берегу «отстойного канала». Я неоднократно просил многих, в том числе и его, чтобы их отправили транзитом в Норильск, так как могли разворовать. Но то ли в разгар навигации вагонов не оказалось, то ли самоходку не хотели переставлять из канала к причалу (теперь уже плохо помнится) – их выгрузили вместе со всем объемом пиломатериалов на левом берегу. Я об этом помнил, но говорить ему не стал.

Немного помолчав, ответил: «В канале лежат эти доски».

Наступило молчание. Потом Кизим со вздохом промолвил: «Знаю я, что они там лежат, вот только не знаю, как их оттуда привезти». И опять я, недодумавши, ответил: «А что об этом думать. Подойдет декабрь, и мы их оттуда за сутки перебросим, а пока они там надежно охраняются. Трассу к «гулирующему» острову мы уже от снега начали расчищать, сразу же после ее завершения приступим к подготовке дороги в канал».

Опыт у нас по быстрейшему намораживанию льда имелся. Как только появлялась возможность ходить по льду сразу же приступали к расчистке льда от выпавшего снега, тем самым сокращая время для намораживания необходимой толщины льда, способного выдержать тяжелогрузные машины.

«Так вот, дорогой! Я тебя должен опечалить», - сказал Александр Григорьевич и недоговорил. Я подумал: «Может, украли оттуда что-нибудь, он знает, а я нет». Но тут же отверг эту мысль так как совсем недавно разговаривал со сторожем, и тот мне успокоительно сказал, что на объекте все нормально. После некоторого молчания Кизим сказал о том, что меня крайне озадачило: «Необходимо весь запас половых досок вывезти из канала не позднее 1 ноября, чтобы они уже 2 ноября были в Норильске на строительных объектах. К празднику 60-летия Октябрьской революции комбинат принял повышенные обязательства по вводу жилья и объектов соцкультбыта». Я после его высказывания долго молчал. «Ну что ты молчишь?» - спросил он. «Молчу потому что не знаю что ответить», - сказал ему.

Неожиданно пришла в голову мысль перевезти эти пакеты с помощью вертолетов. Мне приходилось видеть, как газовики таким способом перевозили опоры (деревянные) на объекты строительства газопровода.

Я тут же рассказал ему об этом и предложил проделать то же. Александр Григорьевич не задержался с ответом: «Не получается. Авиаторы отказались. С ними вчера и весь сегодняшний день вели переговоры руководство комбината и Норильскснаба». В то время директором комбината был Борис Иванович Колесников, а начальником Норильскснаба Полищук Владимир Иванович. Я их хорошо знал и потому сразу сообразил, что после них вести какие-либо разговоры с руководством аэропорта бесполезно.

«Тогда придется ждать декабря, раньше лед не намерзнет. С завтрашнего дня переведем людей на расчистку другой трассы ближе к каналу», - единственное что я мог ответить.

«Ты же слышал что половые доски должны быть в Норильске ко 2 ноября, а в канун октябрьских праздников дома заселены работниками комбината», - сказал Александр Григорьевич. «Слышать я слышал, только лед за такой короткий срок много не намерзнет, сколько ни сгребай с него снег, а других способов намораживания я не знаю. Слышал что укладывают на лед бревна, а потом заливают их сверху водой, но никогда подобными делами не занимался, даже не видел», - ответил я. «Я тоже знаю не больше твоего. Ночь нам на раздумье, а завтра с утра все вместе обсудим этот вопрос. Только знай, что думать надо не так, чтобы суметь отказаться от этой работы, а найти способ выполнить задание директора комбината в установленные сроки, - сказал Александр Григорьевич и добавил: – А сейчас пора домой, уже десятый час вечера». На том и расстались.

Пока шел до дома, напряженно думал. Но вопреки всему в памяти всплывали нерадостные картины: то бульдозер, провалившийся в гавани 2-й бревнотаски, гусеничные краны ушедшие под лед (один в речке Дудинке, второй на озере Теплое на территории ДОРО), а спасительных вариантов не приходило. Уже перед домом вспомнил, что с декабря 1952 года через речку Дудинку по широкой колее вывозились железнодорожные составы груженные круглым лесом. Тогда вместо шпал укладывали на лес брусья длиной 5 метров. Может, по такому способу выложить трассу, скрепить все рельсами, а по настроенному настилу вывезти пиломатериалы автомашинами. Завтра надо сказать про это. Я хорошо помнил те времена, мне данное мероприятие вспоминалось не раз, но по-серьезному я никогда о нем не задумывался. Лес давно с левого берега стали вывозить автомашинами. Тем не менее решил завтра рассказать об этом, хотя понимал что из-за 400 м^3 доски не будут строить через всю Дудинку такую длинную железную дорогу.

В 8 часов утра Александр Григорьевич собрал на телефонах своего коммутатора несколько ответственных работников: главного диспетчера Михайлова Иннокентия Ивановича, начальника портового флота Ковалева Виктора Александровича, начальника автобазы Колегова Ивана Степановича, еще кого-то (по давности времени забыл) и меня. Совещались

недолго. Поручили сразу же с утра Ковалеву В.А. и мне наметить трассу и немедля приступить к ее расчистке. Колегову И.С. и Михайлову И.И. вменялось в обязанность выделять необходимое количество транспорта для подвозки материалов по моей заявке. Бревна, доски, горбыль уложить по всей трассе и заливать водой. Это поручалось мне.

Работу начать сегодня и закончить к 31 октября.

Лучше пять навигаций провести – думал про себя я. Но зная, что никакие сетования приниматься во внимание не будут, тем не менее вступил в полемику: «Значит с сегодняшнего дня начнем укладывать бревна, горбыль и прочую древесину сплошным слоем шириной 6 метров (я сказал так исходя из наибольшей длины материалов) через всю Дудинку и заливать водой. А за такую «самодеятельность» от рыбнадзора не попадет?» - спросил я. Тогдашний главный «рыболов» Лох Левин Левинович был очень придирчив.

Кизим А.Г. тут же отреагировал: «Эту проблему я беру на себя». Разговаривать было больше не о чем. Задача для всех была ясна, только никто не знал, как ее выполнить в такие короткие сроки. Потом, много времени спустя будут разработаны проекты, схемы по наращиванию ледовых дорог, их укреплению, а сейчас... приступали к выполнению этого мероприятия с многими неясностями. С рассветом определили трассу в самом узком месте на речке Дудинке, за причалами «высокой воды», где замерзание реки началось еще в последних числах сентября.

Работы велись оперативно. Привлекли самую лучшую бригаду грузчиков, руководил которой Минибаев Исхак Галимович. Эти люди всегда являлись победителями в социалистическом соревновании и гордо носили звание «комсомольско-молодежной бригады». Одновременно с расчисткой трассы стали подвозить автомашинами горбыль, бревна. Сваливали все на самом урезе берега.

Выдалбливали во льду отверстия в непосредственной близости от предполагаемой дороги для установки столбов линий электропередач. Работали круглосуточно. Неблагодарна работа когда приходится выполнять ее в полной темноте (в третьей декаде октября светового времени немного).

Нет смысла расписывать трудности: кому приходилось исполнять подобные операции прекрасно знают, как это сложно, а кому не приходилось, то надо хотя бы посмотреть. Тем не менее на третьи сутки трасса была расчищена полностью и частично заложена древесным материалом. Приступили к заливке. Морозы стояли довольно крепкие и вода, подаваемая из брандспойтов (на них надевались специальные сетчатые наконечники) мелкими струйками, смерзалась быстро. На следующее утро в 6 часов, приехав на «стройку», я в радужном настроении возвратился в контору и доложил что работа идет успешно.

О! Но какое меня подстерегало разочарование. Пожалуй, «разочарование» не то слово. Скорее всего потрясение. Около 11 часов дня в кабинет зашли мастер Умнов Владимир Васильевич вместе с заведующим складом Логвиновичем Иваном Филипповичем и сказали ошеломляющую новость: «Та намороженная часть дороги не годится для проезда». – «Почему и как

вы это определили?» -спросил их я, после того как опомнился. Логвинович рассказал: «Чтобы не таскать на себе бревна и горбыли по намороженной части до ее конца решили на Кразе подвезти материал. Как только задние колеса Кразе съехали на дорогу, под колесами ледяная наморозка стала ломаться, а наложенный слой горбыля трещать, сразу же появилась вода. Грузчики закричали шоферу, тот остановился, но выехать не смог. Хорошо что рядом был бульдозер. Только с его помощью и вытащили».

Когда приехали на место разобрались быстро: уложенная древесина была проморожена только в верхней части. Морозы были крепкими и мелкие струйки из брандспойтов смерзались вверху, не проникая сквозь наложенный древесный слой до низу (т.е. до речного льда). Кто то предложил: «Работу надо прекратить и доложить начальству».

«Ишь какой находчивый, хочешь чтобы мне башку наломали, - сказал я не оборачиваясь. – Прежде чем расписываться в бессилии, давайте сначала «расковыряем», что наморозили, а потом уж и скажем, что ни на что не годимся», - теперь уже с некоторым озлоблением сказал я, обращаясь ко всем стоящим.

Работа по разборке пошла на удивление быстро. Немного осмотревшись решили снимать только два верхних слоя горбыля, а нижние не трогать. Когда разобрали до половины намороженной части дороги и стали проливать оставшиеся два ряда, они быстро пропитывались водой и тут же смерзались. Еще быстрее пошла работа, когда на пролитые два нижних слоя древесины накладывались верхние и сразу же проливались водой. Ледовое сооружение делалось монолитным и впечатляющим. Я ушел со «стройки» поздним вечером, когда полностью был исправлен «грех» и залито несколько дополнительных метров дороги к уже построенной. С этого дня каждую ночь с вечера до утра руководил намораживанием дороги Иван Филиппович Логвинович. С каждыми сутками дорога удлинялась, но по мере удаления от берега работа шла все медленнее и медленнее: таскать на себе бревна, горбыль было тяжело на такое большое расстояние. Пришлось добавить людей. В последние дни октября месяца намораживание дороги пошло на удивление быстро. Я расценил это своевременным подкреплением числа рабочих. Как потом выяснилось все было совсем подругому.

Несмотря на мой категоричный запрет ни под каким предлогом не заезжать автомашинами на строящуюся дорогу, приспособились развозить горбыль, бревна и прочие стройматериалы по всей трассе на подсанках с помощью «Буранов». Такой транспорт у многих лесников имелся.

31 октября все работы были закончены. Дорога наморожена через всю речку Дудинку. Кто только не занимался этой работой. Несколько раз звонил директор комбината Борис Иванович Колесников. Сдержанный (а он таким был всегда) не заставлял, не напрягал, только давал понять, что это очень важно, если будут какие затруднения, обращайтесь с любыми просьбами, по нескольку раз в день звонил Полищук В.И., начальник порта Кизим А.Г. считал для себя первостепенной задачей и приезжал на строительство дороги часто, иногда по два раза в день.

Партком порта держал наш «объект» на контроле. А комсомол считал своей «комсомольской стройкой». Секретарем комсомольской организации был Федюшин Василий Яковлевич. Как же иначе? Ведь строила дорогу комсомольско-молодежная бригада Минибаева Исхака Галимовича.

Об окончании строительства дороги через речку Дудинку я доложил руководству порта во второй половине дня 31 октября. Александр Григорьевич Кизим помолчал, как-то тяжко вздохнул и сказал: «Хорошо! Завтра с утра начнем перевозить».

Видимо, у него с плеч свалился тяжелый груз и в то же время появились сомнения - выдержит ли дорога тяжело груженные машины.

Но он ничего подобного не сказал, только, немного подумав, добавил: «Расставьте вдоль всей дороги по обеим сторонам вешки. И чтобы они хорошо просматривались из кабины шофера».

Эту работу мы приступили выполнять еще вчера, большая часть дороги была обставлена и я, не задумываясь, ответил: «Сделаем все как надо».

Утром 1 ноября была подготовлена автотехника (один автокран и три Краза) для перегона их на левый берег реки Дудинки по ледовой (намороженной) дороге к «отстойному» каналу, где находились штабеля пиломатериалов.

Первым съехал с берега на лед автокран. Проехав метров двадцать он вдруг остановился. У шофера почему то перехватило «дух», когда он по неосторожности чуть повернул руль и передние колеса поехали с намороженной дороги в сторону чистого льда. К нему в кабину залез Колегов Иван Степанович. Шофер, приободрившись медленно тронулся с места, потом увеличил скорость и через несколько минут, проехав всю трассу, остановился возле штабелей досок. Следом с некоторым интервалом поехали КрАЗы. Рабочие грузчики были уже там. Через полчаса появился первый КрАЗ груженный половыми досками, затем через несколько минут второй, и когда первый уже въехал на твердую землю с левого берега тронулась последняя машина. На каждом КрАЗе был пакет по 5 м . Стоявший рядом начальник порта Кизим А.Г. распорядился выделить еще две автомашины, чтобы не было перерывов в вывозке. Надо было спешить: ожидалось потепление, что могло привести к подтаиванию «намороженной» дороги.

Весь пиломатериал (400 м^3 половых досок) вывезли к утру 2 ноября, а к вечеру он был развезен по строительным объектам в г.Норильске.

Имелся ли риск в этом мероприятии. Риска не было. Толщина льда на речке была известна, намороженной части тоже. Общая толщина ледовой «переправы» обеспечивала надежность проезда тяжелогрузных машин. Но! Опасения были. Могла оказаться какая-то часть недостаточно промерзшей, а самое опасное - шофер по невнимательности мог «срулить» с дороги на речной лед и тогда машину речной лед не выдержал бы. Это знали все. Поэтому, машины ехали с малой скоростью и открытыми дверками.

Потепление наступило. Но дорога не «раскисла» и по ней свободно переезжал автотранспорт. Правда, только легковой. После того как пере-

везли последнюю пачку пиломатериала и перегнали автокран, проезд для тяжелогрузных машин был запрещен: мало ли что могло случиться, когда «расхрабрившийся» шофер свернул бы от намороженной дороги на речной лед. Как только автокран выехал за причалы «высокой воды», Минибаев Исхак Галимович с гордостью и радостью сказал: «Ну вот и мы сделали доброе дело. Сколько людей будут рады новому жилью, да и самим нам приятно, что сделали для многих доброе дело».

Вот, собственно говоря, и весь рассказ. Стоило ли затрачивать столько труда на сооружение ледовой «переправы» чтобы вывезти пиломатериал и до праздника Октября успеть построить несколько домов и вселить в них всего то на два месяца раньше несколько сот норильчан, в благоустроенные квартиры? Вот! Посмотрите! Сейчас только в одной Москве десятки тысяч «бомжей» живут в коллекторах, подворотнях, вокзалах (вернее возле вокзалов, внутрь их не пускают) и прочих убогих ночлежках.

И ничего! Никакого возмущения.

«Эка невидаль, - скажет «взъерепенившийся» демократ, -построили дорогу через речку Дудинку. Когда-то через Ладожское озеро не такая была сооружена». Хочется ответить: «Что правда, то правда. Только ту дорогу строили советские солдаты с коммунистами, чтобы умирающим от голода ленинградцам протянуть руку помощи и кусок хлеба, а вы (демократы) никакого отношения к этому не имеете, – И тут же добавить хочется: А еще изобрели наши советские инженеры водородную бомбу для защиты от капиталистических мерзавцев, что лезут разрушать нашу страну и уничтожать русский народ, а вы им помогаете. Многое сделали советские люди, но недосмотрели. Горбачев М., Ельцин Б. совместно с вами развалили великую державу. И теперь туманите простым людям, что советская эпоха была временем «застоя».

Кто первым сказал такое, того уже не найдешь. Зачем это было ему нужно и всем демократическим дельцам (как правило, из бывших коммунистов - перевертышей вроде Познера, Сванидзе, Гайдара), ухватившимся за надуманные измышления, теперь всем понятно: бесконечным охаиванием всего советского и социалистического строя и режима пытаются скрыть свои собственные мерзости. Но уже не проходят эти «номера»! Народ понял свои ошибки и гнусный обман «демократических» дельцов.

А событие по сооружению ледовой дороги через речку Дудинку на фоне огромных достижений советского народа в те годы, действительно небольшое. Но самое главное: в этом трудовом подвиге было бескорыстное единодушие всех людей, строящих эту «переправу» и имевших непосредственное к ней отношение.

Что ж! Ничего удивительного. Это были советские люди.

Трудовые будни

Каждый вечер, освободившись от трудовых и мирских дел, смотрю телевизор. Но прежде чем включить какой-либо канал, мысленно прошу Го-

спода: «Великий творец, вразуми наших телевизионщиков, чтоб показали что-нибудь человеческое. Пусть это будет фильм из прошлых лет, песни советских времен, производственные достижения строительных, промышленных коллективов, крестьянскую страду или простые трудовые будни отдельных тружеников». Напрасными оказываются молитвы и чаяния.

На всех каналах передают одну только «мертвечину»: грабежи, убийства, изнасилования, разбой, бандитизм и откровенную, неприкрытую порнографию. И ледяным холодом охватывает душу: «А как же жить дальше?». Иногда в промежутках преподносимых ужасов проскользнет краткое, скороговоркой выступление какого-нибудь из наших правителей, который в своей косноязычной речи, перемешанной с матерщиной изречет в качестве открытия, что «русский фашизм страшнее немецкого», а культура русской словесности невозможна без «мата». И в завершение добавит, что главным жизненным «движителем» являются деньги (с умилением произнося слово «доллары»), не обмолвившись ни единым словом о труде и каких-либо его результатах. Ни один из правителей, включая президентов (а за последнее время их уже три), не сказал народу, сколько и каких заводов, фабрик будет построено в ближайшие годы, какие комбинаты войдут в строй, сколько и какой они произведут продукции.

Можно слышать от них, как в скором времени вольются (куда?) крупные инвестиции (надо полагать из-за границы), и вот уж тогда заживем. Впрочем, чему тут удивляться. Разве может сделать что-либо полезного для народа правительство или любой орган верховной власти, если они сформированы из непорядочных людей.

До какой степени бессилия опустилась верховная власть, если высший законодательный орган (Государственная Дума) вынужден рассматривать вопрос о разрешении гражданам России свободного применения огнестрельного оружия с целью самозащиты. К чему приведет это?

В случае положительного решения можно предполагать, что половина людей перебьют друг друга.

А пока?! Безработица, голод, нищета. Люди бродят по помойкам, дерутся за право владения свалкой. Все они стоят на бирже труда (надуманной капиталистами свинячьей кормушки), но, как правило, почти никто не идет на работу, даже когда появляется такая возможность. Это самое страшное. За каких-то тринадцать лет их отучили работать, отняли величайшее благо: труд и удовольствие от работы. В привычку вошли бродяжничество, попрошайничество и несусветная леность. По всей стране хаос и разрушения, главную роль в которых играют СМИ. Недавно по телевидению показывали, причем дважды, сериал с удивительным названием «Бригада».

Каких только не бывает бригад, объединяющих ту или иную группу рабочих, специалистов, наконец, военнослужащих и т.п. Но назвать группу откровенных бандитов «бригадой» надо иметь немалое нахальство, причем режиссер с завидной настойчивостью пытается показать четырех московских бездельников и хулиганов, объединившихся в разбойный вертеп с положительной стороны, наподобие взбунтовавшихся крестьян руководи-

мых благородным рыцарем Дубровским (из повести А.С.Пушкина). Есть что то похожее. С той только разницей, что крестьянская «банда» Дубровского после нескольких налетов на помещичьи усадьбы всерьез встревожила правительство (царское), и благородный разбойник Дубровский, видя надвигающуюся гибель по воле судьбы оказавшихся на разбойной «тропе» крестьян, вынужден был распустить свою «банду». А теперешняя шайка четырех, названная «бригадой», не вызвала своими бандитскими действиями никакой реакции у руководящих верхов, потому что их «деяния» на фоне вселенского разбоя всего-навсего лишь маленькая точка в ночном небе. Но главная мерзость фильма в том, что этим мракобесам присваиваются лучшие человеческие качества: дружба, порядочность, взаимовыручка и т.п. (настоящие герои нашего времени), и оказались они в этой среде по стечению обстоятельств (точно так, как люди Дубровского).

Не вдаваясь в существо фильма («Бригада»), можно утверждать, что с его помощью многие неискушенные мальчишки при существующем в стране порядке скатятся в глубину преступной пропасти. Фильм с непристойной откровенностью показывает «грешному» народу, как живут по своим воровским законам «братки», когда есть «жратва, деньги и баб навалом». Невольно у многих возникает соблазн – а у законопослушных граждан неизбывный страх.

И завершая рассуждение о «героях нашего времени»: разве этих московских молодчиков (все они в приличном возрасте) силой угроз и пыток заставляли убивать и грабить? Впрочем, порядочного человека не сделать подобными методами бандитом. Значит, они (эти герои) изначально из чрева своих родителей появились такими. И «томились» до поры до времени, а при удобном случае влились в эту разбойную среду.

Но самое главное: откуда взялась эта разбойная среда? При советской власти подобного не было. Ответ предельно ясен. Страшная болезнь (война всех против всех) возникла с началом разграбления богатств (собственности государственной, точнее народной), которую сколько ни дели, кому-то всегда будет мало. Родителями этой болезни является система американского империализма, с которой не борется ни правительство, ни президент. А если бы и захотели, то все равно ничего не добились. У них нет сил победить ее: «джин вылетел из бутылки и загнать его назад смогут только «колдуны и волшебники», причем очень жестокие.

Еще совсем недавно в нашем обществе главными задачами перед людьми были выполнение планов, улучшения условий труда, повышение качества изготовляемой продукции, и на первом плане совершенствование социального климата.

О зарплате говорили мало. Много судачили о товарах, продуктах, предметах обихода. Их в те времена всегда не хватало. Но, мне кажется, это возникало потому что цены на все были настолько низки, что при тогдашних зарплатах (безработных тогда не было) их расхватывали впрок, причем много больше, чем требовалось. И оттого многие продукты приходили в негодность. Можно было видеть возле мусорных ящиков валяющиеся буханки хлеба и прочие продукты, а на свалки целыми машинами

вывозились забракованные банки консервов и замороженная картошка. Плохо это. Не умели ценить свой труд.

Сейчас такого нет. Не выбрасывают. Все очень дорого. И люди, живущие впроголодь, не прочь бы покопаться в «мусорках», но не делают этого, потому что они пустые.

А если какой «нерачительный» хозяин что и выбросит из съестного, так уж за углом высматривает добычу «бомж».

На память из прошлого приходит множество примеров добросовестного и бескорыстного труда. За долгие годы работы (мой календарный стаж более 62 лет и все время на севере) доводилось видеть немало понастоящему трудовых подвигов, которые считались обычным явлением. Об одном хочется рассказать читателю.

Осень на Таймыре выдалась в 1985 году хмурой. Уже с конца августа начались дожди, а в сентябре не было дня, чтобы не хлестали холодные струи, перемешанные иногда со снежинками, по ночам появлялась серебристая изморозь. Озера переполнялись, вытекающие из них ручейки превращались в бурные потоки и стремительно вливались в Енисей и Дудинку.

Вода поднималась, смывая с берегов одинокие бревна, которые лежали еще со времен паводка. Течение подхватывало, и они словно торпеды неслись по бушующим водам реки Дудинки и скрывались под белыми бурунами Енисея. На нем от берега до берега гуляли «беляки». В конце дня (это была первая декада сентября) из-за Грибанова мыса, лежащего в тридцати километрах от Дудинки, появились два теплохода-плотовода, а за ними растянулся почти километровой длины плот с круглым лесом. Пароходы двигались быстро. Их несло все увеличивающееся течение воды в Енисее. Вскоре они приблизились к Дудинскому порту и стали разворачиваться для заводки плота в реку Дудинку на плотовый рейд, находящийся в полутора километрах от ее устья. Команда сплавщиков лесной биржи уже давно ожидала его на месте причала. Мощным течением енисейских вод плот развернуло поперек Енисея, а стремительные потоки из реки Дудинки вытянули плот в прямую линию. Войдя в устье Дудинки, плот остановился, несмотря на огромную силу двух теплоходов. Казалось, буксирный трос, натянутый как струна вот вот оборвется, и вся масса плота, подхваченная бурным течением, унесется по Енисею в далекое Карское море. В этом случае никто и ничем не смог бы его задержать. Но уже спешили на помощь другие теплоходы. Прижавшись к его бортам и прикрепившись своими буксирными канатами напряглись, и плот медленно стал входить против течения в реку Дудинку. Он так медленно продвигался, что только внимательно приглядевшись можно было заметить, что он движется. Заводка плотов на место их постановки для речников ЕНУРПа, также и работников Дудинского порта, одна из самых тяжелых и неприятных операций. Как правило, требуется подключение дополнительных теплоходов для продвижения плота против течения, которых не всегда имеется в достатке и тогда заводка его растягивается на длительное время.

Кроме этого, во время проводки плота от устья Дудинки до плотового рейда (места его установки) прекращались все судоманевровые рабо-

ты. Вопрос о переносе плотового рейда в период советской власти, когда плотов приплавляли много, ставился неоднократно. На этом настаивали работники пароходства, и руководство Дудинского порта уже много лет прорабатывало вопрос по изысканию и обустройству наиболее удобного места плотового рейда. В восьмидесятые годы проект был разработан. Новое место стоянки плотов определялось в непосредственной близости от устья реки Дудинки на ее левом берегу.

Работы начались незамедлительно. Мощные «Катерпиллеры» рыхлили грунт и автомашинами вывозили его на строящуюся взлетную полосу аэропорта. Выкопали огромный котлован глубиной до шести метров, шириной более шестидесяти метров и длиной около восьмисот метров. Такой массы грунта хватило с избытком на строительство взлетной полосы в несколько километров. Но плотовый рейд недостроили. Не смогли, вернее не сообразили, как убрать земляной вал, разделяющий котлован от реки Дудинки. Когда же решили земляной вал срыть с помощью землеройного судна, так называемого «Земснаряда» нагрянула перестройка, а за ней грабительские ельцинские реформы, необходимость в новом плотовом рейде отпала, приплавлять стали по три плота (вместо десяти - двенадцати). Кроме того, появился новый вариант - перевозить лес на судах. Так и остался плотовый рейд на старом месте, а выкопанный котлован с годами заилило. Такая же участь постигла и взлетную полосу: самолеты с ельцинских времен перестали летать. Пришли времена разрухи.

Вернемся назад в сентябрьский день 1985 года.

Плот заводили очень долго. Несколько раз он бортом наваливался на «Регулирующий» остров (расположенный в устьевой части реки Дудинки посередине ее русла), и тогда все суда «прилепившиеся» с боков стаскивали его с мели. Иногда получалось быстро, но один раз так «засели» на берегу, что при стаскивании разорвали шлаговочный трос и бревна валом поплыли в образовавшуюся щель. Буксиры остановились. Пока соединяли разорванный трос, заделали и скрепили его с бортовыми креплениями, наступила глубокая ночь. Дождь лил не прекращаясь ни на минуту. Все работники сплава со старшим мастером Умновым Владимиром Васильевичем промокли насквозь. Не спасли от дождя прорезиненные куртки. Вода затекала за воротники, струи дождя хлестали в лицо. Наконец, головной буксир дал гудок. Снова стали затаскивать плот. Натянулись тросы, и плот медленно пошел к плотовому рейду. Волны перехлестывали через передние секции плота с такой силой, что часть бревен скрылась под водой. К утру протащили мимо «Регулирующего» острова и приблизились к месту установки. Выше острова течение было несколько меньше. С рассветом всю массу плота поджали к берегу и закрепили за специальные тросовые устройства, выкопанные в земле, недалеко от его уреза. Их называют по-разному: «мертвяки» или «якоря». Это был последний плот в ту навигацию. Его долго ожидали, выгрузочные механизмы простаивали. Сразу же с утра решили разводить плот секциями к местам выгрузки. А дождь продолжал лить. Можно было не приступать к разборке плота, времени до морозов было еще достаточно, начиналась только вторая декада

сентября, но на Таймыре капризы природы непредсказуемы, и начальник «лесного» приказал начинать вычалку. Однако вычаливать секции из плотолент оказалось невозможным. Все плотовые крепления были так сильно натянуты течением, что рассоединить одну секцию от другой не смогли. А дождь не переставал. Вода заметно прибывала, и течение усиливалось. Руководитель сплавных работ Умнов Владимир Васильевич, возвратившись с командой сплавщиков с плотового рейда, доложил, что расчалить плот рабочим не удалось и предложил эту работу сейчас не производить: «При таком стремительном течении вычаленную секцию вместе с катером выбросит на «Регулирующий» остров или унесет в Енисей. Переплывая на катере реку Дудинку нас так «мотало», что при подходе к причалам чуть не швырнуло на бетонный оголовок».

«Ну, раз такое положение, отпустите всех рабочих домой, пусть отдыхают, тем более что сегодня суббота, оставьте одно дежурное звено, - согласился с ним после некоторого молчания начальник «лесного» и добавил: – А я поеду на Алыкель встречать супругу, она сегодня вечером должна прилететь». На том и порешили. Все работы прекратили, пока не стихнет разбушевавшаяся погода. Под вечер начальник «лесного» упросив начальника биржи Бабикова Виктора Александровича свозить (у того была своя машина) его на Алыкель и привезти супругу.

Темнота. На дороге сплошные лужи. По крыше машины барабанит дождь. Ехать в такую погоду одно наказание. Но тут уж ничего не поделаешь, добираться до Алыкеля в то время можно было «частным извозом», другого транспорта кроме электрички, которая пойдет только через сутки, не было. Самолет, несмотря на дождь и ветер, прилетел вовремя. Поеживаясь и проклиная таймырскую погоду, пассажиры один за другим входили в аэровокзал. Сколько ни всматривался начальник «лесного», его супруга не появлялась. Уже выдали всем пассажирам вещи, многие разъехались. Одни в Норильск, другие пристроились в зале ожидания. Он несколько раз обошел аэровокзал, заходил в багажное отделение, но все было напрасно. Супруга не прилетела. Убедившись, что дальше ждать бесполезно, поехали назад в Дудинку. Тяжелое чувство было у начальника «лесного». Что же случилось? Каких и сколько мыслей не приходило в его опечаленную голову. Не перескажешь. Но самое неприятное ожидало его впереди.

Отпустив Бабикова (тот должен был заехать в операторскую, прежде чем поставит машину в гараж) он поднялся на свой этаж. В двери торчала записка. Развернул, но прочитать не смог. В коридоре горела тусклая лампочка. Открывая дверь слышал как трезвонил телефон. Он открыл обе двери и пока не снял трубку телефон продолжал звонить. Поднося трубку к уху уже слышал взволнованный голос оператора Кудановой Тамары Федоровны. «Господи! Ну, что же она сейчас скажет? Может, какие то неприятные сведения, уже поступившие в операторскую (не зря записку сунули в дверь), о его жене». Он был несколько суеверен и любые непредвиденные неожиданности воспринимал как превратности судьбы. «Товарищ начальник, - кричала Куданова, -сорвало плот и навалило на «Регулирующий» остров, закрыло все проходы, остановились все работы на перестановке су-

дов. Несколько самоходок не могут выйти от причалов «высокой воды». Он увидел в зеркале свое побледневшее лицо и почувствовал, как сильно заколотилось сердце.

«Подожди, не кричи, дай одуматься», - совсем тихо проговорил он.

«Все начальство всполошилось. Начальник порта Кизим позвонил и сказал, что скоро будет на месте аварии», - продолжала говорить Куданова. Начальник «лесного» уже не слушал ее. Он ясно представлял картину всего происшедшего и, уже ни о чем больше не думая, сказал: «Сейчас к тебе должен подъехать Бабиков, скажи чтобы позвонил мне». Он решил вместе с Бабиковым приехать на причал и оттуда уже с начальником порта отправиться на место аварии.

«Бабиков здесь, - сказала Куданова, - а диспетчер порта только сейчас позвонил и сказал, что Кизим уже выехал к твоему дому. Надо вам выходить. Машина, наверное, стоит у вашего подъезда».

Выслушав ее высказывания, начальник попросил ее передать телефонную трубку Бабикову. Когда тот подключился, сказал ему несколько слов: «Оставайся в операторской. Возможно придется вызывать рабочих». Он говорил так, хотя понимал что в непроглядную темень на бушующей реке ничего не удастся сделать. Ему вдруг стало нестерпимо душно. Неожиданно вспомнил, что десять лет назад, возвратившись с Алыкеля, куда ездил провожать своего друга Куприянова Василия Михайловича (много лет проработавшего председателем окружного суда), узнал, что в его отсутствие на лесозаводе был пожар и сгорела опилочная галерея с бункером. «Боже! Это какое-то наваждение. Стоит только отлучиться на этот Алыкель, как обязательно что-нибудь произойдет», - горько сетовал он и в это время обратил внимание что в руках держит бумажку вынутую им из двери. «Как мог забыть про это и что там», - думал он, разворачивая ее с каким-то томительно тревожным чувством.

В ней было всего несколько слов: «Пришла срочная телеграмма, позвоните на телеграф».

«Почему срочно» - с увеличивающейся тревогой думал он, набирая нужный номер.

Было два часа ночи. С телеграфа долго не отвечали. Наконец, хриплый женский голос произнес: «Телеграф слушает». Объяснив причину своего звонка, начальник стал ждать. «Что там могло произойти, что случилось?» - думал он непрестанно, пока не услышал успокоительный ответ: «Задержалась. Прилетаю этим же рейсом, на следующий день».

Позабыв поблагодарить телефонистку, начальник повесил трубку и облегченно вздохнул. «Ну, а теперь надо идти в ад», -думал он спускаясь по лестнице.

У подъезда стоял автобус. Забравшись туда он увидел, что кроме начальника порта в нем находился главный инженер Колегов Иван Степанович. Тот был недавно принят на эту должность и для самоутверждения старался присутствовать во всех аварийных ситуациях.

«Ну, вот! Главный лесник явился, можно ехать», - сказал Александр Григорьевич, и автобус тронулся. Пока ехали до причала, возле которого ожидал катер, все молчали. Никто не знал о чем говорить.

У начальника «лесного» или как его назвал Кизим «главный лесник» в голове была одна мысль: «Только бы не стянуло плот с острова. Если течением оборвало все тросовые крепления на плоторейде, то из узкого фарватера ничем не удерживаемый плот вынесет, как огромную торпеду, и, выбросив его в Енисей, понесет, сметая все на пути. Никакие буксиры, теплоходы не смогут удержать такую махину сплоченного леса. И будет тащить его по Енисею к Карскому морю до тех пор, пока не выкинет на отмель берега или же течением не «посадит» на островок, каких много имеется на енисейских разливах. А оттуда никакими силами его не притащить. Разве что мелкими секциями. Но на такие операции потребуется очень много времени и вряд ли до ледостава что можно будет сделать, даже при помощи всех имеющихся буксиров. О затратах он не думал. Добро народное, государственное спасать его будут все. И никто не «обанкротится», не разорится, независимо от того, какие средства будут затрачены.

Ну, а если ничего не получится и плот зазимует во льдах, тогда его по весне переломав ледоходом унесет весь в открытое море. Но об этом он старался не думать.

Возле причала стоял в ожидании катер. Его раскачивало, и перейти на палубу было не так просто.

Наконец все перебрались и, ухватившись за поручни, сгрудились возле рулевой будки. Катер, переваливаясь с борта на борт медленно двинулся против течения к «Регулирующему» острову, где был прижат караван леса, длиной восемьсот метров и шириной семьдесят метров, загородив проходы для судов в обоих рукавах раздвоенной речки Дудинки. Отойдя от причала, все почувствовали силу разгулявшейся погоды. По радиосвязи из диспетчерской порта сообщили Кизиму, что на рейде сорвало с якорей самоходку, а от причала оторвало баржу БО и понесло по Енисею. Отдав соответствующие распоряжения, начальник порта вылез из рубки. Вода в реке неиствовала, ветер усилился до штормового. С трудом подплыли к плоту. Катер упершись носом в плот работал на дизелях. Привязаться не было возможности, плот шевелился, как живое чудовище. Приглядевшись, увидели: плот навалился всей массой на остров, обжал его с обеих сторон и прочно «засел» на берегах. Вода стремительно неслась, волны перехлестывали через сплоченные пучки бревен. Казалось, еще немного усилий и плот вместе с островом помчится в темноту ночи, захватив с собой все пришвартованные к причалам самоходные и несамоходные суда. Начальник «лесного» хотя в Бога не верил, но иногда в трудные минуты разговаривал с ним. Сам того не замечая, молил: «Господи! Ну что тебе стоит утихомирить эту стихию, пусть она беснуется где-нибудь в глубине тундры, или вообще усмири ее. Ведь для тебя сделать это просто. Если ты зажигаешь и тушишь во Вселенной звезды, можешь создавать и разрушать целые миры, то управься с этой речкой, заставь ее успокоиться». Для чего говорил это - сам не знал. Но вроде бы становилось спокойнее. Когда присмотрелся внимательнее, ему показалось, что течение стало медленнее. Ненамного, но все же. Даже испугался. Неужели Господь услышал? Хотел пойти к рулевому посоветоваться. Но, осмотревшись вокруг, заметил, как на другой стороне

речки, возле бревнотасок, наплавные сооружения с осветительными мачтами начали двигаться и поплыли по течению. Сообразил быстро: течение сорвало заградительные ширмы, запани и расформировочные дворики, что перегораживали правую прорезь реки. Оттого и течение ослабло на плот в основном русле фарватера.

Никто не задавал вопросов, никто никого не спрашивал. Все понимали, что в такой обстановке что-либо изменить нельзя.

Начальник порта Кизим распорядился: «До утра никаких работ не производить. Буксирный пароход «Таежный» оставить возле плота для охраны. На всякий случай». Хотя было ясно, что он мало чем поможет, если плот сорвет.

В четыре часа ночи от плота уехали.

В восемь часов утра на планерке дежуривший ночью Бабиков доложил что никаких происшествий не случилось. Плот находится на прежнем месте. Час назад предупредил мастера сплава Умнова, чтобы тот оповещал рабочих сплавщиков и вызывал их на работу. Когда закончилось короткое утреннее совещание, Умнов уже подошедший к этому времени, сообщил что бригада сплавщиков в полном составе ожидает в раскомандировочной.

Понимая серьезность обстановки, начальник сам вышел к ним. Он очень давно работал и хорошо знал каждого. Ожидая, пока утихнет гомон, некоторые переговаривались на другом языке, он, вглядываясь в лицо каждого, вдруг с какой то ясностью осознал, что они все разные. Здесь были татары, грузины, украинцы, молдованин, даже черкес. А ведь никто никогда не делал между ними никакого различия, и он этого не замечал. Все были одинаковы.

Вспоминая те далекие времена, с глубоким чувством удовлетворения сознаешь, что самое большое достижение советской власти (несмотря на множество ее недостатков) заключается в том, что она сумела сплотить всех людей различных наций, рас, национальностей в единый советский народ. Оттого не было никаких междуусобиц, терроризма, войн, убийств и прочих мерзостей капиталистической системы. Теперь все стало другим. Горько сознавать, что «демократическая воля» все перевернула и девяносто процентов людей живут с неизбывной думой: «Как выжить? Как уцелеть?». Чего многим не удается. И это правда. Жестокая, у которой не бывает нежности и жалости. И только очень небольшая группа людей имеет все. Но живет и она без радости: Кому все дозволено и доступно, тот не может быть счастливым.

С рассветом приступили к расчаливанию плота на бушующей и беснующейся реке. В таких случаях нет инструкций, правил или вообще подобных примеров по выполнению данной работы. Лучший вариант - дождаться хорошей погоды и в спокойной обстановке развести плот по правилам сплава. Но в этой ситуации ожидать было нельзя. Плот закрывал все выходы для судов. К этому времени скопилось несколько разгруженных самоходок и такое же количество находилось в ожидании разгрузки. Кроме того, были закрыты два больших теплохода. Звонки, телеграммы летели со

всех сторон. Звонили из Норильскснаба,звонил сам директор комбината. Каждый час простоя судов стоил больших денег.

В те времена все коллективы, все люди работали с каким-то необъяснимым напряжением (не только на судовых работах) а на всех объектах. В качестве небольшого примера. В наиболее бурные годы развития и строительства городов Норильска и Дудинки, Норильского комбината бригада грузчиков, руководимая Шигаповым Якубом Исмагиловичем, отгружала за один месяц лесопиломатериалов столько, сколько сейчас отгружает весь коллектив лесников за целый год.

Правда, рабочих тогда было больше, но погрузочно-разгрузочные механизмы были тогда и теперь одни и те же. Надо отдать должное, бригада Якуба Шигапова была одной из лучших не только среди лесников, но и среди всего коллектива порта.

Валентина Строцкая, совсем молодая девчушка, работавшая в этой бригаде крановщицей при необходимости оставалась на погрузке лесоматериалов на вторую смену (когда по непредвиденным обстоятельствам не приходил ее сменщик). Причем никто не настаивал на этом. Она делала такое добровольно, понимая сколько времени будет потеряно понапрасну пока начальник лесобиржи найдет ей замену. И при этом никогда не требовала вознаграждений за излишне отработанное время. Такое было присуще советскому человеку.

На расчалку плота направили весь имеющийся в порту буксирный флот. Начальник «лесного» с мастером Умновым занимались организацией работ на сплаве. Надо было начинать. Но окончательного решения как развести плот не было. Решили действовать самым простым способом. Прикрепив трос к последней от «хвостовой» части плота секции перетащили второй его конец на противоположный берег и закрепили за специально вкопанный в землю «якорь». С помощью двух катеров «Сабеев» и «Дудинец» сжали плот и отчалили крайнюю секцию. Затем катера оттянули ее немного и секция леса в объеме две тысячи кубометров, подхваченная течением оторвалась от плота и, поддерживаемая катерами, поплыла. Удерживающий трос натянулся, и течение прижало ее к самому берегу. Закрепив эту секцию леса еще одним тросовым канатом, поняли, что это наиболее надежный вариант расчалки плота. Таким способом, одну за другой вычаливали из плота секции и уводили от «Регулирующего» острова к берегу по отдельности закрепляя за береговые «мертвяки».

Во время расчалки секций лопнул бортовой трос, соединяющий между собой плотоленты, разорвались в некоторых местах ошлаговочные крепления. Пришлось снова поджимать к берегу вычаливаемую секцию и приступать к ремонту разорванных плотовых креплений.

Это неблагодарная и трудоемкая работа. Все операции приходится выполнять стоя в воде, иногда проваливаясь по пояс. Можно было бы перетаскивать секции и без ремонта, но тогда были бы потери древесины.

На такое никто бы не решился. Все придерживались принципа: «Народному добру полную сохранность». К этому призывала власть, да и спрос за разгильдяйство и халатность был довольно строгий.

Ко второй половине дня часть плота, загораживавшая фарватер, была разведена и проход для судов освобожден. Но работ по устранению разрушений от непогоды было еще немало. Случись такое в наше капиталистическое время, обязательно бы кто-то (обанкротился) «вылетел в трубу».

Не обошлось и без курьезности, которая могла бы закончиться очень печальным концом.

На плавучем кране, который предназначался для выгрузки леса находились несколько рабочих сплавщиков, которых нужно было переправить на плотокараван. Когда катер подошел к нему, то течением его бросило на борт крана. Кран качнуло. Стоящий у самого борта сплавщик, Андрей Г. (фамилию не называю, он и сейчас проживает в Дудинке), кувыркнулся в воду. Стремительным течением его пронесло под днищем плавучего крана и выбросило на противоположной стороне. Как он не захлебнулся? Никто не может объяснить. Его поднесло к береговым бонам, и он, уцепившись за них, продержался пока подбежавшие рабочие помогли выбраться. Единственная его утрата в этом «заплыве» - потерял сапоги.

Уже под вечер начали восстанавливать разрушенные водой боновые заграждения, устанавливать рабочие дворики, натягивать ширмы. У сплавщиков давно закончился рабочий день, но они без всяких дополнительных распоряжений начальства добровольно остались на вторую смену и добросовестно выполнили самую трудоемкую работу. К утру все было восстановлено и пришедшие рабочие начали выгружать бревнотасками бревна из аварийного плотокаравана. Погода после длительного «разгула» смилостивилась, и наступили ясные дни.

Авария была ликвидирована. Правда, потом много дней рабочие занимались скаткой бревен, занесенных течением на берега реки, вылавливали их от причалов и прижавшихся к бортам судов. Тяжелая это работа: катать по земле бревна и заталкивать в отгороженную на воде ширму, иногда прогоняя по мелководью много-много метров. В мыслях, может, многие и возмущались проклиная начальников всех рангов, но в открытую никто не протестовал. Почему тогда было так и отчего вдруг переменилось сейчас? Не надо ломать голову.

В прошлые времена, хоть и напускали «тумана», но говорили со всех «высоких и низких» трибун, что все богатства принадлежат народу и работать должен каждый на себя и социалистическое общество. В определенной степени тут много было правды.

А сейчас в открытую утверждают, что рабочие - это наемная сила, работают на хозяина (работодателя - капиталиста) и все богатства принадлежат ему. Вот и все.

Ничего особенного в этой аварии с плотом нет. Разве мало подобных явлений происходило на сплавных работах в нашей матушке России в далекие советские времена, когда заготовлялись сотни миллионов кубометров. Главное, что надо отметить, хоть с лесом, хоть с другими материальными ценностями - это добросовестное отношение к их сохранности (всего народа), а в аварийных ситуациях высокую ответственность за их спасение.

Простой трудовой народ считал все земные блага собственным достоя-

нием и в меру своих возможностей не допускал их порчи, уничтожения, хищнического разбазаривания.

А что же теперь, когда все стало принадлежать отдельным лицам, неведомо какой национальности?

А ничего. Все разваливается, разрушается.

А лес?.. Уходит за границу воровским способом, а что не своровывается, то сгорает. Причем большинство пожаров происходит из-за преступной халатности, а порой поджигают специально, от озлобленности.

Ну, а люди? Из прежнего поколения немного осталось. А новое поколение людей не имеет цели. Живут по принципу: личная нажива, прибыль, выгода - основные постулаты капиталистической идеологии. Прежних людей с самых малых лет воспитывало общество. Начиная с детсадов, пионерских организаций, комсомоле, школах и т.п. Воспитанием молодого человека занимались все. Причем самым серьезным образом. Так создавалось новое поколение, советское общество, где основным девизом человека был моральный кодекс строителя коммунизма, позаимствованный из религиозных постулатов.

Сейчас надсмехаются: уроды, додумались, чтобы всем было хорошо. Чтоб грязная уборщица Марья жила также, как и я «изысканный, интеллигентный» демократ. Может, и не надо было всех делать одинаковыми. Только что может сделать без «грязной Марьи» переучившийся в заграничных институтах интеллигент-демократ (как хочется написать их фамилии, но не делаю, потому что для всех места не хватит), если его там не научили как огород вскопать или печку растопить. Скорее всего «копыта отбросит». Ну, об этом поразмышляйте на досуге сами.

Цветы запоздалые

Колокольчики мои
цветики лесные…

Из всех времен года люблю на Таймыре больше всего осеннюю пору. Она начинается много раньше чем в центральных областях России. Уже с середины августа кое-где на кустарниках появляются пожелтевшие листочки, лиственницы начинают покрываться чуть заметной позолотой. По ночам становится холодно, иногда в низинах траву серебрит изморозь, которая с появлением солнечных лучей исчезает. Воздух по утрам удивительно чист и наполнен прохладой. Все чаще в небе летают стайки уток: подходит пора отправляться им в дальний путь.

Тундра одета сказочным разноцветьем трав и бесподобной красоты ковер простирается до самого горизонта. И, кажется, нет ему ни конца, ни края. Как-то раз в августе месяце прошлого года я удалился довольно далеко от Дудинки и забрел на небольшую лужайку, всю заросшую травой и большим разнообразием цветов. Много было иван-чая, пижмы, проглядывали головки ромашек, фиалок, виделись какие-то растения с синими венчиками и много других, названия которых я не знал; на самом краю лу-

жайки росло несколько кустиков колокольчиков. Они были разной окраски – одни лилового цвета, а больше всего темно-голубых. Любуясь красочным великолепием созревшей красоты, я неожиданно мыслями перенесся в далекие годы и вспомнил случай из жизни совсем незнакомых людей, у которых колокольчики пробудили светлое чувство любви, к сожалению, не имевшей продолжения. Прошло с тех пор без малого сорок лет, а трогательная история, услышанная только один раз высветилась в памяти с мельчайшими подробностями.

Но прежде чем приступить к ее изложению, придется сделать некоторое отступление.

За долгие годы жизни на севере мне довелось многое повидать. Постоянно работая в Дудинском порту на довольно большом участке лесоперерабатывающего производства, я был знаком с множеством разных людей, приезжавших из самых отдаленных краев нашей большой страны и разъезжавшихся во все части света, проработав не один десяток лет. Некоторые приезжали всего на сезон и, закончив лесную навигацию, уезжали по осени домой. Сейчас невозможно сказать, из каких только городов и сел не приезжали люди работать в холодном Заполярье. Порой выезжая на «материк», встречались бывшие лесники в таких захолустных деревушках, что и подумать не смог, что здесь могут быть земляки -северяне.

В 60-е, 70-е годы прошлого века в самый бурный расцвет строительства и развития Таймыра, а главное, городов Норильска и Дудинки, мне приходилось в зимний период выезжать в южные районы Красноярского края для заключения договоров с лесозаготовительными и деревообрабатывающими предприятиями на поставку круглого леса и пиленых материалов.

Доводилось бывать во многих районах по Енисею, но больше всего в городах Енисейске, Лесосибирске и поселке Стрелка на Ангаре. В этих поездках всегда принимали участие работники Норилскснаба из отдела стройматериалов. Каждый раз возглавлял нашу группу начальник этого отдела Нешин Геннадий Николаевич. С ним было легко. Он много лет до приезда в Норильск жил в Енисейске работал на многих лесных и лесопильных заводах, был знаком с многими людьми из лесопромышленных городов и поселков. Его уважали за неуравновешенный характер (мог неожиданно вспылить, накричать и тут же утихомириться) и общительность: по любой причине, а они всегда находились, мог организовать с необыкновенной быстротой коллективный «выпивон». Когда мы приезжали в Енисейск, то останавливались в деревянной гостинице (название ее не помню). В ней всегда было холодно и очень много клопов. Поэтому, чтобы уснуть, всегда употребляли горячительную смесь. В те годы, ходовым продуктом был спирт. Надо отдать справедливость, хорошо очищенный. Не было нужды, какую имеем сейчас при демократическом разгуле, опасаться что это «зелье» приготовлено из различных непереваривaемых организмом веществ. Енисейск – городишко небольшой, во многом уступает по числу жителей Красноярску и Норильску, хотя много старше их. В те годы я видел (не знаю как сейчас) в основном деревянные одноэтажные дома. Так как мы приезжали в самые холодные месяцы – декабрь - январь – улицы были без-

людны.

Достопримечательностью этого города были купеческие дома, в которых помещались партийные, советские органы или учреждения хозяйственного назначения. Они были мало переоборудованы, и внутреннее обустройство почти в первозданном виде (зеркала стояли во всю стену с пола до потолка) сохранилось с купеческих времен. Мне очень понравилась церковь, построенная на красивом возвышенном месте. Когда у нас было свободное время, а его было много, мы ходили по знакомым Геннадия Николаевича. Но мне такое времяпровождение не нравилось, каждое посещение сопровождалось выпивкой. Я старался придумывать различные причины, чтобы отговорить его от всяких визитов, но когда такое не помогало ссылался на какую-нибудь болезнь или желание познакомиться больше со старинным городом. Однажды он завел меня в небольшое здание, где по его словам выступал перед рабочими возвратившийся из ссылки Яков Михайлович Свердлов. Было ли такое на самом деле или он мне пересказал слышанное от кого-то – не знаю, потому что никакой вывески подтверждающей это событие на стенах этого здания я не увидел.

Самым многолюдным сборищем людей, как мне показалось, был ресторан «Сибирь». В нем почти всегда, и днем, и вечерней порой, было много народа. Основными посетителями были начальники леспромхозов, приезжавшие с компаниями из глухих таежных мест. Кутили они не хуже дореволюционных купчишек и промышленников, Правда, и те и другие были мелкого пошиба людишки. Более влиятельные в те годы отправлялись бражничать в Москву или Петербург, наподобие теперешних демократических «олигархов», уезжающих на увеселительные развлечения с целой толпой «моделей» на Канары, Лазурный Берег, в собственные поместья где-нибудь на берегу Черного моря или Крыму.

В ресторан «Сибирь» мы ходили обедать и ужинать. Однажды поздним вечером, возвратившись из поселка Стрелка, что расположился на берегу Ангары, мы пришли в «Сибирь» поужинать. Мороз в этот день был на удивление крепким, и здорово промерзши в дороге, мы заказали по двойной порции горячительных напитков. Может быть, помешал сильный мороз или тому были другие причины, но в этот раз нам пришлось бражничать почти в полном одиночестве. Незаметно к нашему столу подошел довольно дряхлого вида старик. Одежда на нем была поношена, в нескольких местах были заплатки. Геннадий Николаевич, увлекшись ужином, не обратил внимания на подошедшего, а я, не зная, как поступить, спросил у него: «Вы, может быть, место ищете, так сейчас свободных полно».

«Нет, не то. Я к Геннадию Николаевичу», - ответил незнакомец. Услышав свое имя, Нешин спросил: «А что ты от меня хочешь? И откуда ты меня знаешь?». Незнакомец улыбнулся, показав единственный зуб во рту и, немного помолчав, спросил: «Гена, неужели ты меня не узнал? Хотя ничего нет удивительного, время прошло довольно много, и я, видимо, здорово постарел».

Геннадий Николаевич, присмотревшись внимательно, с недоверием произнес: «Михаил Ефимович! Неужели это ты? Присаживайся с нами», -

быстро проговорил он, не дожидаясь, что ответит подошедший человек.

Михаил Ефимович (как того назвал Нешин) медленно присел на стул и, пожевав губами, ответил: «Я это Гена, я. Никогда не думал, что доведется еще встретиться. Тебя уже давно нет в нашем городе, а я все думал, что больше и не заглянешь в наши края».

Михаил Ефимович умолк, и видно было, что глаза его заслезились. Сначала прокатилась одна слеза, затем вторая, он как то судорожно всхлипнул и, стараясь подавить рыдания, замолчал. Геннадий Николаевич ни о чем больше его не расспрашивая, налил в свободный стакан наполовину разведенного спирта и протянул его Михаилу Ефимовичу. Потом налил мне, себе и суетливо проговорил: «Ну, давайте мужики выпьем за встречу. Я рад что встретил тебя, хотя ,откровенно говоря, узнал с трудом». Когда выпили, то стало заметно, как Михаил Ефимович начал хмелеть.

Геннадий Николаевич, указывая то на колбасу, то на рыбу, сказал ему: Ты хоть что-нибудь закуси». Михаил Ефимович грустно ответил: зубов нет, чем буду кусать. Кроме каши да щей уже который год ничего не ем». Геннадий Николаевич позвал официантку и попросил чтобы принесла тарелку щей и каши. «Это для дедушки? - спросила молодая женщина и добавила: – Он кроме такой пищи у нас ничего не ест». Видимо, она знала Михаила Ефимовича. «Сейчас принесу», - улыбнулась и тут же ушла. Мы еще просидели с полчаса, узнали что Михаил Ефимович по-прежнему живет в своем старом домишке, уже давно на пенсии, одинок и ждет не дождется когда придет его «конец». После второго стакана он совсем захмелел, и мы поняли, что до своего дома он без помощи не дойдет. Он что-то пытался рассказать из прошлых времен, путался в словах, плакал, обижался на судьбу и просил у нас прощения за его недостойное поведение. Несколько человек, находящихся в ресторане, стали поглядывать в нашу сторону. Подошла официантка и попросила нас: «Вы его не оставляйте, а то уйдет на кладбище и там замерзнет. А дом его от нас недалеко, я могу показать». Видимо, Михаил Ефимович бывал в этом ресторане часто, и его здесь жалели. «Не надо, я знаю где он живет, бывал у него», - ответил Геннадий Николаевич и, обратившись ко мне, сказал: «Давай пойдем, доведем старика – тут рядом». Мы приподняли старикашку, он совсем оказался легким и, поддерживая за руки, вывели из ресторана.

Домик его действительно находился поблизости, и вскоре мы очутились возле него. По тем временам (мне так показалось) он имел довольно приличный вид. Вокруг дома был небольшой забор с калиткой, которую ветром распахнуло, и вход был свободным. Мы вошли внутрь полисадника. Поднявшись на крыльцо, Геннадий Николаевич спросил: «Михаил Ефимович, а где прячешь ключ от двери?». Тот, немного помолчав, видимо собираясь с мыслями, что ответить, сказал: «Я дом не запираю, воровать у меня нечего, да и воришки вроде бы перевелись, давно не слыхать чтобы кого-нибудь обворовали». Михаил Ефимович на свежем и довольно морозном воздухе заметно протрезвел и стал разговаривать более вразумительно.

Когда вошли внутрь дома, то желанного тепла не ощутили, было, мо-

жет, чуть теплее чем на улице. Домик состоял из трех небольших комнат, в одной стояла большая кирпичная печь. Возле нее лежали колотые дрова. Видимо, Михаил Ефимович принес их еще вчера, но вместо того чтобы, проснувшись утром, истопить печь ушел по своим знакомым. Нешин, как более предусмотрительный, захватил с собой кое-что из продуктов и бутылку неразведенного спирта. Осмотревшись и поняв, что домашним теплом не согреться, достал из сумки бутылку и стал искать чем бы ее открыть. Я категорически запротестовал: «Ты что хочешь замерзнуть здесь. Выпьем по стакану, на таком холоде сразу уснем, а завтра от нас останутся одни «кочерыжки». Нет! Так не пойдет. Давай сначала растопим печь, а там видно будет, что дальше делать». Михаил Ефимович как только пришел в свои «апартаменты» присел на кровать, немного о чем-то поговорил с собой, повалился спать, не сняв даже валенки.

Печка разгорелась быстро, дрова были хорошие из лиственницы. Но их было мало, чтобы нагреть остывшее помещение. «Давай выйдем, посмотрим, наверняка у него есть еще дрова», - сказал я. «Должны быть, - утвердительно ответил Нешин, -у него здесь еще остались знакомые лесники. Не должны его бросить». Мы вышли на улицу и, зайдя за тыловую часть дома, увидели две больших поленницы колотых дров. «Вот видишь какие у него запасы, на всю зиму хватит», - удовлетворенно сказал Нешин. С полными охапками мы зашли в дом. Дрова в «русской» печи полыхали, но тепла еще не было. Мы накидали дров, скинули верхнюю одежду и сели на диван. Геннадий Николаевич после некоторого молчания проговорил для себя: «Как же здесь все изменилось». Потом поднялся подошел к окну и задумался. Я подошел к печи. Из нее несло жаром, а кирпичные стенки начали нагреваться. Дом был в хорошем состоянии, построен еще до революции. Тепло стало накапливаться. Понемногу мы отогрелись. Разбудили Михаила Ефимовича. Он сел и долго не мог понять, где он и что с ним происходит. Наконец, очухавшись и придя в себя, разглядел Геннадия Николаевича. Снова прослезился и стал упрашивать нас, чтобы остались у него и заночевали до утра. Мы и сами понимали, что оставлять старика в таком виде (разве могли подумать, что он с двух стаканов так опьянеет) нельзя. Мало ли что может случиться, не приведи Бог, еще угорит от печи. Поэтому согласившись с его просьбой, стали располагаться ко сну. У Михаила Ефимовича в небольшой комнатушке был старенький диван. Я обустроился на нем, Геннадий Николаевич полез на печь. Мы проснулись в девятом часу утра. Было еще темно, но Михаил Ефимович уже встал. Скипятил чай, пожарил картошку. Успел даже побриться. В доме было тепло. Мы быстро встали, и так как нам нужно было поспеть к десяти часам на переговоры, выпив по два стакана чая (Михаил Ефимович от предложенного нами спирта отказался), попрощавшись, ушли. Когда отошли на некоторое расстояние от дома, я спросил у Нешина: «Откуда ты его знаешь?».

Геннадий Николаевич отрешенно ответил: «Я с ним в леспромхозах и лесозаводах поработал много лет. Хороший мужик. Ему сейчас немного за шестьдесят, а выглядит на все девяносто. Жизнь его измотала. Один живет уже давно». Я хотел расспросить о Михаиле Ефимовиче более подробно,

но в это время к Нешину подошел какой-то его знакомый, и разговор на эту тему не состоялся.

Через некоторое время мы с Геннадием Николаевичем уехали в поселок Стрелка, оформили документы на пилопродукцию и вечерним самолетом из Енисейска улетели в Красноярск. На другой день мы уже были на Таймыре. Он в Норильске, а я в Дудинке.

Прошел год. И снова мы с ним полетели в таежный край, чтобы с некоторыми леспромхозами заключить договоры на поставку круглого леса, а в Енисейск и Стрелку для получения пиломатериалов и шпал.

Помотавшись на всех видах транспорта, вплоть до вертолетов, побывав в самых глухих таежных местах, где проживали выносливые, крепкие и очень простые люди, насмотревшись на их быт, незатейливое жилье (но надо отдать справедливость, что в каждом селении были клуб, школа, органы советской и партийной власти), небольшие гостиницы, скорее похожие на «заезжие дворы», мы возвратились в Енисейск, чтобы там завершить порученные нам дела. Их оставалось не так много. Был январь. Так же было очень холодно, как и в тот прошлый наш приезд. По вечерам темно. На улицах горели одинокие фонари (электрические лампочки). Но здесь в лесной глуши был порядок, никто не испытывал страха, возвращаясь поздней ночью по полуосвещенным улицам. Не было грабителей и хулиганов. О чем сейчас вспоминаю с удовлетворением. Хотя многие выпивали изрядно.

В этот раз работа у нас не ладилась. Особенно после новогодних праздников. То не могли выехать из дальних леспромхозов из-за отсутствия транспорта, то задержались в Стрелке по причине болезни заведующего складом, а когда тот наконец появился, директор лесозавода заявил, что уже поздно: рабочий день закончился и пора встречать новый год «по старому». Как только приехали в Енисейск, то сразу же пошли в ресторан «Сибирь». Народу в этот раз было много. Мы с трудом отыскали два свободных места и, мысленно выругав все на свете, стали ожидать официантку чтобы сделать заказ. Прошло довольно много времени пока к нам подошла та же самая женщина, что обслуживала нас в тот раз, когда с нами был Михаил Ефимович. Геннадий Николаевич с притворной долей обиды обратился к ней: «Что же ты, голубушка, старых знакомых избегаешь?» – «Тут у меня все такие, так что не мудрено запамятовать»,- ответила она.

«Ну, как же так Лена (имя официантки Нешин знал) мы же прошлый год почти в это же время сидели здесь с вашим постоянным посетителем Михаилом Ефимовичем. Неужели позабыли», - спросил Геннадий Николаевич. Официантка нахмурилась, погрустнела и после небольшой паузы сказала: «Помер Михаил Ефимович. Царство ему небесное. Замерз у себя дома. Месяца через два после вашего отъезда». «Жалко старика. Как же так случилось?» - спросил Геннадий Николаевич. Официантка немного задумалась (вероятно соображая нужно ли предаваться воспоминаниям) потом вкратце рассказала: «После вашего отъезда он часто заходил к нам. Все расспрашивал, не вернулся ли Гена. Это про тебя», - официантка кивнула в сторону Геннадия Николаевича. – Каждый вечер выпивал, уходил от нас

всегда последним, видимо, не хотелось идти в пустой дом, а на следующий день поближе к вечеру снова приходил и сидел до закрытия. Его мы не притесняли, он тихий был и совестливый. Его все почти знали. Ему хотелось побыть на людях, домой к нему мало кто ходил. Да и дом то всегда был холодным, топил редко. Как-то раз он попросил меня в долг накормить. Я принесла ему тарелку супа. Хотела не давать выпивку, но он такими просящими глазами посмотрел на меня, что у самой навернулись слезы. Принесла стаканчик. Он стал каким-то радостным и стал меня уверять, что как получит пенсию, тут же и расплатится. Я помню сказала ему: «Кушайте на здоровье». И ушла. Когда вернулась минут через тридцать, то он уже ушел. Потом дня два его не было. А уже на третий день узнали, что умер, а может быть, и замерз в своем домике. Какой-то знакомый зашел к нему, двери были открыты (он вообще никогда их не запирал), в доме было так же холодно, как и на улице, а он лежал в одежде, скорчившись на диване. А дальше обычная процедура. Вот и все что знаю про Михаила Ефимовича». Попрощавшись, ушла. Геннадий Николаевич молчал. А я с какой то внутренней дрожью подумал: «На том же самом диване, где прошлый год в декабрьскую ночь спал я, а спустя некоторое время на нем в холоде, в темноте, одиноко замерз старик. Никого рядом. И жил он в этом домишке не один год, а целую вечность в жутком одиночестве.

Для таких людей смерть приходит как избавление, но ее ожидание - это самое высшее наказание. Мне иногда приходилось в одиночестве проводить месяц, иногда два, когда супруга находилась в отъезде. По вечерам в выходные дни, шагая из угла в угол, я все время оглядывался на телефон: ну, почему никто не звонит. Когда же наступала глубокая ночь, а бессонница изнуряла до изнеможения, я молил: ну, ошибитесь хоть кто-нибудь номером телефона, позвоните ненароком. Не выдерживал. Вставал. Звонил на работу, с одним и тем же вопросом: «Ну, как там у вас дела?» «Да все в порядке, ночь уже кончается», - отвечал дежурный мастер. И снова наступало томительное ожидание утра. Но это было не одиночество, а скорее уединение.

Утром снова шел на работу, вокруг люди, появлялись заботы и будто не было бессонной ночи.

А у этого старика? Какие бродили мысли в его опустошенной голове? Сделалось невыносимо страшно. И я глядя на молчавшего Нешина сказал: «Давай поскорее выпьем, может рассеется тоска от таких известий».

«Да, - как-то отрешенно сказал Геннадий Николаевич, - у этого мужика жизнь была сплошной каторгой».

Когда Нешин назвал Михаила Ефимовича мужиком, то мне подумалось, что назвал он его так за великую душевную скорбь, что пришлась тому в жизни. Надо расспросить. В это время официантка (Лена) принесла нам заказ и мы на время отвлеклись от тяжелого разговора.

Посмотрев друг на друга, подумали об одном и том же. «Давай выпьем за его душу», - одновременно сказали. Он потянулся чокнуться со мной стаканами (в те годы фужеров и изящных рюмок еще не было), но я был более изощренный в «святых обрядах» сказал что в память за умерших такое не положено.

«А ты, как я думаю, Бога уважаешь, а есть ли он?» -проговорил Нешин. «Господа, может, и нет, но когда в него уверуешь, на душе становится светлее» - ответил ему.

У обоих на душе было горько но самое печальное я узнаю чуть позже. Два дня мы провели в хлопотах в разъездах по леспромхозам, а возвратившись в гостиницу, долго не могли уснуть. На улице мела метель, с каким то надрывным воем гудели печные трубы, где-то щелкала неплотно уложенная задвижка, в окна стучали снежные заряды.

В этот вечер Нешин рассказал мне историю жизни Михаила Ефимовича. А было все так.

«Я уже тебе говорил что в 50-е годы несколько лет жил в Енисейске и работал в лесной промышленности. Работа моя заключалась в постоянных разъездах по многим лесоучасткам, леспромхозам в самых захолустных уголках Енисейского района. До этого времени еще мальчишкой с родителями тоже проживал в Енисейске учился три года, и потому эти места мне были знакомы, приехал сюда через несколько лет после окончания войны.

Возвратившись как-то вечером с далекой деляны (где наш участок занимался лесоповалом), я зашел в контору. Там были только сторожиха да в бухгалтерии сидел Михаил Ефимович.

Он заканчивал какой-то срочный отчет. Когда я зашел, он поднял голову, кивнул мне в знак приветствия и снова углубился в работу. Начальника участка, кому я должен был доложить о проделанной работе не оказалось и я, будучи мало знаком с Михаилом Ефимовичем (хотя работал с ним в одном лесном предприятии больше года), хотел повернуться и уйти. Причин для сближения у нас с Михаилом Ефимовичем не было. Ему было за пятьдесят, а мне немного перевалило за двадцать. Кроме того, он работал заместителем у главного бухгалтера, а я был всего-навсего рядовой учетчик. Но в это время Михаил Ефимович оторвался от бумаг и, обратившись ко мне, сказал: «Погоди, Гена, не уходи. Сейчас закончу и пойдем вместе». Я знал, что он любил выпивать и порой довольно изрядно, за что много попадало ему от начальства, даже обсуждали на общих собраниях, но я, будучи сам любитель этого «зелья», никогда не корил его, ни при людях, ни тем более в своей душе. Минут через десять он захлопнул свою бухгалтерскую книгу и, повернувшись ко мне, сказал: «Ну вот, и закончил. Сейчас пойдем».

Я не знал, чего он хочет и потому, опережая события, сказал: «Михаил Ефимович, если вы хотите идти в «Сибирь», то денег у меня очень немного и потому в компаньоны вам не сгожусь». «Ну что ты, дорогой Гена, ни в какую «Сибирь» мы не пойдем. Сейчас зайдем в магазинчик, кое-что закупим и пойдем ко мне. Времени еще не так много, завтра воскресенье, так что можешь заночевать у меня. Я давно одинок, места хватит», - сказал Михаил Ефимович и нахмурился. «Ну что ж, - подумал я, - все равно вечером делать нечего (а жил я уже второй год на квартире у давнишнего друга, я ведь в самом начале своего жизненного пути несколько лет прожил в Енисейске и потому еще сохранились знакомые с той поры), проведу с ним

вечер, хотя о чем буду с ним разговаривать, в голове не укладывалось». Сказал ему: «Раз уж так случилось, то я не против». В магазине запаслись необходимыми снадобьями и пришли к нему в тот самый домик, где мы с тобой были прошлый год, и в котором он умер.

В то время убранство в его доме было много лучше, чем то, что мы видели. В доме было тепло и светло, но не чувствовалось той приятной уютности, которая присутствует всегда, когда за домом ухаживает женщина.

Мы просидели далеко за полночь. За разговорами и выпивкой время текло незаметно. Больше говорил он. И в эту ночь я узнал о его тяжелой и коварной судьбе.

Родом Михаил Ефимович из города Симбирска. Его отец учился в той самой школе, где учился Ленин, причем почти в одно и то же время. Сам он тоже учился в ней, но недолго. С переездом семьи на самый край города, он стал ходить в другую школу.

Отец с матерью умерли рано, когда ему не было еще и двадцати лет. Но к этому времени он успел хорошо усвоить счетное дело и при советской власти работал бухгалтером на довольно крупном предприятии. Женился. Родилась дочь. Назвали Катей. Но семейная жизнь не задалась. Через некоторое время, когда Катюшке исполнилось одиннадцать лет, они развелись. Жена, выйдя за другого замуж, не стала претендовать на дочь. И Катюша осталась с отцом. Чтобы избавиться от неприятных воспоминаний, он по совету своего однокашника, работавшего в Красноярске в лесной отрасли, уехал с Катей в Енисейск. Устроился на работу в леспромхоз, купил домишко, и зажили отец с дочерью мирно и не бедно. Катюшка была очень общительной девчушкой, дружила со многими девчонками и мальчишками, не только из своего класса, но почти со всей школой. Она ни на кого не сердилась, даже когда ее обижали. Одного не переносила: дружбы отца с женщинами. И хотя у Михаила Ефимовича никаких серьезных связей ни с кем не было, при появлении в их доме женщины устраивала отцу настоящие скандалы. Понемногу она отучила всех женщин приходить в их дом, и жизнь отца с дочерью потекла в полном согласии. Катюшка, понастоящему школьный вожак, участвовала во всех кружках. Девчата и мальчишки гурьбой ходили за ней и часто стали бывать у них дома. К концу учебы, а это был уже 1941 год, многие девчата подружились с парнями. Катюша таких знакомств не имела.

Она всем интересовалась, но самой большой страстью у нее в летнее время были цветы колокольчики. Домой она их приносила целыми букетами. При этом всегда напевала одну и ту же песенку: «Колокольчики мои, цветики лесные Что глядите на меня темно голубые».

Но вот нагрянула война. Она перевернула судьбы у многих людей. Мечты Катюшки поступить в московский или ленинградский институт (хотелось пожить в столичных городах) развеялись. Она сразу же после окончания десятилетки, с первых дней войны устроилась на работу в лесхоз учетчиком. Работать приходилось много, часто по производственным делам уезжала в отдаленные участки. Возвращалась усталая, полная тревог и забот. И каждый раз как бы она ни была занята, в какую бы даль ни

посылали ее, она всегда привозила букетик колокольчиков. Эта страсть с самых детских лет не проходила. А война разгоралась все больше и беспощадней. Уже не осталось в Енисейске почти ни одного одноклассника, что вместе с ней закончили десятилетку, и только несколько человек оставались, ожидая повестку в военкомат.

Однажды поздно вечером в дверь негромко постучали. Катюшка с отцом редко запирали дверь, некого было бояться: в те времена еще не грабили и не разбойничали. Но в этот раз они заперлись: второй день гуляли уезжавшие призывники и подвыпив, ходили по домам к знакомым и просто так совсем к чужим попрощаться. К ним тоже приходили какие-то незнакомые под хорошим хмелем но, не найдя в этом доме друзей, знакомых, долго извинялись и просили прощения.

Когда Михаил Ефимович открыл дверь, увидел что перед ним стоит Максим с большим букетом цветов. Он нарвал их с полей. Цветы были разные, но больше всего в букете было колокольчиков. Поздоровавшись, Максим спросил: «Дядя Миша (Максим с друзьями и девчонками часто заходили к Катюшке и всегда называли его «дядей Мишей»), а Катю можно?» – «Можно, она только недавно приехала, заходи», - сказал Михаил Ефимович. «Нет, дядя Миша, пусть она выйдет сюда», - попросил Максим.

«Ладно позову, - ответил Михаил Ефимович и громко позвал дочь: - Катя, к тебе пришли». Катюша соскочила с дивана и накинув халат вышла. «Ой, Максим, это ты? - немного удивленно и в то же время с нескрываемой радостью сказала она, - а я думала, что тебя со всеми мальчишками уже отправили».

У Кати ни с кем не было никаких знакомств, кроме дружбы, но где-то в глубине души к Максиму тлело теплое чувство.

«Ну, что же мы стоим? Заходи в дом», - позвала Катя. «Нет, Катюшка, некогда, через час мы уезжаем в Красноярск», - сказал Максим, и словно тень пробежала по его лицу. Катя взяла руку Максима и прижала к груди со словами: «Возвращайся скорее, Максим, мы все тебя будем ждать, только когда приедешь, привези, мне хоть один колокольчик из самого далекого края, - помолчав, добавила: – А я тебя буду ждать больше всех». Какая-то неведомая ей щемящая грусть охватила все ее существо, и, не находя слов, она вымолвила: «Приезжай скорее».

Максим, давно скрывавший свое чувство к Кате, сдерживая дыхание, прошептал: «Катенька, я люблю тебя».

Они замолчали, переполненные вспыхнувшей в их сердцах страстью. Через некоторое время Катя высвободила руку из рук Максима и негромко сказала: «Ты подожди меня, я сейчас приду». Вскоре она возвратилась, держа в руках небольшую записную книжечку. «Я дарю тебе ее на память, в ней ты будешь записывать дни, когда мне будешь писать письма, и дни, когда будешь получать их от меня. А этот цветок (в середине, между листками, лежал засушенный колокольчик) будет как талисман для тебя от всех бед. Когда посмотришь на него, то и меня вспомнишь. Вместе с ним ты положи такой же колокольчик, он высохнет, и будет у тебя два, только один из нашей Сибири, а другой, - Катя задумалась и сказала, – из того места, где ты его сорвешь».

Был теплый августовский вечер, воздух переполнен запахом цветов и трав, небо усыпано звездами, луна, поднявшись, освещала землю, от деревьев протянулись тени, в которых от людского любопытства прятались влюбленные пары. Во всех домах горели огни, где-то слышались прощальные песни, а Максим с Катей молча стояли на крыльце, не в силах расстаться. Любовь пришла вдруг, как огромная океанская лавина, сила которая не поддается никаким измерениям, помогает людям одолеть любые трудности, взойти на самые высокие горы, опуститься в преисподнюю, победить страшные беды.

А где-то далеко шла война.

Наконец Максим, тяжело вздохнув, сказал: «Все, Катя, мне пора».

Катюшка, самая бойкая из всех девчат, никогда не терявшаяся в самых непредвиденных обстоятельствах, сумела сказать всего несколько слов: «Возвращайся, Максим, я тебя буду сильно, сильно ждать».

Когда Катя, распрощавшись с Максимом, пришла в комнату, Михаил Ефимович, невольный свидетель их разговора (сквозь неприкрытую дверь ему хорошо было слышно), сказал Кате: «Хороший парень Максим, только бы поскорее кончалась война». Катя посмотрела на отца повлажневшими глазами и сказала: «Я до сегодняшнего вечера не знала, что люблю его. Когда он вернется, то обязательно поженимся». У нее никогда с отцом не было подобных разговоров, и Михаил Ефимович, проживший нерадостную жизнь, с каким-то непонятно затаенным страхом сказал: «Как я хочу, чтобы у тебя все хорошо сложилось».

Время, хотим мы того или нет, двигалось без промедления. Катя была в постоянных командировках и по возвращении, еще не переступив порог, произносила всего одно слово: «Есть?»

Первые месяцы, пока Максим был в Красноярске, писем приходило много. Но в октябре переписка прекратилась. Были отправлены большие воинские соединения из Красноярского края, а с ними уехал и Максим. И писем от него не стало. Но уже в конце декабря, когда Катя пришла домой и не успела раскрыть рот, как Михаил Ефимович протянул ей сразу два письма. Радости ее не было предела, а когда она прочитала их, то от счастья не знала где найти себе место: Максим был жив и даже не ранен, хотя участвовал в больших сражениях.

Шли месяцы, годы. Но горе подстерегает всегда там, где его обычно не ждут.

В начале 44-го года Катя была командирована в один из отдаленных лесоучастков. В то время она уже работала ревизором. Возвращаясь обратно из лесной глухомани, где ближайшее поселение одно от другого было не менее 100 км, их машина сломалась. Холод был нестерпимый. Пока попутный лесовоз не подцепил их машину, прошло несколько часов. Катя так промерзла, что с трудом смогла взойти на крыльцо, когда на лесовозе подвезли ее к самому дому.

На следующий день она с воспалением легких была положена в больницу.

Болела она долго. Но молодой организм поборол болезнь, и Катя уже

в марте месяце была дома. Так же продолжала работать. В командировки ее стали (по просьбе отца) меньше посылать. Но прежней жизнерадостной Кати уже не стало. Она все чаще и чаще стала чувствовать недомогание, похудела, и когда обратилась в больницу у нее признали туберкулез. В начале 45-го года ее снова положили в больницу, откуда она уже больше не вышла.

Она умерла в апреле 45-го года, за две недели до окончания войны.

За несколько дней до ее смерти Михаил Ефимович, не отходивший от нее почти сутками, принес ей письмо от Максима, в котором тот сообщал, что их часть на днях будет расформирована и он в скором времени приедет и привезет ей обещанный цветок.

Катя, прочитав письмо, долго молчала, потом из ее глаз покатились слезы, и она сказала отцу: «Он обязательно приедет и привезет колокольчик. Пусть положит его мне на могилу. Я не доживу до его приезда, - долго молчала, потом еще тише сказала: – А как ты будешь, папа?» И снова молча заплакала. Михаил Ефимович, уже давно знавший от врачей, что его дочь недолго проживет, нашел силы успокоить ее, но когда вышел за больничные двери, истерично разрыдался: у него не оставалось никого. Катю похоронили за несколько дней до первомайских праздников.

Вот с тех пор пятидесятилетний Михаил Ефимович начал попивать. Иногда не приходил на службу. Но с работой справлялся, и ему многое прощалось.

От Максима каждую неделю приходили письма. Михаил Ефимович их не распечатывал, только подолгу держал в руках, почти каждый день ходил на могилу к Кате. Чтобы хоть каким-то способом облегчить страдания, его стали посылать в отдаленные районы. Но боль вдали от дома только усиливалась, и там он напивался допьяна. Вскоре это поняли и отступились. Время шло. Говорят, что оно лечит. Возможно, излечивает самые тяжелые недуги, кроме одиночества.

Прошло три месяца. В конце июля возвратился Максим, Он задержался на несколько дней в Красноярске у родителей, которые переехали из Енисейска в первый год войны. Они долго уговаривали, чтобы сын побыл с ними подольше, но Максим, ссылаясь на различные причины, убеждал их, что ему очень нужно поехать туда и что пробудет он недолго. Но мать с отцом, не видевшие сына четыре года, не отпускали его. Наконец, он, не выдержав, откровенно признался, какая сила его туда тянет. Родители вздохнули и, благословив, отпустили его: «Приезжай с невестой, мы будем рады».

Он приехал в Енисейск в самом начале августа. Со дня смерти Кати прошло чуть больше трех месяцев. В родном городе у него были знакомые, но он пошел сразу к ней, в тот дом, где он с Катей расстался перед отъездом на войну.

С необъяснимым чувством подходил Максим к дому Кати. Он не знал, о чем будет говорить с ней. Ему хотелось только увидеть ее, а там само сердце подскажет слова которые надо сказать. А сердце билось сильнее, чем перед началом страшного наступления на железные доты фашистов.

Калитка была открыта. Взойдя на крыльцо, он передохнул и постучал в дверь. Никто не отозвался. Он постучал посильнее. Дверь тихо отворилась, но за ней никого не было. Он зашел в комнату, потом в другую. В них было не прибрано, разные вещи валялись в беспорядке. Наконец, он зашел в третью комнатушку, в которой жила Катя, и увидел лежавшего не диване Михаила Ефимовича. Тот лежал в неестественной позе, одна нога свешивалась с дивана, а голова запрокинута через валик. Михаил Ефимович громко храпел. В воздухе чувствовался винный перегар. Максим, никогда не видавший Михаила Ефимовича в таком виде, растерялся. Немного освоившись, Максим хотел разбудить, но, передумав, подошел к лежавшему Михаилу Ефимовичу, немного постоял, потом поднял свесившуюся ногу, поправил голову и уложил его на диване. Михаил Ефимович что то пробурчал во сне, всхлипнул и снова захрапел. Только уже не таким храпом, который услышал Максим, когда зашел к нему в комнату.

Максим вышел из комнаты, где спал Михаил Ефимович и сел напротив окна. Вечерело. День был субботний и на улице стало оживленнее. Кто-то спешил к друзьям, другие ,припозднившись, возвращались с работы. У всех были свои дела, свои заботы. Максима охватил страх: он никак не мог понять, что же случилось (дядя Миша никогда не пил) и где Катя? Прошло несколько часов, наступила темнота. Максим не зажигал свет и сидел в оцепенении, не отрываясь от окна. Припомнил. Такая же ночь была четыре года назад, когда прощался с Катей. Наконец не выдержал и, подойдя к спящему Михаилу Ефимовичу, стал его тормошить

Когда Михаил Ефимович повернулся, сел на диван и открыл глаза, Максим тут же спросил его: «Дядя Миша, где Катя?» Михаил Ефимович долго смотрел на Максима непонимающим взглядом, и только когда Максим в третий раз спросил про Катю, он, как-то скривив лицо, хотел что-то сказать, но из глаз покатились слезы и, уткнувшись в подушку, он зарыдал.

Максим оцепенел, не зная, что делать, сел рядом с ним и сидел до тех пор, пока тот не успокоился. Михаил Ефимович поднял голову и, не видя кто с ним сидит, спросил: «Кто ты будешь?» – «Максим я, ты же знаешь меня, скажи, где Катя?» - спросил Максим.

Даже Нешину, как я убедился, проработав с ним много лет, в его довольно характерной бесчувственности, было трудно пересказывать историю жизни этих людей (он иногда вздыхал и подолгу молчал), а что же испытывал Максим, услышав из уст Михаила Ефимовича, что Катя умерла несколько месяцев назад.

Он, пропахший порохом, прошедший тысячи километров по чужим землям, повидавший бесчисленное множество смертей, сам глядевший ей в глаза, не смог ничего больше ни спросить, ни сказать. Потом, не понимая для чего и непонятно, кому сказал: «А как же теперь я передам ей цветок, ведь я обещал привезти колокольчик и привез его из самой далекой страны». Сказал и умолк не в силах промолвить не единого слова.

«Катя, перед тем как умереть, говорила мне об этом, просила чтобы ты его положил ей на могилу», - сказал Михаил Ефимович и снова горько заплакал.

Ранним утром два удрученных печалью мужика пошли на кладбище, где покоилась Катя. Еще не выцвел венок из искусственных цветов, положенный Михаилом Ефимовичем, не оброс травой холмик земли. Максим положил на надгробье букет роз, которые привез из Красноярска для живой Кати, и между ними высушенный стебелек колокольчика. Только сейчас он понял, как может сильно болеть сердце.

Закончив нехитрую процедуру, они вышли за оградку, и Максим оперевшись руками на деревянный частокол, глядя на разложенный букет, с горечью подумал: «Цветы запоздалые, как же больно на вас смотреть».

«Вот, собственно говоря, и все, о чем мне рассказал в тот далекий вечер Михаил Ефимович, - сказал Геннадий Николаевич - а я пересказал тебе». – «А дальше жизнь его пошла в сплошных мучениях, его с трудом продержали до пенсии и забыли. Редко, редко заходили к нему такие же старики. Перекинуться словечками. Немного разгорячится, испив «бражного», и снова в одиночестве тянулось его время. Правда, лесхоз регулярно снабжал его дровами до последнего дня его жизни. А на большее он никому не был нужен. Какой интерес терять время с пьяненьким, вечно плачущим стариком. Я вскорости уехал из Енисейска и встретился так неожиданно через много лет с Михаилом Ефимовичем», - так закончил свое повествование Нешин о тяжелой жизни одинокого старика, с которым мне довелось встретиться один раз. Мы долго молчали. Спрашивать про Михаила Ефимовича уже не было надобности: страшнее его жизни трудно было представить.

Не зная как и о чем продолжить дальнейший разговор, а скорее всего как отвлечься от него, я спросил у Нешина: «Что же по-твоему самое страшное в жизни человека и в чем тогда состоит счастье?» – «Все страшно. И пьянка (хотя он не брезговал этим), и предательство, и болезни. Но страшнее всего - это одиночество, - сказал Геннадий Николаевич и тут же добавил: - Давай выпьем, а то эти воспоминания разбередили у меня всю душу. Что нас каждого ждет, только Богу ведомо. Каждый может оказаться в его положении. Ну, а что такое счастье – я не знаю. Да и вряд ли кто знает».

Этот разговор состоялся у меня с ним много лет назад. Можно было бы и позабыть. Но не покидал меня долгое время образ одинокого старика, жившего «чужим среди своих», без всякого просвета в будущем, хотя в его жизни винить кроме судьбы некого. Что поделаешь, коль так сложились обстоятельства. Многие, оказавшись в таком положении, кончали жизнь не лучшим образом. Слаб человек против ударов судьбы.

Со временем, когда появился сонм бродяг «без кола и пристанища», и жизнь которых много страшнее, чем у Михаила Ефимовича, потускнело в памяти событие далеких лет в небольшом сибирском городке, и чтобы окончательно не выветрилось из головы, написал про эту печальную участь, как воспоминание о далеком прошлом.

P.S. Так что же такое одиночество? Неужели Нешин был прав, когда называл его самым страшным состоянием человека? Неужели оно доводит

людей до самоистязания, толкает одних на самые низменные поступки, а других обрекает на медленное угасание. Я не знаю, но, откровенно говоря, очень боюсь этого. И оттого мне хочется попросить: «Люди! Не запирайтесь друг от друга, пусть душа каждого стремится помочь всем. Может, в этом и состоит благоденствие, что называется счастьем, когда человек, не задумываясь о смысле жизни, наслаждается настоящим, с нетерпением ожидает завтрашний день, сожалея о прожитом времени.

Может, и так. Только в каких условиях человек сможет обрести такую жизнь? Об этом нигде не написано и ничего никем не сказано.

13 июня 2003 г.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Судьбы разные, а любовь одна

Счастье не делится на части

Много на земле российской городов, городков, поселений, деревень, хуторов. К каждому тянется дорога, иногда просто тропинка. А возле них чуть в стороне кладбища, погосты. Не сосчитать.

Живет народ со своими заботами, печалями, радостями. Все поразному. Одни с удовлетворением провожают уходящий день, а утром с надеждой на лучшее начинают новый. Счастливы они. Но есть и такие, что без сожаления расстаются с прошедшим (слава богу, еще день прошел), и не ждут они никакого просвета в будущем. Вроде бы и судьба их не обошла: дала силу, здоровье, сами пригожи и привлекательны. Достаток имеется, работа. Но нет настоящего спокойного счастья. Тоска на душе. Замкнулись в себе. И гложет их непонятный «червячок» неудовлетворенности, не приносит им радости восходящий рассвет. Растеряли всех родных в давние годы, друзья незаметно исчезли, а новых в жизни приобрести не сумели. Время примирило их с утратами, свык¬лись с превратностями. И катится жизнь своим чередом. Но судьба не признает покоя. Иногда преподносит такие удары, что не может оправиться от них человек, но случается, поиграв с людьми, награждает их божественным счастьем, в какое трудно бывает поверить.

За долгие годы своей жизни много мне довелось побывать в разных местах России, исколесить дорог, услышать всевозможных историй, порой кажущихся неправдоподобными.

Одну из наиболее волнующих (по моему разумению), представляю на суд читателя.

В небольшом селе Черниговской области проживало небогатое семейство. Его глава Иван Савельевич много лет нес службу в местной церквушке. Сан священника он перенял от своего отца еще в девяностых годах девятнадцатого столетия, приняв по церковному уставу имя отец Георгий. И все эти годы исполнял службу достойно, ни разу не усомнившись в святости избранного пути.

Ему во всем прилежно помогала его верная спутница Марфа, по отчеству Тимофеевна. Жизнь их праведная текла в мире и согласии. В таком же смирении воспитывали они своего сына Василия, мечтая, что и он со временем продолжит их семейную (святую) традицию. Правда, Василий не очень тяготел к церковному делу, тянуло больше его к мирской жизни. Иван Савельевич не принуждал, хотя очень хотел, чтобы сын пошел по его стопам.

Незадолго до империалистической войны Василий обвенчался с деревенской девицей Екатериной, и вскоре у них родился сын. Назвали его Ильей, в честь их святого прадеда. Все складывалось хорошо, но грянула война. И Василия забрали в армию. Трехлетний Илюша остался с матерью. Чтобы пережить одиночество, Екатерина перешла в дом к Ивану Савелье-

вичу, и жили они одной семьей. После одной войны началась другая. Василий иногда пе¬редавал кое-какие весточки, что он жив, здоров, очень сильно скучает, только приехать пока не может, нет никакой возможности. Но всему приходит конец. Вернулся и Василий. Только стал он совсем другим человеком. За это время изменились у него взгляды на жизнь. Все три года, когда лилась кровь граждан одной страны (потому и название война получила гражданской), находился он на стороне красных, нисколько не сомневаясь в правильности своего выбора. В больших командирах ходил. И уже несколько лет был пламенным большевиком-революционером. Как на духу по возвращении обо всем рассказал отцу и через несколько дней уехал с женой и сыном в районный город на партийную работу. Перед отъездом посоветовал отцу оставить службу и перебраться на жительство к нему или на худой конец к дальним родственникам, проживающим в далекой деревушке. «Много лиха впереди будет», - сказал Василий. Отказался отец: «Я Богу служу, только у него право решать по какой стезе мне идти».

Первое время Василий с Екатериной и Илюшкой часто навещали родителей, но с каждым годом их приезды становились все реже и реже. Както раз Василий с грустью сказал: «Видишь отец, что на селе творится. Свои своих грабят и разоряют. Уходи со службы, все равно ее скоро закроют, да и мне будет легче, за тебя уже не раз спрашивали, не пощадят в лютости никого. Идет беспощадная борьба бедных с богатыми» – «Ну, при чем же здесь вера?» – отвечал отец.

«Ты же знаешь, сколько религий на земле, и у каждой свой бог – какую ни оставь, все остальные нации будут недовольны, вот потому всех и отвергаем», – сказал Василий.

«Не вы отвергаете, не все так называемые борцы за народное счастье (и такое слыхал), а отдельная группа самых ярых марксистов, которые, если им понадобится, развернутся обратно, только бы им было выгодно, повернут не задумываясь, - сказал отец и примирительно добавил: - А ты, Вася, откажись от нас - сейчас такое повсеместно практикуется, мы с матерью не будем в обиде. Да и церковь придется закрывать. Все равно пока длится этот разбой в нее никто не придет, а от Бога не могу отказаться».

«Страшно мне отец поступить так, но как вижу, нет иного выхода, только знай, что в сердце у меня другое», - закончил свою исповедь Василий.

«Как Илюша-то?» - спросил дед.

«Да что ему, закончил школу, выучился на тракториста, работать уехал в колхоз. Сейчас крестьян повсюду всех собирают, ликвидируют единоличные хозяйства, все будут работать совместно, лучше будет, - говорил Василий. Он искренне верил в лучшую жизнь при общественном укладе. — А там скоро и в армию ему - это непреложный закон для каждого гражданина, стоять на защите своего отечества».

Не думали тогда ни Иван Савельевич, ни его сын Василий, что это будет их последняя встреча.

Отец Георгий повесил на церковные врата огромный замок, закрыл двери ограды и приобщался к Богу в своем доме, уставленном иконами.

Так прошло два года. Вскоре его сына Василия отправили на какие-то партийные курсы, Илью призвали в армию. Однажды в дом к Ивану Савельевичу вошли несколько человек. Вежливо поздоровались. Справились о его здоровье. Немного помолчав, объявили постановление суда - оно было кратким: «Выслать Ивана Савельевича Силантьева как нераскаявшегося врага советской власти в Сибирь в город Северск на постоянное место жительства. Его супруга Марфа Тимофеевна, будучи непричастна к его делам, может оставаться на прежнем жительстве, без всяких притеснений». И от себя добавили: «Если же вы, Марфа Тимофеевна, согласны отправиться вместе с супругом, то никаких препятствий чинить вам не будут. Все сопроводительные документы и подробности о дальнейших действиях получите в районном НКВД».

Ошеломленные таким известием, Иван Савельевич с Марфой Тимофеевной долго молчали. Наконец Иван Савельевич заговорил: «Слава тебе, Господи, хоть меня одного высылают, ты хоть здесь при доме останешься». Возроптала Марфа: «Что ты, батюшка, да разве я смогу здесь без тебя хотя бы один день прожить. Я от тебя никуда. Вместе поедем, хоть на самый край света. Да как тебе могло в голову-то такое придти. Нет! Нет! Вместе всю жизнь прожили, в одном месте и умирать будем. Не тужи, Ваня, Бог везде есть, куда бы судьба нас ни забросила. Давай лучше потихоньку собираться. Не нас первых высылают». Доходили до них слухи, что многих священнослужителей высылали в далекие холодные края, а некоторых и в тюрьмы посадили.

Зная характер своей супруги, Иван Савельевич противоречить не стал, только проговорил: «Давай, матушка, помолимся Господу, да и обмозгуем, что возьмем с собой в дальнюю дорогу». Жарко молился Иван Савельевич, просил Бога вселить в него крепость на одоление трудностей, ниспосланных супостатами. А по окончании молитвы с просветленным лицом повернулся к супруге, обнял ее и сказал: «Ну, а теперь начнем соображать, что делать и как готовиться. Перво-наперво завтра поеду в район, извещу Катерину, Василий то где-то на учебе, да и документы выправлю в их недобром сыске, а пока соберем все необходимое да и отдохнем».

Утром уехал в районный центр Иван Савельевич (его давно уже никто не называл отец Георгий). Сначала пошел в райотдел. После долгих мытарств выправили Ивану Савельевичу с Марфой Тимофеевной документы (из-за нее было много хлопот), тяжело вздохнул «ссыльный поселенец» и пошел к родственникам уже под вечер. Катерина только вернулась с работы. Узнав про страшное известие, всплеснула руками и долго не могла вымол¬вить ни слова. Потом спохватилась: «Надо срочно послать телеграмму Василию, может, чем-нибудь он поможет».

«А вот этого делать ни в коем разе не надо, ничем он не поможет, а мы ему этим только навредим», - отреагировал Иван Савельевич.

Катерина знала от Василия, да и от окружавших ее людей, что творится по всей стране, не раз говорила с мужем в темные ночи о надвигавшейся на их семью напасти, но отвратить всеобщую беду не было у них сил. И сейчас, узнав о нагрянувшей так нежданно беде, усиленно думала, чем бы

им помочь. Собрала все наличные деньги, что оставил Василий, отдала пустой рюкзак, с которым Василий ездил по командировкам, хотела собрать кое-какие вещи, но Иван Савельевич категорически отказался: «Не надо, не хлопочи, мы у себя наберем все необходимое». Иван Савельевич засобирался в обратную дорогу, но Екатерина не пустила: «Что ты, батюшка, вечер на дворе, куда на ночь глядя ехать. Нет! Нет! Поспи, а завтра поутру и тронешься». – «Матушка будет волноваться, она мне наказывала побыстрей вернуться», - сопротивлялся Иван Савельевич, но понимал, что Екатерина права, да и устал очень. «Пусть будет – по-твоему, Катерина», – согласился Иван Савельевич.

Ранним утром односельчанин, с которым Иван Савельевич приехал в городишко, зашел на квартиру к Екатерине, тихо справился: «Иван-то Савельевич собирается в обратный путь, или, может, задержится, а то я уже сноровился ехать?»

«Давно готов, еще с вечера пытался уехать, да я не пустила, сейчас он выйдет», - сказала Екатерина. Минут через пять Иван Савельевич вышел, и они отправились в свое село. Сердобольная Екатерина, горько страдая, не послушала напутствия Ивана Савельевича и послала Василию телеграмму.

Но не дошла она до него. Партийные власти придержали депешу, рассудили по-своему: «Незачем по пустякам отрывать людей от важной работы, время сейчас не позволяет».

Уехали Иван Савельевич с Марфой Тимофеевной ранним утром в неведомую им далекую холодную Сибирь. Провожала их на вокзале только Екатерина. Не могла найти слов, только всхлипывала. С той поры часто хваталась за грудь, стало болеть сердце у совсем еще не старой женщины. А ссыльные Иван Савельевич и его жена Марфа Тимофеевна с несколькими пересадками (поезда в ту пору плохо ходили) добрались до Москвы.

Лето заканчивалось, на дворе моросил дождь. Промокли Иван Савельевич с Марфой Тимофеевной до нитки. Народу было много. Все куда-то спешили, толкали друг друга, ругались. Торговцы с лотками предлагали пирожки с капустой, мясом. Не смогли сразу приобрести билеты на дальний поезд. И пошел тогда Иван Савельевич к самому большому начальнику на Ярославском вокзале. Не допустили. Но узнав по какому делу направляется Иван Савельевич со своей супругой, документы взяли. Ушли к начальнику. Через некоторое время тот же человек вынес бумагу, по которой Иван Савельевич с Марфой Тимофеевной могли приобрести билеты до нужной им станции. Купили они билеты до Красноярска. Немного успокоились. А когда сели в вагон, увидели таких же простых людей, даже повеселели. Только с первого же дня занемогла старушка. По ночам было совсем плохо. Температура поднималась, невыносимая боль в груди не давала покоя, не могла уснуть. Иван Савельевич, глядя на нее, весь извелся. Какой-то необъяснимый страх сковал его душу. Не отходил от нее. Про себя творил молитвы об исцелении своей супруги: «Помоги, Господи! Убереги мою единственную опору. Ругал себя, что послушал ее и взял с собой. Виноват я, Господи. Прости меня. А ее убереги».

А Марфе Тимофеевне становилось с каждым днем все хуже. Когда переехали Урал, сделалось совсем плохо. Впала в беспамятство и только шептала какие-то непонятные слова, да все просила пить. Пассажиры всеми силами старались помочь. Кто советом, кто приносил воды. Позвали проводника. Тот посмотрел, покачал головой. Но тоже ничем помочь не смог. Врачей в поезде не было. Перед самой смертью – видимо, Господь смилостивился - открыла глаза Марфа Тимофеевна и тихо попросила Ивана Савельевича: «Прости меня, Ваня, что так случилось, не ведала, что произойдет со мной такое, так уж видно Богу угодно. Только прошу тебя, похорони меня по-христиански, упроси власти, чтоб разрешили уйти на тот свет с молитвой во Христе, а уж если не сподобятся на прошение, сам исполни Христову заповедь, сам меня соборуй». Замолчала. «Ну, что ты говоришь, все будет хорошо, ты поправишься, и мы доедем и еще поживем. Бог-то везде есть, ты же сама говорила», - еле сдерживая слезы, утешал Иван Савельевич свою незабвенную, богоданную жену.

Взяла Марфа Тимофеевна руку своего супруга, приложила к груди, еще тише проговорила: «Прости, Ваня. Буду ждать тебя там. Господа упрошу, чтобы избавил тебя от мук на этой земле, отвел беды на твоем страшном пути, и за детей наших умолять его буду». Умолкла. Дышать стала все реже и реже. Отдала душу Богу старушка Марфа Тимофеевна. Иван Савельевич замер, ему казалось, что в вагоне все кружится и падает на него. Молчали и пассажиры.

Не думал Иван Савельевич, сколько еще горя выпадет ему в жизни, пока он оставит земную юдоль: «Господи! За что мне такие муки и страдания. Возьми меня вместе с ней», - роптал он. А вокруг тишина. Только колеса вагонов постукивали на стыках рельс, да где-то вдали надрывно гудел паровоз. Никто из пассажиров не мог посоветовать старику, что же делать. Кто-то сходил за проводником. Тот пришел, снова покачал головой и сказал, что на следующей станции придется сходить, старушку мертвую дальше не повезем, надо обратиться к начальнику вокзала, а тот уж и милицию подключит. Дело-то ведь серьезное.

С одним из пассажиров, ехавшим в одном вагоне, Иван Савельевич подружился с первых дней. Звали его Егор Петрович, фамилия Богомазов. Он ехал до станции Энск, где должен был останавливаться поезд и на которой проводник сказал, что дальше везти мертвую старушку нельзя.

«Видимо, Господь так уж распорядился, что мне выпала обязанность тебе помогать, Иван Савельевич, - сказал ему Егор Петрович. – Мой род тоже принадлежал когда-то вашему сословию. Да и по-христиански нельзя оставлять в одиночестве в такой беде человека».

Вылезли оба на станции Энск и пошли по начальству. Все аха¬ли, охали только не знали, что делать и как помочь. Кому хотелось связываться с ссыльным священником, да еще в такой трудной ситуации. Дошел до начальника вокзала. Тот начал звонить по разным учреждениям, с кем-то разговаривал, да так ни с чем и выпроводил Ивана Савельевича: «Не до вас сейчас, начальство большое должно подъехать, им в Иркутск надо, а диспетчер дороги приказал отправлять без всякой задержки поезд».

Вышел Иван Савельевич. Увидел Егор Петрович по лицу Ивана Савельевича, что ничем ему никто не помог. А тем временем проводники вынесли тело старушки из вагона, положили на скамейку внутри вокзала. И быстро ушли, некогда им было разговаривать. Поезд отправлялся. Опустился Иван Савельевич на колени перед мертвой супругой, да так и замер. Он не рыдал, не всхлипывал. Только слезы неудержимо катились из глаз, да вздрагивал он всем телом. Умолял Господа о своей смерти, как о великом благе, забыв, что грешно обращаться к Богу с такими моленьями.

Сколько бы продолжалось так, не заскочи в здание вокзала несколько человек «высших» партийцев. Прошли они сразу к начальнику, и поднялись там крик и ругань. «Почему не задержал поезд, мы телеграфировали, что наша комиссия задерживается», - кричал представительный мужчина (видимо, их руководитель).

«Диспетчер дороги приказал ни минуты не задерживать поезд, - отвечал испуганный начальник, - и так получил нагоняй за задержку из-за умершей старухи». «А как это? Что случилось?» -спросил один из стоящих рядом партийцев.

Начальник вокзала указал им на стоящего на коленях старика и лежащую на скамейке умершую старушку. Те подошли. «Как такое случилось?» - спросил один из подошедших. Иван Савельевич долго не мог собраться с силами. Ему хотелось только одного: умереть вместе со своей супругой. Наконец, чуть повернув голову в сторону стоящих людей, проговорил: «Вот, умерла, недоехали». Немного помолчав и собравшись с силами, рассказал о своем горе, откуда и куда держит путь. «Конечно, не наше дело заниматься этим, но и бросать в таком положении людей нельзя, - сказал потише чиновник, - сейчас поможем». Все ушли. Остались Иван Савельевич и Егор Петрович вдвоем возле умершей старухи. Егор Петрович, видя великое горе такого же старого человека, как и сам он, не отходил от него. «Буду помогать, - решил он, - я то ведь здешний, кто ему поможет». Прошло около часа, когда к Ивану Савельевичу подошел молодой парень, как оказалось потом, тот был кучером у этой представительной компании. «Ты, дедуля, встань с колен, а то ноги затекут», - сказал и взяв за руку Ивана Савельевича стал помогать ему подниматься. С трудом разогнул омертвевшее тело, глянул в лицо молодого парня и, не удержавшись, разрыдался Иван Савельевич. Согнулся опять и обняв рукой голову мертвой супруги, всхлипывая, приговаривал: «Зачем ты ушла от меня, за что Господь послал такое наказание!». А кругом чужие люди и не с кем разделить безысходное горе.

«Как тебя звать-то?» - спросил парень, когда Иван Савельевич встал рядом с ним. Иван Савельевич назвал себя.

«Ну, а меня просто Федор, кучером я состою при важном начальнике, - сказал парень и стал кого-то высматривать. - Сейчас должны подъехать санитары, - говорил Федор, - увезут ее в мертвецкую. Я бы и сам это сделал, лошадь у меня хорошая, да только кто примет старушку там, да и начальник не разрешит. Наверное, уедет к себе, теперь только завтра на поезд попадут, раньше не будет». Когда привезли тело Марфы Тимофеевны в

мертвецкую, то содержатель этого заведения сказал, что только завтра они выдадут ее и соответствующие справки. А пока готовьте все необходимое для захоронения. Закажите гроб в здешней ритуальной службе, да в чем будете хоронить - «хозяин» морга посмотрел на Ивана Савельевича и добавил: «Можно и в этой одежде схоронить». Видимо, подумал, что с этого старика взять и где он что добудет.

Совсем бы растерялся Иван Савельевич, да очень во многом помог ему Егор Петрович. Не отходил он от него. Великая сила сострадания не позволяла ему оставить в беде этого беззащитного человека, одинокого и слабого на чужой стороне.

«Пойдем со мной, я тут все нужные нам учреждения знаю». В ритуальном магазинчике подобрали по размеру гроб, простые необходимые принадлежности. Успели сходить в самое «страшное» учреждение, без этого никак нельзя было обойтись, называемое НКВД. Упросили девицу, чтоб посодействовала. Не скоро принял его начальник. Прежде к ним вышел помощник, расспросил, по какой надобности. И опять не удержался Иван Савельевич, расплакался, но рассказал все подробно. Повернулся тот, не говоря ни слова. Уже у самой двери девица подошла к чиновнику и что-то стала говорить. Расслышал Егор Петрович ответ во¬енного: «На этом кладбище не разрешит комиссар хоронить жену священника, слишком много покоится бойцов, расстрелянных Колчаком, да и два брата его тоже тут лежат». Вошел к начальнику. Секретарша сказала: «Ждите». Через некоторое время вышел тот же военный. «Вот вам разрешение на похороны, только главное кладбище закрыто уже больше года, новое далеко за го¬родом. Если соизволите схоронить свою супругу где-то в другом месте, селе или деревне, их сейчас поблизости много, мешать никто не будет. Если будут затруднения - обращайтесь».

Понял Иван Савельевич, что не разрешили ему ссыльному, совместно с красными бойцами, похороненными здесь, захоронить свою супругу, подумал с горечью: «Ну, чем она опасна. Ведь еще Гоголь сто лет назад сказал, что мертвым телом хоть забор подпирай». Но ничего не сказал.

Не отходил от Ивана Савельевича совсем незнакомый ему, но такой добрый человек Егор Петрович. Все свои дела оставил (к подходу поезда должен был за ним подъехать сын Иван, только что-то задержался тот) и теперь все время, по возможности, помогал опальному, растерявшемуся старику. «Даже хорошо, что так распорядился главный чекист, - успокаивал он Ивана Савельевича, - наверное, мой Ванюшка поди уже ждет давно на вокзале, наказывал я ему меня встретить, да кое-какие покупки приобрести в городе на базаре, так вот он нам как раз кстати, и уедем завтра вместе все в наше село Богородское, недалеко, шесть верст будет. А переночуем на дворе моего знакомого».

Когда два изможденных старых человека подошли к вокзалу, то перед ними появился выбежавший рослый, средних лет мужик. Он уже несколько раз выходил из вокзала и наверняка уехал бы, если бы не рассказала ему смотрительница здания, что приехал на поезде похожий на твоего отца старик, только не один. С ним был такой же бородатый мужичище, у ко-

торого в поезде умерла жена. Из святых тот происходит. Куда пошли они - она не знала.

Когда Иван увидел отца, бредущего вместе со стариком, то побежал к ним и, не поздоровавшись, воскликнул: «Отец! Чего только я ни передумал, пока не встретил тебя. Что у вас тут случилось?» - «Ничего Ванюша, все нормально, только вот у отца Георгия (Егор Петрович так называл Ивана Савельевича) супруга умерла. Вот я ему кое в чем помогал», - стараясь быть спокойным, говорил отец сыну, а у самого душа терзалась, глядя на окончательно расстроившегося Ивана Савельевича. Мы сейчас заедем к нашим родственникам, на дворе у них поставим лошадь, да и переночуем». На другой день, все втроем уехали они в село Богородское. Увезли тело Марфы Тимофеевны и на сельском погосте похоронили. Сельские власти не препятствовали (сам председатель сельского совета при виде разрешенной «государственной» бумаги способствовал советами). Да и Егор Петрович с сыном Иваном были среди односельчан в почете.

Когда закопали гроб в могилу, поставили крест, упал Иван Савельевич на сырую землю и долго лежал, не поднимаясь. Егор Петрович с сыном стояли, не зная как поступить. Потом помогли ему подняться, но он снова бросился на землю, приговаривая: «Никогда я не увижу тебя, даже на могилу не смогу придти. Помоги мне, Матерь Божья, заступница рода человеческого, дай сил не впасть в уныние». Где было взять сил измученному в страданиях старому человеку, проводившему в божью обитель последнего родного человека, верную в жизни спутницу. Он потерял ощущение времени, окружающий мир перестал для него существовать. С трудом довели его до ночлега добрые люди, отец с сыном. Напоили чаем, уложили спать.

Долго не мог уснуть. Да, видимо, сжалилась над ним Царица Небесная, опустила на него благодать: уснул после долгих терзаний Иван Савельевич глубоким сном. И виделось ему далекое прошлое и радостная, молодая Марфушенька, с которой в счастливые годы жизнью не мог насладиться.

На следующий день сходил он на кладбище, попросил, чтобы не провожали («Побыть один хочу») и почти полдня просидел возле самой дорогой могилы. Только под вечер пришел в дом к людям, так сердечно и по-христиански приютившим его. Приветливо встретили Егор Петрович с сыном Иваном. Не мог отблагодарить Иван Савельевич своих покровителей за такую помощь, достал все небольшие сбережения, что остались у него и попросил с чистыми помыслами принять их Христа ради. «Нет больше у меня ничего», - сказал он, и опять покатились слезы. «Да что ты, Иван Савельевич, разве мы возьмем твои деньги, разве мы не русские люди, не православные, да нас Бог накажет, если только в мыслях допустим подобное», - говорил Егор Петрович дрожащим голосом, не зная как успокоить страдальца.

В воскресенье посадили Ивана Савельевича отец с сыном на проходящий поезд с напутствием: «Приезжай в любое время, рады будем, примем, как родного». И поехал он в большой город Красноярск, где должен был отплывать по Енисею в неведомый город Северск. Не уклонялся Иван Савельевич от горькой доли, не помышлял скрыться (в мыслях была только умершая супруга да родной дом с оставшимися где-то родными).

Зашел в Красноярске в милицейскую «управу» (добрые люди указали к ней дорогу), предъявил документы. И после коротких напутствий пошел на пристань. Пришлось помаяться еще два дня. Не на чем было его отправить. Наконец подвернулась оказия. Посадили его на баржу с картошкой, потащили на буксире в тот самый городишко, где было определено постоянное местожительство. Поплыл Иван Савельевич в «проклятую тьмутаракань», куда в царские времена ссылали лютых разбойников да преступников против престола.

Страшные приходили думы. Не раз помышлял наложить руки. За что каялся и просил прощения у Господа. Нельзя на душу брать великий грех человеку, тем более священнослужителю, хоть временно и отошедшему от церковных дел. Дней через десять приплыли в городишко. Поставили баржу на рейд, а с рассветом подвели к причалу под разгрузку. Покормили его в последний раз картошкой шкипер с помощниками и проводили с напутствием: «Иди, батюшка, с Богом. Картошки на дорогу не дали, - не приведи Бог узнают нехристи, да поймают тебя с картошкой, то всем нам не миновать тюрьмы». В долгие дни плавания обо всем переговорили. И знали друг про друга все.

Пришел Иван Савельевич на «приемный пункт». Объяснился. Представил документ. Посмотрел на него уполномоченный по делам ссыльных поселенцев, повертел головой, горько усмехнулся: «Ну, куда мне тебя девать? Пилить ты не сможешь, бревна таскать не осилишь». Подумал немного и добавил: «Иди на лесопилку, пусть там тебя на склад сторожить поставят. Может, приживешься. Там есть уже один такой же горемыка, вот теперь вдвоем по очереди будете охранять социалистическое добро. Украсть ты не сможешь, сан твой не позволит, да и сбыть доски здесь некому, так что это для тебя самая подходящая работенка. Я сейчас напишу сопроводительную начальнику, он тебя и пристроит. Наставлять тебя, чтоб не сбежал отсюда не стану, ты не из такой братии. Да и некуда. Если сам из далекой стороны приехал без конвоя и не пытался скрыться, то уж отсюда и помышлять не станешь. Кое под каким присмотром у нас будешь состоять. Вот и все. Бери бумаги и иди. Здесь недалеко. Грамотный. Дорогу в контору найдешь». И началась для Ивана Савельевича новая, полная отрешенности жизнь. Жили два бедолаги в одной маленькой комнатушке, прямо при складе. Хотели им еще человека добавить. Отказались: «Сами управимся». Воровать было некому, на поджог никто бы не решился. Уж очень серьезным было наказание. Знали об этом люди и не помышляли даже.

Долго не писал Иван Савельевич на родину писем. Не подавал никакой весточки. Но наконец, обдумав все до мельчайших подробностей, написал где и когда похоронил свою незабвенную супругу. Очень долго не было никаких вестей. Но потом пришел долгожданный ответ.

Письмо было душевным спокойным только известие о смерти Марфы Тимофеевны очень всех опечалило, а Екатерина так близко приняла к сердцу, что долго болела. А все остальное шло без происшествий: сын Василий вернулся с учебы, рассердился было сначала, что не сообщили ему про

беду с отцом, но узнав от Екатерины, что телеграфировала она ему (хоть и не велел ей этого делать Иван Савельевич), успокоился. Понял, почему не дошла до него телеграмма. И с Ильей все хорошо. Призвали недавно в армию. Надолго. На пять лет. Во флот. Спрашивал сын Василий в письме: «Если что-нибудь надо - напиши, вышлем обязательно. А сейчас посылаем тебе 500 рублей на расходы». Сердцем уразумел Иван Савельевич: не хотят его расстраивать, тяжело восприняли смерть родного человека, но стараются спокойствием поддержать его. Вскоре и деньги получил. Хотелось старику на родину, но понимал, что не подошло еще время: кроме ссыльных стали возить заключенных под конвоем. Решил тогда Иван Савельевич обзавестись домиком. Пусть небольшим, но своим. Где бы мог он побыть в одиночестве, с Богом поговорить, помолиться, душу облегчить горемычную. Стал прикапливать понемногу от своей зарплаты (копеечной) да присматривать домишко. Присмотрел. Недалеко от работы. Но дороговат. Правда, хорош. На две половины разделен, и печь с хорошей кухней. Муж с женой, оба ссыльные, каким-то чудом получив вольную, уезжали к себе на родину. Послал телеграмму сыну: «Если есть возможность прислать необходимую сумму, то буду очень благодарен». Хотя боялся навредить своей телеграммой далеким родным: как-никак Василий партийный работник, а отец сосланный священник. Но все обошлось. Не причинили вреда вышестоящие партийцы его сыну Василию Ивановичу.

Через несколько дней получил Иван Савельевич деньги из дома, даже больше чем просил. Прикупил домик. Перебрался из общей конуры Иван Савельевич. Немного потребовалось времени. Все равно что «голому подпоясаться». Приглашал своего сослуживца. Тот отказался: «Мне и здесь хорошо». И с тех пор стал жить в своем доме. Хоть и труднее стало, печь надо было топить, на зиму дров запасать, воды натаскать, следить и наводить порядок. Справлялся, хоть сил у семидесятилетнего старика остава¬лось немного. Радовало одно: можно было помолиться в одиночестве, в тишине жизнь потихоньку вспоминать, да вокруг дома походить, размять старые кости.

Советовали зубоскалы: «Возьми себе «молодуху» (были среди ссыльных одинокие женщины под шестьдесят и более лет). Помощницей будет, да и от скуки избавишься». Вздохнет только Иван Савельевич, да промолвит в ответ: «Нет, не могу себе позволить такое, да и сан не позволяет». Время шло. Катились месяцы, за ними годы.

Дружившие с ним ссыльные поселенцы, да и «вольные» люди любили его и по возможности помогали. Из писем с родной стороны знал Иван Савельевич, что у них там все в порядке. Живы, здоровы, внук Илья вернулся из армии. А когда получил от самого Ильи письмо, где сообщал тот, что работать стал в соседнем колхозе механизатором, совсем полегчало у старика на душе. Он обустроил свое жилище, привел его в надлежащий вид, вокруг дома соорудил оградку наподобие палисадника, посадил деревца и зазеленели низкорослые елочки, кустарник, а в траве буйно разрослись ромашки.

Забывался, глядя на божью благодать, благодарил Господа: «Непости-

жимы дела твои, нет меры твоему разумению и могуществу, всему ты благодетель, помоги, отпусти боль душевную, отведи мысли грешные, чтоб встретился я со своей Марфушей в царстве твоем светлом и безграничном. (В последнее время стала в его сердце накапливаться досада и неприязнь к супостатам, власть захватившим. Считал такое недопустимым грехом Иван Савельевич и, погасив обиду, успокаивал себя: «На все божья воля»).

Утихала на время боль неуемная, но снова и снова в темные ночи наваливалась тяжелой глыбой, давила грудь, железом опоясывала сердце. Самой большой отрадой в жизни были письма с родины. По пять раз перечитывал их, в каждую строчку вдумывался, по своему расценивал. Но ничего особенного не находил и, успокоившись, клал их к иконе (в самый первый год выпросил у верующих небольшой складень), со словами благодарности к Господу.

В каждом письме спрашивал сын Василий, на какой срок сослали отца. В последнем приписал, что если нет у него такой возможности приехать, то он приедет навестить. И снова не написал правды Иван Савельевич, а уклончиво ответил, что, возможно, в скором времени и выйдет решение на его освобождение. Он уже два месяца назад отправил прошение на пересмотр его дела. Раньше не решался: уж очень суровыми были последние годы, многим еще хуже выпали испытания, чем ему. Теперь он жил надеждой: а вдруг выпадет счастье.

Через некоторое время пришло долгожданное письмо из самой Москвы. Долго не решался открыть: «Что там?». Вертел в руках, просвечивал под лампочкой (зачем и сам не понимал). Распечатал дрожащими руками конверт. Не смог сразу прочитать, буквы прыгали в глазах, строчка наезжала на строчку, дважды протирал стекла очков. Успокоившись, вчитался, но смысл не доходил до сознания. Наконец уразумел: «Пожизненную ссылку заменили на семь лет». Только к вечеру подсчитал Иван Савельевич, что через полтора года он сможет уехать к себе с этого холодного севера.

Со светлыми надеждами ходил несколько дней. Ног не чувствовал в свои семьдесят пять лет. Написал письмо сыну в самых радостных красках, совсем немного остается. Чтобы время не было в тягость, стал больше заниматься личными делами, дом ремонтировал, вокруг него еще прилежнее наводил порядок. Он уже год как уволился с работы и теперь времени у него стало много больше. Небольшая пенсия, да присылаемые сыном деньги, вполне обеспечивали ему безбедную жизнь. Но счастье было недолгим. Грянула Великая Отечественная война - и у целых народов переломались жизни.

В первый месяц войны получил Иван Савельевич от сына Василия телеграмму, что Илья ушел на фронт добровольцем. Через несколько дней вызвал комендант МГБ Ивана Савельевича и объявил ему, что до окончания войны он будет находиться на поселении без выезда. Расписался в постановлении и, когда вышел, ясный солнечный день показался темной ночью. Совсем разболелся старик. Слег в постель. Пролежал неделю. С трудом вышел на улицу. Осмотрелся по сторонам. Подышал свежим воздухом. Вроде бы полегчало. Повстречался с соседом. Перебросились несколькими

незначащими словами, погоревали да разошлись. Под вечер пришла почтальонша и принесла телеграмму от сына. Сообщал Василий: их вместе с Екатериной эвакуируют, но пока не знает куда. «По приезде на место сообщу адрес». Но не уехал Василий. При бомбежке города его сильно ранило. Положили в больницу. Екатерина не отходила от него ни на шаг. Но это было недолго. Пришли фашисты, и по доносу знакомого лжепатриота их обоих расстреляли как коммунистов, в одном рве с огромной массой евреев захоронили. Но об этом Иван Савельевич еще долго не узнает.

Совсем плохо стало для Ивана Савельевича. Молил у Господа одного: скорее бы умереть. Но дни тянулись за днями - один тягостнее другого. Все больше и больше уходило людей на войну. Многие предприятия закрывались, а на тех, где еще работали, не хватало рабочих. Мужскую работу стали повсюду выполнять женщины. Пришел Иван Савельевич к своему прежнему начальнику. В конторе было пусто и потому тихо. Долго дожидался: начальник отсутствовал.

Когда тот появился, то Иван Савельевич не сразу попал к нему. Начальник бегал из комнаты в комнату, кого-то вызывал, разговаривал и снова спешил. Наконец, проходя мимо Ивана Савельевича, спросил: «А ты чего, дедуля, дожидаешься?» «Да вас дожидаюсь, - ответил Иван Савельевич и добавил: - Хочу на работу попроситься». Начальник посмотрел, приглядел и ответил: «Староват ты, но ничего в сторожа сгодишься. Пойдешь?» - «Так я же в позапрошлом году только в декабре уволился от вас, и работал также сторожем», - сказал Иван Савельевич. Начальник посмотрел на него. Как-то озабоченно сказал: «Как же я тебя не признал. Тебя не Иваном Савичем зовут?» - «Точно что меня зовут Иваном, только не Савичем, а Савельевичем, - утвердительно сказал и тут же добавил. - Так возьмешь?»

«Ну, конечно же. У нас такой провал в рабочих, что берем всех, лишь хватало бы сил у человека ходить, а вы, как я вижу, еще с молодыми потягаетесь. Идите прямо в отдел кадров, я заявление вам сейчас подпишу, и приступайте работать - чем скорее, тем лучше», - сказал начальник.

С того же дня приступил вновь к исполнению нехитрых обязанностей на прежней службе постаревший, а вернее, старый человек, бывший священник отец Георгий. Под этим именем проводил церковные службы и обряды теперешний сторож Иван Савельевич. Но такое счастливое время было давно, и он старался не думать об этом, когда же память назойливо выталкивала самые сокровенные часы его совместной жизни с Марфушей в окружении родных, сердце его болело и накатывались слезы.

Не выдерживал Иван Савельевич. Вновь обращался к Всевышнему с мольбой: «Возьми, Господи, меня в свою обитель, сил нет терпеть, мочи не стало. – Немного успокоившись, тут же корил себя: – Негоже впадать в уныние, это же великий грех». И тут же становился на колени, читал молитвы, крестился бесчисленное множество раз. Когда оттаивала душа, удовлетворенно произносил: «Слава тебе, спаситель и защитник обиженных и угнетенных». Тяжело шло время. Война катилась сперва в одну сторону, потом как огромная морская волна с глубоким вздохом покатилась обратно. Не было Ивану Савельевичу уже несколько лет ни писем, ни теле-

грамм ниоткуда. Их отсутствие порождало разные мысли, вселяло апатию, но Иван Савельевич, поборов их, успокаивал себя: «Все в руке божьей». Война уходила дальше на запад, понемногу веселел народ, налаживалась жизнь. Жили без происшествий. Но случались и неприятности. Сгорело в Северске здание геологоразведочной партии. Немного посудачили люди и тут же позабыли. Посочувствовал Иван Савельевич, да что тут он мог поделать. В этом здании кроме конторы со служебными кабинетами, квартировал начальник партии со своей женой. После пожара их временно приютили в исполкоме, чтобы потом подыскать им жилье. Кто-то указал на домик Ивана Савельевича: «Один живет в большом доме, там на время можно их поселить, он мужик добрый не откажет». В те годы подобные вопросы решались быстро.

Пригласили Ивана Савельевича на беседу. Встретила его пожилая, уставшая женщина по имени Тамара Федоровна (кому было легко в те годы): «Вот что Иван Савельевич, мы знаем тебя как человека доброго, покладистого, уважительного».

«К чему бы такое?» - подумал Иван Савельевич. Он давно ни с какими властями не имел подобных разговоров. В комендатуру ходил исправно, его даже комендант в пример ставил (ссыльных, да и заключенных в этом городишке было немало). «Вот что, дорогой, приюти себе на некоторое время двух человек, мужа с женой, погорельцы они, - сказала женщина, - а мы тебе с нашей стороны будем оказывать всякое содействие, дровишки подвезем, еще чего-то по хозяйству сделаем. Человек этот большой начальник, довольно пожилой. Вы с ним я думаю быстро подружитесь. А вот жена молодая и очень пригожая, но с некоторыми странностями: иногда выходит по ночам, будто бы кого-то ждет. Вы уж на это не обращайте внимания. Работает в нашем магазине заведующей отделом и вам продукты иногда принесет, в очередях-то чай тяжело стоять. Да и веселее будет. Они ненадолго. Как только отстроят сгоревший дом - переселятся туда». «Пусть живут», - сразу согласился Иван Савельевич. Тяжело ему стало управляться с таким домом, как никак, восьмой десяток доходит. Немного помолчав, добавил: «Ну а уж если тесновато им покажется, так я перейду в свою сторожку, где жил когда-то с товарищами».

«Нет, нет, об этом не говорите, а то они тут же откажутся, уйдут, хоть и некуда им деваться, и не останутся, если только вы скажете в таком духе, - сказала, как отрезала, исполкомовская сотрудница. И тут же добавила: - А жена трудолюбивая, все делает сама, иногда им помогала уборщица, в конторе геологов убирала. Марфой зовут, может, и сейчас приходить будет». При имени Марфа вздохнул Иван Савельевич и поник головой. «Не печальтесь, по всем вопросам обращайтесь ко мне, я всегда бываю в исполкоме», - закончила Тамара Федоровна.

Через два дня пришли «погорельцы» вместе с Тамарой Федоровной к Ивану Савельевичу. Он за это время так свыкся с мыслью о подселении к нему людей, что уже и не мыслил по-другому: «Хоть живые души появятся, будет с кем поговорить да посудачить». Одиночество так наскучило ему, что он не раз подумывал завести кошку или собаку: «Буду с этими

безликими существами в темную пору коротать время, а то ведь со скуки можно и одичать».

С первого появления понравились Ивану Савельевичу постояльцы. Переговорив с ними не больше часа, он уже благодарил Бога, что послал ему таких приличных и добрых людей. Марк Александрович Сайбель, начальник поисковой партии, был довольно пожилым человеком, на вид неказистым и страдающим какой-то неизвестной ни ему, ни врачам болезнью.

А супруга его Ефросинья Ивановна, моложе его без малого на тридцать лет, была просто прелесть: красива, стройна, разговорчива и неприveредлива. Как они познакомились и как сошлись, только им да Богу было ведомо.

Домишко им приглянулся, хоть и не было тех удобств, что имели они на своей прежней квартире. Иван Савельевич несмотря на возраст, недомогание в «чреслах», боль в пояснице держал его в порядке, ухоженным. Окружавший в непосредственной близости лес притягивал своей привлекательностью. Ефросинья выходила несколько раз на крыльцо и возвращалась всегда в приподнятом настроении. Марк Александрович чувствовал усталость: последние несколько дней после пожара оказались для него трудными. Ему хотелось поскорее отдохнуть, но, стараясь не показывать свое недомогание, часто начинал разговор, отчего кашлял, иногда надрывно. Глядя на него, Иван Савельевич внутренне жалел: «Зачем ты, бедолага, связал свою жизнь с этой красавицей, много лиха схватишь на своей жизни, если не пожалеет Господь, да не приберет к себе». Очень сильно ошибался Иван Савельевич в этот раз. Ефросинья Ивановна не принадлежала к числу легкомысленных женщин, вела порядочный образ жизни и даже не помышляла о каких-то любовных романах на стороне. История их жизни, как впоследствии выяснит Иван Савельевич, такова.

Счастливой в детстве была Ефросинья, по-простому называли ее Фросей. Родилась в глухой таежной деревушке. Семья была большой. Три брата старшие и отец с матерью еще довольно молодые. Дружно жили. Что может быть лучше. Фросю баловали. Когда подросла, полюбила своего деревенского парня. Тимофеем звали, лучший тракторист в колхозе, хоть и молодой. Закружились головы у молодых. А по осени поженились. Но вскоре началась война с финнами. И пошел молодой супруг громить супостатов (так говорили деревенские мужики). Но недолго провоевал Тимоха. В середине зимы пришла на него похоронка. Заохала, заголосила деревня. А Ефросинья совсем потеряла голову. Ночи не спала. К каждому стуку прислушивалась, чуть ветром тронет ставню, выбегала из дома. Все ждала Тимофея, не верила, что уже нет в живых. Родные забеспокоились: «Умом бы не тронулась», - причитала мать, хватаясь за сердце, когда слышала, как дочь выбегала ночами на улицу, радостно выкрикивая: «Это он! Я слышала стук, он меня всегда так вызывал на гулянье».

Мать с отцом выходили к ней на крыльцо и, немного постояв, уговаривали Фросю пойти в дом. И такое повторялось часто. А когда началась Великая Отечественная война, поочередно стали уходить ее братья. И когда

последнего призвали, пришла на старшего похоронка. В первый же год все погибли. Печаль доконала и стариков. Один за другим ушли они, оставив земную юдоль. Одна осталась Ефросинья. Затаила великое горе неизбывное в себе. Плакать перестала, но никогда больше не смеялась. Ходила как угорелая. В двадцать лет потускнела ее красота. Сжалился над ней председатель, позвал в контору и сказал: «Здесь у меня будешь работать. Кое над какими бумагами придется покорпеть, а главное - печь топи, да полы мой. Бумажной работы немного, ты справишься. Но самое главное - будешь отыскивать меня, если кто из начальства нагрянет. Мне-то в конторе незачем будет находиться. Везде по хозяйству надо успеть. А ты тут все места знаешь, так что всегда отыщешь. Только с приезжими будь побоевей, народ сейчас нервный, сама знаешь - война».

И начала свою «секретарскую» деятельность Ефросинья при одноногом председателе. На виду у всего народа, а в маленькой деревушке каждый знает о другом больше, чем тот делает. С самого начала потеряла покой. Сперва робко, потом настойчивей и нахальней стали приставать к ней совсем молодые парни, возвратившиеся с фронта раненые солдаты, невесть откуда зачастил появившийся дезертир. По ночам приходили, в окна стучали. Грозились сжечь живьем если упорствовать будет. Места не находила, куда себя деть, как избавиться от «треклятых» ухаживаний. Кое-кто стал посмеиваться. Среди людей всегда находятся злопыхатели. Жаловалась председателю. Тот только головой качал: «Ну что я могу поделать, не разбойничают ведь они». Посмотрела на него Ефросинья, только и промолвила: «А когда начнут разбойничать, тогда поздно будет». Перешла она к дальней родственнице, ненадолго попритихли деревенские «кавалеры». Но вскоре такое же стало повторяться. Какой то нахал полез к ним в дверь. Тетка, не раздумывая, огрела его по башке поленом. Трое суток отхаживали. Думали, что умрет, но обошлось. А через несколько дней сгорел ее пустой дом. Все догадывались, что его подожгли, только кто - не знали. Теперь уже вместе с Ефросиньей заволновалась и тетка: «Этот паразит (подразумевался дезертир) и мой-то дом подожжет», - сетовала тетка. И перешла тогда Ефросинья с разрешения председателя жить к сторожихе в контору. Не стучались больше в окна по ночам, но днем при любой возможности не давали проходу. Думала Ефросинья, что не будет этому конца. Но в жизни всегда есть место случаю.

Понадобилось поисковой партии провести изыскательские работы на землях колхоза. Приехали несколько человек вместе с Марком Александровичем из районного города. Пришли в контору. Встретила их Ефросинья, свела с председателем. После этого часто стал наведываться Марк Александрович по неотложным нуждам. Однажды долго задержался где-то председатель. Ожидая его прихода, разговорился он с Ефросиньей. И поведала она ему свою печаль - всю без утайки. И попросила: «Возьмите меня к себе, хоть какую работу буду вам выполнять. Нет у меня больше сил быть здесь. По ночам воем вою, а днем хожу как задурманенная». Горько плакала Ефросинья, не таила слез. Непонятно отчего, этот неказистый, спокойный человек вызвал у нее доброжелательность и доверие.

Посмотрел на нее Марк Александрович, покачал головой: «Взял бы я тебя с большим желанием, работы много, мест свободных тоже, да ведь тебя сейчас из колхоза не отпустят, документы не дадут. Строго очень. А так?! Не дай Бог нарушим закон, обоих по тюрьмам затаскают. Мне то не страшно, я там побывал, да и помирать скоро. А тебя в такой омут загонят, такие там есть «людоеды», что сегодняшняя жизнь раем покажется». Замолчал. Задумался. Потом говорит: «Был бы помоложе хоть лет на двадцать, взял бы тебя в жены. А так не могу».

«А почему? - воскликнула Ефросинья и поникла. - У вас, наверное, есть жена и семья?». Посмотрел на нее Марк и сказал с горечью: «Нет у меня ни жены, ни семьи. Была давно, да угасла, по тюрьмам да ссылкам мотаясь, а я сам еле выбрался».

«Так я за вас пойду с радостью, только увезите меня», - с отчаянием высказала Ефросинья. Она потеряла всякую веру в какой-либо счастливый исход. «Если ты согласна на такое самопожертвование, то запомни, когда наступит час, что ты захочешь меня оставить, отпущу тебя без всяких препятствий».

Уехала она из опостылевшей деревни с Марком, уже довольно пожилым, да еще к тому же страдающим какой-то неизлечимой «хворью». Не нашла она с ним счастья, но хоть стало спокойнее. А через год переехали из района в город Северск. Радовалась Ефросинья: только бы подальше от родных мест, где все напоминало ей о прежней счастливой с таким печальным концом жизни.

В Северске, чтоб заполнить жизненную пустоту, устроил ее Марк (договорился с местным начальством) продавцом в магазин, а через полгода, за усердие повысили ее. Поставили заведующей отделом. В работе она была спорой. В заботах и тревогах стали понемногу утихать печаль, тоска по так рано ушедшим из жизни родным. Смирилась. Заросли глубокие раны.

Вот с такими постояльцами предстояло жить Ивану Савельевичу. Об их жизненной одиссеи он скоро узнает из их уст. «Ну, что ж! Располагайтесь в большой комнате, там у меня, правда, кроме дивана да стола нет ничего, ну уж не обессудьте: чем богаты, тем и рады. Марк Александрович поблагодарил хозяина за приют и пообещал, что в долгу за оказанную помощь не останется. «Ну, что вы! Разве можно об этом говорить, мы ведь люди и должны помогать друг другу», - сказал Иван Савельевич.

Марк Александрович смущенно оправдывался: «Вы уж не обижайтесь на нас, что так получилось, нам право слово так неудобно, что стесняем вас в вашем собственном доме». Был момент, что ему показалось, старик чем-то недоволен и он уж решился отказаться от этого жилья. Но Иван Савельевич так горячо стал убеждать его в противном, что тот окончательно убедился в искренности его желаний. «Мне с вами будет радостно жить», - закончил Иван Савельевич. Может, продолжался бы их разговор, но в это время дверь распахнулась и на пороге предстала высокая, пожилая женщина. «Вот и Марфа Степановна появилась, – сказала Ефросинья. - Она нам будет кое в чем помогать, мы вас Иван Савельевич разгрузим от всякой работы».

Сразу с порога заговорила вошедшая: «Тепло ли у вас, есть ли вода,

может, что-нибудь нужно». «Ничего пока не нужно, Марфа Степановна (и опять при этом имени закололо сердце у Ивана Савельевича), все есть, всем обеспечил хозяин и как видишь тепло. Ты нам только принеси что-нибудь из белья, чтобы можно было устроиться на ночлег».

«Все давно уже собрала, сейчас возчик подъедет и доставит без промедления, - отрапортовала Марфа, - а я вам помогу здесь разложиться». - «Не хлопочите Марфуша, - запротестовала Ефросинья, - мы сами все сделаем, а когда возникнет в чем нужда, то попросим тебя».

«Ну, как вам видится, так пусть и будет, - отвечала Марфуша, - а я только помогу ваши вещички занести, да кое-что расставлю».

И зажил Иван Савельевич совсем по-другому. Веселее стало. И много легче. Ефросинья во всем управлялась. Натаскает воды, печку истопит. Не чуралась постирать стариково бельишко, правда исподнее белье он не отдавал, стирал сам, как ни просила его Ефросинья. Только уж когда за это дело бралась Марфа Степановна, он соглашался: «Буду думать, что это моя Марфушенька мне исполнила».

Темными, зимними вечерами подолгу засиживались Иван Савельевич с Марком Александровичем. О многом говорили. Каждый вспоминал свою родословную. Ивану Савельевичу было все просто. Из самых глубин в его роду были только русские и службу исполняли церковную.

У Марка Александровича все было сложно. Из своей родословной он помнил только деда с бабкой. Дальше все терялось в аравийских пустынях. Дед, по национальности еврей, торговал разными безделушками. Трудно было ему перебиваться в жизни. Но после женитьбы на отчаянной казачке жизнь его заметно изменилась. Пошли дети. Первенца назвали Александром и окрестили в русской церкви. Женился Александр (отец Марка) на армянке. Родили троих сыновей. Двое умерли в детстве, а Марк выжил и выбился в люди. Получил образование. По всем метрическим записям и прочим документам значился русским, но его семитский горбатый нос и оттопыренные уши, доставшиеся ему то ли от деда, то ли от матери армянки, вызывали у его знакомых сомнения, и он в компаниях, да и просто малозначащих беседах, когда проскальзывал национальный вопрос, называл себя «глубоко обрусевшим евреем», хотя в нем не оставалось никакой еврейской крови. Со студенческих лет принимал активное участие в революционной борьбе против самодержавия, не пропускал ни одной стачки, громче других кричал: «Долой царя и бандитов-министров». При разгоне демонстраций казаками доставалось ему всегда с лихвой за семитское обличье. «Бей жидов, спасай Россию», - орали полупьяные черносотенцы, нахлестывая нагайками бедного Марка по его черной кудрявой голове. Случалось, полуживого притаскивали товарищи в студенческое общежитие.

Клялся всеми богами, что больше носа не покажет в этих бандитских «разборках», но чуть поправлялся, снова бежал, где была толпа, шум и крики. И снова избитый тащился отлеживаться. В самый разгар «столыпинщины», когда расстрелы и виселицы стали обычным явлением, примкнул он к эсерам, но после убийства премьер-министра Столыпина, без предъявления каких-либо серьезных обвинений, был сослан в Сибирь, в город Энск.

Имея диплом о высшем образовании, нашел работу по специальности и зажил очень спокойно. Женился на Соне Гельман, тоже эсерке. Но пожили недолго. Она умерла от туберкулеза, наградив этой болезнью незадачливого Марка Александровича.

После Февральской революции снова вернулся в Петроград. Разуверившись в эсерах, примкнул к меньшевикам. Недолго с ними якшался. Думал вообще уйти от всяких треволнений и потрясений, но неуемная натура Марка искала приключений. Поразмыслив, пришел к большевикам и вступил в их партию. Рассказал о всех перипетиях и дал клятву, что будет неукоснительно выполнять их устав. Приняли. И зажил Марк Александрович довольно уютно. Но большевики ничего не забывают. Во время «чистки партийных рядов» выгнали из своей партии. Хорошо хоть не посадили. И тогда, не искушая судьбу, ринулся он в Сибирь и, отойдя от всех партийных дел, занялся хозяйственными работами. По прошествии нескольких лет, подумав, снова подал заявление на прием в партию большевиков, обо всем рассказал, ничего не таил. Приняли. Понемногу начал подниматься, связав свою жизнь с геологами.

Послушает Иван Савельевич Марка, вздохнет: «И когда только народы угомонятся, когда наступит всеобщее примирение».

А война уходила все дальше и дальше. Все больше и больше беспокоился Иван Савельевич о своих родных, от которых не получал никаких известий. Наступила зима. Наши войска давно воюют на чужой земле, а ему никакого привета, никакого ответа нет и нет. Несколько писем написал на родину, посылал телеграммы, как только освободили Украину. Но молчал сын Василий с Екатериной, а где, на каких фронтах мотало внука Илью, он и представления не имел. Совсем закручинился Иван Савельевич. Уговаривали его Марк с Ефросиньей: «Не тужи, все образуется, пройдет лихолетье, и найдутся твои родные». Соглашался с ними. Но чем ближе приближался конец войне, тем все чаще и чаще одолевали его сомнения.

Пришла весна, а с ней победа. Оживал народ. Все многолюднее становились улицы. В теплые вечера собирались толпы людей на берегу Енисея, рассказывали о новостях, делились радостями, хвастались своими обновками: что удалось кому-то купить с рук, некоторым «по блату» в магазине, или же получили в посылках от родственников из далеких российских городов, где товаров было побольше. Разнообразной была публика. Среди пожилых людей можно было увидеть и молодежь, в основном возвратившихся фронтовиков. Толпились возле ларьков, где торговали пивом и бутербродами с рыбой и икрой. Сладостей (конфет, печенья и прочих заморских деликатесов в ярких оболочках, коими сейчас завалены частные магазины) не продавали. После страшной военной разрухи в стране был огромный недостаток в самых необходимых товарах, куда уж там было до шоколада и разносолов. Но тем не менее на лицах людей светились улыбки. Отступала у многих печаль военного времени. Жизнь налаживалась, радовались люди вернувшемуся долгожданному покою. Ликовала природа. Распустившиеся зеленые деревья распространяли пьянящий аромат, от которого кружилась голова, а речная прохлада освежала разгоряченные

лица. Долго люди будут находиться в восторженно-радостном состоянии: отнятое войной счастье после долгих страданий и горя вернулось назад.

«Господи! Жить-то как хорошо», - глядя на окружающий мир, восхищенно говорил Иван Савельевич. Только не было у него счастья. Чем больше проходило времени, тем мрачнее становилось у него на душе. Еще раз написал он письмо своему сыну Василию по прежнему месту его работы, а другое по месту жительства. Может, после окончания войны отыщется кто-нибудь и пришлет хоть весточку. Терзался старик. А тут стали поговаривать его постояльцы, Марк с Ефросиньей, что скоро переедут они на новую квартиру: строительство дома близилось к завершению. Загрустил больше Иван Савельевич. Сходил в комендатуру узнать о своей дальнейшей судьбе: скоро ли снимут с него опалу. «Ждите дедуля, ждите, нет пока ничего никому, не один ты такой», - ответил комендант. Напала на него тоска. И взмолился он: «Господь ты наш всемилостивый, за чьи грехи несу такое наказание, пощади, не дай сгинуть на чужбине, укажи дорогу, как найти родных, чтобы перед кем-то излить душу свою изболевшую». Ночами не смыкал глаз, казалось, земля разверзлась, и стоит он на краю пропасти, где нет дна. «Господи! Пусть слуги твои подтолкнут меня, пусть тело мое истерзают аспиды жестокие, облегчи только душу мою горемычную», - шептал в темноте служитель царя небесного. Он и в гонении оставался верен Господу Всевышнему, не подверг сомнению свои убеждения.

Добрые сердцем Марк Александрович и Ефросинья Ивановна, глядя на его терзания и все увеличивающееся недомогание, старались успокоить, помочь старому человеку. Не уходили из его дома, хотя квартира для них была построена. Не уносили вещи. «Пусть лучше останутся здесь, - говорила Ефросинья, - не будем его расстраивать. Новые заведем, а когда ему полегчает, то и переберемся на новое жилище».

На дворе все заметнее наступала осень.

А в это время на другом краю земли возвращался в свой родной город демобилизованный лейтенант Советской армии Илья Васильевич, внук Ивана Савельевича. По приезду в родные края узнал о великом горе: все дома были разрушены и сожжены, оставшиеся в живых соседи рассказали, как погибли его родители, указали огромную общую братскую могилу, в которой они покоились вместе с тысячами советских граждан. Он долго стоял, мысли приходили и уходили, не задерживаясь. Перед уходом со страшного «кладбища» тревожная пробилась мысль: «А что было бы, если бы фашисты захватили нашу страну, чтобы стало с народом, сколько бы появилось еще таких могил? Не зря я все четыре года воевал, защищая свою родину».

Пожил он с неделю у своего знакомого, погуляли, попили по русскому обычаю «зеленого вина». Все надоело Илье. И решился он на самый отчаянный шаг: поехать в далекую Сибирь, где проживал его ссыльный дед. Одно последнее письмо почтальонка принесла его соседям со словами: «Сохраните, может, появится какой родственник». Передали это письмо Илье. Там был обратный адрес. Просил дед послать хоть какую то весточку: остался ли кто в живых, может, произошли какие изменения, известно

ли что о внуке его Илье. Сообщал также, что по окончании войны обещали освободить от ссылки, только не знает он, доберется ли до дома, немощен стал очень. Как только принял решение Илья ехать за дедом (он уверовал, что того освободят, война-то уже несколько месяцев закончилась), сделалось легко и даже радостно. Собрал кое-какие вещички, что приобрел после возвращения с фронта и сразу же послал телеграмму: «Дорогой дедушка, еду за тобой. Твой внук Илья».

Почтальонша принесла телеграмму рано утром в воскресный день. Марк и Ефросинья были дома. Собирались сходить на новую квартиру. Только вышли из дома, как почтальонша попросила их передать деду (знала она его, не раз пенсию приносила) телеграмму. «Обрадуется дед, как узнает», - сказала она, роясь в сумке. «Неужели кто отыскался», - воскликнули сразу оба. «Нашелся и едет к нему, - торопливо говорила почтальонша, - внук Илья». Она была рада за деда не меньше, чем они.

Достав телеграмму, передала Ефросинье. «Только вы ему сразу то не отдавайте, он очень ждет такое известие, многим от радости худо становится», - говорила девчушка, радуясь теперь за то, что и она людям хоть редко, но доставляет радость. Марк с Ефросиньей знали, что это известие было для деда настоящим счастьем. Это они хорошо понимали.

Возвратившись в дом, увидели, что Иван Савельевич уже встал с постели и копошился на кухне. После того как он уволился с работы, времени у него было много. Он снова взялся за свои прежние хозяйские дела, сначала начинал с печки, потом выходил на улицу, там ремонтировал изгородь, укладывал дровишки. В общем, делал всяческую работу, лишь бы занять себя хоть чем. «Дедушка, зачем ты встал так рано, полежал бы еще. Мы скоро вернемся, позавтракаем, а возвратились, чтобы сказать тебе, что по пути зайдем на почту, поинтересуемся, может, откуда-нибудь тебе весточка есть. Почта-то сейчас работает с перебоями. Что-то верится нам, должны твои родные отыскаться, у тебя ведь кроме сына с невесткой есть внук Илья, про него ты нам рассказывал», - говорила Ефросинья, наблюдая за лицом деда. Тот немного побледнел, как-то сразу не нашелся, что сказать, а потом ответил: «Ну, конечно, внучек Илюшка есть, только я его уже почитай пятнадцать лет не видел, вымахал, наверное, он и подростком то на мужика похож был». И как-то убедительно закончил: «Должен, должен он отыскаться». «Иван Савельевич, - заговорила Ефросинья, - выискался твой Илюша, вот от него телеграмма - едет он сюда».

Дед не сразу сообразил, о чем сказала Ефросинья, только понял, что жив Илья, пусть далеко, на другой стороне, но жив. Он выронил из рук сковородку, непонятно как она оказалась у него в руках, опустился на табуретку и непонимающими глазами уставился на Марка с Ефросиньей. Потом каким-то неуверенным голосом спросил: «Так ты говоришь, что отыскался?» - «Не только отыскался, дедушка, а едет к тебе сюда, пишет, что за тобой».

Долго копившиеся страдания, сжавшиеся, как пружина, в измученном сердце старика вдруг выплеснулись из его груди, и радостные слезы ручьем полились из глаз. Иван Савельевич, не сдерживая себя, громко и судо-

рожно зарыдал. Ефросинья схватила стакан и стала наливать воду, а Марк обнял старика за плечи и сам, не сдерживая катившихся слез, уговаривал его: «Успокойся, дедуля, это же очень хорошо, что скоро внук приедет». Долго они успокаивали Ивана Савельевича, наконец, когда он немного пришел в себя, уговорили его прилечь. Выйдя в другую комнату,

Марк сказал Ефросинье: «Ты сходи одна, что надо сделайте с Марфой Степановной, а на обратном пути купи в аптеке сердечных капель, я с ним останусь, мало ли что старику понадобится».

«Нет, - ответила Ефросинья, - сейчас я сбегаю, куплю лекарств, а уж потом пойду на наше новое «житие», так будет лучше». - «Умница ты у меня, Фросюшка», - сказал Марк и подумал: какое счастье выпало ему, немощному старику, на закате дней его.

Возвратилась Ефросинья с Марфой и сказала Марку, что в их квартире полный порядок. И замолчала. «Нам надо жить здесь пока не приедет Илья, - сказал Марк, нельзя его оставлять одного». К ним подошел Иван Савельевич: «Ну как там у вас продвигаются квартирные дела?» - спросил он. «Плохо, еще не все обустроено, можно мы еще у вас поживем?» - спросила Ефросинья.

«Ну о чем ты спрашиваешь, ласточка моя, живите сколько вам приглянется, мне от этого только радостно будет», - ответил Иван Савельевич.

И потянулось время в ожидании приезда Ильи, внука Ивана Савельевича. Обо всем передумал старик. И про сына с невесткой, от которых с первых дней войны не было никаких вестей, о родных местах, откуда почти пятнадцать лет уехал (вернее, выслали) Иван Савельевич, вспоминал кое-каких знакомых. Томительно тянулось время. По вечерам приходил Иван Савельевич побеседовать с Марком Александровичем. Обо всем говорили. Вспоминал Иван Савельевич и про Илью. Ничего необыкновенного не рассказывал. Жизнь у Ильи была как у всех его ровесников. Трудные военные годы, потом сельская школа, комсомол, фабрично-заводское училище, где он приобрел специальность тракториста, мог работать и на комбайне, а дальше армия. Тут обрывались воспоминания. Ивана Савельевича выслали в тот момент, и про дальнейшую его судьбу и судьбу родных до начала войны узнавал только из писем. А дальше? Ничего. Связь оборвалась, и прожил Иван Савельевич в тоске и неведении долгих четыре года без всяких весточек. Ох! С каким же нетерпением ожидал он внука Илью. От предстоящей встречи даже помолодел, стал бодрее, все чаще и чаще выходил на двор, смотрел на реку, просил Бога, чтоб не было никаких помех для приезда внучонка Илюшки (виделся тот ему парнем подрастающим).

Быстро доехал Илья до Красноярска, без всяких задержек и помех. Купил в Красноярске билет до Северска на пассажирский пароход «Иосиф Сталин». Сразу же послал телеграмму: «Не волнуйся, дедушка, выезжаю пароходом». Указал его название. Непонятно по каким причинам задержался пароход «Иосиф Сталин» на несколько дней. Не хотелось Илье мотаться на вокзале. Но помог случай. Узнал Илья, что вечером уходит в низовья Енисея еще один пароход. С названием «Мария Ульянова». Забегал Илья. Очень старался уехать пораньше. Но с билетами было очень трудно:

осень наступила, пароходы выполняли последние рейсы, в низовьях Енисея скоро начнутся холода.

Зашел к начальнику пристани. Объяснил положение. Отнеслись с пониманием: фронтовиков по всей стране уважали, воспоминания о страшной войне вызывали печаль о потерянных родственниках и одновременно гордость за свой народ, великую страну. Обменяли Илье билет на пароход «Мария Ульянова», от волненья не сообразил послать телеграмму деду и спохватился только, когда уже подплывали к Северску.

В последних числах сентября причалил пароход «Мария Ульянова» на пристань в Северске. Моросил дождь, было довольно холодно, ветер срывал пожелтевшие листья.

Народ с неохотой выходил из кают и, пройдя по трапу, спешил поскорее укрыться в своих жилищах.

Илья подняв чемоданчик легко сошел с парохода. Огляделся. Для уверенности спросил про нужную ему улицу (сведения о ней он получил от ехавших с ним пассажиров). Поднявшись в гору он остановился. Еще раз поглядел на пароход. Увидел, как несколько человек, вышедших посмотреть и прогуляться по берегу, спешно возвращались: пароход дал несколько протяжных гудков. Ему предстояло отплывать в низовья, в далекую Дудинку. Подойдя по указанному дедом (из письма) адресу, остановился. Сердце заколотилось: как никак, приехал к единственному родному человеку. Разглядывая дом деда стал успокаиваться. Дом был ухожен, палисадник вокруг был недавно покрашен. Он под¬нял свой неказистый чемоданчик и направился к двери. В это время ему навстречу вышли две женщины. Одна была довольно дородной и пожилой. Одета бедно, но чисто и опрятно. Вторая очень молодой, миловидной. Они о чем-то разговаривали промеж себя. Илья остановился и увидел смотрящие на него с удивлением широко раскрытые серые глаза и расплывшуюся по лицу очаровательную улыбку. Первой заговорила с ним пожилая женщина: «Так ты, наверное, и есть тот самый Илья, про которого нам говорил Иван Савельевич, твой дед. Так ли это? Да тут не надо сомневаться, - продолжала она, - весь в деда: такой же большущий. А мы ведь тебя ожидали на другом пароходе «Сталине». Илья после ее слов даже застеснялся за свой рост, но еще раз посмотрев на молодую женщину и увидев ее восторженные глаза, как-то вдруг осмелел и, немного подумав, спросил: «А вы кто такие будете?». Он из единственного письма деда (чудом уцелевшего), а еще больше из писем родителей (правда писанных до войны) знал, что он одинок и очень скучает по родным местам. Пожилая женщина, не вдаваясь в переговоры, сказала: «Входи, входи поскорее в дом, а то еще больше намокнешь под дождем, потом уж будем знакомиться».

Когда все вместе зашли в помещение, на Илью дохнул обжитый домашний уют. И сделалось тепло и приятно на душе. После долгих военных мытарств, да еще волнений после военного времени, без своего угла, без родных и родственников Илья почувствовал какое-то необъяснимое удовлетворение. Простое, по-русски доброе к нему обращение этой старой женщины и взгляд (непонятно, то ли зовущий, то ли удивленный) молоду-

хи, возвратили его в далекие юношеские годы, когда все было прекрасно и заманчиво. Он легко вздохнул и облегченно сказал: «Здравствуйте!».

«С приездом вас, Илья Васильевич», - сказали одновременно обе.

«Меня зовут Марфа, - заговорила пожилая женщина, - а ее Ефросинья Ивановна». - «Ну уж так прямо и по отчеству, - запротестовала, улыбаясь, Ефросинья, - можно и просто».

«Ничего, голубушка, тебя так величает суженый, а он непростой человек, потому и я по-другому не могу обращаться». - «Да полно Марфа, тоже мне, выставляешь из меня барыню», - опять ответила Ефросинья. Улыбка на ее лице погасла. Может быть, их разговор продолжался бы и еще, но в это время у окон затарахтела телега и раздались мужские голоса. «Ну, вот и наши мужички подъехали», - сказала Марфа и двинулась к выходу.

Когда Марфа вышла за дверь, Ефросинья обратилась к стоящему посередине комнаты Илье: «Садитесь, Илья Васильевич, они сейчас придут». Но Илья, не обращая внимания на ее слова, хотел выйти вслед за Марфой, но в это время дверь открылась, и в нее, пригнувшись, стараясь приободриться, протиснулся Иван Савельевич. Илья остановился за несколько шагов до деда. Опершись на косяк двери, остановился и дед. Оба глядели друг на друга. Дед значительно постарел. Спина его согнулась, когда-то черная борода была почти седой. Его глаза глядели на Илью, но ничего не видели. «Дедушка! Это я, Илья. Ты что меня не признал?» - с тревогой спросил внук.

Дед хотел что-то сказать, произнес какой-то нечленораздельный звук, пошатнувшись, сделал шаг вперед. Илья быстро подбежал, подхватил деда на руки, прижал к своей груди. Дед крепко обнял руками Илью и ничего не говорил. Только как-то неестественно вздрагивали его плечи. Дед плакал, плакал беззвучно, не всхлипывал, не рыдал. Так плачут только много пережившие люди. Накопившаяся горечь, несправедливость со стороны властей выплеснулись враз и вместе со слезами катились по его лицу и бороде. Наконец с трудом он проговорил: «Илюша! Милый ты мой! Как тяжело одиночество. Я думал, что уж больше ни с кем не свижусь».

«Дедушка! Теперь мы с тобой будем вместе, не печалься и успокойся», - говорил Илья, сам еле сдерживая слезы.

«Хорошо хоть остались еще на свете добрые люди, - говорил Иван Савельевич, кивая головой в сторону стоящих женщин, - не выжил бы я, не дождался бы тебя, не окажи они помощь вовремя».

Ефросинья, глядя на плачущих мужиков, отвернулась, а Марфа так и застыла с раскрытым ртом. Хотела что-то сказать, но только всхлипнула. Из глаз ее покатились слезы. Два родных человека, не видевшие друг друга долгие годы, стояли обнявшись, будто оцепенели. Сколько бы так продолжалось - трудно сказать. Но в это время дверь открылась, и вошел Марк Александрович. На нем был дождевик защитного цвета, на голове кожаная фуражка. Он с утра отлучался в свою контору и теперь подъехал на коляске, чтобы отвезти Ефросинью и Марфу на новую квартиру. Увидев немую сцену неподвижно стоящих людей, он воскликнул: «Ну, теперь, как я вижу все в сборе. А что вы притихли, приуныли. Тут

радоваться надо. Такая встреча. Надо веселиться, да и обмыть приезд необходимо».

Все как-то вдруг повеселели, заговорили. Иван Савельевич отпустил Илью со словами: «Давай раздевайся, да отдохни с дороги». Не отпуская его руки, подвел к диванчику. Усадил Илью и, не зная, что дальше делать, глядел на него и не мог оторваться.

Следом за Марком зашел кучер. Увидев его, Марк сказал чтобы уезжал: «Больше мне ты не понадобишься». Немного потоптавшись, тот вышел. Когда все понемногу освоились, Марк подошел к Илье и представился: «Я друг вашего деда. Знакомы не так давно, но за этот короткий промежуток времени, мы с супругой очень полюбили его. Это по-настоящему святой человек. Когда сгорела наша контора, где мы с ней проживали, он выручил как самый добрый человек, отнесся к нам, как к родным, принял в свой домишко, и мы очень дружно жили без малого год. Нам отстроили квартиру уже как месяц, но мы не переезжали, дожидаясь твоего приезда. Иван Савельевич последнее время приболел. Работаю я начальником геологоразведочной партии. Зовут меня Марк Александрович Сайбель. А это моя жена Ефросинья Ивановна, а попросту Фрося. Мотается со мной по всем местам Сибири и Севера, побывали даже в Якутии. Не любит такие экспедиции, особенно когда уезжаем надолго от квартиры. Но сейчас много лучше, база основная здесь, и потому ей нет нужды уезжать со мной на объекты. Про тебя я от деда все знаю, так что не представляйся, Илья Васильевич. Обо всей твоей родне все мне рассказал Иван Савельевич, - чуть замолчав, тут же продолжил: - Видите, сколько я вам всего наговорил. А сейчас мы вас покинем, нам нужно обустроиться, а завтра прошу милости в гости, обмыть новое наше жилище». Марк Александрович выглядел неважно. Ему на вид можно смело было дать под шестьдесят, хотя он был моложе. Что поделать? Потрепала его судьба.

О жизненных перипетиях Марка Александровича узнает вскорости Илья из частых с ним бесед. Вглядываясь в его характерные семитские черты лица, постаревшего, измученного болезнью, постоянно кашлявшего, его тщедушную фигуру, Илья проникся сочувствием, невольно перенесся мыслями в далекие страны, по которым прошел с боями до самого Берлина, бесчисленным захоронениям и с болью вспомнил большую братскую могилу на родине с мемориальной, наспех установленной доской, где среди сотен еврейских фамилий: Шварцев, Равделей, Гутманов, Мордуховичей, отыскивал фамилии своих родителей Силантьевых Василия с Екатериной, погибших в этой беспощадной «мясорубке». За что? Нет вразумительного ответа. И самое страшное: убивали наших людей свои же соотечественники, возвратившиеся из ссылок и тюрем кулаки, скрывавшиеся до времени белогвардейцы, уголовники и им подобные. Все они с первых дней появления немецко-фашистских оккупантов шли к ним в услужение и добросовестно исполняли принятые на себя обязанности, вымещая свою злость на евреях и коммунистах, считая тех главными гонителями и виновниками всех свалившихся на них бед. Но и их не щадили. Никого не оставляли в живых. И память подбрасывала новые и новые эпизоды.

Вспомнил, как в Западной Украине, в одном небольшом поселенье, натолкнулась их часть на засаду. Пулеметным огнем выкосили целый взвод, и когда прорвавшиеся солдаты сломили сопротивление, уничтожив вражескую огневую точку, то оставшийся в живых, уже довольно пожилой мужик, весь израненный солдатскими штыками, умирая, с остервенением выкрикивал: «Ненавижу, презираю, проклинаю!».

Нет меры звериной озлобленности в людях, что породила война. И, поворачиваясь взглядом от Марка к деду, к приветливым и милым женщинам, осчастливленный их добротой, Илья то ли присутствующим, а скорее самому себе, сказал с тихой радостью: «Как просто и хорошо можно жить в мире и дружбе всем на свете народам».

Когда все покинули дедово жилище, Иван Савельевич снова расплакался. Немного помолчав от нахлынувших переживаний, Иван Савельевич засуетился: «Илюша, ты же ведь с дороги, устал. Давай перекусим чем Бог послал да и отдохни. Спешить тебе некуда. А через недельку другую посмотрим, как дальше жизнь устраивать будем. Поживи со мной, мне недолго осталось».

Во время обеда Илья настороженно ожидал вопроса деда о родителях. Ему хотелось, чтобы он скорее спросил и в то же время очень боялся этого. Как воспримет дед это страшное известие, может, сказать, что пропали без вести и оставить ему надежду, а будет ли так лучше, ведь каждый день дед будет думать и мысленно разыскивать их. А сказать правду - выдержит ли его сердце?

В таких терзаниях силился Илья найти ответ, да такой, чтобы не сильно ранить деда. Наконец Иван Савельевич не утерпел и спросил: «Может, ты Илюшенька знаешь что-нибудь про Василия с Катериной, твоих родителей. А то что-то ты отмалчиваешься?» - «Знаю, деда, - и, помолчав, добавил: - Был на их моги¬ле - в нашей местности за нашим городом их расстреляли фашистские прихвостни, тысячи людей там схоронены. Самое обидное, что расстреливали их наши же люди, бандеровские бандиты, да предатели нашего народа. Из них многие за свои зверства поплатились. Наши тоже не пощадили это отребье». Наступило молчание. Дед долго не мог прийти в себя. Он ожидал услышать что угодно, только не такое страшное известие. «Не щадили немцы, а особенно наши изменники, коммунистов да евреев. Чем они им досадили, я так за всю войну и не понял», - сказал Илья. И снова наступило тягостное молчание. Дед поднялся и, обратив взор на икону, промолвил: «Убереги, Матерь Божья, народы от полного истребления. Верни людям разум, остуди сердца обозленные, спаси от скверны, наставь на путь истинный».

«Долго теперь, дедушка, мира между людьми не будет. Много еще прольется крови, пока умирятся разгневанные люди, с самого начала века одни идут на других, не понимая, за что дерутся, все больше злобы накапливается во время битвы. Ох сколько лютого люда шатается сейчас по лесам, да в тайных берлогах прячутся, - ответил Илья на моление деда. А потом попросил: «Дедуль, уж очень хочется поспать, где бы мне приловчиться на сон грядущий?».

Прошла неделя. За это время Илья навел полный порядок в хозяйстве деда. Напилил и переколол дров целую поленницу, поправил кое-какие повалившиеся доски в изгороди, подбил косяки, чтобы двери плотнее закрывались. Дед любил работать, многое делал в доме, но сил не хватало на все. Закончив хозяйственные дела, забрался Илья на чердак, может, что там нужно переделать, увидел в углу большой деревянный крест. «Зачем он здесь? Надо спросить деда, - подумал и полез вниз, - может, от прежних хозяев остался?»

Убрав лестницу с чердака, зашел в дом. Немного поговорив о разных пустяках, спросил деда: «А что за крест на чердаке, может, остался он от прежних владельцев». «Нет, Илюша! Этот крест я сработал своими руками. Когда помру, поставь его на моей могиле». - «Дед, так ведь не повезем же мы его с тобой на родину, как поедем, когда тебя освободят от ссылки», - сказал Илья. Дед взбодрился: «О! Илюша! Тогда мы там сделаем другой! -как-то радостно произнес дед и уже тише добавил: - Только когда это будет, а смерть-то сроки не согласовывает ни с кем». - «Ну, ладно. Мы и смерть отодвинем, не печалься, а я пойду, кое-что поделаю», - сказал Илья и вышел, глубоко задумавшись.

Переделав все, что только требовало ремонта, сказал деду: «Ну, а теперь пойду устраиваться на работу, дождемся, как придет на тебя освобождение, тогда и подумаем, что делать дальше. Ехать-то ведь нам некуда, все на родине дотла сгорело».

На работу его приняли без всяких проволочек, требовались водители лесовозов. А Илья был первоклассным шофером (танкистом был в армии), мог управлять более сложной техникой. И потекло время. Днем на работе, по вечерам с дедом вел задушевные беседы про жизнь неудавшуюся, полную горьких потерь, немного о политике, а больше про несправедливость, вражду между людьми. Вели разговоры и на божественные темы. Наставлял дед Илью на богоугодные дела, любовь к людям: «Ты думаешь, что тебе плохо, жизнь не устроена, а подумай про других, посмотри вокруг себя и увидишь, как многим труднее живется и нет у них даже надежды на избавление от постигшего горя, бед неизбывных, убереги тебя Бог впасть в искушение, поддаться зависти, а уж коль настигнут трудности житейские, не впадай в уныние, а пуще всего не поддайся прелюбодеянию. Это великий непрощаемый грех. Ничего не проси у Господа для себя, кроме одного: чтобы помог тебе побороть грешные мысли, когда они станут одолевать твою душу». Всегда заканчивал одним: «Жениться тебе надо, пора приспела давно». Илья всегда соглашался с дедом, во всем ему поддакивал. Только иногда как бы между прочим говорил: «А кому тут дед завидовать. Самый большой начальник надо мной чуть больше моего получает зарплаты, а работает в два раза больше, вижу, что далеко за полночь уходит с работы, когда мне доводится работать в ночную смену».

«Это по-божески. Так и должно быть. На этом мир может держаться. При старом режиме сколько было недовольств и чем все закончилось, сколько крови пролилось, а все из-за неравенства в жизни. Грех было одним блаженствовать, а остальным прозябать всю жизнь в нищете. Зло в народе

копилось веками от несправедливого устройства жизни, от дедов к внукам передавалось. Вот и выплеснулось во всеобщую гражданскую бойню. В зверей превратились люди. Из окон выбрасывали беременных дворянок, живыми сжигали людей в помещичьих усадьбах. И проделывали такое, Илюша, не большевики, а простой народ». Дед закашлялся и замолчал.

«Ну, а вы-то с бабкой за что пострадали? На вас-то чей грех?» - Илья спрашивал деда, понимая, что нет на них никакой вины, только за тем, чтобы продолжить разговор.

Иван Савельевич, помолчав, с грустью сказал: «Несем наказание, Илюша, от злобы людской ненасытной. Христос был чист, подобно родившемуся младенцу, и людям нес только добро, а люди его же и распяли. И на нас с Марфой тоже нет греха. Не помогали мы ни белым, не прислуживали и красным, а служили только одному Господу, исполняя его святые заповеди. Души наши с Марфушей чисты перед Богом и людьми. Не страшимся мы великого судилища». Говорил дед тихо, как бы сам с собой, глядя на внука.

Он замолчал, а Илья подумал: «А есть ли оно, дедуля, это судилище?» Не укладывалось в его голове: «Всю жизнь прослужил священником, по советским законам вроде бы к врагам все это сословие причисляется, а рассуждает по-большевистски, и оправдывает их действия», - про себя подумал Илья. И после некоторого молчания спрашивал: «Дед, а за что большевики многих расстреляли служителей православной веры?». Иван Савельевич после долгого молчания отвечал Илье: «Не расстреливали, а убивали, Илюша, не за то, что принадлежали к церковному сословию, а за то, что многие из нашего «брата» помогали белогвардейцам, многих сторонников белого движения прятали по церквям да монастырям, за всякую помощь сторонникам прежнего режима, а у царского режима, Илюша, много было несправедливости. Большинство нашей изысканной интеллигенции в последние годы отвергало не только самодержавие, но и веру православную тоже стало презирать. А это толкало самых ярых большевиков из числа иноверцев, а их в революции и особенно после свержения ненавистного режима в руководящей большевистской верхушке было преобладающее большинство, на самые крайние меры, вплоть до уничтожения всей царской семьи. Сгубили не только царскую семью, уничтожили целые сословия, в том числе и казачество - верный оплот отечества. Я же про вашу идеологию (Илья тоже был коммунистом, вступил в партию во время войны, о чем поделился с дедом в предыдущих разговорах) ничего плохого сказать не могу. Она переписана с наших священных заповедей. И возникла давным-давно, задолго до Маркса с Энгельсом. Ее признал народ, но окончательно она победит, когда власть и церковь будут заодно».

«Ну, как же, дед, ведь с этой идеологией мы всегда побеждали и в гражданскую, и в Отечественную, значит, народ признал ее», -возразил Илья. «Да, Илюша, признал разумом, а не сердцем, во время гражданской войны вся идеология определялась в одном понятии - все богатства принадлежат народу, да еще у восставшего народа был истинный патриотизм, не то что на стороне белогвардейцев Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, кото-

рые только могли говорить: «Я люблю родину, люблю народ, ничего не делая ни родине, ни народу, кроме одного, что расстреливали и вешали простых российских тружеников. Мне Марфу мою не разрешили похоронить на кладбище, где были расстреляны тысячи мирных жителей Колчаком, только потому, что она принадлежала к иному (а вернее, противному) сословию. А патриотизм был у красных. На стороне белых сколько иностранных наемников воевало. И измеряется он, патриотизм, не пустословием, и словоблудием, а количеством труда, вложенного человеком в свою маленькую родину, она у каждого есть. А что-нибудь подобное сделала эта масса буржуазно-помещичьей смеси для великой России? Ничего, кроме хвастливых выкрикиваний: «За Бога, царя, Отечество, жизнь свою положу!». А на самом деле воевали они за отобранные привилегии, удовольствия и прочую благодать».

С горечью вспоминал дед: «Не довелось мне видеть, Илюша, крепостную неволю, родился я позже, как освободили крестьян, но разговаривать с людьми, что испытали ее жестокость, приходилось. Рассказывали со слезами, когда их деревни перегоняли в другую, от одного барина проигравшего их в карты, к другому. Горько такое. Но еще горше видел, как после свержения царя сыновья раскрепощенных мужиков громили помещичьи усадьбы, растаскивая их богатства по домам, и как потом многих при коллективизации высылали, подобно мне, в далекие, холодные края, отобрав у них все, что нахапали, а вместе с награбленным отбирали и то, что накопили своим трудом. Не надо зариться на чужое, не будет проку. Только маета, да суета. И рады бы многие повернуть назад - только как? Время для этого ушло. Ты уже вырос и умом должен понять, что сладок хлеб, трудом заработанный, и в трудную минуту поделись с горемычными, протяни руку помощи, посоветуй, как обрести правильную дорогу. Для того Господь и создал людей всех разными: одним дал силу, другим – ум. И такое он совершил, чтоб избранные пеклись о маломощных и сирых, а не покоряли их своим превосходством, не превращали в стадо послушных овец». (Как сейчас многие правозащитники окрестили простых людей «быдлом»).

Когда дед замолчал, Илья успокоительно сказал: «Ну, теперь, дедуля, все позади. Жить мы с тобой будем в дружбе и согласии. Здесь нас никто не тронет. От властей мы далеко, да и время вроде другим стало». «О, Илюша, - говорил дед, - таких, как я, и мне подобных не власти сажают в остроги, да высылают в края студеные, а такие же, как мы, простые смертные. Власти верховные нами не занимаются, а вот сосед-завистник обязательно напакостит. От самих себя страдаем. От жадности да зависти черной. Многие всю жизнь хватают, хватают, а когда нагребут, что девать некуда, поднимут вверх свои «опученные» глаза и с ужасом воскликнут: «Жизнь-то уже прошла, на что же ее ухлопали, для чего теперь эти неизмеримые богатства?». Большинство из них до самой смерти не понимали, что богатства приобрели, отнимая последний кусок хлеба у детей обездоленных людей. Это, Илюша, не люди, а воры, а правильнее - нелюди».

Дед умолк. Илья давно собирался вступить в разговор, и как только Иван Савельевич прекратил свой длинный монолог, сказал: «Дед, тебя с

твоими убеждениями без всяких экзаменов приняли бы в нашу партию. Не всякий член так рассуждает, а ты просто настоящий коммунист».

Дед немного поворочался, покашлял, с трудом поднялся с лежанки, куда он частенько пристраивался и, обращаясь к внуку, высказал свою заветную думу: «Одно у меня осталось желание, Бога ежечасно прошу, чтоб поскорее даровал мне освобождение от проклятой ссылки, и смог бы я съездить на могилу моей незабвенной супруги Марфы Тимофеевны, душу бы излить на ее могиле, слезы пролить над надгробьем, по-человечески обиходить, да обустроить. А уж если не доведется исполнить мне это, то попрошу тебя, Илюша, сделай за меня. Мало мне остается времени пребывать на этом свете. Где и как найти эту могилку у меня все записано, хранится в конверте за иконой». – «Дедушка, ну что ты такое говоришь, мы с тобой обязательно вдвоем поедем, где покоится бабка, все сделаем: обновим, заново крест поставим и ограду вечную закрепим», - с жаром убеждал Илья деда, успокаивая его. И, глядя на плачущего восьмидесятилетнего старца, сам отворачивал глаза, на которых появились непрошеные слезы.

Зима катилась со снежными метелями, морозами. Иногда навещали одиноких холостяков Марк с Ефросиньей, засиживались допоздна. Но такое случалось редко. Марк чувствовал какую-то немоту и уходил в большинстве случаев, недолго посидев с Иваном Савельевичем. А дед совсем плох стал. В один из апрельских дней сильно занемог. Илья, придя с работы и увидев деда в таком состоянии, сбегал за «неотложкой». Врачиха, повидавшая многих больных, безошибочно определила: «Нужно немедленно в больницу, у старика совсем плохо работает сердце. Собирайте его, а я направлю вам повозку, нужно будет его сопроводить».

Дед в больнице пролежал недолго. Его каждый день навещал по вечерам Илья, иногда приходили Марк с Ефросиньей. Однажды медсестра сказала, что дедушка совсем плох: «Постарайтесь меньше с ним разговаривать».

Илья зашел и поразился резкой перемене. Дед лежал с раскрытым ртом и как-то неестественно дышал. Он подошел к деду, присел на краешек табуретки, что стояла рядом с койкой и впился глазами в его лицо. Он очень болезненно почувствовал, что уходит из жизни последний, самый дорогой, родной человек. Илья молчал, но дед, видимо, каким-то чутьем догадался, что пришел к нему внук и еле слышным шепотом промолвил несколько слов: «Милый внучек, исполни мою последнюю просьбу: побывай на могилке Марфы». На большее у него не хватило сил. Замолчал дед. Молчал и Илья. Спустя некоторое время у деда зашевелилась рука, потом медленно начала двигаться в сторону Ильи. Илья взял ее в свои руки и почувствовал, что ладонь немного сжалась, как будто он хотел попрощаться, и ослабла. Илья поднял обессилевшую руку, прижался к ней губами. Он давно знал, что немного времени протянет дед, внутренне готовил себя к неизбежному концу, но настоящую боль почувствовал только сейчас. «Дед мой родной, милый, как же мне быть сейчас совсем одинокому на этом свете», - шептал чуть слышно Илья. Вошедшая медицинская сестра долго стояла, наблюдая немую тяжелую сцену. Когда Илья опустил руку деда,

она сказала: «Думали, что ночью умрет, рассказывала ночная сиделка, что часто произносил одно только слово «Илюша», да еще про Марфушу вспоминал, все обещал ей скорую встречу. Спокойный был дедушка. Жалко». «Илюша -это я, - сказал Илья, глядя на стоящую рядом женщину, - вот и деда придется хоронить на чужбине». Попрощался и ушел.

Похоронили деда тихо и скромно. Людей было совсем мало. Марк с Ефросиньей, Марфа, да еще несколько товарищей Ильи по совместной работе. Поставил он крест на могиле - тот самый, что смастерил дед.

После похорон собрал Илья немногочисленных друзей, разделить с ними горе, помянуть деда. Тихо зашли. Мало разговаривали. Так, промеж себя перекидывались малозначительными словами. Марк с Ефросиньей шибко переживали. Они с Иваном Савельевичем крепко сдружились за время совместного проживания. Выпили «горькой» понемногу. Никто не хотел хмелеть. Илья только «пригубил» стакан. Ефросинья заметила: «Выпей побольше, Илья Васильевич». Немного помолчав, Илья ответил: «Дед наказывал вино пить, если радость на душе, а когда печаль - избегать этого зелья. В вине горе не утопишь, только растравишь его. Потом уж, когда схлынет тоска, помяну по-нашему, по-русски». Справили поминки, разошлись. И пусто стало в доме. Медленно тянулось время.

Весна вступила в свои права, природа ожила, кругом все зазеленело. Воздух наполнился ароматами трав и деревьев, а светло-голубое небо казалось бездонным. Но ничто не радовало Илью. Чтобы не терзать себя бесконечными думами о погибших родителях, покоившемся в холодной сибирской земле родном деде, неведомо где похороненной бабке, выпросил у начальника разрешения работать по выходным дням, а при отсутствии сменщика, оставался на вторую смену. Иногда ходил на рыбалку, редко-редко в кино. Ничего не радовало. Приходили мысли о возвращении на родину и тут же гасли. «Что меня там ждет? - думал он. - Только общая (братская) могила, где лежат отец с матерью, ни кола, ни двора, даже соседи и те разъехались». А время шло. Кончилось лето.

Последние дни сентября выдались дождливыми, сырыми и холодными. Пришел Илья с работы. Снял мокрую одежду. Развесил возле печки. Подбросил сухих дров в топку. В доме поплыло тепло. Поужинал по-холостяцки. Прилег на кушетку, прислушиваясь то к радио, то к завываниям ветра на дворе. Стучит дождь по окнам, барабанит по крыше. Тоска непроходимая. И нечем заняться. Не к кому сходить. Друзей хороших не завел. Случалось, что еще с дедом ходили они к Марку. Раза два уже после смерти деда приходил к нему сам Марк, приглашал на какие то торжества. Один раз сходил, а в другой отказался. Сослался, что заболел.

Бушевала непогода. Приближалась ночь. Уже давно подступила кромешная темнота. На улицах безлюдно. Кто будет ходить по грязным дорогам под дождем. Привалился к спинке дивана, забылся. Стала наваливаться дремота.

Раздался тихий, какой-то робкий (так ему показалось) стук в окно. «Дождь, что ли, усилился и ветром захлестнуло падающие водяные струи

и швырнуло их в окно», - подумал Илья. Стук повторился. «Кому-то из людей я понадобился», - опять подумал он.

Подошел к окну, отвернул занавеску, но разглядеть в темноте стоящего человека не смог. Не спрашивая, стал открывать дверь. Бояться не надо было. Городок был тихий, хоть и проживало в нем много разного люда, но хулиганств, дебоширств, тем более грабителей не было.

Он открыл дверь. Из темноты ночи пахнуло сыростью и холодом. На крыльце стояла Ефросинья. Илья не сразу сообразил, что привело ее в такую темень. И, недолго думая, воскликнул: «Ефросинья! Да ты, я вижу, вся мокрая. Заходи скорее». Ефросинья отряхнулась. С ее плаща полетели водяные брызги. Ничего не говоря, переступила порог и, пока он закрывал дверь, прошла в комнату. (Она хорошо знала этот дом, худо-бедно прожила в нем почти год с Марком).

Когда Илья вошел вслед за ней, она уже сняла плащ и платок. Неискушенный и не избалованный женскими ласками, Илья не понимал, зачем она пришла, думал что у них что-то случилось дома, но мысли, перескакивая, не находили нужного ответа. Он тревожно спросил: «Что-нибудь случилось?». Увидев под ее ногами лужу воды, озабоченно проговорил: «Сними туфли-то, в них, наверно, воды полно».

Ефросинья отошла на шаг, присела на стул и стала разуваться. Сняв одну, потом вторую туфлю, она перевернула их. Покатилась по полу тонкая струйка воды. «Ты, Ефросинья, чулки тоже сними, мокрые они у тебя до самых колен», - говорил Илья, думая как бы поскорее ей помочь (ведь не пришла же она просто так, да проводить до дома, одной-то страшно будет). «Может, что-нибудь с Марком?» - спросил Илья.

Ефросинья подняла лицо и посмотрела на Илью. Раскрасневшиеся от дождя и ветра щеки, опустившиеся на лоб до переносицы черные пряди волос, из-под которых большие серые глаза излучали очарование и нежность. «Господи! До чего же она красива, как же я не замечал этого раньше», - думал Илья и тут же, чтоб погасить эту мысль, быстро проговорил: «Ефросинья! Тебя что искупали, что ли? Чулки тоже снимай, я их сейчас просушу над печкой», - говорил Илья, не отрывая от нее глаз и вместе с тем соображая, как ее проводить до дома.

А на улице хлестал дождь, завывал ветер. «Так что же у тебя случилось?» - опять спросил он.

«Тоска немыслимая, Марк уехал в командировку, скоро месяц, не с кем словом перемолвиться, а ты даже в магазин ни разу не зашел, вот и решилась тебя навестить после работы, - ответила Ефросинья. - Не помирать же со скуки, тем более завтра выходной». «Раздевайся да обсушись», - повторил Илья, с какой то смутной тревогой прислушиваясь к шуму дождя («Надо же, - думал он, - все усиливается и усиливается, не прогонять же ее в такую хлябь»). Он уже осознал, что нахождение Ефросиньи в его доме, если будет замечено людьми, вызовет всевозможные пересуды. Помнил наказ деда, а главное, очень не хотелось делать неприятности Марку, тот ведь может рассудить по-своему. Он еще не представлял, чем все закончится, старался избежать искушения, которое все больше затягивало его.

Ефросинья немного приподняла край юбки, чтобы снять чулки. Когда она освободила одну ногу, в груди у Ильи возник какой-то трепет и его руки сами тянулись погладить ее белоснежную кожу, прикоснуться к изящной ступне. «Господи! Отведи искус», - взмолился про себя Илья. Он с трудом сдерживал внутренний порыв к женщине, которая совсем недавно была ему безразлична, хотя при виде ее с Марком про себя делал вывод: «Не подходящи они друг другу. Вряд ли уживутся долго». Но уважая Марка за его разум и простое человеческое к нему отношение (встречались они довольно часто, когда был жив дед), прогонял эту мысль и уже думал подругому: «Мало ли на земле таких семей, когда муж много старше жены, а живут до конца дней припеваючи, не помышляя ни о каких житейских переменах». В душе все становилось на место. Только где-то в самой потаенной глубине промелькала мысль: «Мне бы такую».

Ему хотелось отвернуться, чтобы успокоить себя, но глаза словно магнитом притягивались к ее голым коленям. Она уже почти сняла чулок с другой ноги, но намокшая ткань прилипла к ступне, и ей не удавалось его стащить, возможно добавлялось еще и волнение. Она подняла голову и попросила: «Илюша, помоги!»

Разум и воля не подчинялись ему. Он нагнулся, чтобы удобнее снять чулок, опустился на колени, одной рукой приподнял ее ногу, другой осторожно стал скатывать намокший чулок со ступни. В это время Ефросинья обняла руками его за шею, прижалась лицом к его голове. Он не понимал, что было дальше. Какая-то электрическая искра пронзила сердце, и огромная волна нерастраченной страсти охватила все его существо. Он подхватил ее, легко поднял на руки, их губы соединились в жарком поцелуе, и сердца забились в едином ритме.

Они не помнили, как прошла ночь. Не различали, что уже наступил новый день. На дворе так же шел дождь, порывы ветра гудели в трубе, а им было тепло и удивительно уютно, казалось, что на всей земле кроме них нет никого. День ушел незаметно. Наступила другая ночь, полная блаженства и восторгов любви.

В понедельник утром, когда она, уставшая и невыспавшаяся, вошла в магазин, продавщицы с неподдельной радостью воскликнули: «Марк, что ли, приехал: вид уж у тебя очень счастливый».

«Что вы, девчата! Я все время провела в непонятной тревоге, погода еще такая скверная, ночами плохо спала», - говорила она, стараясь отвести все подозрения.

Так длился целый месяц. Но всему есть конец. В последний раз, как и прежде, она пришла к нему вечером. Задумчивая, грустная. «Что с тобой, ты какая-то не такая», - спросил Илья.

Не ответила ничего на его вопрос Ефросинья, только грустно вздохнула. «Так что же произошло?», - снова спросил он.

«Ты совсем забыл, что у меня есть Марк, - ответила наконец она. - Он через день прилетает». Илья не задумывался об этом весь месяц, а налетавшие порой подобные мысли отгонял.

Наступило тягостное молчание. Утром, прощаясь, Ефросинья сказа-

ла: «Все, Илюшенька, кончилось наше счастье. Больше я не смогу прийти. Знаю только, что такого счастья у меня больше не будет».

Ему хотелось выкрикнуть: «Не уходи! Останься со мной!».

Но спокойное лицо деда, говорившего ему когда-то: «Прелюбодеяние - это великий грех перед Богом и людьми», - возникло и удержало его. Но страх потерять Ефросинью толкал его к безрассудству. «Милая моя Фрося! Ты для меня дороже всего на свете. Нет никого родных, только ты одна, как скажешь, так и сделаю, хоть грех незамолимый будет перед Марком. Скажи в Енисее утопиться, утоплюсь, не задумываясь. Ради тебя жизнь отдам, все сделаю, чтоб тебе было хорошо. Виноват я перед Марком, сильно виноват, но ничего с собой не могу поделать». Ефросинья молчала. Она безумно любила Илью, любила давно, с самого первого дня, как увидела его, в мыслях и сердце жила только с ним. Но оставить больного старого Марка не могла. Это было выше ее человеческих сил.

«Нет, Илюшенька, ничего изменить нельзя, не будет у нас с тобой счастья, себя всю жизнь проклинать будем, если поступим не по-божески. Это ты сейчас в запале так говоришь, а придет время будешь себя казнить, а я не прощу себе этот смертный грех, - говорила Ефросинья, - до невозможности жалко Марка, он мне ни одного плохого слова не сказал за всю жизнь, хоть понимал, что не люблю я его, от неминуемой гибели уберег. Много раз до него хотела руки наложить на себя, его мне Бог во спасение послал. Грешна я, перед Богом грех за себя и за тебя буду замаливать».

После того как ушла Ефросинья, Илья почувствовал, что у него что-то оборвалось в груди. Он с каким-то безразличием стал относиться к работе, забывал вовремя ходить в столовую, чем вызвал недоумение у буфетчицы, тайно по нему вздыхавшей, по ночам просыпался по нескольку раз, не мог примириться с мыслями, что счастливое время, так нежданно пришедшее, ушло. «Не может быть, все равно я еще увижу ее, так в жизни не бывает», -думал он в часы терзавшей его бессонницы. «Оставь надежду», -говорил разум. «Надейся и жди», - говорило сердце.

Он ждал. Прошло несколько дней. И опять также поздно вечером раздался короткий, негромкий стук в окно. Он, не задумываясь, выскочил раздетый из дома, подбежал, схватил в охапку и, не говоря ни слова, затащил ее в дом. После объятий, поцелуев, каких-то непонятных слов, сказанных друг другу, Ефросинья первой произнесла: «Пришла, Илюша, я к тебе прощаться. На днях мы уезжаем. Марка переводят в другое место. Он уехал вчера на несколько дней на какой-то объект своей партии. Завтра к вечеру должен вернуться. Так что сегодня у нас будет последняя встреча». Глядя в его испуганные глаза, добавила: «Счастье не может длиться вечно. И так судьба смилостивилась надо мной, подарила божественный дар. Я никогда не думала, что человек в этой жизни может испытать такое блаженство. Не надо дальше искушать судьбу. Пришло время расставания». После ее объяснений они долго не могли произнести ни слова. Наконец Илья, пересилив себя, с дрожью в голосе стал снова говорить то же, что говорил на их последней встрече.

«Милая моя Фросюшка, останься, не уезжай! - он говорил, умоляя ее.

– За эти дни, что ты не была, я чуть с ума не сошел, ни одну ночь спокойно не спал». Ефросинья лежала рядом с ним податливая, мягкая и желанная. От ее аромата у него кружилась голова, а сердце проваливалось в какую-то бездну. «Останься, не уезжай», - молил ее Илья, не понимая, как можно сделать такое. Ему хотелось, чтобы Ефросинья была с ним рядом всегда. Но так ведет себя человек, когда сердце не подчиняется разуму.

Ефросинья вздохнула и чуть не со стоном сказала: «Не могу. Больной он. Что с ним станет. Ему я многим обязана. Может, жизнью. Не по-человечески так будет, если сейчас уйду от него. Помнишь, как говорил твой дед: «Когда змей -соблазнитель завлекает тебя, побори искус, душе станет светлее. А ты, Илюша, еще молодой, переживешь, найдешь себе друга, сейчас много девок молодых, неповенчанных. За тебя любая пойдет», - говорила она, а у самой катились и катились слезы из глаз. Она медленно высвободилась из его объятий. Начала одеваться. Ему вдруг сделалось невыносимо страшно. «Все. Сейчас, всего через несколько минут она уйдет, и, может, больше никогда не свидимся», -думал Илья. Он вскочил. Обнял ее. «Нет! Не пущу! Не уходи! Мне легче умереть, чем расстаться с тобой», - говорил, не владея собой, прижимая ее все сильнее и сильнее к своей груди. Она не противилась. Потом раздвинула его руки, высвободилась и сказала, как приговорила: «Пора. И так я много испила греховного блаженства, дальше можно и захлебнуться. Не провожай меня. Не надо. Многие уже знают про нашу любовь, зачем доставлять кому-то «радость» для разговоров и злословий. Многие будут довольны за наши горькие переживания». - «Если бы ты знала, как мне больно», - воскликнул Илья. «Знаю, Илюша, знаю. Только тут ничего не поделаешь. Одно счастье еще никому не удалось разделить на части», - ответила Ефросинья. Немного помолчав, попросила: «Если позовет Марк (а он многих хочет позвать на проводы) - откажись. Сделай это как-нибудь по-умному. Ты сумеешь. А то мне будет очень тяжело. Да и Марк догадывается, а может, уже и знает о наших встречах. Об этом быстро доносят люди».

Она обняла его. Крепко, крепко, не по-женски, посмотрела в глаза и быстрыми шагами вышла из дома.

За Ефросиньей давно захлопнулась дверь, давно скрылась в темноте ее фигура, а Илья все стоял на улице и смотрел в ту сторону, куда она ушла. «Ну вот! Теперь все», - тихо проговорил он и медленно зашел в дом.

Прошло три дня как приходила к нему Ефросинья, и все это время он был в каком-то тумане. Были моменты, когда он порывался бежать к ней, и только разум невероятным усилием удерживал его: нельзя так, кроме плохого для Ефросиньи и Марка он ничего не сделает своим поступком. Он три дня не ходил на работу: отпросился у своего начальника. Какая-то неведомая сила заставляла его думать и ждать, что вернется Ефросинья. И снова под вечер раздался тихий стук в окно. Такой же, как это делала Ефросинья. Сердце у Ильи заколотилось с такой невероятной силой, что, казалось, он задохнется от нехватки воздуха, но, подбежав к двери и открыв ее, он увидел стоявшего перед ним Марка. Илья не мог выговорить ни слова. Первым заговорил Марк. «Илья Муромец, - так называл всегда Марк

Илью за его могутность, - завтра под вечер мы улетаем, приходи сегодня, через часок, попрощаться надо», - говорил Марк оторопевшему Илье. Долго не мог сообразить Илья, что сказать. Наконец, собравшись с мыслями, с тоской в голосе ответил: «Не смогу, Марк Александрович прийти, очень болею. Уже три дня на работу не хожу. С великим уважением к вам и Ефросинье Ивановне (передайте ей от меня самые лучшие пожелания) прибежал бы, да только ни согнуться, ни охнуть не могу, простыл, видимо. Не осуждайте».

Марк, глядя в измученное бессонницей лицо Ильи, подумал про себя: «И таких богатырей болезни ломают».

«Ну, что ж! Если на тебя навалилась такая хвороба, поправляйся. Тут ничего не поделаешь», - сказал Марк и тяжело закашлялся. Немного успокоившись, продолжал: «А мне здесь дольше жить врачи не рекомендуют, вот и поеду в более теплые края. Ну, прощай! - сказал Марк, протянул ему руку, пожал и, поглядев еще раз на Илью, добавил: - Поправляйся. Тебе еще жить долго».

После ухода Марка он запер дверь, потушил везде свет и лег. О сне он не думал: знал, что не уснет. Проворочавшись с полчаса, встал и начал ходить из угла в угол. Он ни о чем не думал. В голове была одна мысль: завтра Ефросинья уедет и он никогда больше ее не увидит. Как прошла ночь, а за ней день, Илья плохо помнил.

Под вечер следующего дня не удержался, направился в авиапорт. Доехал на попутной автомашине, потом перебрался на другой берег реки и пешком дошел до авиавокзала. Отыскал укромное место и стал наблюдать. Народу было немного. Пассажиров должен был подобрать самолет из Дудинки. Как ни вглядывался -нигде Марка с Ефросиньей не было видно. Уже прошло около часа. Все сидели, занятые своими делами. Вдруг все пришло в движение. Люди зашевелились, начали собирать вещи. Он понял, что скоро должен прибыть самолет. «Ну, где же они? - тревожно думал Илья, - может, что-нибудь случилось?» Пассажиры уже вышли на взлетную площадку и пошли за провожатой к стоящему на полосе самолету. Илья вышел. Остановился на крыльце. И увидел, как с другого конца вокзального помещения Марк с Ефросиньей и еще трое провожавших их мужчин шли другой дорогой к самолету, возле которого толпилось несколько человек пассажиров. Началась посадка. Вероятно, они находились у начальника авиапорта. Илья знал, что Марк с ним был дружен. Ефросинья с Марком подошли к самолету. Их друзья занесли вещи и стали с ними прощаться. Отошли от подъемного трапа. Марк поднялся первым. Ефросинья повернулась в сторону вокзального здания и долго смотрела. Было заметно, что она кого-то хочет увидеть.

Илья стоял в притемненном месте, и она, наверное, никак не могла его разглядеть. Медленно подошла к трапу и, поднявшись на несколько ступенек, снова посмотрела на здание вокзала.

В это время Илья вышел из затемненной части, и Ефросинья увидела его. Она резко повернулась, сделала два шага вниз и остановилась. Посмотрев в его сторону, подняла руку вверх и так же быстро пройдя по подъ-

емной лестнице, скрылась за дверями самолета. Трап оттащили, самолет включил двигатели и покатился к месту старта. Через некоторое время, набрав скорость, скрылся в темноте ночи. Провожающие, а их было немного, стали расходиться. Илья постоял еще немного и пошел к себе в опустевший и сразу осиротевший дом, где все напоминало о его короткой, безумной любви.

Наступило мучительное до невероятности время. Он страшился своего дома. Умереть не боялся, боялся сойти с ума или впасть в пьянство. Может быть, и «свихнулся» бы, да удерживало обещание, данное деду, отыскать могилу его бабки Марфы и, по возможности, обустроить ее. Домой на родину ехать было незачем. Там никого не было. Не осталось ни одного человека из близких знакомых. Долго терпеть не смог. Решил переменить место работы и уехать из этого городишка, где все напоминало об Ефросинье.

Не раздумывая, пошел к начальнику геологической партии, которой руководил Марк. Тот от неожиданности сразу ничего не сказал. Много раз уговаривали они с Марком перейти к ним (очень нужны в партии были хорошие специалисты, а Илья был первоклассным шофером, мог работать на тракторе и других машинах, в армии всему научили, да и здесь приходилось работать на всевозможных видах автотранспорта). Не соглашался тогда Илья, не мог оставить деда, а после его смерти тоже не помышлял: не хотел сразу отрываться от могилы. Навещал ее часто.

Не стал новый начальник геологов расспрашивать Илью, почему он так поступает, только одно сказал: «Если не будут отпускать, приходи ко мне, уладим быстро».

Знал он, что Илью так просто не отдадут, но был уверен, что добьется перевода. Для геологических экспедиций (тогда) имелись определенные привилегии. Не без проволочек, но отпустили Илью.

Перед отъездом на «точку» вдруг задумался: а как же быть с домом. Вспомнил про бабку Марфу. Отыскал ее. Попросил: «Переходи навсегда. Будешь хозяйкой, а когда буду приезжать, вдвоем нам места хватит». С тех пор стала проживать в дедовом доме Марфа Степановна. И хоть состарилась, но еще бодрилась, в тягость никому не была. Только сильно скучала по Илье, он ей вроде за сына стал приходиться. И к его приезду всегда выскребала, вычищала дом, наводила порядок, все дорожки вокруг посыпала песком, если приезжал Илья летом, а зимой расчищала от снега до самой земли.

Илья приезжал в год два раза. Но задерживался в доме ненадолго. Воспоминания об Ефросинье вспыхивали с новой силой, не давали покоя. Хоть не стало режущей боли, заменило ее ледяное бесчувствие, но душа страдала еще больше. В минуты горестных размышлений (когда приезжал в свой домишко) сетовал на свою горемычную жизнь: «Ни кола, ни двора, за тридцать пять уже перевалило, а я все бобылем хожу». Но стоило задуматься о женитьбе, как тут же появлялась во всем блеске Ефросинья, и мысли, насильно им рожденные, растворялись, как туман в летнее утро. «Нет, не стану себя насиловать, может, время вылечит, отступит от меня «колдов-

ская присуха», тогда... А что тогда? -мысленно себе задавал вопрос. И тут же успокоительно заключал: - И тогда ничего не будет. Лучше Фроси нет женщин. Буду жить в одиночестве. Тоскливо, но пока с Марфой буду разгонять тоску по углам».

Вечерами, напившись чаю, заводила Марфа Степановна с Ильей разговор: «Ты вот Илья Васильевич уговариваешь меня жить постоянно в твоем доме. Я, конечно, благодарствую за это, здесь и тепло, и свету много, простор для души. Да и с тобой мне всегда приятно о разном поговорить. Но ведь ты еще молодой человек, жениться тебе надобно. Сколько здесь молодых ходит, одна другой краше. Выберешь себе, поженишься, а я вам буду только помехой». Выведывала у Ильи, заранее зная его ответ. Умолкала. Илья, не раздумывая, торопливо отвечал: «Ну что ты, какой я молодой, и думать об этом не помышляю, сама меня знаешь, не один год живу холостяком и жизнь свою менять не собираюсь».

Старушка знала про это, часто задумывалась, почему так не по-людски живет этакой мужичище (здоров был Илья) и только руками разводила: «У каждого своя судьба».

Прослышала она про его грешную любовь с Ефросиньей. И когда бабенки очень досаждали ей (познакомь, посодействуй), горестно отвечала: «Бесполезно, страдалицы хлопочите, видимо, порчу на него навела проживавшая здесь несколько лет назад с мужем бесподобной красоты молодая женщина. Завлекла она его в свои сети. Помиловались они недолгое время. Но любили, ой как любили». И добавляла от своей фантазии: «А как прознал муж, большой был начальник, тут же увез свою ненаглядную из нашего городишка. И с той поры ни слуху ни духу. Многие к нему подлаживались, но ничего не получалось. Уезжает он на долгие месяцы на свою работу, и как он там живет, мне неведомо. А меня как пустил в свой дом, так и не отпускает. Я ведь и деда его знаю, дом-то этот его был. Та красавица, Ефросиньей звали, в этом доме вместе с мужем до приезда Ильи тоже проживала, почти год. Как уж она с Ильей сблизилась, мне неведомо. Ну а дальше что рассказывать, что было у Ильи с Ефросиньей, только они знают, да еще Господь». Откуда узнала Марфа про любовь Ильи с Ефросиньей, она никогда не рассказывала, может просто догадывалась.

В завершение беседы успокаивала: «Не убивайтесь понапрасну. Уж такой он. Видно однолюб, дед-то тоже здесь одиноким прожил почти пятнадцать лет. А может, на стороне у него завелась какая зазноба. Про то из него не выведаешь». Умолкала, скромненько прижав платочек к губам. Бабенки, горестно повздыхав, уходили. Что поделаешь.

После войны еще многие годы был недостаток в мужиках по всей России, и ходили вдовы, да заневестившиеся девицы в одиночестве. Во многом была права старушка. Ошибалась только в одном. Не было у Ильи нигде - ни на стороне, ни тем более в этом городке - никакой зазнобы.

Прошло два года после смерти деда. Приехал на этот раз Илья в свой дом с единственной целью: отыскать бабкину могилу, отблагодарить породственному приютивших деда добрых людей, обустроить, да привести ее в порядок. Не давала ему покоя дедова просьба, не раз собирался пое-

хать в неведомый город Энск и вот наконец, получив отпуск, решил с первым же пароходом отправиться в путь. Отпускного времени было много. Решил: «Сначала побываю у деда, а там сразу же после ледохода поеду на поиски». Твердо уверовал: «Найду, не такие трудности преодолевал».

Через несколько дней, переговорив с Марфой Степановной обо всех новостях (кто из знакомых женился, какая девица вышла замуж, где что произошло), обратился к ней со словами: «Думаю, завтра сходить к деду на могилу, снег то осел под весенним солнцем, можно будет добраться без труда». «Эх ты, милый, думаешь там только твой дед покоится, там и других полно, уже после него приют себе обрели, люди-то к ним ходят, дорога расчищена и тропинки натоптаны». «Может, ты со мной за компанию сходишь?» - обратился Илья к Марфе.

«Ишь ты, про что спрашиваешь, да как же я не пойду, да меня Господь не простит, если не наведаюсь к нему на могилку, я и без тебя иной раз захаживаю, да как я посмотрю Ивану Савельевичу в глаза, когда встретимся там, мне ведь тоже недолго осталось топтать землю, - запричитала старушка, - пойду, обязательно пойду».

Не спалось в ту ночь Илье. Ворочался, вставал, воду ходил на кухню пить. Опять ложился. А воспоминания, одно перескакивая другое, теснились в его голове. Из-за перегородки раздался голос Марфы: «Ну что ты полуночник не спишь, скоро уж утро подойдет, а ты которую ночь все в думах проводишь. Ведь так изведешь себя». Помолчав немного, уже в который раз советовала: «Жениться тебе надо. Ну что ты так себя настроил, что ни одна баба к тебе подступу не имеет, вон какие раскрасавицы ходят, хочешь я тебя посватаю».

«Нет Марфа Степановна, никого мне не надо, привык к одиночеству, смолоду не довелось обзавестись семьей, а теперь уж ни к чему, доживу как-нибудь», - нехотя отвечал Илья. «Порода видно у вас такая, дед твой, Иван Савельевич, царство ему небесное, как похоронил бабку, так до самой смерти почти пятнадцать лет прожил, однолюбы вы все видно», - высказала Марфа и поперхнулась.

«Неужели прознала про нас с Ефросиньей? - подумал про себя Илья и, чтобы замять разговор, спросил у нее: - Во сколько завтра пойдем на кладбище?» - «Как займется день, так и пойдем, а ты сейчас спать ложись, отдохни, прогони печаль свою неуемную. Знаю, знаю я по ком ты сохнешь. Так теперь уж прошедшего не вернуть. Встряхнись! Неужели забыл, что говорил тебе дед, Иван Савельевич, царство ему небесное (перекрестилась Марфа): уныние большой грех, и избавляться от него нужно всеми силами, а главное - Бога призывать на помощь, уразумел, что ли», -внушала Илье добрая старушка.

«Ладно, Марфа, послушаюсь тебя, буду изгонять из себя бесовское наваждение, может, как-нибудь и налажу свою жизнь неустроенную», - ответил Илья на сетования старушки, а сам подумал: «Знает бабка про наши тайные любования с Ефросиньей». И опять какая-то жгучая волна прокатилась по груди, сильнее застучало сердце.

«Да не бесов, а тоску несусветную, вот что изгоняй, пока не доконала

она тебя, - говорила Марфа. - Другие-то пять раз жен меняют, прости меня, Господи, за такое богохульство, а ты жизнь почти прожил и ни одной не поимел».

Утром, наскоро позавтракав, пошли Илья с Марфой на кладбище, где покоился дед Ильи, бывший священник отец Георгий, а в миру Иван Савельевич. День выдался хорошим, теплым, на деревьях распускались почки, на проталинах пробивалась молодая зеленая травка. Шли молча. У каждого были свои думы. Вспомнил Илья родителей, думал о последних днях жизни с дедом, а больше всего про короткую, страстную любовь с Ефросиньей. Он отгонял эти воспоминания, но они настойчиво пробивались сквозь завесу времени, и на него снова глядели большие серые глаза, милые, доверчивые, зовущие.

«Господи! Отведи наваждение!» Но не было такой силы, и он опять, уже в который раз говорил себе: «Почему я тогда не удержал Фросю, теперь бы не было таких страданий?». А другой голос отвергал: «Не было бы у вас счастья, и, может быть, мучились оба еще сильнее, чем ты сейчас». Вспомнились слова Фроси: «Не по-божески будет, если оставлю я больного, старого человека. Угар пройдет, и развеется наш любовный туман, может, ненавидеть станем друг друга. Прости меня, но ничего изменить не могу».

Вздохнув с облегчением, подумал: «Умница ты, Фросюшка, за то и люблю тебя безмерно».

Его вывел из задумчивости голос Марфы: «Ну вот и пришли к дедовой могиле». - «Да я уж и сам вижу, не один раз бывал здесь, как поставили ему крест», - ответил Илья. Вспомнилось, что, прознав про такое «самоуправство» (надо же коммунист на могиле крест поставил), секретарь партийной организации укорял: «Ты, Илья, коммунист, и надо было похоронить подобающим образом, а не крест ставить».

«Я коммунист, а дед был всю жизнь священником, люди смеяться будут, если красноармейскую звездочку приколочу ему на могиле. Поставил крест, и пусть стоит он сколько выдержит, а по-другому не стану, - ответил Илья. - Это последняя воля деда и нет никакого запрета в нашем уставе, а на всякую самодеятельность...» - Илья тогда недоговорил. Пусть думает, что хочет: секретарь слыл перестраховщиком, примирительно добавил: «Ну как знаешь, я предупредил». На этом закончились все разговоры про Ивана Савельевича. Уж больно незаметен был этот человек. «А крест как стоял с первого дня, так и стоит», - подумал Илья, и с какой-то тоской пронеслось в голове: «Какая разница усопшему человеку, что поставят ему в надгробье - крест ли, памятник гранитный или просто упокоится он в безымянной могиле. Каждому лежать одинаково долго в холодной и сырой земле. А монументы на могилах - память для живых. Эх ты! Жизнь наша горемычная».

Солнце поднималось высоко, прохладный ветерок обдувал лица. Стояла тишина, какая обычно бывает на кладбищах, а чуть поодаль за оградой начинал зеленеть лес, откуда доносились птичий гомон и пение, воздух, напоенный ароматом проснувшейся после зимней ночи, отдохнувшей

земли, и небо безоблачное, голубое, которому не было нигде конца. «Какая сила неземная, земное царство создала», - подумал Илья.

Он подошел к кресту, приложился к нему лицом. «Перекреститься надо», - сказала Марфа. Илья машинально перекрестился трижды, потом нагнулся и стал собирать с надгробья прошлогодние нападавшие листочки. Подобрав все пожелтевшие листики, увидел, что в некоторых местах пробиваются маленькие стебельки травы. «Все в мире повторяется, на смену отжившим растениям, вырастают новые, старики уходят в иной мир, а их заменяет молодежь. Просто, только нам никогда не постичь этой великой мудрости природы», - не замечая, он говорил вслух. «Не природы, а по воле божьей, вы, коммунисты все перевернули на свой лад», - сказала стоящая рядом Марфа.

«Ну, а теперь давай наведем полный порядок в оградке и вокруг нее - дед твой, царство ему небесное (Марфа при каждом упоминании имени деда всегда крестилась и желала ему в том мире добра), очень любил чистоту и опрятность», - сказала Марфа и принялась за уборку.

А Илья, оперевшись на частокол ограды, углубился в воспоминания: «Ну, вот, дедушка, подошла пора выполнить твою волю -скоро отправлюсь в далекие края отыскивать могилу нашей незабвенной бабушки. Все силы приложу, а отыщу и выполню твой наказ. Обустрою и наведу такой же порядок, как здесь на твоем последнем пристанище».

Уже под вечер, вернулись домой. Уставшие, но одухотворенные великой силой любви, что возникает при общении с самым дорогим существом, способной победить все недуги, придающей утомленным людям надежду и веру.

Через два дня, когда уже приблизилось время ледохода, Илья, немного походив вокруг дома, вошел обратно и обратился к Марфе: «Вот, Марфа Степановна, и подоспело время отправляться мне в далекий путь. Поеду отыскивать могилу бабки моей, Марфы Тимофеевны и, по возможности, постараюсь обиходить ее». Старушка немного взгрустнула, но тут же скорехонько посоветовала: «Поезжай. Это дело божье. Уж, чай, скоро годов пятнадцать, а может, и больше исполнится, как похоронил Иван Савельевич, царство им обоим небесное, свою супружницу. Дожидается она, ох как дожидается. Иван Савельевич очень тужил, что не было у него возможности поехать к ней, ироды закабалили его до самой смерти, чтоб им ни дна, ни покрышки не было, -проклинала старушка, сама не ведая кого, - горькими слезами плакал, сама видела. Ну, а теперь уж ты, Илюшенька, исполни его волю, да и бабка будет рада встрече с внуком. А я, пока ты будешь в отъезде, за домом присмотрю, все у меня есть, дров еще на целую зиму хватит, спасибо тебе, да и до магазина здесь недалеко, привольно мне здесь, только приезжай, не задерживайся, мне с тобой то, ой как спокойно».

Поделившись с Марфой Степановной всеми новостями, что накопились за долгое отсутствие, купив необходимые вещи для дороги, приобрел билет на пароход до Красноярска и после долгих напутствий старушки отплыл ночью. Тяжело жить одинокому человеку, когда во всех концах

только одни могилы. И нигде нет ни одного родного человека. Тяжело. Впрочем, тут трудно подобрать слово. Ехал Илья на пароходе и одна только дума терзала его: сумеет ли он отыскать бабкину могилу. По рассказу деда, находилась она в селе Богородском, недалеко от города Энска. И место могилы на кладбище тоже нарисовал Иван Савельевич, рассказал, какой крест ей поставил. «А главное, Илюша, действуй через людей там. К кладбищу был приставлен Егор Петрович Богомазов, его дом недалеко стоит. Он тебе все и покажет. Добрый он. Ничего не берет за труды. Упрашивал я его тогда, чтобы взял от меня деньги. Хоть у самого было мало, но хотел отблагодарить человека. Не взял. Сказал мне тогда: «Совесть не позволяет». - Хорошо помнил об этом Илья. «Если встречусь, то обязательно за все расплачусь», - думал он, пока плыл на пароходе, а потом ехал на поезде в Энск. Вышел Илья на вокзале, долго расспрашивал, как добраться до села Богородского. Все знают, что есть такое, а как ехать никто не мог сказать. Наконец один нашелся: «Иди на базар, там со все сторон приезжают. Подскажут». И верно, сразу же нашлось несколько человек, рассказавших, один перебивая другого, как туда доехать.

Пока он присматривался и соображал, что делать дальше, подошел к нему мужик со стороны и, глядя в лицо, сказал: «Подожди меня, я через полчаса подъеду на лошади и вместе доберемся - я оттуда».

Через два часа они уже были в нужном месте. Илья дал мужику на поллитра, чем тот был очень доволен, поблагодарил его. «А дом Богомазовых, куда вы держите путь, отсюда недалеко. Как пройдете улицу сверните направо, так и упретесь в него». Хотел Илья спросить про кладбище, но раздумал: «Мало ли какой интерес может у мужика вызвать этот вопрос». Он быстро нашел дом Егора Петровича. Постучал в дверь. Долго не открывали. Еще раз постучал. Где-то хлопнула дверь и раздался голос: «Заходите, дверь не закрыта». Илья открыл дверь и увидел в сенцах стоящего мужика. Тот поглядел и, увидев перед ним незнакомого человека, спросил: «Вам кого?».

Илья, сообразил, что это не Егор Петрович (по словам деда, он был ему ровесником), спросил: «Как бы мне увидеть Егора Петровича? Очень он мне нужен». Долго тот смотрел на Илью, потом спросил: «А вы сами откуда будете? Егор-то Петрович еще в начале войны помер. Старый он уже был». Илья не ожидал такого ответа и, не зная, как дальше продолжить разговор, сказал: «Как же я об этом не подумал?». Мужик снова спросил Илью: «А вы, собственно говоря, по какому к нему делу с таким опозданием?».

Илья, огорошенный таким сообщением, стал рассказывать. «В начале тридцатых годов, мой дед со своей супругой ехали на север. Умерла старушка в пути. Где-то на вашем кладбище похоронил он ее. А перед смертью, уже после войны, когда я к нему приехал, наказал мне найти могилу и обустроить ее по-человечески. Тогда он не сумел это сделать. Стар был, да и...» -Илья недоговорил.

Мужик, немного помолчав, спросил: «Дед-то священником был, Иван Савельевичем звали? Так это?». Илья растерялся: «Истинно так, откуда вам

это известно?» - спросил, в свою очередь, Илья. Мужик не ответил, только сказал: «Заходи». Когда Илья зашел в дом, то увидел его семейство. Жена и двое ребятишек сидели за столом и обедали: «Садитесь с нами за компанию, гостем будете, - приветливо предложила женщина, - чем Бог послал, угощайтесь». Илья поблагодарил и отказался.

Ему поскорее хотелось разузнать от мужика про могилу бабки. Если он знает про деда, то хотя бы что-то должен знать и про могилу бабки. «Ну давай раздевайся, зовут меня Иваном по отчеству буду Егорович. И деда твоего тоже знаю. Помогал ему копать могилу да хоронить его супружницу, понял теперь, откуда я все знаю, - сказал Илье. - А тебя как величают?».

«Зовут Ильей, по отчеству Васильевич», - ответил Илья, а сам думал: «Дед! Ты вроде святой у нас: так может только Господь помогать». «Ну, вот что Илья Васильевич, сегодня мы никуда не пойдем, ты с дороги устал, отдохнешь, покормим мы тебя, правда живем сейчас неважно, а уж завтра с утра и твоими делами займемся. Только я человек занятой, не смогу тебе помочь в обустройстве. Могилка наверняка пришла в упадок, ну да ничего подыщем человека в подмогу, а советом я тебе подскажу все, что потребуется. А дед-то, как помню, сам хотел приехать», - добавил Иван.

Илья от такого поворота не знал, что говорить. Наконец вспомнил, что он привез северной копченой рыбы, да еще в магазине в Энске накупил разных съестных припасов. Недолго думая, подхватил свой чемодан и выложил все содержимое на стол со словами: «А это вам, как гостинчик, угощайтесь все». Иван Егорович глядя на содержимое, сказал Илье: «Спасибо, хоть и в тяжелое время живем, но не в голоде, так что благодарствуем». -«Ну что вы, угощайтесь, а то мне просто неудобно перед вами, вы так много сделали моему деду», - горячо убеждал Илья, обращаясь сразу ко всем.

На другой же день пришли Илья с Иваном Егоровичем на кладбище. Могил было много. Особенно увеличилось их число за послевоенные годы. Много в село прибыло раненых, но не многие выжили. Несколько могил было совсем свежих. Илья, следуя за Иваном Егоровичем, думал: «Сколько же слез и горя, разлилось по нашей великой Россиюшке за это время. Чем измерить? И гибнут миллионы людей по вине совсем небольшой кучки, непонятно что не поделивших «вождей». Насмотрелся он за годы войны на боль и страдания раненых, изувеченных, уже ни к чему не способных и ни для кого не нужных, отдавших свой воинский долг российских, а сколько немецких, итальянских и других наций солдат. Горе не щадит никого, ранит всех одинаково. Неужели нельзя обойтись без этих кровопролитных войн, порождающих вражду, зло и ненависть одних народов к другим».

«Ну вот и подошли к могилке твоей бабки, - произнес Иван, указывая на покосившийся крест. - Недавно поправлял, опять похилился».

Илья вздохнул. Посмотрел на последнее прибежище бабки Марфы, покачал головой. Произнес: «Давно хотел свидеться, да только сегодня довелось. Слава Богу да добрым людям, а так бы не нашел. Ну, теперь по возможности приведу твою обитель в порядок».

Замолчали мужики. Оба фронтовики недавно отгремевшей войны.

Оба члены партии. Вступили в нее на фронте. У каждого были тяжелые думы. Один думал, как побыстрее да получше привести в порядок могилу, где что достать, купить материал. Другой знал, что найдутся люди, любопытствовать будут, судачить откуда и зачем взялся этот незнакомец, кто похоронен в этой безымянной могиле. Знал Иван Егорович, что послевоенная «оттепель» стала покрываться «изморозью».

Обернувшись по сторонам, Иван Егорович негромко сказал: «Ты, если кто спросит, а у нас найдутся такие досужие, не говори, что бабка твоя была ссыльной и померла в дороге. Время после ее смерти прошло много, никто ничего не знает, а так только разговоры поползут, если им правду рассказывать. Кто поверит, что добровольно следовала за мужем-священником». - «Ну, что ты, меня на севере обучили как вести себя в подобных случаях, - ответил Илья, - и там были люди с понятием».

«Надо было бы поставить ограду, да ведь здесь в нашем селе ни куска железа не найдешь, - сказал Иван. - Впрочем, ты сам видишь, что здесь всего не больше десятка оград, а так везде кресты да звездочки». - «А где, что можно раздобыть?» - спросил его Илья. «Только в городе, но за деньги и немалые, там есть ритуальная .служба. Как у тебя с этим делом? Если осилишь, то я завтра по своим делам еду в город, подвезу», - сказал Иван.

«А сколько на ограду, да ведь еще и цемента мешков пять понадобится? - теперь уже с тревогой обратился Илья. - Что такое «немалые деньги?» Когда Иван, немного обмозговав, назвал сумму, во что может обойтись изготовление ограды, вместе с цементом, то Илья с какой-то радостью сказал: «Да это ерунда для меня, хватит и еще на многое».

«Видимо, у вас на севере хорошо платят, а у нас здесь везде с деньгами туго, в деревне ни у кого рубля не найдешь, что продадут на базаре мужики - они же и пропьют, если бабы не успеют отобрать, - проговорил с грустью Иван и добавил: - Ну, мне теперь надо бежать, я подошлю к тебе мужичонка, вдвоем вы с ним кое-что подправите. Он и лопаты принесет, у меня совсем нет времени, председатель загрызет за отсутствие, дел в колхозе невпроворот, мужиков-то раз да и обчелся, а земляными работами самому придется заняться: мужичек-то придет немощный», - говорил Иван, думая, как бы поскорей уйти.

«Ну, что ты, я, слава Богу, столько накопал земли за жизнь свою, что с такой работой справлюсь запросто. Сам деду могилу копал в мерзлоте полярной и ограду устанавливал, а сколько в войну пришлось окапываться (и такое случалось у Ильи, хоть служил в танковой дивизии)», - воодушевлено говорил Илья. «Ну, как я по тебе вижу, тебе немного больше тридцати пяти, да и силенок хватает, - говорил Иван, глядя на могучую фигуру Ильи, -а мне за пятьдесят перевалило, но поработал не меньше твоего. Ну, ладно! Я побежал, спешить надо: работы невпроворот».

Илья походил вокруг небольшого могильного холмика, потрогал крест, поставленный еще дедом, покачал его. Возле самой земли видно было, что он гнилой. Он подошел к сторожке. Она оказалась закрыта. Вернулся. Хотелось посидеть, но вокруг ничего подходящего не было. Вскоре появился небольшого роста старичок с белой остроклиной бородой, точ-

но как у козла. В руке он нес лопату. Подойдя совсем близко, посмотрел на Илью и спросил: «Так это ты тот самый военный герой, что приехал издалека на могилу своей матери, убитой кулаками еще в далекие годы». - «Значит Иван переделал мою ссыльную бабку в партийную работницу, иначе кулаки ни за что, ни про что не стали бы пускать в расход простую бабу, - сообразил Илья. - Ну что ж, пусть будет так, - рассуждал Илья и в подтверждение всему добавил: «Пострадала много матушка». - «А я вот после ерманской с самим Чапаем Кончана долбил, вреднющий был генерал. Вешал правых и невиновных, просто так без разбору, чтоб страх наводить на остальных. На каждом столбе висело по два человека. Так-то! Много народу сгубил». Придумывал ли дед, что у Ча¬паева служил, правда ли была, о чем рассказывал, не стал Илья допытываться, только поправил деда: «Не Кончана, а Колчака, наверное».

«А я про то и говорю - Кончана, из бывших буржуев был». Илья, стараясь увести старика от заманчивых воспоминаний, спросил: «Как звать-то тебя, дедуля?» - «Зови мня просто - Митрохой. Так для меня складнее будет».

«Ладно! На том и порешим», - согласился Илья и попросил у него лопату. Он обошел еще раз вокруг и стал прокапывать канаву, укладывая грунт на могильный уже много просевший холм. За это время дед сходил в сторожку - как выяснил от него Илья, тот был приставлен на досмотр за всем кладбищенским хозяйством, - притащил какое-то ведерко и присел неподалеку от копавшего Ильи. Немного потребовалось Илье выкопать канаву, да весь грунт уложить в бабкин надгробный холм. Дед Митроха не вытерпел, подошел к Илье. Его голова не доставала до плеч Ильи. Подняв голову с восхищением говорил: «Хорошо работаешь, когда-то и я был таким же, не хуже тебя молодцем». Илья обратился к нему: «Дай мне ведро, я схожу за кладбище, да дерна нарежу, облагородить надо могильное надгробие».

Илья вышел за ограду, выбрал поровнее поляну, не очень поросшую травой, нарезал дерна. Когда принес дерн, дед Митроха сказал Илье: «Ты носи, а я буду укладывать». Вскоре работы были закончены и Илья спросил: «Чем отблагодарить тебя, дедуля?». – «Ничем! Не принято у нас такое. Да и Иван Егорович выговор сделает, если узнает. Нет, ничего не надо», - отказался дед Митроха.

На следующий день, рано утром уехали Илья с Иваном Егоровичем в город. Зашли в ритуальный магазин. Народу было мало. Немного присмотрелись. «Ну, давай решай свои дела, а я через часик другой вернусь. Тут я со своими делами быстро управлюсь», - сказал Иван Илье. Договорился Илья с заведующим ритуального магазина по изготовлению ограды, креста, чтоб на нем были вязью вырезаны все даты бабки, да чтоб попрочнее был и протравлен, долго ему стоять. Когда еще придется приехать, хотел сразу купить несколько мешков цемента, но его в этом магазине не было. «А где можно прикупить?» - спросил Илья у заведующего. «Вот чего не знаю, того не знаю, - ответил ему заведующий. - Походи, поспрашивай». Заплатил Илья положенный аванс, взял квитанцию и вышел ожидать Ива-

на. Тот вскоре вернулся, расспросил, как дела и, узнав, что Илья огорчен из-за отсутствия цемента, сказал ему: «А здесь, наверное, цемента никогда и не бывало, надо спросить в другом месте. Давай поедем, время у нас еще есть».

Проезжая мимо того магазина, где Илья недавно покупал кое-какие продукты, он опять хотел зайти что-то купить, но в это время к дверям подошли две женщины с маленькими ребятишками, и Иван отговорил: «Сейчас эти бабенки начнут выбирать, торговаться, только время потеряем, да и не надо тратиться». С тем и поехали дальше. В одном из магазинов, где когда-то торговали стройматериалами, ничего не было. Продавец подсказал сходить в другой. Тоже ни с чем уехали, там ответили, что этот отдел давно уже не работает. И, наконец, о счастье! В последнем магазине нашлось несколько мешков. «Но их уже закупили до вас, - ответил продавец, - правда, покупатель что-то не появляется». Немного подумав, сказал: «Если возьмете весь, то отдам, чтобы он не залеживался». «А сколько у вас, нам бы всего два мешка хватило?» - спросил Иван, опережая Илью. «Если будете покупать, то продам только весь оптом - четыре мешка», - ответил продавец.

«Берем все четыре мешка, а лишнее где-нибудь в хозяйстве сгодится», - торопливо сказал Илья.

Через неделю Иван перед обедом подогнал лошадь с телегой к дому и сказал Илье: «Ну, давай поедем». - «А если еще не готова ограда, - забеспокоился Илья, - понапрасну съездим». «Не волнуйся, мне мой знакомый в городе, которого просил наведываться, позвонил сегодня утром в сельсовет, что наш заказ готов был еще вчера», - сказал Иван, и они направились к выходу. День был теплый, солнце ярко светило, лошадь трусцой бежала по накатанной дороге, за обочинами которой расстилалась бескрайняя долина, поросшая травами и разными цветами, а дальше мелькали перелески, потом шли сплошные леса.

«Как же прекрасна жизнь, - думал Илья - чего только людям не хватает?»

Расплатившись за ограду и крест, а сделали все добротно, они поехали назад. Илья постоянно думал: «Ну как бы отблагодарить Ивана. Ведь наказ своего отца он мог бы выполнить не с такой добротой, ну рассказал, ну показал бы мне, немного посочувствовал. А тут помогает как самому близкому человеку. Фронтовики! Ну и что, сейчас их миллионы возвратились из армии. Нет! Надо что-то купить. Деньги он, наверное, не возьмет». Когда проезжали мимо магазинчика, где Илья первый раз, сойдя с поезда, прикупил продукты, он попросил остановиться. «Знаешь, Иван, я так не могу. Ты столько мне помог, а я, как бесчувственный, пользуюсь твоей добротой, - говорил Илья горячо, стараясь убедить Ивана в своей правоте, - я хочу купить кое-что для вас».

«Ну, ладно! Давай заедем, только ты не покупай много, мы не избалованы, а то, что я тебе помогаю, так как наказ отца-то родного не исполнишь, - ответил Иван. - Да деда твоего горемычного помню, хоть и давно было». Когда зашли в магазин, в нем не было продавщиц. За прилавком

бегал мальчонка. Он едва выглянул из-за прилавка и сказал вошедшим Ивану с Ильей: «А мама ушла. Но вы не уходите, я сейчас позову другую тетеньку, она продаст, что захочется вам».

Мальчонка резво убежал внутрь магазина. Вскоре оттуда вышла женщина и, обращаясь сразу к обоим, спросила: «Что вам нужно, как видите, ассортимент у нас хоть и не богат, но кое-что имеется». В прошлый раз она тоже продавала Илье продукты.

Илья купил много. Всем. И детишкам Ивановым и его супруге, а самим (себе и Ивану) доброго и хорошего вина. Хоть и плохо жила в те годы страна (война совсем недавно закончилась), но поддельных продуктов с разной заразой, что сейчас в наше реформаторское время полно, тогда не было. Наказывали беспощадно даже за ошибки, а если выявлялись злоумышленники, то никакой пощады никому не было.

В последний вечер за чаркой вина долго просидели Иван с Ильей. Им было о чем поговорить. Иван Егорович, немного захмелев, говорил: «Вот мы с тобой два коммуниста, а ведь со многим не согласны, что в нашей стране творится. Так я говорю, или у тебя другое мнение? Вроде хотят сделать лучше, а никак не удается до конца довести. То внутри развал, дребедень, одни сажают других, третьи убивают просто из-за страха. А тут еще бесконечные войны. Народ устал, а каково нашим женам, да просто бабенкам и детям. А как поступают со старыми, хотя бы вспомнить твоих деда с бабкой, сколько им довелось испытать горя. И лежат их косточки за тысячи верст друг от друга. Кто придет навестить, кто уронит слезу».

«Ну что ты, Иван Егорович, мои дед с бабкой похоронены по-человечески, можно прямо сказать с почестями, а сколько наших ребят лежат в безымянных могилах, болотах, на чужой земле. Разве их судьба лучше», - ответил на сетования Ивана Илья. «А ведь по-другому нельзя было, - опять начал говорить Иван. -Поступи мы по-иному, быть бы всем нам под немцами. Передушили бы они всех без сожаления, видел я освобожденных из немецких лагерей наших пленных, вместе с ними угнанных в неволю детей, женщин, стариков - это были чуть движущиеся скелеты. Ночью, когда проснусь от кошмара, то до утра глаз не сомкну больше. Вот и разберись в этой кутерьме: может, для укрепления государства нужен был жесткий кулак со стороны партии и правительства - как ты думаешь?»

«Во многом ты прав, Иван, только не скоро разберемся мы во всем. С одной стороны вроде обида меня берет, что деда с бабкой угнали на верную погибель, с другой - как вспомню, что фашисты расстреляли моего раненого отца, что коммунистом был вместе с матерью, так голова кружится - куда ни кинь всюду беда, да горе. Где выход? Как найти правду?» - сказал Илья.

Припомнил разговор с дедом в долгие полярные ночи о жизни, разбитой, изуродованной, исковерканной многих тысяч людей, лишившихся не только крова, своей святой Родины. Дед не отвергал советскую власть. Много у нее есть хорошего, взятого из веры нашей, только вколачивали они свою идеологию в мужика дубьем, а не по-доброму. И в этом тоже не будешь их винить, не хватало у них времени, слишком много было врагов

как внутри, так и за границей. И сделали они непоправимый грех, уничтожили православную церковь, причем самым жесточайшим способом. Только другого от них и ожидать было нельзя. В руководстве большевистской партии, захватившей власть, в основном были иноверцы. Они и царскую семью уничтожили. Хотел поделиться с Иваном дедовыми мыслями, но передумал. Как он посмотрит на такое откровение.

Умолкли оба. Посмотрели друг на друга и как-то вдруг одновременно сказали: «Давай еще по одной, да на сон. Уже к полночи время подходит». Опять помолчали. Потом Иван говорит: «Если вдруг надумаешь посетить бабку, приезжай, всегда будем рады».

Десять дней пробыл Илья у гостеприимного русского мужика Ивана Егоровича. Окрыленный таким успехом, надо же какие есть добрые люди, думал он, отправился на юг в Сочи. Путевку ему выдали в месткоме на самый хороший месяц года - июль. Времени отпускного было много. До начала отдыха по путевке было еще больше недели. Решил съездить к родному пепелищу. Сходил на могилу общего захоронения, где фашисты расстреливали коммунистов и евреев, потосковал о родителях. Встретился с односельчанином, погостил у него несколько дней и уехал на курорт. Недолго пробыл. Ничто не радовало. Ребячьего лихачества уже давно не было, а к серьезным знакомствам душа не пускала.

Поехал назад в свой Северск. Подъезжая к Энску, вспоминал о гостеприимстве Ивана Егоровича, в памяти воскресла оградка бабкиной могилы. Без трудностей и помех приехал в далекий Северск.

Марфа Степановна была несказанно рада возвращению Ильи. Его приезды скрашивали ее одиночество. Она одновременно смеялась и плакала. Рассказывала о всяких мелочах, иногда по несколько раз об одном и том же. Вспоминали давно забытые эпизоды из далекой жизни деда, Марка с Ефросиньей. Такие рассказы только усугубляли боль у Ильи, и он при всяком удобном случае уходил во двор, а зачастую на берег реки.

В доме все напоминало про те бесконечно счастливые дни, что выпали ему с Ефросиньей. Порой тоска одолевала до невероятности. Не выдержал. Уехал к месту своей работы. Там вели монтаж буровой вышки, специалисты требовались, и сразу по приезду его, задолго до окончания отпуска отозвали на работу.

Прошло долгих три года. За это время много раз приезжал с рабочей «точки» в Северск, помогал Марфе Степановне во всех немудреных хозяйственных делах, выполнял небольшой ремонт, поправлял изгородь вокруг дома. И каждое воскресенье ходил на могилу деда. Просиживал подолгу и только к вечеру возвращался домой. В последний год Марфа Степановна подружилась с молодой женщиной и та проводила с ней все вечера, скрашивая ее одиночество и помогая ей по хозяйству. Немощной становилась старушка. Видел все это Илья. В последние годы он всерьез стал задумываться о возвращении на родину и был очень доволен, что старушка обзавелась хорошей приятельницей.

Как-то в один из приездов, его осенила мысль: «Подарю дом, и будет она обеспечена жильем до самой смерти. Это же замечательно. Как же я

раньше-то про это не задумывался. Тогда можно со спокойной душой и уезжать. А ее знакомая может вместе с ней и поселиться». Так и поступил. Выправил у нотариуса дарственную, переговорил с исполкомовскими работниками и положил до определенного времени документ в свой сундук: «Не буду расстраивать бабку до времени. Впрочем, скажу, что на всякий случай поступил так, мало ли что может случиться в разъездах по глухим неизведанным местам. А со временем выложу все начистоту».

В этот раз он приехал надолго. Отпуск получил за три года. Денег тоже выдали ему много. Накупил он всего бабке. И шаль теплую, полупальто, валенки, чему была очень рада Марфа Степановна, уж очень стали мерзнуть ноги, и еще разных вещей. Пожив несколько недель, стал собираться в дальний путь на родину. Еще несколько месяцев назад послал он в Энск письмо Ивану Егоровичу с просьбой принять его на пару дней, хотелось побывать еще раз на могиле у родной бабки, но то ли письмо где затерялось, то ли Иван Егорович не торопился с ответом - получил он от него письмо за два дня до отъезда. Скромно написал Иван Егорович: «Приезжай. Рады будем». Кое-что про семейную жизнь, и так по мелочам. Загруженному делами да крестьянскими заботами агроному некогда расписывать письма. Это было единственное письмо в этом доме, что получил Илья за все время. Прочитал его вслух. Марфа вздохнула и как бы ненароком вспомнила, как несколько лет назад нашла она у себя во дворе, недалеко от крыльца в луже воды конверт заклеенный, но от воды размокший до такой степени, что невозможно было разобрать ни одной буквы. Просушила на печке, а когда увидела почтальоншу, отдала ей. Та посмотрела и сказал: «Не знаю, кому написано это письмо. Может, еще старое, к тем жильцам, что жили в этом доме когда-то, так их уж давно нет, ты их сама хорошо помнишь». Хотела тогда рассказать Илье, да передумала: зачем будоражить прошлое. И сейчас тоже не стала рассказывать.

Ну, вот. А теперь можно и бабке объявить о дарственной -через день время отъезда. Когда вручил он ей дарственную, то бабка долго плакала, потом стала отказываться: «Ничего мне не надо, только чтобы ты навещал меня». Успокоил ее Илья. Вздохнул облегченно: «Теперь можно со спокойной душой уехать надолго». - «Тяжело мне провожать тебя «горемыку», хоть и в годах ты, а все равно кажешься мне каким-то несобранным», - сказала Марфа. Еще раз обо всем переговорили. Больше высказывала свои сокровенные мысли она: «Жениться тебе надобно, пора, четвертый десяток почитай скоро дойдет, а ты как был бобылем, так бобылем и останешься».

Уехал Илья. Непонятная сила влилась ему в грудь и потянула в далекое сельцо, где лежала его родная бабка Марфа Тимофеевна в одиночестве, среди чужих могил. Даже страшно сделалось Илье. Печально и совестно. Уже три года прошло с тех пор, как побывал он на бабкиной могиле, и стал забывать. Деда навещал каждый приезд с буровых объектов, по воскресеньям, а то и в будничные дни, а бабку Марфу, что баловала его и от родительского гнева защищала, оставил в забытьи. Не находил для себя оправдания в том, что далеко ее могила, мог бы съездить,

все равно по-пустому проводил отпускные дни, по месяцу, а иногда и по два бездельничал в период между «вахтами».

Дорога до сельца Богородского была ему известна. Сойдя с поезда в Энске, Илья огляделся. Все было так же, как и три года назад. Среди сошедших надеялся найти попутчика, может, подвернется машина или подвода. Уже направился на привокзальную площадь, но одумался: «Надо запастись кое-какими продуктами, не ехать же в село с пустыми руками». Вспомнил, как его гостеприимно встретили простые деревенские люди, как радовались ребятишки, когда одарил он их конфетами. Решил в этот раз накупить побольше сладостей, в тот раз Иван Егорович запретил (не надо их, ребятишек, очень баловать), а сейчас-то он сам себе хозяин. На улице шел мелкий теплый дождик. Илья подошел к тому магазину, где уже бывал несколько раз. Остановился. Снял шляпу. Стряхнул с нее дождевые капли и, зайдя в магазин, подошел к прилавку.

Женщина в синем халате стояла к нему спиной и что-то пересчитывала на полках. Илья стал присматривать на витрине какие продукты нужно прикупить. Он увлекся выбором, а купить ему хотелось побольше и чего-то повкуснее (из головы не выходили Ивановы ребятишки, да и как обойтись без бутылочки хорошего вина). Не заметил он, что продавщица повернулась, в каком-то замешательстве, испуге, скорее похожем на радостное неверие, подошла совсем близко к Илье, и он услышал приглушенный, показавшийся ему удивительно родным голос: «Илюшенька! Илюша! Милый! Неужели это ты?». Он отвернулся от витрины и глядя в лицо женщины, в ее до невозможности широко раскрытые глаза, воскликнул: «Ефросинья!». Он не знал о чем говорить с ней, схватил ее протянутые руки и стал их страстно целовать. Они были такими же мягкими, теплыми, как много лет назад, и от них исходил пьянящий аромат, от которого кружилась голова и обмирало сердце. «Илюшенька, хватит, на нас уже смотрят, - чуть слышно проговорила она, обернувшись на своих подруг-продавщиц, вперивших в них свои изумленные глаза. «Надо же! Наша недотрога (знали девчата про ее монашеский образ жизни) как будто переродилась», -сказала одна другой, отвернув взгляд в сторону от потерявших самообладание Ильи и Ефросиньи. Они действительно потеряли разум.

Илья высвободил свои ладони, подхватил Ефросинью и легко перенес через прилавок. Она чуть ойкнула и когда очутилась рядом с ним, тихо прошептала: «Илюшечка, ты такой же медвежище, как был раньше, не берут тебя годы. Давай сейчас подойдем к нашим сотрудницам, они уже все глаза на нас проглядели».

«Девочки, я сегодня вас покидаю и приду только завтра», -сказала Ефросинья, когда с Ильей подошла к ним. Те смущенно заулыбались, но светящиеся глаза Ильи и Ефросиньи излучали такую любовь, что обе про себя подумали: «Вот это да? - и одновременно произнесли: - Не волнуйтесь, Ефросинья Ивановна, управимся, все будет в порядке». Они вышли из магазина, разговаривая сами не понимая о чем.

Они не задавали друг другу вопросов об их теперешней жизни, вспоминали только далекие прошлые годы, боясь спугнуть охватившее их оча-

рование. «Пойдем ко мне, я живу здесь недалеко», - сказала Ефросинья Илье.

Немного отрезвев от нахлынувших волнений, они замолчали. Ефросинья думала: «Почему он приехал так поздно, ведь я письмо написала много лет назад». Вспомнила ответ подруги, с которой работала в магазине в Северске, что Илья куда-то уехал и где он живет, она не знает, уже хотела спросить про накопившиеся сомнения, но опередил Илья: «А как Марк, где он сейчас работает?».

Ефросинья сникла: «Значит, он письма моего не получил, потому не ответил, и приехал сюда совсем не ко мне, но зачем? -думала она в какой-то тревоге. Ефросинья забыла, что дед Савельевич говорил когда-то, что схоронил в этих местах свою старушку, но это было так давно, что все стерлось напрочь в ее памяти. - Может быть, за эти годы у него уже давно семья, ведь я же советовала при расставании ему найти спутницу жизни и зажить счастливо».

Мысли перенеслись в каком-то стремительном миге, и она, ни о чем больше не думая, сказала: «Я тебе, Илюша, писала в письме, давно это было, что Марк умер через четыре месяца как мы сюда приехали».

После ее слов, Илья окончательно выпутавшись из околдовавших чар, подумал с какой-то вдруг охватившей тоской: «Ведь не получив от меня никаких вестей, она могла рассудить, что не отвечаю умышленно, и теперь давно замужем, и, снова увидев ее через столько лет, теряю навсегда». Вымолвил: «Не получал я твоего письма Ефросинья, ничего не знал, где вы, что с вами, а сюда приезжаю уже во второй раз на могилу к бабке, которую схоронил дед много лет назад. И в магазин твой заходил. Уже три года, как прошло с первого приезда, значит, так уж судьба горько распорядилась со мной, что не довелось встретиться тогда». Они остановились возле калитки ее дома. В это время с крыльца сбежал мальчонка, на вид не более пяти лет, с криком: «Мама, мама», - подбежал к ней и взяв ее за руку, стал о чем-то быстро говорить. «Ну, вот! Теперь нечего больше здесь делать. Надо попрощаться и уходить. Сейчас, наверное, выйдет ее муж».

Вдруг мелькнула, как молния, мысль: «Может, это Марка, - но тут же погасла: у Марка за все годы не было детей, не могло такого случиться в самом конце жизни. - Значит, кто-то есть другой». Мальчонка, оторвавшись от матери, дернул Илью за руку: «Дяденька, вы к нам пришли?». Илья посмотрел в его лицо, увидел большие серые, материнские глаза, подумал, как же он похож на нее, потом отрешенно, как приговоренный к самому страшному наказанию, повернулся к Ефросинье. Она пристально вгляделась в его побледневшее лицо, все поняла и облегченно не сказала, а выдохнула: «Твой он, Илюшенька, твой Алешка-то». Из глаз покатились слезы, ей хотелось разрыдаться, но она пересилила себя, прижалась к его груди и тихо, тихо заплакала.

Не понимая, что происходит, Алешка затеребил мать: «Мама! Дяденька зачем тебя обижает, почему ты плачешь?». И тут же со всей серьезностью, несвойственной пятилетним детям, обратился к Илье: «Вы что ее обижаете, это же моя мама?». Ефросинья повернула заплаканное лицо и,

улыбаясь, радостно сказал: «Алешенька, это же твой папа». Такой неожиданный поворот поверг всех в замешательство. Ефросинья молча вытирала слезы, Илья с раскрытым ртом смотрел на Алешку, а тот, переводя взгляд с матери на Илью, с жалостью говорил: «Ну что вы оба такие большие, а плачете?!».

Илья не веря в происшедшее, подхватил Алешку с земли, поднял, прижал к себе. Алешка, так неожиданно обретший отца, обвил обеими руками его шею и не разжимал их ни на одну минуту. Ему хотелось скорее пойти с ним домой, чтобы убедиться в действительности, что это его отец и он будет всегда с ними. Немного отодвинувшись от отца, Алеша спросил: «Папа, ты от нас никуда больше не уходи, а то я тебя привяжу ремешком - мне мама недавно купила, сказала, подпоясывайся, а я его берегу, когда подрасту, тогда и носить стану, - а потом, видимо передумав, сказал: - Нет, лучше я тебе его подарю. Папа отпусти меня, я уже большой». Но Илья не обращал внимания на его просьбу, другой рукой обнял Ефросинью, и все они пошли в дом.

Поднимаясь на крыльцо, Илья сказал, обращаясь к сыну: «Теперь, Алеша, я от вас никуда не уйду. Ты и мама для меня самый крепкий «ремешок».

В домике из двух небольших комнат и совсем маленькой кухоньки, было уютно и чисто. Когда расселись, Алешка не отходил от отца, Ефросинья сказала: «Вот так, Илюшенька, мы и живем с Алешкой». Помолчала. Потом добавила: «Скоро шестой пойдет. На будущий год собираюсь в школу отдать. Намучилась я здесь в первые годы. Марк поработал всего два месяца, совсем был больной. Потом в больницу его положили, еще чуть больше месяца полежал и отдал богу душу. Перед самым концом просил у меня прощения, а за что я и сама не могу понять до сих пор.

Говорил, что сгубил мою жизнь, каялся, что увез меня из деревни, а потом из Северска. Знал он про наши отношения с тобой. Кто ему сказал, я не выпытывала. Больно было смотреть на его мучения. Так вот и тянулось время. Днем в магазине, а вечером к нему. В магазин-то он меня пристроил. Знакомые у него здесь тогда были. Потом, когда сил совсем стало немного, позвал и говорит: «Как умру, уезжай в далекий Северск, там найдешь Илью -любит он тебя. У меня в жизни не было счастья, так хоть у тебя может статься». Замолчала. Молчал и Илья.

«Что же ты мне не дала никакой весточки?» - спросил он. «Сразу после его смерти как-то растерялась, а потом по прошествии времени написала тебе все подробно. Ждала ответа. А тут Алешка появился. Думать некогда было, хлопот без края, да и недосуг. По вечерам сидела допоздна, ждала, как Алешка уснет и все думала: женился ты. Сама я тебе тогда насоветовала. Погоревала да и смирилась. Решила всю себя посвятить Алешке. Когда подрос, все спрашивал: «А где мой папа?». Что я ему могла сказать. Успокаивала как могла. Часто ходила на могилу к Марку, жалела я его, сильно жалела. Потому тогда и уехала с ним, через сердце свое перешагнула. Вот и вся моя жизнь. Гляжу на тебя, Илюша, и не верю: ты ли это? Да, что я все про себя, да про себя. Ты-то как?».

Илья молчал. Было тихо. Алешка, набегавшись, свернулся калачиком и сладко посапывал. Он был счастлив без меры. Ефросинья (умная и чуткая) уловила своим внутренним чутьем его сокровенные мысли, встала со стула, подошла сзади, обняла за шею, прижалась к его лицу с доступной только женщине нежностью, понимая, что настал тот момент, когда решается судьба их жизни, негромко проговорила: «Никого у меня не было после тебя, Илюша, я верила, что ты обязательно придешь к нам».

Илья встал. Обнял ее. Легко поднял на руки (так же, как это было давно), отчего ее большущие глаза расширились еще больше, радостно, словно ребенок, впился в них взглядом и прерывающимся от волнения голосом, промолвил: «Теперь я от тебя уйду только в могилу. Это сам Бог указал мне дорогу к тебе. Наверное, дед мой Иван Савельевич с бабкой Марфой Тимофеевной упросили в небесах Всевышнего, и только он за их страдания и муки послал мне неземную благодать. Все эти горькие годы прожил с Марфой Степановной, а большую часть времени на отдаленных точках. Я после твоего отъезда перешел работать в поисковую партию и только среди таких же неудачников находил какое-то успокоение. Меня так тоска изводила, что если бы не встретил тебя сейчас, то, наверное, тронулся бы умом. Марфа Степановна говорила мне иногда, что у меня что-то неладно с «разумением».

Он не хотел выпускать ее из своих рук, а она не пыталась освободиться, только тихо, тихо шептала: «Пусть будет так вечно».

Что можно добавить в этом рассказе о жизни простых, проживших в разлуке многие годы и обретших святое счастье людей. Я не знаю. Это было давно. Как сложилась их дальнейшая судьба - только Бог скажет. Тем не менее хочется пожелать им удачи. Только удачи. А счастья? Не стану. У них своего с избытком.

Послесловие

Этот рассказ из далекого прошлого о людях, чей жизненный путь был сопряжен с трудностями, порой трагичен, которые в страданиях не растеряли человеческое достоинство, через тернии, в мольбах обретшие счастье, мне поведала незнакомая, довольно пожилая женщина, с которой свел меня случай, во время пребывания в городе Северске, когда я приехал в командировку на несколько дней. Этому способствовал происшедший в том городишке за месяц до моего приезда пожар на складах пиломатериалов, от огня которого сгорели не только десятки тысяч кубометров досок и брусьев, но и находившиеся в непосредственной близости несколько жилых домов.

Когда проезжали на автомашине вместе с ней - а мне приходилось некоторые вопросы решать с ее помощью - мимо пожарища, она с грустью, указывая на обгоревший остов одного из домов, сказала: «И домик священника не пощадил огонь».

Я поинтересовался: «А что, разве у вас здесь есть церковь?» - «Церкви

у нас нет, а вот священники были, и этот домик принадлежал когда-то сосланному сюда отцу Георгию, именовавшемуся в миру Иваном Савельевичем.

Купил он его у моих дальних родственников, давно почивших в бозе. Проживал священник в этом доме много лет, жили с ним и другие люди, а последний год доживал он с внуком Ильей. После смерти деда Илья еще некоторое время пожил один, а потом хозяйничала в нем старушка Марфа. Сам-то Илья многие месяцы пропадал где-то на приисках, наезжая изредка. Когда же отыскал Илья свою Ефросинью, то приезжали они в Северск вместе с сыном Алешкой. Недолго побыли. Рассчитался Илья на работе, и уехали они навсегда. Хотели захватить с собой Марфу, уговаривали. Отказалась: «Здесь у меня муж похоронен, сын в реке утонул. Как я от них уеду».

В то далекое время, слушая рассказ о людских горестях и муках и в завершение с таким благополучным исходом, я засомневался в его правдивости: «Великое счастье (поистине выстраданное сердцем и душой) посылают людям только небеса».

«Верь, не верь, твое дело, только рассказываю эту историю не со слов других, а лично знала всех людей, о жизни которых тебе поведала. А одинокую старушку, что звали Марфой Степановной, похоронила на том кладбище, где давно покоился прах священника. После ее смерти проживала я еще несколько лет в этом сгоревшем домике в одиночестве и, не выдержав тоски, переехала поближе к своим родным. Много с тех пор прошло времени, а кажется, что все это было только вчера. Хорошие были люди. Вот рассказала тебе о них, и на душе стало как-то тепло и спокойно», - закончила свой рассказ моя попутчица, когда мы подъезжали к конторе лесозавода.

Возвратившись из города Северска, я как-то сразу позабыл про сгоревший склад и рассказ, что поведала мне незнакомая женщина, с которой по стечению обстоятельств свела меня судьба. Другие заботы оттеснили «дорожные эпизоды» вглубь памяти, да к тому же я был тогда еще довольно молод, чтоб по-настоящему оценить великую силу человеческого самопожертвования и красоту божественного счастья, что выпало на долю сильно любивших друг друга людей.

И вот по прошествии многих лет, перебирая в памяти события глубокой давности, среди которых припомнился рассказ моей случайной знакомой, поведавшей занимательную историю, написал я повесть почти полувековой давности, в которой, сопоставляя прошлое с настоящей жизнью, все больше поражаюсь тем переменам, что произошли в душах людей под влиянием капиталистической идеологии, перевернули понятия доброты, сострадания, милосердия, испохабили самое святое чувство - любовь.

P.S. В те ушедшие годы жизнь у всех была одинакова: жили бедно, плохо, в постоянном опасении не сделать дурного, не оступиться, ибо расплата будет суровой за малейшую ошибку. В настоящее время люди под влиянием западной (американской) заразы разделились на группы: одна ворует и мошенничает, вторая в открытую грабит. Большая часть слабого пола занимается «коммерческим сексом», добывая этим «ремеслом» себе

на прокорм. И, наконец, огромная масса бедолаг, отторгнутых от работы, засасывается трясиной безысходности. И лишь небольшая группа элитных приспособленцев, хищнически растаскивая народное достояние, на «законных основаниях» обустраивает для себя и своих избалованных откормышей роскошное «житие», причем подальше от проклятой ими России, на берегах теплых морей, под благоуханным и пленительным солнцем южных стран. Горько сознавать эту несправедливость, но, к великому сожалению, уже изменить ничего нельзя. И тянется народ в церкви, храмы, где раздается колокольный звон, льются с амвонов восхваляющие песнопения во славу Божию, справляют люди святые праздники, поклоняются каждому кресту, исполняя божье наставление: «Ищите, да обрящете». Только что искать? Когда все уже разворовано пронырами и проходимцами, неведомо какого рода и племени. И это «крестопредставление» исполняют все, начиная от верховных правителей до самой забитой русской Марьи.

Странно, но скорее прискорбно. Верующих все больше и больше (даже истые в прошлом коммунисты и отъявленные атеисты крестятся и стоят со свечами, толкаясь, стремятся приблизиться поближе к алтарю), а насилия и грабежей на русской земле не уменьшается. А что же Бог? Почему допускает такое? Нет ответа.

И невольно вопрошаю к «товарищу» Достоевскому Ф.М., кумиру теперешних демократов (уж очень им удобно прикрываться его именем): как понимать пророчество «если Бога нет, то все позволено?». Подошло время. Воскрес Бог. Теперь он у каждого, на всей Земле, только покоя нигде не стало, а мир все больше напоминает преисподнюю, и совсем близок апокалипсис.

Почему же в то «проклятое» советское время, когда Бог был забыт, загнан в самый угол, не только в державе большевистской, а во всех странах было много лучше, спокойнее. Не было террористов, «убийц-людоедов», войн между религиями. И раздается глас с небес: «Я дал вам самонадеянным людям два бесценных качества: страх и совесть. Живите в мире и согласии. Но вы в своей гордыне растоптали эти чувства и возомнили себя вершителями вселенной. Опомнитесь! И вернитесь в лоно церкви, на стезю правды и добра».

Но как? Может, снова фальшивомонетчикам вливать в рот расплавленный свинец, а воров и убийц четвертовать или сжи¬гать всенародно, а террористов, уничтоживших вместе с детьми тысячи мирных граждан, расстреливать публично.

Не сможем. Завопят правозащитники типа Новодворских, Ковалевых, Боннэров и им подобных на всю вселенную: «Права человека нарушают», им то выгодно членам «пятой колонны» чтоб у нас был бедлам, они работают на американо-английский империализм. Правда, эти уроды психически больные. Но тем не менее льют они свой змеиный яд на чашу зла, и многим недругам их «представления» доставляют удовлетворение, а порой ехидную радость, а «миролюбивые гуманисты» Запада тут же поставят диагноз: «В России нарождается фашизм».

А как же совесть? А никак. Она давно продана за «зеленые» амери-

канские ассигнации. Можно ли такое допустить? Все можно. Если Христа, сына Божьего продали за тридцать сребренников свои же «апостолы», что можно ожидать от людей «мирового гражданства».

Если же у кого и осталась еще совесть, так по примеру Достоевского, идиотом, назовут. На этом можно и закончить неубедительные рассуждения.

Вернемся к нашему рассказу, чтоб завершить его повествование. Очень хочется пожелать людям, живущим ныне, побольше такого душевного тепла и счастья, что было у наших героев. Только...

Вряд ли придет в голову кому-нибудь в нашем взбаламученном обществе так стойко и безропотно переносить суровые испытания без надежды на благополучный исход.

Чем больше проходит времени, тем сильнее убеждаюсь в переменах в общественной жизни, отнюдь не в лучшую сторону, и оттого сомневаюсь, что кто-то поверит (каждый человек думает о других в меру своей испорченности) в те светлые человеческие отношения, бескорыстную помощь, что были между людьми в той трудной и суровой жизни. Но я то знаю, что были. Хотелось, чтоб поверили другие.

Ноябрь 2004 г.

Смутный 1953 год

Свобода слова —
это право говорить правду

Время идет, не меняя скорости, и всегда в одном направлении. Мы не замечаем его быстротечности, не ценим, не бережем. И только когда его остается мало, с тревогой сознаем, что жизнь уже позади. Кажется, только вчера встречал Новый год, хотя прошло больше месяца, а за несколько недель до Нового года я отмечал свое восьмидесятилетие. Оглядываясь на прошедшие торжества, про себя думаю: как же быстро все проходит. В день собственного юбилея не задумывался над этим, когда же разгульная кутерьма утряслась и все приняло обычную форму, вдруг подумалось: девятый десяток пошел, а вроде бы и не жил.

В свободные от мирской суеты часы, предаваясь праздным размышлениям, невольно философствую. Сам я такой же, хотя глаза все чаще ищут стул или диван, вроде бы и в жизни мало что изменилось, но вокруг больше и больше других людей, иной стала обстановка, исчезли многие привычки, потускнели желания. К этому привыкаем, смиряемся. Но! Самое главное с ужасом осознаем странные изменения в памяти: она не удерживает события, свершившиеся совсем в недалеком прошлом, забываются разговоры, состоявшиеся вчера, утром, иногда час назад. Говорят про такое: «провал в памяти». Но в то же время с удивительной ясностью всплывают дела, явления, события, давно прошедшие, - двадцати, тридцатилетней и более

давности. Воспоминания далекого прошлого приходят без напряжения памяти, произвольно, лишь бы для этого был какой-то пусть незначительный толчок.

30 октября 2003 года торжественно и печально отмечался День памяти жертв политических репрессий. Это событие для норильчан знаменательно тем, что в этом (т.е. в 2003) году исполнилось 50 лет бунту заключенных в Норильлаге, который в последние годы приобрел характер культового поклонения. Молчаливое шествие норильчан к горе Шмидтихе, где по преданиям в период сталинских репрессий производили захоронения заключенных, там же была проведена гражданская панихида, возложение венков к памятнику узникам Норильлага, покоившимся в этой промерзшей земле, было многолюдным. На тризну невинно убиенных в период норильского бунта и замученных в неволе людей приехали бывшие заключенные (к сожалению, их осталось совсем немного), живые свидетели тех суровых времен, делились воспоминаниями, которые широко рекламировались прессой, телевидением, радио. К юбилею этого события (оно к этому времени уже именовалось «восстанием») были изготовлены значки, которые раздавали не только бывшим заключенным, но и просто гражданам, принимавшим участие в этой церемонии, не имевшим представления о тех событиях и примкнувшим только из любопытства. Я не поехал, хотя имел приглашение как репрессированный и наблюдал весь процесс по телевидению.

Несколько человек дудинчан, приехавших на юбилей (но не имевших к норильскому бунту 1953 года никакого отношения) также были награждены этими значками. Высказывания бывших узников о событиях того времени мало отличались одно от другого, и я их не запомнил, но воспоминания Льва Нетто выступавшего на телевидении и в печати память удержала довольно цепко. Бывший узник Норильлага Лев Нетто, протомившийся в заключении 8 лет (с 1948 г. по 1956 г.), по его словам, был не просто очевидцем тех волнений, которые унесли много жизней, но являлся активным участником данного «восстания», состоял членом глубоко законспирированной подпольной организации в лагере, носившей название «Демократическая партия России», которая имела устав, программу действий, ставила своей целью борьбу с существующим строем и многое сделала в процессе подготовки «восстания». Его повествование о зверствах охранников над заключенными (себя он причислял к политзаключенным, хотя по его рассказу был осужден за шпионаж в пользу американской разведки к 25 годам строгого режима), полны драматизма: «расстрелы заключенных были обычным явлением», что и послужило толчком к «восстанию» с лозунгом «Свобода или смерть!».

Особенно строгий режим и издевательства были в спецлагерях и строгорежимном лагере на станции Каларгон. Об этом более подробно остановлюсь в последующем повествовании.

Слушая выступление по радио, телевидению, читая статьи в журналах, осмысливая пересказы наших дудинчан, принимавших участие в норильской церемонии и имея личные видения событий тех лет, я мысленно

раздваивался. Летом 1953 года я работал в Дудинском порту и был свидетелем, когда все заключенные на причалах порта и лесном хозяйстве отказались работать, и это продолжалось в течение двух суток. Заключенные дудинских лагерей не выставляли никаких требований ни к лагерному начальству, ни к руководству порта, объясняя свой отказ от работы тем, «что они поддерживают «выступление» своих норильских товарищей». Об этом я писал в книге «Святые берега». И у меня было иное представление о лагерной жизни в дудинских лагерях, где я просидел в заключении последние три года. Кроме того, мне доводилось слышать совсем другие рассказы о событиях в Норильлаге в 1953 году. Причем от людей, очень тесно связанных с лагерной системой. Я не был непосредственным участником тех волнений (так как к тому времени освободился из лагеря), но то что мне довелось лицезреть или слышать, память удерживала довольно ясно.

В последнее время было много пересудов о недовольствах, возмущениях, имевших место в 53–54-х гг. прошлого смутного века. Подобные действия расцениваются как поступки «благородных рыцарей», выступавших в защиту несправедливо обиженных людей, и, раздуваемые СМИ, воспринимаются как справедливая борьба за народные массы (в данном случае заключенных) против тирании и издевательств. Все ли здесь правильно? Не допущен ли перегиб и превратное толкование фактов «возмущения» униженных против угнетателей?! Отдельные высказывания бывших заключенных Норильлага, подхваченные «ретивой» прессой, были на удивление боевыми.

Появились отдельные статьи в журналах в таких возвышенных тонах, будто в 1953 году в Норильлаге свершилась новая Октябрьская революция. Выступления заключенных, требующих для всех полной амнистии с лозунгом «Свобода или смерть!», их массовые сборища на территории лагеря, споры, скандалы, порой драки и поножовщина разгонялись охраной с помощью водоструйных брандспойтов. И вот по прошествии многих лет эти события с помощью отдельных журналистов стали называться восстанием. Опомнитесь! В настоящее время у нас подобные случаи свершаются по всей стране. И зачем забираться в далекие «дебри»? Уж лучше бы написали, как Ельцин «истинный демократ» из «верных ленинцев» расстреливал в октябрьские дни из пушек Дом съездов, где находились депутаты Верховного Совета, а Б. Окуджава - бульварный певец демократов, восхищался этим зрелищем. И этот день очень кстати вплетается в «день памяти политических репрессий». Утихли. И никаких напоминаний. Будто бы ничего и не было. А эти события произошли совсем недавно. Чуть больше 10 лет. Но их забыли. А вот происшествия далеких времен разукрашивают по своему усмотрению.

Давно всем известно, что в период сталинского правления было много плохого, и забывать об этом нельзя. Осужденные за малейшие ошибки и промахи на невероятно большие сроки - эти люди заслуживают глубочайшего сочувствия и сожаления и являются несмываемым укором сталинской системе. Но грешно приписывать то, чего просто не могло быть, ибо, потеряв разумение в безответственной всеобщей «резвости» суждений,

можно против собственного желания исказить истину. При этом со¬бытия тех лет обрастают различными версиями, домыслами и легендами, порой надуманными и растущими пропорционально величине прошедшего времени, появляются из под пера недобросовестных журналистов новые «Разины», «Пугачевы», о которых ранее никто и не подозревал.

Какие изменения произошли в Норильлаге и вообще по всей советской державе после смерти Сталина. В своих воспоминаниях я пишу только про то, что лично сам видел и слышал от людей, не имевших предвзятости или какой-то личной заинтересованности в подтасовке и искажении имевших место фактов.

Хотя вопросов без правдивых ответов у меня до сих пор имеется множество. Это объясняется тем, что бывшие члены КПСС, «истинные ленинцы», в прошлом занимавшие очень высокие посты в руководстве страны, совсем по-иному освещают историю социалистической эпохи. Толкование событий в тоталитарной системе, и в частности 1953 года, определенной категорией лиц через СМИ ведется с целью опорочить как можно больше поверженную социалистическую систему, отвлечь внимание народа от творящихся с приходом к власти «демократов» страшных преступлений и разбоев по всей нашей стране. Рожденные вседозволенностью, они (теперешние преступления) чем-то очень похожи на те, что творились летом 1953 года по всей стране (правда, в значительно меньшей мере, чем теперь).

Недавно в очень правдивой форме шло на экранах кино «Холодное лето 1953 года». То, что летом 1953 года имели место возмущения заключенных Норильлага с требованием предоставления всеобщей амнистии, в процессе которых произошли убийства (сколько таких случаев было - вряд ли кто скажет, тем более я), ни у кого никогда не вызывало сомнений. Известно также, что требования заключенных по проведению всеобщей амнистии не рассматривались верховными властями, так как в тот период шел пересмотр дел каждого заключенного, хотя лагерная администрация Норильлага о возникших возмущениях и неповиновении части заключенных в целях нормализации обстановки докладывала в вышестоящие органы. На разбор возникшего конфликта приезжал Панюков Александр Алексеевич, в то время работавший в Гулаге, но он не разрешил сложившуюся ненормальную ситуацию, ибо правами на амнистию он не располагал. Встречаясь с заключенными, он заявил, что большая часть будет освобождена. Но не все! После его отъезда наиболее активная часть бунтующих заключенных (осужденных к очень длительным срокам наказания 20-25 лет и понимавшая, что они не попадут под амнистию) приступила к более решительным действиям: к колеблющимся заключенным применялись не только уговоры, но и угрозы, что обеспечило видимость всеобщей «забастовки» в отдельных лагерях или как в то время эти неповиновения именовались «отказом от работы». Несмотря на то, что часть заключенных из некоторых лагерей отказалась выходить на производственные объекты, основные переделы комбината работу не прекращали. (Полностью не работал в течение двух суток Дудинский порт). Несмотря на агрессивные

требования определенной части заключенных со стороны властей никаких решений по огульному освобождению заключенных не проводилось. Пересмотр их дел продолжался еще несколько лет.

К началу 1957 года норильские лагеря были расформированы. На этом я остановлюсь подробно чуть позже. Большая часть заключенных была освобождена за исключением определенной категории лиц (совершивших очень тяжкие преступления), которых отправили в другие лагеря.

Возвратимся вновь к октябрю 2003 года и рассмотрим отдельные факты, изложенные в прессе, телевидении, высказанные бывшими заключенными о событиях 1953 года в этот юбилейный День памяти жертв политических репрессий. СМИ широко рекламировали этот юбилей. Неповиновение заключенных Норильлага освещалось как одно из самых мощных выступлений народных масс (в данном случае заключенных) против тирании существующего строя, тяжелых условий лагерной тюремной жизни. Так что же было на самом деле?

Акты возмущения заключенных, отказ от работы, предъявление к администрации лагеря требований исполнения всеобщей амнистии, именуемые в день памяти жертв политических репрессий как «восстание» - определение не соответствующее ни по форме, ни по содержанию.

Восстание - это массовое вооруженное выступление народных масс против существующего режима. У взбунтовавшихся заключенных подобных призывов или даже лозунгов не было, тем более оружия, кроме ножей, которые они использовали во время кровавых «разборок» между собой.

Некоторые из бывших заключенных говорили, что «восстание» 1953 года послужило началом демократических преобразований во всей стране. При всем уважении к сострадальцам (сам отсидел в лагерях и ссылке более 13 лет с 1 мая 1941 года по сентябрь 1954 года) не могу согласиться: ну, какие демократические изменения начали (хотя бы в небольшой мере) проявляться в 1953 году, если и в настоящее время мы путаем демократию с вседозволенностью во всей нашей матушке России.

Сомнительным кажется высказывание бывшего заключенного Льва Нетто о существовании подпольной политической, глубоко законспирированной организации, с названием «Демократическая партия России», в которой он был активным участником. О «вожде» этой партии никто не сказал ни слова, имя его неизвестно. Непонятно одно: как заключенный Нетто Лев, будучи осужденным за шпионаж (а это уголовное преступление), мог влиться в ряды политической партии. Хотя всякое бывает. Но вызывает сомнение другое. Как могла существовать данная партия, проводить работу среди заключенных по подготовке к восстанию в условиях строжайшего режима, под неусыпным контролем со стороны НКВД. Надо признать, что эта организация (НКВД) была довольно серьезной и профессиональной силой. В тот период времени все слои населения (крестьяне, рабочие, интеллигенция и особенно весь контингент заключенных в тюрьмах и лагерях) были насквозь пронизаны «щупальцами» НКВД. В лагерной системе и тюрьмах осведомителей и стукачей было предостаточно. (Если такой уважаемый человек - Солженицин Александр Исаевич - давал

подписку о сотрудничестве с органами НКВД под псевдонимом «Ветров», о чем он писал в своем произведении «Архипелаг Гулаг», то как поступали в подобной ситуации простые заключенные?) Кто-то бы обязательно донес. Довелось как-то (а это было в последний месяц перед окончанием войны) одному из бригадников нашей бригады на перерыве сказать во всеуслышание: «Хороша советская власть, только уж очень длинна». К чему он это сказал, непонятно. Никто не обратил внимания. Однако вечером после ужина, когда бригадники улеглись спать, всех поочередно до глубокой ночи вызывал оперуполномоченный, у каждого выпытывая: «Что означают эти слова, сказанные «тихушником» (бригадник принадлежал к числу молчунов, и об этом знал «опер»), может, он подосланный кем-то агент, умело скрывающийся под личиной молчания. Что можете мне ответить». И прочее, прочее.

О чем только он не спрашивал. Когда он вызвал меня и задал подобный вопрос, я, не думая, ответил: «А как же иначе? Конечно, длинна наша власть. От Мурманска до Владивостока сколько будет километров?». «Опер» посмотрел на меня и сказал: «Ладно! Иди! Ты тоже хорош гусь».

А тут целая организация с разветвленной сетью для пропаганды по подготовке к восстанию, для свержения существующего строя, да не просто организация, а партия, да еще «демократическая всей России» с уставом, программой и т.п. Помилуйте, господа писатели! Писать надо правду о том, что было, без преувеличений. Хотя отвергать высказанные и написанные в День памяти жертв политических репрессий о происшедших возмущениях в Норильлаге, о деяниях отдельных личностей в борьбе с тогдашним режимом не стану.

Случаются чудеса не только на небесах, но и на земле. Возможно, кто-то с кем-то когда-то вел подобные разговоры, высказывая недовольство советской властью, укрывшись под одеялом в лагерном бараке, глубокой ночью.

Поразили меня высказывания в устной форме, а больше в печати, о зверствах, проводимых охраной над заключенными в спецлагерях и в строгорежимном лагере на станции Каларгон. Причем эти лагеря, по их утверждениям, были забиты политическими заключенными. Я ничего не отвергаю, самому мне там быть не довелось, но чуть позже приведу высказывания людей, работавших в органах НКВД и имевших к лагерной системе самое прямое отношение, причем очень хорошо знавших о заключенных, прошедших через их руки и отправленных в спецлагеря.

О строгорежимном лагере на станции Каларгон я имел представление от заключенных, побывавших там, о чем уже писал в книге «Святые берега». По своей сути, это была очень суровая тюрьма, в которой содержались только отъявленные мерзавцы и преступники (в наше «демократическое» время подобную мразь называют «отморозками»), попадавшие туда за совершенные ими преступления (убийства, грабежи, издевательства, изнасилования) в период их нахождения в лагерях общего режима Норильска и Дудинки. Если в этот лагерь попадали бандеровцы, власовцы и «лесные братья», то эту категорию нельзя относить к политическим заключенным,

хотя все они были осуждены по статье 58 (которая в общей массе заключенных считалась «политической»).

Необходимо отметить: власовцы, бандеровцы, «лесные братья», «борцы за независимость Украины» (попадали и такие) были страшными уголовниками, не останавливающимися ни перед какими преступлениями. Между ними и «ворами в законе», кото¬рых также было немало в лагере на Каларгоне, происходили кровавые схватки, всегда заканчивающиеся убийством как с той, так и с другой стороны. Поэтому высказывания о «терпевших жестокие муки в лагере на Каларгоне политических заключенных» мне кажутся неправдоподобными. Их там просто не было. Следует внести определенную ясность, за какие поступки и преступления осужденный считался политическим преступником. Но об этом я выскажу свое мнение чуть позже, хотя не утверждаю, что оно будет исчерпывающим.

Поздно вечером 30 октября после традиционного чаепития, проведенного в дудинском ресторане «Арктика», где из бывших политзаключенных был один только я, остальные бывшие ссыльные немцы и пристроившиеся к ним просто граждане, я, перебирая в памяти события этих дней нежданно негаданно, вдруг вспомнил разговор с моими давними приятелями, многих из которых уже нет в живых, состоявшийся летом 1953 года. Причем память высветила с мельчайшими подробностями все детали событий тогдашнего теперь уже далекого времени.

День был нерабочим, погода прекрасной, жители Дудинки, воспользовавшись теплом и солнцем, выбрались из своих жилищ. Одни уехали рыбачить, другие на берег Енисея или в тундру, захватив с собой разную снедь с традиционной бутылкой увеселительного напитка, а таковым в ту пору был спирт (чистый), или же собирались на стадионе, где по выходным дням всегда проводились футбольные игры между командами подразделений Дудинского порта и городских организаций. Иногда приезжали норильчане и солдаты воинской части, разместившейся в Хатанге. Народу на стадионе всегда было много. Я пристрастился к этим увлекательным играм и считался постоянным посетителем. Приходил не только в воскресенье, но и в обычные дни недели, по вечерам после работы, если там проводились соревнования. Освободившись из лагеря уже 4 года, я тем не менее еще не нашел для себя иного развлечения и потому все свободное время проводил, наблюдая спортивные состязания, где было много знакомых мне ребят. В этот выходной день футбольные баталии закончились рано и народ начал понемногу расходиться. Большая часть людей столпилась возле небольших пивных ларьков, во множестве стоявших вокруг стадиона. Подойдя к одному из них, я встретился с хорошо знакомыми мне товарищами. Среди них был начальник планового отдела лесного хозяйства Зайцев Иван Федорович, Чаплин Виктор Павлович, работник планового отдела порта, хороший друг Ивана Федоровича, и начальник лесопильного цеха Самошин Павел Петрович, ранее работавший начальником пересыльного лагпункта в общей системе дудинских лагерей, уже несколько лет назад уволившийся с прежней должности и перешедший на работу в лесное хозяйство Дудинского порта.

Иван Федорович, Виктор Павлович и я в том числе находились еще на положении ссыльных. Но к Самошину Павлу Петровичу относились с добродушием (хотя все мы прошли через один из лагерей, где он был начальником) по причине его простоты и порядочности. Поздоровавшись со всеми, я включился в общий с ними разговор и быстро согласился провести остаток дня где-нибудь на лужайке в общей компании. Недолго думая, обзавелись необходимыми припасами и пошли вверх на гору, где было много свободных площадей, особенно в непосредственной близости от «транзитного» пересыльного лагпункта, находившегося недалеко от стадиона. Возле него со всех четырех сторон на расстоянии не менее пятидесяти метров никаких построек не было (с момента образования лагеря эта территория для всех считалась запретной). Хотя к этому времени (лето 1953 года) данный лагерь потерял свое первоначальное назначение (этапов заключенных не поступало), но тем не менее территория никем не занималась. В нем почти год содержали женщин, собранных со всех дудинских лагерей. Их оставалось совсем немного после весенней амнистии, последовавшей после смерти Сталина. (Совсем скоро распустят и всех остальных). Большая часть построек внутри лагеря была заколочена. После ликвидации лагерной системы в Дудинке (1954-1955гг.) все лагерные сооружения передадут городской администрации. Часть зданий перестроят под жилье, в одном бараке оборудуют кинозал, и все жители этого района, в том числе и я, станут постоянными посетителями. Откроют магазины для продажи хлеба очень хорошей выпечки. Пекарня от зоны транзитного лагпункта находилась совсем близко. На ней долгое время выпекали хлеб на весь город, и только в период «демократизации» прекратила она свое существование.

Мы недолго выбирали место для «пикника». Поднявшись до середины возвышенности, облюбовали лужайку, поросшую густой травой и ромашками, подкатили несколько обрубков бревен, оставленных непонятно кем и для чего и, удобно устроившись, приступили к «пиршеству». Во время беседы, какие обычно всегда бывают бессодержательными, Иван Зайцев, мужик уже в годах, почти не принимавший участия в нашем разговоре, вдруг обратился к Павлу Петровичу с вопросом: «Что Паша (Иван Федорович был на 15 лет старше Самошина и потому называл его только по имени), узнаешь свое бывшее хозяйство, много ли в нем изменилось. Что то не вижу там народа... Неужто никого не осталось?».

Павел Петрович не поворачивая головы в сторону Ивана Федоровича, ответил: «Нет. Еще осталось около 200 человек, да и тех, наверное, всех распустят (что в скорости подтвердилось). Здесь только малосрочники, осужденные по самым «невинным» статьям. Многих выпустили по амнистии еще в апреле месяце. А теперь здесь только те, у которых имелись какие-то «долги» перед лагерным режимом. А некоторые вообще не хотят выходить из лагеря. Некуда им идти. Они почти всю жизнь провели в лагерях, «кочуя» из одного в другой: только освободят, а они снова на чем-нибудь попадутся, сворują, обманут. Да мало ли что натворят. Им тюрьма, что дом родной. Из наших дудинских заключенных женщин очень мало осталось. Большую часть привезли в начале навигации с «503-й стройки», где

они работали на строительстве дороги. А после смерти Сталина стройку закрыли, лагеря распустили: одних заключенных так же, как в Дудинке, освободили, других развезли по другим лагерям».

Нескольких молодых девчат с «503-й стройки» прикрепили учетчиками к нам на лесное хозяйство. Они работали добросовестно, но очень жалели, что их лагерь расформировали и их привезли к нам в Дудинку: там и питание было лучше и жили они по 10 человек в отдельных комнатах, а здесь в одном бараке по 50 человек: ни раздеться, ни постирать, не говоря уж про какие-то удобства. Их жалобы мне передавал начальник биржи Пшеничников М.А., который возмущался и на «стенания» девчат обычно высказывался: «Ишь барыни, пусть радуются, что в отдельный от мужиков лагерь поместили, а то бы «поплясали босиком». Я спросил про это у Павла Петровича: «Так ли это? Правду ли они говорят?», и он, не вступая в длительные разглагольствования, ответил: «Все может быть. То была сталинская стройка».

Хотя Павел Петрович уже несколько лет не работал начальником этого лагеря (тогда назывался он, как я уже говорил, «транзиткой»), но связи со своими лагерными друзьями, которые ходили в начальниках лагерей не терял. И поэтому знал обо всех изменениях и новшествах лагерной жизни. И не только в наших дудинских лагерях, но и по всему Норильлагу. Оттуда тоже многих освободили, и наплыв в Дудинку амнистированных к середине лета увеличился в значительной мере. Многие уезжали на пароходах на «большую землю», а остальные устраивались на работу в Дудинский порт на навигацию, да так и оставались работать на долгие годы. Очень многие оформлялись работать на лесное хозяйство, о чем мы хорошо знали. Но такое «событие» вскоре приняло форму обычного явления, и все перестали воспринимать наплыв освободившихся людей как что-то интересное.

В годы советской власти везде действовал закон «у нас нет безработицы», принимали всех без исключения, лишь бы подходил по здоровью, независимо от того нужны ли работники для производства и можно ли было без них обойтись. Партийные орга¬ны и органы правопорядка заставляли руководителей предприятий принимать безработных даже если на производстве был перебор численности. В тот летний погожий день, когда мы «праздно-болтающиеся» завели разговор о судьбах заключенных, втайне думая каждый про свою, в некоторых норильских лагерях еще продолжались волнения, часть заключенных длительное время отказывалась выходить на работу. Мы об этом знали, так как в Дудинском порту несколько дней назад двое суток не производилось никаких работ. Заключенные выходили на производство, но не приступали ни к каким работам. Весь руководящий состав ИТР лесного хозяйства во главе с начальником (в то время им был Дудинский Иван Иванович - участник Великой Отечественной войны) и все руководители порта вели убедительные разговоры в бригадах заключенных о прекращении этой «сидячей» забастовки. Многие бригадиры, да и простые заключенные, объясняли отказ от работы одной причиной: «Нас главари норильской «забастовки» предупредили, что если кто из заключенных приступит к работе, то поплатится жизнью, всех перере-

жем, причем говорили не один раз». Когда им задавали вопрос, а как это вы умудряетесь получить такие приказы, был один ответ: «Очень просто: через наших расконвоированных товарищей». Многие заключенные, работающие на железной дороге составителями, машинистами, кочегарами, диспетчерами железнодорожных станций, в управлении порта имели свободное передвижение по всем лагерным объектам. Угроз или понуждений со стороны лагерной администрации, руководителей порта и его подразделений к бастующим заключенным в дудинских лагерях не было. Забастовка мирно началась и так же мирно через двое суток закончилась. За неповиновение и нарушение лагерного распорядка никто из заключенных дудинских лагерей не был наказан. Впрочем, этого и не могло быть, так как среди бастующих хулиганов, даже бузотеров не было. В данной ситуации нужно было наказывать всех за отказ от работы, но такое не имело смысла (о чем понимали руководители порта), и надо полагать было правильным решением. (Этому я свидетель и вел разговоры со многими заключенными).

Через несколько дней стихли пересуды и кривотолки свершившегося события, не только про дудинскую стачку, но и про норильскую эпопею. Нам ссыльным поселенцам (а мы все трое - я, Иван Федорович, Виктор Павлович - уже много лет находились под этим игом), лагерная «буза» не нравилась: понимали что этими методами никто ничего не добьется, могли только ужесточить режим, да и за себя боялись, а вдруг кто-то из высшего руководства НКВД посмотрит «косым взглядом» в нашу сторону. Мы после ареста Берии, происшедшего совсем недавно, уверовали, что и нас освободят от ссылки, а такие забастовки могли оказать негативное воздействие на всех, имевших «пятна недоверия» со стороны властей. И когда дудинские заключенные утихомирились, мы, откровенно говоря, облегченно вздохнули.

После некоторого молчания Иван Федорович снова обратился к Самошину: «Вот ты, Паша (Самошину в этом году исполнилось 34 года, а Ивану Федоровичу пошел пятидесятый), смотришь на свое «хозяйство» - не жалко было расставаться? Почему ты, проработав несколько лет, ушел, как ты говоришь, по собственному желанию и поступил на много ниже оплачиваемую работу. Тебя, может, выгнали, а ты нам воду в «уши льешь», - говорил захмелевший наш старший товарищ, соображая что только таким обращением можно вызвать Павла Петровича на откровенность.

Павел Петрович прежде чем вступить в разговор (обычно он мало делился воспоминаниями о своей прошлой работе), постучал зачем-то по стакану, наполовину наполненному спиртом, взял в руки банку с водой, немного плеснул в стакан, присмотрелся и для себя высказал: «Шибко крепко будет», - и долил его до самых краев. Оглянулся вокруг и обратился к нам: «Ну что, выпьем, а то что-то одни разговоры да пересуды?». Сказав это, взял в руки стакан и, не дожидаясь, когда мы проделаем такую же процедуру, отпил половину, поморщился, пожевал корку хлеба и, подцепив кусок вареной оленины (тогда повсюду, особенно в небольших ларьках, торговали вареной олениной и рыбой) с удовольствием стал закусывать. Я

подумал, что Павел Петрович специально тянет время, чтобы уклониться от ответа или выиграть время обдумать, что сказать. Неожиданно для всех он сказал, что не расслышал, о чем его спросил Иван Федорович. Я, внимательно следивший за беседой (ибо мне казалось, что Самошин в чем-то хитрит), почти слово в слово повторил заданный Зайцевым вопрос. И опять Павел Петрович не сразу ответил. Самошин был очень предусмотрительным и уравновешенным человеком.

Конечно, он мог бы и вообще отмахнуться и ничего не говорить, а мог ответить, как ему было более удобно, и тем самым выглядеть среди нас в более привлекательном виде (мы все, кроме него, были ссыльными поселенцами из бывших заключенных, отбывших сроки по статье 58 за антисоветские разговоры и агитацию). В первые годы после смерти Сталина и выступившего с разоблачительной речью культа вождя Хрущева Н.С., действия антитоталитарного характера среди людей приветствовались. Но Самошин Павел Петрович ответил совсем не так, как мне, да и всем нам, хотелось. (За несколько лет совместной работы на производстве мы с ним подружились и считали «своим парнем», хотя наше прошлое было разительно различным).

Он сказал: «Никто меня не выгонял. Наоборот, с трудом вырвался с этой должности, долго не хотели отпускать».

Хотя мы и были в хорошем подпитии, тем не менее такой ответ нам не понравился. Нам хотелось, чтобы Павел Петрович отрицательно высказался про органы НКВД. Но все поворачивалось наоборот. И Иван Федорович, немного распалившись, «в сердцах» (с ним такое редко случалось) воскликнул: «Вот это да! Так значит, ты среди «энкаведистов» числился в передовиках. А мы-то все думали, что не очень благоволил к ним. Ведь твой тесть тоже похлебал лагерной баланды ни за что, ни про что».

Самошин немного помолчал и совсем спокойно вступил в разговор: «Вы совсем неправильно рассуждаете. Далось вам НКВД, да НКВД! И в НКВД есть много хороших и порядочных людей, не надо всех валить в одну кучу. И ушел я не потому что с ними не смог сработаться, а совсем по другой причине. Вот вы по восемь-десять лет отсидели в лагерях, тюрьмах и не увидели ни одного настоящего преступника, по-вашему все сидящие в заключении только невинные люди?» - обратился к нам Павел Петрович с вопросом.

Я очень хорошо знал, с какими людьми мне приходилось встречаться в лагерях, сколько горя и бед нахлебался от этого отребья, издевавшегося надо мной в карцере, чуть было не помер в каталажке омского лагеря, тем не менее обида за долгие лагерные годы, да еще пожизненная ссылка ни за что ни про что, неведомо кем присужденная, породили озлобленность на всю лагерную систему вместе с советской властью, поспешил вступить с ним в перепалку: «Так что, по-твоему вот мы здесь сидящие (кроме «антисоветских» разговоров и агитации против советской власти никаких обвинений карающими органами к нам не предъявлялось) тоже враги народа?» Здесь надо внести ясность: всех осужденных по статье 58 официальные власти считали врагами народа, будь то простой болтун или настоящий махровый преступник.

«Нет друзья, вы совсем другое дело, потому вас и не отправили в спецлагеря», - ответил Самошин. На момент создания спецлагерей кое-кто из нас еще находился в заключении. И даже в тот день во время нашего разговора спецлагеря еще существовали, и существенных перемен там по огульному освобождению всех не намечалось, кроме пересмотра дел каждого заключенного.

Я же перед самым освобождением испытавший и переживший столько волнений, особенно в дни отправки заключенных из всех дудинских лагерей в норильские спецлагеря (следует отметить, всего из дудинских лагерей был отправлен в спецлагерь один этап), хорошо помнил, каких людей туда отправляли, перечислив некоторые имена (а я таких сравнивал с собой), спросил опережая всех: «А что эти люди тоже большие преступники перед народом и государством».

«Я дела каждого не смотрел, но знаю, что их отбирала специальная комиссия в управлении Норильлага с участием прокуратуры, с представителем московского Гулага, имевшего конкретные указания. В спецлагерях нет людей, подобных вам. Вы отсидели свои сроки за то, что кто-то высказал недовольство «плохим» супом в советской столовой, другой восхвалял заграничную технику, а нашу всячески критиковал, вас-то за подобные разговорчики посадили», - ответил Павел Петрович на мой вопрос всем нам. Молчавший до этого, Виктор Павлович заметил, что ему за многие годы нахождения в лагере (он работал в управлении порта и был расконвоирован) не встречались «матерые» преступники и ни о каких зверских преступлениях он не слышал. Возможно, и в норильских лагерях также. Я так всегда думал», -утвердительно закончил он.

Разговор начал принимать более оживленный характер, и каждый в довольно резкой форме стал высказывать свои мнения. Я опомнился и замолчал.

Времени после смерти Сталина прошло немного, и гнетущий страх еще не выветрился из моей души. Я вдруг понял, что такие рассуждения могут увести довольно далеко в «запретную зону» и поспешил переменить тему разговора и, не давая никому вступить раньше меня в разговор, спросил: «Павел Петрович, ты нам так и не ответил, по какой же причине уволился, причем как нам уже сказал ранее, ушел из этой системы не без труда?». Мне самому не хотелось продолжать разговор на политическую тему. С одной стороны я всегда старался уклоняться от различного рода политических суждений, с другой - воспоминания издевательств уголовниками в омских лагерях как-то сразу отрезвили меня, и мне показалось, что Самошин в чем-то прав.

Павел Петрович после некоторого молчания (скорее всего, показалось, он стремился уйти от прямого ответа) неожиданно предложил: «Давайте еще дербалызнем по небольшой, а то мы что-то увлеклись совсем не праздничным разговором». (Паша тоже любил выпить).

Ясно было, что Самошину были неприятны воспоминания о его работе в органах НКВД. Я подумал, что он не будет отвечать на заданный ему вопрос. Но после очередной дозы довольно крепкого напитка Павел Пе-

трович неожиданно заговорил: «Все вы сидели в четвертом лаготделении дудинских лагерей, куда с «транзитного» лагпункта направляли только... - Самошин немного подумал, подбирая слово, и продолжил: - «безобидных» заключенных, за которыми не числилось больших преступлений, в преобладающем большинстве осужденных наподобие вас за «антисоветскую болтовню», бытовичков, мелких воришек, мошенников. Редко, исключительно в напряженный навигационный период, отступали от этого правила, засылая «матерых волков». Но они задерживались в дудинских лагерях только до окончания навигации. Всю страшную мразь, о проделках которых рассказывать жутко, отсылали в норильские лагеря, а с 1947 года, когда начали создавать спецлагеря, они шли прямым ходом туда. Спецлагеря были организованы для особо опасных преступников, хотя случались и отступления. Попадали в спецлагеря и не «страшные» преступники: некоторых отправляли по ошибке, других по злому умыслу работников УРЧ».

Я про себя подумал: «Как хорошо, что меня Бог миловал и я не попал в эти режимные лагеря и отсидел последнюю часть заключения в четвертом дудинском лагере, где за три года, что пробыл, произошло всего несколько страшных преступлений. Случались драки между пьяными заключенными (водочку им доставляли вольнонаемные работники), имели место факты воровства. Причем даже такие факты считались чрезвычайными происшествиями. Виктор Павлович Чаплин - брат Николая Чаплина, секретаря ЦК ВЛКСМ, расстрелянного органами НКВД, был на удивление порядочным человеком. От него мы узнали много интересных случаев, фактов из жизни Сталина и других вождей. Иван Федорович Зайцев считал, что подобное положение имеет место во всех норильских лагерях. Когда Виктор Павлович высказался в этом духе, то Павел Петрович резко возразил: «Нельзя судить о состоянии дел в норильских лагерях по мирному течению жизни в дудинском лаготделении, где все вы отсидели свои сроки. Причем вы были бесконвойными (Самошин говорил правду: я тоже в последний год своего срока наказания пользовался этим правом), могли ходить даже по Дудинке, возвращаться в зону в любое время. Вы даже не знаете, что творилось между заключенными в ожидании этапа на пересыльном («транзитном») лагпункте, где я был начальником. А что происходило в Норильлаге, спецлаге, мне в полной мере неизвестно, хотя начальникам лагерей, в том числе и наших дудинских, доводилась информация о зверских криминальных преступлениях». Я вспомнил, как летом 1948 года привезли в больничный стационар четвертого лаготделения из транзитного лагпункта двух ошпаренных кипятком заключенных, которые прибыли этапом с Украины. Я рассказал подробно про этот случай и тут же спросил у Павла Петровича: «А этих заключенных тоже изуродовали уголовники. Не могли же они сами себе налить кипяток в рот?». Тут же добавил в качестве сравнения, когда одному заключенному, уличенному в доносительстве, уголовники отпилили ступни на обеих ногах, и сколько бы его ни расспрашивали в оперчасти и больнице, отвечал одно: «Это я сделал сам». «Может, ты про этих ошпаренных тоже что-нибудь знаешь?» - Я задавал этот вопрос Самошину, потому что был уверен, что он наверняка знает, в то время он еще

работал начальником «пересылки».

«Это мелочь по сравнению с теми преступлениями, что творили так называемые «лесные братья» (борцы за независимость), бандеровцы, власовцы и им подобные. И с этими же «зеками» (ошпаренными кипятком) расправились свои же «западники». Павел Петрович все перечисленные категории врагов народа относил в одну - «западники», хотя в этих бандах кроме украинцев, литовцев, латышей и т.п., попадались и русские.

«Ничего себе мелочь, - возразил я, - у одного мужика кожа слезла с лица, а у другого изо рта вытащили чулок ошпаренной кожи». Я их лично видел. Стационар находился в непосредственной близости от барака, в котором я жил. И потому до сих пор не могу понять, почему они не сошли с ума от невыносимой боли. Мне как-то в детстве довелось испытать нечто подобное: уронил себе на ногу чайник с горячей водой. И хотя подоспевшие родные облили ошпаренное место водой, а потом смазали маслом, я мучился больше недели.

В свою очередь, Павел Петрович высказал следующее: «Этих заключенных - один был украинец, другой русский - подвергли наказанию за то, что они, раскаявшись во всех своих грехах, совершенных со своей братией в лагерях (они долго кочевали по пересылкам на «материке») донесли оперуполномоченному о готовящейся очередной бандитской акции, рассказав также о своих преступных делах, находясь на свободе (хотя об этом было известно органам и ранее, за что их и посадили на 20 лет)».

Павел Петрович замолчал, а я подумал: «Конечно, таких раскаявшихся заключенных в лагерях называют осведомителями, стукачами, и они не пользуются уважением в своей среде, а с некоторыми расправляются беспощаднейшим образом». (Я несколько раньше писал, как отпилили ступни такому «отступнику»).

Далее Павел Петрович рассказал про такие ужасные издевательства, что мне, испытавшему немало жестокости в омских лагерях, показалось, да и всем нам, что слышим рассказ о зверствах, творимых в преисподней самыми изощренными «слугами дьявола». «Я, - продолжал Павел Петрович, - сам читал показания». И пока он рассказывал эту «дикую повесть», у меня не один раз закипало на сердце. Мы все трое слушали Павла Петровича, затаив дыхание.

«Самых больших главарей банд и отъявленных палачей, которых в своей среде называли «крокодилами», «людоедами», «тиранами» и т.п., - продолжал свое повествование Самошин, - среди заключенных «западников» не было. Их, если они попадали в руки партизан, убивали на месте, мало разбираясь, кто в чем виновен, если же их арестовывали органы НКВД, расстреливали по суду. Суд был скорый и беспощадный. Но иногда некоторых матерых преступников (правда, такое случалось очень редко) осуждали вместе со своими подручными к самым большим срокам. Число их значительно увеличилось после окончания войны. Когда гитлеровская Германия потерпела полное поражение, это отребье перешло к скрытым методам борьбы. Прячась в лесах, на хуторах или глухих лесных заимках, так называемые «борцы за независимость» обычно по доносам сочувствую-

щих и помогавших им собратьев - односельчан, многие из которых сейчас находятся в Норильлаге, тайно пробирались в мирные поселки, деревни, зачастую в небольшие населенные пункты городского типа, где проживали семьи коммунистов, советских работников, евреев, врывались в их жилища, связывали, забивали рты кляпами и вместе с детьми увозили в свои потайные логова. Прежде чем убить, долго и изощренно издевались. Особенно над коммунистами и евреями. Били до тех пор, пока те не теряли сознание. Отдохнув немного и дав время очухаться избитым родителям, начинали казнить детей. На глазах изувеченных отца и матери, сдирали с детей кожу со спины и, если после этого ребенок оставался жив, то отрубали ему руку или ногу и заталкивали в рот обезумевшей матери со словами: «На! Жри своего гаденыша! Вас Гитлер не добил, так мы ему поможем!». Многие сходили с ума. И тогда палачи удовлетворенно заключали: «Довели до кондиции». Я про себя подумал: «Самые лютые фашисты этим людоедам в подметки не годятся».

Это была не романтика уголовного мира, а звериный беспредел обезумевшей мести. Таких палачей, я уже об этом говорил, уничтожали и расстреливали. Но их подручные и сообщники, сейчас отбывающие сроки наказания, как правило, 20–25 лет, мало чем отличались от своих главарей. Я об их преступлениях знал, приходилось общаться с подобными изуверами. Знали про их зверства работники надзора, охраны, и когда между «западниками» и просто заключенными возникали потасовки, зачастую оканчивающиеся убийствами, работники комендатуры, надзиратели становились на сторону законопослушных заключенных.

В таких разборках «западникам» всегда попадало больше. Мне приходилось принимать решения по наказанию работников правоохранительного порядка за неправомерные действия. А как я мог их наказывать, когда против этих «зверей» у меня самого «чесались руки». Вот потому я и ушел из органов НКВД, что боялся «сорваться» и во зле пристрелить какого-нибудь бандита. А за такое оправдания не бывает», - так закончил свой рассказ Павел Петрович Самошин на наш вопрос, почему он ушел из лагерной системы.

Мы долго и удрученно молчали. Рассказ Павла Петровича о зверствах и преступлениях, которые иначе не назовешь, как преступления против человечества, взволновал каждого.

Эти подонки, прикрываясь маской лицемерия, выставляя себя народными защитниками, втайне и в открытую на свободе добивались своих корыстных целей самыми беспощадными методами и в лагерях, объединившись в преступные группировки, расправлялись с «провинившимися» перед ними заключенными. До меня, когда был в заключении, доходили слухи из норильских лагерей об изрубленных на куски людях, удушенных и закопанных в отвалах, сброшенных в стволы шахт или задавленных цепями на приводных звездочках. Да мало ли чего доходило из Норильска. У нас в дудинских лагерях тоже происходили случаи, правда, единичных зверств. Но я как-то не воспринимал это близко к сердцу, не задумывался.

Мне казалось, что все это далеко от нас и, откровенно говоря, до рассказа Самошина П.П. плохо верилось. И вот сейчас, когда с тех пор прошло более полувека и уже 15 лет все перевернули «либерально-демократические» дельцы с ног на голову, а подобные преступления, что творили в первые годы после войны так называемые «западники» (бандеровцы, «лесные братья», власовцы, борцы за независимость), стали для нашего времени привычным явлением, весь мир захлестнули террористические акты, по жестокости и беспощадности более страшные, с каждым годом все больше и больше набирающие силу и размах, происходящие из-за слабости властей и разобщенности в обществе, никто не может установить причину и указать правильный выход. В борьбу с терроризмом вступили все государства мира, но успеха не только не добились, а наоборот, их усилия порождают все новые и новые очаги противочеловечного бандитизма: в огне разбоя стало погибать все больше и больше простых людей. Нашим российским правозащитникам из числа демократов, либералов, проклинающих и предающих анафеме тоталитарный режим сталинского периода (впрочем, они сейчас пытаются встать на защиту террористов), прекрасно знающих, что кроме невинно осужденных (о чем я подтверждаю), палачей и бандитов в лагерях было много больше, надо давать трезвую оценку минувшей действительности, и тем более настоящему моменту - удержать от разбоя, бандитизма распоясавшихся палачей не так то просто, что сейчас и наблюдается по всей планете (особенно в нашей республике).

Видя полную беспомощность властей, люди впадают в состояние отрешенности и апатии. Так стоит ли пересказывать откровения бывшего работника НКВД (начальника лагеря Самошина П.П.) о бандитизме и разбое прошлых лет, когда они против сегодняшней «картины» кажутся детскими шалостями. Вероятно, стоит, хотя бы затем, чтобы узнать тогдашнюю правду.

Пресса, радио, телевидение изо дня в день передают факты кровавых преступлений, в большинстве случаев исполненных смертниками, при этом людьми разных национальностей, в преобладающем большинстве «кавказцами». Почему такое стало? Где источник всех бед и кто его создал? «Каждое действие, рождает противодействие». Может, сначала нужно определить силу, создающую действие? И остановить ее? Тогда все прекратится само собой. Какая идеология формирует самоубийц. Ведь чтобы решиться на самопожертвование, нужно уверовать в святую (пусть рожденную в самообмане, под воздействием религиозного дурмана) истину и иметь цель, которая оправдывает эти поступки. Где она? Против кого направлен теперешний разбой и зачем? И можно ли убийством сотен мирных жителей добиться ее осуществления?

В нашем государстве было много подобных событий. Взрывали, убивали царей, министров, высокопоставленных чиновников. Подобными действиями пытались свергнуть самодержавный строй. У большинства террористов (в основном «народников») была эта цель, другие просто мстили за свое унижение, обычно выходцы из наций «второго» сорта (было и такое при самодержавии). Но эту задачу по свержению самодержавия осуще-

ствили другие люди и иным способом. Можно привести много примеров самопожертвования, когда люди шли на казнь или закрывали своими телами амбразуры дотов, бросались с гранатами под танки. Но это делалось для спасения своих соотечественников, во имя Родины.

Ну, а сейчас то, чего хотят наши «теперешние» террористы. Наподобие «западников» тоже борются за независимость: так трактуют их «верховные» главари. Но, откровенно говоря, истинные их цели нам неведомы. Может быть, у них нет таковых, а все их действия направляются и контролируются другими силами извне, с конкретными и определенными задачами. О чем простые смертные не имеют представления. Может... Какой фанатизм, религия, вера толкает самоубийц взрывать поезда, самолеты и т.п. Недруги из-за океана утверждают: народ (надо понимать террористы) борется за свой суверенитет (ведь Ельцин Б.Н. обещал его каждому народу).

Но помилуйте! Разве чеченскому народу нужна независимость от России? Да и в чем вообще чеченский народ был зависим от русских? Разве только, что он без России не выживет и его тут же приберут к себе американцы. Но народ чеченский этого не хочет. А хотят этого масхадовы, басаевы, дудаевы и им подобные. Вдохновители бандитизма, террора Масхадов, Басаев никогда не бросятся с бомбой и не взорвут сами себя. Они (Дудаев, Масхадов и т.п.), были при советской власти очень исполнительными офицерами и не помышляли о терроре и военных действиях против России: их бы просто расстреляли только за попытки к этому. Но после того, как пьяный Ельцин Б.Н. в дурмане во всеуслышание высказал: «Можете глотать суверенитета сколько проглотите», - эти затаившиеся господа, подстрекаемые западными силовыми структурами (по американской схеме развала России) приступили к созданию отдельной республики, чтобы стать единовластными хозяевами.

С первых дней откровенного бандитизма их поддерживают, охраняют определенные силы за океаном (Америка, Израиль), финансируют и идеологически настраивают против России, а внутри страны опекают наши правозащитники, которых при поддержке тех же западных стран развелось превеликое множество. И от их террористических актов страдают в преобладающем большинстве ни в чем неповинные мирные жители нашего государства.

Разве эти террористические акты направлены против правительства с целью его свержения? Это террор против всего народа, чтоб дестабилизировать, деморализовать русскую нацию, подобно тому, как было совершено в Афганистане, Югославии, Ираке и т.п.

Подобного до развала Советского Союза не было. Тогда в СССР была светлая цель, основанная на идеологии построения коммунизма. Эту систему никакие внешние силы разрушить не могли, о чем хорошо знали империалистические заправилы. Ее погубили прикрывавшиеся партийными билетами КПСС «верные ленинцы», тесно связанные с агрессивными силами Запада (американо-израильским сионизмом). Теперь же у наших правителей нет ни цели, ни идеологии. А в таком случае государство, как правило, разрушается, народ обречен на погибель.

И чтобы ускорить этот процесс определенные империалистические силы Запада через басаевых, масхадовых стремятся дестабилизировать обстановку среди нашего народа, с целью окончательного развала России.

У Америки и Израиля есть цель - владеть и править всем миром. И эту хищническую идеологию поддерживает, благодаря всесторонней мощной пропаганде всеми средствами информации, большинство народа, проживающего в этих странах. Бессовестная американская пресса захлебывается в восторге, расхваливая их демократический строй, демократические институты, их ре¬жим и т.п. Тут уж ничего не поделаешь: рот им не закроешь. Только признать надо, что демократия их «фиговая»: всем заправляет небольшая группа, состоящая из числа самых богатых олигархов мира (американцев, евреев), так называемое теневое правительство глобального толка. И сколько бы американцы ни кричали, ни голосовали на президентских выборах, изберут того человека, который будет угоден этим теневым заправилам. Такова у них демократия.

После террористических актов 11 сентября 2001 года в Америке, непонятно кем подготовленных и исполненных, началась, по всему миру до этого медленно тлеющая третья вселенская мировая война, организатором которой стал американский империализм.

Какой исход будет? Сейчас вряд ли кто ответит. Очевидно одно: если правительство с российским народом не примет (причем немедленно - потом будет поздно) очень серьезные меры по укреплению обороноспособности как внутри страны, так и для внешнего отражения, Россия погибнет: для целого народа наступит трагедия вселенского масштаба.

А тем временем идет сплошной, неудержимый разрушительный вал в нашу страну, теперь уже капиталистическую.

Говорят, «ворон ворону глаз не выклюет». Но для капиталистических дельцов он не подходит. Средства массовой информации из «кожи вон лезут» доказывая, что в Ираке террористы бьют американцев. Помилуйте! Какой же это террор. Это самая настоящая война против оккупантов. Объяснение Буша, что ему «не нравятся» недемократические режимы, в некоторых странах -Югославии, Афганистане, КНДР, Иране в том числе и Саддама Хуссейна - не дает права вторгаться американским войскам и наводить порядки по своему усмотрению в этих странах.

Что же у нас? Войну с чеченским народом породил Ельцин Б.Н. по своей пьяной дури. Она страшна и ужасна тем, что в ней воюют между собой соотечественники (люди одной страны). Придет пора, когда перестанут убивать друг друга, прекратится террор, а мира между людьми не будет. Может, очень долго. И этим будут пользоваться недоброжелатели империалистического (западного) мира, разжигая рознь не только между нациями, но и между кланами (родовыми общинами), причем возрастать она станет с заметным ускорением, пока не рухнет «остаток» русской державы, если, конечно, не будут приняты немедленно самые радикальные меры по ее спасению.

Какие? Не знаю. Но думаю: очень крутые. А пока... Идут террористические акты, в которых участвуют наиболее агрессивные чеченцы, но их

становится все меньше. Приходят теперь уже из других стран люди, не имеющие никакого отношения к нашей стране, нашей жизни, тем более к государственной системе.

В настоящее время разве можно называть подобные действия террором, когда в актах разбоя и диверсиях принимают участие иностранные наемники? Надо признать, что мы находимся в состоянии войны с государствами, организующими погромы в нашей стране, но очень ловко маскирующимися под «миротворцев, отстаивающих права человека» в чужих странах. Уж лучше бы разобрались у самих себя. Но нет! У них совсем другие цели. Нанеся два сокрушительных удара - один при Горбачеве М.С., второй при Ельцине Б.Н., - организаторы холодной войны (американцы) направляют все усилия для окончательного раздробления России, прибегая ко всем методам воздействия: идеологическая пропаганда, экономическая блокада, террор всех видов, религиозный фанатизм (шахиды и шахидки).

Развал Советского Союза привел к росту терроризма, нарушился баланс сил в мировом сообществе, развязал руки самым агрессивным империалистическим силам.

Республики бывшего СССР, в одночасье превратившись в суверенные государства, потеряли элементарные жизненные ориентиры и до сих пор не могут сделать правильный выбор. Они подобны пьяному человеку, бредущему по бездорожью и шарахающемуся из одной стороны в другую. Правда, некоторые прилепились к НАТО.

Россия, оставшись в одиночестве, оказалась в «океане» беспощадного раздора международных сил и держится за счет «плавучести», выстраданной во времена советской власти в кровопролитных войнах и великом трудовом подвиге.

Десять лет льется кровь простых российских парней. Десятки тысяч убитых, сотни тысяч искалеченных. Такова цена демократического произвола «народных защитников», «борцов с привилегиями» Ельцина, Гайдара, Бурбулиса и других. В этой омерзительной кампании ни один из власть захвативших, а вместе с ней и народные богатства не принимал и не принимают никакого участия. И не только они, но и их «откормыши» (сыновья, внуки) находятся далеко от полей сражений: одни под опекой батюшки, другие обучаются за границей в престижных университетах. Вот и подумайте, почему так долго длится эта мясорубка, где свои убивают своих. И самые страшное: если разразится большая война, разве станут защищать простые сыновья рабочих и крестьян этих захребетников.

Было ли когда-нибудь такое на Руси? В самый страшный период сталинского тоталитаризма во время Великой Отечественной войны все члены политбюро руководили воинскими соединениями, а их дети принимали непосредственное участие в сражениях.

При самодержавном строе при возникновении малейших воинских конфликтов, дворяне вместе с сыновьями находились на самом передовом рубеже войны, увлекая за собой простой народ. Вот этим и была сильна наша держава.

А сейчас!

С горечью воспринимает народ случаи побегов с военной службы солдат, зачастую целыми группами, в мирное время. И бегут они от несправедливости «старших» по званию, «дедовщины», воцарившегося в армии беспредела. До какой мерзости надо опуститься, чтобы солдаты умирали от истощения. Разве такое возможно было при советской власти. И это не голословное заявление, а истинный факт, происшедший совсем недавно на Русском острове, озвученный на всю страну по СМИ. А может быть, были и еще им подобные, о чем мы не знаем. Если вдуматься -это страшно. И ничего уже не поделать: реквием раздается на всей русской земле.

Возникает множество вопросов, но один наиболее существенный: почему в то послевоенное время без всякой показной шумихи и «сорочьей трескотни» сумели в короткий срок (не привлекая армейские части) выловить все отребье («западников» - борцов за независимость, власовцев, бандеровцев, «лесных братьев» и т.п.), стабилизировать обстановку и навести порядок. Ответ прост. Ответственность у людей того времени за порученное дело была на высоком уровне, совсем не так, как сейчас. Тогда в органах НКВД не было взяточников и «оборотней». При этом расплата с бандитами производилась по «высшему разряду». Не церемонились и не обращали внимания, что скажут западные «цивилизованные» державы. Не было защитников прав человека типа Ковалева, Резника, Боннэр, Новодворской и им подобных, усердно защищающих убийц и различного рода извергов, игнорируя права пострадавших людей.

Почему, несмотря на обильный «отлов» разбойного люда, именуемого в простонародье «отморозками», на их место приходят новые и новые. Тут ответ ясен: система порождает.

И, наконец, главное. Не было никакой поддержки террористам (а проще «людоедам») со стороны агрессивно настроенных против социалистического содружества государств. На такие авантюры в те годы не решались самые отпетые «ястребы» империалистических кругов: боялись СССР.

Неудержимое разделение народа на небольшой класс богатых и массу бедных - причем класс богатых потерял всякое чувство меры: богатеет не для того, чтобы стать еще более богатым (это льстит самолюбию), а затем чтобы остальных сделать нищими, -вызывает ненависть в людях. Одних толкает на этот путь безработица и голод, других безнаказанность и путаница в исполнении наказаний. Смертная казнь - это самое легкое наказание для преступников (каждый знает, что когда-то умрет). Но она (смерть) порождает необоримый страх у каждого человека и удерживает от преступных деяний. Если бы власти расстреляли сегодня десять (пусть даже пять) самых страшных «людоедов» и широко разрекламировали их казнь, завтра бесчеловечная преступность сократилась бы во много раз. Народ будет приветствовать любые меры, принимаемые правительством, если они будут способствовать наведению порядка.

«Показуха» перед Западом (смотрите, какие мы гуманисты) дорого обходится нашему народу. И совсем омерзительно: много говорят о правах

преступников и никто о простых законопослушных гражданах. Как остановить это безумие?

При существующей обстановке в стране и окружающем мире - ответить трудно. Если наша верховная власть не может решить эту проблему, то что скажут простые люди, как поступят?

Смиренно склонят голову, вздохнут и положат на место очередной (избави Бог) трагедии букетик цветов. Грустно! Нет! Скорее, печально!

До тех пор, пока общество не сумеет защищать само себя -мира не будет. А такое становится возможным, когда все люди разных национальностей в стране будут объединены единой идеологией.

Возвратимся на полвека назад. После затянувшегося молчания Иван Федорович Зайцев (недолюбливавший Самошина), разоткровенничавшись, вступил в разговор: «А мы, Паша, первое время сторонились тебя. До нас доходили слухи, что в твоем лагере происходили жестокие избиения твоими подчиненными ни в чем не повинных людей. Нам ведь с подобным разбойниками не приходилось встречаться, потому мы и судили обо всем со своей «колокольни». - «Так я же говорил вам, что всех настоящих преступников (бандеровцев, власовцев, лесных братьев, осужденных за шпионаж, террор, убийства), хотя их судили по статье 58 и они себя причисляли к политическим заключенным, отправляли в норильские лагеря. Вот они (со сроками 20–25 лет) и организовали бунт, принудив к этому и простых заключенных. А в четвертом лаготделении (Дудинки) были члены различных партий: эсеров, меньшевиков, троцкистов и осужденные за антисоветскую агитацию, а проще говоря «болтуны», только таких можно считать политическими, хотя они давным-давно отошли от политики. Это были самые смирные люди. Потому и не знали вы, как могут расправляться настоящие бандиты, хоть на воле, хоть в норильских лагерях», - отреагировал Самошин. Да - подумал я про себя - таких людей нужно держать в казематах и поодиночке. Это уже не преступная романтика, а изощренные, жестокие, сатанинские издевательства. Вспоминал, что со мной творили в омских лагерях, потерявшие человеческие качества матерые (причем бессовестные) преступники. Хотелось поддакнуть Самошину, но!... Тут же вспоминал о многих людях, несших тяжелый лагерный крест долгие годы совсем ни за что. Хотя такого определения «ни за что» не существовало. В делах каждого заключенного имелись конкретные обвинения: «ругал власть, обвинял Сталина, недоволен существующим порядком, вел доверительные беседы с иностранцами, что обычно рассматривалось как шпионаж и т.п.». Не мог без сожаления вспоминать совсем молодых девчонок, осужденных на большие сроки за «измену родине, предательство», выразившееся в том, что они в период оккупации вступали в интимную связь с фашистами (в большинстве случаев подневольную), крестьян, некачественно вспахавших колхозную пашню (что расценивалось как вредительство), или людей, по своей невнимательности использовавших газету с портретом Сталина в качестве туалетной бумаги, что считалось надругательством над личностью вождя партии и правительства. И многое этому подобное. И по прошествии многих лет я, задумываясь над жизненным укладом про-

шлого времени, не могу найти ответа. Почему тогда, несмотря на массу несправедливостей со стороны властей, народ в восторге захлебывался, восхваляя их дела. И это не было показным поклонением. Имя Сталина возносили до божества. Как такое могло случиться? Ведь даже сейчас после стольких обличительных статей, написанных книг о зверствах, творимых в казематах Лубянки и других тюрьмах, лагерях Дальнего Востока и т.п., люди прежнего поколения отзываются положительно о прошлой жизни, полной драматизма, причем зачастую можно слышать: «Ну когда же снова появится Сталин и наведет порядок? Жизни не стало, зову смерть как избавление. Почему не казнят самой страшной казнью этих людоедов?». Что это? Как понимать? Народ озлоблен до крайности: когда передают по телевидению или радио случаи убийств криминальных авторитетов, бизнесменов или прочих предпринимателей, воспринимается такое людьми, как божья кара за совершенные злодейства. Когда было так?

Сталин был суров, жесток, порой беспощаден. По его личному указанию расстреливали и сажали в тюрьмы людей из его ближайшего окружения, а в далеких провинциях, деревушках люди сажали самих себя по доносам, порой клеветническим. Были и такие случаи: если клевету не смогли подтвердить, доносчик сам садился в тюрьму. Раздумывая над темными пятнами прошлого, задаюсь снова и снова вопросом: почему в Советском Союзе при махровом тоталитаризме с лагерями заключенных, набитыми виновными и безвинными, народ сохранил духовность, а сейчас при «демократической» вседозволенности (может, оттого и заключенных стало больше) утратили ее, теряют все больше и больше человечность, поклоняясь западному «золотому тельцу». Если в прежние времена при самодержавии и в советское время словом «вор» называли повсеместно людей преступного мира, то теперь это слово «вор» да если еще в «законе» трактуется как герой нашего времени, а честь, порядочность, благородство, совесть определяются суммой взятки. Пронизанное идеологией капитализма человечество, охваченное жаждой наживы, теряет смысл жизни. Человек превращается в потребителя, теряя самые высокие духовные качества: любовь, дружбу, порядочность и т.п. - все продается за деньги. В особом «почете» «зеленые бабки» - доллары.

Тяга к стяжательству с целью обогащения (причем чем больше множится богатство, тем сильнее она увеличивается) - это более страшная болезнь, чем любая форма наркомании, и человек, попавший в эти тенета, уже до конца жизни из них не вырвется.

Жить хорошо хочется всем, и этого нельзя запретить: жизнь-то ведь у каждого одна. Только хорошую жизнь надо создавать всем вместе и для каждого, а не жить одним за счет других.

Казнокрадство, коррупция пронизали все общество сверху до самого низа. Может, потому народ так и относится к власть предержащим. Сталин же при всех своих отрицательных чертах характера (я уже упоминал об этом), имея безграничную власть, владея всеми земными и небесными богатствами, ничего не украл, не оставил для своих детей никаких запасов. Никаких поблажек не давал он и своим приближенным.

Как-то раз довелось слышать, что знаменитый полярный исследователь Отто Юльевич Шмидт недалеко от Москвы (название местечка забыл) построил себе дачу - поместье со всеми удобствами. Рабочие оборудовали беседки, выкопали пруд, на котором полярник развел лебедей. Человек он был знатный и при встрече со Сталиным упросил побывать в его приобретенном «имении». Сталин долго не ехал. Но как-то раз, вспомнив про этот разговор (память у Сталина была цепкой), решил «навестить». Прогуливаясь с Отто Юльевичем по тропинкам, не единожды похвалил его за усердие. Когда визит подошел к концу, он задержал взгляд на плавающих в пруду лебедей и по-дружески посоветовал Отто Юльевичу: «Товарищ Шмидт этот «садик» будет очень подходящ для ребятишек. Отдайте его детям. Пусть играют. Им будет весело, а вам спокойно, соседи не станут завидовать». Попрощался с Отто Юльевичем, повернулся и не спеша направился к выходу. Через минуту уже весь эскорт машин был далеко.

Шмидт долго стоял огорошенный, но делать было нечего. Никто не мог ослушаться Сталина. Наверняка многие ребятишки да и их родители были рады. Хотя и не знали, откуда как-то враз свалилось им это счастье.

Был и такой случай. Начальнику Норильлага в конце 40-х годов Звереву Владимиру Степановичу по долгу службы очень часто приходилось ездить из Норильска в Москву. В те годы еще не выполнялись полеты из Норильска до Москвы. Приходилось лететь самолетом сначала до Красноярска, а оттуда Зверев В.С. уже ехал поездом. Можно было, конечно, и из Красноярска до Москвы лететь на самолете, но Зверев В.С. обычно всегда ездил поездом. Такое передвижение было утомительным, в пути приходилось много работать (в Москве задавалось множество вопросов), кроме того, Зверева В.С. всегда сопровождала группа работников. И он по своему усмотрению приобрел для Норильского комбината и оборудовал вагон первого класса со всеми удобствами и «излишней роскошью».

Но недолго довелось начальнику Норильлага Звереву В.С. пользоваться благами «цивилизации». Как только об этом узнал Сталин, он тут же распорядился вагон отобрать и передать его в МПС. От комбинатовских работников слышал, что Сталин сделал Звереву В.С. выговор: «Народ после войны еще из теплушек не вылез, а вы себя барином поставили».

У Сталина подобных действий было множество, я же привожу только те, о которых слышал от довольно солидных людей. Впрочем, и сам видел, что на нашей Норильской железной дороге был тоже вагон комфортабельный, в котором было оборудовано одно купе для руководства комбината. Но им пользовались многие. Даже мне пришлось как-то поблаженствовать в этом комфортабельном купе, когда с делегатами Дудинского порта ехал на конференцию Норильскснаба.

Теперь этот вагон давно на свалке, и уважающие себя бизнесмены нашего «счастливого» времени считают за оскорбление проехать в таком вагоне. Они разъезжают на джипах или более дорогих машинах, а у некоторых сзади хвост охраны, из лиц сомнительного прошлого, но в большей части из разогнанных органов МВД и КГБ советского периода.

Сопоставляя теперешнее состояние дел в стране, просто удивляешься,

когда «борцы с привилегиями, правдоборцы, и прочая нечисть», разгромив страну вдребезги, пустив в нищету народы, имеют в своем распоряжении дворцы, самолеты, яхты и огромные суммы денег на счетах иностранных банков. И нисколько не стесняются, что в недалеком прошлом за самые малые излишества критиковали самым беспощадным образом партийных боссов.

Люди тогдашнего времени все это видели, и такие поступки верховного руководства СССР являлись важными «козырями» в достижении уважения и преклонения народа перед ними. От многих людей, в какой-то степени знавших Сталина, в далекие военные годы слышал различные суждения о вожде: после смерти Надежды Аллилуевой (его жены) он был очень несчастлив в личной жизни. Расправившись со своими ближайшими соратниками, разогнав родных и родственников, потеряв самого близкого человека (жену), он оказался одинок в окружении огромного количества людей.

Законы божьи одинаково воздействуют на всех людей - будь то «бомж» или самый большой повелитель. (Человеку бывает хорошо если рядом много добрых родных, верных товарищей не по страху, только понимать об этом человек начинает когда все от него уходят).

Он, Сталин, оказался в длинном ряду таких неудачников, скорее несчастливцев. В дополнение ко всему: физические недостатки - усыхающая левая рука, изъеденное оспой лицо, низкий рост, короткие ноги отводили негласно ему далеко не первое место в его окружении. (Конечно, он мог при его неограниченной власти привлечь любую женщину. Но такое можно выполнить только властью, но отнюдь не любовью). Он видел все и, понимая, что никаким способом изменить самого себя нельзя, накапливал желчную зависть, и когда кто-то из ближайшего окружения уж очень «шикарно» начинал жить, одеваясь по последней моде, с красивой женой, а иные с любовницами разъезжали по театрам, у него появлялся симптом ненависти и гнев обрушивался на счастливые семейные пары. Кто был поумнее, догадывались об этом, старались вести скромный образ, одевались по его манере и, возможно, этим уберегали себя от неприятностей, порой довольно серьезных. Кроме того, он был очень неприхотлив, порой неряшлив, когда ел, то не соблюдал никакого этикета. Мог вытереть руки о скатерть, плевать в тарелку. Одевался в простой китель и такую же шинель. Были ли у него слезы? Видел ли их кто-нибудь? Я никогда ни от кого не слышал. Хотя беседовал со многими, знавшими его. Что-то похожее слышал от старой большевички Драпкиной Е.Я., и Косаревой М. - жены секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева, расстрелянного органами НКВД (конечно, по прямому указанию Сталина). Скорее всего, он (Сталин) был железным роботом со стальным клубком нервов, причем очень умным роботом. Так ли это? Как теперь проверишь? Да и зачем? Кому такое нужно? Но тем не менее... Он сумел создать такую державу, каких раньше в мире никогда не было и, наверное, уже больше не будет.

В борьбе за личную власть Сталин И.В. уничтожил многих большевиков-революционеров, стоящих на «платформе» троцкизма. Но кто может сей-

час с уверенностью утверждать, что случись обратное и власть взял бы Троцкий Л.Д., у которого главной целью была «полная и окончательная победа коммунизма во всем мире», погибло бы меньше людей, чем произошло в период тоталитарного сталинского режима. Даже сейчас, в период «демократической» вседозволенности, когда власти никого не расстреливают, никого не казнят, население ежегодно убывает почти на 1 миллион человек, чего не наблюдалось в годы советского правления. Как такое можно объяснить? Смотрите телевизор, слушайте радио, читайте газеты. Не потребуется дополнительных разъяснений.

Я никогда не встречался со Сталиным, даже не видел его близко. И пишу о нем со слов моих знакомых (знавших его), с которыми вместе сидел в лагерях и тюрьмах. Но, думаю, что они говорили правду. (Для чего им нужно выдумывать?) Конечно, высказывания их далеко не в полном объеме освещают фигуру Сталина.

Отсидев тринадцать с лишним лет, я должен бы в озлобленности обрушиться на всех тогдашних гонителей, в том числе и Сталина, предавая анафеме советскую власть и все органы правосудия. Но при существующей тогда системе (в каждом периоде времени действовали свои законы), кроме самого себя виновных в моих неудачах не вижу. Очень многие люди (Ельцин Б.Н., Горбачев М.С., братья Михалковы, Яковлев А.Н., впрочем, разве перечислишь всех) поступали, сообразуясь с обстановкой: тогда расхваливали существующую систему с пеной у рта, отстаивая ее идеалы, сейчас же, ловко перевернувшись, орут совсем по-другому: «Ах, как же мы ошибались!». Некоторые из прославившихся в советское время «ленинцев» (в большинстве за счет изворотливых отцов) из числа привилегированной знати из «кожи вон лезут», стараясь проявить себя (теперь уже) старорежимными барами, перенимая от «мастеров заплечных дел» изощренные приемы и применяя их на беззащитных людях.

Так на одном из собраний демократов, кто-то из пробравшихся к ним в зал «лимоновцев» бросил в Никиту Михалкова («киношника»), восседавшего в президиуме, помидор. Парнишку тут же схватили, заломили назад руки (мне показалось, что хотят надеть наручники, что сейчас практикуется повсюду), согнули головой вперед и подоспевший Никита Михалков (претендент в «рыцари чести») стал бить ботинком на толстой подошве его по лицу.

И тут же вспомнилось: ни в одной тюрьме (в тоталитарном советском режиме), начиная от Лубянки и других провинциальных тюрьмах, на меня, и на всех заключенных никогда не надевали наручники.

Теперь с помощью подобных демократов нетрудно всех заковать в кандалы. А Б.Окуджава, уличный певец демократов, когда пьяный Ельцин Б.Н. расстреливал Верховный Совет из пушек, где находились народные избранники, наслаждался этим зрелищем (повторяюсь, хотя и горько мне от этого).

Большевики (революционеры) считали кандалы и наручники неотъемлемым атрибутом капитализма и с первых дней революции упразднили их. Надо признать: они умели управляться и без их применения.

Мне много постоянно разъясняли с самых малых лет, что нельзя делать, - не прислушался. Не только критиковал существующую власть, но и писал листовки, конечно, со слов других людей, домысливая по-своему. Мое тогдашнее преступление по «сегодняшним ценам» копейки не стоит: теперь хоть искричись и изматерись в истерике на несправедливость нынешней жизни, не только никто не осудит, даже не прислушается, не обратит внимания: «Для чего ты орешь, что мы воры, мы и без тебя об этом знаем, ишь, открыл Америку». А тогда? Результат на лицо. Тринадцать лет с добавком. Поступи я по-другому, как это делали все мои сверстники (комсомольцы, выпускники школ) - и жизнь моя пошла бы по иному сценарию. Вроде бы сейчас стало хорошо, только что в этом хорошего: говори что хочешь, у нас демократия, свобода слова. Как же ловко могут манипулировать господа либералы с демократами. Ведь свобода слова - это право говорить правду всем и про всех, а не изворачиваться и врать в свою пользу. Появился леденящий душу страх от всеобщей вседозволенности. И днем, и ночью чувствуешь себя незащищенным: того и жди, что хулиган, бомж, подросток из «процветающей» семьи ради резвости или простой показухи (надо же себя в чем-то проявить) ножом полоснет или по башке кирпичом грохнет.

В московских вокзалах или же поездах метрополитена только и ожидаешь: когда взлетим в небо. В Подмосковье лучше не появляться - одно ворье и бандиты. Причем не только грабят и убивают, но и судят. Судят не подчинившихся им простых граждан за невыполнение требований, своих братков, отступивших от их железных правил для укрепления своей воровской дисциплины. Все как раньше, только с еще большей жестокостью. Просыпаешься порой и со страхом вопрошаешь: кончится ли когда-нибудь этот содом? И сам себе отвечаешь: нет! Даже несмотря на принимаемые президентом Путиным огромные усилия, его порядочность, организационные перестройки в своем окружении - ничего не изменится до тех пор пока не будут привлечены к строжайшему суду главные преступники Горбачев М.С. и Ельцин Б.Н. со своими подельниками. Горбачева М.С. за предательство и развал социалистического содружества, Ельцина Б.Н. за предательство и развал СССР. За преступления, которым еще не придумано название. А уж потом все пойдет как по хорошо разработанному сценарию. Люди живут по принципу: если главные преступники не подвергаются наказанию, то чем же мы хуже их. («Господа, товарищи! Неужели вы не понимаете, что произошло с нашей российской державой по их вине?») Все наши дружественные (ранее) страны теперь сообщники НАТО, республики, получившие «самостоятельность», не знают, к какому лагерю примкнуть и торгуются между Западом (Америкой) и Россией, где и как можно получить большую выгоду. Сами ничего не производят, все больше и больше беднеют, опускаясь до нищеты.

Но самое страшное в развале державы - возрастающая рознь между нациями, переходящая в ненависть. Отсюда террор, междоусобица, которым не видно конца. Почему такого не было при (тоталитарном) социалистическом режиме? Потому что все народы российской державы жили

единой дружной общиной. Казахи, чеченцы, татары и т.п. вместе с русскими одинаково воевали в Афганистане и других горячих точках планеты. Только благодаря тесному сплочению всех национальных сил, победил советский народ гитлеровскую Германию.

Почему происходит теперь такой бандитизм? Ответ очень прост. Если большая часть «владык» в отдельных «княжествах» ведут себя как рабовладельцы (взять хотя бы маленькую Калмыкию, где Кирсан Илюмжинов настоящий фараон), а верховная власть не одергивает зарвавшихся упырей, то что остается делать «рабам»? Вот они и идут в услужение к Масхадову и Басаеву, помогая им в гнусных делах. При этом считают, что свою озлобленность вымещают не против своей земли, Родины, а против своих непосредственных правителей.

Многие из элитной интеллигенции (нашей российской) рассуждают: «У нас же ведь демократия, свобода». Вот только кому нужна такая чересчур «свободная демократия»? Ответ прост и разъяснения не требует.

Взвешивая деяния Сталина (конечно, и других вождей - помельче) на одних весах, укладывая на одну чашу ошибки, преступления, прочие грехи, а на другую положительные дела, я, пересиливая самого себя вынужден признать, что вторая чаша легко перевесит первую.

Очень озлоблен я за потерянное в тюрьмах, лагерях, ссылке время, но правда дороже (кажется, так говорили римляне). Я, затаив обиду, стараюсь объективно писать о канувшей эпохе. Это трудно, но надо. Обида многих толкает к искажению действительности.

Одна из самых больших заслуг Сталина (может, в этом основную роль сыграла идеология коммунизма) заключается в том, что ему удалось все населяющие огромную державу разные нации, народности, людей разных религий объединить в единый советский народ. Это обеспечило резкое развитие промышленности и сельского хозяйства.

Но самое главное - стало решающим условием победы над фашистской Германией. Если бы такого не произошло, то Адольф Гитлер закопал бы живыми всех евреев или же сжег в печах концлагерей.

Да разве только к одной нации он питал такую ненависть. Он и славян (к этому «племени» принадлежим и мы, русские) тоже бы пустил в «распыл». Всю тяжесть этой жесточайшей войны вынес Советский Союз. И как не стыдно некоторым из наших соплеменников утверждать, что войну «выиграли» американцы с англичанами. Надо же!

Оставим пустые рассуждения. Все равно от моего недовольства ничего не изменится. Отойдем в сторону. Пусть между собой грызутся грабители, делят промеж себя не один раз награбленное. Только надо отойти подальше, а то при переделе очень часто случается страдают совсем невиновные.

Отступление сделал для ясности: страдали люди тогда, трясутся от страха теперь.

Вернемся назад на пятьдесят лет. День выдался на удивление теплым, безветренным. Солнце, перевалив на вторую половину неба, приятно пригревало, небольшой ветерок охлаждал наши разгоряченные лица, навевая истому, располагая к приятному времяпрепровождению. Хотелось лечь в

густую траву, уткнуться в землю лицом, вдыхать запах цветов и ни о чем не думать. Мы еще долго сидели на зеленой лужайке разговаривали, немного спорили. К нам подходили хорошо знакомые (и не очень) портовики (в те годы в порту работало очень много людей), вступали с нами в разговоры и тут же уходили: где-то каждого ожидала своя компания, другие спешили домой. Когда время перевалило далеко за полдень (ближе к вечеру), к воротам лагерной зоны подошла колонна женщин. Примерно человек 100. Виктор Павлович высказал свое суждение: «Вот почему мы не видели женщин в зоне – они были на работе. Только почему их заставили работать в воскресенье?».

Павел Петрович ответил: «Наверное отрабатывают долги за время забастовки». Мы все устремили взоры в сторону проходной вахты и смотрели, как бригады одна за одной ВХОДИЛИ В зону лагеря.

Иван Федорович Зайцев (самый сердобольный из нас) с жалостью проговорил: «Ну, чего они добились своей забастовкой, только шуму наделали». Неожиданно сзади нас раздался голос: «Вы что думаете, что взбунтовались здесь вот эти женщины, а в норильских лагерях им подобные, или же такие же «тихушники», как вы». Мы обернулись и увидели Ивана Дергачева, который незаметно подошел к нам и вслушался в наш разговор. Дергачев долгое время работал начальником УРЧ (учетно-распределительная часть) дудинских лагерей и знал много больше, чем мы.

«О! Ты так тихо подошел, что мы и не обратили внимания», -сказал Павел Петрович. Он с Дергачевым был давно знаком, мы тоже его знали и потому все разом обратились к нему: «Присаживайся с нами за компанию». Иван Дергачев был любитель «зеленого зелья», поэтому без всякого жеманства тут же присоединился к нам. Все весело заговорили, на время забыв про женщин у вахты лагеря и о норильском бунте. В то время слово «забастовка» не звучало. Неповиновение заключенных в лагерях именовалось как «отказ от работы», и таких «зеков» называли «отказчиками».

Про дудинских заключенных, отказавшихся от работы, мы знали, что эту акцию они выполняли по угрозе норильских забастовщиков: «Кто приступит к работе, отправим всех к «праотцам». Но то ли угроза не возымела действия, то ли ее некому было выполнить в дудинских лагерях, неповиновение закончилось через два дня, и работы возобновились на причалах порта и в лесном хозяйстве (об этом я уже писал).

«Так чего же хотели наши дудинские заключенные», - спросил Виктор Павлович. «А ничего, просто «пофилонили» два дня и начали работать», - ответил Самошин.

«Ну, а норильские «зеки» так и будут бунтовать? - снова спросил Виктор Павлович. - Ведь сейчас каждый заключенный только и думает, когда его выгонят из лагеря, чего они еще хотят?» «Не все так, - сказал Дергачев, - в дудинских лагерях действительно об этом думают и, вероятно, так и будет. Совсем другое дело с норильлаговцами: там очень много заключенных, которые не подпадут ни под какую амнистию, не говоря уж о реабилитации. Разве освободят террористов, бандеровцев, «лесных братьев», у которых руки по локоть в крови. Вот они и бунтуют, подбивая угрозами

простых заключенных к неповиновению. Но как мне стало известно, у них ничего не получится. До сегодняшнего дня с ними «нянчились», но после нескольких случаев убийств, происшедших в лагерях, когда чересчур «заблатненные» заключенные зарезали простых работяг, отказавшихся участвовать в «забастовке» и выходивших на работу, лагерная администрация примет, если уже не приняла, очень серьезные меры». В разговор хотел вступить Самошин, но Ивану Дергачеву не терпелось выпить, и он сказал: «Давайте прекратим эти разговоры, а то время на выпивку не останется!». После этого разговор как-то сам по себе переключился на другие темы.

Вскоре забастовку, когда были исчерпаны все доводы убеждения, лагерные власти остановили, ее организаторов арестовали и отправили в другие лагеря на «большую землю». Никакого сражения («восстания») не было. Большой отряд надзирателей и комендантов без всякого сопротивления арестовал зачинщиков, и на этом все закончилось. В течение нескольких лет, с 1953 года по 1956 год, освободили многих заключенных по пересмотру дел, некоторых амнистировали, очень многих реабилитировали.

В первые годы выпускали большими партиями, и только в 1955–1956 годы их число сократилось до минимума: освобождали заключенных с большими сроками наказания после тщательной проверки. Заключенных, чьи преступления не подлежали никакой амнистии (убийцы, бандиты закоренелые, террористы и т.п.), увозили из норильских лагерей в другие лагеря большой нашей страны. Но таких было относительно немного. Сейчас от большого Норильлага осталась небольшая тюрьма, где содержатся заключенные, совершившие преступления на Таймыре. Норильлаг просуществовал 21 год, с 1935 по 1956 годы. И с 1957 года все производства полностью обслуживаются вольнонаемными работинками.

Как-то мне довелось прочитать в одной из норильских газет, не помню точно названия («Заполярный вестник» или «Заполярная правда»), что за 21 год существования лагерной системы через норильские лагеря прошло 600000 заключенных. Наибольшее количество в 40-50 годы колебалось в пределах 200000 человек. За эти годы умерло около 18000 человек. Примерно 850 человек в год. Много это? Или мало? Не знаю. Тут должно быть сравнение. Только с чем и как?

У меня таких данных нет. Но я думаю, что об этом многие знают, сохранились документы, материалы. Поэтому при существующей в настоящее время свободе печати и слова обнародовать истинное положение дел в теперь уже далекие годы не представляет сложности и затруднений. И это необходимо сделать, изложив совершенно правдиво, без прикрас и вранья, чтобы исключить возможные подтасовки и искажения, которых за время реформ появилось великое множество. История должна быть правдивой. Если в стране с населением около 140 миллионов (при социалистической системе на территории державы проживало около 300 миллионов) ежегодно сокращается численность на 1 миллион человек, то мои комментарии будут излишними.

В этой статье я изложил материалы пятидесятилетней и более давности, заостряя главное внимание на волнениях, возникших в норильских ла-

герях летом 1953 года, последовавших за амнистией после смерти Сталина. Для сравнения с рассказами бывших заключенных, материалами печати, радио, телевидения о нориль-лаговских событиях, изложенных в период проведения Дня памяти жертв политических репрессий 29-30 октября 2003 года, я привожу по памяти высказывания уволившихся в те годы из лагерной системы работников НКВД и свои личные наблюдения. Они настолько разительны, что невольно задаешься вопросом: «Где же правда, кто скажет, и есть ли она вообще на земле?» Сейчас многие (если не все) говорят обо всем, что им приходит в голову, объясняя свое вранье, порой клевету, существующим правом на свободу слова. Особенно в этом усердствуют демократы из бывших членов КПСС, превращая свободу слова во вседозволенность.

Пора уже всем понять, что свобода слова - это право говорить правду всем и каждому, будь то президент или простая уборщица (о чем я говорил ранее и не один раз).

P.S. И тем не менее, когда сейчас идет страшная война террора, необходимо задуматься, какие силы его порождают и как их можно победить? Что есть общего с теми волнениями, что возникали (в несравнимо меньшей степени) в далекие 30–50 годы. Не может же в таких масштабах существовать терроризм в подвешенном состоянии, без поддержки (материальной и моральной) со стороны мощных покровителей, иметь собственные базы и долгое время скрываться на территориях многих государств.

Почему же все-таки произошло «возмущение» в виде отказа от работы некоторой части заключенных в норильских лагерях летом 1953 года?

Было известно, что сразу же после смерти Сталина, правительство наметило ликвидировать всю лагерную систему и распустить всех заключенных. Но сделать такое в короткий срок не представлялось возможным. В первую очередь стали освобождать малосрочников до 5 лет наказания и одновременно с ними стали выпускать заключенных, отсидевших 8–10 и более лет, у которых еще оставалось «отсидки» один год или полтора года. Среди таковых были отъявленные бандиты, и, получив свободу, они, быстро объединившись в преступные группировки, начали разбойничать по всей стране. О чем очень наглядно показано в фильме «Холодное лето 1953 года». (Об этом я уже писал).

Правительство одумалось, от первоначальных планов отказалось. Освобождать стали персонально по пересмотру дел. Об этом стало известно во всех лагерях, в том числе и Норильлаге, что послужило толчком к организованному возмущению со стороны лиц, осужденных на большие сроки 20—25 лет за преступления уголовного характера, которые убедились, что их не освободят ни по амнистии, ни по пересмотру дел. Неповиновение заключенных, выразившееся в отказе от работы, в Норильлаге возникло стихийно. Никакого «восстания» не было. Это измышления наиболее ярых «демократов». И уж тем более не существовало никакой подпольной законспирированной лагерной «Демократической партии России»: надо же такое придумать?

Кто ж виноват в акциях неповиновения заключенных в норильских ла-

герях, через много лет в наше время усердием определенной группы лиц возведенных до размеров «восстания»? Конечно, правительство. Оно недостаточно серьезно оценило существующую на данный момент обстановку в лагерях и тюрьмах. (Приезд малозначащего представителя, в данном случае Панюкова А.А., с ограниченными правами и заявившего о частичном освобождении из лагерей и тюрем, подтолкнул к решительным действиям наиболее агрессивную часть заключенных, имевших большие сроки наказания за тяжкие преступления). Эти высокопоставленные чинуши сразу же после смерти Сталина так глубоко «вдохнули свободного воздуха», что чуть-чуть вместе со всем народом не захлебнулись от переизбытка «чистого кислорода».

Вместо того чтобы заняться переустройством державного правления, все дружно включились в борьбу за власть, каждый стремился протолкнуть в народ популистские меры, стремясь этим, с одной стороны, оправдаться перед людьми за содеянные грехи (а вернее, преступления) вместе со Сталиным, с другой -завоевать их доверие. К сожалению, без большой крови не обошлось: у многих высших чинов полетели головы.

Январь 2004 г.

Заключение

Чем больше проходит времени, тем наглее и бессовестнее становятся американо-израильские империалисты. Не встречая сопротивления со стороны миролюбивых государств, и, в первую очередь, России, пронизанной сетью «правозащитных организаций», они проводят политику откровенного диктата по отношению к странам бывшего Советского Союза. Установив в Грузии диктатуру своего «демократического насилия», создав экономическую блокаду вокруг Белоруссии, всей мощью обрушились на Украину, применяя полный комплекс недозволенных мер (угрозы, шантаж, подкуп, дезинформация, пропаганда и т.п.). Нет сомнения, что, если потребуется, то Америка, «самая демократическая страна мира», не колеблясь, сбросит на сопротивляющиеся народы атомные бомбы, как сделала она с японскими городами. Единственное государство, совершившее страшный акт бесчеловечности от избытка своего «миролюбия». Что ж, господа «правозащитники», ждете, кто следующий на очереди? Чтобы подключить хвалебный хор во славу разбойничьих деяний цивилизованных христопродавцев?

Ноябрь 2004 г.

Уважаемый читатель!

В этом рассказе изложены материалы более чем пятидесятилетней давности. Некоторые эпизоды написаны со слов очевидцев, на основе личных

восприятий давно прошедших событий, что не исключает определенных неточностей. Если кто-то располагает более достоверными данными (истинными по форме и содержанию), автор будет признателен за любые поправки и коррективы.

Вместе с тем отчетливо понимаю, что это невероятно трудно по причине запутанностей и искажений в освещении всех политических, уголовных и т.п. событий (в том числе и норильлаговских) в период ельцинского правления.

Житейские невзгоды

Когда человеку перевалит за 80, он старается все меньше и меньше заглядывать в будущее, живет в постоянном ожидании чего-то непредсказуемого, нежелательного, цепко держится за уходящий день, почти постоянно ворошит прошлые времена, откапывая в памяти приятные, радостные моменты жизни. Но память не щадит и выталкивает порой досадные эпизоды, преподносит собственные ошибки с огорчением и неприязнью, вовлекая в них других людей, чаще близких и знакомых. Говорят, что память - это высший дар богов, хранитель всех жизненных коллизий, перипетий, событий, явлений человеческого бытия. Человек, не помнящий своего прошлого, убог и несчастен, хотя некоторые воспоминания бывают неприятны и горьки, многие наталкивают на размышления.

Как-то раз, в середине 90-х годов, в летнее время, возвращаюсь из подмосковного поселка Зеленоградский, в Москве, на Ярославском вокзале, ко мне подошел прилично одетый пожилой человек. Сколько за мою долгую жизнь произошло различных встреч, и больше всего на вокзалах. Ничего удивительного: там, на вокзалах, пересекаются людские дороги, иногда судьбы. Мужчина вежливо поздоровался и обратился с просьбой: «Николай Алексеевич, выручи меня». Это меня озадачило. Во-первых, подумал я, откуда он знает мое имя и отчество и что значит «выручи меня».

Мысли в голове заработали со скоростью компьютера. Мало ли теперь в этот демократический разгул появилось дельцов, мошенников да просто проходимцев. Мне захотелось сразу же избавиться от него, но что-то подсказывало: где-то я его видел, на каком то жизненном «перекрестке» мы с ним встречались. Чтобы как-то разрядить возникшее недоразумение, обратился к нему: «Я, что-то, дорогой товарищ, тебя не припоминаю, откуда ты знаешь мое имя», - и тут же подумал: сейчас начнет наговаривать разную дребедень и напрашиваться на знакомство. Но незнакомец неожиданно улыбнулся, видимо уловив мои сомнения, и сказал: «Николай Алексеевич, мне нужно двадцать пять рублей на билет доехать до Александрова, а дальше там я уж доберусь. Живу в тех краях». Двадцать пять рублей невелика сумма и, глядя на него (мужик вроде приличный, и что-то в нем знакомое), я, огорошенный его смелым обращением, полез в карман за деньгами все еще раздумывая, кто же он такой.

И опять незнакомец с улыбкой спросил: «Неужто не узнаешь меня?»

- «Вижу что-то в тебе знакомое, а припомнить никак не могу», - напрягая память, ответил я.

«Ну, как же так! - воскликнул незнакомец. - Да мы с тобой вместе в Кисловодске в санатории отдыхали. Грибов я, Алексеем зовут». Мысль быстро перенеслась в далекий южный городок, санаторий с названием «Москва», прекрасное время отпуска и беспечная, удивительно спокойная жизнь. И мгновенно, глядя на этот постоянно движущийся поток людей, толкающих друг друга, нескончаемую ругань, подумал: «Господи! Придет ли назад на нашу землю покой и умиротворение, когда закончится бандитизм, разбой, коррупция и т.п., или наше общество, со всей страной пораженное страшной болезнью саморазрушения (какой-то особой формой СПИДа), излечению не подлежит. Ведь всего 10 лет прошло капиталистического нашествия, а все социальные блага, а главное, уверенность в завтрашнем дне, доверие к людям стали понятием далекого прошлого: отойди чернь, капитал плывет.»

Я посмотрел Алексею в глаза и с какой-то радостью, которая не поддается описанию, воскликнул: «Ну как же я мог позабыть тебя! Что с тобой произошло и чего ты, как последний бомж, побираешься?»

«Ну, что может произойти в этой толчее. Вытащили кошелек с деньгами. Но, самое плохое, в нем были документы. Ходил в милицию, писал заявление. Просил, чтобы помогли уехать, трудно ли посадить на электричку? Ответили: посадить мы тебя сможем, только на первой остановке тут же высадят контролеры и пойдешь пешком до своего дома. Посоветовали сходить к начальнику вокзала, только вряд ли чем он поможет. Скажет то же самое, что и мы вам сказали, а вообще, надо не «зевать», это вам не деревня, а Москва. С тем и выпроводили. Хотел сходить к начальнику вокзала, не пустили, ответили, что только через два часа придет. Хорошо, что тебя повстречал, выручай - я вышлю тебе почтой».

Я достал три десятки, отдал Алексею и сказал: «Не высылай. Хлопот больше. Только не попадай в беду еще раз. Никто не поможет: ни люди, ни власти». Мы еще о чем-то поговорили и разошлись. Он пошел за билетом в кассу, а я на метро. Ничего особенного нет в этом случае. Мало ли какие бывают происшествия с пассажирами на московских вокзалах. Не только кошельки -головы теряют.

Перебравшись по метро на Киевский вокзал и «отвоевав» себе местечко в переполненном поезде (электричка была «калужской», а они всегда забиты пассажирами), наблюдая за суетой мечущихся людей, все больше и больше сокрушался о неустроенности нашей жизни.

Раньше, при советской власти, электрички до Москвы также были битком набиты людьми. Но тогда ехали «мешочники»: накупив целые узлы и сумки колбасы и прочих продуктов (такого большого количества в подмосковных городах не хватало) впрок много больше, чем того требовалось, ехали, сидя друг на друге. За неделю израсходовав накупленное, употребив в пользу половину, остальное, чуть подиспорченное, выбрасывали на помойку и снова ехали закупать. Съедали каждый по килограмму колбасных изделий за один «присест». Денег не жалели. Работы хватало всем, значит,

о завтрашнем дне не беспокоились. Теперь всего стало много, всем хватает. Но покупают колбасу по 100 грамм и то на праздники. У многих зарплата, а у стариков пенсия, всего на несколько килограмм дешевой колбасы. И никто в Москву за этими продуктами не едет. В каждом городишке всем хоть завались: были бы только деньги.

Почему же сейчас-то народ мечется по электричкам, вокзалам и другим дорогам? Все просто: народ ищет работу, кое-кто «барыжничает», в одном месте покупает, в другом перепродает.

Нет на лицах людей радости, никакого веселья. Вспоминая случайную встречу с Алексеем Грибовым, его мытарства по правоохранительным органам и другим «коридорам власти», как-то неожиданно пришел на память другой случай, происшедший много лет назад с моим довольно хорошим приятелем, с которым много времени работали в Дудинском порту на одном предприятии.

Начало этому комичному эпизоду лежит в сочинском курорте «Заполярье», а благополучное завершение в Дудинке. Весной 1964 года я получил путевку в сочинский курорт «Заполярье». Но прежде чем поехать к месту отдыха, я, взяв отпуск на много дней раньше начала путевки, решил заехать к родным в Подмосковье, а оттуда в Ленинград, где всего два года назад закончил лесотехнический институт. Узнав о том, что некоторые мои ленинградские знакомые, тоже закончившие со мной этот институт, поступили в аспирантуру, я решил проделать то же. У меня уже имелось приглашение из института «Гипролестранс», куда я направил несколько месяцев назад заявление. Отдохнув немного в Подмосковье, я прилетел в Ленинград и, сдав совсем нетрудные вступительные экзамены, был зачислен студентом аспирантуры.

Но по прошествии времени понял, что из меня не получится научный работник, тем более ученый, и через два года самовольно оставил ее: «Зачем людям голову морочить, как это могут делать многие». Немного погостив с родными и побывав у всех знакомых «однокашников», я улетел в Сочи. Прекрасное место. Расписывать о его красотах и прелестях нет смысла: многие там побывали. Санаторий «Заполярье» хорош не только своей чудесной природой, главное - в нем всегда было в те годы много наших портовиков из Дудинки. Не знаю как сейчас, давно уже не был там. В тот же год, так случилось, было очень много мне близких знакомых.

Отпуск мой подходил к концу, когда я встретился с Иваном Петровичем Гавриловым (к сожалению, уже больше десяти лет назад изрубленным вместе с женой топором одним из бандитов). Мы оба очень обрадовались, обменялись всеми новостями, про которые знали, и весь остаток отпуска я проводил с ним. Он долгое время работал на лесном хозяйстве, куда поступил раньше меня, потом ушел на железную дорогу. Но связь я с ним не порывал, так как был связан тесно по работе. Когда я купил билет до Москвы (а стоил он тогда всего 14 рублей) и стал готовиться к отлету, Иван Петрович попросил меня: «Одолжи мне денег, хочу поездить еще по другим городам, отпуск у меня еще долго не кончится, а уезжать в Дудинку, не использовав его полностью, не хочется». У меня были деньги, и я, не

раздумывая, сказал: «Конечно, дам. Только ведь просто так туристом по незнакомым местам разъезжать одному как-то неуютно». - «Да я тоже так подумал, но меня уговорил Вано: поедем да поедем к нам в Тбилиси, хочет показать, как они там живут: ну я и согласился», - сказал Иван Петрович. Я Вано тоже знал. Это был молодой грузин. Он присоединился к нам недавно. Как его настоящее имя мы не знали, да и не допытывались, представился нам как Вано. А мы по-простому стали называть его Иван. Ему нравилось. Часто ходил с нами на море купаться, играли в бильярд. Он играл хорошо, всегда побеждал нас, но старался заплатить за игровое время сам и обижался, когда платили мы. «Ну если с ним, парень он порядочный, то поезжай, - сказал я ему успокоительно. - Вано, как мне кажется, не будет обманывать, да и зачем ему это, видимо, живет он хорошо, потому и захотелось ему пообщаться с северянами». - «Он говорит, что его дед в далекие тридцатые годы, когда он (Вано) совсем был маленьким, уехал туда по этапу, да так и не вернулся до сих пор. Ничего о нем не знают из его родни никто. Видимо, сгинул», - так подытожил Иван Петрович.

«Наверное, хочет разузнать побольше о Севере», - сказал я и подумал про себя: «Иван Петрович многое может рассказать, ведь на Севере живет много больше чем я». Я отдал Ивану Петровичу почти все деньги, что у меня оставались. Оставил себе только на билет от Москвы до Норильска (он стоил 70 рублей), да на мелкие расходы, и на другой день улетел из Сочи.

В Дудинку я приехал в начале июля и сразу же включился в работу. Навигация шла полным ходом, праздничное отпускное настроение вылетело, и я уже на второй день не вспоминал про далекий юг с прекрасным курортом «Заполярье». Забыл я и про Ивана Петровича. И вспомнил уже в самом конце июля, когда он пришел ко мне на работу. Выглядел Иван Петрович помолодевшим и довольно веселым (как мне показалось под небольшим «хмельком»). «Ну, Иван! Видимо, ты хорошо провел свой туристический «поход», - встретил я его вместо приветствия. Поздоровавшись, Иван Петрович вынул из кармана деньги, что одолжил у меня в Сочи, и как-то глубоко вздохнул. «Ты что? Чем-то недоволен?» - спросил я. «Да, нет! Все хорошо. Только мой вояж по солнечным странам закончился очень плачевно», - ответил он.

У меня мелькнула мысль: может, Вано его каким-то способом облапошил. Но я тут же отогнал эту мысль: уж очень не хотелось чтобы тот оказался проходимцем. И я спросил уклончиво: «Так что же у тебя там могло случиться?»

Иван Петрович немного помолчал, видимо раздумывая - начинать ли разговор. Но, помолчав некоторое время, снова повторил: «Ничего хорошего в моем туризме не получилось». Я не утерпел и спросил: «Может, твой попутчик Вано тебе какую-то каверзу подстроил?» - все еще надеясь, что это не так. У меня о Вано за несколько дней знакомства сложилось хорошее впечатление. «Нет! Что ты! С Вано я провел шесть замечательных дней. Он живет с родителями недалеко от Тбилиси. Живет очень хорошо: двухэтажный дом, сад - что там только не растет. А родители очень заме-

чательные люди. Все расспрашивали про Георгия. Он дедом приходится Вано, а его матери отцом. Увезли его почти тридцать лет куда-то на Север, и с тех пор ни слуху ни духу. Я им рассказал про Адама и Арчила Гедеванишвили, еще про нескольких грузин, что живут у нас в Дудинке. Но это все было не то», - сказал Иван Петрович. «Слава Богу», - подумал я, не сразу попал впросак, да и Вано оказался хорошим парнем. «Ну а дальше все пошло наперекосяк, - ответил мне потускневший Иван Петрович. - Уговаривали меня Вано и его родители, чтобы брал билет из Тбилиси и летел прямой дорогой на свой Север. Но напало на меня какое-то упрямство. Решил посмотреть, как другие народы живут. В Армению решил поехать. В Ереван. И поехал. Билет они помогли мне купить и сразу же, часа не прошло, как оказался в этом городе. С вокзала поехал на такси в гостиницу. Мест не было. Но я упросил, и мне дали на два дня пустовавший номер. До вечера было еще далеко, и я решил посмотреть достопримечательности. Походил по улицам, каким-то площадям. Что-то все мне показалось неинтересным. Зашел перекусить. Время уже двигалось к вечеру. Ресторанишко был небольшой, народу было немного. Заказал себе немного ихнего вина. Незаметно ко мне подсел молодой парень. Спросил меня: «Откуда земляк?», я как-то сразу обрадовался, парень говорит на чисто русском языке. Дальше больше - познакомились. Парень говорил не переставая. Вскорости подошел еще один и стал уговаривать моего собеседника (тот мне Сергеем назвался) идти с ним на какую-то вечеринку. Сергей уперся: «Земляка встретил, никуда не пойду, хочешь, присоединяйся к нам. И тут же называет подошедшего знакомого Андреем. И, теперь уже втроем, мы продолжили наше веселое застолье. Сначала я был настороже, но по мере разговора настороженность стала растворяться, и я стал для них «своим парнем». Так они меня окрестили. Хмель не брал. Но захотелось в туалет. Я стал собираться. Они оба забеспокоились и тут же предложили меня проводить. Так как я не знал куда идти, меня пошел провожать Сергей. Когда вернулись, то Андрей предложил: «Давайте по единой пропустим - и нам с тобой Серега пора идти». Пропустили. И на этом все. Голова через некоторое время стала клониться, язык не ворочался, и вскоре я заснул. Ну, а дальше можно не рассказывать, и так все ясно».

«Нет, ты уж рассказывай все по порядку, - сказал я. - Как ты выбрался оттуда, понятно, что тебя обчистили до ниточки». Иван Петрович поморщился, глубоко вздохнул и продолжил свое повествование.

«Проснулся я в каком-то саду, возле скамейки, вернее под ней, то ли они меня туда затискали, то ли я сам во сне подкатился. Сначала никак не мог понять, где я нахожусь и что со мной такое. Понемногу голова начала работать, и я с каким-то ужасом вспомнил про встречу с нашими русскими соотечественниками. И, когда сознание обрело явь, сразу сообразил, что меня начисто ограбили. Я был без пиджака и без ботинок. В одних носках. Поднялся. Сел на скамейку. Осмотрелся. Понял, что наступило утро. Но за ночь так намерзся, что меня сразу проняла дрожь. Даже зубы застучали». Иван Петрович прекратил рассказывать. Я не наступал на него, хотя очень хотелось поскорее узнать, как же он выбрался из этой передряги.

Молчание затянулось, и я снова спросил: «Ну, что же дальше было?» - «А дальше все как в страшном детективе. Не зная, что предпринять, я встал и вышел на тротуар. Утро было теплым, народ спешил на работу. Куда идти? Я даже название гостиницы позабыл. Но зачем туда было идти. Деньги и документы были при мне. Их украли. Не зная, что же делать, я пошел по улице, в надежде встретить хоть какого-то милиционера и рассказать ему про мои беды, может, хоть чем-то поможет. Но, к сожалению, таковых не попадалось. Это была окраина Еревана. Редкие прохожие поглядывали на меня, одни с усмешкой, другие - с какой-то подозрительностью. Я шел, и мне казалось, что этой улице не будет конца. Но вот ко мне подошла женщина. Я ее, оборачиваясь назад, видел. Когда она догнала меня и поравнялась со мной, я хотел к ней обратиться и спросить, где здесь милиция. Ничего другого мне в голову не могло прийти. Ну, что мог бы сделать любой человек в моем положении. Но она опередила меня. И на чистом русском языке, хотя по обличью я сразу определил, что это была армянка, спросила: «С вами, что-нибудь случилось?». Я от такого вопроса как-то сразу повеселел и откровенно рассказал ей о моих «прегрешениях», обо всем, ничего не пропуская, от начала моих «путешествий» до сегодняшнего утра. И попросил ее, чтобы она показала мне, как можно найти милицию.

Женщина, не задумываясь, ответила: «Идемте со мной, я иду как раз в ту сторону и укажу вам милицейский пост». Пройдя несколько шагов, она повернула в переулок, и вскоре мы очутились на довольно оживленной улице, людей было больше, машины сновали одна за другой. Через некоторое время она указала мне на стоявшего неподалеку милиционера и, пожелав удачи, пошла, перед этим сказав, что ей надо успеть на работу.

Я подошел к милиционеру. По виду это был казах или калмык. Ему было не больше двадцати пяти лет. Видимо, недавно стал работать. «Товарищ милиционер», - обратился я к нему и хотел рассказать о случившемся. Но он смерил меня взглядом с головы до ног и, не дав мне сказать больше ни одного слова, на ломаном языке спросил: «Зачем пустой носки ногами ходишь?». Я сразу сообразил, что он считает меня беспробудным пьяницей и потому обращается ко мне, как к пропившемуся бедолаге. Его обращение повергло меня в уныние. Вдруг не поверит, а скорее, не даст возможности объяснить, что меня ночью раздели и ограбили, и я заспешил. Когда из моей речи он услышал слово «ограбление», то сразу как-то сделался серьезным.

«О! Какой жулик, - сказал он после моего рассказа, - совсем голую твой оставлял. Сейчас будем работу делать. Ай, ай, ай. Какой плохой человек». Достав из кармашка свисток, он засвистел, стараясь этим привлечь внимание стоящего на противоположной стороне другого милиционера. Я это понял. И, хотя мало надеялся на какой-то положительный исход, на душе повеселело: парень, плохо говоривший по-русски, принял участие в моей беде.

Не досвистевшись из-за шума машин, он, недолго думая, сказал, чтобы я пошел с ним. Перейдя через довольно широкую улицу, мы подошли с ним к стоящему на посту возле телефонной будки милиционеру. Тот, посмотрев на нас, а больше на меня, серьезно спросил: «Ограбили?». Не раз-

говаривая больше, подошел и позвонил по телефону. Возвратившись, сказал: «Подожди немного. Сейчас подъедут. А ты, Керим, иди на свой пост». Тот козырнул и хотел уже повернуться, но немного подумал и сказал мне: «Пусть твой будет хорошо». После этого ушел. Через минут десять подъехала легковая автомашина, из нее вылез довольно пожилой человек, тоже в милицейской форме. И, немного поговорив с товарищем на своем языке, мне показалось армянском, козырнув ему, обратился ко мне с одним словом: «Поехали».

Вскоре мы зашли в довольно большое здание, где было немноголюдно и тихо. Человек, по его звездочкам на погонах, я понял, был капитаном. У дежурного он взял ключ и, сказав мне, чтобы шел с ним, двинулся вглубь коридора, потом свернул и по лестнице мы с ним поднялись на второй этаж. Там он открыл дверь, видимо, это был его кабинет, зашел, разделся, расправил гимнастерку и сел за стол. Мне предложил написать все подробно, что со мной произошло. Дал мне ручку с чернильницей, бумагу и, указав в отдалении стоящий стол, сказал, чтобы я там расположился, и еще раз напомнил, чтобы все описал в подробности.

Пока я писал, как попал в цветущую столицу Армении, как познакомился со своими соотечественниками Сергеем и Андреем, которые подсунули снотворное снадобье, и прочее и прочее, капитан постоянно названивал по телефону. Больше разговаривал по-русски, иногда по-армянски. Прислушавшись, я понял, что зовут его Мамекон, а фамилия Армен, а может, все наоборот, трудно мне было оценить правильно. Но тем не менее я понимал, что он разговаривает по моему делу. Я подал ему свою объяснительную записку. Он прочитал один раз, потом еще и, протягивая ее мне, сказал: «Что же вы не написали откуда приехали на юг, где работаете, точный адрес вашего местопроживания? Напишите все это ниже подписи и еще раз распишитесь». Я снова начал дописывать, все время думая, как мне все-таки выпутаться из этого положения. Я не заметил, как в кабинет зашел еще один милицейский работник, и, когда протянул исписанный на обеих сторонах лист, увидел, что напротив меня сидят уже двое. Снова капитан углубился в чтение и через несколько минут, поднявшись, что-то сказал пришедшему товарищу и вместе с моей писаниной вышел. Через некоторое время мне захотелось вступить в разговор с вновь пришедшим милиционером, но на мой вопрос: «Как вас звать?», ответил, что ему некогда заниматься разговорами и, пересев к другому столу, достал целую пачку бумаг и углубился в работу. Капитан долго не появлялся. Время давно перевалило за полдень, мой собеседник начал проявлять нервозность, но, понимая, что меня одного оставить нельзя, продолжал терпеливо ожидать своего начальника. Наконец он не выдержал и спросил у меня: «За что тебя сюда приволокли?». Он, видимо, думал, что я что-то натворил, и вот теперь там у высшего начальства решается моя участь. Когда я вкратце рассказал про свои беды, у него суровость с лица сошла, и он более миролюбиво стал продолжать со мной разговор.

Когда я сказал ему, что приехал с Таймыра, он совсем ко мне расположился и начал давать советы, как мне поступить в дальнейшем.

Наконец дверь отворилась и капитан вернулся. Присел на свой стул, немного помолчал и сказал, обращаясь ко мне: «С трудом дозвонились до вашей Дудинки. Все правильно. Ничего ты не соврал «начальник коммерческой службы на железной дороге». Только вот что теперь с тобой делать? Денег у тебя нет, документов тоже. И раздетый ты весь. Даже ботинки с тебя сняли. Ну, ничего! Что-нибудь придумаем. Моли Бога, что начальник у нас такой. А то бедовать бы тебе». После этого обратился к своему помощнику и сказал ему, чтобы сходил вместе со мной в столовую: «Пусть хоть супом его там покормят - и, глядя на меня, добавил: - А там дальше посмотрим, что делать».

Я хотел попросить у них в долг денег, но тут же подумал, какой толк в деньгах, когда документов нет. В столовке, где, видимо, столовались все низшие чины, вернее милиционеры, уже никого не было. Официантка принесла моему сопровождающему обед. «А ему?» - спросил он у официантки. «Так он же вроде не наш, да еще и босяк какой-то, где вы его подобрали?» - спросила официантка. «Неси, неси, - сказал он, - не видишь, что ли, что человек пострадал».

Мне было стыдно. Похлебав с удовольствием суп, снова вернулись к капитану. «Вот что, Саркисян, - сказал капитан своему помощнику, - сходи с ним в склад и подберите там хоть какую-нибудь обувку, а после этого отвезешь в гостиницу. Уже вечер, все равно ничего не сможем сделать». Немного помолчав, капитан милиции обратился ко мне: «В гостиницу, где ты остановился, мы сообщили, поживешь там некоторое время, тревожить не будут. Как дальше с тобой поступить: ведь тебе нужен и билет до Дудинки, и документы, без этого ты не доберешься до своей «тьмутаракании». Только имей в виду все затраты будут произведены за твой счет. Только как ты доживешь до утра, в гостинице даром тебе даже чая не дадут». Капитан полез к себе в карман со словами: «Придется одолжить тебе хоть немного денег». Я запротестовал. Обшаривая свои карманы, в маленьком кармашке, где обычно носят часы и где я всегда хранил небольшую сумму, до которой в спешке не добрались воры, я нашел двадцать рублей и сказал: «Чудом уцелели двадцать рублей, на чай с ужином хватит, поэтому ничего не надо». «Смотри какие заботливые грабители, - сказал капитан и закончил: - А сейчас идите и дождитесь в гостинице нашего звонка, впрочем, зачем я тебе говорю про это, все равно без нас тебе некуда деваться». Я поблагодарил, и мы ушли. Мы спустились вниз и в самом конце коридора повернули в проход, вышли на улицу и в небольшом помещении, пристроенном к зданию милиции, зашли в склад. Кладовщица посмотрела на меня и, не поворачиваясь со стула, сказала моему провожатому: «Идите оба выбирайте». Видимо, она уже была предупреждена.

Обуви было много, но вся поношенная. Я подобрал поновее кроссовки, обулся, поблагодарил. Когда пришли к главному входу, то увидели машину, газик. Мой провожатый на своем языке что-то сказал шоферу, тот ойкнул, и как только я сел, сразу же поехали.

Минут через десять были в гостинице. Дежурная посмотрела на меня и, не говоря ни слова, протянула ключ от комнаты. Как же я был рад, когда

открыл дверь. Сумка с вещами была цела, плащ висел на вешалке. «Слава Богу, - подумалось, - теперь много легче». Я разделся, лег на койку и после переживаний долго не мог уснуть. Потом, успокоившись, незаметно задремал и уже не просыпался до самого утра.

Утром, закусив бутербродом и выпив стакан чая, на «двадцатку» не очень пошикуешь, хоть все было очень дешевым, я пошел к себе в номер ожидать, как мне сказал капитан, их звонка. Но не успел взойти на свой этаж, как коридорный сказал, чтоб я подошел к дежурной. «Ты только ушел, сказала она, как позвонили из милиции. Сейчас я позвоню, они мне дали номер, и ты с ними будешь разговаривать». Она набрала номер и протянула мне трубку. Я назвался. Голос в трубке спросил: «Гаврилов Иван Петрович?» - «Да!» - подтвердил я. «Приезжайте к нам, нашлись ваши документы», - ответила трубка, и говоривший отключился.

Я не смог сразу сообразить от этих известий, а когда вразумил, то подумал, а как мне теперь найти эту милицию. Я снова попросил дежурную, чтобы она соединила меня с милицией. Я опять представился и спросил, как мне найти их. «Я ведь не знаю вашего местонахождения». «Ладно! Сиди, сейчас подошлем машину», - сказал мне незнакомый голос и отключился.

Вскоре подъехал тот же потрепанный газик, и я уже через несколько минут зашел в кабинет, на том же этаже, только уже в другой. Там сидел пожилой армянин в гражданской форме.

«Вот что товарищ Гаврилов, - начал он, - ваш паспорт с отпускным билетом подкинули ваши «обидчики». Вам грех на них обижаться, виноваты во всем вы сами, нельзя с первым встречным садиться распивать горькую. У вас, как мне известно, нет нисколько денег, а без денег билет вам никто не даст. Так я говорю?» - спросил он меня. Я молча кивнул головой.

«Ну, что ж! Советская милиция создана для того, чтобы помогать людям, охранять их от всяких бед», - сказал, как мне показалось, находившийся в добром расположении духа армянский блюститель порядка. Я молчал. Ну, что мог я ему ответить. Он немного посуровел и продолжил: «Вот твой паспорт и отпускной билет. Были еще какие документы?» - и он протянул мне их. «Кроме этих документов были только деньги», - ответил я.

«Ну, насчет денег можешь не говорить, что они дураки, сначала своровать деньги, а потом их вернуть. Скажи спасибо, что паспорт они бросили в почтовый ящик, а не в мусорку, а то бы хлопот с тобой было бы еще немало, - сказал он и, немного помолчав, заключил: - В нашей кассе выдадим тебе 150 рублей. Этого хватит добраться до Дудинки. Возвращать будешь по адресу. - Он передал мне листок бумаги с данными их милицейского отделения. - Кроме них тебе придется заплатить за телефонные переговоры, что мы затратили на розыск твоего предприятия, где ты работаешь и где живешь. Ну там небольшая сумма. Иди и в нашей бухгалтерии все оформишь. Не затягивай с высылкой денег. Если задержишь, то мы вышлем вашему руководству твое объяснение и счет. Думаю, что для тебя это не лучший исход», -так закончил заместитель начальника милиции этого отделения.

О том, что он заместитель и зовут его Сурен, я узнал от милиционера, которого он позвал, чтобы тот проводил меня в их бухгалтерию, которая находилась в другом здании. На вечернем самолете я улетел до Москвы, а ночным рейсом на Таймыр. Через сутки был в Дудинке и сразу же выслал ту сумму, что была мне выдана в милицейской кассе одного из милицейских отделений города Еревана.

«Вот и все», - так закончил свой рассказ Иван Петрович. Поглядел на меня и вздохнул.

«Ты не вздыхай, моли Бога, что так легко отделался. Мог попасть в такие передряги, из которых и живым-то не выбрался бы», - сказал ему я.

Прошло много лет, и Иван Петрович Гаврилов уехал с женой Анной из Дудинки в Стерлитамак, где у него была квартира. Но недолго пожил. В разгар лихолетья (то ли перестройки, или ельцинских реформ, когда бандитизм и разбои стали обычным явлением, освободившийся преступник убил его в гараже, а потом пришел к нему на квартиру и зарубил жену).

Страшно! Конечно. Только, что поделать, если подобные факты стали обычным явлением, и можно ли будет жить, не устанавливая железные двери и решетки на окна (мечты каждого законопослушного гражданина), запутавшись в суждениях, обещаниях, обманах всеми властями, никто не ответит, не сможет.

Иногда я сам себе задаю вопросы: «Ну, зачем писать про такие незаметные случаи, когда у одного украли в толкучке (Алексея Грибова) бумажник с деньгами, а другого (Ивана Петровича Гаврилова) напоили «дурьем» и сонного ограбили и раздели?».

Случаи мизерные... действительно. Но слишком разное отношение людей, живущих в одной и той же стране, разделяющих эти случаи один от другого совсем небольшим промежутком времени, только теперь в разных социальных системах.

Случись подобное с Гавриловым в той же Армении в настоящее время (впрочем, сейчас в это суверенное государство и попасть не просто), никто не станет заниматься его бедственным положением. В лучшем случае посадят в СИЗО, а скорее всего, оставят на улице пропадать. С людьми, да что с людьми, с целыми народами, захлестнутыми капиталистической идеологией, произошли невероятные, непоправимые изменения, сделавшие человека много хуже, чем в старорежимные времена при самодержавии. Даже в крепостное время было больше душевности чем у теперешних «перестроечных» людей.

«Неужели Всевидящий не вернет людей на дорогу любви и милосердия?» Только на Него и надежда. А пока весь мир в огне и убийствах, грабежах, разбоях, ввергнутый американо-израильским империализмом. Все ближе и ближе к нашим границам стягивает войска эта воинствующая клика и скоро, может?, даже очень скоро, эти полчища ринутся на нас.

Не допусти, Бог!

Апрель 2004 г.

Прощальный привет

В далеком северном городишке, разместившемся на крутом берегу могучей сибирской реки, в этот неласковый, холодный вечер рано зажглись огни в окнах. Была хмурая, дождливая со снегом погода. Жители, управившись с работой, забились по своим хатам. Прислушиваясь к непрекращающемуся шуму непогоды, включали телевизоры, радиоприемники, занимались немудреными домашними делами.

Некоторые, отмахнувшись от повседневных забот, удобно устроившись на диванах или мягких креслах, потягивали «горькую». Знали, что такая «непогодь» нескоро закончится, а впереди два выходных, в неторопливых беседах проводили время, с надеждой, что к началу новой рабочей недели наступят более погожие дни. С производств давно ушли люди. Только в одном административном здании, принадлежавшем Дудинскому порту, в просторном помещении, оборудованном еще в советское время под красный уголок, было многолюдно. Не было свободных мест. Присутствовали докеры, механизаторы, электрики, лесопильщики и другие категории работников порта.

Собрались, чтобы поприветствовать и попрощаться с одним из старейших работников, проработавших вместе с ними на лесном хозяйстве более 30 лет. Многие пробыли с ним так долго, что, придя на это производство совсем молодыми, успели состариться и, дождавшись пенсии, ушли на заслуженный отдых. Теперь пришел и его черед.

Он много лет проработал простым рядовым работником на тяжелых лесных работах и только в последнее время занял невысокую инженерную должность. За долгие годы многое случалось. Порой происходили скандалы, ссоры. А споры и ругань были ежедневным, постоянным явлением. Но за рамки приличия он никогда не выходил, не допускал оскорбительных выпадов против сотрудников, не опускался до обмана, за что снискал в среде тружеников уважение и неподдельную рабочую дружбу, все его друзья и просто знакомые считали «своим парнем». Одни называли его «юноша», другие проще - Константинович.

У Константиновича была нелегкая жизнь. После школы поступить в вуз не довелось. Пошел служить в армию. Окончив службу, по своему желанию поехал на Север и с первых дней по приезду начал работать грузчиком на лесной бирже в Дудинском порту. Все работы выполнялись вручную. Особой силой и здоровьем Константинович (тогда комсомолец Витя) не отличался, но был трудолюбив и потому, обгоняя в трудовом рвении самых опытных грузчиков, даже среди своих работников числился в первых рядах. Время даром не терял. Поступил учиться в техникум на заочное отделение. Закончил с успехом весь курс, и через некоторое время был назначен на должность механика. На каких бы должностях ни приходилось работать Константиновичу, он всегда исполнял добросовестно свои обязанности. Также честно тянул он «лямку» и на общественных работах: комсомольской, партийной. И вот сегодня с должности начальника цеха

лесопиления уходит Виктор Константинович на пенсию. По годам еще не старый, а проработал уже много.

Ему не сиделось на месте. Ходил от одной группы людей к другой. Здесь все ему были знакомы. А в зале шумели, разговаривали, давали друг другу советы, шутили. Он сквозь напускное безразличие отмахивался от различных реплик и безобидных колкостей, иногда вступал в пререкания, но в основном соглашался и благодарил. Ему хотелось быть веселым, чтобы скрыть волнение: покидать коллектив, где проработал столько лет, без сожаления ему явно не удавалось.

Он уезжал на «большую землю» и понимал, что вряд ли с кем повстречается. Уезжать не хотелось, но нужда заставила: старики стали болеть. Нужен за ними присмотр. Знал он: жили старики в плохой избушке, еле сами помещались, а тут еще они с супругой заявятся. Нужно было приобретать жилье. И это его очень тревожило. Об этом знали его друзья, но своей заботой он ни с кем не делился, не хотел выслушивать сожаления.

Рядом с красным уголком, где собрались работники лесного хозяйства, разместились административные кабинеты, в одном из которых сидел главный лесник, или как его привыкли называть «старый лесник».

Он слушая шум в зале, горько думал: «Как несправедливо устроена жизнь. Человек отработал 30 лет на Крайнем Севере и, ничего не заработав, уезжает на доживание в родительский дом, приобретенный ими еще при царизме, в то время, как ничего не сделавшие в своей жизни люди мошенничеством, в открытую воруя (поощряемые правительством), сумели приватизировать настоящие барские «хоромы». Горько! Но ничего с этим не поделаешь. Приватизация узаконена. Будет ли когда-нибудь народ жить лучше?». И тут же подытожил: «Теперь никогда. Назад к равенству возврата не будет. Во всяком случае в ближайшем будущем».

В зале некоторые из наиболее нетерпеливых стали проявлять беспокойство: «Пора начинать, чего тянем время», - слышались кое-где выкрики. Ожидали представителей от руководства порта, на такой случай должны были прибыть и высшие руководители: все-таки не часто доводится провожать на пенсию людей, проработавших так долго на одном предприятии.

Представители из порта почему-то задерживались, а главный лесник находился совсем рядом и не решался выйти к людям на эту прощальную встречу. Его взволновал не тот факт, что провожать и говорить напутственные слова придется товарищу, с которым бок о бок работал вместе все это время, а то, что совсем скоро (даже, может быть, очень) придется и ему прощаться с этим коллективом. Он часто над этим задумывался, но никогда не принимал приближающийся момент всерьез. И вот теперь как-то вдруг неожиданно он представил себя самого на месте покидающего всех товарищей, друзей, коллектив, обычного, каждый день встречавшегося с ним этого простого товарища. У него не укладывалось в мыслях, что после этого вечера Константиновича больше не будет. Он многих провожал раньше, говорил добрые слова, пожелания, с радостью расставался, но с болью и терзаниями вспоминал о каждом еще долгие годы.

Все было обыденным, не выходящим за жизненные круги (одни ста-

рятся и уходят, другие, повзрослев, повторяют, что делали до них). Но в этот раз он, мысленно собой подменив заслуженного пенсионера, сколько бы ни старался, вырваться из охвативших его тенет не мог.

И ничего странного в этом не было: он, начальник, проработал почти 60 лет. Ему давно надо уходить на пенсию, уже восьмой десяток жизни доходит, на заслуженный отдых он имеет полное право. И не надо столько тратить сил и душевных переживаний при каждом расставании (ведь каждое такое расставание было всегда последним). А их с каждым годом становилось все больше и больше, люди с течением времени как-то быстро старели.

«Ну, что ж! Пусть этот прощальный вечер будет для меня генеральной репетицией. И никто об этом не узнает, только я один сегодня все пронесу в своей душе», - подумал с грустью. В это время заглянул в раскрытую дверь начальник склада Якуб Шигапов. Оглядевшись, с огорчением произнес: «Не приехали еще?». И сразу же ушел обратно.

Якуб Исмагилевич, человек средних лет, был в жизни очень активным, а в некотором разе напорист. Если что расходилось с его планами или кто препятствовал исполнению его желаний, реагировал на превратности довольно бурно. В этот вечер он планировал попариться в сауне и задержка в проведении собрания ему очень была не по душе. Он побежал, чтобы позвонить в управление порта, надеясь тем самым поторопить приезд представительных работников.

Кому позвонил, он не сказал, но через несколько минут снова открыл дверь к начальнику и, запыхавшись, высказал всего одну фразу: «Сейчас приедут». «Старый лесник», чуть повернувшись, наклонил голову. Он сидел охватив лицо руками, не в состоянии выйти из охватившего его перевоплощения. Неожиданно, как-то вдруг навалившаяся мысль, что на этом собрании отправлять на пенсию будут его и он вместе с Константиновичем уйдет на пенсию, вселила необъяснимую тревогу. Он понимал, что сегодня не «его день», но успокоить себя не мог. Чем больше он раздумывал, тем больше волновался. Хотя этому не было оснований. Но это было не так: он не боялся пенсии, а боялся одиночества.

Мысли, обгоняя одна другую, проносились со скоростью света, сбиваясь в клубок, порой вытаскивая из самых далеких глубин такие события, случаи, происшествия, которые произошли давным-давно, и никогда не возникавшие раньше в памяти. Ему сделалось тяжело. Неожиданно для самого себя он произнес вслух: «Ну зачем я так терзаюсь? Ведь сколько людей ушло до меня? И ничего. Разве им было легче? А я ведь еще не ухожу». И тут же вспомнился прощальный вечер в клубе Дудинского порта, когда расставались с удивительным человеком, проработавшим на высоких руководящих должностях в Заполярье около 50 лет, Всесвятским Владимиром Николаевичем. Тот выступал перед собравшимися, много говорил, шутил, даже улыбался. Потом прочитал приказ о своем новом назначении. Когда к нему подошли его близкие знакомые и спросили: «А как вы будете дальше?» - он с откровенностью, присущей поря¬дочным людям, доверительно признался: «Не

знаю. Буду привыкать. Что поделать, ведь такое произойдет с каждым. Нужно только не впасть в уныние».

Уже тогда, в тот памятный день, уже далекий, он с замиранием сердца почувствовал, что подобное предстоит и ему. Но продолжалось угнетенное состояние недолго. Он посочувствовал, высказал свое сожаление от предстоящей разлуки (проработал с Всесвятским не один десяток лет), пожелал всех благ, здоровья. Давно это было. Не единожды грустные мысли возвращались к нему, но это были только раздумья.

Раздумья о приближающейся старости, изменении десятилетиями выработавшихся привычек, о переезде на новое место жительство. Как сложится его жизнь, как он сумеет приспособиться к другим условиям, с какими людьми повстречается и как уживется. Он разумом давно понял, что тревожит его надвигающаяся старость, от которой никому не удалось избавиться, а совсем не уход на пенсию. Но в этом он даже самому себе не хотел признаться: сердце противилось. Старость, старость! Какая же ты все ж таки нежеланная.

Чтобы занять свободное время, а его почему-то с годами становилось больше, начал писать мемуары о прожитой жизни, пристрастился к этому, успокаивая себя тем, что и там все свободное время будет проводить за этим занятием. Иногда писал стихи. Они получались плохими (он понимал), но продолжал заниматься «стихотворчеством», сознавая, что это избавляет его от наступающей апатии. Сложившееся непроизвольно четверостишие часто приходило в голову, и он старался работать в меру сил даже в выходные дни (писал и сочинял стихи).

Мы все когда-то постареем,
Когда-нибудь мы все умрем,
Но горько, горько пожалеем,
Коль жизнь бездарно проживем.

Со временем в самом процессе стихосложения он стал находить какое-то удовлетворение, понимая, что это тоже спасение от «лукавого». Но как бы ни было, удавалось заполнить надвигающуюся пустоту.

А сегодня?! Было что-то все по-другому. Он уже не думал о Константиновиче, который расхаживал среди собравшихся товарищей и разговаривал так громко, что слова отчетливо были слышны в кабинете начальника. Начальнику хотелось, чтобы скорее приехали представители от руководства, профсоюзной организации и можно было бы как-то отвлечься и избавиться от тягчайшей меланхолии, захватившей его в свои когти. Но те, словно сговорившись, почему-то задерживались. Время шло. Присутствующие в зале начали проявлять беспокойство.

Наконец представители приехали. Весело разговаривая, вошли к собравшимся работникам. Вместе с ними вошел и начальник или, как его привыкли называть «старый лесник», главный лесник. Кое-где раздались возгласы, кому-то пришла мысль похлопать в ладоши.

Не теряя времени, один из представителей подошел к трибуне и начал свое приветственное выступление. Начальник разместился вместе с прибывшими в президиуме и, не вслушиваясь в речь выступавшего, обратил

взгляд в зал, где находились все знакомые ему люди. Пробежав взглядом по лицам сидящих напротив его людей (он знал каждого по именам и фамилиям), с грустью убедился, что среди них нет ни одного, кто бы годился ему в ровесники, хотя большинство из них были пожилыми людьми, проработавшими более 30 лет. «И эти тоже скоро за Константиновичем уйдут на пенсию». И также будут волноваться из-за неустроенности жизни: куда ехать, если нет жилья, как жить на мизерную пенсию. За долгую жизнь он испытал и повидал многое.

В давние советские времена ни один работник, получивший пенсию, не оставался ни одного дня на работе после получения пенсионного удостоверения. Со 120 рублями ежемесячных пенсионных выплат он уезжал в более теплые края с Севера и безбедно доживал свою старость. А теперь?

Многие пенсионеры продолжают работать грузчиками на тяжелых работах, хотя здоровье подорвано непосильным трудом, ибо не в состоянии прожить на мизерные пенсионные деньги, которых хватает только на хлеб и воду.

Вспомнил, как уговаривал Константиновича остаться еще поработать (много ли потянешь на пенсии?), но тот отказался: «Я бы не прочь еще несколько годков потрудиться, но старикам нужен присмотр, не оставлять же их на произвол судьбы. Да и пока есть силенка, может подыщу где-нибудь хоть какую-то работенку возле них, а то ведь как совсем состарюсь, то кто возьмет? Нет, начальник, спасибо, буду уезжать. Все равно здесь на Севере при таком раскладе жизни не разбогатеешь. Разве сможет простой смертный своим трудом накопить хоть небольшие сбережения для спокойной старости. А если кому что и удается, то грабительская реформа цен все сожрет, ничего не оставит. Так то, дорогой начальник!»

Давно состоялся тот разговор, но при его воспоминании стало еще грустнее.

Укорял себя «старый лесник» уже много лет: «Ну, а я-то что жду? У меня-то ведь нигде никого нет, и забот никаких. Ради чего ухлопал всю жизнь в этом холодном Заполярье? Сколько трудностей пережил, сил выложил на этой тяжелой работе? Зачем? Все рухнуло и распалось в одночасье.

А ведь можно было поступить и по-другому. Кто мешал влиться в реформаторские ряды «либерально-демократической смеси» отсидевшему в сталинских лагерях более 13 лет (уж наверняка бы приголубили) и вместе с ними обустроить себе где-то в Подмосковье (благо там проживали родители) изысканное «поместье». Сколько понастроено на лучших заповедных землях комфортабельных дворцов, офисов, наподобие боярских имений. И все это возродилось и обустраивалось с разрешения нашего преступного ельцинско-гайдаровского правительства («борцов с привилегиями»). И тебе тоже никто не мешал так поступать. Так что ж ты?! И тут же вырывалось противоречие: «Как же ты старый человек мог подумать такое? Разве допустимо протягивать хищные руки к народному добру, скопленному государством с такими трудностями, порой жестокостью, когда за колосок ржи, пшеницы, подобранных на колхозном поле, сажали в тюрьмы на 10

лет? Как можно хапать огромные предприятия, построенные рабским трудом (заключенных), не приложив ни капли труда, не ударив палец о палец в его строительстве?

Присваивать чужое в любом виде определяется одним понятием - воровство.

И кто страшнее: олигарх, разоривший миллионы людей, большинство из которых по его вине задолго до положенного срока убрались в мир иной, а сам обладатель несметных богатств с целой группой «моделей», разъезжая по теплым морям на собственной яхте, расшвыривает миллионы «зеленых», нисколько не тревожась о судьбах разоренных, или же бандит, убивший и ограбивший олигарха, и награбленные богатства пустивший со своей братвой на ветер? Так кем лучше быть?». И с горечью признавался: «Никем не смог бы стать. Для этого нужно заглушить совесть».

Память высветила самый первый день, когда он пришел в этот коллектив. В те далекие годы он был самым молодым среди огромной массы людей (а работало на лесном хозяйстве тогда около двух тысяч человек). Из того поколения среди присутствующих не было никого. А кто остался в живых? Он знал только одного человека – Ивана Константиновича Кожевникова, проживавшего где-то в Воронеже. И вспомнилось-то только потому, что провожали сегодня тоже Константиновича, правда на 30 лет моложе того Ивана.

«Сколько и каких людей прошло через «лесные тяготы» за промелькнувшие 60 лет, - думал он, - где эти люди?» И как-то вдруг пришла отрезвляющая мысль: «Они свою задачу решили и вот сейчас этот коллектив, в котором осталось не больше 100 человек, доживает свои дни, так же как произошло с еще большим предприятием, называвшимся «Портстрой», который построил город Дудинку и Дудинский порт. Странно получается: сперва шли в одну сторону - теперь резко повернули назад.

С азартом и вдохновением осваивали Север, теперь всеми возможными средствами выдворяют людей на «большую землю» по причине того, что невыгодно стало содержать людей в Заполярье.

В его памяти проносилась безысходная нищета, в которой сам начинал жить, тяжелый труд людей, кирками раздалбливающих мерзлую землю под фундаменты домов, в которых уже давно живут другие люди, видел, как на строящихся заводах и фабриках в лютые полярные морозы на тачках возили раствор бетона, где сейчас в огромных цехах выплавляют никель и медь. Как наяву видел низкие, рубленые ряжевые причалы Дудинского порта, возле которых из деревянных барж выносили на плечах по «хлипким» трапам тяжелые мешки с мукой и солью. Работали долго, почти каждую смену по 12 часов. И так каждый день. Тяжелые были времена. Но работали и строили с одним намерением выполнить задание и норму. Вступали в соревнование: кто быстрее разгрузит судно, какая бригада станет победительницей.

Он знал всех начальников порта с самого начала его образования. Одних очень хорошо, много с ними довелось работать, других - в самые первые годы - просто по именам. Был тогда незаметен, как многие тысячи

людей, с ним работающих. Знал всех директоров Норильского комбината, кроме первых двух – Матвеева В.З. и Завенягина А.П., и тоже со многими был очень хорошо знаком, приходилось много общаться по работе.

Вспомнились секретари партийных органов: окружкома, горкома, райкома. Приходилось ему не раз выполнять партийные поручения, как никак состоял в партии не один десяток лет. И сейчас, когда «демократическая разнузданность» перечеркнула многолетние традиции, не сжег, не разорвал партийный билет, а положил в сейф. И стал беречь его не с тайной надеждой: вдруг пригодится, а как память о прошлом, которое никакими силами никто не вычеркнет из истории.

Ни слова проклятий не произнес ни на каких сборищах, собраниях, хотя имел на такое полное право, и нисколько не раскаялся, что был коммунистом, как это сделали многие, выкрикивая и рисуясь перед собравшимися: «А как же мы недоглядели (будто они могли что-то изменить), как нас обманули, как мы раскаиваемся теперь за свои ошибки». Хотя от многих (теперь уже не коммунистов) в годы их партийной деятельности не раз слышал: «Партийный билет (конечно, КПСС) это смысл всей моей жизни». И сейчас эти люди «процветают» упиваясь своими «мудростью и ученостью», с легкостью приобретенными в реформаторской суете, (настоящие полярные «аксакалы»).

С неимоверной быстротой у многих перевертышей (членов КПСС) оказалось, что их предки пострадали в период «сталинщины»: у некоторых расстреляли дедов и отцов, других раскулачивали и высылали, о чем в момент вступления в партию, да и весь период нахождения в ней, скромно умалчивали, подчеркивая, порой гордясь своим рабоче-крестьянским происхождением. Даже «белое движение» для многих вдруг стало каким-то притягательным ореолом величия и славы: Колчаку памятник воздвигли в Омске. Забыв, а скорее отмахнувшись (к чему ворошить ненужное прошлое), как на небольшом пароходе «Амыл», который впоследствии долгие годы служил такелажницей для сбора тросов с приплавляемых в Дудинский порт плотов, в период гражданской войны, спасаясь от расправы, уплыли вниз по Енисею партизаны вместе с женами и детьми. Их в районе Туруханска догнали колчаковские каратели и всех расстреляли, не пощадив ни одного человека (ни женщин, ни детей). К чему вытаскивать такие «мелочи» в великой гражданской мясорубке.

А ведь совсем недавно эти «радетели за счастье народное» были «прекрасными» пропагандистами марксизма-ленинизма: млели от удовольствия, когда их с партийных трибун подхваливали высокие партийные боссы, а теперь стоят в церквах, склонив головы, со свечами в руках.

Что поделать? Уметь пристраиваться к любому течению времени - это тоже великая изобретательность. Он так ушел в глубину своих воспоминаний, что не обратил внимания, когда к трибуне подошел председатель профкома Александр Иванович Чернявский. Лесники захлопали (Чернявского уважали). Он всегда добросовестно и настойчиво защищал интересы рабочих, порой шел на откровенный и серьезный конфликт с вышестоящими начальниками. Не пристраивался к шеренге подхалимов и прихле-

бателей. Это был один из немногих поистине порядочных и честных людей. Даже руководители высоких рангов его уважали за его простоту и прямолинейность.

Начальник выбрался из тенет прошлого и, подняв глаза, встретился взглядом с бригадиром докеров. Тот сидел в одном ряду со своими сверстниками. Его попросту называли Михаиле. Это был рослый мужик крепкого телосложения. Пришел еще комсомольцем и работал на этом поприще, не переходя ни на какие другие производства. Опять поглядел на Михаилу и невольно прорвалась мольба: «Великий Бог, не допусти плохого». Уж он-то знал, какие на перевалке леса случаются трагедии.

И память против воли перенесла в далекий 48-й год, когда пятеро таких же здоровых грузчиков с лесной биржи (только заключенных), зашли в обеденный перерыв в склад строительных материалов, где хранились лаки и краски, расположенный в непосредственной близости от лесного хозяйства, откупорили бочку, приняв содержимое за красное вино (тогда его много привозили из Грузии), нацедили в котелок и выпили каждый по стакану. Но это был «ширлак». К вечеру они оказались в лагерном стационаре. Это были бригадники той бригады, в которой несколько недель назад вместе с ними работал сегодня очень постаревший начальник лесников. В те годы, он совсем молодым, переболев брюшным тифом, находился на излечении в стационаре, куда привезли отравившихся его товарищей. К этому времени он уже выздоровел и долечивался, исполняя обязанности санитара, - так распоярдился главный врач этой больницы, отсидевший в норильских лагерях Орлов Алексей Владимирович. Как же всполошились все врачи и медсестры, когда привезли этих «горе-молодцов». Ему, тогда работавшему санитаром, досталась нелегкая доля бегать целыми днями в аптеку за физраствором, который требовался постоянно.

Так продолжалось несколько дней. Никто из медперсонала никуда не отлучался. Отравившиеся грузчики умирали один за другим. Спасти не удалось никого. И когда последний, атлетического сложения парень с русским именем Мишка, умер, Орлов Алексей Владимирович, постоянно контролирующий его давление и сердце, с трудом разогнувшись, поднялся, оглядел всех вокруг себя невидящим взглядом, и чуть слышно прошептал: «И этого атлета не спасли». Из его воспаленных глаз катились слезы. И от этого воспоминания у старого, много повидавшего, проработавшего более 60 лет лесника, защемило сердце.

«Господи! Ведь были же такие добрые отношения между людьми, совсем незнакомыми друг с другом, разделенными жизненным барьером. И такое положение было совсем недавно. Все делалось из гуманных, человеческих побуждений, без малейшей корысти. И подобное было повсюду. На помощь приходили по первому зову своей совести.

Врачи, настоящие целители, даже мелкие подношения в виде подарков за спасение жизни стеснялись принимать, не из-за страха (подобные факты преследовались вышестоящими органами), а по совести.

Ну, а что же теперь? О дудинской медицине, которую он считал всегда самой гуманной и образцовой, стали пробиваться слухи о продаже боль-

ничных листков (бюллетеней). О чем раньше и не думалось. Ему в это очень не хотелось верить. А на «большой земле» все самые пустяковые медицинские услуги (давление не измерят бесплатно) выполняются только за деньги. А иначе и не может быть, если все средства массовой информации с разрешения правительства стенают только об одном: деньги, деньги, прибыль.

При этом с благоговейностью преклоняются перед «настоящими» деньгами, американскими долларами, а не нашими «деревянными рублями», как выразился смехач Жванецкий М. Одновременно с этим подавляют всякое инакомыслие, предают проклятию любые коммунистические идеалы, упиваясь при этом словами и клеветой, рисуя страдания невинно осужденных в советское время (как будто теперь судят по-другому) людей.

«А вот тут, наверное, я не прав, - отрезвляюще подумалось ему, - судят и наказывают по-разному». Он прекрасно знал, за что отсидел тринадцать с лишним лет, - память, выбираясь из клубка противоречий, преподносила разные суждения, но тогда ему ни в тюрьмах, ни в лагерях, ни в ссылке не надо было опасаться, знал, что хоть какую-то, но можно было найти управу на озверевших стервятников из уголовной шпаны.

А теперь? Власти на многие «грехи» людей смотрят сквозь пальцы. Если за миллиард, украденный, в «тюрягу» попадешь, то в ней будешь сидеть, как на курорте, а за всякую мелочь, украденную из-за постоянного голода, загонят в «общагу» с самыми отпетыми отморозками (страшно и мерзко). А мысль работала с беспощадной жестокостью: «Не это самое страшное. Жутко, когда с правыми и виноватыми гражданами, неугодными правящим кругам и особенно «теневикам», расправляется криминальная сила (пронизавшая правительство, думу, суды), беспощадная и кровожадная по своему преступному беззаконию. Душа не находит покоя, проживая в окружении рэкета и бандитизма, пропитавшего все слои населения».

В зале один за другим менялись ораторы, восхваляя и вознося до небес примолкнувшего Константиновича, а начальник, не замечая происходящего, сидел, углубившись в размышления, и память, перемешивая видения прошлого с настоящим, рисовала незавидную картину: «И тебе скоро, совсем скоро придет черед».

Наконец, встряхнувшись: «Господи! Ну к чему такое наваждение. О чем жалеть? Ведь прожил достаточно. Уже восьмой десяток жизни доходит. Не многие с тобой смогут сравняться. Всю основную жизнь прожил при социализме. И в новом обществе (только никто до сегодняшнего дня не может его правильно назвать), живешь уже второй десяток лет. О чем горюешь и про что тужишь? Кто сможет отработать шестьдесят с лишним лет? Причем все это время в полярных условиях. Чем ты недоволен?» -промелькнула спасительная мысль и тут же погасла. А за ней горькое (как отрава) прозрение с необыкновенной ясностью, словно огнем опалило сознание: «Да ерунда все это! Не жалко, что уничтожили социализм, ведь разрушали его сами «коммунисты» -«верные ленинцы», а страшно от того, что вместе с ним погубили, обрекли на поругание великую русскую нацию, расчленили великое славянское содружество, неразрывную связь и дружбу с другими нациями, ввергнув в смуту и хаос многие страны.

С каким великим трудом создавалась могучая держава, сколько было самопожертвований. Во время гражданской войны «кремлевские чиновники» - большевики отдавали свои завтраки и обеды беспризорным детям, сами падая в голодные обмороки. Сотни тысяч самых лучших людей отдали жизни за социальное равенство, идеологическую «идиллию», по существу, взятую со святых писаний.

Как же вы, товарищи трудящиеся, своими руками отдали свою рабоче-крестьянскую власть господам - «новым русским», неведомо какого рода и племени, которые сейчас, расхаживая по кремлевским палатам и дворцам бывших дворян, озабочены одной думой: каким способом больше нахапать и разбогатеть?

Горько и противно.

Сможет ли снова «Русь святая» объединить разрозненные народы, племена под единый победный стяг? Или исчезнут русские люди в своей «колыбели», как изгои, сокращаясь ежегодно на один миллион человек. От многих ему доводилось слышать про все больше и больше надвигающуюся погибель, но никто не давал вразумительного ответа, не указал спасительный путь. Что ж! Видимо, только Всевышний сможет уберечь потерявшие разум народы от гибели. Но снизойдет ли такая благодать на униженную и раздираемую междоусобными распрями огромную и наивную в своей доброте русскую землю.

Господа иудопродавцы Горбачев М. и Ельцин Б., подонки общественного туалета (не мог придумать более унизительное сравнение), как вы можете жить, почему не захлебнетесь ненавистью народной, почему подобно Иуде (а он был много порядочнее вас), не повеситесь на каком-нибудь уличном фонаре, возле которого тусуются самые грязные проститутки? Будете вы преданы анафеме и весь род ваш проклят до последнего колена народом и Богом, за ваши противонародные деяния.

Накатывалась беспомощная озлобленность.

Ему хотелось выплеснуть накопившуюся за годы горбачевской «перестройки» и бандитских ельцинских реформ горечь, высказать сидящим людям в зале упрек, что они в какой-то мере повинны в свершившемся перевороте, поддерживая в начале вселенского разбоя «народных спасителей», клейменого Мишку Горбачева и непросыхавшего пьяницу Ельцина Б., одновременно костеря и проклиная своих (местных) коммунистов за мелкие неудачи, неустроенность в жизни, хотя те совсем ни в чем не были виноваты, не понимая, что под одобряющие возгласы новоявленных «демократов и либералов» обрекали себя на неодолимые тяготы.

Уже все прибывшие представители из высшего руководства высказали в адрес «виновника» торжества свои поздравительные речи, а он никак не мог определиться, с чего бы начать свое выступление.

Наконец, освободившись из клубка нахлынувших мыслей, подошел к трибуне, оглядел примолкших людей, увидел уставшего от постоянных разговоров Константиновича, и какая-то необъяснимо теплая волна захлестнула его душу.

Мысленно проговорил: «Господи! Убереги их от всяких напастей». Он

посмотрел еще раз на Константиновича, мысленно пробежал по его жизненному пути, вспомнил, как много лет назад принимал на работу комсомольца Витю (теперь пенсионера Константиновича) и понял, что сейчас он скажет то, что сказал бы себе в прощальный вечер. Смиренно, как будто оправдываясь, без торжественного пафоса, произнес: «Ну вот и все! День, которого многие ждут, но только не наш «виновник» сегодняшнего торжества, проработавший в нашем коллективе всю жизнь, дорогой Витя (теперь мы его давно зовем Константиновичем), пришел, и вот последний раз сегодня он с нами. Тут ничего не поделаешь! Жалко расставаться! Но у самой длинной дороги есть конец. Так и у каждого человека свой путь, своя судьба. Его нам не в чем упрекнуть». Он задумался. Ему хотелось рассказать товарищам о тех неизмеримо больших трудностях, что выпали на долю первых лесников, с которыми начинал свою работу Виктор Константинович, о тяготах жизни, что пришлось испытать, создавая для последующих поколений более лучшие условия. И уже собрался продолжить свое выступление, сказать, о чем передумал перед собранием, находясь в кабинете, и здесь, сидя в президиуме, но увидев утомленные лица тружеников, собравшихся после трудного дня, замялся, как-то по-несуразному скомкал свое выступление и замолчал. Молчали и люди. Справившись с охватившим его волнением, широко, по-доброму улыбнулся и громко, чтобы все хорошо слышали, сказал: «Спасибо тебе, дорогой наш друг и товарищ, Виктор Константинович, а также всем присутствующим за ваш тяжелый и такой необходимый для людей труд, за многие годы совместной работы и жизни. Крепко здоровья и удач Константинович. Храни вас всех Бог!».

Под аплодисменты низко поклонился сначала в сторону зала, потом сидящим в президиуме руководителям порта. Немного постояв, сел на свое место. Через несколько минут появился на трибуне Константинович. Он посмотрел во все стороны и торжественно начал речь: «Дорогие друзья. Я безмерно рад, что вы собрались на прощальный вечер. Мне трудно расставаться с вами, я привык к вам, вы все для меня как родные. Я уношу самые светлые воспоминания о прожитых годах на этом холодном Севере. Мне с вами было всегда тепло. Эту самую большую часть жизни я никогда не забуду. А сегодняшний прощальный вечер будет для меня самым дорогим приветом. Спасибо вам!».

Он говорил еще долго, иногда повторяя одно и то же. Наконец, видимо поняв, что уже все высказал, еще раз повторил: «Спасибо, я вас никогда не забуду. И мысленно всегда буду посылать вам самые добрые приветы».

Ему хлопали долго. Потом подбежали несколько человек, стали обнимать, говорить пожелания, советы и напутствия. Шум нарастал во всем зале. Начальник огляделся. Стало до невыносимости грустно. Из глаз выкатились скудные слезы.

Он посмотрел в окно. Ветер на улице стих, тучи рассеялись, небо сделалось удивительно чистым, на самом краю горизонта угасал солнечный закат. Его лучи, пробежав по небосводу, уперлись в одинокое облако, окрасив его в светло-розовый цвет.

Откуда-то прилетели птички, запорхали на растущих в палисаднике

деревьях, заговорили на своем птичьем языке. Гнетущее состояние рассеялось, сделалось легко и совсем неожиданно для самого себя, подумал: «Господи! А жизнь то все равно продолжается. Для чего я напускаю на себя такую «хмарь». Жить всегда хорошо, только не нужно впадать в уныние».

2003 г.

Пурга в пути

Погода на севере капризна и непредсказуема. Особенно в зимний период, когда полярная ночь черными крыльями накроет землю, небо затянут плотные облака, сквозь которые не сможет пробиться ни одна звездочка, не засыпанные снегом верхушки кустарников различаются на расстоянии не более пятнадцати-двадцати метров, а дальше за ними все сливается в сплошной черный покров, уходящий в такое же черное небо. Редко бывает совсем безветренный тихий день, зальет тогда тишина полярные просторы, и кажется, нет вокруг ни одной души. Но это не так. Тундра живет своей жизнью, по своим законам.

Прячутся в снежных норах зверьки и зверюшки, порхают стаи куропаток, перелетая с места на место в поисках корма и более надежных укрытий, где-то в глубине тундры перебегают оленьи стада, копытят снег, добывая ягель, порой в непроглядной темноте раздается протяжный вой волков.

Далеко разбросаны жилища людей. Но и здесь в этой Богом обделенной земле, в ледяной стуже живут народы. Неприхотливые, выносливые, трудолюбивые. У каждого свои заботы, про¬блемы, тысячи нерешенных вопросов. И «аргишат» они по тундре, по только им одним знакомым дорогам, отстреливая оленя и зверя, вылавливая из рек и озер рыбу. Ничего не поделаешь: жить как-то надо.

Пролегли на таймырской земле две больших дороги: одна -железная, другая - автомобильная. Связали между собой большие города: столицу Таймыра Дудинку с огромным горным комбинатом Норильска. И прилепились к ним города-спутники и редкие поселки: Тундра, Волгочан, Алыкель, Кайеркан, Дал-дыкан и другие. Раньше, во время строительства дорог, поселков было больше, но пришла пора, нужда во многих отпала, и оставили их люди на разрушение ветрам и случайно забредшим любителям охоты и рыбалки.

Долго и трудно строились дороги. Но построили. И идут сейчас поезда с продукцией Норильского комбината в Дудинку для перегрузки на суда, а из Дудинки везут необходимые материалы, оборудование, круглый лес и пиломатериалы. Сейчас грузов стало меньше: не строится Норильск такими темпами, как в былые годы. Давно уже не ходит и пассажирский поезд. С началом «демократизации» страны его отменили. Теперь пассажиров в Норильск и на Алыкель к самолетам возят на автобусах и легковых автомо¬билях.

Как-то раз в зимнюю пору, а была вторая половина декабря месяца, мне нужно было съездить в Норильск по каким-то неотложным производственным делам, передать материалы в вышестоящую организацию да заодно побывать в отделе социальной защиты по своим пенсионным вопросам. Можно было отправить все материалы по почте или с нарочным. Но так как почта уже много лет работало плохо, а людей, что отправлялись в Норильск, на этот раз не было, пришлось ехать самому. Договорился с Яхиным Ильгизом (его для простоты в своей среде называли Ильей), чтобы он увез меня до Норильска и обратно на своей автомашине. Ильгиз уже много лет работал у нас на лесном районе мастером, а в свободное от работы время занимался «частным извозом», или как сейчас у нас его называют «таксованием». Ильгиз сразу согласился, ему в Норильске тоже была какая-то нужда, и мы заранее договорились о поездке.

С утра погода была нормальной применительно к заполярным условиям, t -30ºС, ветер восточный 7 метров в секунду. Когда мы собрались ехать в Норильск, начальник лесобиржи Умнов Владимир Васильевич и начальник склада Шигапов Якуб Исмагилевич, уговаривали нас отступиться от этой затеи и перенести поездку на более благоприятное время: синоптики предупреждали о надвигающейся пурге. Но Ильгиз, как былинный батыр, только тряхнул головой и утвердительно заявил: «Пробьемся!» Сел за руль, и машина тронулась. Пока ехали в Норильск, ветер был умеренным, но с каждым часом сила его увеличивалась.

По приезду в Норильск я быстро управился со всеми делами и вышел на улицу, где меня должен был поджидать Ильгиз. Но, к сожалению, его не оказалось. Я обошел вокруг здания, но его нигде не было. Ветер заметно крепчал, и я заволновался. Вспомнил, как утром по радио сообщали, что днем ожидается сильный штормовой ветер, и мне как-то сразу подумалось, что это начинается буря, та, о которой предупреждали синоптики. Когда я возвратился к крыльцу административного здания, там меня уже поджидал Ильгиз. Он успел «провернуть» свое дело (надо было купить какую-то запчасть к машине) и, увидев меня, заторопил: «Надо ехать быстрее, за городом сильно дует».

Мы поехали. На улицах, до этого многолюдных, встречались теперь одинокие прохожие. Укрывшись воротниками и согнувшись, они спешили укрыться от пронзительного ветра. Несмотря на то что была середина дня, во многих окнах горел свет. Возле автовокзала, где расположен базар, увидели, как люди быстро-быстро свертывали свои лотки, закрывали ставни на палатках. Одни садились на автомашины и разъезжались, другие прятались в большое торговое здание.

Беспокойство все сильнее вкрадывалось в душу. Когда выехали за окраину города, поняли, что начинается настоящая пурга. И как же теперь уже оба мы пожалели, что не прореагировали на прогноз погоды. «Мало ли бывает предупреждений, но почти ни одно не сбывается», - так думали всегда. На этот раз мы поступили непредусмотрительно.

Ильгиз, понимая, что только быстрой ездой можно уберечься от надвигающегося шторма и доехать до Кайеркана, где была, по сведениям тихая

погода, включил самую большую скорость и погнал машину в сторону от Норильска. Когда подъехали к посту ГАИ (на выезде из Норильска) ветер достигал ураганной силы (до сих пор не понимаю, почему нас выпустили, потом за нами мы не видели ни одной машины), а проехав с полкилометра, пришлось уменьшить скорость до минимальной: из-за валившего снега не было видно дороги. Ехали «на ощупь». Вот когда по-настоящему ощутили силу разбушевавшейся стихии. «Сплошная мгла нависла на Таймыре. Куда ни взглянешь - всюду темнота. И словно в ледяной пустыне, на сердце жуть и пустота» – непроизвольно в голове сложилось четверостишие. Казалось хуже не бывает. Но это было только начало нашим испытаниям. Не доезжая несколько километров до Кайеркана, машина заглохла.

Ильгиз причину установил сразу. При низкой температуре и сильном ветре (бензин оказался некачественным) перемерз «фильтр тонкой очистки». Пока менял фильтр на новый, а такое на морозе не просто, и потребовалось много времени, снегом занесло весь моторный отсек, и поэтому стали отказывать электроприборы. Мотор заводился, но не работал на больших оборотах. А буран все усиливался. Ветер нес сплошной вал снега, с силой ударял в стекла машины, проносил целые снежные лавины под днищем. Машину раскачивало, и казалось, что следующим порывом ветра ее поднимет и швырнет с дороги под откос. Видимости не было никакой.

Когда мотор глох, Ильгиз тут же выбегал из машины, поднимал капот и начинал «ковыряться» в нем. В один из таких «забегов» порыв ветра сорвал у него с головы шапку, и она как футбольный мяч полетела в тундру. Бежать за ней было пустым занятием. Ильгиз залез в кабину, чтобы хоть немного отогреться, но здесь тоже было холодно: ветер через малейшие отверстия выдул тепло, а от неработающего двигателя оно не поступало.

«Ну, что, Ильгиз, замерзать будем у всех на виду?» - обратился я к нему. Мы уже находились в пути более двух часов, но ни одна машина мимо нас не проезжала. ГАИ закрыло дорогу «наглухо». Надеяться было не на кого. Ильгиз полез в «бардачок» и достал из него летнюю вязаную шапочку, натянул на голову и хотел снова пойти ремонтировать заглохшую «аппаратуру». Но я воспротивился: «Ты через одну минуту в этой шапчонке превратишься в ледышку, у тебя и язык замерзнет». Снял с себя шапку и отдал ему с наказом: «Привяжи наглухо тесемками к подбородку, чтобы не унесло, иначе замерзнем и пропадем оба». Двигатель не работал уже больше пятнадцати минут. Ильгиз с трудом добрался до передней части машины и снова приступил к ремонту. Через некоторое время он забрался в кабину и положил ладони на руль. Пальцы на руках окоченели и еле-еле ворочались. В машине было холодно. Ильгиз повернул ключ, и как-то совсем неожиданно двигатель заработал. На малых оборотах мы тронулись с места и покатились под уклон дороги. Ехали очень тихо, так как дороги не было видно. Как ее угадывал Ильгиз, я до сих пор не знаю. Совсем неожиданно ветер стих, снег прекратил падать, и вдали сквозь морозную мглу стали вырисовываться строения домов. Появились встречные тяжелые автомашины, груженные большими контейнерами, пиломатериалом и прочими техническими грузами. Мы въехали в Кайеркан. Ветер к этому времени

заметно стих, стало светлее, правда, ненадолго: через час все погрузится в темноту полярной ночи. Немного успокоившись, Ильгиз вылез из машины, очистил от снега электроприборы, и мы без всяких происшествий благополучно добрались до Дудинки. Когда оставалось несколько километров, я спросил у Ильгиза: «Признайся, страшно было?». Он медленно повернул в мою сторону голову и ответил: «Жизнь-то всего одна».

Это было несколько лет назад. Но каждый раз (когда такое случается), проезжая мимо того места, где у Ильгиза сдуло ветром шапку, я спрашиваю у него: «Может пойдем, пока тихо, походим по тундре поищем шапку, ведь не унесло же ее в океан. Шапка-то ведь стоящая?».

Он усмехнется, вздохнет, но с удовлетворением ответит: «Нет, не стоит. Все равно не найдем. Пусть в ней птицы гнездо себе совьют».

После той пурги (кстати, надо добавить, тогда обошлось без жертв и аварий) совсем недавно в марте этого года был ураган бесподобной силы. Казалось, на Земле идет настоящее светопреставление. В этот раз эту снежную карусель я наблюдал из теплой квартиры. Хорошо смотреть на разгневанную стихию, когда тебя это не касается. «Я люблю когда ветер, бушуя, с крыш срывает железа листы» - не очень то хороший стишок, но... В теплой хате он не страшит.

В этот раз не обошлось без аварий и увечий. Около шестидесяти машин оказались за обочиной дороги, в кювете, и более десяти человек пострадали - ничего не скажешь, вероятно, ГАИ стало работать хуже, правда может, за несколько последних лет число машин увеличилось многократно и движение по норильской дороге от самой Дудинки до Норильска идет огромным потоком, мало отличающимся от больших городов. Что ж! Цивилизация все больше и больше внедряется и к нам в Заполярье. Только природа остается по-прежнему неизменной, а погода порой преподносит такие сюрпризы, каких, кажется, и раньше не бывало.

Ильгиз же после того раза, когда предстоит поездка в Норильск, многократно узнает прогноз погоды у синоптиков и долго решает: ехать или нет.

Март 2004 г.

ТЕРНИСТЫЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ

КНИГА ПЯТАЯ

ТЕРНИСТЫЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ

Приступить к изложению данного повествования меня подтолкнуло время. Время, которого у меня остаётся совсем немного, а память все чаще теряет связь времён и зачастую события, явления, происшедшие совсем в недалёком прошлом, вдруг «откатываются» куда-то далеко на задворки, а случившееся давным-давно совсем малое происшествие выстраивается рядом со вчерашним днём и представляется близким и ясным. Вместе с тем, когда пробегаешь памятью по прошедшему времени, возникает такое ощущение, что все годы независимо от их дальности мало чем отличаются один от другого и уходят, не оставляя следов. Проще говоря, память стареет и путается во времени и пространстве. Вероятно, и 2005 год, с которого я начинаю свои воспоминания так же ушёл бы в небытие, если бы не произошли трагические происшествия, близко меня касающиеся. Опасаясь, что время сгладит остроту свершившегося, я решил довериться своему малому мастерству и в меру возможностей изложить в пересказе не только их суть, но и многие другие факты, взаимосвязанные с ними, а вместе с тем имевшие место в моей долгой жизни.

В сентябре 2005 года при заходе в устье р. Дудинки опрокинулся и затонул пассажирский пароход «Некрасов», перегруженный товарами и продуктами. На нём было около 30 человек, из которых половина находилась в трюме и не смогла спастись. Среди них находились и мои знакомые. Зрелище было страшное. Поднимали пароход несколько дней, и пока длились работы по подъёму, в каютах трюма находились уже неживые люди. Среди утонувших была женщина с двумя детьми, успевшая по мобильному телефону позвонить мужу: «Мы тонем. Спаси нас». Большего она сказать не успела. Пароход тонул на глазах многих людей. Они бегали по причалам, что-то говорили друг другу, но мер действенных никто не принимал, помогали только успевшим спрыгнуть с парохода в воду. Многие смотрели на трагедию из любопытства. Людей в трюмах не спас никто. Вернее, не пытались спасать, так как водолазной службы ни в МЧС, ни в Дудинском порту давно не было. Её сократили в начале ельцинских реформ из-за неэкономичности содержания. Это ли не цинизм капиталистической системы, когда всё подчинено только наживе и прибыли. Впрочем, стоит ли возмущаться, когда вся поверженная страна лежит в руинах.

Этот случай потряс меня до глубины души. Я представил маленькую каюту с заклиненной от перевёртывания парохода дверью, за которой двое малышей, прижавшихся от страха к матери, уцепившихся за подол юбки, и расширенные от ужаса глаза женщины, дрожащими руками набирающей номер телефона своего мужа. Могло бы подобное случиться при советской власти, разве разрешили бы капитану перегруженного в несколько раз парохода выйти в плавание с набитыми в трюме пассажирами? Понесут ли виновные наказание за свершившуюся трагедию — я не знаю. Скоро год как это произошло — и кажется, что все заглохло. В стране сотни подобных фактов заслонили дудинское происшествие. Пишу об этом случае

не за тем, чтобы кого-то разжалобить, а для сравнения с несколько иным, но похожим казусом, происшедшим с моими братьями в далёком-далёком детстве в маленькой нашей деревушке Зиновке.

Был конец ноября месяца. Погода стояла холодная, вода в прудах замерзла. Мы трое братьев уже две зимы ходили кататься по льду замерзшего пруда, находящегося недалеко от деревни. Так как коньков у нас не было, то отец смастерил санки, и мы по очереди катали друг друга. В тот зимний солнечный день мы тоже засобирались покататься. Но мать запротестовала, приказав никуда не ходить: «Провалитесь под лёд — кто вас вытащит?». Мы упорно настаивали, но было бесполезно. В защиту нас вступился отец: «Ладно, Катерина, пусть идут, лёд уже крепкий». Мать, немного поразмыслив, согласилась: «Ладно, идите. Но пойдут только двое Миша с Лёшей, а ты (это про меня) сегодня никуда не пойдёшь, пока не пройдёт ангина». Я очень завидовал братьям, но что поделать — с матерью не поспоришь. Не прошло и часа, а всю деревню будто пожаром охватило. Бежали мужики, бежали бабы. Не понимая, что случилось, сначала выскочил из дома отец, а за ним, накинув шубейку, выбежала мать. Раздавались выкрики: «Утонули, захлебнулись, ушли под лёд». Оказывается Мишка с Лёшкой, накатавшись, уже собирались идти домой, но, передумав, решили поездить на санках, усевшись вдвоём и толкая их ногами. Как только они такое проделали, лёд затрещал и начал ломаться. Они стали барахтаться, стараясь соскочить с санок, но этим только ещё больше разломали треснувшую расщелину и оба вместе с санями провалились под лёд. Увидела их какая-то старуха, вышедшая за какой-то надобностью на улицу. Поняв, что братья в беде, тут же заторопилась в дом сказать о случившемся. Не прошло и десяти минут, как к прудику бежала почти вся деревня.

Первый подбежавший мужик ступил на лёд, но тут же провалился. Наваливаясь грудью на лёд, пытался приблизиться к братишкам. Ему плохо удавалось, но подходившие следом мужики последовали примеру первого и всем скопищем ломая лёд пошли к попавшим в беду братьям. Пруд был неглубоким, мужикам по грудь. Мишка ещё держался за санки, а вот четырёхлетний Лёшка на глазах у всех пошёл под лёд. Увидев подобное, стоявшие на берегу бабы, не задумываясь, стали бежать на лёд, проваливаясь, ломая в каком-то исступлении льдины, крича, давая друг другу советы, порой совсем неразумные. Наконец Мишку подхватили сразу два мужика, а третий нырнул и, схватив Лёшку за руку, вытащил из воды и потащил к берегу. Он уже нахлебался воды и был без сознания. Но деревенские мужики знали, как надо поступать в таких случаях и быстро привели его в сознание. Мишка с Лёшкой настолько были напуганы, что даже не плакали. Их бегом принесли в дом, сняли промокшую насквозь одежду и уложили в постель. Миша отделался лёгким испугом, а Лёша долго болел воспалением лёгких. В тот раз их спасли от большой беды. Но через несколько лет Миша погиб где-то под Ленинградом, а Лёша в 1945 году в бою с японцами был ранен и на всю жизнь остался инвалидом. Может быть, тогда не надо было бежать всей деревне к пруду и всем мужикам и бабам прыгать на лёд, ломать его и идти на помощь попавшим в беду пятилетнему Мишке и четырёхлетнему

Лёшке, хватило бы и двух мужиков для их спасения, но такое единодушие всех жителей моей родной деревни трогает меня до глубины души.

Вскоре после случая с пароходом «Некрасов» в начале октября месяца на ленинградской дороге, не справившись с управлением автомобиля, на полном ходу наскочил на дерево и погиб Александр Григорьевич Кизим. Подобных случаев в России бесчисленное множество, но для дудинчан, норильчан да и всех таймырцев это было потрясением. Александр Григорьевич в Дудинке прожил долго, работал на ответственных постах и был на виду. Пользовался уважением, как у большого начальства, так и среди простого люда. Его похоронили в г. Всеволожске Ленинградской области. На похоронах было много знатного народа, приехавшего не только из Дудинки, Норильска, но и других городов. В основном это были ветераны Норильского комбината, долго проработавшие с ним. В знак почтительного уважения к его памяти жители Дудинки и Норильска отмечали сорокауст.

Поминовение происходило 13 ноября в большом зале клуба «Арктика». Зал был полон народа. Много добрых слов было сказано в адрес покойного. Поминали достойно. Столы были уставлены яствами. Дудинчане, да и все жители Таймыра живут довольно хорошо, не в пример другим регионам страны. Сколько мне помнится, здесь не бедствовали люди даже в самые трудные годы войны. Голодных не было ни среди вольных жителей Дудинки, ни среди заключенных. О дудинском лагере, где я отбывал последние годы наказания, вспоминаю с добром, при сравнении с лагерями заключенных на «большой земле» в которых мне довелось испытать непосильные тяготы.

В этот день, то есть 13 ноября, по стечению обстоятельств в далёком городе Иванове похоронили моего брата Алексея. Похоронили скромно, без всяких почестей: жена с дочерью да соседи помогли. На поминках было около 20 человек (Иваново город бедный). Я не смог прилететь, так как был закрыт аэропорт, к тому же очень болело колено. О чём сильно переживаю. Единственное утешение (для успокоения совести) что был у него совсем незадолго до его смерти. Брат прожил трудную и тяжёлую жизнь. В первом бою с японцами (1945 год) он был ранен в голову и несколько лет после этого был слепым. Врачам удалось восстановить зрение одного глаза. Но приступы шизофрении возникали до самой смерти. Последние 3 года он не мог самостоятельно передвигаться и умер после долгих и мучительных страданий, не дожив нескольких месяцев до 80 лет.

Война с фашизмом дорого обошлась нашей семье: брат Михаил погиб, защищая Ленинград, а Алексей остался на всю жизнь инвалидом.

Мы с ним расстались в далёком детстве и встретились после моего 14-летнего пребывания в тюрьме, лагерях, ссылке. Это произошло в конце 1954 года. После этого, хотя я жил на Севере, тем не менее приезжал каждый год в отпуск и всё это время проводил вместе с ним у матери в Подмосковье. Теперь уже приеду только на могилу. В первый приезд, а это было, как уже писал, в 1954 году, я ежедневно разъезжал по родственникам, а их у меня в Иванове тогда было много. Брат всегда сопровождал меня. Побывав у всех родных мы решили съездить в родную деревню, находящуюся в 60 км от

Иванова. Называлась она Зиновка. Откуда появилось это название — я не знаю. Вероятно, во время первого приезда кто-то смог бы ответить и разъяснить её происхождение, но я тогда не интересовался. А теперь, когда уже много лет нет этого поселения, открыть тайну её возникновения некому. Впрочем, такая участь постигла тысячи наших российских деревень.

В ту пору в Зиновке жил с супругой наш двоюродный дед Сергей, а рядом с ним его сын Фёдор. Об этом мне рассказал брат Лёша. Он несколько лет назад проездом в районный центр заезжал к ним. Вот туда мы и решили съездить. Доехали на автобусе до промежуточной деревни, вернее села, когда-то оно называлось Архангельское. Там была церковь. Недалеко от неё стоял дом, в котором проживал старый смотритель церковного хозяйства, давно отстранённый от дел за ненадобностью. Купол церкви был разрушен, а само помещение после её закрытия использовалось под склад. Постояв немного и осмотревшись, мы разглядели две полузанесённые снегом дороги, расходившиеся в разные стороны. Вдали на дорогах светились электрические огни. Это были деревни. Одна из них и была Зиновка. Название другой я позабыл, хотя в ней, как мне припомнилось, начинал учиться в первом классе.

Мы не знали в какую сторону идти, так как оба не смогли сориентироваться, которая из этих деревень будет Зиновка. Я позабыл за давностью лет — как никак прошло 24 года, как мы уехали, а брат, скорее всего, не определил по причине слабого зрения. Посовещавшись, пошли по дороге, которая была более наезженной. Уже взошла луна, дорога просматривалась хорошо, и мы быстро зашагали к увеличивающимся по мере приближения огням. Но, к сожалению, пришли не в Зиновку. Как только мы подошли к первым домам деревни, Лёша стал высказывать беспокойство: «Эта деревня совсем не похожа на Зиновку. Вроде мы попали не туда». Я, несмотря на то, что прожил в Зиновке всего 7 лет, успел с мальчишками побывать во всех окрестных деревнях. Некоторых помнил названия. А так как в этой деревне теперь я понял, что именно в ней ходил в школу и учился, то память, покопавшись в глубине лет, преподнесла и её название — Малые Вязовицы. Так и оказалось на самом деле. Пройдя ещё несколько шагов, брат выразил сожаление:

— Как же я спутал дороги. Ведь мы в тот раз, а было это 6 лет назад, ехали на автомашине, и помнится, что проезжали по этой дороге. Только теперь мне совсем ясно, что это не Зиновка. В нашей Зиновке в те годы оставалось всего несколько домов, и дом деда Сергея, хотя и стоит в самом конце, был виден сразу при заходе в деревню. Надо же такому случиться, — с горечью закончил брат.

Я же, зная, что у него один только глаз и видит на 50%, подумал про себя: «Нет, Лёша, это зрение тебя подвело». И впервые за всю поездку усомнился в правильности нашего решения посетить родную деревню. Жалко стало брата. Ему-то к чему мучиться из-за моей прихоти. Но что сделали — того уж не переделаешь. Было ещё не поздно. Во всех окнах горел свет, дорога тоже была освещена. Подойдя к ближайшему дому, постучались в окно. Через несколько минут вышел хозяин и пригласил зайти. Но мы от-

казались, объяснив, что нам надо пойти к деду Сергею. И назвали его фамилию.

— О! — воскликнул мужик, — вы совсем не в ту деревню пришли. Зиновка, где живёт ваш дед, вот за этим кустарником. Видите сквозь заросли просвечивают огоньки. Это и есть Зиновка. А деда Сергея с его супругой и сыном Фёдором хорошо знаю. Да и всю их родню тоже помню. Теперь уж ихнего рода мало осталось.

И показал нам на еле заметную дорогу, что вела в Зиновку. Спросил у нас:

— Кто вы такие и откуда?

Мы объяснили.

Мужик опять заулыбался и сказал:

— Да я вашу родню всю знаю. — помолчав немного, сказал: — Подождите меня. Я сейчас оденусь и проведу вас за кустарник, там уж и Зиновка будет видна, а то чего доброго забредёте ещё куда-нибудь.

Мужик ушёл и через минут десять вышел. С ним вышла женщина, видимо, его жена. Она сразу же вступила в разговор:

— Передайте деду Сергею и Любови, а заодно и Фёдюшке с супругой от нас большой поклон. Хоть и виделись недавно, но всё равно кланяйтесь от нас.

И назвала своё имя. За давностью лет я позабыл его. Поговорив ещё с минуту, мы втроём пошли на другой край деревни. Мужик оказался разговорчивым. От него мы узнали, что «после войны очень трудно было наладить жизнь, а как справлялись с хозяйством одни бабёнки (он со всеми мужиками был призван с первых дней войны) ума не приложу. Да и теперь мужиков в деревне не больше двух десятков. Все полегли на фронте». Немного помолчав, опять заговорил и как бы извиняясь сказал:

— Надо бы вас покормить, да у нас, откровенно говоря, кроме картошки ничего нет.

Мы с братом запротестовали:

— Что ты! По дороге в Тейкове (городишко небольшой в Ивановской области) через который проезжали на автобусе, перекусили, так что нисколько есть не хотим.

Мужик помолчал. Вскоре заросли кустарника кончились и мы оказались на открытой местности. Совсем недалеко был виден свет электроламп.

— Ну, вот, видите, это и есть ваша деревушка. Там после войны совсем мало осталось народа. Да ладно, что вам рассказывать, придёте обо всем разузнаете от вашего деда.

Мужик нам понравился. Чтобы хоть как-то отблагодарить его, мы вместо слов открыли чемодан и дали ему бутылку водки. Ещё в Иванове мы приобрели четыре бутылки этого продукта. Мужик стал отказываться, но мы его уговорили, и он расстался с нами с большой благодарностью. Ночь была морозной, безветренной, на небе ярко светила луна, весь небосвод усыпан звездами. Через минут двадцать мы уже подошли к деревне. Больше двадцати лет прошло с тех пор, как я уехал отсюда. Подкатилась теплая

волна грустной радости, и сердце заколотилось быстрее. Из глаз покатились непрошеные слёзы. Я их не замечал. Когда подошли к первому дому, спросил у брата:

— Как ты себя чувствуешь?

— Ничего, нормально. Я уже здесь после войны был два раза. Мы в районный центр ездили с концертами, и я заезжал сюда.

Он несколько лет был культработником — об этом он мне рассказал ещё в начале нашей поездки.

— Так тогда нас дед Сергей обязательно признает, — ответил я.

— Узнает, он ещё довольно крепкий старичок, — сказал Лёша.

И мы молча зашагали. Улица была освещена. Возле каждого дома был установлен столб, на нём горела электрическая лампочка. В нескольких домах горел свет. Их было немного. Дед Сергей проживал в нашем доме, где когда-то жили мои родители и я вместе с братьями и сестрёнкой. Дом находился на другом краю деревни, так что нам пришлось пройти по всей улице (в самом начале моего детства в деревне было 14 домов, теперь же их было меньше).

Дед Сергей перешёл из своего большого кирпичного дома несколько лет назад. Дети его (а мои двоюродные дядьки) разбрелись, многие погибли на фронте, дом начал ветшать, да и дров требовалось много. Он попросил моего отца с матерью, проживавших в Подмосковье, пустить его с супругой Любовью в наш дом. Родители дали незамедлительное согласие, и с тех пор дед Сергей жил в нём безвыездно. Рядом с ним жил его сын Фёдор.

Когда мы проходили по улице, то увидели, что у нескольких домов окна были забиты досками. Какая-то необъяснимая тревога и грусть охватили мою душу, когда мы с братом подошли к своему первому жилищу, где родился, учился ходить и радоваться прелестям беззаботной детской жизни. Как же давно это было. Время! Время! Словно свет звезды неуловимо ты. И потому, наверное, не знаем мы по настоящему твоей цены. В доме деда в передней комнате горел свет.

— Ты, Лёша, не говори деду Сергею, что я — это я, а скажи, что твой знакомый и едем вместе в районный центр по делам, — мне хочется посмотреть, узнает он меня или нет, — напутствовал я брата.

— Ладно, скажу, как тебе хочется, — согласился он. И после некоторого молчания добавил: — Называйся инженером из нашего общества, в прошлый раз, как я приезжал к нему, были тоже мои товарищи.

Мы постучали. Никто не вышел. Я чуть надавил на дверь. Она легко открылась. Вошли в коридор. В нём горела тусклая лампочка, но её света хватало, чтобы увидеть дверь. Подошли к ней. Я хотел постучать, но брат взялся за ручку и потянул на себя. И эта дверь оказалась незапертой. Господи! С какой же благоговейностью я вспоминаю те далёкие годы, когда все жили в великой нищете и никто ни от кого не запирался. Теперь же, когда после войны прошло много-много десятилетий, почти в каждой квартире железная дверь, а на окнах решётки. Повсюду пропуска, контролёры, десятки проверяющих органов, начиная от самого правительственного верха. А толку? Никакого. Повсюду разбой, бандитизм, коррупция. Слава Богу,

что на нашем холодном Таймыре ещё нет такого откровенного безобразия. Надолго ли?

Мы вошли. Дед Сергей сидел к нам спиной Он не повернулся в нашу сторону, увлёкшись чтением отрывка какой-то газеты. Брат Лёша негромко обратился к нему:

— Здравствуй, дедушка Сергей!

Услышав голоса, дед Сергей оторвался от газеты и повернул голову в нашу сторону.

— Проходите, люди добрые, откуда вы появились, что-то я никак не признаю вас. Кто такие и по какой нужде? — спросил он.

— Ну, как же ты, дедушка Сергей, не признаёшь меня, ведь я Лёша, бывал у тебя недавно, а это мой товарищ, со мной по делам приехал, — отвечал ему брат.

— О! Так это ты, Алёша, припожаловал, чай опять по своим песенным делам. Ну, хорошо, хорошо, проходите, раздевайтесь, рад, очень рад, что посетили меня старика, а то ведь кроме Федюшки никого не вижу много времени. Вы раздевайтесь, а я сейчас добегу до Федюшки, он рядом живёт, да позову супружницу, она его пошла проведать, да и повечеряем, — скороговоркой выпалил дед. Затем подошёл к нам обнял Лёшу, поцеловал. Со мной поздоровался, пожал руку, пригляделся и тихо проговорил: — Где-то я вас видел молодой человек, уж больно знакомое лицо.

Я хотел сразу признаться, но передумал (подожду ещё немного) и отвечал ему уклончиво:

— Может, где в Иванове виделись, я там живу недалеко от вокзала, часто встречаюсь с приехавшими пассажирами. Вы бывали в Иванове-то?

— Давно не был, — отвечал дед Сергей и, не став больше расспрашивать, накинул на себя старенький изношенный полушубок, как-то бочком вывернулся за дверь.

— Признал он тебя, наверное, — сказал брат, — сейчас придёт со своей старушкой и тут же нас разоблачат.

— Ну, не беда в этом, если немного мы и полукавим, — ответил я.

Вскоре дед Сергей со своей супругой Любовью вернулись. Она тут же захлопотала, чем бы нас накормить. Принесла хлеба, вареной картошки, солёных огурцов, капусты и мочёных яблок. Скромненькая была закуска. Ну что поделать? Бедно жили крестьяне в те послевоенные годы. Мы тем временем распечатали свой чемодан, выставили три бутылки водки, колбасы, консервы (не помню, какие) ещё что-то и всё поставили на стол. Дед Сергей с бабой Любой смотрели на это с некоторым изумлением. Не так часто бывало у них такое застолье. Но больше всего они смотрели на меня. Несколько раз переглянувшись с мужем баба Люба, глядя на меня, с каким-то замиранием голоса произнесла:

— Как же ты похож на Алексея Лукича.

Так звали моего отца. А дед Сергей, лукаво прищурившись, произнёс:

— Уж не Колюшка ли ты?

Разыгрывать «детскую» комедию дальше было ни к чему, и я сказал:

— Я это дедушка, я.

Оба старика обрадовались несказанно и прослезились (они знали, что я долгое время был в краях, очень отдалённых). Перебивая друг друга, стали расспрашивать обо всех родственниках, а их тогда в нашей родне было много, так что разговор не прекращался ни на минуту. Вопросы сыпались то от деда, то от бабки. Наконец, улучив минуту, я спросил:

— Ну, а где же Федюшка-то, что же он не идёт?

Дед Сергей как-то враз посуровел и после продолжительного молчания горько произнёс:

— Пришёл бы он, да одеть нечего, ходит в зипуне, ни одной рубашки нет. Все поизносил. Хотели купить, ездили в прошлом месяце на базар в Аньково (соседнее село) и ничего не смогли купить. Попроще ничего не было, а на более подходящее денег не нашлось. Бедновато ещё живём. — Дед замолчал, а я сразу не смог сообразить, что сказать (в лагерях даже самых «отпетых» промотчиков и то одевали). Наконец, опомнившись, сказал:

— Дед Сергей! У нас кое-что есть!

Мы привезли в качестве «гостинца», кроме продуктов, гимнастёрку, рубашку, полотенце и брезентовый плащ. Всё это уже было поношенное, но в употребление годилось. Я достал из чемодана (фанерный был ещё из лагеря) рубашку с гимнастёркой и подал деду:

— Вот, дедушка Сергей, может, подойдёт.

Он взял сначала рубашку, потом гимнастёрку и с удивлением произнёс:

— Да такое у нас в деревнях только на свадьбу одевают. Конечно, подойдёт.

— Так вот отнеси, что понравится, то пусть и берёт, а остальное, — я подал ему полотенце с плащом, — возьми себе.

Дед был несказанно рад подаркам и, взяв с собой рубашку с гимнастёркой, отправился к сыну (его дом был рядом). Когда за дедом захлопнулась дверь, бабка Люба расплакалась. Мы с братом стали её уговаривать. Немного успокоившись, она с горечью сказала:

— Никак не можем выбиться из нищеты, война проклятая всё сожрала, и не может наша деревушка подняться на ноги. Хуже нищих живём. Слава Богу, хоть немного стали помогать из района, а то бы совсем поумирали, кроме немощных старух, никого не осталось. Да в летнюю пору приезжают из города дочери с внуками, да помогают огороды засадить, да кое-что в полях сделать. А так бы всем конец пришёл. Ну теперь грех жаловаться, хлебом, да солью снабжают власти бесплатно — вот уже второй год пошёл. Говорят, что даже улучшение будет. Правда ли только?.

В это время в сенцах загремела дверь и баба Люба замолчала.

— Видимо, наши пришли, — как-то радостно произнесла она, переключившись с тягостного разговора.

Через некоторое время дед Сергей с сыном Фёдором вошли в избу. Немного приглядевшись, я поразился: Федюшка был одет в зипун, который из-за великого множества заплат трудно было определить из какого он сшит материала. Заплаты были разного цвета. Отдельные пришиты одна на другую. Такое трудно было даже представить. (Потом лет через десять я

снова посетил эти края. Фёдор Сергеевич жил совсем другой жизнью, в некотором разе можно было и позавидовать). Поклонившись всем, медленно разделся (он очень устал за длинный трудовой день), также медленно подошёл ко мне, обнял и долго не отпускал крепко прижатых рук. Он бы не пришёл на эту встречу (стеснялся своей нищеты), но его уговорил отец, рассказал ему, что прилетел я после такой длительной разлуки, да и пробуду всего одну ночь.

Поздоровавшись со всеми, он как-то неуклюже сел на скамью. Видно было, что ему очень тяжело, хотелось поскорей домой, полежать на тёплой печке, уснуть крепким сном много поработившего человека. Разговаривали все обо всем, а вернее всего, ни о чём. Баба Люба уже несколько раз приглашала всех к столу. Наконец мы угомонились и расселись. Стол был большой, скамейки длинные, так что все расселись свободно. Я присел поближе к Фёдору Сергеевичу. Бутылки быстро раскупорили и водку (государственная водка в те годы была качественной) разлили по стаканам. Все выпили. Мы с братом по полному стаканчику, дед Сергей отпил половину, а баба Люба только пригубила. Фёдор Сергеевич категорически отказался:

— Завтра поутру рано ехать на работу.

Я стал его уговаривать, брат Лёша подключился мне на помощь. Дед Сергей молчал. Баба Люба робко попросила:

— Ну, уж выпей, сынок, в честь приезда Колюшки, ведь не виделись больше двадцати лет.

Дед Сергей повернул лицо в сторону супруги, но ничего не сказал. Она поняла. Оба знали, как тяжело приходится их сыну и как трудно будет вставать разомлевшему от вина ранним утром изработавшемуся за жизнь мужику. Но мы с братом не отставали и всё настойчивее упрашивали его присоединиться к нашему застолью. Фёдор Сергеевич упорно отказывался. Мы уже «пропустили» по третьему разу, а он немного поел картошки с огурцами и сидел, думая как бы поскорее убраться восвояси. Когда подошла очередь третьей бутылки, я категорически запротестовал:

— Если хозяева не выпивают, то и нам с тобой брат негоже одним распивать.

Тут заговорил дед Сергей:

— Ладно, Федюшка, давайте понемногу выпьем, нельзя обижать дорогих гостей.

Фёдор Сергеевич, немного поупорствовав, согласился выпить один стаканчик. Все как-то сразу повеселели, и разлив последнюю бутылку, начали по русскому обычаю чокаться, обниматься, похлопывать друг друга по плечам, говорить каждый о своём, невпопад. Выпили и аппетитно начали закусывать. Я заметил, что Фёдор Сергеевич отпил чуть больше половины, а оставшеюся часть вылил, как мне показалось, в валенок. Я сделал вид, что ничего не заметил и, повернувшись к бабе Любе, сказал:

— А вы, баба Люба, тоже что-то ничего не выпили, вам-то ведь завтра не вставать наравне с дядей Федей. (Я ему приходился двоюродным племянником).

— Ну что ты, Колюшка, я и в молодости-то в рот не брала это «зелье»,

куда уж в старости пристращаться, — ответила баба Люба и загрустила. Разговор понемногу утих, и все поняли, что пора расходиться и ложиться спать. Чтобы немного разрядить обстановку, я обратился к Фёдору Сергеевичу:

— Скучно в деревне жить стало, дядя Федя?

Он, как-то сразу встрепенувшись, стал жаловаться не на скуку, а на невыносимость жизни.

— Вот уже девятый год идёт как закончилась эта война, а выбраться из тягот никак не можем. Да и как выберешься. На всю деревню осталась одна лошадь. Вот с ней и управляемся. Каждое утро занимаюсь хозяйственными делами. То за дровами съезжу для Ефросиньи, старая она, одна живёт. Всех её мужиков положили на войне, даже дальних племянников, чуть-чуть подросли только, не пощадила эта напасть, в последний год Серегу с Митей убили где-то в Германии. Ну, как не помочь ей, ведь всю жизнь вместе в одной деревне прожили. А там надо в сельсовет съездить — он в другой деревне, — кое-каких продуктов привезти: хлеб, соль, спички: нам как немощным государство помогает, хоть и скудно, но пока не умираем. А то ещё могут заставить сена привезти какому-нибудь старику, у сельсовета несколько деревень, да мало ли каких дел приходится исполнить с раннего утра до позднего вечера. Сегодня выдался день полегче. Приехал к 8 часам вечера, а в другие дни раньше 10 вечера никогда не управляюсь. Как прихожу — другой раз, не раздеваясь, засыпаю. А утром снова на работу. А утро-то у меня начинается в 5 часов. В деревне у нас всего два мужика: я да Петруха одноногий. На фронте оторвало по самое колено. Тот за деревню не выезжает, ходит по домам: кому печь подремонтирует, кому дверь. Отец, — Федюшка махнул головой в сторону деда Сергея, — мало что может помочь, какие у него силы. Старается. Лошадь другой раз поможет запрячь, воды из колодца натаскает. Кое-где топориком порубит, да снег лопатой отгребёт. (Деду Сергею доходил восьмидесятый год. На тяжелых крестьянских работах он давно вымотал силы, но ещё старался хоть в чем-то помочь людям). А остальные старухи только печь истопить смогут, да внутри избы прибраться. Хожу к каждой. Воды натаскать, дров наколоть. Вот так и живём, Колюшка.

Все замолчали. В великих муках возрождалась после войны деревня. Сколько понадобилось терпения, непосильного труда, который порой можно было сравнить с каторжным, чтобы снова ожили поля, зацвели сады, дворы заполнились скотиной, а улицы огласились веселыми голосами молодых парней и девок и уставший труженик спокойно засыпал, не тревожась за завтрашний день. Но это будет не скоро. А пока?! Больше полувека прошло с тех пор, всего навиделся и натерпелся за прожитую жизнь. Но не могу забыть тех великих тягот, что пришлось пережить нашему народу. Воспоминания о тех людях нагнетают какую-то терзающую душу печаль, и я с мольбой обращаюсь к Богу: «Господи! За какую провинность выпало столько страданий на наш горемычный народ. Вразуми его. Пощади и прости!».

Глядя в их исхудалые родные, добрые лица, я вспоминал тяжелые тюремные годы и мысленно сокрушался: «Везде было трудно, всем, но осо-

бенно тяжело простому русскому крестьянину». Чтобы хоть немного разрядить обстановку я спросил Фёдора Сергеевича:

— Федь! А что было всего страшнее на фронте?

Фёдор Сергеевич посмотрел на меня каким-то жалостливым взглядом и долго не отвечал. Потом тихо заговорил:

— Невыносимо было смотреть в лица людей, стоящих на обочине дорог, по которым мы отступали. Там были только женщины и дети. Они молчали. Некоторые вытирали слёзы. А мы шли понуро, грязные, в обмотках, с отрешённой душой и лютой злобой на фашистскую нечисть. Мы-то знали, как лихо фашисты в первый год наступали, красиво одетые, сытые, нахальные. Подходили к нашему строю бабёнки, кто кусок хлеба сунет, другая сала, ещё что-нибудь. Последние крохи отдавали, все что у них оставалось. Больно смотреть на обречённых людей, когда им помочь ничем не можешь. А мы слова не могли сказать. Стыдились за молодых парнишек, грязных, в разорванных шинелях, с оторванными рукавами. Особенно тех, кто побывал в рукопашных схватках. Кто зашьёт? Когда? Если сутками шли пешком и при первом же привале засыпали стоя. Обмотки на ногах болтаются, заправить толком многие не умели. Потом с началом зимы, когда подступили холода, одели нас в полушубки, валенки, тёплые шапки. Морозы стояли крепкие, но мы не мерзли. Отбивались под Москвой. Несколько раз попадал в окружение, но не осилил фашист, устояли. Не то, что в первые месяцы, когда бежали валом как от антихриста. Но ещё невыносимее было смотреть на ребятишек. Стоят в толпе, жмутся к матерям, кто за руку держится, кто за подол уцепится, глядят на нас, а в глазах такая безысходная тоска и печаль, что смотреть на них не было сил. Они не плакали, не кричали. Было так тихо, будто мы где-то глубоко под землёй закопались. Они стоят подавленные, а мы молча идём в растерянности с одной думой: поскорее бы уйти от их страдальческих взглядов. До сих пор стоит в глазах мальчонка лет семи. Подбежал ко мне. Протягивает морковку: «Только ты, говорит дяденька, помой её она в земле. Я не успел помыть». Видимо, вытащил из грядки и прибежал к нашей колонне. И эта жуть не оставляет меня до сих пор. Ночью проснусь, а в глазах тот мальчонка. Где он? Что с ним? Кто ответит? А колонна идёт, идёт. Куда? Почему? Жуткая была война. Сколько людей потеряли? Сколько крови пролили? Тяжело вспоминать. И после войны не было легче. Мало кто проживал свои богом отведённые годы. Те же что вернулись с войны в большинстве недолговечны. В деревню Малые Вязовицы вернулись около тридцати человек. Теперь осталось не больше двадцати.

Он рассказывал, а я думал: «Жизнь прожить — это вовсе не просто, жизнь прожить не бывает легко. По дороге крутой и тернистой не уходит никто далеко».

— В военные годы, да и после, с женщинами пахали землю. В плуг впрягутся по 5-6 человек и таскают его с утра до темна. Думали, что не выберемся из этой каторги. Посеем зерно. И ждём не дождёмся, когда поднимется хлебушко. Как только появятся ранние всходы, зазеленеют поля, подойдут бабы чуть свет, опустятся на колени на краю бровки, плачут и молятся, чтоб

дождичек выпал, град не побил. А бабка Лиза — умерла несколько лет назад, царство ей небесное, — согнуться не могла, ляжет, возьмёт в руки несколько стебельков и целует, не отрываясь. Я не мог смотреть. Уходил куданибудь подальше, выплачусь, изолью слёзы и тогда только подойду к ним. По одной поднимал с колен, уговаривал. А потом шли на работу на целый день. Тяжело. Слов нет высказать боль неуёмную.

Он рассказывал, а я вспоминал, как во время войны заключенные при посадке картофеля (это было в сельхозколонии) съедали неочищенные картофелины, таясь от надсмотрщиков. И кому удавалось съесть за день 4-5 клубней считали себя счастливчиками. Где же и кому было тяжелее в те военные и послевоенные годы? Всем было невыносимо тяжело.

Фёдор Сергеевич после некоторого молчания продолжил разговор:

— Потом уж понемногу втянулись. Из города, района стали помогать. Облегчение хоть малое, но стало. Теперь электричество в каждом доме, лошадёнку мне выделили на всю деревню — вот и управляюсь. Теперь уж совсем немного нас в деревне осталось. Мужиков трое, да восемь старух. Управляюсь, хоть и тяжеловато. На всю общину я один трудоспособный. Всю войну прошёл с начала и до Берлина, но обошла меня смертушка, а подходила близко. Может Господь уберёг меня, чтобы сейчас помогать этим старушкам немощным. Никого, кроме меня и Петрухи, из нашей деревни мужского пола не осталось.

Все молча вздыхали. Замолчал и Фёдор Сергеевич. Потом с грустью промолвил:

— Вот и мои два брата Ванюшка с Сашкой тоже погибли. Ванюшка в Польше, а Саша в последний год войны под Берлином. Да что говорить. У каждой семьи кто-то, где-то погиб. Хорошо хоть одолели эту страшную дьявольскую силу.

Все надолго замолчали. Хоть и хмельные мы были с братом, но веселья не было. Теперь по прошествии многих лет, вспоминая этот разговор да и другие подобные суждения о прошедшей войне, удивляюсь (скорее поражаюсь), как демократы-писатели, стараясь хоть в чём-то занизить победу нашего народа над фашистской Германией, характеризуют немецкую армию как сборище обовшивевших бомжей, а самого Гитлера полусумасшедшим идиотом, думаю и восхищаюсь своим народом.

Какую же силищу, организованную до наивысшего предела, оснащенную высочайшей техникой, с опытными генералами и умнейшим организатором — фюрером, доводившим своими речами толпы народа до исступления (хотя, по существу, это был кровожадный хищник) победил советский народ под руководством коммунистов, из которых половина полегла на полях сражений. Невероятно! Но это факт. История этого события не забудет, как бы ни пытались Собчаки, Яковлевы, Гайдары перевирать её подлинность.

Вспоминая эти далёкие годы, когда зарубцевались раны грозной войны и многие люди, а в отдельных случаях и целые страны, совсем в ином свете стали освещать события грозного времени, я вынужден отступить от сути изложенного для некоторых разъяснений и сопоставлений. Просма-

тривая журнал «Норильский никель» за август 2005 года, я снова увидел «легендарного мученика» Льва Нетто, теперь уже в окружении французских журналистов. О нём я уже писал в книге «Судьбы людские», посаженный за шпионаж в пользу американской разведки в период Великой Отечественной войны, действительно ли он был в чём-то замешан или такое уж стечение обстоятельств (сам Нетто, ранее признавшийся в совершении греха, теперь категорически отрицает свою вину). Ну не в этом дело. У нас в период войны миллионы солдат были в плену (Нетто тоже оказался на американской стороне, по его рассказу), и чтобы разобраться с каждым потребуется несколько веков. Оставим это. Меня заинтересовал тот факт, что вышеуказанный гражданин, Л. Нетто, совместно с французскими журналистами (главный из них Эммануэль Амара) снимают фильм о Гулаге. Вернее, о норильских лагерях сталинской эпохи. В журнале помещена небольшая статья под названием «Память страшного времени», где главной задачей режиссёр этого фильма (Эммануэль Амара) ставит показ жутких условий норильских лагерей и предложение теперешнему нашему российскому правительству покаяться за Гулаг. Он (режиссёр) потрясен, что у кого то возникла идея отправлять этапы в этот экстремальный район (Норильский), где люди должны были ковыряться в мерзлоте, чтобы осуществить этот сумасшедший проект. (Надо полагать, построить норильский комбинат). Эммануэль Амара почувствовал страшные годы Гулага, посмотрев медный завод, рудник «Октябрьский», Медвежий ручей, развалины Каларгона. И через «призму объектов» хочет показать «Память о Гулаге». Так называться будет этот фильм.

В этом, казалось бы, нет ничего особенного. Да, действительно, на строительстве Норильского комбината в тяжелейших условиях работали заключенные. Было много несправедливостей, особенно в первые годы возведения комбината, когда кроме кирки и лопаты не было других землеройных механизмов. Но это было в первые годы. Возникает вопрос: почему за прошлые грехи прежнего правительства (сталинского) должно каяться теперешнее руководство страны? Если сегодняшнему правительству хотя бы за свои ошибки отчитаться — и то немало достанется. А при чём же чужие-то грехи? Совсем непонятно. Но больше всего непонятно зачем французские журналисты занимаются исследованием нашей истории, разве у них нет своих «мерзостей». Да, мы, русские, вернее российские (тут много было национальностей), копали мерзлоту в Заполярье, чтобы добыть никель. И нужен он нам был для изготовления бронированной стали на танки, которые рушили немецкие бастионы во время Великой Отечественной войны. Мы, русские, не грабили евреев ни в период войны, ни после. Это делали вы. Ваши люди — французы, о чём вы подтверждаете в своей статейке. И оттого, что ваше «запоздалое» правительство покаялось, ограбленным евреям не стало легче. Впрочем, вряд ли кто из них остался в живых. Ведь ваше правительство направляло в немецкие концлагеря ваших людей — и это вы подтверждаете, вероятно, что они попали в первую очередь. Ничего подобного не делало наше (сталинское) правительство. Хотя я от него натерпелся немало. Мы четыре года кровь рекой проливали, защищая народы не толь-

ко своей Родины, но и других стран, в том числе и вашей Франции. Вы же через неделю после наступления фашистов на вашу «несокрушимую линию Мажино» подняли свои изнеженные лапки и сдались на милость победителя. А ваши разлюбезные француженки распивали ваши французские вина в ресторанах с немецкими офицерами. Наши же девчонки уходили в леса к партизанам, мерзли, голодали и умирали от пуль фашистских стервятников.

Вы подтверждаете, что ваше правительство покаялось за еврейские погромы с опозданием на 50 лет. Наше же правительство (Хрущёв Н.С. в 1956 г.) через 3 года после смерти Сталина обнародовало и осудило деяния своих предшественников, хотя сам Никита Сергеевич принимал участие вместе со Сталиным в его деятельности и не побоялся «раскаяться», правда, всю вину свалив на Сталина. Вы гордитесь тем, что ваше правительство в 90-х годах покаялось (как видите, и наше социалистическое тоже, выступление Хрущёва). Только хочу вас огорчить (если, конечно, вы человек верующий). Можно тысячу раз треснуться лбом о ступени церковной паперти, испрошая прощение и покаяние у Господа Бога, но такое усердие ничто по сравнению с куском хлеба, поданного голодному бедолаге доброй и честной рукой. Наше, сталинское, правительство не бросило на произвол судьбы умирающих в блокадном Ленинграде сотни тысяч советских граждан и через Ладожское озеро проложило по неокрепшему льду дорогу, которая по сей день называется «Дорогой жизни», чтобы хоть в какой-то мере облегчить жизнь голодающим согражданам. И шли под градом пуль и разрывов бомб сотни грузовиков с продуктами. Многие машины ушли под лёд. Но не умер Ленинград, выстоял. Честь и слава его защитникам и всем «живота не пожалевшим» в оказании «божеской помощи». Вечная слава погибшим за правое дело. И брату моему Мише, там же сложившему свою голову.

Богу нужны не покаяния в грехах (можно всю жизнь воровать и каяться для собственного успокоения), а чистосердечная помощь и милосердие к страждущим. А уж если кто и совершил грех, то искупать его нужно не показным покаянием, а добрыми делами, причём до самого конца жизни. Покаяние — это способ облегчения души от свершённого греха и надо полагать, что его выдумали люди, много содеявшие зла, в жизни своей не принесшие никакой пользы даже для самых близких родственников, надеясь покаянием заслужить прощение всевышних сил.

Потому призывать к покаянию за чужие грехи давно «почивших в бозе» — это, извините меня, самое настоящее пустозвонство. Надо живущих удерживать от грехопадения. Я усматриваю в вашей миссии неблагодарный подвох и советую вам в дальнейшем не допускать подобных действий. У нас в народе существует поговорка «В своём глазу бревно не заметил, а в чужом увидел занозу». И советую: разберитесь лучше у самих себя. Неужели вы не видите, какой погром происходит в вашей стране. А то ли ещё будет? Вы ведь заодно с американскими заправилами.

Наши демократы с либералами сталинский режим облили всем, чем только можно опоганить. Самого Сталина обвинили в предательстве, трусости, лицемерии, обмане и прочих мерзостях. И до сих пор (а прошло уже

более полувека со дня его смерти) досужие журналисты, вроде Сванидзе и Познера, никак не могут успокоиться, придумывая всё новые и новые измышления, самые изысканные оскорбления в адрес вождей советского правления. И вы тоже подключились в этот хор с требованием покаяния теперешней власти, за деяния давно умерших руководителей. И приехали из чужой страны, отыскали жертву тоталитарного режима, осужденного за шпионаж в пользу Америки, дружелюбной вам страны, господина Нетто и выставляете его как представителя целой «исторической эпохи». Ну, да Бог с вами. У нашей России никогда не было друзей за всё время её существования. Особенно в настоящее время. Только зачем Сталина, давно умершего, проклинать, разве не найдётся примеров, чем можно «попинать» теперешнее правительство. А примеров сейчас тьма. Да и у вас их немало.

Оставьте Сталина. Он будет за свои дела отвечать перед Всевышним судьёй. Хочу вам только напомнить, что Сталин, когда подошли фашисты к Москве, переместил всё правительство вглубь страны, а сам остался в столице. А как же поступило ваше правительство в подобной ситуации? Я уже писал об этом, но повторюсь. Сдало вашу любимую Францию на произвол победителя (фашистов) и тут же удрало в дружественную страну. И только по вашей вине, вместе с англичанами и американцами наш народ четыре года воевал один против всех стран Европы, захваченных ранее Гитлером. Так что прекратите призывать к покаянию за грехи прошлые теперешних руководителей. Их так много накопилось у всех народов мира, особенно у вашего с англичанами и американцами, расстрелявших в завоеванных колониях целые народности (индейцев, индусов и т. п.) Вот и призовите своё правительство к покаянию за этот откровенный бандитизм. Да ведь на совести ваших стран не только давнишние грехи. Призовите к покаянию за уничтожение народов Афганистана, Ирака, Палестины и тогда с чистой совестью обратитесь к нашим руководителям последовать вашему примеру. Кстати, когда наши войска ушли из Афганистана (причём по доброй воле) американцы сразу же заняли «опустевшие места», развязав там междоусобную войну, и поддерживая наиболее агрессивную часть населения, создали ей условия для контрабандной поставки в нашу страну различных видов наркотиков. С тех пор Афганистан стал одним из главных поставщиков этой отравы. Советую Америку призвать к покаянию за целый ряд хищнических войн.

Я думаю, Эммануэль Амара, что достаточно ясно изложил свои претензии и полагаю, что не ошибся. И ещё вы «трубите» о каком-то восстании в Норильских лагерях. Я уже писал в рассказе «Смутный 1953 год» об этом происшествии. Если хотите почитать, найдите книгу «Судьбы людские» — там всё сказано. Хочу повторить, что бунтовали власовцы, бандеровцы, «лесные братья» и прочая нечисть, которым смертная казнь за тяжкие преступления по окончании войны была заменена на самые большие сроки наказания. Пишите, если вам так хочется, только про свои дела своей страны. А у нас и своих извращенцев-писак хватает. Я сделал данное отступление для сопоставления ваших правителей с нашими прежними. Хочу внести пояснение: какие бы ни были российские правители, и те, что давно упо-

коились, и те, что живут в отставке, они для меня всегда были и будут НАШИМИ, кроме Ельцина Б. и Горбачёва М. Вашу статью, Эммануэль Амара, «Память страшного времени» привожу без сокращения на суд читателя:

«Недавно в Норильске побывала съёмочная группа французского государственного культурного канала. Журналисты снимали документальный фильм о ГУЛАГе, главным героем которого стал бывший узник Норильлага, участник восстания 1953 года Лев Нетто, брат легендарного советского футболиста Игоря Нетто. Корреспондентам журнала «NN» удалось встретиться с автором и режиссёром документального фильма Эммануэлем Амара.

— Эммануэль, скажите, почему вас, французов, заинтересовала тема ГУЛАГа?

— Это огромное историческое явление, которое коснулось миллионов русских людей. Миллионов! И до сих пор никто не знает точного числа жертв репрессий — это может быть 18 миллионов и двадцать пять.

— В качестве натуры выбран Норильск. Но ведь есть много мест в России, куда ссылали людей?

— О многих бывших лагерях уже есть фильмы, переведённые на французский язык или снятые французами. Например, документальная серия Иосифа Пастернака — он побывал везде, кроме Норильска. Город долго был закрытым, и о нём у нас меньше всего знают. Именно это обстоятельство заставило меня сконцентрироваться на Норильске. Я был потрясён тем, что у кого-то возникла идея отправлять этапы в этот экстремальный район. Люди должны были ковыряться в вечной мерзлоте, чтобы осуществить этот сумасшедший проект — Норильский комбинат.

— Наверное, на выборе сказалось и то, что героем фильма стал узник горлага Лев Нетто?

— Это в первую очередь. И я очень рад, что Лев Александрович без раздумий согласился на эту поездку. Его жизнь будет проходить красной нитью через весь фильм. Вот он приезжает в город, вот идёт по улицам, разговаривает с людьми, встречается с бывшими узниками, вспоминает…

— Чем вас потрясла его судьба?

— Лев Александрович пережил несколько эпох и выжил. Выжил и физически, и психологически. Он не сломался и остался самим собой. Его судьба — с одной стороны, экстраординарная, а с другой: это типичная судьба целого поколения. Он книжная глава русской истории.

— Вы уже успели прочувствовать страшные годы ГУЛАГа?

— Я прочувствовал ту атмосферу через объекты, которые мы посетили, — медный завод, рудник «Октябрьский», Медвежий ручей, развалины Каларгона. В этих местах как нигде понимаешь, каких человеческих усилий стоило все это возвести. И моя задача как автора передать историю того времени через призму объектов, показать живёт ли в головах людей память о том времени. Предварительно фильм и будет называться «Память о ГУЛАГе».

— Жива ещё память?

— Мне кажется, что память в таком городе жива. Есть поколение, ко-

торое прошло через то страшное время, и у них есть желание высказаться, чтобы был объективный взгляд на эту историю. Но все-таки мне кажется, что история лагерей не полностью освещена, их история туманна. Я чувствую, что со стороны людей есть ожидание объяснений от властей. Но пока власть не признает, что именно государство виновато в том, что произошло, история не станет яснее.

— Есть ли в истории вашей страны подобные «чёрные пятна»?

— Конечно, и мне есть с чем сравнивать, но делать это надо осторожно. Я снимал кино о разграблении имущества евреев во время Второй мировой войны. Государство, которое должно было защищать своё население, обманывало его. По сути, власть предала народ. Вы представляете, Франция добровольно отправляла своих людей в германские концлагеря! Эти события в конце 90-х — начале нынешнего столетия были признаны преступлением. В стране широко освещалось, как власть злоупотребляла полномочиями и предала свой народ. Думаю, для полного понимания истории вам не хватает именно признания государством своих исторических ошибок. Должно быть покаяние».

Возвратимся в далёкий декабрь 1954 год. После горького воспоминания Фёдора Сергеевича о гибели двух братьев все долго молчали. Дед Сергей с супругой Любовью утирали слёзы: это же были их сыновья. Я тоже их помнил. Они были старше меня лет на 10–12, и я очень любил с ними уходить на речку с самого раннего утра и пропадал целыми днями.

Мне за такое самовольство здорово попадало от родителей, но отучить меня от этого занятия они не смогли. Чтобы хоть как-то отвлечь всех от тяжёлых воспоминаний, я стал разливать вино. Фёдор Сергеевич отказался: «Нет, нет завтра рано вставать, работы много, да и сердце что-то побаливать стало». Он вышел из-за стола, снял с гвоздя свой зипун, и, когда надел его, я по настоящему разглядел, что это была старая изношенная шинель со множеством заплат разных материй и окрасок. Боже мой! Заключённых в лагере лучше одевали. Только самым злостным «промотчикам» (заключенные иногда продавали одежду первого срока вольнонаёмным) выдавали со склада изношенные вещи (телогрейки, тёплые брюки). Но и те против Федюшкиного «одеяния» были во много раз лучше. Мы подошли с братом к нему попрощаться. Мне сделалось нестерпимо жалко его, и я достал сторублёвую ассигнацию и подал ему:

— Возьми, Федя, раз сейчас тебе недосуг с нами выпить, то когда выпадет минутка свободная, немного расслабься и пропусти рюмашку, да и нас вспомнишь. Мы завтра утром уедем.

Фёдор Сергеевич стал категорически отказываться, но я настоял на своём, и он, смущаясь взял деньги сжав их в кулаке, дрогнувшим голосом выговорил:

— Спасибо, Колюшка!

У него снова навернулись слёзы. Хотя сторублёвка не представляла большой ценности, Фёдор Сергеевич застенчиво добавил:

— У нас таких денег, почитай, во всей деревне ни у кого нет.

Крепко обняв меня, он уже собирался уйти, но, передумав, остановился и сказал:

— Если будет такая возможность, то приезжай, всегда рады будем.

Через несколько лет я приезжал в родные края, но уже не было деда Сергея с бабкой Любой, а Фёдор Сергеевич с женой перебрались в другую деревню. В ту самую, куда мы с братом Алексеем пришли по ошибке в первый наш приезд. Деревни нашей с названием Зиновка уже не было. Её ликвидировали, как «неперспективную». Но на это место, где она стояла, я приходил в каждый приезд: неодолимая сила тянула туда. Чем больше проходит времени, тем сильнее давит душу тоска при воспоминаниях о далёкой деревушке, деревянном доме, возле которого росли тополя, небольшом садике за двором, где росла малина и кусты крыжовника, сарайчике с сеном, где спал в летнюю пору. Длинная пыльная дорога, по которой бегал к небольшой речке, огибающей половину деревни со странным названием «Бочаги», где удил рыбу. «Деревня милая, родная! Тоскую очень по тебе. Мне простота твоя святая, всего дороже на земле». Сейчас во всей округе не осталось почти ни одной деревни, а в тех, что ещё «теплятся», живут одни старухи. То же самое по всей стране. Совсем недавно, в мае 2005 года, проезжая на автомашине от Абакана до Красноярска, видел покинутые деревни, в которых не было ни одного человека, — дома с заколоченными окнами и давно не паханные поля. И здесь, в благословенном краю, где в деревнях и прочих селениях проживало когда-то более тысячи человек, — запустение и уныние. Мне показались (пятьдесят лет спустя) сибирские деревни много хуже тех далёких послевоенных моих родных российских деревень. И так по всей стране. По-страшному умирает русская деревня. И в тоскующую душу вползает мольба: «Господи! Останови тление. Вдохни тепло и доброту в эти когда-то цветущие земли».

Мы с братом проснулись поздно. После вчерашнего «загула» не хотелось вставать. Печка, куда вчера забрались, тепло прогревала, воздух в деревянной избе был чист. В окно ярко пробивались солнечные лучи. Хотелось поваляться. Но! Декабрьские дни коротки, поэтому, немного понежившись, быстро спустились и стали одеваться. В избе никого не было. Мы зашли на кухню, но и там было пусто. Брат почерпнул ковшиком из кадушки воды, отпил немного и подал мне. «Куда же все подевались?» — брат вопросительно поглядел на меня.

В это время где-то в сенцах хлопнула дверь и вскоре в избу вошла баба Люба. В руках у неё была чашка солёных огурцов. Увидев нас одетыми, она радостно заулыбалась и весело заговорила:

— Сейчас должен подойти дед — убежал он в соседнюю деревню. За бутылкой. У нас в округе на все четыре деревни одна только лавка, да и та работает полдня, покупателей-то очень мало.

Она поставила огурцы на стол и снова побежала за чем-то. Старушка изо всех сил старалась угодить нам. Вскоре подошёл дед Сергей с небольшой сумочкой. Сразу же заговорил:

— Во всей лавке отыскалась только одна бутылка, да и ту продавщица не хотела продавать. Не могу, говорит, я ещё вчера обещала отдать её Силантию воронцовскому (так называлась соседняя деревня Воронцово) — неудобно будет. Ну что ты, говорю, разве Силантий (дед Сергей знал всех

мужиков из ближних и дальних деревень) не уступит мне для такого случая. Поверь мне, Матрёна (так звали продавщицу), на слово.

Дед Сергей пересказывал нам разговор с продавщицей, медленно раздеваясь. Скинув кожух, снова заговорил:

— Потом, видимо поразмыслив, согласилась и принесла из кладовки поллитровочку. Вот она, ребятишки.

Он был рад, что хоть чем-то смог нас угостить. В те годы нечасто завозили водку и прочие спиртные напитки в деревенские лавки и магазины. Мы посидели недолго. Переговорили о всех житейских делах, вспомнили ещё раз родных живых и умерших, потужили о тяготах жизни. Баба Люба, подперев рукой лицо, смотрела на меня и всё не верила, что это я. Я, вернувшийся из страшной Сибири, да ещё с какого-то Таймыра, о котором она никогда не слыхала, сижу перед ней живой и невредимый, не охаю, не вздыхаю о мытарствах и мучениях, что, по её мнению, пришлось испытать за тюремные годы, а говорю и сокрушаюсь больше о тяготах их крестьянской жизни. Наконец, не утерпев, спросила:

— Да как же ты выбрался из этой преисподней, там же я слышала, птицы на лету замерзают, а ветры такие бывают, что подхватят человека и прямо с дороги унесут в чистое поле на растерзание зверям. Упаси Господь от такой напасти.

— Баба Люба, — обратился я к ней, — многим было труднее: Федюшка твой на фронте больше лиха хватил, чем мы, заключенные. Трудно было. Но не рвались над нами бомбы, не летали самолёты, не давили нас танками. Да и сейчас вы живёте не сладко.

— Ну, что ты, Колюшка, сейчас хлеб, соль есть, тепло в доме. С каждым годом понемногу жизнь налаживается, так что грех жаловаться, — сказала баба Люба.

Я снова и снова подумал: «С каким неимоверным терпением крестьяне возрождают жизнь».

Исчерпав весь запас воспоминаний, стали собираться в обратный путь. Дед Сергей вызвался нас проводить. Идти нам предстояло до села Архангельского (мы там вчера вышли из автобуса), через которое проходила автомобильная дорога от Тейкова (город районного значения) до посёлка Аньково (мне там тоже приходилось бывать). Это был небольшой населённый пункт, но довольно оживлённый: до войны там существовал базар, где продавались всевозможные товары и продукты. К концу XX века этот посёлок, как и прочие крестьянские поселения, захудал и разорился. Единственными примечательностями остались церковь да памятник (установленный во второй половине прошлого столетия) на околице у въезда в посёлок дважды Герою Социалистического Труда Боголюбову (имя не помню). Знаю только, что он был сыном священника этой церкви, сосланного в 37-м году из-за неблагонадёжности к властям. Скорее всего местные клеветники спровадили его в места «отдалённые». Завистников и недоброжелателей во все времена в нашей матушке России хватало с избытком. Была уже половина дня, когда мы вышли из дома. Погода выдалась на удивление погожей, безветренной. Небо ясное, синее. Небольшой морозец обжигал лицо. От солнечных

лучей снег искрился и скрипел под ногами. Воздух чист и прозрачен. На душе легко и радостно. Чувствовалась какая-то божественная невесомость. Хотелось бегать, прыгать, как в детстве. Когда отошли несколько шагов от дома, дед Сергей обратился ко мне:

— Меня деревенские просили зайти с вами в каждый дом — повидаться хотят. Уж очень просили навестить, чуть ли не со слезами. Немного осталось живых, одни немощные старухи. Не больше десяти человек вместе с нами, а нас четыре человека.

Вот и считай сколько осталось от деревни, в которой до войны насчитывалось без малого полторы сотни. Жилых, кроме дедова, да Федюшкиного, осталось пять домов. Мы заходили в каждый. В них жили по одному человеку, только в последнем две старухи. Все были приветливы, говорили добрые, ласковые слова. От души желали только хорошего. Как же иначе! Русская душа широко раскрыта для всех людей, а мы для них были близкие, где-то в далёком прошлом переплетались в родстве. Вместе с ними жили наши отцы, деды. Они знали наших дальних родственников, о которых мы и представления не имеем. От их приветствий теплела душа, подкатывались добрые слёзы.

Убранство в домах состояло из деревянных столов да лавок. В переднем углу висели иконы. Окна были закрыты старыми занавесками, видимо, ещё довоенной поры. Они говорили, вздыхали, и как мне показалось, чем-то вроде бы совестились. Потом уже за деревней, когда мы отошли, дед Сергей сказал:

— Вы, ребята, не обижайтесь на них, что они вас ничем не потчевали. У них ничего нет. Федюшка ещё не привёз из лавки хлеба, а от вчерашнего не осталось. Кроме хлеба, соли, да иногда по пачке сахара сельсовет пока ничего не даёт.

Нам с братом, повидавшим немало лиха (ему на войне, мне в тюрьмах и лагерях), такая бедность, вернее нищета, показалась страшной. (С начала ельцинско-гайдаровских реформ так живут миллионы бомжей и беспризорных детей). Тяжёлое воспоминание. Но самое удивительное: никто не жаловался, а в разговоре проскальзывала надежда на улучшение. Была какая-то вера необъяснимая и непонятная. Мы пробыли около часа, переходя из дома в дом, и с каждым посещением становилось тяжелее. Предстояло зайти ещё в один, где жили две старухи. Это были родные сёстры. Раньше они жили порознь. Их дома стояли рядом. У каждой когда-то были большие семьи. Но мужья их умерли рано, сыновей забрали на фронт, и к концу войны все погибли. Некоторое время жили порознь, но уже около 10 лет, выбрав потеплее избу, стали проживать вместе. Хоть в чём-то скрадывали тоску, да при необходимости помогали одна другой. Когда мы зашли, они обе лежали на печи. В избе был полумрак. Услышав голос деда Сергея, зашевелились и, кряхтя, стали слезать с печки, помогая друг другу.

— Сергей Фёдорович, ты ли это? — спросила та, что слезла первой.

— Я это, я, Пелагея, — ответил дед Сергей и подошёл вплотную к лежанке, чтобы помочь другой старухе. — Обопрись на меня, Прасковья, не бойся, выдержу, — улыбнувшись, сказал дед.

Немного посуетившись, Прасковья оперлась на плечи деда и с его помощью спустилась на пол. Обе старухи, приглядевшись (в доме было полутемно), как-то вдруг произнесли:

— Как же вы похожи, ребята, на Алексея Лукича (так звали нашего отца). Лука Фёдорович (наш дед) был родным братом Сергея Фёдоровича. — Ну, присаживайтесь, да расскажите, кто ещё остался в живых из ваших родных. Мы-то ведь всю вашу родню помним. Знали и «коренного» Фёдора Ларионовича, что тебе, Сергей, отцом приходится, только вот самого Ларион а не довелось видеть, умер он, когда мы ещё были в младости. Слышала потом, что мужик он был добрый и рассудительный, — говорила Пелагея.

Прасковья тоже что-то хотела сказать, но только головой качала в знак согласия. Когда Пелагея закончила говорить, я стал рассказывать про всех своих родных, у которых побывал, с кем виделся, рассказывал, кто и когда помер (на многих могилах мне довелось побывать). Я рассказывал, а старушки охали и сокрушались.

— Уж не обессудьте, ребятишки, угостить вас нам нечем, — как-то смущенно проговорила Прасковья.

Мы тут же запротестовали:

— Что ты ничего нам не надо, только недавно нас баба Люба накормила, так что не беспокойтесь, — как-то враз сказали мы с братом.

Прасковья ещё что-то говорила, но я плохо понимал и неустанно думал: «Неужели эти немощные «одры» всего несколько лет назад, впрягшись в плуг, пахали землю, засевали пашни, косили траву, сметывали сено в стога и спали, повалившись от усталости на трудовой ниве всего по три часа в сутки. Весь урожай отдавали государству. Отдавали все до последнего зернышка, молча, безропотно, ничего не требуя взамен, с неугасимой мольбой, чтоб сыновья, мужья где-то на далёкой бойне не были голодными. Господи! Неужели доброта приходит к человеку через страдания и тернии». Когда терпеть стало невмочь, я, пересилив себя, сказал:

— Ну, наверное, пора и нам в путь.

Обе старухи враз заговорили: «Ну ещё немного посидите, уважьте нас, уж больше не увидимся, нам немного остаётся времени побыть на этом свете».

Мне стало нестерпимо жарко не знаю отчего и я, не раздумывая, согласился: «Ну, конечно, ещё посидим, поговорим, может, что-нибудь вспомним, до вечера ещё не скоро, успеем уехать». Пелагея снова заговорила, обращаясь сразу к нам обоим:

— А вы, Алексеевичи, хоть помните нас, ведь, много прошло времени, да и переменилось вокруг всё.

Я откровенно признался:

— Не признал, но помнить помню.

— Сережку-то моего, наверное, помнишь, как вы с ним в бочажке (небольшой неглубокий прудик) наловили карасиков, а я вам их поджарила? — спросила Пелагея.

— Ну как же я мог забыть про тех карасиков, что с Сережкой наловили в «бочажке», и как вы нам сушили штаны, тогда мы пришли оба мокрые. Да

и так хорошо его помню, мы ведь с ним вместе в школу ходили, — радостно ответил я.

Пелагея помрачнела и горько сказала:

— Убили его где-то у Сталинграда. Тяжёлая доля выдалась нашей деревне. Кроме Фёдора да Петра безногого никто не уцелел.

Пелагея после некоторого молчания с каким-то умилением обратилась к брату:

— А ты, Лёша, помнишь ли как мы тебя всей деревней из «капустника» (так назывался пруд) из подо льда вытаскивали. Как же мы все тогда переполошились. Пелагея улыбнулась беззубым ртом.

— Ну, как же, тётка Пелагея, не помнить про такой случай: ещё бы немного побыть на дне — и пропал бы я, захлебнулся насмерть, — ответил Лёша, широко улыбаясь.

— А ведь нашёл тебя на самом дне мой Харитон, — проговорила Пелагея. Чуть помолчав, добавила: — Помер он ещё до войны.

Все надолго замолчали. Хотелось скорее выйти из этого полутёмного дома на улицу, вдохнуть воздуха. Но мысли, толкаясь, убеждали: не спеши, не торопись. Сейчас мы все уйдём, и останутся немощные старухи одни со своей безысходностью. Заберутся с трудом на тёплую печь, протопленную ранним утром Федюшкой, и, уставившись в потолок бессмысленным взглядом, будут вспоминать давно ушедшие годы, полные трудностей, горя и печали. И лишь изредка вывернется из неведомых глубин памяти счастливый миг, и радостью озарятся изборождённые морщинами старушечьи лица, а глаза засветятся добротой и божественным светом.

Казалось, нет предела их страданиям. Но прошло более полувека, и вот в наше «счастливое демократическое время» («спасибо» Ельцину Б. с Горбачёвым М.) по телевидению показывают таких же одиноких старух, как их убивают вечером грабители-нелюди, выродки «цивилизованного мира» за мизерные пенсии, принесенные почтальоншей. Причём «телевизионщик» вещает про злодеяния без эмоций, возмущения и комментариев. Привыкли. Каких только преступлений не довелось мне видеть за долгую жизнь. Но таких!? Горькая была у меня последняя встреча в родной деревне. Но в сравнении с теперешним состоянием в душу вкрадывается чёрная радость: слава Богу, хоть такого тем престарелым старушкам не довелось пережить.

Вскоре оставшихся в живых людей переселят из Зиновки в другую деревню, а несколько человек совсем немощных определят в дом престарелых, хоть супа да каши наедятся они досыта. Дома разберут в основном на дрова, слишком долго они служили людям, а избы деда Сергея и его сына Фёдора Сергеевича перевезут и установят в деревне Малые Вязовицы. Лет через десять мне снова довелось побывать в родных краях. Приехал я к Федюшке. К этому времени он уже несколько лет жил в деревне Малые Вязовицы. Но жил он совсем по-другому: у него был приличный, ухоженный дом, сад, пчелиная пасека и много скота на подворье. Народу в этой деревне было много, все были чем-то заняты и, как мне показалось, куда-то спешили. Та старая деревня умерла, возродилась новая. Но ненадолго. Грянет перестройка, за ней бандитские ельцинско-гайдаровские реформы, в безумном

угаре стяжательства и воровства снова захиреет деревня, сопротивляясь в агонии, будет мучительно умирать…

Мы засиделись. Становилось все тяжелее и тяжелее. Наконец, переговорив обо всем, что только можно было вспомнить, дед Сергей произнёс:

— Пора. А то может случиться, что не успеем на последний автобус.

Мы трогательно распрощались и вышли. У меня заболело сердце. У этих людей не было ничего. Осталась только доброта да милосердие. И вера с надеждой на лучшую жизнь. Плохо тогда жили все. Мы шли медленно. До села Архангельского всего-то километр, а дошли только через час. Часто останавливались, вспоминали каждый бугорок, небольшие прудики, что были чуть в стороне от дороги, куда бегали купаться и рвать цветы. Дорога была малонаезженной. Редко кто-то по ней проезжал. Чаще всего Федюшка, когда ему доводилось ехать через село Архангельское. В некоторых местах она была занесена, и мы с трудом пробирались через сугробы снега. Мы долго молчали. Первым заговорил дед Сергей:

— А в прежние времена часто ездили в эту церковь, — дед Сергей клюкой указал на остов храма.

— Кто свадьбу справлял, другие крестить возили младенцев. А по святым праздникам толпами валил народ, — продолжал он развивать свои воспоминания.

Когда мы подошли к развилке, дед Сергей, указывая на свежий санный след, с удовлетворением сказал:

— Недавно по этой дороге проехал Федюшка. Скоро должен вернуться с припасами для наших старушонок.

Он говорил с непостижимой человеческой добротой, скорее похожей на сострадание.

Уже далеко за полдень мы пришли на территорию села Архангельского. Самого села не было. Часть уцелевших домов была заколочена, остальные разломаны и только фундаменты стен да печей сиротливо доживали свой век. По обе стороны дороги росли кусты черёмухи, акаций, сирени, которые в зимнюю пору трудно было отличить и только по рассказам деда Сергея понимали в каком благодатном месте было выстроено это село. Прямо перед нами стояли остатки храма без креста, с полуразрушенным куполом. Я огляделся вокруг. На мой вопросительный взгляд дед Сергей вымолвил:

— Вот так и доживает старина, а с ней и мы вместе, Колюшка. Давай подойдём поближе, зайдём в ограду, я покажу вам, где похоронены ваши дед с бабушкой Марьей, да ещё одна могилка сохранилась прабабки Марфы.

Зайдя в открытые ворота церковной ограды, я сразу различил несколько крестов, видневшихся из-за остова церкви. Когда подошли совсем близко, я увидел: церковь была сильно разрушена. В нескольких местах стены разобраны (видимо, когда-то кому-то требовался кирпич) и сквозь проёмы виднелось кладбище. Свежих могил нигде не было видно. Никаких следов ни к одному кресту. Святое место было заброшено. Это было видно и без пояснений. Дед Сергей подвёл нас к трём небольшим холмикам, на которых торчали занесённые снегом обломки деревянных крестов. Указал нам, где

и кто лежит. Мы молчали. Дед Сергей, видимо, собирался с силами, чтобы высказать своё страстное желание. Наконец тихо проговорил:

— Хотели с Федюшкой в этом году новые кресты поставить, эти-то сгнили да обломились, но не сумели управиться. Так уж теперь по первому теплу установим на каждую могилу. Негоже забывать родных.

Я после некоторого раздумья спросил:

— А для чего такое нужно, ведь мёртвым-то всё равно, есть над ними памятник или крест, одинаково всем лежать в земле хоть бедным, хоть богатым?»

Дед Сергей, не задумываясь, ответил:

— Нельзя так рассуждать, кладбище и каждая могила должны быть обихожены, нельзя умерших предавать забвению, без этого не будет добра на земле. Ведь за дела земные строго спросят на небесах, там никого не проведёшь и никого не обманешь. Да и чтобы возродить нашу войной разрушенную жизнь, прежде всего надо обустроить кладбища да возродить веру, растоптанную нечестивцами.

Дед Сергей повернулся к остову храма и трижды перекрестился. Потом медленно будто для себя стал говорить:

— Когда-то село было очень богатым. Работающий здесь был народ. Но подоспела пора лихоимная, многих отсюда сослали — одних по делам: были на руку нечисты, других по оговору и клевете. Много среди нашего народа завистников. А потом, все что осталось, война подытожила. И стоят теперь только одни руины.

Я спросил:

– А что, дедушка Сергей, из сосланных так никто и не возвратился?.

– Было несколько семей, ещё до войны приезжали, но, увидев такое разорение, никто не остался, — отвечал дед Сергей как-то медленно и неохотно. — Слышал, что кто-то из наших подался к немцам и очень люто расправлялся со своими. Судили их в Иванове сразу после войны.

Мы все молчали. Я встречал подобных людей в лагере, и для меня это не было открытием. Дед Сергей продолжал, скорее всего, для себя:

— Если тебя обидели несправедливо, оговорили, не выплёскивай свою озлобленность на других. Это все равно, что подливать в горящий дом керосин, где большинство невиновных ни в чём людей.

Мне хотелось о многом ещё поговорить с дедом, но я решил не расстраивать его. Прошло много лет, но я не забываю этого родного мне человека, истинно верующего в праведность Божью и его неугасимое стремление хоть чем-то помочь людям. Светлой памяти тебе, дед Сергей!.

Все чаще в последние годы показывают богослужения, проходящие в наших главных храмах страны. Всякий люд там встречается: от простолюдинов до высоковознесённых богатеев. Обычно они становятся поближе к амвону, откуда произносятся проповеди. Для всеобщего обозрения: «Смотрите люди, какие мы есть на самом деле, не заслуживаем вашего поругания, что сыплется на нас со всех сторон». Впрочем, в Бога по-истинному почти никто не верит, и ходят грешники в основном для подстраховки: «А вдруг он есть? Тогда-то, как? Что я ему отвечу за то, что разорил целый на-

род?». Потеет богатей-батюшка. И мелькает проклятая мыслишка: «А может, зачтётся?». И тут же принародно бух на колени. И зачастит креститься, приговаривая: «Господи, помилуй! Спаси душу грешную. Бес попутал». И тут же поворачивает свою морду в сторону камеры, слащаво улыбаясь: снимайте меня, фотографируйте, чтоб по всей стране люди видели, какой я праведник! И только подвернётся поблизости патриарх наш «болестный» или какой-либо из этой братии епископ, архимандрит и т. п. тут же его в ручку «чмок», вот он какой ваш князь московский. А при народе кепочку носит, на Ленина-бессребреника походить уж больно хочется. И много ему подобных. Господи! Тебе-то всё ведь ведомо. Когда же у таких «государевых» предпринимателей появляется пресыщение в золоте и деньгах и некуда станет девать их, хоть со сметаной глотай, отвалят из богатств, «трудами непомерными заработанных куш (иногда и немалый) на богоугодные дела: где-то на строительство храма или часовенки. Не беднеют от этого спонсоры. Ну а некоторые, собрав сотню-другую молодых «моделей» (правда таких в простонародье называют по-другому), укатят с друзьями к тёплому морю на месячишко отдохнуть от трудов праведных. Надо же поберечь драгоценное здоровье. Как без них, не приведи Господь, кто уподобится, как тогда народу жить? Пропадут людишки. А как же грех? Так замолить можно, храм-то на наши денежки возведён. А за дела добрые, глядишь, от высшей власти и награду можно заполучить. Многие поговаривают, что и титулы старорежимные неплохо бы восстановить. Всего наслушаешься, когда приходится бывать в людных местах. Да и разные мысли родятся в головах людей, у которых жизненный срок приближается к роковой черте. Что поделать?! Все смертны.

Мы ещё походили по кладбищу, дед Сергей показывал на могилы знакомых ему людей, а знал он каждого, кто и когда умер. Я слушал и думал: «Ведь это же моя родина, родной край, земля, где жили и росли мои предки. А я, оторванный от неё, исколесил почти всю страну вдоль и поперёк, но ничего сквозь тюремные решётки не увидев, вдруг по-страшному понял, что этой родины у меня нет. Никого здесь не осталось. Дед Сергей умрёт, и уже приехать будет не к кому. Моё пророчество сбылось: там давно уже нет никого. Осталась опустошенная земля, безропотная, сирая, ничего не требующая, в молчаливом ожидании, что, может, хоть кто-то навестит её. Солнце ближе клонилось к закату, потянул ветерок, стало зябко.

— Ну, что, Колюшка, пойдём поближе к тракту, — обратился ко мне дед Сергей.

Мы выбрались за ограду кладбища и направились в сторону дороги. Она была недалеко.

— Ну, вот здесь и подождём автобуса, они каждый час проезжают — сказал дед Сергей, и я увидел, что по его усам прокатилась слеза.

— Не расстраивайся, дедушка, мы ещё увидимся, — сказал я для успокоения и его, и самого себя, хотя мало верил в это.

Совсем скоро к нам подъехал грузовик, нагруженный сеном. Прямо против нас остановился. Молодой парень весело крикнул:

— Далеко собрались ехать, если до Тейкова, то довезу. Автобуса ещё больше часа не будет.

Мне хотелось побыть ещё немного с дедом, и я, не задумываясь, крикнул:

— Поезжай, нам надо до Иванова, где мы в Тейкове будем искать транспорт.

— Я вас прямо на автобусную остановку подброшу, — снова крикнул парень. Ему, видимо, хотелось подзаработать на поллитровочку. Я снова отказался. Шофер немного побурчал и уехал. Дед говорил обо всём, что у него было на душе, уже по третьему разу сделал наказы кому передавать поклоны. Мороз крепчал, и я, глядя на замерзающего деда, подумал: «Напрасно не поехали на грузовике, теперь бы дед давно был дома». Но в это время на дальнем конце просёлочной дороги показалась подвода. Дед Сергей безошибочно сказал:

— Это Федюшка, развёз по деревне хлеб и едет к нам.

Недоезжая до нас, Фёдор Сергеевич крикнул:

— Ну что же вы, не дождавшись меня, ушли, я бы вас подвёз до самого тракта.

Он слез с саней и стал нас обнимать. В это время из-за поворота выехал автобус и через несколько минут остановился рядом с нами. Мы распрощались. Дед Сергей и Федюшка, обнимая нас, наказывали:

— Приезжайте, обязательно.

— Прощай, дедушка, при первой же возможности приедем, — сказал я весело, а самому хотелось плакать.

Автобус тронулся. И пока он не повернул за поворот мы видели двух измученных тяжелым крестьянским трудом простых, добрых и ни на что не жалующихся мужиков.

Во второй раз, через много лет, когда я приехал в свои родные края, кроме Фёдора Сергеевича с женой уже никого в живых не было. В тёплый летний вечер, въезжая в деревню Малые Вязовицы (деревни Зиновка уже не было, и я об этом знал), почувствовал какое-то тоскливое удовлетворение. Вокруг домов густо разрослись плодовые деревья, воздух был пропитан запахом яблок и свежескошенного сена. Было многолюдно на улице. Не в пример первому нашему посещению с братом, когда мы по ошибке зашли с ним сюда вместо Зиновки, в которую держали путь. Было радостно, хотя сквозь радость проскальзывала грусть: нет ничего вечного на земле.

Я рассчитался с шофёром такси, зная, что заночую у Фёдора Сергеевича. Как сейчас помню, шофёр от Иванова взял с меня 6 рублей 50 копеек. Сейчас бы пришлось платить не меньше 500 рублей. (Деньги с каждым днём теряют свою «ценность»). А вечер был на удивление хорош. На задворках домов перекликались бабы. Была середина лета, и кое-какие овощи уже выросли, можно было собирать, чем женщины и занимались, возвратившись с колхозных полей. Когда я зашёл в дом к Фёдору Сергеевичу, то мне навстречу вышла его жена. В тот раз мы с ней не виделись. Она не пришла тогда к деду Сергею, по причине полного отсутствия одежды. Теперь же она была одета в простое платье, но чистое и опрятное.

— Вам кого надо? — спросила она, внимательно присматриваясь.

— Фёдора Сергеевича, — сказал я.

— А кто вы такие будете? — Я назвался. — Ой! — воскликнула она. — Я-то ведь тебя в тот раз не видела, потому не признала. Федя кроет крышу соседу, я за ним сейчас сбегаю, а вы заходите в избу, мы как раз вечерять собираемся, вместе и откушаем.

Фёдор Сергеевич пришёл незамедлительно. Обнял меня, расцеловал. Разделся. Рабочую одежду унёс в сенки и через некоторое время вернулся одетый в новую холщёвую рубаху. Было заметно, что он раздобрел, как-то расширился в плечах, походка была уверенней. В доме было уютно, чисто, пахло смолой. Видно было, что домик построили недавно. Когда сели ужинать, Фёдор Сергеевич обратился к супруге:

— Сходи, Авдотья, в погреб да мёду принеси — надо гостя попотчевать.

Я тоже привёз из Иванова разных сладостей да продуктов, разложил их на столе. Фёдор Сергеевич на это заметил:

— Не надо было, сейчас у нас тоже достаток.

Авдотья принесла большую эмалированную чашку янтарного мёда и, поклонившись, сказала:

— Кушайте на здоровье.

Фёдор Сергеевич молча откупорил бутылку вина, разлил всем по стаканам и печально произнёс: «Ну, в первую очередь давайте помянем моих родителей — отца моего Сергея Фёдоровича и мать Любовь Петровну. Царство им небесное, пусть земля будет пухом».

Молча выпили, немного закусили. Я знал, что дед Сергей с бабой Любой умерли несколько лет назад — в один из приездов в Иваново мне об этом сказал брат, но для вежливости спросил:

— Федя, когда такое случилось?.

— Годика через три после вашего приезда, один за другим ушли. Как переехали на новое место, вместе с нами они жили, как-то враз захирели, затосковали и померли. Сначала отец, а за ним в скорости и мать. Похоронили их совсем в другом месте. Село Архангельское и кладбище так и стоят в запустении. Жалко им было расставаться с родной деревней, видел я, всё видел. А что поделаешь? Там уж никого не оставалось. Вот нас и перевезли сюда в Вязовицы. Недалеко она от нашей родной Зиновки, а и меня иной раз тоска пробирает. Что тут поделаешь? Привычка.

Фёдор Сергеевич, выпив ещё стаканчик, разговорился:

— Здесь я в колхозе на ферме в завхозах состою. Работы много, но жаловаться грех. Деньжонки появились. И в доме благодать. На дворе скотина, сад, огород, пчелиная пасека. Работать людям стало полегче. Тракторами, сеялками, косилками обзавелись. Так что выкарабкались люди из непосильной нищеты. Недавно из города дочка приезжала с мужем на своей машине, на текстильном комбинате оба работают. Живут неплохо. Звали к себе. Только разве поеду я из родных мест, теперь уж со старухой век будем здесь доживать. Наверное, не повторится уж больше такой разрухи, что пришлось пережить. Дай-то Бог.

Ошибся Фёдор Сергеевич. Нагрянули ельцинско-гайдаровские реформы, много разорительнее чем Отечественная война, и пошли деревни разо-

ряться одна за другой. Только Фёдор Сергеевич со своей супругой не дожили до этих грабительских времен, ушли на тот свет…

Переговорив обо всем и обо всех, разошлись спать. А утром Фёдор Сергеевич проводил меня до центральной дороги, и на первом же автобусе я уехал обратно. В этот раз у меня было более радостное настроение. Деревня после долгих военных лет «выкарабкалась» из нищеты. Вскоре мне придётся снова видеть разрушение и страшный тлен теперь уже не деревень и сёл, а душ человеческих. Господь милосердный! Верни людям разум, одари добротой и милосердием. Ведь мы православные. На сына твоего духовного Иисуса Христа надеемся как на Спасителя! Неужто тёмные силы могущественнее твоей Божественной длани!..

Я снова, уже в который раз, уклонился от начала своего повествования. Возвратимся в далёкий декабрь 1954 года.

В Иваново мы возвратились поздно ночью. За два дня нашего отсутствия домишко выстыл. Было холодно. Не раздеваясь, я вышел в пристройку, принёс дров и затопил печь. Через полчаса в доме заметно потеплело и мы разделись. Подкинули ещё дров, и вскоре стало совсем тепло. Мы очень устали и тут же легли спать. Брат заснул сразу, а на меня навалилась бессонница. Со мной такое случалось довольно часто и потому, не раздумывая, встал с дивана, который определил мне брат для спанья и потихоньку вышел из дома. Стояла тихая морозная ночь. Небо было чистым без единого облачка и куда бы ни обратил взор — повсюду сияли звёзды. Весь город находился под сверкающим небесным куполом. В ту пору мне только перевалило за 30 лет, был ещё относительно молод, потому не мог по настоящему оценить величественную красоту бесконечного безмолвия. Это сейчас, по прошествии многих лет, у меня изменилось мировоззрение, и я беспрестанно восхищаюсь и удивляюсь божественному промыслу, создавшему некогда непостижимый нами Вселенский мир. Возвратившись в дом, тихо разделся и лёг. Брат безмятежно спал. Но сразу я заснуть не смог. Мысленно пробежал по прожитой жизни. С чувством грусти и печали вспоминал встречи со своими родными, посещения могил умерших.

За эти несколько месяцев после приезда из далёкой Дудинки я побывал у всех родственников, что жили в Иванове, Москве, других городах, находившихся в непосредственной близости от столицы.

Теперь мне предстояло навестить родных тёток, живущих с семьями в Ленинграде, и младшую сестру, находившуюся где-то в Андоме возле Лодейного поля, работавшую в каком-то леспромхозе после окончания техникума.

Утром проснулся поздно. Брат истопил печь, сварил борщ, на большее у него не хватало кулинарного опыта. С вечерним поездом я уехал к матери в Подмосковье. В те годы жизнь в Подмосковье была спокойной. Не было воровства, тем более разбоя и бандитизма. Люди не боялись оставлять жилища открытыми. Впрочем, и воровать тогда у них тоже было нечего. Если и случались случаи лихоимства, так об этом долгое время разговаривали и обсуждали данные поступки люди по всей округе. Жили небогато, но много лучше, чем живущие в деревнях старики со старухами.

И в этой местности так же, как в деревнях, люди отличались добротой, гостеприимством, приветливостью и взаимопомощью. В настоящее время многие стали совсем другими: растеряли эти лучшие человеческие качества. Неужели зараженные страстью (рожденной капитализмом) к обогащению люди превращаются в мздоимцев, лиходеев и становятся откровенными ворами. В ту пору я не боялся ходить тёмной ночью по самым глухим закоулкам, теперь после 9 часов вечера не встретишь ни одного человека, кроме пропившегося бродяги или опустившегося бомжа. Народ боится. Боится всего. В каждом незнакомом встречном видится душегуб. Страх проник в душу каждого человека, стал какой-то физиологической неотвратимостью. Подобное чувство испытываю и я. Особенно оно обостряется, когда приходится быть в Москве или предместьях Подмосковья.

Через несколько дней я уехал в Ленинград. Там меня встретила тётка (сестра матери) и двоюродные брат с сестрой. Они были много моложе меня, но вели себя довольно бойко, восхищая меня рассказами о величии своего города, местами ещё разрушенного, и его прелестях. Эта поездка резко изменила мои жизненные интересы. В одном из разговоров тётушка, узнав, что я уже около 10 лет работаю на лесоперерабатывающем предприятии, посоветовала поступить в лесотехнический институт. Её совет пришёлся мне по душе, но для его осуществления нужно было ещё очень много потрудиться и похлопотать. Несмотря на определённые трудности я поступил в это замечательное учебное заведение, в котором проучился шесть лет. Невзирая на дальность проживания (от Дудинки до Ленинграда около четырёх тысяч километров) трудностями с поездками на каждую сессию, это были самые счастливые годы моей жизни.

Я задержался в Ленинграде довольно долго. Оставалось немного отпускного времени, и я уже собирался отменить поездку к сестре, но, подумав (все ж таки она у нас была в семье самой младшей), решил навестить её. Добраться до сестры было непросто. Сначала ехать пришлось на поезде, потом на маленьком автобусе и несколько километров на грузовой автомашине. Январь и в этих краях тоже тёмный, лишь немного светлее, чем в заполярной Дудинке, и поэтому городишко, а вернее посёлок Андома, я не сумел разглядеть. Посмотрев на незавидное житьё сестры, быт, окружавших её людей, переговорив о всех новостях жизни (тогда и там жили бедно) я через несколько дней уехал обратно в Подмосковье.

Удивительный народ был в те годы. Перенеся такие неимоверные тяготы во время войны, восстанавливая страшную разруху, никто не был обозлён, жили дружно, без признаков зависти к людям, живущим лучше других. Впрочем, таких было немного, да и разница между беднотой и чуть выбившимися из неё была небольшой. Как-то все в посёлке, где я проживал, прознали о моём прошлом и относились ко мне с необыкновенным сочувствием, исполненным добротой.

В середине зимы я возвратился в Дудинку, и началась полная хлопот жизнь. Учёба в школе, надо было закончить десятилетку, поступление в Ленинградский лесотехнический институт и трудная, напряжённая работа, которую до сих пор исполняю в меру своих возможностей. С момента

своего освобождения, а это был август 1954 года и по 1991 год, год смуты и всенародного разбоя, я жил полной жизнью, а порой и счастливо. Меня уверяют, что это ностальгия. Что ж, тоска по прошлому приходит к каждому. Не знаю, как такое случается со всеми людьми, только на себе очень хорошо чувствую, что самые ранние годы с 1 мая 1941 года по август 1954 года у меня не вызывают никакой ностальгии, а наоборот, воспоминания о тех временах порождают душевную дрожь и страх. (Правда, такого страха, что вселился в меня с началом ельцинского погрома, у меня и тогда не было). Не могу объяснить сам себе, отчего так стало. При сталинском режиме за малейшие ошибки (не говоря о преступлениях) можно было запросто сесть в тюрьму.

В лагерях встречались разного рода убийцы, истязатели, насильники, от которых можно было ожидать самых непредсказуемых действий. И ничего. Никакого страха. Все объясняется очень просто: все органы правопорядка тогда стояли неукоснительно на страже закона. Законопослушный гражданин находил у них надлежащую защиту, а нарушители подвергались строжайшему наказанию. Теперь все стало наоборот. Криминал в преобладающем большинстве во всех жизненных сферах находится под защитой так называемых правоохранительных органов и работает с ними в тесном сотрудничестве. У простого народа не стало защитников. Преступники грабят, убивают, держат в заложниках, издеваясь по своему усмотрению, порождая животный страх. Это чувство усугубляется боязнью перед работодателями, которые могут уволить любого работника независимо от его возраста, семейного положения, профессионализма по своему усмотрению, без всяких на то причин.

И чем больше «процветает» демократия, тем больше становится безработных. В начале девяностых годов уволили и моего брата, не объясняя за что и почему. К этому времени предприятие, где работал брат, приватизировали «новые русские». И все не подходящие для них рабочие были попросту выброшены. Капиталист-кровосос не держит лишних рабочих. Брату было немногим более 60 лет, и он отлично справлялся со своими трудовыми обязанностями. С приходом нового «хозяина» многих стали увольнять с предприятия, где работал брат. Когда подошла его очередь на увольнение, многие запротестовали: он же участник Великой Отечественной войны и к тому же инвалид. Ответ хозяина был краток: «Я его воевать не посылал».

Зачем проливать крокодиловы слёзы с высоких трибун, восхваляя великие заслуги народа, победившего фашизм, после таких откровенных заявлений. Случись подобное во времена советской власти, долго бы пришлось молодому, холёному «демократическому извергу» томиться в застенках. Правда, брат недолго пробыл безработным. Ушёл на тот свет после неимоверных страданий в последние годы (об этом я писал в начале рассказа). Близких родных после его смерти не осталось.

Теперь буду приезжать на «большую землю» только на родные могилы. С приходом к власти Ельцина Б. жизнь народа резко изменилась. Произошли перемены и в моей жизни. Разъехались друзья, товарищи, круг знакомых замкнулся до минимального предела. Чтобы заполнить пустоту жизни,

я начал писать мемуары о прожитом времени, сопоставляя его с наступившим безумным людским «водоворотом». Написал четыре сборника рассказов и стихов. Но их никогда бы никто не прочитал, если бы не оказали помощь в их издании замечательные и бескорыстные люди. Таковыми были Федюшин Василий Яковлевич и Геценок Владимир Григорьевич. Несмотря на то, что они не были мне близкими друзьями, тем не менее, прочитав мои повести, рассказы, стихи в рукописях, содействовали изданию книг, оказывая всестороннюю материальную помощь. Оба товарища работали вместе со мной долгие годы в Дудинском порту на довольно ответственных участках. Пользовались большим авторитетом среди людей. Но по-«крупному» вписаться в капиталистический безумный бизнес не смогли, вернее не захотели, и Василий Яковлевич Федюшин уехал из Дудинки на свою родину в Орловщину.

Вступив в должность главы администрации Усть-Енисейского района, «Оленьего края», Владимир Григорьевич активно включился в жизнь и работу с местным населением. Его район стали посещать высокие «гости». На последнем празднике оленеводов, например, присутствовали губернатор Олег Бударгин, главный редактор красноярской газеты «Новый Енисей» Александр Паращук и другие высокопоставленные люди края и округа. Будние дни заполнились хлопотами и активной работой. Жизнь в районе стала более напряженной и весёлой. Все закономерно. Когда добрый хозяин заботится о людях – жизнь становится для всех радостной. Об этом убедительно свидетельствуют фотографии, сделанные в последнее время в Усть-Енисейском районе Таймыра.

Владимир Григорьевич Геценок на многих работах проявил себя как высокоэрудированный, образованный и профессиональный работник. Его знали и уважали не только в Дудинке, Норильске, а далеко за пределами Таймыра. Он по достоинству и заслугам был избран преобладающим большинством людей руководителем Усть-Енисейского района Таймырского округа, на территории которого может разместиться не одно европейское государство. Этот тяжелый груз он взвалил на себя с одной задачей — всеми силами и возможностями добиться улучшения жизни коренного малонационального народа. И можно не сомневаться, что этот душевный и добрый человек многое сделает для него за свой выборный срок. Жаль, конечно, что уехал из Дудинки последний друг. Но связь с ним я поддерживаю. И в этом нахожу удовлетворение: большая звезда и издалека светит ясно.

С началом ельцинского разгрома страны перевернулись судьбы людские, миллионы людей ушли безвременно из жизни, ещё больше было выброшено на произвол судьбы. Во многих регионах страны люди не живут, а доживают. И если такого не произошло на Таймыре, где жизнь во многом отлична в лучшем понимании от многих городов, сел, деревень России, то это только благодаря многим руководителям этого округа, к которым с чувством удовлетворённости отношу таких, как Федюшин Василий Яковлевич и Геценок Владимир Григорьевич, и многих руководителей, проживающих на огромном Таймыре. Мне очень трудно объяснить, отчего люди, живущие здесь в условиях, много худших, чем в центральных регионах России,

во всех отношениях отличаются добродушием, порядочностью, бескорыстием от людей центральных и южных областей страны.

Единственное, что приходит в голову: всё передаётся по наследству. Ибо в первые годы образования Норильского комбината в преобладающем большинстве, как среди руководителей, так и простого народа, были очень порядочные и высоконравственные люди.

Сколько дорог, дорожек, тропинок на нашей великой Земле? Никто не ответит. Изрезали они вдоль и поперёк страну. Мчатся по ним поезда, автомобили, спешат пешеходы, бредут нищие. У каждого дела, свои заботы. Так было всегда. Но в последнее десятилетие двадцатого века многое изменилось. Увеличился поток беженцев, хотя открытой войны ещё нет. Бегут люди со всех сторон от своей неблагодарной судьбы в центр России, чтобы отыскать хоть частицу счастливой доли, найти работу, пусть грошовую, даже безденежную, лишь бы где-то приложить к чему-то руки, да добыть кусок хлеба оставленным в отживающей деревушке голодным ребятишкам.

И идут поезда, переполненные страдальцами, в напрасных поисках никем не потерянного счастья. Проклятый Ельцин Б! Что же ты сделал с великим доверчивым и добрым народом. И ведь не стыдно тебе в день своего 75-летия заявлять хвастливо: «Я счастливый человек. Счастливый, потому что дал свободу!» Свободу от чего, кому и зачем? Чтобы люди могли грабить друг друга безнаказанно, убивать, травить себя отравленной водкой и продуктами, умирать на улицах, в подворотнях, коллекторах. Да разве перечислишь всё. Ты дал людям не свободу, а вседозволенный бандитизм. Сильным подчинять слабых, хитрым обманывать простой народ. Знаешь ли ты сколько по твоей вине людей покончили жизнь самоубийством? Знаешь! И лезешь в экран телевизоров покрасоваться (причём в окружении своего счастливого семейства). Перед униженным, ограбленным, оскорблённым народом: «Посмотрите на меня «доброго отца нации», падите ниц перед моими стопами за дарованное вам великое счастье — «свободу».

Много за годы реформ пришлось помотаться и мне по путям-дороженькам. На самолётах, автомобилях, поездах и прочих видах транспорта. Катит поезд, а вместе с ним размышления. Такие горькие мысли пришли мне в голову, когда в электричке, набитой до невероятной тесноты, я выехал из Москвы в город науки Обнинск. Дел особых у меня там не было, и я, быстро управившись, пришёл на вокзал, чтобы отправиться обратно в Москву. Я подоспел к самому отходу поезда. На привокзальном перроне народу было много, и я с горечью подумал, что придётся снова ехать стоя. Подойдя к билетной кассе, попросил продать билет. Кассирша, глядя на меня, жалеючи, сказала:

— Очень много едет народу, в тамбуре придётся ехать. Уж лучше возьмите билет на «литерный» поезд. Он подойдёт через полчаса. Но в Москву прибудет раньше этой электрички почти на целый час. Идёт он быстро и почти без остановок. Только в Наре и Апрелевке останавливается. Правда, билет будет подороже.

Я согласился. Литерный поезд действительно скоро прибыл, и я без вся-

ких затруднений зашёл в полупустой вагон. Немного освоившись, спросил у сидящего неподалёку от меня мужчины:

— А почему так мало народа?.

— Так здесь все едут до Москвы, у поезда несколько остановок, только на крупных станциях, да и билеты дороже. Вы, как вижу, впервые едете этим маршрутом? — ответил мне незнакомец, повторив почти слово в слово то, что мне сказала кассирша.

— Да, — ответил коротко я и стал присматривать, где лучше присесть. Было очень много свободных мест, и я, выбрав в середине вагона, подальше от людей, незанятое сиденье, уселся возле окна. Поезд легко тронулся с места и понесся мягко вздрагивая на стыках рельс. Немного осмотревшись, я обратил внимание на двух довольно солидных пожилых мужчин. Они о чём-то разговаривали. Через некоторое время один из них поднялся и обращаясь к другому сказал:

— Ты, Вася, посиди, а я схожу к Петру. Он в другом вагоне едет. Я скоро вернусь.

И, не дожидаясь ответа, тут же ушёл. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Мелькали посёлки, одинокие домишки, перелески, поля. Нечем было заняться. Можно было почитать какую-нибудь газету или книгу. Но я уже столько всего начитался, что смотреть на «писанину» стало противно. Через несколько минут мужчина возвратился с небольшой сумкой и весело проговорил:

— Ну, вот видишь, кое-что принёс, чтобы веселее было. — И, постукав свободной рукой по сумке, добавил: — Смотри, что мне Петро отвалил. А ты что опять уткнулся в какую-то «библию»?

— Понимаешь, Саша, хочу досконально прочитать, может, в солженицынском «Гулаге» отыщется и мой отец, он где-то ведь сгинул на Таймыре, — ответил Василий.

Меня это насторожило, я на Таймыре прожил почти 60 лет, кое-что повидал и кое-кого повстречал.

— Ничего ты в этом «Архипелаге» не найдёшь, там много написано, только нет правды, — сказал Александр. — Давай лучше пивка выпьем. И брось ты эту книгу, её теперь никто не читает. За годы ельцинского правления грабежа и разбоя столько погибло людей, что на солженицынские «стенания» обращают внимание меньше, чем на плач раскапризничавшегося пьяницы.

Приятели расселись поудобнее и начали с удовольствием потягивать пивко.

Когда проехали Нарофоминск Александр поставил на столик недопитую бутылку с пивом и, обращаясь к своему другу, сказал:

— Вот в этом районе были самые беспощадные бои. Много крови пролили.

Василий повернулся к нему и, немного помолчав, спросил:

— Ты так уверенно говоришь, будто сам тут принимал участие.

— Отец рассказывал — он всю войну прошёл от начала и до самого Берлина. Много здесь наших полегло, но дальше не пустили немцев, — сказал Александр.

— В эту войну пол-России ухлопали, Саша, а ради чего, — возразил Василий.

— Как за что? А Родина, свобода, наконец, дедами завоёванная, равенство?! Тебя, Василий, трудно переубедить, ты всегда гнёшь своё, в этом я давно убедился, — добродушно отстаивал свое мнение Александр.

Подслушивать чужие разговоры непристойно, но куда от них денешься, не переходить же в другой вагон из-за того, что двое немного подвыпивших людей ведут, не стесняясь моего присутствия, довольно громко свои разговоры. Видимо, эти господа-товарищи любили между собой поспорить, не обращая внимания на окружавших их людей. Правда, вагон, как я уже говорил, был полупустым и поблизости от них был только я да ещё чуть подальше несколько человек. Чуть отвернувшись, я стал невольным свидетелем их разговора.

— Ну какое же равенство, когда одни в тюрьмах сидели, другие их стерегли, — сказал, чуть усмехнувшись, Василий. — Я тебе говорил, что и мой отец нашёл в конце войны свою кончину в Заполярье. После услышанного второй раз о Таймыре мне захотелось вступить с ними в разговор, но, одумавшись, я счёл более благоразумным не вмешиваться в их беседу.

— А ведь ты мне ни единого раза до сегодняшнего дня не говорил про своего отца, и то, что он умер где-то в лагерях, — сказал Александр, услышав от Василия второй раз про исчезновение его отца на Таймыре.

— Да я и сам достоверно не знаю, тогда мне семь лет было, мать много лет спустя рассказала, что ухлопали его там «отпетые» уголовники. Что он с ними не поладил, не знаю. Пять лет срок у него был, посадили перед самой войной. Всю войну отработал в Заполярье. Срок закончился, а освобождение задержалось. Буянистый у меня отец был. Убили ночью, а на второй день и освобождение пришло. Точно ли так? Как проверишь? В те годы ни дорог, ни путей туда не было. Да и узнала мать об этом уже через полгода, когда стала повсюду писать. Время то какое тогда было? Вот так-то. На запросы ответили матери, что убийцам вынесли самое строгое наказание. А знаешь кто убийцы? Бандеровцы с власовцами, предатели Родины, за прежние преступления осужденные на 25 лет. Таких людей сейчас к «великомученикам причисляют». Так что, Саша, некуда и незачем писать, — закончил говорить Василий.

— Ну ты действительно скрытный человек, я тебя так давно знаю, а ты мне об этом даже не заикался, — снова с упрёком сказал Александр Василию.

— Да о чём тут распространяться, когда сам не знаю настоящей правды, как и за что посадили отца. По молодости мать кое-что рассказывала, но я как-то не вникал, а когда состарился, то уже не у кого было спросить, мать-то тоже ушла в мир иной, — ответил Василий.

— Ну так сделай запрос, — подсказал Александр, — сейчас это очень модно стало.

— Зачем мне подробности. Мать говорила, что избил отец своего начальника. Теперь что копаться, чтобы узнать, как это произошло, — сказал Василий и, помолчав, добавил: — Это сейчас стараются всех политических,

включая и самую большую дрянь, сделать святыми. Моего отца к ним не причислишь. Мало того что за хулиганство осудили, так ещё по прошествии лет могут что-нибудь и другое отписать, чтоб не разбираться с такими. Вот если бы статья у него была 58-я за измену или предательство, то тут бы можно было надеяться, что будут разбираться. А так? Пустое дело, — закончил Василий.

Я понял, что он когда-то пробовал отыскать истину, но, вероятно, неудачей кончилась его затея. Так оно и было на самом деле.

Через некоторое время Александр снова заговорил:

— И все таки надо бы тебе обратиться да прочитать дело своего отца. Иногда наши «правоведы» допускают такое.

— Ты прав, Саша, хочется мне это сделать, и я признаюсь много раз обращался, только толку мало. Ты же хорошо знаешь, какая «заваруха» идёт в стране: убивают, режут, давят сотнями каждый день, ну кому есть время заниматься жизнью одного человека, пропавшего больше полувека назад. Давай оставим этот разговор, от него мне только тяжко становится.

Замолчали. А поезд шёл нигде не останавливаясь.

— Вася! Ты, извини меня, но я не могу с тобой согласиться, что теперешняя «демократическая» власть лучше прежней советской, — вновь заговорил Александр.

— А когда я тебе сказал про это? По-моему таких разговоров у нас с тобой никогда не было. Откуда у тебя такое мнение сложилось? — сказал Василий.

— В начале разговора ты сказал, что при советской власти кроме заключенных, да их охранников и не было других людей. Это ты у Солженицына вычитал, наверное. А как же ты сам рос, учился, институт закончил и при той же власти стал учёным, да ещё не каким-нибудь рядовым, а заслуженным, это что не в зачёт, — наседал Александр.

— Да брось ты придираться к словам, — миролюбиво отвечал Василий, — было такое, но и хорошего тоже не через край лилось. — Знаешь, Саша, не каждому досталось как мне, — продолжал Василий. — Отца у меня не было с малых лет. Правда, никто не напоминал об этом. Мать с работы не увольняли. Сейчас многие пишут, что за проступки отцов преследовали жен и детей. Враньё это. Но всё равно безотцовщина. Это уж когда подрос, не стал замечать этого, а мальчонкой когда был, то очень завидовал тем, у кого были отцы. И долго был осадок неосознанной обиды. Окончательно избавился от этого чувства, когда призвали в армию (не нынешнюю, а советскую). Правда, там прослужил всего год. Когда отчисляли по болезни даже не хотелось уходить. Хорошо там было…

Меня это как-то встряхнуло. О теперешних безобразиях, что творятся в Российской армии, писать незачем, только попусту тратить бумагу и время. Средства массовой информации показывают такие страшные случаи, что придумать трудно. Но тем не менее при упоминании Василия про Советскую армию я вспомнил один случай, который произошёл с сыном одного грузчика, что работал со мной на одном производстве. Фамилия отца Иматдинов Абдулсамат. Но в бригаде все его называли Сашкой или

Александром. В первые годы XXI века отправил он своего сына служить в армию. Направили его в Читу. Парнишка был как все парнишки: учился неплохо, был послушным мальчишкой. Мог бы поступить в учебное заведение после окончания школы или попросту увильнуть от армии. Не захотел. Решил добросовестно отслужить положенные два года. Можно много писать про безобразия, творящиеся в настоящее время в Российской армии, не надо даже собирать материалы, их в достаточной степени можно услышать по радио или увидеть в телевизоре, что творят распоясавшиеся мерзавцы над законопослушными солдатами. Не миновала сия участь и сына Абдулсамата.

Изуродовали парнишку: переломали рёбра, пробили голову, так что пришлось рану заделывать пластиной, отбили внутренности, превратив когда-то здорового парня в инвалида. Со слезами на глазах отпросился Абдулсамат у начальства в отпуск, чтоб привезти сына домой. Душу раздирает произвол, возникший по вине «отцов-командиров», а также властей, дорвавшихся до руля правления. А ведь совсем недавно всё было по-иному. Лучшая в мире по гуманности, справедливости, дисциплинированности Советская армия за какие то пятнадцать лет превратилась в сборище безвольных, бесхарактерных, лишённых чувства патриотизма обиженных и обездоленных людей. И вздрагивают люди при одном упоминании слова «дедовщина». Понятие «дедовщина» появилось недавно. Во всяком случае, при советской власти такого слова я не слыхал. Сейчас же оно повсюду. В любой семье, даже бездетной о дедовщине говорят с ужасом. А там, где подрастают парнишки, многие матери втихомолку молятся, чтоб сломал Ванька себе ногу или невзначай отрубил палец и из ружья не смог стрелять. Каких только ни придумают способов, чтоб избавиться от «воинской повинности». Не армии боятся. Боятся дедовщины. Так что же это такое? Как помнится в советское время, если парня вдруг забраковывала комиссия и он не служил в армии, девчонки сторонились его, ни одна не шла к нему в жёны: «Не хватало мне жизнь промучиться с прокаженным». И мучился бедняга, пока, куда-нибудь уехав, не находил себе пару. И матери в период грозных нашествий со слезами на глазах, молодухи, месяца не прожившие с мужем рыдая, но без проклятий провожали своих родных мужиков на фронт. Защищать Родину. Не было исключений никому. Ни рабочекрестьянскому люду, ни партийной элите до самого верха. А сейчас?! Ни один богатенький откормыш в армию не пойдёт. Под любыми предлогами. Зачем? От кого защищать? Ну разве станут эти откормыши (да они и простому люду будут всеми способами препятствовать) воевать с друзьями американцами, англичанами, германцами и т.п., когда их папашины деньги (большущие) лежат в банках этих стран. Это уже всем давно понятно. А тут ещё война бесконечная идёт в Чечне. Чечен-то не будет церемониться, кто ему попадёт на «мушку». Прихлопнет, не задумываясь, будь хоть привилегированный откормыш или простой бедолага. Не приведи Бог, если вдруг произойдёт большая заваруха? Тогда как? Я не знаю.

Дедовщина! Как же с ней быть? Откуда она выросла. В начале повествования я обратил внимание, что во времена советской власти такого по-

нятия не было и матери с гордостью и почётом провожали своих сыновей в армию твёрдо зная, что они там приобретут необходимые профессии, специальности, их приучат к дисциплине, сделают порядочными людьми. И когда солдат отпускали домой на побывку, так девки за такими «табунами» (извините за такое сравнение) ходили: «А вдруг понравлюсь, вернётся и поженимся». Было такое, было. Страшно подумать во что мы превратились! Дедовщину породило воровстро высшей элиты.

Но воровать, находясь на вершине власти, незаметно нельзя. Надо или не делать такого, или разрешить другим. И тут началась поголовная растащиловка. Грабёж узаконили в виде приватизации. Получалось, что вроде бы красть стали по закону. Не миновала она и армию. Но в армии танк и пушку домой не утащишь. Да и не у всякого был дом. Тогда (всё пошло с генералов) начали строить коттеджи, дворцы, обустраивались имения, поместья, загородные виллы. И кто строил? Солдаты. А кто их посылал? Не генералы же лично. Шло по цепочке. Генерал даёт дружеское поручение нижестоящему подчиненному. А те вместо того чтобы проводить воинское обучение с солдатами, отправляли их на строительство жилищ высшему офицерскому составу. Солдаты таскали кирпичи, цемент, песок и прочие строительные материалы. Ну, а как же обстояло дело с художественным оформлением, качеством стройки? А это уж дело «техники». Подыскать строителя-инженера в среде безбожной безработицы в наше время совсем не трудно. И возводились хоромы за хоромами для чинов высшего разряда (это тоже был своего рода вид «приватизации»). Ни один солдат никогда бы не возмутился, если бы его заставили строить бастионы, рыть окопы, редуты для защиты от врага. Но находились такие, что возмущались подобным использованием их на воинской службе. И отказывались работать. А вот это уже не входило в расчёты высших «благодетелей»: «Как такое может быть? Почему не можете заставить работать?». И опять пошли команды по вертикали сверху донизу. Дальше можно не разъяснять. Работать солдат по приказу командира самого низшего звена заставляли тоже солдаты, только чуть постарше возрастом, да ещё посильнее остальных. Вот так и родилась дедовщина.

Сам я в армии не служил. Но мне многое о ней рассказал демобилизовавшийся солдат, с которым я несколько раз разговаривал:

— Ну, а тебе то что было плохого в том, что заставляли работать на стройках, какой в этом убыток тебе, срок-то службы всё равно шёл.

— Так то так, — отвечал солдат, — только по прошествии времени, когда заканчивались офицерские стройки нас также заставляли «хребетить» как бы по инерции те же солдаты-«погонщики» уже на себя: то в магазин сбегать, то сапоги начистить, бельё постирать и другие дела, а если плохо сделаешь, лупили не щадя. Многие убегали. Но их ловили и на губу.

Зачем мне было расспрашивать про это у солдата, когда сам видел об этом по телевизору. Наверное, только из любопытства. Но, немного помолчав, сказал ему:

— А вот если бы солдаты в то советское время стали строить дачу для генерала и про то узнал Сталин, он приказал бы расстрелять генерала — как ты-то смотришь?

— Ну зачем такое, это страшно, не согласен, — ответил солдат.

Я посмотрел на него, увидел добрую улыбку (видимо, он подумал, что я пошутил), а мне подумалось: «Доброе и мягкое сердце у наших Иванов — всех им жалко».

Но суть дедовщины лежит не в армии. Это ошибочное представление. Ростки дедовщины исходят из детских садов, школ и прочих воспитательных учреждений. Когда воспитание с самых малых лет зиждется на фундаменте бандитского капитализма, то дедовщина в армии это всего только отлетевший лепесток от махрового «репейника», густо разросшегося по всей нашей стране.

Сложилась такая обстановка, когда дедовщина в армии — это не грубое подавление более слабых сильными, а небольшие всплески огромного пожара, именуемого простым словом «всеобщий грабёж», охватившего матушку Россию. И что-либо изменить уже невозможно, нужно просто ждать пока все сгорит. И то, что останется, может быть с него и начинать всё с начала. Только вряд ли что получится. Когда у человека вся кровь поражена смертельным вирусом, спасти его становится невозможным. Так и со страной, где общество превратилось в сплошную «воровскую малину». Оно тоже погибнет в страшной агонии, вопрос только времени.

Самое страшное — люди заражены самой мерзкой болезнью, называемой стяжательством, когда понятие доброта, милосердие, сострадание и т.п. растоптаны грязными сапожищами вандалов…

А поезд шёл и шёл, мягко вздрагивая на стыках рельс. Попутчики молчали, попивая пивко. Первым заговорил Василий:

— Властью советской, хоть я от неё не видел плохого, был всегда недоволен, а о теперешней власти и говорить не хочу. Ты, Саша, о советской власти судишь по-книжному: свобода, дружба, любовь. А где тогда такое можно было встретить, всё делалось под нажимом. Хотели добиться утопического счастья для народа, а вылилось во всеобщую неразбериху. Только одни расхватали всё, а другим ничего не досталось. И всё это сделали партийцы, члены КПСС, в которой мы состояли с тобой много-много лет. Долго, ещё очень долго не будет справедливой жизни на земле. И как бы ни называли страну, общество хоть «святыми» все равно не будет ни дружбы, ни равенства, пока все люди по-настоящему не станут людьми.

— А когда такое произойдёт и где таких людей взять? — перебил Василия Александр.

— Были Саша такие, были, — ответил Василий.

— Ты что, может, каких святых вспомнил? — спросил Александр.

— Нет, Саша, нет! Первая волна революционеров во главе с Лениным и Сталиным были самыми порядочными людьми, — ответил Василий. — Уважал их народ и шёл за ними не столько, чтоб строить социализм, ведь основная масса народа понятия не имела об идеологии коммунизма, а потому что они революционеры никогда ничего не присваивали себе чужого, наоборот, отдавали на общее дело своё, были истинными бессребрениками. Вот, к примеру, в начальный период советской власти для всех членов совнаркома была установлена месячная зарплата 500 рублей. Однажды

Бонч-Бруевич, который ведал всеми хозяйственными делами Кремля, принёс Ленину зарплату не 500 рублей, а 800 рублей. И как ты думаешь поступил Владимир Ильич? — Василий ненадолго замолчал. — Он отчитал Бонч-Бруевича, вернул 300 рублей и велел сдать их в кассу. А ему объявил выговор. И добавил: «Если повторится что-то подобное, то я поставлю вопрос об исключении тебя из партии». И закончил словами: «Омерзительно жить хорошо одному, когда все живут плохо». Или другой пример тоже из его жизни. Они с Крупской Н.К. жили в Кремле в двухкомнатной квартире. В ней были и спальня, и рабочий кабинет. Вот и сравни его с теперешними руководителями. Для того чтобы стать вождём нации, народа, наконец, справедливого государства, недостаточно быть умным, работоспособным человеком. В первую очередь, надо быть кристально чистым. По Ленину долгое время равнялись все работающие с ним руководители. Об этом очень хорошо знало окружающее большинство людей и оттого сравнительно небольшая группа большевиков так легко взяла власть, свергнув Временное правительство. А что сейчас? Все чиновники установили себе миллионные оклады да ещё взятки берут.

Александр хотел что-то сказать, но Василий опередил:

— Тогда за взятки расстреливали, невзирая на прошлые заслуги, хотя таковых среди революционеров не было. Все понимали, что, присваивая незаконным путём народные копейки, такие люди становятся ворами, а в некотором роде даже хуже. Он, Ленин, всеми силами боролся за чистоту партии. Его девиз: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» был главным движителем того времени. Вот так-то. Вообще, надо признать, что в преобладающем большинстве организаторы революционной борьбы были порядочными людьми. Революционеры всех партий имели одну цель — сбросить самодержавие. Это был их первый лозунг. А вторым — все богатства раздать народу. И это была правда. Много людей богатых сословий из дворян, помещиков отказывались от всяких привилегий и целиком посвящали себя борьбе. Если бы кто-то из них сказал, что боремся, чтоб у одних отобрать награбленное и поделить между собой, то разве пошёл бы за ними народ? Что сейчас мы и наблюдаем.

Действия этих сатрапов были самыми сокрушительными ударами по социалистической системе, которая держалась на фундаменте равенства, братства, справедливости. Поэтому изначальные понятия социализма были в конце века извращены окончательно, потому и власть советскую не уважаю за её несостоятельность.

– И всё ж таки эта власть, потерявшая изначальные цели, была лучше, чем грабительский режим, созданный Ельциным, – добавил Александр.

Он замолчал, и я подумал, что их разговор на этом закончится. Через некоторое время вновь стал говорить Василий:

— Ну, с этим я с тобой согласен. Меня оторопь берёт, когда бывшие коммунисты-перевёртыши горланят, что большевики, а под этим понятием смешали всех: Ленина и Свердлова, Троцкого и Сталина, а также Зиновьева, Каменева, Томского, Луначарского и многих других — причём у каждого из них были другие имена и фамилии далеко не русские — уни-

чтожили свободную Россию, отняли у людей свободу и жизнь, превратив её в настоящий ад. Но не уточняют, что незаконные грабительские привилегии были отняты у самых злостных эксплуататоров. У них отобрали не свободу, а безграничную волю. Сами революционеры себе во всем отказывали. За малейшие промахи, ошибки наказывали своих же товарищей нещадно. В лютую голодную пору пошли на самые крайние меры: изымали церковные богатства и продавали за границу, чтобы на вырученные средства закупить хлеб для умирающего от голода трудового народа. Теперь же эти поступки слизняки-демократы с либералами, ограбившие начисто весь народ, горланят вместе со служителями церкви: «Это было святотатство. Веками скопленное поколениями верующих людей богатство церкви разграбили». Всё верно. По крупицам собирал православный народ эти богатства в храмы и монастыри. Сами священнослужители ничего не произвели. Так почему бы не отдать какую-то часть церковных богатств добровольно, без насилия, с чистым сердцем, без осуждения, на спасение своего же народа. Спасенные же «церковной милостью» люди сторицей бы воздали поданную им щедрой рукой помощь. То-то бы всем была благодать. Да и Господь одобрил бы подобные деяния. Ему то все равны, а не только кто его славит и восхваляет. Большевики не тащили церковную утварь для себя, а на спасение народа. А для церкви неважно, кто правит государством: большевики-христопродавцы или царь батюшка-самодержавец. Народ-то во всех случаях одинаков. Почему сейчас, когда идёт непрекращающаяся растащиловка небольшой группой проныр и мошенников народного добра, не встать на защиту и не провозгласить: «Остановитесь, безумные, вы во много раз хуже тех первых разрушителей, уничтоживших и церковь, и самодержавие. Не кричат. Потому что у церкви и монастырей ничего никто не отбирает. Где ж тут «святая» справедливость? Почему теперешние церковные служители не каются и не осуждают деяния своих предшественников, предавших огню десятки тысяч инакомыслящих, утверждавших, что Бога нет и Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Они-то говорили правду. Хотя я, откровенно говоря, ничего не имею против религии. Главное преступление — раздробили матушку Россию на части и уже много лет миллионы наших соотечественников страдают за границей в так называемых странах СНГ. И никто — ни правительство, ни церковь — палец о палец не ударили, чтобы вызволить их из неволи и приютить в России. Зато прах давно почивших генералов и великосветских дам в далёких странах с великой торжественностью перемещают в столичные города России, утверждая, что этим восстанавливают историческую справедливость. Вот почему, Саша, я ни эту «демократическую» власть, ни ту советскую не уважаю. В двадцатом веке истинными бессеребрениками была небольшая часть идейных революционеров, свершивших Октябрьскую революцию, правда, впоследствии уничтожавших друг друга.

Подобных рассуждений и разговоров я наслушался от многих людей, можно было бы и не вслушиваться в их приятельский спор, но тем не менее хотелось услышать, может, они что-нибудь скажут новенького, мной не слышанного.

— Слушай! — вступил в разговор Александр. — Мы что по-твоему тоже не настоящие?

— Ты, что имеешь в виду под этим словом «настоящие», людей или коммунистов, — спросил Василий.

— Да то и другое, — сердито ответил Александр.

— Конечно, нет, — ответил Василий, — чтобы стать настоящим коммунистом нужно забыть понятие «моё». Моего ничего нет. Ни заводов, ни фабрик, ни банков, ни дорог, ни земли, ни вод, никаких поместий, угодий, лесов. Ну, в общем, ничего. А относится ко всему ты должен как к своему собственному.

— Ну, чего ты мне проповедуешь марксизм, об этом в коммунистических проповедях прописано, и много, много раз мы слышали про такое, — горячо возразил Александр, — у нас было почти 20 миллионов коммунистов. И число их росло. Это что, по-твоему, плохо.

Оба ненадолго замолчали. Наконец Василий заговорил вновь:

— Не о том говоришь, дорогой Саша, действительно членов КПСС было столько, сколько ты сказал, только настоящих коммунистов в этой «орде» было немного. Разве можно считать Ельцина Б., Горбачёва М., Шеварнадзе Э., Яковлева А. коммунистами.

Я тебе об этом только что сказал. А ведь они руководили «коммунистической» страной. Совсем недавно показывали короткометражный фильм про Ельцина в день его 75-летия, смонтированный Сванидзе Н. К. В нем он провозглашал: «Я счастливый человек. Я наслаждаюсь жизнью. Я доволен собой, я дал людям свободу». Этот человек всю жизнь врал и в этот раз тоже. Вместо свободы он породил беспредел. В результате государство, когда-то могучее и величественное теперь (по-блоковски), «как пес голодный», ползёт на брюхе к краю пропасти. Государство может быть богатым и могущественным, когда все члены общества заняты полезным высокопроизводительным трудом, каждый человек исполняет свои обязанности с любовью в меру своих сил и возможностей. А сейчас никто не хочет работать. А ведь клялись, что, — продолжал Василий, — отдадим все силы, энергию, знания на благо народа, довольствуясь самым малым. Разве с такими горе-коммунистами можно было построить коммунизм. Они у голодного и беспомощного отберут последний кусок хлеба. А чтобы стать коммунистом, необязательно быть членом КПСС. Надо быть просто порядочным и честным человеком. Я тебе говорил, что моего отца посадили за то, что побил начальника. Мать мне говорила, что его начальник был такой сволочью, какая редко бывают. Многим пригожим девкам не давал проходу. И к ней тоже «сватался». Ну какой же это коммунист. Она рассказала отцу. А дальше сам понимаешь, что произошло. Начальник попал на три месяца в больницу, а отец на пять лет в лагеря. Вот потому я и просматриваю солженицынский «Гулаг», вдруг где фамилия отца проскользнёт. Он и про бытовиков тоже писал.

— Вряд ли что ты в нем найдёшь. Солженицын на Таймыре не был, да и не стал бы он про твоего отца писать — это не его «класс». Он больше про политических пишет, — высказал свое мнение Александр и добавил: — Он

же, Солженицын, признаёт, что ничего не писал про норильские лагеря, потому что нет у него про этот очаг «зла» никаких материалов». Мне тут же пришла мысль: теперешние демократы раструбили, что в 1953 году в Норильлаге было вооруженное восстание. А вот как пишет Солженицын о событиях в Норильске: «Крупное восстание в Горлаге 1953 г. Норильск. Была бы отдельная глава, если бы был хоть какой-то материал. Но никакого». (Т. 7 стр. 258 «Архипелаг Гулаг». Надо же, про такое событие никто не известил Исаевича. Тут уж он бы раздул «революцию». До чего же наша демократия способствует вранью. Не постыдились «правозащитники народа» вместе с Ельциным 30 октября объявить «днём жертв политических репрессий» только потому, что в 1974 году в этот день в мордовских лагерях заключенные объявили голодовку. Как же складно у них всё получается.

— Так, то так, только все равно от нечего делать заглядываю в его «Архипелаг», — после некоторого раздумья снова заговорил Василий. — Мне вспомнилось, как несколько лет назад во время беспощадного грабежа довелось проехать по глубинкам Сибири. Побывал во многих деревнях и видел прибитые полочки под окнами некоторых очень старых изб. От одного старика слышал, что этим полочкам много-много лет.

Прибивали их для того, чтобы сердобольные старушки клали на них хлеб, соль, иногда яйца, если время подходило к какому-нибудь празднику. И делали такое для нищих, бродяг, а также бежавших с каторги арестантов. Если на другой день все оставалось нетронутым, старушки радовались: «Слава Богу, нет голодных». А если полочка оказывалась пустой, сокрушались и, крестясь, молились: «Есть несчастные, помоги им Господи». И снова наполняли полочку скромным подаянием. Так вот эти старушки в тысячу раз больше коммунистки, чем те прохвосты, о которых я говорил, а подобных им в партии было немало. Они-то и перевернули власть, чтоб расхватать государственное добро.

Василий замолчал. И тут же вступил Александр:

— Получается и мы с тобой не подходящи к этой коммунистической категории.

Василий негромко рассмеялся и тут же ответил:

— Я тебе уже говорил, но ещё повторю более подробно. Какой же ты наивный, хотя вряд ли, скорее всего, хочешь показаться таким. Помнишь когда ты подавал заявление о вступлении в партию, а доцент Семенов отказал тебе дать рекомендацию за твои грехи: наверное, не забыл как с лаборанткой втайне от супруги уехали на курорт в отпуск, и ты меня просил походатайствовать в этом щекотливом вопросе, а я, краснея за тебя, уговаривал этого добрейшего и честного из всех нас человека дать тебе «дорогу в жизнь», и как ты ликовал, получив эту «рекомендательную грамоту», хотя понимал, что за такие грешки не только не принимали в КПСС, а изгоняли из неё членов и с большим стажем. А? Так какой же ты коммунист? — высказал Василий своему другу Саше.

— Ну, знаешь, это не измена Родине, не предательство, — в запальчивости возразил Александр — Как будто у тебя подобного не было.

— Было, Саша, было, потому и не считаю себя настоящим коммуни-

стом. Вот когда станем все как те старушки, что клали хлеб для нищих и беглых и свято переживали за них, тогда сможем считать себя настоящими коммунистами, а пока и заикаться не следует о построении этого светлого царства; таким, как мы с тобой, его не построить, — с нескрываемым сожалением (это было слышно по голосу) сказал Василий. — И давай прекратим разговор на эту тему. Теперь, в годы ельцинских реформ над коммунистами насмехаются, а если кого хотят обидеть, так прямо называют «коммуняка недоделанный» (тут уж нельзя не согласиться с Василием). Выпей лучше, Саша, пивка. Там ещё что-то осталось, — закончил разговор Василий.

Приятели снова замолчали. Василий взял снова солженицынский «Гулаг» и стал листать, что-то отыскивая. Я подумал: «Что он прилепился к этому пасквилю. Там же всё извращено и ничего конкретного». Александр посмотрел несколько раз на Василия и, не утерпев, сказал:

— Ну, что ты там отыскиваешь. Ведь прочитал уже и знаешь, что нет там ни слова про твоего отца. Я же тоже читал, и уж если бы попалась твоя фамилия то запомнил бы.

— Хочу ещё раз прочитать некоторые эпизоды, да сравнить с теперешним состоянием жизни, — ответил Василий. Мне показалось, что он как бы сказал в оправдание.

— Если принять всё, что написано Солженицыным, все беды, горе и несчастья за правду, то и этого не хватит для сравнения, что испытали народы за годы ельцинского правления, а сколько ещё доведется, так что лучше отложи свои размышления, а то времени не хватит оценить, что творится сейчас с народом. Не только в странах бывшего Союза, а по всему миру, — сказал Александр.

— Саша, ты большой фантазёр. Во-первых, такого быть не могло и не может быть, а во-вторых… — Василий немного помолчал. — если бы ты сказал так при старом режиме, то куда бы попал? А сейчас говоришь и ни о чем не беспокоишься. Значит, свободнее стало? — съехидничал Василий.

Александр вдруг сделался серьёзным и очень ровно сказал:

— Ни во-первых, ни во-вторых я бы такого о советской власти не сказал, потому что такого разгрома страны и грабежа не было, и далее, если ты считаешь беспредел свободой, то очень заблуждаешься или прикидываешься несмышленышем. Уж лучше пусть власть наказывает, чем бандит прирежет. Причем делается это безнаказанно. Твоего отца в лагере убили, а как поступили с убийцами. Сам говорил: расстреляли. А теперь и искать никого не станут, убили, ну и ладно. Убивают тысячами.

Василий хотел что-то сказать, но Александр не дал:

— Дай доскажу, потом уж говори. У советской власти было огромное, неоценимое преимущество: существовала дружба между народами, не было озлобленности среди людей. Система не порождала этих пороков, так как не было богатеев и очень бедных людей. Если бы власти проверяли у каждого богатея, разбогатевшего в короткий срок, откуда у него появились офисы, поместья, коттеджи, земельные угодья, на какие средства он стал владельцем вышеуказанных богатств и в случае незаконного приобретения, а таких наверняка было бы из тысячи девятьсот девяносто девять,

отбирали на справедливом основании, воровство сократилось бы во множество раз. А власть имущие этого не хотят, потому что сами такие. Все национальности при Советах пользовались равными правами. Сейчас всё рухнуло. Люди озлоблены: бедные на богатых за грабёж, богатые друг на друга за неравномерность содеянного грабежа, каждый грабитель думает, что ему досталось меньше. Дружба, справедливость, милосердие утонули в стремлении нажиться и разбогатеть. Один на другого смотрят волками. Вот почему я сожалею, что члены ГКЧП с Янаевым оказались такими «сопливыми», хотя понял об этом только теперь.

— Знаешь, Саша, — обратился Василий к другу, — когда ты заведёшься, то тебя очень трудно остановить, ты всех свалишь в одну кучу — и правых и виноватых, только кто прав, кто виноват не сразу разберешься.

После некоторого молчания разговор вновь возобновился.

— Ты, Василий, Ленина с компанией причисляешь чуть ли не к ангелам, Солженицын же его считает преступником. Почему так? — спросил Александр.

— Да я же сказал тебе, что, если сравнить Ленина с теперешними правителями, он действительно святой, — спокойно сказал Василий. — И, читая «Гулаг», я всё время думаю, почему Солженицын в нем столько написал плохого о советской власти, но нигде ни в каких книгах или статьях не осудил расстрел Белого дома, демократии под командой Ельцина.

Мне показалось, что они спорят говоря об одном и том же. «Наверное, пиво начинает бродить», — подумал я, но продолжал слушать.

Опять начал говорить Александр:

— Я этот «Гулаг» прочитал несколько раз, как только он стал доступен для свободного чтения. И чем больше читал, тем больше разочаровывался в его правдивости, а порой и возмущался его противоречиями. К примеру, таким: Солженицын утверждает, что Ленин для свержения царского самодержавия и взятия власти пользовался услугами Германии. И осуждает это, считая предательством. В то же время Власова А., перешедшего на сторону фашистов и воевавшего против нас, русских, с оружием в руках, одобряет, хотя прекрасно понимает, что фашисты воевали с целью закабаления России. Вот этого я принять не могу. Может, ты в каком-нибудь месте этой книги находил объяснение этому. Если нет, а я уверен, что не найдешь, то он, «Гулаг», только годится на «макулатуру». Для другого уже читать эту книгу не к чему. Все утонуло в темноте наступившего страшного бандитского капитализма. И пройдёт совсем немного времени, как все будет переоценено. Только какими людьми. Нам и в кошмарном сне не приснится, что произойдёт в мире в самое ближайшее время.

Александр умолк, но тут же заговорил снова:

— Люди превратились в зверей. Даже хуже. Каждое живое существо заботится, защищает, кормит, даже учит своих детёнышей, пока они не подрастут и не начнут самостоятельную жизнь. А люди? Это же страшно, что творится. Миллионы беспризорных, причем большинство при живых родителях, которые или пьянствуют, или просто не могут их содержать. А что будет через 5–10 лет.

— Ты в чём меня стараешься убедить, Саша? — спросил Василий.

— Я не могу понять тебя, как ты смотришь на существующий порядок в стране: одних коммунистов ты считаешь святыми — это про Ленина. После него всех, в том числе и себя со мной, считаешь недостойными людьми – оттого и рухнула советская власть? — продолжал говорить разгорячившийся Александр.

— Ну что тебе, десять раз повторять одно и то же, — спокойно ответил Василий. — Не смешивай всех в одной тарелке. Я и без твоего убеждения хорошо вижу, куда мы катимся.

— Многие демократы, так называемые страдальцы за народ, как Солженицин, Разгон и им подобные утверждают, что советская власть подавляла инакомыслие и твердят, что это плохо. А я порой думаю, может быть, и нужно было делать некоторые отступления от так называемой демократической идеологии. Примером служат борьба с беспризорностью, победа в Великой Отечественной войне, недопущение наркомании, проституции и т. п. Что сейчас мы видим? Беспредел, произвол, — сказал Александр.

Василий усмехнулся и, немного помолчав, ответил:

— Саша, кончай базарить, твоими разговорами ничего не изменишь. Если бы коммунисты хотели сохранить советскую власть, то сделать такое можно было бы без всяких ГКЧП. Теперь, может быть, многие сожалеют о содеянном, но назад время не повернешь. Да, если уж откровенно говорить, то теперешняя КПРФ и не борется за власть. Они отреклись от самых элементарных форм борьбы. Кроме скромненьких митингов в дни 1 Мая, Октябрьской революции, дни памяти Ленина ничем другим не занимаются. Даже в Думе перестали выступать. Их, вероятно, устраивает такая подвешенность: хорошо жить и ни за что не отвечать. Никого из лидеров КПРФ близко к СМИ не подпускают. Так, иногда появится Зюганов, и тут же укроется, вроде бы отбыл свой «номер». Добьют и этот остаток коммунистов, как поступили в Америке. А власть всегда держат только крепкие руки.

— Да, ты прав! Нужно было бы больше держать в тюрьмах Солженицыных, Разгонов, тогда бы не появились Собчаки, Поповы, Горбачевы, Ельцины и не катилась бы страна в кабалу американо-английскому империализму, — ответил с нескрываемым раздражением Александр. Немного помолчав, спросил: —У нас пивка ещё не осталось?

— Нет, дорогой Саша, все опорожнили, ты же больше прикладывался, да и поздно уже, скоро Москва, — ответил Василий.

— Тогда давай заскочим ко мне да посидим. Супруга будет рада, что так скоро возвратились из командировки, — предложил Александр.

— Ну что ж, — пусть будет по-твоему, — согласился Василий, — все равно у меня дома нет никого: дети разъехались, а супруга… — он замолчал и с грустью добавил: — Сам знаешь, где покоится. А гулять по Москве вечерами даже по людным местам стало небезопасно: хулиганы или откровенные бандиты. Так что уговорил.

Поезд остановился. Пассажиры направились к дверям. Я, не спеша, пошел за ними. Проходя мимо места, где сидели Василий с Александром,

увидел оставленную на столике книгу. Это был «Архипелаг Гулаг» Солженицына. Я знал, что он (Солженицын) много извратил в своих писаниях, но зла на него не имел: за долгие годы много наслушался подобного вранья. Отчего же так был сердит на него Александр, я из разговора приятелей не понял. Скорее всего, порядочным и честным ученым жилось раньше и живется теперь не сладко, вот он (Александр) и «разрядил» свою озлобленность на Исаевиче.

Вскоре Александр и Василий растворились в толпе, а я спустился в метро. Мне надо было ехать дальше. Много горя испытал я в далекие годы советской власти, но чем больше вдумываюсь, тем больше поражаюсь одному: при всех недостатках тогдашнего правления порядок был везде и высокая ответственность каждого за исполнение дел. При этом все органы законодательной (сам избирался неоднократно депутатом) и исполнительной властей работали в интересах народа со всей серьезностью. И вот прошло каких-то 15 лет, и на всей великой Земле возникли хаос, беспредел, разврат, настоящие Содом и Гоморра. И это стало нормой поведения. Большинство потеряли смысл жизни. Их будто подменили. Когда люди, наподобие моих попутчиков Василия и Александра, в подпитии беседующих о солженицынском «Гулаге», порой ругая советскую власть, а больше проклиная автора этого пасквиля, то кажется, что среди безликой толпы, спешащей, ругающейся зачастую встречаются и «динозавры». Только никто не задумывается, что все мы катимся, не стараясь даже сопротивляться, к катастрофическому концу. Прими, Господи, в свою обитель неразумных и непокаявшихся!

Через час ехал я уже по другой дороге и совсем в другую сторону. Но услышанный мной доверительный разговор между незнакомыми пассажирами не давал душевного покоя. Не чувствовалось того удовлетворения, которое приходит всегда, когда, удобно усевшись в вагоне возле окна, с облегчением наблюдаешь за мелькающими постройками, домами, полустанками.

Мне думалось, что я совершил что-то непорядочное, подслушивая разговор довольно приличных, мне так казалось, людей. При этом сам предмет разговора был для меня более знаком, чем этим ученым. И я неоднократно пытался «вырубиться из этого дурманящего тумана», но какая-то сила притягивала меня к их беседе. Зачем? Для чего? Ведь я же прошёл все солженицынские «круги ада» (кроме «первого»), всего видел много больше, чем сам Солженицын. Чувство неприязни к самому себе за подслушанный разговор не покидало меня хотя, собственно говоря, в этом не было ничего предосудительного.

Наконец меня озарило простое откровение: «Слушал или подслушивал разговор этих двух ученых, потому что сам так думал. И в их разговоре находил подспудное удовольствие, что не только простые люди думают так плохо о теперешнем режиме (в установлении которого Солженицын А.И. вложил немалую лепту), неповоротливой и бессильной власти, но и в среде высокообразованных людей. Многие также мыслят. Мне стало от этого легко, и я переключил свои размышления на другие темы, позабыв случайных попутчиков и литерный поезд, что привёз меня из Обнинска в Москву.

Апрель 2006 г.

Размышления о «Круге первом»

Удивительно странно и непостижимо человеческому разуму устроен мир. Не понять сущности законов, установленных какой-то недоступной вселенской силой в неведомые времена. Впрочем, было ли когда начало времени и будет ли ему конец? Да и что такое время? Мы его понимаем по-своему. Возможно где-то в недосягаемых мирах кто-то исчисляет его по-другому. Что мы знаем о Вселенной? Есть ли в ней начало и где её завершение? Мысли бегут, бегут, ищут ответ, хотя прекрасно понимаешь, что отыскать истину Божьего промысла не дано человеку. И сколько бы самые великие умы ни ломали головы над этими загадками, куда бы мысленно ни забирались в звездные миры, понять существо мирозданья никто не сумеет. Возможно, я слишком смело сужу о «гениальных мыслителях», толкующих о человеке как покорителе природы и Вселенной. Кто я такой, какое имею право обсуждать подобные «материи»? Кто-то, может, когда-то доберётся до края Вселенной. Но за ней что-то тоже должно быть? Или абсолютная пустота — вакуум? Но разве кто-то сумеет объяснить это абстрактное понятие? И если она существует, значит, у неё есть и конец. А за ней что? Может, там в недосягаемых далях существуют миры, подобные нашей звёздной системе, где-то на каких-то планетах обитают подобные нам мыслящие существа, ругаются, дерутся, воюют, живут также в страхе и тревогах, а может, наоборот, блаженствуют в полной идиллии, не понимая, что такое грех, предательство, страдания, обманы и т. п. Сколько людей на протяжении многих веков ломают над этими проблемами головы, каких предположений ни изложили, затратив на разрешение подобных вопросов целые жизни.

Ну, а мне-то к чему заниматься этим «ремеслом»? Зачем забираться в неведомые дебри. От подобных раздумий сплошная суматоха и полный душевный разлад. И Земля почему-то кажется маленькой и тесной. У каждого человека своя голова, и думают все по-разному. Одни витают в облаках, другие живут земной жизнью. Одни стремятся отыскать правду на Земле грешной, другие, наоборот, как её извратить, да так, чтобы многие уверовали в истинную непогрешимость вранья. Но о чём бы ни думал человек, ни мечтал о небесных высях, рано или поздно возвращается на свою обетованную землю с заботами, проблемами и неприятностями.

Какие сумасбродные мысли не приходят от безделья, пока едешь в поезде или летишь в самолёте из тёплых стран когда-то нашего юга на Крайний Север. И вот уже совсем немного остаётся долететь до знакомого нам Алыкеля, мысли уходят, в голове проясняется, появляется радостное ощущение скорого прибытия домой. Как вдруг объявление по внутренней системе оповещения выбивает из приятного состояния: «Аэропорт закрыт, посадку будем производить в Хатанге». Голос стюардессы звучит ровно и бесстрастно. Но от этого извещения у каждого пассажира круто меняется образ мыслей. Из блаженно-приветливых все люди становятся хмурыми, некоторые выражают недовольство, ругая неведомо кого, и только очень немногие безразличны к этой передряге. Я всегда, куда бы ни ехал, куда бы

ни летел, с самого начала пути настраиваю себя на различного рода неприятности, поэтому посадка в другом аэропорту в этот раз в какой-то мере даже вызвала злорадство: «Сбылись ведь мои предположения». Но данное известие тут же порождает озабоченность: опять придётся ночевать на стульях в сидячем положении, хорошо если засну, а то всю ночь, а может, и больше придётся «бодрствовать», переходя от одного места к другому.

А самолёт без снижения высоты также плавно продолжает полёт. И вскоре исчезают огни желанного аэропорта. За иллюминатором вокруг только снежная пустыня, которая видится как туманное белое покрывало. И опять потекли мысли, но только совсем в другом направлении. Из звёздных миров незримо спускаюсь на грешную Землю, где живут многие народы, разные люди, у каждого свой мир, своя Вселенная. И в этом мире рядом соседствуют добро и зло, сострадание и равнодушие, любовь и ненависть, правда и ложь. Чего больше? Никто не измерил, никто не смог примирить непримиримых. И идёт бесконечная борьба тёмных сил против добродетели и милосердия. И нет этому ни конца, ни начала. Зачем? Кому это нужно? Вспомнил, как несколько дней назад просмотрел телефильм «В круге первом» по одноименному рассказу Солженицына А. И., от которого до сих пор терзает душевная изжога. Когда-то, много раньше, читая солженицынский «Архипелаг Гулаг», я со многими фактами, в нём изложенными, был не согласен, как не соответствующими действительности, и читал его без удовлетворения, так как данное произведение не обладает художественной привлекательностью. Скорее всего, это напутанный статистический отчёт с откровенным уклоном к извращению.

Мои мысли были направлены не столько к воспоминаниям о чтиве данной книги, сколько к анализу упомянутого телефильма. В данном случае главным героем, вокруг которого завязывается повествование этого фильма, является работник МИДа Иннокентий Володин. Будучи человеком «высочайшей гуманности и человечности», он, чтобы спасти мир от «апокалипсиса», сообщает послу американскому в Москве, что в такое-то время в условном месте в Нью-Йорке будут переданы определенными лицами (американского происхождения) нашим (т.е. советским) людям секреты по изготовлению атомной бомбы. Разведчиков (наших) американцы схватили. Органы НКВД разговор телефонный «засекли» и поручили высокоэрудированным учёным, собранным в шарашке, где отбывает срок наказания и Солженицын А. И. (его роль играет артист Миронов) вычислить по голосу предателя. У меня возникло сразу несколько вопросов. Но пока разберёмся только с одним. Почему такое щепетильное задание НКВД поручило учёным, работающим над решением совсем иных задач. И второе — почему предательство одних людей (в данном случае Володина И.) доверяют разоблачить другим предателям? В шарашке-то были заключенные, сидевшие за «политические преступления». Что органы НКВД не имели других людей и иных возможностей? Не складывается. Скорее всего, это измышления самого автора.

Но не это главное. Замысел Солженицына А. И. откровенен: «Предательство Володина И. является положительным поступком, ибо атомная

бомба в руках Сталина И.В. — это не что иное, как горящий факел в руках обезьяны, прыгающей возле бочки с порохом». Только у Америки (по Солженицыну) бомба (конечно, атомная) будет сдерживающим рычагом от страшной, разрушительной войны и сохранит мир во всем мире. Ну и как же быть, господин Солженицын А. И., с теми фактами, когда любимые вами американцы, при поддержке которых вы получили Нобелевскую премию и были засыпаны за свои пасквили долларами (кстати, аналогичную премию получил и Горбачёв (Миша-комбайнёр) тоже не без их помощи за развал Варшавского содружества, вдруг ставший «миротворцем»), сбросили на японские города Нагасаки и Хиросиму атомные бомбы, на родственную им по духу и идеологии Японию. Разве будет колебаться ваша хваленая Америка бросать или не бросать на Россию и ей подобные страны бомбы, с целью повсеместного наведения американского порядка? Именно, подчёркиваю, атомные бомбы, против которых, вы, господин Солженицын А. И., прилагаете все усилия, чтобы они не попали в руки советских правителей и не были сброшены на мирные города и сёла других стран.

С тех пор прошло много времени, но ни одна страна не сбрасывала атомные бомбы на города противников, кроме расхваленных и любимых вами американцев. Хочу добавить: я тоже старый человек, мне идёт девятый десяток. Я знаю все войны, что были за этот период моей жизни. Но ни одну из них не начинал Советский Союз. Всё это проделывала Америка, перед которой вы с умилением преклоняетесь и которая в настоящее время с ещё большим рвением продолжает свой бандитский разбой. Впрочем, чему удивляться! Их далёкие предки избавились от «скверны» самым простым способом: перестреляли «недочеловеков» целыми племенами, и теперь в их цивилизованных государствах остались только избранные, уж им-то «богом отмеченным» позволено творить всё: и электрический стул, да и гильотина (у друзей французов) истинная благодать для отступников от «демократического» порядка. По-солженицынски получается: Володин И. — это герой (в нашем понятии — предатель). Тогда к какому разряду относит «благодетель», т. е. Солженицын, А.И. Королева, Курчатова, Харитона и многих других учёных, работавших не только над атомной, но и водородными бомбами, а также ракетами для их доставки по назначению? Хочется сказать господину Солженицыну А. И. Или, как его величественно называет Сванидзе Н. К. «глыбой» (вроде Л. Н. Толстого), что не будь у нас ядерного щита, американские буши давно бы поставили нас на колени. Они это делают и сейчас только другими методами, правда, более замедленными темпами, прибегая к изощрённым способам через СМИ посредством подкупа, провокаций, клеветы и поддерживая террористов всех «мастей» и пятую колонну под видом демократических правозащитников по всей стране.

Под тлетворным влиянием империалистической идеологии (которая не встречает никакого сопротивления) российские люди перестали быть людьми, у них не осталось ничего человеческого, довели себя до полного уничтожения: сами себя обворовывая или травя друг друга ненавистью и злобой. Мы потеряли радость в труде, любая работа для людей становится в тягость. Главная цель американских ястребов — отучить наших людей

трудиться и тем превратить в животных. И это им удаётся в полной мере. Ранним утром, уходя на работу, я всегда вижу возле мусорных ящиков несчастных людей, так называемых бомжей, копающихся в отбросах. А ведь Дудинка относится к числу наиболее благоприятных городов, правда, сейчас она называется поселением. Но ладно бы такое было в захолустье. А вот в Москве?

Однажды, а это было 1 сентября 2005 года, возле Ярославского вокзала, а точнее на переходе в метро, я увидел полураздетого мужика. Сколько ему было лет — я не смог определить, так как он был обросшим и очень грязным. Он сидел на самой верхней ступеньке, выпрашивая милостыню. На нищих в московских переходах, метро, вокзалах и прочих людных местах я насмотрелся во множестве и, наверное, не обратил бы особого внимания и на этого страдальца. Но, согнувшись немного, чтобы положить в его протянутую руку монету увидел, что он был совершенно бос и из пальцев струилась кровь. Мне хотелось спросить у него, что же с ним произошло. Даже среди нищей братии подобных не доводилось видеть. В это время мимо прошли двое молодых мужчин в милицейской форме, и я услышал, как один, мотнув головой в сторону нищего, говорил другому: «Ему все пальцы поотбивали молотком, а он всё равно лезет на чужую территорию». В тот момент я не понял смысл сказанных слов, потом уж я разузнал эту страшную трагедию о распределении территорий между нищими группами. Но мне сделалось нестерпимо страшно от бесчувствия «представителей власти», и я вспомнил подобную ситуацию, в которой оказался давным-давно (тоже осенью, только это был 42-й год, когда я находился в лагере), и начальник лагеря, увидев меня в таком состоянии, распорядился сразу отправить в стационар (лазарет). Я в то время был заключенным, и в стране шла война (об этом эпизоде я подробно написал в книге «Святые берега»).

Почему же сейчас в наше демократическое время проходят «блюстители порядка» абсолютно безразлично мимо умирающего на людной московской улице человека. Впрочем, просящих милостыню в этом проходе я увидел целый ряд. Господин Солженицын, или как вас торжественно величает Сванидзе Н. К., «глыбой» наподобие Льва Толстого (ещё раз хочу напомнить об этом) не замечаете подобных явлений. А их же очень много. Я разузнал, что таких бродяг (с которым хотел заговорить), не состоявших в организованной шайке нищих, занимающих не полагающееся им места, в наказание за подобные нарушения избивают самыми изощренными способами, как в данном случае бедняге каким-то тяжёлым предметом раздробили пальцы ног. Когда раздумываю над увиденным, меня все больше охватывал ужас. Не от увиденного. Приходилось видеть издевательства и пострашнее. А от равнодушия облеченных властью людей. Поступи тогда, в том страшном 42-м году, так же начальник лагеря, отвернись с напускной брезгливостью от умирающего доходяги — и не было бы давным-давно меня на этом свете.

Господин Солженицын (опять обращаюсь к вам), ведь столько времени прошло от Великой войны, и тех безногих, изувеченных уже в 1950 году всех собрали, трудоустроили, распределили по больницам и приютам и

уже не было ни попрошаек, ни нищих, а вот с приходом ельцинского режима развелось во много раз больше, чем было после страшной бойни. И чем больше проходит времени, тем больше появляется бродяг, убогих и бездомных по всей стране. Так напишите, пожалуйста, о новом всероссийском «Архипелаге», адовых кругах, которых сейчас много больше, чем было при советской власти, хотя бы в оправдание прежних «гулагов», написанных вами. Может, люди и поверят, что вы писали своё «чтиво», не ведая, что заблуждаетесь. За подобные деяния, свершённые по ошибке, говорят, что прощает и Господь. Напишите. Ведь так много материала. Вы сами понимаете, что живём в период страшной несправедливости. С одной стороны небольшая группа людей «купается» в безумной, ничем не оправданной роскоши, какой не было даже во времена царствующих самодержцев, с другой — огромная масса нищеты и вымирающий народ. Возвращаясь к существу поставленного вопроса, можно сделать следующий вывод: какие бы оправдания ни приводил Солженицын А. И. для Володина И., его поступок есть откровенное предательство Родины, что является высшей степенью преступления. Только за одобрение подобных действий в Советском Союзе таких людей расстреливали, а при царском самодержавии вешали. И народ поддерживал подобные действия. Кстати, в перехвалённой вами Америке, господин Солженицын, за такие дела преступников «сажают» на электрический стул. Вспомните историю. Так кто же вы, Солженицын, Лукин, супруга Солженицына и все участники послесловия телефильма «В круге первом»? Это вы сами себе определите.

А мысли вьются, толкаются, мешая одна другой. Почему Солженицын А. И. оказался на «шарашке», мне невозможно ответить, да и сам Солженицын А. И. вряд ли сейчас скажет по старости лет. Я же запомнил из его «Гулага» только несколько строчек. Том 6 стр. 308: оперуполномоченный завербовывает Солженицына осведомителем. Он становится Ветровым, ибо не хватило духа воспротивиться оперуполномоченному против данного предложения. Хочу напомнить вам (наверное, вы о нём слышали) благородный поступок генерала Лукина (однофамильца теперешнего правозащитника), находящегося в германском плену и отказавшегося служить в армии РОА (предателей), хотя того очень настойчиво упрашивал сам Андрей Андреевич Власов. Ему-то одноногому (у генерала Лукина была оторвана нога) не сладко жилось в фашистском концлагере. Правда, чтобы удержаться от «греха», надо быть очень сильным человеком. Хочу добавить, что осведомителей, сотрудничавших с органами НКВД в период сталинского правления в тюрьмах и лагерях, было много. Некоторые работали добросовестно, помогая органам НКВД в борьбе с уголовниками, бандитами и т. п., другие за определённую мзду в надежде на досрочное освобождение, третьи — за определённые лагерные блага (работёнка полегче, кое-какие подачки и т. д.) В 90-е годы много писалось «откровений раскаявшихся» работников МВД. Но в лагерной среде все категории осведомителей (там не разбирались, кто и за что «трудился») были презираемы. И как поступали с ними «уголовные братки», я писал в своих мемуарах. Поясню: очень жестоко.

Далее том 6, стр. 309: «Потом были шарашки, особые лагеря». Поясняю: «шарашка», в которой господин Солженицын отбывал срок наказания, по его определению, круг первый преисподней, т.е. самый лёгкий из всех мест ада (т. е. лагерей). Тут надо с ним согласиться: условия жизни и работы в шарашках были много лучше (а ему тем более: работал библиотекарем), чем на лесоповале или же в норильских рудниках. И он один за другим прошёл все круги ада. Я тоже (ранее чем Солженицын) провел тринадцать лет, и хоть несладко жилось, но никогда не помышлял о предательстве Родины, да и вообще в среде заключенных подобных разговоров не слышал. Это теперь их стало больше.

Так зачем же Солженицына А. И. направили в шарашку работать над великими изобретениями. Это мне не даёт покоя, так как понять это не могу. В своём «Гулаге» он утверждает, что основанием для этого послужил его ответ при аресте на вопрос следователя «кто он по профессии?», и Солженицин солгал, что он «ядерный физик». И по этой записи в формуляре (это своего рода визитная карточка заключенных, кочующая с ними по лагерям) его направили… Куда? В шарашку. Зачем? Изобретать. Что? Атомную бомбу. Все может быть. Только верится с трудом. НКВД — организация высокого профессионализма. И работу свою исполняла добросовестно. В подобные шарашки (от многих слышал) отбирались учёные с мировым именем, и проверки им производились с величайшей тщательностью до «седьмого колена». Не только самого учёного, но и всей его родословной. И наверняка НКВД, отправляя Солженицына А.И. в шарашку, знало, что в этой области от него толку не будет. Тогда, зачем же всё-таки послали? Я не знаю. В лагерях и тюрьмах могли заставить многое делать. Но откровенное его признание в уважении к власовцам (о чём пишет Солженицын А. И. — стр. 30 т. 7) с каким восторженным умилением описывает дедуля их деяния, помогавших гитлеровцам наводить порядок в захваченных территориях, и как этому были рады люди (наши советские). Не собираюсь оспорить его писанину. Но приходилось в лагерях сидеть с власовцами, бандеровцами и им подобными. Это были бандиты без всяких человеческих качеств (от автора) и совсем противоположное (вернее лютое) отношение Солженицына к идеологии социализма и советской власти не позволяет мне уважительно относится к «великому» писателю, прошедшему все круги ада (повторяю), по которым я прошагал до него. Но на Отечество и социализм никогда не питал зла. Какое бы ни было. Родина для каждого человека одна. И никогда не бывает плохой. Перечитывая произведения Солженицына А. И., никак не отнесешь его к классикам (вопреки мнению Сванидзе Н. К., Познера В. В.), а вот в трудолюбии и стараниях не откажешь. Много постарался дедуля очернить Родину. Его «Гулаг» да и другие произведения сыграли немалую роль в оболванивании народа, и его книги оказали существенную помощь американо-израильским силам развалить социалистическое содружество, а затем великий Советский Союз. Теперь на очереди стоит Россия. Если вдруг подобное случится, то в этом будет немалая заслуга господина Солженицына Александра Исаевича.

Если не произойдёт крутого перелома в нашем российском обществе,

не изменится политика правительства, то Россия как государство перестанет существовать в первой половине XXI века. Думал ли господин Солженицын А. И., что его действия будут способствовать катастрофическому развалу страны, её лакейскому унижению, приведут ко всеобщему грабежу, бандитизму, разврату и всенародной нищете? Наверное, нет! Ибо подобные поступки присущи только Люциферу. Но тем не менее толкать нас в преисподнюю помогала и его рука. Всех! И нет никому исключения. Весь народ, богатые и бедные, катится к катастрофической беде, и чем ближе к ней, тем больше людей, вчера ещё живших в мире и согласии, терзают друг друга, отвергнув все человеческие качества. Хочется крикнуть, чтоб все услышали кем-то сказанные мудрые слова: «Остановитесь! Зачем сбрасывать друг друга за борт, когда корабль пошёл ко дну!».

P. S. Мне кажется, что люди всё больше и больше сходят с ума. Россия превратилась в «воровскую малину». Так говорят повсюду. Но это не совсем так, вернее неточность, а именно страна превратилась в бандитский вертеп, организованный элитой так называемых «цивилизованных интеллигентов». Мелкая сошка, даже авторитеты «воровской преступной клики» им по кровожадности в подмётки не годятся: они во много раз порядочнее «образованных христопродавцев». Убийств, грабежей, изнасилований, случаев терроризма такое бесчисленное множество, что перечислять их просто невозможно, да и незачем. Ими полны экраны телевизоров. Главный вопрос заключается совсем в ином: почему такое случилось? Почему после Великой Отечественной войны, когда мир остался расколотым на два лагеря, воцарилась тишина и спокойствие во всех больших и малых государствах и странах. Но после длительного перемирия мир снова оказался в огне пожарищ. Эта всемирная бойня никогда бы не началась, если бы не рухнуло социалистическое содружество стран, а затем Советский Союз. Развал этих огромных объединений произошёл по причине непрекращающихся интриг, провокаций, особенно со стороны американо-англо-израильского блока и отсутствия твёрдых законов (в последний период XX века) в социалистических странах, и третье — постоянная борьба за власть внутри коммунистического лагеря. С наступлением однополярного мира возглавляющие его страны (Америка, Англия, Израиль) повели откровенно бандитскую политику в отношении других, не устраивающих их режимы стран. Главным вдохновителем и организатором всемирного террора стала Америка. Основной целью этого пиратского блока — беспрекословное подчинение всех народов планеты их владычеству. И если люди не поймут этого и не воспротивятся, то в очень близком времени возродится рабовладельчество, феодализм и крепостное право, а покорённые народы станут для избранных властелинов предметами «домашней утвари».

Сентябрь 2006 г.

Послесловие

За долгую жизнь, что мне подарил Всевышний, я многое видел и многих пережил. Умерли родные, родственники, близкие знакомые, и кажется, что Земля опустела. Всё чаще задумываюсь, кто счастливее: тот, кто, разуверившись в жизни, покидает юдоль земную молодым в окружении целой толпы любящих тебя людей, или, измучившись от долголетия, уходит в полном одиночестве? У меня на это нет ответа. Хотя на добровольный уход из жизни, пусть трудной и тяжёлой не имею никакого желания, но никого не осуждаю за подобные поступки. Впрочем, зачем это? Каждый рассуждает по-своему. На то Господь и наделил людей разумом. Но уходят в «мир иной» добровольно не от хорошей жизни. Подобные мысли начали приходить ко мне с момента начала перестройки, вернее ельцинско-гайдаровских поистине бандитских реформ, когда число самоубийств возросло в десятки, а то и более раз. Люди уходят из жизни, не проявляя сопротивления. И самое страшное заключается в том, что верховные правители не обращают на творящийся ужас никакого внимания. И чем больше проходит времени, тем труднее становится разобраться в переменах, что произошли и продолжают развиваться в нашем «общипанном» Российском государстве, вернее республике, взбаламутивших все народы. И никто не видит выхода из трясины, в которую вверг Ельцин миллионы людей. Сейчас его последователи либералы с демократами используют всевозможные методы клеветы, чтобы извратить и опорочить социалистическую систему, затушёвывая свои мерзости.

Зачем нужно было разрушать стройную систему социализма и кто в этом был заинтересован? В данном случае «изобретать велосипед» не надо. Об этом все давно знают. Ответ однозначен. Непрекращающуюся борьбу, а скорее войну с коммунизмом, вели западные страны под вдохновляющим руководством Америки. А кто выполнил их волю и развалил сначала социалистическое содружество, а потом Союз? Тоже ясно. Это были Горбачёв М. С. и Ельцин Б. Н. Горбачёв М. С., попавший под влияние западных заправил — Рейгана и Тэтчер, а возможно, и завербованный какой-то из разведок, по своей трусости со своими подельниками Шеварднадзе, Яковлевым, Собчаком исполнил гнуснейшее дело. И что же? Все страны, ранее входившие в Варшавский договор, теперь союзники НАТО, на их территории американские войска. Под видом борьбы с терроризмом исподволь готовят развал России. А для чего Ельцину Б. со своими единомышленниками понадобилось развалить Союз? Только затем, чтобы он (Ельцин.) мог стать единовластным правителем в Кремле, изгнав оттуда Горбачёва. И что же? Будучи человеком недалёкого ума, остатки которого пропил в постоянных застольях, добившись верховной власти, как разъяренный бык, начал крушить все, что попадалось под руку: и государство, и своих собутыльников. Что осталось после него? Догорающая страна да две реформы. Реформ за 15 лет было много, но главное — это приватизация и вторая — либерализация цен.

Как разобраться в хаосе случившегося, когда за период демократического произвола в навороченном ворохе перемен не осталось ни одного зёр-

нышка, кроме огромной кучи шелухи. Что можно добавить к изложенному мной в статье? А сколько написано другими? А сказано? Бог ты мой. Демократы, либералы, правозащитники — Новодворская, Ковалёв, Боннэр и им подобные, лжеписатели — Карякин Ю., Радзинский Э., Солженицын А., которому я посвятил не один десяток страниц, ратуя за «свободную демократию» всеми средствами и способами клеветали и поганили идеологию социализма. И что же мы видим! Идёт бесконечная трескотня по всем видам СМИ, выступает президент, заседает Дума, правительство, рождаются десятки новых реформ. Но! Всё впустую. Повторюсь. Из всех реформ действуют безотказно только две. Приватизация и либерализация цен. Приватизация, можно безошибочно утверждать, уже закончена. Растащили всё по своим «сусекам», что принадлежало государству. Лишних людей выгнали, превратив их в бродяг и бомжей. И теперь полновластные хозяева, ублажая свою ненасытность, ведут постоянную борьбу за передел награбленного у государства (надо понимать у народа) имущества. Применяя всевозможные методы, порой насилие. От этих передряг страдает и без того обездоленный народ. Но более страшная реформа — это либерализация цен. Однажды начавшись, она теперь уже никогда не закончится. Это самая разорительная реформа для народа. Безудержный, никем не контролируемый рост цен (впрочем, правительство такое состояние негласно поощряет) держит в нищете большую часть людей.

Доведенные до нищенского состояния толпы народа протестуют, и тогда верховные правители в виде подачки повышают мизерные пенсии и коекому зарплату. Сами не зная, чем же себя утешить разъезжают по южным странам, растрачивая баснословные деньги на покупку дворцов, яхт, земель и прочей недвижимости в наиболее «цивилизованных странах». Не находя и в этих «играх» полного удовлетворения, затевают новые, не проходящие без кровопролития. Что можно сказать на это? Не бывает полного счастья, когда оно пришло за счёт несчастья других. Но грабители над этим не размышляют. Охваченные одной страстью к наживе и обогащению идут на любые преступления, особенно когда возникает передел собственности, кто уж тут думает о людишках. А народ всё беднеет и беднеет, больше становится нищих и бродяг. Либерализация, как кровавый упырь, высасывает из нищеты последние капли крови, цены растут, продукты и товары дорожают с каждым днём. Совсем немного пройдёт времени, когда «цена» денег дойдёт до предела и тогда посредством «отрезания» нулей от миллионных купюр, как это уже было, их приведут снова в исходное «положение». И мизерные накопления, собранные бедняками «на чёрный день» по рублю, по копейке лопнут как мыльный пузырь. И опять народ впадёт в истерику, прибавятся к сотням тысяч самоубийц десятки тысяч новых. Нет для народа просвета. Не видит его и кучка вознесенных вверх повелителей. Они потеряли разумение. И в безысходной тоске остаётся надежда на Всевышнего. Господь! Сделай людей счастливыми, освободи алчных от чёрной зависти и жадности ненасытной. Может, тогда всем станет легко и повсюду восторжествует справедливость и совесть. А пока… С высоких трибун льются заверения правительства, депутатов Думы (особенно членов партии «Единая Россия»

и представителей «купленных» СМИ) о росте ВВП, зарплате трудящихся, улучшении жизни народов, увеличении доходов населения и счастливом будущем. Точно так же как при коммунистах. (Господин Кудрин заявил, что в 2050 году будем жить лучше, чем в Америке. Можно подумать, что там негры живут сейчас лучше наших бедняков).

Конечно, денег у нас, вернее, у правительства, а ещё вернее у небольшой кучки людей, за счёт продажи жизненно важных ресурсов становится все больше и можно было бы согласиться с доводами высокопоставленных чинуш, если бы при росте заработной платы у беднейших слоёв цены на продукты, товары и т.п. снижались. Пока же мы видим обратное. При увеличении заработной платы, пенсий на мизерные проценты, цены на все предметы и товары растут в разы. Только за пять последних лет цена квартир увеличилась в десятки раз, а стоимость коммунальных услуг достигла умопомрачительной цифры. А ведь уверяют, что становится всё лучше. Коммунисты не опускались до такого вранья.

P.S. Все виды прочих реформ в Минздраве, образовании, сельском хозяйстве и т. п. всего-навсего метастазы огромного зловещего органа (приватизация плюс либерализация цен), выпестованного Ельциным и его подручными собчаками, чубайсами, яковлевыми, черномырдиными и т. п. В России не осталось «живого» места, не тронутого тлетворным влиянием ельцинского разбоя. Огромный хищный спрут пронизал ядовитыми щупальцами все слои населения, уничтожив все человеческое, и с космической скоростью пожирает людей славянского происхождения, ежегодно численность россиян сокращается на миллион человек. Никакие реформы, преобразования, наконец, программы, даже если они бесподобно разумны (на бумаге), ничего положительного не дадут до тех пор пока не будет наведён порядок. Порядок, дисциплина и высокая ответственность всех и повсюду, с самого верха до последнего клерка. А такое возможно, когда власть имущие обладатели несметных богатств «вымоют руки», ликвидируют свои счета в иностранных банках и тем самым освободятся от зависимости заграничных повелителей. Были времена много хуже, страшные беды обрушивались на Русь многострадальную, но тогда все от мала до велика боролись с разрушением и разорением, в великом борении отстаивали целостность государства, у всех была одна цель и общность интересов. А теперь? Огромная держава, созданная поколениями российского народа, подтачиваемая изнутри замаскировавшейся группой предателей, под вид радетелей народных «червячков-либералов с демократами» всевозможных «общественных» организаций, развалилась на огромные глыбы и продолжает разрушаться. А обездоленная масса людей молча и безропотно взирает на погибающую отчизну и вместе с обломками сползает в преисподнюю. И никакие силы не остановят это падение, пока Георгий Победоносец не поднимется и не воскликнет: «Народ православный! Опомнись! Воспрянь! Объединись! Только воедино, взявшись за руки, спасетесь от надвигающейся с Запада заразы, отодвинете мир с дороги страшной надвигающейся войны».

Июль 2006 г.

Призрак прошлого

В старости всё даётся трудно. За что бы ни взялся, получается плохо. Не хватает сил, а главное — желания. И совсем слабо работает голова. Память с трудом выталкивает события далёких лет, иногда (а порой часто) перепутывая их во времени. Хочется смириться: ну, зачем себя изнурять, напрягать память, отыскивая в далёких уголках давно промелькнувшие тени ушедших лет, имена людей, упокоившихся где-то на далёком церковном погосте. Зачем это надо? Ведь скоро встретимся со всеми и обо всех забытых делах, свершённых на земле, будет достаточно времени во Вселенском вечном мире вспомнить и погоревать: как-никак, а вместе когда-то жили и что-то сделали на древней и такой прекрасной Земле. Но пока до этой встречи надо хоть чем-то заниматься и что-то делать. Иначе от полного безделья можно оказаться в одиночестве (даже если вокруг много людей) и забвении.

Чтобы избежать этих неприятных недугов, я всё свободное от работы время использую для написания мемуаров. Зачастую свои воспоминания излагаю в стихотворной форме. Мне «стихотворчество» даётся трудно, стихи получаются слабыми, я понимаю, что они мало кого интересуют, но отступать не хочется. Боюсь одного: чтобы не пропало желание. Чем тогда буду заниматься, когда уйду с работы на заслуженный отдых. Скоро исполнится 30 лет как я влился в «когорту» пенсионеров, но не ухожу с работы (хотя при таком разрушительном процессе, что идёт в Дудинском порту, кое-кому хотелось бы, чтобы я освободил место) только из-за боязни пустого времяпровождения: чем можно заниматься на севере безработному старику?

За последние 10 лет я написал четыре сборника рассказов и стихов. Уже два года как начал писать пятую книгу, но этот труд мне даётся с великими муками. Чему тут удивляться: ведь исполнилось 83 года. Порой вкрадывается сомнение: осилю ли, да и нужна ли кому моя писанина? Ведь то, о чём я успеваю написать в быстротекущей жизни, стареет и теряет привлекательность. События настолько стремительны, что поспеть за ними у меня не хватает «прыти». Ну что ж! Одно успокаивает: благо есть занятие. Очень часто меня многие спрашивают: «Зачем писать в уже очень преклонные годы? Ведь сколько мы знаем тебя, ты за многие десятилетия не написал ни одного рассказа, ни одного стиха. Получается, что ни с того ни с сего, «помолившись», взялся за перо и приступил к изложению прожитой жизни? Может, когда-то много раньше ты пробовал упражняться этим ремеслом и после долгих лет возвратился вновь к нему?». Я обычно в таких случаях отмалчиваюсь или говорю неправду: «Разве только один я начинаю писать мемуары в конце жизни? Много таких, как я, весь остаток жизни посвящают воспоминаниям, излагая их в различных формах». Причину же своего долгого воздержания от сочинительства стараюсь умалчивать, хотя никаких секретов в этом нет.

Писать же я начал давно. Первое своё стихотворение написал когда мне было 12 лет. Я этим очень гордился и смотрел на своих сверстников свысока,

воображая себя Лермонтовым или Блоком. За что меня мои же приятели поколотили (правда, не очень сильно). Я на них до сих пор в обиде, что не дали мне тогда настоящую взбучку и не выбили «дурь из головы». Писать я не перестал, о чём я потом очень пожалел. За такое усердие меня избрали в школьную редколлегию стенной газеты, и спустя некоторое время, после выпускных экзаменов, когда некоторые ребята из редколлегии вместе с редактором ушли из школы, меня назначили редактором. И с тех пор до самого конца я со своими школьными ребятами выпускал стенную газету. Кажется с названием «Комсомолец». Хотя за достоверность названия не ручаюсь, уж больно много прошло с тех пор времени. Отучили же меня писать не мальчишки, что поколотили за моё «зазнайство», а совсем другие люди, причём очень надолго.

А было это в мае 1941 года. Как-то раз на Лубянке (есть такое «учреждение» в Москве, о котором многие наслышаны), где я находился уже несколько недель, меня ночью вызвали на допрос. Это было обычным явлением, и хотя я ещё не очень хорошо освоился с тюремным режимом, тем не менее такой метод общения со следователями вошёл в привычку, и я с каждым разом всё больше привыкал к этому, тем более что всех сидящих в камере «приглашали» к дознавателям в ночное время. Сколько лет существует эта тюрьма, кто был в ней первым арестантом доставленным в неё для «допроса и сыска» и сколько человек прошли через неё, наверное, не скажет никто. Много различных страхов и ужасов довелось мне услышать про это тюремное заведение до того, как попасть в него, и в первые дни заключения снились по ночам кошмары. Но все эти «страшилки» развеялись в первый же месяц. Много позже, раздумывая о прожитой жизни, я понял, что страхи об этой знаменитой тюрьме перешли из далёкого прошлого, создавая ореол мученичества и страданий арестантам, побывавшим в ней. Единственным страшным ощущением было ожидание срока заключения (кто попадал туда знали, что малыми сроки для арестантов Лубянки не бывали, да ещё изнурительные постоянные допросы в ночное время, когда очень хочется спать). Правда, дни нахождения на Лубянке, как призраки прошлого, мне иногда снятся и сейчас. Когда меня завели в кабинет для допроса, где я уже побывал несколько раз, то вместо прежнего (молодого) следователя я увидел довольно пожилого и, как мне показалось, уставшего человека. Наклонившись над бумагами, он читал, перелистывая один листок за другим. Конвоиры ушли, оставив меня одного с ним. Через некоторое время он оторвался от чтения бумаг, некоторое время смотрел на меня и, чуть усмехнувшись, сказал:

— Ну что, горе-революционер, стоишь? Садись! В ногах правды нет.

Я молчал. Так меня научили сокамерники: «Молчание — самый лучший способ получить меньший срок». Это мне запомнилось крепко. Я сел.

— А что молчишь-то? — спросил меня следователь.

Не понимая, как мне в таком случае быть, я ответил:

— Так вы же меня ни о чём не спрашиваете, вот потому и молчу.

— Молодец! Только в любом случае, когда входишь к кому-нибудь, надо здороваться. Понял? — сказал следователь и посмотрел на меня.

— Да конечно, — ответил я и, как бы следуя его наставлению, добавил: — Здравствуйте, гражданин следователь.

— Ну, вот видишь, теперь как-то даже теплее стало, можно будет и поговорить, — негромко и, усмехнувшись, проговорил на моё приветствие следователь. Мне показалось, что он говорил с каким-то сожалением, а скорее недоумением. Видимо, нечасто попадали ему на допрос семнадцатилетние парнишки.

— Скажи мне вот что, — начал он, — от кого ты услышал, что наша техника хуже немецкой?.

Этот вопрос мне уже много раз задавали здесь же до него и я, не задумываясь, отвечал:

— В очереди стоял за хлебом, мать послала, там мужики так говорили.

— А почему о Сталине отзываешься плохо? — снова спросил он.

— Так я уже говорил ещё до вас следователям, что тоже слышал от них же, то есть мужиков, — ответил я, зная, что не поверит и будет о многом и долго расспрашивать.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, только зачем эту ерунду надо было записывать, а? Причём в листовку, — тихо и без какой-либо озлобленности спросил он. Любой вопрос, в котором упоминалась листовка, повергал меня в дрожь, и я сразу покрывался потом: знал (в камере говорили) что за листовки мало не дают. Мне его тоже задавали и ранее, поэтому, чтобы не ломать голову и себе, и следователю, ответил, как и прежде:

— Чтобы не забыть.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, только скажи мне имена этих мужиков, что вели разговоры между собой в очереди? — ненавязчиво и просто спросил он.

— Я ведь никогда не знал этих мужиков и после того случая не ходил в очередь, как же я узнаю их фамилии? — ответил я и замолчал. Молчал и следователь.

— Ладно! Вроде бы у тебя всё складывается по порядку. Перейдём дальше. Скажи мне, вот тут у тебя написано, что Сталин искажает учение Ленина, тоже мужики говорили? — спросил он с какой-то иронией.

В голосе его уже не чувствовалось доброты. Я хорошо помнил, когда и с кем я вел подобные разговоры, но правду говорить ему об этом не стал. Зачем впутывать людей, доверившихся мне и рассказавших о своих взглядах на существующую действительность. Чтобы не подвергать себя лишнему «истязанию» (откровенно говоря, длительные «беседы» с работниками дознания подобны тяжким испытаниям, если кто не верит, то случись с кем подобное — помяните о моей искренности), я ответил, что я придумал сам.

— Ну что ж! Молодец: надо же в таком возрасте и такая философия. Врёшь, конечно, ты, но примем пока за правду. Не понимаю только, зачем тебе это понадобилось? — спросил он и замолчал.

Молчал и я. После некоторой «передышки» он вдруг совсем для меня неожиданно (возможно, это был определенного рода приём, а может, и правда) перестал задавать мне вопросы и стал рассказывать о том, что он в далёкие революционные годы тоже таким же, как я, по возрасту прини-

мал участие в забастовках, различного рода стачках, бегая из одного района Москвы в другой, разносил листовки, которые призывали к свершению самодержавия, к борьбе с буржуазией, за равенство и справедливую жизнь. Только тогда весь народ бунтовал и руководили этой борьбой такие революционеры, как Ленин, Сталин, Дзержинский и многие другие. А ты-то с кем надумал свергать советскую власть. Разве у вас был кто-то из им подобных? — глядя в упор, спросил он.

Никаких вдохновителей и наставников у меня не было, даже если бы захотел кого-то выдумать, то наверняка бы не смог. Правда, когда-то я слышал про Троцкого Л. Д. «верного ленинца», хотелось сказать про него, но вспомнил, что того ухлопали уже год назад, после некоторого молчания, ответил:

— Никого не было.

Не знаю зачем ему хотелось начинать такой разговор. Скорее всего хотелось выговориться. Ведь однообразие очень надоедает. Вот почему, наверное, и отвлекся, чтобы память «побаловать». Наступило опять длительное молчание. Следователь вздохнул, посмотрел на меня и сказал:

— Знаем мы об этом, и спрашиваю тебя только за тем, чтобы узнать, как ты мне на мой вопрос ответишь. Горе ты одинокое, тоже мне в революцию подался,— сказал следователь и в заключение разговора посоветовал: — Не занимайся больше пустой и ненужной писаниной, ибо твоя фантазия никому не нужна, а вредить будет только тебе.

Я на всю жизнь запомнил его совет и добросовестно исполнял долгие-долгие годы. Многое изменилось в моей жизни за прошедшие шестьдесят с лишним лет. Изменились мои взгляды на прошедшее время, в другом виде предстают «вихри революционных водоворотов», деятельность вождей-революционеров, за свои ошибки, свершённые в молодости, в чем очень раскаиваюсь, видя творящиеся безобразия «борцов с привилегиями», захвативших обманным путём верховную власть и растащивших народное добро, и чем дольше живу, тем больше поражаюсь, почему разум приходит к людям всегда с опозданием. Видимо, Всевышний тоже допустил ошибку, создавая человека, а может, такое он сделал умышленно, ибо в противном случае жизнь была бы однообразной и скучной. И в то же время восхищаюсь мудрыми, кем-то сказанными словами: «Жизнь прожить не поле перейти».

Возвратившись под утро в камеру — мои товарищи уже не спали: подъём был в 6 часов, — я рассказал всё по порядку про нашу со следователем беседу. Все молчали, пока я говорил, только изредка, когда кому-то что-то было непонятно, переспрашивали. Эти люди были больше несчастны, чем я. У них у каждого на свободе оставались семьи, дети, родители, жёны, родственники. Я не помню ни имен, ни фамилий тех арестантов, что тогда были со мной и наши разговоры, беседы, советы — всё стерлось из памяти начисто, лишь некоторые эпизоды сохранились в далёких тайниках сознания.

— Наверное, он вступил в доверительный с тобой разговор, чтобы узнать, кто ещё состоял в вашей «банде», — съехидничал сидящий с нами старичок. Так он назвал нашу «политическую группировку» из четырех человек.

— Нет, — заметил другой, — он просто изучал, как ты прореагируешь и что ответишь. Энкаведешники уже наверняка всю вашу школу «перелопатили», всех учеников и учителей допросили, так что, если бы что докопали, то не так миролюбиво разговаривали с тобой.

О чём только ни говорили между собой сидевшие тогда на Лубянке арестованные. Говорили, кого и за какие провинности арестовали: одни «ни за что», другие «кое за что», третьи «просто так». Теперь уж и не вспомнишь. Забылось всё. Даже лица не вспоминаются. Время очень далеко ушло.

Помнится только камера с закреплёнными к полу металлическими кроватями, железный козырёк над окном, пропускавший свет только сверху, и бесконечный коридор со множеством дверей, ведущих непонятно куда, а точнее в никуда, и небольшой затемнённый кабинет с пожилым следователем, давшим мне то ли напутствие, то ли установку, как мне дальше жить в новой и неведомой для меня жизни: «Сколько бы тебе ни довелось прожить, советую никогда не браться за карандаш и не заниматься «писаниной». Вот это я хорошо запомнил и в своём небольшом откровении позволил повториться. Нарушил же его только в старости, осветив некоторые эпизоды из моей жизни о событиях, затронувших, а вернее всколыхнувших целые народы, ввергших их в сплошную неразбериху, одних вознёсших вверх, остальных — в пучину безысходности, никого не призывая ни к каким переменам, возмущениям и т.п. Зачем? Против кого? И для чего?

Когда ломают старое, чтобы сделать лучше, то новое становится ещё хуже. Как сказал когда-то Черномырдин: «Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда», переиначив изречение, кем-то давным-давно до него сказанное: «Хотели сделать лучше, а получилось как всегда плохо», присвоив его себе. Вот, мол, я какой — тоже не лыком шит. Что тут поделаешь. Присваивают себе теперь и не такие мелочи. А об этой «присказке» написал, чтоб показать, какое же он ничтожество, хотя воровал и по-крупному, этот бывший глава нашего дурацкого правительства, скорее плутоватого. Впрочем, сейчас воруют все и всё. Не брезгуют ничем. Никчёмные журналисты и журналистки воруют стишки и стишонки, переделывая их по-своему умению. Старые, душевные песни извращают в силу своего воображения, скоморошничают на эстрадах, насмехаются над памятью народных вождей. Но иногда не брезгуют и покушаются на маститых персон — даже у М. А. Шолохова пытались оспорить право на авторство «Тихого Дона» в пользу офицера «белого движения». Воруют повсюду. Народ к этому привык, что это «ремесло» стало нормой. В общем, воруют от пятачка до миллиардов, по возможности. Задумаешься и невольно повторишь: «Скучно и страшно стало жить, господа-товарищи, на этом свете!» — кем-то сказанное грустное изречение.

Каждый вечер, придя с работы, включаю телевизор, заранее зная, что ничего хорошего не увижу. Какую бы программу ни показывали — всюду убийства, грабежи, разврат и повсеместное воровство. Воруют все, но показывают не всех. «Уважаемых» высоких чинов в телевизор не толкают. Однажды в газете «АиФ» были опубликованы фамилии членов правительства, давших интервью о своих доходах за 2005 год. Не буду за-

труднять читателя перечнем фамилии «трудоголиков», честным трудом заработавших «законные» миллионы. Приведу только одну фамилию министра природопользования Трутнева, доходы которого в 2005 году составили 211 млн. рублей. Но не это меня удивило. Некоторые хватают и больше. Только как жить старику, отработавшему всю жизнь, на пенсию 1600 рублей и платить за коммунальные услуги 2000 рублей? Меня поразил цинизм нашего правительства, которое предусматривает к концу 2007 года увеличить минимальную зарплату с 1100 до 2000 рублей, а депутат Госдумы Исаев («рьяный радетель» за трудовой народ от профсоюзов), захлёбываясь от восторга восклицал, что это одно из самых серьёзных достижений (надо полагать и его). Ну, что можно будет купить за эти 2000 рублей через год, когда рабочему торжественно объявят об этой «победе». Инфляция (рост цен) сожрёт не только «это увеличение» но все малые сбережения трудового народа как было уже не единожды в период правления «демократов с либералами, которых возглавляли «борцы с привилегиями». И правительство поддерживает эту политику цен, хорошо понимает, что от разорения бедняков их казна (бюджет) пополнится за счёт отчислений (налогов на продажу). Работать высокопоставленным чинушам легко и просто. И рабочим немного подбросили, и себе можно многомиллионные зарплаты устанавливать. Попробуй сказать такому чиновнику, что он вор, обидится и тут же найдёт отговорку: «Я работаю не покладая рук и тебе же советую. У нас свобода всем и каждому». Впрочем, рабочий такого не скажет: у него выбили «демократией» и «свободой» всякое соображение.

Много лет назад мне довелось присутствовать на конференции комбината в г. Норильске. Прекрасное было время. Рабочие со всех предприятий выступали по множеству вопросов. Я речи всех выступавших позабыл, но, раздумывая над творившимися безобразиями в настоящее время, вспомнил речь одного металлурга с никелевого завода. Он резко критиковал руководство своего предприятия и выплеснул «горечь» в адрес директора комбината Колесникова Бориса Ивановича. Примерно его критика выглядела в таком плане:

«Вы, Борис Иванович, получаете много больше, чем мы, металлурги. Наш заработок составляет 750 — 800 руб., а вы получаете 1500 рублей. Разве это справедливо?»

Помню из того разговора между металлургом и директором комбината только одно:

«Ты работаешь четыре часа, а я работаю почти сутки, давай поменяемся, — ответил металлургу директор, — я ведь хорошо знаю твою работу (он когда-то был директором этого завода), только сумеешь ли ты управиться с моей?».

Я вспоминаю этот случай, чтобы сделать сравнение с господином Трутневым, получившим доход за 2005 год 211 млн. рублей (повторяюсь). Вот напомнить бы тому «горлопану-металлургу», какое соотношение в оплате между руководителями и рабочими было в то время и теперь. Я же со своей стороны хочу добавить, что такое соотношение заработных

плат металлургов (750 — 800 руб.) и директора комбината Б. И. Колесникова (1500 руб.), конечно, было несправедливым. Директору надо было в ту пору платить много больше, ибо с режимом рабочего дня директора мне доводилось сталкиваться. Впрочем, президенту (первому) Горбачёву М. С. утвердили на Верховном Совете оклад в 4000 рублей, правда, оклады сотрудников в институтах колебались от 90 до 110 рублей. Но картошка стоила 6 коп. за 1 кг, а хлеб 15 коп., сахар 90 коп. Но не это главное. Самое страшное заключается в том, что люди потеряли самые элементарные человеческие качества. У всех без исключения богатых и последних нищих одна завлекательность: деньги, прибыль, нажива. Для достижения этих целей убивает брат брата, сын отца, дочь отравляет мать. Впрочем, всего не перечислить, о чём пишут газеты, говорят по радио, показывает телевизор.

Идёт непрекращающаяся война на Кавказе между соотечественниками, когда одну часть населения определённые американские службы за их проклятые доллары подкупают, натравливают на беспощадные убийства других ни в чём не повинных жителей. А тысячи так называемых «правозащитников», которых развелось превеликое множество, посредством извращения советского (бывшего) порядка, восхваляя американский капиталистический образ жизни, разлагают трудовой народ, убивают в нем нравственность, любовь к родине, любовь к труду. И катится по стране страшный вал хаоса и ужаса, разлетаются вдребезги понятия: сострадание, милосердие, бескорыстная помощь, справедливость, доброта. Повсюду порок и обман. Пьянство, проституция, наркомания, миллионы беспризорных ребятишек, сплошная безработица, гибель сельского хозяйства и неудержимая алчность к деньгам, наживе, корыстолюбию. Всё человеческое попрано. Хочется крикнуть власть и богатство имущим: «Одумайтесь! До чего же вы довели народ. Он катастрофически убывает каждый день: беспризорники, бомжи, безработные вымирают от голода и холода, пьяницы от «палёной» водки, бандиты убивают один другого, проститутки умирают от СПИДа, перезаразив половину мужиков, и скоро не станет народа. Останетесь вы! А ваши холёные дочки будут чистить грязные сапоги американским оккупантам, а сынки-откормыши в лучшем случае определятся вышибалами в чужеземных ресторанах или «накаченные» наркотиками упокоятся на окраине общественной свалки. И не будет больше ни бедных, ни богатых. Впрочем, один из ярких представителей хвалёной демократии Чубайс А. откровенно заявил, что если 30 млн. чел. умрёт, ничего в этом нет страшного, значит, они не вписались в наши реформы. Надо поправить его. При таком порядке в стране умрёт больше. Какой же ты жестокий и тупой человек, Чубайс. Впрочем, зло никогда не бывает умным.

P.S. Почему в царские времена и при тоталитарном режиме, надо понимать советский период времён, был во всей великой державе среди народов населяющих её просторы порядок. Не было повального воровства, бесчисленных убийств, грабежей и разбоя, насилия, случаев работорговли, торговли детьми, женщинами, и прочих мерзостей западного толка. И такое сейчас приняло норму жизни. Население, спасаясь от вселенского погрома,

вставляет в окна железные решётки, устанавливает металлические двери. Но эти меры мало помогают. Так в чём же причина резкого ухудшения состояния общественной жизни. Ответ прост: люди утратили нравственность. В этом огромную роль оказали мужи-демократы государственной власти и так называемые «борцы за права человека из демократов-либералов». Эти особенно усердствуют в развале Российского государства. Они в преобладающем большинстве на служении американских и израильских разведок. И как же хочется, чтоб в стране был порядок.

Эпилог

Тяжело и томительно находиться в стенах главной тюрьмы (впрочем, и других не легче) страны, где в камерах разговаривают вполголоса, на окнах навешаны «ежовские козырьки» через которые свет пробивается только сверху, длинные коридоры, по которым охранники водят арестантов на допрос с закинутыми назад руками (наручники не надевали ни на кого ни в одной тюрьме, наверное, по причине, что кандалы и наручники являлись неотъемлемыми предметами капиталистического, а скорее царского режима). Повсюду полутьма, за стенами бушует май, а тебе всего 17 лет.

Невыносимо трудно оттого, ибо не знаешь, что ждёт впереди, какой будет приговор и сколько лет придётся томиться в застенках. И это, очень трудное далёкое прошлое все чаще и чаще приходит на память в противовес теперешней действительности, жуткому страху от повального разбоя, бандитизма, издевательств, богохульства, охвативших всю страну. И призраки прошлого, с чего я начал своё изложение, кажутся всего-навсего лишь слабой тенью в сравнении с теперешней жизнью, переполненной ужасом и непредсказуемостью. Самое страшное в нашей действительности определяется не тем, что небольшая часть ловких проныр захватила в своё беспредельное пользование народные богатства, ввергнув в нищету огромные массы народа. Такое имело место и ранее, правда, не в таких размерах. Великая вселенская беда обрушилась на общество: люди под воздействием внешних, так называемых западных американских сил, и внутренних (государственных воров, предателей, «правозащитников») факторов утратили нравственность. Почему такое стало? Все очень просто. Наши верховные «правители-демократы», отвергшие идеологию коммунизма сами безнравственны. Труд, успех, всеобщее улучшение жизни — основные принципы социализма, заменены противоположными: прибыль, нажива, обогащение, бизнес, отвергающие все человеческие качества. И церковь — сеятель добра, хранитель душ человеческих — далеко не отвечает своему (вернее божьему) предназначению. Кому станет поклоняться и верить народ, когда в толпе прихожан можно услышать: «Батюшка всего два годика как приход получил, а уже три квартиры приобрёл. Себе и детям». Что это? Господь послал. Нет на народные медяки купил. Правда, немного таких. Но есть они, есть. И молва разносится быстро и неотвратимо. Тёмные пятна ярко выступают на светлом фоне. И теряется вера в справедливость Всевышнего.

И тем не менее прихожане в церковь идут. Зачем? Коль веры нет. А приходят от безысходности, да ещё чтоб заглушить свою безнравственность и равнодушие, поразившие души людей за несколько лет ельцинского правления. И катится по миру вал растления народа, слова «бандит, вор, истязатель, маньяк» стали в обиходе привычными для слуха людей. И только чуть начинает смеркаться — разбегаются все в свои хаты, домишки, квартиры, запираются на железные запоры и, уткнувшись в телевизор, вздрагивают от каждого стука в дверь. Неуютно живётся в наше время, много хуже и страшнее, чем при советской власти.

Декабрь 2006 года

Страх

Однажды в далеком детстве со мной произошел курьезный случай. Как и все мальчишки 12-13 летнего возраста, я любил озоровать. Теплым майским днем, окончив школьные занятия, с несколькими друзьями мы отправились гулять в лес, а после этого хотели сходить на речку и, накупавшись вдоволь, пойти на спортивную площадку погонять мяч. Сразу же за поселком нам пришлось обойти котлован. В те годы много проводилось строительных работ, в нашем поселении тоже строились дома с канализацией и водопроводами. Этот котлован копали к реке, вероятно, для забора воды. Копка его еще не была закончена, но рабочих почему-то не было. Мы обошли вокруг него и уже направились к лесной роще, как вдруг увидели огромного быка, мирно гулявшего на поляне и лениво щипавшего сочную травку. Бык был привязан цепью к одиноко стоявшему дереву. Увидев его, мы решили подойти поближе. По мере нашего приближения бык стал вести себя все более и более нервно. Теперь уже мы заволновались и умерили свой шаг. Тем не менее бык продолжал рваться с цепи и реветь, поднимаясь на задние ноги. Мы остановились. Не знаю по какой причине животное пришло в настоящую ярость.

Может быть, при виде целой группы нежелательных пришельцев, вторгшихся в его владения и потревоживших мирный отдых, а скорее всего, то, что я был одет в рубашку красного цвета. Бык в бешенстве со страшным ревом сорвал с дерева цепь и бросился в нашу сторону. Мы кинулись врассыпную. Я мчался не чувствуя под собою ног. Обернувшись, увидел, что бык догоняет меня. Ощущая за собой это страшилище, я помчался еще быстрее, и вдруг передо мной возник тот самый котлован, что мы обошли несколько минут назад (страх выбил память). Не раздумывая, я перемахнул через него и помчался дальше, не обратив внимания, что почти насквозь проколол себе ступню, ударившись в прыжке о что-то твердое. Повернулся назад, когда услышал страшный рев. Это бык орал, свалившись в котлован. Потом многие пробовали перепрыгнуть котлован, но увы никто из мальчишек не смог этого сделать. Ширина его была более 5 метров. Правда, глубина меньше метра, но и этого было достаточно, чтобы бык, падая в него,

сломал ноги. Нам от родителей и в школе за этого быка много досталось (бык принадлежал совхозу). Но почему-то мне больше всех. Ко всему следует добавить, что я несколько дней не выходил из дома: из-за раны на ноге.

Когда утихли разговоры о быке (пришлось того зарезать), многие даже взрослые парни удивлялись, как это я перемахнул через этот котлован. Наконец один из умудренных жизнью мужиков нашел разгадку: «У страха глаза велики» (много раньше сказанную другими). Я еще несколько раз задумывался над происшедшим случаем, иногда вздрагивал, делался серьезным. Но вскоре все забылось и стало на свои места. Это был единственный в мальчишеские годы сильный испуг.

Через несколько лет, когда жизнь моя круто повернула и потекла совсем по иному руслу, мне много пришлось испытать страшных и неприятных происшествий, о которых со временем забыл. Но некоторые запомнились. В первые годы Великой Отечественной войны, когда со всех западных областей СССР везли в Сибирь заключенных, мне довелось повстречаться в омских лагерях с различного вида преступниками. Видел я «воров в законе», «паханов», «дедов», «авторитетов воровской элиты», бандитов, убийц и других нелюдей человеческого рода. Все они отличались жестокостью, но были удивительно сентиментальны, когда вопрос касался их собственной судьбы. Многие были заядлыми картежниками. Отличительной чертой был закон: картежные долги отдавались беспрекословно. Над проигравшимися всегда висел «долг», если те не смогли расплатиться сразу же после проигрыша, куда бы ни занесла их судьба. Исключений не было ни для кого. Простить долг мог только выигравший. Особым почетом пользовались так называемые «каталы». По-нашему проще — карточные шулера.

Мне довелось видеть нескольких человек, любителей карточного азарта, но запомнились только двое. Первого звали Кучерявый, видимо, его прозвище прилепилось к нему по той причине, что в разговорах о нем заключенные всегда говорили: «О! Этот кучеряво живет». Он обыграл всех картежников, что были в бараке, и после этого к нему стали приходить со стороны. Он обыгрывал и их. Обустроился он в самом углу барака, занимая сразу несколько нар, оборудованных под полати. Половину полатей занимали целые горы выигранных вещей. Через своих подручных он переправлял их на «волю», откуда получал разные продукты. На работу он никогда не ходил. Иногда делал «прогулку» на производство, прилепившись к какой-нибудь бригаде: «Так подышать воздухом» — выражался он. Большинство времени играл в карты или спал. Мои нары находились напротив его «поместья», и я был частым свидетелем картежных игр. Когда раздавался его смех, это значило, что он обыграл всех и игра закончена. Как только проигравшиеся уходили, я садился на самый край нар поближе к нему и смотрел, как он перебирает выигранные вещи, складывает деньги, пьет из бутылки вино и после этого закуривает.

Находясь в благодушном настроении, он заговаривал со мной:

— Ну, как, ловко я их «прокатил».

Я обычно отвечал: «Молодец, как настоящий волшебник». Скажи, что он шулер, — морду сразу набьют. Как-то раз он дал мне выполнить какое-

то поручение. Оно было нетрудным (передать на кухню заведующему записку), за что он дал мне большой кусок хлеба и небольшой «шматок» сала. Я был несказанно рад и готов был исполнить любое его желание. Мне казалось, что на всей земле лучше его не играет никто. Но! Иногда судьба делает резкие повороты.

Как-то раз, поздним вечером, зашел в наш барак среднего роста человек, одетый в солдатскую шинель, в плохонькой солдатской шапке. Осмотревшись, спросил у дневального:

— С кем бы мне тут в картишки перебросится?.

Тот мотнул головой в конец барака, где обосновался Кучерявый. Я, съев похлебку, уже полез вглубь нар, чтобы «угнездиться» на ночлег, когда услышал разговор Кучерявого с незнакомцем. «На что ты будешь играть, твою шинелишку я даром не возьму», — сказал Кучерявый.

«На деньги», — кратко сказал незнакомец и достал целую пачку купюр. «О! — воскликнул Кучерявый. — Сейчас сразимся».

Игра началась. Находившиеся поблизости заключенные, устремив взоры в их сторону, притихли. С первых минут Кучерявый стал проигрывать, все более и более нервничая, увеличивал ставку за ставкой. Были проиграны сначала деньги. За ними Кучерявый стал проигрывать вещи. Когда уже проигрывать стало нечего, игроки замолчали.

— Ну что? Все? — спросил незнакомый карточный шулер.

— Я буду играть на руку, — сказал Кучерявый.

Я тогда сразу не понял, да и сейчас, когда вспоминаю про этот ужасный случай, меня пробирает дрожь. Среди некоторых заключенных раздались возгласы: «Он что с ума сошел? Доигрался до одури. Такой и мать родную проиграет. Это тебе не нас обыгрывать. Напоролся на «своего», мать твою».

Много раньше я слышал, что иногда в карты «разыгрывали» людей. Но чтобы проигрывать свою руку, да и зачем она нужна этому шулеру, подумал, что тот просто откажется от игры. Но услышал утвердительный ответ:

— На какую руку — правую или левую. И кто ее будет отрубать?

Кучерявый немного подумал и сказал:

— Играем на левую руку, отрубать ее буду сам.

Я посмотрел на Кучерявого и обомлел: это был совсем другой человек. Лицо мертвенно-бледное, глаза как будто остекленели и казались безумными. Он не представлял, что делает, и в своем картежном азарте хотел одного: отыграть проигранное. Шулер же был абсолютно спокоен и, немного помолчав, сказал:

— Против твоей руки я ставлю все, что у тебя выиграл.

Лицо Кучерявого вдруг осветилось какой-то непонятной радостью, и игра возобновилась. Она длилась недолго. Кучерявый проиграл и руку. Его бессмысленный взгляд блуждал по сторонам, но мне казалось, что он ничего не видит.

— Ну, вот пришла пора расплачиваться, — тихо сказал незнакомец. — Кто здесь дневальный? — спросил шулер.

Стоявший неподалеку дневальный по прозвищу Кобель позорный (это прозвище он получил за то, что о малейших нарушениях докладывал лагерному начальству), вызывающе коротко произнес:

— Я, а что тебе?

— Принеси топор, — сказал незнакомец.

— Сейчас, разбежался, — сдерзил дневальный.

— Ну, что ж, — сказал шулер, — сейчас я тебя разыграю.

Дневальный побледнел. На него уже несколько раз покушались за доносы начальству, и он понимал, что играть на него найдутся многие. Незнакомец еще раз повторил просьбу. Но в это время один из «заблатненных шестерок», не единожды игравший с Кучерявым и всегда проигрывавший, протиснулся сквозь толпившихся заключенных, протянул топор: у Кобеля позорного взял в каморке.

— Подай его Петру, — сказал незнакомец.

Кучерявый, услышав свое имя, опрокинулся навзничь и забился в истерике. Видимо, он узнал в карточном партнере своего далекого знакомого. Все молчали. Только раздавались истеричные выкрики и какое-то мычание Кучерявого. Из дальних углов барака подходили заключенные, другие, не дожидаясь предстоящей экзекуции, уходили.

— Давай поднимайся, хватит дурить, — заговорил шулер.

Кучерявый поднялся. Протянул руку, как бы пытаясь взять протянутый ему топор, но бессильно опустил ее со словами:

— Не могу!

Разговаривавший ранее спокойным тоном, незнакомец вдруг закричал:

— Не можешь, а наверняка не забыл когда твой отец, когда стали его раскулачивать, зарубил моего дядю и тоже топором. А дядя просил тогда не убивать его. И ведь несколько раз твой папаша ударил топором, и это происходило на твоих глазах, что же ты не удержал своего пьяного отца. Помнишь это!

Кучерявый безумными глазами смотрел на своего партнера. Он узнал его.

— Так ведь это же не я, Андрюха, сделал. Нас тогда всех в Сибирь сослали, а отца расстреляли, — выкрикнул Кучерявый, протягивая Андрею руки. Теперь уже и мы узнали имя незнакомца.

— Я бы тебя, кулацкое отродье, изрубил на куски, только новый срок мотать не хочу, — сказал Андрей и добавил: — Прощаю я тебя. Но знай, долг за тобой будет висеть до конца жизни. И если хоть один раз кого-нибудь обыграешь, руку тебе оттяпают. Это мое условие.

В бараке стояла мертвая тишина, только слышались рыданья Кучерявого. Немного помолчав, Андрей добавил: «Барахло выигранное раздай, у кого выиграл», — и ни на кого не глядя, ушел. Стоявший неподалеку довольно пожилой мужик негромко произнес, обращаясь к Кучерявому:

— Так вот ты, из какого рода, на свободе грабили предки, а ты здесь научился плутовать.

Толпившиеся люди разошлись, а Кучерявый до утра вздыхал и всхли-

пывал. Утром Петр (теперь его уже не стали называть Кучерявым) ушел с бригадой на работу. Через несколько дней нас всех перевели на другой объект работы и переселили в другие бараки. Дневального посадили на 30 суток в ШИЗО за хранение топора. Кто-то из заключенных донес в комендатуру.

Через много лет мне довелось встретиться с Кучерявым на пересыльном лагере в Злобино (г. Красноярск). Он походил на законопослушного заключенного. Мы о чем-то поговорили. У него оставалось совсем немного срока, и он ожидал, что в самом ближайшем времени его отправят в какой-нибудь леспромхоз, где-то в Красноярском крае. Малосрочников или заключенных, уже отбывших большую часть, наказания в далекие края тогда не посылали.

Напоследок я спросил его:

— Не доводилось ли тебе встречаться с Андреем, с ним ты играл в омском лагере?

Я говорил обтекаемо, стараясь не задевать его больную рану. Кучерявый помрачнел и, немного помолчав, сказал:

— Ты говоришь про ту игру, где он меня обыграл до нитки? — Опять помолчав, сказал: — Нет, увезли его куда-то в другой лагерь.

— Ну, а в картишки то не перебрасываешься? — теперь уже напрямую спросил его.

Кучерявый долго молчал. Я уже хотел повторить вопрос, как вдруг он ответил:

— Мне та игра снится по ночам. А когда просыпаюсь, то весь мокрый, будто из воды вылез. Тот страх из меня, наверное, уже до конца жизни не выйдет. Да и нарушать ту клятву нельзя. Вдруг он (Андрей) появится, или кто-то из его дружков, да и предъявят спрос за долг… Нет, с картишками завязал намертво.

Что можно сказать. «Страх удерживает людей от многих «безрассудств».

Небесные силы, создавая человека, наделили его от непредвиденных неприятностей добрыми мерами предосторожности, которые под воздействием внешних сил, событий, явлений превращаются в страх и ужас. Потом у меня будет много разных приключений, но по-настоящему я пойму страх (хотя и сейчас еще до конца не осознал) позже, к чему вернусь в дальнейшем повествовании. Страх — это чувство, присущее каждому живому существу, и возникает под воздействием определенных факторов. О нем не задумываются, когда жизнь идет размеренно и спокойно. Иногда, что бывает довольно часто, люди грустят о живущих где-то родственниках, дети о родителях, родители о детях: «Страх как я переживаю за Ванюшку, как он там?» или «Оставили стариков одних — кто им воды подаст, страх даже пробирает». Такие рассуждения можно слышать часто.

Но эти переживания нельзя назвать страхом, хотя это слово зачастую присутствует в разговорной речи. Это озабоченность, беспокойство, оно тоже возникает при определенных условиях. Над понятием «страх» я стал

задумываться с первых годов ельцинских реформ, когда начался грабеж государственного добра, а вместе с этим разбой, бандитизм, убийства, воровство, разраставшиеся по мере продвижения ельцинской «демократической вседозволенности», заразившей народ непонятной болезнью и сумасшествием. Я понял и ужаснулся.

Ужаснулся тому, что в темное время небезопасно ходить по опустевшим улицам, заходить одному в подъезд дома, где живешь, ложиться спать не заперевшись на несколько запоров. Думать и сокрушаться когда едешь в метро, поезде или самолете, что можешь быть разорванным на куски взрывом, украденным на глазах у всех как раб в качестве выкупа или изрезанным на куски во время пыток, если нечем откупиться, хотя не избежать смерти, даже если кто-то за тебя внесет выкуп, т.к. свидетелей разбоя бандиты не оставляют в живых и многих, многих других потрясающих душу ужасов.

Совсем недавно (в декабре 2006 года) в нашем небольшом поселенье городского типа (Дудинка) произошел страшный случай. Убили женщину пенсионерку с целью ограбления. Дело происходило ночью. Двое парней уже побывавших в местах заключения проникли в квартиру пенсионерки. Этому происшествию послужило обстоятельство, что сия гражданка (пенсионерка) получила расчет после увольнения (а работала она в администрации города) и продала квартиру. Об этом прознала внучка подруги, что дружила с потерпевшей и сообщила парням (убийцам), с которыми была в сговоре. Девчонке 17 лет. Ее хорошо знала пострадавшая и потому впустила в квартиру. Как только жертва (назовем ее В-а) открыла дверь, парни ворвались, связали В-у веревками, заготовленными заранее, и потребовали деньги. Денег у жертвы не оказалось. То ли она их положила в сберкассу или же еще не получила, грабителям ничего не досталось. Тогда они (грабители) начали ее пытать, используя для этого приготовленные спицы и ножи. Предметы пыток были приготовлены заранее. К грабежу эта банда готовилась тщательно и предусмотрела все. После длительных мучений В-а скончалась. Поняв, что они ничего не смогут добиться (грабители), ушли, оставив свою жертву мертвой. Через некоторое время к В-й пришел ее знакомый, открыл квартиру своими ключами, вызвал милицию. На теле убитой было обнаружено множество ножевых ранений.

О своем проступке внучка подруги (участница разбоя) сообщила в милицию, видимо, от страшного потрясения, испуга, или просто раскаявшись от содеянного. Грабителей арестовали. Подобных случаев в Дудинке произошло немного. Пока этот городишко еще не охватила эпидемия разбоя и грабежа, но разговоры, охи да ахи длились всего двое суток. На третьи о жестоком случае убийства забыли. Видимо, жители насмотрелись в телевизорах на ежедневные массовые убийства, с пытками, истязаниями и прочими издевательствами, творящимися в нашей преступной стране.

Меня же охватил страх, вселился ужас. Я просто не находил себе покоя, отыскивая разгадку творящегося «вселенского разбоя», так быстро охватившего нашу республику, «осколок» от нашей когда-то могучей державы.

Чтобы хоть как-то объяснить самому себе и найти истоки беспощадной действительности, я обратился к Достоевскому и в его романе «Преступле-

ние и наказание» пытался отыскать корни зла. Когда-то в юности я начинал его читать. Но, к сожалению, чтение его «творений» для меня было тягостным. И я этот роман, как и все его издания, не прочитал до конца. Теперь, когда после того времени прошло более 60 лет, я приступил к чтению романа более серьезно, стараясь отыскать сходство свершившегося на днях случая с тем преступлением, что совершил студент Раскольников Р. много лет назад. Оба преступления, разделенные по времени около 150 лет, по своей сути одинаковы.

Раскольников тоже убил женщину, Алену Ивановну, по злому умыслу, с целью завладения ее ценностями и деньгами, а Лизавету, ее сестру укокошил, чтобы избавиться от свидетеля. Хороший пример для подражания подал великий классик. Наши грабители тоже добивают жертву. Почерк одинаков. Разница в том, что Раскольников действует в одиночку, наши теперешние грабители орудуют группой. И убивали В-у тоже с целью обогащения. Раскольников после долгих терзаний приходит с повинной. Девчонка, наводчица из банды грабителей, — тоже. Но молодые парни при аресте даже не сожалели о содеянном. В этом и заключается разница. Что же думал Раскольников перед убийством: «Боже, да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?».

После совершенного злодейства Раскольников походил на сумасшедшего. Все уворованное с целью избавления от невыносимых страданий спрятал и после этого от нервных потрясений впал в беспамятство. А как же убийцы В-ой — «герои» нашего времени? Они нисколько не раскаялись. Шли на грабеж, чтобы хорошо пожить за деньги человека, заработанные целой жизнью на Крайнем Севере. И о содеянном не сожалели и не каялись. Что же подтолкнуло Раскольникова убить с целью ограбления процентщицу Алену Ивановну. «Убей ее, рассуждает как бы между прочим, встретившийся Раскольникову в трактире офицер, знавший процентщицу, чтобы с их помощью (денег) посвятить себя служению всему человечеству и общему делу. За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки. Не более как жизнь вши, таракана…» (Стр.78 «Преступление и наказание»).

Мотивы преступлений были разными и отношение к ним общества (тогда и теперь) — тоже. Вот что повергло меня в страх. Если подобный случай убийства Раскольниковым процентщицы захватил все слои общества тогдашнего времени, а великий мыслитель посвятил ему роман, изложенный более чем на 600 страницах убористым шрифтом, то про случай с В-ой в нашей маленькой Дудинке написали небольшую заметку, и вскоре все забылось. Почему же так? Да потому что подобными случаями заполнены центральные газеты, а телевидение почти ежедневно показывает трагедии, беспощадные издевательства, более жестокие, чем происшедший случай в нашем небольшом городишке. Случай убийства с грабежом, выполненного Раскольниковым в романе «Преступление и наказание», был в те времена редкостным.

Люди все чаще задаются вопросом: почему такой беспощадный разбой свирепствует с приходом к власти либерально-демократических дельцов? Почему с каждым годом преступность растет, людей все больше и больше уходит из жизни, задолго до отмеренного природой конца?

Откуда такое пришло к нам и почему его не было при советской власти и царском правлении?

Любой из власть имущих и особенно из овладевших несметными богатствами богачей ответит: «У нас демократия, свобода слова, печати, передвижения. Работай, твори, наживай, богатей!». Сами окружив свой каждый шаг надежной охраной, предоставили народу право охранять самих себя. Не стану приводить примеры коррумпированности и связи с криминалом вознесенных вверх, об этом повседневно говорят и пишут другие, но на их «стенания» уже никто не обращает внимания. И чем больше у нас преступлений, тем довольнее западные дельцы, а пиратствующий американский президент Буш, разгуливая по своему ранчо с засученными рукавами и гордо выпяченной грудью, крутит башкой из стороны в сторону, как стервятник, выглядывая добычу, кого бы еще клюнуть.

Вернемся немного вглубь истории.

В 1953 году было выпущено из тюрем большое число страшных преступников. Разгул преступности в стране принял катастрофические размеры. Я тому свидетель и сам видел, что творилось повсеместно. Кто смотрел фильм «Холодное лето 1953 года», тот может представить себе картину жизни того времени. Но такое продолжалось совсем недолго. Порядок был наведен буквально к началу следующего года. А что же сейчас? Уже скоро двадцать лет идет не только у нас в России, но и в большинстве стран беспощадная резня, разрастающаяся пропорционально движущемуся времени.

Нашему правительству, часть из которого коррумпированна, не дают возможности навести порядок целая армия правозащитников и правозащитных организаций, работающих на американские службы. Все они в один голос, а вместе с ними и откровенные американо-английские дельцы заявляют, что не примут Россию ни в одно содружество, пока она не отменит смертную казнь. Они отлично понимают, что СТРАХ перед смертью удерживает людей от самых страшных преступлений. А этого им допустить никак нельзя. Господин Лукин, правозащитник из Думы, заявляет, что пожизненное заключение это много страшнее чем смертная казнь и приводит в качестве примера поступок нациста Гесса, покончившего с собой в тюрьме. Вранье все это. Фашистский палач ушел добровольно из жизни в силу своей старческой немощи, а скорее всего, его доконали по приказу американцев — у них на это есть опыт. У нас же ни один из таких заключенных не сделал ничего подобного.

И в качестве убедительности приведу страдания того же Раскольникова только от мысли, что его будет ждать за убийство смертная казнь. «Где это, — подумал Раскольников, — где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти… что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом пропасти, океан, вечный мрак, вечные уе-

динения и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить! (Стр.183 «Преступление и наказание»).

Возможно, так думал и сам Достоевский. У него тоже было подобное. Вот истина жизни. Ну, зачем вы, господа демократы, врете, обманываете народ? Может, сами боитесь, что кто-то может очутиться в таком положении.

Доводилось слышать, да и по телевизору рассказывала одна из актрис, когда пришел к власти Гитлер в Германии, на пассажирском транспорте очень многие граждане не платили за проезд. Власти вынесли предупреждение, что безбилетников будут расстреливать. Предупредили раз. Не поверили. Только усмехнулись. Предупредили еще раз. Тоже не поверили. Но вот однажды днем автобус остановил военный патруль. Проверили у пассажиров билеты. Безбилетников вывели. И тут же на глазах пассажиров их расстреляли. Жестоко!? Очень жестоко! Хотя от Гитлера такое возможно. Но Гитлера уже нет более 60 лет, а билеты покупают все. Почему? А так на всякий случай. Вдруг появится новый Адольф Шилькгрубер. Вот в этом примере есть элемент страха. Конечно, такой пример бесчеловечен.

Ну, а как же теперь? Разве справедливо поступают наши правители, приговаривая к пожизненному заключению преступника, сжегшего целую семью с малыми детьми, или маньяка, истерзавшего и после этого убившего не один десяток малолетних 12–14-летних девчонок. И тысячи подобных примеров. А потом после приговора целую жизнь преступников будут охранять, кормить. В камерах телевизор или по любому их заказу книги развлекательные, а больше с божьими заповедями: «А вдруг покается и станет человеком». Не надейтесь: зверь не будет человеком. Но самое страшное, что и церковники вторят этому, хотя в прошлые времена сожгли на кострах десятки тысяч инакомыслящих. Теперь они руководствуются заповедью: «Не убий!».

В царские времена благополучие (относительное) держалось у нас в России на православии. И не столько на любви к Богу, сколько на страхе перед наказанием в загробной жизни: «Грешникам быть в аду, праведникам — в раю». Но и это предостережение сумели смягчить: «Покаянием можно искупить грех». Получается, что человек, свершивший 10 преступлений и после каждого раскаявшийся, становится угодным Богу человеком, а единожды согрешивший и по каким-то причинам не покаявшийся в божьи владения не попадет. Вранье это и несправедливо даже по понятиям нашего извращенного общества. А посему в потусторонний мир верит очень малое число людей: большинство же прихожан ходят в церковь для моды и показухи.

«Не убий!» — вторят наши правозащитники, обращаясь к властям против введения смертной казни, это право Господа, он дал жизнь и его право отобрать. Правильно. Закон божий гласит «не убий», обращаясь ко всем людям независимо от национальности и положения.

Но закон Божий, «заповедь шестая», разрешает применять смертную

казнь к преступникам, когда их преступления не прощает и сам Бог.

«Смертная казнь … является единственным по справедливости средством остановить многочисленные убийства» (стр. 581 «Закон Божий») В настоящее время, когда мир захлестнула волна сплошных убийств, немыслимых истязаний одних людей другими, разве не наступила пора применить этот суровый закон для наведения порядка в жизни народов. Или там же стр. 581 «Закон Божий» «Смертная казнь для закостенелых преступников часто бывает единственным средством для покаяния».

Но самое главное: страх перед смертью удерживает преступников от свершения задуманного злодейства. Вот если бы Господь хотя бы один раз раскрыл двери ада и показал, как горят в геенне огненной и корчатся в кипящей смоле грешники (о чем рассказывают священные книги), то в мире никогда бы не было преступлений.

В настоящее время люди не верят ни властям, ни церкви. По этой причине общество гибнет. При самодержавии власти были беспощадны к преступникам, а в церкви они не находили защиты. Это обеспечивало мирную жизнь, хотя тоже имели место преступления, но в значительно меньшей мере, чем сейчас. Что удерживало людей от преступлений в советское время, когда не было церквей, народ не верил в Бога. Ответ один: страх, беспощадность наказания даже за малейшие преступления.

В итоге получается, что удержать от бесчеловечного разбоя может вера в небесного Бога и коммунизм со своими законами и порядками. Плохо такое. Но оно много лучше, чем неуправляемый беспорядок и произвол по всей стране.

Почему же две враждующие между собой идеологии, проповедующие добро не могут найти способ примирения с целью устранения разногласия. Ответ не надо искать. Религия идет от Бога — коммунизм его отвергает.

Но! Религия и коммунизм по своей сути очень схожи, в их основе заложены лучшие идеи человеческого общения. Их идеологии предусматривают и призывают к построению светлого человеческого общества без насилия, угнетения и произвола.

Однако православие ближе к капиталистической системе, ибо оно не отвергает частную собственность (под этим надо понимать земли, воды, леса, средства производства и т.п.), одновременно с этим призывая народы к послушанию, смирению, равенству, лучшим человеческим отношениям и взаимопониманию, стремясь совместить несовместимое.

Капитализм (в любой форме) самый страшный хищник, не признающий ни доброты, ни сострадания, ни тем более «любви к ближнему».

Единственный атрибут, чему он поклоняется, — это прибыль и нажива.

Ко всему сказанному следует добавить, что когда религией (любых форм) и коммунистическим обществом руководят группы преступников, данные системы становятся бесчеловечными. (Сжигание еретиков на кострах идет под звон колоколов, а расстрелы в подвалах производятся в каждом городе, сотни тысяч людей выбрасываются на произвол судьбы и умирают от голода).

Ни Христос, ни Аллах, ни Будда и им подобные боги не пролили ни капли крови, но во имя их пролиты моря. Только правда ли, что кровь лилась во имя богов? Конечно, вранье. Богопреступники, прикрываясь именами святых, вели кровопролитные войны, преследуя свои интересы: завоевание богатств, славы и личной власти. Что и творится в наше суровое время.

Я не верю в Бога (да простят меня силы небесные). Но не отвергаю существование Вселенского Разума, которому все подчинено и который перестраивает МИР по своему усмотрению. У него не бывает ошибок, тем более преступлений. У него не было начала, не будет и конца. Он вездесущ и вечен. Ни в коей мере нельзя презирать истинно верующих людей, ибо для них вера в небесного Бога является смыслом жизни и расточает вокруг себя благодать и человеколюбие.

Если бы все преклонялись перед Господом Богом истинно и исполняли его «заповеди», то независимо от того есть ли Бог или нет его, на нашей прекрасной Земле был бы благословенный рай.

И, наконец, последнее. Повторяюсь и дополняю. Почему же при социализме, когда религия и церковь были упразднены, нравственность и мораль были на высоком уровне.

Не стану утомлять читателя перечнем примеров. Коммунисты у власти (среди которых, к сожалению, имелось немало подлецов, что потом привели к развалу коммунистического режима) не растаскивали по своим «дворам» народное добро. Идеология не позволяла. Этим они подавали пример порядочности. В основу общественного устройства был принят моральный кодекс коммунизма, очень похожий на нарисованный кем-то потусторонний рай. И, наверное, главное – высокая ответственность каждого, которая поддерживалась страхом, довлевшим над всеми. За невыполнение уставных требований, допущенные ошибки, проступки, преступления малые и большие людей ожидало неотвратимое и суровое наказание, порой до высшей меры, что удерживало от нарушений действующих законов самых распоясавшихся разбойников, так же как религия в далекие от нас времена.

Что же мы видим сейчас?

Повсюду и всем свобода. Для всех. Не ограниченная ничем. Это удивительное слово «свобода» источает такое упоительное наслаждение, что народ без исключения захлебывается от него: одни от восторга, что сотворили такое «чудо», остальные (большинство) от постоянного страха, который преследует людей по всей стране: на дорогах, подъездах домов, улицах, даже в бронированных квартирах. Страх от распоясавшихся бандитов, бомжей, озверевших от постоянного голода. И жизнь от того становится все более ужасной.

Надо что-то делать, господа — товарищи! (Когда некого будет убивать, возьмутся за вас). Впрочем, от вас надо совсем немногое: навести порядок, чтобы народ стал жить без страха.

P.S. Почему же наш добрый русский народ утратил нравственность и озлобился сердцем, и очерствел душой. Мне кажется от того, что он находится в постоянной войне с внешними недругами и внутренними вра-

гами, действующими по заказу западных спецслужб. И довлеет страх, как гнетущий пресс, приводящий людей в трепет и ужас.

И тем не менее кажется (больше хочется):

Уйдет в века лихое время,
Настанет день, наступит час,
И новое младое племя
Помянет благодарно нас
За наше тягостное бремя,
Что было, что идет сейчас.

Декабрь 2006 г.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

КНИГА ШЕСТАЯ

Из жизни прошлое не вычеркнуть

Осень седьмого года третьего тысячелетия от Рождества Христова была в заполярной Дудинке затяжной и тёплой. Днём постоянно моросил мелкий дождик, дороги раскисали, низины заполнялись водой, а с наступлением ночи подмораживало. Утро наступало с лёгким морозом. Люди торопливо шли на работу, радуясь бодрящей погоде. Но к середине дня с Енисея снова натягивало тучи, заволакивало всё небо и начинал сначала накрапывать дождь, а затем падали крупные хлопья снега. Настроение у людей портилось, все чаще встречались пешеходы с хмурыми лицами, проклинающие и погоду, и заполярную Дудинку. В выходные и праздничные дни, если случались такие же непогодные дни, жизнь в Дудинке как будто замирала. Пробегали редкие прохожие, перепрыгивая через бегущие ручейки воды и, забежав в магазин, закупив необходимые продукты, некоторые прихватив бутылку другую водки выходили и, постояв некоторое время возле дверей торопливо возвращались обратно в тёплые уютные квартиры. К этому времени (а вернее ещё в советскую пору) в Дудинке было построено довольно много домов со всеми удобствами. Некоторые жители на данный период заимели по две, а то и по три квартиры. Так, на запас, подрастающим детям. В нерабочие дни работали только грузчики в порту, да в магазинах продавцы, которые в эти дни работали без всяких перерывов.

Я, давно отвыкший от всевозможных развлечений и застолий, каждую субботу и воскресенье по выработанной привычке хожу на производство, правда, последние годы стал ездить на автобусе. В сторону лесного хозяйства через каждый час выполнялся один рейс. На этом автобусе в эти дни почти не было пассажиров. Постоянным был только я. Откровенно говоря, делать на работе мне было нечего. На всем лесном хозяйстве в выходные дни был только один пожарник, исполняющий скорее роль сторожа. Да и само лесное хозяйство сократилось против прежних советских лет почти в 10 раз. Лесопильный завод, когда-то построенный для распиловки 250 тыс. м^3 теперь распиливает около 25,0 тыс. м^3, работая в одну смену. Часть оборудования простаивает из-за ненадобности. С началом перестройки, и особенно в разгар ельцинско-гайдаровских реформ, лесозавод не единожды собирались закрыть. Собирались на обсуждение данного вопроса высокопоставленные работники Норильского комбината, но всякий раз вопрос о его закрытии оставался открытым. Я постоянно удивлялся этому. Огромный цех, выпускающий в десятки раз меньше продукции, предусмотренной при его запуске, казалось, будет прихлопнут при первом же обсуждении, но, увы, он продолжает пыхтеть. В то же время совсем недалеко в Игарке был закрыт лесопильный завод, один из центров мирового лесопиления, откуда вывозились сотни тысяч кубометров пиломатериалов наивысшего сорта в различные страны, а теперь от него остались руины. А наш? Работает, хотя очень слабо. Почему не ломают его? Да всё очень просто. Ломать не строить. Уже во многих инстанциях витают обсуждения, что нужно снова восстановить Игарский лесозавод, а заодно и построить северную железную дорогу, строительство которой было прекращено в 1953 году. Правильно

говорят умные люди, прежде чем сломать старый дом, нужно построить новый. Это отступление от существа намеченного к написанию рассказа, я сделал совсем не для того, чтобы с кем-то обсуждать и спорить на тему: ломать не ломать старое, строить не строить новое. Уже много лет на Таймыре ничего не строится, а только закрывается. И «мебельная фабрика», которую строили всем миром, тоже догнивает с самого начала ельцинского правления. Совсем недавно люди думали по-другому: развивать и осваивать север. Теперь думают иначе. Мне так и хочется сказать во всеуслышание: остановитесь, не доламывайте, что ещё сохранилось, чтобы не пришлось всё начинать сначала.

Думаю, что так и будет. Потому по-прежнему хожу каждую субботу и воскресенье на отживающий свой срок, одряхлевший, но очень нужный для жителей севера лесозавод. Может кто-то вспомнит добрым словом.

Как-то раз в один из ненастных воскресных дней я приехал к себе в контору, которая оказалась закрытой. Дежурный мастер ушёл куда-то. Ключ у меня был, но открыть замок почему-то сразу не удавалось. Я крутил ключ в разные стороны, но замок не открывался. Дождь со снегом усилился, и я сам промок до самых костей. Наконец из-за угла вывернулся мастер и открыл дверь. Я удивился: почему же у меня-то не получалось. Спросил его об этом. Он, как бы извиняясь, сказал: «Вчера кто-то сорвал дверь уже после вашего ухода, пришлось новый замок поставить. Хорошо, что нашёлся подходящий у кладовщика, а то бы пришлось никуда не отходить из конторы». Я про себя чертыхнулся, мысленно ругая взломщика и, отряхнувшись в прихожей, пошёл к себе в кабинет. Промокшую одежду разложил на батарее, а сам от нечего делать стал обзванивать всех знакомых. Уже давно время перевалило за полдень, на улице смеркалось, по-прежнему моросил дождь со снежной крупой. Хотелось домой. Поднял с батареи пальто. Оно ещё не просохло. Пришлось повременить. Очень не хотелось одеваться в мокрую одежду, хотя ехать в автобусе до дома не больше 10 минут.

Подождав ещё с час и убедившись, что пальто и шапка просохли, я быстро оделся и поспешил к автобусной остановке, зная, что рейсовый автобус подойдёт вскоре. На улице распогодилось, ветер разогнал тучи, дождь со снегом прекратились. Я в довольно радужном настроении стал поджидать автобус. Время по расписанию подхода автобуса подошло, но автобус не пришёл. Я подождал ещё минут пять и совсем неожиданно для самого себя решил идти пешком. Подумаешь, каких-то полтора километра. Да и погода благоприятствует. Но как будто кто-то хотел мне в этот день сделать только одно плохое. Не успел я отойти до половины, как снова начался снег, а вместе с ним и дождь. Я стал уставать. Всё-таки 84 года. И чем дольше я шёл, тем сильнее чувствовал усталость. А снег с дождём всё усиливались. Мимо меня проезжало много машин разных марок, шоферы некоторые меня знали, но ни один из них не остановился, чтобы довезти меня до дома. Оставалась ещё треть пути. Усталость давила всё больше и больше, и я решил «проголосовать» (хотя в далёкие годы этого не нужно было делать, шоферы останавливались и приглашали к себе в машину, не спрашивая, нуждаюсь я в этом или нет). Но, к сожалению, никто не прореагировал на

мою просьбу. Грузовые машины и машины частников проезжали мимо, не останавливаясь. «Таксистов» на мою беду не попадалось.

Очень уставшим пришёл я домой (потом четыре дня болели ноги), кое-как разделся и горько задумался. Много тяжёлых дум навалилось. Старость! Старость! Как же ты быстро напоминаешь о себе, когда хоть чуть-чуть начинаешь делать что-то сверх меры. Впрочем, что значит сверх меры? Каких-то полтора километра прошёл и уже «одряхлел» к концу пути. Что поделать? Никого старость не обходит мимо. А ведь совсем недавно всё было по-иному. Я мысленно переносился совсем в недалёкое прошлое, в те времена, когда мой дом от работы был много дальше, выходил за час до работы, пробегал до лесного хозяйства за 25 минут и, не заходя в кабинет, за полчаса обходил всё лесное хозяйство, которое занимало территорию почти 25 га и уже к началу рабочего дня появлялся в кабинете. Потом снова домой, назад после обеда и только поздно вечером приходил поспать. И не было никакой усталости. А в выходные дни, субботу и воскресенье, исхаживал ещё больше. Леса в те прошлые (советские) годы приплавляли во много раз больше. Разгружали его на обоих берегах реки Дудинки от самого устья до судоверфи в два, а то и в три ряда. На этих объектах работали без перерывов. Грузили кранами на машины и перевозили на основной объект складирования – лесобиржу. А в выходные дни я с утра приходил на эти объекты и шагами замерял, сколько убыло из штабелей леса, подсчитывал, сколько вывезли его за неделю.

Я никогда не чувствовал усталости. Через речку Дудинку было много наезженных дорог, и по ним часто ездили для развлечения на легковых машинах жители Дудинки. Выезжали на своих «Волгах» и партийные работники. Я не помню ни одного случая, когда бы проезжающий мимо меня секретарь горкома или секретарь окружкома не остановился и не предложил подвезти меня. Я всегда отказывался, ссылаясь, что мне нужно обойти все рабочие объекты, чтобы в понедельник обсудить дальнейший ход работ. Меня знали все руководители партийных органов, так как был членом КПСС, но предлагали свои услуги подвезти на нужный мне объект не поэтому. Существовало обязывающее всех правило в зимнее время, особенно когда стоят морозы или лютует пурга, идущих по дороге путников подбирать и подвозить до ближайшей автобусной остановки. И партийные руководители подавали этому благородному делу пример. Как-то раз, закончив обход всех лесных складов, я шёл домой. Неожиданно рядом со мной остановился газик. «Садись, подвезу», —сказал шофёр. Я на этот раз согласился, тем более что знал шофера (его все звали «Пименыч» и сидел он со мной в лагере в одно время). Я забрался и увидел, что на заднем сиденье сидел мужчина. Приглядевшись, узнал, что это был секретарь горкома Миргунов Виталий Константинович. Я с ним был в хороших отношениях и тут же задал вопрос: «Почему все машины, когда я иду один по дороге через речку Дудинку, останавливаются и предлагают довезти меня, куда бы я ни попросил?». Виталий Константинович улыбнулся и сказал: «А ты спроси про это у Пименыча. Тот был балагур и, не раздумывая, ответил: «Это моя партийная обязанность». Хотя в партии никогда не состоял.

А что сейчас стало с людьми? Почему продрогшего на пронизывающем ветру и промокшего насквозь старика (я в этом случае пишу о себе) никто не подобрал, даже не остановился, чтоб хотя бы узнать, не нужна ли ему какая помощь.

Ответ не надо искать. Капитализм развратил, испоганил, уничтожил сострадание и нравственность в людях. Изменилась и сама Дудинка. В послевоенные годы до перестроечных времен она заметно перестроилась. На место деревянных домиков и бараков вознеслись многоэтажные кирпичные здания. И стоят они уже много лет без всякого ремонта, а те, что не успели построить до ельцинских реформ так и стоят сейчас в убогом состоянии. Двадцать лет демократического разгула – и прежняя оживлённая Дудинка из города снова превратилась в поселение. Заметно изменился и Дудинский порт. В прежние советские времена в нём было более 15 подразделений, куда входил и лесной цех. Работали в три смены. В каждой смене имелись медпункты, в больших коллективах работали столовые, в небольших – буфеты. Был замечательный профилакторий «Енисей» (надо заметить, что такие профилактории оздоровительного характера имелись и в период лагерной системы), в котором в любое время года могли отдыхать работники порта и жители Дудинки.

А каким замечательным был совхоз «Полярный», в котором имелось 1000 элитных коров, молоко пили все жители Дудинки. На грани затухания спортивный комплекс. Остался «догорающий» клуб самодеятельности, который из последних сил содержит администрация Дудинки. А до демократических перемен в каждой организации был кружок самодеятельности, оркестр, спортивные площадки для футбольных и хоккейных игр. Сейчас ничего не осталось. Все ликвидировано в целях «экономии». А ведь подобные социально-культурные объекты имелись и в лагерях заключенных. И заключенные артисты из четвёртого дудинского лаготделения выступали с концертами в Дудинском клубе порта для вольных жителей.

Какими прекрасными были спектакли, и сколько радости было у посетителей, да и самих заключенных артистов. Я всегда старался попасть на всякое представление, чтобы увидеть на сцене своих знакомых, с которыми вместе сидел в четвертом лаготделении. Хочется ещё раз (о чём я писал неоднократно) выразить удовлетворение, что это был по-настоящему образцовый лагерь, и я ничего не могу сказать плохого ни про администрацию лагеря, ни про работников правопорядка и надзора. Сейчас отдельные страдальцы по прошествии многих лет выдумывают всевозможные казни издевательства, расстрелы и прочие виды убийств неповинных заключенных лагерными властями. Я, читая некоторые материалы о норильских выступлениях заключенных, диву даюсь. Ну почему же ничего подобного не свершалось в Дудинке, и никто не слышал о норильском вооруженном восстании. Были там голодовки, отказы от работы, и прочие виды бунтов, но все виды протестов организовывали самые злостные преступники с одним требованием – предоставления всем заключенным общей амнистии. И выражалось одним лозунгом: «Свобода или смерть». Хотя сами головорезы не собирались умирать.

Сейчас господа правозащитники пишут о многократных расстрелах, производившихся прямо в лагерях. Ну, это же чушь. Расстрел – это смертная казнь, выносимая судом. Когда же случались убийства при побегах или при нападении на работников охраны – это исполнение установленных законом правил или же меры самозащиты. Были случаи и в главном Дудинском лаготделении № 4. Но свершались они заключенными по различным причинам. Одни проигрывали в карты друг друга, другие, не поделив между собой уворованное, в разгаре драк убивали своих же сообщников, некоторых «казнили» за нарушение канонов «воровской чести». И теперь, когда прошли многие десятилетия, досужие писаки подобные случаи сваливают на охрану и надзирателей. Были, не отвергаю, и нелюди среди лагерного персонала (как правило, из бывших уголовников), но нельзя же оценивать их поступки как преступление советской власти. Я не стараюсь защищать власть, которая продержала меня с малых лет в заключении более 13 лет, причём отбывал наказание за самые малые пустяки, но клеветать и врать считаю недостойным и неприличным. И не проклинаю идеологию социализма и советскую власть, кроме некоторых проходимцев, исподтишка вредивших и при сложившихся обстоятельствах извративших её основы и развалivших существо справедливого бытия. Об этом я писал в ранее изданных книгах.

Самые страшные преступления как на свободе, так и в лагерях творили побывавшие в плену и перенявшие методы издевательств и казней у фашистских палачей и работавшие на немецкие службы наши солдаты-предатели, бандеровцы «западники», власовцы, добровольно вступившие в армию РОА, члены украинской УПА и им подобные, потомки которых сейчас в Прибалтике, Украине, Грузии протягивают свои лапы в НАТО и колотят друг друга кулаками в своих «чрезмерно демократических парламентах». «Кликуха» (слово блатное) «западники», к которым относили украинцев Западной Украины, литовцев, латышей, эстонцев и прочих, считалась нарицательной. Их не уважали все: и заключенные, и особенно бывшие пленные («западники» в лагерях вели себя нагло, когда оказывались в большинстве). И всплывают в памяти из глубины далёких лет потасовки, поножовщина между различными группировками, заканчивающиеся зачастую убийствами как с одной, так и с другой стороны. Драки происходили как в зоне лагеря, так и на производстве и длились до тех пор, пока не вмешивались органы правопорядка.

Но никогда и нигде ни в каких разборках не участвовали осужденные по политическим убеждениям. Необходимо внести ясность: наши «демократы» — писатели – к политическим заключенным относят лиц, осужденных за вредительство, предательство, измену родине, диверсию, террор, шпионаж власовцев, бандеровцев, откровенных палачей, ибо все они были осуждены по ст. 58. Политические в прямом смысле слова: члены различных партий меньшевики, кадеты, болтуны (58-10) эсеры и им подобные никогда не бастовали и не протестовали, хотя на это имели больше прав, так как осуждены были на большие сроки в преобладающем большинстве несправедливо. Следует к этому добавить, что все они работали в лагерях на

инженерных должностях, так как были в основном образованными и профессиональными работниками. В управлении Дудинского порта и подразделениях на руководящих постах работали политические заключенные. Но ни одного «блатаря» или уголовника на данных работах не было. По одной простой причине: они не смогли бы справиться с кругом обязанностей, и, кроме этого, им не доверяли. Неприятно читать откровенное враньё. Но что поделать? За давностью лет многие верят в грязную писанину. Хочется отмахнуться от навязчивых мыслей, а они скачут, одна обгоняя другую, забираются в даль далёкую и мелькают в памяти воспоминания ушедших лет.

Далёкие сороковые годы. Деревянная Дудинка. Старинное северное поселение. Мир и тишина. Когда-то она была много шире и длинней. Это теперь, когда понастроили множество многоэтажных зданий, она как-то стеснилась, стала более кучной, исчезли одинокие домишки с девятнадцатого пикета, от нефтебазы, и почти ни одного строения (кроме авиапорта) не осталось на левом берегу реки Дудинки. А когда-то там был целый посёлок, с лагерем заключенных, строивших деревянные баржи, а после окончания войны, там размещался большой контингент освобожденных из плена наших солдат, их называли спецконтингентом. Так назывались и преступники, осужденные на большие сроки наказания в спецлагерях г. Норильска. Не знаю, почему и кто их так «окрестил»: то ли власти, то ли само название прилипло к ним. На судоверфи в лагерном поселении бывшие пленные жили свободно, наподобие ссыльных. Пользовались всеми правами, но не имели никаких документов, кроме справок личности. Работали на всех предприятиях порта, но в основном на лесобирже грузчиками. Для них это было удобно, так как «судоверфь» была ближе к лесному хозяйству, чем к другим подразделениям. Там же, на «судоверфи», размещался спецотдел, занимающийся проверкой каждого пленного. После тщательной проверки им выдавали паспорта, и они могли по своему усмотрению уезжать в любые районы страны. Многие оставались работать в порту, больше всего на лесобирже. В то время зарплата у лесников была больше, чем в других подразделениях порта. Некоторые устраивались на инженерные должности: мастерами, начальниками смен. Руководство лесного хозяйства, где работали в преобладающем большинстве заключенные, не делало никаких различий между ссыльными поселенцами, спецконтингентом (бывшие пленные) и вольнонаемными работниками.

У меня было много знакомых из всех категорий работников. С некоторыми поддерживал дружбу. С одним из бывших военнопленных, получившим полное освобождение и работавшим в качестве начальника смены, я познакомился довольно близко. Звали его Фёдор Ткачёв. Это был довольно крепкий мужик, старше меня лет на десять. Он был среднего роста, с длинными и сильными руками, которыми на спор мог раздавить стеклянную банку. Я несколько раз видел, как он, надев на руки по две брезентовых рукавицы, проделывал подобную процедуру и думал про себя: раздавит любую шею – только попади такому в лапы. Спокойный, уравновешенный, он пользовался среди окружавших его рабочих уваже-

нием. Даже авторитетный вор по фамилии Рассказов, по кличке Дед, обращался с ним как с равным.

Ткачёв уже давно был свободным гражданином прошёл через «чистилище», так назывался отдел по проверке бывших военнопленных в лагерном поселении «судоверфь». Нужно заметить, что на этом объекте уже много лет не строилось никаких барж, но название как прилепилось к нему из давних пор, так и осталось поныне, хотя с тех пор прошло около семидесяти лет. В бесконечно долгие полярные ночи, когда наши смены совпадали, он часто приходил в диспетчерскую, усаживался поближе к печке, где было потеплее, и, немного отогревшись, задавал первый (всегда одинаковый) вопрос: «Тебя ещё не выгнали?». Я понимал его вопрос двояко: в одном случае «выгнали с работы», в другом – «освободили из лагеря». Надо пояснить, меня часто переводили на другие работы, но когда возникала какая-либо необходимость в подмене кого-нибудь из диспетчеров, возвращали назад. Он об этом знал, и когда я отсутствовал, заходил на некоторое время, чтобы искурить цигарку и тут же уходил. Со мной же он просиживал подолгу. Особенно под утро, к концу смены, когда заканчивались работы и грузчики все без исключения, как заключенные, так и вольнонаёмные (в том числе и спецконтингент, которого оставалось все меньше) уходили с производства. Ему же предстояло пробыть на объекте ещё около двух часов, до прихода сменного мастера. Здесь в диспетчерской он и дожидался его. Вторым и тоже подобным был всегда вопрос: «И сколько же тебе остаётся ещё тянуть эту лямку?». Так как он задавал этот вопрос уже не один раз, то я и отвечал ему, в соответствии с движущимся временем: два года, один год и шесть месяцев, а в 49-м году, когда счёт пошёл на месяцы, то я отсчитывал уже месяцы, а потом недели. И чем ближе подходило окончание срока, тем тяжелее и мучительнее тянулись дни. Перед самым освобождением за несколько месяцев я от переживаний попал в больницу, где и пролежал до своего срока освобождения.

В первое время, когда ещё срок исчислялся годами, я ему обычно отвечал: «До чего медленно идёт время и как трудно переносить это проклятое заключение». Он усмехался и на мои стенания говорил: «А ты разве находишься в заключении? Работа у тебя нетрудная, ты расконвоирован, уходишь и приходишь в зону в любое время, можешь ходить по Дудинке, когда тебе захочется, ну какой же ты заключенный? Ты когда последний раз был голодным? Вспомни. Кормят заключенных неплохо, конечно, не по-ресторанному, но хлеба и каши хватает вдосталь. Ты сам ходишь на нашу «кашеварню» за обедом. И наверняка приходилось тебе видеть, что часть сваренных супов с кашей остаются. И эти остатки, поварихи (поварами на кухне лесобиржи были женщины) или выливают или же отдают вольнонаёмным грузчикам, а те уносят в ведрах к себе домой откармливать поросят». (На лесобирже была оборудована кухня, где для заключенных готовились для каждой смены, как днём, так и ночью обеды. Это было сделано администрацией лагеря, чтобы не возить обеды на производство из лагерной столовой: от автора). «Ты рвёшься скорей на свободу? Считаешь месяцы и недели. А я тебе должен сказать, что во многих российских глубинках

люди живут нисколько не лучше, чем заключенные в дудинском лагере».

Я воспротивился: «По-твоему получается, что мы заключенные в этом лагере в счастье купаемся?». Ткачёв после некоторого молчания каким-то безразличным голосом сказал: «Счастье – понятие относительное, оно не имеет формы. Это состояние души. Как ты определишь, кто счастливее: нищий, которому на паперти подали кусок калача, или купец, сторговавший подешевле лошадь у цыгана? Не скажешь. Потому что ни нищий, ни купец, спроси у них про такое, сами не уразумеют. Счастье, радость, доброта необъяснимые человеческие понятия. Их не взвесишь и не измеришь. Кто больше обрадовался, нищий, что получил кусок калача, или человек, подавший этот кусок ему?» Я на это ему ничего не смог ответить, потому что никогда не задумывался об этом. Вообще-то, я знал, что и на «воле» живут впроголодь, но освобождение из лагеря ждал, как «манну небесную». Закончив курить, он продолжал свои рассуждения: «Ты недоволен лагерными условиями? А где, в каких тюрьмах бывает хорошо? Посмотрел бы ты на немецкие лагеря, я-то насмотрелся, сам испытал и по-настоящему знаю, что такое голод. Фашистские лагеря – это преисподняя ада. Разве можно сравнить их с лагерем, в котором отбываешь наказание ты? Там, кто был послабее, думал только об одном, скорее бы пришла смерть».

Я спросил: «Ну, а сам то ты как выбрался оттуда? Ведь тоже был в плену? И почему тебя выпустили из лагеря спецконтингента так скоро, а некоторые ещё находятся под проверкой?». – «О! Это долгая песня. Надо много времени, чтобы обо всём рассказывать, тут одной ночью не отделаешься», – сказал Ткачёв, как-то безразлично глядя в сторону. «Ну, это не проблема, сидеть мне ещё долго, так что самую длинную историю можешь рассказать», – старался я рассеять его сомнения. «Так то так, только уж очень не хочется ворошить страшное прошлое, которое хочется забыть навсегда. Только как от этого избавиться, если почти каждую ночь приходят кошмары», – ответил Ткачёв на мою просьбу и, как мне показалось, заметно помрачнел. «Ну, тут уж ничего не поделаешь, из жизни прошлое не вычеркнешь», – сказал я ему для успокоения. Но в этот раз разговора не получилось. Ночная смена подходила к концу, и я, пораздумав, решил не приставать к нему с подобными расспросами, оставив эту тему на более удобный момент. В это время кто-то заглянул в диспетчерскую из железнодорожников, крикнул, что подходит маневровый паровоз забирать груженые вагоны. Ткачёв тут же поднялся, вышел вслед за железнодорожником.

Через некоторое время пришёл мой сменный диспетчер, мы о чём-то поговорили, я передал ему дежурство и ушёл отдыхать в лагерный барак. Возможно, что забылся бы наш разговор с Ткачёвым о спецконтингенте, размещённом на судоверфи, о его пленении, фашистских лагерях и т.п., бесконечно длинных допросов в спецорганах (наших советских), если бы не прибыла новая группа освобождённых военнопленных, о которых прошёл слух, что их передали нашим властям американцы. Это возбудило интерес, и пошли разные «толковища». Так как никто не знал правды, то рождались разные версии вплоть до того, что это были солдаты, которых долгое время американцы не передавали из-за каких-то разногласий с руководством

СССР. Потом, по прошествии времени, всё разъяснится. От прибывших пленных узнали, что американцы передали очень большую группу, в которой были и «западники», что работали на немцев. Но тех отсеяли и загнали в тюрьмы, а группу, в которой не нашли «запятнанных» преступников отправили вглубь страны, для дальнейшей проверки и таким образом они попали в Дудинку. Среди них были в основном русские, немного украинцев и совсем мало литовцев и латышей. Это было осенью 1947 года. Тем летом было привезено в Дудинку много этапов заключенных, осужденных на большие сроки за очень серьёзные преступления в период войны да и в первые послевоенные годы. Их не задерживали в дудинском лагере и через транзитный лагпункт почти всех отправляли в норильские спецлагеря. Заключенные дудинских лагерей знали о всех этапах, прибывающих с недавно осужденными через обслугу «транзитного» лагпункта и с удовлетворением рассказывали, что тех «прямым ходом» отправляли в спецлагеря Норильска. (Кому приятно находиться в одном обществе с людьми, работавшими на фашистов, или боровшимися с оружием в руках против своего народа).

Группой же военнопленных, побывавших в американской зоне, почти никто не интересовался: знали, что это «неудачные бедолаги». При первых же встречах с вновь прибывшими военнопленными сразу стало понятно, что от них американцы постарались поскорее избавиться: зачем им лишние хлопоты и заботы, да ещё кормить такую ораву. Эта группа военнопленных так же незаметно растворилась среди огромной массы заключенных, ранее прибывших. Только этих «американских» военнопленных иногда в ссорах называли «предателями или изменниками», узнав, что отдельные пленные солдаты просили американцев оставить их у себя. Но американцы не хотели заводить волынку и выперли всех в Советский Союз. Но несмотря на неприятные оскорбления между спецконтингентом и заключенными никаких драк не происходило. Слова «предатель» или «изменник» военнопленные воспринимали как шутку. Отбивались: изменники и предатели сидят в тюрьмах. Выполняли и те и другие одну и ту же тяжёлую работу. Только разница была в одном: заключенных уводили в зону под конвоем, спецконтингент (бывших военнопленных) в свой лагерь на «судоверфь», где не было никакой охраны, кроме коменданта, да нескольких человек персонала из какого-то особого отдела, разбиравших дела «спецконтингентов», которых со временем становилось всё меньше. Каждый день уходили на свободу по два, а иногда и больше, человека, получивших «волюшку-вольную», бывшие солдаты Советской армии, побывавшие в немецком плену.

Фёдор Ткачёв, видя такое, грустнел: ему тоже хотелось поскорее перебраться в свою Белоруссию, но удерживала его дивчина, находившаяся в заключении, которой надо было отсидеть ещё три года. Он уже давно с ней познакомился и делал порой неразумные поступки, чтобы только с ней встретиться. Иногда, размягчившись душой, откровенно признавался: «Взяла меня сибирячка за горло своими ручонками так, что если вдруг отпустит, то вылетит из меня весь дух. Жизни не мыслю без неё. Однажды, еще когда был в спецлагере, перемахнул через забор в женскую зону. Кон-

воир два раза стрелял вверх, но в меня не стал. Какими чувствами руководствовался охранник трудно сказать. (Через несколько лет были убиты трое парней, пробиравшихся в женскую зону. Об этом случае я писал в книге «Святые берега»). Но когда коменданты взяли меня у своей «сибирячки» и хотели посадить в карцер, то пришлось признаться, что я из спецлагеря. Отпустили. Пригрозив, что в следующий раз охранник не будет щадить и продырявит мягкое место, а мы бока «намнём», если уцелеешь. И надо же так случиться, что на следующее утро вызывают в комендатуру и начальник комендатуры объявляет, что дело моё прошло проверку и теперь я могу в милиции получить документы. Я спросил: «Могу ехать куда захочу?». «Можешь», – ответил начальник и подал мне справку для предъявления в милицию, где выдадут все документы (потом стали паспорт и военный билет выдавать в НКВД, прямо в лагере на «судоверфи»). Когда я взял эту справку, сначала не верилось, что так скоро разобрались, потом, прочитав ещё раз и увидев, что всё наяву, даже вспотел. А комендант говорит: «Ещё вчера были готовы документы о твоей невиновности (хотя какая может быть вина у пленного солдата? Надо внести некоторую ясность: было и довольно много пленных, не говоря уже о власовцах, бандеровцах и т.п., сотрудничавших с немецкими службами), да не успел тебя вызвать. Хотя кто-то мне вечером сказал, что ты как ушёл со своим другом после обеда, так до вечера и справлял то ли поминки, то ли день рождения».

«Вот теперь, уже который год вольный, а с милашкой всё равно вижусь через забор, – сказал Ткачёв и тут же добавил: – Ну, всё равно на душе радостно не отошлют в спецлагеря, не пришьют срок, разобрались, что не работал на немцев, не предавал Родину. А «милашка» тоже скоро выйдет, ей остаётся не так много сидеть». Пройдёт не больше двух лет, и мы расстанемся, с Фёдором Ткачёвым навсегда. Где он сейчас, когда идёт полным ходом третье тысячелетие – не знаю. Но помню! И хочется для него с его «милашкой» только добра. А пока в свободное от работы время мы мирно и доверчиво излагали свои заботы, огорчения, тревоги. И верили во что-то лучшее. Верили, хотя не знали во что, но тем не менее вера приносила успокоение и рождала надежды. Неожиданно, как всегда такое случалось, меня перевели на другую работу, именно ту, которую я не любил больше всего. Это был участок углежжения, где из обломков брёвен выжигали древесный уголь. Углежог я был никудышный и очень часто в моё дежурство кучи бревен, обложенные грунтом, обваливались, и огонь полыхал над ними как на вулкане. Сбегались все находящиеся на смене углежоги, грузчики закидывать бреши, чтобы «задавить» огонь, вырвавшийся наружу. Ликвидировали «прогары» быстро, но попадало мне от всех много. Такие промахи у меня случались, когда я, разогревшись от тепла, засыпал. Опомнившись и переругавшись, мы все ожидали утра, ибо с приходом начальника участка углежжения начинался разбор всех происшествий, а вместе с ним и довольно неприятная нахлобучка. На ругань начальник углежжения Дмитрий Иващенко (отчество запамятовал) не скупился. Хорошо хоть не снижали «хлебное довольствие». Хотя, откровенно говоря, мы не ощущали голода, даже если и снижали пайки. Трёхразовое питание и килограмм хлеба до-

ставались не каждому заключенному (даже грузчикам на погрузке вагонов), многие хотели попасть на эту работу. Но для меня выжигать уголь была самая неприятная работа.

Приловчившись работать в диспетчерской, я углежжение с течением времени всё больше недолюбливал. Но что поделать? На этом участке был закреплен постоянно. Когда же подходил черёд подменить кого-нибудь из диспетчеров, я откровенно торжествовал, хотя и там взбучки получал не единожды. В этот раз что-то надолго затянулось моё пребывание на этом «чёртовом кострище», я проклинал его и днём, и ночью. Казалось, что не будет конца и края пребыванию в этом «дымном аде». Я ругался, матерился про себя, иногда вслух, когда рядом никого не было, и в бессильной злобе садился на какой-нибудь обугленный пенёк, которых вокруг было достаточно, и, обхватив голову, молил Бога избавить меня от этого наказания. Ребята надо мной смеялись. Они свыклись с этой работой и были даже довольны, что их никуда не перегоняют.

Время шло. Я тоже начал успокаиваться, как вдруг прибегает к нам на углежжение рассыльный из конторы и спрашивает про меня. Я тут как тут: что надо? «Собирай свои «хохоряшки» и идём со мной в контору», – проговорил рассыльный». Сердце у меня затрепыхалось, но я, не показывая вида, сердито спросил: «Кому я там понадобился?» – «Идём, да поживее. Ивана Череду в стационар положили, наверное, тебя опять как подменного посадят в диспетчерскую». Я об этом подумал, когда этот вихрастый «балаболка» ещё только появился на нашем объекте, но уверился только после того, как он сказал, куда меня переведут работать. Слава Богу, — подумал я, — хоть от этого изнурительного труда избавлюсь, да и плечи отдохнут от постоянного таскания брёвен для укладки их в кучу. В диспетчерской мне всё было знакомо, как надо работать. Начальство с самого начала «внушило», не один нагоняй получил за промахи, так что как только я появился, ночной диспетчер, недолго думая, схватил шапку, на ходу рассказал о самом важном и тут же побежал к дверям. Я хотел остановить и спросить его ещё о кое-каких мелочах. Но он только махнул рукой, проговорив: «И так два часа лишних просидел тебя ожидаючи, что ты ползком полз из своей «кочегарки»?» – «Ладно! Иди! Всё равно придётся перепроверять всё», – ответил я ему на его сердитый выговор.

И опять потекла «нормальная» более лёгкая жизнь, если можно сравнить мою работу в диспетчерской с общим положением заключенных. Чередовались смены ночные с дневными, время текло нудно и медленно. Снова в конце ночной смены стал приходить ко мне Ткачёв и просиживал до самого утра, пока не приходили наши сменщики: ко мне диспетчер, к нему новый начальник смены. Как помнится, все они были заключенными так же, как и я. Только Ткачёв был уже давно освобождён от всяких ограничений. Однажды в его присутствии я стал зачем-то рыться в ящиках стола и обнаружил в самом углу заплесневевший сухарь. Глядя на него, я сказал: «Видимо «Кощей» положил его и забыл». Так мы прозвали Павла Григорьевича Партолина за его худобу. Причём сколько бы он ни ел, всё равно не толстел. Когда же наедался, то засовывал остатки пищи куда-нибудь по-

дальше от посторонних глаз. Хотя никто никогда на его объедки не зарился. Повертев кусок в руках, я бросил его в урну для мусора. Ткачёв поглядел на меня, качнул головой и тихо проговорил: «Счастливый ты, не знал наверняка, что такое голод». Я тут же встрепенулся: «В омских лагерях чуть не подох от голода, а ты говоришь, что не знаю, что такое голод».

Ткачев заговорил не сразу: «За такой кусок хлеба в немецких лагерях люди убивали друг друга, предавали своих товарищей, готовы были на любые преступления. Правда, не все». – «Да он же весь зелёный, съешь и тут же сдохнешь», – возразил я, повысив голос. «Всё равно ты не испытывал настоящего голода», – сказал, будто отрезал, Ткачёв. Он долго молчал. Потом, видимо собравшись с мыслями, тихо высказал накопившуюся боль: «В плену за такой сухарь, брось кто в помойку, такую бы бойню учинили, что война показалась бы игрушкой. Там съедали всё лишь бы пахло съестным. А ты такой кусище да прямо в урну, разве можно так с хлебом обращаться?». Я ему рассказал о голоде в омских лагерях в 42-м году, как там доходил до истощения и в оправдание сказал: «В нём уже и червяки не будут жить, так что расстраиваться из-за засохшей и заплесневелой корки не стоит, да никто и не осудит даже из самых голодных заключенных. Хлеб, конечно, дар божий (это я от кого-то слышал), но когда он превращается в отраву, то его нужно как можно быстрее выбросить». – «Настоящий голод люди не понимают. Он доводит до полного истощения, и тогда человек теряет разум. Он теряет всякое соображение. Он становится как бы полоумным. Если бы у таких оголодавших людей были хоть какие-то силы, они бы бросились на других, чтобы хоть что-то откусить от них. Мне приходилось видеть мертвецов, когда один вцепившись зубами в другого, так и застывали со сжатыми челюстями, зажав в них какую-то часть тела другого. Я долго не понимал, что это значит, пока мне не рассказал о подобных случаях мой товарищ, когда однажды мы закапывали партию умерших от истощения», – закончил говорить Ткачёв.

Я слышал о случаях каннибальства, когда двое заключенных, подговорив третьего (обычно из каких-нибудь простофиль) в побег, намечали его как жертву для съедения. Зимой в тундре никакой пищи не добудешь. Знал я об этом из рассказов заключенных, отбывавших со мной срок наказания, как только прибыл в дудинский лагерь. Но правда ли такое было или просто выдумки любителей пофантазировать, не могу утверждать. Были ли вообще побеги с Таймыра, я достоверно не знаю. Скорее всего, нет. Потому что все живущие по берегам Енисея жители посёлков и отдельных «станков» были предупреждены органами надзора и правопорядка при появлении незнакомых людей в их краях, сообщать пограничной службе или же в ближайшее отделение милиции. Не единожды заблудившиеся геологи были спасены органами правопорядка, как только к ним поступали соответствующие сигналы о появлении незнакомых людей в окрестностях какого-либо поселения, к которому те не могли отыскать дорогу. Увидевший охотник из местных жителей принимал геологов за беглецов и при первой возможности сообщал в надлежащие органы. После долгого молчания я поглядел Ткачёву в лицо, и мне показалось, что на меня смотрит совсем другой че-

ловек. Видимо, он мыслями был совсем в другой стране. Мне показалось, что он хочет сказать что-то ещё, но слова застревали в горле. Приглядевшись внимательней, я увидел, как из его глаз выкатились слёзы. Мы оба долго молчали. Чтобы как то разрядить обстановку, я обратился к Ткачёву с просьбой рассказать хоть что-то про войну и как он попал в плен.

Наконец Ткачёв заговорил: «Воевал я с первых дней войны. Отступал, а вернее, бежал от самой границы вместе с небольшими группами солдат. Фашисты наступали, не давая никакой передышки. Отбивались как только могли. Отступавших останавливали и собирали возле Смоленска. Сформировали довольно крупное воинское соединение. Но дня через два на нас обрушились полчища немецких войск, танков, постоянно бомбили самолёты. Помню, что такая «мясорубка» длилась два дня, а потом наступил мрак и беспамятство. Не знаю, как и когда очутился в каком-то больничном лазарете, скорее похожим на барак. Вся голова забинтована, руками пошевелить не могу. Кругом раненые, некоторые стонут. Лежим вповалку. Через какое-то время подошла женщина в белом халате. Рядом с ней другая, с небольшим бидоном. Посмотрела на меня. Я заморгал глазами. Вымолвил через силу: «Пить». Та, что была с бидоном, помочила мне губы тряпкой. Я говорил: «Дай ещё воды». Пить хотелось нестерпимо. Она покачала головой и что-то по-своему сказала. Помню только одно слово: «Гут, гут». Потом мне подсказал сосед, что означает это слово по-нашему «хорошо». Ушла. Через некоторое время пришла совсем другая женщина с ведёрком и кружкой в руке. Остановилась возле меня. И говорит по-своему: «Руссишь!». Рукой показывает, чтобы я поднял голову. Я кое-как приподнялся. Она поднесла к губам кружку и говорит: «Вассер». Я и без слов понял, что это вода. Пью, а по мере её убывания она наклоняет край. Так всю и выпил. Понравилась мне эта женщина и говорю ей: «Хорошо, спасибо». И так мне после этого легко стало, в голове какой-то туман наплыл и снова впал в забытье. Даже не слышал, как меня перетаскивали. Очнулся я совсем в другом месте. Здесь было меньше людей и много тише. Видимо, нас рассортировали: тех, кто был покрепче, наподобие меня, переместили в другое помещение, а остальных там оставили. Что с ними сталось, то мне неведомо. Поправляться я стал быстро. Контузия головы оказалась не страшной, и уже через несколько дней я стал заводить разговоры с соседями. Делились воспоминаниями. Кто в какой части служил, кто был командир, когда призван в армию, откуда родом и прочие жизненные горечи высказывали друг другу, втайне радуясь, что остались живы, как-то отодвинув в сторону понятие, что мы все в немецком плену.

Через неделю несколько человек, в том числе и меня, перевели из этого захудалого стационаришка в большой концлагерь. Народу в нём было битком набито. Часть людей, как я потом узнал, ходили на работу на какие-то заводы, других посылали копать землю. Меня несколько дней никуда не посылали, а потом перевели в другой лагерь. Там было меньше людей, в основном русские и украинцы. Сколько раз и в какие места меня перегоняли я теперь не сосчитаю. Наконец сформировали звено. И стали нас посылать на копку могил. Копать ямы тяжело, но к этой работе я привык

в колхозе, а вот закапывать мертвецов, своих земляков, соотечественников, умерших в плену на чужбине, – это самое страшное наказание. Привозили навалом груженных на машины. Некоторые были почти голые, в одних подштанниках. Раскладывали поодиночке. Это были сущие скелеты. Одного сняли с машины, положили на землю, а у него одна рука вся в каких-то непонятных синяках. Я пригляделся, не понимая, что бы это значило, хотя видывал мертвецов в кровоподтёках. Но вид синяков, похожих формой на подкову как-то заинтересовал меня, вернее насторожил. Какой тут уж интерес. Я повернулся в сторону напарника, Петром его звали, и вопросительно посмотрел. Тот, глядя на меня, спросил: «Ну что ты на меня уставился, не понимаешь, что ли, от чего такие метины?». «Конечно, не понимаю – они похожи как будто лошадь лягнула», – ответил я. «Эх ты, Фёдор, Фёдор! Знай, что эти синяки у мужика от укусов. Кто-то пытался откусить от руки кусок мяса. А на руке ничего кроме кожи нет. Обезумевший от голода человек несколько раз пытался проделать эту процедуру, но у него не хватало сил прокусить даже кожу. А у обессилевшего, что подвергся нападению, не было сил оттолкнуть кусавшего. Они оба были бессильны. Но тот и другой были ещё живы, иначе не было бы синяков от укусов», – так мне объяснил Пётр.

«Ну, теперь ты, наверное, понял, что такое голод, – сказал мне Ткачёв. – Я тебе и раньше об этом говорил». Но в тот раз, откровенно говоря, я мало придал этому разговору значения, потому что не поверил. После некоторого молчания Ткачёв добавил: «Я тоже бывал голодным, но даже подумать о таком способе утоления голода в мыслях никогда не было. Вот что такое настоящий голод. Разумел?» Так закончил свой длинный монолог Ткачёв. «Вот про такое я ещё ни от кого не слышал, – сказал я, все ещё не веря в сказанное Ткачёвым. – Действительно, подобные поступки совершают только сумасшедшие». После затянувшегося молчания я спросил Ткачёва: «Выходит, что этих людей совсем не кормили, за что такое им было наказание?». – «Нет, – ответил Ткачёв, – кормили их как всех до определенного времени. Только часть своего пайка они отдавали другим. «Как так? У них отнимали, угрожая, чем-то страшным, и они добровольно отдавали своё пропитание? – спросил я: – Что-то мне совсем непонятно». «Вот оттого и не понимаешь, что не испытывал такого голода, как те мертвецы», – сказал Ткачёв и замолчал.

Я же не мог выговорить ни одного слова. А тут ещё выброшенный сухарь глядел на меня своей «зеленью» из урны. Я уж подумал вытащить его оттуда. Но! Зачем? Ведь тогда его придётся выкидывать на улицу на глазах у Ткачева. Не зная с чего начать разговор, я обратился к Ткачеву: «Ты, может, мысленно укоряешь меня за этот злосчастный сухарь, пролежавший в этом ящике наверняка полгода?». Ткачев усмехнулся. Почесал в голове, потом сказал: «Я тебе ещё раз хочу повторить, что голод, какого вы здесь в этом лагере и представить никто не может, доводит человека до умопомрачения. Причем в большинстве случаев люди до такого состояния доводили сами себя». – «Не могу понять, – возразил я, – почему люди отдавали часть своего пайка, о чём ты говорил другим: ведь их там всех впроголодь корми-

ли?» – «А вот этого ты, наверное, не поймешь, хотя постараюсь рассказать доходчиво», – ответил Ткачев на мой вопрос. «Ладно! Давай говори! Постараюсь понять», – с жаром сказал я.

«Ну, так вот! – Ткачев немного передохнул и продолжал: – Слушай. В немецких лагерях, где в основном были пленные, было много людей разных национальностей. Все они находились в одинаковом положении. Но у каждого был свой характер, свои стремления, желания. Одни смирились со скотским положением, а другие, сжав волю в кулак, думали только об одном, как бы вырваться из плена. Но убежать из железных фашистских тисков было непросто. Об этом хорошо знали охранники и на разговоры пленников, в открытую мечтавших о побегах, мало реагировали. Всех предупреждали, что при малейших попытках к бегству преступивший их закон будет застрелен без предупреждения. Об этом пленные солдаты знали, но тем не менее некоторые пытались бежать, а другие строили планы, как это осуществить. Очень немногим удавалось добраться до своих, но и здесь их ожидало разочарование: начинались дознания и проверки, как им удалось убежать и не заслали ли их с целью шпионажа и вредительства. Но главная причина неудачных побегов заключалась в том, что некоторые из пленных (особенно из лиц украинского происхождения, так называемые «западники», где были еще литовцы, латыши и т.п.) сотрудничали с немецкой охраной и доносили о готовящихся побегах. Они также доносили, кто из пленных был коммунистом, командиром. Указывали на евреев. Но тем не менее некоторые советские люди и в плену оставались преданными Родине и несмотря на все препятствия стремились вернуться на Родину.

Но совершить побег, не имея на первых порах никаких запасов пищи, было невозможно. Обычно в заговоре для побега подбирались люди, уже давно знавшие друг друга и доверявшие как самим себе. И задолго до побега понемногу готовили запасы, обычно подсушивали хлеб. Эту процедуру выполняли по ночам, укладывая ломтики хлеба на отопительные батареи. Скопившиеся запасы отдавали тем, кто будет совершать побег. Сухари в большинстве были «позеленевшими», так как таким способом высушить хлеб до настоящего сухаря не удавалось. Но они были дороже золота. Вот почему я тебе сказал про твой «зеленый» кусок хлеба, к которому ты так брезгливо отнесся. Но такой способ побега никому не удавался. Несмотря на великую предосторожность в его подготовке планы заговорщиков раскрывались, и тогда их ожидало суровое наказание. Их на много дней оставляли без всякого питания, отчего они превращались в настоящие скелеты или как наши заключенные называют таких людей «доходягами», умирая в обнимку».

Сделаем небольшое отступление. Разве немецкие солдаты, плененные нашими войсками, умирали в нашей стране от голода? Где? В какой местности? Скажите, господа исказители. Разве убивали немецких офицеров, их командиров или лиц какой-либо другой национальности наши карательные органы и заваливали в выкопанных рвах, как это делалось в немецких концлагерях. Неизмеримое большее число погибло наших людей в немецкой неволе, чем пленных немцев в наших лагерях. Я не знаю ни

одного случая побега, даже попыток, пленных немцев. Может, кто-нибудь из злопыхателей укажет на какой-либо пример.

Их заставляли работать: восстанавливать разрушенные ими же наши города, поселки, дороги. Нигде и никогда не направляли на заводы, работающие на военную промышленность. Даже наших граждан, воевавших против советской власти, а точнее нашего народа, на Норильском комбинате в основном привлекали к работе на строительных объектах (Горстрое). Так в какой стране – Германии или СССР – руководители были более человечными. Надеюсь, убедитесь сами.

О! Россия! Родина святая!
Источник бескорыстной доброты.
Как же много ты платишь, родная,
За избыток своей простоты.

«Зачем же пленные, те пленные, что оставались в лагере, отдавали хлеб тем, кто побежит? Им-то от этого какой толк?» – спросил я. «С одной стороны – это товарищеская солидарность, с другой – они надеялись, что кто-нибудь из беглецов проберётся через линию фронта и там сможет сообщить их родным, что такой-то Фёдор, Иван или Петр живы и здоровы, но находятся в плену. Вот почему они отрывали часть своего пайка. Ну а когда их разоблачали, то результат был самый жестокий, – ответил на мой вопрос Ткачев. – О подобных приготовлениях, когда они разоблачались, охранники широко рекламировали всем пленным, предупреждая, что всех будет ожидать такая кара, а если вдруг кому-то удастся сбежать, то будут наказаны все оставшиеся в бараке». – «Да! На такой поступок могут решиться только сильные люди», – сказал я, когда Ткачев замолчал. «И все равно, – продолжал Ткачев, – кое-где кое-кто готовился к побегу. Тогда фашисты прибегли к другому методу! Когда им становилось известно, что какая-то группа начинает подготовку к побегу, они не стали мешать этому. Но очень внимательно следили за приготовлениями заговорщиков. Давали возможность им убежать и где-то на полпути всех до единого убивали. В лагерь трупы не привозили. Приводили к месту убийства пленных, один раз пять человек и меня посылали и там заставляли закапывать убитых беглецов. Но самое отвратительное в этих расправах было то, что преследовали и убивали беглецов предатели из наших же пленных, исправно служивших фашистам. Вот почему так тщательно проверяют органы НКВД всех освобожденных из плена солдат. И если выявляются такие, то их ждёт самое суровое наказание».

«Значит, как я понял, свои предавали своих так же, как это проделывают и некоторые заключенные в наших лагерях?» – обратился я к Ткачёву. «Да», – сказал Ткачев и мотнул головой. «Но в лагере, – я продолжил свое высказывание, – когда таких людей выявляют, с ними разделываются очень жестоко. В большинстве случаев убивают. Почему же там им было «раздолье», во всяком случае, ты не привел ни одного примера расправы над ними (осведомителями). «Потому что за убийство только одного доносчика фашистское лагерное начальство уничтожало десятки подозреваемых пленных. Да и не так просто было с ними расправиться. Они объединялись сами

в группы и были под покровительством лагерной охраны. Чувствовали себя более свободно и комфортно, чем мы, обычные пленные. Правда, потом, когда наши войска стали громить фашистов на германской территории и началась паника, многие побежали к американцам. Но те не очень жаловали доносчиков и после окончания войны вместе со всеми передавали советским органам. Некоторые бежали в свои края: кто в Польшу, а большинство в Западную Украину, где и прятались по хуторам и зимникам, продолжая своё грязное дело. Совсем озверели, когда поняли, что Германии пришёл крах».

Ткачев замолчал. А я думал о людях, вернее скелетах, закопанных в фашистской стране. Неожиданно для себя сказал Ткачеву: «Тех людей, превращенных в мумии, и червяки есть не будут». Ткачев усмехнулся и сказал: «Червяки, к твоему сведению, в первую очередь начинают выедать у человека глаза, так что не расстраивайся об этих живых тварях. Они голодными не будут». Меня это повергло в дрожь. Хотя какая разница с чего эти «существа» начинают свою трапезу. Мне совсем недавно исполнилось двадцать лет, хотелось думать совсем о другом, а тут приходится мыслями переноситься в совсем иной мир, о котором я в самые тяжелые времена мало задумывался.

Смена закончилась. Ткачев ушел домой, а я стал дожидаться сменного диспетчера. Пришел Павел Григорьевич Партолин. За его худобу и какое-то костлявое телосложение его прозвали Кощеем. Чтобы разрядить скопившуюся тревогу и озлобленность от разговора с Ткачевым, я с горечью высказал ему, чтобы он не прятал в ящиках куски хлеба. Павел Григорьевич как-то встрепенулся: «Нашелся, что ли?». По-видимому, он засунул недоеденную пайку хлеба и забыл про неё. «Нашелся», – ответил я сердито. «А где он?» — тут же спросил Павел Григорьевич. Я показал ему на урну, одновременно говоря: «Бери и ешь». Он посмотрел, подошел поближе и с обидой ответил: «Ты что с ума сошел. Хочешь, чтоб я подох». Не раздумывая, я со злостью выговорил: «Да! Хочу! Мне за этот сухарь, будь он неладен, Ткачев столько наговорил, что и сейчас в душе муторно. И все из-за твоего сухаря. Рассуешь по разным углам недоедки, позабудешь про них, что они гнить начинают, позеленеют, превратившись в отраву. Я уже час назад как выкинул эту «заразу» в урну, а руки до сих пор зудятся». И мыла нет. Кто-то, видимо, уже умылил». – «Ну что ты, вон оно на печке лежит, не мог посмотреть лучше или просто не хотел, – полувопросительно ответил Павел Григорьевич, и добавил миролюбиво: – Бери и мой сколько хочешь». – «Да ладно! Теперь уж в бараке отмою», – сказал ещё более сердито, не понимая, отчего ещё больше стала накапливаться озлобленность. «Давай не сердись! Я сегодня все ящики проверю в столах, может, что-то ещё осталось», – добродушно проговорил Павел Григорьевич и протянул мне руку для прощания. «Смотри, чтобы «чесотня» с моей руки на твою не перешла», – сказал я и, попрощавшись, ушёл.

Проходя по территории лесобиржи мимо «кашеварни», в которой для заключенных варились суп и каша, я увидел, как грузчик Гнатюк Иван вытащил два ведра остатков несъеденных обедов. Он всегда помогал поварам в

работе: котлы вымыть, дров наколоть, воды натаскать. В общем, подрабатывал. И повара отдавали ему все, что оставалось. Получалась двойная выгода: кухню подготовит к работе и поваров освободит от заботы – куда выливать остатки. Такого места не было предусмотрено (кроме туалета). Гнатюк жил на другом берегу реки Дудинки в маленьком домике с женой. И для своего семейства выкармливал поросят. Таскать с лесной биржи на другой берег Дудинки не представляло трудностей: со стороны реки зона была не загорожена, поэтому таскать, ходить и ездить можно было всем, кому захочется. Хотя это запрещалось законом! Я знал, что варят в этой «кашеварне» пищи много больше, чем съедают заключенные, и когда увидел Ивана Гнатюка, подумал: «Не довелось мне такого счастья в 1942 году, когда отбывал наказание в омских лагерях. Там я познал, что такое голод, но против того, о чем мне рассказал Ткачев, не входило ни в какое сравнение». Бригады уже давно ушли в лагерь, и многие спали, когда я пришел в барак. Я был расконвоирован и мог приходить и уходить из лагеря в любое время. В бараке, лёжа на нарах, я долго не мог заснуть. В голове проплывали скелеты измученных людей: мужчин, женщин, стариков, выкопанные могилы, немецкие лагеря пленных и тысячи тысяч наших соотечественников длинными толпами бредущих под охраной в неведомую им страну. А вокруг них чужие люди и длинная дорога, уходящая в бесконечность.

За прошедшие лагерные годы я свыкся с такой жизнью, тем более что, пользуясь правом свободного хождения из лагеря на работу, а зачастую и по улицам Дудинки, на время забывался, что нахожусь в заключении и только по ночам, когда все засыпали тяжелым сном, наработавшись с брёвнами, на меня наваливалась бессонница, мысли обшаривали весь белый свет, отыскивая день моего освобождения.

Время шло. День за днём, неделя за неделей. Куда оно уходило? Никто не скажет, потому что не знает. И чем меньше оставалось времени до конца срока, мне казалось, что оно (время) все больше замедляет ход. Порой казалось, что оно никуда не уходит, а постоянно вертится вокруг самого себя. Как? Не понимал. А дни и ночи были удивительно похожи, тем более, что в эту пору властвовала полярная ночь. Прошло несколько дней после того разговора с Ткачевым. Наши смены с ним перепутались и не совпадали. Потом он заболел и недели две не выходил на работу. Я же каждый раз как мне выпадала ночная смена, постоянно хотел, чтобы и он пришел на работу в эту же смену. Мне очень хотелось продолжить разговор о его пребывании в немецком плену, как ему удалось выбраться, почему так мало пришлось быть на судоверфи в спецлагере на проверке, откуда он освободился и где теперь остается совсем мало бывших пленных (так называемый спецконтингент), почему ни одного не привлекли к уголовной ответственности (хотя я уже знал от него, что самая тщательная сортировка на невиновных и тех, кто сотрудничал с немецкими службами, проводится на самом первом этапе их высвобождения из немецкого плена), и, наконец, как он думает поступить дальше, когда его «сибирячка» освободится. На пересменах мы иногда встречались, но разговор на подобные темы я не начинал, времени не было: расходились быстро, то он на работу, а я в зону, то наоборот. Но,

наконец, наши смены совпали, и в ночь на воскресенье, когда работ не было почти никаких, он пришел ко мне и опять задал все тот же вопрос: «Ну, сколько теперь тебе осталось ещё кашу хлебать из общего котла?». Он знал, что я тоже ходил на нашу кашеварню за супом и кашей.

К этому времени из предыдущих разговоров я уже знал про Ткачева почти все за исключением только одного, как и когда его освободили из плена и почему так немного подвергали проверке. После некоторого обмена о производственных делах я решил спросить его об этом. Не потому что я думал о нем что-то плохо, а чисто из любительского интереса. Но начал я несколько издалека: «Уже совсем немного остается спецконтингентов на «судоверфи», и я не слышал, чтобы хоть одного «заарканили». Что действительно никто из них ни в чем не замешан или просто не хотят заниматься серьёзно? – спросил я. «Я тебе уже говорил, что в таких спецлагерях как дудинская судоверфь не было ни одного предателя, изменника, различного рода палачей, исполнявших любые приказы фашистов, бандитов, власовцев и т.п. ответил Ткачев. – Здесь были только пленные, что работали на каких-либо заводах у немцев. Более тщательно разбирались с теми, кто работал на военных заводах. Иногда наказывали. Но не строго. Ведь многие специалисты из наших пленных изготовляли снаряды умышленно с браком, чтобы они не разрывались. И советские разведчики, глубоко законспирированные в немецких службах, во многом помогали нашим спецорганам разбираться: кто из пленных активно помогал фашистам, работал на них, а кто в тяжелейших условиях вредил врагу. Правда, многие поплатились за такие дела. Когда немцы подозревали кого-то из работавших на военном производстве в умышленном вредительстве, обычно по доносу наших сволочей, то, не церемонясь, расстреливали.

В конце войны нас уже перестали посылать закапывать умерших. Кто-то из моих товарищей узнал, что стали применять экскаваторы, которые вырывали огромные котлованы, в них свозили трупы и таким же способом закапывали большие партии умерших. Нас же посылали хоронить вручную, когда было небольшое количество мертвецов. А в последнее время умирало в лагерях людей все больше и больше. В других лагерях не было похоронных групп, так я слышал от многих, наподобие нашей. Всюду закапывали землеройными машинами. Свобода к нам пришла в лагерь нежданно. Ночью я услышал какую-то подозрительную возню. Я увидел, что несколько человек из барака тихо ушли без всякого шума. Сначала подумал, что кто-то собрался в побег. Войска наши были близко, и мне тоже захотелось к ним присоединиться. Я чуть приподнялся. Но лежавший рядом со мною на нарах сосед придержал меня рукой и, приложив палец к губам, тихо сказал: «Убегают сволочи. Наши войска уже совсем рядом». Когда рассвело и только взошло солнце, весь барак уже гудел. Трудно было понять, кто про что говорит. Многие стали выбегать на улицу, я следом. Ни на одной вышке не было ни одного охранника. Барак, где размещалась комендатура и начальство лагеря, был пуст. Мы стояли в растерянности, не зная, что предпринять. Вскоре подъехали две машины с солдатами. Кто-то из соскочивших первым с машины закричал: «Свобода!». Дальше было что-

то невероятное. Шум, гам, крики. Обнимали друг друга. Многие плакали. Рассказать об этом у меня нет слов». – «А потом?» – спросил я. «Ну, что об этом говорить, прибыли работники НКВД, и начались бумажные процедуры. Опросы, допросы, одних куда-то забирали, больных отправляли в санчасть. Недели через две оставшихся, в том числе и меня, посадили в вагоны и повезли куда-то вглубь нашей матушки России. Ехали медленно и только в июне месяце прибыли в Красноярск. Через три дня погрузили в трюм парохода и приплыли мы в Дудинку. Итак, мы оказались в этом лагере на «судоверфи». Сразу же направили на работу – многих на лесобиржу, где сейчас мы с тобой беседуем. Потом собрали всех нас и объяснили, что здесь специальная комиссия будет рассматривать каждого персонально, и по результатам проверки будут выноситься решения. Мы надеемся, что каждый расскажет о себе всё: как он попал в плен, имелись ли возможности избежать этого, какую работу исполнял в плену. Лагерные документы на вас немцы не успели уничтожить, работать мы будем, прибегая к ним. Со многими разбор происходил быстро. Несколько человек уже через месяц получили документы и уехали, благо ещё Енисей не замерз. Очередь моя подошла к новому 1946 году. И в январе я уже был с документами, но никуда не поехал, а причину я тебе сказал».

После того как Ткачев закончил говорить, я задал ему вопрос: «Для чего создается такая сложная система проверок, сколько втягивается в неё людей, сколько ни в чем неповинных томятся в ожидании решения, а ведь ни одного человека из прибывших пленных не осудили?» – «Все очень просто: потому что среди этих пленных не было ни одного преступника. Я уже тебе говорил об этом, а тех, кто не успел скрыться, арестовали». – «Зачем же тогда проверять?» – спросил я. «Вот про это я тебе, наверное, не сумею правильно ответить, потому что не знаю. Скорее всего, это делалось для перестраховки, уж очень много у нас было скрытых предателей и изменников», – ответил Ткачев на мой вопрос. Я хотел ему возразить, не согласиться с его утверждением, но пройдут годы, и наступит тот день, когда я пойму, что он был прав.

Подошло время, когда кончился мой срок. Много мне довелось пережить испытаний, пока меня выпустили из лагеря. Это был июль 1949 года. Но выпустят из лагеря на пожизненную ссылку (этому соответствовало специальное решение) на Таймыре. И освободят от этого ига только в конце августа 1954 года. Судьба распорядилась так, что я до сих пор живу в Дудинке уже более 60 лет. Здесь, по существу, прошла моя жизнь. Что поделать? Так угодно судьбе.

P.S. Федор Ткачев со своей «сибирячкой» тихо и незаметно уехали тоже в 1949 году – и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

Уехал он, так и не рассказав мне, за что же он подвергался тщательной проверке органами НКВД по причине нахождения его в немецкой неволе.

Впрочем, не надо ломать голову: попал в плен в бессознательном состоянии, о чем он говорил мне, и за весь период пленения с фашистами не сотрудничал.

А за «просто так» в лагеря и тюрьмы пленных солдат по возвращении на Родину репрессиям не подвергали.

Много людей разъедутся из норильских и дудинских лагерей. Немногие, вроде меня, останутся и уже пенсионерами будут доживать свой век в этом вечно холодном и бесконечно темном краю Земли. Их никто и ничто не держит. Привыкли и смирились.

2 февраля 2008 года

Дополнение

В двадцатом веке прокатилось много бурных потрясений. Воевали между собой страны, во многих государствах свершились революции, и, наконец, после многовековой борьбы за счастье, равенство и братство устанавливалась власть советов с коммунистическими идеалами. Такой страной стала Россия. Строительство социализма в этой державе велось в непрерывной борьбе с внутренними врагами и откровенным противоборством со стороны буржуазных государств.

Много погибло людей в этой всемирной мясорубке, ещё больше было поломано судеб. В какой-то степени и мне довелось хлебнуть этого вселенского горя. Пройдя все «круги ада», солженицынское выражение, хотя сам Александр Исаевич в этом «исчадье ада» исполнял обязанности библиотекаря, а это был наиболее привилегированный вид работ, я многое видел, многое перетерпел, но никого не виню и не проклинаю за потерянные тринадцать с лишним лет. Вместе с тем признаюсь, что, находясь в этом огромном скопище разноликих и разномыслящих людей, многому научился, чего бы, наверное, не познал, находясь на свободе. Воспоминания о своих жизненных перипетиях я изложил в нескольких книгах. При этом, несмотря на пережитые тяготы, писал правду, не допуская никаких извращений в сторону многочисленных «страдальцев, невинно пострадавших от несправедливой власти».

Я подтверждаю, что в лагерях были люди, невинно осужденные по оговору, клевете, ложным доносам. Но таких было немного. Более 90% были осуждены за преступления, не подлежащие никакому прощению. Особенно много злостных преступников прибыло в норильские лагеря, где я отбывал последние годы наказания, в послевоенные годы. Это для них были созданы спецлагеря в Норильске. Вероятно, такие спецлагеря создавались и в других районах страны, но об этом я сказать не могу. Не знаю. В ту пору, когда я ещё отбывал последние годы наказания, не интересовался, какие люди и сколько прибывало в Норильлаг, хотя многое узнал об этой категории от Ткачева Фёдора, с которым общался и его высказывания поместил в рассказе «Из жизни прошлое не вычеркнешь». Через некоторое время мне стало более известно о действиях гнусных преступников, находящихся в спецлагерях Норильлага за тягчайшие преступления в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Они в большинстве приговаривались к расстрелу, но смертная казнь заменялась очень большими сроками строгого режима. Такими преступниками являлись бандеровцы,

добровольцы РОА, участники УПА, ОУН, «лесные братья» и другие с оружием в руках боровшиеся против Советского Союза, по жестокости своей не уступавшие фашистским головорезам. За свершенные ими преступления, про которые узнали находящиеся в одних лагерях заключенные, их ненавидели даже уголовники. Среди этой категории находились и женщины, в преобладающем большинстве молодые. Они были связаны с этими организациями и очень активно помогали, не только доставляя своего рода информацию, но и участвуя в их преступных делах. Всех вышеперечисленных преступников судили по 58-й статье, и вот теперь, в наше демократическое время, при помощи различных правозащитных организаций, «мемориалов жертв политических репрессий» их стали относить к политическим «страдальцам». В настоящее время потомки этих «страдальцев» в освободившихся от советского ига суверенных республиках тянут свои руки к НАТО и очень вольно ведут себя в своих демократических парламентах, разбивая друг другу свободолюбивые «морды».

Возвратимся немного к 1953 году, когда в норильских лагерях произошли волнения среди определенной части заключенных и теперь по прошествии многих лет не без помощи некоторых влиятельных лиц, организаций, о которых я уже упоминал, этот бунт «окрестили» в восстание, которое чуть было «не свергло» советскую власть. Появились целые тома с выступлениями «руководителей-революционеров», создавших мощную организацию, вернее партию, под названием «Демократическая партия России», действовавшей по всему Союзу с целью свержения ненавистного большевистского режима. Она была настолько профессионально законспирирована, что о её жизнедеятельности не ходило среди заключенных никаких слухов. Даже один из величайших разрушителей социалистического строя Солженицин А.И. не имел о ней и норильском восстании никаких сведений. Что это? Как так? Да все очень просто. Никакой ДПР не существовало. Это придумали в начале XXI века, в период ельцинских реформ и вселенского бандитского разгула.

В последнее время все больше и больше появляется различных статей, домыслов о так называемом норильском восстании. Из неведомых глубин выползают «руководители», «вожди», «организаторы», «идеологи», подготовившие к организованному неповиновению, протесту, который перерос в мощное «повстанческое восстание», захватив многие лагеря Советского Союза. Охладитесь! Не было ничего подобного. Это выдумки отдельных бывших заключенных, отнюдь не политических категорий. Разве можно причислить эстонца Л. Нетто к политической группе, осужденного за шпионаж в пользу Америки. Сотрудничал ли он с американской разведкой или нет – это не имеет значения. Так как по составу преступления (пусть такого и не было) его нельзя квалифицировать политическим заключенным, хотя за шпионаж судили по ст. 58. Шпионаж действительный или надуманный не относится к политическим преступлениям. Тем не менее. В чем определяется его деятельность? Как ему удалось создать из политических заключенных среди массы уголовников группу, переросшую в партию. Первые сведения о ней появились из его высказываний в 2003 году (журнал «Но-

рильский никель» за август 2003 года). Потом с помощью правозащитников и отдельных правозащитных организаций появились утверждения, что эта партия (так называемая ДПР) действовала с давних пор по всей стране. Находясь в самой гуще лагерной жизни заключенных (в 1953 году я был ссыльным и поддерживал связь со многими лагерниками), я очень мало знал о событиях в Норильлаге, а в 1954 году о них уже никто не вспоминал. Теперешние «демократы» утверждают, что о норильском восстании было запрещено говорить. Вранье это. Никто о нем не вспоминал, потому что оно не заслуживало должного внимания.

Так чем же все-таки знаменит для Норильлага 1953 год? Что-то же ведь было? Не просто так написаны огромные тома про это суматошное время. Просматривая некоторые «романы» («О времени, о Норильске, о себе») я поразился одному. Все статьи, высказывания и прочий бред воспоминаний написаны литовцами, латышами, эстонцами, западными украинцами и почти ни одной русской фамилии. Правда, есть, кажется, две или три фамилии русского происхождения, но с их воспоминаниями можно вполне согласиться, они в большей степени правдивы. Тогда как у прибалтов, «западников», украинцев одно враньё. Иногда высказывания одних противоречат другим. Но смысл сводится к тому, что так называемые борцы с советской властью хотели одного: свободы, свергнув сталинский режим, причем готовились к этому упорно, тщательно и раньше. В этом большую помощь оказывают «мемориалы». При этом чем дальше уходит время, тем больше их растет в республике, и соответственно этому появляются новые надуманные события, происшествия, одно страшнее другого, об этом суматошном времени. Теперь очень немного остается людей той поры, способных опровергнуть или подтвердить. Так что писать про ушедшее время можно что угодно. Я писал в ранее изданных книгах о тех далеких временах, что видел, слышал, и потому с многими «писателями» не могу согласиться и ещё раз хочу повторить то, о чем было написано ранее.

Что же, повторяюсь, было в Норильлаге в 1953 году? После смерти Сталина произошли многие изменения в лагерной системе. Стали освобождать без всяких ограничений заключенных со сроками до 5 лет и тех, у кого оставалось срока наказания не более 1-2 лет. Это касалось в основном лиц, осужденных по бытовым статьям, часть уголовников и даже политзаключенных с небольшими сроками до 5 лет, осужденных по ст. 58-10 (за антисоветские разговоры, и т.п.). О политзаключенных, имевших длительные сроки, усиленно велись разговоры, что все их дела будут пересмотрены. И уже стали появляться первые радостные вести: кое-кого стали освобождать. Но! Никаких предпосылок или даже намеков, что будут амнистировать или пересматривать дела лиц, осужденных за участие в войне против СССР, активно помогавших фашистам, за шпионаж, диверсию, террор и им подобных (хотя все они были осуждены по 58-й статье, в которой много пунктов и подпунктов) не было. У них появлялось твёрдое убеждение, что свободы им не видать. Тогда наиболее агрессивная часть заключенных со сроками 20-25 лет приступила к созданию организованного бунта, подбивая инертную массу заключенных к неповиновению.

Началось все с предъявления требований к администрации лагеря о предоставлении для всех заключенных без исключения общей амнистии. Такими правами лагерное руководство не располагало, да и правительство не намечало освободить самых кровожадных «хищников», принимавших участие в казнях, расстрелах, пытках, издевательствах над нашими соотечественниками. Лагерное начальство проявляло гибкость, стремясь уладить конфликт, возникший в лагерях заключенных, но это только подхлёстывало организаторов. Стали появляться над зданиями черные флаги, плакаты с призывом «Свобода или смерть!». Некоторых заключенных не устраивала эта смута, и они пытались выходить на работу. Тогда к ним применялись не только уговоры и угрозы, но и убийства. Администрация и служба НКВД стали принимать более решительные меры и в июле месяце был наведён порядок. «Свобода или смерть!» – многие правозащитники утверждают, что это был призыв к освобождению от тоталитарного режима. Вранье неприкрытое. Это означало предоставление всем заключенным освобождения из лагерей Норильска.

Неповиновение заключенных было и в Дудинке. Об этом я писал неоднократно, но повторюсь. «Тёплым летним днём, это было в июле, вышедшие на производство заключенные, в частности на участок лесной биржи, где я работал, отказались приступить к работе. Бригадиры пришли к начальнику лесного хозяйства и заявили, что они работать не будут. В Дудинке к этому времени уже знали, что в норильских лагерях продолжительное время идет «буза» (по-блатному). Тем не менее им был задан вопрос: «А чем вы не довольны?». Они враз ответили: «Нас предупредили из Норильска, что если приступим к работе, то всех перережут». (Эти слова я подтверждаю, потому что слышал сам, был на смене диспетчером и зашел в кабинет к начальнику вместе с бригадирами). Никаких угроз, запугиваний со стороны начальника, а им был тогда Дудинский Иван Иванович, фронтовик, не было. Видимо, его предупредили, чтобы в случае возникновения конфликта, ни в какие споры не вступал. Он усмехнулся и посоветовал: «Вы хорошо подумайте. Ничего вам это не даст. Но раз решили так, я вам не стану мешать». Через два дня забастовка прекратилась, и заключенные приступили к работе, причем без всякого принуждения со стороны лагерного начальства. Об этом я писал в книге «Святые берега».

Некоторые читатели могут задаться вопросом, особенно те, кто настроен агрессивно к режиму советской власти: почему же так много плохого идёт из средств массовой информации, а я в своих книгах и в данном случае последней «Из жизни прошлое не вычеркнуть» освещаю некоторые эпизоды совсем в иной плоскости. Сразу отвечу: «Потому что я пишу правду, несмотря на то, что в тюрьмах, лагерях, ссылке потерял более 13 лет».

Сделаю пояснение: нигде, ни в каких местах заключения не было ничего хорошего. Всем было плохо. Только одним было очень плохо, другим несколько легче. Также и мне. Многие из демократов-диссидентов и им подобные стремятся изобразить всю социалистическую систему с тюрьмами, каторгами, лагерями и т.п. одним сплошным исчадьем ада. Вранье это. При социализме, несмотря на целый ряд недостатков, было много хорошего, ко-

торое в период ельцинско-гайдаровских реформ одуревшие перевертыши-коммунисты растоптали, и сейчас невозможно возвратить назад и хорошее, и даже плохое, что было в великой социалистической державе.

В бывшей социалистической Республике Украине самые лютые враги нашего Российского государства, нашего народа Махно Н., Петлюра, Бандера С. и в веках проклятый даже украинцами Мазепа И., объявляются героями, а проамериканское правительство во главе с Ющенко прилагает все усилия установить им памятники в центральных городах как борцам с «москалями» «за самостийную ридную Украину». Становится понятным, что рядом с нами появилась враждебная страна, совсем недавно входящая в круг дружественных советских народов. И совсем скоро американцы под видом защиты от терроризма установят на её территории ракеты, как они сделали в Польше и Чехословакии. Интересно, как бы прореагировали американцы, если бы Россия (теперь трусливая и убогая) завезла ракеты и установила их на Кубе (однажды это уже было) под видом борьбы с международным терроризмом, который «угрожает» России из Пакистана, Афганистана и других враждебных России государств. Думаю, что началась бы война. В лучшем случае – «холодная» и беспощадная. Можно было бы не заострять внимания на всей «круговерти», что творится на Украине (мало ли какие действия происходят в стане противников), если бы наши правозащитные организации, особенно «мемориалы», которых сейчас по РФ развелось довольно много, не относились положительно к откровенным врагам советской власти, воевавшим с оружием в руках в период Великой Отечественной войны. И вот теперь после развала содружества социалистических стран, исполненного предателем Горбачевым М.С. и развала СССР, осуществленного Ельциным Б.Н., в отколовшейся республике потомки тех бандитов (бандеровцев, власовцев, «лесных братьев» и т.п.) прилагают все усилия, чтобы влиться в американскую агрессивно-террористическую группировку НАТО и вместе с ними творить беззакония в неугодных их режиму странах: Ираке, Афганистане и т.п.

Время идёт. Кто скажет, что будет дальше? Вероятно, только Бог.

Некоторые разъяснения к изложенному

В норильских спецлагерях, созданных в послевоенные годы, в преобладающем большинстве находились лица, связанные в той или иной мере с фашистскими спецслужбами и выступавшие с оружием в руках против советской власти, против российского народа с целью закабаления России и расчленения её на отдельные республики. Эту орду дополняли уголовные элементы (правда, никаких связей у них с предателями Родины не было), по своим звериным качествам мало уступавшие фашистским палачам и их прислужникам. Они заслуженно назывались врагами народа. Исключением из всей массы заключенных в спецлагерях были члены политических партий: эсеры, кадеты, меньшевики, большевики и т.п., осужденные на большие сроки за несогласие с линией Сталина. В 1948 году большую

партию таких заключенных отправили в спецлагеря из Дудинки. Об этом я писал в книге «Святые берега». В спецлагерях, кроме дудинских политических заключенных были такие же политические, собранные из всех норильских лагерей. Но сколько их было, я тогда не знал, да и сейчас тоже. Но думаю, что их было немного. Ибо к этому времени одни умерли, многие освободились, другие находились в ссылке после отбытия срока, твердо знаю одно: эти люди ни в каких протестах, бунтах и прочих возмутительных действиях ни в одном лагере не принимали никакого участия. В преобладающем большинстве эти люди были высокообразованные, имели специальности различного профиля и работали в спецлагерях и в ссылке на инженерно-технических должностях, выполняя очень важную и ответственную работу. Тем не менее (что считаю несправедливым) их в общей массе заключенных называли «придурками», тем самым, приравняв к бытовикам, уголовникам, работавшим нарядчиками, начальниками колонны, поварами, дневальными, библиотекарями, которых ставили на эти должности только с разрешения оперчасти (НКВД).

Следует заметить, что группу политических заключенных, перечисленных мною выше, ни в коей степени недопустимо относить к категории «врагов народа», что исходило от власть предержащих и очень афишировалось в среде настоящих уголовников, особенно прихвостней фашистского отродья, которых в наше «демократическое справедливое время» некоторые правозащитные организации называют «невинными страдальцами». Всех политических заключенных, которых я перечислил, вскоре реабилитировали, основную массу осужденных по бытовым и уголовным статьям, за исключением самых жестоких палачей, амнистировали в 1956 году. С этого времени система Норильлага прекратила своё существование. Более 50 лет прошло с той поры, почти не осталось свидетелей того смутного периода, никакие разговоры о норильских и дудинских лагерях не ведутся среди живущих на Таймыре людей, никто не вспоминает о тяготах сотен тысяч заключенных. Все забылось.

Но! Благодаря определенной группе лиц, часть из которых не видела и не представляла, что «творилось» в те годы, появляются статьи пересказы до такой степени извращенные, что неискушенный читатель может вообразить будто в Норильске в 1953 году свершилось восстание подобно пугачевскому или же бунт Стеньки Разина.

Читая отдельные высказывания, статьи и т.п. диву даешься, до какой же степени они лживы и противоречивы. Ну что ж! Кто-то и на этом хлеб зарабатывает.

Совсем недавно под эгидой московского «Мемориала» были напечатаны о Норильске, вернее о Норильлаге, горы томов с названием «О времени, о Норильске, о себе». Мне удалось просмотреть несколько экземпляров (полностью не читал), и я поразился: сколько же в них откровенной лжи, клеветы, оговора и т.п. и вместе с тем положительных отзывов о бандеровцах, участниках УПА, ОУН, «лесных братьях», «борцах за независимость». Об их преступных делах много было написано до меня, и я не стану повторяться, потому как знаю меньше, чем те люди, что видели их деяния

воочию. И вот теперь эти «борцы за справедливость», расхрабрившись, – благо время подоспело – пишут о своих «революционных успехах» более полувековой давности выставляя себя руководителями, вождями целой системы лагерей, поднявших бунт за свержение тоталитарного режима. Себя выставляют «рыцарями благородства», а лагерных работников, в том числе и медицинских, настоящими извергами, чекистами. Я приведу только один пример наглого вранья, охаивания одного из самых гуманных, порядочных людей, которых я лично знал в норильском лагере. Опровергать все написанное чтиво не стану, ибо не хватит ни время, ни сил, ни бумаги. Над этими томами трудилась целая группа «обиженных» недоброжелателей. И вот что пишет член ОУН Любченко А.М. («О времени, о Норильске, о себе» стр. 371 том 8): «Врач Беспалова подписала акт, будто парня не застрелили, а он умер от туберкулёза. По-моему она была садист, а не врач». Можно было бы не заострять внимание на этом высказывании. В этом сборище томов «О времени, о Норильске, о себе» столько написано мемуаров с таким огромным числом убийств, сражений, что их можно сравнить с кровопролитным боем в период Великой войны и выбрать более жестокий пример. Но! Вот что пишет в этих изданиях (том 7 стр. 389) медсестра Ширшова Юлия Николаевна, как только она приехала в Норильск на работу: «Меня сразу направили в пятое отделение горлага. Здесь меня по-матерински встретила Павлина Максимовна Беспалова. Она мне сказала, забудь что перед тобой заключенные, перед тобой люди, и ты сама будь прежде всего человеком, а потом врачом».

Я привожу эти высказывания в качестве примера не потому, что они в корне противоречивы высказываниям националиста Любченко А.М., а потому, что мне приходилось встречаться с этой замечательной по человечности женщиной. В марте 1949 года я попал в дудинском четвертом лаготделении в больницу. Я писал в своих книгах о гуманности дудинских врачей и потому повторяться не стану. Мне казалось, что у них нет никаких недостатков в обращении с больными, и беспокоиться им за какие-либо промахи не следует. И тем не менее однажды ранним утром среди медицинского персонала поднялся переполох. Санитарки мыли полы, окна, протирали двери, медсёстры обходили по второму разу больных, в палатах проверяли чистое ли белье, всем ли выданы лекарства. Главный врач Орлов А.В. со своим помощником Пляшечником Н.И. делали уже второй обход, обследуя тяжелобольных. В общем, я понял, что поднялась какая-то суматоха, и решил спросить у медсестры, которая делала укол моему соседу, что лежал напротив: «Что у вас сегодня, какой-то суетливый день?». «Скоро Беспалова приедет, не дай Бог увидит какие-либо нарушения, стружку со всех снимет. Придирается ко всем мелочам, особенно будет проверять, как кормят больных и в чистой ли они одежде. Потому сейчас и проверяем всё».

К вечеру Павлина Максимовна Беспалова делала обход вместе с врачом, проверяя в каком виде находится больница, обходя по палатам всех больных. Подошла она и ко мне. Я хотел встать, но она движением руки показала, чтобы я лежал. Посмотрела на Орлова. Тот сказал, что у меня не в порядке с нервами, мучает бессонница, скоро освобождаться, а он очень

волнуется, статья у него неважная, по 58-й осужден. Скоро восемь лет как осудили, чуть больше месяца – и конец срока, а сейчас многих определяют в ссылку. Павлина Максимовна осмотрела меня, послушала и сказала: «Всё в порядке, никаких отклонений. Ну а бессонница? Это не так уж страшно. Жить будешь долго, и будет у тебя все хорошо. Ты ещё такой молодой (мне недавно исполнилось 25 лет). Бывает у других положение много хуже». Когда наступила ночь, ко мне часто заходила дежурная сестра, давала какие-то таблетки, рассказывала, как Павлина Максимовна отчитала повара, тот не успел надеть новый халат, говорила со мной о всевозможных пустяках и ушла, когда я уже уснул. Я потом узнал, что это Павлина Максимовна распорядилась, чтоб медсестры по ночам как можно больше находились возле меня и в меру сил и возможностей успокаивали. Какой садист так поступает?».

На следующий день Беспалова снова была в больнице, но осмотрела больных только в нескольких палатах. Подошла и ко мне. «Ну как?» – спросила она. Я ответил, что спал хорошо. Она ещё о чём-то спросила, пожелала скорейшего выздоровления от бессонницы, а такое возможно когда победишь сам себя (она имела в виду нервное расстройство и мои переживания, она то знала какое положение было в это время в лагерной системе Норильска). И повторила те же слова: «Все будет хорошо, и вернешься к своим родным». Бессонницу врачи победили, а «хорошо» стало не скоро. По окончании срока заключения мне определили пожизненную ссылку на Таймыре, и только в 1954 году я стал вольным гражданином.

Можно по всякому охаивать советскую власть, работников лагерной охраны, надзирателей, комендантов, лагерное руководство, встречались среди них жестокосердные люди, но зачем клеветать, лгать на медицинских работников. Они одинаково ровно относились ко всем заключенным, будь то палач, убийца или по простоте своей осужденный мальчишка. Я не встречал ни одного изверга среди этой благородной категории во всех лагерях, где только довелось побывать. Считаю это неблагодарным поступком не только со стороны «писаки», но и тех кто напечатал данное враньё. В тот период медицинские работники придерживались заповедей Гиппократа. Может, теперешняя система все извратит. Тогда руководствовались принципом: «Кадры решают всё». Сейчас деньги решают всё, бизнес, не признающий никаких человеческих слабостей.

Послесловие

Всё дальше уходит время Великой кровавой войны. Совсем мало остаётся участников этого беспощадного побоища. Ветшают кресты и памятники, ржавеют ограды, обрастают могильной травой холмики на старых кладбищах и погостах, стирается из памяти огромное море страданий, выпавших на долю советских людей, бескорыстно и истинно любящих свою Отчизну. Были люди беззаветной отваги и величайшей скромности. И многих не стало. А оставшиеся в живых, сгорбившиеся от тяжести лет свидете-

ли тех времён, вспомнив безмерные трудности, качнут головой, вопрошая самих себя: «А было ли это лихо, и как нам удалось одолеть его?». И опираясь на клюку или руку такого же соседа, бредут по натоптанной дороге к «Ивану» – гармонисту, балагуру, весельчаку, прошедшему до Берлина и упокоившемуся более 60 лет на этом безымянном деревенском кладбище. И помнят люди «старого мира» скромных богатырей той далекой поры, спасших страну от страшной неволи и беспощадной чумы. Помнят! Во всех городах и весях. Но таких становится всё меньше и меньше. И вместе с этим множится число могил, где нашли безвременный покой, не знавшие ни военных тягот, ни трудовых будней совсем юные мальчишки, жизнь которых задавили пороки нечеловечного капитализма. И редеет русский народ, редеет катастрофически. Мир свихнулся: люди перестали быть людьми. Даже самая гуманная по своей человечности категория медицинских работников засасывается трясиной американского «звериного» образа жизни. Деньги, прибыль, нажива – вот понятия, всё глубже и глубже поражающие душу человека. И уже мало кто задумывается, каким путём и средствами они приобретаются.

Совсем недавно, возвращаясь из отпуска, я встретился в московском аэропорту Домодедово со знакомым мне дудинцем. Не стану называть его настоящее имя, ибо он коренной житель Дудинки, чтобы не подвергать его возможной критике или же любопытным расспросам. Хотя вряд ли этот случай с ним, о чём он рассказал мне, кого-то заинтересует или же встревожит. Дело-то по теперешним временам совсем пустяковое. Назовём этого мужика самым русским именем Пётр, а для солидности, человек он пожилой, Ивановичем. Так вот! Ездил Пётр Иванович навестить родного брата. Живёт тот в небольшом городишке недалеко от московской области. Брат немного старше Петра Ивановича и здоровьем не так крепок. Перед самым отъездом брат Петра Ивановича заболел. На скорой помощи увезли того в больницу. Диагноз болезни определили сразу: инсульт. У нас сейчас это одно из самых распространенных заболеваний. Через две недели брата Петра Ивановича выписывают, хотя тот без посторонней помощи не мог передвигаться. Пётр Иванович возмутился и пошёл к главному врачу больницы: «Что же вы так поступаете, брат ходить не может, а вы его выперли». «Не выперли, а выписали, – ответил главврач, – к тому же у нас имеется установка из здравоохранения с такими заболеваниями больше двух недель не держать на больничной койке, а долечивать на дому». – «А как же быть когда у него нет никого из родных, он одинок», – наступал Пётр Иванович. «В таком случае обратитесь в соцзащиту (а проще в дом престарелых – от автора), где его будут содержать и присматривать. Вообще-то, должны были об этом подумать раньше, – сказал эскулап и продолжил: – Впрочем, в нашем городе есть частная больница, куда можно положить вашего брата, только лечение там платное». Погоревал Пётр Иванович – но что тут поделаешь?

Увёз брата из больницы домой, а сам пошёл искать платную лечебницу, чтобы пристроить брата, – уезжать надо было. Не мог он дольше оставаться вдали от семьи, там тоже не все было в порядке. Немалые деньги пришлось выложить, чтобы на месяц положить брата на долечивание. «Ты уж Петру-

ха не обижайся на меня, что так случилось со мной, не думал, не гадал я, что на старости окажусь в одиночестве. Ну, теперь уж недолго. Скоро уберусь к своей Марфуше. Ждёт она меня там, ой, чую, ждёт, дожидается. Только не забудь, Петя, квартиру я завещал тебе, чтоб не досталась вражьим бесам. Если что случится, не приезжай хоронить. Я договорился с соседом Андрюхой, знаешь ты его, чтоб всё сделал по-человечески. А за труды отписал ему гараж. Он надежный – не обманет. Да и жена у него с моей подругами были. Так что поезжай с Богом и не беспокойся, может, ещё поправлюсь», – с напускной весёлостью успокоил брат Петра Ивановича. Но каково же было возмущение Петра Ивановича, когда тот узнал, что заведует платной больницей, главный врач государственной больницы, в которой брат пролежал две недели. Я молчал, не зная, что ответить Петру Ивановичу. «И так повсюду», – тихо проговорил мой приятель и успокоительно закончил: «Так и у нас скоро будет, законы-то здравоохранения для всех одинаковы: из Москвы идут». «Почему же врачи не возмущаются, ведь они же клятву Гиппократа давали?» – спросил я, хотя прекрасно знал, что гуманность и человечность далеко отодвинуты назад. Какой тут Гиппократ, мало ли к чему призывал этот старец в древности. Он теперь упоминается для приличия. Как ты выполнишь его заветы, когда врачу дана установка: передержишь больного на больничной койке больше двух недель – зарплату полностью не получишь. И полетел Гиппократ ко всем чертям.

– «И у нас в Дудинке тоже будет, – повторил ранее сказанное. – Ты мне вот что скажи, когда ты вызываешь скорую помощь, быстро они приезжают, узнав твой престарелый возраст? – разгорячился Пётр Иванович. Я довольно часто обращался за врачебной помощью на дому и довольно твёрдо ответил, что иногда задерживаются, но ненадолго и приезжают каждый раз по вызову. – Ну, так моли Бога. Если с тобой такое случится в каком-нибудь городке Средней России, то твои «старческие годы» вряд ли поспешат лечить, а скорее всего, вовсе не приедут, – с горькой усмешкой заключил Пётр Иванович и поспешил на посадку. Его самолёт уходил немного раньше нашего.

Он ушёл. А я подумал: если врачи выписывают из больницы заведомо не долечившихся по установке свыше, иначе лишатся зарплаты, то как будут эскулапы вытаскивать раненых с поля сражения? Там расплата определяется иногда жизнью. А война, порожденная Америкой, идёт во многих частях света и все ближе и ближе подбирается к нам. Но самое главное, как же будет выполняться национальный проект «Здоровье», когда люди все больше и больше черствеют. Откуда у людей появляется такая озлобленность, бесчеловечность, отсутствие сострадания к обездоленным горемыкам? Почему каждый думает только о себе. Растёт категория таких людей, когда страдания, неудачи, несчастья обездоленных и униженных доставляют им радость и удовольствие. И не надо ходить за примерами.

Однажды у входа в магазин я увидел сидящего на ступеньках нищего (к сожалению, их стало появляться в Дудинке всё больше). Рядом с ним на ступеньке лежала шапка с монетами. Мужик был заметно пожилым, но не старым. Проходя мимо, я по заведенной привычке, зная, что такое страдания

и голод, сам испытал когда то подобное, положил ему несколько монет, что оказались в кармане. Походив от прилавка к прилавку и закупив необходимое, я уже собрался уходить из магазина, когда услышал возмущенный голос довольно приличной гражданки, извергающей проклятья в адрес помешавшего ей спокойно зайти в магазин попрошайки, как она выразилась: «Разложился со своей вшивой шапкой, что чуть было не упала, запнувшись за его «побирушку» (шапку). Мало того, так ещё выговор мне сделал, что рассыпала его «пятаки». Плохо поступила гражданка. Но самое страшное не в её «попыхательстве» Страшно, что никто из стоявших вокруг не возмутился её поступком. Кто-то даже усмехнулся. Выходя из магазина, увидел плачущего старика и рядом с ним такую же старушку, которая «обшаривала» глазами ступеньки, с которых она собрала рассыпанные монеты. «Погляди», – обратилась она ко мне, – может, ещё где завалялась какая-нибудь деньжонка, у тебя вроде глаза повострей». Мимо проходили люди, не обращая на эту «картину» никакого внимания. Я тщательно осмотрел всё вокруг и, не увидев ни одной «деньги», ещё раз посмотрел на склонившуюся старушку и плачущего нищего. Какая-то режущая боль прошлась по груди, не зная как утешить обиженных стариков, я нашарил в кармане полушубка оставшуюся сдачу от покупок и положил в шапку. Не поворачиваясь, вышел из магазина. Встретившейся мне знакомый посоветовал: «Ты от ветра отворачивайся, а то у тебя из глаз слезу ветер высекает. Эх, старость, старость наша, никуда от неё не денешься. Ладно, побегу, прощай, а то супруга заждалась», – сказал он и тут же вскочил в магазин. А я мысленно перевоплотился в этого нищего, вообразил, что провел ночь где-то в бесхозной теплушке вместе с ним (упаси Бог от этого) и мне стало страшно. А тем временем в великой стране миллионы беспризорных, бомжей, безработных на вокзалах, возле пивнушек, в коллекторах, чердаках, подвалах, на мусорных свалках валяются, роются, отыскивая хоть чем-то набить своё чрево, и обессилев, засыпают, чтобы больше не проснуться. Немногие выживают из этой армии отверженных. В преобладающем большинстве малолетки, объединившись в группы, грабят стариков, одиноких прохожих, обворовывают квартиры, а попав в колонии только совершенствуют своё мастерство. И растёт новое поколение бандитов голодных и беспощадных. Жизнь становится страшней и беспросветней.

А горя не убывает

Прошло несколько томительных зимних месяцев. Они в заполярном крае в преобладающем большинстве однообразны. Постоянная темнота, которая с декабря и по февраль становится невыносимо скучной, непрекращающиеся морозы, сменяющиеся метелями, и уж совсем невыносимо, когда лютый мороз ниже 40°С сопровождается буйными ветрами до 20 и более метров в секунду. Такие явления природы называют чёрной пургой. Правда, иногда ветры сильные бывают и в более тёплые времена, но они нисколько не легче. В любом разе на улице ничего не видно кроме сплошной

снежной мглы. Редко, редко выпадают погожие дни, когда лёгкий морозец, без ветра и на небе никаких облаков. В один из таких погожих мартовских дней я решил сходить в магазин. Было светло, и небо от горизонта до горизонта облила голубая лазурь. Я люблю такую погоду. Сходив в несколько магазинов, прикупив все необходимое, я, не спеша, направился к дому. Темнело. Не обращая внимания на проходивших мимо меня людей, я не заметил, как один из стоящих возле автобусной остановки мужчин подошел ко мне и дотронулся до плеча рукой. Я отрешился от мыслей и увидел своего старого знакомого Петра Ивановича. Хотя с последней встречи с ним в Домодедово прошло немного более полугода, мне показалось, что он заметно постарел. Вид у него был каким-то грустным и усталым. Памятуя о том, что он ездил в прошлом году к больному брату, я не стал приставать к нему с расспросами и напоминать о разговоре, состоявшемся в аэропорту Домодедово.

Поздоровавшись, обменялись несколькими ничего не значащими словами, и я спросил о его здоровье, сколько он ещё времени собирается жить на нашей «обетованной» дудинской земле. Петр Иванович нахмурился и долго молчал. Было видно, что у него не все в порядке. Молчание затягивалось, становилось тягостным, и я, не утерпев, спросил его: «Ну, а как поживает твой брат, к которому ты ездил, кажется, прошедшей осенью?». Он как-то неестественно зашмыгал носом, и мне показалось, что из глаз его покатились слезинки. Мне стало все понятно, не хотелось продолжать начатый разговор, но уйти, не дождавшись его ответа, было неудобно. Петр Иванович, не замечая скатившихся слезинок, глядя куда-то в сторону, ответил одним словом: «Плохо». Чтобы разговор не оборвался на таком печальном ответе, я тут же высказал свои предположения: «С братом что-нибудь?» – не договаривая самую суть вопроса. Мне всегда становится больно при виде душевных страданий людей. Петр Иванович покачал головой и поведал мне довольно грустную историю из жизни своего брата: «Помер мой братуха Сашка два месяца назад. Было бы не обидно, если бы всё произошло по-человечески. Ты помнишь, как я тебе говорил, что положил его лечиться в платную лечебницу и деньги по их расценкам заплатил вперед за целый месяц немалые. Выздоравливать начал понемногу Саша, даже два письма написал, что дело пошло на поправку. Что может быть радостнее, когда твой родной брат начинает выздоравливать. Прошёл месяц. И опять нужны деньги. А где он возьмёт? Андрей, друг его по соседству советовал ему обратиться ко мне за помощью. Но Саша, категорически отказался. Попросил только Андрея, чтобы тот помог довезти до дома, сказал, что будет дожидаться там своей кончины. Ни дня не разрешили подержать работники нашей «демократической» платной лечебницы Сашу сверх оплаченного месяца. Нашёл Андрей машину, довез до дома и с трудом довёл до квартиры. Каждый день по несколько раз заходил к нему проведать. Продукты носил кое-какие. Кое-как перебивались. Пенсии у обоих, чуть больше 4000 рублей, а у Андрюхи ещё и мать престарая. Когда увидел Андрей, что приходит Саше конец, он уж ходить перестал, всё больше лежал, послал он мне телеграмму, что недолго проживёт Саша, приезжай, может, живым

застанешь. Хоть и наказывал Саша не тревожить меня, но не послушался Андрей, и я как получил такое известие, сразу же вылетел. Хорошо хоть погода удалась, а то бы торчать мне в Алыкеле. На следующий день запретили полёты из-за снежной бури, и несколько дней не летали самолёты.

Успел я. Саша был плох, почти не разговаривал, лежал. А когда увидел меня, обрадовался несказанно и залился слезами. Два дня просидел я возле него, а на третий он вздохнул глубоко, как-то грустно посмотрел на меня, закрыл веки и замолк. Похоронили на сельском кладбище, поминки скромные справили. Рассказал Андрей о его последних днях, в каких мучениях он провел остаток жизни и постоянно костерил медицинскую братию, выбросившую из больницы недолечившегося старика. Ведь подержали бы ещё несколько дней, на поправку шёл Саша, ходил по больнице без всякой помощи и пожил бы ещё. Упрашивал Андрей больничное начальство. Обещал, что достанет денег и заплатит за лечение: додержите ещё хоть немного, сами видите, что ему нужно полечиться. Уперлись и ни в какую. Один ответ: «А просто так не можем. Сейчас лекарства очень дорогие». Никакой человечности. Только болтают, да врут, что у нас все стабилизировалось и народ перестанет вымирать. Врут и депутаты, и правительство». Я устал выслушивать длинный монолог Петра Ивановича. Но перебивать не стал. Слушал его, а сам думал о себе. Я ведь тоже могу очутиться в таком положении. У Александра Ивановича, царство ему небесное, хоть брат Петр был, да настоящий друг Андрюха, а у меня вообще никого нет. И такая безысходность охватила душу, что почудилось, будто нахожусь один среди пустынь горячих, где кроме змей ядовитых никого и вокруг нет. «Вот так-то, друг мой, живём мы все сейчас в этом капиталистическом мире, где правит закон волчьей стаи», – заключил свое высказывание Петр Иванович.

«Трудную жизнь прожил твой брат, умирать в одиночестве это самое страшное наказание, – посочувствовал я Петру Ивановичу, – труднее не придумаешь».

Петр Иванович, немного помолчав, заговорил снова: «Это последние годы он жил в одиночестве. А до этого у него жена была, сын. Только беда пришла в одночасье. Сына убили в Афганистане, а его Марфушенька, он её всегда так называл, как только узнала о смерти Алешки, сына так звали, занемогла и не прожила после его смерти и полгода. Убралась тихо. И вот тогда стало тихо и плохо у брата. Жена Алешки, брату моему Саше невестка, уехала на Украину к своим родителям, и с той поры о ней нет ни слуху ни духу. И остался он один одинешенек. Я попервости приезжал к нему всей семьей, вместе с дочерью. А когда она вышла замуж и уехала во Владивосток, остались мы вдвоем с супругой. Супруга вскорости заболела, и стал я ездить к нему один. На такие «экскурсии» сколько нужно потратить денег на одни билеты. Пока работал, так ещё кое-как перебивались, а уж сейчас если придется куда выехать так в один конец денег на билеты не наберу. Всё что было прикоплено растратил. Так что живём с супругой только на пенсии. Но нам много и не надо, сводим концы с концами».

Он замолчал. А я не находил слов с чего бы начать разговор. После

некоторого молчания он снова заговорил: «После похорон Саши пожил я ещё 10 дней, обо всех горестях переговорил с Сашиным другом Андреем и уехал в Дудинку. Намучился пока ехал обратно. Несколько дней закрыт был Алыкель, сам знаешь, какие здесь были пурги. Добрался. И целую неделю лежал не поднимаясь. Очухался. А когда стало полегче, то вроде бы и душа немного отогрелась. Неважно живём, но многим ещё хуже, даже хуже, чем моему брату Саше жилось». Пётр Иванович засуетился, стал шарить по карманам, то в один сунул руку, потом другой и, наконец, из внутреннего кармана достал письмо. Подержал его в руках и, глядя на меня, сказал: «Получил недавно письмо от знакомой дудинчанки. Много лет мы дружим семьями, уехала она с мужем в Стерлитамак. Сам-то там умер вскоре, а она уже несколько лет доживает свой век одна. Ты, наверное, знал их. Много лет они здесь жили. Котовы их фамилии». Я перебил Петра Ивановича: «Уж, не Ефим Михайлович ли это? Он же одно время работал у нас на лесном хозяйстве?» – «Конечно он, – ответил Петр Иванович, – царство ему небесное, а супруга его Мария Сидоровна доживает там. Читать её письма без слёз не мог. Если хочешь поинтересоваться, как некоторым нашим дудинчанам доводится доживать свой век на «материке», могу дать почитать. Там ничего нет секретного, одна только тоска».

Читать чужие письма занятие непристойное, но коль сам адресат разрешает поинтересоваться тяжелой жизнью знакомых мне людей, то я после некоторого раздумья согласился и взял у него письмо Марии Сидоровны, написанное Петру Ивановичу. «Хорошо, Пётр Иванович, как прочитаю, обязательно верну его тебе», – смущенно ответил я. «Можешь не возвращать, никому оно не нужно, на дороге валяться будет, никто не поднимет. Черствый народ становится и чем больше проходит время, тем больше равнодушия в людях», – отреагировал на мои слова Петр Иванович. «Ну, ладно, почитаю, разузнаю, на что жалуется Мария Сидоровна, наша землячка, хоть и здесь немало в нашей Дудинке стало появляться беспризорных бедолаг, да бомжей закоренелых», – ответил я и тут же попрощался. Жалко было глядеть на знакомого мне много лет человека и так быстро постаревшего всего-то немногим более полугода.

Возвратившись домой, я лёг на диван и глубоко задумался. Супруга моя несколько раз задавала мне какие-то вопросы, но я был так углублён в состоявшийся разговор с Петром Ивановичем, что не сказал ей ни единого слова. Наконец она, не выдержав, возмутилась: «Да хоть слово скажи, что с тобой случилось, молчишь, будто оглох?». Я повернулся к ней. Она внимательно всмотрелась в моё лицо и, увидев скатившуюся из глаза слезу, совсем тихо спросила: «Что с тобой?». – «Нет, Саня, ничего не случилось, никто меня не обижал, только горе людское, которого становится всё больше, всю мою душу истерзало. Встретился с Петром Ивановичем, ты его знаешь, он мне рассказал, как умирал его брат в одиночестве, в захолустном городишке недалеко от Московской области, кажется Струнино, припоминается так он мне его называл, и столько высказывал обиды и горечи на теперешнюю жизнь, что и до сих пор не могу придти в себя. Да ещё добавил, что многие хуже живут. Письмо он получил от Котовой Марии Сидоровны, может, ты

знаешь её. Я-то их обоих хорошо знал: сам-то Ефим Михайлович, её муж работал у нас на лесном хозяйстве, а она где-то в больнице – то ли санитаркой, то ли медсестрой. Так вот он говорит, что её письмо не мог читать без слез и дал мне его. Я не хотел брать, но посовестился отказаться и вот сейчас лежу и думаю, если её жизнь ещё хуже, чем была у Александра, брата Петра, то окончательно разволнуюсь и всю ночь не усну», – закончил я свои сетования своей супруге. «Знаю я и Марию Сидоровну и её мужа Ефима. Она много лет назад работала со мной лаборанткой, а потом перешла в больницу. Где это письмо? Дай-ка мне его, я посмотрю», – попросила супруга. Я поднялся с дивана, достал письмо и отдал ей его. «Ну, а теперь пусть оно полежит до утра, ты уйдешь завтра на работу, а я его прочитаю и потом тебе расскажу обо всём, а то чего доброго у тебя давление поднимется и опять вызывать «скорую помощь», – настоятельно сказала супруга. «Нет, так не пойдёт, письмо читать до утра не стану, а завтра возьму на работу и прочитаю, там не дадут запечалиться», – отреагировал я на требования своей половины. На том и порешили.

Действительно, подумал я, от грустного рассказа Петра Ивановича ещё не успокоился, а если ещё прочитаю письмо печалью живущего где-то в одиночестве человека, от горькой участи которого Петр Иванович слёзы лил, то наверняка не усну до утра. (Меня давно уже мучила бессонница). В это время по телевизору опять кто-то выступал из партии «Единая Россия», восхвалял достижения в экономическом развитии Российской Федерации, улучшении материального состояния народа, заботах о стариках и т.п., а у меня не уходила мысль о бедственном положении одиноких стариков и старух, прозябающих на всех землях нашей великой страны. И чем больше перебирал в памяти прошедшие годы, теперешние события, тем больше убеждался, что нет впереди никакого просвета. Грефы, Кудрины, Чубайсы заведут народ в непроходимую «трясину», из которой нет назад пути.

Из размышлений меня вывел голос супруги: «И почему всех одиноких стариков, беспомощных и беззащитных, не соберут в какую-нибудь богадельню, где бы они могли отогреться и хлебом бы их накормили». –«Голубушка моя, если собрать по всей стране всех немощных, одиноких, бомжей, беспризорных и весь прочий отверженный люд, то никаких приютов, домов престарелых и просто общежитий не хватит. Этого никто не собирается делать. Строят для небольшой группы элитные дома, коттеджи, особняки, дворцы, а до прочего люда вознесенным вверх нет дела. Не трать время на пустые разговоры, а давай лучше решим вопрос, где будем доживать свой век? У нас с тобой может сложиться положение немногим лучше других», – урезонил я свою половину. Супруга вздохнула, и на этом наш разговор на эту тему закончился.

Я плохо знал Марию Сидоровну, что работала в больнице санитаркой, где мне доводилось лежать много лет назад с воспалением лёгких, а вот Ефима Михайловича Котова, работавшего у нас на лесном хозяйстве, хорошо помнил, хотя приятельских отношений у меня с ним не было, но тем не менее страдания знакомых и незнакомых отзывались во мне болью. На следующий день рано утром я пришёл на автобусную остановку. К ней

разрешили пристроить небольшой ларёк с условием, что хозяин будет обогревать помещение автостоянки и расчищать подходы к ней. Её обосновали бомжи и с самого утра они уже толпились внутри помещения, благо там было довольно тепло. Подходя к остановке, я увидел машину «скорой помощи». Оказалось, что кто-то из бездомных скитальцев, зайдя в помещение, упал и забился в судорогах. Продавщица вызвала «неотложку», и я увидел, как в неё двое санитаров затаскивали бесчувственного человека. Я спросил у пассажиров, ожидавших автобус: «Может, пьяный?» – «Непохоже, – ответил мне стоявший поблизости средних лет мужчина, – скорее всего, перемерз где-нибудь в ночлежке. Ночь-то была холодной. А когда он вошёл в тёплое помещение, так его сразу и затрясло. Я часто видел этого бомжа, он каждое утро приходил сюда». «Неотложка» отъехала. Вскоре подошел автобус и я уехал вместе со всем ожидавшим его людом. Ни один из пассажиров не вспомнил о происшедшем случае. Я не стал никого расспрашивать. Никому не было до этого несчастного человека никакого интереса. Привыкли, – не впервые.

В суете рабочего утра я позабыл про письмо, данное мне Петром Ивановичем, а когда вспомнил, то день приближался к обеденному перерыву, и я отложил его на более удобное время. Придя домой, супруга сообщила неприятнейшее происшествие: «Вчера вечером пьяная молодая мать выбросила с седьмого этажа десятимесячную дочь. Женщину забрали. Многие говорят, что она помешалась. Так ли, не знаю». Меня это известие так поразило, что я забыл обо всём на свете. Становилось всё страшнее и печальнее, в Дудинке случаи насильственной смерти стали появляться чаще, чем было много лет назад. А тут ещё смерть ребёнка. В конце смены, когда из конторы многие ушли домой, я открыл конверт, достал письмо, развернул его и задумался: «Читать ли его?». Письмо было написано на четырёх страницах мелким убористым почерком. Взвинченный с утра целым рядом происшествий, я понимал, что оно доставит мне ещё целый ряд неприятных ощущений, что всегда предшествовали моим бессонницам, но, наконец, пересилив себя, стал читать. Я несколько раз прочитал его с начала до конца. И решил предать огласке, не исправляя ошибок, исключив только те абзацы, в которых старушка жалуется на несправедливость властей и бездушие бюрократов, ибо для читателей подобные выпады неинтересны, так как люди уже смирились с жестокосердием и равнодушием со стороны власть предержащих чинодралов, разбогатевших на реформаторской «волне».

«Здравствуйте, уважаемые северяне! Катя и Петр Иванович! Сегодня пытаюсь Вам написать письмо, хотя Вы что-то не пишите мне, но соседи, что приезжают из Дудинки передают от Вас приветы мне. С новым и старым годом Вас, с праздниками прошедшими. Я, конечно, никуда не выхожу, больше бываю дома, нога – мое колено не даёт покоя, плохо передвигаюсь, очень болит, а сейчас и скользко, обхожусь продуктами, что есть дома, иногда слазаю с тележкой куплю что-то, вот такая настала моя пора, людей много не напросишься, я их понимаю, конечно, они живут не одни да ездят на машинах им некогда, да и какая от меня отдача, вот и не лезу со своей

бедой. Уже разучилась разговаривать – всё одна и одна. Нет подруги у меня одинокой в доме, а на улице не найдешь, ходить к людям иногда позвонить чувствуешь себя как обязан что-то. Тут хотела пустить квартирантов, чтобы быть не одной или пустить опекуншу для себя, но пока ещё думаю и так говорят пустишь потом себе покоя не найдешь в своей квартире, да, конечно, всё может быть. Все так подорожало, и ещё все ждут удорожание платы за квартиры, а продукты каждый день дорожают, также лекарство. Давление мучит, а на таблетки денег нет. Мне никто не пишет. Кто меня знал – умерли, а другие также состарились – и кому я нужна одинокая. Погода стоит всякая, когда как, но очень скользко мне, трудно ходить. Когда вызывала врача домой, придя ко мне, она сказала: «Люди моложе болеют, а у вас годы большие, что хотите вот такое лечение». Не очень хочется ползти к врачам, я то так знаю, что у меня возраст большой, старая стала, ну как-то надо доживать до финиша мне без обид. Я сама думаю, что я самая счастливая старуха дожила до такой старости не умерла в молодом возрасте, хотя жила без отца и матери. Очень жалею и плачу, что сын мой так рано ушел из жизни. Это так неожиданно было. Невестка меня не хочет знать, только интересуется, я жива или нет, спрашивает по телефону соседскому, видно боится прозевать наследство для её сына, если я умру. А ведь сын то её мне внуком приходится. А всего-то наследства одна квартира. Второй сын мой с женой живут в Хабаровске не пишут и не звонят. Ни от кого нет мне никаких вестей. Самое плохое это одиночество. Все-то меня сторонятся. Когда звоню в скорую помощь, сил нет, как болит нога, так мне отвечают у нас вызовов много и все моложе вас, успеем так приедем, а то передадим другой смене. А как терпеть, когда сил нет. И лекарств купить не на что. Бога молю, чтоб облегчил мои страдания. И так хочется вернуться назад в Дудинку, что слов нет высказать вам свою печаль. Только как уедешь от могилы мужа, с которым прожили всю жизнь, да и в Дудинке у меня уже нет никого. Ну, вот и всё. С уважением к вам. Котова Мария Сидоровна».

Прочитал ещё раз это грустное письмо, полное страданий и печали, и в моем воображении представилась наша огромная страна с неисчислимым множеством в нужде, бедах и горе проживающих в ней скромных и простых людей, многие из которых обращаются с мольбой к Богу: «Забери нас к себе». Что это? Откуда такое? Сам придумал? Нет. Не раз приходилось слышать подобные изречения, высказанные иногда от горечи, а порой от безысходности. Отчего же так произошло, что таблеток от давления, которые при советской власти стоили гроши, теперь у одинокой старухи не хватает пенсии, чтобы купить их в аптеке? «Развал СССР – это самая большая трагедия за весь период существования Российского государства», – так сказал Путин. Но более страшная трагедия – это уничтожение коммунистической системы, свершенное группой коммунистов во главе с Ельциным и Горбачёвым. И надо же! Предшественник Путина Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище со всеми почестями монарха. И всплывают в памяти божественные песнопения в великолепии церковных убранств и тесная толпа великодержавных властителей, покорно склонивших головы перед образами Спасителя и Божьей Матери, осеняющих себя крестным знамением, тихо, тихо нашептывающих

себе под нос то ли молитву, то ли покаяние. Может, что-то просят у Бога? Так у них всё есть. Или, может быть, молятся за убогих и скорбящих, чтоб их поменьше было? Но их и так убывает с каждым годом всё больше и больше. Так что же им надо? Ведь они прекрасно понимают, что нет ни Бога, ни чёрта. А для чего же тогда церковь? Нужна она им, чтоб принародно показать какие они божьи «угодники», свято чтившие все церковные обряды и праздники и о людях скорбящие. Давят свою совесть, насилуют себя, скорбный вид напускают, умиляются от исполненного «долга». Простой народ не верит их хамелеонству, чертыхается, взирая на их фарисейство. И только измученные постоянными страданиями и житейскими невзгодами отживающие век старики со старушками, слёзно подняв глаза к небу, молят про себя: «Помоги им Господи, отведи от людей беды и напасти. За всех просят. А дорвавшиеся до «царского пирога» утопающие в блаженстве бывшие советские чинуши, поправ человеческие понятия, глумятся над коммунистическими лозунгами: «свобода, равенство, братство» – такая чушь существует только в «ином мире». Насмехаясь, забывают, что в «тот мир» уходит каждый. И богатый, и последний нищий. Там все равны и одинаковы. Одни уходят с обидой на прожитую горькую жизнь, а многих гложет собственная совесть за грабёж и обман своих же собратьев, живущих вместе на одной земле. Совесть перед кончиной приходит к каждому «беспредельщику», сколько её ни глуши. Но до этого живут и никто не кается. Не каются! Не успев сойти с церковной паперти, одни спешат в развлекательные казино и прочие увеселительные заведения, другие важно отправляются править бизнес. Торопятся, толкают друг друга, чертыхаются один на другого и нет ни у кого ни радости, ни веселья, терзает всех необузданная озлобленность, замешанная на равнодушии.

А как хочется, чтоб хоть немногие прислушались к замечательным словам, сказанным добрым поэтом:

В суматохе спешащего века,
Люди добрые, будьте людьми.
Человек улыбнись человеку -
Человек человека пойми.

В каком же удивительном благолепии и неиссякаемом благополучии жили все народы мира, если бы исполняли Божьи законы, написанные когда-то воистину святыми людьми. Впрочем, об этом было сказано множество раз более умными и достойными людьми.

2 марта 2008 года

Ростки возрождения

Велик Таймыр. Раскинулись его земли на севере нашей необъятной России. Омывают пустынные берега холодные волны полярного океана, бушуют ураганы с чёрными пургами. Трещит земля от лютых морозов, надолго скрывается таймырская тундра в темноте полярной ночи. Необозрим

Таймыр и разнообразен. Неисчислимое число озёр, болот, рек, речушек, водоёмов разместилось на его территории. Вряд ли кто сумеет подсчитать, чего больше на его владениях – воды или твердой земли. Суров и беспощаден Таймыр. Беда путешественнику или страннику, волей или неволей занесенным на необитаемую таймырскую землю. Не выбраться из паутины рек и речушек, соединенных в неразделимый водоём. Не найти выхода из бесчисленных озёр, соединенных мелкими и крупными речками. Одним отличается таймырская вода: чище её не найти во всем мире. А зимой?.. От мороза и пурги не скрыться. На многие сотни вёрст никакого жилья, ни пристанища. В летнюю пору ненадолго покрывается тундра разноцветьем трав, и нет конца и края поразительной яркости естественного ковра созданного природой. Особенно прекрасен он в преддверии осени, когда среди огромной массы набравших красоту и силу цветов начинают проявляться первые чуть заметные проблески желтизны. Сколько и какие цветы растут на этой скудной и холодной земле – вряд ли кому удастся сосчитать и запомнить их названия. Гуляет ветерок, сгибает верхушки трав и растений, волнами колышет, пригибает травинку к травинке, венчик к венчику, раздувает лепестки, и кажется, будто безбрежное море чуть-чуть плещется в лучах ослепительного солнца. В безветренную погоду наступает тишина. Не слышно никаких звуков, никакого шороха. Не шелестят листочки на кустарниках, не набегают на берега озер волны и по глади вод плывут белые облака. Наступает умиротворенное состояние. Куда ни глянь – бескрайняя тундра уходит куда-то далеко за горизонт. Воздух чист и прозрачен. Только где-то чуть видится дымок за озером. Видимо, какой-то забредший рыбак выбрал местечко для рыбной ловли, благо рыбы в каждом водоёме много. Забываются все невзгоды, и кажется, что попал в какое-то спящее царство.

Очень немного людей живут на Таймыре. Иногда на сотни верст не встретить ни одного человека. Да и кто пойдёт в тундру, сплошь изборожденную речками, ручейками, озерами. Среди этих водоёмов легко заблудиться и никто не поможет выбраться. Нет никого вокруг. Но есть на Таймыре большие поселения: Норильск, Талнах, Кайеркан, Оганер, Дудинка, построенные в годы советской власти. Развивались и расширялись мелкие поселения – Усть-порт, Караул, Носок, Диксон, Воронцово, Потапово. Но с приходом к власти «демократов» все они пришли в упадок, население сократилось во много раз. Держатся ещё на прежнем уровне города Норильск и Дудинка, но уже прежние темпы строительства далеко не те. Много народа побывало на великих стройках Норильска, Дудинки. Каких только людей не засылали власти на долгие сроки в Норильскстрой. Много произошло кровавых происшествий в лагерях Норильска и Дудинки. Только мало осталось людей, которые помнят о них, а если кто-то из новоявленных «демократов» пишут о них, то в большинстве случаев стремятся во всем обвинить советскую власть, хотя это далеко не так.

Мне довелось не только слышать, но и видеть некоторые разбойные преступления, свершенные закоренелыми убийцами. Однажды группа уголовников, это было в первые послевоенные годы, разоружив охрану на Каларгоне (где был очень жесткий режим и содержали самых отъявленных

головорезов из числа бандеровцев, власовцев и им подобных заключенных) с оружием, захваченным у охранников, ушли в тундру с целью совершения побега в глубинные районы республики. К данному происшествию я возвращусь позднее. Сейчас многие правозащитники причисляют этих бандитов к политическим заключенным, ибо они были осуждены по 58-й статье, в которой предусматривались преступления за измену родине, предательство, террор, вооруженное сопротивление, борьбы против Советского государства. Я много слышал о страшных преступлениях, свершенных этими подонками, особенно в норильских лагерях, но видеть растерзанные жертвы в дудинских лагерях в мою бытность нахождения в заключении довелось только дважды.

Осенью 1946 года в конце навигации бригада грузчиков работала на бревнотаске. В ту пору бревнотасок работало несколько, ибо леса в те годы приплавляли много. В этой бригаде находилось несколько человек из числа «западников» (литовцы, латыши, западные украинцы, «лесные братья» и т.п.). Все они были приговорены к высшей мере наказания, но по окончании войны этот приговор был отменен, и их приговорили к каторжным работам. В дудинских лагерях подобных заключенных не оставляли и прямиком направляли в Норильск. Но в этот раз их задержали до конца навигации: людей не хватало на выкатку леса из воды. За короткое время они быстро объединились и сколотили настоящую бандитскую группу. Первое время их боялись даже «воры в законе». Возглавлял эту свору прибалт Витас. Другие называли его Волтас. Кто он был литовец ли, латыш или из какой другой нации – я не знаю по причине своей малой заинтересованности в те годы подобными людьми. Однажды в ночную смену несколько человек из этой группы изнасиловали мотористку, работавшую на пульте управления бревнотаской, тогда ещё работали мужчины с женщинами совместно. Их потом разъединят. Чтобы скрыть следы преступления эти мерзавцы оглушили дивчину и бесчувственную затолкали под цепь бревнотаски включили двигатель и через несколько секунд она была измочалена на зубьях звездочки. Многие видели подобную картину, но никто не сказал правду. Прибежавшие мастер, начальник смены, потом приехавшие руководители лагеря, слышали от всех только один ответ: неосторожно поскользнулась и упала на звездочку, её затянуло и разорвало. Все боялись этих бандитов.

Второй аналогичный случай: затискали тело оглушенной мотористки под трос работающей лебедки. Её изрезало на части. И опять начальство не докопалось до истины. Заключенные об этих преступлениях знали все до мельчайших подробностей, но из-за боязни быть подверженным пыткам начальству не доносили. У многих закипал гнев, но расплату за содеянное выполнили так называемые «законники» или проще «воры в законе» и их подручные. Они вообще презирали насильников, а тут целая группа захватила руководящую роль, верховодила в среде заключенных и насиловала женщин. Объединившись, «законники» в ночное время перерезали около десяти человек из числа «западников». Оставшихся в живых руководители лагеря во избежание дальнейших убийств собрали и отправили в норильские лагеря. Наученные горькими примерами, начальство лагеря

и их подчиненные применяли более строгие меры к отъявленным головорезам, после этих трагических случаев в дудинских лагерях наступило полное затишье. Не только в дудинских лагерях, но и норильских. Наиболее отъявленных отправляли на Каларгон. Там был жуткий режим и свирепые конвоиры. И я, «законопослушный» заключенный, благодарен судьбе, что она провела меня по жизни мимо этого сборища «отморозков», где случаи убийств, издевательств, пыток одних заключенных другими были такими же обыденными и частыми явлениями, словно мелкие моросящие дожди в осеннюю промозглую погоду.

Однажды, о чём я начал писать в начале рассказа, в середине лета, это было в июле месяце, несколько человек ворвались на пропускную вахту, задушили двух вахтеров, взяли их оружие и уже вооруженные разоружили несколько человек охранников, находящихся в караульном помещении, расположенном в непосредственной близости от лагерной зоны. В живых не оставляли никого. Захватив их оружие, которого хватило на всех, они, переодевшись в форму конвоиров, вышли через проходную и направились вглубь тундры, которая была рядом с лагерем, предварительно ограбив небольшой ларек, чтобы запастись продуктами. Продавцов ограбленного ларька убили тоже. Спохватились о побеге заключенных только через час, по следам беглецов отправили целый отряд войск НКВД. Обшарив всю местность поблизости, часть охранников, запутавшись в лабиринте речек, ручейков, озер, не смогла выбраться. Остальная часть поисковых работников, возвратившись, доложила, что несколько человек из их группы заблудились в тундре. В конце июля темного времени совсем немного и как только чуть рассвело, на поиски вылетели два вертолета, которые уже к середине дня обнаружили охранников и после доставки их в казарму вылетели на поиски сбежавших преступников. Но отыскать беглецов оказалось не так просто. Подключили ещё один вертолет, и они кружили круглосуточно, пока не наступала темнота, правда, ненадолго. Преступники пользовались небольшим отрезком темноты, стараясь уйти подальше от лагеря, но, не имея никакого представления о пути движения (хотя в тех местах никаких дорог не было), они, плутая между речками, только больше запутывались и блудили в непосредственной близости. При звуках вертолета прятались в густых зарослях тальника, отчего обнаружить их было не так просто. Начались дожди. Вероятно, это обстоятельство помогло охранникам обнаружить беглецов. Промокшие до нитки, они при первом появлении солнца развесили вымокшую одежду, чтоб она просохла. Услышав шум вертолета, заспешили спрятать развешанную одежду, но не успели. Их обнаружили. Вскоре прибыли ещё два вертолета с охранниками, которые высадились недалеко от места нахождения беглецов. По рупору им предложили выйти из укрытия. Но никакого ответа не последовало. Тогда охранники стали стрелять вверх, предупреждая этим, что затем начнут стрелять на поражение. Снова молчание. Тогда командир, подняв руку вверх, направился к зарослям, где, по предварительным данным могли скрываться беглецы. Но не успел он пройти несколько шагов, как из кустов прогремел выстрел. Видимо, у кого-то из бандитов не выдержали нервы. Командир, не дожидаясь следующего

выстрела, лёг на землю и ползком возвратился к вертолету. Вертолет взмыл в воздух и поднялся на довольно большую высоту. И вскоре все три вертолета стали кружить вокруг зарослей кустарников, в которых скрылись преступники. Охранники, прилетевшие на вертолетах, находились в отдалении. После того как была дана команда приступить к окружению банды (по-другому этих убийц не назовешь), они стали приближаться к засевшим в зарослях бандитам. Когда расстояние между охранниками и бандитами сократилось, из кустов прозвучали выстрелы. В ответ началась настоящая пальба. Охранники стреляли с разных сторон. Стреляли с вертолетов. В самом начале из кустарников раздавались довольно частые выстрелы. Затем все реже и реже. Охранники же с земли и вертолетов не жалели пуль. По прошествии некоторого времени, когда со стороны бандитов прекратились выстрелы, затихла пальба и со стороны охранников. В этой перепалке были ранены два охранника. Одному пуля прострелила руку, другому плечо. Их перевязали и сразу же на вертолете отправили в Норильск.

Долго охранники оставались на месте, не шли в логово бандитов, хотя оттуда никаких сигналов, никаких выстрелов не гремело. «Неужели все убиты?» – в задумчивости спросил командир у стоявшего с ним рядом охранника. Ему давалось задание по возможности взять хоть кого-то живым. Но в такой «мясорубке» трудно было предполагать, что кто-то останется целым. Несколько человек направились к зарослям, держа винтовки на боевом взводе. Чем ближе подходили к зарослям, тем тревожнее было на душе охранников. Сквозь срезанные пулями ветки пространство вглубь кустов просматривалось на довольно длинную дистанцию, но никого из беглецов не было видно. Когда подошли совсем близко, то увидели жуткую картину. Беглецы лежали в некотором отдалении друг от друга, одни вниз лицом, другие перевёрнутые на бок. Тела были залиты кровью. Бандиты были убиты сверху из вертолётов.

Их привезли на Каларгон. При осмотре оказалось, что двое были изрезаны ножами. Вероятно, эти двое поняв бессмысленность сопротивления, уговаривали остальных сдаться и возвратиться в лагерь. Но, не получив согласия и поддержки от остальных, пытались перебежать к охранникам, за что и были жесточайшим образом убиты. Побег из Каларгона был совершен преступниками, не имевшими никакого представления о тундре. Они, пройдя чуть больше десяти километров, запутались в сплошном лабиринте речушек, озер и прочих водоемов, что не смогли отойти подальше от лагерной зоны, и блудили, то удаляясь от лагеря, то снова возвращаясь назад. Проще говоря, кружили на одной местности, ибо все водоемы были соединены между собой как мелкими, так и довольно глубокими речушками, которые извивались дугами, кольцами, какими-то невероятными зигзагами. Неглубокие речушки преступники переходили вброд, а некоторые переплывали. Выбившись из сил, они стали пробираться по сухим местам, но на пути опять попадались новые водоемы, они их обходили, но вновь им попадались другие водоемы или речушки. Обессилив окончательно, преступники убедились, что теперь для них нет дороги ни вперед, ни назад. Среди них не было ни одного русского мужика. Одни только «западники» (литовцы,

эстонцы) и украинцы. Если бы они представляли, по какому пути им придется идти, то ни один из них не решился бы на подобный поступок. Они и представить не могли, что из себя представляет тундра в летний период.

Об этом побеге ни в каких средствах массовой информации, ни в газетной, ни по радио не извещалось. Даже между заключенными подобные обсуждения попадали через третьи, а то и четвертые руки. С момента происшествия из Каларгона долго не возвращались заключенные в четвёртое лаготделение, то ли от того, что таких там не было, то ли их отправили в другие лагеря, а скорее всего таковых не было. И сведения о побеге из Каларгона в четвертое лаготделение привез заключенный из норильских лагерей. Он был свидетелем, как привезли убитых заключенных из тундры в Каларгон, видел их тела. После отбытия наказания его с Каларгона отправили в Норильск. Через два месяца его освободили. Он приехал в Дудинку. Попался на какой-то краже, и его снова посадили. Здесь же в Дудинке. Вот он и поделился своими знаниями о расстреле беглецов более подробно, кое-какие сведения до его рассказа и разговоры о побеге крупной партии заключенных из Каларгона уже просочились в дудинские лагеря. Через вольнонаемных работников, да и охранников, которые как бы давали намек некоторым «ершистым» заключенным, чтоб не допускали подобных явлений. За долгий срок нахождения в заключении, тюрьмах, ссылке я много раз слышал о разных видах побегов из тюрем и лагерей. Как правило, в большинстве случаев они заканчивались неудачно. Самая печальная участь выпадала на долю преступников, совершивших побег, которых долго не могли поймать. Измучившиеся в погоне и розысках охранники озлаблялись до такой степени, что, несмотря на приказ брать беглецов живыми, убивали их при первом же обнаружении. Об этом знали все: и те, кто совершал побег, и те, что оставались в зоне. После этого случая и до сегодняшнего дня я не знал, не слышал ни от кого о подобного рода поступках.

Мне тоже в молодые годы как-то раз пришлось поблудить по тундре. Переехав на лодке через речку Дудинку, я, обойдя населенный пункт с названием Судоверфь решил отойти чуть подальше и, по возможности, пострелять уток. Время приближалось к осени, и утки стайками плавали по озеркам. Я подошел к одному приглянувшемуся мне озеру, оно было небольшим, просматривалось с берега до берега. Вокруг него росла густая сочная трава. Кое-где стояли небольшие заросли кустарников. Я выбрал себе поудобнее местечко и, спрятавшись за небольшой кустик, замер в ожидании. Утки плавали возле дальнего берега, и стрелять по ним было бесполезно. Мне наскучило длительное ожидание, когда они подплывут поближе, и я решил сменить место. Обойдя озеро, возле которого я сидел, пошел по тропинке, протоптанной кем-то давным-давно, обошел заросли кустарника и на большой поляне увидел водоём. Там уток не оказалось. Я пошел дальше. Совсем незаметно опустилась темнота, и стало трудно разбирать тропинки. По-разумному надо было вернуться назад. Но какая то сила толкала меня все дальше, и вскоре я оказался в густых зарослях, где кроме кустарника росли и мелкие деревца. Я вплотную подошёл к большому озеру и услышал кряканье уток. Так как темнота становилась всё плотнее, я

никак не мог различить, где же находится плавающая стая уток. Наконец несколько штук отплыли от противоположного берега, я затаился и, когда они подплыли ближе, выстрелил. Стая с криком взлетела, но одна, трепыхая крылом, стала кружить по озеру и прибилась недалеко от меня, забившись в осоку. Я пошел за ней. Но как только утка заслышала мои шаги, она выплыла из своего убежища и поплыла к середине озера. Я нашел какой-то обломок дерева и бросил в неё, стараясь тем самым подогнать её к берегу, чтобы достать. Но, увы! Утка нырнула, и где потом выплыла, я уже не смог различить из-за все более сгущающейся темноты.

Как-то вдруг меня осенила мысль, что надо поскорее выбираться, пока полностью не опустилась на землю ночь. Я направился в обратном направлении, но после некоторого времени понял, что иду не туда. Через час, измучившись в поисках выхода, я понял, что заблудился. Чем больше проходило времени, тем становилось темнее и холоднее. Меня охватил испуг. Не зная, что делать, я дважды выстрелил вверх, прислушиваясь, что, может, кто-то отзовётся на мои выстрелы. Но все было напрасно. Нигде никаких звуков. Боясь окончательно заблудиться, я наломал веток, сложил их равными рядами, чтобы было удобно сидеть и сел с надеждой, что кто-то хватится о моем исчезновении и начнутся поиски, тем более, что на следующий день нужно было мне выходить на работу. Незаметно от усталости я задремал. Сколько я спал, не знаю. Но проснулся от собачьего лая и разговоров нескольких человек. Когда я уходил, то сказал одному из приятелей, что пойду поохотиться на левый берег Дудинки. Товарищ хорошо знал эти места и, когда наступила ночь, позвонил живущему в районе авиапорта нашему же леснику Адаму Гедеванишвили, и тот с собакой и рядом с ним живущим соседом к утру отыскали меня. В тундре заблудиться легче легкого, особенно если никогда в ней не бывал. Даже хорошо знающие люди, не раз исходившие тундру, терялись и только с помощью друзей выбирались из её непроходимых дебрей. Это только незнающим людям кажется, что тундра – это пустое место. На самом деле в ней такие заросли кустарников низкорослых деревьев и прочей растительности, что их можно сравнивать с самой дремучей тайгой. После этого случая я никогда ни одного раза не уходил далеко в тундру. И потому ничего нет удивительного, как легко заблудились беглецы-преступники, жившие до этого совсем в других местностях и не имевшие никакого представления о таймырской тундре.

Более подробно о данном происшествии я узнал по истечении нескольких лет от бывшего охранника, в те годы работавшего на Каларгоне. Мы оказались соседями и жили на одной улице в Дудинке, которая и до сих пор называется Линейной. Она была очень длинной, растянувшейся вдоль железнодорожной линии, идущей на угольный участок. Домишки все были одноэтажными, деревянными. Не знаю по какому принципу производилась застройка этих домов, кто давал в те годы разрешение на строительство, а скорее всего, не было никакого плана. И так уж случилось, что в преобладающем большинстве дома, домишки, балки и прочие строения принадлежали работникам лесного хозяйства. Я тоже там купил себе небольшой домик, как только вышел из лагеря. Выезжать мне из Дудинки не

разрешили (был после освобождения из лагеря осужден особым совещанием к пожизненной ссылке), и я недалеко от железной дороги приобрел себе «постоянное житие». Так вот, мой домишко оказался рядом с домом бывшего охранника (тогда их называли вохровцами), и мы с ним через некоторое время понемногу стали знакомиться. В это время он уже работал в пожарной охране, исполняя роль шофера. Тогда на весь Дудинский район была всего одна пожарная машина с бочкой.

Знакомство наше произошло при несколько необычных условиях. На улице, где я нашел себе приют, почти в каждом доме были ребятишки. Так как никаких игр, кроме как сражаться друг с другом, изображая войну, да разведения костров, у них не было, то, заигравшись, ребятишки забывали тушить недогоревшие костры и разбегались по домам. Однажды у меня от искр, занесенных ветром, загорелся сарайчик. Он был небольшим, я бы и сам его затушил, но рядом живущий сосед по телефону из магазина (тогда на весь поселок был только один телефонный аппарат) позвонил в пожарную охрану. Пока команда приехала, я уже поливал кое-где обгоревшие доски. Пожарники, а их было двое и среди них сосед, выскочили, хотели растянуть шланги, но я воспротивился: зачем делать ненужную работу, когда пожар уже полностью затушен? Они для порядка обошли вокруг сараюшки, сосед взял у меня ведро и плеснул на доску, из которой шел пар. Затем предложили пойти составить документы о происшедшем случае. Мне очень не хотелось заниматься бумажной волокитой, и я, недолго думая, выпалил: «Давайте лучше по стаканчику дербанем – и делу конец. А о пожаре напишите, что ребятишки развели костер в неположенном месте, и вы его быстренько затушили». Мое предложение очень понравилось пожарникам, и мы тут же усевшись за стол, начали чокаться и знакомиться. Так я узнал, что соседа моего зовут Василий Васильевич Рыбин. За рюмкой водки я узнал от него, что до поступления в пожарную охрану он работал в спецкомендатуре Норильлага и одно время был охранником в Каларгоне. Он более подробно рассказал о побеге из Каларгона и сообщил, что беглецы, совершая побег, убили шестерых человек охранников. Сначала двоих на вахте, а потом, переодевшись в их одежду, с их оружием в караульном помещении укокошили четырёх человек охранников.

Так мне стало известно, скольких человек из охраны убили преступники, совершая побег. Я спросил у него: «А кто сообщил руководству лагеря о побеге? Почему так поздно спохватились?». – «Да все очень просто. Караульные на вышке за вахтой не смотрят, им хватает и без неё контроля, да если бы и заподозрили бы что-то неладное, когда переодетые в воинское обмундирование выходили из вахты, то вряд ли приняли какие-либо меры. Из Каларгона не было случаев побега. Убийств там было много, а побегов не было». – «Ну а как же все-таки стало известно о свершенных убийствах и побеге, может, кто-нибудь из заключенных в лагере сообщил?» – спросил я. «Что ты? Там такая шпана сидит, что весь мир перережут, они никто ни о чем не скажет. Это же бывшие враги, они расстреляли столько нашего народа, что гитлеровцам далеко до них. Они и в лагерях немало людей загубили. А как узнали, ты спрашиваешь? Бандиты в спешке не заметили,

что не добили до конца одного из четырёх караульных охранников, и когда они оставили его, то он, очухавшись, раздетый выполз через дверь тут его и заприметили. Правда, на другой день он умер. Ну, а дальше чего тебе рассказывать, погоня, вертолеты и стрельба. Всех убили», – так закончил немного подвыпивший Василий Васильевич. Я хотел задать ему ещё несколько вопросов, но он заспешил и пообещал, что когда будет свободное время забежит и доскажет. Хотя я об этой истории уже знал и почти доподлинно, тем не менее убедительно попросил его зайти, когда выпадет возможность, чтоб можно было посидеть подольше за рюмочкой и побеседовать подольше. Меня, откровенно говоря, не интересовали подобные рассказы, о них я наслышался, но в этот раз непонятно почему заинтересовался подробностями совершенного побега.

Время шло. Сосед Василий Васильевич не заходил. Да и мне что-то расхотелось с ним встречаться. От бывших заключенных я узнал, что он пользовался недоброй славой. Работая в лагере охранников, применял недозволительные меры, зачастую сажал в карцер. Правда, все эти оговоры носили обтекаемый характер. Но где дым – там и огонь должен быть. И чем дольше проходило время после его посещения, тем более я успокаивался: «Наверное, не зайдёт. И, слава Богу. Какой он мне друг, да и годами много старше», – думал я. Но через несколько недель уже ближе к вечеру он пришел. Постучался в окно. Когда я отдернул занавеску и увидал его лицо, он как-то радостно заулыбался и направился к двери. «Вот, нашел себе приятеля», – с горечью подумал я, но дверь открыл и впустил его. Он пришел с бутылкой. Поздоровавшись и показывая бутылку, спросил: «А закусить что-нибудь найдётся?». – «Поищу что-нибудь», – с неохотой произнес я, копаясь по шкафчикам стола. Приготовив кое-какую холостяцкую закуску, мы расселись. Он о чем-то говорил, а я все время думал, какую придумать причину, чтобы его выпроводить. Когда разлили водку по стаканам я, ничего не придумав, спросил: «Василий Васильевич, ты рассказал, хотя я об этом знал и до тебя, как расстреливали беглецов, а самому тебе не приходилось убивать?». Он помолчал, потом вдруг поднял со стола стакан с водкой и как то ловко опрокинул содержимое в горло. Немного поморщившись, взял кусочек хлеба, посолил и со смаком покушал. После некоторого молчания, глядя мне в лицо, сказал: «Убивал! В лагере немногих, а вот во время войны не считал, наверное, много. Только как определить много или мало это вряд ли кто сумеет. Тут ведь надо с чем-то сравнивать». – «За что же ты ухлопал в лагере людей?» – спросил я. «Не людей, а двух нелюдей отправил на тот свет, за них чуть было не схлопотал срок», – горестно ответил Василий. «А я вот не смог бы убить человека», – сказал я Василию. «Нет, дорогой, это смотря при каких обстоятельствах, бывают такие звери, что, видя их издевательства, сам с собой не совладеешь», – отреагировал на мое высказывание Василий.

«Так вот послушай, как было дело, когда я не сдержал самого себя и сразу двоих прихлопнул. Однажды мы с напарником в ночное время делали обход по лагерю. Заходили в бараки, больницу, клуб и другие помещения. И уже хотели пойти в дежурку, вроде бы и проверять-то ничего не

осталось, как вспомнил, что не заходили в бур (барак усиленного режима). «Там всего-то один парнишка сидит, – сказал мне напарник. – Он, что-то украл, вот ему и дали 10 суток. Парнишка-то смирный, от голода спёр, кажется, с кухни или склада котелок картошки». – «Ладно, давай сходим, чтоб совесть была чистой и тогда отдохнем», – сказал я, и мы направились к зданию, где обычно держали дерзких заключенных. Зайдя внутрь помещения, мы увидели смотрителя карцера. Я спросил у него, как обстоят дела. Тот, виляя глазами, сказал, что все в порядке. Подойдя поближе, я услышал какую-то возню и непонятный шум. Я повернулся к смотрителю, чтобы взять у него ключ, но пока я разговаривал с напарником, тот успел скрыться. Я спросил Петра (так звали напарника), куда девался смотритель. Петр ответил, что только сейчас выскользнул мимо меня, не сказав ни слова. Между тем я сквозь шум услышал вскрик. Подойдя к двери, я хотел выбить её, но она легко открылась. Распахнув на всю ширь, мы увидели страшную картину. Двое здоровых парней насиловали парнишку (посаженного за котелок картошки). Видимо, их по договоренности пустил смотритель бура. (В каком виде застал Василий изуверов, я не стал изображать, ибо это мерзопакостное явление предлагаю читателю представить самому, когда два взбешенных изверга одновременно по-садистки удовлетворяют свою извращенность). При виде нас их пыл несколько остыл, но превратился в озлобленность. Один бросился на меня с ножом, другой, замешкавшись, вероятно, забыл свое «орудие производства» куда засунул. От этого издевательства, видя идущего на меня «зверя» с ножом, я потерял разум. Я пошел к нему навстречу и сколько было силы ударил его в голову. Тот при падении ударился головой об угол железной кровати и на вывернувшийся нож упал грудью. Подбежавшего на помощь второго извращенца схватил за горло и, пока тот не обмяк, не выпустил из рук. Мой напарник Петя, недавно был призван в органы, от растерянности стоял, не шевелясь, но, увидев прижавшегося в угол мальчишку у которого изо рта текла кровь, подошел к нему и стал оказывать помощь. Я подошёл к лежавшим извергам и, убедившись, что оба мертвы, вышел из помещения, чтобы вызвать начальника караула. За дверью увидел спрятавшегося смотрителя бура. «Как получилось? Почему не сообщил о безобразиях?» – спросил его. Тот, понимая, что скрывать бесполезно сказал, что запустил их он сам, так как те пригрозили ему ножом. Так, значит, ты тоже соучастник этого преступления. Смотритель бура молчал. И до того мне стал противен, что я не сдержался и его ударил по морде. Выяснилось потом, что он их пустил в бур поиздеваться над мальчишкой. Не успел только предупредить о нашем неожиданном посещении. Когда мой напарник вывел из карцера изнасилованного парнишку, я увидел, что лицо и грудь его были окровавлены, передние зубы верхние и нижние выбиты (как потом выяснилось это сделали истязатели для более удобного насилования)».

«А чтобы ты сделал, окажись на моем месте?» – спросил меня Василий. Я ничего не мог ответить, потому что в голове моей был полный кавардак. Не хватало соображения, какое бы я применил к ним наказание, и потому сказал: «Не знаю, – потому что для таких «психов» ещё никто не придумал

самую страшную казнь». И тут же вспомнил далекий 42-й год, омский лагерь и себя замерзающего в холодном буре, и таких же «отморозков», загнавших меня почти раздетого. «Давай, Вася, выпьем ещё по одной, ты разбередил мою душу до невероятности, – сказал я, глядя ему в лицо. – Ты правильно поступил, меня тоже такие же мерзавцы чуть живого не заморозили». После некоторого молчания Василий продолжал разговор: «А потом меня судили за этих паразитов. Правда, за тех, что убил двоих оправдали, посчитали, что убил их защищая самого себя (оно и на самом деле так было), а вот за смотрителя бура, которому выбил челюсть, понизили в должности как за превышение своих должностных обязанностей. Проработал с полгода рядовым охранником, а потом перевели на Каларгон. Вот там я насмотрелся на всякого рода убийц, извращенцев, предателей, какого рода паскудников там не было, сколько драк и убийств произошло не сосчитать. И каких национальностей не встретилось, тоже не упомнишь. А больше всего там было не из наших русских, а других наций». – «Так кто же там был на этом чертовом Каларгоне?» – спросил я. «Особенно много было «западников», литовцев эстонцев, украинцев, чеченцев, ну и нашего русского «брата» тоже встречалось немало. Ну, их сажали в Каларгон за какие-либо преступления, свершенные уже в лагерях, а вот «западников», украинцев, ну и ещё кое-кого из молдаван прямо с этапа загоняли в Каларгон за их прежние преступления. Они все с оружием в руках воевали за немцев, против нас. У некоторых смертная казнь была заменена на самые большие сроки, да и остальных было под завязку. Когда между ними начиналась поножовщина, то охранники с дубинками подбегали и начинали лупить по башкам, не разбираясь, кто прав, кто виноват. В общем, невиновных там не было. А после «побоища» растаскивали по баракам тех, кто был жив, ну а, уж если кого-то пырнули ножом, уносили в морг. Много там бандиты побили друг друга за время моей службы. Хорошо хоть немного пришлось мне послужить в этом чертовом Каларгоне. Не выдержал. Уволился. И вот теперь работаю пожарником. Хоть по ночам спать стал нормально, если нигде ничего не загорится», – закончил свой рассказ Василий Васильевич.

А я, повидавший за свой долгий срок различного рода преступлений и преступников, думал только об одном уже который раз: «Как я благодарен судьбе, что она провела меня через всю жизнь, и я нигде, ни у кого, ничего не украл и не связался ни с какой даже мало-мальски преступной бандой или шайкой. Сейчас такие объединения называют группами, группировками, а главарей авторитетами. Их было много тогда, но все они находились за решётками. Сейчас стало ещё больше. Много сидит в тюрьмах и лагерях, но ещё больше разгуливают на свободе. Некоторым покровительствуют высокие чиновники». После долгого молчания я не вытерпел и сказал: «Давай допьём, а если мало покажется, то я сбегаю ещё одну принесу». – «О! это дело! Давай. Я не против», – как-то весело согласился Василий. Мы быстро опорожнили остаток в бутылке, и я, накинув пиджак, побежал в магазин. Он находился совсем рядом. И через несколько минут я уже вернулся. Мы ещё провели за беседой более часа. Василий оказался неплохим рассказчиком, говорил много о себе, но больше о соседях, с которыми он был в тесной

дружбе, из которых я многих знал. Мне нравилось, что его мнения о живущих рядом с нами людьми совпадали с моими. В большинстве все жили бедно, но никто никогда не жаловался на свое житие-бытие. Безработных не было. Я уже упоминал, что вдоль железной дороги на улице называвшейся Линейной проживали многие лесники и в период выдачи зарплат многие любили погулять и выпить. Пели песни, играла гармошка, далеко раздавались веселые голоса. Я, как и многие из заключенных, сторонились бывших и тем более работающих в охране работников НКВД, но уже после второй встречи с Василием Рыбиным, изменил к нему отношение и несмотря, что он был много старше меня, сдружился и всегда при встречах останавливался и делился новостями или просто вел ничего не значащие разговоры.

Время шло. Уходили годы. Уже никто не вспоминал о лагерной жизни, о трудностях, несправедливостях (и такое случалось), забылись побег преступников из Каларгона, возмущение заключенных в Норильлаге в 1953 году, стирались последние штрихи лагерной зоны. В Дудинке и Норильске шло бурное строительство жилых и производственных зданий, расширялись улицы, улучшалась жизнь, всем хватало работы, и никто уже не бедствовал. Стали уезжать с улицы Линейной в благоустроенные квартиры давным-давно освободившиеся бывшие заключенные и вышедшие на пенсию старожилы. Подошла и мне очередь перебираться в новый четырёхэтажный дом. Получили с супругой двухкомнатную квартиру. Но переезд задержался. Супруга на несколько дней уехала в Абакан к своим родителям. Однажды вечером, уже смеркалось, время было осеннее, ко мне зашёл Василий. Я очень давно его не видал и с первого взгляда даже не признал. Приглядевшись, удивленно воскликнул: «Василий! Ты, что ли?». – «Не узнал?» – спросил он. «Как тебя узнаешь, когда прошло столько лет, как ты уехал с нашей улицы, да ещё вдобавок бороду отрастил?». Правда, бородёнка была небольшой. Но, видно было, что он значительно постарел. «Давай проходи, садись, а я махом слетаю за «горячительным», да поговорим и вспомним старые годы», – проговорил я, тут же побежав в магазин. Он был совсем рядом с моим домом, так что я вернулся быстренько. Когда присели к столу я, глядя на него, спросил: «Что-то ты заметно постарел? Вроде бы не так много прошло лет, а ты как-то вроде бы сморщенный стал?». Василий молчал. Я уже успел приготовить закуску, раскупорил бутылку, расставил стаканы, всё сделал честь-честью, а он молчал с самого прихода, так и ни слова не произнёс. Я спросил его: «Что с тобой? Что-нибудь случилось?». Он посмотрел на меня и сказал: «Ты разве ничего не слыхал? Жена у меня умерла полгода назад». «Василич! – воскликнул я. – Откуда бы я мог узнать, когда полгода меня не было в Дудинке, в институте диплом защищал. Приехал всего две недели назад, потому и ничего не знал. Прости меня за такое невнимание. Я сразу не смог разгадать». – «Ну, что ты! Ты тут ни при чем, не от тебя же тоска мне в душу идёт, потому не переживай, все равно уж ничем не поможешь», – опечаленным голосом сказал Василий, и мне показалось, что ему хотелось заплакать. «Давай помянем твою Клаву добром», – сказал я и налил по полной чарке вина. Когда помянули по русскому обычаю близкого человека, Василий немно-

го разговорился: «Сильно я сдал после смерти Клавы, видишь, как согнуло меня, а ещё вдобавок разболелись старые раны далёкой военной поры. Все одно к одному. Раньше не замечал, что где-то что-то болит, а теперь будто весь в болячках. Ни одной ночи не могу спать спокойно, вспоминаются самые страшные случаи из военных лет. Тогда-то все было как бы обычным делом, сколько смертей повидал, сколько товарищей потерял, в великой суматохе как-то и пожалеть не хватало времени. А вот теперь все чаще и чаще приходят убитые знакомые и незнакомые солдаты, молодые и старые, разорванные на куски... Страшно это. Особенно, когда выплывают в памяти убитые женщины, прижавшие к груди убитых детей. Другую ночь глаз не сомкну, переворошив в памяти страшные времена. Теперь только и нахожу успокоение на работе. Сторожем я пристроился на стройке. Строят дома и ночью и днём. К концу смены подойдешь к дому, а там уж успели выложить целый этаж стен. И думаешь, вот скоро к первому празднику и счастливые жильцы въедут в эти квартиры и не останется по улице Линейной ни одного захолустного домика, все переедут, и будут жить без хлопот и забот. А сколько пролилось крови пока наступило мирное время. Море. А горя? Горького горя. Чем его измерить?» – Василий замолчал. А я все время думал о погибших братьях, дядях, родственниках, знакомых. Всех мужиках из родной деревни, погибших, кроме двух человек, в этой кровавой мясорубке. Боясь, что Василий прекратит свои высказывания, я предложил: «Давай, Вася, ещё по одной дербанём, а то на душе такая печаль, что и высказать нет слов». Василий отказался: «Нет. А то душа расплачется, и ничего больше не скажу. А сейчас мне хочется выговориться».

«Война подходила к концу, когда нас, несколько человек, забросили к партизанам в Белоруссию. Но в условленное место мы не приземлились, и нас отнесло ветром далеко от партизанского лагеря. Спрятав парашюты, мы стали углубляться дальше в лес. Мы знали, что нас будут разыскивать партизаны, но где они и как с ними можно встретиться не имели представления. Побродив по густому лесу, выбрали небольшую полянку и решили немного отдохнуть. Проблудив в лесах несколько дней и израсходовав весь запас продуктов, мы решили выйти на дорогу и зайти хоть в какую-нибудь деревню. Как-то перед вечером мы услышали непонятную нам речь. Немецкие слова перемешивались с русской, а больше украинской речью. Подобравшись поближе, мы сквозь заросли кустарника увидели довольно большую группу людей. Приглядевшись, увидели, что несколько человек копали лопатами землю, другие, окружив их кольцом, стояли с автоматами, иногда покрикивая на копавших, чтоб работали быстрее. Рядом с этой группой расхаживал немецкий офицер. Его сопровождали несколько эсесовцев. Мы поняли, что привели группу наших соотечественников на расстрел. И вот перед смертью заставили копать себе могилу. «Вот гады, – подумал я. Мало того, что будут убивать, так ещё и перед смертью могилу заставляют рыть». Немцев было немного. Кроме них человек десять было полицаев, которые изредка переговаривались между собой одни на русском, другие на украинском языке. Среди копавших мы увидели женщину. Подошедший к «смертникам» немецкий офицер обратился на ломаном русском языке к

полицаям: «Почему ваш соотечественник так плех работайт. Почему юде (показывая на женщину) совсем не работайт. Юде! Приблизьтесь ко мне». Женщина подошла. Эсесовец приказал ей вылезти из ямы. Хотя она была неглубокой, женщина не смогла подняться. Тогда он приказал стоящим рядом полицаям вытащить её из ямы. Полицаи схватили её за плечи и поставили рядом с эсесовским офицером. Теперь мы хорошо различали их обоих. У офицера был длинный нос с выгнутой переносицей (настоящий клюв) и длинные руки. Хотя между нами было не больше 50 метров, лицо эсесовца я не разглядел. Зато хорошо увидел женщину. Несмотря на её изнуренный вид она была очень недурна, стройна и высокого роста. «Фрау юде! Мы осведомлен, что вы очень карош, как эт у вас называется стрелок, ворошиловск, попадайт с большой далёка пулей прямо в наш каска. Такой случай (Василий говорил, стараясь перефразировать речь немца, возможно, тот говорил и по-другому, я тоже пишу по памяти, но думаю, что это мало меняет дело) вы проделывил на тренировок. Теперь вам есть шанса попадайт прямо лоб только вашим партизаннен дурням. Я вам буду давайт сейчас наган. Только без всякий конфуз. Не подумайт стрелят по нам. Вас тогда будут кушайт наш собак. – Он что-то сказал по своему, а собаководы дали команду. Две овчарки с рычанием взвилась на задние лапы. – Ви не виноват, что ваш мама была юде, а ваш отец офицер сейчас служит в наших доблестной войска. Ви будите убивайт сейчас партизанов, и мы вас тогда возьмем в нашу армия, вы будет служить вместе свой отца. Он уже стал протягивать ей руку, в которой держал наган, но женщина чуть выпрямившись плюнула ему прямо в лицо. Стоящий рядом полицай ударом кулака сбил женщину в яму. Успевший к этому времени вытереть лицо «клюв» (теперь я уже так стал про себя называть эсесовского офицера) громко проговорил: «Не делайт этого. Вытащите девченк из ямы». Когда её поставили рядом с «клювом» тот с какой-то издевательской вежливостью проговорил: «Ви ест очень карош девочк, но очень глупый». И тут же выстрелил ей в голову».

Василий замолчал. Потом, немного помолчав, сказал: «А что было дальше – я плохо помню. Наши автоматы заговорили одновременно. Полицаи падали один за другим. Потом стали падать немецкие каратели, то ли от наших пуль, то ли от страха. Пленники выскочили из ямы и лопатами стали добивать и тех полицаев, что стояли, и тех, которые были сражены нашими пулями. Какой-то из немцев, очухавшись, успел несколько раз выстрелить, но тут же упал, сраженный нашими пулями. Пленные с каким-то ожесточением рубили лопатами озверевших овчарок, они визжали, бросались с ревом на подбегавших к ним пленных, но, будучи привязанными к рукам собаководов, уже ничего не могли сделать. Вскоре все стихло. Из наших не пострадал никто, но из пленных было убито два белоруса и девочка, которую звали Ольга. О том, что эту девушку звали Ольгой, мы узнали от освобожденных белорусов. Также узнали, что она была вывезена в первые дни войны с Украины, мать её была убита эсесовцами, а отец с самого начала воевал на Черноморском флоте. «Всех, в том числе и её приговорили к расстрелу за «вредительство» на военном заводе. Раскрыл какой-то гад», – горестно рассказали нам спасенные от смерти пленные. Недолго нам при-

шлось скрываться. Немцы уже к вечеру установили, что каратели были уничтожены и выслали за нами погоню. Уйти мы далеко не смогли, так как пленные были очень истощены и ослаблены. На вторые сутки услышали далекий лай собак и безошибочно определили, что это погоня за нами».

Василий замолчал. Потом, немного подумав, сказал: «А дальше было совсем плохо. Нас окружили. И было ясно, что нам не вырваться. Тогда пленные белорусы и оставшийся в живых один еврей, понимая, что у них не хватит сил следовать за нами, сказали: «Вы идите, а мы останемся, и сколько сможем продержаться, будем отбиваться. Может, и уйдете. А нас как судьба выведет. Пробьётесь к нашим, скажите, что мы остались верны Родине». Василий замолчал, взял налитый стакан и, не прерываясь, выпил. После этого речь его стала несвязной, из глаз полились слезы, и я понял, что он уже вряд ли что вспомнит. Единственное, что мне хотелось узнать, как они поступили с погибшими товарищами. Когда он немного успокоился, я спросил у него, а как они поступили с убитыми пленниками. Он долго молчал, потом, видимо, до него дошло, и он сказал: «Фрицев с полицаями оттащили от ямы, а двух парней с Ольгой положили в яму и присыпали землёй». Больше я от него ничего не смог добиться, уговорил его прилечь на диване. И как только он лёг, сразу же захрапел. Я вышел на улицу, открыл окно, чтобы проветрить домишко и долго сидел на завалинке. Меня свербила назойливая мысль: «Вот так где-то и моего брата Мишу закопали. Ни могилы, ни креста. Только память». Уже смеркалось, когда вышел Василий и присел рядом со мной. «Ты уж извини меня, что так я захмелел. Стар стал, да и тоска постоянная гложет. Другой раз так бывает тяжело, что хоть в петлю лезь. Горько и безотрадно одиночество. – Посмотрел вокруг и добавил: – Как же быстро расстраивается Дудинка. Ещё десяток лет и не останется ни одного деревянного домишка. Ну, я побреду к своему другу, а деньков через пять поеду к своей супруге. Тяжело без неё. Даже оградка её могилы снится по ночам». Я молчал. Что мог сказать в утешение одинокому пожилому мужику. Больше я его не видел.

Прошло почти 50 лет с нашей последней встречи, а не могу забыть о тех случаях как он «избивал» насильников-извращенцев, издевавшихся над совсем ещё молодым мальчишкой. Не забываю его в лоб заданный мне вопрос: «А как бы ты поступил с этими извергами, что изнасиловали мальчишку самым извращенным способом, а, увидев меня, с ножами кинулись, словно звери?». Не знаю. Но ни капельки сочувствия и каких-либо оправданий у меня к этим сволочам нет. Правильно сделал Василий, только надо, чтоб их по суду расстреляли, и другим наука была. И про мальчишку, вспоминаю – ему-то как быть без передних зубов, выбитых уродами, – извращенцами для удобства удовлетворения. И себя вспоминаю в далёком сорок втором году замерзающим в холодном буре по вине подобных развратников. А сколько таких сидело в лагерях. И не надо во всех грехах обвинять советскую власть. Во многом она поступала правильно. Разве лучше стало теперь, когда подобные подонки разгуливают на свободе и творят более страшные преступления. Прошло много лет. Прав был Василий: Дудинка расстроилась. Не стало деревянных домов. Их заменили каменные. Разви-

валось и расширялось производство. Казалось, что также будет улучшаться жизнь год от года.

Но! Всё переменилось. Пришли ельцинско-гайдаровские реформы, и всё стало катастрофически разрушаться. Не буду перечислять примеры разрухи. О них в достаточной мере информируют СМИ да и само правительство. Самое страшное в этой вселенской катастрофе – произошло падение нравственности в обществе, люди утратили духовность. Самый грязный криминал, находящийся в советское время за решётками тюрем и лагерей, теперь разгуливает и бандитствует почти безнаказанно на свободе. Мир сходит с ума. Газеты и телепередачи заполнены криминальной информацией, повсюду убийства, бытовые, обдуманные, заказные, – кровь льётся рекой. И этим уже никого не удивишь. Но есть преступления, которые не прощает и сам Бог. Это убийства детей своими родителями. Им невозможно найти оправдания, по какой причине совершены подобные злодейства. Только что новорождённых убивают родители, чтобы от них избавиться, закапывают ещё живых в землю или топят в отхожих местах (это необъяснимая жуть). Некоторые избавляются от малюток в силу безысходности, отсутствия работы, не на что содержать новорожденного и, замотав в грязные тряпки, швыряют в мусорные контейнеры. Но и этим убийцам нет никакого оправдания. Многие матери, свершив подобные преступления, от терзавших мук прибегают к самоубийству, тем самым, усугубляя не прощаемый Богом грех. Как же быть? Неужели мы сами себя уничтожим, если силой, уговором, воспитанием не остановим это грехопадение?

Но кто должен выполнить эту святую миссию. Кому под силу этот титанический труд? Кто одолеет вырвавшегося из ада озверевшего дьявола? Пошлёт ли Господь на нашу погибающую землю, страдающий народ нового мессию?

Помоги Всевышний и Всемогущий! Мой малый разум подсказывает, что своими силами нам не управиться и не одолеть слуг сатаны. Но как же всё ж таки быть и что делать? Правительство и президент понимают все разрастающуюся опасность и принимают меры. За родившихся детей выплачивают определенную сумму денег. На первый взгляд вроде бы положительное решение. Но! Оно работает в обратную сторону, порождает иждивенчество. Нужно всеми силами укреплять семью. Создать условия и возможность каждому человеку работать в полную меру сил. Никаких не должно быть безработных. Мужчины семейные и холостые должны работать в поле и производстве, а семейные женщины (матери) воспитывать и растить детей. И никаких никому подачек. При возникающих сложностях или несчастьях добрая бескорыстная помощь. В настоящее время при существующем порядке многие люди забывают, что самое великое счастье в жизни – это дети. Так установила природа. Не только для людей, а для всех живущих тварей. Вот если бы КТО-ТО из небесных святых спустился на Землю и заявил, что с сего момента прекратится рождение детей и ни у кого не будет ни одного ребёнка, в мире бы всё замерло: прекратились междоусобицы, всевозможные распри, конфликты, люди перестали, работать, впали в беспробудную пьянку и отрешенно ожидали бы своего конца. Кто

же придёт на помощь и спасёт от гибели наш самый добрый и доверчивый русский народ? И я, не верящий в Бога, надеюсь, что спасти, вытащить из засасывающей «трясины» людей сможет только вера. Вера!!!

Неважно! Есть Бог или нет его (это ещё никто не доказал и не опроверг и вряд ли кому такое удастся), но есть Вера в Него, есть божьи законы, написанные «святыми» людьми, указавшими путь к правде и любовь к людям.

С этой верой люди переживали самые тяжкие испытания, свершали подвиги, останавливали смерть. С какой любовью народ создавал на самых красивых местах храмы и церкви. Разве есть более изящные строения, чем эти «божьи» святыни, воздвигнутые руками человека.

После развала Советского Союза не построено ни одного завода, ни одной фабрики, а храмы, церкви, церквушки, часовни народ строит по всей Великой России. На собранные средства создаются величественные цитадели православия, восстанавливаются монастыри, духовные семинарии. И идёт народ в святые места поклониться Господу Богу, с мольбой обращаются к небесам облегчить тяжкую долю.

Много, ой много несправедливости и зла накопилось среди народа, во всех сословиях, как привилегированной знати, так и обиженного люда. Но больше и больше людей понимают о свершенных злодеяниях и с ужасом отвергают и проклинают содеянное. В самые отдалённые уголки земли проникает православная вера, дабы силой духа вернуть заблудшие души на путь истины и добра. На далёком холодном Таймыре поднялись церковные купола в городах Норильске и Дудинке. Воздвигает церковь в небольшом поселке Носок на свои пожертвования известный всему Таймыру старожил Владимир Григорьевич Геценок. С великими трудностями идёт строительство этой церкви в глухой северной части Заполярья, где не растут деревья, и нет никаких строительных материалов. Но не отступает от намеченной цели и растёт, пусть медленно остов этой святыни. Долго будет народ славить имя твоё, Владимир Григорьевич, за дела добрые и без корысти сотворенные, а звон церковного колокола многие лета созывать со всех близлежащих селений православную паству. Ещё многие не верят в Бога, отвергают заповеди Божьи, но все больше и глубже проникают «ростки Возрождения» утраченной Веры, любви, милосердия и взаимопомощи. Наступит время, когда Законы Божьи благодаря стараниям поборников святости, подобных Владимиру Григорьевичу Геценку, станут основным жизненным кредо для всех народов, и каждый человек обретёт в душе всеобщего бога, исчезнет вражда, зависть, обман и все низменные пороки. Будет мир и благополучие всем и каждому. В этом и заключается счастье. Жить хорошо одним за счет других – никогда никому не приносило душевного удовлетворения.

Люди! Не ищите Бога в небе, а откройте его в душе своей. Когда такое свершится, Господь сам придёт к вам во всем величии, благолепии и славе!

Бог в каждом человеке определяется одним понятием – совестью.

Только это чувство сможет сплотить все российские народы в единую общину и сумеет, как это уже было в годы страшных испытаний, пример тому Великая Отечественная война, преодолеть любые трудности и стать Великим народом. В настоящее время преобладающее число людей подвер-

жено равнодушию и безнравственности. Если народ российский не сумеет выбраться из засосавшей трясины бездарного «демократического» разгула, то Россия погибнет, не от атомных американских бомб, а от вражды, злобы, растления душ и беспощадных раздоров и распрей. На великий подвиг спасения способны только сверхмогущественные силы: святая православная вера и справедливое правительство, объединенные единой целью.

Васильки полевые

Неисповедимы пути Господни, по коим каждый человек идёт по жизни, ведомый своей судьбой. Разные у всех судьбы, и нет потому абсолютно одинаковых людей. В одном есть сходство, утверждать которое беру на себя смелость с большим сомнением. Чем больше проходит времени и короче становится жизнь, каждый человек чаще и чаще задумывается о прошедших годах, перебирая в памяти все, что довелось пережить ему на своём веку. Может, я ошибаюсь, ведь пишу про других, а думаю о себе. Если не так, то от этого никому вреда не станет и за это меня никто не упрекнёт. Я же все больше и больше думаю о пройденном пути и почти не задумываюсь о будущем. Плохо такое? Наверно. Но что с собой поделать, коль нет сил изменить течение мыслей. Иногда стараюсь. Но приходят такие сумбурные размышления, что сам себе даешься диву. Однажды, уже засыпая, я подумал: «Если бы я не родился и меня, вообще не существовало на свете, то как бы мир жил без меня?» И чем больше отмахиваюсь от этой мысли, тем навязчивее она возвращается. Что это? Схожу с ума или какое-то завихрение в голове?

Смешно и грустно. Порой так становлюсь противен себе, что хочется плюнуть в свое собственное лицо. Отчего бы это? Ну, был бы или не был на этой земле, что солнце перестало бы всходить, или вместо лета пришла зима? Ведь прекрасно понимаю, что на мое непоявление на нашем «шарике» никто не обратил бы никакого внимания. Разве что-нибудь дрогнуло бы в мире, если в его просторах уменьшилось на одного «микроба». А другой раз раздумаешься и противоречишь сам себе: «Наверное, зачем-то все-таки был нужен? Но зачем? Как узнать? Кто скажет?» Слышал, что все люди появляются по воле Бога на свет, чтобы творить добро. Тогда по чьему же повелению мир заселен людьми, несущими зло? И тут же навязчивый вопрос: а чего больше на земле добра или зла? И что такое добро, на каких весах взвесить зло? Кто сумеет правильный дать ответ? В голове мрак и неразбериха. Мыс-ли ворочаются подобно обомшелому тяжелому жернову. И горькая досада бередит душу: ничего не постигнуть до конца жизни. После надоедливых раздумий приходит отрезвляющая мысль: а зачем тебе и вообще кому это нужно? Для чего ломать голову в разгадывании никем не разрешенных проблем? Сколько людей стремились к этой цели? А что получилось? Ничего. Кроме раздора и сумятицы.

Сам себя убеждаю: отступись и прогони высокомерные мысли. Разберись сначала в своей жизни. Определи, сколько сделал сам людям добра и

кому навредил. Ухватившись за спасительную мысль и отвлекшись от размышления о бредовых идеях, я задумался: за всю свою долгую жизнь, что судил прожить мне Всевышний, что же я сделал такого, чтоб можно было назвать добром? Какие добрые дела я сделал людям? Не себе, а людям. И что, в конечном счете, можно назвать просто добром, а особо выдающееся святым добром? И тут нет ответа. Да и спрашивать не у кого. Знаю, что каждый ответит по- своему. И опять пошла память «рыскать» по жизни по самым глухим закоулкам, перебирая поступки, события, действия. Но! Ничего вразумительного. Тупик. Все прожитые годы и свершенные дела кажутся обыденными и какими-то бесцветными. Как же так? Неужели прожил по-пустому более 80 лет. Работал порой без выходных и праздничных дней по 15 часов в сутки без малого 70 лет. Приходилось работать за других иногда целыми сутками. Старался в меру сил и возможностей оказать помощь и подсказать правильный исход, подавал каждому нищему. Было. Все было. Но это нельзя назвать ни добром, ни добротой. За это я должен благодарить Бога, что дал мне силы, разум и долгую жизнь. Получается, что жил-то только для себя. Ну, неужели ничего не сделал доброго?

Память настойчиво упорно перебирала каждый день прожитой жизни, отыскивая самые забытые поступки. Обошла все годы жизни и наконец подошла к далекой и прекрасной поре детства. Неповторимой и незабываемой. Трудно тогда жилось. Всем. Тридцатые годы были для нашей страны и нашего народа тяжелыми из всех, что мне помнятся из прожитого времени. Но вспоминаю их с самой душевной теплотой и радостью, ибо в нашем тогда начинающем развиваться государстве люди были проникнуты состраданием и бескорыстной сердечностью. Мы мальчишки дружили и считали своим долгом по возможности оказывать товарищескую помощь. Все были членами пионерской дружины «Тимур и его команда». За нами были закреплены пожилые, немощные старики. На сборах каждый из членов этой команды докладывал о проделанной работе.

Наша семья из шести человек жила в небольшой квартире в небольшом подмосковном городишке с названием Краснозаводск, недалеко от Сергиева Посада (тогда он назывался Загорск). Отец с матерью работали на заводе, а мы четверо (три брата, из которых я был старшим, и младшая сестрёнка) хозяйничали по дому, когда не было занятий в школе (обычно летом). Я ходил в четвертый класс, второй брат – в третий, а младший – только в первый. Сестренка ещё только готовилась поступить в первый класс и каждый день считала на пальцах, сколько же осталось времени до поступления в школу. По своему характеру мы все были в отца, смирные и послушные, а вот сестра – сущая стрекоза. Попадало нам от неё премного. Чуть рассердится, тут же лезет в драку, а начнёшь её прижимать, заорёт благим голосом, что не только прибежит из кухни мать, но и соседи всполошатся и, заглядывая в дверь, спрашивали: «Что у вас случилось, уж не пожар ли?». Но кроме дерзости в её характере имелись черты жалости и чистосердечной дружбы. Напротив нашей квартиры жила очень дружная и приветливая семья. Там было четыре девчонки, одна другой меньше. Сестренка дружила с ними и, когда собиралась к ним (как она говорила, иду «подружиться»), то всегда

выпрашивала у матери несколько конфет, чтобы поделиться с подружками. Когда же конфет не было (а такое было очень часто), она брала первую попавшуюся под руку книжку и уходила к ним «заниматься уроками».

Семья, что жила напротив нас, пользовалась у жителей всего 100-квартирного дома большим уважением и любовью. Отец семейства Василий, мы мальчишки звали его просто дядей Васей, работал мастером на заводе, а его супруга – учительницей в школе. Мы, трое братьев, ходили в одну школу, где она преподавала предмет математики, и потому каждый проходил у неё обучение. Школа была небольшой. Обучение проходило по сменам, поэтому из нас всегда кто-то находился дома. Тётя Клава, а в школе её называли Клавдией Петровной, уходя на занятия, поручала нам следить за её четырьмя девчонками, старшая, из которых была ровесницей нашей сестренке. Когда же возвращалась «тётя Клава» домой, то мы (а обычно это доводилось мне, так как я учился в третьей смене) сдавали «пост» и докладывали, как вели себя девчата. Все девчонки были удивительно похожи одна на другую, и различить их можно было по росту. У всех у них были василькового цвета глаза, удивительно приятные на вид. Любили шалить, петь песни и задорно смеяться. Резвились, часто падая, и довольно шибко ушибались, но никогда не плакали и не жаловались. Когда эта четверка шла с матерью по улице, то сидящие на скамейках женщины вполголоса говорили: «Ну, вот, пошли наши «васильки» на прогулку». Когда же была ветренная погода и их платьишки поднимал ветерок, шутили: «Покатился васильковый букетик – не налюбуешься». Их никто и никогда не обижал. Даже сорванцы-мальчишки старались вести себя примерно, когда девочки оказывались рядом с ними.

Дядя Вася, а он в те годы был ещё довольно молодым, играл в сборной футбольной команде городка. И пользовался среди нас мальчишек абсолютным авторитетом. Считалось величайшей доблестью донести его чемоданчик с футбольными принадлежностями до стадиона, когда он шел на игру или просто тренировался. В выходные дни, особенно в тёплую летнюю пору, вся семья во главе с дядей Васей шла на прогулку в ближайший лесок. Впереди взявшись за руки, шли девочки, а за ними чуть поодаль дядя Вася с супругой. Их знали все живущие в нашем 100-квартирном доме. Когда они проходили мимо отдыхающих на лавочках людей, то умолкали разговоры, мужчины и женщины вставали и с почтением им кланялись. Их любили за добрые и сердечные отношения. Когда это почтенное семейство удалялось от дома, девочки начинали резвиться, бегать, прыгать. И тогда тетя Клава наставительно говорила: «Дашенька (она была старшей) наведи порядок, малыши разрезвились». Даша ловила их и по одной приводила к матери. И тетя Клава ласково, но наставительно делала выговор: «Что вы, доченьки, так разыгрались – можно и ушибиться». А такое, несмотря на запрет матери, случалось нередко. У каждой девчонки на ногах или других местах были синяки. Любили девчата резвиться. Счастливое было семейство.

Но, к сожалению, счастье не бывает бесконечным, неутешным и незабываемым бывает только горе. И когда оно приходит, счастливым людям переживать его приходится особенно трудно. В начале своего повествова-

ния, я уже упоминал, что дядя Вася работал на военном заводе, где изготовлялись оружейные снаряды. Работал он в должности мастера. Однажды, теперь трудно сказать, впрочем, и тогда, наверное, досконально никто не смог установить по чьей это произошло вине, в одном из цехов произошёл взрыв. Погибли двое рабочих и вместе с ними дядя Вася. Дядю Васю так искалечило, что узнать было невозможно. Хоронили погибших всем городом. Когда в гробу подвезли дядю Васю к дому, и тётя Клава сняла с лица покойного покрывало, то в ужасе вскрикнула: «Это не он». И упала без сознания. Девочек к гробу не подпустили. Боялись за них. Много было народа. Все шли до самого кладбища. Девочек с матерью довезли на автомашине. Все молча плакали. Не плакали только дети и тетя Клава. Великое горе сдавливает даже слезы. Когда опустили гроб в могилу, самая маленькая из сестренок подняла на стоящих рядом людей свои голубенькие глазки и спросила: «А, правда, что там, в ящике наш папа и зачем его туда кладут?». Какая-то из женщин подхватила её и вынесла из толпы. Вечером я пришёл домой много раньше обычного, но уснуть долго не смог. А жизнь продолжалась. Тётя Клава долго болела. Её навещали ученики целыми толпами, пока им не разъяснили, что такие посещения только вредят ей. Тогда стали ходить по одному человеку и то не на длительное время.

Дни шли за днями. Всё становилось на свои места. Тетя Клава поправилась и снова стала ходить в школу учить детей. Самую маленькую дочь она, как и прежде, брала с собой, усаживала в классе в самый укромный уголок и та смирненько сидела, дожидаясь конца урока. Иногда засыпала, клубочком свернётся и посапывает. А вторую, чуть постарше, брала с собой Даша. Третья, чуть помоложе Даши, сестренка ходила в первый класс, и присмотр за ней уже был не нужен. Они с Дашей в доме были надежными помощницами своей матери. Уходили из школы все вместе «голубенькой» стайкой. Только редко веселились и ещё реже смеялись. Трудные были те годы. Детских садиков ещё не было, и родители, где была возможность, брали «несмышленышей» с собой на работу. Когда же появятся детские сады и ясли такая необходимость отпадет, и женщины вздохнут свободно. Жизнь улучшалась. Но для семейства «васильковых» после смерти дяди Васи значительно ухудшилась. Им жители дома помогали в меру своих сил и возможностей. Помогало и производство. Как то раз председатель завкома (заводской комитет то же самое, что профсоюз) оставив все свои дела, решил посетить семьи самых нуждающихся, чтобы хоть какую-то оказать помощь тем, у кого жизнь совсем была неважной. В первую очередь, он пришёл на квартиру к «василькам». Вечером все семейство было в сборе. Тетя Клава кормила своих девчат.

Он зашел тихо и как-то незаметно. Клавдия Петровна знала его. Это он добился, хоть и небольшой, но тем не менее существенной поддержки от завода, на котором погиб дядя Вася. «Здравствуйте, Клавдия Петровна, зашел вас проведать, не прогоните?» – сказал, улыбаясь, председатель завкома. «Ну, что вы, мы всегда вам рады», – ответила Клавдия Петровна и впервые после смерти мужа улыбнулась. Недолго длилась у них беседа, надо было во многих местах побывать защитнику трудового народа у таких

же бедолаг. В те годы многим трудно жилось. Переговорив о трудностях жизни, пообещав также оказывать помощь, председатель завкома собрался уходить, когда Клавдия Петровна обратилась к нему с просьбой: «Не могли бы вы помочь нам в приобретении сарайчика, что строятся недалеко от нашего дома. Я хочу купить козу, для девчат будет хорошее подспорье. Правда, денег у меня не хватит, ну, я попрошу у знакомых. Советуют мне. Сейчас многие держат коз, а некоторые коров. Ну, корова нам не нужна, а вот коза бы?» – попросила Клавдия Петровна. Председатель завкома (имя его не называю, потому что забыл, а выдумывать не хочу для порядочного человека), немного подумав, сказал, что её просьбе он наверняка сможет помочь. «У нашего завода имеется связь с совхозами, там мы подберем самую «молочную» козу, такую чтоб всем девчонкам хватало молока. И сарайчик оборудуем, чтоб можно было держать козу и складывать разный скарб и дрова для печки», – ответил председатель завкома. Тогда не было ещё электрических, тем более печей с газовым отоплением и пищу варили в печах с дровяным отоплением. «Так что считай, в скорости приведем тебе кормилицу», – закончил председатель завкома и, попрощавшись, ушёл.

Не умела Клавдия Петровна заниматься хозяйственными делами. Многие женщины помогали ей подоить козу, учили, как и чем кормить и поить. Понемногу стала усваивать эту «науку» общения с козой и сама стала управляться без посторонней помощи. Верной и ловкой помощницей для Клавдии Петровны стала её старшая дочь Дашенька. Она быстро переняла все методы ухаживания за Машкой (так козу стали называть с первых дней её появления), что та при её появлении радостно блеяла, как бы выражая радость от прихода Дашеньки. То водички принесет, попоит Машку, травки нащиплет, веточек свежих наломает. Зачастую ходила с Машкой на прогулку. И так сдружились эти два любящих «существа», что когда Дашенька не появлялась подолгу, то Машка громким голосом кричала, напоминая, чтоб её не забывали! Некоторые хозяйки, оказавшись рядом, ласково уговаривали Машку, подносили ей кто травы, другие кусочек хлеба. Успокаивалась Машка только когда, появлялась Даша. А Дарья так привязалась к козе, что все свободное время проводила с ней. «Ну, вот, пришла молодая хозяйка, и сразу мир наступил», – ласково говорили женщины. А Машка при появлении Даши радостно блеяла и виляла хвостом. Все жители дома любили это семейство «полевых васильков». Мальчишки ходили по лесу щипали траву и вскоре возле сарайчика с Машкой вырастали целые копны. Время шло. Подрастали на глазах и девчонки. Они были так похожи одна на другую, что узнавали их, как и раньше, по росту. По-прежнему все кто только мог помогали этому семейству. Даже мальчишки делились разными сладостями, если у тех по какому-то случаю они оказывались. Я тоже принимал участие в оказании мелких услуг этим девчонкам.

Пробегая памятью по ушедшему прошлому, я все больше и больше раздумываю: можно ли назвать поступки жителей дома, наши мальчишеские услуги добротой, добром? И твердого ответа не нахожу. Что попавшей в беду семье оказывали помощь, милосердие, наконец, сострадание – в чем и я принимал участие – всему этому действительно можно дать подобные

определения. Ну, а добро, доброта? Что же это такое? Неужели я ничего не сделал доброго в жизни, кроме как оказывал людям помощь, подавал милостыню, работал всю жизнь порой не получал за труды ничего. Разум не соглашается, а память настойчиво ищет хоть какой-либо маленький поступок, который соответствовал бы неразделимому понятию доброты, добра. Ну где же, как же его понять, отыскать. От кого-то я слышал, что люди творящие добро, не понимают, что творят доброе дело. Кто это так сказал – не знаю. Но в этом великий смысл, и я напрягаю память, чтобы в жизни моей отыскать что-то подобное. Мальчишки в 14-15 лет все одинаковы. Если некоторые думают, что они лучше других – это самообман. Разными становятся позже, когда действиями человека управлять начинает разум, а молодежью в 15 лет, а некоторыми и позже руководит сердце. Одним хочется свершить какие-то невероятные подвиги, покорить вселенную, забраться на самую высокую гору, стать знаменитым футболистом, таким как был дядя Вася, о чем я мечтал постоянно, но все без исключения, скрывая от самих себя, влюбляются в своих ровесниц. Не был и я исключением. Без каких-либо предрассудков, я, сам того не понимая, стал все больше заглядываться на Дашу. Хотя она была много моложе меня. Я уже писал, что мы мальчишки любили все это семейство, но я почему-то чаще обращал внимание на Дашу. Ей было 10 лет, а мне 15 лет. Парни моего возраста гуляли с одноклассницами, а я старался под разными предлогами быть возле неё.

Вскоре я узнал, что Даша по вечерам водит козу Машку к речке, попасти на берегу, где росла сочная трава. Разузнав такое, я стал приходить на это место раньше её и, затаившись в кустах, наблюдал как Даша, привязав к колышку свою любимицу, расстилает потрепанное одеяло, ложится, берёт в руки книжку и углубляется в чтение. На этом месте всегда было тихо. Туда никто не ходил купаться, так как было небезопасно. В самом узком месте этой речки была уложена большого диаметра труба, которую оборудовали в качестве моста, засыпав от берегов землей и застелив по ней с берега до берега длинные бревна, уложив на них равными рядами брусья. По нему редко ездили, особенно в вечернее время. Вода по этой трубе неслась с большой скоростью, и были случаи, когда засасывало по неосторожности попавших животных. Однажды затянуло теленка, который задохнулся, а другой раз – собаку. Эта по какой-то случайности оказалась живой, вынесенная течением на другую сторону моста. Я всегда прятался недалеко от моста в том месте, где росли густые кустарники. Даша читала книгу, коза паслась, а я, лежа в кустах, смотрел на милую пастушку. Не знаю, по какой причине я отвлёкся, как вдруг услышал громкое блеяние козы и крик Даши. Выскочив из кустарника, увидел, что течением реки несло козу к трубе, и Даша, уцепившись за рога, старалась подтащить свою кормилицу к берегу. Я не помню, о чем я тогда думал, да и думал ли, только припоминаю, что, пробежав несколько шагов от моста, прыгнул в воду и поплыл навстречу барахтавшимся в воде Даше с козой. Ухватив Дашу за руку, я увидел её расширенные от страха небесного цвета глаза и полный тревоги голос: «Коза, Машенька». Машка была совсем рядом, и я придерживая Дашу, успел схватить козу за рога. «Держись Даша за

меня», – сказал я, и сколько было сил, одной рукой держа козу, вместе с Дашей поплыл к берегу. Расстояние было небольшим, ширина всей речки была не больше 30 метров, поэтому я с Дашей и козой выбрался на берег из реки за несколько метров от того места, где течение набирает силу и стремительно уходит в трубу. Выбравшись на берег, мы сразу упали на землю. Хотя было тепло, но коза тряслась непонятно то ли от страха, то ли от воды. Даша подползла к ней и обняла её руками, привалившись к ней всем телом. Через несколько минут она попросила: «Давай отойдём подальше от берега, а то вдруг Машка опять захочет полезти в воду, и тогда мои малыши останутся без молочка». Малышами она называла своих сестренок. Я понимал, что козу теперь силой не затянешь в реку, но перечить не стал. Я поднялся, взял веревку, которой была привязана коза, и пошёл вместе с Дашей. Возле сарая, где помещалась Машка, я сказал Даше: «Иди домой, пусть Клавдия Петровна принесёт козе теплой воды и надо напоить её. Может она замерзла, а я побуду с козой». Когда Даша ушла я нашел в сарае какой-то половик и накрыл козу. Она чуть проблеяла и тут же легла на пол. Минут через десять тетя Клава со всеми четырьмя девчонками, держа в руке небольшое ведерко, прибежала к сараюшке, где я сидел и выговаривал упреки козе: «Не окажись я рядом, и не было бы теперь тебя с Дашей на этом свете». Коза смотрела на меня, мотала головой и при приближении Даши тут же встала на ноги. Клавдия Петровна, зайдя в сараюшку, обняла меня и долго держала, прижав к груди. Я чувствовал падающие на меня из её глаз слёзы. Наконец, успокоившись, она сказала: «Спасибо тебе от всех нас». А Даша подошла, взяла мою руку, прижала к своей щеке и чуть прошептала: «Ты наш спаситель». На этом заканчиваются мои воспоминания и поиски сделанного добра в моей жизни.

Можно ли этот поступок назвать добротой? Вряд ли. Тогда признаюсь, что я за свою долгую жизнь ничего из божьих заветов не сотворил.

Нельзя же назвать добротой проработанные почти 70 лет в Заполярье, без выходных, праздничных дней, за это я получал зарплату (о чем повторяюсь), также поданные милостыни каждому нищему и услуги товарищам, друзьям. Можно назвать эти поступки, помощью, милосердием, состраданием, любовью. А что тогда доброта? Кто же творит добро? И если сам я ничего не сделал доброго, то невольно задаюсь вопросом: приходилось ли встречать людей, которые своими деяниями разрешили мои сомнения? Отвечу уверенно! Да!

После спасения Даши с козой я ещё многократно встречался с этой стайкой «полевых васильков», глядя на них, я видел радостные полные благодарности лучезарные взгляды четырех пар голубых глаз, переполненных теплотой и любовью. Наверное, эти незримые лучики являются родниками доброты, рождающей на земле все святое. Это они, защищенные своей беззащитностью, вдохновляют людей творить богоугодные дела без колебаний и раздумий. Во имя и ради которых существует мир. Все святое и светлое исходит от детей и творится для них. Спасибо судьбе, что в жизни моей по соседству жили эти ангельские создания. Правда, недолго. Вскоре началась у меня совсем иная жизнь.

Неожиданная встреча

Много, очень много лет прошло с тех пор, как я покинул места своего детства, юности. Расстался с друзьями, товарищами, и казалось, навсегда. Забыл милое семейство «васильков» и тот случай, на речке, что мной описан в небольшом рассказе. Время шло, складывая год за годом. В очень многих городах, городишках, поселках пришлось побывать, исколесить дорог и дорожек, повидать множество различных людей. Не единожды приезжал из далеких северных пустынь в материнский дом в поселке Зеленоградский, находящийся на середине пути между Сергиевым Посадом и г. Пушкино. В поселок Зеленоградский мать перебралась вскоре после моего отбытия в края «отдаленные». Да мало ли где довелось побывать за эти почти 70 лет, как покинул Подмосковье, куда в последнее время стал приезжать все реже, так как там все меньше и меньше оставалось родных и знакомых.

Краснозаводск — город моего детства, юности, где рос, учился (хотя зарекался никогда в него не возвращаться) все же посетил. Правда, по прошествии многих лет всего один раз и ненадолго. Там многое изменилось, но дом, в котором я жил вместе с семейством «васильков», так и стоит целым и невредимым. Мне кажется, что его даже не ремонтировали. Приехав на автобусе, я, немного побродив по улицам, скверу, посидев на лавочке в надежде кого-нибудь встретить из знакомых, стал сомневаться, нужно ли мне вообще было появляться в этом городишке, кому я здесь нужен и какими теперь стали «васильки», с которыми мы жили на одной лестничной площадке. Наконец любопытство одержало верх, и я, решившись (что я теряю), зашел в подъезд и остановился напротив квартир – нашей и «васильков». Непонятно, но сердце заколотилось намного сильнее обычного.

И опять мысли, одна выталкивая другую, вступили в спор: «Зачем я это делаю, кто я для них такой, да и нужно ли мне вообще показываться?». Такие раздумья витали в моей голове, и я уже хотел повернуть назад, как вдруг из дверей квартиры, в которой когда-то проживали мы, вышла пожилая женщина. Мне показалось что-то в ней знакомое. Чтобы как-то разрядить обстановку, я обратился к ней с вопросом: «Живет ли в этой квартире, что напротив вашей, Клавдия Петровна, она в школе учительницей работала?» Женщина чуть улыбнулась и негромко спросила: «Приехал?» Мы оба замолчали. Я не знал, что у нее еще спросить и стоял, опустив глаза. «А ты что разве не признал меня, ведь мы жили над вами, этажом выше и ты дружил с моим Петькой. Убили его в самом конце войны», – еще тише сказала. Я сразу вспомнил Петьку и его мать, стоящую передо мной, и что зовут ее Ксенией Ивановной (я же тогда называл тетя Ксеня, когда встречался с ней), но не проронил ни слова, пока она говорила: «Перебрались мы в вашу квартиру, как только твоя мать Катерина съехала. Вот только куда я уже забыла. Она сказывала адрес перед отъездом». Улыбнувшись приятной улыбкой, продолжала говорить: «А «васильки» тоже все поразъехались. Сначала уехала Даша, а потом одна за другой. Учились в институтах, навещали Клавдию.

Теперь все живут в разных городах. Клавдия еще долго жила одна. Все ходила на могилу к мужу. Помнишь – Василия мужа-то ее? Не хотела от

него уезжать». «Ну, как же, Ксения Ивановна, не помнить дядю Васю, он же погиб на заводе», – ответил я. «Ну, вот видишь, как у всех сложилась жизнь. Клавдия, как уж очень постарела, то уехала к своей старшей дочери куда-то на Восток. Приезжали они вместе с ней, кажется два, а может три раза на могилу к Василию. Побудут часа два, а потом в лавру Сергиеву уезжали на молебен. Теперь уж много лет никто не появляется. Видимо, померла Клавдия. А ты только ОТТУДА, что ли, приехал? Долго там тебя держали». Она знала, куда меня отправили. С моей матерью много раз вела разговоры. «Нет, тетя Ксеня, я давно работаю, до этого закончил институт в Ленинграде, сейчас в отпуске, живу у матери в Зеленоградском. Приехал сюда, может, кого из знакомых найду?» – ответил я, а сам подбирал момент спросить, может, у нее есть хоть какой адрес от соседских «васильков» и она что-нибудь о них может рассказать еще, а также и знакомых парней, что учились вместе с ее Петькой. «Никого не осталось», – грустно ответила Ксения Ивановна. – Моего Петьку в 45-м году убили за несколько дней до конца войны. Не дождался Победы. Все писал письма Настюшке – это вторая дочка после Даши, договаривались, что поженятся, как только вернется Петя с этой проклятой бойни. А как ждала она его, как ждала! Каждый день приходила чуть свет спрашивала, что-нибудь есть от Пети. А радости было, когда приходили письма – не обскажешь». Я видел, как покатились слезы из глаз у тети Ксени, стал успокаивать ее, но она быстро осилив свою слабость, продолжила: «Пришла Настюшка как-то утром вся в слезах. Я так и охнула: неладное что-то. Спрашиваю, что с тобой? Отвечает, что сон плохой видела. Петю убили, – и снова в слезы. Я насилу уговорила ее, а через пять дней пришла похоронка. Убит в боях за Берлин. Сон-то оказался в руку», И снова покатились слезы у тети Ксени. Когда немного успокоилась, спросил у нее: «Может Настюшка тебе какую-нибудь весточку подает?». – «Нет ничего! Она еще года два после пожила здесь, а потом тоже уехала в институт следом за Дашей. Перед отъездом зашла ко мне, долго плакала. «Многие за мной ухаживают, а люблю я только Петю», – сказала мне на прощание. Поплакали мы и расстались. Ой! Много из нашего города погибло парней», – закончила свое повествование Ксения.

Я понял, что более грустной картины трудно представить, но все же спросил у нее: «А как ты-то живешь?». – «Так вот и живу, я да отец, которому за 80», – ответила с какой-то неохотой Ксения. Я знал старика Ивана еще когда учился в школе (он сторожем работал) и, радуясь, что у нее есть хоть одна живая душа и есть с кем словом перемолвиться, сказал: «Значит, Бог любит дядю Ваню, коль так продляет ему жизнь». Ксения долго молчала, по-том как-то отрешенно ответила: «Еще неизвестно ради чего Бог продляет жизнь человеку за 80 и больше. Мало кому на радость, а больше для мучений. Отец же вот уже 10 лет болеет, по ночам не спит, кашляет непрестанно, еле ходит. Так что в таком долголетии веселости мало». Чтобы как-то подбодрить Ксению Ивановну я сказал: «Ну хоть живым словечком перемолвиться есть с кем», «Только что, – отвечала Ксения. – Сейчас лежит весь больной, не встает».

Я посмотрел на морщинистое постаревшее ее лицо и понял, что больше

разговаривать мне с ней не о чем. Поблагодарил за наш разговор и попрощался. Легко и просто встречаться и расставаться, когда тебе чуть больше тридцати лет. После той встречи с тетей Ксеней прошла, кажется, вечность. Время шло, отсчитывая годы. Произошли страшные изменения в стране и обществе. Но я, как и прежде, продолжал курсировать по своему давно отработанному маршруту: Норильск – Москва – Зеленоградский. Я давно вступил в самое распространенное в нашем обществе «племя» пенсионеров, но продолжал работать не столько из-за денег (пенсия у меня в советские времена была больше, чем у многих зарплата не только в Московской области, но и у некоторых категорий работников Севера. Это теперь в послереформенное время на пенсию редко кто сможет прожить), сколько за тем, чтобы занять образовавшуюся жизненную пустоту. Из родных в Зеленоградском, где мать прожила все последние годы жизни, не осталось никого. Поредели ряды знакомых. Сократил и я количество поездок в материнское гнездо. И если приезжал, то всегда ненадолго. Обычно на несколько дней. Чтобы развеять скуку (что одному делать в пустом доме), уезжал зачастую в Сергиев Посад (раньше назывался Загорск), Москву или Пушкино.

Однажды мне нужно было съездить в пушкинское БТИ, получить план земельного участка. Теплым июльским утром около 10 часов я сел на электричку и вскоре вышел из вагона на пушкинской платформе. Народу было много. День был субботний, все куда-то спешили. Пробившись сквозь толпу спешащих, толкающих друг друга людей, я сошел с платформы и через некоторое время уже был в нужном для меня заведении. Но, к великому моему огорчению, оно не работало. Внутри оказался только пожилой мужчина, исполняющий роль сторожа. Посмотрев на меня, спросил: «Что нужно?» – «Да вот, – замямлил я, – за справкой приехал». – «Давно уже не стали по субботам и воскресеньям работать, все стали отдыхать, как и повсюду», – пробурчал мне в ответ сторож, «Так ведь раньше работали и по воскресеньям, чтобы в свободное время можно было выправлять нужные документы», – теперь уже просто для собственного успокоения продолжал я говорить. «Такое было в советское время, а сейчас у нас всем владеют хозяева, так что иди с богом и мне не мешай службу править», – посуровевшим голосом ответил мне сторож.

Я про себя чертыхнулся и побрел на вокзал, раздумывая, куда же мне податься. Одному становилось скучно. Придя на вокзальную платформу, я подошел к билетной кассе. Возле нее стояла одна женщина. Когда женщина, рассчитавшись с кассиршей, повернулась, я, глядя в ее лицо, попросту говоря, растерялся. В ней я увидел до боли давным-давно знакомые мне небесного цвета глаза. Я смотрел, не отрываясь и не шевелясь с протянутой в окошко рукой, держащей деньги для покупки билета. Женщина улыбнулась и попросила меня посторониться. Видя, что я попросту окаменел, она отошла чуть в сторону и, продолжая улыбаться, стала удаляться. Я не слышал, что говорила мне кассирша, и не обращал на нее внимания, пока она не дотронулась до моей руки. Недовольно спросила: «Говорите, куда вам ехать». Увидев, что незнакомка повернула за угол, я как-то вдруг испугавшись, что могу потерять ее, так же грубовато ответил кассирше: «Никуда».

И выдернул из билетного окошка руку. «Вот дурак», – был услышан сказанный упрек вдогонку кассиршей. Быстро пошел в сторону за незнакомкой, боясь потерять ее, но когда завернул за угол, увидел, что моя незнакомка сидела на самой ближайшей скамейке. Я уже подходил к ней, когда в голове мелькнула мысль сомнения: «А вдруг не она?». Ведь прошло столько лет. Но отступать было некуда, я уже совсем приблизился к ней. Она в этот момент повернулась ко мне и снова улыбнулась. И опять воображение унесло меня на 60 с лишним лет. Не может быть. Этой незнакомке не больше 35 лет, а той.... далекой, но так похожей... уже наверное около 70 лет. Я сделал последний шаг и в самой вежливой форме обратился к ней: «Скажите, пожалуйста, вас не Дашей зовут?». Незнакомка нахмурилась и показалась мне еще прекрасней, чем я увидел ее у кассы. Видимо, ей надоели частые ухажеры, поражавшиеся ее красоте и надоедавшие своими комплиментами. «Нет, меня зовут не Дашей», – сказав, снова улыбнулась, глядя на меня, вероятно, поняв, что я слишком стар быть для нее ловеласом и меня интересует в ней что-то другое. Я хотел заговорить с ней снова, но она опередила меня: «Что вас заинтересовало, вероятно, у вас есть знакомая по имени Даша и чем-то похожая на меня?». Я по ее выражению лица понял, что она чем-то удовлетворена.

Глядя на нее, мне хотелось кроме возникших сомнений сказать, что я удивлен ее поразительной прелестью, ангельской красотой, необъяснимым обаянием и т.д. (она соответствовала всему), но, понимая, что выражать восхищение незнакомой женщине, встретившейся мимолетом на вокзальной платформе, пошло, стал объяснять, что в далеком, далеком детстве я учился в одной школе вместе с одной девушкой удивительно похожей на нее, которую звали Дашей. И мне показалось... Но сейчас я убедился, что ошибся. Ей, наверное, теперь почти столько же лет, сколько мне и, конечно, она такой в настоящее время быть не может. Пока я говорил свою не очень выразительную речь, незнакомка нахмурилась, и как только я закончил говорить, она, чуть улыбнувшись, сказала: «А вы почти не ошиблись. Только Дашей звали мою маму, а меня зовут Ольгой». Невозможно выразить словами, что творилось у меня в голове после того, как Ольга сказала, что ее мать звали Дашей. Ольга продолжала что-то говорить еще, а я был почти уверен, что Ольга, сидящая на скамейке, веселая, жизнерадостная, – дочь той самой Даши, которую я вместе с козой Машкой вытащил из водоема. «Скажите, Оля, а как вы здесь оказались, может быть, живете где-нибудь поблизости?» – спросил я. «О! Нет! Я живу далеко, в Благовещенске, там и родилась. А в этот раз приехала с мужем в Москву, у него какие-то дела. А я приехала с ним, чтобы выполнить наказ моей матушки побывать на могиле ее отца, приходящегося мне дедом, похороненного в Краснозаводске. Я там бывала много раз, правда, давно. Сначала ездили втроем. Я, мама и бабушка. После смерти бабушки ездили два раза с мамой, а вот теперь я была одна. Мама уж несколько лет назад вместе с папой погибли в автокатастрофе. – Ольга тяжело вздохнула, а мне сделалось грустно. – Я давно там не была, но помню все хорошо. Даже небольшую речку, куда меня приводила мама показать место, где она чуть не утонула, спасая козу. Парень какой-то

помог им выбраться. Только вот имя я его забыла, а мне мама говорила. В этой поездке мне очень хорошо помогла подруга, мы вместе с ней учились в одном институте, живет она в Пушкине, я вчера с ней посетила Краснозаводск. У ее мужа есть легковая машина, он нас свозил туда и обратно. Вот после исполненного долга возвращаюсь назад в Москву, а завтра с мужем улетаем в Благовещенск».

Она перестала говорить, а я безмолвно стоял перед ней, не говоря ни слова. Она озабоченно посмотрела на меня и тревожно спросила: «Вам плохо? Вы очень побледнели». – «Нет, Оля! У меня все нормально, но я потрясен, что вы мне сейчас сказали. Всех ваших родных я знал очень хорошо, потому что в то время я жил в этом городе Краснозаводске», – ответил я. «Как! – воскликнула Ольга. – Вы знали бабушку, дедушку, маму? Это просто необъяснимое чудо, такая встреча и через столько лет!» «Нет! Оля, чудес на свете не бывает, – отреагировал я и тут же продолжил свое высказывание: – Вашего дедушку звали Василием. Отчества его я не знал, потому что мы мальчишки все звали его дядей Васей. Он любил играть в футбол, и мы все считали за честь донести его чемоданчик с футбольными принадлежностями до стадиона. Он погиб на производстве и когда его хоронили, то я был на кладбище. А бабушку твою звали Клавдией Петровной. Я у нее учился несколько лет. Знаю и парня (поразмыслив, я решил не называть себя), который вытащил из водоема Дашу (твою маму) с козой. Звали его Ванькой, он учился вместе со мной, и за этот поступок им гордилась вся школа». – «А мне мама называла, кажется, другое имя. Она, уже когда я подросла, говорила, что даже дружила с ним. Правда, недолго. Его призвали учиться в какие-то секретные органы (видимо, Даша не сказала дочери, что меня арестовали). Только вот имя его, кажется, то ли Костя, то ли Кирилл – только вылетело у меня давно все из головы, – как-то озабоченно и не настойчиво проговорила Ольга. И тут добавила: «Какая удивительная встреча, я обязательно расскажу про нее всем моим теткам». «Я их, Оля, тоже всех знал. Они были так похожи одна на другую, что различали их по росту», – сказал я и у меня почему-то защемило сердце. Спохватившись, что за время нашего разговора не назвал свое имя (видимо, разволновался), сказал: «А зовут меня Николаем, – чуть помедлив, добавил: – Алексеевичем». Этого можно было и не говорить, все равно эти «тетушки», давно постарев, не вспомнят меня. В это время объявили о подходе загорского поезда до Москвы, Мне о многом хотелось поговорить с Ольгой, но электропоезд уже остановился, и из него выходили пассажиры.

Я посмотрел еще раз в ее лицо и увидел, как по щеке покатилась светленькая слезинка. Счастья тебе, Оля, удачи и благополучия, а так-же всем твоим тетушкам, которых когда-то называли «полевыми васильками». От них всегда исходило добро. Я видел в открытое окно электрички, как Ольга села, посмотрела в мою сторону, помахала рукой. Поезд мягко тронулся, и пока не скрылся в летнем мареве, я смотрел вслед и мысленно разговаривал с Богом: «Почему ты, Господи, не сделал жизнь человека такой, чтобы ее можно было повторить сначала без ошибок, упущений, греха, допущенных в предыдущей». И звучали в голове много раз слышанные слова: «Если б

Волга-матушка да вспять побежала, если б можно было жить начать сначала». И, успокаивая себя, подумал: «А ведь наверняка очень многие думают и хотят этого».

Я неторопливо пошел на другую сторону вокзальной остановки, мой поезд шел в обратную сторону от Москвы.

Впереди меня, тяжело переступая ступеньки, шла довольно пожилая, скорчившаяся женщина. «А как же она будет подниматься по лестнице, что возвышалась на переходе, она хоть и невысокая, но даже более расторопные люди поднимались по ней с трудом», – подумал я и, быстро догнав ее, предложил свою помощь. Женщина повернулась в мою сторону, поглядела на меня и облегченно сказала: «Помоги, пожалуйста, только ведь и самому-то тебе нелегко, ты, наверное, в моих годах».

«Ничего! Как-нибудь осилим», – ответил я и, взяв ее под руку, мы пошли. Я сразу почувствовал, что идти с ней по крутой лестнице довольно трудно. В это время навстречу нам торопливо шли двое молодых парней спортивного вида. Старушка жалостливо поглядела на них, и я понял, что моя помощь мало в чем ее облегчает. Я обратился к парням: «Ребята, помогите перевести старушку через этот переход». Парни переглянулись и, ни слова не говоря, подхватили старушку под руки с обеих сторон и легко, будто играючи, довели ее до платформы. Я шел сзади, не отставая. Возле первой ступеньки она вздохнула и попросила их остановиться: «Дальше, ребята, не надо. Я здесь дождусь электричку. Спасибо вам». Один из парней спросил: «Далеко ли ехать, бабуля?». – «В лавру еду помолиться, душу от грехов очистить, давно с Богом не разговаривала», – ответила на их вопрос старушка. «Ну, какие у тебя могут быть грехи, бабушка?» – враз спросили ребята. Старушка нахмурилась: «Ну, как же, другой раз слово не так скажешь, а то чертыхнешься ненароком, или еще что-нибудь допустишь, что Богу неугодно, так что нужно очистить душу». – «Ну, бабка, тебя за такие грехи никто не осудит, и Бог только похвалит, сколько сейчас меж нами людей, которым так и хочется съездить по морде за их пакостные дела, – ответил один из парней и тут же добавил: – Поезжай, да и за нас словечко замолви перед Господом, а пока до свидания, счастливо тебе доехать».

Бабуля еще долго благодарила их за помощь, крестясь им вслед. Я прошел мимо старушки и сел на другую скамейку. У меня было очень благодушное настроение. За какие-то неполных полдня я встретил несколько человек (среди множества равнодушных), сеющих бескорыстное добро.

Поезд подошел. Пассажиры торопливо зашли в вагоны, и вот уж вдали осталось Пушкино, а я про себя твердил: «Люди, спешите творить добро. Оно вернется к вам сторицей, прольется в душу божьей благодатью, отодвинет горести, невзгоды, и вы (пусть мысленно) поблагодарите сами себя за содеянные вами когда-то богоугодные дела».

07.01.2009 г.

Конец. И точка

Алексей Иванович занемог. Занемог сильно. Он раньше прибаливал, всё ж таки годы, а шёл ему уже девятый десяток, но пересиливал немощи, разминался, перемогал и скрепя сердце уходил на работу. Свою работу он любил, и, появившись в кабинете, забывал про свои болячки, становился весел, порой сердился, но быстро отходил, прогонял тревоги, заботы, занимался текущими делами и совсем незаметно проходил день. Он не замечал времени, никогда не носил с собой часы, а наступление вечера определял по тому, как пустели кабинеты, работники уходили домой, и в конторе наступала тишина. Он уходил всегда последним. Так тянулись годы, шли месяц за месяцем, мелькали дни.

Но в это утро его жизненный ритм изменился. У него болело всё. Кружилась голова, сердце билось с перебоями, какая-то свинцовая тяжесть навалилась на грудь, и ноги словно одеревенели. Чувствовалась непреодолимая усталость. Но самое главное – пропало всякое желание сопротивляться всё больше и больше надвигающейся старости. Он устал душевно. У него давно уже пропало желание ко всему: не интересовали женщины, деньги, вино. Незаметно и неотвратимо наступало самое страшное: появилось уныние. Он понимал, что рано или поздно должно придти. Но, всякий раз задумавшись, отмахивался: не сегодня же. Но в последнее время оно всё чаще и чаще давало о себе знать. И вот сегодня, в это утро, к физическим недугам добавилось душевное расстройство, и он понял, что ОНО пришло и навсегда. Алексей Иванович с трудом поднялся с кровати, сел в кресло и, бессильно опустив руки, бессмысленным взором уставился в окно, за которым сквозь разрывы туч проглядывало солнце. В комнате стояла тишина. Только мерно стучали часы, провожая время. Он словно прирос к спинке кресла. Не было никакого желания даже пошевелиться. Хотелось снова заснуть и не просыпаться. Наконец, превозмогая боль в суставах, оперевшись на ручки кресла, он с трудом поднялся, на негнущихся ногах подошёл к окну, отдёрнул занавеску. Ночью прошёл дождь. На дорогах кое-где были лужи, в которых играли солнечные блики от лучей солнца, пробившихся сквозь просветы туч. День был пасмурный. Но лёгкий ветерок разгонял тучи, и небо всё шире и больше становилось чистым и синим.

Ранние прохожие спешили на работу, дворники подметали тротуары, по дороге, шурша шинами, проезжали автомашины. По другую сторону дороги из подъезда жилого дома вышла молодая мама, держа за руки девочку и мальчугана. Они весело о чём-то разговаривали, а малыш задиристо смеялся. Алексей Иванович определил, что девочке было около 10 лет, а малышу 3 года. Возраст ребятишкам он определял безошибочно. Своих детей у него не было, и может, поэтому при виде малышей у него улучшалось настроение, а если случалось пообщаться с ними, то легко заводил дружбу. Родителям, имевших много детей, он завидовал, хотя никогда про это не высказывался вслух. Он засмотрелся на эту семейку. Увидел, как резвившийся мальчуган, вырвавшись из рук матери, побежал, разбрызгивая лужу, в сторону дороги, по которой довольно с большой скоростью проносился легко-

вой автомобиль. «О! Господи! – промелькнуло у него. – Как бы не попал под колёса». Но в это время девочка быстро догнала шалуна, схватила одной рукой за воротник рубашки, а другой легко шлёпнула под зад. Мальчуган задиристо покрутил кудрявой головой и что-то весело проговорил. Мать подошла к малышам взяла их за руки, и они все вместе скрылись за углом соседнего дома. «Какая досада, – подумал Алексей Иванович, – что жизнь не бесконечна, причём все безмятежные радости приходятся на её начало». Ему не раз приходила в голову мысль: почему жизнь нельзя начать сначала? Понимал: в этом люди бессильны. Он так был поглощён увиденной идиллией счастливого семейства, что не сразу сообразил, что телефон уже несколько раз настойчиво и громко приглашал его к разговору.

«Кто бы это?» – подумал он, поднимая трубку. «Слава Богу, наконец-то дозвонилась до тебя, – услышал он радостный голос своей супруги. – Всю ночь плохо спала, – продолжала она. – Как ты там живёшь без меня и скоро ли приедешь? Одной жить невозможная скукота. Хорошо хоть соседи ещё не дают пропасть от тоски, а то бы извелась совсем. – «Скоро, очень скоро, – ворковал Алексей Иванович, радуясь бодрому голосу супруги, – буквально на днях нарисуюсь», – уверял он свою неразлучную спутницу, хотя билета у него ещё не было. Но, будучи старейшим жителем этого захудалого заполярного городишка, надеялся, используя старые связи (билеты купить в летнее время было трудно), приобрести билет на ближайший самолёт.

«Надо как можно скорее, уехать к старушке (так он всегда называл свою супругу), а то уже целая вечность прошла, – думал он, хотя его благоверная, уехала всего две недели назад на «большую землю». От её звонка настроение у Алексея Ивановича резко изменилось. Из упаднического перешло в благодушное и даже, как ему показалось, физические немощи отодвинулись в сторону. «Как хорошо когда ты знаешь, что на земле есть человек, который ждёт тебя и который тебе нужен, жизнь от того становится светлой и радостной, в противном случае она безразлична, – подумал удовлетворённый Алексей Иванович. И тут же сделал вывод: – Каждый человек на Земле живёт для людей».

Но тут же, как чёрная полоса, прошла зловещая мысль: «А что будет, когда кто-то из нас останется один? Хорошо, что пока пустоту заполняет работа. Но ведь и эта спасительная отдушина скоро закроется».

Но снова впадать в меланхолию ему показалось страшным, и он, отмахнувшись от нахлынувших раздумий (жизнь то всё равно продолжается), быстро одевшись, вышел на улицу, сел в автобус и уже через несколько минут строчил заявление на отпуск. Отправив его через секретаря по назначению, тут же уехал в авиакассу покупать билет.

Отпуск в середине июля, когда ещё в природе все цветет и благоухает, а ранние плоды начинают созревать, – это самая прекрасная пора года.

Но! К великому сожалению, этот отпуск для Алексея Ивановича с его супругой был сплошным мучением. В первый же день его приезда разразилась страшная гроза (хорошо хоть самолёт не захватило в пути) с ливнем. Гром грохотал, будто тысячи орудий вели стрельбу, и в небе из края до края гремела канонада. Алексей Иванович с супругой не смогли уснуть до утра.

А к утру разболелись оба. Промучившись несколько дней, супруга обратилась к врачам, и её положили в больницу. Алексей Иванович, несмотря на тяжёлое состояние, ложится в больницу не стал. Впрочем, никто ему не предлагал этого. В настоящее время при существующих порядках пенсионеров госпитализируют в большинстве случаев за деньги, взятки, по близкому знакомству или же когда человеку подходит конец жизни.

Продержали супругу Алексея Ивановича совсем не много. Чуть подлечив, благо ходить стала «своими ногами», тут же вытолкнули. За эти восемь дней, что супруга пролежала в больнице, Алексей Иванович измучился до невозможности. Особенно трудными были ночи. Чуть задремав, с каким-то потусторонним испугом просыпался весь в холодном поту. Переодевшись, снова ложился. Но сон не приходил. В раскрытые окна смотрела жёлтая луна и яркие звёзды, рассыпанные по бездонному и бескрайнему тёмному небу, мерцали, гасли и снова зажигались. Ночь тянулась мучительно долго. Казалось, что ей не будет конца. К утру приходил короткий спасительный сон. Проснувшись, тревожно ждал: может, кто-нибудь позвонит по телефону или постучит в дверь. Не шевелясь, лежал, находясь в каком-то отрешённом состоянии с одним желанием: скорей бы возвратилась супруга. Боялся, что одиночество сведёт его с ума. Супруга появилась совсем неожиданно задолго до намеченного срока. Радостный Алексей Иванович спросил: «Что так рано?» – Она ответила: «Со мной в палате лежали полусумасшедшие. По ночам все что-то перепрятывали, шарили, следили одна за другой. Я неоднократно думала сбежать, только нечего было надеть, а то бы удрала. А ты что такой мокрый, с тебя вода льётся?» – «Откуда я знаю, всё время, как ты ушла по ночам несколько раз бельё меняю», – ответил Алексей Иванович. «Ну, ничего. Это от перемены климата». – Она поняла, что такое случается со многими людьми, долго прожившими на Севере и резко переменившими место жительства.

«Это должно пройти, – успокоительно сказала она, – нужно только определённое время для акклиматизации». – «Пока эта акклиматизация наступит – оба ноги протянем», – сказал Алексей Иванович. Ему не понравилось, что супругу так быстро выписали, хотя в душе был несказанно рад её возвращению. Но равнодушное настроение как-то незаметно улетучилось. Супруга Алексея Ивановича, не спеша, разделась и тяжело опустилась на диван. «Слава Богу, дома лучше», – с какой то безразличной уверенностью произнесла она.

«Ты немного посиди, а я суп разогрею», – сказал поспешно Алексей Иванович, стараясь хоть чем-то угодить своей супруге. «Да не спеши, не надо, я только перед выпиской пообедала и совсем ничего не хочу есть», – отказалась супруга, видя, что Алексей Иванович сам очень неуверенно держится на ногах. Ну, вот подумал Алексей Иванович, глядя на свою жену, теперь вместе будем долечиваться. «Давай, раздевайся, да полежи, а я схожу в магазин да кое-что прикуплю, все, что ты накупила продуктов до больницы, я уже почти израсходовал». Накинув пиджачишко, с сумкой в одной руке и палкой в другой он, не задерживаясь, ушёл. Походил по нескольким магазинам, стараясь найти для супруги что-нибудь повкуснее. День выдал-

ся погожим, с лёгким тёплым ветерком. Алексей Иванович, накупив всего необходимого, не спеша, в радушном настроении, возвращался домой. Неторопливо открыл дверь, зашёл тихо в квартиру, стараясь не потревожить жену, думая, что она заснула, но, увидев её бодрствующей, даже немного рассердился: «А ты что? Не прилегла даже?» – вопросительно спросил Алексей Иванович. Та, не дав ему опомниться, выпалила: «Сейчас ко мне приходила соседка Валентина и сказала умопомрачительную новость – ваше предприятие сгорело, это известие передавали по федеральному радио».

Алексей Иванович не сразу понял, что же могло случиться? Может, план не выполнили? Обычно в таких случаях говорили: «Прогорел цех, прогорел завод и т.п.» Но, поразмыслив, отверг эту нелепость, уж очень невелико их предприятие, чтобы засорять эфир такими мелочами. Тогда что же? Может быть, действительно произошло какое-либо загорание (такое часто случалось) а работавшие в этот период приехавшие из Москвы корреспонденты ради показухи (и мы также работаем) раздули «пожар» и подбросили кое-какие материалы в центральное радио. Но и это показалось неубедительным Алексею Ивановичу.

Обсудив с супругой все возможные варианты, пришли к такому выводу: или соседка Валентина что перепутала, или работники радио. Если бы что-то случилось серьёзное, то, наверное, его товарищи по работе сообщили бы об этом. Адрес его они знали. При отъезде он сообщил, им куда писать и по каким телефонам звонить. Время шло. Никаких известий Алексею Ивановичу не поступало. И чем больше проходило дней, тем тревожнее становилось на душе у Алексея Ивановича. Наконец он не утерпел и решил позвонить сам. Каково же было его изумление, когда ему сообщили о происшедшем бедствии. Предприятие сгорело полностью, и после пожара никакие работы на нём не выполнялись. Сгорело все что только может гореть, а металлические конструкции скрутило узлом, как верёвки. В наиболее сильных очагах пожара металл расплавился, тонкие листы искорёжило и сплющило «гармошкой». Узнав из различных источников о размерах происшедшей трагедии, Алексей Иванович понял, почему никто не позвонил ему о случившемся: никто не знал что же делать. Ни у большого начальства, ни в низах не было единого мнения. Одни предлагали восстановить сгоревшее предприятие хотя бы в небольших размерах, другие отмахивались: на это потребуется много времени, а продукция, которую изготовляло данное предприятие, требовалась незамедлительно. Выход из возникшей ситуации был найден, и потому Алексея Ивановича не стали тревожить. Да и зачем? Что он мог сделать? Сам же Алексей Иванович безошибочно определил, что восстанавливать или строить что-то другое в ближайшее время не станут.

Это был печальный конец. О себе он не думал. Уже несколько лет просил начальство отпустить его на заслуженный отдых, но руководство всякий раз уговаривало его поработать ещё «немного», объясняя разного рода трудностями в кадрах, реорганизацией и тому подобными причинами. Он колебался, соглашался, принимал одно за другим решения, каждый раз ме-

нял их, разочаровываясь и сомневаясь. И вот! Все вопросы разрешил в одночасье налетевший с соседних построек огненный смерч. Что ж, видимо, так было угодно Господу распутать накопившийся у Алексея Ивановича клубок тягостных сомнений. Именно тягостных: несмотря на преклонный возраст, Алексея Ивановича еще тянуло на работу, в коллектив, с которым он провел не один десяток лет. Не давало покоя Алексею Ивановичу, что же станет с коллективом. Куда направят людей работать? Кто вообще останется в числе безработных? Он знал каждого – и каждый ему был дорог.

Может быть, всё ж таки решат восстановить производство хотя бы в небольших объемах? Этот вопрос часто возникал у него, но не задерживался подолгу. «Не будут. Не те времена. Слишком хлопотно. А люди стали другими: придумают что-нибудь иное», – окончательно убедил себя Алексей Иванович и перестал думать о случившейся беде. Другие события отвлекли его о происшедшем пожаре на далеком Таймыре. Через несколько дней на южных границах республики началась гражданская война между Грузией и Осетией. Глядя на пылающие города (по телевизору) Алексей Иванович обо многом передумал. Среди различного рода размышлений возникали в его воображении картины разрушения на далеком таймырском предприятии, где он работал: «Неужели и там произошло что-то подобное?».

Вдумываясь в произошедший конфликт между Грузией и Осетией, приходил к печальному выводу: виноваты во всех народных бедах, что обрушились на российский народ, два человека – это М. Горбачев и Б. Ельцин. Кстати в разгар грузино-осетинского конфликта американцы наградили Горбачева каким-то значком. И он его подобострастно принял. Могло подобное произойти, когда все республики входили в великий Советский Союз?

Вскоре отпуск закончился и супруги не без труда (в аэропорту пришлось долго ожидать вылета, пока не решился вопрос бюрократической волокиты с обеспечением самолета топливом) добрались до аэропорта «Алыкель». Приехав домой, не заходя в квартиру, в первую очередь, заглянули в почтовый ящик. Он был пуст. Ни одной бумажки. Глядя в лицо опечалившейся супруги, сказал: «Старость – это не пустой рот без зубов, а пустой почтовый ящик». Про себя же подумал: для каждого старость одинакова с недугами, печалями, огорчениями. Радость и наслаждения тратятся в молодости». Чтобы развеселить подругу, добавил: «Не тужи, сейчас напьемся кофейку и включим телевизор. Все будет хорошо». На следующий день Алексей Иванович уже был на пожарище. Увиденное его не поразило, оно просто его огорошило. Разрушенный Цхенвал не мог ни в коей степени сравниться с останками сгоревшего здания. На складах, где бушевал огонь, не осталось даже обугленных головёшек. Грузовые краны искорёжило огнем, стены зданий наполовину разрушились, вместо окон остались проемы. Присутствовавший на этом огневище до самого конца начальник участка круглого леса и пиломатериалов Шигапов Якуб Исмагилевич рассказывал, что из-за нестерпимого жара нельзя было подойти близко к горевшим постройкам и штабелям лесоматериалов.

Алексей Иванович, хотя и знал по какой причине произошел пожар,

тем не менее поинтересовался у Якуба Исмагилевича: «Как же так могло произойти?». Шигапов довольно подробно изложил картину случившегося: «Бесхозные здания бывшего торгового предприятия, находившегося в непосредственной близости от складов круглого леса и пиломатериалов, давно оккупировали частники и хранили в них различного рода горючесмазочные материалы. Здания эти неоднократно загорались, пожарники приезжали, тушили их, но по прошествии некоторого времени они снова загорались. Их снова тушили. И снова пожарные машины уезжали, исполнив свой служебный долг. Никаких мер по сносу этих зданий не принималось. Все успокаивались, и никто не думал о надвигающейся беде. Но наступил жаркий июльский день. Ветер с утра начал набирать силу. Здания разгорелись во второй половине дня, загорание превратилось в пожар, а сильный ветер, который достиг ураганной силы, понес в сторону складов пиломатериала и круглого леса огромную массу горевшего материала, представлявшего сплошной огненный смерч. Пожар распространялся с такой быстротой, что прибывшие пожарные расчеты уже ничего не смогли предотвратить. Предприятие, много лет приносившее большую пользу для всего населения Таймыра, прекратило свое существование». Якуб Исмагилевич еще о чем-то говорил, но Алексей Иванович не слушал, а в глубокой задумчивости смотрел на остатки огромного пепелища. Какие мысли терзали его душу, ведомо было только ему. Наконец, повернувшись к своему собеседнику, очень ровно без каких-либо эмоций сказал: «Ну вот! Это все. Конец! Можно поставить точку». Нетрудно догадаться, что Алексей Иванович видел в этом мертвом пепелище печальное окончание своей долгой трудовой деятельности.

Что ж! Разрешились все его сомнения, и не надо уж больше спешить никуда.

P.S. Как и предполагал Алексей Иванович разрушенное пожаром производство восстанавливать не стали, отложив эту проблему на ближайшее будущее, вопрос же по обеспечению предприятий Таймырского района необходимыми сортаментами материалов решили посредством их завоза со стороны. Жизнь не остановилась и продолжалась в прежнем ритме без каких-либо осложнений. Только у Якуба Исмагилевича Шигапова на вверенном участке много изменилось, появились новые трудности, и работа стала напряженной.

Ошибка Алексея Ивановича

Прошло почти два года, как Алексей Иванович уволился со службы. Ушел тихо и незаметно. День за днем жизнь текла без тревог, переживаний, забот. Серо и тускло. Целыми днями он просиживал дома, иногда ходил в магазин, делал кое-какие покупки и возвращался, недовольно брюзжа: целую кучу денег истратил, а сумка почти пустая, все дорого, к тому же продукты в большинстве не качественные с различного рода примесями.

Раздевшись, брал первую попавшуюся книгу, устраивался на диване и углублялся в чтение. Телевизор не включал. Знал, что показывают чепуху или галиматью: концерты, спектакли, где представляющие обезьянничают, беснуются, кривляются, бегают, одновременно напевая похабщину, либо пошлость, что приводит зрителей в неописуемый восторг (можно подумать, что все «тронулись умом») награждая «артистов» дружно аплодисментами, выкрикивая разного рода похвалу вроде «браво», «бис», «молодцы» и т.п.

Основной российский канал Алексей Иванович запретил включать даже супруге. На нем почти год шли каждодневно сериалы. Очень редко отступал от своих убеждений: может в них (сериалах) сквозь белиберду пробьет хоть что-нибудь занимательное. Но все оставалось по-прежнему однообразным и мерзким. Рассуждал, обращаясь то ли к супруге, то ли разговаривая с собой: «Как можно смотреть эту не заслуживающую внимания «дребедень» с непонятным названием «Однажды будет любовь», где в «благородном обществе» партнеры по сексу меняют друг друга с необыкновенной легкостью по упрощенным правилам нашего вольного демократического устройства. Следом за ним пойдет такой же бесконечный сериал «Кармелита», где цыгане пляшут, поют, пьют, едят и никто ничего не делает. Мистика переплетается с надуманной «действительностью». И счастливое цыганское общество по своему быту не что иное, как большое богатое дворянское поместье с той разницей, что в таборе все празднуют, тогда, как в дворянской усадьбе крепостные работали с раннего утра до позднего вечера.

Глядя на резвящийся «шабаш» горько вздохнет: «Сколько же труда, средств вложено в создание этих «кинолент», оторвано людей от полезного труда, знал, что многие смотрят, не пропуская ни один сеанс, забыв не только начало этих сериалов, но и то, что они вчера смотрели. «Господи!»- взывал Алексей Иванович в пустоту, - толи я сошел с ума, толи у других «поехала крыша». Выключал телевизор со словами: «Слава Богу, что у него есть выключатель». Успокоившись, убеждал себя: «Все нормально, чтобы сойти с ума надо его иметь. Ишь, умником себя посчитал». После таких размышлений накатывала тоска и какая-то горькая отрешенность. «Надо что-то делать, как-то изменять жизнь» - такие мысли появились у него не впервые.

Посоветовавшись с супругой, уехали на «большую Землю», посетить оставшихся родственников, побывать у знакомых, с которыми когда-то жили в Дудинке, побродить по местам далекого детства, поклониться родным могилам. Побывали всюду. Но душевного покоя не нашли. Пробыли там почти полгода и возвратились назад в Дудинку. Пробездельничав несколько тоскливых дней, решил сходить на прежнее место и поговорить с оставшимися сослуживцами. Их осталось совсем немного. Однажды в беседе с главным энергетиком Александром Владимировичем Мишке, с которым проработал долгие годы, узнал ошеломляющую новость, нарушившую его первоначальное представление: в нескольких местах на территории Дудинского порта в непосредственной близости от сгоревшего лесозавода предприниматели сооружают лесопилки с целью изготовления пилопродукции на нужды портовиков и таймырских поселков. Но самое главное его заинте-

ресовало и очень обрадовало, что на одном из объектов возводит лесопильное производство хорошо ему знакомый Владимир Григорьевич Геценок. Закончив строительство церкви в поселке Носок, Владимир Григорьевич ушел с государственной службы, возвратился в Дудинку и занялся предпринимательской работой, начав со строительства лесоцеха.

Олигархов, крупных бизнесменов и им подобных, разбогатевших на нечестных правилах «игры», Алексей Иванович не любил. Мелких предпринимателей, работавших на людей и в последнюю очередь на себя без обмана и насилия уважал, всегда относился к ним с почтением, одновременно жалея: рано или поздно их сожрут крупные акулы беспощадного капиталистического бизнеса. Когда же узнал от Александра Владимировича, что строительство лесоцеха Геценок осуществляет с помощью нескольких лесопильщиков сгоревшего лесозавода, причем на свои средства, проникся к нему сочувствием. Он прекрасно понимал, сколько трудностей, непредвиденных сложностей предстоит преодолеть в осуществлении задуманного им дела. В некоторые моменты Алексею Ивановичу казалось, что из этой затеи ничего не получится, потому избегал встречи с Владимиром Григорьевичем, понимая, что придется говорить правду, которая не обрадует Владимира Григорьевича, а вместе с ним и его помощников. Главное, в чем сомневался Алексей Иванович, так это в том, что не осилит бюрократические препоны его приятель со своими работниками, не запустит свое лесопильное производство. Уж очень много возникнет всевозможных препятствий как технического, так и организационного характера.

Время шло. Как-то раз, посетив своих бывших сослуживцев, Алексей Иванович встретился с Владимиром Григорьевичем и тот настоятельно просил его посмотреть уже налаженное лесопильное производство. Алексей Иванович, все еще сомневаясь, согласился, уговорив поехать вместе с ним главного энергетика Сашу (так он называл Александра Владимировича Мишке) на вновь созданный лесопильный «объект». До самого последнего момента Алексей Иванович не верил. Но! Зайдя в помещение бывшего овощехранилища, в котором Геценок построил лесопильную линию, он был поражен увиденным. В здании было тепло, просторно, светло, соблюдена в полном объеме пожарная безопасность. Лесопильное оборудование работало четко, почти бесшумно. Обслуживали его несколько человек. Доски высочайшего качества выходили из главного агрегата, плавно ложились на транспортерное устройство и складывались в пакеты, затем предусматривалась их просушка в специальных камерах с одновременной антисептической пропиткой. Но больше всего Алексея Ивановича поразило качество изготовляемой продукции. Пласти пиломатериалов получались настолько гладкими и ровными, что почти не требовали дополнительной обработки (строгания). При этом технологическое оборудование обеспечивало изготовление пиломатериалов толщиной от 3 мм до 70 см. Такой технологии лесопиления на Таймыре еще не было. Алексей Иванович об этом знал. Владимир Григорьевич продолжал еще о чем-то рассказывать, но Алексей Иванович думал, рассуждая про себя: «Зачем нужно Геценку вкладывать столько сил, энергии, работая с 8 утра иногда до 11 часов вечера, причем не

имея никакой корысти, вкладывая свои средства. Казалось бы, и так сделал немало – построил в поселке Носок церковь, вывел по всем показателям вверенный ему район на первое место по округу. И вот здесь в Дудинке, Алексей Иванович от увиденного уверился, что Владимир Григорьевич добьется своего и лесоцех в самое ближайшее время будет выдавать необходимые сортименты пиломатериалов». И вспомнил, как около двух лет назад, глядя на обуглившийся остов бывшего лесозавода, был убежден, что не возродится лесопиление в Дудинке. И, прощаясь, с удовлетворением подумал: «Вот и развеял Геценок мои первоначальные сомнения. Стало легко и приятно, что есть еще люди, своими делами развеявшие его ошибочные убеждения. Удачи, Владимир Григорьевич тебе и людям, которым ты стремишься помочь! Сколько отпадает лишних трудоемких работ, правда, хлопот у Владимира Геценка будет много».

Примечание: *При изготовлении пилопродукции в Дудинке отпадает необходимость погрузочных работ на лесобирже по загрузке пиловочника в вагоны, транспортировка их в г.Норильск для распиловки бревен на лесорамах старого образца, затем последующая загрузка пиломатериалов в вагоны (повторно) с транспортировкой в Дудинский порт, разгрузка из вагонов пиломатериалов на промежуточных подтоварках с последующей развозкой на автомашинах потребителям.*

P.S. В наше суматошное время, когда обезумевшее корыстолюбие засасывает в трясину бесчеловечности все больше и больше людей, немного найдется бессребренников, подобных Владимиру Григорьевичу Геценку, не жалея сил и средств творящих добрые дела на благо народа, не думая о личных интересах.

Январь 2010 года

Эпилог

Еще одно последнее сказание –
и летопись закончена моя.
А.С. Пушкин.

Однажды глубокой ночью Алексей Иванович, измучившись от бессонницы, скользя памятью по «коридорам» жизни, вспомнил, что ему кто-то когда-то сказал: «Человек одинаково быстро привыкает и к плохому, и тем более – к хорошему. Кто такое сказал, он, сколько ни ломал голову, не смог вспомнить. И чем больше проходило времени, тем навязчивее терзала его эта так неожиданно пришедшая фраза. Ухватившись за эту «спасительную соломинку», он с каким-то облегчением уверовал, что рано или поздно придет успокоение и жизнь потечет так же размеренно и полнокровно, как прежде. Но! Увы! Ничего не менялось. Даже в некоторой степени все происходило наоборот. В тот первый день подписания заявления на увольнение ему представлялось, что теперь он в какой то мере будет более свободен, займется уже ставшим для него привычным «ремеслом» – написанием мемуаров, а при появлении творческого рвения заниматься сочинительством стихов и от привычного рабочего режима перейдет в другую, привлекательную, как ему казалось, свободную стихию. Первую неделю от систематического недосыпания (каждый рабочий день у него начинался с 6 часов утра и заканчивался поздно вечером), он спал ночью и днем. Просыпался по ранее заведенному режиму в 6 часов утра, но опомнившись, что идти некуда и незачем, засыпал снова. Его супруга уже много лет уговаривавшая его «оставить свой «бурелом» и хоть в конце жизни отдохнуть», глядя на храпевшего супруга, удивлялась: откуда появился такой «рык», ведь ничего подобного раньше не было, зачастую даже прислушивалась – живой ли? Но, нагнувшись и услышав спокойное дыхание, успокаивалась и уходила на свое место досматривать свои старушечьи сны. Это была счастливая неделя для Алексея Ивановича – он отоспался. Дни шли за днями. И Алексею Ивановичу с течением времени стал все больше казаться неуютным такой образ жизни. Он просыпался в 6 часов утра, но уже не засыпал снова как в первые дни, а уставившись в потолок глазами размышлял, чем же занять день.

Сначала он вспоминал сотрудников по работе, обычно тех, кто еще работал, но их осталось совсем мало, и оттого на эти воспоминания уходило немного времени. Потом память уводила все дальше и глубже, один год сменял другой. Мелькали тысячи людей, что прошли вместе с ним – молодых, пожилых, старых, – а вместе с ними случаи неудач, потрясений, короткие радостные моменты, большинство из которых приходилось на советский период, а после этого блуждали в голове суета, сплошная неразбериха и сумятица перестроечного времени. И так продолжалось каждое утро. Однажды в его памяти возник какой-то давний драматический случай. Он разволновался, забыл, что находится у себя дома в постели, не замечая стал разговаривать сам с собой и, окончательно разнервничавшись, издал звук,

похожий на стон, чем очень напугал свою супругу. Она быстро подбежала к нему и испуганно проговорила: «Что с тобой?». Но увидев спокойное лицо супруга, добавила: «Ты говорить говори, да не заговаривайся, а то я с испугу чуть кастрюлю не опрокинула. Ишь раскричался!». Алексей Иванович виновато отвернулся и сказал: «Во сне что-то приснилось страшное». «Не ври! Я уже третий день слышу твое бормотание. Надо чем-то заняться, иначе «котелок» набекрень свернется». Выслушав несердитое ворчание супруги, Алексей Иванович с горечью задумался. Что дальше делать? Как поступить? Он не знал. Поднявшись с кровати и выполнив необходимые утренние процедуры, он стал медленно с неохотой одеваться. Вышел на улицу и, не решив, что же предпринять дальше, стал ходить вокруг дома. В голове застряла как заноза сверлящая мысль: ведь таких, как он, пенсионеров, только в маленьком городишке, где он прожил всю жизнь, тысячи, а сколько же их по республике? Миллионы. Даже десятки миллионов. Они тоже, как и он, валяются на постелях, ходят вокруг своих жилищ, вечерами смотрят телевизор, кое-кто «кучкуется», сообразив на «троих», а некоторые на «двоих», горячительные напитки и, чуть взбодрившись, расходятся по домам, чтобы завтра с утра начать такой же день.

Подобные воображения нагнали на него такой страх, что он, не соображая, пошел от своего дома по дороге в сторону предприятия, на котором проработал всю жизнь. Он шел дорогой, по которой прошел тысячи раз, и мог бы с закрытыми глазами дойти до своего кабинета, обойти все закоулки и вернуться домой без чьей-либо помощи. Алексей Иванович шел никого не замечая. Встречались знакомые, с которыми долгое время работал и просто знавшие его, они здоровались, другие просто кивали головой в знак приветствия, но он не обращал ни на кого никакого внимания. В голове была одна мысль: как быть дальше? Словно у Шекспира: «быть или не быть?» Сколько бы так продолжалось вряд ли бы кто мог ответить, но у переезда какой-то молодой парень дернул его за руку: «Мужик, куда ты прешь, не видишь, что проход закрыт? Под автомобиль захотел попасть?». Алексей Иванович посмотрел на парня, очухался: «Спасибо, сынок. Задумался очень, потому и шел, не разбирая знаков». «Надо быть поосторожнее, отец», – более миролюбиво посоветовал ему незнакомый парень и тут же пошел на другую сторону. Глядя вслед уходившему парню, он увидел молодую женщину, которая приветливо махала ему рукой. Рядом с женщиной стоял мальчуган лет трех-четырех.

Неожиданно Алексей Иванович вспомнил счастливый момент из далекого детства. Как-то в летнюю пору отец взял его (Алешке тогда было четыре года) с собой на молотилку, где обмолачивали колосья ржи и пшеницы. Алешка заинтересованно смотрел, как лошади ходили по кругу, запряженные в специальные устройства, а в стороне по лотку сыпались зерна. Насмотревшись, он вышел из под навеса, и обойдя его вокруг, увидел медленно ходившую лошадь. Он и раньше много раз видел лошадей и нисколько не боялся их. Да и не было уже особого интереса. Но эта лошадь его заинтересовала. Расположившись на копне сена, стал наблюдать. Лошадь ходила по кругу и щипала траву. Прошла один круг, затем второй. Ему

наскучило, и он под теплым летним солнышком уснул. Разбудил его отец: «Пойдем домой, сынок, скоро вечер». Алешка протер глаза и снова увидел ту же лошадь, которая так же ходила по кругу, только чуть подальше, чем увидел ее Алешка в первый раз. Не понимая, почему она так делает, спросил отца: «А что она все время ходит кругом?». Отец немного помолчал и сказал: «Это потому, сынок, что она много, много лет работала на этой молотилке, так же как эти лошадки работают сейчас. Ты это видел. И она уже по-другому ходить не может. Только кругами. Она уже устала. Таких лошадей крестьяне не посылают ни на какие работы, для них выбирают самые лучшие участки с сочной травой и пускают туда пастись. До конца жизни ухаживают, держат зимой в тепле и досыта кормят. Алешка не понял тогда смысл сказанного отцом. И вот по прошествии 80 лет Алексей Иванович понял, что, наверное, и люди, привыкшие ходить одной дорогой и проработавшие всю жизнь, уже не могут перестроиться: «Может, и меня несет потому этой (много, много лет исхоженной) дорогой? Так ли? Возможно, Пушкин был прав (впрочем, он о многом говорил истинно) сказав: «Привычка свыше нам дана – замена счастью она». Невольно подумалось: «Будут ли вверх вознесенные когда-нибудь заботиться с такой же нежностью о пенсионерах, отработавших долгую жизнь, как относились крестьяне к своим кормилицам?»

Обещают всего много и говорят убедительно и красиво. Но! «Легко любить все человечество – копающегося на свалке пенсионера полюбить сумей». Оставшись в одиночестве, Алексей Иванович дошел до остановки, дождался автобуса и через несколько минут уже был в своем бывшем коллективе. Он знал всех, у некоторых даже родителей, с которыми начинал работать, и поэтому всегда уважительно относился к каждому. И вот сейчас, глядя им в лицо, думал об одном: «А ведь они скоро станут пенсионерами, и также будут думать: как жить?, что делать? где найти для себя применение?» Разум не находил ответа. И такое уготовано каждому. Сделалось страшно. Казалось, что из этого круга никому не вырваться. И почему, он об этом не задумывался раньше? Может, от того что был молод и беззаботен?

Он остановился в кругу своих бывших сослуживцев, которые поздравляли его с выходом на заслуженный отдых, и, глядя в их добрые лица подоброму, им позавидовал: подобных мыслей у них еще не было. Не спрашиваясь, в голову пришло им же когда-то написанное четверостишье: «Как же хочется вернуться назад, хотя бы лишь на час. В прошедшее блаженство окунуться – что было и что дорого сейчас».

Он отошел от своих товарищей, но мысли о неустроенности жизни не оставляли его: какое общество нужно построить, чтоб до конца жизни каждый человек, даже дряхлые старики были счастливы? Где тот мудрец, который отыщет святую правду, и люди вздохнут легко и свободно?

И, завершая свои рассуждения, сам себе ответил: «Ты же знаешь, что такое общество называется коммунизмом. И его начинали создавать. Но! Душевнобольные и уроды помешали этому, растоптав в самом начале святые ростки, и во главе с перевертышами-коммунистами, именовавшими себя «истинными ленинцами» ввергли все народы бывшего СССР в бандитский капитализм.

Незабываемые годы!

Прошло более 60 лет, как я живу в замечательном и очень теплом городе Дудинке. Я говорю об этом истинно, ибо этот город, пронизанный шквальными ветрами и лютыми морозами, согрет теплом сердец прекрасных, добрых и удивительно приветливых людей. С самых первых дней моего появления в небольшой, деревянной тогда Дудинке меня окружали замечательные, трудолюбивые и заботливые люди. Все эти так быстро пролетевшие годы вспоминаю с чувством глубокого удовлетворения и грустной радости. Всю жизнь я работал только в Дудинском порту, в большом и дружном коллективе лесников.

У меня было много трудностей, огорчений, но не было ни единого случая на кого бы я когда-то обижался. И, расставаясь с такими замечательными людьми, я не держу ни на одного человека ни капли обиды, горечи и досады. Я грущу и в то же время горд, что мне довелось так долго и так дружно работать с такими прекрасными людьми, руками которых вложена огромная доля в создание Норильского комбината, его городов-спутников: Талнаха, Оганера, Кайеркана, города Дудинки и Дудинского порта. О их трудовом подвиге в силу своих возможностей я написал книги: «Святые берега», «На Таймырском перекрестке», «Таймырская осень», «Судьбы людские», «Тернистые дороги жизни». Но это лишь малая часть того, что сделали эти скромные и такие добрые труженики. Я не смог назвать имена всех людей. Их было очень много, так много, что где бы я ни появился на «большой земле», в какое бы захолустье меня ни заносила судьба, мне обязательно, словно невзначай, встречается лесник или лесопильщик. С чувством глубокой благодарности вспоминаю начальников Дудинского порта, с первого до последнего директоров комбината, которых знал тоже всех, кроме Матвеева В.З. и Завенягина А.П. Они все были разными, каждый по-своему индивидуален, но всем было присуще огромное трудолюбие, целенаправленность и высочайшая ответственность в решении стоящих перед ними задач. Я благодарен людям, с которыми прожил долгую жизнь на Таймыре, вместе с ними переносил лютые холода, свирепые пурги, бесконечную полярную ночь, восхищаясь полярным сиянием. Ходил по одним дудинским дорогам, дышал морозной полярной пылью и с которыми выполнял трудную, но очень нужную всем работу. Мне вы все очень дороги уже только потому, что «живете со мною на Земле», как сказал когда-то поэт.

Спасибо вам! У меня осталось ко всем самое доброе чувство. Мне бы хотелось никогда не расставаться. Но ничего нет вечного на Земле. Какой бы длинной ни была дорога – у нее есть конец. У самого глубокого озера в его недоступной глубине лежит дно. Так и у каждого человека свой путь, своя судьба. Я расстаюсь с чувством глубочайшего удовлетворения. И кажется, что в жизни своей сделал все, что было в моих силах. 1 мая 2008 года исполнилось 67 лет календарного стажа работы в Норильском комбинате. Благодарен судьбе за все. Даже за те невзгоды, что выпали на мою юность.

Желаю вам светлого счастья, благополучия, а самое главное – хорошего здоровья!

Буду помнить о вас всегда и везде.

Пусть судьба будет благосклонна к каждому таймырцу и Бог станет защитником и покровителем в ваших благодарных делах!

P.S. *До свидания друзья , до свидания!*
Наступил расставанья момент.
Это теплое с вами прощанье
Вспоминать буду много я лет!
Никогда не забуду свое обещанье
Присылать каждый год вам привет!
В знак сердечной любви и признанья
Свой оставлю на память портрет.

ТАЙМЫР В ФОТООБЪЕКТИВЕ

Этот пожар в июле 2008 года уничтожил лесозавод Дудинского порта, который безотказно служил Норильскому комбинату многие десятилетия

На смену сгоревшему лесозаводу пришел новый современный. Его построил за рекордно короткий срок известный на Таймыре человек, успешный предприниматель Владимир Григорьевич Геценок, на счету которого много и других добрых дел. Свидетельством некоторых из них являются фотографии, публикуемые в этой книге

В.Г. Геценок в здании нового лесозавода

Виды Таймыра

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА, 2006 год

Молодые Максим и Софья (Тухард, 2006 г.)

В день проведения Дня оленевода празднуются и свадьбы (Тухард, 2006 г.)

Лучших зрителей артистам не найти

Ансамбль песни и танца «Харп» устьенисейцы по праву считают своей визитной карточкой

Младшая группа ансамбля «Таймыр»

Береговая Ева, участница ансамбля «Таймыр»

Снимок на память (Тухард, 2006 г.)

Открытие магазина в Тухарде

Ассортимент товаров удовлетворяет потребности тундровиков

М. Стахив, солистка ансамбля «Хорт»

Тухард, 2006 г.

Тоги Валентин — метание маута на хорей. (Носок, 2006 г.)

Тундровики — сильный народ

Перетягивание палки среди мужчин

В центре В. Г. Геценок — глава администрации сельского поселения Караул, Н. Алиев — предприниматель (слева), А. Н. Пронин — депутат сельского поселения Караул

Перетягивание палки среди женщин

Прыжки через нарты (Тухард, 2006 г.)

Тундровички

Победители спортивных соревнований и их болельщики

Посол Финляндии на Дне оленевода (Носок, 2005 г.)

Часовня в поселке Носок,
возведенная по инициативе В.Г. Геценка

Освящение часовни в поселке Носок

ТАФА

Вертолет – хорошо,
Ледокол – хорошо,
Вездеход – хорошо,
А олень – лучше.

Заполярный Таймыр
слушает мир

Рабочие будни

Дети поселка Караул

Охотничий промысел

Природа Носковской тундры

Дудинская церковь

НОВАЯ ДУДИНКА — 80-е ГОДЫ

НОВАЯ ДУДИНКА — 80-е ГОДЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

КНИГА СЕДЬМАЯ

Преклонение

Не все сложилось в жизни у меня,
Судьба порой мне мачехой была,
Нередко сам ступал не в ту стезю,
Но все равно наперекор всему,
Склонивши голову перед иконой,
Творцу всевышнему с мольбою говорю:

Благодарю за мудрость провиденья,
За торжество земного бытия,
Времен неуловимое теченье,
Миров извечное вращенье
И дикий рай, где жизнь прошла моя.

Благодарю за дивные свершенья
Нерукотворных помыслов твоих,
За непрерывное природы обновленье,
Небес чудесное свеченье
И скромность радостей моих.

Благодарю за подвиг мирозданья,
За совершенство красоты,
Бездонный океан Вселенной
И каплю утренней росы.

Благодарю за праздник на земле,
Восторги кратковременных свиданий,
За годы долгие разлук
И горечь несвершившихся желаний.

Благодарю, что вижу, чем живу,
За все что есть на этом свете,
За жизнь дарованную мне
И всех живущих на планете.

Благодарю за таинство рожденья,
За первый крик ребенка в тишине
И луч последнего заката,
Угасшего со мной в кромешной темноте.

22 апреля 1999 г.

Таймыр – земля обетованная

Седой Таймыр, угрюмый, непокорный,
Друг неразлучный северных морей,
Приют морозов, бурь, метелей черных
И мрачных нескончаемых ночей.

Безлюдный край, забытый богом.
Не в добрую годину зачат ты.
Не отыскать твой день созданья
В глубинах вечной мерзлоты.
Куда сокрылись сонмища столетий?
С собой какие тайны унесли?

Где первые невинные ромашки
И ветер, что раздул их лепестки?
Сейчас заснежены твои просторы,
Вода в речушках проморожена до дна.

Глухая ночь. Полярная пустыня.
Нигде живого огонька.
Лишь в поднебесном океане,
В волшебном окруженьи звезд
Плывет безмолвная луна.

И там, в недосягаемой святыне,
В которой нет начала, ни конца,
Горят нерукотворные лампады,
Зажженные велением творца.

И льется невесомый свет
На белые равнины,
Глубокие овраги, на холмы,
Затихло все в подлунном мире,
Глубоким сном почил Таймыр.

Заснул он, убаюканный ветрами,
Укутанный порошей снеговой.
И сон его так сладок в ледяной постели,
Как будто дремлет на перине пуховой.

А в ночь все полнится
Божественным величьем,
На небосклоне радужно горит,
Сверкает сполохом зарниц,
Играя, движется полярное сиянье,
Зовет к себе, пленительно манит.

И вот! Не одолев томленье чувств,
Оставив хоровод подруг,
Сорвавшись в резвости девичьей,
Прорезав в небе полосу,
Звезда стремительно летит,

Спешит, как мотылек к огню, и...
Не успев, сгорает на лету.

И вновь Вселенная застыла в немоте.
Лишь нежно звездочки мерцают
И тихо продолжают спор с Землей
О дивности своей и красоте.

Звезды небесные, странники вечные,
В темную ночь ничего нет нужней
Ваших небесных огней:
Людям из дебрей найдете дорогу
И кораблям из безбрежных морей.

На нашей обетованной планете
Есть много мест с чудесной красотой.
Но мне милее всех на свете
Таймыр с его суровой простотой.

Ты дорог мне, Таймыр холодный,
Твоя под саваном промерзшая земля,
Твоя неприхотливая природа
И на краю пустынь далеких
Во льдах студеные моря.

Ты дорог потому, что мы терпенью братья,
Моя судьба слилась с тобой,
И разлюбить тебя, наверное, сумею
Лишь за тяжелой крышкой гробовой.

Мне дороги сиротские селенья
На кручах енисейских берегов.
Их захудалые строенья,
Открытые для всех ветров.

И тот народ, доверчиво наивный,
Кочевник с незапамятных времен.
Как устоит он, житель стран полночных,
В эпоху бурных перемен?

А города твои, из камня возведенные,
В просторах необъятной пустоты
Великим подвигом труда народного,
Лишений, слез и околдованной мечты.

Теперь уж много лет подряд
На площадях широких и проспектах,
Домах, уложенных на тверди мерзлоты,
Живет народ с привычками обычной суеты.
А с наступленьем летнего тепла
Резвятся дети и растут цветы.
Какая участь караулит их?

Не знаю я. И оттого тоска.
Но все равно Таймыр
Люблю в любое время года.
Мне все твои капризы — благодать.

Благословенна будь твоя природа.
И нет богатств на целом свете,
На что бы смог тебя я променять.

Люблю я рек безбрежные разливы,
Над головой небес сверкающий шатер,
Вдали темнеющие горы
И в одиночестве тоскливом
На берегу чуть тлеющий костер.

Весна. Еще белеет снег в низинах,
Не весь растаял на озерах лед,
Но стаи лебедей высоко в небе,
Все дальше к северу Таймыра
Устало продолжают свой полет.

И так из года в год порой весенней
Из теплых благодатных стран,
Презрев туманы, ураганы,
Через пустыни, океаны
Летят пернатых караваны
По своему извечному пути
На обетованную землю
По зову жизни и любви.

А солнце греет день за днем сильнее,
Теплом обласканы всей тундры уголки,
И даль бескрайняя повсюду зеленеет,
Ромашками усыпаны поляны, бугорки,

В оранжевом наряде косогор,
Расцвел красавец иван-чай,
И пижмы желтые головки
Сплетаются в причудливый узор.

Прозрачен воздух. Замерла природа,
На кустиках к листку склоняется листок,
И яркий бархат разноцветья
Ласкает нежно ветерок.

Душа исполнена отрадой:
Какая ширь! Какой простор!
Блещут зеркальные глади озер
Склонились к воде тальники,

Ласкают приветливо взор,
Растущие в поймах жарки.
Безмолвие святое нарушая,
Журчит на перекате родничок,
Чуть шелестит трава густая
Лениво плещется волна о челночок.
Манит приятная прохлада
Под сень развесистых ветвей.
Блаженства большего не надо,

Укрывшись в тень от солнечных лучей.
Здесь лето долгим не бывает
Еще короче осень и весна.
Но в этот миг природа успевает,

Воспряв от длительного сна,
Таймыр украсить в яркие тона.
Земля всегда везде прекрасна,
Чудесна жизнь, что Господом дана,

Очаровательно весеннее природы ликованье,
Лесов, садов благоуханье,
Цветов пьянящий аромат,
И осени печальной расставанье,
Ее рябиновый закат.

Так в нашей неразгаданной вселенной
Природа повторяет испокон веков.
Зачем? И для кого?
Как долго будет длится продолженье?
И скоро ль оборвется нить времен?

Упорно ищем мы ответ.
Увы! Решенья у вопроса нет.
И от сознанья полного бессилья
Теряем разум и покой:

Когда затишье, хотим бурю,
Зимой метельной скучно нам,
Хандру развеять тянет к морю,
Его лазурным берегам.

И там, на теплом побережье,
Где с берегом целуется волна,
Где в парках аромат цветов душистых
Пьянее терпкого вина,

На пиршествах среди балов веселых
В кругу приятелей и дам,
Мы забываем о тревогах,
Невзгодах суеты мирской.

И, потеряв власть над собой,
Кидаемся в разгул мятежный,
Как будто в омут головой и...
Под сладкогласный зов сирен

Безропотно сдаемся в плен.
Но после горького похмелья
Ничто уже не мило нам.
И, охладевши ко всему,
Вновь возвращаемся к родимым очагам.
Но сердцу нет и здесь успокоенья.
Ему неведомо оно.
Стучит без устали, волнует кровь,
Уж новых жаждет приключений,
Забыв недавнюю любовь.
И все спешит, чего-то ждет,
Не обретая удовлетворенья:

Едва лишь вечер наступил,
Торопит утра приближенье.
Ох! Как бездумно прожигает время человек,
Хоть знает, что недолог его век,

Лишь в редкие минуты просветленья,
Когда уж близок жизни край,
В нахлынувшем тумане давних грез,

Как бы в порядке искупленья
За прежние ошибки и грехи,
Не может удержать горючих слез...

А жизнь идет без всяких перерывов.
За днем уходит день,
За годом год. И вот!
То, что вчера еще нам было мило,
Сегодня все наоборот.

Восторги чувств! Объятия! Лобзанья!
С ума сводили каждого из нас.
Но время сократило расстоянье
И близок, близок поздний час.

Сгорели страстные желанья,
Душевный пыл потух давно.
Ушедшие воспоминанья
Настойчиво твердят одно:

«Не обольщайся! Не было такого,
Приснилось все в прошедшем сне.
И тягостное разочарованье
У сердца прячется на дне.

Ну что ж! Пусть держат мир одни противоречья!
Но, может, этим жизнь и хороша,
Что кружится от счастья голова,
Когда из тяжкого забвенья
На смену тьме приходит свет...

Спасибо, жизнь,
За упоительные ночи сладострастья
И ранним утром отрезвляющий рассвет.
В каких бы ни был теплых странах мира,
И щедрой там была ко мне судьба –
Всегда влекла к себе неудержимо
Обетованная таймырская земля.
Что тут поделать, если ностальгия
Сильнее доводов ума!

Июнь 1999 года

Енисей-батюшка

Великих рек немало в мире
Изрезан ими шар земной.
Судьба распорядилась на Таймыре
Меня навеки привязать к одной.

В селенье за полярным кругом
Где день и ночь по-своему идут,
Обнявши время будто друга,
Смирясь живу, как все живут.

Привычки местного народа
Мне стали нормой бытия.
Неприхотливая природа
Пленила .скромностью меня.

Люблю я бури завыванье,
Прощальный осени привет,
Во тьме полярное сиянье
И утра розовый рассвет.

Когда вечерний луч заката
Окрасит неба синеву,
На шумы волн, как зов набата,
На берег Енисея прихожу.

По крутизне его брожу,
Речной прохладою дышу,
Куда хватает глаз гляжу:

Вокруг озера и болота,
Меж ними чащи тальника,
Пустынно небо, лишь у горизонта
Багровые повисли облака.

Уходит в дебри узкая дорожка,
Неведомо протоптанная кем.
Рассыпалась по сторонам морошка,
Траву украсив янтарем.

Кусты смородины по берегам ползут
И опустившись, влагу пьют.
Ручьи сплелись в бурный поток,
Образовав преграды.
И нет желанней путнику награды,

Когда отыщет брод
Иль чуть заметный переход.

Туманы дымкой воспаря,
Незримо уплывают в небо
И возвращаются к земле
Дождем иль в виде снега.

Какая мудрость вложена в природе
Великим Промыслом Творца:
Земля прекрасна при любой погоде,
И светлым далям нет конца.

С вершины крутояра
Смотрю на хмурый Енисей.
Вздыхают волны, ударяя
В борта груженых кораблей,
Раскачивают накреняя,
Сорвать пытаясь с якорей.

О! Енисей! Какие силы
В твоей бушуют глубине,
И сколько нераскрытых тайн
Погребено на мрачном дне?

Ты каждый год ранней весной,
Разрушив панцирь ледяной,
Зальешь прибрежные равнины
Разгульной вешнею водой.

И на больших угодьях водных
Птиц караваны приютишь.
А табуны коней степных
Целебной влагой напоишь.

Немного равных тебе в мире,
Необоримый богатырь.
Ты покорил тайгу Сибири
И заполярной тундры ширь.

Твой путь с Саянского порога
Пролег до полуночных стран.
Ты на своей большой дороге
Собрал у рек таежных дань.

И тяжкой ношей отягченный,
Вливаешься в бездонный,
Покрытый льдами океан.

Будто былинный молодец
Могуч, вольнолюбив и вечен.
К народам многим, как отец,
Заботлив, добр, порой беспечен,

Как разгулявшийся купец
В большом хмелю на именинах.
Бываешь лют и бессердечен:
Не сосчитать людей в твоих глубинах,
Нашедших преждевременный конец.
Во время бурных ледоходов,
Все сокрушая пред собой,
Нагромождаешь ледяные горы

Как будто силой неземной.
Но и тебе не все подчинено,
Не суждено плескаться вечно
По берегам шальной водой.

Морозы лютые зимой
С пургою черною придут
И непокорную стихию
Под снежный панцирь закуют.

Что чередует года превращенье,
Какому разуму подвластны небеса,
Миры приведшему в движенье?
В каких туманностях «причал»

Начала всех начал? На все один ответ:
Нет! Не постичь их откровения.
Законы провиденья недоступны,
Права их изменять нам не даны.
А если б было по-иному,
Каких «чудес» бы натворили мы?

Ночь близится. Свежеет ветерок,
Мерцает свет зажегшейся звезды,
Поднялся выше серп луны,
Пушистый падает снежок,

Скрывая сапогов следы,
Что натоптали рыбаки,
Пройдя недавно по дороге.
Вдали видны портовые огни.

Доносятся рабочих голоса,
И раздаются тепловоза
В вечернем сумраке гудки.

Порою слышен лязг цепей
Пришвартовавшихся к причалам кораблей.
Шумит прибой,
Бьет в берега волной.

Совсем темно. Пора домой.
Но грустно оставлять покой:
Приют уединения и тишины.
Здесь так приятно,
Так нежданно

Всплывают в памяти давно
Ушедшие мечты душевной чистоты.
Поклон тебе, мой Енисей.
Ты с каждым годом мне милей.
Ведь нет вины твоей,
Что по твоим дорогам
Везли закованных людей.

30 ноября 1999 года

Северный пейзаж

Загрустило полярное лето
Под покровом ночной синевы
Быстро время его пролетело
На просторах таймырской земли.

Пожелтела листва на березах
Опахнуло морозом кусты
И застыли в последнем поклоне
Уцелевшие в поймах цветы.

Догорают на склонах рябины,
Желтизны украшая узор,
И прелесть короткой осенней картины
Чарует задумчивый взор.

Солнце клонится ближе к закату,
Дни короче, а ночи темней.
Собираются птицы к отлету
На брега чужедальних морей.

Хмурит небо угрюмая осень,
Ветер долу сгибает кусты,
И ложатся багровые листья,
На земле выстилая ковры.

С моря тучи холодные гонит,
Дождь со снегом с утра моросит,
Беспросветный туман над болотами бродит,
И морозец ночами траву серебрит.

Все живое вокруг замирает.
Никаких голосов не звучит.
Лишь собратьев своих окликая,
Тишину в небесах нарушая,
Лебединая стая летит.

Все ниже небо опускает тучи,
Ползет по косогорам полумрак.
Накрыла землю темнота,
Хоть далеко еще до ночи.
И только возле кромки леса
Прорезалась багряная заката полоса.

Порывы ветра все сильнее
Срывают листья с ивовых ветвей,
Подхватывая крутят, вертят.
И, наигравшись, вдаль уносят
На крыльях невесомости своей.
Как время унесло когда-то пепел
Давно сгоревшей юности моей.

Осень! Время увяданья,
Пора тоскующей красы.
Грущу всегда при расставанье
И жду, когда вернешься ты.
Хочу, чтоб снова распустились
Твои уснувшие цветы.

Давно по воле злого рока
Живу в полночной стороне.
И дом родной в краю далеком
Уже не снится больше мне.

Но иногда времен завесу
Бесстрастно память разорвет,
И сердцу милый перелесок
В туманной дымке промелькнет.

За ним река. На берегу деревня.
Вокруг озимые поля
И дали светлые бескрайние,
Где молодость прошла моя.

И вижу: как когда-то в детстве
Орава деревенских сорванцов
Пасти коней гоняла на луга,
Но, позабыв наказ отцов,

Украдкой бегали к прудам,
Где водяные жили по преданиям,
И подбирались в страхе к лилиям,
Растущим ближе к берегам.

Давно уж нет деревни той,
Пруды засохли, брошены поля
И заросли травою сорной.
Грустит осиротелая земля.

Мальчишки не гарцуют лихо,
Забыты детские забавы.
Вокруг пустынно, тихо, тихо,
Порой лишь ветер верховой

Пошевелит уснувшие дубравы.
Где все, что было?
Что осталось от тех
Благословенных лет?
Лишь пустота, да в тайниках времен
Недосягаемый ответ.

Эх! Время! Время!
Словно свет звезды
Иль солнца луч неуловимо ты,
Нет ничего тебя дороже.

И потому, наверное, не знаем мы
По-настоящему твоей цены.
Века уходят за веками,
С собою поколенья унося,

И как ни скорбно признавать,
Когда-нибудь уйду и я.
Уйду бесследно, навсегда.

И во вселенской вечной книге
Во глубине анналов бытия
В какой-то миг
Мелькнувшего мгновенья
Космической пылинкой ляжет жизнь моя.

P.S. А осень вновь придет не раз
В далекие полярные края,
Прохладой легкой опахнет,
Покроет желтизной дубравы и поля,

Красою скромной промелькнет,
Грустя и нежно увядая.
В страну безмолвия уйдет...
Но это будет без меня.

10 сентября 1999 года

Дудинка – город заполярный

Мне часто снятся берега крутые
Заиндевелые заимки рыбаков
И дивный город. Церковь. Купола златые
В краю мороза, снега и ветров.

Рожденный волей человека
Бессмертным подвигом труда
Творенье обезумевшего века
Стоит неколебимо, как скала.

На месте курного селенья
Кварталы каменных домов
Широкие проспекты для движенья
На улицах вдоль тротуаров
Ряды густые тальников.
В минувшие суровые годины

Село, прослывшее тюрьмой,
Чужие искупая вины,
Теперь для многих стало родиной второй.
И с наступлением весны

Сажают люди на газоны
Любимые российские цветы.
Его огни издалека видны,
Они манят, желанны, так милы.

И к ним плывут, ломая льдины,
Могучие морские корабли.
Глубоководная причальная стена
Вдоль берега легла на много миль.

Она надежна и прочна:
При ошвартовке пароходов
Не бороздит речное дно их киль.

Прошло уж больше трех веков,
Как у безмолвных берегов,
В стране приветливых народов,
С ватагою отважных мужиков
Обосновал нехитрое подворье
Сорокин, преданный слуга царев.
Дудинкой то подворье он назвал?

Иль может раньше кто-то так сказал?
Откроет ли нам истину седая старина
Про те лихие времена?
До нас дошли же только лишь
Его скупые письмена.
С далеких лет до наших дней
Везли в полночный край людей.

Сначала плоскодонный струг,
Потом армады кораблей.
Одних сокрыться от боярских слуг.
Других осваивать богатства.
Пришли немногие ради наук

Постичь законы естества
Без корысти на благо государства.
Известно было с давних пор,
Что в глубине Таймырских гор

Лежат несметные клады.
Но сколько горьких слез прольется
Молитв, проклятий вознесется
К безмолвным небесам,
Кто их услышит голоса?..

Пока из мрачных подземелий
Многометровой глубины
Добудут первые куски руды
Старатели нашей страны.

Какие муки и страданья
Судили им судьба и бог?
И сколько по болотам Заполярья
Пройдут закованных в железо ног?
Теперь расскажет правду кто?
Прошло уж столько лет. Наверное, никто —

Людей давно тех нет.
И потому неведом никому
Затерянный во времени ответ.
Лишь небо видело терпенье,

Как узники с лопатой и киркой,
Вгрызаясь в твердь земной коры,
Шли шаг за шагом, покоряя
Пласты железной мерзлоты.

Все глубже, глубже проникая,
Где уложила в клад надежный
Природа щедрые дары.
Не знал тогда стрелец отважный

Что годы многие пройдут
Как на его худом зимовье
Бетонный город возведут.
И за его дела достойные

Столицею Таймыра назовут.
И стала из туземного станка
Портовым городом Дудинка.
А в сотне верст на гиблой топи

Уйдут под землю шахты рудников
И тишину полярной ночи
Разбудит мощный рев гудков.
Прошла та тяжкая страда,

Когда о жизни забывая,
В мороз и пурги замерзая,
На помощь бога призывая,
Норильск с Дудинкой строила страна.

Уж много лет и днем, и ночью,
Какая б ни была пора,
Уходят от причалов порта
С металлом океанские суда,

Добытым из недр Таймыра,
В далекие края чужого мира.
Для наших моряков неведом страх,
Не остановят их туманы,

Коварство льдов, безумство ураганов,
Неумолимый рок иль злая кара.
И треплют ветры русский флаг
На всех морях земного шара.

10 октября 2000 года

Ночь без рассвета.

Накрыло небо тучей темной.
И снег. И дождик. Нет конца.
Из-за глухой стены тюремной
Не видно нам родимого крыльца.

Горит во мраке тусклая лампада,
Зловонным смрадом камера полна,
Отсюда нет дороги к дому,
Есть только путь тернистый в никуда.

Крадется вечер. Темнота.
Над каменной тюрьмой
Огонь зажгли сторожевой,
И за острожные врата
Вошла недремлющая тишина.

Куда ни глянь — вокруг стена.
В просвете темных облаков
Проглянет желтая луна,
Холодным светом озарив

Решетки в окнах,
Вышки часовых.
Проникнет в камеры,
Осмотрит нары,
Людей, лежащих на полу.

В испуге вырвется на волю,
Скользнет лучами по земле,
Опустится к реке, пройдет по долу
И скроется во мгле.

Тюрьма! Тюрьма! Не в добрый век
Тебя построил человек.
С тех давних пор до наших дней
Ты видишь горе и печали,
Душевные терзания людей,

Что в казематах жизнь кончали,
Пролитых реки слез
Остекленевшими глазами
В темницах долгими ночами.
Промчались долгие года,

Когда велением царицы
Воздвигнута сия тюрьма.
И с той поры ее темницы
Пустыми не бывали никогда.

Во времени сменялись поколенья,
С земли стирались города,
Только тюремные устои
Держались неизменными всегда.

Порядок в ней из века в век:
Лишь в коридорах
Смолкнет «склянок» бой /Пробьет отбой/,
Затеплятся светильники ночные,
Острожной жизни замирает бег.
Тяжелый опускается покой.

И сновидений друг морфей
Накинет покрывало
На скопище измученных людей.
Вступает ночь в свои права
И за затворами острога
Повисла немота. Но! Вот!

Из темного угла,
Где шайка уголовников «свила»
Свой потайной притон,
Косноязычный слышится жаргон:
То главари бандитской своры
Вершат с братвою заговоры.
Течет в согласье сходка воровская,
Раздоров, перебранок нет.
Руководит «ордой» Фома «в законе» —
В тюрьме большой авторитет.

Здесь мир иной,
Законы в нем другие,
Повязан он порукой круговой
И наглухо закрыт чертою роковой.
Ступить в их круг лишь избранным дано
По высшему воров решенью.
Оттуда никому нет возвращенья.

Для всех там правило одно:
«Отступникам назад
Дорога только в ад».
Среди жулья «паханов» мало,

Но сила их в железном единстве.
Когда ж размолвка возникает,
То беспристрастный судия-кинжал
В «разборке» право утверждает.

Тюрьма для них, что дом родной.
И, как затворники в обители святой,
Обычаи свои не нарушают,
В беде друзей не оставляют,

Без слов друг друга понимают,
Элитой избранных себя считают.
Не подлежат дела их обсужденью,
Крепят они свой кровью уговор
И никому нет снисхожденья,
Когда по воровским законам
«Сходняк» выносит приговор.

Тяжка для заключенных жизнь в неволе
С презренной кличкой фраера
Иль лагерная пыль, а проще, мусора.
Немилосердна у них доля.

Лежат рядами бедолаги,
Свободного местечка ни сыскать,
И гложет каждого тревога:
Когда и где придется умирать.

Давно уж ночь ушла за половину,
На проходной чуть слышно бьют часы.
Забылись в полудреме арестанты.
Какие видятся им сны?

Село. Околица. Пустынная дорога.
По обе стороны избушки чередой.
Церквушка на бугре. За поворотом школа,
Что с детских лет осталась дорогой.

Широкий двор с травой зеленой,
Мальчишки, мяч гонявшие гурьбой,
А возле дома мать с потухшим взором,
Отец уже почти седой.

А может быть, заветная тропинка,
Игриво убежавшая в кусты,
Бездонные глаза любимой
И незабвенные ее черты.

Колодезный журавль с поднятой головою
К нему ходил утрами за водой.
Заросший сад. В беседке за рекою
Свиданье первое вечернею порой:

Ох! Как томительно тянулось время,
Пока девичий шарф цветной
Не замелькал во тьме ночной.
То снилось, иль когда-то было наяву?

Теперь уже не вспомнить никому.
Но вот средь тишины мертвящей
Раздался приглушенный стон.
Старик своей болью щемящей
Соседа потревожил сон.

«Что ты вздыхаешь, старина?
О чем душа твоя страдает?
Поведай! Легче не бывает,
Когда печаль укроет глубина», —
Спросил у старика сосед
По прозвищу Иван-не-пей-вина.
И тихо, словно на духу,
Старик в ответ:

«Привиделось. Родная сторона
В огне нещадном полыхает.
Народ толпой, обезумев, бежит.
И по нему без промаха
Фашистский танк стреляет.

А на дороге внук Петруха
Раздавленный в крови лежит.
Проснулся мокрый, весь в поту.
Какими силами унять беду?

А перед этим снилось:
Мужики дрались,
Побив друг друга, повалились,
А кто чуть жив по избам разбрелись.
Хоть сон, а на душе тоскливо».

Вздохнул. Слезу смахнул.
И страстные слова с мольбою вознеслись:
«Убереги господь от смуты всенародной
Страшней людских раздоров только в преисподней».

«А я, — Иван в ответ, — чуть задремлю, мне снится
Ногайская орда с кавказских гор валит
И вновь, как сотни лет назад,
В полон уводят молодых,

А старикам их беспощадный меч
Без содроганья головы разит.
Бандит безбожно зло творит
И нет ему сопротивленья.

Ох-хо! Тяжка тюрьма.
А тут такие сновиденья!
Мы скоро здесь сойдем с ума
От тесноты, да от безделья.

Вот ночь и мучает кошмарами меня.
Порою хочется уснуть,
Чтоб не проснуться никогда». Умолкли.
Вновь застыла немота.

Но их теперь до самого утра
Не осчастливит больше дремота.
А ночь идет чугунными шагами
И кажется, не будет ей конца.

Тут много разного народа,
Судьба на всех только одна:
Им чашу горькую страданий
Придется каждому испить до дна.

Размеренно, неторопливо
Проходит коридором часовой,
Еще не знает он,
Что утром на рассвете
Всех узников из этих камер
Возьмет в этап другой конвой. Куда?

В какие дебри забросит беспощадный рок?
И сколько предстоит кандальными ногами
Им прошагать неторенных дорог?

И где тот день, измученный терпеньем,
Когда кому-то посчастливит
Последний перейти порог?..
Вернется ль кто в края родные? –
Об этом знает только Бог.

Пусть тяжек твой удел и нет конца дороге,
А жизнь за каждым днем все кажется длинней.
Не возропщи! Судьбу напрасно не кляни!
Не оступись! Не сделай шаг неверный! Терпи!
Убогих и отверженных не обходи,
К их бедам руки протяни.

Молитвой веру укрепи
И к людям в сердце жалость сбереги.
Отринь земные искушенья.
Когда чиста душа,
Найдешь в печали утешенье.

С тех пор прошло уж много лет,
Но я еще живу.
Все в нашем мире изменилось:
«Великая держава» развалилась,

Обломками полмира придавив.
И то, что нам тогда приснилось
Теперь повсюду видим наяву:
Разврат, хаос и преступленья,

Народы возмутились и пришли в движенье
Безжалостнее вавилонского столпотворенья.
Случилось что?
Потоп или землетрясенье?
Ответит кто?

Маститые оракулы твердят:
Сейчас совсем время другое,
Оно пришло не спрашивая нас,
Разрушив прежние устои.

Оно тому виной,
Что жизнь стала иной.
Возвысило одних,
В пучину бедствий бросив остальных,
Разверзнув пропасть между них.
Надежду с верой утопило
И в людях злобу породило.

Такие слышим разъясненья
От новоявленных «отцов».
Что это? Недомыслие или броженье
«Демократических» умов?

Ни то, ни се.
Прозрел народ, исчезло наважденье,
В сладкоречивых рассужденьях
Лишь злой обман да лицемерье.

Ответ же прост, как откровенье:
Не времена людей меняют,
Меняют люди времена.
Взросли дурманом семена

Из вражьего заброшенные стана:
Покрыл чертополох поля,
Где прежде колосились нивы,
Заглохла летняя страда.
И на лугах осиротелых
Не бродят тучные стада.

Россия! Родина святая!
Ты символ мира и добра,
За что и по какому праву
На разграбленье лиходеям отдана,
Отцов, которых издавна
/В те злые времена/

Надежно стерегла тюремная стена.
Я тоже вместе с ними был
И ничего не позабыл.

Теперь потомкам ката и вора
Настала вожделенная пора.

30 октября 1999 года

Откровение

Моей супруге Александре Афанасьевне

Распрощавшись с мирской суетою,
Я уйду не оставив следа.
Отойду в жизнь иную с мольбою
Обрести там покой навсегда.

Помирившись с недоброй судьбою,
Никого и ни в чем не виня,
Лишь прошу за чертой роковою
Чтоб никто не тревожил меня.

Верный друг! Для тебя исключенье,
Ты, как ясного солнца восход,
Приносила всегда избавленье
От тяжелых душевных невзгод.

Навещай когда сердце запросит
Или в душу вкрадется печаль.
Не тужи! Время быстро уносит
Боль и горе в безвестную даль.

Не горюй! Если снежной поземкой
Заметает дороги, пути,
И с своей неразлучной котомкой
Ты не сможешь в тот день подойти.

Милый друг! Не кручинься! Не надо!
Все равно я дождуся тебя.
Только ты в дни разлуки печальной
Вспоминай и молись за меня.

Вспоминай дорогие минутки,
Луговые как рвали цветы,
Нам казались тогда незабудки
Лучше роз неземной .красоты.

Как в полярную лютую стужу
Столб огня посредине небес
Обжигал обомлевшую душу
Торжеством несказанных чудес.

Помечтай, будто в юности снова
По заросшей тропинке идем
И, промолвив заветное слово,
Задушевную песню поем.

Обойди только в памяти годы
Что на сердце, как камень, легли.
И ухабы житейской дороги,
По которым с тобою прошли.

Растворилось былое в туманах,
Все ушло. И печаль. И любовь.
И теперь никакие обманы
Не тревожат остывшую кровь.

Друг ты мой! Дорогой!
Незабвенный! Что поделать!
Коль всем суждено
Успокоиться в недрах Вселенной...

Вечно жить никому не дано.
А пока наслаждайся природой,
По полям, по лесам походи
И вечернею теплой порою

На мерцание звезд погляди.
Посиди под пахучей сиренью,
Ароматом цветов подыши.
Побеседуй с богами смиренно,
Чтоб утихло волненье души.

Если вдруг в день ненастный, осенний
Ветер хладный навеет тоску,
Позови! Из таинственной сени
Силой духа тебе помогу.

У небес попрошу позволенья
Еженощно тебя навещать,
В изголовье незримою тенью
Твои чуткие сны охранять.

Добрый друг! В день годины печальной
В обветшалом своем зипуне
Рано утром дорогою дальней
Побредешь на свиданье ко мне.

Побредешь, чтоб у храма святого
Помолиться за мой упокой.
И в моленьях пред Господом Богом
Упросить вожделенный покой.

По дороге, слезами омытой,
Рядом незримо пойду
И до самой ограды чугунный
Вместе с тобою дойду.

И когда путь осилив терновый,
Совершая священный обет,
Поклонившись на купол церковный,
За могильный ступив парапет,
Положи на мой крест деревянный
Незабудок любимых букет.

Июль 1997 года

Доля горемычная

Жизнь прожить - не поле перейти

От студеного Карского моря
из безлюдных губительных мест
он пронес неизбывное горе
да нательный истершийся крест.

На полярных пустынях в морозы,
где казалось, спасения нет,
приходили счастливые грезы
незабвенных мальчишеских лет.

Забывались на время невзгоды
непомерной тюремной страды.
И являлись под шум непогоды
дорогие виденья ушедшей поры.

Бескрайние поля. Село. Церквушка –

по праздникам народ молиться приходил.
В ней деревенского мальчишку
Святой отец в купели окрестил

И медный крестик подарил.
В светлый день безмятежного детства
материнской надетый рукой:
чтобы жизнь удалася спокойной
и беда обошла стороной,
медный крест с любовью и молитвой
окропили святою водой.

По ночам, когда темень глухая
опускалась над спящим селом,
мать до церкви ходила босая
преклониться перед Христом.

На коленях в молитвах просила
мир на землю народам послать,
никого чтоб не надобно было
в безымянных могилах искать.

Умоляла Всевышнего Бога
уберечь неразумных парней,
ведь и так уж осталось немного
на Великой России людей.

Все свежее ночная прохлада,
и роса пропитала траву,
а она заклинала за чадо
до земли опуская главу.

Лбом коснувшись церковной ступени,
поднялась, чуть поправив платок.
Тишина. Только ветки сирени
шевельнул, налетев, ветерок.
В отдалении играли зарницы,
пронизая огнем темноту.
Загорался восток. Божьи птицы
оживились, стряхнув дремоту.

Не сбылись материнские чаяния,
Может, Бога просила не так, —
увезли без суда и раскаяния
бесталанного парня в Гулаг.

Много лет над землей отшумело,
много весен в садах отцвело,
а парнишку мотало по свету
и казалось, не будет просвета
в горемычной судьбине его.

За колючей стеной в заточении
как чугунные двигались дни.
А когда подошло избавление
Уже не к кому стало идти.

Растворились врата каземата:
воля-волюшка, приюти.
Не стоит конвоир с автоматом.
Отчего ж тяжело так в груди?

Веры нет. Утонули надежды.
Хоть кричи и обратно просись.
Поднял к небу усталые вежды:
Как прожить без тревог, без нужды?

Бог промолвил: «Терпи и молись!»
Оставляя полярные дали,
перед тем как отправиться в путь,
ему в зоне ромашек нарвали,
чтоб тюремный «аргиш» помянуть.

Опираясь на посох дорожный,
по родимой идет стороне.
Все богатство в котомке рогожной
на согнутой годами спине.

На поляне, знакомой до боли,
где с ребятами мячик гонял,
он последним усилием воли
непослушное сердце унял.
Подойдя к пепелищу родному,
шапку сняв с поседевшей главы,
будто ангелов сонму святому,
клал поклоны до самой земли.

Приложившись сухими губами,
целовал образок дорогой,
так держал осторожно руками,
словно в них сам Христос был живой.

Знал: селенье давно разорилось
и родных уже нет никого.
Время горечь потерь притупило,
примирило с утратой всего.

Но увидев пустое подворье,
нестерпимо щемящею болью
задавило вновь сердце его.

Повалился плетень вдоль дороги,
разобрали сарай на дрова,
на тропе до дверного порога
зеленела густая трава.

Заколочены окна соседом,
заржавел на калитке замок,
опрокинулся еще дедом
на карнизе прибитый флажок.

И над домом, совсем обомшелом,
не струился приветный дымок.
Не гнездились под крышею птицы:
обвалился гнилой козырек.

На забитых досками глазницах
ожидал его горький упрек:
«Где так долго, родимый, бродил?
Опустела изба. Никого уже нет.
Бог призвал. Всем грехи отпустил».

Тяжек был горемыки ответ:
«Не успел, в полуночной стране
Я хозяину золото мыл.
Что мог сделать,
Коль жизнь без просвета
на роду уготована мне?
Здесь не я. Там себя схоронил,
только душу одну сохранил».
Еле слышно деревья шумели,
угасающий луч облака озарял,
а скиталец в родной колыбели
с неразлучной печалью стоял.

Обнял ствол самой старой березы,
что ровесницей деду была,

И катились горючие слезы
По небритым щекам мужика.

18 марта 2001 года

Одиночество

Пургою замело его дороги
В кромешной мгле просвета не видать.
Утихли страсти, улеглись тревоги
И некого уж больше ждать.

Звезда-заступница погасла,
А может, не светила никогда.
И жизнь, как прошлый день ненастный,
Ушла неведомо куда.

Судьба — сплошная неудача.
— Так рассудили небеса, —

Давно соседи не судачат,
Навек любимых смолкли голоса.
Ни письма, никакого привета
Он давно ниоткуда не ждет:
Всех родных ненасытная Лета
Унесла и назад не вернет.

Безмолвно пред оградою могильной
Стоит у предков рода своего.
На каменной плите фамильной
Нет только имени его.

В душе ледовая пустыня.
Перед глазами памятник в цветах.
И чье-то дорогое имя
Застыло на раскрывшихся устах.

26 апреля 2001 года

Любовь без радости

Бывает в старости тоскливой
Нежданная придет любовь.
И призрак юности счастливой
Согреет холодеющую кровь.

Судьбы посланец — дар чудесный
Волшебной силой голову вскружит.
И голос ангельски прелестный
Угасшие надежды воскресит.

И, будто в молодые годы,
Душа в истоме обомрет,
А сердце, позабыв невзгоды,
Дверь потайную отопрет.

Кому? И для чего?
Само не ведает того.
Туманный образ мысленно лаская,
Песнь с упоением поет.
Судьбу за щедрость восхваляя,
За миражом надуманным идет.

Влеченья страстные смиряя,
На помощь небеса зовет.
И в ожиданье изнывая,
В томленье терпеливо ждет.

Ждет и зовет. Хоть знает хорошо —
Время любви уже прошло.
И все равно!
Кипят желанья
Вкусить запретные плоды:
Сорвать их можно без старанья
И не нужны особые труды.

Но тщетно! Чаша наслажденья
Не держится в руках немощной старины.
А счастье, появившись на мгновенье,
Как полоса промчавшейся звезды,

Укрылось, словно привиденье,
В глубинах бесконечной темноты,
Оставив в виде утешенья

Небес скупое изреченье:
«По этому пути
Всем суждено пройти».

Законы нашей жизни вечны,
Богами так заведено
И нам известны всем давно.
Но старость, отвергая пораженье,
Не осознав иронию судьбы,

Никак не хочет расставанья
С больным воображением мечты.
Увы! Напрасные терзанья.
Плод одряхлевшего ума.
Восторги и любовные страданья
Не возвратятся никогда.

Для них обратно нет следа,
С собою молодость их унесла.

P.S. Когда от жизни половина
Давно осталась позади,
А старость семимильными шагами
Идет из полуночной тьмы –
Не огорчайтесь!
Все такими
Становимся когда-то мы.

7 ноября 2001 года

Новогодняя Дудинка

Посвящаю Василию
Яковлевичу Федюшину

Полярная ночь на бескрайнем Таймыре
Взяла в свои руки права.
И, кажется, что в замерзающем мире
Осталась одна пустота.
Холодная тундра под белым покровом.
На многие версты снега и снега.
Замерзло все. Только в небе высоко
Гонимые ветром плывут облака.

В серебряный иней одеты деревья,
Озера и реки закованы в лед.

На диких просторах в забытых деревнях
Живет добродушный и щедрый народ.

Невзрачны селенья в таймырских пустынях,
Но есть среди них города.
Что, если кому доведется познать их, —
Не сможет забыть никогда.

Давно по веленью судьбины
В краю полуночном живу.
И место далекой чужбины
Дудинкой три века зовут.

Разместилась вся Дудинка
Под горой на берегу.
Помню все ее тропинки
На земле и на снегу.

Лучше нет ее в округе:
Величава и стройна,
Людям верная подруга —
Терпелива и скромна.

Не растут здесь орхидеи,
Нет развесистых берез,
Зато нежные ромашки
Всех растрогают до слез.

Ночь. Дудинка в снежной дымке.
Сквозь туман луна блестит.
Плавно кружатся снежинки.
Небо в пламени горит.

Пляшет сполох шаловливо,
Облетая небеса.
Боже! Как вокруг красиво,
Просто чудо, чудеса!

Над Дудинкой звезды кружат
В недоступной высоте.
Ангелы молебны служат
На небесном алтаре.

Славят Господа деянья:
Его мудрость, доброту.

И божественным сияньем
Разгоняют темноту.

Тихо. Чудная погода.
Снег искрит на пустыре.
Восхитительна природа
В первозданной красоте:

Кружева мороз развесил,
Тальник снегом опушил,
Стекла в окнах разукрасил,
Елки в ризы нарядил.

Вижу новые строенья,
Божьей церкви купола.
И прошедшие виденья
Набегают, как волна:

Затрапезная Дудинка,
Старый дом на берегу.
Одинокая тропинка,
Что вела меня к нему.

Ничего не сохранилось,
Ни тропинки, ни балка.
Все давно переменилось.
От былого нет следа.

Протянулись к Енисею
Улиц ровные ряды.
Словно кистью чародея
Разрисованы они.

Ярко светятся гирлянды
Разноцветных фонарей.
Разлетаются петарды
С океанских кораблей.

Новый год! Везде застолье,
Песни, музыка и смех.
Выпьем, братья, для веселья,
Разве это будет грех?

Заполярная столица
Вся в ночных огнях горит.

Как волшебная жар-птица
Людям радости дарит.

Чужедальняя сторонка,
Здесь теперь моя душа.
Новогодняя Дудинка,
До чего ж ты хороша.

Много бед ты повидала,
Слез немало пролила.
Претерпела, устояла.
Ничего не растеряла,

Только краше расцвела.
Дорогая мне Дудинка,
Стынешь ты на берегу.
Я люблю твои тропинки
И тебя за простоту.

30 ноября 2001 года

Одиссея жизни

Мы постоянно время подгоняем,
Не разумея для чего.
И никогда доподлинно не знаем,
Бежим куда-то. Ловим ли кого?

И в этой угорелой спешке,
Отвергнув все законы бытия,
Хоть знаем, что всего-то пешки,
А мыслим быть важнее короля.

Торопимся. Друг друга обгоняем.
Быть первыми — лелеем торжество. Но!
В безумной одиссее лишь теряем
Что нам природою дано.
И на закате дней с тоскою вспоминаем
Про радости, сгоревшие давно.
Меж тем корабль с кипящими страстями,
Презрев опасности и страх,

В безжалостной борьбе с ветрами,
Хранимый только небесами,

Отважно бороздит в неведомых морях.
Несется в неизведанные страны

Открытья новые вершить.
И никакие ураганы
Не в состоянии его остановить.
Терпеньем покоряя океаны

Победы жаждем каждый час.
Уверенно разгадываем тайны
Давно открытые без нас.
Уносят мысли вглубь Вселенной
Искать иные чудеса.

Но ветер стих. На рее корабельной
Бессильно виснут паруса.
Путь окончен. Прощания, встречи —
Все осталось далеко за кормой.

На последнюю тихую гавань
Отрешенно идем на покой.
И когда до родного причала
Оставалось пройти только шаг,
Так хотелось начать все сначала,
Да нельзя. Мир устроен не так.

Поздний вечер. Сгоревшие свечи,
Дым и чад над седой головой.
На приколе корабль. Смолкли речи,
И глаза застилает слезой.

Брошен якорь. Могучие плечи
Не окатит уж больше соленой волной.
Никнут бурные страсти, волненья.
Не прельщают красой города.

Вот и все. Разрешились сомненья,
И не надо спешить никуда.
Разлилась тишина. Над безбрежною гладью
Птиц осенних слышны голоса.
На душе пустота. И с сердечною болью
Мы в чужие глядим паруса.

19 октября 2001 г.

Таймыр острожный (1)

Из воспоминаний первых политзаключенных Норильлага 1935-1936гг.

На дикие эти просторы
Занес нас безжалостный рок.
Прибрежные долы. Овраг. Косогоры.
На склонах раскисший песок.

В сизом тумане высокие горы
Грядой пролегли на восток.
Грустят на реке одинокие створы,
Прилип к берегам низкорослый лесок,

Осевший на взгорье балок за забором,
Над ним чуть заметный дымок,
И облака в белоснежном уборе
Тихо гнал в небесах ветерок.

На поймах, покрытых травою,
Пестрели головки цветов.
Душа наполнялась тоскою
При виде родных васильков.

И мысли летучей стрелою
В далекий неслись край отцов.
Пред нами простерлись полярные дали
Как только покинули утлый причал

Пустынно и тихо. Лишь чайки взлетали
Да Енисей полусонно вздыхал.
И многим тогда показалось,
Что землю сию дьявол в гневе зачал.

Застыли в молчании скорбно,
Когда, огибая мысок,
Корабль, уплывая обратно,
Взметнул на прощанье гудок.

И вскрикнули чайки тревожно
Оставив несклёванным хлеба кусок.
Сигнал его полный печали,
Судьбы нашей круг начертал.

Корабль уже скрылся в тумане,
А он заунывно звучал и звучал.
Казалось, на небе свершался
Неведомый нам ритуал.

Минуты текли. И все глуше
До нас трубный звук долетал.
В испуге сердца застучали,
Когда он совсем замолчал.

Мы с болью в тот час осознали:
Не скоро вернемся на этот причал.
Забытой тернистой тропою, **(2)**
Сдирая в камнях кожу с ног,

Плелся под охраной конвоя **(3)**
Людей осужденных поток.
Туда, где в глубоком забое
Отбойный стучал молоток.

Болотные топи. Повсюду озера.
Ручей без названья. Из бревен мосток.
Шли молча. Усталые взоры
Напрасно искали обратных дорог.

Далеко остались они без призора,
И мхом обрастает родимый порог.
Бескрайняя тундра - творенье природы.
Тут дни, словно годы.
Еще дольше ночь
Таймырскую лютость погоды
Не в силах никто превозмочь:

Когда с арктического моря
Нагрянет лютая пурга
И, в унисон ей гулко вторя,
Трещит промерзшая земля,

Снега становятся чернее **(4)**
Добытого из недр угля.
И в страхе прячется живое
В укрытья до прихода дня.

Несчастные сыны России,
Изгои собственной земли **(5)**
За годы страшной одиссеи

Все потеряли, что имели, **(6)**
Одну лишь совесть сберегли.

Нам участь выпала лихая,
Голгофа каждому и крест.
Кровоточит душа больная
В изгнанье от родимых мест.

В страданьях время подгоняли:
Какой-то должен быть конец?
Тюремщики же убеждали:
– Не заблуждайтесь! В мире нет чудес!
С мольбою к небу обращались:
– Зачем тогда Христос воскрес?

Нас уголовники терзали **(7)**
При попустительстве властей,
О воле думать перестали,
Чтоб не было еще больней.
Но дни за днями наступали
Мучительнее и длинней.

На нарах лагерных бараков
В чаду смердящей духоты,
Где под ногами вместо пола
Слой бесконечной мерзлоты,

Среди разврата и пороков,
На дне жестокой нищеты
– Когда минута дольше века –
Остаться трудно человеком,
Не запятнав душевной чистоты.

Смирившись с долей несчастливой
– Роптать уже стало невмочь –
Из памяти с улыбкою стыдливой
Воскресшие желанья гнали прочь:

Зачем напрасные старанья
Ласкать угасшие мечты.
Ведь чем светлей воспоминанья,
Тем горше и сильней страданья
В когтях застывшей пустоты.

Покинутые верой и надеждой,
Вдали от дома своего,

Простившись в мыслях с жизнью грешной,
Уже не ждали ничего.

Как только за глухой стеною
Час наступал вечерней тьмы,
Пред Господом с молитвою святою
Спасенья душ просили мы.

В тот тяжкий век
Тропою тою
Пройдет немало человек,
Чтоб под норильскою землею
Пробить натруженной рукою
К запасам руд широкий штрек.

И на фундаментах бетонных,
– Подумать мог ли кто тогда –
Уложенных руками заключенных
Поднимутся гиганты-города.

Как пирамид египетских строенья
Пленяют взор суровой простотой,
Так города в холодном Заполярье
Всех восхищают строгой красотой.

По тем же я шагал дорогам
Не день, не два, а много лет.
В великом скопище народа
Немало видел горьких бед:

Встречал нередко я людей,
С достоинством чрез тюрьмы прошагавших,
В неволе тяжело страдавших,
Но не склонивших головы своей.
Других по малодушию падших,
Гражданский не сдержав обет.
И жизнь до окончания проклинавших:
«Уж лучше б не родиться нам на свет»

***

Осмысливая суть годов «пропавших».
Осмелюсь на такой совет:
«Не расставайтесь с совестью своею.
Ни на минуту, ни на час.

Она вернется к вам другою
И молча будет мучить вас.

И правду никогда не отвергайте,
Какой бы горькой не была.
Заблудшие души мольбой исцеляйте,
Не бойтесь, что ноша сия тяжела.
Творите во благо. Добро насаждайте.
Чтоб жизнь на земле стала всюду светла.
Потомки навеки с любовью восславят
Ваши святые дела.

Богатством вы себя не искушайте:
С ним жизнь ваша станет чужой.
С земными долгами сполна расквитайтесь,
Перед тем как уйти навсегда в мир иной.

***

В острогах я долго томился,
Судьбу проклиная порой.
Со смертью на век подружился ,
Шагая кандальной тропой.

И чудом в живых оставался,
Засыпанный в штольне рудой.
По воле коварной судьбины
Вернуться не мог в дом родной.
Но милостью божьей, в студеной пустыне
Обрел вожделенный приют и покой.

Смирив душевные стремленья,
Одну мечту лелею в глубине:
Когда по божьему веленью
Предстанем мы на судном дне,
Хочу чтоб не терзали угрызенья
За прожитое время на земле.

1. В первые годы строительства Норильлага на месте теперешнего города Норильска стояли в непосредственной близости один от другого два небольших поселка. Один в преобладающем большинстве из брезентовых палаток (барачного типа) был для заключенных, второй, мало чем отличающийся от первого, для вольнонаемных и охраны. Слово острог равнозначно как для тюрьмы, так и для поселений на окраине государства.

Этим и определяется название стиха «Таймыр острожный».

С неимоверными трудностями в суровых условиях Заполярья заключенными были построены рудники, фабрики, заводы. Выросли благоустроенные со всеми удобствами города Норильск, Дудинка и другие. Вместе с ними в равных условиях, а порой и более сложных, находились и вольнонаемные работники.

Труд всех был непомерно громаден.

По своему существу, это была для всех настоящая каторга. К строительству комбината было приковано внимание всей страны. Можно ли было освоить Крайний Север другими методами, я не знаю. Но то, что делать это было необходимо, теперь ни у кого не вызывает сомнений. Весь Красноярский край уже много лет живет за счет Норильского комбината. Кроме того, в Великую Отечественную войну 1941-1945г.г. продукция комбината использовалась в создании многих видов вооружений и играла огромную роль в укреплении обороноспособности страны.

Когда задумываясь над величием и трагедией прошлого, душа холодеет при мысли о трудностях, лишениях, выпавших на долю первых строителей Норильского комбината, удивляешься их терпению и мужеству. Это был подвиг великого многонационального народа. (Таково мое мнение. Другие пусть оценят как хочется).

После развала СССР обстановка в стране резко изменилась. Люди перестали выезжать с Таймыра. Сложилась обратная картина. Даже выехавшие ранее пенсионеры начали возвращаться назад: на «большой» земле жизнь стала невыносимой, много трудней, чем в Норильске и других таймырских городах. Бытует поговорка: «Отцов на Таймыр привезли под конвоем, а дети теперь уезжать не хотят».

2. Забытой тернистой тропою - еще в XIX веке в Норильский район добывать уголь и медь ездили купцы Сотниковы.

3. Плелся под охраной конвоя — в 1935-1936гг. заключенные от Дудинки до Норильска шли пешком. Даже в 1937 году, хотя уже была построена железная дорога, часть заключенных этапировалась таким же способом.

4. Снега становятся чернее - при очень сильном ветре летящие снежинки кажутся черными. Такую бурю называют «черной пургой».

5. Изгои собственной земли - в преобладающем большинстве простые люди, осужденные по политическим статьям (за антисоветскую агитацию) по оговору и клевете доносчиков, одних озлобленных на соседей, других на советскую власть, и вымещавших таким способом свою злость. Их этапировали из центральных областей России на Таймыр, о чем они, невинно осужденные, очень болезненно переживали. Таймыр - им была чужая земля. Это были самые безобидные и трудолюбивые люди. Зачастую разделяли с ними печальную участь незадачливые клеветники, а также работники понудительных органов.

6. Все потеряли, что имели - у политзаключенных и осужденных за бытовые преступления уголовные преступники (бандиты, грабители, хулиганы), находящиеся вместе с ними, отнимали вещи, продукты питания, даже тюремные пайки.

7. Нас уголовники терзали при попустительстве властей - в период

1935-1938г.г. до приезда Завенягина А.П. в Норильских лагерях царил произвол уголовных преступников (убийц, грабителей, разбойников). Участь политзаключенных, бытовиков и прочих категорий заключенных была невыносимой (по рассказам заключенных тех лет).Уголовники не только сами не работали, но мешали работать простым заключенным. Дисциплина была на низком уровне, работа шла плохо, контроль лагерными властями был ослаблен. Это было одно из упущений Матвеева В.З. (видимо, он недооценил важность режима и дисциплины. К слабохарактерным или мягкотелым «потакателям» Владимира Зосимовича Матвеева никак нельзя отнести, учитывая его боевое прошлое). Первые шаги Завенягина А.П. по приезду в Норильск были направлены на укрепление режима и дисциплины. Какие меры принял А.П. Завенягин по наведению лагерного порядка, теперь приходится только гадать. Вероятно, крутые. Даже очень крутые. Ибо разгул преступности был искоренен в течение нескольких недель (по воспоминаниям заключенных 1939-1940г.г.). Надо отдать должное: А.П. Завенягин в работе был одинаково беспощаден как к людям, так и к себе. В суровые пурги вместе со всеми с лопатой в руках расчищал железнодорожные пути, чтобы доставить в Норильск поезд с продуктами питания (из рассказов очевидцев).

Описанных по воспоминаниям первых заключенных условий жизни и быта в Норильских лагерях мне лично испытать не довелось. По прибытии в 1946 году в дудинских лагерях была совсем иная картина. Каждая бригада заключенных имела теплый барак, было много расконвоированных, кормили несколько раз в сутки. Случаи бандитизма, насилия имели место, но они были единичными и очень жестоко подавлялись лагерной комендатурой, что удерживало многих головорезов от совершения преступления. Чему сейчас при оголтелом бандитизме по всей стране и постоянно возрастающем разбое можно только удивляться.

Пора сенокосная

Разгорелась страда сенокосная.
Все крестьяне с утра на лугах.
И разносится песня задорная
На раздольных российских полях.

То умолкнет, то снова начнется,
Разольется как трель соловья.
В сердце радость. И страстно так хочется
Петь как эта большая семья.

Разгулялась, ликует погода.
Все в работе. Хоть солнце палит.
И мальчонка, всего-то три года
Клочок сена в руках теребит.

Расцвела, как невеста, природа.
Погляди хоть куда – благодать.
Хорошеет земля, никакие невзгоды
Не сумеют ей в том помешать.

Играют солнечные блики
На зеркалах прозрачных вод.
Гляжу с волнением великим
На опрокинувшийся в реку небосвод.

За рекой село родное.
Церковь на бугре стоит.
Рядом озеро большое,
На берегах камыш шумит.

Веет с озера прохлада
Освежает уставших людей.
В душу будто проникла отрада
И работа пошла веселей.

Девки красные, парни лихие
Торопливо сгребают, несут
И на скошенном поле большие
Стога сена рядами встают.

Заскирдовано сено пахучее.
Ночь пришла, разошлись косари.
Прекратилась работа кипучая
До пришествия новой зари.
Тишина. Отдыхают угодья,
Утонули в тумане луга.
И река, затопившая их в половодье,
Давно омывает свои берега.

***

Коротко ночи летней затменье:
Свет заката едва лишь потух,
Как уж нового дня наступленье
Возвещает горластый петух.

Хоть трудна у крестьянина доля.
Надо сеять, косить, ночь не спать.
Только вряд он привычки и волю
На другое захочет сменять.

Эх! Широкое наше раздолье.
Не обнять, не объехать тебя.
Ты, российское наше приволье
Разлюбезная сердцу земля.

Памяти павших

Посвящаю брату Мише,
погибшему в Великой Отечественной войне.

Уснули мирные дубравы.
Река плескалась тихо в берега.
А он стоял у старой переправы,
Где в 41 -м рота полегла.

Смотрел на плавное теченье
Прозрачных родниковых вод.
Но против воли памяти влеченье
Несло назад в жестокий год

Умчалось время. Много стерло
Следов всепожирающей войны.
Но болью перехватывают горло
Воспоминания горькой старины.

И память из сурового далека,
Сорвав с времен тумана пелену,
Все воскресило ясно и жестоко,
Когда и что творилось наяву:

Тогда нас речка эта пожалела,
Храня от наступавшего врага.

Она в тот час нарочно обмелела,
Чтобы пехота бродом перешла.

Но все равно спасти всех не смогла.
Вода от крови красною была.
Через речушку перешло немного
Оставшихся в живых русских парней.
И снова бой. У каждого тревога:
Не уступить, не сдать земли своей.

Он вспомнил все: свист пуль, снарядов взрывы.
Предсмертный крик товарищей своих.
В безжалостном огне горели нивы,
И некогда делить цигарку на двоих.

Шеренга наша под огнем редела.
Все меньше с нашей стороны стрельбы.
Когда последний пулемет «заело»,
Фашисты вскрикнули: «Настал конец борьбы».
Но это было лишь мгновенье,
Когда наш берег замолчал.

Не думая о собственном спасенье,
Забыв о всяком береженье,
Поднявшись в рост, он по врагу стрелял.
И он стрелял. За умерших парнишек,
С которыми за партами сидел вчера,

Оставшихся без крова ребятишек,
Их мать убитую у своего двора.
Уж сил совсем осталось немного
И жизни, кажется, пришел конец.

Он, никогда не веровавший в Бога,
Воскликнул: «Помоги, Творец!»
И небо будто задрожало
От громогласного ура.

То из далекого Урала
Полки на запад двинула страна.
Со всех краев сходились братья –
Святая Русь на смертный бой звала.

У всех одно было желанье:
Разбить проклятого врага.

А у него один патрон в нагане.
Гранаты кончились. Спасенья нет.

Но в это время к берегу реки
На помощь подоспели моряки –
Враг отошел. Отбита переправа.
Опять все стало как всегда.

Но иссеченная снарядами дубрава
Казалось не воскреснет никогда.
Лежал он у поверженной березы,
Когда девичий голос дорогой
Спросил: «Как смог ты уцелеть родной?»

А он, ей утирая слезы,
Чуть слышно прошептал:
«Не плачь, сестра, ведь я живой».
Умолкли громы канонады.
Борьба за речку тяжкою была.
Моряк черпнул из речки воду
И выплеснул. Вода от крови зацвела.

Немного от фашистов что осталось
В том сокрушительном бою.
А нам как победителям досталось
Разрушенное поднимать в родном краю.

Мы за победу дорого платили.
И нет ни в чем нашей вины,
Что «демократы» речку разделили
По обе стороны страны.

По княжествам державу растащили,
Разъединили села, города.
Но дружбу, кровью что скрепили,
Не сможет разорвать никто и никогда.

Мы многое забыли из той «эры»
Но навсегда запомнили одно:
Что если б не было великой веры,
С которой жить и умирать легко,
Не устояли б мы в беде безмерной
И на земле нас не было б давно.

Холодное солнце полярного круга

Морозное утро. Восток загорался.
Ночная рассеялась темь.
И медленно словно в неволе занялся
Короткий неласковый день.

Холодное солнце полярного круга
Повисло у самой земли.
Косые лучи пробежав по округе
Застряли в туманной дали.

Пустынно. Под снегом равнины и горы.
Куда ни посмотришь - одна белизна.
На небесах в необъятном просторе
Застыла холодная голубизна.

Подул ветерок. Закружилась поземка.
Чуть слышно лоза шелестит.
Отбившись от стаи, одна куропатка
Укрыться в кустарник летит.

Безлюдно и дико. На многие версты
Окрест ни души, никакого жилья.
Виднелись вдали лишь кресты на погосте
Свидетели давних времен бытия.

Когда-то здесь страсти кипели.
Слышались ночью и днем голоса.
Реформы, как стаи волков, налетели,
И ниву людскую скосила «коса».

Из мертвых строений пустые глазницы
Безжизненным взором глядят.
Давно уже дикие птицы
Кормиться сюда не летят.

Хилеют на севере диком селенья.
Все больше оттуда уходит людей.
И пьют, кто остался, «зеленое зелье»,
Чтоб в нем утопиться с печалью своей.

Пожары и грозы свирепствуют в мире,
Доносится к нам их зловещий раскат.

И кажется, будто в студеном Таймыре
Приходит не утро, а мрачный закат.

20.03.03

Признание

Я люблю тебя север холодный,
Доброту, справедливость твою.
Ты принял, приютил в год голодный
Разнесчастную душу мою.

Обездоленный с детства судьбою,
Потерявший надежду на жизнь,
Я согрел свое сердце больное
В глубине твоих снежных пустынь.

На твоем безграничном просторе
Уживались народы всех стран.
Сообща побеждали всеобщее горе,
Скрывая страдания собственных ран.

Я сдружился с трескучим морозом.
И сиянье небесных огней полюбил,
Зачастую восторженным взором
Любовался игрою светил.

Багровый месяц в темноте гуляет
Очерчивая неба полукруг.
Пустынные равнины освещает,
Вершины гор лежащие вокруг,

В струистом свете снег сверкает...
И волшебство красот захватывает дух.
Не понимаю, отчего мне вдруг
Становится легко, мой незабвенный друг.

Когда разгневанные боги
Заметают снегами пути.
Выхожу на средину дороги
Испытать силу черной пурги.

Я наслаждаюсь ветра завыванием,
Мне нравится неистовый буран.

И наполняется душа признаньем
Ты! Север! Лучше теплых стран.

По весне, когда солнце, пылая,
Вниз на землю с улыбкой глядит,
А под ним лебединая стая
Своей древней дорогой летит,

Оживает повсюду природа.
Забурлили в оврагах ручьи,
Даже жаль, что в такую погоду
Не летают к нам с юга грачи.

Бесподобно полярное лето:
Синь озер, косяки диких птиц,
Вся земля озаряется светом,
И раздолью не видно границ.

Играет ветерок с зеленою листвою.
Куда ни взглянешь - все цветет.
А небо светло-голубое
В таинственную даль зовет.

Я люблю беззащитную осень:
Ненадолго укрывшись ковром
Промелькнет, как небесная просинь,
Растворившись во мраке ночном.

Все красиво, и все здесь так мило.
Добродушный и чуткий народ.
Мне казалось, что солнце светило,
Не спускаясь с небес, круглый год.

Не забыть тебя север холодный,
Неподкупность и щедрость твою,
Помнить буду и год тот голодный
Приютил когда душу мою.

А снега, что засыпали землю
И не тают почти никогда
С неизбывно томительной болью
Вспоминать о них буду всегда.

Дудинка, 6 апреля 2003г.

Юбилейное

На пятидесятилетие
Федюшина Василия Яковлевича

50 - это только полвека.
50 - это жизни расцвет.
50 - это для человека
Время счастья, любви и побед.

Золотой юбилей отмечая,
Беззаветно и нежно любя,
Всей душой небеса умоляем:
Бережет пусть Всевышний тебя.

Мы хотим, чтобы были не властны
Времена над твоей головой.
А желанья сердечные страстны
И душа как всегда молодой.

Судьба твоя слилась с нашей,
Прошли мы вместе трудный путь.
И, торжествуя, говорим, поднявши чаши:
Каким ты был, таким и будь.

Живи на радость людям долго
В кругу семьи, среди друзей.
Пусть обойдут тебя невзгоды
И день за днем станет светлей.

День рожденья – чудесная дата,
Но туманятся грустью глаза,
Потому что уходят куда-то
Незабвенные наши года.

Бессильны мы против природы.
Но ты об этом не жалей.
Мы все равно в любую непогоду
Отметим твой столетний юбилей.

30 августа 2002г.

Весенняя благодать

Весенний вечер опустился.
Звезды загорелись в небесах.
Светлый месяц народился,
Дорожки осветив в лесах.

С вершин холмов зефир струился.
Прохладой полнилась земля.
Туман над озером клубился
И уплывал в прибрежные поля.

Погруженные в сладостные грезы,
Склонили головы цветы.
Невольно набегали слезы
При виде задремавшей красоты.

Промчалась по небу зарница,
След оставляя за собой.
Повсюду тихо. Даже птица
Не возмутит божественный покой.

Необозримо божье мирозданье:
В нем ни начала, ни конца.
И кружатся небесные созданья
По воле вездесущего Творца.

Его могущество безмерно.
Он правит небом и землей.
Дарит богатства безвозмездно,
Шлет людям счастье и покой.

Он усмиряет грома грохотанье
И щебет бережет птенца.
Ему подвластны звезд мерцанье
И помыслы беспечного юнца.

Из края в край на целом свете
Простерлись тишина и гладь.
И все живое на планете
Уходит мирно почивать.

Под майским бархатным покровом
Укрылись поселенья, хутора.

Исчез над горизонтом цвет багровый.
Ночная подошла пора.

Уснули люди и деревья,
Запутался меж листьев ветерок.
Лишь за околицей деревни
Теплился позабытый огонек.

Из сада плыли запахи сирени.
И страстно так хотелось жить
Что сами преклонялися колени
Пред Господом молитву сотворить.

Май 2002 г.

Эпитафия

Неудержимо движемся к закату,
Оставляя годы позади.
Не бывает никому возврата
С избранного Господом пути.

Той дорогой без конца и края
Движется людей поток.
Все уходит, в бездне исчезая:
Доброта святая и порок.

И просить, молиться бесполезно:
Все равно дорога не свернет.
Каждый знает: рано или поздно
Всех в безвестность уведет.

Жизнь, как обгоревшая комета,
Промелькнет в кромешной темноте
И исчезнет за порогом света,
Растворившись в мрачной пустоте.

P.S. Мы уходим в тайны мирозданья,
В бесконечные владения творца.
Неужель у нас одно призванье
– Уходить неведомо куда?

24 августа 2003 г.

Грусть о прошлом

Когда вечерняя прохлада
Опахнет заросший сад,
Благоуханная природа
Прольет пьянящий аромат,

Взойдет луна над палисадом,
Задремлет мир в объятьях тишины.
И только звуки водопада
С запруды мельничной слышны.

В волненье подхожу к ограде,
И, глядя в угасающий закат,
Я вспоминаю с грустью и отрадой,
Что было много лет назад.

Далеких дней воспоминанья
Безмолвной движутся толпой.

Но наше первое свиданье,
Как божество, стоит передо мной.
И сердце застучит тревожно,
Душа в восторге обомрет,

Когда в воображенье возбужденном
Твой милый образ предстает.
И чудится, как будто рядом
Звучит волшебный голос твой.

Зову! Кричу! Но мне в награду
Лишь эхо возвращает голос мой.
А в полумраке меж деревьев
Мелькает женский стройный стан.

Но! Это дивное явленье
Рождает мой самообман.
Так сильно хочется вернуться
В далекие те времена.

К твоим ладоням прикоснуться,
Испить страдания до дна.
Напиться упоительной услады,
Чтоб сердце обжигала кровь,

Ловить пленительные взгляды,
Боготворить твою любовь.
В глазах бездонных утопиться
За муки страстные благодарить.
В объятьях неги насладиться,
Смеяться, плакать и любить.

Слезами сладкими умыться,
Под облака душою воспарить.
Перед судьбою преклониться,
Твой каждый вздох обожествить.

Как прежде, стан твой обнимая,
Целуя локоны кудрей,
В томленье пылком изнывая
Молить, чтоб стала ты моей.

Чтоб снова темнота глухая
От глаз людских скрывала нас,
А ночь, в блаженстве утопая,
Рассвета не пускала час.

И, опьянев от запаха сирени,
В очарованье светлых грез
Забыться на твоих коленях
Под шелест ласковых берез.

На небе в сказочном свеченье
Переливались тысячи миров,
А я просил продлить мгновенье
Всесильных и всевидящих богов.

Но страстное мое моленье
До Господа, наверно, не дошло.
Божественное наслажденье
В туманную безвестность уплыло.

Промчалась времени громада,
Все затерялось в прошлом дорогом.
Лишь почерневшая ограда
Да заржавевшая калитка сада
Грустят со мною о былом.

Январь 2004 г.

Безмятежное детство

В осеннюю промозглую погоду
Стучит по окнам дождь и снег.
Не обижайтесь на природу:
Ведь так идёт из века в век.

Но грустно мне.
Захлопнув книгу,
Плутаю в лабиринте прошлых лет,
Отыскивая в памяти дорогу,
Которой на земле уж нет.

Вдоль той дороги деревушка
С одною улицей с начала до конца.
Отдельно на бугре избушка.
Тропинка к ней до самого крыльца.

Скамейка под кудрявою рябиной,
Бревенчатый мосток через ручей,
Березовая роща за низиной,
Где по ночам пел соловей.

Душистая сирень у палисада,
Её весной ломали для девчат.
Вечерний гомон птиц над садом,
На небосклоне розовый закат.

Далёких лет невинные картины
Я вижу будто наяву:
Платочек маленькой Марины,
Найденный в зарослях малины,

Пенал – подарок от кузины,
Сухую веточку калины
Как память детства берегу.
О! Годы детства! Сколько наслажденья

Таит неповторимая пора:
Весь день сплошные развлеченья
И бесшабашная игра.

С рассветом летнею порою
Шли к озёрам, на луга
И поросшие травою
Сонной речки берега.

По вечерам весёлою ватагой
Ходили от избы к избе.
Наигравшись до упаду,
Искали приключения себе.

Уговорившись у ограды,
Бежали вдаль к темнеющим кустам
И, заблудившись, как же были рады
Родным, зовущим голосам.

Притихшие в испуге
Сжимали крепко руки матерей.
На деревенской уличной дороге
Смелели, делались бодрей.

А за калиткой, выйдя на дорожку
Встречала бабушка меня.
И непутёвого Сережку
Корила тихо, про себя.

Счастье, радость и веселье
Испытали мы сполна.
Не сдержать слез умиленья,
Вспомнив эти времена.

Промчались годы за годами,
Незримо старость подошла
И словно с вешними водами
Куда-то молодость ушла.

Забыты детские забавы,
Остыл мальчишеский задор
Через речные переправы
Уж не бежим в сосновый бор.

Но память, удержав навеки
Из жизни лучшие года,
Влечёт назад, ломая вехи,
Как дикий конь без седока.

Летит, одно другим сменяя
Событий, происшествий череда.
А впереди, всех обгоняя,
Ребячья незабвенная пора.

Деревня, милая, родная,
Тоскую очень по тебе.
Мне простота твоя святая
Всего дороже на земле.

И так не хочется поверить,
Что не купить назад билет,
Восторгов тех блаженных лет
Давным-давно уж больше нет.

20 января 2004 года

60 лет Дудинскому порту

Страницы пожелтевшие листая
Времен, ушедших навсегда,
С щемящей болью вспоминаю
Далекие суровые года.

Убогий северный поселок,
Лачуги из глубокой старины,
В полуверсте кладбищенский пригорок
И снегом занесенные кресты.

Дорога санная вдоль поселенья,
Тропа на реку по воду ходить,
От дома к дому для передвиженья,
Веревки, чтоб в буран не заблудить.

Зимой всегда свирепствовала вьюга,
Протяжный заглушая вой волков.
Весною прилетали птицы с юга,
До холодов жужжали тучи комаров.

К морозам лютым и метелям
Привыкли жители села.
Ловили рыбу, били зверя
Какая бы погода ни была.

Пред каждым открывали двери,
В любви и дружбе жизнь текла.
Осеннею дождливою порой
– Случалось и такое иногда –

Рыбак, застигнутый волной,
Домой не возвращался никогда.

***

С природой здешней не поспоришь,
Её законы надо уважать,
Ночную мглу руками не разгонишь,
И от пурги не убежать.

Шли за столетьями столетья,
Не нарушая жизни бег.
Казалось, не наступит просветленья
На берегах полярных рек.
Но изменилось времени теченье,
Когда настал двадцатый век.

И на Таймыр по высшему веленью
Пришел российский человек.
Пришел на край Земли холодной
– Об этом тяжко говорить –

Пришел раздетый и голодный
Мороз с пургою победить,
Заснувшую округу разбудить,
С народом местным подружить
И на брегах реки студеной
Полярный порт и город возводить.

Нелегкая досталась доля
Сошедшим с барж на ледяной причал.
Они не знали, сколько горя
Им каждому Всевышний начертал.

С начальных дней «страды» нещадной
Была ль зима, иль летняя пора,
Чтоб завершить подряд бригадный,
Работали с утра и до утра.

Входили в ледяную воду.
Таскали волоком кряжи.
И уровнявши донную породу,
Рубили намертво ряжи.

Стучали топоры, звенели пилы,
Вгрызался в грунт отбойный молоток.

Совсем не оставалось силы,
Когда к отбою призывал гудок.

В сырые снежные метели,
При непрерывном проливном дожде
До нитки промокали, коченели,
Укрыться не могли нигде.

Закончив день тяжелый, долгий,
С работы шли нестройною толпой.
Порой стояли близко у беды,
Когда полярною зимой

Во мраке бесконечной пустоты
Застигнутые в полпути пургой,
Не видя дальше как идти,
Всевышнему молились Богу:

Просили указать дорогу
Из этой беспросветной темноты.
По вечерам страдая от озноба,
Толпились возле котелка,
Чтоб нацедить для обогрева
Спасительного кипятка.

Ночами после смены,
Укутавшись в хламиду из тряпья,
Своим теплом обогревали стены
Промерзшего барачного жилья.

А ранним утром до рассвета,
Которого здесь вовсе нет,
Колонны шли людей, в робы одетых,
На недостроенный объект.

Рождался порт в суровые годины,
Когда на западе страны
Горели города и нивы
В огне всепожирающей войны.

А в захудалом поселенье,
На берегу большой реки,
Под прочные бетонные строенья
Кайлили твердь полярной мерзлоты.

Словно солдатские отряды,
В жестокой обстановке фронтовой,
Работали строителей бригады
В бессменной вахте трудовой.

Порт рос не по годам, а днями,
И вскоре у причалов вдоль реки
Сияли яркими огнями
Береговые маяки.

В бетоне берега крутые,
Прожекторы залили светом порт,
Склонились над судами краны грузовые,
Не страшен им мороз, ни ураганный норд.

Плывут суда со всего мира
В Дудинский порт наперекор ветрам.
Их пред воротами Таймыра
С радушием встречает златоглавый храм.

Велик и строен порт Дудинский,
На много верст причалы пролегли.
Через моря на край таймырский
Везут товар со всей Земли.

И утомленные от долгого пути
Становятся на рейде корабли.
Минуло шестьдесят с тех пор.
И человек трудом безмерным
Природу Заполярья покорил,

И, обживая севера простор,
Болота, топи забутил.
К отрогам рудных гор
Железную дорогу проложил
И рудники там заложил.

И день, и ночь в краю таймырском
Идут с металлом поезда,
Чтоб загрузить в порту Дудинском
Морские большегрузные суда.

Давно в стране преображенной,
Где только ветер, снег и холода,
Поднялись чудо-города,
И на земле, терпеньем удобренной,
Играет и резвится детвора.

Прошла суровая пора,
Иными стали времена.
И люди, приезжая ненадолго,
Здесь остаются навсегда.

На торжестве достойной годовщины
В сиянье люстр, под звон колоколов
Мы вспомним горькие судьбины
Простых российских мужиков,

Заброшенных в полярные равнины
Неволей от родимых очагов
И при огне чуть тлеющей лучины
Домой писавших про свои кручины

С далеких енисейских берегов.
Спасибо, дорогие ветераны,
За ваш подвижнический труд.
Вас многих нет.

Но эстафету славы
Ваши сыны уверенно несут.
Настанет день и порт по праву
Звездой Таймыра назовут.

Февраль - апрель 2004 г.

Осенний пейзаж

Сентябрь прошел.
Мороз ночами
В низинах травы серебрит.
Застыло все.

Лишь за кустами
Ручей на перекате чуть журчит.
Суровый север тучи гонит.
Ползет туман по склонам гор.
Холодный ветер долу клонит
Рябины догорающий костер.

Все пожелтело и увяло,
Ледок на лужицах блестит,
Махая крыльями устало,
Клин запоздалый лебедей летит.

Летит в неведомые дали -
Назад, где круглый год тепло.
Зачем на север птицы прилетали
Из дальних стран? Не скажет нам никто.

И, провожая птичьи стаи,
Грустим, не понимая отчего.
Как будто мы беднее стали,
Хоть не теряли ничего.

4 октября 2004 г.

Таймыр незабываемый

Легендами и славою увенчан,
Полярного сияния кумир,
Раскинул в тундре вековечной
Свои владения Таймыр.

О, Таймыр! Ты велик,
Твои земли от тайги до морей пролегли.
Ты богат! За дарами твоими
Отовсюду плывут корабли.

В твоих заснеженных равнинах,
Куда заброшен был судьбой,
Обрёл я средь народов мирных
Желанный и спасительный покой.

Полюбил я тебя беззаветно
За твою простоту, доброту.
Преклонивши колени смиренно,
Я целую твою мерзлоту.

Был навек неразлучен с тобою,
Не предал, замерзая зимой,
Жизнь прошла, и с душевной тоскою
Покидаю приют дорогой.

В каких краях и странах я ни буду,
Куда бы жизнь меня ни занесла,
Я никогда не позабуду
Твои хрустальные снега.

Подари мне, Таймыр, на прощанье
Хоть немного своей доброты.
Я твои разведу в знак признанья
На российских просторах цветы.

На полянах посею ромашки,
Посажу меж кустами жарки.
Их полюбят нежные фиалки,
Поклонятся низко васильки.

Ветер вольный, резвясь и играя,
Раскачает головки цветов,
Понесет, на лугах рассевая,
Тучи разноцветных лепестков.

Разбегутся цветы по равнинам,
Разукрасят волшебный ковер –
И раскинется чудо картина
От холодных пустынь до заоблачных гор.

Восхищаясь причудами природы,
Совершенством её красоты,
Мне так хочется, чтобы народы
Жили так же, как эти цветы.

Жили дружно, в согласии, мире,
Без террора и страха в стране.
Всем хватало тепла на Таймыре,
И земля не горела в Чечне.

Январь 2005 года

Покаяние

Годы уходят.
Совсем уж немного
Мне осталось по свету блуждать.
Настала пора собираться в дорогу
За земные дела в небесах отвечать.

Жизнь свою с юных лет осмысляя,
Понял: многое сделал не так.
Теперь, за ошибки себя осуждая,
По святому писанью сверяю
Каждый мною проделанный шаг.

До того как оставить земную обитель
И уйти навсегда в мир иной,
К твоим стопам припаду, Повелитель,
Ниспослать вожделенный покой.

Грешен я пред тобою - не скрою.
Всё, как есть, на духу изложу.
И, склонившись покорно главою,
Всепрощения попрошу.

О! Господь мой! Владыка Вселенной,
Накажи за грехи и прости.
Не по воле своей, а судьбою согбенный
С твоего оступался пути.

Не суди меня, Господи, строго,
Прегрешенья мои отпусти.
В этом мире найдётся немного
Кто бы меньше меня нагрешил.

Во владенье своём бесконечном
Приюти.
Не отринь никого.
Ведь на нашей Земле вековечной
Без страданий не прожил никто.

Постигая святое ученье,
С малых лет, как немного подрос,
Я познал, на какое мученье
Обречён был безгрешный Христос.

Не терзалось чтоб сердце печалью,
Не томила бы душу тоска,
Я святые молитвы читаю
И целую распятье Христа.

До рассвета во тьме непроглядной,
Лишь в селе запоют петухи,
Я до церкви иду православной
За свои и чужие молится грехи.

За сирот помолиться бездомных,
Чтоб людей не давила нужда,
Чтобы не было в мире голодных
И навеки исчезла вражда.

Когда святым предначертаньем
Я буду предан высшему суду,
Любое за счастье приму наказанье
И перед судьями ниц упаду.

P.S. Если вдруг доведётся мне снова
Жизнь свою на земле повторить
На коленях пред Господом Богом
Поклянусь никогда не грешить.

5 марта 2005 года

Грезы любви

Тихий зал.
Догоравшие свечи.
Затемненный от всех уголок.
Твои пленительные плечи
Обнимал белоснежный платок.

Я не помню, когда это было.
Знаю только, что было давно.
Ты ушла. Всё с тобою уплыло,
Ожиданье осталось одно.

Расстались мы, ещё не зная,
Что видимся в последний раз.
Прошли года, но я не забываю
Неповторимый дивный час.

Вдали, от скуки изнывая
Я постоянно думал о тебе.
И светлый образ, воскресая,
В счастливых снах являлся мне.

После томительной разлуки
Вернулся вновь в свои края.
Но нет тебя. И ласковые руки
Не обнимут с восторгом меня.

Где ты теперь, куда ты улетела,
Какая приютила сторона?
Наверное, тоже, как я, постарела
И голову покрыла седина.

Далёк тот чарующий вечер,
Что мне подарила судьба.
Сгорели давно наши свечи,
Но память хранит эту встречу,

Как дар чудесный божества.
Опять весна. Цветут незабудки,
Только я их тебе не нарву:
Затерялась дорога к голубке
На безвестном чужом берегу.

P.S. Каждый год в этот памятный вечер
Прихожу в старый зал, как всегда.
Здесь по-прежнему теплятся свечи...
Только ты не придёшь никогда.

31 марта 2005 года

Прозрение

С годами все мы постареем,
Когда-нибудь мы все умрем.
Но перед этим очень пожалеем,
Коль жизнь бездарно проживём.

Перед последнею чертою,
Сверяя с совестью свой путь,
К великому прискорбию порою
Охватывает многих грусть.

Какая жаль! Ни славы, ни богатства
Прошли бесследно времена.
В бесстрастной памяти потомства
Утонут наши имена.

И давит тяжкая досада:
Зачем прожили, для чего?
Ужель могильная ограда,
Поросший холм. И больше ничего?

Таков удел. Во мраке сгинут годы
Кто не по-божьи их прожил.
Презрев страдания народа,
В грехах усладу находил:

Развратничал, кутил, людей губил,
За что всеобщее презренье заслужил.
Оставим рассуждения о них,
На свете много есть других:
Чья жизнь одно терпенье,
Небес снискавших уваженье.

Отринем тяжкое сомненье –
Оно печалью изведет,
Не всех в холодное забвенье
Безжалостная память уведёт.

Благое будет исключенье
Тем, кто по совести живет,
С народом делит их мученья,
Убогим, сирым милость подает.

Рассеивая счастья семена,
Себя с душою миру отдавая,
При этом сознавая: жизнь одна,
Другой не будет никогда.
Но с этого пути не отступая,
Покой в лишеньях обретая,
Заслужит благодарность навсегда.

Во все, что есть и были, времена
Стезя сия всегда трудна:
Творить дела святые для народа,
Всем, невзирая кто какого рода.
Блаженны стар и млад
Исполнивших завет сполна.
На свете нет выше наград
Она лишь избранным дана.

О! Люди! Вашими трудами
Благоухают кущи и поля.
Добро, посеянное вами,
Взрастет на ниве бытия,
И благодатными плодами
Воздаст вам щедрая земля.

25 апреля 2005 года

БАБЬЕ ЛЕТО

Чудный день увядающей осени
Всё багрянцем покрылось вокруг.
И небесная нежная просинь
В облаках белоснежных расширила круг.

Опрокинулось небо в уснувшую воду,
Заиграло лазурью в её глубине.
Трудно поверить: подобное чудо
Можно увидеть лишь в сказочном сне.

Лучами солнца обогретая
От ветерка колышется трава.
А в роще, золотом одетой,
Кружится, падая, листва.

В овраге маленькая речка
С зеркально чистою водой.
Как хочется найти такие строчки,
Чтоб описать её такой

Какая есть — сама собой
С её неповторимой красотой.
Над ней склонились ивовые ветки,
Растут по берегам жарки.
Безлюдно. Ни одной беседки
У затерявшейся в глуши реки.

На водопой приходят к ней олени
Давным-давно натоптанной тропой.
С молитвой опускаюсь на колени
Испить её воды святой.

А день всё ярче и прекрасней,
С небес течет незримое тепло.
Даль бесконечная становится прозрачней,
Прохладен воздух. Дышится легко.
От изумленья замираю,
Блаженством полнится душа.

С восторгом в сердце восклицаю: Земля!
Ну как ты хороша! Любуясь дивностью природы,
Её божественной красой,
Я забываю про невзгоды,
Что преподносит жизнь порой.

И горькая судьба, довлевшая все годы
Уже не кажется плохой.

7 января 2005 года

Элегия

Посвящаю моей Шуре

В безлюдном и глухом Таймыре,
Откуда не было дорог,
Твой образ ласковый и милый
От всех невзгод меня берёг.

И голос трепетный и нежный
Звучал во сне и наяву.
Своею силою волшебной
Смягчал недобрую судьбу.

Надеждой робкой упоенный
О доле горькой забывал
И светлой верой окрылённый
Желанной встречи ожидал.

Из заполярного далека,
Где ночи мрак и холода,
Как заклинание пророка,
Неслись к тебе мои слова:

«Не разлучит нас расстоянье
Я в мыслях и в душе с тобой.
А в сердце страстное желанье
Скорей вернуться в дом родной.

Протяни ко мне добрые руки,
Приголубь и пожалей.
Я так долго томился в разлуке
За порогом тюремных дверей.
Своими нежными руками
Страданья сердца заглуши.

Вдохни волшебными устами
Святую доброту души.
Твои божественные руки
Печаль и горе отведут.

Исчезнут тягостные муки
И слёзы сладкие придут.
И будто не было разлуки
И изнурительной тоски.
Мы не расстанемся вовеки
До самой гробовой доски.

P.S. Благодарить мне Бога надо
И земно кланяться тебе.
Ты в горе и беде надеждой и отрадой
Была в моей изменчивой судьбе.

8 сентября 2005 года

Зимняя ночь

Ноябрь. Опять метели
Сугробы наметают на дворе.
Давно деревья облетели
Река замерзла в октябре.

Пустынно. Птицы улетели.
Поля снегами занесло.
Тоскуют детские качели
Детишки спят давным давно.

Хозяин северного края
Идёт из полуночной тьмы
Дубравы, рощи украшая
Хрустальными кистями бахромы.

Пройдёт неведомой дорожкой
Заглянет в сёла, хутора
На стёклах каждого окошка
Причудливые свяжет кружева.

Позёмка по лугам гуляет,
Качает жухлую траву,
С опушки леса подметает
Опавшую по осени листву.

Ползут по небосводу тучи
С далёкой северной страны,
Сквозь полумрак над горной кручей
Чуть виден бледный диск луны.

Темно вокруг, хоть глаз коли,
А снег с небес стеной валит.
И путник, сбившийся с дороги,
Клянёт на чём весь свет стоит.

Порою ветер разорвёт
Громаду тёмных облаков,
И в появившийся просвет
Луна прольёт печальный свет.

Осветит спящие дубравы,
Скользнёт бесшумно по земле.
Перешагнёт речные переправы
И скроется в кромешной мгле.

Вновь темнота ночная
Укроет поселенья, города.
В полях несет метель сплошная
И не видать нигде следа.

Укуталась снегами Русь святая
Нигде не видно огонька.
Сверкают лишь глаза «звериной стаи»
Да светится фонарь у кабака.

15 ноября 2005 года

Земля – особая планета

Вселенский мир в неведомые годы
Был создан силой неземной.
И с той поры в любую непогоду
Летит и кружится наш шар земной.

Плывёт в безбрежном океане,
Где нет ни края, ни конца
Дорогою, сквозь млечные туманы,
Начертанной рукой творца.

Хранимый силою святою,
Он тяжесть непомерную несёт
И всё, что есть на нём живое,

Самозабвенно бережёт.
От непорочного начала

Неведом нам священный путь.
Не знаем, далеко ли до причала,
Где предстоит планете отдохнуть.

Обитель наша во Вселенной
Средь мириадов звёзд одна
Великой мудростью Господней
Живыми тварями заселена.

Чтоб между ними не было раздора
Он равномерно блага разделил,
А право высшего надзора
За всей планетой людям поручил.

Иную жизнь дух провиденья
Из всех миров Земле определил.
И всем народам без ограниченья
Законы мудрые установил:

Веленьем Бога равными чтоб были,
Не оставляли никого в беде,
Приюты страждущим открыли
И ничего не знали о нужде.

Он мир народам завещал священный,
Живущим в дружбе — радость бытия.
Был каждый день для всех благословенный
И счастьем полнилась Земля.

Так быть должно по Божьему хотенью,
Но! К сожаленью...
Волю дав гордыне,
Образовали люди свой безумный мир.
И вот уж много лет поныне
На всей земле командует вампир.

Пришёл он из страны иезуитов
Где правит вороньё и мразь.
Теперь он неразлучный друг бандитов
Скупает всё «дерьмо и грязь».

Он грабит, истязает, убивает,
Народы, страны разоряет.
Свой бандитизм считает божьим даром
И величается торжественно «долларом».

Владельцы оного «товара»
Лютее Люцифера самого.
Милее «чёрного» навара
У них нет в жизни ничего.

Нувориши без племени и рода
Объединились, грабить чтоб ловчей.
Нет никого страшнее для народа,
Чем эта кучка богачей.

И тянется из века в век
Жизнь у людей без просветленья.
Преодолев душевные волненья,
Идёт скорбящий в церковь человек

Вымаливать от тягот облегченье.
И там, в обители священной,
Одно мы слышим утешенье:
Настанет срок, по божьему веленью
Всё к лучшему изменится вокруг.

И люди разных наций и народов
В содружестве объединятся в братский круг,
И заживут счастливо без раздоров.
Из поколенья в поколенье

Передаётся это заблужденье
С надеждою на избавленье
От непомерных мук.
Но, к огорченью, дивное явленье
Нам не дождать с тобой, мой друг:

У Бога очень долгое терпенье.
Чтоб облегчить терзающий недуг,
Не истязай себя сомненьем.
Душой бунтующей смирись,

В желаньях волей укрепись,
От сонма страждущих с моленьем
К Всевышнему смиренно обратись:
«Владыка мира, возмутись,
На землю грешную спустись,

По весям, городам пройдись
И в жизни нашей разберись.

Лиходеев, во грехах погрязших,
Рукою властной накажи.

Злодейства их народу покажи.
От лютости безумной удержи.
Неправедно обиженных, упавших
Святою благодатью поддержи.
Стезю добра и правды укажи.
И силой надели воспрявших».

23 декабря 2005 года

Божья благодать

Ночная тишина застыла над землёю
Взошла луна на небосвод,
И звёзды стройной чередою
Плавно водят хоровод.

Нежным светом поливают
Поселенья, города.
Тихо ангелы летают
По веленью Господа.

Жизнь земную охраняют,
Берегут людей покой
И природу орошают
Чудодейственной росой.

Рано утром на рассвете,
Только дня наступит час,
Улетят к другой планете,
Бога выполнив наказ.

Ночное скинут покрывало
Дубравы, пастбища, поля.
И встретит утренней прохладой
Проснувшихся людей Земля.

Туманы серые разгонит
Вольнолюбивый ветерок.
Пригнёт, покружит и погонит
Из труб поднявшийся дымок.

В лучах небесного светила
Ночная растворилась темь,
Дремавшая природа оживилась,
Встречая наступавший день.

Толпой на нивы плодородные
Идут жнецы и косари.
И станут все, как братья родные,
Работать от зари и до зари.

Просторы огласят безбрежные
Весёлых хлеборобов голоса.
И слышны будут песни нежные,
Пока не смеркнут небеса.

Лишь только на землю опустится вечер,
В небе звёзды зажгутся опять.
Сонмы ангелов, будто на вече,
Прилетят снова нас охранять.

Темнота. Загораются свечи:
Возвратились крестьяне домой.
Стихли говор и мирные речи,
Наступил вожделенный покой.

Жизнь на Земле благословенна.
Людям многое дано. Даже место во
Вселенной Богом каждому отведено.
Только где тот рай небесный
— Не сказал Господь про то.

Про таинство сие писания гласят,
Отцы святые в храмах говорят:
«В миры далёкие иные
Пути незримые ведут.

Законы там совсем другие,
В тех царствах ангелы живут,
Везде угодники святые
Покой священный берегут,

И люди, завершив дела земные,
Жизнь вечную там обретут».
Но как уверовать, когда примеров нет?
И ищут люди вразумительный ответ
Из поколенья в поколенье много лет.

И давит недоверья тяжкий гнет.
Убедиться всем хочется очень
Что же там за «запретной» чертой.
Но увы! Опускаются очи.
Не проникнет никто в мир святой.

Непостижимы тайны мирозданья.
Запреты наложил сам Бог.
И никнут дерзкие желанья:
Пока живём, нам нет туда дорог.

Зачем же тешить любопытство
Гаданьем о неведомых мирах,
Когда чудесные таинства
Хранит Земля в своих кладах.

Обитель наша в благе утопает,
Украшена святою красотой.
Всевышний счастье посылает,
Народы оделяя добротой.

Сомненье нас от этого смущает:
За что такая благодать?
Но глас с небес провозглашает:
«На всё его Господня власть».

Он мир соткал незримыми узами,
Живую плоть вдохнул Земле.
И наказал: совместными трудами
Постройте царствие себе.

Он дал вам землю, дал и волю,
Он разумом вас наделил.
Он никого не обездолил,
Земные блага равно разделил.

Живите радостно и дружно.
Засейте нивы, пажити добром.
Судьба ко всем будет радушна,
И счастлив станет каждый дом.

7 января 2006 года

Земля студеная

Холодный край, природой обделённый,
Недоброй силой создан был.
В нём не один смельчак, судьбою занесённый
Назад дорог не находил.

Засыпаны глубокими снегами
Овраги, горы и поля.
И стынет позабытая богами
Неприхотливая полярная земля.

Здесь темнота длиннее ночи
Пурга страшней, чем зверь лесной.
Порою не хватает мочи
Осилить ветер штормовой.

В распадках никогда снега не тают.
Но лишь в озёрах заблестит вода.
Птиц караваны прилетают
Из тёплых стран, как в прежние года.

Летят на старые гнездовья
Потомства новые растить.
Подальше, в Енисейские низовья,
Чтоб безопасней было жить.

Коротким лето здесь бывает,
Но только подойдёт его пора,
Ковром природа тундру покрывает
Как для большого торжества.

Повсюду льётся лёгкая прохлада,
Здесь не бывает никогда жары.
Но к красоте чудесного наряда
Не подпускают тучи мошкары.

Разбросаны бедняцкие селенья
Намного вёрст в полярной пустоте,
И аргишит тунгус с кочевья до кочевья
По только им изведанной тропе.

Хореем подгоняет он оленей
Торопится скорей домой.
Устал. Уж подгибаются колени...
Но видится вдали дымок родной.

22 марта 2006 года

Суровый 41–й год

Был восхитительный вечер
В небе тихо закат угасал.
Впервые обняв твои плечи,
Не стесняясь, при всех целовал.

Над нами склонялись берёзы.
Гулял ветерок по листве.
Томительно-сладкие грёзы
Витали в моей голове.

Собралось здесь много народа,
Из разных пришли деревень
Мы все с одного были года,
На фронт призывались в тот день.

Вчера ещё в школах учились,
Не знали тревог и забот.
Дружили, играли, резвились.
Но в жизни суровый пришёл поворот.

И вот повзрослевшие парни
Стоят в окружении девчат.
Свои сокровенные тайны
Друзьям, не таясь, говорят.

Тревогой охвачены лица
Любимых, родных, матерей –
Найдётся ли где-то страданьям граница
Пославшим на фронт сыновей.

Позади толпы шумевшей
Старик одиноко стоял.
Катилась слеза с бороды поседевшей:
Последнего внука войне отдавал.

Немного тогда говорили.
Наказ ото всех был такой:
Войну чтоб скорей завершили,
И все возвратились домой.

В тот вечер мы долго прощались,
Погода как будто была на заказ.
На небе уж звезды сверкали,
Когда «по машинам» раздался приказ.

В толпе все на миг онемели:
Настал расставания час.
И только деревья шумели,
В дорогу напутствуя нас.

Машины призывно гудели,
Одна уходя за другой.
А женщины песню запели,
Слёзы стирая рукой.

И столько в ней было печали,
Такая звучала тоска,
Как будто они уже знали,
Что мы не придём никогда.

Машины всё дальше катили
В просторах российских полей.
А женщины пели и пели.
О горькой судьбине своей.

Дорога свернула. И стало
Безмолвно и пусто вокруг.
В ладонях моих лишь осталось
Тепло твоих ласковых рук.

Далеко осталась лихая година,
Поднялись высоко вершины берёз.
Они только знают: за каждого сына
Как много здесь пролито слёз.

28 марта 2006 года

Незабываемый май

В далёкие студенческие годы
Девчонку вечерами ожидал.
Какая б ни была погода,
Всегда её до дома провожал.

Мне нипочём был лютый холод,
Не замечал, что дождик лил.
О! Боже! Как же я был молод
И как безумно я любил.

Тревоги, радости, волненье
Присущи в юные года.
Какое страстное томленье
Охватывало всех тогда.

Нам виделось всё в ярком цвете,
Как наступала юности пора
И, позабыв про все на свете,
Мы целовались до утра.

В кустах сирени белоснежной
Встречали полуночный час.
Казалось, нет во всей Вселенной
Возлюбленных счастливей нас.

Мы расставались ненадолго
Чтоб здесь же встретиться опять,
Но время так тянулось долго,
Часы, казалось, идут вспять.

В тот май, томительный и страстный,
Весна бушевала в цветущих садах.
Я помню, был вечер прекрасный
И пение птиц в задремавших лесах.

Любви восторг божественно чудесный
Меня преследовал во снах.
Мне грезился облик прелестный
И томная нежность в бездонных глазах.

Смеркалось. К избушке желанной
Спешил я, не чувствуя ног,
О встрече заветной и тайной
Свидетелем был только Бог.

Она была на год моложе,
А мне казалось меньше ей.
Целуя, говорил всё то же:
Когда же ты станешь моей?

Она лукаво улыбалась,
Ладонями прикрыв лицо.
И, не прощаясь, поднималась

На обветшалое крыльцо.
Приветливо махнув рукой,

Ушла, не затворивши дверь...
Лишь утром я пришёл домой...

Давно то было, но, поверь,
О ночи той, блаженства полной,
Тоскую и грущу теперь
Когда весеннею порою

Сады накроет белая кипень.
Воспоминанья чередою
Плывут неслышно, словно тень.
И, повернув теченье времени,
Являет память образ дорогой,
С букетом голубой сирени,
К груди прижатым нежной рукой.

Май 2006 года

Жизнь вернется

На пограничной той заставе,
Где прослужил я много лет.
Давно дорог туда не стало,
Да и заставы больше нет.

Страна, могучая когда-то,
Теперь поверженной лежит.
И по земле, тогда богатой,
Лишь ветер-суховей свистит.

В лугах ковыль траву качает,
Безумствует в заброшенных полях,
Листы железные срывает,
С крыш в опустевших деревнях.

Но верю я, что так не будет,
Возродится родная земля.
Жизнь вернётся. Крестьянин разбудит
Беспризорные наши поля.

Май 2006 года

Хмурая осень

Отполыхали летние зарницы,
Лес поредевший угрюмо молчит,
Кружат над озером дикие птицы,
Ветер студёную воду рябит.

Небо затянуто тёмною тучей,
Дождь монотонно по окнам стучит.
Мрачно и пусто. Где-то за кручей
Грома раскат еле слышно гремит.

Всё чаще холод с севера приходит,
А ночь за каждой ночью всё длинней.
Густой туман в низинах бродит,
Скрывая всё живое от людей.

Поблекли листья на березах,
Пожухли летние цветы,
И дремлют лиственницы в грёзах,
Одевшись в ризы жёлтой бахромы.

Хмурая осень для всех огорченье,
Также, как старость, тосклива всегда.
Только у осени есть повторенье —
Старость приходит одна навсегда.

Октябрь 2006 года

Размышления о дне грядущем

Опомнитесь люди! Боритесь со злом!
Время идёт. Будет поздно потом.
Тяжело человеку простому
В окруженье барыг и жулья.
Никакие мольбы ко Всемогущему Богу
Не спасают от «воронья».

Жизнь прожить стало очень не просто,
— Что порою не хочется жить.
С тихой грустью смотреть на погосты,
Горевать, что уж не с кем дружить.

Сокрушаться — кому же служить,
Чтобы душу свою сохранить.

Как пройти по «дороге тернистой»,
Где посеяны зло и корысть?
Совесть чтоб оставалась чистой,
Ни людей, ни себя не корить.

Уберечься от «силы нечистой»
И друзей за ошибки простить.
Чтобы не было зависти чёрной
Клевета и обман обошли стороной
Все народы бы жили спокойно,
Не терзаясь взаимной враждой.

Что же делать, как жизнь изменить,
Чтобы людям на свете счастливыми быть?
Вековечный вопрос, всех измучив до нас,
Ещё больше запутали люди сейчас.

Лишь святители в церкви твердят:
Сотни лет им известен ответ,
Они с Богом о всем говорят
И дают нам разумный совет:

По святому писанию надобно жить,
Создателя чтить за божественный свет,
Всех живущих с тобой на Земле полюбить.
Приветствовать радостно ночь и рассвет,

На помощь без просьб к беднякам приходить,
Никогда, никому ни в чём не вредить.
Когда буря безумного века
В дом соседа ворвётся с бедой
— Помоги! Не оставь человека
Одного с его трудной судьбой.

Если счастье к тебе прилетело,
Не ликуй, торжествуя в душе:
От кого-то оно улетело,
И бедняга в могиле уже.
Забредёт может горькое горе
Не тужи! Слёз напрасно не лей.
До тебя уже пролили море
Миллионы несчастных людей.

В наших землях, извечно прекрасных.
Переполненных божьим добром.
Почему стало много несчастных

Вековечным охваченных злом?
В сомненье народ: откуда содом
Ворвался безжалостно в их родной дом?
Снова, как прежде, зовутся скотом
Люди, взрастившие нивы трудом.
Насильно присвоив богатства и власть
Кучка воров наслаждается всласть

Народ разоряют, забывши о том,
Что спросится с них с лихвою потом.
Прожигающих жизнь в развлеченьях,
Одурманивши разум вином,

Не считавших за грех преступленья,
Учинив всенародный погром.
Растоптав без сожаленья
Любовь, надежду и добро,
Отвечать за свои прегрешенья
Предстоит перед страшным судом.

Суровая кара их ждёт впереди:
Там нет привилегий, и все там равны.
Никому не бывает прощенья –
Будь насильник, палач или вор.
Воздаст им всем без снисхожденья
Небесный суд суровый приговор.

P.S. Блажен кто с невзгодами
В жизни смирился
Не роптал на лихую судьбу
В круг богатых попасть не стремился,
Обобравших дотла бедноту.
К вампирам кровавым без зла относился:
«Пребывать ведь им долго в аду».

28 ноября 2006 года

Дорогой вечности

Много людей на Земле побывало,
Многое сделать хотели они.
Всё у них, как и у нас, начиналось,
Той же «тернистой дорогою» шли.

Истину жизни на свете искали,
Счастливую долю мечтали найти.
Но увы! Ничего не снискали,
Разочарование лишь обрели.

Потомкам проблемы свои передали
И с досадой в иной мир ушли.
Когда и где заблудились они –
Неведомо нам. Загадки одни.

Перепутали видно дороги
Или Бог указал не туда.
И с тех пор в постоянной тревоге
Народ обречённо бредёт в никуда.

С тяжкой мыслью осилить «дорогу»,
Сбросить груз непомерной нужды,
Преклониться пред Господом Богом,
Чтоб сказал, как пройти до «порога»

Той страны, где живут без вражды.
Мы не знаем, что там «за чертою»:
Есть ли жизнь или нет ничего?
Может, тешимся глупой мечтою,

Правду нам не сказал ведь никто.
Разувериться очень не сложно,
Только как же без веры прожить?
Если Бога отвергнуть возможно,
То кому тогда в мире служить?

Как же грешникам быть?
Как же им поступить?
От поступков дурных отрешиться,
Как ошибки свои замолить,
Пред какою иконой склониться,
Чтоб прощенье небес заслужить?
И в смирении с жизнью проститься.

Нет ответа. Не скажет никто.
Дорога одна — и вокруг никого.
Добрый друг! Не терзайся печалью,
Когда жизни приходит конец.
Ведь тебя за благие деянья,
Если верить в святое писанье,

Приютит в своём царстве Творец.
P.S. Тысячи лет промелькнут как мгновенье,
Когда отойду в мир иной.
Одно унесу я туда утешенье
Что буду там рядом с тобой.

30 ноября 2006 года

Весенняя радость

Весна. Повсюду оживленье.
Пришла желанная пора.
Крестьяне с радостью и вдохновеньем
Идут работать с раннего утра.

Погода выдалась на диво.
Теплом согреты воздух и земля.
Озимые поднялись нивы,
Растут хлеба. И счастлив я.

В дубравах ветерок гуляет,
Сметает прошлогоднюю листву,
Камыш на озере качает,
Ласкает на лугах траву.

Играючи чуть-чуть колышет
Цветы умытые росой.
В природе все привольно дышит
Чарует девственной красой.

С озер плывет приятная прохлада,
Туман клубится над рекой.
На сердце радость и отрада,
В душе божественный покой.

Вокруг безбрежные равнины,
За ними речка и леса,
Дорога. Вдоль кусты рябины.
Всё замерло. Лишь с дальней нивы
Доносятся девичьи голоса.

Мне в этой жизни ничего не надо,
Хочу, чтобы всегда была такой,
Какая есть. С весельем и тоской.

Не может выше быть награды,
Чем жить в своей стране родной.

Июнь 1987 года

Страда деревенская

В зените солнца полыхает
Нагрелись воздух и земля.
Крестьяне в полдень отдыхают,
На время отложив дела.

Забот у хлеборобов много:
Пора приспела жито жать.
И времени совсем немного
Приходится сельчанам отдыхать.
«Всем миром» пашни плодородные
Вспахали и засеяли весной.
Поднялись нивы хлебородные,
Стоят вокруг сплошной стеной.

Пшеницы поле золотое
Колышет ветер колоски.
А меж стеблей, упрятавшись от зноя,
Сверкают озорные васильки.

С далёких лет испокон века
Крестьянин кормит всех людей,
И нет на свете человека,
Сердобольней и добрей.

Тяжела страда крестьянская:
Все в работе день и ночь.
От жары дневной скрываются,
Как становится невмочь.

Лишь склонится полдень знойный,
Охладится чуть земля –
Сельчане по дороге торной
Идут работать на поля.

Мелькают белые косынки
Вдоль дороги столбовой –
Деревенские бабёнки
Шагают шумною толпой.

Мужики со стариками
На телегах впереди.
Ребятишки с матерями
Вперегонку позади.

Льётся песня над округой.
Разговоры. Звонкий смех.
Раскрасавицы-подруги
Веселятся больше всех.
Необозримые просторы –
Конца и края не видать.
Куда б ни обратились взоры –
Повсюду Божья благодать.

Покрылись сказочным убором
Долины, горы и леса,
И качаются в озёрах
Голубые небеса.

Богатством щедро наделила
Природа русские края,
Словно в праздник нарядилась
Наша матушка Земля.

Доля крестьянская,
Долюшка, доля
Ты добра и щедра,
Хоть порою трудна.
Люди славят Всевышнего волю
За землю, что им безвозмездно дана.

1 апреля 2007 года

P.S. Святою силой провиденья
Земное царство создано.
Народам с Божьего веленья
Жить вместе мирно суждено.
Но по вине безбожного отребья
В мире всё извращено.

5 апреля 2007 года

Россия – Родина святая

«Ветер, ветер на всем божьем свете» –
Написал так когда-то поэт.
Недомыслил поэт, что тот ветер
Принесёт за собой много бед.

Царь небесный! За чьи прегрешенья
Ты за ветром нам бурю наслал?
За кого мы все терпим мученья,
За каких лиходеев весь мир наказал?

Ветер шквальный ломает деревья,
Сгибает дугою тугие кусты,
Поднимает песчаные бури, в деревнях
Отрывает на крышах листы.

По заброшенным нивам гуляет,
Зерновые разносит стога.
И снопы полновесной пшеницы швыряет
На заросшие сорной травою луга.

Изнывают поля хлебородные:
Давно на них пахарей нет.
Забыты дороги к ним торные,
И пылью засыпан наезженный след.

Опустели селенья, деревни,
Заколочены двери в домах.
Не светятся окна в харчевне,
Ребячьего смеха не слышно в садах.

Оставили русские люди жилища,
Разбрелись по земле кто куда.
В глубокой печали стоят «пепелища»:
Крестьяне покинули их навсегда.

Все пустынно вокруг.
Не звучат голоса.
На безлюдную округу
Грустно смотрят небеса.

Ветер, ветер горючих слёз море
Ты пролил, породив ураган:
Очумели народы от горя,
Как стал править алкаш-хулиган.

Скорбь народная льётся повсюду:
Разоренье, хаос и разврат.
Впереди пустота, все страшнее народу,
И вернуться не можем, дорог нет назад.

О! Россия! Отчизна святая!
Источник бескорыстной доброты.
Как же много ты платишь, родная,
За избыток своей простоты.

Люди русские! Сколько терпенья
Заложил в вас Всевышний творец.
Ну когда же наступит прозренье
И придёт лихоимству конец.

Дорога ты мне, Родина милая,
Больше жизни тебя я люблю.
Чтобы снова восстала ты сильною,
Бога денно и нощно молю.

8 апреля 2007 года

Весеннее утро

Всё ярче солнце, дни теплее,
Сошли последние снега.
Кусты акации белеют,
Покрылись зеленью луга.

Застыла тишина святая.
Деревья дремлют, замерли листы.
Лишь на пригорках, распрямляясь,
Проснулись ранние цветы.

Вода озёр и рек сверкает
Своею первозданной красотой.
А землю нежно обнимает
Небесный купол голубой.

Благословенная природа
Волшебный источает свет.
И благодушная погода
Встречает утренний рассвет.

Вокруг безбрежные угодья:
Полям, долинам края не видать.
Какое дивное раздолье!
Какая божья благодать!

1 мая 2007 г.

Олений край

Раскинулся на севере далёком
Олений край и вширь, и вдаль –
Безлюден он. Мне одиноко,
И оттого в душе печаль.

Здесь лето быстро пролетает.
И вот уж осень во дворе.
Птиц караваны улетают,
Хотя сентябрь в календаре.

Октябрь приходит с холодами,
Пора ночная всё длинней.
Погода нудными ветрами
Развеет утреннюю темь.

И, пропустив тоскливый день,
Затянет небо облаками.
Вокруг становится темней,
И скроются дорожки меж домами.

Всё утонуло в мгле ненастной,
Исчез заката Божий свет.
Суровый край лишь сильному подвластен.
Для слабых духом тут успеха нет.

Полярная земля всех принимает
Пути открыты к ней всегда.
Обманом никого она не завлекает
Богатством не прельщает никогда.

Здесь лёгкой жизни не бывает.
Судьба изменчива и зла. Лишь иногда
Богатырей бесстрашных отпускает,
А слабых оставляет навсегда.

Заснеженны бескрайние просторы
Насколько хватит глаз белым бело.
Болота, реки и озёра
Пушистое накрыло полотно.

Пустынны горы и долины,
Снег и ветер почти круглый год.
Строгий пейзаж заполярной картины
Дополняет замерзший в реке пароход.

Как наступает снега завихренье,
Не видно ни тропинок, ни дорог.
И не бывает путнику спасенья
Если на помощь не приходит Бог.

18 мая 2007 года

Ушедших дней воспоминанья

Прекрасны зимние закаты.
Стынь ледяная надо мной.
Полярного сиянья перекаты –
На звёздном небе в час ночной.

Ни шороха, ни звука. Ночь глухая.
Во всей округе тишина.
Янтарным светом поливая,
По небосводу движется луна.

Красавица – небесная богиня
Гуляет в полуночный час.
Как много раз
Я приходил, как ныне,
На перекрёсток, где стою сейчас.

Танцуют, кружатся снежинки,
Восхищая вальсом взор.
Серебрятся, словно бисеринки,
Складываясь в сказочный узор.

Искрится снег. Безмолвие седое
Покоится на девственных полях.
О! Боже! Всё мне здесь святое:
Я счастья миг обрёл в этих краях.

Любимая, родная недотрога,
Я каждый вечер, смеркнет лишь заря,
Спешил к тебе короткою дорогой
Обнять и приласкать тебя.

До поздней ночи ты была со мной
Дарила радость и любовь.
Коварный рок нас разлучил с тобой –
Я одинок теперь и стынет…стынет кровь.

Стою, задумавшись глубоко,
Всё лунным светом залито вокруг.
А память из прекрасного далёка
Ведёт тебя ко мне желанный друг.

Сюда пришёл развеять муки –
Из тьмы времён приходишь ты.
Беру твои божественные руки,
Смотрю в глаза небесной красоты.

Ушедших дней воспоминанья
Приходят здесь ко мне всегда:
Безумной страстью, упоеньем счастья
Была полна вся жизнь тогда…

Не мыслилось и не мечталось, что когда-то
Уйдёт блаженство враз и навсегда.
Все изменяется без нашего участья.
Ничто не вечно под луной.

Жестокая судьба разбила счастье,
Разрушила божественный покой.
Прошли года. Я вновь в этой равнине –
На небе тот же розовый закат.
Как будто странник на родной чужбине,
Гляжу бессмысленно назад.

1 сентября 2007 года

Таймыр – покровитель сильных

На Таймыре, где ночи длиннее,
Где морозы лютуют и ветер свистит,
На крутом берегу Енисея
Самый северный город стоит.

Он давно на Земле появился
Неказист был, невзрачен и мал.
Но с годами преобразился,
В порт морской превратился
И известную славу снискал.

С первых дней своего возрожденья
Называться Дудинкою стал.
Ни проезжих дорог, ни путей для движенья
Не имел. Был один деревянный причал.

Время шло. Уходили столетья,
Умножался ясачный народ.
Налетало порой лихолетье,
Пострашней, чем безжалостный норд.

Но росла, развивалась Дудинка,
Стало больше домов и дорог.
Становилась всё шире тропинка,
Уходящая вглубь на восток.

Захудалая в прошлом заимка,
О которой не знал даже Бог,
До далёкой норильской глубинки
Проложила надёжный мосток.

В ту страну, где Таймыр убеленный
По-хозяйски богатства копил.
И, как волшебник умудренный,
Навеки их в хранилища сложил.

Сколько людей, увлечённых мечтою,
Тернистой шагали тропой,
Чтоб отыскать глубоко под землёй
Залежи с медной рудой.

Клады нашли среди гор на Таймыре,
В недрах промерзшей земли.
Разные люди российского мира
Добывать их на север пришли.

Взрывы гремели. Земля разлеталась,
Гул разносился в горах.
В страхе зверьё разбегалось
Укрыться в глубоких норах.

В тундре бескрайней сирены гудели –
Шел на работу народ трудовой.
Огромные трудности одолели,
Пока добрались до кладовых с рудой.

Мёрзлую землю долбили ломами,
Рыли траншеи. Возили бетон.
Брёвна на стройках таскали руками
Ночью и днём, забывая про сон.

Подвиг во славу страны совершили,
Таймыр непокорный трудом победив.
На благо народа богатства добыли
Построили город, природу смирив.

Идут поезда из Норильска в Дудинку
Туда и обратно, не первый уж век.
Лишь память осталась от прежней заимки,
С которой к Норильску пошёл человек.

P.S. Норильск, горами окруженный,
Стоит на вечной мерзлоте,
Чудесной силой одарённый,
Он многих привязал к себе.
Рядами улиц современных
Покрыли тундру вдаль и вширь,
И на фундаментах, терпеньем укрепленных,
Поднялся чудо-богатырь.
Как исполин среди пустынь полярных
Несказанно богат, прекрасен и суров.
Людьми и Богом вознесенный,
Стал лучшим из российских городов.

15 марта 2008 года

Судьба нещадная

Ни к кому не приходит судьбина счастливой –
Ни к вельможам, ни к нищим с сумой –
Ложь да вражду по дороге терновой
Приносит она к нам с собой.

Не обходит лихая кручина
Ни дворцы, ни палаты, ни избы крестьян.
Опустится в пропасть, взойдет на вершину
Заглянет в святые места прихожан.

Нет на земле захолустья такого,
Чтоб судьба обошла стороной.
Ничего для нее нет святого
Ни в жизни духовной, ни в жизни мирской.

Как много становится сразу плохого,
Куда бы она ни ступила ногой.
С ней ничего не бывает другого,
Кроме горького горя с бедой.

До срока убрался из «мира» купчина,
Обворованный на торгах.
Плачет мать, потерявшая сына,
Погибшего где-то в Кавказских горах.

Пес, позабытый, скулит возле тына —
Никого не осталось в крестьянских дворах.
Пусто на пастбищах. Нет там скотины –
Ветер гуляет в заросших полях.

Это судьба – лиходейка, вражина
Побывала повсюду в «гостях».
Бывает случайно пригретый судьбою
На царственный трон попадет человек,

Но с какой же щемящей тоскою,
Проклиная, он доживает свой век.
Судьба никогда никого не щадила,
Ко всем безразлична, всегда холодна.

Сколько бы радости жизнь ни дарила –
Расплата с судьбою дороже всегда.
Ищут люди покой и забвенье,
Чтобы жизнь безмятежно прожить.

Не находя от невзгод избавленья,
Господа просят: Скажи, как нам жить
Но! Увы!..

P.S. Может, где-нибудь кто-то знает,
Как прожить беззаботно свой век.
Только вряд сокровенную тайну откроет
Нам неведомый тот человек.

15 декабря 2008г.

Неповторимые юности годы

Когда последний луч заката
Укроет ночи темнота,
Умолкнет звон церковного набата,
И на Земле наступит тишина.

Перед иконой, помолившись Богу,
Отбросив праздные мечты,
Отвлекшись от всего мирского:
Забот, беспечной суеты,
С необъяснимою тревогой
Я пробегаю в памяти дорогу,
Где много раз ходили я и ты.
Как много времени уплыло,
А кажется, вчера все это было.
Идешь ты ровною походкой
С поднятой гордо головой,
И я, восторженно влюбленный,
Шагаю радостно с тобой.

Любил безумно, страстью изнывая,
Подруга милая моя.
О! Если б знала, как страдал я,
Когда с другим встречал тебя,

За что безмерно упрекал себя –
Ведь знал, любила ты меня.
Мы жили рядом по соседству,
Клялись дружиться навсегда.
Казалось, не придет конец блаженству
И радость не покинет никогда.

Ходили дальнею дорогой
Учиться в школу много лет.
Разбили наше счастье Боги,
Остался у меня лишь твой портрет,
Подаренный тобой при расставании
На школьном выпускном балу.
Беречь любовь мы дали обещанье
Но не сбылись наши мечтанья...
Портрет же твой я нежно берегу.

Далеких лет воспоминанья
Мелькают в памяти моей.

Ты среди них, небесное создание,
Чаруешь красотой своей.
Я в каждый юбилей разлуки
С волненьем достаю альбом прошедших лет.
Испытываю сладостные муки,
Когда гляжу на твой портрет.

Слабеющие прижимаю к сердцу руки
И посылаю мысленно тебе привет.

P.S. Наверное, тоскливей грусти нет
Поправь, читатель, буду рад
Каким бы ни был твой ответ.

18 декабря 2008 г.

Простое счастье

Какая дивная картина
Какой восторженный сюжет:
По парку молодая мама сына
За ручку бережно ведет.

Чуть впереди скачет девчушка
Постарше годика на три
«Не убегай от нас, Танюшка,
Всем вместе веселей идти», –

Сказала ласково мамаша
Счастливой дочери своей.
«Пора домой, – крикнул Сережа, –
Мы не кормили утром голубей».

Таня послушно повернулась
И, близко к маме подойдя,
По-детски нежно улыбнулась,
Одновременно говоря:

«Меня ты, мама, не ругай –
Я так хочу одна побегать,
С подружкой на площадке поскакать.
Не беспокойся, не переживай,
Я вовремя приду обедать,
А ты с Сережей погуляй».

Мать поглядела дочери в глаза
И в них увидела саму себя.
В душе разлились радостные слезы:
«Как много счастья у меня».

И, поглядев с любовью в небеса,
Безмолвно поблагодарила Бога.
Свои на дочери погладив волоса,
Немного помолчав, сказала:

«Беги, дочурка, погуляй.
Но только нас не забывай!
Нам очень будет скучно без тебя
Мы вместе все – одна семья».

P.S. Простое счастье не знает цены.

19 декабря 2008 г.

Старость одинокая

Отчего мне так хочется плакать,
Отчего так печаль тяжела –
Одинокая сирая старость,
Словно камень, на сердце легла.

Никого не осталось на свете.
Ни родных, ни сердечных друзей.
Каждый день на поблёкшем портрете
Смотрю в лица любимых людей.

Проплывают счастливые грёзы
Сквозь туманы промчавшихся лет.
И капают горькие слёзы
На старинный семейный портрет.

День за днём провожаю тоскливо,
Провожаю, не зная куда.
Им во след я взираю ревниво:
Не вернутся они никогда.

Впереди никакого просвета
Скрыло всё непроглядная темь.
Не радует нежность рассвета
И весенний сияющий день.

Пошли, Господь, благословение
Несчастному больному старику,
Уйми терзавшие мученья,
Развей сосущую тоску.

2 апреля 2008 года

Милостью Божьей

Когда среди толпы спешащей
Я дряхлого увижу старика,
С какой-то горечью щемящей
Вползает в душу мне тоска.

Гляжу на согбенную спину
С печалью долго ему вслед,
В руках плетеную корзину
И на плечах потёртый плед.

С мольбою обращаюсь к Богу:
«Господь Всевышний, помоги,
Укороти ему дорогу
И с миром к дому доведи».

Устал он. Долгая дорога
Вконец измучила его.
И гложет сердце мне тревога,
Как добредёт он до порога
Убогого жилища своего.

Прошу божественные силы
Облегчить участь стариков,
Чтоб без страданий до могилы
Прожили у домашних очагов.

5 апреля 2008 года

Капризы погоды

Апрель. Погода рассердилась.
Бушует лютая пурга.
Зима обратно возвратилась,
Мороз со снегом принесла.

Гуляют вихри штормовые
Занесены дороги и пути.
Повсюду улицы пустые –
Сквозь бурю ни проехать, ни пройти.

Огромные лавины снега
Засыпали халупы и дома.
И спрашивают люди друг у друга:
«Пора весны – а на дворе зима?».
Что это? Светопреставленье
Послал Господь за наши прегрешенья,
За дерзкое с природой обращенье
Иль к божьим промыслам неуваженье?
И бродит средь людей сомненье
Где правда? Кто даст разъясненье?

Возможно, это лишь капризы
Озлившейся не в меру непогоды.
Известны нам подобные сюрпризы –
Они давно уже не новы.
Бывали пострашнее годы,
Когда разгневанные небеса,
Ломая правила природы,
На землю посылали чудеса:

В июле замерзала в поле рожь,
Людей от холода бросало в дрожь.
Лил тёплый дождик в январе
И таяли снега в полях и на дворе.

18 апреля 2008 года

* * *

Жизнь всё короче и короче.
Уходят дни неведомо куда.
Дорога в вечность без обочин
Но не свернёшь,не съедешь никуда.

Мольбы напрасны. Нет возврата
По воле Бога путь только туда
Идут святые и поборники разврата
Толпой к воротам Божьего Суда.

Бредут во мраке, спотыкаясь,
Держать пред Господом ответ.
Одни с достоинством шагают

Другим не в радость белый свет.

Придёт и мне когда-то время
Уйти в подземные края,
И там, стряхнув земное бремя,
Увижу всех ушедших до меня.

Быть может, в неизведанном нам мире
Мне уготована иная жизнь,
Прекраснее чем на глухом Таймыре,
Где жил среди заснежанных пустынь.

8 июня 2008 года

Моей Шуре

Ты для меня всего дороже,
Старушка хилая моя.
Я женщин не встречал пригожей,
Добрей, приветливей тебя.

Давно мы оба постарели.
Давно покрылись сединой.
Ряды друзей сердечных поредели.
Душа наполнилась тоской.

Гляжу на согбенные плечи,
Походку тихую твою
И грустно опускаю очи,
Чтоб облегчить печаль свою.

Мы путь счастливо прошагали –
Судьба не разлучала нас.
Законы Божьи соблюдали –
Не страшен нам последний час.

И у последнего порога,
Устало оперевшись на меня,
Грустишь о пройденной дороге
И вспоминаешь прежнюю себя.

А я прошу сердечно Бога
Покоя и здоровья для тебя.
О! Как же ты сейчас мне дорога.
Перед воротами небесного «чертога».

P.S. Умчалось прошлое в неведомые дали –
Жизнь потускнела, сделалась другой.
Неупоительны рассветы и закаты стали.
Бледнее светят звезды в час ночной.

8 июля 2008 года

Таймырская тундра

Полярная земля – прими моей
любви признанье.
Зима с ветрами и морозами
Пришла в полярные края.
Засыпала глубокими снегами
Озера, лес, пожухлые поля,
Повисла чёрными крылами
И утонула в темноте земля.

Рассвет затмило мглой холодной,
В свинцовых тучах спряталась заря.
Суровая страна, была ты мне безродной
Но свыкся я, и говорю не зря.
Я полюбил твои капризы,
Ночей полярных темень без конца,

Тальник, одетый белой ризой,
Следы любимой у крыльца,
С которой много лет, как ныне,
За все, что есть, благодарим творца.
Сейчас бескрайняя пустыня
Сверкает снежной белизной.
Над ней в неведомой святыне,
Словно в божественной картине,
Плывут сияния цветные,
Накатываясь волнами одна к другой.

Зимой природа в тундре замирает
И воскресает позднею весной.
С приходом лета буйно расцветает
Своею первозданною красой.

Разнообразье красок удивляет,
И восхищает строгой простотой.
Дарами безвозмездно наделяет,

Приятной завлекает теплотой.
Ликуя, время обгоняет

Спешит обрадовать теплом и красотой,
Но, как всегда, не успевает.
Всех осчастливить щедрой добротой.
С полночных гор мороз с пургой
Нагрянет раннею осеннею порой,
Живое всё уснёт надолго
Укрывшись непроглядной темнотой.

P.S. Так, иногда
Роскошное застолье
Прервёт хозяин пира тамада:
«Друзья! Закончено разгулье.
Взошла Полярная звезда,
И нам настало время сна.
Пора!

Расходимся до завтра, господа!»
Шум стих. Не слышно разговора,
И воцарилась в доме тишина.

1 октября 2008 г.

Осень

Настала осень. Тундра вся покрылась
Ковром волшебной красоты,
Лазурь небесная застыла
На глади вод кристальной чистоты.

Бывают дни порой осенней
Природа свежестью весенней опахнет,
И, как невеста в сладостном томленье,
В наряде пышном трепетно замрет.

Стоит тальник в цветных узорах.
Безмолвно. Нет вокруг людей.
Святую тишину на девственных озерах
Лишь нарушают стаи лебедей.

Раскинулись полярные просторы,
Равнины без начала и конца,

За горизонтом в синей дымке горы
Простёрлись к алтарю Творца.

Там нет жилья и никакой дороги.
На тропах лишь следы зверей.
Оттуда миром правят Боги –
В их власти судьбы всех людей.
Всевышней силой провиденья

Всё в нашем мире создано.
И пусть тому нет подтвержденья –
Никем правдивого ответа не дано.
Но всё равно.
Мне хорошо. И оттого,
Отвергнув всякие сомненья,
В каком-то радостном волненье
Любуюсь Господа твореньем
И восхищаюсь мудростью его.

20 октября 2008 г.

Превратности судьбы

В российской тихой деревушке
Илюшкз годы юные прожил.
С соседской озорной девчушкой
Он постоянно время проводил.

Его подружку Олей звали,
Но за её веселый смех
Все хохотушкой называли:
Смеялась она звонче всех.
Они с утра до вечера играли,
Не замечая, как. росли.
И повзрослевши, с грустью осознали:
Забавы детские прошли.

Девицею она богиней стала,
Затмив ровесниц красотой.
Юнцам безусым головы вскружала,
Тревожила беспечный их покой.

Гурьба ребят за ней ходила.
Куда б ни шла: из дома иль домой,

Знакомств ни с кем не заводила.
Встречалась только лишь с Ильей.

Скромна, приветлива, радушна,
Как роза вешняя мила,
Была со всеми добродушна,
В кругу подруг по-детски весела.

Своими чарами она
Совсем Илью с ума свела.
Судьба ему благоволила.
Он непомерно счастлив был,
Ольга его приворожила,
А он её боготворил.

В каком-то сладостном тумане
Летели юные года,
Но в жизни происходят перемены
Без нашего желанья иногда.

Беда нещадная накрыла
Всю Русь от края до конца.
По прихоти кремлевского глупца,
Косноязычного лжеца
Великая держава развалилась,
В Содом с Гоморрой превратилась.

И на развалинах «расхристанной» страны
Кровавые возникли очаги войны,
Где братья убивали братьев
И гибли лучшие Отечества сыны.

Пришла война и в деревушку,
Где жили Оля и Илья.
Призвали деревенского парнишку
Служить в далекие края.

Был вечер. Звезды загорались.
В крестьянских хижинах зажглись огни.
А за околицей родной деревни
Илюша с Оленькой прощались
И в верности навек клялись.

С ними вместе грустили березы,
Чуть слышно листвой шелестя.

А Оля просила сквозь слезы:
«Вернись поскорее, Илья!

Молиться дни и ночи стану
За твою жизнь и благодать.
Любить вовек не перестану,
Страдать, надеяться и ждать.

В какой бы не был стороне,
Ты про меня не забывай.
Пиши почаще письма мне,
О днях счастливых вспоминай.

Люблю как Бога я тебя,
Намного больше, чем себя».
Волненье сердца усмиря,
В ответ промолвил ей Илья;

«Ты для меня небесный свет,
Мне в жизни никого дороже нет.
Я никогда тебя не позабуду.
Пусть судьба занесет хоть куда,
Как божество твой образ буду
Носить в своем сердце всегда».

Испытывая грусть перед разлукой.
Он с нежностью глядел в любимые глаза,
И на её протянутые руки
Катилась за слезой слеза.

Любовь и жгучая надежда
Сердца их согревали тогда.
Безумно верили: разлука ненадолго,
А оказалось, навсегда...

Застыла ночь в томительном молчанье,
По небу плавно двигалась луна,
А далеко, в предгорьях Закавказья,
Кровавая велась война.

Пылали города и села,
Стонала от взрывов земля,
Россия кровью поливала
Свои когда-то мирные поля.

Шли поезда с горящего юга,
Вывозили на север убитых солдат.

На кладбищах клали
рядами друг к другу
Совсем еще юных ребят.

Звон колокольный плыл над страною,
Брели на погосты толпы людей.
Горючие слезы рекою
Лились на могилы родных и друзей.
Сгоревшего в танке на юге Чечни
В железном гробу
Илью привезли.
Молилась деревня над прахом его
И нехристей зло проклинала,
А Ольга, взор устремив в небеса,
Чуть слышно шептала:

«Боже, скажи, как мне жить без него?»
Но небо угрюмо молчало.
Ошибки земные оно осознало:
Обманщикам трон доверяло.

И раздавались в толпе голоса,
Исполненные горя и печали:
«Когда ошибаются небеса,
Глубокая скорбь и лихая беда
Приходят на Землю всегда».

Безбожник Ельцин!
Что ты натворил?
Ужель не ведал, что вершил?
Страшнее ты царя Нерона,
Спалившего в огне великий Рим..
Ты Русь святую погубил.
Страну на части разделил.
Народы в дружбе жившие смутил,

Вражду и зло меж ними возбудил,
Исчадие ада разбудил.
Сплошное воровство
с разбоем породил,
Себя друзьями окружил.
В застольях с ними время проводил
И, захмелев, «Рябинушку» бубнил.

Как много и каких парней

Бездарно гибли по вине твоей.
Навеки проклят будешь ты
За расчленение страны,
За смерть российских сыновей,
За слезы вдов, невест и матерей.

Февраль 2000 г.

P.S. Война закончилась.
Прошло уж много лет.
Но мира на Кавказе и сегодня нет.
Порой там выстрелы гремят,
И наводить порядок
снова шлют солдат.

Август 2009 г.

Дудинка старинная

Ветер злобно в окна стучится
По дороге поземка метет
Снежный вихрь над домами кружится
Черная туча по небу плывет.

С горных вершин опускается вечер
Вся деревня укрылась во тьме
Лишь светят оплывшие свечи
В одиноко стоящей избе.

Все тропинки засыпаны снегом
Не пройти к занесенным дверям
Домишки, обнявшись друг с другом,
Прилепились к крутым берегам.

Не слышно окриков, ни шума в поселенье
Все заглушает ветер штормовой
В минуты бури прекращенья
Доносится голодных волков вой.

Люди давно поселились
На енисейских глухих берегах
Прихожан как родных принимали
В своих семейных очагах.

Случалось заблудивший путник
Негромко постучится в дверь
Его приветят, дадут ватник
Уложат в теплую постель.

Мне Дудинка убогой казалась
Как впервые я встретился с ней
Она в город давно превратилась
Только люди не стали добрей.

Жизнь прошла в этом сиром селенье
Пронеслась как по небу звезда...
Вот и все! Что сказать на прощанье:
Ничего! Расстаюсь навсегда.

С мольбою у всех попрошу я прощенье
Что ушел, не оставив следа.
Я один. Никого не осталось
С кем здесь трудную жизнь начинал.
Вспоминать одному мне досталось
Всех кого и куда провожал.

Может быть, кто-нибудь еще вспомнит
Суровое время и добрых людей
И с любовью в молитве помянет
Имена своих давних друзей.

P.S. Как много по нехоженым дорогам
Прошли в твои края, Таймыр
И только ведомо лишь Богу
Сколько ушло безвременно в «тот мир».

Назад немногие вернулись
С твоих заснеженных пустынь
В их памяти остались
Ночная темь, да ледяная стынь.

19 марта 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Слово об авторе..... 3

Святые берега. Книга первая..... 5

На таймырских перекрестках. Книга вторая..... 191

Таймырская осень. Книга третья..... 257

Судьбы людские. Книга четвертая..... 375

Тернистые дороги жизни. Книга пятая.....487

Незабываемые годы. Книга шестая..... 565

Стихотворения разных лет. Книга седьмая.....677

Николай Одинцов

ТАЙМЫР СТУДЕНЫЙ

Редактор-составитель - **А.П. Паращук**
Технический редактор **Т.А. Попова**
Компьютерная верстка **О.С. Черкас**
Корректор **В.П. Васильева**

В книге использованы фотографии из архивов автора,
музея Дудинского порта и фотокорреспондента газеты
«Таймыр» Дениса Кожевникова.

Подписано в печать 02.06.2010
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 64,35 усл.п.л.
Формат 70х100/16. Тираж 1000 экз. Заказ № 342.
Отпечатано в ИПЦ «КАСС», г. Красноярск,
ул. Маерчака, 65, стр. 23, тел. (391) 259-59-60.